

ЭЛЬЧИНА

СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР

Эльчин
СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР



Альчин

Эльчин

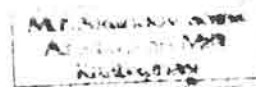
СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Романы

Перевод с азербайджанского

2-769439

914



АВВАЛЛОН · МОСКВА · 2003

В новую книгу крупнейшего азербайджанского писателя Эльчина вошли три его романа, которые являются значительными событиями современной литературы.

Издается к 60-летию со дня рождения писателя.

Выдающийся азербайджанский прозаик и драматург, народный писатель Азербайджана Эльчин (Эльчин Ильяс оглы Эфендиев) родился в Баку в семье классика азербайджанской литературы Ильяса Эфендиева.

Пришедший в литературу в 60-е годы, Эльчин сразу же привлек внимание литературной критики не только в республике, но и в бывшем Союзе. Он активно выступал в общесоюзном литературном процессе. Его романы, повести и рассказы, многочисленные статьи, посвященные проблемам литературы, всегда вызывали большой интерес читателей, литературной общественности. О творчестве Эльчина много писала и пишет критика.

«Эльчин любит чудеса, — писал еще двадцать лет тому назад Лев Аннинский, — он легкий и добрый сказочник, он грустный волшебник, он импрессионист, предпочитающий мерцающие, золотистые, серебристые краски» (Л. Аннинский. «Контакты», Москва, «Советский писатель», 1982, стр. 252)

Но Эльчин в то же время суровый реалист, чему яркое свидетельство — романы «Смертный приговор», «Белый верблюд», «Махмуд и Мариам», повести и рассказы, ставшие значительными событиями в азербайджанской литературе, сыгравшие большую роль в ее развитии.

Драматургия Эльчина — такое же яркое событие в современной азербайджанской литературе. Его пьесы, такие, как «Чудеса в почтовом отделении», «Мой любимый сумасшедший», «Мой муж сумасшедший», «Я ваш дядя» и др., с большим успехом ставились на многих сценах азербайджанских и зарубежных театров.

По сценариям Эльчина снято семь художественных фильмов.

Эльчин является крупным ученым-литературоведом, он доктор филологических наук, профессор. Без его монографий, посвященных актуальным проблемам классической и современной литературы, без его научно-теоретических статей невозможно сегодня представить азербайджанское литературоведение и литературную критику.

Произведения писателя переводились на многие иностранные языки, в том числе на английский, немецкий, французский, китайский, фарси, арабский, турецкий, венгерский, чешский, словацкий, болгарский и др., многократно издавались в бывших союзных республиках.

Он лауреат многих высоких наград и литературных премий.

«Народному писателю Эльчину, — пишет другой известный азербайджанский писатель Анар, — исполняется 60 лет. Более сорока лет достойно прожитой жизни посвятил он литературе, снискав широкую славу как один из ведущих творцов нашей современной прозы, драматургии и критики. Юбилей Эльчина — это праздник не только самого виновника торжества, его дружной и

радушной семьи, родных, друзей, тысяч его азербайджанских и зарубежных читателей, но и праздник нашей многовековой литературы и культуры. Азербайджанскую литературу, художественный процесс последних 40—45 лет невозможно представить без Эльчина. В то же время он занял значимое место и в литературной жизни бывшего СССР — об этом говорят изданные в Москве книги, опубликованные в московской печати повести, рассказы, статьи, всевозможные премии, которых он удостоивался. Эльчин — один из широко признанных, отмеченных наградами наших писателей так же и в Турции; в этой братской стране вновь и вновь издаются его книги, ставятся его пьесы. Его произведения переводятся на многие языки мира, читаются в различных странах. Эльчин — один из виднейших творцов нашей литературы последних четырёх-пяти десятилетий, вместе с тем — её неустанный исследователь. Он — художник, обогащающий наше искусство слова своими произведениями, и он же — ревнитель литературы, которого отличает пристальный интерес к творчеству соотечественников, в том числе молодых писателей, объективная и весомая оценка их работы. То, что при всех своих служебных обязанностях, он выкраивает время и находит возможность столь пристально следить за печатью, прочитывать книжные новинки, издающиеся в Азербайджане, России, Турции, его неизменный интерес к классическим и новым образцам мировой литературы — качество Эльчина, достойное «белой» зависти» («Эхо», 17 мая 2003 г.).

Эльчин — видный общественный и государственный деятель, он с юных лет в центре общественной жизни Республики, он избирался депутатом Верховного Совета, занимал ответственные должности.

С 1993 года он Вице-Премьер Азербайджанской Республики.

Романы

МАХМУД И МАРИАМ

I

Было 4-е число месяца джамадиул-эввел 920 года хиджры, или 28 июня 1514 года по календарю христиан.

Гянджа спала.

В полдень в городе стояла такая жара, что дышать было невозможно, и старики говорили, что такая жара была ровно шестьдесят четыре года назад, в день, когда отрубили голову ашугу Сазлы Абдулле. Сазлы Абдулла надерзил тогдашнему правителю Гянджи Черному Баширу, отказался играть на свадьбе сына Черного Башира — Черного Бекира. «Твой дворец, — сказал, — это чаша крови, и, если даже я зангранаю, струны моего саза немеют». И Черный Башир так рассвирепел от этой дерзости, что изгрыз концы своих длинных черных усов и Сазлы Абдулла казнили посреди городского базара. Даже по прошествии шестидесяти четырех лет гянджинские старики, не в силах скрыть озадаченности, и на свадьбах, и на поминках рассказывали, что, едва острый, как бритва, топор палача по прозвищу Топпузгулу, что означает — Раб Палицы, во мгновение ока отделил голову Сазлы Абдуллы от тела, и кровь народного ашуга, забив фонтаном, обновила засохшую с прошлых казней кровь вокруг плахи, и в сердцах толпившихся людей раздался вопль, жар которого не охладел и через шестьдесят четыре года, как саз, упавший рядом с распростертым на плахе обезглавленным телом, внезапно зазвучал сам собой и заиграл самую горестную, самую печальную песню на свете, а у людей от изумления волосы стали дыбом и прокололи подкладки папах; и так заиграл саз, что неожиданно сошел зной того полудня, над головами сгустились груды черных туч, небо загрохотало, и начался такой ливень, что народ еле добежал до своих жилищ, и некоторое время он безостановочно лил, и в течение всего этого времени, под проливным дождем, саз народного ашуга Сазлы Абдуллы так и играл сам по себе, а потом дождь прекратился, и саз умолк, а люди снова собрались посреди базара и увидели, что ни саза нет, ни тела, ни головы. С тех пор сколько ни рубили голов, — и палач Топпузгулу, и сын палача Топпузгулу — палач Танрыгулу — Раб божий, и вот теперь сын палача Танрыгулу — палач Топпузгулу-младший — посреди базара, в Гяндже, — и тогда, когда не без тайного участия Черного Бекира, отрубили голову Черному Баширу, а потом — по приказу шаха — самому Черному Бекиру, и вора, и мошенникам, и шпионам, и снова народным ашугам, — никогда такого

происшествия не случалось. Ливень, разразившийся в день казни ровно шестьдесят четыре года тому назад, смыл и унес кровь Сазлы Абдуллы, поговоривали, что, когда бывает чрезмерная жара, вокруг плахи, посреди базара, блестит под солнцем кровь Сазлы Абдуллы, и вот сегодня тоже кое-кто видел, как она блестит вокруг плахи.

Гянджа спала.

Ткачи, кузнецы, медники, гончары, скорняки, красильщики из города и окрестных сел, слуги и батраки, работающие в ремесленных мастерских города по найму, так устали, потрудившись в эту невиданную дневную жару и вечернюю духоту, что, несмотря на то, что и ночь была душной, видели теперь седьмой сон. Купцы, лавочники, придворные, чиновники, женщины, дети, поворожавшись в жарких постелях, тоже наконец уснули.

Не спал только Зияд-хан. Во всяком случае, Зияд-хану казалось, что во всей огромной Гяндже — столице Карабахского бейлярбекства — только у него пропал сон.

Расположившись между Курой и Араксом, Карабахское бейлярбекство вмещало большую территорию от Кафана, Орлубада, Нахичевани на юге до Казача на севере, от Джавада на западе до озера Гейча на востоке, являло собой немалую часть азербайджанского государства Сефевидов, и хотя оно не имело непосредственного выхода к морю, как соседние Ширванское и Таврическое бейлярбекства, также расположенные на земле Азербайджана, хотя и не граничило оно с османами, как Чухурседское и опять же Таврическое бейлярбекства, Карабахское бейлярбекство, однако, было самым надежным северным бастионом государства Сефевидов, а Зияд-хан был абсолютным властителем всех этих мест; и все же...

...Уж сколько времени Зияд-хан проводил ночи вот так, без сна, и самое удивительное, что Зияд-хан и сам не знал причины своей бессонницы; он не чувствовал себя больным; не случилось ничего чрезвычайного, никакого события, которое отличалось бы от событий предыдущего месяца и окутывало мраком последующий; правда, Зияд-хан беззастенчиво чутьем предугадывал, что мелкие набегии, небольшие стычки и схватки, интриги и уловки уже на исходе — нож уже уперся в кость, напряжение дошло до крайней точки, и до начала настоящей войны между Султаном Салимом и Шахом Исмаилом времени осталось немного, но что было делать, таковы времена, и завтрашний день правителя — большого или малого — зависит только от одного Аллаха.

Разумеется, Зияд-хана заботило будущее и его самого, и его сына, и он делал все, что мог: по мере надобности бушевал и подличал; если надо, оставлял голову врага на теле и жертвовал головой друга; Зияд-хана называли Адиль — Справедливый, и Хеддждаж ибн Юсиф — Жестокосердный, но, как говорится, ты играй что хочешь, посмотрим, что судьба сыграет; для правителя каждый следующий день был непредсказуем, и если бы он страдал от этого, то должен был бы двадцать три года не смыкать глаз по ночам, а Зияд-хан ровно двадцать три года был правителем, за эти двадцать три года одни шахи сменялись другими, менялась погода при дворе, плелись немалые интриги, однако

абсолютная власть бейлярбека Зияд-хана над Карабахским бейлярбекством оставалась такой же, как и была: не только чернь, не только воры и разбойники, не только рабопенная придворная знать, но и правители городов и округов — наибы и калантары — трепетали от его гнева, потому что Зияд-хан хорошо знал, как обращаться и с народом, и с вероломными и продажными чиновниками, потому что Зияд-хан сам начинал с должности дарга — начальника городского сыска, прошел одну за другой все ступени и умел крепко держать в руках тех, кто от него зависел; те же, от кого он зависел... время теперь было трудное, и сказать что-либо определенное, сделать какой-нибудь ясный вывод было невозможно.

Нет, причиной его бессонницы было другое.

Издали послышалось несвоевременное кукареканье петуха, затем два-три петуха отозвались на него, потом снова воцарилась тишина, и спящая Гянджа некоторое время пребывала в полной тишине, потом среди ночи над Гянджой полетел молодой, приятный и печальный голос в сопровождении саза, кеманчи и свирели.

Зияд-Хан вызвал певца и музыкантов.

Певец пел газель молодого поэта по имени Мухаммед Физули, которому, как говорили, было всего девятнадцать или двадцать лет и который учился в медресе в Багдаде:

Я горем пресыщен — ужель она не сыта моей мукой?
Я вздохами землю спалил — ужели она не зажжется?
Большой изнеможен — ему любимая дарит лекарство,
Она же не лечит меня — ужели больным не считает?

Сейчас не нашлось бы в этих краях ни одного такого, кто не знал бы наизусть эту газель, хотя она распространилась всего с полгода тому назад. Отец Физули — Сулейман — происходил из Ширвана, из азербайджанского племени Баят, и некоторые пожилые гянджинцы, лично знавшие Сулеймана, говорили, что семья Физули переселилась в Ирак с берегов реки Гирдиман. Мухаммед Физули писал газели на азербайджанском, фарси и арабском языках, и эту газель, написанную по-азербайджански, как говорили, сам великий певец Хафиз Леле Тавризи исполнял на торжествах у Шаха Исмаила...

Смолчать бы об этом — утверждает, чтоб я обо всем ей поведал.
Но если я все расскажу, ужели она мне поверит?

Зияд-хан возлежал, опершись на подушку-мутаку, в своей опочивальне, украшенной ширванским камчатным шелком, и, прикрыв глаза, слыша чистый молодой голос, внимая словам газели, невольно думал обо всем хорошем на этом свете, о том, что радует душу независимо от того, плотник ты или шах, и в такую знойную ночь струит в грудь человека прохладу.

Что же касается плотнического дела, то наш общий предок — Ной; а он, как известно, до пятидесяти лет плотничал.

Зияд-хан улыбнулся.

Певец и музыкант сидели у входа в опочивальню на шелковых тюфяках. Певец был невысокий юноша с первым пушком на лице, и все,

кто его слушал, удивлялись, как из этого тщедушного тела, из хилой груди исходит столь сильный голос, столь замысловатые рулады, столь чистое и глубокое дыхание.

Молодой певец был рабом Зияд-хана, Зияд-хан велел купить его в Карабахских горах, в краю Ханкенди; увидев впервые юнца, о котором он слышал и за которого заплатил золотом, Зияд-хан разочаровался, потому что, с самого детства влюбленный в музыку, Зияд-хан не увидел в этом парне и следа того могущества, которое способно, правда, на полчаса, на час, заставить человека забыть о земных горестях, о дурных делах мира сего, но потом, послушав, как поет мальчишка, понял, что это не певец, а Асафи-деван, визирь пророка Сулеймана, который был и величайшим музыкантом.

Разлука туманная ночь исторгнет кровавые слезы,
И Бога разбудит мой вопль, но разве удача проснется?

Этот голос и эта газель заставили Зияд-хана забыть все дурные дела этого мира, в том числе и свои дурные дела; и перед мысленным взором Зияд-хана прошли построенные им за двадцатитрехлетнее правление караван-сарай, бани, водоемы, мосты, гробницы, мечети, чуть не все кинги на азербайджанском, арабском, фарсидском, греческом, индийском и других языках мира, которые велел он собрать в дворцовой библиотеке; и конечно, всего этого могло быть больше, число мечетей, мостов, гробниц можно было бы умножить, но вечные интриги, схватки...

Зияд-хан приподнялся, сел, взял один из холодных огурцов, недавно поданных из колодца и разложенных перед ним на большом серебряном подносе, и маленьким кривым кинжалом, украшенным золотом, яхонтами, бирюзой, снял с него толстую кожуру, потом этими огуречными очистками провел поверх седоватой бороды по щекам, по лбу и шее, и по телу разлилась некоторая прохлада.

Вчера под вечер Зияд-хан принял во дворце приехавшего из Европы какого-то франкского купца. Этот купец якобы приехал в Тавриз для заключения крупного торгового соглашения, повидался с Шахом Исмаилом и теперь объезжал бейлярбекства страны. На купце был странный наряд, и Зияд-хан, увидев его, с трудом удержался от смеха, но после первого же вопроса этого франка все стало очень серьезно.

Франкский купец поклонился, странным образом размахивая рукой, и на хорошем тюркском языке спросил:

— Этой областью вы самостоятельно правите?

Зияд-хан, сощурив маленькие, как семечки, глаза, посмотрел на иностранца и сказал:

— Неверно спрашивать: кто правит этой областью, надо спрашивать: кто ест эту область?

Глаза франкского купца выкатились от изумления: наверное, впервые за время путешествия он слышал такое от правителя.

На лик твой цветущий гляжу — багряные росы роюня,
Взгляни, ведь они замутят кристальные внешие воды?

Эти слова вернули Зияд-хана в опочивальню его дворца, и Зияд-хан внезапно вспомнил другие две строки того же молодого поэта Фи-зули:

Бессилен друг, коварно время, страшен рок,
Участья нет ни в ком, лишь круг врагов широк.

Этот молодой поэт видит на три аршина под землей, и хоть он молодой, а говорит истинную правду.

Зияд-хан знаком остановил музыку, и музыканты, уже много лет игравшие во дворце Зияд-хана, очень этому удивились, потому что Зияд-хан впервые прерывал певца.

Зияд-хан, вытирая огуречной кожурой нос и лоб, спросил у юноши-певца:

— Что твое осталось в горах?

Певец растерялся от неожиданного вопроса; кроме возгласов «еще!», он никогда ничего не слышал от сидевшего поодаль грозного мужчины с седой бородой, седыми волосами, постоянно пульсирующим шрамом, идущим от середины лба к основанию левого уха; и музыканты обменялись недоуменными взглядами.

Зияд-хан кивнул в сторону певца:

— Ну?

Не сразу овладев собой, молодой певец сказал:

— Мать...

Зияд-хан, сощурив узкие глазки, пристально глядел ему прямо в глаза:

— Только мать?

— И еще... и еще сестра... — Певец выговорил эти слова с трудом, и Зияд-хан и музыканты поняли, что юнец боится, как бы его младшую и, наверное, красивую сестричку силой не сорвали с места, не разлучили с матерью и не привезли служанкой во дворец в Гянджу.

— Только мать и сестра?

— Да...

— Врешь, щенок!

Суровость и резкость слов, которые произнес Зияд-хан, швырнув огуречные очистки на серебряный поднос, вызвали дрожь у музыкантов, немало повидавших за время своей службы во дворце.

Юноша-певец с побелевшим в слабом свете свечи лицом не в силах был что-либо выговорить.

Зияд-хан, стирая рукой огуречный сок с лица, сказал:

— У тебя в горах сердце осталось. По твоим глазам читаю. Пошел вон!

Певец и музыканты встали.

Зияд-хан махнул рукой музыкантам:

— Вы оставайтесь.

Юноша-певец застыл, поднявшись.

Зияд-хан сказал:

— Ты меня слышал?

Певец сказал:

— Спокойной ночи, — и хотел выйти из комнаты.

— Куда ты идешь?

Оюноша-певец, поднятый среди сна и приведенный в опочивальню, с детским простодушием ответил:

— Спать.

— Нет, не спать. Сразу же отправляйся к себе в горы. С этой ночи ты свободен. — Затем Зияд-хан, хлопнув в ладони, вызвал служителя. — Отправьте этого парня в его селение. — И добавил: — По-хорошему отправьте!..

Это означало, что певцу дадут доброго коня, дадут мешочек, полный серебряными таянга, отштампованными в Гяндже три года назад, по два куска шелка и кумача для матери и сестры, и конь, скача день и ночь, промчавшись через Барду, донесет своего хозяина, летящего не на конской спине, а на облаках и ветрах, до Карабахских гор.

Молодой певец не осмелился что-либо сказать, поблагодарить, кинуться на пол, обнять ноги Зияд-хана, поцеловать его руки, пальцы, унизанные алмазами, рубинами, изумрудами; он, спотыкаясь, вышел из комнаты — колени дрожали, ноги не слушались...

...Придет время, через полвека на свадьбах, на пирушках в горах Карабаха, на Иса-булаге, Туршсу, Секилибулаге, на берегу реки Дашалты, в прохладе леса Тоханэ старый ашуг с поседевшими волосами и бородой, за долгие годы повидавший многих правителей, бывший свидетелем многих событий — кровавых и праведных дел, прижав к груди саз, станет рассказывать дастан, и этот дастан поведает о милосердии жившего много-много лет назад грозного Зияд-хана, поведает о могуществе музыки и стихов старого устада Мухаммеда Физули; поведает о том, как юный певец, промчавшись, словно ветер по ущельям, словно поток по холмам, вернулся в свой край; поведает, как пришел он к своей матери, как встретился со своей сестрой; и никому из тех, кто будет слушать его затаив дыхание, не придет в голову, что тот молодой певец и есть нынешний старый озан...

...Музыканты, растроганные добрым делом, коего свидетелями только что были в опочивальне Зияд-хана, заиграли самую нежную, самую пронзительную мелодию и, как потом нелегально признавались и дудочник, и сазист, ни до, ни после этой ночи и никогда больше не играли они так душевно. Их мелодия что-то напоминала Зияд-хану, и Зияд-хан знал, что, когда вспомнит, что именно, ему станет ясна причина его бессонницы, но как ни напрягался, не мог разгадать, что именно.

Снова ему вспомнился вчерашний франк.

Франку он высказал то, что было у него на душе, то, что думал; а ведь порой даже самым близким людям не можешь высказать того, что хочешь, что думаешь: это годами копится в груди; опасаясь сказать родному народу, что о нем думаешь — у шахов, у султанов уши длинные, — и поэтому думаешь одно, а говоришь другое, хочешь сделать одно, а делаешь другое, и народ судит о тебе не по тому, что ты думаешь, хочешь сделать, а по тому, что сказал и сделал; народу и в голову не приходит, что на самом деле ты тоже думаешь по-другому и по-другому хочешь сделать. А франк был издалека, из недосыгаемой, неведомой страны, а впрочем, кто знает, может быть, он был шпионом Сул-

тана Салима, рыскал здесь якобы для заключения торгового соглашения; а впрочем, кто знает, не был ли он шпионом Шаха Исмаила, ездил по Бейлярбекствам, узнавал о настроениях местных правителей; но кем бы он ни был, — Зияд-хан усмехнулся, — он, Зияд-хан, сказал правду, а хоть один раз в двадцать три года можно сказать правду или нет?

Зияд-хан еще многое мог сказать иноземцу. Как Бог создал эту землю — не только Карабахское бейлярбекство, а всю землю Азербайджана, страну, один конец которой находится в Казвине, другой — в Дербенте, третий конец — на берегах Каспия, четвертый — в горах Эрзерума, — и создал такой плодородной, — так с тех пор она и была всегда несчастной, всегда ее грабили, и всегда, видно, так будет. Шелк, соль, нефть, сушеные фрукты, рыба, рис, пшеница, хлопок, шафран с этой земли вывозятся во все страны мира, но, когда все это захватывают силой, грудь этого несчастного народа, лоно этой земли обливается кровью, а когда речь идет о торговле, о купле-продаже, тогда города, располагающиеся, как Гянджа, на пересечении караванных дорог, превращаются в торговые центры. На сотканые кочевниками ковры, ширванские шелковые ткани, камку, тонко отделанные мечи и кинжалы в других странах денег не жалели, в русском городе Ярославле пуд шелка шел за десятикратную цену; русские купцы скупали нефть в Азербайджане и перепродавали в европейских странах; жившие в Азербайджане армянские купцы торговали шелком с российскими городами, Венецией, Марселем, Амстердамом, перевозили из Гянджи в Джульфу, из Джульфы — в Халеб, именуемый христианами Алеппо, а оттуда — в Европу сотни халваров, или пудов, ширванского шелка, а оттуда привозили бархат; в Гяндже вели торговлю грузинские, русские, индийские купцы, приехавшие, как вчерашний франк, купцы из европейских стран; с севера — из страны русов — в Шемаху, а оттуда в Гянджу поступали шубы, кожа, шерсть, воск, кольчуги, даже огнестрельное оружие. Правда, последнее время купцы выражали недовольство: разбойники нападали на торговые караваны, грабили их, захватывали добычу — конские табуны, верблюдов, золотые и серебряные сосуды, узорчатые шатры, ковры; голодные оборванцы, собравшиеся вместе, устраивали засаду, отбирали у купцов продовольствие, набивали животы, а потом разбегались по степям и долинам; а между тем купцы платили такие пошлины наibaм, калантарам, кызылбашским эмирам, что им самим ничего не оставалось.

Словом, плохи дела у этой земли.

Зияд-хан, обхватив голову руками, потер виски: ну чего же хотели от него бессонные мысли, отчего он не успокоился, не заснул?

Хотя все эти наibaи и калантары не зарились ни на трон Шаха Исмаила, ни даже на трон бейлярбека — кишка тонка, — и все же, все же, хоть они целуют тебе ногу, находят и высказывают тебе самые хвалебные в мире слова, проносят в твою честь здравницы, которых не удостоивались пророки, а всегда готовы вонзить тебе в спину нож по самую рукоять.

Музыканты играли среди ночи, получая удовольствие от собственной игры, и музыкантам казалось, что Зияд-хан, закрыв глаза, опираясь на мутаку, получает от музыки такое же удовольствие.

Музыканты не знали, что в эти минуты Зияд-хан слышал музыку словно издали, а музыканты не знали, что в эти минуты сквозь сердце Зияд-хана проходила черная кровь. Зияд-хан мысленно разглядывал сейчас наивов, калантаров, всех придворных, за исключением Баиядур-бека, и изумлялся, как это получается, что столь продажных, лицемерных мерзавцев, способных отрезать сосцы у собственной матери, выбрали по одному из такого большого народа, такого храброго и честного народа, и доверили каждому либо округ, либо город. Кто это сделал? Зияд-хан подумал, что как раз первый из тех, кто это сделал, — он сам, и, как видно, иначе невозможно, как видно, воспеть Шейхом Низами мир справедливости и правосудия возможен только в книгах, как видно, трон и власть — как все странно на этом свете! — должны опираться лишь на своих врагов, опираться на льстеца, лицемера, предателя.

И внезапно в этом переполнявшем страну и весь мир двуличии, коварстве, измене промелькнул свет больших голубых глаз.

Понял Зияд-хан!

В одно-единственное мгновение все стало ясно, и в одно-единственное мгновение, в ночной духоте, Зияд-хан покрылся холодным потом... Зияд-хан приподнялся, сел и открыл глаза.

Музыканты прочли в маленьких, как семечки, глазах Зияд-хана скорбь и разочарование всего мира и очень этому удивились.

Прояснившаяся для Зияд-хана в этот миг истина так потрясла его, что, даже оказываясь лицом к лицу с позором, даже предвстая перед шахом и ожидая приказаний, решающих всю его судьбу, он не бывал так глубоко потрясен; а потом у Зияд-хана не хватало сил движением руки отпустить музыкантов, и он лег на спину и закрыл глаза; и уже он не слышал музыку, забыл о музыкантах и остался лицом к лицу с парой больших голубых глаз, глядящих на него в эту душную полночь.

В эту полночь Зияд-хану вдруг стало беспощадно ясно, что Махмуд никогда не сядет на трон, Махмуд никогда не возложит на себя корону бейлярбекства, и это, именно это, уже столько времени лишало сна Зияд-хана.

Что ж, эта истина стала ясной лишь сейчас? Лишь сейчас неожиданно схватила его за грудки? Нет, старик...

В сущности, последние годы эта истина всегда была с Зияд-ханом, и Зияд-хан гнал от себя эту истину, не хотел подпускать ее к себе; эту истину он носил в сердце, но не допускал, чтобы она запечатлелась в мозгу.

С самого утра долго и нудно бубнишь о земле, бубнишь о торговле, как будто забота твоя — это забота о земле...

Смотри, смотри в эти глаза, хорошенько смотри и не беги сам от себя.

Голубые глаза были глазами Махмуда, и в этих голубых глазах было столько чистоты, прозрачности, эти глаза излучали такую ясность, что у Зияд-хана перехватило дыхание.

Впервые, в первый раз от чистоты и прозрачности глаз собственного сына у Зияд-хана вот так перехватило дыхание; прежде Зияд-хан, глядя в большие голубые глаза сына, отдыхал, забывал о собственных

грехах, забывал, что когда-то кому-то велел вырвать глаза, кому-то отрезать голову, нос, ухо; чистота глаз Махмуда как будто уменьшала грехи его отца, потому что хоть Зияд-хан и проливал кровь и оставлял матерей в слезах, а детей сиротами, он же произвел на свет это чистое существо; а если бы Зияд-хан был убожденным палачом, был кровапийцей на троне, тогда не было бы у него семени для зачатия такого чистого существа; значит, и внутри Зияд-хана таилась какой-то свет, только этот свет почти совсем погас, не был виден, а все существо Махмуда свидетельствовало о свете.

Зияд-хан и прежде понимал, что у Махмуда сердце поэта, что Махмуд хрупок, сердце Махмуда как стекло и Махмуд никогда не будет дуть и резать, — Зияд-хан это понимал и даже порой в душе радовался этому, потому что сам он отрезал много голов, и ему было приятно, что руки его сына, его единственного наследника, не обогреты кровью и никогда не будут обогреты; правда, иногда, особенно в последнее время, в сердце Зияд-хана закрывался и страх, что Махмуду трудно придется в жизни, но поразмыслить над этим, обстоятельно порассуждать над этим у него не хватало времени: с раннего утра и до позднего вечера он обдумывал уловки против собственных наивов, калантаров, военачальников, соседних ханов, обдумывал, как разобраться в борьбе не на жизнь, а на смерть между турецкими султанами и Сефевидами, заслужить милость Шаха Исмаила и в то же время не враждовать открыто и с турецкими султанами, не ставить будущее своего края и своей власти в прямую зависимость только от побед Сефевидов; обдумывать и осуществлять должны меры для всего этого — вот на что уходило время.

Теперь, глядя в большие голубые глаза, стоящие перед его закрытыми глазами, Зияд-хан с болью в сердце понимал, что Махмуд в этом лукавом мире, в этом кровавом мире не только не сможет сидеть на троне и править Карабахским бейлярбекством, но и вообще жить Махмуду будет нелегко: не только среди шахов, ханов и беков; легко ли жить среди гадальщиков-каббалистов, жадных молл, развязных сендов, среди дервишей с их учеными обезьянами?

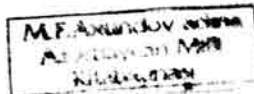
Как получилось, что этой очевидной истины он до сих пор не понимал? Глупый старик...

От этих слов Зияд-хан вздрогнул и приподнялся: впервые было, что он ругал самого себя, впервые Зияд-хану сказали «глупый», и это слово так сообразовалось со словом «старик»...

У Зияд-хана скривились губы, и музыкантам показалось, что у Зияд-хана что-то заболело, закололо, он не издает ни звука, терпит, и музыканты не знали, что делать: играть ли как прежде или поднять тревогу; разумеется, музыканты не знали и того, что теперь боль Зияд-хана не сумеет исцелить и сам Логман, великий целитель древности.

Глупый старик... Как ты до сих пор управлял такой страной? Видно, враги еще глупее тебя; ты что, собирался жить до скончания времени? Тебе ли останется мир, не оставшийся царю Сулейману? Ты всю жизнь собирался быть заступником этого чистого существа? — после тебя его разорвут на части в мгновение ока; он — не дитя своего подлого времени, и ради твоего трона, за который ты цеплялся когтями, который

2-769439



сохранил тысячами уловок и интриг, его растерзают. Для того ли ты трясся над этим трюном и венцом? Для того ли тысячью хитростей, злодейств, угроз преумножал свою сокровищницу?

Глупый старик... Теперь-то ты понимаешь, а до сих пор думал, что всегда будешь рядом с Махмудом и у тебя всегда будут крепкие руки; а разве ты не знал, что стена из плоти ненадежна, не знал, что мы игрушки, а рок — кукольник? Вставай, вставай, вставай, хватай это чистое существо, беги из этой страны, беги, спрячься, спрячь своего сына, чтобы не растерзали его после тебя, возьми в руки кирку, выдолби в скале пещеру, укройся от всех... Ибо таковы земные дела, ибо мир — это старый колдун...

Своими широкими ладонями Зияд-хан закрыл уши.

Как это получается? Как это получается, что подданному Аллах дает такого сына, как Байандур, а хану достается такой сын, как Махмуд?

Как будто комок изнутри подступил к горлу Зияд-хана.

Спокойно... Спокойно... Возьми себя в руки. Друзья есть, враги есть. Спокойно... Разве и Байандур не предан тебе, как твой сын, разве и Байандур ты не любишь, как своего сына? Нет, старик, не хитри с собой; если кто тебя и не знает, сам-то ты хорошо знаешь себя; ты и Байандур потому полюбили, что есть у тебя больное место, есть рана: твой родной сын не убивает, не душит, как Байандур, не может скакать на коне, как Байандур, и, если понадобится, не сможет рубить головы, как Байандур.

И снова Зияд-хан закрыл глаза, и снова большие голубые глаза из темноты посмотрели на Зияд-хана, и снова большие голубые глаза струили во мраке, окутавшем все вокруг, чистоту, ясность, прозрачность.

Зияд-хану вспомнилась та ночь семнадцать лет назад, вспомнилась во всех подробностях; никогда ему не пришлось в голову, что он так помнит ту ночь — ночь, после которой появились на свет эти большие голубые глаза...

...Зияд-хан выпустил из объятий Гамарбану и, широко раскинув руки, улегся на спину.

Сколько на небе было звезд, о Аллах? Был ли счет этому множеству звезд? Можно ли было пересчитать такое количество звезд?

Зияд-хан вернулся из трехмесячного путешествия и в первую ночь после столь долгого отсутствия велел постелить в саду, на открытом воздухе.

Внезапно в сердце Зияд-хана возникла надежда, а почему — он и сам не знал. Звезды ли зародили эту надежду, или луна зародила, или чистота, ясность прозрачного воздуха?

У Зияд-хана было все.

Ровно шесть лет, как он силой меча, остротой ума завладел гянджинским трюном; он был здоров, он был могуч, у него была его Гамарбану, и все красавицы мира были для Зияд-хана по одну сторону, а Гамарбану — по другую, и был Зияд-хан единственным правителем, у которого не было гарема, была только его Гамарбану; армянские красавицы, еврейские престелницы, арабские плясуньи — никто в мире не мог сравниться с его Гамарбану. Все было у Зияд-хана, только детей не было.

Девять лет уже они с Гамарбану юлили головы на одну подушку, девять лет уже не было врача, к которому они не обращались бы за помощью, не было святых, у которой они не просили бы милости; они ели, поделив пополам, яблоки, поднесенные дервишами, купались в водах, куда плевали святые, приносили в жертву целые отары овец, стада коров, караваны верблюдов, раздавали мясо всем погорельцам и беднякам мира, всем голодающим и убогим, но все было тщетно.

А теперь вдруг в сердце Зияд-хана забрезжила надежда.

Зияд-хан посмотрел на Гамарбану.

Гамарбану тоже, лежа на спине, устремила в небо сверкающие в лунном свете совершенно черные глаза; и Гамарбану в тот миг словно почувствовала, что забрезжило в сердце Зияд-хана, отвела свои черные глаза от луны и звезд, посмотрела на Зияд-хана, тонкой рукой сжала большую руку Зияд-хана и сказала:

— Кажется, то, что предсказала лиса...

И вспомнились Зияд-хану Безобразный Лал — Немой и его паршивая лиса.

На лице, на голове Безобразного Лала не было ни единого волоска; не было бровей, не было ресниц, он был долговязый, длинношей, сутулый, он был похож на верблюда, и у него были совершенно серые глаза. Рядом с собою он водил на цепочке паршивую лису. У этой паршивой лисы был дар: она все видела, все знала, могла найти исцеление любому горю на земле. Все, что видела и знала, лиса высказывала только своему хозяину наедине, и тогда Безобразный Немой начинал говорить, передавал сказанное лисой тем, кто ждал от нее помощи, а вместо этого получал один золотой; у кого не было золота — брал серебро, у кого не было серебра — брал курицу, кусок мяса, у кого не было кур, мяса — брал яйца, брал сыр, брал простоквашу, а если и этого не было — брал кусок хлеба.

Люди Зияд-хана разыскали и привели Безобразного Немого, и Безобразный Немой, вперив свои совершенно серые глаза в Зияд-хана, узнал, в чем его горе, а потом, издавая странные, причудливые звуки, размахивая безволосыми руками, выгнал всех из комнаты, а потом вновь обрел дар речи и, высунув голову из комнаты, в которой оставался наедине с лисой, позвал:

— Люди!

Зияд-хан и люди снова вернулись в комнату, и Немой объявил им сказанное лисой.

— Лиса, да принесет нас в жертву ради нее, велит: пусть твоя жена пойдет и три ночи купается в озере Гейча, а придет — лиса на нее посмотрит и найдет исцеление вашему горю.

Зияд-хан действовал так, будто он не всеисильный хан, а невежественный крестьянин, и бывший в то время еще молодым Мирза Салман очень этому удивился: в тот же день Зияд-хан усадил Гамарбану в паланкин и отправил на берег древнего Гейча с сорока служанками, и Гамарбану осенью три ночи подряд купалась в холодных водах озера Гейча, и в течение этого времени Безобразный Немой и лиса оставались во дворце, в отведенной для них комнате. Лиса ничего не говорила Немому, и Немой не мог говорить; лисе давали сырую курицу, а Немому — дворцовый обед.

После того, как Гамарбану, выполнив наказ лисы, вернулась с берега Гейча, Немой снова, издавая странные звуки, размахивая безволосыми руками, выгнал Зияд-хана из комнаты и сам вышел из комнаты и закрыл дверь.

Гамарбану с лисой остались в комнате одни.

Лиса металась из конца в конец маленькой железной клетки, Гамарбану стояла перед клеткой, а лиса, высунув язык, часто дышала, из пасти ее текла слюна, в полумраке комнаты ярким блеском сияли ее глаза, белели зубы, и Гамарбану с тайной надеждой, с мольбой о помощи смотрела на лису; потом Гамарбану начала волноваться тем сильнее, чем чаще дышала лиса, чем быстрее металась вот так, взад-вперед по клетке, и Гамарбану вдруг стало казаться, что сейчас эта паршивая лиса вылезет из клетки, вгрызется ей между ног, разорвет живот, грудь; это ощущение так захватило Гамарбану, что она с криком выбежала из комнаты и бросилась в объятия Зияд-хана.

Безобразный Немой торопливо вошел в комнату и закрыл дверь.

Дрожа всем телом, Гамарбану прижалась к груди Зияд-хана.

И тут Немой обрел дар речи и позвал из комнаты людей:

— Люди!

Зияд-хан резким движением отстранил от себя Гамарбану и вошел в комнату.

Немой взял на руки клетку, где металась лиса, и, устремив совершенно серые глаза на Зияд-хана, сказал:

— Лиса, да принесут нас в жертву ради нее, сказала так, что все люди продаются через девять месяцев, а ваш сын родится через девять лет.

Прошли годы, и Зияд-хан совсем забыл эту историю, но в ту лунную, в ту звездную ночь, после слов Гамарбану, надежда, зародившаяся в сердце Зияд-хана, окрепла, и он поверил, что у него будет ребенок, и не просто ребенок — он поверил, что у него будет сын.

Зияд-хан провел своей большой ладонью по мраморному животу Гамарбану, и тепло его руки разлилось по всему существу Гамарбану.

Ровно через девять лет и девять месяцев после пророчества Немого, в конце весны, родился Махмуд — родился под знаком созвездия Близицево, что сулило счастье.

Но ни Зияд-хану, ни Гамарбану не пришло в голову, что народный поэт Сазлы Абдулла в «Изречениях мастеров» так сказал: судьба — это жнец, мир — это поле, а сжатое поле зеленым лугом не станет; но «Изречения мастеров» произносят не по одному, а по два, и Сазлы Абдулла во втором изречении сказал: мир — это огород, загниет, и все тут...

...Где-то совсем близко прокукарекал петух.

Зияд-хан лежал с закрытыми глазами и ничего не слышал; в сущности, он больше и не думал ни о чем, а стоял лицом к лицу с немеркнущими голубыми глазами, и все существо Зияд-хана маялось от чувства сожаления; и чувство сожаления относилось не только к Махмуду и не только к себе самому — это было сожаление о мире и о жизни вообще.

Музыканты не знали, что им делать: играть или не играть? Спит Зияд-хан или не спит? На всякий случай музыканты не переставали играть и вскоре, совсем забыв о Зияд-хане, несмотря на то, что их клонило ко сну, стали наслаждаться игрой друг друга и, воодушевляя друг друга,

языком свирели, саза, кеманчи заговорили о бренности мира, о скоротечности жизни, о верности и надежде.

А молодой певец в это время, выехав из дворца, поскакал в сторону Карабахских гор, и сопровождающие его звуки свирели, саза, кеманчи постепенно слабели и наконец умолкли.

II

Петух пропел еще раз.

Вся Гянджа спала, только Махмуд не спал, да еще из опочивальни его отца доносились печальная музыка.

Музыка начала звучать в полночь, певец сначала пропел слова нового поэта, известного под странным псевдонимом Физули, что значит Не к Месту Говорящий, а потом он больше не пел, только музыканты играли.

Вся Гянджа говорила о голосе и искусстве этого певца, привезенного с Карабахских гор, его голос всех занимал, заставлял забывать о бедах и горестях, но никому не приходило в голову, что от этого голоса может сжиматься сердце, он может опечалить, навеять грусть.

Голос этого певца заставлял сердце Махмуда сжиматься.

Трудно понять людей: как можно получать удовольствие, как можно наслаждаться таким печальным голосом?

Когда молодого певца привезли в Гянджу и он впервые запел во дворце, вся собравшаяся на торжество дворцовая знать была восхищена его голосом, и все, с большим удовольствием слушая его, ели приготовленный придворным поваром, шекинцем Насибом Сладкой Рыкой, плов с цыпленком, ели разложенные на столе яблоки, сливы, персики, виноград, инжир, пили прохладную родниковую воду.

Махмуд с первого же дня не мог слушать этого певца, потому что никак не мог понять: если в этом голосе столько грусти, как можно наслаждаться этим голосом, и как можно, слушая этот голос, спокойно есть плов, и как можно, изыскивая самые хвалебные слова, превозносить вкус Зияд-хана?

Махмуд не смог усидеть на торжестве, он встал, вышел вон, стал гулять по саду, но и в саду доносившийся голос вызывал у Махмуда слезы; и, прислонившись к стволу старой яблони, чьи ветки зонтом прикрыли все вокруг, Махмуд заплакал.

Наутро в том же саду встретились лицом к лицу Махмуд и управляющий дворцовой библиотекой Мирза Салман, и Мирза Салман, как обычно накручивая конец своей длинной белой бороды на указательный палец левой руки, спросил:

— Махмуд, тебе не понравился голос вчерашнего певца?

Мирза Салман в свое время был одним из воспитателей Махмуда, обучал его поэтическому искусству, и они вместе прочитали от начала до конца «Пятерицу» Шейха Низами, и все комментарии к «Пятерице» давал Мирза Салман; к старости Мирза Салман дорос до поста управляющего дворцовой библиотекой, и в последнее время малейшее движение Махмуда не ускользало от взгляда Мирзы Салмана.

— У него красивый голос, учитель...
— Почему же ты ушел посреди торжества?
— Потому что его голос говорил одно, а вы... — Махмуд покраснел, — а вы понимали его по-другому...
— Один я или все сидевшие за столом?
— Все сидевшие...
— А что говорил его голос, Махмуд?
— Его голос говорил: я раб, купленный за золото, никогда мое сердце не улыбнется... Я несчастнее всех на свете, и никто об этом не узнает... Я несчастнее всех, а я вас развлекаю...
— И этим мы наслаждались?

— Да...

Мирза Салман ушел, не сказав более ни слова.

Махмуд опасался, что обидел учителя, но Махмуд сказал то, что думал.

И действительно, Мирза Салман отошел от Махмуда расстроенный, но не потому, что слова Махмуда его задели, нет, Мирза Салман прекрасно знал, что Махмуд всегда говорит то, что думает, и Мовлане Джедаледдин Руми хорошо сказал в своем месневи: либо выгляди таким, каков ты есть, либо будь таким, каким выглядишь; но Мирза Салман за долгие-долгие годы многое повидал, и ему хорошо было известно, какое это несчастье — понимать. Этот парень, вместо того чтобы скакать на коне, размахивать мечом, уже теперь начал ощущать мировую скорбь, и Мирза Салман не был уверен, что и мир станет так же скорбеть об этом чистом существе. В мыслях Мирзы Салмана промелькнула строка народного певца Сазлы Абдуллы: «Да пошлет тебе бог Хызра-Ильяс», — и Мирза Салман еще раз повторил про себя эту строку, отнес ее к Махмуду, ибо с тех пор, как пророки Хызр и Ильяс испили живой воды, оба этих имени в народе объединяют и считают Хызра-Ильяса покровителем заблудших путников.

Разумеется, Махмуд понятия не имел о раздумьях учителя своего Мирзы Салмана и, гуляя по саду среди весенней зелени, весенних цветов, забыл о разговоре с ним, забыл и вчерашний жалобный голос певца, забыл и о том, что плакал вчера здесь, под старой раскисистой яблоней, ибо, когда в природе столько красок, когда солнце так согревает землю, когда земля так просторна, жизнь становится прекрасной.

Почему люди этого не понимали?

Как получилось, что родившиеся на этой земле, живущие на этой земле под одним и тем же солнцем, луной, звездами могут делать друг другу зло, могут проливать кровь, могут бить, могут ненавидеть друг друга? Почему старший сын прародителей рода человеческого Габиль мог убить младшего Абиля, а потом так раскаивался в этом? Как получилось, что под таким солнцем, на такой земле появилась та зависть, что заставила брата пролить братнюю кровь? Дьявол обманул Адама и Хавву, и они поели пшеницы (христиане уверяют, что это было яблоко), и Бог выгнал их из рая; но вина Адама и Хаввы была лишь в том, что они поели пшеницу, — так почему же потомство Адама и Хаввы погрязло в таких чудовищных грехах, убивает, разрушает? Неужели они не видят зелень, цветы, деревья?

Вопросы начались с этой весны, потому что эта весна была особенной: Махмуд каждый раз, когда выходил погулять по саду, по стенам, поднимался в сторону горы Кыпас и изумлялся, как это он до сих пор не замечал этот мир, и все свое время — и зиму, и весну, и лето, и осень — проводил только в чтении книг, проводил вечера, слушая сказки Сафи?

Махмуд прочитал много книг — от Афлатуна и Арастуна до Иби Сины, от «Калилы и Димны» и «Кабуснаме» до «Гюлистана» Шейха Саади и «Пятерицы» эмира Алишера Навои, и даже, когда по ночам Сафи по велению Гамарбану тушил свечи, чтобы Махмуд не портил себе зрение, Махмуд читал в лунном свете. Но этой весной книги наскучили ему: он словно впервые увидел зелень, багрянец, желтизну, орауживость весны, вдохнул аромат весны, и весенний дождь тоже словно полил впервые. Махмуд стыдился самого себя, оттого что ему докучны книги, но весенняя земля пробуждалась на глазах Махмуда, и чувство неловкости оставило его.

Когда Сафи принес весть, что Махмуд больше не читает книги днем и ночью, сердце Гамарбану ощутило успокоение, и ее глаза, окруженные горестными тенями, которые становились все гуще и гуще по мере того, как рос Махмуд, улыбнулись.

Гамарбану обрадовалась также тому, что с приходом этой весны Махмуд стал гулять по стенам, по горам, и Махмуд не ведал, что, когда он в одиночестве уходит из дворца в горы, собирает цветы, панятые Гамарбану стражи следуют за ним по пятам и не спускают с него глаз. Махмуд выходил один, ему не хотелось, чтобы рядом были охранники, и Гамарбану не тревожила сердце Махмуда, ибо знала Гамарбану, что у Махмуда сердце как стекло, его легко разбить, и она платила тайным стражам побольше, чтобы они никому не рассказывали, что Махмуд, как девочка, собирает на лугу цветочки; но Гамарбану не знала, что стражи, собираясь по вечерам и попивая купленное у армян вино, вдоволь смеялись над девичьими повадками Махмуда, а написавшись, со смаком об этом рассказывали всем и каждому.

Но одного не знали и тайные стражи Гамарбану: Махмуд чего-то ждал, Махмуд шел к чему-то.

Что это было? Махмуд и сам этого не знал; знал только, что что-то произойдет; если земля вот так улыбается, значит, что-то должно произойти.

И в эту жаркую летнюю ночь Махмуд ждал чего-то.

Из окна отцовской опочивальни лился свет свечи, слышалась игра музыкантов; знойная летняя ночь сулила что-то, но Махмуд не знал, что именно, только чувствовал, как чувствовал это в весенние дни: что-то очень близко, что-то вот-вот должно наступить.

Однажды Махмуд ошибся, но знал, чувствовал, что во второй раз не ошибется.

Прошла весна, пришло лето, но весенняя новизна, весенняя свежесть, ослепившие Махмуда, весенние зелень, багрянец, желтизна не прошли, и предвкушение чего-то, принесенное весной, не прошло, и однажды произошло следующее: снова была жаркая летняя ночь, и после полуночи Махмуд проснулся от звуков саза: сначала решил, что

на сазе играют в отцовской опочивальне, но потом понял — нет, это другой саз, этот саз произносит иные слова, этот саз произносит те слова, которые весной произносила земля, произносило солнце, произносили луна, звезды; эти слова были зелеными, красными, оранжевыми.

Приподнявшись, Махмуд взглянул в сторону окна.

В эту ясную летнюю ночь перед окном спальни Махмуда, словно на невидимой веревке, с неба свисал саз, и этот саз играл сам собой.

Махмуд понял, что это саз ашуга Сазлы Абдуллы.

Махмуд никому не рассказал об этом случае, даже Сафи он ничего не сказал, потому что все равно никто бы этому не поверил и все равно в последнее время люди плохо понимали Махмуда.

Махмуд решил, что ожидание окончилось, он ждал этого саза, который играл в полночь перед его окном, но потом понял, что ошибся, ибо, в сущности, этот саз тоже сказал то, что говорила весна, и хотя весна уже прошла, он пел о весенней зелени, багрянице, желтизне...

И Махмуд знал, что во второй раз не ошибется.

Музыканты играли.

Почему отец не спал?

Может быть, отцу тоже не хотелось спать, может быть, и он не хотел большую часть жизни проводить во сне? Может быть, и отец чего-то ждал? Нет, отец не мог уснуть, потому что у него было какое-то горе — Махмуд это чувствовал; чувствовал также и то, что отец бежит от собственного горя.

Может быть, в эту полночь отцовская беда схватила его в собственной опочивальне?

Эта мысль сжала сердце Махмуда, и Махмуд встал и подошел к окну. Светало.

Дворец спал. Стражи в саду, во дворе тоже дремали, прислонившись к своим пикам.

Скоро наступит утро, слуги, служанки начнут хлопотать и суетиться, горожане — от мелочных торговцев вразнос до богатых купцов — выстроятся в очередь на прием к Зияд-хану; придворные и чиновники начнут заниматься привычными делами.

Четыре дня назад дворцовая знать собралась на поминки в связи со смертью калантара Ягуба, и Махмуд, оглядев их всех по одному, сидевших, скрестив ноги по-турецки, пришел в ужас: поминание покойного было забыто, а придворные говорили о справедливости, милосердии, храбрости Зияд-хана, и Махмуд, оглядывая каждого из них, понимал, что они лгут, лицемерят и льстят; Махмуд чувствовал также и то, что отец все это видит, понимает и все это принимает; но с чем пришли эти старые люди к своему восьмидесятилетию, зачем они жили? Неужели у них были такие обстоятельства, такие заботы и невзгоды и такие замыслы и чаяния, которые оправдывали все это двуличие, лицедейство и лицемерие?

Смерть калантара Ягуба никого из этого сборища не побудила подумать о смерти.

Может быть, эти люди давно познали смерть и внутренне были готовы к ней? А ведь матери когда-то прижимали их головы к своей теплой груди...

Конечно, о том, что сей мир — тлен, жизнь — превратна, Махмуд слышал от многих людей, начиная со случайно встреченных нищих и дервишей и кончая учителем Мирзой Салманом; эти слова слышал он от многих озанов, читал их во многих книгах, но что такое, в сущности, смерть, он осознал отроком, три года тому назад.

В то время Махмуд вдруг пришел в ужас: как могут люди смеяться, веселиться — разве они не знают, что придет день, и они превратятся в черную землю? Мать так лелеет своего ребенка — разве она не знает, что придет день, и она сама, и ее ребенок, и ребенок ее ребенка, и его ребенок превратятся в черную землю?

Ужас и жар, вызванные безысходностью, неотвратимостью и безуплотностью конца, потрясли Махмуда, а главное, Махмуда сводило с ума непонятное равнодушие людей к смерти. Махмуд смотрел на мать, и ему было жаль ее, потому что мать не понимала, что придет время, и она превратится в черную землю; Махмуд смотрел на отца, и ему было жаль отца, потому что отец, кажется, понятия не имел, что придет время, и он превратится в черную землю.

Люди были совершенно чужды этим мыслям.

Махмуд бежал от людей.

Как были написаны книги, которые он читал? Разве создававшие их поэты, ученые не были людьми и не знали, что придет время и они умрут?

Махмуду казалось, что он больше никогда не улыбнется, больше никогда не обрадуется, и все уже позади, жизнь уже прожита.

И однажды, когда он один гулял по саду, у бассейна этот ужас и жар внезапно вырвались наружу, как джинн, загнанный в бутылку, и Махмуд, обняв мраморную колонну бассейна, заплакал, зарыдал, сотрясаясь всем телом.

Откуда возникла Гамарбану? Ведь сад был совершенно пуст...

Гамарбану обняла сына сзади за плечи:

— Что случилось, Махмуд? Что с тобой? Почему ты мне ничего не говоришь, Махмуд?

Махмуд, обернувшись, посмотрел на мать и увидел в глазах, в лице Гамарбану такое болезненное, такое трепетное сочувствие, милосердие, порожденные близостью, родством, любовью, что высказал ей все, что не говорил никому.

— Я умру... Придет время, и я умру...

Гамарбану с безумной нежностью прижала голову сына к своей груди, дрожащими пальцами спутала его волосы:

— Все мы умрем, детка!..

Бниение сердца Гамарбану было утешением, от сердца ее исходило тепло, и жар ее сердца словно согрел Махмуда, и сердце Гамарбану словно объяснило Махмуду, что он не один, и Махмуд понял, что люди не таковы, какими выглядят.

— Не читай так много, Махмуд...

Махмуд не услышал этих слов Гамарбану, потому что Махмуд в этот миг слышал только бниение ее сердца, слышал то, что говорило ее сердце; Махмуд понял, что главные слова произносит не язык, а сердце.

Светало.

Махмуд, стоя перед окном своей опочивальни, снова мысленным взором оглядывал по одному придворных, собравшихся на поминки по калантару Ягубу, и на этот раз люди не показались ему такими отвратительными, как четыре дня назад, потому что и у этих людей было сердце, и их сердце тоже, наверно, кому-то что-то говорило и скажет. Тут в дверь тихонько постучали, вошел Сафи со свечой в руке.

— Махмуд, почему ты не спишь?

Сафи почувствовал себя неуютно под взглядом этого белолицего худенького паренька среднего роста с кудрявыми светлыми волосами; в его больших голубых глазах были несообразные с его же тонкостью и нежностью пронзительность, надменность, пронизательность.

— А ты почему не спишь, Сафи?

— Я... — Сафи не мог сразу ответить, ибо Сафи не смел сказать Махмуду, что Гамарбану, увидев в окне силуэт сына, пришла, растолкала спящего Сафи и послала его узнать, почему Махмуд не спит; эта несчастная женщина и по ночам не спала из-за своего сына, она жила в постоянной тревоге.

— Я от жары спать не могу, — сказал Сафи. — А почему ты стоишь перед окном?

— Смотрю на придворных.

— На придворных? — искренне удивился Сафи. — Придворные сейчас седьмой сон видят.

Махмуд усмехнулся:

— Это для тебя они спят, а для меня — нет...

Внезапно Сафи показалось, что над головой Махмуда сверкнул священный ореол, и, испугавшись этого видения, Сафи произнес про себя: «Астаг-фуруллах! Будь проклят дьявол!»

Потом Сафи пришел в себя. Это было дело рук дьявола.

Дьявол порой овладевал Сафи.

Послышался последний вскрик петуха.

III

Послышался предрассветный крик петуха, и Мариам внезапно вскочила, какое-то время не могла ничего понять, ее полная грудь вздымалась и опадала.

Нет, не крик петуха так внезапно разбудил Мариам.

Мариам стала на колени на своем деревянном топчане, покрытом тоненьким тюфячком.

Что же случилось?

Свет утра заполнил сквозь окно ее комнатку и придал беленым стенам молочную чистоту; и молочны чисты были не только белены стены и потолок — чистота впиталась в доски пола, голые деревянные табуретки, деревянный столик, деревянный топчан Мариам, и оконные стекла тоже сияли молочной чистотой.

Вдруг Мариам снова почувствовала то теплое дыхание, и ей во всех подробностях вспомнился странный сон, что она видела всю ночь, сладостный и страшный сон.

Мариам видела Пречистую Деву Марию.

Пречистая Дева Мария и святой Иосиф из Назарета.

Пречистая Дева Мария была совсем молоденькой девушкой, и во сне Мариам казалось, что Мария — она сама, потому что иногда лицо Девы Марию становилось ее лицом.

Пречистая Дева была одета в драное платьице из серого ситца, босая, с непокрытой головой, ехала на ослике по пустыне, а святой Иосиф шел сзади в холстяном балахоне и погонял ослика хворостинной. Он был стар, но еще крепок, седые кудри и бороду трепал свежий ветер.

Пустыня тянулась бесконечно.

Была зима, а временами при порывах ветра становилось холодно, но песок не успел остыть, и Дева Мария соскакивала с ослика и с удовольствием погружала босые ноги в теплый песок. И Мариам казалось, что это она сама погружает ноги в теплый песок и шевелит в теплом песке замерзшими пальцами. Потом стало совсем холодно, и песок тоже похолодел, но Мариам ощутила какое-то теплое дыхание, это дыхание согрело ее, и Мариам во сне поняла, что это теплое, мощное и чистое дыхание — дыхание Гавриила, что незримый архангел тут и что он заботится, чтобы не пострадал младенец, которым она беременна.

Мариам хотела звать Пречистую Деву Марию и святого Иосифа в дом, но не смогла, потому что Дева Мария была она сама, и они проехали, пробежали мимо их домика, где было так тепло.

Стало совсем холодно, и пошел снег, но дыхание архангела окружало Марию теплым облаком, и даже ноги не зябли.

Когда они приехали, а вернее сказать, прибрели в Вифлеем, то пригородные лачуги и сараи были в снегу, снег шел непрерывно, и они кинулись на первый же постоялый двор, грязный и бедный, но Мариам во сне почувствовала, что счастлива, что Дева, Иосиф и ослик и как будто она сама сейчас укроются от ветра и снега; и хозяин, который казался усталым и злым, сперва твердил, что нет ни одной комнаты и люди спят вповалку на полу, но потом, поглядев на живот Мариам, на иссиня-красные ноги и руки Иосифа, махнул рукой и сказал, что они могут заночевать в хлеву вместе со своим ослом.

В хлеву было тепло, пахло навозом и сеном и со всех сторон на них смотрели темные глаза животных. Они согрелись и легли, кое-как набрав соломы на подстилку, и тут у Девы Мариам начались схватки, и эти схватки Мариам ощутила в собственном животе.

Затем раздался крик младенца, Мариам, избавившись от схваток, спокойно вздохнула и взглянула на младенца, лежавшего на ситцевой тряпке на соломе. Мариам знала, что этот младенец — Спаситель. Лицо младенца Иисуса излучало свет, как крохотное солнце.

Затем лицо Спасителя превратилось в лицо обыкновенного младенца, ручки и ножки младенца задержались на ситцевой тряпке на соломе, и Мариам изумилась такой обыкновенности. Пречистая завернула его в ситцевую тряпку и положила в пустые деревянные ясли. Младенец громко заплакал. Потом закричал. Не было ни ангелов, ни волхвов, ни даже пастухов.

Мариам проснулась от детского крика.

В утреннюю пору знойного лета Мариам дрожала, ее бил озноб; потом, услышав дыхание отца, спавшего в соседней комнате, она понемногу стала приходить в себя и сначала хотела пойти и разбудить отца, но, вспомнив, что вчера Хмурый Пастырь молился весь день и весь вечер, не решилась его будить.

Донсясь к соседней комнате дыхание Хмурого Пастыря успокоило Мариам; если он так дышит — ничего не может случиться, ничего не нужно бояться, все будет хорошо.

Нет, Мариам не расскажет свой сон отцу, потому что зимой она тоже видела один сон и рассказала отцу этот сон; она увидела, что, сев за стол Тайной Вечери, где должны разговляться Господь с апостолами, она захотела поесть, но стол уже пуст: кости, грязная посуда, обедки, — и за столом, кроме Мариам, никого нет.

Хмурый Пастырь, сдвинув широкие сросшиеся брови, спросил:

— С чего ты взяла, что это стол Тайной Вечери?

Мариам пожала худенькими плечами:

— Не знаю... Но это был стол Господень. Я знала это.

Хмурый Пастырь больше не сказал ни слова, но стал толковать этот сон, может быть, не захотел толковать, и после того дня ровно месяц ходил задумчивый. Мариам с первого взгляда чувствовала состояние отца: если у отца на сердце было спокойно, Мариам узнавала это, стояло ей только взглянуть на Хмурого Пастыря, и если он был беспокоен, узнавала, едва взглянув, и если задумчив был — узнавала, и если доволен был или недоволен.

Если Хмурый Пастырь не смог истолковать ее сон, то что это был за сон, и как получилось, что Мариам увидела такой не поддающийся толкованию сон?

Если же Хмурый Пастырь не захотел истолковать ее сон, значит, это был дурной сон, и отец не желал заронить беспокойство в сердце дочери.

Хмурый Пастырь никогда не говорил неправды, никогда не обманывал, но иногда умалчивал, не отвечал на вопросы, и Мариам понимала, что вопрос повторять не следует.

Вначале — до последней весны — вопросов бывало много.

Дом, где жили Хмурый Пастырь с Мариам, находился на окраине Гянджи, это был маленький двухкомнатный домик, и однажды в конце зимы Хмурый Пастырь с Мариам, выйдя из деревянной церквушки на другом конце Гянджи, возвращались к себе домой: в полдень Мариам отнесла отцу еду и, оставшись с отцом до вечера в церкви, зажгла свечку и долго и сладко молилась. Когда они вошли в дом, Мариам вдруг захотелось, чтобы их кто-то встретил, кто-то, как только они войдут, поставил перед Хмурым Пастырем пиалу горячего чая, кто-то близкий и добрый заботился о нем, служил ему.

Мариам спросила:

— Отче, почему ты не женился после смерти мамы?

Хмурый пастырь взглянул на Мариам совершенно черными, блестящими из-под широких сросшихся бровей глазами и ничего не сказал.

Некоторое время они стояли, глядя друг на друга, и говорили друг с другом глазами: Хмурый Пастырь понял, почему Мариам задала этот вопрос, и Мариам поняла, отчего Хмурый Пастырь не ответил на него.

Мать Мариам умерла в день ее рождения, и с того дня Хмурый Пастырь и Мариам были всегда вместе. Иногда Мариам казалось, что она родилась на свет грешницей, потому что самым своим появлением погубила другую жизнь и принесла горе отцу. Мариам чувствовала, что в день ее появления на свет ушел из жизни самый любимый для ее отца человек, но Мариам не знала, что мама каждый день говорит с отцом, говорит и о Мариам, радуется, что Мариам растет и неразлучна с отцом. Хмурый Пастырь никогда не оспаривал волю Божию; что бы ни случилось в этом кровавом и горестном мире, в этом подлом мире, он все принимал, ибо, если Господь счел это должным, так и должно быть, но семнадцать лет назад смерть жены он принял сознанием, сердцем же не принял и в этом считал себя виновным перед Богом — это была единственная очевидная вина Хмурого Пастыря перед Господом, подаром с того-то дня он и был прозван Хмурым Пастырем.

С приходом весны степи вокруг Гянджи зацвели, подняли головки нарциссы, зазеленели кустарники, стали разворачиваться листочки гянджинских чинар, стрижи вернулись в свои гнезда, и самое странное было то, что Мариам словно впервые видела это весеннее пробуждение природы, как будто земля никогда так не улыбалась, так не радовалась и не радовала.

Каждый день рано утром, после ухода отца в церковь, Мариам прибирала в доме, подметала, вытирала пыль, у них была одна Белая Коза, и Мариам доила ее, варила отруа яйца, если было мясо — варила мясо, собирала на огороде зелень, а потом вместе с Белой Козой выходила со двора и бродила по степи близ дома, срывала цветы и каждый вечер хотела что-то спросить у отца, но не могла, потому что не знала, что спросить. Мариам чувствовала, что должна что-то сказать отцу, но что должна сказать, не знала, и постепенно это чувство сменилось другим чувством: Мариам словно хотела что-то скрыть от отца, но что хотела скрыть, не знала. Это чувство тяготило, мучало Мариам — ну что могло быть на свете, что Мариам должна была бы скрыть от отца? Мариам уже больше не передевалась при отце, как прежде, потому что при этом словно могло обнаружиться то, что она хотела скрыть, и это тоже тяготило Мариам, ибо отец был для Мариам вторым «я» — так почему же Мариам должна стесняться его?

Все это началось весной и осталось, когда весна миновала; и когда весна миновала, Мариам начала ждать чего-то; а это «что-то» было и подавляющим, и радующим, но самое главное, это «что-то» было тайным грузом; оно начиналось, когда она ночью ложилась в постель, начиналось, когда она утром просыпалась, начиналось, когда она одиноко бродила по степям и лугам, заставляло ее рвать цветы, танцевать, смеяться в одиночестве.

...Утро наступило. В молочной чистоте комнаты было все то же спокойствие, но в этом спокойствии появилась какая-то необычность, и Мариам тотчас почувствовала причину этой необычности: дыхание отца уже не слышалось.

Мариам, отвел глаза от окна, посмотрела на дверь соседней комнаты: Хмурый Пастырь стоял в дверях.

Хмурый Пастырь был высокий, широкоплечий, стройный мужчина. Его длинные волосы давно поседели, борода местами побелела. В блестящих черных глазах, широких сросшихся бровях, в морщинах на лбу и в уголках глаз отца Мариам, как всегда, почувствовалась что-то такое родное, такое близкое, что, соскочив с топчана, кинулась Хмурому Пастырю на шею и, прижавшись лицом к широкой груди отца, неожиданно для себя сказала:

— Я видела во сне Пречистую Деву, отец! — и рассказала свой сон.

Хмурый Пастырь, поглаживая длинными тонкими пальцами каштановые волосы дочери, внимательно слушал ее, и, когда Мариам взволнованно пересказала свой сон, некоторое время молчал. Мариам, подняв голову от груди отца, заглянула ему в глаза. Хмурый Пастырь улыбнулся. Он очень редко улыбался, и такая улыбка очень шла к его суровому лицу. В глазах Мариам тоже появилась улыбка. Хмурый Пастырь сказал:

— Ты видела во сне мать, дочка. А снег во сне — это ясность, чистота...

— А младенец?

Хмурый Пастырь хотел сказать, что младенец — это она сама, но не сказал, потому что если младенец был мальчиком, то, может быть, это все же был Спаситель, а не Мариам...

IV

Грехов перед Богом у Гамарбану было много, и все свои грехи Гамарбану совершала ради Махмуда, и постепенно в сердце Гамарбану зародился страх: Махмуд, в котором такая чистота, такая непорочность, не сможет быть счастливым после стольких грехов, совершенных ради него, чистота и непорочность Махмуда не позволят ему быть счастливым за счет несчастья другого.

Но ведь сама Гамарбану была несчастлива, и ее несчастья должны были искупить ее же грехи и счастье Махмуда, ибо она страдала, а если она страдала, значит, не должен страдать Махмуд.

Гамарбану была одна в комнате, устланной коврами, и сидела, скрестив ноги, на атласном тюфячке.

Вошел слуга и, не поднимая глаз, сказал, что Мирза Салман ждет. Гамарбану махнула рукой, чтобы позвали Мирзу Салмана, и как только Мирза Салман вошел, спросила:

— В чем дело, Мирза? Где книги? Прошло уже сорок дней с тех пор, как я тебе приказала!..

Мирза Салман, наматывая конец длинной узкой бороды на указательный палец, сказал:

— Уже больше недели, как караван вышел из Тавриза, Бану. Вскоре появится...

— Пошли навстречу всадника, Мирза! Пошли всадника, пусть потопит караван!

Мирза Салман стоял, уставившись в землю, и мысли его были отнюдь не с караваном, груженным книгами и идущим из Тавриза, а совсем в другом месте: если бы эта несчастная женщина затратила столько страсти, ума, энергии на другое дело, она могла бы стать Сарой Хатун, которая вершила все дела в Азербайджане еще полвека назад, но Сара Хатун была матерью Гасана Длинного, а Гамарбану — матерью Махмуда; Махмуда же творец создал иным, а Махмуд никогда не смог бы стать Гасаном Длинным, да, в сущности, это было и не нужно...

Гамарбану сказала:

— Можешь идти, Мирза!

Мирза Салман легонько кивнул головой и с чувством горького удовлетворения вышел из комнаты. Последнее время Мирза Салман не мог смотреть на Гамарбану; Мирзе Салману, который одно время втайне от всех и от самой Гамарбану писал влюбленные газели о ее красоте, было нестерпимо тяжело видеть, как эта женщина безвременно стареет — прямо на глазах, и, когда Гамарбану влажными глазами, окруженными болезненной чернотой, смотрела на него, у Мирзы Салмана, еще не старого, к горлу подкатывал комок, ибо Мирза Салман хорошо знал причину этого безвременного постарения и тайного недуга Гамарбану: Махмуд, и только Махмуд.

То, что Махмуд сторонится людей, не разговаривает с ними, не собирает вокруг себя сверстников, не скачет на коне, не высажает на охоту, сторонится девушек, Гамарбану некоторое время назад объяснила его чрезмерным увлечением книгами; теперь же все это, его одинокие прогулки по степям и собирание цветов, она объясняла тем, что он отвернулся от книг. Сначала Гамарбану велела прятать от Махмуда новые книги, теперь же через Мирзу Салмана велела закупить в Тавризе новые книги, заплатила за них кучу золота и нетерпеливо ждала их в Гяндже, чтобы вновь приохотить Махмуда к книгам.

Гамарбану цеплялась за соломинку и сама это знала.

Все, что говорили и делали колдуны-каббалисты, влиятельные сенды, потомки пророка, оказывало воздействие на любого, только Махмуд оставалось безразличным и только в груди Гамарбану не уменьшалась гора.

Два года назад Гамарбану за золото добилась прибытия из Ардебилья в Гянджу знаменитого сенда Абдулгасыма и попросила у ардебильского сенда Абдулгасыма средства спасти ее сына от чар одиночества, от мягкости и простоты, попросила сделать так, чтобы он, как другие парни, скакал на коне, размахивал мечом, целовала руки этого старого сенда с белыми волосами, бородой и бровями, прислуживала ему как рабыня.

Ардебильский сенд Абдулгасым два дня и две ночи не брал в рот ни капли воды, ни кусочка хлеба и тихим голосом медленно, наизусть прочитал весь Коран от первой до последней буквы, устремив глаза в потолок выделенной для него комнаты, как будто совсем забыл о мире; потом в полночь вырвал волосок из своей бороды, протянул его Гамарбану:

— Обведи его вокруг головы ребенка!..

Гамарбану сама взяла волос сеид-аги, прошла в спальню Махмуда, обвела волос вокруг головы спавшего Махмуда и принесла обратно аге. Ага, поднявшись, одной рукой подобрал полы своей белой, как его борода, абы, взял свечу, вышел из комнаты, спустился в сад, и Гамарбану вместе с доверенными слугами и служанками пошла вслед за агой. Остановившись под одной из яблонь, ага сжег волосок напополам, а оставшуюся половину, разворошив снег, закопал перед деревом, потом, обернувшись, сказал Гамарбану:

— Зима минует, весна пройдет, лето придет. Это дерево принесет одну грушу. Когда груша созреет, дашь ее Махмуду, он поест, и это станет избавлением от твоего горя.

Гамарбану много дней ждала этого сеида, два дня и две ночи, сидя вместе с этим сеидом, не брала в рот ни глотка воды, ни кусочка хлеба, глаз ни на миг не сомкнула, но тут уж она не выдержала, забыла о святом предке сеида, забыла о его белых волосах, о белой бороде, из груди ее вырвались гнев и ненависть, и она воскликнула:

— Безумный старик! Ты даже не знаешь, что это яблоня!?

В этот снежный зимний день ардебильский сеид Абдулгасым в белой абе, беловолосый, белобородый, белобровый, угасшим, затуманенными двухдневным голодом и жадной глазами посмотрел на Гамарбану и ничего не сказал, пошел по саду прямо и внезапно исчез среди снега.

Слуги и служанки замерли от изумления, и все хором произнесли:

— Бисмиллах! Это дело рук Харута, Марута, злых ангелов!..

Гамарбану об этом происшествии забыла как о еще одном неудавшемся опыте.

Зияд-хан даже и не знал об ардебильском сеиде Абдулгасыме. А о чем он знал, Зияд-хан?

Прошла зима, наступила весна, зацвели деревья, зацвела и яблоня, потом опали цветы, начали наливаться яблоки, и однажды Гамарбану, проходя мимо этой яблоньки, застыла на месте: на самой верхушке этой раскидистой яблоньки, посреди зеленых яблок, висела начинающая желтеть груша.

В тот же день Гамарбану велела зарезать сорок баранов и раздать всем сеидам Гянджи, еще сорок баранов велела зарезать и разослать по мечетям, раздать голодным, на три месяца вдвое увеличила в Гяндже хюмс — налог в пользу сеидов, а в Ардебиль срочно послала гонца и приказала любимыми средствами уговорить агу вернуться в Гянджу, сказать, что Гамарбану обеспечит его всем на свете на всю жизнь, и день, и ночь молилась, чтобы смыть свою вину перед агой.

Через семь дней гонец, вернувшись, принес неслыханную весть: в разгар лета в Щитоносном ущелье выпал снег, и в ближайшее время перейти через это ущелье и попасть в Ардебиль будет невозможно.

Гамарбану велела зарезать для пожертвования еще пятьдесят баранов и раздать людям. В эти дни гянджинские мясники продавали три веса мясной вырезки за четверть таньги, нарезанной в Нахичевани, и все равно никто не покупал, потому что в каждом доме было пожертвованное мясо, и за одну неделю гянджинские мясники лишились чуть ли не годового дохода.

Гамарбану дни и ночи проводила под яблоней, и когда груша на ней, созревая, стала совсем желтой, велела ее сорвать и сразу же отнесла Махмуду.

Давным-давно Гамарбану не ходила так легко, не была такой радостной, так широко и глубоко не дышала, и воздух не насыщал так ее грудь.

Махмуд, сидя в дворцовой библиотеке, читал книгу, и книга так захватила Махмуда, что он, не сказав ни слова, взял протянутую матерью грушу и стал есть, продолжая при этом читать.

Гамарбану ждала с волнением, какого не испытывала, кажется, никогда в жизни, и с предвкушаемой радостью.

Махмуд съел грушу и продолжал читать.

Гамарбану подождала еще немного.

Махмуд так же охотно читал книгу.

В сердце Гамарбану закрался жуткий страх поражения.

Махмуд до вечера читал книгу, потом вышел погулять в сад, а потом пошел спать.

В ту ночь Гамарбану не могла уснуть. Дважды сама ходила в спальню Махмуда и дважды посылала Сафи: Махмуд спокойно спал.

Ближе к утру сон сморил Гамарбану, но вскоре она проснулась и тотчас вызвала к себе Сафи.

— Какие новости, Сафи?

Сафи, пряча глаза, как будто во всем виноват был он, сказал:

— Никаких, Бану...

Конечно, смущение Сафи не ускользнуло от острого взгляда Гамарбану.

— Ты что-то хочешь сказать, Сафи!?

— Утром... утром, когда повар велел зарезать кур, Махмуд увидел...

Побледневшая Гамарбану спросила:

— И что же?

— Махмуд заплакал и убежал...

Гамарбану поняла, что на Махмуда у сеид-аги силы не хватило.

Может быть, ага разгневался? Может быть, именно поэтому в Щитоносном ущелье выпал снег?

Потом в голове Гамарбану промелькнула безумная мысль: Гамарбану ищет святого, который дал бы ей избавление от горя, а может быть, святой и есть сам Махмуд?

Ночью Гамарбану посмотрела на совершенно чистое небо, ей вспомнилось, как, когда Махмуд родился, все радовались, что этот крошечный младенец родился под знаком созвездия Близицево, и Гамарбану сказала себе:

— И небеса обманули тебя...

После этого Гамарбану уже больше не вызывала колдунов-кабалистов, не искала сеидов и дервишей, не отправлялась к святыням, не давала обетов.

После этого Гамарбану не могла говорить и с самим Махмудом. Чистота, простота в больших голубых глазах Махмуда мгновенно обезоруживали Гамарбану.

И теперь Гамарбану возлагала все надежды на книги, которые должны были доставить из Тавриза.

Гамарбану встала, чтобы пойти в сад, повидать Махмуда, но открылась дверь, вошел Зияд-хан.

Это было впервые, что Зияд-хан в полдень, совсем один и без уведомления пришел в комнату Гамарбану. Гамарбану решила, что, наверное, в мире политики произошло нечто важное.

Зияд-хан сел лицом к лицу с Гамарбану.

Гамарбану видела, что Зияд-хан озабочен и затрудняется начать разговор.

Глядя на мужа, Гамарбану подумала: тысяча сожалений, что она не стала женой, достойной Зияд-хана. Зияд-хан остался один на один с этим мерзким миром, и Гамарбану не смогла стать опорой Зияд-хану; Аллах дал им такого сына, что власть оказалась их сыну не по плечу, а заботы о сыне, страдания, боль за него отняли у Зияд-хана самого близкого человека в этом подлomme мире — Гамарбану.

Как рано поседели его волосы, его борода, как рано настигла Зияд-хана старость; как быстро промелькнули молодые годы; как сморщилась кожа на руках Зияда... Гамарбану до сих пор не обращала на это внимания... Посмотри на эти морщины на его шее — будто кинжалом прорезаны... Гамарбану ощутила боль от этого кинжала, протянула руку, провела пальцами по волосам Зияд-хана, помогла мужу начать разговор:

— Что случилось, Зияд?

Зияд посмотрел на Гамарбану и сказал:

— Я беспокоюсь о Махмуде...

Гамарбану резко выпрямилась:

— Что случилось с Махмудом?

— Ничего... Но, Гамар, Махмуд не усидит на моем троне...

Все стало ясно. Наконец Зияд-хан сумел разглядеть своего сына, сумел распознать. Гамарбану улыбнулась:

— Знаю...

В улыбке жены, в ее улыбающихся влажных глазах Зияд-хан прочитал такую скорбь, ощутил столь глубокую горечь, что и ему стало ясно: Гамарбану давно носит в сердце эту боль. Зияд-хан со всей остротой ощутил и то, что с годами они, в сущности, стали совсем чужими с этой самой дорогой ему женщиной, они ничего не знают друг о друге, и Зияд-хан изумился, что он словно впервые видит, как постарела красавица Гамарбану. Что же дал Зияд-хану трон, которому он посвятил всю свою жизнь? Зияд был совершенно одинок и незащищен; одиночество и беззащитность, как затхлая влажность, как душная сырость, в эту минуту облепили тело Зияда.

Увы, Зияд-хан многого не знал, и наверное, никогда не узнает.

Уже двадцать три года Зияд-хан был правителем, уже двадцать три года Зияд-хан старался удержать трон, укрепить трон, наполнить сокровищницу, но не знал Зияд-хан, что и Гамарбану день и ночь старается укрепить будущее его трона, его сокровищницы; голова Зияд-хана была так забита каждодневными делами, политические интриги, военные схватки, тайные и открытые набеги соседей, тайные и явные на-

веты соседей, дворцовые сплетни так занимали Зияд-хана, что у него уже не оставалось времени подумать о Махмуде, а главное, разглядеть и узнать Махмуда. Зияд-хан считал, что, как только он приклонит голову к земле, родня и приближенные, собравшись, усадят на трон его единственного сына Махмуда и скажут: Махмуд-хан, повелевай нами...

Гамарбану усмехнулась.

У Зияд-хана не было времени положить перед собой папаху и подумать, что Махмуда задушит как раз эта самая родня, что эта самая родня не сводит с Махмуда глаз, как шакал с ягненка, и только и ждет случая, чтобы с Зияд-ханом что-нибудь стряслось.

Гамарбану виновато посмотрела на Зияд-хана, потому что внезапно вспомнила Джаваншир-хана, а ведь Джаваншир-хан с Зияд-ханом были похожи друг на друга, как две половинки одного яблока.

Джаваншир-хан был младшим и единственным братом Зияд-хана и был, как Зияд-хан, искусным всадником и меченосцем. Порой во взгляде Джаваншир-хана, устремленном на Махмуда, Гамарбану ловила какую-то волчью алчность, но теперь Гамарбану подумала, что, может быть, это все же было не так, это ей так казалось; однако в свое время напечатал же ей Сафи, что на пикнике, устроенном на озере Гей-гель, Джаваншир-хан говорил: я переведу Гянджу сюда и дворец выстрою так, чтобы он смотрел на Гей-гель. Это означало, что Джаваншир-хан считал себя наследником престола и даже не скрывал этого.

Гамарбану в течение недели собрала золото и договорилась с главарем разбойников Белолицым Келлезом, и Белолицый Келлез тайком выследил Джаваншир-хана, который отправился на козью охоту на горе Муров, и убил его стрелой из лука; затем, чтобы эта тайна никогда не раскрылась, Гамарбану, опять же собрав золота, договорилась с дворцовым стражем Одноглазым Велигулу, и Одноглазый Велигулу, устроив засаду в Гяндже, зарезал Белолицого Келлеза кинжалом в полночь, когда он направлялся к своей любовнице Айкануш, а потом, чтобы и эту тайну не знал никто, кроме Аллаха и Гамарбану, Гамарбану своей рукой отравила Одноглазого Велигулу.

Зияд-хан сорок дней держал траур по Джаваншир-хану, истолковал эту смерть как происки шаха, султана, интриги калантаров, набобов, зарубил всех подозрительных, кого мог достать, но Зияд-хану даже в голову не пришло, что подлинным виновником этой смерти был Махмуд; а Гамарбану находила утешение лишь в том, что эти жертвы и другие, неизвестные Зияд-хану, принесены не из кровожадности, а во имя защиты Махмуда от кровожадности, и все это ради будущего Махмуда; чистота Махмуда, его превосходство над Джаваншир-ханом, не говоря уже об Одноглазом Велигулу, оправдывали такие дела; правда, и у Джаваншир-хана, и у Одноглазого Велигулу дети остались сиротами, но, в сущности, Махмуд был еще беспомощней, чем эти сироты: сироты как-нибудь выживут в этом мире, а Махмуд может выжить лишь с помощью Гамарбану, и никого более.

Узкие глаза Зияда только теперь приоткрылись с тоской, а куда эти глаза смотрели прежде, почему эти глаза не видели того, что видели все? А впрочем, что было б, если бы и видели? Кто сделал бы больше, чем я? Когда-нибудь в жизни могла я себе представить, что мои руки

Гамарбану стояла снаружи, боясь и на этот раз услышать дурную весть. Гысыр Гары, подойдя к Гамарбану, тихонько прошептала:

— Мужчина — ух! — и беззвучно рассмеялась, обнажив единственный зуб.

Гамарбану успокоилась, но стыд за возникшее подозрение и непристойный поступок охватил ее, и, будто виновата была эта ведьма, с ненавистью, с отвращением ханша плюнула Гысыр Гары в лицо. После этой проклятой старухи Гамарбану сочла себя самой дрянной женщиной на свете.

Через два дня по дворцу распространилась весть, что слуги, проснувшись поутру, увидели, что одна из невольниц повесилась на тутовом дереве в саду. Все удивились, никто не понял, почему эта молодая, красивая, веселая, речистая, стреляющая взглядами, как стрелами, невольница убила себя. Только Гамарбану знала причину самоубийства: Гамарбану в глазах этой невольницы, три дня назад отказавшейся от золота, умоляющей ее с рыданиями о пощаде, прочла зародившуюся пылкую любовь, а также и то, что эта любовь — любовь обреченная.

Так вот было, мой дорогой... Так было, Зияд...

Зияд-хан многого не знал, и теперь, сидя лицом к лицу с Гамарбану, своими маленькими узкими глазками, померкшими от горя в течение одной ночи, ждал помощи от жены.

Бедный Зияд... Такого сына Бог должен был дать тебе либо тысячу лет назад, либо на тысячу лет позже; это подлое время недостойно нашего сына, это черное время — черная рана на чистоте Махмуда.

Тысячу лет назад?

Возможно, как раз тысячу лет назад такая же несчастная мать, как я, мечтала о том, чтобы сын ее появился через тысячу лет; да изменятся твои дни, Махмуд, да переменится мир... За девять лет фортуна сделала меня садовницей; садовница плачет, сад плачет, цветы плачут... За что, осыпая камнями, сей страшный мир преследует нас?

Гамарбану подумала: ведь в Коране говорится, что Аллах если придавит — непременно освободит; где же освобождение для моего несчастного сердца?

С болью в душе за все, что было, Гамарбану поднялась на ноги.

— Надежда на Аллаха! — сказала она, и снова боль пронзила ее грудь: мой сынок с белым лицом, с чистой душой, с черной судьбой... несчастный Махмуд, сын несчастного Зияда и несчастной Гамар...

...Могло ли Гамарбану прийти в голову, что через очень короткое время ее сын, которого она считала несчастным, отмеченным черной судьбой, станет самым счастливым человеком на свете?

V

В летнюю жару трава поодаль от дома Хмурого Пастыря, на берегу реки Гянджи пожелтела, пожухла, но эта желтизна, освещенная солнцем, не томила сердце Махмуда, напротив, возвещала о безбрежности мира. Правда, в Коране было написано, что Аллах создал «небо, землю и все между ними» временно, создал на «некий срок», но эта тянущая-

ся на сколько хватает взгляда соломенная желтизна, журчание сверкающей под лучами солнца реки Гянджи говорили о постоянстве мира и вечности жизни: мир, созданный за шесть дней, был один, и человеческую жизнь следовало рассматривать как нечто непрерывное от Адама до наших дней и далее, через века и тысячелетия.

Махмуд вышел утром в сад, и вдруг ему стало тесно в большом саду, внутри высокой дворцовой ограды; ограда теснила Махмуда, в искусственной выхоленности дворцового сада летом чувствовалась неволя, и Махмуд ушел из дворца, пошел бродить по степям и, прогуливаясь, дошел до этой янтарной равнины на берегу реки Гянджи.

На равнине было просторно, привольно, и этот простор, это приволье — странное дело — как-то по-новому, по-иному напомнили Махмуду давно забытые и совсем простые события: однажды, когда он был малым ребенком, он вышел погулять с мамой; и это был зеленый луг; и он увидел белый цветок; и когда он захотел сорвать этот беленький цветок, его руку обожгла крапива, и Махмуд с громким плачем бежал к маме на руки; однажды, когда ему было семь или восемь лет, его дядя Джаваншир-хан, да упокоит Аллах его душу, посадил Махмуда позади себя на коня, они поехали кататься, прискакали в село, в селе женщина, сидя у тендыра, пекла чурски; дядя, натянув повод коня, спешился, выхватил один чурек из стопки сложенных рядом с тендыром и оторвав кусок, протянул Махмуду, Махмуд быстро откусил кусочек и обжег рот, громко заплакал, слезы смешались с нилем — голубой краской против глаза, а дядя стал громко смеяться, и после этого Махмуд всякий раз перед тем, как поесть хлеба, спрашивал, не горячий ли он; а однажды, когда ему было лет одиннадцать или двенадцать, Махмуд гулял по двору, позади дворца, его подозвала толстуха-птичница. «Приложи-ка ухо», — сказала она и поднесла к уху Махмуда яйцо; из яйца доносился слабый писк, доносился стук, потом цыпленок пробил скорлупу яйца, показалась головка цыпленка, показалось его закрытые глазки, потом цыпленок прямо на ладони толстухи вышел из скорлупы, он был мокрый, будто его вынули из воды, маленькие крылышки прилипли к телу, подняв головку, он как будто посмотрел закрытыми глазами на небо и тоненьким голоском стал пищать; Махмуд сказал, что цыпленок хочет есть, а толстуха сказала: нет, он просит у Аллаха счастья...

Все эти далекие воспоминания несли какую-то теплоту, какую-то радость. Махмуд почувствовал аромат того белого цветка, запах и вкус горячего тендырного чурка, услышал первый в его жизни писк крохотного цыпленка, и в этот миг...

...В этот миг Махмуд увидел Мариам.

Мариам утром встала, проводила Хмурого Пастыря в церковь, потом подмела, убрала в доме, вскипятила во дворе воду, выстирала рубашку и подрясник Хмурого Пастыря, подоила Белую Козу, заквасила ее молоко, сварила яички, собрала в огороде лук, почистила его, потом сно-ла вышла во двор, сорвала с грушевого дерева у ворот одну грушу, съела ее, еще одну грушу сорвала и дала поесть Белой Козе, потом вышла вместе с Белой Козой, шла-шла и дошла до равнины на берегу реки Гянджи.

Мариам весной сочинила для Белой Козы песенку и с весны не пела ее, но теперь было такое чувство, будто впереди — Пасха; покой и простор равнины вдруг побудили Мариам запеть эту песенку:

Ай, коза, Егоза,
Для волка — зоркие глаза,
Для нас — парное молоко,
Копытца — чтоб ходить легко,
Шерсть — зимой защита,
Не гляди сердито:
Дам тебе я травки сочной,
Напою водой проточной.
Будем мы с тобой дружить.
Будем долго вместе жить...

Распевая эту песенку, попевая за Белой Козой, Мариам шла по равнине и вдруг увидела, что навстречу идет юноша, и у юноши светлое лицо, светлые волосы, светлые голубые глаза, и Мариам было запнулась, но тут же Мариам показалось, что она откуда-то знает этого юношу и даже очень хорошо знает; Мариам понимала, что видит этого юношу впервые, но в то же время как будто давно и хорошо, даже очень хорошо знала этого юношу.

Мариам остановилась.

Белая Коза, опустив голову, пошла прямо на Махмуда.

Махмуд протянул руку и поглядел Белую Козу между рогами.

Белая Коза не испугалась.

Мариам очень этому удивилась, потому что у Белой Козы не было никого, кроме Мариам и Хмурого Пастыря, и Белая Коза пугалась других людей, но Хмуриам почувствовала и то, что так и должно быть, Белая Коза не должна пугаться этого бледнолицего светловолосого юноши с большими голубыми глазами.

Белая Коза повернула голову, посмотрела в сторону Мариам и что-то проблеяла.

Блеяние Белой Козы разнеслось по всей соломённой желтизне равнины, тянувшейся на сколько хватит взгляда.

Хмурый Пастырь говорил, что у всех животных на земле есть свой язык, и сын царя-псалмопевца Давида — царь Соломон знал язык всех животных, но Хмуриам Пастырю в голову бы не пришло, что настанет день, и Мариам тоже поймет язык животного.

Белая Коза звала Мариам. Белая Коза говорила — не бойся; говорила — подойди поближе; Белая Коза призывала Мариам к еще неизведанной свободе, приволью, раскованности не вмещающихся в сердце чувств, упительных волнений, говорила — подойди поближе, говорила — не бойся, и соломенно-желтая равнина говорила то же.

А разве Мариам боялась?

Мариам подошла и встала прямо против Махмуда.

Махмуду все стало ясно, Махмуд знал, что не ошибается, Махмуд чувствовал эту стоящую перед ним черноглазую, смуглую девушку с каштановыми волосами, будто касался ее рукой, чувствовал всем своим существом теплое дыхание этой девушки, ее взволнованно дышащую высокую грудь, ее дрожащее в легком ситцевом платьице тело, и все это притягивало к себе Махмуда.

У стоявшего перед Мариам юноши ни глаза, ни брови, ни лицо — ничто, ничто не походило на Хмурого Пастыря, но почему этот юноша был таким родным, почему Мариам хотелось провести рукой по лицу этого юноши, почему Мариам хотелось поцеловать и обнять этого юношу?

Мариам и Махмуд стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза.

Белая Коза, опустив голову, отошла от них.

Глубина глядящих друг в друга глаз постепенно затягивала и Мариам, и Махмуда.

Махмуд протянул руку.

Мариам не знала, отчего этот юноша похож на Хмурого Пастыря, Мариам не хотелось брать этого юношу за руку, потому что этот юноша был чужой, и в то же время этот юноша был родной, и Мариам по-ложила свою руку на руку Махмуда.

Мариам сказала:

— Я — Мариам...

И янтарной желтизны равнина, дотеле затаившая дыхание и беззвученная, словно очнулась и тоже прошептала: «Я — Мариам...»

Махмуд сказал:

— Я — Махмуд...

И эти слова звучными волнами покатались по окрестности.

Так они и стояли друг против друга.

И не знали, что делать.

Потом пошли рядышком.

Мариам шла рядом с Махмудом, не смотрела на Махмуда, но лицо Махмуда, взгляд Махмуда были у Мариам перед глазами.

Махмуд чувствовал биение пульса в руке, которую он держал, чувствовал, что все тело Мариам бьется сейчас так же, как билось сердце его матери, когда он однажды, боясь смерти, прижался головой к ее груди.

По соседству с домом, где жила Мариам, вместе с матерью, двумя младшими братьями и младшей сестрой жила девушка по имени Анна. Анна была старше Мариам на пятнадцать лет, и эта красивая, здоровая, работающая девушка все не выходила замуж, возвращала ни с чем сватов за сватами, и все этому удивлялись. Подрастая, Мариам начала замечать, что, когда по утрам отец вставал и шел в церковь, Анна провожала Пастыря вороватым и тоскливым взглядом, а когда вечером или ночью Пастырь возвращался домой, Мариам в темноте не видела, но знала, что Анна снова у окна. Мариам чувствовала во взглядах Анны что-то еще помимо вороватости и тоски, но не знала, что это такое. Три года назад семья Анны переселилась в Стамбул.

Теперь Мариам это поняла; идея рука об руку с Махмудом среди янтарной степной желтизны, она вдруг поняла, что было в глазах Анны: Анна любила ее отца, Хмурого Пастыря.

Это неожиданное открытие спустя три года словно подхватило Мариам крутой волной, ноги Мариам словно оторвались от земли, и она словно закружила в воздухе, и щеки Мариам, подобные румяным яблокам, заплыли еще ярче.

Махмуд ощущал во всем теле, во всем существе такую страсть, такое желание, эта теплая рука, которую он держал, заставляла так трепетать его сердце, что все его предыдущие чувства и волнения были перед этим ничто. Он вспомнил странные слова из христианской книги, которую вот уже несколько лет переводит на азербайджанский язык Мир-за Салман: «И увидел я новое небо и новую землю, потому что прежнее небо и прежняя земля миновали...»

Махмуд хотел сказать много слов, но, Аллах, каким беспомощным в изъяснении чувств создал ты человека, и пред тем множеством чувств и волнений, что ты дал человеку, все слова мира не капля ли в сравнении с океаном?

Мариам и Махмуд шли, держась за руки, и часто взглядывали друг на друга, и Махмуд все, чего не мог сказать словами, выражал глазами, и Мариам читала в глазах Махмуда то, что он не мог высказать словами, и тело Мариам пылало и пело.

Белая Коза, опустив голову, шла немного впереди, и внезапно Белая Коза остановилась, обернулась, посмотрела снизу вверх на Мариам и Махмуда, потом, подняв голову, заблела, и Мариам показалось, что Белая Коза предупредила их, что дальше идти не стоит.

Как это получилось, что купы серых облаков так вдруг сгустились в одном месте?

Раздался гром, сверкнула молния, и на залитые солнцем летнего дня янтарно-желтые степные пространства низвергся прохладный ливень.

Мариам с Махмудом и Белая Коза совершенно вымокли.

На Мариам было только ситцевое платице, и ситцевое платице, намочив, облепило ее тело, и под мокрым ситцем проступили груди Мариам, выпуклые соски ее груди, живот и бедра.

Махмуд провел рукой по намокшим волосам Мариам, по ее смуглому лицу, с которого стекали капли дождя, по тонкой шее, высокой груди, и Мариам сквозь дождевую прохладу ощутила в этой руке жар очага, и этот жар опалил Мариам, и хотя рука была желанной, родной, она напоминала тепло дыхания архангела Гавриила.

Мариам зашептала:

— Я верю в Христа, ты — в Магомета... Пощади, Махмуд, не губи меня...

VI

По дворцу с быстротой молнии распространилась весть: сын Зияд-хана Махмуд влюбился.

Эта новость показалась придворной молодежи смешной, невольницы и слуги не могли в это поверить, заняты политической вельможи не нашли времени отреагировать на это сообщение, люди бдительные после долгих рассуждений растолковали эту новость как очередной трюк Зияд-хана, те, кто потерял надежду одолеть Зияд-хана, но находил утешение в слабости Махмуда, забеспокоились, потому что у Зияд-хана могли теперь появиться внуки, среди новых родственников Махмуда могли оказаться люди могущественные, которые позарятся на

трон Зияд-хана, но, когда по дворцу расползлись слухи, что Махмуд влюбился в дочь какого-то христианского священника, живущего на окраине Гянджи, все пришли в полное замешательство.

Новость донеслась до Гамарбану в тот же день.

Гамарбану не могла от души порадоваться вести, потому что привыкла, что самое дурное как будто прячется и прибергается напоследок: сперва пробуждается маленькая надежда, а потом приходит большое горе.

Христианская девка воспользовалась в степи чистотой, простотой Махмуда, и Гамарбану, сговорившись с христианской девкой, могла поощрять такие встречи, и, наверное, затраты были бы не более десяти серебряных монет, самое большее — отправила бы им дойную корову (доносили, что, кроме одной козы, у них ничего нет), либо велела бы доставить девчонку во дворец, дала бы ей место служанки, а там видно было бы; но, обдумывая вести, принесенные Сафи, Гамарбану начинала все больше беспокоиться.

Сафи принес весть, что, кажется, Махмуд хочет жениться на дочери священника по прозвищу Хмурый Пастырь.

Что же за колдунья эта девушка, если так искусна в столь юные годы? Что за аппетиты и смелость у ее отца, если он питает такие замыслы? Конечно, и дочку, и отца нетрудно втоптать в землю, но Гамарбану слишком хорошо знала, что, если нанести рану сердцу Махмуда, рана эта не заживет, и потому надо быть очень осторожной.

В том и была трудность.

Гамарбану вызвала Сафи, поручила ему пойти и хорошенько разглядеть дочку Пастыря, узнать, что это за птица.

Сафи, выйдя из дворца, направился к далекой слободе, где жил Хмурый Пастырь, и Сафи казалось, что он увидит девушку, подобную кокетливой лани, увидит, что брови у нее — как тетива лука, глаза — как агат, нос — индийский орешек, грудь бела, как самаркандская бумага, но Сафи увидел босоногую смуглянку и худышку, которая, присев на корточки, доила во дворе козу, и искренне удивился этому...

...Сафи и впоследствии часто удивлялся этому, но ни в первый раз, ни много позже Сафи не приходило в голову, что на Мариам надо смотреть глазами Махмуда.

...После Сафи Гамарбану позвала к себе Гысыр Гары, велела ей разузнать все о христианской девке, и Гысыр Гары, подтягивая юбку, подтирая нос, побежала в слободу Хмурого Пастыря и наутро, прибежав обратно к Гамарбану, с трудом, так как всю жизнь всех осуждала, на всех клеветала, произнесла хорошие слова:

— Клянусь Кораном, который я прочтала, намазом, который я совершила, удивительное дело... У этой милой христианской девчонки сердце мягкое, как у Захры... — потом, поняв, что при Гамарбану уподобила дочь христианина дочери пророка Мухаммеда, супруге имама Али, льва ислама, Гысыр Гары произнесла: — Астаг-фурулла! (Прости, господи!)

Если уж такая нечестивца, как Гысыр Гары, такое несла, выходит, Гамарбану зря ругала Сафи.

Долго думала Гамарбану и наконец попросила Мирзу Салмана пойти и узнать что-либо о дочери священника у знакомых ему образованных христиан. Через некоторое время Мирза Салман вернулся обратно и, наматывая на указательный палец узкий конец длинной бороды, сказал:

— Девушка умна, как Биглеис, которую ее единовверцы называют царицей Савской.

Гамарбану, поднявшись с тюфячка, на котором сидела, подогнув колени, посмотрела на Мирзу Салмана, как всегда, стоявшего перед ней в ожидании, и сначала будто не знала, о чем спросить, о чем не спрашивать, потом вяло проговорила:

— Ну а ты, Мирза... Что ты советуешь, Мирза?

Любопытно, в молодые годы, которые теперь казались такими давними, приходило ли Гамарбану в голову, что Мирза Салман, стоящий теперь перед ней старик, нескончаемыми долгими и суровыми ночами мечтал о ней? Мирзе Салману всегда казалось, что Гамарбану никогда об этом не знала и никогда об этом не узнает. При мысли об этом сердце Мирзы Салмана окутывала печаль, но теперь впервые в жизни Мирзе Салману почему-то показалось, что Гамарбану всегда знала о чувствах, разрывавших ему душу...

Это открытие наполнило сердце Мирзы Салмана горестным сожалением: те бурные, те пламенные чувства, которыми он в свое время жил, остались в недосгаемой, недостижимой дали, и придет время, когда на свете не будет ни Мирзы Салмана, ни Гамарбану, и от тех чувств, которыми жил Мирза Салман и о которых, оказывается, знала и Гамарбану, ничего не останется, чувства эти словно растворятся в воздухе, исчезнут и не оставят следа в этом мире.

Мирза Салман не мог больше оставаться лицом к лицу с Гамарбану.

— Совет даст Аллах, — сказал он и, не дождавсь разрешения, вышел.

Гамарбану посмотрела Мирзе Салману вслед.

Дверь осторожно закрылась за Мирзой Салманом. На эту дверь пошло ореховое дерево, привезенное из лесов Шахдага, и гянджинские каллиграфы нанесли раствором золота на эту дверь рисунок по методу искусного музеххиба Султана Мухаммеда Табрези, и эта дверь достойна была открываться и закрываться в Хешт-бехиште — дворце Шаха Исмаила в Тавризе. Гамарбану вслепа в центре двери золотыми буквами написать слова: «Нет Бога, кроме Аллаха», и, когда Мирза Салман закрыл за собой дверь, взгляд Гамарбану упал на эти слова.

Гамарбану чувствовала, что все, что у нее на сердце, все ее страдания лучше всех понимает Мирза Салман; Гамарбану казалось, что Мирза Салман знает и об ее грехах.

Мирза Салман сказал: «Аллах даст совет», — то есть не вмешивайся в дела Аллаха, не совершай на этот раз никаких деяний и не грешь, то есть прими брак ханского сына Махмуда (единственного наследника гянджинского престола Махмуда, моего Махмуда, которого я рожала девять лет, чистого, непорочного, как стих Корана, Махмуда!) с пасущей козу христианской девкой; но если Мирза Салман такой умный,

почему он тогда не пояснит, отчего Аллах вложил в сердце Махмуда любовь к нечестивой девке, отчего Аллах не разжег эту любовь в сердце какого-нибудь поповского сына, чтобы он жил на этом свете с поповой дочкой в радости и веселье и чтобы никакого соблазна не было и никто не страдал? Ведь в Коране сказано: что бы с нами ни происходило, Аллах записал это у нас на лбу; в чем же причина новой невзгоды, Мирза Салман? Аллах отвернул от меня лицо свое, Мирза Салман, и сердце чувствует, что у Махмуда моего страшная рана, Мирза Салман, он попал в большую беду; а если сын попал в беду, разве седая старая мать не плачет, восклицая «сынок!», а, Мирза Салман? Ведь когда плачешь, должны течь слезы, и ты видишь, как рано поседела, как рано постарела Гамарбану — разве не отшатывается она, увидев поутру себя в зеркале? Моя судьба, Мирза Салман, моя беда... И не грущу я, и не радуюсь; день для меня стал вечером, Мирза Салман, день и ночь не вижу я просвета, смертный холод охватил мои ноги, нет больше надежды на выздоровление...

...А в это время Мариам и Махмуд гуляли по той же равнине, держась за руки.

Белая Коза, опустив голову, шла впереди.

С первой встречи прошло семь дней, и семь дней уже Махмуд и Мариам встречались на равнине.

— Когда вчера мы с тобой расстались, я пришла домой, и, знаешь, мне показалось... кого-то не хватает... не тебя... но как будто кого-то нет...

— Знаю...

— Знаешь, что недостает кого-то?

— Когда-нибудь мы вот так будем гулять по равнине, а за нами будет идти мальчик...

— Да, да... маленький мальчик будет похож на меня...

— Потом будет идти девочка...

— Да, да... А девочка будет похожа на тебя...

— Потом еще одна девочка...

— На тебя похожая...

— И еще один мальчик...

— На меня похожий...

— Ты видел, когда курица идет, а за ней цыплята следом? Ребенок будет пить молоко из моей груди... будет сосать, да?

— Да... Ты будешь давать ему молоко... Он насосется молока и отстранится от груди... Потом посмотрит на тебя и улыбнется...

— Да, да... Посмотрит и улыбнется... А когда проголодается, скривит губки...

Мариам сжала руки Махмуда.

Семь дней мысли и унесли не только заботы, одиночество, тишину и очевидную теперь бессмысленность прошедших лет: семь дней мысли и унесли также радости, впечатления и волнения прежних лет, потому что эти семь дней были заполнены новыми впечатлениями, новыми радостями, целиком захватившими Махмуда и Мариам. Ни Махмуд, ни Мариам и представить себе не могли, что на свете могут быть такие семь дней, но теперь они забыли, что не могли себе прежде это-

го представить; во всем мире был только Махмуд и была только Мариам, и мир был широк, свободен, приветен.

Теперь был полностью забыт и страх, который промелькнул в сердце Мариам в первый день, под весенним дождем, пролившимся на равнину в часы дневного зноя, и Мариам забыла, что Махмуд некрещеный.

Белая Коза остановилась.

Махмуд с Мариам тоже остановились.

— И Белая Коза будет с нами...

Белая Коза как будто поняла, о чем подумала Мариам, и, подняв голову, заблела.

Махмуд и Мариам, опустившись на корточки, присели друг против друга на коленях.

На широкой равнине, кроме них, никого не было.

Под ярко-голубым небом, объявшим все вокруг, они были совершенно одни.

Махмуд обеими руками взял Мариам за руки и посмотрел на каштановые волосы девушки, на ее черные глаза, на ее смуглое лицо, на ее тонкую шею, на ее высокую грудь, на ее согнутые округлые колени, и внезапно Махмуду показалось, что на этой пустынной равнине он услышал голос того молодого певца, привезенного с Карабахских гор, но в его ясном голосе теперь не было никакой печали, его голос был светел, и Махмуд изумился, как это в свое время он ушел с торжества, не дослушав молодого певца?

Молодой певец был первым человеком, вспомнившимся Махмуду за эти семь дней. Разве не странно, что в свое время Махмуду казалось, что огромный мир, такой просторный, свободный, привольный, — клетка, в которой сжимается сердце.

Махмуд провел руками вверх по рукам Мариам, скользнул по ее плечам, по ее шее, задержал их на ее округлой груди, потом просунул обе руки в вырез ситцевого платья Мариам. Ситцевое платье Мариам соскользнуло с плеч и соскользнуло по груди, по талии вниз, груди Мариам обнажились и глянули розовыми сосцами прямо в глаза Махмуда; как будто и тело Мариам, с его свежестью и теплом, тоже тосковало по этому простору, приволью мира и теперь вышло на свободу.

Мариам припала к рукам Махмуда.

Все тело Махмуда трепетало с непонятным ему, неосознаваемым чувством.

И вдруг Мариам показалось, что в стороне, среди выгоревших до соломенной желтизны кустов, что-то шевельнулось, и Мариам с пугливостью птицы встрепенулась, внимательно поглядела в ту сторону, и Махмуд поглядел в ту сторону, куда смотрела Мариам, потом встал, пошел туда.

Тихонько лежавший на земле под прикрытием кустов человек, увидев, что Махмуд идет вправо в его сторону, стал отползать назад, потом понял, что, если он будет так ползти задом, Махмуд его настигнет, встал и, перепрыгивая через кочки и кусты, скрылся из глаз.

Махмуд заметил бритую голову еще и в кустарнике поодаль, и хозяин этой бритой головы, Ибрагим, которого гянджинцы звали Отрезавший Соски Матери, не усидел в засаде под взглядом Махмуда и встал.

Махмуд направился к Ибрагиму.

Ибрагим, Отрезавший Соски Матери, увидел в глазах Махмуда такую печаль, такую боль, что эта печаль, эта боль поразила даже такого толстокожего человека, как он, поразила настолько, что Ибрагим, Отрезавший Соски Матери, впервые в жизни испытал раскаяние, сожаление и пробормотал:

— Я не по своей воле пришел... Твоя мать послала... — и бочком-бочком удалился.

Конечно, ни Махмуду, ни Мариам не могло прийти в голову, что на этой спокойной, просторной, чистой и привольной равнине все семь дней они постоянно были на глазах у нанятых Гамарбану соглядатов; и в первый день, под тем внезапно обрушившимся дождем, соглядаты, прильнув к земле, издавывая с удовольствием наблюдали за ними, и у Ибрагима, Отрезавшего Соски Матери, при виде намоченного тела Мариам потекли слюны, как у быка, больного ящуром, и все семь дней соглядаты Гамарбану одновременно и следили за Махмудом и Мариам, и охраняли их, так что гянджинские плуты, дрессирующие людей вместо обезьян, бандиты, грабители, из страха перед ними не показывались в окрестностях.

Махмуду стало понятно, что вся эта свобода и приволье, это спокойствие и простор были охраняемыми свободой, привольем, спокойствием и простором.

Махмуд, обернувшись, посмотрел на Мариам.

Оставшаяся сидеть с поджатыми ногами Мариам в сравнении с безграничностью этой равнины была очень маленькой, одинокой и беззащитной.

Мариам, подняв взгляд, посмотрела в сторону Махмуда и только теперь — через семь дней — вспомнила, что Махмуд не ходит в церковь, что целых семь дней сама Мариам тоже ни разу не ходила в церковь.

Мариам впервые за эти семь дней ощутила страдание...

...Хмурый Пастырь тоже страдал.

Ровно семь дней как Хмурый Пастырь видел воочию: что-то произошло, и Мариам — не та Мариам, что была прежде, и ровно семь дней в сердце Хмурого Пастыря, и без того удрученного делами мира сего, ныла новая рана.

Правда, Хмурый Пастырь всегда был чист перед Господом и ни одного мгновения своей жизни не прожил без Бога, и поэтому он знал: врата Святой Обители будут открыты перед ним, и в миг последней крайности Святой Старец не оставит его без помощи, но почему так должно было быть, чтобы дело дошло до последней крайности?

Хмурый Пастырь всю жизнь жил в тревоге, потому что всю жизнь проводил в окружении нечестивцев, всю жизнь был свидетелем низких чувств, скверных дел, темных страстей; и в церкви, исповедуя своих единоверцев, Хмурый Пастырь порой приходил в ужас от того, на какие немислимые преступления способна человеческая страсть, в какой омут затягивают и детей апостольской церкви жадность к золоту, похоть, тщеславие.

Хмурый Пастырь на протяжении всей жизни своей видел несправедливость, порабощение, корысть, разврат и всегда свято верил, что

надо терпеть. Разве кочевники не украли скот Иова, разве молния не поразила его отары, разве разбойники не увели его верблюдов и не перебили мечами погонщиков, но и этого было мало, ураган разрушил его дом, умерли семь его сыновей и три дочери, зачервивело тело. И что сделал Иов? Иов терпел.

В этом мраке, затопившем людские сердца, залившим все вокруг, единственным светом, заставлявшим Хмурого Пастыря жить, дающим Хмурому Пастырю силы, были Христос и его учение, да еще... Мариам.

Иногда Хмурый Пастырь пугался своего чувства к дочери, потому что любить рабу Божию Мариам, как Бога, было грешно, но чистота Мариам, простота Мариам снимала с него этот грех.

Что же произошло с Мариам?

Мариам никогда в жизни ничего не скрывала от отца, и вообще что могло быть в прозрачной жизни Мариам такого, что ей надо было бы скрывать от отца? Но теперь Хмурый Пастырь чувствовал: есть нечто у Мариам, чего он, ее отец, не знает.

Так было дважды, это был третий раз.

В первый раз это было тогда, когда Мариам подрастала и однажды, проснувшись, увидела себя в крови и целую неделю дрожала от страха; второй раз это было нынешней весной, когда ей стали сниться причудливые сны, и Хмурый Пастырь понял, что природа делает свое дело и Мариам начинает пробуждаться вместе с весенней землей.

Теперь наступил третий раз, и Хмурый Пастырь догадывался, что произошло нечто более существенное, более серьезное.

Семь дней Хмурый Пастырь думал о том, что же случилось с Мариам, и это мучило Хмурого Пастыря, потому что он предчувствовал что-то дурное, что-то недоброе. Хмурый Пастырь ничего у Мариам не спрашивал, ибо если Мариам было что сказать, она должна была сказать сама, Хмурый Пастырь не должен был ни к чему принуждать ее.

Но сегодня вечером, вернувшись из церкви, сев за деревянный стол и взглянув в лицо Мариам, поставившей перед ним миску простокваш и тендырский чурек, он не удержался и спросил:

— Что с тобой?

Мариам посмотрела на отца. Каждая морщинка на лице Хмурого Пастыря была знакомой и родной; другим казался грозным прямой взгляд из-под широких сросшихся бровей Хмурого Пастыря, но для Мариам этот прямой взгляд был родным и ласковым; и, наверное, Анне этот прямой взгляд тоже казался родным и ласковым.

Но тут Махмуд снова появился перед мысленным взором Мариам, и Мариам забыла про чужих людей, убежавших сегодня днем из-за кустов на соломенно-желтой равнине — их равнине, — и снова стала самой счастливой на свете. Хмурый Пастырь спрашивал Мариам о причине ее счастья, и Мариам улыбнулась:

— Ты Махмуд не знаешь, — сказала она.

Все стало ясно.

Мариам, его чистая, ясная Мариам, видевшая во сне Святую Деву и младенца Христа, Мариам, ощущавшая во чреве своем то, что ощущала Пречистая, влюбила в магометанина.

Хмурый Пастырь, долгие годы исповедуя разных людей, научился узнавать их, угадывать, что у них на сердце, и Хмурый Пастырь прочитал по улыбающимся и как бы отсутствующим глазам Мариам — частицы его плоти, — что Мариам привязывает к Махмуду не мимолетное девичье чувство, и еще он понял, что это несчастье.

В жизни все можно было вынести, и Хмурый Пастырь вынес бы все, но поругание веры Христовой вынести было невозможно.

Мариам была чиста и могла и должна была осчастливить христианина. Мариам могла и должна была стать матерью христианина, ибо мир был таков, что и среди христиан много званых, но мало избранных, и Мариам могла и должна была увеличить число избранных.

— Может, ты видел Махмуда? Это сын Зияд-хана...

Хмурый Пастырь не ответил, устремил взгляд своих суровых глаз из-под широких сросшихся бровей в стоящую перед ним миску и, сухими пальцами кроша чурек в простоквашу, попытался заглушить поднимающийся к горлу безысходный страх.

Мариам, простая душа... Смотри, как просто она об этом говорит, произнося эти слова как обычные слова, и не ведает о пропасти, что зияет за этими словами. Невинное дитя...

Итак, значит, ханский сын во всей огромной Гяндже не мог упустить Мариам... Не довольно ли того, что тысячи дев христианских служат в гаремах неумной похоти нечестивых и развратных султанов, шахов, ханов, беков? Распутники и разбойники, не они ли скрывают под чадрами своих жен и дочерей, но берут на поругание даже невест Христовых? Распутники и разбойники, не они ли хватают христианских девушек даже в церкви, в доме Господнем, и насилюют по очереди, и продают в рабство нечестивым? Что же, всего этого не достаточно?

Хмурый Пастырь по счастливому лицу Мариам ясно видел, что на этот раз речь идет не о насилии, но это не имело значения; последний свинопас был бы в тысячу раз выше ханского сына — сына нечестивцев-мусульман, и если бы дочь его, плоть от плоти его, ласкала нечестивца, мир занялся бы огнем и сгорел в пламени, ибо что тогда осталось бы на свете и как человек мог бы жить? Если бы и такая чистая, как Мариам, забыв о Боге, бросилась в объятия мусульманина, тогда... тогда все было бы ложью.

Хмурый Пастырь вздрогнул от самой этой мысли; сердце Хмурого Пастыря жгла такая ярость, такая ненависть к нечестивцам-магометанам, что казалось, мир и вправду рухнет, ибо даже погрязший в грехах, и насилнии, и неправде, но обычный мир не мог бы ни породить, ни вынести этого. Мариам ничего не знала о мире, Мариам чиста, Мариам дитя, и Мариам надо было защищать, надо было спасать, а с ней и весь его мир, который уже горел и рушился.

У Зияд-хана длинные руки. У Зияд-хана очень цепкие руки, и все окрестности были полны соглядатаев.

Что делать?

Тело Хмурого Пастыря было натянуто, как струна.

Что делать?

В Святую Обитель! В Святую Обитель! К Святому Старцу! Дверь Святой Обители отверзнется перед Пастырем. Святой Старец ему помо-

жет. У верных рабов Божьих нет такого горя, коему не нашлось бы исцеления в Святой Обители...

...В тот вечер и Гамарбану без предупреждения вошла в комнату Зияд-хана.

Сидевшие, скрестив ноги по-турецки, перед Зияд-ханом и обсуждавшие что-то Баяндур-бек и другие придворные встали и, поклонившись Гамарбану, вышли из комнаты; это было впервые, что Гамарбану превалила созданное Зияд-ханом совещание.

Зияд-хан, подняв брови, пристально посмотрел на Гамарбану; Зияд-хан понимал, что, если бы не нечто чрезвычайное, Гамарбану вот так бы не пришла.

— Ты знаешь о Махмуде?

В последние годы это было впервые, что Гамарбану задала мужу такой вопрос; Гамарбану без него переживала свое горе, без него искала выход; с течением лет между Гамарбану и Зияд-ханом воздвиглась незримая стена, и связано это было с тем, что она знала, а он не знал, но теперь и он знал, и стену необходимо было разрушить, и Махмуда сообща надо было спасать.

Узкие глазки хана усмехнулись:

— Влюбился в поповскую дочку?

Зияд-хан так и не понял, какие тучи сгустились над головой их сына. Или он просто хочет избежать трудных разговоров? Но разве можно не увидеть, что уже дошло до крайности — нож уперся в кость?

Зияд-хан снова усмехнулся:

— Я в его годы тоже был влюблен в тебя...

— Я дочь Музаффар-аги, а не поповская дочка! И Махмуд не ты!..

Улыбка стаяла, сошла с тонких бескровных губ Зияд-хана, и Зияд-хан будто в одно мгновение постарел, спина его ссутулилась.

— Да, — сказал он, — Махмуд не Зияд-хан...

В этих словах не было и следа гордости; в этих словах было такое сожаление, такая боль, что Гамарбану поняла: Зияд-хан, избегая разговоров о Махмуде, просто не хотел бередить сердечную рану.

Этот изменившийся в одно мгновение облик Зияд-хана и эта мысль так подействовали на Гамарбану, что она не могла больше сдерживаться, вся воля внезапно покинула ее, и Гамарбану, медленно опустившись на колени, бессильно уткнулась лбом в ковер и среди судорожных рыданий еле выговорила:

— Сегодня... Сегодня... в степи... он увидел моих людей... Вошел ко мне... и так посмотрел на меня... мне хотелось удавиться, Зияд!.. Мне хотелось умереть... Из-за него не повесилась, Зияд... из-за него...

Зияд-хан погладил волосы Гамарбану, выбившиеся из-под шелкового платка, — Зияд-хан и не подозревал, что Гамарбану так поседела.

Зияд-хан произнес стих из Корана:

— Каждое существо, имеющее душу, должно умереть по воле Аллаха и в соответствии с определенной для него книгой жизни...

— Нет... ради него живу...

— Успокойся...

— Я не могу найти покоя, Зияд... Мне страшно...

— Успокойся... я велю привести девушку... Бог даст, все наладится...

— Махмуд на это не согласится... И про попа нехорошо говорят, Зияд...

— Знаю. Но что капля против моря? Что этот поп против меня?

— А Махмуд? Махмуд хочет жениться на ней, Зияд...

Зияд-хан молчал.

Настала ночь.

Гамарбану, подняв лоб от пола, в слезах смотрела на Зияд-хана. Зияд-хан сказал:

— Иди спать... Чем добро в ночи, лучше зло поутру. Иншаллах, утром все наладится...

...Ни Зияд-хан, ни Гамарбану не знали, что, напротив, утром все разладится...

В эту ночь Хмурый Пастырь просил последнего совета у матери Мариам.

Все изменилось, Мариам стала взрослой, у Хмурого Пастыря в волосах и бороде появилась седина, в эту ночь его волосы еще больше поседели — только мать Мариам была почти такой, как Мариам теперь, только глаза у нее были знающие.

Родной и ласковый голос прошептал:

— Нет. Праведно только наша вера. Дитя, вышедшее из моего лона, не может спать в объятиях магометанина, — прошептал ее голос. — Идите, — прошептал ее голос. — В добрый путь, — прошептал ее голос. — Я буду с вами...

Когда Хмурый Пастырь, увязав котомку, пошел будить Мариам, на губах Мариам блуждала легкая улыбка, и Мариам спала с этой улыбкой на лице. Хмурый Пастырь понял, что Мариам видит во сне что-то хорошее, постоял, подождал, чтобы Мариам досмотрела весь сон до конца, чтобы эта улыбка сошла с губ Мариам, но улыбка не покидала губ Мариам, а ночь не ждала, и Хмурый Пастырь сухими пальцами сначала погладил Мариам по каштановым волосам, а потом разбудил.

VII

— Сафи!

Сафи еще раз услышал свое имя, но не понял, это во сне или наяву, и снова услышал свое имя, и внезапно вскочил и подумал, что его опять зачем-то будят люди Гамарбану, но в дверь никто не стучал, и тут Сафи узнал голос, позвавший его, хотя утро еще не наступило.

Сафи позвал Махмуд.

Сафи было сорок шесть лет, и тридцать лет из своей сорокашестилетней жизни Сафи верой и правдой служил Гамарбану: сначала был слугой во дворце отца Гамарбану — Музаффар-аги, потом вместе со слугами и служанками Гамарбану переселился во дворец Зияд-хана и ровно семнадцать лет нянчил Махмуда.

Комнаты Махмуда и Сафи были смежными.

Давно уже Махмуд так не окикал Сафи.

— Сафи!

Сафи вскочил и побежал к Махмуду.

Махмуд в белой ночной сорочке сидел на корточках в постели, и лицо Махмуда было таким же белым, как его сорочка; Сафи понял: что-то случилось.

В последнее время Сафи иногда казалось, что лицо Махмуда излучает сияние, точно длань пророка Мусы, но теперь и в лице Махмуда, и в его больших голубых глазах был страх.

Сафи поглядел в эти очи, которые от страха стали еще огромнее:

— Я видел смутный сон, Сафи!..

У Сафи отлегло от сердца.

Сафи всегда говорил, да и про себя думал, что на свете, кроме Махмуда, у него никого нет; Сафи до сих пор не женился, потому что не было времени, и зимой желание утешал при случае со служанками и невольницами во дворце, а потом, когда отправлялись на яйлаг, — с деревенскими вдовушками, но не женился; правда, прежде Гамарбану изредка намекала Сафи на женитьбу, и Сафи знал, что Гамарбану желает ему добра: ведь Сафи был для Гамарбану своего рода памятью о детских годах, об отце и матери, и она бы женила Сафи на честной девушке, но Сафи чувствовал и то, что, говоря откровенно, совсем уж откровенно, Гамарбану не хотела, чтобы у Сафи были какие-либо заботы, кроме забот о Махмуде, и, действительно, у Сафи, кроме Махмуда и еще страданий Гамарбану, больше не было никаких забот.

Махмуд не отводил глаз от Сафи:

— Это был смутный сон...

Сафи хотелось вернуться на свое место и хорошенько выспаться до утра, и он не стал тянуть Махмуда за язык:

— Иншаллах, все будет хорошо...

Люди пересказывали тысячи снов, рассказывали о каких-то таинственных совпадениях; однажды даже такая умная женщина, как Гамарбану, три дня и три ночи держала во дворце исфаганского плута с паршивой лисой, кормила-поила, чтобы он нашел средство от бесплодия; Сафи не верил ни в сны, ни в приметы, на колдунов-дервишей, волшебников-сеидов, алхимиков, будто бы превращающих серебро в золото, смотрел как на мошенников; Сафи был человеком от земли и все видел так, как оно есть.

— Нет, Сафи, нет!.. Мне снился разоренный сад... — Махмуд устремил взгляд в неведомую точку поверх головы Сафи и, сосредоточив все свое внимание, старался вспомнить, что видел во сне. — Потом поднялся ураган... Потом, кажется... кажется, я увидел Мариам, Сафи...

Махмуд говорил так серьезно, с такой болью и волнением произносил эти неясные слова, что Сафи ощутил что-то вроде страха и стал утешать Махмуда, а с ним и себя:

— Люди каждую ночь видят тысячи снов, разве все они сбываются?

Вдруг Махмуд подскочил на постели и как будто снова явственно увидел то, что было во сне:

— Это была Мариам, Сафи!.. Мариам попала в ураган!..

Махмуд соскочил на пол и мгновенно выбежал из спальни во двор.

Это было так неожиданно, что Сафи совсем растерялся, сначала хотел поднять шум и разбудить Гамарбану, но на это не было времени, и он побежал за Махмудом.

Махмуд бросился к воротам дворца.

Дворцовые стражи привыкли к странностям ханского сына, но на сей раз, увидев, как еще в темноте Махмуд босой, простоволосый, в белой ночной сорочке, бежит к воротам, просто остоленели и не знали что делать.

Добежав до ворот, Махмуд изо всех сил закричал:

— Отворите, отворите!

Стражи никогда не слышали, чтобы ханский сын говорил так резко, им показалось даже, что это кричит сам Зияд-хан, — такая власть была в голосе Махмуда; стражи торопливо отворили ворота, Махмуд выскочил и побежал.

Сафи, тяжело дыша, бежал следом.

Гянджа еще не проснулась.

Улицы, которые вскоре заполнятся людьми, были совершенно пусты. Прошел предрассветный моросивый дождик, и пыль на улицах улеглась, они были чистыми. Рано вставшие башмачники, зеленщики, мясники, кузнецы, шашлычники мягкими вениками подметали перед лавками и мастерскими, поливали землю водой; завидев бегущих друг за другом двух человек в длинных ночных сорочках, прерывали свое занятие, смотрели на бегущих, но, когда они скрывались из глаз, снова начинали подметать и поливать.

Люди в Гяндже много чего видали, и удивить их было нелегко.

У Сафи сердце готово было выскочить изо рта, но передохнуть он не мог; Махмуд не обращал внимания на мольбы Сафи, ни разу не остановился, даже не оглянулся. Махмуд словно обезумел, и Сафи, задыхаясь на бегу, подумал о Гамарбану: бедняжка!

Гуляя по янтарно-желтой равнине, Мариам как-то показала Махмуду свой маленький белый домик на окраине Гянджи.

Они уже добрались до окраины Гянджи, когда Сафи учуял запах шашлыка.

Во дворе маленького белого домика поднимался дым костра.

Махмуд увидел этот маленький белый домик, увидел поднимающийся со двора дымок и умерил шаг, потом остановился.

Сафи, задыхаясь, догнал Махмуда и, сунув руку под ночную сорочку, стал сдерживать сердце, едва не вырвавшееся из груди, а потом с трудом произнес:

— Дай тебе... Аллах... совесть...

Махмуд ничего не сказал.

Сафи посмотрел в глаза Махмуду, потом посмотрел на маленький белый домик, на который смотрел Махмуд, посмотрел на дым, идущий со двора, и удивился: что за шашлык в такую рань?

Махмуд медленно подошел к белому домику.

Это действительно был дом Хмурого Пастыря.

Махмуд легонько толкнул калитку и вошел во двор, огороженный кустами держидерева.

Сафи вошел след за Махмудом.

Четверо мужчин сидели, скрестив ноги, посреди двора, и на грязной тряпке, растеленной перед ними, лежала грудка шашлыка. Рядом горел костер, угли они сгребли в сторонку, над ними, наколотые на деревянные, жарились куски мяса и поднимался дым.

Этих людей, рты и руки которых лоснились от жира и были перепачканы запекшейся кровью, соком шашлыка, прикрывали такие лохмотья, что джинни испугался бы; вытираючи глаза, они смотрели на внезапно возникших пришельцев в ночных сорочках.

Самый дюжий, в рваной холщовой рубашке, с чем-то вроде собачьего хвоста на голове, с большой железной серьгой в правом ухе, прыщавый и одноглазый (другой его глаз бедел, как яйцо ящерицы) босой мужчина внимательно посмотрел на Махмуда и сказал:

— Клянусь могилой Шахи-Наджафа, это сын Зияд-хана!

Другие, будто не поверив этому, с интересом воззрились на Махмуда.

Сафи узнал одноглазого верзилу: в округе не нашлось бы никого, кто не знал бы знаменитого нищего Гянджи Попрошайку Исраила.

Попрошайка Исраил поднялся на колени и сказал:

— Присаживайтесь! Угодяйтесь!.. Накажи меня святой Аббас, если я когда-нибудь съел такой вкусный шашлык!..

Махмуд чувствовал, что от шашлычного дыма у него кружится голова, и, кроме дыма, и шашлыка, и нищих, тут есть что-то еще, и в эту минуту Махмуд увидел брошенную в угол двора голову Белой Козы.

Голова Белой Козы стояла прямо. Кровь запеклась на шее Белой Козы, глаза ее были открыты, и эти открытые мертвые глаза были равнодушны ко всему на свете.

Попрошайка Исраил провел своей большой ладонью по лысине соседа.

— Это не простой плешивый! — сказал он. — Его называют Плешивый Нохуду. Плешивый Нохуду все знает! Айрана выпьет, кошку оседласт!

Всё громко рассмеялись, Попрошайка Исраил встал, пошел за головой Белой Козы и мимоходом смачно сказал Махмуду:

— Вырву у нее язык и сделаю из него шашлык для дорогого гостя!.. Шашлык из языка — самый лакомый шашлык!.. Да вы садитесь... Садитесь...

Попрошайка Исраил схватил голову Белой Козы за рога, поднял ее. В глазах Махмуда появилось выражение боли и ужаса, Махмуд смотрел на голову Белой Козы, которую держал в руке Попрошайка Исраил.

Попрошайка Исраил сунул в рот Белой Козы большие мясистые пальцы обеих рук и начал силой разводить челюсти.

Рот Белой Козы медленно открывался, и сквозь сильные и толстые пальцы Попрошайки Исраила просунулся ее тонкий язык.

Внезапно из груди Махмуда вырвался вопль, и даже у Сафи, за сорок шесть лет жизни слышавшего немало воплей, волосы встали дыбом, и даже Попрошайку Исраила ошеломил этот вопль.

— Сафи!.. Сафи!..

Махмуд не мог найти других слов, белая рубашка Махмуда, прилипшая к телу, стала краснеть, и Сафи в ужасе подумал, что Махмуда прошиб кровавый пот, из тела его выступила кровь.

— Сафи!.. Сафи!..

Махмуд не мог найти других слов, но всю боль своего сердца вместил в одно это слово.

У Попрошайки Исраила, разрывавшего рот козы, опустились руки. Попрошайка Исраил и его приятели ошеломленно главели на Махмуда и не могли понять причины душераздирающего вопля.

— Сафи!..Сафи!..

Махмуд, сорвавшись с места, ринулся со двора, пропахшего шашлычным дымом, и бегом, сколько было сил, помчался прочь от дыма, от запаха шашлыка.

Сафи побежал вслед за Махмудом.

Запах шашлыка не отставал, не иссякал, словно пропитал и сорочку Махмуда, и его тело.

Оставшиеся в этом маленьком, безмолвном, укромном уголке Попрошайка Исраил и его друзья переглянулись. Попрошайка Исраил первым пришел в себя и выругал Махмуда, который вдруг появился в самый разгар веселья и устроил шабих — представление в память убиенного имама Гусейна.

— Полоумный какой-то!

И действительно, кто как не полоумный может испугаться отрезанной козьей головы и самой вкусной еды на свете — шашлыка из козьего языка?

Попрошайка Исраил вновь хотел раскрыть рот Белой Козы и вырвать и изжарить ее язык, но тут произошло событие, вызвавшее изумление всей Гянджи: руки Попрошайки Исраила не послушались его.

Обе руки Попрошайки Исраила ниже локтя отсохли.

Сидевшие у костра его друзья-нищие, поднявшись, с трудом вырвали голову Белой Козы из высохших неподвижных пальцев Попрошайки Исраила.

С того утра Попрошайка Исраил, бывший грозой нищих, голодных, бездомных, стал самым жалким из них, и дошло до того, что у него отнимали даже милостыню, которую он собирал, а вскоре ничего не осталось от большого сильного тела Попрошайки Исраила, он съелся, сохся, забылась прежняя клочка Попрошайки Исраила: все называли его Исраил-Коза, потому что Исраил вдруг ни с того ни с сего начинал бляеть, как коза; сидя на углу одной из улиц, ведущих к базару, он просил милостыню, бляя, как коза, и медные монеты, которые бросали ему прохожие, хватили стерегущие в засаде мальчишки и убежали; а однажды зимой Исраил-Коза пробляял с вечера до утра и умер...

...Ни в это утро, когда они вбежали во двор Хмурого Пастыря, ни после, раздумывая над этим, Сафи никак не мог понять, откуда Попрошайка Исраил и другие нищие в ту же ночь узнали, что двор обезлюдел, что коза осталась без хозяев? Впоследствии, когда он стал богатым человеком, Сафи однажды рассказал эту историю подопедшему к его дому нищему и задал ему этот вопрос. Нищий, усмехнувшись в поседевшие

длинные усы, сказал: «Господин, безлюдье и разорение имеют свой запах...»

...Во дворце был переполох: поп ночью забрал дочку, в которую влюблен Махмуд, и ушел из Гянджи, и сын Зияд-хана хотел отправиться на поиски увезенной христианской девки.

Странное дело, Зияд-хан не любил сидеть на троне, которым овладел и который удерживал с таким трудом и мучениями: он всегда сидел, скрестив ноги, вместе с векилом и визирем на тюфячках, разложенных на ковре; только в самые грозные, самые трудные времена поднимался он на трон.

Сейчас Зияд-хан сидел на троне. Гамарбану сидела справа. Все их приближенные стояли наготове и ждали повелений.

Зияд-хан больше не хотел ни от кого ничего скрывать, не хотел и сам себя обманывать: судьба наследника, в сущности, была судьбой ханства.

Узкие глазки Зияд-хана покраснели.

— Велю сегодня же найти попа и содрать с него кожу. А дочку привести во дворец. Баяндур-бек!

Стройный, высокий и красивый Баяндур-бек сделал шаг вперед:

— Слушаю, хан.

— Даю тебе срок до вечера. Махмуд ничего не должен об этом знать.

Баяндур-бек был умный и отважный человек, которого в последние годы привечал и продвигал вперед Зияд-хан. Когда хан порой замыкался в грустных размышлениях о продажности и двуличии своего окружения, Баяндур был единственным человеком, вспомнив которого, Зияд-хан находил утешение, потому что и ум, и меч Баяндур с искренней преданностью служили Зияд-хану; когда нужно было хранить тайну, когда дело было сугубо доверительным, Зияд-хан выполнял его рукой Баяндур-бека; все дарга — управляющие округами были подчинены Баяндур-беку, и, по сути дела, Баяндур-бек был также и командующим войсками.

Баяндур-бек поклонился и сказал:

— Продли срок до завтрашнего утра, хан.

Баяндур-бек должен был выполнить поручение Зияд-хана во что бы то ни стало; Баяндур-бек никогда не говорил попусту, и все поняли, что Баяндур-бек сомневается в том, сможет ли найти попа до вечера, но до завтрашнего утра хоть из-под земли достанет, и всем было совершенно ясно, что завтра с попа слерут шкуру живьем.

Мирза Салман, приложив ладонь ко рту, дважды тихонько кашлянул. Зияд-хан, сердито взглянув на Мирзу Салмана, спросил:

— В чем дело, старик?

Мирза Салман сделал шаг вперед, поклонился и, наматывая конец узкой длинной бороды на указательный палец, сказал:

— Природа наша двойственна: в любом есть и тело, и душа, но разделять эти два естества волен только Аллах, потому что он — создатель, и отбирать данное им — только в его власти.

У Зияд-хана иссякло терпение:

Говори проще, старик!

— Да будет здоров хан, я призываю тебя к спокойствию. Хаджа Насреддин Туси в одной из своих книг приводит в пример такие слова целителя Богратисиса¹.

— Я скорее поверю в то, что спасется корабль, швыряемый бурями и теснимый волнами величиной с гору, чем в то, что может успокоиться тот, у кого от бешенства выступила пена на губах, ибо моряки, возможно, изыщут какой-то способ и спасут сей корабль, а разбушевавшийся гнев ничем погасить невозможно: сколько бы ты ни увещевал его, ни молил, пытаясь отвлечь, он будет походить на костер, куда часто подбрасывают сухие щепки, он будет воспламеняться все сильнее и выйдет наружу.

Баяндур-бек бросил на Мирзу Салмана взгляд исподлобья. Баяндур-бек по природе был нетерпелив, и всякий раз многословие Мирзы Салмана, его стремление походить на Бюзюркмехра, визира славного сасанида Ануширвана, раздражало Баяндур-бека. И на этот раз Баяндур-бек хотел сказать что-то резкое Мирзе Салману, но Зияд-хан жестом остановил его и задумчиво сказал:

— Мирза, всегда плача по двенадцати имамам, один раз нужно поплакать и по еретнику Езиду. К тому же я не Езид ибн Муавия, ты это хорошо знаешь, я набожный человек. Я и в пылу битвы, и под вражеским натиском не пропускал намаза...

Мирза Салман прочитал наизусть из Корана:

— «Набожность не в том, чтобы вы поворачивали лицо к востоку или к западу: набожные — это те, кто веруют в Аллаха, в загробную жизнь, в ангелов, в священную книгу, в пророков; любя его, раздают свое имущество ближним, сиротам, беднякам, путникам, нищим, а также для освобождения рабов; совершают намаз, платят зекат, поклявшись, точно выполняют принятое на себя, подвергшись несчастью, — тут Мирза Салман стал выговаривать святые слова с особой отчетливостью, — попав в беду, и в бедствии бывают терпеливы. Такие люди суть праведные люди; такие люди набожны».

Поскольку Мирза Салман читал Коран, Баяндур-бек не мог прервать его, но, когда Мирза Салман кончил, Баяндур-бек рванулся, как натянутая тетива:

— Что ты говоришь, старик? Проклятый безбожник жалеет свою дочь для ханского сына, покрывает нас срамом, а мы должны сложить руки на груди и молчать?

Мирзу Салмана, обращаясь к нему, называл «старик» только Зияд-хан, да и то лишь тогда, когда бывал сердит, и тон, которым заговорил Баяндур-бек, Мирзе Салману не понравился. Поглядев на Баяндур-бека искоса, он снова обернулся к Зияд-хану и сказал:

— Я говорю с ханом, а не с подданным!..

Баяндур-бек побагровел, и на виске его забились синяя жилка: Баяндур-бек действительно вышел из низов, отец его был землематем, но то, что Мирза Салман вспомнил об этом при всех, Баяндур-бек никогда не забудет. И это дорого обойдется Мирзе Салману.

Баяндур-бек решался в присутствии Зияд-хана говорить такое, чего не смел сказать никто другой, и в последнее время, когда некоторые

¹ Богратисис — Пешократ

надменные люди, такие, как Мирза Салман, ставили Байндур-бека на место, Зияд-хан, в сущности, бывал доволен: мол, верно, Байндур-бек, ты храбр, умен и предан мне; я возвысил тебя, как Султан Махмуд Газневи — своего слона, но все-таки это я вытаскил тебя из грязи, так что не забывайся и помни, кто ты есть; но теперь Зияд-хан был далек от этих мелких тягб, от этих маленьких дворцовых схваток и, прикрыв покрасневшие глаза, потер рукой лоб:

— А как же Махмуд, Мирза?

Вопрос Зияд-хана исторг глубокий вздох из груди Гамарбану, а все, отведав взоры от Зияд-хана, посмотрели на Гамарбану: в течение одного утра Гамарбану словно истаяла, стала меньше ростом и вела себя так, будто все эти разговоры не имели к ней отношения.

Гамарбану устала. В мозгу Гамарбану, во всем теле ее была бесконечная усталость — усталость не только этого горестного утра, но усталость долгих лет, а это утро только dokonало ее окончательно.

Зияд-хан открыл глаза и повторил свой вопрос.

— А Махмуд? — Потом он стал говорить как бы сам с собой: — У Махмуда сердце, как стекло, Мирза... Махмуд хочет отправиться за ними. Войска не берет с собой, всадников не берет... Что же, пусть Махмуд станет дервишем и начнет скитаться по степям? Так, что ли, Мирза?

Из груди Гамарбану снова вырвался стон; в утомленном мозгу Гамарбану промелькнуло: до чего дошло в этом подлом мире, если такой человек, как Зияд-хан, столь откровенно и беспомощно говорит со своими подданными.

Мирза Салман, наматывая конец бороды на указательный палец, урюмо сказал:

— Да будет здоров хан. Махмуд — дитя Высшего мира, и мы, обитатели Низшего мира, часто его не понимаем...

Зияд-хан стиснул зубы и оглядел одного за другим стоявших перед ним придворных.

— Да, — сказал он. — Махмуд вам не ровня...

И в это время вошел Махмуд.

Все усталились на Махмуда, и Гамарбану снова застонала, но беззвучно.

Никогда устремленные на него взгляды не казались Махмуду такими тупыми и темными и такими жалкими; эти люди не понимали самого простого — что Мариам одинока на свете, и если Махмуд предаст Мариама, то это будет означать, что в мире нет ни чистоты, ни правды.

Сегодня утром Махмуд многое понял.

Отрезанная голова Белой Козы сказала Махмуду многое.

Земные горести состояли не только в том, что горячий чурек обжигает рот, а крапива — ноги; земные горести состояли и не в том, чтобы издалека почувствовать грусть в голосе молодого певца, встать и покинуть дворцовое пиршество; в таком мире срывать цветочки в саду казалось теперь Махмуду смешным, и Махмуд стыдился прежнего себя; поселиться в библиотеке, день и ночь читать книги — значило всю жизнь, не пробив скорлупы, проводить в яйце, всю жизнь просидеть в совершенно пустом, высохшем яйце.

Как только Махмуд вернулся во дворец из белого домика, он сразу же сказал Гамарбану, что пойдет за Мариама, причём пойдет один, будет искать и найдет Мариама, и Гамарбану, глядя в большие голубые глаза Махмуда, поняла, что так оно и будет, поняла, что Махмуд — не прежний Махмуд: Махмуда нельзя было связать, Махмуда нельзя было посадить под домашний арест, с Махмудом ничего нельзя было сделать — это было ясно как день.

В совершенно обессиленном сознании Гамарбану единственным светлым пятном было рябое лицо Ибрагима, Отрезавшего Соски Матери, его алчные глаза, ибо его алчность была понятна и надежна: ее можно было утолить золотом, и с ее помощью Гамарбану не сводила бы глаз с Махмуда, следила бы за Махмудом и помнила всех прочих стражей и шпионов Зияд-хана через Ибрагима и его людей сама тоже охраняла бы Махмуда...

...Гамарбану не знала, что придет некое известие, и Махмуд в тот же миг будет оставлен Ибрагимом, а за счет полученных от Гамарбану мешочков с золотом Ибрагим, Отрезавший Соски Матери, пустится в разгул с развратными еврейками, армянками, гречанками, а потом, когда истратит деньги до последней таньги, будет изгнан, чтобы снова ведомыми ему кривыми путями накопить денег и снова просадить их с девками...

...Нет худа без добра, может быть, и к лучшему, что Махмуд отправится в путешествие? Может быть, пройдет огни и воды — что-нибудь в жизни осознает? Может быть, так и надо — и путешествие укрепит, умудрит Махмуда? Все равно и в отдалении Махмуд будет виден Зияд-хану как на ладони.

Зияд-хан смотрел на стоявшего перед ним Махмуда. Аллах после девятилетней тоски дал ему сына, и вот самое странное: Зияд-хан не знал, радоваться этому или плакать. Когда Махмуда рядом не было, когда сын не стоял так лицом к лицу с Зияд-ханом, Зияд-хан лучше разбирался в своих мыслях о сыне, а своим приходом Махмуд словно затупляла лезвие отцовского меча, режущего как бритва, чистота Махмуда была сильнее и гнева, и корысти в сердце Зияд-хана.

Зияд-хан уже понимал, что колебания напрасны, он разрешит Махмуду отправиться в путешествие, потому что такой грешный человек, как Зияд-хан, с обгаженными кровью руками, с черными мыслями, не сможет устоять перед чистотой Махмуда. Зияд-хан согласился на уход сына еще и потому, что Махмуда невозможно было отговорить от его решения, Махмуд откажет Зияд-хану, не послушает его; но нельзя, чтобы люди сочли Махмуда недостойным, непокорным сыном, отказавшим отцу, ибо деды учили нас, что джигита украшает послушание, и надо беречь честь смолоду, и сын, который ослушается отца, в том сыне чести искать не приходится, — Зияд-хан и не хотел вынуждать сына к непослушанию.

Зияд-хан усмехнулся, и по сердцу его потекла черная кровь: конечно, все эти мысли были самообманом, он хотел хоть как-то себя утешить... А разве влюбиться в христианку и, как Меджнун, скитаться по степям — не самый большой срам на свете? Кого же Зияд-хан обманывал?

Зияд-хан посмотрел на Гамарбану и вдруг увидел, что Гамарбану так съезжилась, скорчилась, что у него волосы зашевелились, и, собрав все свои силы, он захотел успокоить Гамарбану взглядом своих узких глаз.

Шпионы Зияд-хана собрали сведения, что родина Хмуруго Пастыря — Эрзерум, и Хмурий Пастырь, несомненно, направился в сторону Эрзерума. Когда шпионы сообщили эту новость, Махмуд находился рядом с Зияд-ханом. Из страха перед Султаном Салимом Хмурий Пастырь, конечно, не мог бы двинуться дальше — миновать Эрзерум, да и в любом случае люди Зияд-хана все равно дознались бы, где Хмурий Пастырь и куда направляется. В Эрзеруме же был молодой правитель по имени Сулейман-паша, и Зияд-хан мог обратиться за помощью к Сулейман-паше, но Зияд-хан не доверял этому молодому паше, потому что с год назад получил от этого Сулейман-паши странное письмо. Сулейман призывал к какому-то невероятному единению и союзу всех тюркских народов на свете, призывал тюрков объединиться, мечтал о Великом государстве тюркских народов; получалось, что нет никакой разницы между азербайджанцами и османами, узбеками и якутами и все они должны быть вместе. Прочитав это письмо, Зияд-хан, опасаясь какой-нибудь интриги, хотел переслать письмо Шаху Исмаилу, но потом раздумал: в письме помимо этих несообразных мыслей была и какая-то несообразная искренность; правда, Зияд-хан не ответил на странное предложение, но все-таки написал ему: «Эй, юнец, с такими мыслями в это трудное время ты себе шею свернешь и мать-бедняжку в слезах оставишь...»

Разумеется, Зияд-хан поднимет на ноги всех своих соглядатаев, а чтобы приглядывать за своими соглядатаями, найдет доносчиков обою: он не позволит, чтобы хоть один волос упал с головы Махмуда, но Махмуду-то глаза не завяжешь, и Махмуд увидит мир таким, каков он есть. Сердце Зияд-хана охватил ужас, что Махмуд не вынесет увиденного, потому что Махмуд поистине не готов к тому, что бы увидеть подлинное лицо этого мира и вынести это, но что можно сделать? Вода прольется, иссякнет, скалы обрушатся, истают, мир — окно, прохаживая заглянет, уйдет... Нет, может быть, и вправду, так лучше? Я не утешаю себя, не обманываю себя — может быть, это случай, который нам подбрасывает судьба? Может быть, это испытание, которое посылает нам Аллах, и, когда это испытание будет позади, сегодняшние страдания останутся в прошлом и больше не вернуться?

Гамарбану знала, что для тайной охраны Махмуда Зияд-хан поднимет на ноги все бейлярбекство, но алчность Ибрагима, Отрезавшего Соски Матери, была более надежной защитой, и еще... и еще... конечно...

— Сафи!.. Сафи тоже пойдет с тобой!..

Гамарбану впервые открыла рот и сказала слово. Хотя бы Сафи должен пойти с Махмудом. Хотя бы Сафи должен быть рядом с Махмудом. Однако обесилевший мозг Гамарбану снова занял, снова безжизненно возопил: Рабия Бесрели в пустыне спасла собаку: отрезала косы, привязала к ним рубаху, опустила рубаху в колодезь, напоила пса... А ведь я жажду сильнее того пса, почему же меня никто не спасет?

Гамарбану была не в себе, ее воспаленные от бессонницы глаза не просили помощи у Махмуда, в ее глазах был укор, глаза Гамарбану, глядящие на сына, впервые укоряли его: сынок. Думающий обо всех и не думающий о своей матери, жизнь моя, жизнь моя, сынок, зеница ока моего, сынок, мой бедный, попавший в беду сынок, в этом нестерпимом мире я бы с тобой не рассталась; сынок, показавший мне силу рока, а ты не думаешь, что прольется кровь? Что ветер задует, вопль раздастся? Разве ты не знаешь, что матери жизнь отдадут за землю, по которой ходило их дитя? Почему судьба велела, чтобы я не могла сказать, что мое дитя — хан, хан с египетским мечом на поясе, бьет как богатырь? Почему эти слова так и остались навсегда запертыми в моем сердце? Когда ты был малышом и плакал, я давала тебе грудь, ты успокаивался, я улыбалась, а теперь что мне делать? И вдруг Гамарбану вспомнились слова, слышанные ею когда-то, много-много лет назад, когда она еще была ребенком: дитя — вкусом как мед, и дитя обманывает: сладость его сладостна, но и горечь тоже вкусом как мед; а боль этих слов еще больше спутала мысли Гамарбану, перед глазами возникла серая паутина, и все словно растворилось и исчезло в этой паутине.

Махмуд различил в глазах Гамарбану такое же выражение, с которым сегодня рано утром смотрела голова Белой Козы с запекшейся на шее кровью, и Махмуд отвел свои глаза от матери, потому что Махмуд испугался, что утомленные и обесилевшие глаза Гамарбану могут отделить его от Мариам и Мариам останется одна.

Мирза Салман, глядя в большие голубые глаза Махмуда, переживал потрясенное все его существо изумление: как это вышло, что чистое, ясное сердце Махмуда спешит осчастливить другую и самому быть счастливым, а свою родную мать делает несчастней всех на свете?

Баяндур-бек, сделав осторожных два-три шага, встал перед Махмудом, и Зияд-хан внезапно угадал в этих осторожных шагах хищную жадность тигра, подкрадывающегося к добыче, и напрягся: нервы не выдержали...

Стиснув сильные челюсти, выпирающие под тонкой кожей, Баяндур-бек поднял руку, положил ее на руку Махмуда и сказал:

— Возьми с собой Сафи...

Это была просьба брата, но Баяндур-бек не мог достаточно долго смотреть в глаза Махмуду: Баяндур-беку показалось, что Махмуд читает в его глазах.

Сафи не осмеливался войти, стоял в дверях, ждал, что ответит Махмуд. Правда, Сафи не хотелось, оставив во дворце спокойную постель, готовую еду, подобно деревню, скитаться по стенам, но Сафи не хотел и оставлять Махмуда одного; чтобы хоть как-то утешить Гамарбану, Сафи считал нужным пойти с Махмудом, считал это своим долгом и даже был горд тем, что в такую минуту Гамарбану доверилась ему одному.

Махмуд сказал:

— Пусть пойдет...

Слова Махмуда растрогали Сафи.

Гамарбану устало взглянула на Баяндур-бека и едва заметно улыбнулась; это была благодарная улыбка человека, которому отрубили девять пальцев, а десятый оставили.

Зияд-хан тоже посмотрел на Баяндур-бека и взглядом своих узких глаз точно попросил прощения за давешние мысли.

Потом вдруг в ушах Гамарбану прозвучал детский крик, и Гамарбану поняла, что это голос Махмуда, первый крик Махмуда на этом свете, который он издал, выходя из лона Гамарбану; потом Гамарбану уже ничего не слышала, ничего не видела и ничего не знала.

В тот же день Зияд-хан, раздав поручения дарга и сыщиков в связи с путешествием Махмуда, взял Сафи за руку и повел в сокровищницу.

— Теперь ты будешь иметь дело со мной!

Сафи всем существом почувствовал угрозу в этих словах, в этих пристально глядящих узких глазах и понял, что на этом свете судьба Махмуда и судьба Сафи замешены вместе. Сафи не пожалел об этом, потому что у Сафи, прожившего сорокашестилетнюю жизнь, не было никого, кроме Махмуда, и больше никого не будет.

— Все это принадлежит Махмуду! Все! Все!.. — Зияд-хан с болезненным блеском в глазах оглядывал сундуки, кувшины, лари и шкатулки сокровищницы. — Но вот это, вот это пусть будет с Махмудом! Всегда! Всегда пусть будет при нем!.. На свете ничего нельзя предугадать заранее!.. Ничего!..

Зияд-хан с непонятной для него самого, не осмысленной им решимостью выбрал по одной самой дороге драгоценности сокровищницы и дал Сафи. Привезенные из Индии, Китая, Ирака, Йемена, Абиссинии, с Запада, купленные за золото, собранные угрозами, награбленные силой меча, эти алмазы, изумруды, бирюза, яхонты — все должно было принадлежать Махмуду, а на бранный мир надежды не было.

Сафи разместил драгоценности на поясе под рубашкой.

Зияд-хан сказал:

— Теперь ты самый ценный человек в стране. Но шея у тебя из плоти.

Животный страх охватил все тело Сафи. Он знал, что Зияд-хан богат, но никогда не мог бы представить, что столько драгоценностей сосредоточено в одном месте и все они принадлежат одному человеку.

Зияд-хан дал Сафи на дорогу три-четыре мешочка золотых и обещал посылать потом сколько понадобится. Сафи изумился: разве столько золота можно когда-нибудь полностью истратить? Зияд-хан будет постоянно присматривать за ними, но Сафи тоже должен почаще писать письма, давать золотой гонцу и посылать с ним, и Зияд-хан велит во дворец дать тому гонцу, что принесет письмо, еще два золотых.

В этот день Зияд-хан разъяснил Сафи все свои повеления.

В этот же день Махмуд сел на самого умного, самого послушного и самого терпеливого пятнистого жеребца Зияд-хана и выехал из дворца. Сафи тоже оседлал коня, ногу в стремя, колено — к ребру, стеганул коня хлыстом и вместе с Махмудом пустился в путь.

Мирза Салман, глядя вслед удаляющимся и исчезающим из глаз всадникам и наматывая конец узкой бороды на указательный палец левой руки, тихонько сказал про себя:

— Жаль эту дюрри-етим — сиротливую жемчужину...

Ни Зияд-хан, ни Гамарбану не знали, что разлука навечно. С того дня, как Махмуд уехал, Гамарбану оделась в траур — в голубое и черное, и Зияд-хан, посмотрев на Гамарбану, с беспокойством подумал: плохи дела — кто чего боится, то с тем и случится...

О том, что эта разлука была навечно, знал во дворце только один человек.

VIII

Время от времени беззвучно сверкала молния, и Махмуд в свете мгновенных вспышек видел внимательные глаза Чобана; будто Чобан, оторвавшись от горных склонов, от овец и баранов, переселился в сказочный мир и в этом сказочном мире дышал не воздухом, а пронзительными Махмудом словами.

Махмуд пересказывал Чобану, давшему в дождливую ночь приют ему и Сафи, «Лейли и Меджнун» Шейха Ильяса Низами.

Весь день они скакали на конях; к вечеру их настиг ливень, и они так вымокли, словно перебрались впасть через реку. И они не могли найти место, чтобы слезть с коней и укрыться от дождя. И Сафи подумал: кажется, попали мы в Ноев потоп... Внезапно среди шума дождя до слуха Сафи донесся собачий лай; налитыми водой глазами он огляделся по сторонам, увидел свет костра, и они направились к костру.

Сафи пригляделся и увидел, что это яйлаг, где пасутся овцы и бараны, и есть при них один пастух, совершенно неотесанный Чобан.

Подняв дубинку, как палицу, пастух закричал:

— Кто идет?

Сафи сказал:

— Рабы Божьи.

Сафи никогда не говорил, что они такие, потому что боялся за драгоценности у себя на поясе, боялся, что украдут доверенное Сафи достояние Махмуда, а сам-то Махмуд понятия не имел о своем достоянии.

Пастух дал путникам место в тесной палатке, разжег жарче огонь в очаге, Сафи подержал над очагом одежду Махмуда, высушил, а сам раздеваться не стал, боясь, что увидит его пояс. Пастух вскипятил молоко, принес сыру, сбрызнул водой сухой лаваш, и Махмуд как бы в награду за все это стал рассказывать оторванному от мира и жившему среди животных пастуху «Лейли и Меджнун» Шейха Низами, а Сафи ожидал, когда этот рассказ окончится.

Махмуд читал «Лейли и Меджнун» три года назад, когда ему было четырнадцать лет, но теперь, в тесной палатке Чобана, повесть о Лейли и Меджнуне приходила ему на память чуть ли не строка за строкой, и Чобан сидел, поджав колени, звука не издавал и внимательно слушал эту странную историю.

Дождь перестал, но небо не прояснилось, часто сверкали беззвучные молнии, должно было снова полить, и Сафи, снова попав под дождь, превратился бы в мокрого цыпленка; одежда на Сафи все еще была

мокрая, и Сафи боялся, что заболит и умрет; Сафи и не предполагал, что Махмуд такой крепкий: ни усталости он не знал, ни холода и дождя не чувствовал.

Когда окончится это путешествие и когда Сафи снова вернется на свою мягкую постель во дворце? Когда Сафи избавится от драгоценностей в поясе? Страх за эти драгоценности мучил Сафи, лишал его последних сил.

Махмуд рассказывал «Лейли и Меджуну», а неотесанный пастух, раскрыв рот, тупо слушал его. Сафи не любил вымышленных историй, хотя, в сущности, этот Меджун был похож на Махмуда; впрочем, Сафи не верил и тому, что чувствовал, о чем думал, — он только тому верил, что видел и мог пощупать, а видел он скачку на коне с утра до ночи, на еду времени нет, напиться и то некогда; и Сафи, позевывая, ждал, когда Махмуд кончит и когда они заснут, ибо Сафи еще должен был написать письмо Зияд-хану.

После того, как Махмуд и Чобан уснут, Сафи наконец разденется, подсушит одежду над костром и в свете его напишет первое письмо Зияд-хану.

В свете костра Махмуд видел большие грубые руки Чобана — и не только большие грубые руки, но и дыхание Чобана свидетельствовало о том, что он работает, что он трудится, что он день и ночь проводит на ногах. Этот человек сильно отличался от дворцовых слуг, в этом человеке было нечто такое, что может быть только в самой земле: черная земля зеленеет и давала урожай, и все существо этого Чобана, пахнущего потом, поместом, овечьим сыром, дымным костром, говорило об изобилии. И то, что такой человек сидит и как ребенок слушает, еще больше воодушевляло Махмуда, и Махмуд так пересказал конец «Лейли и Меджуна», что и Сафи, не удержавшись, сказал ему в душе «молодец» и прослезился.

Воцарилось молчание.

Чобан отвел глаза от Махмуда, посмотрел на Сафи и сказал:

— Путник, эта любовь, что ни говори, от безделья. От легкого хлеба и питья.

Слова Чобана были так неожиданны и поразительны, что Сафи стало жаль Махмуда.

— Приятель, если бы Меджун, как я, вдалеке от жилья пас баранов по горам, по долам, не знал бы, когда лето, когда зима, только во сне видел бы женщину, не стал бы он сходить с ума по Лейли, а послал бы сватов и женился — не на ней, так на другой.

Махмуд промолчал.

Может, это правда, может, и вправду, любовь — от безделья и сытости?

И вдруг, словно из залитых дождями степей, из бескрайних безлюдных степей, сквозь шорох льющейся потоками воды послышался горестный голос, и был он голосом молодого певца, привезенного в гянджинский дворец с Карабахских гор; и словно этот далекий голос говорил: «Нет, братец пастух, ты ошибаешься, ты ошибаешься, братец пастух».

Перед глазами Махмуда появилось лицо Мариам, и Махмуд внезапно ощутил в тесной палатке простор и приволье янтарной равнины. Нет, нет... Нет, бедный Чобан, ты не знаешь того, что знал Меджун, а Меджун не знал того, что знаешь ты. Твои заботы были чуждыми для Меджуна, ибо Меджун ничего и никого, кроме Лейли, не видел, а ведь, кроме разлуки, в этом мире много труда и забот. Но, кроме труда и забот, в мире есть любовь, есть, есть, есть любовь, и ты, бедный Чобан, не знаешь любви. Да, Чобан, Меджун был несчастен, но и ты несчастен, Чобан.

За те дни, что Махмуд выехал из Гянджи, он повидал многое.

В ту ночь Сафи не нашел времени посушить одежду над огнем, он успел только украдкой написать в свете костра письмо и наутро с гонцом отправил это письмо Зияд-хану.

«О, наш венценосный Зияд-хан. На земле — ты, на небе — Аллах. Нет бога, кроме Аллаха, и да упокоит Аллах единый души всех твоих предков в раю и да продлит жизнь твоим потомкам. Ты справедлив и могуществен, все знаешь и все видишь, но как ты поручил мне написать письмо, то я и пишу тебе письмо, сообщаю о нашем положении. Десятый день уже, как мы в странствии, и я никак не могу утяться от господина моего Махмуда, чтобы написать письмо, и только теперь мне выпал такой случай. Нет никого, кто бы сказал: я видел этого проклятого врага нашей веры — попа; наверно, он передвигается по ночам, хорошо укрывается, покровители его, такие же безбожники, как он, выносятся пытки, которым их справедливо подвергают твои люди, все же не выдают проклятого попа, которого прячут по ночам в своих мерзостных норах. Твои люди изыскивают возможность тайком от господина моего Махмуда повидаться со мной и сообщают мне об этом. Как ты мне велел, я все хочу повлиять на свет очей моих Махмуда, хочу отратить его от этой поездки, но пока ничего не получается. Каждый раз, рано утром отправляясь в путь, я умоляю: «Вернемся, хан ханов Зияд-хан, наверно, оплакивает тебя, как Якуб Юсифа. Кто ближе тебе, чем хан ханов Зияд-хан?» Ты мне велел, чтобы я ничего от тебя не скрывал, и потому пишу тебе, что на это отвечал мне свет очей моих Махмуд. На мои слова Махмуд отвечал так: «Что такое близкий человек и что такое далекий человек, Сафи? С одной стороны, разве Эсма не отравила мужа своего Гасана, сына имама Али? С другой стороны, разве вдова Гарун-ар-Рашида Зубейда сразу же после смерти мужа не раздала своего состояния голодным всей земли? И близость, и отдаленность — в самом человеке, в душе его». Я, не удержавшись, спрашиваю: «Если нет ни близких, ни дальних, почему тогда отец и мать любят свое дитя больше других?» Свет очей моих Махмуд отвечает: «Отец и мать любят свое дитя, Сафи, потому, что оно их дитя. Но родительская любовь — это одно, любовь к людям — другое. Даже самый низкий человек, которого все сторонятся, — чей-то ребенок, и его мать любит его как своего ребенка». За эти десять дней свет очей моих Махмуд сильно изменился. С помощью твоих людей — да упокоит Аллах души их умерших — я добиваюсь, чтобы господин мой Махмуд ни в чем не нуждается, стараюсь вовремя готовить ему еду, питье, стараюсь, чтобы он не заподозрил, что твои люди нам помогают, но свет очей моих Мах-

муд видит и переживает беды других и говорит мне так: «Если мир полон мерзости, то те, кто управляет им — от шахов до набов, — исчадия ада, может, они сами этого не знают, но по сути все они слуги сатаны». Ты сам знаешь, что и у земли есть уши, и я боюсь, что такие слова господина моего Махмуда дойдут до недобрых ушей. И еще свет очей моих говорит такие слова, что боюсь — сохрани Бог — Аллаху не понравятся. Он так говорит: «Почему архангел Михаил, питающий человека, оставляет столько голодными? Он не глядит на них глазами Аллаха! Почему урожай с земель, принадлежащих духовенству, ближайшим слугам Аллаха, не раздают бедным, чтобы сделать их счастливыми?» Я говорю: «Счастье-несчастье — в руках Аллаха, и он знает, кому что дать». Свет очей моих Махмуд говорит слова, которые пугают меня, и я не знаю, как получилось, что он вообще произносит такие слова. Он говорит: «Если Аллах все знает, тогда почему пророки всегда были грустны и печальны и почему архангел Джебраил, вестник Божий, не указывал им путь к счастью? Четыре первых халифа выполнили завещанное пророком Мухаммедом, осуществили его намерения, а что стало с ними? Османа убили в собственном доме, Али — в доме Господнем... Почему, Сафи?» И другие слова господина моего Махмуда пугают меня и сбивают с толку. Однажды над нами пролетали журавли, и Махмуд прямо-таки вперился в журавлей своими голубыми глазами, да паду я жертвой ради них, и сказал так: «Сафи, если б я был из секты танасух, которая верит в переселение душ, я поговорил бы с журавлями, узнал бы у журавлей о Мариам, и может быть, узнал бы, что среди журавлей была Мариам тысячу лет назад, или Махмуд две тысячи лет назад, или Сафи три тысячи лет назад». Когда свет очей моих говорит такие слова, я не знаю, что мне делать. Однажды нам встретился вор, у которого была отрублена рука за то, что он украл с мельницы муку, и господин мой Махмуд, поговорив с тем вором, сказал мне так: «Было время, Сафи, когда на земле никого не было, а теперь столько народу, а через тысячу лет сколько еще будет народу! Во что тогда превратится мир? Реки будут течь кровью, вместо воды будут пить кровь... Если этот мир не могли поделить Габиль и Абилай, если и тогда была ревность, была зависть, брат убивал брата, то что будет в этом мире через тысячу лет?» Я не умею отвечать на такие вопросы, и сердце мое окутывает страх. Потом свет очей моих взял у меня два золотых и отдал тому вору. Я с трудом укрываю от него золото, которое ты дал нам на расходы, иначе он в один день раздаст его голодным. Что же касается других вещей, о них Махмуд не знает, и я тебя прошу, поручи своим людям получить меня охранять, потому что я о себе в этом отношении очень беспокоюсь и надежда моя только на твоих людей. Я не знаю, что делать, и очень боюсь за господина моего Махмуда. Он начал разговаривать сам с собой. Когда я спрашиваю, с кем ты разговариваешь, говорит: с Мариам разговариваю. Однажды сказал: с отцом разговариваю, но не знаю, о чем он с тобой говорил. А однажды нам встретился старик, и слова господина моего Махмуда меня жутко перепугали, потому что я ничего не понял. Старик спросил у него: «Сынок, куда путь держишь?» Свет очей моих отвечал: «Дядя, мой путь лежит в кян и мякян». Старик спросил: «Сынок, кян — это места изобилия, а мякян что?»

Свет очей моих ответил так: «Кян — на этом свете, мякян — на том». У старика был очень дурной глаз, и сощурив свой дурной глаз, он сказал: «С таким трудом ищешь себе смерти?» Свет очей моих отвечал: «Смерть — это правда. Как иначе вырваться из плена судьбы?» Старик вынул из своего узелка маленький кувшин и фансовую чашу, налил чашу из кувшина, протянул содержимое Махмуду и сказал: «Испей сию чашу». Господин мой Махмуд покачал головой и так ответил: «То, что в этой чаше, пророк нам воспретил». Старик усмехнулся своими дурными глазами и содержимое чаши — наверное, это было вино — выпил сам, потом ушел, и когда этот старик скрылся с глаз, я спросил у господина ока моего, что это был за разговор такой. Свет очей моих не ответил, но вдруг начал читать стихотворение богоухольного поэта Насими, чтоб он горел в аду, как, наверно, и сейчас горит: «В меня вместились оба мира, но в этот мир я не вмещусь...» Иногда я ничего не понимаю и слепо иду следом за светом очей моих. Я нахожу утешение лишь в том, что у нас есть такой оплот надежды, как ты, и ты, найдя какое-нибудь средство, положишь конец всему этому бессмысленному и дорогому путешествию. Много можно рассказывать, но, боюсь, проснется свет очей моих и увидит, что я тебе пишу. На этом кончаю. Завтра с гонцом пошло тебе письмо. Еще раз молю, не забывая повторять своим людям, чтобы они хорошенько охраняли меня от разбойников-грабителей. Целующий твои светлые руки и благословенный подол и готовый к любым приказаниям твоей смиренный слуга Сафи».

Гонец, доставивший письмо Сафи, получил от Зияд-хана еще два золотых и ушел, а Зияд-хан, удалившись в свою комнату, никого туда не впускал и несколько раз внимательно перечитал письмо Сафи.

Сафи просил у Зияд-хана помощи и не знал, глупый Сафи, что если есть на свете беспомощный человек, то это сам Зияд-хан.

Выйдя из своей комнаты, Зияд-хан пошел в библиотеку дворца и, сняв с полки купленную в Индии за столько золота, сколько весит сама, Большую Книгу Предсказаний в черном переплете, открыл наудачу, и первыми словами, которые он прочел, были: «С любовной напастью можно справиться только любовью».

Люди Зияд-хана рыскали по всему округу два дня и две ночи, выбрали и наконец разыскали Джейран. Джейран была умнейшая из умнейших, хитрейшая из хитрейших, до тонкости знала древнейшую из профессий, это была такая девушка, у которой брови были как лук, глаза синие, походка как у павы, груди как две дыньки, кто увидит, у того разум помутится; короче говоря, создатель словно сосредоточил в ней всю прелесть мира, к тому же она была жадной до денег и обожала драгоценности.

Зияд-хан повторил не удавшуюся в свое время попытку Гамарбану, и эта попытка была достойна хана. Зияд-хан велел в полночь, чтобы никто не видел, доставить Джейран во дворец, и, едва увидел эту красотку, прочел по глазам, что она за птица, понял, что его люди еще недостаточно ее оценили, что девушка эта многого стоит. Зияд-хан дал Джейран семь мешочков золота, пообещал еще десять. Люди Зияд-хана должны были направить ее по следу Махмуда, Джейран должна была встретиться Махмуду в пути, влюбить в себя, возвратит Махмуда на-

зад, некоторое время побыть во дворце, а потом уехать из Гянджи, и Зияд-хан обещал купить Джейран дом в Тавризе.

В ту же ночь, опустив занавески паланкина, Джейран вместе со служанками и слугами отправилась в путь, взяла с собой и Гысыр Гары, — и Гысыр Гары, сев на доброго мула, пустилась вслед за паланкином с опущенными занавесками.

Джейран торопилась.

Судьба улыбалась Джейран. Через короткое время Джейран переселится в Тавриз. Наконец Джейран покинет Гянджу, эту глухомань.

Мысли, мечты, желания Джейран больше не уместились в Гяндже. Джейран мечтала о более крупных городах. Джейран хотела жить близ более крупных дворцов, чем гянджинский.

Было время, когда Джейран так же мечтала о Гяндже — Гянджа была пределом ее желаний, Джейран жаждала попасть в гянджинский дворец, но теперь все это позади, и теперь Гянджа стала ей тесна. Владелец гянджинского дворца был не такой, как все, не знал других женщин, кроме своей жены Гамарбану, и Джейран едва не утратила самые заветные надежды. Когда сегодня в полночь неожиданно пришли люди хана и повели ее во дворец, Джейран показалось, что она попадет сразу в опочивальню хана, но выяснилось, что нет, дело не в этом. Наконец судьба улыбнулась Джейран: уделит толику земных радостей нелепому ханскому сынку, она скажет Гяндже «прощай», и переселится в собственный дом в Тавризе, и въедет в Тавриз как победительница, покорит умом и красотой и Тавриз, и шахский дворец Хешт-бехишт.

Завоевателем был не только Шах Исмаил.

В эту ночь, в паланкине с опущенными занавесками, Джейран чувствовала себя не меньшей завоевательницей, чем Шах Исмаил, и сердце этой молодой, красивой, пылкой и жадной женщины было зажжено большими мечтами, и эти мечты твердили об ослепительном богатстве, о непрерываемой власти. В будущем. В недалеком будущем.

Будущее было за Джейран.

IX

До Маку оставалось немного.

Через некоторое время они должны были войти в Маку и там заночевать.

Был полдень, и солнце обрушивалось на человека, но Сафи не чувствовал жары, ибо уже несколько дней как Сафи вдруг разлюбил жизнь, — это бессмысленное путешествие, это скитание на конях по степям и равнинам было так чуждо Сафи, что все ему стало безразлично, и, несмотря на широкий кожаный туго набитый пояс, жара на Сафи не действовала.

Махмуд тоже не чувствовал жары. Рано утром в этих местах прошел сильный дождь, и на равнине сохранялась какая-то весенняя свежесть, и эта весенняя свежесть словно возвещала, что здесь совсем недавно прошла Мариам и в мыслях Мариам был Махмуд.

В сердце Махмуда, которое день ото дня становилось все несчастнее, загорелась искорка надежды.

Странно было то, что растущая день ото дня в сердце Махмуда безнадёжность была связана не только с Мариам, но и вообще с жизнью человеческой. Люди, которых он встречал, события, о которых слышал, несчастья, которые видел, всякий раз открывали ему что-то новое, и все новые и новые открытия засыпали Махмуда сотнями разных вопросов, связанных с человеческой натурой, и Махмуд не мог найти ответа на эти вопросы, и тогда Махмуд закрывал глаза, и перед глазами его мелькали все новые и новые краски, но какая преобладала — красная, голубая, зеленая, — он не понимал, этот мир сменяющихся красок невозможно было понять, и кажется, непонимание и было цветом мира.

Впереди показались купы черных облаков, и эта масса черных облаков в ясный солнечный день озадачила Сафи.

Сафи пригляделся внимательнее.

Махмуд был чист, Махмуд не мог предположить такого, и Сафи должен был найти предлог, чтобы оставить Махмуда и поскать вперед одному; Махмуд не должен видеть таких вещей, и если все было так, как предположил Сафи, им надо было изменить направление.

Сафи, держась рукой за живот, приблизился к Махмуду и, скривившись, сказал:

— Ты постой здесь, я сейчас вернусь, — и поскакал в сторону черных облаков.

По мере приближения Сафи масса черных облаков опускалась и поднималась, двигалась.

По мере приближения Сафи из массы черных облаков стали доноситься крики коршунов, воронов, к аромату цветов примешивался самый омерзительный запах на свете, и этот запах постепенно усиливался.

Затем под массой черных облаков стала просматриваться серая гряда. Эта серая гряда местами белела, местами чернела, а местами ярко алела.

Сафи доехал до места.

Конь Сафи испугался, фыркнул, конь не мог стоять тут.

Масса черных облаков состояла сплошь из воронов и коршунов.

Серая гряда была пирамидой отрезанных человеческих голов.

Вороны и коршуны расклевывали черепа, белели кости; чернели волосы, бороды; вороны и коршуны выклевали глаза в большей части черепов, но в некоторых черепях — немногих — глаза остались; и, готовые лопнуть, вылезавшие из орбит, эти выпученные, эти отдельные от всего глаза, в которых порой сквозь полуприкрытые ресницы виднелись только белки, недоклеванные, наполовину уцелевшие глаза смотрели на усеянную обезглавленными трупами равнину Чалдыран. Обезглавленные трупы лежали вперемежку, кольчуги и одежды были перепачканы землей, кровью, валялись щиты, мечи, копья, и все это железно сверкало под лучами солнца.

Обезглавленные тела еще недавно были кызылбашскими воинами Сефевидов, и не способный отвести глаза от пирамиды черепов, от

обезглавленных тел, содрогающийся от рвоты Сафи не знал, что пять дней назад здесь, на равнине Чалдыран, была братоубийственная бойня, и продолжалась эта бойня три дня: османский владыка Султан Салим I объявил Сефевидов врагами мусульманской веры и во имя защиты ислама с двухсоттысячной турецкой армией вступил в Азербайджан; в августе 1514 года создатель и глава государства Сефевидов — «Мамлакаты — Азербайджан» — Шах Исмаил с войском, в несколько раз меньшим, чем турецкая армия, встретил Султана Салима близ Маку на этой вот равнине Чалдыран, вступил с ним в бой и потерпел поражение.

Пять дней тому назад Шах Исмаил в одежде простого воина, сидя на сером жеребце, смотрел на тинущуюся сколько видит взгляд равнину Чалдыран и знал, что, снова перед осенью зазеленевшая, расцветшая из-за обильных дождей, эта земля будет истерзана копытами коней, обгарена кровью десятков тысяч людей; знал, что равнина Чалдыран, известная ныне только жителям Маку, с этого дня станет знаменитой на весь мир, что его придворные историки Гияседдин ибн Хусамеддин эл-Хусейни Хандемир, Мир Яхья эл-Хусейн эл-Казвини увековечат наименование этой равнины, что придворный историк Султана Салима Лютфи-паша тоже, наверное, находится при армии и тоже захочет все увидеть своими глазами.

Шах Исмаил хорошо знал и то, что армия Султана Салима превосходит его армию не только по числу людей; армия Султана Салима была самой современной армией этого только что начавшегося века, армией, оснащенной десятью тысячами ружей, сотней арб с пушками, зарбзанами, баллиджами, что турецкие воины были бравыми солдатами, умными, опытными, храбрыми, а у Сефевидов пушек не было и войско было малочисленно.

Во времена Султана Баязида между Шахом Исмаилом и османцами были «отцовско-сыновние» отношения, но еще тогда правитель Трапезунда Явуз Салим не одобрял эти отношения и не доверял этим отношениям. Явуз Салим видел в Шахе Исмаиле достаточно сил и умения, чтобы он мог присоединить к «Мамлакатам — Азербайджан» османские земли. Султан Баязид пытался толкнуть на юг Шаха Исмаила, прославившегося как непобедимый после походов на Хорасан и Туркестан, и в одном из писем прямо сказал: «Оставьте надежду подчинить себе народ румийский. Лучше покончите с Иранским, Туранским и Индийским ханствами и создайте там могущественное государство». Но разве можно поручиться, что «могущественное государство» Сефевидов и впрямь будет неизменно придерживаться политики «не тронь меня, и я тебя не трону»? После того как правитель Трапезунда Явуз Салим, захватив трон Султана Баязида, стал Султаном Салимом I, он стал самым ярким врагом Шаха Исмаила и, собрав муфтиев, кази и других высших священнослужителей, приказал им подготовить битву против Шаха Исмаила и всех кызылбашей.

Султан Салим был искусным политиком и хитрым человеком, и Шах Исмаил знал это и ценил по достоинству. Шах Исмаил написал письмо испанскому королю Карлу V и в этом письме приписывал хитрость Султана Салима всем османцам: «Не доверяйте хитрым османцам, ибо

Султан такой человек, для которого верность союзу, клятвам, обещаниям ничего не стоит и который сделает все, что в его силах, чтобы погубить Вас».

От испанского короля ответа не последовало.

Шах Исмаил все понимал, но в сердце Шаха Исмаила не было страха, и, хотя, как он доподлинно выразился, «вокруг страны всегда кружились кони», Шах Исмаил в посланном Султану Салиму письме заявил, что «невесту страны может крепко обнять лишь тот, кто поделует губы обнаженного меча».

Дело было не только в том, что поднявшийся в конце прошлого века на борьбу «за азербайджанский трон и государство» Исмаил в течение всего лишь четырнадцати лет силой меча создал не в одном Азербайджане, но и на территории от Амударьи до реки Ферат, охватывающей Ирак, Диярбекр, многие области Малой Азии, Хорасан, могучее азербайджанское государство Сефевидов, тысячу раз встречался лицом к лицу со смертью и привык к этому; дело было и не в том, что Султан Салим рассчитывал на пушки, а Шах Исмаил, как всегда, на самого себя; и в Коране Аллах призывает пророка поощрять верующих на битву, и если даже среди них будет двадцать стойких, они одолеют две сотни. Правда, Шах Исмаил не был пророком, но за него был Зульфугар, меч имама Али, и армия его была преданной армией, так что даже, по полученному вчера сообщению, один молодой человек, справлявший свою свадьбу, услышав приказ Шаха Исмаила о призыве, присоединился к войску, не проведя с невестой первой брачной ночи. Дело, однако, было в том, что в этот летний день равнина Чалдыран внезапно заставила Шаха Исмаила спешиться и унесла его в годы детства, и Шах Исмаил никак не мог взять себя в руки и оторваться душой от тех далеких детских лет.

В сердце Шаха Исмаила была такая точка, которую он скрывал от всех, даже от себя — но не мог скрыть! — и которая была мала, слаба, но волшебна, потому что до той крохотной точки как бы сжималась большая пустыня, а в пустыне дул прохладный ветерок, легкий бриз, и этот ветерок, этот легонький бриз воплощал его чувства, те самые, скрываемые от всех чувства, которые делали Шаха Исмаила поэтом, пишущим под псевдонимом Хатан. Исмаил и Хатан были двумя совершенно противоположными личностями в одном человеке, и Шаху Исмаилу отнюдь не хотелось перед сражением превратиться в Хатан, но точка была волшебной.

Самый близкий и доверенный из эмиров Шаха Исмаила церемониймейстер Дурмуш-хан направил коня к государю и хотел что-то спросить, но, увидев, что шах очень задумчив, не осмелился сказать что-либо.

Детство Шаха Исмаила проходило не на равнине Чалдыран, но ребенок, каким он был когда-то, сейчас ловил бабочек на равнине Чалдыран, подглядывая за муравейниками, рвал цветы, потом, разлегшись на спине, смотрел в небо, потом закрывал глаза и вступал в грядущий мир; этот грядущий мир был чист, был непорочен, полон любви, признания, бескровен, он не был окрашен в алое, не знал политики и от начала до конца был весь в поэзии.

Шах Исмаил никак не мог вернуться из мира ребенка, с закрытыми глазами лежавшего сейчас на спине на равнине Чалдыран, из воображаемого, но несбыточного мира — на спину серого жеребца, и вдруг Шах Исмаил вспомнил своего родившегося в этом году сына Тахмасиб-Миразу, и Шаху Исмаилу показалось, что лежащий сейчас на спине с закрытыми глазами ребенок не он, а Тахмасиб, и сейчас он, Тахмасиб, встанет и поползет на четвереньках; он представил себе, как ползает Тахмасиб, и улыбнулся, потом улыбка сошла с его лица, и Исмаил подумал, что, возможно, в свое время его дед Шейх Джунейд так же вспоминал своего сына — Шаха Исмаила... Наверное, придет время, и Тахмасиб тоже так будет представлять себе своего сына... Меняются имена, уходят люди, но чувства — те же, природа — та же, и, в сущности, в мире ничего не меняется, жизнь протекает в рамках, преступить которые никогда и никому невозможно. Эта мысль наваяла на Исмаила тоску, сдавила его сердце, и в этот миг знаменитый сефевидский полководец, правитель Диярбека и зять Шаха Исмаила Хан Мухаммед Устаджлы пришел на помощь своему высокому родственнику: азербайджанские конные разведчики принесли весть, что армия Султана Салима равномерно движется в сторону равнины Чалдыран, и, обеспокоенный численным превосходством вражеской армии, ее новым вооружением, Хан Мухаммед Устаджлы хотел неожиданно напасть на османов.

Хан Мухаммед Устаджлы подкакал к Шаху Исмаилу, спрыгнул со своего белого коня и поклонился:

— Да будет здоров Шах, нападём на них по дороге!

Эти слова Хана Мухаммеда Устаджлы вырвали Шаха Исмаила из далекого детства, чистоты, беззаботности и водворили на серого жеребца, а место воспоминаний заняло глубокое чувство сожаления и печали, но Шах Исмаил собрал всю свою волю и вырвал себя из этого чувства сожаления и печали.

Шах Исмаил гневно смерил взглядом с головы до пят военачальника, с которым провел в седле последние пятнадцать лет, и стоявший все это время молча церемониймейстер Дурмуш-хан тотчас понял смысл хорошо изученного им недоброго взгляда и сказал:

— В Диярбеке твои штучки проходят, но здесь есть Шах Исмаил, он и укажет, и прикажет!

Хан Мухаммед Устаджлы не ответил церемониймейстеру Дурмуш-хану, так как накануне смертельной схватки перебранившись с таким человеком и опускаться до его уровня счел ниже своего достоинства, и с болью в сердце подумал лишь о том, какая адская сила заключена в лести, что даже такие великие люди, как Шах Исмаил, не обходятся без льстивости и, в сущности, нуждаются в лести.

Шах Исмаил как будто прочитал, что было на сердце черикбаши, и на этот раз бросил недобрый взгляд на церемониймейстера Дурмуш-хана, а потом сказал:

— Я не разбойник, нападающий на караваны!

Хан Мухаммед Устаджлы посмотрел в эти горящие гневом глаза, увидел, как от злости дрожат тонкие кончики длинных усов шаха, увидел, как его продолговатое чистое лицо покрывлось нервными красными

пятнами, и в который раз за долгие годы удивился, как это получается, что сидящий на сером коне грозный владыка, чей гнев не вмещает равнина Чалдыран, говорит такие слова:

Если перн захочет узнать, кто такой Хатаи,
Я скажу: это некий бедняга с рыдающим сердцем.

С одной стороны, Шах Исмаил как простой участник литературного междминистра, руководимого Главой поэтов — Меликаш-шуара Ширванлы Габибом, писал газели и гошмы и с сердечным трепетом ожидал, что скажет собрание об этих стихах, — ожидал, точно не имеющий ничего, кроме стихов, бедный поэт, а с другой — на недавний вопрос Хана Мухаммеда Устаджлы «Что делать, если народ поднимет голову?» ответил: «Если подданные возразят хоть словом, я с помощью Аллаха возьмусь за меч и не оставлю в живых ни одного простолоднина», и Хан Мухаммед Устаджлы, глядя на суровое лицо Властелина Меча и Пера, как нередко называли Шаха Исмаила, ни на миг не усомнился, что так оно и будет, Исмаил сделает, как говорит.

Шах Исмаил на равнине Чалдыран рассердился не на слова Хана Мухаммеда Устаджлы — Шах понимал чувства Хана Мухаммеда и знал, что зять его не только не трус, а едва ли не великий полководец, его рука крепко держит меч, у него храброе сердце, беспощадное к врагу, сердце, верное родине, вере и Шаху Исмаилу; Хан Мухаммед Устаджлы как военачальник сейчас испытывал чувство тревоги, и он имел для этого все основания: Шах Исмаил хотел заключить против Султана Салима союз со всей Европой — от папы римского до испанского короля, от гроссмейстера ордена Иоаннитов до польского короля, от Венгрии до Венгрии: писал письма, отправлял послов, но сейчас на равнине Чалдыран лицом к лицу с двухсоттысячной армией Султана Салима стоял один; Шаха Исмаила рассердило и не то, что не удалось эти союзы, что он оказался один — за свою двадцативосьмилетнюю жизнь Шах Исмаил уже узнал, что политика — это такой мир и шахство — это такая судьба, что в самую трудную минуту единственное прибежище — собственный меч и собственный разум, и жизнь такова, что, в сущности, стоять против врага в одиночку не так уж страшно, к этому привыкаешь, потому что, в сущности, государь всегда с врагом один на один; даже в собственной спальне, в часы отдыха, он один на один с врагом, но и это не страшно; самое страшное — это остаться наедине с самим собой.

Причина, рассердившая Шаха Исмаила, была безотчетна: она состояла в том, чтобы нагнать на себя и других решимость, суровость и жестокость перед боем, и так всегда бывало перед крупным сражением: безотчетный гнев вытеснял из души и тела Шаха поэта, превращал поэта в мастера сражений. Мир того ребенка, что еще недавно лежал на спине в степи Чалдыран с закрытыми глазами, теперь совершенно исчез, стал недостижим и для прикосновения, и для слуха, и для взора.

Через малое время в степи Чалдыран грянули к небу залпы пушек и ружей, дязг мечей и щитов, человеческий рык и человеческий стон, ржание коней и пение озанов, воинственная музыка, исполняемая на сазах, всегда сопровождавших армию Шаха Исмаила в походах и под-

нимающая дух бойцов; потом все потонуло в диком грохоте, потом стало утихать, потом умолкло, равнина Чалдыран залилась алой кровью, и хотя Шах Исмаил лично ударом меча убил османского полководца Алибей-пашу Малгудж-оглу, которого летописцы называли «гигантом моря храбрости, тигром арены красноречия», хотя шах участвовал в битве как простой сефевидский воин и руководил всеми операциями как верховный главнокомандующий, численность и вооруженность войск сыграли свою роль: Шах Исмаил потерпел поражение в чалдыранской битве — тяжело раненный, он с остатками войска отступил в глубь Азербайджана.

Несколько дней Шах Исмаил бредил, несколько дней у Шаха Исмаила были видения, он никого не узнавал, ничего не слышал, и когда наконец пришел в себя и впервые открыл глаза, он спросил не о семье, не о сыновьях, не о войске, не о Тавризе — первым делом он спросил о художнике Бехзаде:

— Кямаледдин жив?

Этот вопрос был крайне неожиданным, ибо никому из собравшихся сейчас вокруг Шаха Исмаила военачальников, визирей, эмиров не было дела до Бехзада; никто и не вспоминал о Бехзаде, который, правда, был превосходным миниатюристом и управляющим шахской библиотекой, но до него ли было в такие дни? Из этих людей кое-кто пылал чувством мести, кто-то в глубине души раздумывал над своей будущей судьбой, а кое у кого все мысли были сосредоточены на том, чтобы Шах Исмаил поскорее поправился, поскорее поднялся на ноги и все заботы снова принял на себя — нести груз этих забот, хоть и всем вместе, было невыносимо.

— Жив, Шах...

На белом, как бумага, и совершенно обесиленном лице Шаха Исмаила промелькнула легкая улыбка, и глаза его, все еще смотревшие как бы сквозь сетку, на мгновение осветились: Бехзад был жив, Бехзад снова будет рисовать, значит, жизнь продолжалась и была прекрасна, жить стоило.

Султан Салим велел отрезать головы погибшим в чалдыранской битве сефевидским воинам и составить из этих голов пирамиду, потом, уведя войско с Чалдыранской равнины, захватил Хой, Меренд, приблизился к Тавризу.

Сафи обо всем этом не знал.

Сафи не знал о том, что владельцем одинокой головы на самой вершине пирамиды, составленной из голов, был знаменитый полководец Хан Мухаммед Устаджлы, который, в одиночку кинувшись на шатер Султана Салима, стал мишенью пушечного залпа; вороны и коршуны высклевали у этой головы глаза, продырявлили ей лоб, щеки, вырвали язык, губы.

Сафи не мог отвести глаз от пирамиды голов, от обезглавленных тел.

Вся грудь Сафи содрогалась от рвоты, все тело болело, он не мог дышать, но не мог и отвести глаз от этих голов, от этих тел, будто эти головы, эти тела, эта багряная кровь притягивали крючьями глаза Сафи и, натягивая незримые цепи, тянули их к себе; у Сафи болели и глаза, веки не смыкались, так и оставались раскрытыми.

Вороны и коршуны кричали в небе. Спокойствие в Чалдыранской степи нарушали фыркающий, дергающийся, не могущий стоять на месте, пытающийся освободиться от узды конь и сидящий на нем, блоющий желчью живой человек.

Вороны и коршуны постепенно начинали носиться прямо над головой Сафи, и Сафи почувствовал на своем лице ветерок от крыльев птиц с окровавленными клювами и когтями; этот ветерок был дыханием смерти, и близость смерти привела Сафи в чувство, волосы Сафи встали дыбом от животного страха, и Сафи понял, что надо, не теряя ни минуты, скакать назад, нельзя допустить сюда Махмуда, надо увести с этого пути Махмуда, Махмуд не должен всего этого видеть, Махмуд чист, хрупок, его чистота, его хрупкость не вынесут этого.

И в этот миг среди криков воронов и коршунов над Чалдыранской степью послышался голос Махмуда:

— Сафи! Сафи! Из-за пяти пядей земли?! Из-за мешочка золота?! Разве они не были детьми? Разве они не видели небо, луну, звезды? И они отрезают друг другу головы, как Шумр имаму Гусейну? Почему Аллах это терпит, Сафи?

Махмуд прискакал велед за Сафи и оказался лицом к лицу с равниной Чалдыран.

Сафи смотрел на Махмуда, голос Махмуда проникал в каждую клеточку его мозга, и Сафи плакал, а в голове Махмуда был вопль, от которого волосы вставали дыбом, но этот вопль был не тот вопль, что прозвучал во дворе Хмурого Пастьера, перед Попрошайкой Исранлом, — в этом вопле не было страха, этот вопль был огонь и пламя.

Сафи плакал, всхлиывая. Сафи забыл обо всем, даже о поясе в этот миг он забыл.

Среди грая ворон и клекота коршунов голос Махмуда то слышался, то пропадал:

— Сахиб-аз-заман, Двенадцатый имам, Властелин времени, чего он ждет? Он уходил до Страшного суда, но разве час еще не грянул? Разве будет еще хуже, еще страшней, еще кровавей? Разве не достаточно этого? Так, может, нет ни суда, ни конца, ни Сахиб-аз-замана, Сафи? И никто не придет? И никто не поможет?

Даже эти богохульные слова больше не путали Сафи, потому что все ужасы мира были ничто в сравнении с Чалдыранской стеной. Сафи плакал, всхлиывая. Сафи разделял горе Махмуда.

Сафи подвел своего коня к Махмуду и с плачем сказал:

— Уедем. Уедем отсюда!.. Уедем!..

В этот миг Сафи хотелось обнять Махмуда, хотелось поцеловать и прижать к груди, хотелось утешить Махмуда как свое родное дитя, которого никогда не было и теперь уже не будет, ибо Махмуд был единственным дыханием в этой Чалдыранской степи.

Махмуд так же бурно произнес:

— Уедем! Уедем, Сафи!

Жилы вздулись на его тонкой шее, и Махмуд прокричал на фарси:

— Эй, миосалман, дердимера дерман нист, элгияс!..¹

¹Традиционное восклицание: «О мусульмане, против нашего горя средства нет!»

Произнося эти слова, Махмуд повернул коня, поскакал, удалился от Чалдыранской степи, и словно Горная Дева, Даглы Арпад, эхом спустилась с вершин, эхом пришла на Чалдыранскую равнину, — слова Махмуда еще долго повторялись голосами воронов и коршунов, гнались за Махмудом и Сафи:

— ...дерман нист, элгияс!..

— ...дерман нист, элгияс!..

— ...дерман нист, элгияс!..

Сафи, изо всех сил поспевая за Махмудом, хотел лишь одного: уйти подальше от этого чалдыранского ужаса, от этого вороньего эха, но Сафи еще не знал, что несчастье состояло не только в чалдыранском разгроме.

Сафи, однако, понял, почему уже больше недели нет и следа людей Зияд-хана, почему нет ответа на второе и третье письма, направленные им Зияд-хану. Вспомнив, как были одеты мертвые воины в Чалдыранской степи, Сафи понял, что было сражение между армиями Султана Салима и Сефевида и, значит, теперь все смешалось, теперь, наверное, и в Гяндже все перепуталось.

Сафи не знал, что уже несколько дней на гянджинском престоле восседает новый хан и имя этого нового правителя Карабахского бейлирбекства — Баяндур-хан.

Когда Зияд-хан, прощаясь в Гяндже с Махмудом, провожал его в это странствие, только Баяндур знал, что отец с сыном расстанутся навеки, потому что Зияд-хану жить осталось совсем недолго, потому что Баяндур-бек уже все подготовил и все это было связано с походом Султана Салима на Азербайджан.

Бешеная страсть завладеть троном и венцом сотрясала все существо Баяндур, эта страсть пожирала Баяндур, подала его изнутри, как червь, и Баяндур знал, что эта страсть либо приведет его к ранней смерти, либо поможет ему сесть на трон Зияд-хана.

В каждом движении, в каждом слове, в каждом поступке Зияд-хана Баяндур-бек видел изъяны, а вот если бы Баяндур-бек сам был ханом, не было бы ни одной из этих нелепых ошибок — ошибок во внешней политике, ошибок в управлении страной.

Аллах создал Баяндур для властвования, иначе не было смысла в его жизни.

Когда специальный посланец Султана Салима ночью доставил Баяндур-беку сообщение о начале большого похода, Баяндур-бек с решимостью, возмущавшей о его будущей беспощадной твердости, будущих доблестях, вошел в опочивальню Зияд-хана и сам, своей рукой, вонзил кинжал по самую рукоятку в грудь спящего Зияд-хана.

Зияд-хан успел лишь на мгновение открыть глаза, сразу же узнал Баяндур-бека и все понял; еще не угасшие узкие его глазки за миг до ухода нашли возможность усмехнуться, и Зияд-хан прошептал:

— Ты избавил меня...

Тогда Баяндур-бек не понял смысла этих слов, прошли долгие годы, на голову Баяндур-хана обрушилось много несчастий, позже он был смещен с трона собственным сыном, бежал в горы, прятался в захолустных крепостях, и в последний день его жизни, на смертном его одре,

оставшийся в далеком прошлом голос Зияд-хана снова прошептал эти слова, и старый Баяндур только тогда осознал смысл этих слов.

А в тот миг, когда он вонзил кинжал в грудь Зияд-хана, эти непонятные слова заставили Баяндур-бека задрожать.

Зияд-хан успел еще провести рукой по груди и приложить испачканную собственной кровью большую ладонь к лицу Баяндур-бека и умереть.

Баяндур-бек почувствовал во рту вкус этой горячей крови, ощутил ее запах. До сих пор Баяндур-бек чувствовал вкус собственной крови, как в детстве, когда падал и разбивал лицо, либо когда шла кровь из носа, либо впоследствии, будучи раненным в боях, но кровь, вкус которой он чувствовал теперь, была не его кровью, а кровью другого человека, чужой кровью, и вкус этой крови был иной.

И впоследствии, когда Баяндур-хан, которому люди дали прозвище Волк, повелевал отрубать головы, а также на полях сражений он всегда чувствовал во рту этот вкус — вкус крови чужого человека.

Сафи ничего не знал об этом.

Наутро после убийства Баяндур-хан, взойдя на гянджинский престол, велел перебить всех родственников Зияд-хана, способных держаться в руках меч, но еще раньше он велел начисто отрезать бороду Мирзе Салману и перед всеми придворными и челядью, старыми и молодыми, осрамил Мирзу Салмана.

— Теперь ты больше не сможешь накручивать на указательный палец свою козлиную бороду, — сказал он. — Когда твой указательный палец будет чесаться, знаешь, что сделать?..

Потом Мирзу Салмана по велению Баяндур-хана посадили задом наперед на хромого ишака, вылили ему на голову кису простокваши, прогнали из Гянджи, и после этого никто не ведал, что случилось с Мирзой Салманом.

Сафи не знал и о том, что, когда они скакали прочь от Чалдыранской равнины, по гянджинским долам и лесам бродила одряхлевшая в течение одного дня, босая безумная старуха с непокрытой головой, и эта старуха, которую еще недавно звали Гамарбану, днем и ночью пела деревьям, кустам, горам, камням такую песню:

Погиб мой Зияд, и пропал мой Махмуд,

Где воля Аллаха, где праведный суд?

Я — бедна печали, вершина разлуки,

Не встать мне, не встать из-под каменных груд...

Конечно, Сафи не знал и о том, что бродившая дни и ночи с этой песенкой по горам и лесам безумная старуха встретит волка с волчицей и голодные волки съедят старуху, и с того времени от этой пары волков в гянджинских лесах народится очень странная порода: волки этой породы, не умея вить, будут день и ночь плакать человеческим голосом...

«О, Бог мусульман! О, пророк Магомет! Если вы есть, если вы справедливы, помогите мне. Помогите мне!.. Я христианка, но ведь я тоже человек; сделайте, чтобы ни у христиан, ни у мусульман не лилась из носа кровь. Господи, если ты не хотел, чтобы мы с Махмудом были вместе, зачем тогда ты привел меня в сердце Махмуда? Господи Исусе! Пресвятая Богородица! Ведь вы все знаете, все видите, вы все можете! Почему же вы подождли мое сердце любовью к Махмуду? Почему все мои думы рядом с Махмудом? Почему и ложась спать, и просыпаясь утром, я желаю Махмуда, мечтаю о Махмуде? Почему все мое тело, и вся душа, и все во мне тоскует о Махмуде? Если вы знали, что Махмуд не будет моим, и эта любовь, эта нежность так греховны, и на долю им выпадет столько мук, и они причинят столько страданий моему отцу, тогда зачем вы вселили в сердце рабы вашей эту любовь? Помогите же мне! Аминь».

Мариам прекрестилась.

Слова этой странной молитвы преследовали ее с утра, и сама она со страхом ощутила, что не вполне верит своей молитве. Как будто не Мариам произносила эти слова, а кто-то другой.

Мариам еще раз перекрестилась в темноте.

Если в сердце Мариам пробудилось неверие, нет, не неверие, а сомнение в помощи и благословении Господа и Пресвятой Девы, то, может быть, это оттого, что она согрешила? Может быть, это оттого, что она возжелала мусульманина? Может быть, это дурной глаз, ворожба, злые чары?

Может быть, Махмуд — колдун? Махмуд сбил ее с пути? Махмуд заронил в ее сердце неверие?

Холод этих вопросов Мариам ощутила всем телом, как будто кусок льда запустили за шиворот ее ночной рубашки, он соскользнул между лопатками вниз и охватил ее тело злоеющей дрожью.

Нет! Нет! Махмуд — святейший из святых, Махмуд — чистейший из чистых.

Порыв нежности к Махмуду снова согрел Мариам, та полоска, по которой соскользнул между лопатками кусок льда, теперь вдруг заплыла. Мариам всем сердцем, всем телом возжелала Махмуда, и это желание было таким плотским, что Мариам скорчилась в постели, дыхание ее стеснилось, из груди вырвался стон.

Хмурый Пастырь вдруг вскочил, сел и в лунном свете, едва просачивающемся сквозь окошко, посмотрел в сторону Мариам. Хмурый Пастырь не видел ее, но чувствовал, что Мариам опять не спит, и знал, что Мариам увидает, истаняет с каждой бессонной ночью.

Когда все это кончится? Когда завершатся мучения и страдания этой слабой девочки, этой чистой девочки? До Святой Обители осталось немного. Немного осталось. Святой Старец поможет им.

Мариам чувствовала, что отец смотрит на нее в темноте. Нет, Мариам не хотела, чтобы Хмурый Пастырь в эти мгновения смотрел на нее, нет, не смотри, отец, месяц уйдет, куда он уходит, отец, туда, где анге-

лы спят, отец, и я подставлю грудь как мишень, куда любимый стрелу пошлет...

Хмурый Пастырь шепотом позвал дочь:

— Мариам...

Мариам не ответила, Мариам в душе молила Хмурого Пастыря: горе мое как гора, отец, печаль — прибежище мое, не заговаривай со мной, отец, кровью заплачу, тяжелая пора у меня, отец...

Хмурый Пастырь лег.

Сколько времени они вели кочевую жизнь, скрывались, бежали прочь от страсти безбожника, от этой страсти, веками исторгающей мерзость, погрязшей в пороке, погубившей самых красивых, самых чистых дев христианских... В этой страсти была алчность Зокхака, которому сатана облобызал плечи, и из плеч которого выросли змеи, питавшиеся мозгом младенцев... Он, Хмурый Пастырь, не давал обета монашеского, но и он надел на себя вериги, чтобы усмирить океанную плоть, данную нам на погибель, а эти поганые сластолюбцы выгнали такую чистую, как Мариам, из дома, из родного края, заставили скитаться без крова. Правда, и дни, проведенные под этим кровом, тоже были нерадостны, проходили они в бедной лачуге, в окружении безбожников, но даже в самой бедности, в самом унижении детей истинного Бога было что-то светлое, что-то родное.

Завтра весь день они все еще будут скрываться в этой комнатке, а в следующую ночь снова станут странниками, снова будут идти до рассвета, снова изнемогут от усталости, и Мариам обессилеет, но ничего не скажет, ни на что не посетует. Единственное утешение было в том, что еще одна тяжкая ночь, еще одна долгая ночь приблизит Хмурого Пастыря и Мариам к Святой Обители.

Мариам оставилась в темноте. Мариам знала, что на противоположной стене комнатки висит икона Спасителя. Мариам в темноте не видела этой иконы, но, глядя в ее сторону, крестилась. Мариам в эту минуту не знала, зачем она крестится. Мариам в эту минуту не знала, чего она хочет, но то и дело крестилась, глядя в направлении иконы Спасителя; губы ее кривились, она что-то шептала, но и сама не знала, что шепчет.

Хмурый Пастырь все знал. Единоверцы считали долгом помогать ему, давать ему убежище в своем доме и обо всем уведомлять, что творится вокруг. Хмурый Пастырь знал, что сын Зияд-хана Махмуд следует за ними. Люди Зияд-хана в любой день могли напасть на след Хмурого Пастыря, и тогда погибнет в мучениях не только он, но и те добрые люди, что давали ему приют; но Хмурый Пастырь ни минуты не сомневался в том, что и ему, и этим людям все это необходимо вынести; все это необходимо было вынести во имя святой апостольской веры, ибо Мариам, в сущности, принадлежала не только Хмурому Пастырю, своему отцу, — она принадлежала всей общине и должна была освятить христианина, и должна была стать матерью христиан.

И вновь родной, ласковый шепот во мраке ночном ободрил Хмурого Пастыря: «Верно, жизнь моя!.. То, что ты делаешь, верно. Гони сомнения прочь... Я ли не вижу, как страдает Мариам? Я ли не вижу, как мучается Мариам? Безбожник хитростью овладел сердцем Мариам, и ты

должен возвратить Мариам ее сердце. Разве можно отдать это чистое сердце безбожнику? Все будет хорошо, жизнь моя. Святая Обитель примет тебя. Святой Старец поможет тебе, ибо ты всегда был чист перед Богом истинным. Господь не оставит тебя, ибо он справедлив...»

Этот родной, ласковый шепот всегда приходил на помощь Хмурому Пастырю в самые трудные времена, в самые нестерпимые минуты согреть его сердце.

С той полуночи, когда они бежали из Гянджи, и до нынешней ночи — за все это время Мариам не сказала ни единого слова о Махмуде, ни словом не пожаловалась, была совершенно покорна; что ни говорил Хмурый Пастырь, она выполняла, куда ни вел ее Хмурый Пастырь, шла, и сама эта покорность Мариам угнетала Хмурого Пастыря, заставляла страдать и болеть его сердце, потому что Хмурый Пастырь кровью чувствовал, что сердце Мариам бьется любовью к сыну Зияд-хана Махмуду, что эта юная, ничего не ведающая о мире девушка живет любовью. Все было ясно, и ничего скрытого или смутного не осталось.

Мариам надо было помочь. Мариам надо было спасти.

За все это время Мариам всего однажды вспомнила прошлое: рано утром, остановившись у родника, они перевели дух, вымыли ноги, умылись, напилась, и Мариам, подняв голову, посмотрела на алеющую до самого горизонта зарю, глубоко, всей грудью вдохнула утреннюю чистоту и внезапно спросила:

— Интересно, что сейчас делает Белая Коза? Белая Коза дичилась людей, привыкла ли она к другим?

Хмурый Пастырь пригладил мокрыми руками свою длинную густую бороду и сказал:

— И люди, и животные, и все существа земные привыкают, причащаются ко всему. На свете нет ничего вечного. Вечен только Бог и учение Христово, дочка.

Мариам больше ничего не сказала и ничего не спросила.

Заснула ли она теперь? Бедная девочка, хоть бы немного, совсем немного поспала.

И вдруг, во тьме ночной пробудилась в сердце Хмурого Пастыря какая-то надежда.

Хмурый Пастырь уже узнал, что Зияд-хан убит и гянджинским престолом завладел некто по имени Баяндур-бек. Конечно, эти дворцовые перевороты, жадность к власти и богатству не имели для Пастыря никакого значения, а кроме того, направившись в Святую Обитель, Хмурый Пастырь счел бы несурзанным возвращение с полдороги, да он и не хотел возвращаться: с помощью Святого Старца должно быть избавлено от этой греховной любви сердце Мариам.

Хмурый Пастырь хорошо знал деяния правителей, знал, что Баяндур-хан не насытится кровью одного лишь Зияд-хана, и теперь во тьме ночной он подумал, что люди Баяндур-хана могут найти и убить Махмуда, и в сердце его пробудилась надежда: тогда само по себе все наладится.

Когда Хмурый Пастырь подумал об этом, грудь его пронзила боль, и он понял, что нестерпимая боль в груди — это боль в сердце Мари-

ам, и пришел в ужас — пришел в ужас от того, что желает смерти, которая причинит нестерпимую боль частице плоти его — Мариам.

Мог ли быть столь безжалостным человек, чтущий бога, а наипаче — служитель его?

Какие соблазны подстерегают нас в сей юдоли...

Почему, почему человек должен желать смерти другому?

Может ли быть чистым сердце, желающее смерти другому, пусть даже нечестивцу? И ведь он ощутил боль за Мариам, боль Мариам, но не того, кому с холодной яростью пожелал смерти. Этому ли учил Спаситель, добровольно предавшийся палачам своим? Могут ли открыться двери Святой Обители перед обладателем такого сердца?

И снова помог родной, ласковый шепот: «Спи, жизнь моя, спи, не мучь себя, жизнь моя, спи, спи, спи... Спи... спи... спи...»

Мариам не отводила глаз от незримой иконы Спасителя и с дрожью во всем теле что-то шептала, но что шептала — не знала и сама. В темноте она ничего не видела, но наметки, когда хозяева, приоткрытые их, при свече стелили им постели, Мариам увидела, что на противоположной стене висит иконка Спасителя.

Сошурив глаза в темноте, Мариам пристально смотрела на противоположную стену и вдруг, в полной темноте, разглядела икону, но с иконы смотрел не Христос, с иконы смотрел Махмуд, его большие голубые глаза были глазами Христа.

Мариам понимала, что это ей привиделось, что это от усталости, от горя, но не испугалась и не стала отгонять от себя греховное видение; Мариам улыбнулась, улыбнулась впервые с той ночи, как они бежали из Гянджи; видение излучало покой, утешение, и Мариам под взглядом больших голубых глаз забылась легким, хоть и тревожным сном.

XI

Все рушилось, и Джейран никогда не думала, что она так слаба и все закончится для нее так нелепо, так бесславно.

Жизнь лишалась смысла.

Будущего не было.

Джейран понимала, что так нельзя, что это безумие, а безумие не подобаёт такой женщине, как Джейран, повидавшей все стороны света, поднявшейся со дна жизни, добравшейся до порога дворцов, но Джейран ничего не могла поделать, сердце ей не повиновалось, и все рушилось.

Гянджинские молодые женщины рассказывали, будто одна рабыня во дворце повесилась из-за Махмуда, — правда это или ложь, выдумка или был, неважно, ибо что оставалось Джейран, как не повеситься, подобно глупой девчонке? Но тогда к чему были метания этих лет, поединок с голодом, нищетой, унижением, тысячи уловок, интриг, обдуманных в бессонные ночи, с трудом выработанное умение утешаться своим красивым телом, холить его ради будущего богатства, уповать на отвратительную похоть мерзких и жадных мужчин, годящихся ей в отцы, деды, мужчин, чья плоть насыщалась, но глаза — ни-

когда; к чему были ее фальшиво-пыльные ласки и привычка ко всему этому? Неужели для того, чтобы безрасудно влюбиться в юнца, ничего не знающего о жизни, и собственной рукой накинуть петлю себе на шею?

Зияд-хан был убит, и это к лучшему, потому что Джейран все равно не смогла и не сможет выполнить поручение Зияд-хана — это несомненно. Зияд-хан был убит, и, значит, Джейран была совершенно свободна; правда, обещанный дом в Тавризе тоже утлыл из рук, но ничего, не конец же света — Джейран молода, красива, умна, и все у нее в будущем.

Но будущего больше не было.

Когда пришла весть об убийстве Зияд-хана, во рту Гысыр-Гары забелел единственный зуб.

— Слава Аллаху! — сказала она. — Возвратимся в Гянджу, в свои халучи! Что мы тут забыли, в этих степях? Если мужчина, да еще молодой парень, не нашел вкуса в такой красотке, как ты, — пепел ему на голову! — Гысыр Гары соединила ладони и взмахнула ими.

От злости у Джейран на подбородке обозначилось белое пятно.

— Заткнись, чертова старуха! — сказала она. — Замолчи!

Джейран сказала это, а про себя подумала: самый счастливый, самый беззаботный человек на свете — безбожница Гысыр Гары, ей на все плевать... потом подумала: кто знает, может быть, в сердце этой Гысыр Гары тоже есть горе, о котором никто не знает, оттого-то Гысыр Гары с таким трудом перебивается...

Конечно, Джейран не знала, что судьба Гысыр Гары, этой самой Гысыр Гары, которая с таким трудом перебивается, станет самой странной, самой дивной из судеб человеческих...

Всего недели три назад будущее было так светло, ночи приносили цветные сны. В ночь, когда они выходили из Гянджи, Джейран была полна сил, весь мир был у прекрасных ног Джейран.

Тогда Джейран еще не видела Махмуда. Говорили, что сын Зияд-хана очень застенчив, день и ночь книги читает. Как-то раз в сердце Джейран промелькнуло желание подстроит встречу с Махмудом и добиться того, чего она не смогла добиться от его отца, и попасть во дворец, но она тотчас отогнала это желание, потому что жители Гянджи дурное говорили о Гамарбану, и говорили они, что не только женщина — ни одно животное, ни одна птица не любит так своего детеныша или птенца, как Гамарбану любит сына. Джейран не хотела испытывать судьбу. Джейран достаточно перенесла в жизни, чтобы рисковать достигнутым ценой многолетних усилий и мучений.

Наутро того дня, когда она пустилась в дорогу, Джейран позвала к себе Гысыр Гары и спросила о Махмуде.

Глаза Гысыр Гары, как глаза обвешенной маслом кошки, чуть не вылезли из орбит:

— Ты его не видела? — воскликнула она. — Клянусь Кораном, который прочла, намазом, который совершила, это Юсиф, прибывший из Ханаана!.. Один раз меня позвали... — Гысыр Гары огляделась и договорила остальное, приложив отвислые губы к уху Джейран, вкусным шепотом, а потом, хлопнув сухими, как деревяшки, ладонями друг о

друга, закатилась хохотом: — Да, да, пусть прозвонит меня меч Святого Аббаса, настоящий крепкий мужик!..

Джейран тоже улыбулась и почувствовала, что по телу ее разлилось тепло; Джейран нравились такие разговоры, потому что прежде Джейран спала с мужчинами только ради золота и ей было скверно, она страдала, насилывала себя, но прошли годы, и Джейран научилась получать наслаждение от мужчин.

Гысыр Гары смеялась, белея единственным зубом между отвислыми губами, и в лад ее смеху на ее иссохшей шее тряслись и билась друг о друга, издавая что-то вроде мышного писка, бусники где-то найденного ею ожерелья из ракушек; а Джейран задумалась, где взять воды из райской реки Ковсер, чтобы выпить этой живой воды и навсегда остаться молодой, и никогда не быть похожей на эту Гысыр Гары...

Джейран и в голову не приходило, что когда-то и эта Гысыр Гары была молодой и красивой и ее кекетство спалило многих, как сухие дрова...

Джейран было всего двадцать пять лет, но Джейран уже пугалась временами будущей старости и одиночества.

Конюх Джафар чистил коней и, будто бы говоря с конями, расписывал свое село, покой, здоровье, домовитость и добросердечие сельских жителей:

— Эх, были бы мы сейчас у нас в селе. Избавились бы от этих скитаний, от этой пыли и грязи. Поселились бы в нашем доме. Хорошенько отдохнули бы. Спокойненько жили бы хоть месяц, хоть год, кругом были бы одни только горы, леса, да еще ледяные родники, да еще мы. Мать готовила бы нам. Скоро зима наступит. Сидели бы в теплом дому, у печки, глядели на горящий с треском огонь, ни о чем бы не думали...

Конюх Джафар был родом из Ширвана, из горного села Талыстан, из тех мест, где в древнейшие времена, семьсот-восемьсот лет назад, правитель Джаваншир скакал на коне, размахивал мечом, проливал кровь завоевателей-арабов.

Конюх Джафар, может быть, и сам не догадывался, что все печальные, мечтательные слова он говорит для одной Джейран.

Конюх Джафар говорил эти слова со страстью, с огнем, которых больше не в силах был скрывать, конюх Джафар пожирал Джейран глазами, и Джейран не прикрикнула на конюха Джафара, не мигнула телохранителям, которых держала на поденной оплате, чтобы конюх Джафар исчез навсегда, и не только потому, что привыкла к голодным взорам мужчин, смотрела на это как на обычное дело и, более того, втайне радовалась этому и торжествовала, и не потому, что конюх Джафар был симпатичный и здоровый парень, а потому, что Джейран — откуда это было знать бедняге Джафару — и сама родилась в селе, выросла в селе и до четырнадцати лет жила в селе. Правда, Джейран была сиротой, правда, после того, как два старых персидских сенца, пришедших в село из Хорасана, заманили и изнасиловали Джейран, односельчане отвернулись от Джейран как от прокаженной, правда, шестидесятилетний староста села Аллахагулу тайком увел Джейран из села в горы и в летний зной ровно десять дней, не зная насыщения, выжимал из Джейран все соки, крупными зубами, жесткой бородой, пальцами,

грубыми, как бычий копыта, превратил все тело Джейран в сплошной синяк, а потом сказал: «Аллах создал мое сердце таким мягким, что у меня рука не поднимается скинуть тебя со скалы. Убирайся — и чтоб даже тень твоя не появлялась в этом селе!» — и дал ей пинка, и прогнал, но все же, все же — в словах коноха Джафара была своя правда.

Джейран догадывалась, тайное чувство говорило Джейран, что думать об этом не нужно, а коноха Джафара надо прогнать: слушая разговор коноха Джафара с конем, Джейран во всем теле ощущала усталость и понимала, что это усталость тех лет, что последовали со дня ее изгнания из села, усталость от приключений, волнений, интриг, чужой и своей похоти и в каждой клеточке ее тела таится желание, нет, не желание, а тоска по избавлению от этой усталости, по отдыху на чистом лоне природы, в сельской тиши, без расчетов и хитростей, без мыслей и планов, без лжи, без злобы, без клеветы, — и коноха Джафара необходимо прогнать, чтобы не просыпалось это тайное желание, чтобы не сводила с ума эта тоска.

Джейран улыбнулась: в чем вина коноха Джафара? Все эти ненужные мысли, эта мучающая Джейран тревога, это недовольство и раскаяние всколыхнулись после встречи с Махмудом, и будь проклята ночь, когда Джейран вызвали во дворец и предложили это дело, будь проклят тот день, когда Джейран увидела Махмуда.

Интересно, с какой вестью вернется Гысыр Гары?

Джейран была совершенно убеждена, что доброй вести не будет и что горе ее безнадежно.

Интересно, какими чарами владела нечестивая поповская дочка, что смогла так околдовать этого парня?

Джейран была готова, не моргнув глазом, не охнув, визгить кинжал прямо в сердце нечестивой поповской дочке.

Под вечер Джейран послала к Сафи Гысыр Гары и теперь ждала вестей. Сафи от всего сердца, искренне должен был повлиять на Махмуда, Сафи должен был непременно сделать так, чтобы Махмуд принадлежал Джейран, и Джейран через Гысыр Гары пообещала Сафи чуть ли не мэн — семь с половиной фунтов — золота, что было вдвое больше того, что дал Джейран Зияд-хан.

С ума сошла, Джейран?

На что ей эта кочевая жизнь? Эта цыганщина? Почему она преследует какого-то мальчишку, влюбились в него до безумия? Подобаает ли ей в такую-то пору, как глупой девочке, мечтать о ларце с драгоценностями, как именуют поэты губы возлюбленного? Что даст ей этот юнец? Она поддержит его при себе и вскоре пресытится им, и юнец превратится в обузу, в изношенную вещь.

Неужели и вправду будет так?

Нет, нет, никогда так не будет. Если бы Махмуд принадлежал ей Джейран отказалась бы от всего на свете, Джейран была бы счастлива, и, пожалуй, Джейран уже сейчас ощущала в себе возможное счастье, великое счастье, будь оно неладно, все это пустые разговоры, все чувства преходящи. Джейран поддержит при себе этого молокососа месид, потом им пресытятся и не будет знать, что делать с этим беспомощ-

ным, безнадежным, бездомным дурнем; да, именно так, в мире ничему нельзя доверять, до вчерашнего дня мальчишка был ханским сыном, а сегодня сирота и бедняк, мир неверен, жизнь ненадежна, всем правит рок, ни шаха он не признает, ни хана, ни подданного!..

Но беспомощность Махмуда вдруг сжала сердце Джейран, и Джейран вдруг поняла, что в ее любви к Махмуду, который на восемь лет моложе ее, где-то на самом дне есть что-то материнское. Эта мысль потрясла Джейран, и она почувствовала голову Махмуда на своей груди, и ей показалось, будто она приглубит сейчас свое дитя.

У Джейран никогда не было детей и, наверное, никогда и не будет, и Джейран в жизни не задумывалась над этим, потому что в свое время перенесла столько страданий, столько мук и лишений, что теперь думала только о себе и все дела и делишки обделяла ради своего благополучия. Однажды, два-три года назад, Джейран вспомнила сельского старосту Аллахгулу и решила нанять убийцу и отправить его в село, чтобы он отрезал голову сельскому старосте Аллахгулу. Два дня она жила чувством мести, но потом ей стало жаль денег, она подумала — будет жив сельский староста Аллахгулу или будет убит, что ей до этого? И месь показалася Джейран безрасудной тратой денег. В сущности, именно в борьбе Джейран за свое благополучие и была жажда мести, и Джейран веселилась, улаждая себя маслом и медом, шелками и украшениями, точно мстила всем на свете за свое безрадостное детство, мученическую юность. Джейран любила только себя и была равнодушна ко всем другим от мала до велика, от бека до подданного, была равнодушна ко всему и ко всем, пока у нее не появлялся собственный интерес.

А Махмуд?

Когда Зияд-хан ночью вызвал Джейран во дворец и послал Джейран за Махмудом, все было просто и ясно: Джейран обольстит Махмуда, Махмуд познает, какие наслаждения бывают в этом мире, она вернет Махмуда в Гянджу, вырвет из сердца Махмуда любовь к поповской дочке, потом с хурджином, полным золота, переберется в Тавриз; и, когда в ту ночь Джейран вместе с невольницами, телохранителями, слугами да еще с Гысыр Гары отправилась в путь следом за Махмудом, это казалось началом прямехонького, гладенького пути, а оказалось началом новых страданий и потрясений.

В первый раз Джейран нагнала Махмуда у родника и сделала Махмуду намеки, на которые была способна только Джейран: намеки стыдливые, но говорящие, по сути, о бесстыдной страсти и желании, однако Джейран увидела, что Махмуд не понял этих намеков и воображение не увлекло Махмуда в те грядущие сладострастные мгновения, на которые она намекала. Махмуд действительно не понял, чего от него хочет эта случайно встреченная и сошедшая с паланкина выпить родниковой воды женщина.

Во второй раз Джейран показала себя Махмуду.

Слуги донесли, что путь Махмуда лежит через озеро Плен Очей. В тот солнечный день караван Джейран укороченным путем опередил Махмуда, и, когда стоявшие в засаде невольницы сообщили о приближении Махмуда, обнаженная Джейран вошла в теплую воду озера Плен

Очей, а невольницы с криками, смехом, шутками начали купать Джейран.

Озеро Плен Очей походило на озеро Гей-гель в горах близ Гянджи, оно было окружено деревьями, кустарником; услышавшие шум Сафи и Махмуд шапранили коней к берегу и сквозь деревья в шестидесяти или семидесяти аршинах увидели у берега в мелкой, не покрывавшей колен воде голую Джейран.

В тот же миг Джейран инстинктивно почувствовала, что Махмуд с Сафи видят ее и смотрят на нее. С рассыпавшимися по плечам длинными волосами Джейран легонько отстранила невольниц, сама провела рукой по груди, животу, полным бедрам, с невыразимым кокетством наклонилась, выпрямилась, обернулась и всю себя показала Махмуду.

Махмуд тотчас узнал эту женщину, но тогда, случайно встретив ее у родника, Махмуд никак не мог бы представить себе, что в этой женщине столько соблазна. Сидя на коне, Махмуд с трепетом шептал:

— Уедем, Сафи! Уедем отсюда! Уедем, Сафи!

Махмуд не приказывал, а молил.

Сафи словно окаменел; Сафи не мог отвести глаз от купающейся Джейран. Сафи понимал, что так нельзя, стыдно перед Махмудом, но ничего не мог с собой поделать, тело его окаменело.

— Уедем, Сафи!.. Уедем отсюда!.. Уедем, Сафи!..

Внезапно, точно ниоткуда, появилась Гысыр Гары, встала перед Махмудом и сказала:

— Ух! Вот это да!.. — Потом, показав глазами на Джейран, шепнула: — Не бойся. Я не скажу ей, что ты подглядывал. — Гысыр Гары подмигнула Махмуду. — Сейчас она войдет вон в ту палатку, будет там одна... У родника влюбилась в тебя... — Гысыр Гары тихонько рассмеялась. — Ну, иди сюда, я отведу тебя в палатку. Захочешь — сам вытри ее... Иди... Иди сюда...

Мгновенно Махмуда охватил страх, и страх отрезвил Махмуда: Махмуд испугался, что сейчас он побежит в эту палатку и всю жизнь, сколько проживет на свете, будет желать только тела этой женщины, только ее будет желать, и Мариам останется одинокой, беспомощной, обманутой.

Махмуд не знал, как заставил себя очнуться, как погнал коня, как укакал от озера Плен Очей.

Гысыр Гары гневно сплонула.

— Иди, — сказала она. — Сукин ты сын! Иди, черный камень тебе вслед! — Потом излила всю злость на Сафи. — А ты чего слонни распустил? Для тебя она купается, что ли? — Гысыр Гары плула босой ногой коня Сафи, и конь сдвинулся с места, почувствовал, что повод ослаб, вышел из рожицы, поскакал за другим конем, который несся впереди, вздымая дорожную пыль.

Затем Гысыр Гары подняла голову, посмотрела на небо: небо было ярко-голубым и совершенно чистым.

Сафи словно впал в бесчувствие и ничего не слышал.

Джейран не видела Махмуда, но едва различила промелькнувшую за деревьями тень, поняла, что и эта западня не сработала, и эта попытка

провалилась. Когда Гысыр Гары вышла из-за деревьев и жалобно посмотрела в их сторону, Джейран с грубостью, которой трудно было ожидать от ее утонченной красоты, растолкала невольниц, выскочила из воды и бросилась в палатку; злорада Джейран не умещалась между небом и землей.

Но Джейран не знала, что конюх Джафар, который не отводил от нее глаз с того дня, как отправился с Джейран в странствие, тоже в двадцати шагах от озера Плен Очей притаялся за холмиком, под старой сосной и, всхлипывая и постанывая, все это время смотрел на обнаженную Джейран.

Джейран не смогла в эту ночь уснуть до самого утра. После мучительных ночей, проведенных в горах, вблизи от их села со старостой Аллахгулу, и таких далеких теперь, и даже с той поры, когда Джейран в свои пятнадцать лет кочевала с цыганами, у нее не было такой тяжелой ночи. Сначала Джейран подумала, что она в ярости на сына Зияд-хана, что разозлена его чудовищной глупостью, но потом поняла: нет, это не так, Джейран зла на себя, Джейран стыдилась самой себя за эту полуденную наготу, понимала при этом, что так нельзя, что, если она начнет стыдиться и укорять себя, она быстро погибнет в этом безжалостном и холодном мире.

Мир был безжалостен и холоден, но в ту ночь Джейран в ледяном холоде мира опутала и какое-то тепло: это тепло шло от Махмуда, в его дыхании была чистота, его дыхание свидетельствовало о добре, о красоте человеческой природы; в этом теплом дыхании Джейран увидела свое обольстительное тело как бы с ног до головы в нечистотах.

Вот так внезапно этой ночью в жизнь Джейран вошел Махмуд и больше не оставил Джейран одну, и сердце Джейран стало трепетать, как у пятнадцатилетней неопытной наивной девушки.

Потом пришло сообщение об убийстве Зияд-хана, но Джейран не повернула назад, не остановилась, она продолжала преследовать Махмуда. Люди Зияд-хана отстали от каравана Джейран, разбежались кто куда, только конюх Джафар не ушел и вместе с личными слугами, рабынями и телохранителями Джейран продолжал странствие.

Бессонные ночи сменяли друг друга.

Народные ашуги сочинили много песен в честь Джейран: косы твои пусть арканом будут, говорили они, а от этого аркана не спасется ни один мужчина на свете; глаза твои пусть возьмут мою жизнь, говорили они, щеки твои — свежее розы, говорили они, луноликая красавица с парой родников на подбородке истомила душу нам, говорили они; но народные ашуги не знали, что теперь, если Джейран вздохнет, высохнут и облетят листья гянджинских чинар, не знали, что в эти долгие бессонные ночи подушка Джейран была мокра от слез, одеяло черное от горя.

Через пять или шесть дней после истории у озера Плен Очей Джейран с Махмудом встретились в третий раз. Джейран направила свой караван по следам Махмуда и в одном пустынном месте рано утром выслала невольницу — позвать Махмуда.

— Скажи, один человек в паланкине хочет повидаться с тобой по важному делу.

Потом Джейран приказала спустить паланкин со спины верблюда на землю, и невольницы и слуги отошли в сторону, оставив Джейран одну.

Джейран стала ждать Махмуда. Вчера ночью она приняла решение об этой утренней встрече: она больше не могла терпеть и, как ребенок, заучила все, что скажет Махмуду. Она скажет правду, скажет Махмуду все, скажет, почему пустилась за ним следом, и попросит помощи. Но, когда Махмуд приблизился среди пустыни к черному паланкину, Джейран сразу же забыла все слова, которые собиралась произнести, они вылетели у нее из головы, грудь ее пылала от волнения, и, когда Махмуд, спрыгнув с коня, остановился подле паланкина, Джейран никак не могла сдержаться, протянула руку, подняла занавеску, схватила Махмуда за руку, втащила внутрь и, прерывисто дыша, спросила:

— Какой же ты влюбленный? Почему же ты не знаешь, что испытывают влюбленные? Ведь ты должен это знать! Не видишь разве, в черный цвет окрасился мой паланкин? — и Джейран рванула ворот своей шелковой кофты и прижала голову Махмуда к своим горячим выпуклым грудям. — Возьми меня! Иди ко мне! Я сделаю тебя мужчиной! Ты будешь самым счастливым мужчиной в мире! Все люди покажутся тебе нищими! Мелозгой! Ты будешь выше всех! Иди сюда! Иди ко мне! Возьми меня!

Махмуд задыхался, Махмуд не мог вздохнуть, у Махмуда потемнело в глазах, Махмуд ничего не видел и чувствовал, что сейчас потеряет сознание; овладевшее им желание было сильнее его, но когда Джейран, схватив Махмуда за волосы, оттолкнула от своей груди и альми, как угли, губами стала целовать глаза, лицо Махмуда, Махмуд внезапно высвободился из рук Джейран, оторвался от губ Джейран и, обхватив себя обеими руками за голову, застонал, закричал, зарыдал и убежал от черного паланкина.

Сафи сидел на коне в сорока шагах от паланкина Джейран.

Сафи не сказал ни слова, кинул мимолетный взгляд на паланкин, взялся за повод Махмудова коня и, ведя его за собой, медленно удалился.

Крик Махмуда все еще стоял над степью.

Джейран осталась в паланкине одна. Джейран была одна на всей земле.

Откинув голову, Джейран вперила светлые глаза в низкий навес паланкина, и ее глаза сейчас ничего не выражали.

Джейран поняла, что Махмуд бежал не только от нее — Махмуд бежал и от самого себя.

Потом Джейран охватил озноб, она застегнула ворот кофты, и ей вспомнилось, что, когда она была ребенком, на Весенний праздник, Повзур байрам, разводили костер и до ночи с криком и гиком прыгали через огонь, а ночью втайне от взрослых — гасить костер водой был грех, — подростки доставали из колодца воды, заливали ярко-красные угли, они с шипением гасли и вскоре на ночном морозе становились холодными как лед.

Джейран подумала, что все кончено, ей было холодно, ей было все безразлично, но нет, ничто не было кончено, вечером все в ней заки-

пало снова, ночь прошла мучительно, и Джейран снова послала Гысыр Гары к Сафи, и теперь, сидя в палатке, разбитой посреди степи, ждала Гысыр Гары.

Вдали обозначились снежные вершины Эрзерумских гор, и Джейран подумала, что Махмуд уже перебрал за эти снежные горы, и у Джейран вырвался стон: не пропущайте его, о горы, о туманные вершины; если смерть моя придет — умру, но могилицей мой ушел; что сделала злодейка-судьба? Слово кинжалом пронзила мне грудь, врача нет, целителя нет, чтобы облегчил мой недуг, истаяло сердце, истекло кровью; пылаю ли я, горю ли я — пламя охватило мое тело; заплачу ли, зарыдаю ли, — но отмыва я рубашку добела, стерла я ржавчину с души, умоляла кровавую судьбу, и что же? Судьба дала мне новые муки, эгей!

Неожиданно Джейран вспомнились строки стихотворения Масуди, которое часто пели гянджинские девушки:

Если цели еще не достиг,
Продолжай достижение цели,
Если время не ладит с тобой,
ты попробуй со временем ладить.

Почему Джейран вспомнила эти строки?

Сейчас между гянджинскими певичками и Джейран легло такое расстояние, которое не мог бы покрыть ни один конь на свете, ни один верблужий караван; это было неодолимое расстояние, и если бы даже Джейран, сев на Гюльгюна, коня царевны Ширин, скакала бы годы, она не одолела бы этой дали, и если бы даже Ареш сто раз подряд пустил стрелу, он не покрыл бы этой шири, ибо не было им конца. Во всяком случае, Джейран так казалось.

Вот придет Гысыр Гары и что скажет? Что сделает Сафи? Перед чистотой Махмуда в нечистотах погряз весь мир, не только Джейран. Зачем она послала Гысыр Гары? Разве можно заставить любить насильно? Сердце Джейран снова пронзила боль: плачь, сердце, пришел день разлуки, миг разлуки.

Джейран взглянула из-за занавеса паланкина.

Верблюды, опустившись на землю, жевали степную траву, и Джейран показалось, что на спинах верблюдов хурджины, полные драгоценностей, золота, и все это Джейран приобрела в метаниях, которые еще предстоят, бросаясь в огонь и воду, пускаясь во все тяжкие, ну и что?

И что?

Давайте прощаемся, мне пора...

Что это значило? Обезумела Джейран, с ума спятила?

Конюх Джафар чистил коней, и, поскольку все тридцать лет своей жизни он провел среди коней, в табунах, в конюшнях, Джафар не знал других забот, радости и горестей, кроме конских забот, конских радостей и конских горестей. Детство и юность его прошли в селе, потом он прибыл в Гянджу, об этом отличном конюхе узнали во дворце и взяли на службу к Зияд-хану. Когда Зияд-хан послал Джейран за своим сыном, вместе с пятью дворцовыми служителями он отдал Джейран и

коноха Джафара, и конох Джафар с любовью и усердием ухаживал за конями в караване Джейран.

Когда же пришла весть об убийстве Зияд-хана, все дворцовые слуги разбежались, но конох Джафар никуда не ушел, потому что к любви коноха Джафара к лошадям прибавилась новая, тайная любовь. Конох Джафар мог возвратиться в Гянджу, зная, что Баяндур-бек обоим лошадей и хорошего коноха ценит не меньше, чем хорошего коня, но дело было в том, что новая любовь, как ни странно, напомнила коноху Джафору о родном селе, а ведь конох Джафар расстался с селом двенадцать лет назад и в селе теперь его ждала только мать, больше никого у них не было. На деньги, скопленные в Гяндже за двенадцать лет, конох Джафар мог бы завести небольшой табун. В это время, когда люди убивали друг друга, хороший конь ценился как золото, и конох Джафар рано или поздно мог составить себе состояние, мог стать владельцем больших табунов, поставляющим войску хороших лошадей.

Но из одного дела вышло другое: к этой исконной любви и заботе прибавилась новая любовь, новая забота, и рядом с этой новой любовью, новой заботой что значила любовь к лошадям, забота о лошадях? Ничего... Конох Джафар был мужчина трезвый и отлично понимал, что надо ноги вытягивать, насколько хватает одеяла; такая ханум, как Джейран, ему не ровня, а человек должен искать среди равных, но сердце его то ли говорило?

И тут в жизни коноха Джафара произошло чудо из чудес: конох Джафар почувствовал, что к знакомому сызмала конскому запаху примешался очень нежный, очень тонкий запах, и, подняв голову, конох Джафар увидел перед собой Джейран. Джейран, не говоря ни слова, смотрела прямо в глаза коноху Джафору. Конох Джафар был не столь уж проиндательный человек, но и конох Джафар в светлых глазах Джейран, отнимающих у человека разум, угадал не только печаль, но и какую-то решимость, какое-то намерение; потом Джейран подняла руку, положила ее на большую и грубую руку коноха Джафара, державшую скребок, и конох Джафар, понял что, поскольку он мужчина, верный слову, Аллах услышал голос его сердца и сделал его, коноха Джафара, самым счастливым человеком на свете...

...В этот день Джейран, не дожидаясь Гысыр Гары, оставив посреди степи весь свой караван, невольниц и слуг, забыв о своем доме в Гяндже, об имуществе и состоянии, прильнула к коноху Джафору, и на одном конце они помчались в село, покинутое конохом Джафаром двенадцать лет назад.

Такая вот была Джейран.

В костре тлели угли.

Скорняки весь день выделывали на берегу реки бараньи и козьи шкуры, изготавливали сафьян, и даже поздно ночью запах кожи в этих местах еще не выветрился, и Сафи, утая на чем свет стоит всех скорняков мира, держал пальцы над углями костра, согревая их.

А чем были виноваты скорняки?

А чем были виноват Сафи? Что за грех совершил Сафи, что как дервиш скитался по степям, в таком возрасте почевал под кустами, а сердце его сжималось от мысли, что будет завтра. Мглой глубокого колодца окутан был этот вопрос, и за что такая колодезная мгла должна была стать уделом Сафи?

И вообще, что видел Сафи за всю свою сорокашестилетнюю жизнь?

До осени уже недели не оставалось, и ночная стужа заставляла дрожать от холода...

Обругав дьявола, Сафи хотел прогнать эти совсем лишаяющие его сил мысли, потому что втайне Сафи чувствовал и понимал, что эти мысли захватывают его, овладевают им и зовут к подлинной жизни.

Потирая ладони, Сафи грел над углями руки.

Сегодня вечером они расположились здесь, и Сафи ночью поставил Махмуду на спину глиняную банку — Махмуд уже несколько дней был простужен, кашлял, пылал в жару и бредил.

Чем все это кончится?

Глаза Махмуда смотрели на цветы и как будто спрашивали: «Вы видели Мариам?»; смотрели на небеса и спрашивали: «Вы видели Мариам?»; смотрели на степи, смотрели на дороги, смотрели на воды и спрашивали: «Вы видели Мариам?»; на чужбине каждый мечтает о своем народе, а глаза Махмуда, взоры Махмуда, теряясь в чужих краях, мечтали о христианской девке, и порой все это так действовало на Сафи, что даже когда шел божий дождь, Сафи казалось, будто не дождь идет, а небеса плачут по Махмуду.

Кажется, и Сафи сходил с ума...

Первое время Сафи считал это странствие чем-то преходящим, не принимал этого странствия всерьез: в глубине души он был спокоен, потому что была Гамарбану, была такая громада, как Зияд-хан; кто же знал, что так все кончится?

Столкнуть Махмуда с пути было невозможно; всякий раз, когда он хотел идти вперед, Сафи говорил:

— Там такие пройдохи, которые нас с тобой вместо изюма сунут в карманы и сожрут. Мы и охнуть не успеем.

А Махмуд твердил одно:

— Я странник, Сафи, и хожу по дорогам...

Ладно, ты странник, ну и будь странником, бродишь по дорогам — броди, у тебя — свой мир, своя цель, а я в чем виноват? И вообще в чем я виноват, что дожил до сорока шести лет, но в жизни своей не видел светлого дня, всегда был рабом, всей своей жизнью пожертвовал, чтобы служить другим? Довольно, глупый Сафи, довольно! Как быстро другими, чужими стали эти люди! Тело Зияд-хана еще не остыло под зем-

лей... И Гамарбану, говорят, пропала... Правда, на этом свете ничего нельзя предугадать, Сафи...

Сафи посмотрел на Махмуда, лежавшего ничком на паласе, расстеленном на земле по другую сторону костра, и, чтобы развеять эти черные, твистельные, как наковальня, мысли, спросил:

— Банка присосалась?

Махмуд, как обычно, пребывал в своем собственном мире и, вместо того, чтобы ответить на вопрос Сафи, сам стал задавать вопросы:

— Почему так противоречив мир, Сафи? На одной стороне — нищета, на другой — богатство... На одной стороне — правда Фирдоуси, на другой — обман Султана Махмуда, который заказал поэту «Шахнаме», а потом даже не прочел ее и вместо обещанного золота заплатил серебром.

Сафи озлился:

— Разве только теперь это так? — сказал он. — Разве тысячу лет назад так не было? Разве так не будет через тысячу лет? Разве природа не создала ночь наряду со днем? Разве не природа и дает жизнь, и убивает? Что ж, из-за всего этого будем маяться среди ночи?

Сафи дальше не пошел, с трудом удержался. Сафи хотел сказать: разве не самое большое противоречие на свете, что у таких огневых людей, дракона и львицы, как Зияд-хан и Гамарбану, такой сын, как ты?

Сафи на сей раз удержался, но знал, что в другой раз не сможет удержаться, скажет этому юнцу все, что вертится на языке, и Сафи вдруг пожалел этого одинокого юнца, лежавшего ничком, опершись подбородком на руки и уставившись глазами в темноту ночи.

А Махмуд, глядя в темноту ночи, думал, что прах земной всюду одинаков, но самый легкий прах — человек; правда, от Султана Махмуда Газневи ничего не осталось, а от Абульгасыма Фирдоуси осталась «Шахнаме», ну и что с того? Какая сейчас польза хорасанскому Абульгасыму от славы «Шахнаме»? Хорасанский Абульгасым давно уже смешался с землей, его нет, а придет время, и Махмуда, сына Зияда, не будет на свете, и, что самое главное, придет время, и Мариам тоже смешается с сырой землей, а если будет так, то нас, положим, не жаль, но Мариам зачем сотворил Аллах? Мог бы ответить на этот вопрос старик, которого они здесь повстречали?

С тем стариком они встретились два дня назад: старик на ишаке ехал прямо на них и держал в руках котомку. Лицо старика было очень знакомо, и Махмуду показалось, что в Гяндже чуть не с детства он часто видел этого старика, но когда именно и кто он такой, не знал; этот старик как будто был похож на всех стариков на свете и в то же время не был похож ни на кого.

Старик остановил ишака прямо перед Махмудом и совершенно зелеными глазами посмотрел на Махмуда снизу вверх. Махмуд тоже натянул повод коня, и некоторое время они так смотрели друг на друга, потом Махмуд показал на котомку в руках старика:

— Что это?

— Четыре книги: Тора, Псалтырь, Евангелие, Коран.

— Кто ты?

— Я — Моисей, Давид, Иисус, Мухаммед.

— Ты — Аллах?

Сощурив на солнце свои ярко-зеленые глаза, старик сказал:

— Нет. Я — человек. Я — это ты, он, Мариам, Сафи.

Махмуд спросил:

— А... а как же грудь твоя не разрывается от горя?

— Ты во всем видишь горе, ищешь горы, а я вижу и вон те горы, вижу и эти травы, цветы, и эту реку, вижу, что и в тебе есть хорошего, вижу, что в Сафи хорошего, и это вижу...

Потом старик отвел свои ярко-зеленые глаза от глаз Махмуда, ударил пятками ишака и продолжал путь.

Сафи не видел этого зеленоглазого старика на ишаке, и Сафи показало, что Махмуд опять разговаривает сам с собой, и в сердце Сафи промелькнуло сожаление: жаль мальчика... Сафи и в голову не приходило, что он просто не может видеть всего того, что видит Махмуд.

Угли в костре покраснели.

Сафи, потирая пальцы, продолжал держать руки над огнем.

Кроме журчания реки, в этой темной ночи не слышалось ни звука, и вдруг издали, совсем издали послышался голос: кто-то, выводы трели, пел мугам; слов расслышать было невозможно, но звуки, как горный воздух, волнами распространялись над степью.

Сафи посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос, и тихо сказал:

— Ах, негодник, поет как царь Давуд!..

Махмуд тоже услышал доносящийся издали голос, и вспомнился Махмуд молодой певец во дворце Зияд-хана, и Махмуд будто услышал не далекий голос, а голос того молодого певца, и совсем близко, и страсть в голосе молодого певца пронзила тело Махмуда, Махмуд подумал, что, в сущности, все шесть сторон света — правая и левая, передняя и задняя, верхняя и нижняя — одинаковы и нет никакой разницы между ними.

Сафи подумал, что есть на свете счастливые люди, в такую ночь устроили веселое пиршество; наверное, там и мужнины лет на тридцать старше Сафи развлекаются с красотками Яхмы — сказочного рода красавиц.

Сафи снова вспомнилась Джейран, и Сафи болезненно сморщился: изо всех сил Сафи старался выбросить Джейран из головы и уже несколько дней пугал сам себя, что станет задыхаться, как Белэм, приближенный пророка Мусы, алчный ко всему мирскому и заболевший от этого псией одышкой.

Сафи так погнался Гысыр Гары, явившуюся к нему несколько дней назад, что Гысыр Гары сбежала, не издав со страху ни звука, и была счастлива, что спаслась.

Гысыр Гары от имени Джейран обещала много золота, чтобы Сафи уладил дело между Махмудом и Джейран.

Старая ведьма... Ах, недаром говорится: «Врачу, исцелился сам».

Когда Сафи увидел купающуюся в реке Джейран, он, сам того не зная, повторил слова пророка, который увидел во время купания свою будущую жену Зейнаб и воскликнул:

— Слава сотворившему тебя!

С этой-то минуты Сафи и не знал покоя и без конца думал о попус-
ту прошедшей сорокашестилетней жизни.

Конечно, Сафи не впервые видел обнаженную женщину, и дело
было не в наготе, да и не в том, что у Джейран было самое прекрасное
тело на свете и оно пробудило в Сафи такое желание, какого он не ис-
пытывал никогда в жизни; дело было в том, что к не изведанному до-
толе сладострастно примешивалась еще и алчность. Безмерное вож-
деление точно пробудило Сафи от многолетней спячки.

Чувство, подобное этому, Сафи испытал несколько лет назад, когда
по поручению Гамарбану выехал из Гянджи по делу. Был полдень.
Сафи устал и проголодался. У родника, в тени ивового дерева, он со-
шел с коня, расстелил перед собой небольшую скатерку и, как обы-
чно, засучив рукава, совершил омовение, потом начал есть взятую в до-
рогу вареную курицу. В то время по дороге проходил нескончаемый
караван. У вооруженных всадников Сафи узнал, что это дары, направ-
ляемые Ширван-шахом Шейхшахом Шаху Исмаилу: тут были хурджи-
ны с драгоценностями, с золотыми и серебряными монетами, китайс-
кие шелка, русские меха, арабские скакуны, бардинские мулы... Грузы
этого каравана невозможно было перечислить, и в сердце Сафи возник-
ло никогда не испытываемое чувство: Сафи осознал свое ничтожество
перед этим нескончаемым богатством каравана, и это ощущение так
потрясло Сафи, что он вдруг увидел свои руки в крови, как будто но-
чью он зарезал Гамарбану кинжалом, похитил эти драгоценности и
бежал; как будто эти драгоценности сивли и переливались всеми цве-
тами радуги в залитых алой кровью руках Сафи. Сафи вскочил на коня
и с невиданной у этого мягкого и спокойного человека злобой стегнул
коня плеткой и поскакал.

Вареная курица с одной ногой — другая была оторвана — осталась
под ивой; впервые в жизни Сафи был так расточителен.

Сафи искренне верил в Бога; он не признавал мошенников-мулл,
жуликоватых колдунов, жадных семидов, но имя Аллаха держал высоко,
и в тот момент Сафи призвал на помощь Аллаха, и со временем чувство
безумной алчности, охватившее сердце Сафи, прошло.

Но теперь это чувство не проходило.

Может быть, оттого, что в глубине души Сафи сам не хотел, чтобы
оно прошло? Почему Сафи должен губить себя в пустынных степях и,
увидев в адский дневной зной ободранный ежевичный куст, радоваться
ся так, будто увидел райское древо тубу? Почему, нося в поясе такое
богатство, Сафи сам, своими ногами ведет себя к нищете, и разве это
богатство, что он носит в поясе, не есть, в сущности, дарованная Алла-
хом праведная плата за то, что он жил верно, жил чисто, всегда был
всем доволен, провел все свое детство, юность, пору здоровья и муже-
ственности, служа другим?

Сафи вздохнул.

Аллах?

Не упоминай имени Аллаха, низкий человек. Все люди на земле низ-
ки, и ты тоже, если можешь вообразить такое; самый низкий из низ-
ких, ты, оказывается, не знал себя. Если все люди на свете низки, зна-
чит, и Махмуд низок? Нет, Махмуд не низок, Махмуд... Сафи не хотел

произносить этого слова, но почему? Почему не нужно смотреть прав-
де в глаза, и почему мы должны бежать от правды, обманывая себя?
А правда была в том, что Махмуд... смелей, Сафи, смелей, ты ничем
не хуже тех людей, ради которых сгноил свою жизнь, смелей же: Мах-
муд — сумасшедший, и что даст тебе следование за Махмудом, за этим
сумасшедшим — да, да, Сафи, называя все своим именем, — за этим су-
масшедшим, в наше время вообразившим себя междунуом? Ты видел
вчера, как землепашцы, те поселенцы, которых мы в другое время за
людей не считаем, хохотали над нами?

Вчера Сафи с Махмудом встретили двух поспоривших землепашцев.
Спор был из-за земли, и один из землепашцев хотел объяснить друго-
му, что два аршина участка тот отмерил неверно, ошибся, и, как ни ста-
рался, другой его не понимал. Увидев Сафи с Махмудом, он обрадовал-
ся.

— Родные мои, — сказал он. — Ради имама Гусейна, помогите мне
доказать этому bestолковому сыну bestолкового, что он ошибается.

Потом пахарь объяснил Махмуду, как они мерили участок и в чем
состоит ошибка, а потом спросил:

— Ну, родной, теперь ты скажи, правильно я говорю или нет?

Откуда было этим крестьянам знать, что мысли Махмуда заняты дру-
гим? Ведь эти крестьяне — не Сафи...

Пахарь еще раз спросил:

— Ну кто из нас прав? — Он потряс руку Махмуда: — Я с тобой гово-
рю, кто из нас прав?

Махмуд сказал:

— Мариам права...

— Что? — Мужик вытаращил глаза, потом оба, забыв о своем споре,
долго смеялись над Махмудом и Сафи.

Такие вот дела, Сафи...

Допустим, мы дошли и нашли проклятого попа, а дальше что? Поп
отдаст дочь за Махмуда? Кто есть теперь у Махмуда, чтобы отобрать
дочь у попа и отдать ему? Допустим даже, что Сафи сунул руку себе за
пояс и с помощью драгоценностей — а это еще ненадежно, как сырое
молоко, — улумал попа, и поп выдал дочь за Махмуда... А потом что?
Сафи должен отдать то, что у него в поясе, какой-то нечестивой хри-
стианке, полоумному Махмуду: мол, берите, купайтесь в золоте, а я до
самой смерти буду вам служить, растить ваших деток, дедом которых
будет поп? Почему? Ну почему? Зачем?

Махмуд все равно не ценил денег и все, что у него бывало, раздавал
по дороге голодным. Наставления Сафи на Махмуда не действовали, и
всегда, когда Махмуд раздавал беднякам деньги, Сафи думал: «Ну что
ты сможешь сделать, даже став Хатами-таи, несчастный?» Тот был араб-
ский эмир, был столь же богат, сколь и щедр, но можно ли, если в мире
столько голодных, накормить всех?

Бедный Сафи не понимал, что Махмуд раздавал встречным все, что
у него было, не только потому, что они голодны, пусть, мол, поедят;
Махмуд в течение этого странствования на каждом шагу видел бес-
смысленность богатства и вообще денег, и, когда бедняки благодар-
или его за пожертвование, ему бывало стыдно: Махмуду казалось, что,

давая золото или серебро, он обманывает людей, а они ничего не понимают. Ценность золота и серебра казалась ему надуманной, несчастной...

Хорошо, что Махмуд не знал о поясе Сафи, и, в сущности, теперь никто на свете не знал о поясе Сафи. Кроме одного Аллаха.

Махмуд не знал и об убийстве своего отца, и Сафи ничего не сказал об этом Махмуду. Махмуд все равно не свернул бы с пути, все равно пребывал в страдании, и какой был смысл добавлять ему страдания? Однако если ты это понимаешь, что за мысли лезут тебе в голову, старик? Побystрее снимай со спины мальчишка банку, ложись и спи.

Но Сафи не мог спать. Как только Сафи закрывал глаза, он видел купающуюся в реке Джейран.

А угли в костре краснели.

Сафи поднялся, присел на корточки рядом с Махмудом и, спустив с его спины шерстяную накидку, хотел снять глиняную банку. Банка крепко присосалась, и Сафи, одной рукой оттигивая тело Махмуда по краю банки, другой рукой наконец-то снял ее. Спина Махмуда в этом круге, выданным краями банки, была совершенно черная, и Сафи, увидев в свете тлеющего костра черный круг, вдруг смягчился, как будто на него вылили большой кувшин теплой воды и ее теплота превратила сердце Сафи в сплошную нежность: единственный сын Гамарбана так простудился в бескрайних степях, на голых равнинах, а ты куда смотришь, Сафи? Дьявол сбил тебя с толку, Сафи? Совсем сбил, прогони дьявола из сердца, прокляни дьявола; если и ты предашь сироту, значит, своими руками выраешь ему могилу, ибо, если в этом черном мире столь черные мысли гнездятся уже и у тебя самого, какой может быть у Махмуда удел, кроме могилы? Всех нас ждет сырая земля, но если ты своими руками выраешь ему могилу, Сафи, тогда и сырая земля развернется, и мир перевернется.

Сафи, сокрушаясь, растирал Махмуду спину. Ты только посмотри на палаческие дела этого мира... Ровно девять лет ждали появления Махмуда; когда Махмуд родился на свет, все жители Гянджи за счет казны даром ели, пили, развлекались сорок дней, сорок ночей; а теперь этот самый Махмуд, как нищий, лежит под кустом... Кому рассказать — не поверят... Сафи укрыл Махмуда шерстяной накидкой, чтобы не простудить черной круг от банки, и сочувственно сказал:

— Теперь бы тебе полежать в постели, детка... Спина черная, как уголь... Нет, детка, завтра я тебя никуда отсюда не пушу... Здесь же хорошенько тебя укрою, денек пролежишь, хорошенько пропотеешь, потом посмотрим, что с нами будет...

Сафи впервые в жизни говорил Махмуду «детка». До сих пор Махмуд был сыном господ Сафи, а теперь у Махмуда, кроме Сафи, никого не было. А у самого Сафи разве был кто-нибудь, кроме Махмуда?

Махмуд ничего не сказал, и его молчание загло огонь надежды в сердце Сафи: значит, Махмуд был согласен хоть завтра не скитаться, а завтра Сафи снова начнет умолять его, и, может быть, на этот раз Сафи удастся объяснить ему бессмысленность этого странствия. В мире есть столько городов, они бы обосновались в одном из них, купили бы дом, Сафи женил бы Махмуда...

— Махмуд...

Махмуд не ответил. Подоткнув края накидки так, чтобы не проникал холод, Сафи снова позвал:

— Махмуд, детка...

Махмуд повернул голову к Сафи и спросил:

— Ты слышишь, Сафи?

— Что?

— Голос певца.

Сафи почувствовал, что кровь в его жилах стала черной, как след от банки; Сафи жалел его, говорил ему сердечные слова, а он Сафи даже за человека не считал, не слышал вовсе его слов, мысли его были заняты стихами Физули или кого там еще, какого-то поэта, и пока Сафи сам себя ел в душе, в сердце Махмуда звучала песнь...

Очень хорошо, Сафи, тебе и этого мало, ты страдаешь, что этот бедняга так простужен, а он пост себе песенку и издевается над тобой; тебе и этого мало, бесстыжие твои глаза; чего ты хочешь от него? Свернишь с пути, куда ты поведешь его? Может быть, в Гянджу поведешь: на, Баяндур-хан, отрежь ему голову, а вот вдобавок и моя голова тебе в подарок. В какой другой город ты поведешь его, глупец? Ты своего горя пережить не в силах, так взвалишь на себя еще и его горе? Разве ты не видишь, что Аллах таким его создал и этого дела не поправишь? Разве ты не видишь, что этот человек блуждает во тьме, где даже проблеска не видно?

Сафи подумал, что, может быть, доносившийся издали голос певца был Хатиф, глас ангельский, и он призывал Сафи стать человеком и жить как человек...

Сафи подумал, что, конечно, если бы он был не простой человек, а пророк, который во мгновение ока вознесся на седьмое небо, он доставил бы во мгновение ока Махмуда к Мариам, но он не пророк и поэтому будет так, как Гялям — Перо Аллаха записало на Левхимехфуз — Доске судьбы, которая хранится на небесах.

Когда пришла весть об убийстве Зийд-хана, Сафи охватил животный страх: Баяндур пошлет людей, чтобы убить Махмуда и самого Сафи... Но, к счастью, Махмуд был такой ханский сын, что убит он или не убит — равно не имело значения, и поэтому у Баяндур-хана даже времени не нашлось предпринять что-либо против Махмуда. В этом мире ничего не поймешь: может быть, безжалостный ко всем Баяндур-хан жалел Махмуда? Ах, Сафи, может, покамест ему времени было жал, может, и ему самому Махмуда жал, но ты прав, Сафи, именно потому, что в этом мире ничего не поймешь, где порука, что вот этой же ночью люди Баяндур-хана не доберутся сюда и не отрежут головы и Махмуду и тебе?

Сафи непроизвольно потрогал рукой свой пояс. С того дня, как этот пояс был надет — уж сколько времени, — Сафи его ни разу не развязывал и в течение всего этого времени — из-за пояса — даже испугаться не мог. Вначале пояс раздражал Сафи, тело под ним потело, чесалось, но постепенно Сафи привык к поясу, и теперь этот пояс был словно частью тела Сафи, как рука, как нога.

Сафи еще ничего не взял из пояса. Махмуд раздал все, что у него было при себе, а поскольку теперь никто им не помогал, они остались одни на всем свете, приходилось самим добывать себе пропитание: никто уже больше по поручению Гамарбану не передавал Сафи тайком вкусные яства, и Сафи продал лошадей. Теперь они жили на эти деньги...

Угли в очаге краснели.

Голос того молодого певца смешался с журчанием реки.

Голос того молодого певца во мраке ночи вдруг зазвучал перед глазами Махмуда чей-то взгляд, и Махмуд узнал этот взгляд: шесть или семь дней назад Мужчина в Красной Юбке посмотрел на него так и ушел; после этого взгляда Махмуд, сидя на коне, долго смотрел вслед Мужчине в Красной Юбке, и, оказываясь, его взгляд запечатлелся в мозгу Махмуда — теперь, в ночную пору, он так ясно увидел вдруг этот взгляд...

О чем говорил этот взгляд?

С Мужчиной в Красной Юбке они встретились в горах.

Махмуд впереди, а Сафи, как всегда, вслед за ним, поднимались вверх по горной тропинке, и тут напечеру им выбежал мужчина, одетый в красную юбку, и, увидев их, совершенно растерялся, обеими руками прижал к груди кусок хлеба и, встав перед конем Махмуда, не знал, что делать.

Поодаль, под ореховым деревом с толстым стволом, сидел старик и, кроме чистой, но разодранной длинной рубашки, на старике ничего не было. Старик был так тощ, что можно было пересчитать все ребра по одному, голова — настоящий череп, а из глубоких впадин мерцали большие глаза. Протянув вперед руки, состоящие только из костей и кожи, старик что-то говорил, но что он говорил, понять было невозможно, потому что с губ его срывались не слова, а тоненький бессильный писк.

Махмуд понял, что Мужчина в Красной Юбке отнял у старика хлеб.

Махмуд еще раз взглянул на пискнувшего старика, машущего простертыми вперед руками: нет, с голоду человек не может так исхудать, только с горя человек может так истаять, и кем же надо быть, чтобы отобрать у такого хлеб...

Мужчина в Красной Юбке, прижимая хлеб к груди обеими руками, стоял, опустив голову, вперив глаза в землю. Лет Мужчине в Красной Юбке было не так уж много, но голова, борода, волосы на груди, на руках были совершенно белые.

— Ты почему отобрал хлеб у человека? Разве ты не видишь, до чего его довело горе? — Потом Махмуд оглядел ярко-красную юбку мужчины от широкого подола до пояса и сказал: — Эх, откуда тебе знать, что такое горе?

После этих слов Махмуда Мужчина в Красной Юбке поднял голову и всего одно мгновение смотрел Махмуду в глаза, потом опять опустил голову и молча ушел.

Его мгновенный взгляд потряс Махмуда.

Сафи тогда ворчал на Махмуда, и только когда Мужчина в Красной Юбке ушел, вздохнул спокойно; Сафи трусил и ворчал: мол, какое тебе

дело до чужих людей, вдруг что не так, бросится на нас, скрутит, ограбит...

Махмуд спешился, несмотря на ворчанье Сафи, вытащил из его хурджина всю еду, какая там была, отдал старика, и старик с непостижимой быстротой упрятал всю эту еду под свою драную рубашку, но Махмуд не обратил внимания ни на проворство, ни на жадность старика и не заметил, что под драной рубашкой у старика была и другая еда в узелке, и хлеб; обернувшись назад, Махмуд смотрел вслед Мужчине в Красной Юбке.

Мужчина в Красной Юбке исчез с глаз, но Махмуд еще некоторое время не отводил взгляда от тропинки, спускающейся по склону горы. О чем говорил этот взгляд?

В этом взгляде была боль, была мука, было страдание, но главное, в этом взгляде была откровенная насмешка.

Страдальческий взгляд, в сущности, смеялся. Смеялся над Махмудом: а ты-то знаешь, что такое горе?

Во мраке ночи, в журчании реки, в постепенно слабеющем тепле тлеющего костра и постепенно удаляющегося, исчезающего голоса молодого певца этот взгляд как будто снова повторил: а ты-то знаешь, что такое горе? — и все существо Махмуда взбунтовалось против насмешки; нет, горе Махмуда было не только тоской по Мариам; нет, с того дня, как он отправился в странствие, после того, как увидел страдания людей, это было горе народа, горе края, горе людей, горе жизни — этого никто не понимал и не хотел понимать, все считали Махмуда меджунном, скитающимся по степям...

Махмуд содрогнулся от собственной мысли: разве стыдно быть меджунном? Почему, читая творения Шейха Ильяса Низами, Эмира Хосрова Дехлеви, Абдурахмана Джамии и жившего совсем недавно Эмира Алишера Навои, которые писали их о Меджуне и Лейли век за веком, почему, слушая их, люди проливают слезы о судьбе Меджуна, а для человека, которого видят, знают, который дышит с ними одним воздухом, слова «меджун какой-то» — это бранные слова? Меджун какой-то — кто это? Это человек, который в степях может договориться и с джейраном, который верен любимой, никому не делает зла, никому не разбивает сердца, хочет, чтобы все были счастливы. Почему же люди смеются над таким человеком?

Взгляд Мужчины в Красной Юбке тоже смеялся поэту?

Нет, смех в этом взгляде был иной, его насмешка была иной...

Конечно, Махмуд не мог понять до конца, что значил взгляд Мужчины в Красной Юбке, потому что Махмуд не знал о том горном селе, потому что Махмуд не знал о боине в том селе, о боине, перед которой бойня в Кербеле, когда убили имама, была просто потасовкой.

Откуда было знать Махмуду, что мужчина где-то нашел и натянул на себя первую попавшуюся юбку, и ее красный цвет — не цвет распушенности и бесстыдства, а цвет крови человеческой.

Это село было одним из прекраснейших сел на свете; когда мир пылал и трескался от жажды, вокруг этого села на каждом шагу пели родники, принося сердцу прохладу; когда мир не находил куска хлеба, желтая пшеница этого села перемальвалась на мельнице, мешки гро-

моздились друг на друга; когда в мире скот не находил и черной колочки, скот этого села с раннего утра разбредался по горным склонам и под вечер возвращался во дворы с полным выменем; когда мир замерзал от холода, надевал шубу на шубу и не находил дров, чтобы согреться, печи этого села горели, весело потрескивая; когда в мире люди не могли поделить между собой земных благ, столько земли, и пили кровь друг друга, а вереницы войск разрушали города, превращали в развалины селения и эта сторона нападала и вводила табуны, отары, стада другой стороны, а та сторона — этой стороны, отвесные скалы, глубокие обрывы, пробивающие небо горные вершины вокруг этого села не допускали, чтобы здешних мест коснулось копыто чужого коня, охраняли это село от чужого дыхания, и однажды проходивший по этим местам арабский поэт и путешественник йеменец Абульгасым Тальиб эл-Хасан Джамаледдин Гияс ибн Зияд Мухаммед Кямаледдин Хамидахисал. псевдоним которого был Гезал Хасиятли — Прекраснодушный, написал длиннее своего имени касьду и прославил это село как край земной, который лучше, чем рай небесный.

Жители села были рослые, краснощекие, мужчины — с сильными руками, женщины — с полными молоком грудями; народ работящий, они сеяли, убирали и ели на здоровье; и в смутное время они были довольны своей судьбой и благосостоянием и при надобности умели протать друг друга, быстро забывали плохое и жили хорошо.

Во время Азер только что женился и жил вместе с молодой женой Айсулу в этом селе, воспетом повивавшим его Гезалом Хасиятли; усталость Азера за полный день работы в поле забывалась в чистой и здоровой постели Айсулу; жар гладкого и нежного тела Айсулу говорил о благодати жизни.

Когда у Азера с Айсулу родился первый сын, Азер дал своему первенцу имя имама Али.

— Имя я дал, лета пусть Аллах даст! — сказал он, и в тот же день все жители села развели костры, зарезали скотину и до утра пировали, пели, плясали: каждый раз, когда на свет появлялся ребенок, село устранивало такое празднество.

Когда у Азера с Айсулу родился второй сын, Азер второму сыну дал имя имама Гасана, потом у них родился третий сын, и Азер назвал третьего сына именем имама Гусейна, родился четвертый сын, и Азер дал четвертому сыну имя имама Зейналабдина.

Сынвоя Азера и Айсулу были самыми здоровыми, самыми красивыми, самыми умными и самыми ласковыми детишками села, и все жители, глядя на этих мальчиков, говорили:

— Ребята достойны своих имен!..

Потом у Азера с Айсулу родился пятый сын, и Азер дал пятому сыну имя имама Мухаммед-Багира, потом родился шестой сын, и Азер назвал шестого сына именем имама Джафар-Садыха, прошли дни, месяцы, у Азера с Айсулу родился седьмой сын, и Азер дал седьмому сыну имя имама Мусави-Кязыма.

Азер называл сыновей именами имамов, и мальчики росли такими здоровыми, красивыми, умными и ласковыми, что жителям села по-

немного стало казаться, будто эти мальчики и в самом деле имамы, заново родились на свет, и в любви людей к этим мальчикам, в том, как все их ласкали, чувствовалось что-то вроде благоговения. Конечно, эти мальчики пока что были для людей обычными мальчиками, но и в этой обыденности сквозило что-то необычное, и тогда сельский аксакал девятилетлетний Баяндур-Ихтияр впервые задумался, и однажды ночью у него пропал сон, и, не сумев заснуть, он вышел во двор, потом побродил в ночной темноте по улицам, прислушался к тишине спящего села и сам себя спросил:

— Бог отворачивается от нас?

У Азера с Айсулу родился восьмой сын, и Азер дал восьмому сыну имя имама Рзы; потом у Азера с Айсулу родился девятый сын, и, когда Азер хотел дать девятому сыну имя имама Мухаммеда Таги, сердце Айсулу вдруг сжалось в тревоге, и Айсулу, глядя на спящего в свисающей с потолка зыбке девятого сына, сказала: «Назови его по-другому...» — и эти слова, в сущности, прилились по душе Азеру, но другое имя дать уже было невозможно, и без того все село перешептывалось, что вот пришел Мухаммед Таги...

Азер дал девятому сыну имя имама Мухаммеда Таги.

Весь мир кишел сумасшедшими, но в этом селе, которое Гезал Хасиятли полагал лучше рая, был всего один помешанный, и его звали Безумец Ибрагим. Безумец Ибрагим мог что днем, что ночью сидеть, беседовать с тобой, и ты в жизни не сказал бы, что этот мужчина с густой седоватой бородой, с седоватыми кудрями, с руками — каждая бычьей силы — сумасшедший, но время от времени, внезапно, у Безумца Ибрагима глаза чуть не вылезали из орбит, и в такие минуты Безумец Ибрагим слышал голоса ниоткуда, потом у него сводило руки, ноги, он падал на землю и бился в корчах, и изо рта у него шла пена. После того, как Безумец Ибрагим приходил в себя и поднимался, он, тяжело дыша, рассказывал людям, что слышал голоса ниоткуда, и удивлялся, что никто, кроме него, не слышал слов, произносимых этим голосом.

Жители села никогда не придавали значения сказанному Безумцем Ибрагимом, все сочувствовали Безумцу Ибрагиму, что у сильного, здорового мужчины такое горе, но случилось так, что однажды село поверило Безумцу Ибрагиму, да и, по сути дела, все жители этого села много времени ждали вести, которую провозгласил Безумец Ибрагим.

По селу разнеслась весть, что рано поутру перед глазами Безумца Ибрагима сверкнула молния, и голос ниоткуда сказал Безумцу Ибрагиму, что через некоторое время Мехти Сахиб-аз-заман — последний имам, Властелин времени — появится в вашем селе, в доме Азера, чтобы судить людей судом праведным.

До сих пор никогда перед глазами Безумца Ибрагима не сверкала молния, и никогда Безумец Ибрагим не слышал так ясно голос ниоткуда. Ближе к полудню Безумец Ибрагим, рассказывавший всем встречным и поперечным услышанное им, вдруг схватился за грудь, упал на землю, забился в судорогах, изо рта у него пошла пена, и больше он никогда уже не поднялся.

Вечером Безумец Ибрагим умер.

Уж не для того ли Аллах держал Безумца Ибрагима, чтобы донести до людей услышанную им нынче поутру весть? Какими же невежественными, глухими для гласа Божьего были жители этого села, что ставили перед именем все видевшего и все слышавшего Ибрагима слово «безумец» и не принимали во внимание его пророчаний?

Жители села сбегались к дому Азера с Айсулу, и стали жители села целовать руки, подола, ноги у Али, Гасана, Гусейна, Зейналабдина, Мухаммед-Багира, Джафар-Садыха, Мусан-Кязыма, Рзы и даже Мухаммеда Таги, которому еще не исполнилось сорока дней, и с этого дня все село начало ждать Мехти Сахиб-аз-амана, но никто не знал, что в ночь по истечению того же дня девятистопятилетний Баяндур-Ихтияр, сердце которого охватило смятение, опять не мог уснуть, в полночь вышел во двор, обошел по одному все кварталы спавшего села и спросил сам себя:

— Бог на нас разгневался?

Потом девятистопятилетний Баяндур-Ихтияр вспомнил строки из сказаний Деде Коркута, которые еще в детстве слышал от озана; эти строки долгие годы словно хранились в темной шкатулке, а теперь шкатулку открыли, и эти строки вышли на свет: в ночной тишине губы девятистопятилетнего Баяндур-Ихтияра, кривившиеся весь день при взгляде на людей, будто совершенно потерявших разум, и кривящиеся теперь от страха и тоски, начали повторять услышанные еще в детстве эти светлые строки:

Ты выше высоких, высокий Бог!
Ты не рожден от матери,
Ты не рожден от отца,
Ничью пищу не ел,
Никого не отглаткивал,
В юдоли скорби ты — первый,
Аллах вечный,
Алама ты короновал,
Дьявола ты поправ,
В черные небеса послал лулу,
Рыбу с распоротым животом,
Древности твоей предела нет,
Нет у тебя очертаний,
Нет у тела твоего предков,
Милый Аллах, помоги прошу тебя,
Помоги прошу у тебя!
Любимый Аллах,
Помоги себе прошу...

Снова прошли дни, миновали месяцы, у Азера с Айсулу родился десятый сын, и Азер дал десятому сыну имя десятого имама Али-Аннаги, и после этого все жители села день и ночь принялись ждать появления одиннадцатого, а потом и двенадцатого имама Мехти Сахиб-аз-амана.

Одному из жителей села — Ягубу Мелик Султану вспомнилось, что шесть лет назад его корова вечером не вернулась из лесу, ночью они пошли и увидели, что волк разодрал корову, и если это не горе, то что же это? Исрафил, сын Мухтара, вспомнил, что в позапрошлом году из

восемнадцати цыплят, вылупившихся из яиц, выжило только семь, и если это не горе, то что же это? На свете были такие большие города, как Тавриз, как Ардебиль, как Гянджа, и жители этих городов золото за золото не считали, серебро богатством не считали, а девушки этого села носили браслеты из меди, и если это не горе, то что же это? Абульфаз вспомнил, что в прошлом году на свадьбе сына соседа Алекпера этот Алекпер куда больше внимания уделял другому соседу — Фараджуллаху, чем ему, а Фараджуллах вспоминал, что три года назад старшая дочь Абульфазы бросила камень в его младшего сына и разбила ребенку голову, а за что? — неужто за то, что сыннишка Фараджуллаха потоптал Абульфазов огород? — и если это не горе, то что же это? А разве не горе, что Мардан, сын Абдуллаха, не отдал свою дочь за Искендера, а выдал за такого, как Алибала? А как можно было терпеть, что в хлеву Алиовсата четыре дойные коровы, а во дворе отца семерых детей Керима была всего одна корова?

После появления Мехти Сахиб-аз-амана всей этой несправедливости будет положен конец, и справедливость восторжествует.

И тут словно по чьей-то злой воле начался недород — обычный, не очень страшный, такие бывали и прежде, и село, богатое и дружное, так или иначе справлялось с ними, но теперь все пошло кривь и вкось: поля не засеивались, этот брат говорил — пусть тот брат сеет; тот брат говорил — почему я должен сеять, этот пусть сеет; а земля в этот год рожала туго, сеять должны были все; но этот с тем стали кровинками, сосед с соседом не уживались, один двоюродный брат надувал другого, дочь дерзила отцу, мать жалела еду для сына.

Могила Безумца Ибрагима стала святым местом. Над селом нависла нужда и вражда, и на святом месте, жалуясь и клевета друг на друга, люди откладывали решение дел своих до прихода Мехти Сахиб-аз-амана и просили святыню сделать для них то, что они прежде делали сами.

У Азера и Айсулу родился одиннадцатый сын, и не было у Азера иного выхода, как дать одиннадцатому сыну имя одиннадцатого имама Гасан-Аскера, а уж после этого все жители села начисто забыли о своих дочерях и сыновьях, забыли о своем доме и, сложив руки на груди, стали ждать, что придет Мехти Сахиб-аз-аман и осчастливит их. Но каково же будет это счастье? Ведь если Фараджуллах станет счастливым, Абульфаз должен быть несчастен; Абульфаз мог быть счастливым только тогда, когда Керим несчастен; Зубейда будет улыбаться тогда, когда Фатма заплачет...

В селе начался голод: то ли потому, что никто не сеял, никто не убирал, но хлеба не было, и люди варили крапиву и набивали себе животы, только Азер сеял и жал в поле, кормил своих сыновей, ходил за коровой, поил своих сыновей молоком, и поэтому и Али, и Гасан, и Гусейн, и Зейналабдин, и Мухаммед-Багир, и Джафар-Садых, и Мусан-Кязым, и Рза, и Мухаммед Таги, и Али-Аннаги, и Гасан-Аскер росли здоровенькими, и в лице каждого из них была черточка прекрасного лица Айсулу. Али было четырнадцать лет, Гасан-Аскеру не было еще и года, и эти дети не могли понять, чего хотят от них люди, почему целуют им руки, подола, а если они так любят детей, то почему не при-

смаатривают за своими, почему у сельских детишек животы пухнут с голоду...

Ребятишки сбегались к забору и смотрели на тетю Айсулу, которая сидела, скрестив ноги, у тандыра во дворе, лепила на его стенки чурочки, и Айсулу, горестно восклицая про себя «бедняжки!», давала каждому по кусочку хлеба, но на всех не хватало, и потому ей самой кусок не шел в горло.

Ослы остались в селе без присмотра и разбрелись по степям, кони одиночки и табунами подались в лес, волки, будто поняв, что сельчане оголодали и поглупели, нападали на коров, по ночам врывались в саран, уносили баранов и коз, а оставшихся — душили.

Сельские жители передрались друг с другом, этот воровал у того горсть гороха, тот из-за одной груши разбивал голову этому.

Девяностовосьмилетний Баяндур-Ихтияр начал обходить по одному все дома села.

— Люди, вы что, с ума сошли? — говорил он. — Образумьтесь! — говорил он. — Вы сами себя заколдовали! Очнитесь! Страхните злые чары! — говорил он; но Баяндур-Ихтияра никто не слушал, и в конце концов людям так надоела пустая болтовня девяностовосьмилетнего старика, что они дали ему пинка под зад и прогнали из села, и когда Баяндур-Ихтияр попытался вернуться, у могилы Ибрагима старика забросали камнями, и дети, и женщины, и мужчины швыряли в него что под руку попало — камни, головешки, и с того времени никто больше не видел Баяндур-Ихтияра...

Осень наступила рано, съедобная зелень кончилась, на деревьях плодов не осталось, и люди были голодны и не находили пищи, но все можно было вытерпеть, потому что Айсулу снова была беременна и до возвращения в этот мир Сахиб-аз-замана оставалось немного, скоро мир улыбнется.

По мере приближения родов, когда ребенок начал шевелиться, толкаться, в сердце Айсулу возникло томление и беспокойство, и Айсулу однажды ночью, в постели, целуя руку Азера, прошептала:

— Давай сбежим отсюда...

Азер спросил скорее себя, чем Айсулу:

— Куда бежать?

Куда можно было уходить с одиннадцатью детьми и в ожидании двенадцатого, бросив дом и землю без присмотра? Где они могли бы найти приют, и вообще почему они должны были бежать? Кому они что сделали худого и кому что должны?

Айсулу не хотела разлучаться с Азером, день и ночь оставалась рядом с Азером, и Азер с трудом отрывался от Айсулу, чтобы пойти поработать в поле.

И в этот день Азер был в поле.

По селу в мгновение ока разнеслась весть: у Айсулу начались схватки, и опытная в таких делах тетка Гамарбану, зажав в руке подол своей юбки, в двенадцатый раз побегала в дом Азера, чтобы принять новорожденного.

Явился на свет Мехти Сахиб-аз-заман.

Все село сбегалось к дому Азера.

— Да принесут нас в жертву Аллаху!

— Нет бога, кроме Аллаха! Ла илаха иллаллах!

— Грядет Сахиб-аз-заман!

— Мехти идет!

— Да падем мы жертвой ради Аллаха!

В глазах всех людей села, от мала до велика, был безумный блеск, и казалось, вырвавшись из груди этих побледневших, тощих людей волнение, жажда избавления от невзгод, как мираж, окутало все село.

Двор Азера был полон людей.

— Грядет Сахиб-аз-заман!

— Сахиб-аз-заман грядет!

Али, Гасан, Гусейн, Зейналлабдин, Мухаммед-Багир, Джафар-Садык, Мусай-Кязым, Рза, Мухаммед Таги, Али-Аннаги, Гасан-Аскер, прижавшись друг к другу, сидели, объятые страхом, на веранде, смотрели на этих людей, с пеной у рта кричавших во дворе:

— Грядет Сахиб-аз-заман! — и ждали своего нового брата Мехти.

В этот миг донесся детский крик, и люди, умолкнув, прислушались к этому, будто ниоткуда доносившемуся голосу — голосу Сахиб-аз-замана; люди устали то ли от ожидания, то ли от голода, вражды, проклятий, грязи, но даже взрослые мужчины, слушая голос Сахиб-аз-замана, плакали, как женщины.

В детском крике Мехти Сахиб-аз-замана было утешение, успокоение, что разливалось в каждой груди, и усталость, и голод, вражда, проклятия, грязь растворялись и исчезали в этом целительном балзаме; голос младенца будто отрывал ноги людей от земли и поднимал их в воздух, и люди ощущали никогда дотеле не испытанную легкость.

Женщины, не удержавшись, набились в дом, и вдруг самая страшная, самая ужасная на свете весть донеслась из комнаты, где слышался детский крик:

— Ребенок — девочка!

Двенадцатый ребенок Азера и Айсулу оказался девочкой.

От этой вести люди замерли, колени их задрожали, сердца остановились, в глазах потемнело, людей прошиб холодный пот, все онемело и не могли издать ни звука.

Тетка Гамарбану вынесла младенца наружу и обеими руками протянула и показала людям похожую на красный кусочек мяса девочку, а сама вперила в глаза сельчан свои глаза, пылающие гневом. Было холодно, и голенькое дитя, только вышедшее из материнского лона, от внезапного холода умолкло, и вокруг воцарилась тишина; гнев, пылающий в глазах тетки Гамарбану, зажег людей, и когда ребенок вдруг снова закричал, крик его после мертвой тишины привел людей в движение. Фараджуллах влез на стоявшую во дворе деревянную бочку, крупные жилы на его дочерна загоревшей под солнцем, толстокожей шее раздулись, и он закричал:

— Безумные люди!.. Люди, поверившие словам Сумасшедшего Ибрагима! — кричал он. — Сумасшедший Ибрагим обвел нас вокруг своего пальца и ушел!.. Нам, простакам, и этого мало! Теперь Сумасшедший Ибрагим смотрит с того света и говорит: пепел вам на головы!.. И еще хохочет над нами, покатывается!..

Будто и вправду по двору разнесся дикий хохот Безумца Ибрагима, и люди в оцепенении слушали его.

Взгляд Фараджуллага коснулся стоявших на веранде, прижавшихся друг к другу и трясущихся от страха Али, Гасана, Гусейна, Зейналабдина, Мухаммед-Багира, Джафар-Садыха, Мусай-Кязыма, Рзы, Мухаммеда Таги, Али-Аннаги, Гасан-Аскера, и Фараджуллага, протянув руку к веранде, завопил:

— Это дьяволы! Дьяволы довели нас до этого!

Жажда мести, охватившая всех, вырвалась наружу, волнами распространилась по кварталам села, по равнинам, по горам:

— Это дьяволы!

— Дьяволы!

— Дьяволы!

Тетка Гамарбану изо всех сил швырнула людям лежащий на ее вытянутых ладонях и плачущий кусочек мяса, руки крестьян взметнулись вверх, красный кусок поймали на лету, крик прекратился, красный кусок исчез, руки обгарились алой кровью, и люди двинулись к веранде. Али убили, задушив его, Гасана и Гусейна убили, разбив им головы камнем, Зейналабдин, Мухаммед-Багир, Джафар-Садых умерли, раздавленные ногами, Мусай-Кязыма убили, схватив за ноги и разбив ему голову о стену, у Рзы от ужаса разорвалось сердце, и он умер сам, Мухаммеда Таги убили, свернув ему шею, Али-Аннаги, Гасан-Аскера убили, растерзав, и в эту минуту жуткий вопль, от которого волосы вставали дыбом, как будто отрезвил людей, и все замерли, глядя на босую, с непокрытой головой Айсулу, из-под длинной юбки которой все еще струилась кровь.

Айсулу выбралась из комнаты, где родила, и с жутким воплем, от которого волосы вставали дыбом, смотрела по очереди на задушенного Али, на разбитые головы Гасана и Гусейна, на растоптанных Зейналабдина, Мухаммед-Багира, Джафар-Садыха, на Мусай-Кязыма, чья окровавленная голова, как тряпка, лежала на груди, на побелевшего, будто уснувшего Рзу, у которого только из уголка рта сочилась кровь, на Мухаммеда Таги, чья вывернутая голова смотрела назад, на Али-Аннаги и Гасан-Аскера, чьи головы, чьи ребра были разорваны, на окровавленные руки и ноги односельчан.

Люди застыли на месте, и Айсулу, уже больше не крича, а воя, прошла сквозь толпу, спустилась во двор, взяла стоявшую у сарая косу и, взявшись одной рукой за рукоять, а другой — за железное лезвие, начавшая воевать Азером каждый день и способное срезать волоски на руке, изо всех сил вонзила конец его себе между ног и раскроила себе живот до самой груди.

Люди остолбенели, никто не мог тронуться с места.

Айсулу растянулась на земле в луже крови, и разрезанные внутренности Айсулу вывалились из живота, и все мухи села слетелись и впились в Айсулу.

Айсулу еще не умерла, но, крепко сжав рот, не издавала ни звука, только смотрела расширившимися глазами, и то, что не сказали ее губы, говорили расширившиеся глаза.

Такими, замершими на месте, и застал людей Азер, придя с поля до-дой.

Азер сначала обмыл и похоронил Айсулу, потом похоронил Али, Гасана, Гусейна, потом Зейналабдина, Мухаммед-Багира, Джафар-Садыха, потом Мусай-Кязыма, Рзу, Мухаммеда Таги, Мухаммеда Таги, Гасан-Аскера, но, как ни искал, не мог найти и ключка от тельца дочери: ребенок был растерзан руками, растоптан ногами, смешан с землей.

Два дня и две ночи Азер был занят этим делом и даже сам не знал, что его черные как смоль волосы, борода, пушок на груди и на руках стали совершенно седыми.

Село на склоне гор, воспетое Гезалом Хасиятли как рай земной, дотла разрушилось и лежало в развалинах: кто умер, кто сбежал, в селе осталось всего три-четыре человека, и однажды увидели, что камень на могиле Ибрагима Безумца повален набок, могила пуста, а на земле — следы босых ног; и тогда последние три-четыре человека тоже сбежали из этих мест, и рядом с развалившейся сельской мельницей выросла плакучая ива; листья этой ивы по ночам собирали столько росы, что утром, после восхода солнца, весь день плакали, с листьев, с ветвей лились струйки воды; потом наступал вечер, приходила ночь, и близ этой ивы кто-то голосом Баяндур-Ихтияра тихонько пел из сказаний Деде Коркута:

Спящие напротив черные горы
Постарели, трава не вырастет.
Ручьи, налившиеся кровью,
Высохли, вода не потечет.
Подобные соколам кони
Состарились, жеребят не дадут.
Золотые верблюды
Одряхлели, верблюжат не принесут...

Тот Мужчина в Красной Юбке и был ставший бродягой Азер...

...Угли костра все еще тлели.

Махмуд всего этого не знал, Махмуд не ведал, что Мужчина в Красной Юбке, вырвавший хлеб у старого нищего, — человек, обреченный на пожизненное горе; Махмуд этого не знал, но сейчас, в ночную пору, на берегу реки колдовской взгляд Мужчины в Красной Юбке волновал его так сильно, что, если бы в эту минуту у Махмуда была чаша Джамшида, в которой можно было увидеть все на свете, он посмотрел бы на Мужчину в Красной Юбке и попробовал бы понять смысл его пронзительного взгляда.

А Мариам?

Постепенно и журчание реки, и голос молодого певца отдалились, потом совсем умолкли, и Махмуд в этом безмолвии, в этой пустоте уснул, и сон Махмуда вначале осветился светом Мариам, но потом, постепенно, в сон этот проник взгляд Мужчины в Красной Юбке.

Сафи почувствовал, что Махмуд уснул, но Сафи заснуть не мог.

Сафи еще раз проверил рукой свой пояс.

Что могло случиться с поясом? Зачем он проверял? Ложись и ты, спи, утро вечера мудренее, спи, несчастный Сафи, спи, убогий Сафи, спи; спи, чтобы завтра снова прислуживать хозяину...

Сафи прослужил всю жизнь, но сколько можно было служить другим?

Доносившаяся издали трель певца призывала Сафи к Самой Ветке — к раю, как называли его мудрецы, но к раю не на том свете, а на этом, и говорила трель певца, что в таком возрасте нельзя делать своим пристанищем место под кустом.

Сорок шесть лет он жил так вот беспросветно, и Хызр никогда не придет на помощь Сафи, и Сафи должен сам помочь себе.

Сафи снова проверил рукой пояс.

Об этом поясе никто на свете не знал, кроме одного лишь Сафи, да еще Аллаха.

Во мраке ночи Сафи ощутил решимость, которой не испытывал никогда прежде, и прошептал сам себе:

— Бог милостив...

Угли в костре догорали, превращаясь в пепел, и костер все больше ослабевал, охладевал.

XIII

Облака стали ярко-красными, и купы красных облаков над бескрайней сероватой степью создали какой-то свой, серовато-красный мир, и казалось, в этом серовато-красном мире никогда не было живого существа, не было и следа теплого дыхания, живого тепла.

Облака заглазывали уходящее солнце.

В этом серовато-красном мире их было трое: Махмуд, худой, длинный босой мужчина, на котором не было ничего, кроме серой рубахи до колен, и светлоглазый, светловолосый юноша в лохмотьях, но в его походке, движениях, взгляде ощущалась мощь здорового тела, прикрытого этими лохмотьями.

Босой мужчина, подобно псу, взявшему след, ни разу не поднял головы и не отвел глаз от земли.

— Вот здесь они прошли, — говорил он и по следу на камнях, на кустах, который способен был различить только он один, шел за Шатунами; и Махмуд со Светловолосым шли за Босым Мужчиной к Шатунам.

Недавно им встретилась толпа развратных арабских, армянских, еврейских и греческих женщин, и, увидев их, Босой Мужчина сказал, что Шатуны недалеко.

Худая женщина с загоревшим до кофейного цвета морщинистым лицом, лет сорока пяти-пятидесяти, глядя на Махмуда, высунула язык и стала играть им, и подмигнула, потом стала прятать язык в рот и высовывать обратно, и слюна потекла с кончика языка на землю; женщина еще раз подмигнула, и Махмуд не знал, что делать. В эту минуту он почувствовал на своем запястье сильную руку светловолосого. Светловолосый, сжав сильной рукой запястье Махмуда, отвел его в сторону, и они снова зашагали рядом с Босым Мужчиной.

Может быть, этот Светловолосый, с раннего утра до заката не открывавший рта и не сказавший ни единого слова, был немой? Но его по-

стоянно устремленные вдаль светлые глаза были задумчивы и печальны, этот человек, несомненно, сам с собой разговаривал, сам был своим собеседником; разумеется, Махмуд не слышал его беседы с самим собой, но угадывал, что на душе у Светловолосого неспокойно и душа его горюет не только о хлебе насущном, не только о том, чтобы остаться в живых и жить...

Толпа развратных женщин осталась позади.

Махмуд встретил этих двоих сегодня рано утром, вернее, они встретили Махмуда. Махмуд уже несколько дней блуждал по пустыни, не знал, куда идти, и никто ему не встречался, и хотя в кармане у него лежали две золотые монеты, во рту уже несколько дней маковой росинки не было. С позавчерашнего вечера он шел по проселочной дороге, поднимающейся к Эрзерумским горам, и сам не заметил, как сбился с дороги и заблудился.

Странно, Махмуд не знал, куда он идет, никого не встречал, один бродил по степям, по горам, но не терялся, никуда не торопился, и порой Махмуду даже казалось, что он и не хочет никого видеть, хочет быть вот так, один-одинешенек... Махмуд отгонял это чувство, потому что бессознательно ощущал, что, если поддастся этому чувству, все в жизни для него изменится, станет другим, и сам Махмуд будет другим человеком, и тогда, конечно, на всей земле у Мариам никого не останется.

Когда сегодня рано утром подошли эти двое, Махмуд искал под кустами какую-нибудь съедобную зелень, и Босой Мужчина, едва завидев Махмуда, спросил:

— Куда ушли Шатуны?

Махмуд не мог ничего сказать этому внезапно появившемуся в пустынном месте Босому Мужчине, и Босой Мужчина тоже понял, что Махмуд не знает Шатунов, что Махмуд голоден и беспомощен.

— Идем, — сказал Босой Мужчина. — У Шатунов всегда найдется кусок хлеба. — Потом он глотнул, и его большой острый кадык поднялся и опустился.

Махмуд зашагал следом за Босым Мужчиной и сам удивился, как получилось, что он последовал за этим мужчиной, не будучи с ним знаком, не зная его. Как велика сила слова «хлеб»... Впрочем, нет, Махмуд ошибался: оказывается, всем существом Махмуд тянулся к людям... Махмуд не знал, кто эти Шатуны, о которых так заинтересованно спрашивал Босой Мужчина, но было ясно, что Шатуны, которых часто называл Босой Мужчина, были человеческие существа, и Махмуд понял, что тосковал не только по Мариам, — Махмуд тосковал по людям вообще; а ведь Махмуд и не знал, что так привязан к людям... Чувства обманывают, чувства и впрямь переходящи... Как сложно, оказывается, человеческое сердце, как оно таинственно; люди были жестоки, люди были жадны, безжалостны, проливали кровь, не понимали друг друга, да, да, это было так, и даже хуже, однако и без людей было невозможно.

Махмуд уже целую неделю был одинок.

Правда, до встречи с Мариам Махмуд всегда был одинок, но это было одиночество в окружении близких, и, как ни странно, за время стран-

ствия Махмуд больше привязался к Сафи, чем за всю предшествующую жизнь.

Бедный Сафи... Сафи пожертвовал жизнью ради Махмуда. Сафи не мог вынести тягот этого скитания, этой нищеты, Сафи погубил себя. Утопился ли он в реке? Или бросился со скалы? Стал кормом для птиц и червей?

Когда в ту ночь на берегу реки Сафи поставил Махмуду на спину глиняную банку, Махмуд ощутил в руках Сафи что-то родное, ласковое и вдруг вспомнил свое детство, вспомнил мать, вспомнил отца и всей душой умилился, но потом умиленье прошло, возникла непонятная пустота, и в этой пустоте возникло угрызение: Махмуд видел вокруг себя каменные сердца, но самое холодное, самое каменное сердце было у него самого.

В течение всего этого странствия Махмуд ни разу не представил себе состояние своей матери или отца. Ведь Махмуд знал, что он — самое любимое существо и у матери, и у отца, и для матери, и для отца нет никого дороже, чем он... Почему Махмуд никогда не поинтересовался состоянием тишедушного Сафи? В чем был виноват Сафи, что ему пришлось скитаться по степям? Ведь Махмуд ясно видел, что Сафи мается, Сафи бонгяет, Сафи устает, так почему же он считал, что так и должно быть, почему не сочувствовал Сафи?

А если все это так, что сжигало сердце Махмуда? Только ли из-за разлуки с Мариам оно горело? Вначале Махмуду казалось, что это действительно так, но потом он все больше начинал чувствовать, что нет, это не только так. Мариам была дорога, без Мариам не было жизни, невозможно было обмануть доверие Мариам, не искать Мариам, не найти Мариам, ибо если б это было возможно, значит, наступил бы конец света; все это было так, но сердце Махмуда горело не только от разлуки с Мариам, и когда утром, после той ночи на берегу реки, Махмуд остался совершенно один, он вдруг понял, почему горит его сердце — оно горело из-за горя, разлитого в мире, и потому Махмуд не вызывал перед мысленным взором только образ матери, только отца, он горевал обо всех людях; увиденные днем чужие люди ночью стояли у него перед глазами: один был несчастен, голоден, и у Махмуда пылало сердце — ну почему человек должен быть несчастен, почему в таком огромном мире должен быть голоден? Другой был убийца, предатель, и у Махмуда пылало сердце — ну почему человек должен быть убийцей, предателем? Так думал Махмуд...

Беднига Сафи... Оказывается, у Сафи в кармане оставалось всего две золотые монеты, и Сафи, положив эти два золотых в карман Махмуда, покорились судьбе. Махмуд решил без колебаний и был совершенно уверен, что в этом бесприютном мире, в этом беспощадном мире Сафи предположил самоубийство.

Махмуд так решил, но Махмуд не знал...

...Что в ту ночь угли в костре догорали, превращались в пепел, и костер все больше ослабевал, охладевал.

Сафи смотрел на гаснущий костер. Махмуд спал.

Гаснущий костер о многом говорил Сафи: если бы никто не помог этому костру, не подбрасывал поленья, не подкладывал дров, он погас бы совсем, как теперь вот гаснет. Пройдет день, прольется дождь, подует ветер, и даже следов костра не останется, и никто не узнает, что когда-то тут горел костер и согривал кого-то своим теплом.

И Сафи никто не поможет.

Сафи должен был сам себе помочь, и он поможет.

За всю сорокашестилетнюю жизнь Сафи никогда не был так решителен. Приподняв рубашку, Сафи развязал пояс и даже не испугался, что кто-то придет, нападет и ограбит. В тот самый миг, как Сафи решил, что хозяин драгоценностей — он сам, Сафи изменился, Сафи стал смелым и сильным.

Сафи расстелил перед собой в слабом свете гаснущего костра снятый пояс. Рассыпавшиеся драгоценные камни притянули слабый свет костра, засияли, замерцали, засверкали.

На талии, с которой был снят пояс, и во всем теле Сафи почувствовал какую-то птичью легкость и понял, что эта легкость — легкость освобождения от многолетнего прислужничества, приниженности, лишения.

Некоторое время Сафи смотрел на драгоценности, в слабом свете костра переливавшиеся зеленым, голубым, красным, желтым, потом, выбрав из этих драгоценностей один камешек, повертел в руке и искренне выругал себя: глупец, сколько ты страдал, сколько размышлял; тебе, что ли, выпало быть самым строгим аскетом на свете?

Сафи протянул руку и бестрепетным движением поделил лежащее перед ним богатство ровно пополам, вынул из-за пазухи скатерку, которую они всегда стелили перед собой, и, собрав в горсть половину драгоценностей, высыпал их в скатерку, связал в узелок, потом осторожно встал, подsunул узелок под шерстяную накидку, которой был укрыт Махмуд, и вернулся на свое место.

Сафи старался не смотреть на спящего Махмуда, потому что в глубине души опасался, что, если он посмотрит на Махмуда, охватившая его решимость может растаять, исчезнуть и мир убожества снова затянет Сафи в свое лоно, а Сафи готов был умереть, но возвращаться в мир убожества не хотел.

Сафи не смотрел на Махмуда, но не мог удержаться, взглянул в сторону узелка, только что спрятанного под шерстяной шалью. Сафи подарил Махмуду половину драгоценностей и, по существу, сделал Махмуда — одинокого, несчастного, беспомощного — одним из самых богатых людей в стране. Этого никто на свете не сделал бы, а Сафи сделал... Махмуд утром проснется и под укравшей его шерстяной накидкой найдет кучу драгоценностей, но... но что будет Махмуд делать с таким богатством? Ведь для Махмуда богатство не имело значения, и, следовательно, богатство не спасет Махмуда... А возможно, даже напротив, какой-нибудь бандит из-за этого богатства вознижт к Махмуду прямо в сердце... Сафи словно ощутил холод этого княжало в своем сердце и быстро прогнал от себя это чувство; нет. Назад пути не было, шаг сделан, и если сейчас Сафи отступит, он не достоин жить.

Сафи отвернул глаза от того места, куда положил узелок, но не смог удержаться, снова посмотрел в ту сторону и снова, поднявшись, осторожно вынул из-под шерстяной накидки только что осторожно положенный туда узелок, развязал, высыпал половину содержимого себе на ладонь, присоединил к драгоценностям, лежащим на поясе, а узелок снова завязал и положил под шерстяную накидку.

Вернулся, аккуратно сложил пояс и собрался снова обвязать его вокруг талии, но не смог, потому что горстка, положенная под шерстяную накидку, с колдовской силой и заразительностью притягивала Сафи.

Махмуд был несчастен, беспомощен в этом мире. Махмуд был не первым и не последним. Махмуд по самой природе своей был несчастливцем, а если несчастливцем будет владеть даже сокровищами всей Иднии, он не сможет сделать себя счастливым. Судьба приговорила Махмуда, и если бы даже Сафи высыпал на голову Махмуда все золото, все драгоценности, сивявшие и переливавшиеся сейчас на разложенном поясе в слабом свете костра, обреченность Махмуда не уменьшилась бы, скорей напротив.

Оставь, Сафи, оставь эти укоры, свойственные миру убожества, будь мужчиной! Сафи, не тебе переживать мировую скорбь! Сафи, Аллах делает тебя счастливым, Аллах милостив!

Решительным движением Сафи взял пояс, обвязал его вокруг талии, подошел к Махмуду, наклонился, забрал из-под шерстяной накидки узелок, сунул его за пояс, вышел к самому берегу реки, вдруг остановился, сунул руку за пазуху и вынул оттуда два золотых, которые припрятал на черный день, положил их на землю рядом с головой Махмуда и сквозь ночную мглу быстрыми шагами направился к своей цели, скрылся, исчез.

Молитвенный коврик Сафи остался забытым на берегу реки...

...Босой Мужчина внимательно оглядел камни, кусты и сказал:

— Попрошайки идут за Шатунами. Если мы попадемся им в лапы, они нас съедят. — Босой Мужчина глотнул, и снова поднялся и опустился его большой острый кадык. — Пойдем кружным путем, нагоним Шатунов.

Махмуд ничего не спрашивал: кто такие Шатуны, что значит Попрошайки? И Светловолосый ни слова не говорил, и так, молча, они шли по следу, на который напал Босой Мужчина.

Ярко адели кучевые облака.

Глаза Босого Мужчины были такими же красными, как эти облака, потому что Босой Мужчина уже много лет страдал бессонницей, от бессонницы и стал нищим скитальцем: сколько лет уже, едва этот человек впадал в дремоту, он видел, как истекающее из его тела семя — семя, что множит поколения, завязывает жизнь нового человека, — это семя поджаривается на горящем очаге, в кипящем масле, шипя на сковороде, как жирный белок; сколько лет уже это видение не оставляло Босого Мужчину, не давало ему спать, сводило с ума, оно и привело его к Шатунам. Четыре дня назад Шатуны побили и прогнали Босого Мужчину за то, что он кричал по ночам во время своих видений, но жить без людей было невозможно, и, в сущности, сердца у Шатунов были мягкие, и Босой Мужчина снова возвращался к Шатунам.

— Шатуны!.. Шатуны!.. — крикнул Босой Мужчину, показывая длинным тонким пальцем на скопление скал вдалеке.

И действительно, они нагнали Шатунов.

Шатуны разбрелись по скалам, и одетые на них грязные и выцветшие лохмотья не отличались от скал в этом серовато-красном мире, только отросшие волосы, нестриженные бороды либо чернели, либо белели как серебро.

Эти человеческие существа, которых Босой Мужчину и ему подобные звали Шатунами, были толпой бездомных нищих, скитающих вдали от родных мест. Голодные неудачники, погорельцы, беглые убийцы, дервиши, ограбленные путники, разорившиеся купцы, составившиеся проститутки, пожизненные нищие, а также соглядаты бродили по степям, по горам; ночью грабили окраинные сельские дворы, вводили отбившуюся от стада корову, барана, козу, курицу — все, что невзначай попадалось под руку, земля им была тыфяком, небо — логовом. Разбойники, дорожные грабители, не боявшиеся ни дарга, ни аскеров, боялись Шатунов и, завидев их, отходили в сторону.

Сегодня Отпущенник Мухаммед с Торговцем Колючками Махмудом затащили на скалы заблудившуюся в степях старую лошадь.

Отпущенник Мухаммед обыграл калантара Зафара и освободился от рабства. Калантар Зафар затеял ради веселого пиршества такую игру: если кто-либо из рабов придумает самую большую жестокость и испробует ее на самом близком своем друге-рабе, то калантар освободит его и положит ему в карман десять таныя. Раб Мухаммед неожиданно напал на раба Ахмеда, с которым они были неразлучны с детства, вместе ели-пили и пятнадцать лет вместе служили калантару Зафару, связал ему руки, намертво прикрепил ему на спину медный кувшин, предварительно проделав маленькую дырочку в его дне; перед возвышением, где собрались гости калантара Зафара, торчали одичавшие и высохшие кусты ежевики, а в кустах была полянка, и раб Мухаммед втолкнул на эту полянку раздетого и связанного раба Ахмеда, потом, вскипятив казан масла, влил его в медный кувшин, прикрепленный к спине раба Ахмеда; кипящее масло, вытекающее со дна медного кувшина в дырочку, обжигало голую спину раба Ахмеда, и раб Ахмед, рыча как бык, пытался избавиться от раскаленного кувшина на спине, бросался на ежевичные кусты, и ежевичные кусты раздирали тело человека со связанными за спиной руками, разрывали ему лицо, ранили глаза; раб Ахмед, все так же рыча, бросился на землю, кипящее масло вылилось через горлышко кувшина на голову раба Ахмеда, и небо и земля оглушили такой вопль, что даже у калантара Зафара, слышавшего тысячи стонов и воплей на полях сражений, а также в застенках, во время пыток, на которые он осуждал врагов, заколотилось сердце, потом голова раба Ахмеда сварились, и раб Мухаммед как несомненный победитель, даже герой, получил свободу, но и знавшие, и не знавшие его, услышав об этой истории, отвернулись от раба Мухаммеда, и как ни молил раб Мухаммед, что, ей-богу, люди, не такой уж я дурной, безжалостный человек, вы же знаете, у каждого на лбу что-то написано, ей-богу, люди, если бы Ахмед сумел первым связать мне руки, то придуманная мной шутка была бы детской забавой перед его придум-

кой, — эти мольбы никто не слушал, и раб Мухаммед, ставший Отпущенником Мухаммедом, ушел бродить и примкнул к Шатунам.

Ашуг Тахир Мирза влюбился в Гуляндам — дочь правителя города Карвангыран Хатама Мелика, и гошмы Тахира Мирзы, где говорилось о красоте Гуляндам, о муках неразделенной страсти, о тяжести разлуки, о грезях нетерпеливого влюбленного, в которых он мечтает соединиться с любимой, люди заучили наизусть; и, услышав эти гошмы, Хатам Мелик поклялся, что велит у позарившегося на дочь такого отца, как он, Тахира Мирзы вырвать с корнем язык, отрезать все пальцы, играющие на сазе; и Тахир Мирза долгое время скрывался, не показываясь никому на глаза, но однажды односельчанин ашуга Махмуд по прозвищу Торговец Колочками пообщал Тахиру Мирзе, мол, устрой так, что увидишь свою Гуляндам, и взял у простодушного, как все истинные влюбленные, Тахира Мирзы, деньги, потом пошел к Хатаму Мелику и пообщал ему, мол, устрой так, что Тахир Мирза попадет в твои руки, и взял деньги также у Хатама Мелика; и Тахир Мирза попал в руки Хатама Мелика, и Хатам Мелик сделал, как поклялся: велел вырвать у Тахира Мирзы язык, отрезать все десять пальцев, но Хатам Мелик узнал и о том, что Торговец Колочками Махмуд взял деньги также у Тахира Мирзы, а будучи сам алчным и двуличным, Хатам Мелик терпеть не мог алчности и двуличия в других и не оставлял этих пороков безнаказанными; и Торговец Колочками Махмуд понял, что дела плохи, сбежал и подался в конце концов к Шатунам.

Старую лошадь, пойманную в степи и приведенную Отпущенником Мухаммедом и Торговцем Колочками Махмудом, Палач Кязым зарезал в этих скалах.

У Палача Кязыма и отец был палачом, и дед был палачом, и все считали, что сын Палача Кязыма Алифаттах тоже будет палачом, но произошло нечто настолько странное, что народ диву дался: правнук палача Фатулы Красного, сын Палача Кязыма Алифаттах вдруг начал писать стихи, и написанные Алифаттахом любовные газели так нравились молодым людям, что они переписывали их и вешали на шею как талисман; и Палач Кязым понимал, что Алифаттах вдруг начал писать газели и касыды неспроста, Палач Кязым чувствовал, что, если смотреть в корень, сын унаследовал склонность к поэзии от самого Палача Кязыма; он это чувствовал и с трепетом душевным ожидал, чем все это кончится. Помимо совершаемых по приговору суда палаческих дел, таких, как битые по пяткам, отсекание рук и ног, ушей и носов, вырывание глаз, Палач Кязым за двадцать три года отрубил 1211 человеческих голов, но голову 1212-го человека отрубить не смог — сердце не позволило отрубить голову убийце, который всего за три серебряных монеты убил отца с сыном, и тогда судейская стража схватила самого Палача Кязыма, ему отрезали нос, уши и посадили в темницу, и в этой мрачной темнице, куда не проникал ни один солнечный лучик, Палач Кязым представлял себе все краски мира, видел восход солнца поутру и закат его к вечеру, и тут, будто копился всю жизнь, из груди его хлынул поток философских стихов — Палач Кязым и сам стал поэтом. Никто не знал, как Палач Кязым сбежал из тюрьмы; Палач Кязым всем говорил, что его вызволил из темницы архангел Михаил, а кто

мог знать тайны этого мира? Может быть, и вправду так было... Поскольку Палач Кязым не знал грамоты, он не записывал быющие из его груди, как родники из земли, газели, касыды, мюраббе, терджибенды, рубаи, кыта, и поскольку эти стихи были сложны и звучали крайне витиевато, они не запомнились, забывались. Попав к Шатунам, Палач Кязым был вынужден резать, свежевать и разделявать животных, и он резал, свежевал и разделявал их, сочиняя при этом философские стихи о добрых и дурных делах мира. Все равно, увы, никто не понимал глубокий смысл этих стихов, но Палач Кязым не падал духом, все сочинял и сочинял свои сложные философские газели, касыды, терджибенды, рубаи, кыта.

Разведя костер прямо на скалах, Шатуны сделали шашлык из лошади, зарезанной Палачом Кязымом под распев философских стихов, съели ее, и запах жареного на огне мяса впитался в эти монолитные скалы, в бурные кусты каратикана, в лохмотья Шатунов. Всюду белели крупные лошадинные ребра, бедренные кости, шейные и спинные позвонки, обглоданные так, что были совершенно чистыми, и Попрошайки не нашли бы на этих костях ничего, что можно было бы сгрязить; однако, порывшись у подножия скал, они нашли бы лошадинную голову и ноги и, обжарив, съели бы их.

Попрошайки — это была толпа, состоявшая из глухих, хромых, прокаженных; гонимые всеми, даже Шатунами, они всегда следовали за Шатунами на некотором расстоянии и жили тем, что оставалось после Шатунов.

Багрец серовато-красного мира понемногу выцветал, и по мере того, как солнце скрывалось за все еще отдаленными алым темными облаками, Шатуны, отдыхая, рассыпались там и тут после еды и, казалось, вместе с багряными отсветами облаков исчезала и необычность этих людей, и их нищета выглядела такой, как она есть.

Когда Махмуд, Светловолосый и Босой Мужчина подошли к скалам, на них никто не обратил внимания, и Босой Мужчина с неожиданной для его худобы и изможденности прытко подобрал к костру с разбросанными вокруг него костями; Светловолосый сел на землю, прислонился спиной к осколку скалы и стал растирать обмотанные тряпками ноги, а Махмуд как оstanовился, так и стоял, не двигался.

Махмуд не мог отвести глаз от этой нищеты. За время странствия Махмуд хорошо понял, что мир — совершенно иной, чем он думал, и порой собственные страдания и заботы казались Махмуду мелкими, но Махмуд не представлял себе, что даже в этом, ином мире есть такая нищета.

Махмуд оглядывал по одному рассыпавшихся по скалам Шатунов и увидел среди них Мужчину в Красной Юбке.

У Мужчины в Красной Юбке один глаз совершенно побелел — того, что с ним произошло, видно, было недостаточно, и десять дней назад в степи ему плонула в глаз змея, но Махмуд узнал Мужчину в Красной Юбке, едва увидел его, и, глядя в единственный глаз этого человека, понял смысл этого забываемого взгляда и как будто снова услышал слова, сказанные им Мужчине в Красной Юбке: «Эх, откуда тебе знать, что такое горе?» — и наивность этих слов так унижала Махмуда в его

же собственных глазах и делала таким убогим, что Махмуд задыхался от своей униженности, несуразности, убожества, сердце его сжалось и щемило, щемило.

Урод Мухтар лежал на боку на скале и тяжело дышал, так как съел больше всех. Урод Мухтар смотрел на неподвижно стоящего Махмуда, и взгляд Махмуда не понравился Уроду Мухтару. Уроду Мухтару отрубил левую руку чуть ниже локтя, и Урод Мухтар, высушив эту отрезанную руку, сохранил ее себе и, суя эту отрезанную руку чуть ли не в глаза людям, собирал милостыню, а когда уставал нищенствовать, примыкал к Шатунам. Уроду Мухтару в сущности полагалось бы находиться среди Попрощаск, потому что безрукие, безногие не смели появляться среди Шатунов, но если все боялись Шатунов, то Шатуны боялись высушенной руки Урода Мухтара.

Махмуд тоже посмотрел на Урода Мухтара и увидел, что этот несчастный так доволен своей судьбой, что повесил на шею иланмунджугу, похожую на бусинку косточку из черепа змеи, предохраняющую от дурного глаза; подумать только, что это был за мир, если и этого несчастного могли сглазить...

Урод Мухтар поднялся, подобрался к Махмуду и, не отрывая от Махмуда глаз, начал кружить вокруг него. Ростом Урод Мухтар был ниже Махмуда и, слегка склонив голову набок, глядел на Махмуда снизу вверх и, кружа вокруг него, вдруг спросил:

— Кто это?

Потом еще быстрее закружил вокруг Махмуда и, глядя на него снизу вверх, то громко, то тихо зачастил:

— Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это?..

Махмуд не знал, что отвечать на этот без конца повторяемый вопрос, а взгляды Шатунов постепенно устремлялись на Махмуда. Урод Мухтар, кружа вокруг Махмуда, посмотрел в сторону Шатунов и, протягивая к лицу Махмуда вынутую из-за пазухи высушенную руку, то шепотом, то переходя на крик, все повторял:

— Кто это? Кто это? Кто это? Кто это?..

Люди по двое, по трое стали собираться вокруг Махмуда и Урода Мухтара, и непрерывно задаваемый Уродом Мухтаром вопрос стал словно эхо отдаваться среди Шатунов: «Кто это? Кто это? Кто это? Кто это?»

Внезапно в груди Махмуда будто пролился теплый дождь, и то, что в этом горестном мире было все-таки возможно такое душевное тепло, растрогало Махмуда, но ведь и Махмуд немало мог поведать этим несчастным Шатунам, и Махмуд мог сказать, мол, я тоже такой, как вы, я тоже один из вас. Махмуд и сам не заметил, как начал говорить, и изумился, услышав собственный голос:

— День и ночь горел я в огне, день и ночь пылал, схватило и затрясло горе меня! Судьба и со мной несговорчива была, братья мои! Острым мечом рассеко мне грудь, разрубило на части, расчленило меня горе, братья мои!..

Окружив Махмуда, Шатуны смотрели на него как на чудо света, и в скалах в этот миг стояла такая тишина, будто не только Шатуны тупо

смотрели на стоящего в середине Махмуда, но и огромные тысячелетние скалы, отвесные каменные утесы, в свою очередь, дивились молчаливо, немоте, озадаченности Шатунов.

Махмуд ощущал на своем лице, на шее, на груди ласковое дыхание, чувствовал что-то родное, близкое, и это чувство, вскиная, изливалось из груди Махмуда в слова:

— Слезы моего сердца не иссыкают ни днем, ни ночью, братья мои! Меня, как и вас, горе гонит из степи в пустыню, братья мои! Меня, как и вас, поймала, как птенца в гнезде, и смяла судьба, братья мои!

Шатуны смотрели не мигая. Шатуны смотрели на этого стройного юношу, стоящего посредине и произносящего странные слова, и в словах, бурно выплескивающихся из уст этого юноши, было какое-то колдовство, и это колдовство кого-то из Шатунов уведило в детство, кому-то являло образ давно забытой матери, кому-то напоминало о ребенке, на кого-то во все глаза смотрел убитый им человек; и это было нехорошее колдовство, ибо, если бы это колдовство освободило все, что томилось в плену запертой годами памяти, заставило увидеть все, что таилось за слепотой чувств, пробудило в этих людях человеческое достоинство, тогда невозможно было бы жить, и Шатуны это бессознательно ощущали.

Рвущиеся из груди волнение и жар вскинули к небу обе руки Махмуда, и Махмуд произнес:

— Пощади, судьба, оглянься! Кровавая судьба, не довольно ли обрушивать камни на головы этих людей! Пожалей их, пора! Всесильный, сделай зиму этих людей весной! Разожги безумные души огнем любви!..

Когда Махмуд произнес эти слова, Урод Мухтар, словно пробудившись ото сна, снова вперился в Махмуда снизу вверх, начал кружить вокруг него, вдруг прижал свою высушенную руку к лицу Махмуда и закричал:

— Клянусь святым семейством¹, он сумасшедший! Он сумасшедший! Он сумасшедший!..

Длинные, грубые, черные от грязи ногти высушенной руки Урода Мухтара расцарапали лоб Махмуда, струйки крови потекли на его брови, потом на глаза.

Урод Мухтар снова прокричал:

— Он сумасшедший!

На этот раз низкий бас Урода Мухтара отрезвил Шатунов.

Кто-то завопил:

— Это охотник, у него из глаз течет кровь убитых!

Люди чуть не падали от хохота и с гиканьем принялись освистывать этого сумасшедшего, столько времени болтавшего чепуху.

— От него пахнет кровью! — Шатуны покатывались от смеха.

— Он отрезал голову дэву! — Шатуны с удовольствием начали бросать Махмуду в лицо все, что попадалось.

Махмуд широко раскинул руки, будто хотел обнять Шатунов:

— Братья! Братья! Братья мои!

¹Святое семейство (Али-аба) — Мухаммед Али, Фатима, Гасан и Гуссейн.

— Два пятака дали, чтоб заговорил, теперь три пятака даем — не умоляет! — Шатуны, помирая со смеху, с еще большим сладострастьем стали швырять Махмуду в голову камни, угли, головешки, лошадиные кости...

— Он охотник, марала ищет!..

В этот момент из толпы выскочила старуха с взъерошенными курчавыми седыми волосами и, брызгая слюной, тоненьким голоском стала приговаривать:

— Однажды солнце скрылось, днем стало темно. Падишах Мелик Джаббар и падишах Мелик Саттар со своими женами вышли на берег моря посмотреть, что это такое? Вдруг из глубины выплыла рыба и проглотила всех четверых. Дети остались сиротами! Была одна девушка. Знаешь, что она сделала? Увидала одного такого, как ты, — схватила за это! — Старуха изловчилась и ухватила Махмуда между ног. — Сказала: охотник, если про охоту не расскажешь, не выпущу! Оторву!

Стыд и замешательство охватили Махмуда, но, глядя на хохочущую в восторге толпу, Махмуд вдруг подумал, как немного нужно для счастья, да и вообще еще неизвестно, что такое счастье...

Пуще всех заливалась, белея единственным зубом, Гысыр Гары. Когда исчезла Джейран, Гысыр Гары осталась в одиночестве на чужбине, в конце концов примкнула к Шатунам и за это время вынесла столько голода и мучений, что забыла Гянджу, забыла вероломство Джейран, забыла и Махмуда и, в сущности, только теперь стала самым вольным и беззаботным человеком на свете: Гысыр Гары больше не думала ни о том, как заработать деньги, ни о том, как разладить или наладить чьи-то отношения, не заботилась о завтрашнем дне, потому что завтрашний день не было, все дни были одинаковы, отражались один в другом, как в зеркале; совершенно свободная и бездумная жизнь состояла в одинаковости вчерашнего, нынешнего и завтрашнего дня: съешь, что попало в руки, и живи.

Махмуд чувствовал, что лицо его запылало, и это пылало не кровавые ссадины, оставленные иссохшими ногтями Урода Мухтара. Конечно, Махмуд мог вырваться из клешнеподобных пальцев этой старухи, броситься с отвесной скалы, и все бы кончилось; и Махмуд всем телом почувствовал легкость этой свободы, этого близкого небытия, но Шатуны с жадностью ждали, чем кончится представление, на лицах Шатунов было такое блаженство, которое просто жаль было оборвать, и Махмуд заговорил — заговорил об охоте.

— Вышел я на охоту однажды. Передо мной заяц проскочил, безногий!..

Шатуны громко рассмеялись.

— Лук взял, стрелы забыл. Кинул стрелу, заяц растянулся на земле!..

Шатуны рассмеялись еще громче.

— Был у меня нож без лезвия, вынул его из кармана, зайца освежевал!..

— Ай душа-заяц! — сказал Урод Мухтар, не устоял от смеха, сел на землю и закатился, колотя о скалу твердыми перстами высушенной руки.

— Нашел казан без дна. Поджарил заячье мясо в казане без дна!..

Седая старуха разжала пальцы и, усевшись рядом с Уродом Мухтаром, чуть не потеряла сознание от хохота. Махмуд уже не боялся этой разжавшейся клешнеобразной руки. Глядя на плачущих от хохота Шатунов, Махмуд и сам плакал, но рассказывал — и был счастлив, что Шатуны не видят, не понимают, что он плачет, и вдруг Махмуд вспомнился отец: во время прощания Зияд-хан прятал от Махмуда свои маленькие узкие глазки, и Махмуд только теперь понял, что Зияд-хан, оказывается, плакал.

— Созвал я семь тысяч семьсот семьдесят семь друзей, охотников, они пришли, все поели, и еще осталось!

Шатуны не могли нахохотаться:

— Семь тысяч...

— ...семьсот...

— ...семьдесят семь...

— А потом что было?

— Оставшееся мы завернули в кушак, получились петух. Мы сели на этого петуха, отправились в путь...

Шатуны снова покатались со смеху:

— На петуха...

— Сели на петуха...

И тут произошло нечто невиданное: Гысыр Гары, чуть не упавшей в обморок от хохота, вдруг показалось, что нос ее удлинился, и когда она поднесла руку к носу, увидела, что нет, это не нос, это — клюв, у Гысыр Гары появился клюв; потом Гысыр Гары в ужасе, потрясшем все ее существо, увидела, что на теле ее вырастают птичьи перья и все оно покрывается этими перьями; Гысыр Гары хотела закричать, хотела позвать на помощь, но вместо крика стала каркать по-вороньи, ужас как будто прошел и сменился радостным удивлением.

Вороньего карканья никто не услышал, общее внимание сосредоточилось на Махмуде, все хохотали, и никто не заметил, как Гысыр Гары вдруг уменьшилась, как на глазах превратилась в большую черную ворону, как потом взмыла с этих скал в небо и сделала два круга над Шатунами, а потом улетела далеко-далеко, исчезла в глубине небесной.

— На петуха...

— Сели на петуха...

— А потом?..

— Что было потом?

— Нам встретилась река. В реке нашли палан¹. Распорол палан, из него...

— Нет, не распарывайте палан!

Эти слова выкрикнул Амбал Дитя Омара, ибо всю жизнь он накладывал на плечи палан и таскал на нем тяжести; но теперь Амбал Дитя Омара состарился, силы в руках уже не осталось, он не мог больше таскать тяжести, некоторое время нищенствовал, примкнул к Шатунам, и теперь, видно, Амбал Дитя Омара рехнулся от смеха, потому что вдруг начал так кричать, будто у него на глазах режут голову его ребенку:

¹ Палан — особым способом сшитая подставка для грузов; носится на спине амбалами (грузчиками, носильщиками).

— Нет, не распарывайте палан!.. Не распарывайте палан!..
Шатуны обернулись и злобно посмотрели на Дитя Омара, так грубо нарушившего веселье, а Амбал Дитя Омара прочел в гневных взглядах людей свой приговор и в страхе закричал еще громче:

— Нет!.. Нет!.. Нет!..

Отпущенник Мухаммед растолкал всех длинными костистыми волосятыми ланями, схватил тяжелый обломок камня, изо всех сил ударил по голове Амбала Дитя Омара; брызнувшая из черепа Амбала Дитя Омара серая кашница смешалась с кровью, алая масса расплзлась по его лицу, и, когда Амбал Дитя Омара ничком упал на землю, Отпущенник Мухаммед вскочил на высокую скалу, рукой отер забрызгавшую его грудь и своею кровью и громко закричал:

— Ини дарибаллаху гатилун! Я ударил, Аллах убил!

Махмуд обими руками закрыл уши, обхватил голову. Шатуны пришли в движение. Брызнувшая и постепенно густеющая кровь словно пробудила в них дремавшую до поры жажду крови, отбросила их голоса, жесты, чувства и побуждения к первобытности, и Махмуд, сжатый, сдавленный пришедшей в движение возбужденной толпой, понял, что это конец, он будет растоптан как дробь, тот набитый соломой кожаный мешок, который бросают под ноги боевым слонам, когда учат их топтать врага на поле битвы; и в этот последний миг Махмуд хотел выкрикнуть имя Марнам, совсем забытой им со времени встречи с Шатунами, и Махмуду даже показало, будто он выкрикнул это имя, закричал «Марнам!.. Марнам!..», но шум и крики распаленных, взбесившихся Шатунов заглушили крик Махмуда, сорвали имя Марнам с уст Махмуда, раскатали его в тонкий лаваш, раскатали и уничтожили..

В эту минуту резкая и сильная рука, схватив Махмуда за плечо, дернула его, и, хотя Махмуд уже не мог ни о чем думать, ничего чувствовать среди совершенно одичалых Шатунов, он ощутил в этих сжимающих его плечо сильных пальцах что-то знакомое и покровительственное.

Светловолосый схватил Махмуда за руку, вырвал его из толпы и, волею за собой, утащил со скал, увел от Шатунов.

Солнце совсем закатилось, и от серовато-красного мира уже не осталось и следа. Все теперь было окутано вечерними сумерками, и в сумеречном мире не было и намека на какой-либо свет; окутавшие все вокруг вечерние сумерки говорили о бедах и горестях мира, и вокруг, как мутная вода, растекалась безнадежность.

Шатуны остались позади.

И чернеющие очертания монолитных скал остались позади.

Странно, по мере того как они удалялись от Шатунов, как исчезали очертания монолитных скал, в сознании Махмуда наступала ясность, перед мысленным взором Махмуда представляли по одному лица Шатунов, он видел эти лица со всеми их черточками, четко и ясно, и эта четкость и ясность усугубляли окутавшую все вокруг безнадежность. Одно из представших перед ним сейчас лиц Махмуду только теперь показалось похожим на лицо Мирзы Салмана, и он вздрогнул от такого предположения.

Интересно, что сейчас там, в Гяндже? В родной Гяндже, в саженной чинарами Гяндже... Махмуд и не представлял себе, что Гянджа ему так дорога и он может так соскучиться по Гяндже. Что делает Зияд-хай? Как Гамарбану? Мирза Салман? Интересно, та яблоня перед дворцом вновь опустела до земли ветки, отягченные плодами? Интересно, та птичница, что присматривала за курами, по-прежнему во дворце и так же улыбается, поднося к ушам маленьких детей постукивающие, попискивающие янчики? Может быть, она давно умерла, а Махмуд и не знает? Ведь в последнее время он, кажется, совсем не видел эту толстую, пышущую здоровьем, ласковую женщину... Внезапно перед глазами Махмуда появилось лицо одного дворцового слуги, и Махмуд увидел лицо этого слуги с такими подробностями, каких никогда прежде не замечал, даже шрам над бровью увидел. Махмуд не знал имени этого человека. Сколько лет уже этот человек был слугой во дворце, и за все это время Махмуд не перекинулся с ним ни единым словом — так почему же теперь он вспомнил этого человека?

Махмудом завладела мысль, которую он давно уже гнал от себя, не подпускал близко, отстранял: в самом деле, есть ли смысл в его скитании? Если мир погружен в такую безнадежность и мерцают лишь далекие воспоминания, есть ли смысл искать в этом мире свет? Если в этом безнадежном мире, в этом печальном мире был еще горший мир таких вот Шатунов, имел ли право Махмуд пускаться на поиски счастья?

Светловолосый выпустил плечо Махмуда, и Махмуд впервые за этот долгий и мучительный день, день, наполненный страданием за людей, услышал голос Светловолосого:

— Этот голод, эта ни-ни-нищета должны быть уничтожены!..

Светловолосый заикался, и теперь, когда было явно взволнован, заикался еще сильнее.

— Нация так с-с-страдает, а два б-б-больших тюркских государства — Османов и Сефевидов — вместо того, чтобы об-об-объединиться, и-и-истребляют д-д-друг д-д-друга!.. Ч-ч-чем и-и-набавлять на головы чалму д-д-двенадцати имамов, на-на-называть себя кызылбашами, за-за-заботились бы о чести своих на-на-народов!.. Даже на наших де-де-деньгах пишем и-и-и-имена двенадцати имамов, а свое имя на-на-написать им в голову не при-приходит!.. Зульгадарлинцы в одну с-с-сторону отделились, аф-аф-афишарлинцы в другую, каджарцы — в третью, ру-ру-румуйцы — в четвертую, устаджлинцы и-и-не признают ша-ша-шамлылинцев, шахсванцы — па-па-падарлинцев... Чтобы устранить этот голод, эту ни-ни-нищету, тью-тью-тюрки всей земли должны о-о-объединиться!

Светловолосый говорил странные слова, и Махмуд, шагая рядом, с любопытством смотрел на Светловолосого: в речи, взгляде, жестах этого юноши, одетого в лохмотья, была какая-то решимость, вера и даже волевого; произносимые им слова захватывали человека, притягивали. Махмуд чувствовал ледяной холод в сердце этого человека, но в то же время в этом сердце был и жар; это было похоже на зановевшее изнутри оконное стекло, когда за окном — ледяная стужа.

Светловолосый истолковал улыбку на лице Махмуда по-своему.

— Да, да, мы должны о-о-объединиться!.. Я вижу, ви-ви-вижу, ты образованный человек. Сам Хаджа Насреддин Туси в «Эхлаг-Насири» пишет, что чем крепче е-е-единение, тем со-со-совершеннее жизнь.

Махмуд сразу же увидел ошибку в словах Светловолосого и потому сказал:

— Туси призывает к единению всех людей, а ты мечтаешь только о единстве тюрков.

Светловолосый еще больше разволновался и стал заикаться еще сильнее, но это косноязычие, вместо того чтобы ослабить впечатление от речи Светловолосого, усиливало его:

— Д-д-для меня н-н-нет человечества, с-стоящего над нацией! Для меня т-т-тюрки в-в-выше человека!.. В-в-все животные не-не-неодинаковы! Наряду со львом, ти-ти-тигром есть и черви! И л-л-люди неодинаковы. Тюрки в-в-всей земли, независимо от с-с-строения их лиц, от их о-о-обычаев, должны о-о-объединиться!.. А мы что д-д-делаем? Гасан Дининый заключил со-со-союз с г-г-греками против ос-ос-османцев! Ка-ка-каракоюнлинцы и а-а-агкоюнлинцы перебили друг друга! Что делает Султан Салим? Едва взойдя на престол, ве-ве-вешает более с-с-сорока тысяч кызылбаши — своих п-п-подданных! Кто эти к-к-кызылбаши? Наши же! Что делает Шах Исмаил? Б-б-блюдет честь ш-ш-шшинетства! Вместо т-т-т-того чтобы б-б-блюсти тюркскую честь! Сами себя из-из-изрубили м-м-мечом! Вот такое п-п-получается!.. — Светловолосый обернулся и, протянув руку, указал на скалы, где остались Шатуны.

Махмуд впервые встретился с такой философией и удивленно спросил:

— А голодные, нищие других народов?

Этот простой вопрос совершенно вывел Светловолосого из себя, и Светловолосый, гневно сверкая глазами, прокричал в ответ:

— Д-другие н-народы? Д-д-другие народы должны быть нашими р-рабами! М-м-мы еще не можем справиться с бедами своей, т-т-тюркской нации, а т-т-ты говоришь о д-д-других? Я... я сделаю их рабами! От Китая до С-с-средиземного моря, от С-с-сибири до Йемена вся земля н-н-наша! Я объединю в-в-все тюркские народы! Если м-м-моей жизни не хватит, э-э-это сделает мой сын! Если и его ж-ж-жизни не хватит, то его с-с-сын сделает! А потом с-с-следующий!.. А потом с-с-следующий!.. — Изю рта Светловолосого стала литься пена, и казалось, он сейчас вовсе потеряет самообладание, как вдруг он протянул руку, схватил Махмуда за грудь и, тряся его со злобой, словно усиливающейся от внутреннего отчаяния, гневно, заплетаясь языком закричал: — Н-н-ненавижу я эту ф-ф-фальшивую добродетель! Т-т-такие, как ты, и не дают про-про-пробудить народ, по-по-поднять его на ноги! Рабы лживых в-в-вопросов: «А другие?», прикрывающие ложным человеколюбием с-с-свою беспомощность, ничтожность. Надо уничтожить эту философию че-че-человечества, с-с-стоящего н-н-над нацией! В-в-все эти книги на-на-надо с-с-сжечь! И к-к-книги Туси т-т-тоже!..

Оттолкнув Махмуда, Светловолосый быстрыми шагами удалился в темноту, скрылся из глаз.

Спустилась ночь.

После всех криков, хохота, волнений темную ночь заполнила мертвая тишина.

Махмуд, опустившись на землю, вслушивался в тишину.

Мертвая тишина ночи будто вытаскивала по одной занозившие тело Махмуда, невидимые глазом, но болезненные тонкие колючки, однако это не приносило покоя, напротив, вместо телесной боли его охватывала полная безнадежность.

Махмуд посмотрел в небо.

Небо было полно сверкающих звезд. В детстве, когда ему было пять-шесть лет, Махмуд всегда, глядя на звезды, думал: ведь звезды — не птицы, у звезд нет крыльев, как же они взлетели и сели на небо?

Детские годы тоже были в такой глубокой дали, как эти звезды, и далекая детская наивность в сравнении с жестокостью мира была свечкой толщиной с детский мизинец, она излучала хрупкое мерцание, она таяла, исчезала.

В хрупком свете тающей, исчезающей тоненькой свечки, глядя на бесчисленные звезды, Махмуд почувствовал себя самым одиноким, самым беспомощным, самым несчастным человеком на свете, почувствовал и то, что в этой мертвой ночной тишине он плачет, всхлипывая.

Махмуд навзничь растянулся на земле.

И мокрыми глазами увидел себя Махмуд среди Шатунов, увидел, кто-то стоит посредине и, плача, говорит что-то, и вместе с Шатунами Махмуд смеется над ним, хватая с земли камни, головешки, кидает в него и разбивает ему голову.

Потом видение исчезло.

Те скалы, где остались Шатуны, как магнит, притягивали к себе Махмуда.

Но нет, в ногах сил не было и...

И это был конец...

И тут произошло такое, что Махмуд не понял, действительность это, или сон, или бред; но он посмотрел на свои руки и увидел, что руки его окрасились в ярко-голубой цвет. Только что все тело Махмуда, все его мышцы напряглись, и Махмуд изо всех сил сдвигал горло, за которое ухватился обеими руками; и странно было, что в руках столько силы, в груди — столько гнева, и изо всей этой силы, охвативший всем неистовством этого гнева, он душил — кого? Или что? — нет, это был не человек и не другое живое существо; это был как-будто ступок ярко-голубого облака, и Махмуд схватился за горло, которое нашел у ярко-голубого облака, и душил, сжимал изо всех сил, и, сжимая, сдавливая, понимал, что силу ему дает страстное чувство мести; но нет, это было похоже скорее на ступок дыма, чем на облачный ком, на ступок ярко-голубого дыма; но горло в этом дыму было как живое горло, как человеческое горло, и Махмуд схватил это горло пальцами, ладонями, сжимал изо всех сил, и порой сам становился невидим в том ступке ярко-голубого дыма; дым охватывал все его тело, и внезапно в том ступке ярко-голубого дыма Махмуд увидел два больших, вытарщенных, как у заданного, ока, и эти очи, каждое величиной с ладонь, были бесцветны; эти два огромных, выпученных ока смотрели на Махмуда ни-

чего не выражающим взглядом, и Махмуд сразу же понял, что эти бесцветные огромные очи — глаза Бога, этот ступок ярко-голубого дыма и есть сам Бог.

Руки Махмуда ослабли, Махмуд совсем обессилел, и ступок ярко-голубого дыма улетел, растаял, и Махмуд остался наедине с собой...

...Конечно, Махмуд не знал, что завтра, рано поутру, прискачут посланные Светловолосым — правителем Эрзерума Сулейман-пашой — всадники, найдут Махмуда и доставят во дворец.

XIV

Родной, ласковый шепот повторял Хмурому Пастырю: «Уже немного осталось, жизнь моя!.. Совсем немного! Уже виден купол Святой Обители! Мариам будет спасена! Мариам будет свободна!.. Мало, совсем мало осталось...»

Сложенный сотни лет назад и совсем почерневший теперь купол Святой Обители и вправду оказался вдалеке, и этот чернеющий купол принес сердцу Хмурого Пастыря успокоение, которого он не испытывал никогда: все было позади, все страдания, все муки оставались в прошлом, Крест Господень одолел безбожную похоть и насилие, и так и должно было быть, ибо все-таки добро было сильнее зла и в самый последний момент побеждало.

Длинная, до щиколоток, черная ряса Хмурого Пастыря насквозь пронотела, липла к спине, к груди, и большой железный крест, свисавший с его шеи, ударял Хмурого Пастыря по груди в такт его широким, быстрым шагам, как бы подтверждая его мысли.

Хмурый Пастырь никогда не видел Святой Обители, но, едва показался куполообразный силуэт, узнал Святую Обитель тут же, внезапно, на этой, поросшей жесткими кустами, каменистой горной тропе уловил пасхальный аромат, как будто везуду в окрестностях пекии куличи, и серые колючие кусты, каменные глыбы, осколки гранита показались Хмурому Пастырю такими родными, словно все они были тут расставлены руками Мариам.

Широким, торопливым шагом всходя вверх, Хмурый Пастырь представлял себе нежные, смуглые руки Мариам, и вдруг Хмурому Пастырю почудилось, что крупные острые колючки серых, ставших такими милыми кустов, возникли в нежные, смуглые ладони Мариам, и ладони Мариам покраснели от крови; и это видение заставило Хмурого Пастыря остановиться среди дороги, и Хмурый Пастырь вдруг подумал, что, несмотря на родной, ласковый шепот и близость Святой Обители, к которой они с мучениями добирались с той ночи, когда вышли из Гинджи, и до сего дня, несчастье не минует его и Мариам; и Хмурый Пастырь поднял обе руки, хотел отогнать от себя это предчувствие, потом судорожно сжал руки и отвернулся, чтобы не видеть кровавых ран на ладонях Мариам: нет, нет, для истинных рабов Божьих в Святой Обители есть средство от любого горя, и Святой Старец поможет Хмурому Пастырю советом и лаской, ибо если Господь почему-либо и отвернулся от него, грешного, то от Мариам он не отвернется.

Хмурый Пастырь представил себе Мариам во дворце, исторгающем всеми стенами запах страсти, отвратительном каждой своей вещью, — во дворце, богатство которого омыто слезами, который сделал единственность развратной, непорочность — чудовищной, увидел Мариам в мусульманском придворном наряде, разжигающем похоть, и это видение было еще страшнее и еще нестерпимее видения алой крови на ее ладонях. Нет, Мариам не может находиться в этом вертене безбожия и разврата. Правда, теперь Мариам находилась именно там. Правда, сумасшедший Сулейман-паша, взявший на себя опеку над сыном Зияд-хана Махмудом, велел в течение одной ночи разыскать Хмурого Пастыря и доставить Мариам во дворец, где Мариам все еще оставалась непорочной и чистой.

А что будет завтра?

Сулейман-паша назначил на завтра свадьбу Мариам с Махмудом. Сулейман-паша был таким безумцем, что ни перед чем не останавливался, мог пойти на что угодно, а к тому же был хитер как лиса, чуток как волк и даже читал мысли по лицу человека.

Сулейман-паша поселил Мариам и Хмурого Пастыря во дворце вдвоем и вчера сам зашел в отведенный им покой. «Послезавтра свадьба!» — сказал он и пристально посмотрел на Хмурого Пастыря. Хмурый Пастырь знал, что вырваться из дворца Сулейман-паши невозможно, но все же мелькнула у него мысль бежать вместе с Мариам в Халеб, прибегнуть к помощи халебского дарги Артюн-бека. Вдруг Сулейман-паша, заикаясь, сказал:

— Н-и-нет, п-п-поп, велью повесить и Артюн-б-б-бека, и тебя!..

И Хмурый Пастырь понял, что настал последний миг и единственная надежда — Святая Обитель. Сегодня утром, оставив Мариам во дворце, он отправился в путь. Без Мариам Хмурый Пастырь был свободен, мог идти на все четыре стороны, куда угодно, пленницей была Мариам, но эти сластолюбцы, эти жестокосердные магометане хорошо знали, что, подобно тому, как жизнь дэва заперта в стеклянном сосуде, жизнь Хмурого Пастыря — его дочь Мариам — заперта во дворце, и потому никто не следил за ним, не преследовал его.

Правда, безбожники, хоть они и бдительны, как гуси, не знали, что для детей апостольской церкви есть Святая Обитель и врата Святой Обители открыты, и в Святой Обители найдется средство, чтобы вырвать Мариам из рук многоженцев.

Хмурый Пастырь много знал о Святой Обители, много слышал о ней от паломников, побывавших у Святого Старца, искавших помощи и утешения. Нельзя было предсказать заранее, кому и как будут они оказаны. Говорили о чудесах, каких не случалось со времен воскресения Лазаря, говорили, что преследуемые, достигнув Святой Обители, становятся невидимыми, безнадежно больные исцеляются, одержимые бесом обретают разум. И Хмурый Пастырь знал, что щепоть праха, а может быть, платок или иная одежда, полученные от Святого Старца, скроют Мариам от глаз нечестивых. «Верую, Господи!» — прошептал Хмурый Пастырь и почувствовал, что у него прибавилось сил, к нему пришло второе дыхание, мрачные видения исчезли. Он широким, то-

родным шагом стал взбираться вверх. «Верую, Господи!» — повторил Хмурый Пастырь.

Святая Обитель открылась взору его целиком. Монолитные камни древнего здания, одиноко высящегося на голой скале, почернели так же, как его купол, и, приближаясь, Хмурый Пастырь увидел, что купола приделов и главный купол загажены дикими голубями, оставившими повсюду белые заплаты.

Хмурый Пастырь знал, что купол Святой Обители не из золота, но все же столь простой и земной облик священного прибежища на мгновение заставил Хмурого Пастыря растеряться, но в тот же миг Хмурый Пастырь понял, что так и должно быть, что истинная мощь — в евангельской простоте и бедности, которая искони стоит выше мира и соблазнов его — богатства и сводящей с ума земной красоты.

Хмурый Пастырь никогда не видел и Святого Старца, но как только увидел, сразу узнал его. Святой Старец, выйдя из кельи, как простой монах, сидел на земле перед Святой Обителью, на нем была истрепанная и продранная за долгие годы длинная белая рубаша из грубого домотканого полотна, он был тощ, ноги босые и грязные, длинная борода, длинные редкие волосы совершенно белы, чело, ланиты и лани его были сплошь в морщинах, и Хмурый Пастырь, приближаясь, с изумлением отмечал, что живые глаза Святого Старца не соответствуют ни одежде, ни белизне волос и бороды, ни морщинам на челе: в глазах Святого Старца была откровенная страстность, земные чувства и волнения.

Хмурый Пастырь подошел к Святому Старцу. Он победил, он стоял перед Святой Обителью и знал, что врата ее распахнуты перед ним, чистота Мариама будет сохранена, но в сердце Хмурого Пастыря не было радости.

Святой Старец, обхватив руками худые, острые колени, устремил на Хмурого Пастыря снизу вверх пристальный взгляд своих немигающих глаз, и Хмурый Пастырь увидел в его глазах недобрую усмешку. Широкие брови Хмурого Пастыря сдвинулись: что-то случилось...

...Хмурый Пастырь был прав.

Святая Обитель впервые за долгие годы становилась свидетельницей перемены и даже перелома.

Недавно старый отшельник, проживший в голой келье близ этого заброшенного монастыря ровно шестьдесят четыре года три месяца и неделю, проводивший похожие один на другой дни и ночи в молитвах, вернувший обители славу и прославивший святым, бросил взгляд на лесистую гору напротив, и эта картина так потрясла старика, что он перестал молиться и только глядел и глядел на нее.

Зеленая лесистая гора все это время возвышалась напротив и, наконец, в летнюю пору всегда бывала такой зеленой, и солнце всегда падало на лесные вершины, но для того, чтобы увидеть это, старому отшельнику понадобилось шестьдесят четыре года три месяца и неделя.

Старый отшельник ощутил острую боль в сердце. Последнее время у него часто болело сердце, но отшельник понял, что нынешняя острая боль в сердце не такая, как всегда.

В молодости старый отшельник согрешил с немою и полупомешанной соседской девушкой и, чтобы замогилить этот грех, стал аскетом, и понадобилось, оказывается, ровно шестьдесят четыре года, три месяца и семь дней, чтобы на восьмой день, рано утром, он взглянул на улыбающийся под солнцем лес и в течение одного мгновения осознал, что, в сущности, согрешил он не тогда, а потом; осознал, что великий грешник — тот, кто не может увидеть простой красоты мира, такой, как красота этого леса, а не тот, кто ценит дары земли — еду, питье, женскую ласку; грешен тот, кто отворачивается от них и превращает дни свои в бессмысленную и однообразную пустыню, тот, кто душит и убивает свои чувства и способен понять все это лишь через шестьдесят четыре года три месяца и семь дней.

Старый отшельник по привычке стал думать о Сыне Божьем, во имя которого он отказался когда-то от радостей земных, и с каким-то грустным злорадством сразу же вспомнил, что Искушитель грехов рода Адамова любил пировать у верующих в него, любил детей, птиц и полевые цветы, похвалил девицу, которая омыла ему ноги драгоценным мирром. «Пустите детей приходить ко мне!» — вспомнил отшельник, и сердце его снова пронзила острая, доселе не испытанная боль.

Он подумал, что старался делать добро все эти годы — лечил, исповедовал, укрывал от преследований, мирил, утешал в горестях мира сего. Но, странно, он не был уверен теперь, что это так уж важно, и даже подумал, что не знает, было ли все это на самом деле или ему приписывала чудотворство людская молва: ведь в глубине души он никогда не чувствовал себя святым и чудотворцем, и только с удивлением соглашался, что он — звено, связующее малых сих с Господом и волей его. Он научился хорошо понимать людей и по глазам и лицам видел, кто чего хочет от Бога, и лишь самого себя не знал и не понимал: не знал и не понимал, что жизнь прожита зря, и хотя она была такой долгой, эта жизнь, он и сам не заметил, как она прошла.

Но нет, это ведь неправда, что лишь сейчас он что-то понял и увидел: уже давно, несколько лет, пожалуй, а может, и больше, как он ощутил, что молится, постится, подкладывает колючки под колена и беседует с паломниками, ничего при этом не испытывая, кроме досады и стыда за их рабское легковерие и тупое послушание; они и впрямь считали его святым, но главное — считали всемогущим и готовы были целовать ему зад, если он его откроет, как целовали его грязные руки и ноги.

...Хмурый Пастырь, глядя в тоскливые глаза Святого Старца, понял, что если он сейчас о чем-нибудь спросит, что-нибудь скажет, то услышит такой ответ, который все перевернет вверх дном. Собрав все силы, Хмурый Пастырь поклонился в пояс, прошел мимо Святого Старца и остановился перед черными чугунными вратами Обители.

Эти черные ворота не примут ни малейшего пятна в душе человеческой.

И тут случилось нечто, чего Хмурый Пастырь никогда не мог бы себе представить. Родной, ласковый шепот произнес: «Я должна с тобой расстаться!.. Я должна с тобой расстаться!..» Хмурый Пастырь всем телом ощутил, как отлетел, как покинул его этот шепот, и только после

этого тяжелые черные врата Святой Обители со скрипом и скрежетом начали отворяться.

Слушая этот скрежет, Хмурый Пастырь чувствовал, что ему в спину вопилась пара горящих глаз, и хотя Хмурый Пастырь сосредоточил все силы, он не смог удержаться и обернулся.

Святой Старец пристально смотрел на Хмурого Пастыря.

Хмурый Пастырь спросил:

— Что ты хочешь сказать, отец?

Святой Старец сощурил свои всепроникающие недобрые глаза и сказал:

— Врата открываются перед тобой, а не должны бы.

— Почему, отец?

— Ты отвергаешь любовь. Ты разлучаешь друг с другом истинно любящих. Бежишь от мусульман, а того не ведая, что и мусульмане, и христиане — одно дерьмо. И те губят любовь, и эти, а любовь превыше всего — превыше законов людских и беззаконий людских, а наипаче таких, как ты, — кто закон доводит до беззакония и беззаконие выдает за закон...

Хмурый Пастырь ничего не ответил.

Святой Старец все знал, и к тому же, возможно, эти слова произнес вовсе не Святой Старец, а сам Хмурый Пастырь говорил с собой... Эта мысль чуть не подхватила и не швырнула его в медленно, со скрипом и скрежетом приотворяющиеся тяжелые черные врата Святой Обители, и Хмурый Пастырь всем существом понял, что надо спешить, надо торопиться, иначе все рухнет.

Святой Старец, протянув руку, показал перстом на врата Святой Обители:

— Ты думаешь, они кому-нибудь принесли счастье?

Хмурый Пастырь сказал:

— Я не ищу счастья, отец, я ищу чистоты.

— Чистоты ищешь? Да ведь ты слеп! Как ты можешь увидеть, что чистое?

— Я вижу тебя, отец.

— Ты слеп и жалок! — Святой Старец вскочил с проворством, не подобающим его летам. — В глупом старике, загубившем жизнь свою, ты зришь чистоту, а не зришь этих гор, этого леса, этого солнца! Несчастный! Господь дал тебе два глаза, а ты живешь слепым и умрешь слепым! — Святой Старец зашнулся. — Умрешь? Да разве ты не мертвец? Ты мертвый! Мертвый! Мертвый! — И, выкрикивая это, Святой Старец побежал в сторону леса, будто не мог найти себе места, будто кто-то гнал Святого Старца.

Что это было? Уж не дьявол ли вселился в обличье Святого? Хмурый Пастырь понимал, что это не так, что старик, чьи глаза сверкали гневом и болью, который, приподняв руками длинный подол рубахи, с невероятной для его лет скоростью бежал в сторону леса, и есть сам Святой Старец, но Хмурый Пастырь понимал также и то, что нельзя думать об этом, надо спешить, чтобы побыстрее уйти из этого места.

Врата наконец отворились, и Хмурый Пастырь вошел.

В пустом, холодном и сыром храмовом помещении, чья высота уходила под купол, голову заломило от вони: всюду был помет диких голубей, всюду ворковали голуби. Когда глаза Хмурого Пастыря освоились с темнотой, он увидел диких голубей и изумился, как голуби проникли в храм? Поднял голову к высокому каменным сводам и увидел квадратное пятно света: с кровли Святой Обители, как с крыши обыкновенного старого здания, упал камень, и голуби, видимо, годами и десятилетиями проникали в эту брешь и вили себе гнезда.

Хмурый Пастырь направился к открытой двери левого придела, и, когда под ногами его ломалась и хрустела высохшая скорлупа голубиных яиц, волосы его шевелились, и Хмурому Пастырю казалось, что он топчет ногами только что вылупившихся птенцов.

Хмурый Пастырь знал от очевидцев, что в левом приделе слагались дары, жертвуемые Обители. Так оно и было. Хотя Хмурый Пастырь в свете, падающем из открытых врат и дыры в куполе, среди серебряных кувшинов и тазов, мешков с рисом и окаменевшим зерном, подков, паласов, одежды впервые в жизни увидел блеклое, тускло мерцающее платье, он сразу узнал его и, быстро взяв это платье, еще торопливей, чтобы поскорее избавиться от вони голубиного помета, от сырости, от запаха гниения, вышел из зала. Солнечный свет ослепил Хмурого Пастыря, он зажмурился и сам не заметил, как подумал, что, может быть, прав Святой Старец и он действительно слеп?

Тяжелые черные врата, скрипя, скрежеща, шелкая, как старые кости, медленно закрылись за Хмурым Пастырем, и скрип этих старых врат почему-то приободрил Хмурого Пастыря. Потом Хмурый Пастырь услышал смех и открыл глаза.

Святой Старец, выйдя из леса, сидел на большом валуне шагах в двадцати от врат Святой Обители и покатывался со смеху. У Хмурого Пастыря в который раз сегодня волосы зашевелились — Хмурому Пастырю показалось, будто не Святой Старец, а одряхлевший, обессилевший филин сидит на валуне.

Святой Старец, не сводя с Хмурого Пастыря сверкающих глаз, вытянул руку, указывая на него длинным перстом и, хохоча, приговаривал:

— Слепец, ищущий чистоты! Слепец!.. Дурак!..

Хмурый Пастырь сунул за пазуху взятое из Святой Обители платье и, крестясь, торопливо удалился.

Святой Старец, спрыгнув с валуна, стал кидать вслед Хмурому Пастырю попадавшиеся под руки камни, обломки веток, сосновые шишки.

Камни и шишки падали неподалеку от Хмурого Пастыря, но Хмурый Пастырь больше не оборачивался и уже не крестился, а, бегом миновав спуск, удалился от этого места, где что-то было не так.

Платье, сунутое Хмурым Пастырем за пазуху, было холодное, никак не согревалось, и Хмурого Пастыря бил озноб.

Играли музыканты, плясали танцовщицы, и самым счастливым человеком на свадебном торжестве был Сулейман-паша.

Махмуд твердил:

— Мне не нужно счастья, достигнутого насилем.

Сулейман-паша смеялся:

— Правильно, Меджидун забросал камнями войско Нофала, но Искендер, победив Дара, женился на Ровшанак!¹.

Глядя на арабскую красавицу, исполняющую перед ним танец живота, Сулейман-паша вспомнил этот разговор пятидневной давности и снова рассмеялся: Махмуд мог много говорить, мог возражать, но Сулейман-паша был человек, делающий то, что он хочет, и Сулейман-паше доставляло удовольствие вот так претворять в жизнь желаемое, быть сильным и властным.

Арабская красавица с искусством, достойным тавризовских и стамбульских дворцов, вращая животом, танцевала перед Сулейман-пашой, и Сулейман-паша, смеясь, показав ей палец, который украшал перстень с крупным изумрудом, на сидевшего чуть поодаль Махмуда.

— Женщи — не я, а о-о-он. Перед и-и-ним и танцуя.

Танцовщица понимала азербайджанский язык: строив глаза, она бросила на Сулейман-пашу лукавый взгляд и, танцуя, направилась к Махмуду.

Танец живота был чужд нравам, обычаям и быту азербайджанцев, был распространен только во дворцах, и танцовщицами всегда бывали аравитянки, их привозили из арабских стран. И эта красавица арабская девушка была из Магриба, и, как все невольницы, все танцовщицы Эрзерумского дворца, да и вообще все красавицы Эрзерума, была влюблена в Сулейман-пашу. Сулейман-паша знал, что в него влюблены все Эрзерумские девушки, и, конечно, Сулейман-паше было приятно, что в него все влюблены, но у Сулейман-паша не было времени в полной мере наслаждаться любовью, потому что все его помыслы, дела, поступки состояли в том, чтобы объединить всех тюрков земли и создать Великое Тюркское Государство, — он и во сне видел это. И во время переговоров с соседними правителями, и обходя в одежде нищего пядь за пядью всю подвластную ему землю Эрзерума, и на полях сражений Сулейман-паша преследовал только эту цель, и, в сущности, жил во имя этой цели. Сулейман-паша мечтал о больших, о мировых войнах, желал владеть всем миром, хотел, чтобы ему подчинились все народы земли — от арабов до англичан, от китайцев до греков, и хотя, сокращаясь всем сердцем, Сулейман-паша понимал и видел, как ограничены его возможности в сравнении с желаниями, все равно он делал, что мог, а главное — во все это искренне верил. Когда он высказывал заветную мысль Махмуду, которого доставили во дворец, Махмуд внимательно выслушал его, а потом спросил:

— Но почему все другие народы должны сказать нам «да»?

Сулейман мгновенно нашелся:

— А разве п-прежде, чем создать людей, Аллах не собрал их д-души и не спросил, п-п-признают ли они его Б-богом, и они не ответили: «д-да-да»?

Конечно, это было сказано полшутя, а настоящий ответ Сулейман-паша намеревался дать в книге, которую писал по ночам, при свечах. Эта книга должна была стать кораном для всех тюрков, независимо от племени и страны, будь то огузы или кыпчаки. Нет, Сулейман не претендовал на то, чтобы быть пророком: последним пророком был Мухаммед, а Сулейман был верующим мусульманином, но до мусульманства Сулейман был азербайджанцем и хотел, чтобы таким, как он, были все существа на земле, говорившие на тюркских языках. Написанная Сулейманом книга будет жестокой книгой, и Сулейман знал это. Эта книга призвала кастрировать больных, сохранять чистоту крови, запрещала жить родившимся калекам, приговаривала к смерти сумасшедших, слабоумных, и он сам чувствовал, что это ужасно. Порой, лежа ночью один, он представлял себе, что убогий родился его собственный ребенок и он должен распорядиться убить своего ребенка; но величие подлинного тюрка должно было заключаться в том, чтобы во имя блага нации он был в силах отрезать часть своего тела.

Когда Сулейман и Махмуд встретились среди Шатунов, Сулейман, глядя на Махмуда, думал, каким должно быть потомство от этого красивого юноши, совсем еще мальчика. И должно ли оно быть. Сулейман чувствовал, что этот юноша образован, умен, но совершенно ясно было и то, что он был слаб духом, горемычен, беспомощен, а у слабого и сын будет слаб и не сможет возвыситься, возвеличить свой край, землю, нацию с мечом в руках, и ум не придет к нему на помощь: ум понадобится через сто лет, через двести лет, когда меч уже сделает свое дело: пока же силой меча можно заставить служить себе ум других.

Махмуд, войдя во дворец и увидев Сулейман-пашу, сразу же вспомнил разговор о книгах и, указывая на груды книг перед Сулейманом, спросил:

— А эти книги?

Сулейман сказал:

— Их сожгу.

Махмуд увидел среди книг «Гюлистан» Саади и прочитал наизусть строчку из «Гюлистана»:

— Все люди органы одного тела...

Сулейман понял смысл слов Махмуда, лицо его побелело как мел, резким движением руки он хлопнул по переплетенному в джефранью кожу «Гюлистану» и с трудом вымолвил:

— С н-н-нее первой и на-на-начну!

В больших голубых глазах Махмуда было такое выражение, которое откровенно говорило о прямо противоположном тому, что задумал Сулейман-паша, и это выражение чуть было не поколебало сердце Сулеймана...

Сулейман чувствовал в Махмуде, который был по крайней мере на десять лет моложе его, али-этхарлыг — дитя столь же невинное, как дети пророка, и это чувство гасило гнев против Махмуда, не позволяло быть жестоким...

¹ Имеется в виду Александр Македонский, который после победы над Дарием III женился на его дочери Роксане.

...Придет время, и через девятнадцать лет после этого свадебного торжества Сулейман-паша, истративший жизнь в мелких схватках, в последней мелкой схватке будет предан и смертельно ранен, и даже самые близкие ему люди, уставшие от бесконечных мелких войн, от изводящих их пустых мыслей и слов, от столкновений, от стычек во имя этих пустых мыслей и слов, уйдут с поля боя, оставив там безвременю состарившегося, прошедшего жизнь на коне Сулеймана, а леги павшицы на окровавленной земле, Сулейман перед тем, как потерять сознание, увидит в окутавшей мир голубой пустоте давно забытые голубые глаза и выражение тех больших голубых глаз; Сулейман не сможет вспомнить, чьи они, эти глаза, но большие голубые глаза в голубой пустоте будут смотреть на него с недоступной ему чистотой и невинностью, и внезапно обрушившийся ливень захлещет по его лицу, по глазам, принесет прохладу пылающему огнем телу, и в прохладе, в голубой пустоте улыбка больших голубых глаз, смотрящих с недоступной ему чистотой и невинностью, скажет о зря прожитой жизни Сулеймана, о напрасно пролитой крови, и Сулейман улыбнется: поздно уже, все кончено; потом улыбка застынет на лице Сулеймана, и ливень будет хлестать открытые глаза Сулеймана, застывшее его лицо, застывшую на лице улыбку...

...Магрибская девушка кружилась, изгибаясь каждой частичкой своего красивого обнаженного тела, и когда она кружилась быстрой, длинные косы ее, взметнувшись в воздухе, описывали дугу.

У Сулеймана все танцовщицы, служанки, невольницы были арави-тянки, армянки, эфиопки, иудейки, потому что Сулейман считал, что свои должны растить и воспитывать сыновей, с молоком своим прививать детям почтение и любовь к их древней и славной истории, ибо без этого нет нации и завтрашнего дня нации.

Сулейман посмотрел на Махмуда и снова улыбнулся.

Сначала, когда Сулейман-паша узнал, в чем горе Махмуда, он рассмеялся про себя, потому что горе Махмуда рядом с мыслями, с заботами Сулеймана было столь мелким и бессмысленным, что хотя бы про себя не посмеяться было невозможно.

Сулейман в течение всего лишь одной ночи велел разыскать Хмурого Пастыря, доставить его с дочерью во дворец и теперь устраивал свадьбу Махмуда с дочкой священника. Для Сулеймана не имело значения, что Махмуд — сын гянджинского Зияд-хана: Зияд-хан не ответил на письмо Сулеймана, на его призыв, жил только интересами своей маленькой земли, да к тому же был свергнут и убит; но Махмуд, независимо от того, гянджинский он был или тавризский, эрзерумский, нахичеванский, дербентский, даже крымский, или самаркандский, или стамбульский, был свой, и в эту минуту Сулейман смотрел на Махмуда как на собственное творение, потому что Сулейману казалось, что в этом коварном и путаном мире он осчастливил хотя одного своего.

Потом Сулейман посмотрел в сторону сидевшей за кисейной занавесью, в противоположном конце зала, невесты. Попова дочка смотрела в пол, лицо ее было бледно, но свадебный наряд сверкал и переливался от драгоценностей, украшений, золотого и серебряного узо-

рочья. Сулейман в своей книге категорически запретил тюркским девушкам выходить замуж за представителей другой расы, причем не только за христиан, иудеев, буддистов, но и за арабов и персов, которые были мусульманами, но мужчинам разрешал жениться на женщинах другой расы — это пока было нужно для роста народонаселения. Однако невесты Сулеймана беспокоило другое: в мерцании свадебного платья тень, застегнутого на четыре пуговицы, он чувствовал что-то неестественное и Сулейман с нескрываемой злобой посмотрел на отца девушки.

Хмурый Пастырь отводил глаза от глаз Сулеймана. Он не был трусом, но взгляд этого сумасшедшего пашы вызывал озноб, а кроме того, Хмурый Пастырь боялся не только взгляда этого нечестивца с окровавленными руками. Дело было в том, что Хмурый Пастырь, как ни старался, не мог удержаться и время от времени взглядывал на Махмуда. Святой Старец назвал Хмурого Пастыря сленцом, но Хмурый Пастырь видел в этом мусульманском отродье такую чистоту, что ему было страшно, потому что чистота не уменьшала ненависти и отвращения в его груди, напротив, умножала стократно: он должен был быть счастливцем и насильником, этот отпрыск мусульманского хана, в его глазах не должно быть чистоты.

Дворец Сулейман-пашы был ничто в сравнении с такими же дворцами соседних правителей, даже калантаров; но Хмурый Пастырь ненавидел всей душой каждую блестящую деталь даже в этом простом дворце, звучащую здесь музыку, эту танцовщицу, изгибающую свое обнаженное тело — жертву страстей, жирные блюда, расставленные на полу, на большой ковровой скатерти, разлитый в чаши желтый шафрановый шербет, даже аккуратно разложенные в хрустальных вазах крупные ярко-красные яблоки, янтарные гроздья винограда, каждая ягода которого была чуть ли не с большой палец, распространяющие вокруг аромат спелые груши, не уместающиеся на ладони персики, налитая соком хурма — все в этот миг казалось Хмурому Пастырю отвратительным. Хмурому Пастырю казалось, что от мягкого тюфячка, на котором он сидел, подогнув колени, от сладкой музыки, от приветливых лиц, от теплого ароматного воздуха он весь в грязи, он покрыт липкой грязью, и чтобы очиститься от этой грязи, мало три дня и три ночи мыться в реке. Однако за отвращением, злобой и страхом в сердце Хмурого Пастыря таилась покой. Платье, принесенное из Святой Обители, сняло как солнце.

Противнув Мариам это блеклое, тускло мерцающее платье, Хмурый Пастырь сказал:

— Свадебное платье.

Мариам удивленно посмотрела на это старое платье, вынутое отцом из-за паузы, и Хмурый Пастырь впервые в жизни солгал:

— Осталось от мамы.

Хмурый Пастырь сам испугался этой внезапной, непредумышленной произнесенной лжи: от этой лжи исходил могильный запах, и Хмурому Пастырю стало страшно, что вновь он услышит тот родной, ласковый голос.

Но голос больше не звучал.

Мариам ничего не спросила у отца, и эти четыре слова Хмурого Пастыря были последними.

И без того с тех пор, как они ушли из Гянджи, Мариам с Хмурым Пастырем, хоть и были все время вместе, говорили очень мало, а в эрзерумском дворце вообще не разговаривали: все говорили их глаза.

Когда Мариам надела оставшееся от матери скромное, тускло мерцающее платье на четырех пуговицах, это платье переменилось на глазах: засияло тысячами красок, стало самым прекрасным свадебным платьем на свете; оно облекло стан Мариам, точно спитое было для нее, но Мариам чувствовала в нем смутный, непонятный холод. Может быть, ощущение холода возникло оттого, что Мариам ждала от платья, оставшегося от матери, ласки, которой она никогда не видела, но по которой всегда тосковала, а платье было тяжелое, неласковое?

Сидя за кисейной занавесью и ожидая, когда закончится свадьба, Мариам всем телом ощущала этот холод и понимала, что холод исходит от свадебного платья; как будто она надела на голое тело платье, опущенное в прорубь, задубевшее на морозе и ставшее скользким, как змеиная кожа.

Мариам чувствовала, видела, понимала, как страдает отец с той ночи, как они вышли из Гянджи, и в течение всего их долгого бегства. Хмурый Пастырь ничего не говорил, но Мариам знала все и понимала, что все эти страдания из-за нее; разумом она это понимала, разумом горевала, но сердце заставить горевать было невозможно, сердце не слушалось. Мариам знала, что отчае ее, как тисками, сдавила не только любовь Махмуда, но и то, что его любовь нашла отклик в сердце Мариам, но сердце невозможно было заставить не любить, сердце не слушалось, и Мариам ничего не могла поделать.

Как хорошо, что сердце нельзя заставить.

Как хорошо, что сердце не слушалось.

В течение этого затяжного бегства Мариам сто раз мечтала умереть. Мариам знала, что так нельзя, что это — грех, но Мариам и без того погрязла в грехе, и при виде всегда задумчивого и молчаливого отца ощущение греховности сто раз на дню убивало и воскрешало Мариам.

И пляска танцовщицы, и звуки музыки истаявали и исчезали в ледяном холоде, охватившем тело Мариам, и, охваченная этим ледяным холодом, Мариам посмотрела на отца и увидела в глазах отца новорожденность, но за ней угадывались давно не виденное спокойствие, умиротворенность, и почему-то его спокойствие и умиротворенность вонзились в тело Мариам ледяными иголками, вызвали у нее еще большую дрожь.

Мариам посмотрела сквозь тюлевую занавеску на Махмуда и в тот же миг поняла, что, хотя в течение этого долгого бегства сто раз желала смерти, она не хотела умирать и все это время не только сердцем, но и телом своим стремилась к Махмуду. Жар этого чувства, пробившись сквозь ледяной холод, согрел Мариам, и тут глаза Мариам встретились с глазами отца, глядящими на нее из-под широких жестких бровей, и Мариам ощутила, что, несмотря на ледяной холод платья, лицо ее запылало.

Танцовщица больше не плясала, она села рядом с девушками, обжавшими Сулейман-пашу опакалами из павлиньих перьев, и, глубоко дыша, удовлетворенно улыбалась.

Трос музыкантов, играющих на сазе, кеманче и свирели, перешли к мугаму, и старый певец, армянин, принявший мусульманство и ходивший в мечеть, Кербелан Уста Арсен, идущим из самого сердца чистым голосом запел совсем недавно распространившуюся газель Шаха Исмаила Хатаи:

Будь уверен, что Богу принадлежит Хатаи,
Мухаммеду Мустафе принадлежит Хатаи,
Суфию Джушеде, сыну Гейдара,
Алияру Муртузе принадлежит Хатаи,
Из любви к Гасану явился на свет,
Гусейну-Кербелан принадлежит Хатаи,
Али-Зейналабдину, Багиру, Джафару,
Мусан-Кязыму, Рае принадлежит Хатаи,
Мухаммеду Таги, Али-Аннаги также,
Гасан-Аскеру принадлежит Хатаи...

По мере того, как Кербелан Уста Арсен четко и ясно выпевал священные имена, глаза Сулейман-пашин начинали наливаются кровью. Кербелан Уста Арсен был единственным иноплемеником, которого Сулейман-паша терпел при дворе за прекрасный голос и искусство; к тому же певец, после того как принял мусульманство, стал самым набожным рабом Аллаха: совершал намаз, постился, ходил в Кербелу, где посетил могилу имама Гусейна, из заработанного на празднествах всегда платил закят, перестал пить вино, ровно тридцать два года не ел свинины и даже во время свадеб учулач минуту, чтобы пропеть на мелодию мугамат духовные стихи, такие же, как эта газель Хатаи о двенадцати имамах.

Кербелан Уста Арсен за свою шестидесятивосьмилетнюю жизнь распорядился многими торжествами и отлично разбирался в настроениях пирующих. И на этот раз, увидев мечущиеся глаза Сулейман-пашы, он понял, что у этого бесноватого, который ни с чем не считался, приближается приступ бешенства и это вызвано пением Кербелан Уста Арсена. Сердце старого певца заколотилось, он не знал, что ему делать, и тут Сулейман-паша сам пришел на помощь Кербелан Уста Арсену: нетерпеливым движением руки дал знать мудрому певцу, мол, переходи на другую мелодию, и, воодушевленный столь легким избавлением от беды, Кербелан Уста Арсен, не кончив газели, мастерски перешел на другую песню — стал петь самую любимую этим безумным пашой песню «Сары бюльбюль» — «Желтый соловей» и заливался соловьем так, будто ему было не шестьдесят восемь, а пятнадцать лет.

Сулейман-паша с трудом удержался, чтобы не нарушить торжество, но этот старик так искусно сменил мелодию, что никто ничего не понял. Когда певец исполнял газель Хатаи, Сулейман думал, что, если глава государства пишет такое, чего ждать от простонародья? Он слушал слова Хатаи, думал о них и сходил с ума от мысли, что, если так пойдет дальше, в конце концов шинитство и вообще мусульманство сменит само имя нации...

Соловьиные трели старого певца вернули Сулейману прежнее настроение. Хорошо, что он удержался и не прервал слов Хатаи. Если бы Сулейман, прервав эти безнациональные мусульманские вопли, плюнул старому певцу в лицо и пинком в зад прогнал с пиришества, шпионы Шаха Исманла, которые были везде и, несомненно, на этом свадебном торжестве тоже, через каких-нибудь два дня донесли бы шаху: Султан Салим разбил тебя в Чалдыране, захватив Тавриз, и теперь Сулейман-паша Эрзерумский на пиру обрывает посередине твою благочестивую газель... А подобное истолкование Сулейман-паша считал бы ниже своего достоинства.

Кербелан Уста Арсен, прочистив горло, подражал соловью, и соловьиные трели Кербелан Уста Арсена как будто навели в залу луговой аромат, и тут еще слуги подожили благовоиную траву узерлик и направили дымок в сторону пирующих; и дым узерлик словно унес все заботы и напомнил о пении птиц, об изумрудной зелени лесов, о чистоте родников в преходающем мире, но в этой изумрудной зелени, в этой родниковой чистоте было что-то искусственное, как будто все это было сделано из стекла, изящно, красиво и безжизненно.

Сулейман снова взглянул на Махмуда и улыбнулся: безумная любовь существует, оказывается, не только в создании поэтов...

Сулейман захотел осчастливить этого юнца, который не признает насильственного счастья, — Сулейман снова улыбнулся, — и осчастливил.

Махмуд заметил улыбку и вдруг пожалел Сулеймана — почему? — он и сам не знал. Махмуд уже несколько дней испытывал в душе какое-то непростое чувство к этому человеку и теперь понял, что это чувство жалости; во всем существе, в самой природе Сулеймана были острота и холод меча, но, несмотря на это — а может быть, как раз поэтому, — Махмуду было жаль этого человека.

Потом Махмуд подумал, а сам-то он кто?

Мариам сидела прямо напротив за кисейной занавесью, и когда это пиришество окончится, Мариам будет принадлежать Махмуду, они не будут никого бояться, ни от кого бежать, день и ночь будут вместе, у них будут дети, и этих детей Мариам будет кормить белейшим молоком своей груди, и разве все это — не самое большое счастье на свете? Но если все это было самое большое счастье на свете, почему же Махмуд не был счастлив, и почему перед глазами Махмуда вдруг оказался Мужчина в Красной Юбке? Ведь все достигнуто, мучительное странствие окончено, Мариам дышит с ним одним воздухом, и между ними нет никакого препятствия, никакой преграды, кроме этой кисейной занавеси, которую сам же он вскоре отведет, и Мариам станет его, — и почему же теперь он думает не об этом, не о Мариам, а думает о Мужчине в Красной Юбке?

Во время первой встречи во дворце Сулейман-паша, изумившись неведением Махмуда, прямо в глаза сказал ему, что Зияд-хан убил, его место занял ставленник Султана Салима Баяндур-бек, и еще больше изумился, когда Махмуд довольно спокойно встретил страшную весть, но Сулейман-паша не знал, что такое же изумление охватило и самого

Махмуда: Махмуд изумился своему безразлично и в течение всех следующих дней Махмуда огорчал гнет этого безразличия.

Махмуд хотел думать об отце, но перед его глазами появлялся несчастный старик, убитый Шатунами за то, что не вовремя пожалел палан, и Махмуд хотел придать лицу этого несчастного старика черты отца, хотел увидеть вместо него отца и некоторое время видел, но потом это видение сменялось зрелищем тысяч черепов, чьи глаза были выклеваны воронами и коршунами, и Махмуд явно видел эту пирамиду голов на Чалдыранской равнине. Те, кому некогда принадлежали черепа, тоже были людьми, и у этих людей были сердечные радости, были горести, были дети, были родители, эти люди тоже жили под небом, видели солнце, луну, звезды.

Махмуд хотел думать о матери, но перед его глазами появлялась та, что была среди Шатунов, закатывающаяся от хохота несчастная старуха с единственным белешим зубом во рту, и Махмуд, хотя всем разумом своим и не хотел так думать, но все же думал, что, если мать его и пострадала, то хуже, чем той старухе, ей не будет...

Это безразличие мучило Махмуда; мир стал совершенно бесцветным и безысходным.

Кербелан Уста Арсен вывел последнюю руганду, поклонился публике, музыканты тоже смолкли, и Сулейман-паша, улыбаясь, посмотрел в сторону двери, через которую входили и выходили слуги, и тут в несе с шумом, с пляской вбежали Безбородый, Козел и Безволосый.

Сулейман-паша не держал при дворе шутов, поскольку полагал, что когда азербайджанец, надев на голову шутовской колпак, куврякнется перед людьми, он, в сущности, унижает свой народ. Сулейману доставляли удовольствие не шуты, а древние народные игры, а если они Сулейману доставляли удовольствие, значит, так тому и быть.

Безбородый прилепил к подбородку кусок белого ситца, на голову надел островерхую шапку, на плечи — вывернутую наизнанку шубу, подпоясался красным кушаком, а с кушака свисали пустой мешок, пустой казан и половник. Тот, кто избражал Безбородого, пнул тоненьким голоском и, чтобы казаться толще, под шубой привязывал к животу подушку.

Завернувшийся в белую шкуру Козел подвесил длинную бороду, прилепил ко лбу два длинных рога и промежуток между рогами заполнил свежей травой; на шею у него висел бубенчик, и, когда этот долговязый человек, согнувшись как козел, прыгал и скакал, звон бубенчика заглушал все вокруг.

Голову Безволосого обтягивал бараний желудок, повсрх желудка красовалась дырявая папаха, одежда была в лохмотьях: он то и дело совал в нос нюхательный табак и чихал, лицо было в мучке, а с шеи свисала тыква.

Безбородый сказал:

— Я зима, сын зимы, что мне делать?

Козел, приплясывая, сказал:

— Мои дела хороши, я — весна и тем доволен!

Безволосый удивленно спросил:

— А я кто?

Козел рассмеялся:

— Тыква!

И Безволосый рассмеялся, и Безбородый рассмеялся, и все собравшиеся рассмеялись, и Махмуд рассмеялся, и Мариам рассмеялась.

Безволосый сочувственно спросил:

— Брат мой безбородый, миляга Безбородый, отчего ты плачешь?

Безбородый, вытирая слезы, сказал:

— Покажите мне надежное место.

Козел спросил:

— Зачем тебе?

Безбородый сказал:

— Я жену спрячу!

Безволосый быстро спросил:

— У тебя жена молодая?

Безбородый, плача, сказал:

— Ага!

Козел спросил:

— Красивая?

Безбородый, плача, сказал:

— А зачем же я ее спрячу?

Безволосый закричал:

— Знаю место!

Безбородый спросил:

— Где?

Безволосый сказал:

— У нас в доме!

Безволосый так произнес эти слова и Безбородый так опешил, что все собравшиеся от седобородых до чернобородых рассмеялись этой простой крестьянской шутке; от души рассмеялись и Махмуд с Мариам.

Безбородый выступил вперед и, приплясывая, произнес:

Что-то ты уж слишком прост,
Борода — собачий хвост!
Безбородый шутку ценит,
Соберет он урожай
И тебя, беднягу, женит,
Кого хочешь, выбирай!

Безволосый провел рукой по выпуклому животу Безбородого и всей грудью выдохнул «ого!»; собравшиеся снова рассмеялись, а Козел, выставив вперед рога, сказал:

Наш Плешивый, право слово,
Сел верхом на домового,
Съездит к бабке-повитухе
С безволосиком во брюхе.
Он рожать всегда готов...

Безволосый прервал Козла и громко выкрикнул:

В казане кипит мой плов!..

Выкрикнув это, Безволосый выхватил из руки Сулейман-паши горсть плова, который тот взял с тарелки, поднес ко рту и сунул себе в рот. Сулейман сначала сам удивился такой невероятной смелости Безволосого, но замешательство быстро прошло, и Сулейман-пашу обуял смех.

И все гости смеялись, и Махмуд с Мариам смеялись.

Насмеявшись, Махмуд почувствовал, что все это время тело его, сердце его, все существо его тосковало, оказывается, по такому смеху, тосковало по такой простой и несприятельной шутке, и пока он смеялся, на сердце становилось все легче и легче.

Безбородый, Козел и Безволосый будто внесли в застойный аромат, сверканье драгоценных камней на пальцах, в яства на расстеленной на полу широкой скатерти, в эту ханскую свадьбу дух земли, будто открыли широкие, годами не открывавшиеся окна, и ты оказался прямо против свежевспаханной земли и полной грудью вдохнул простор, свежесть, плодородие этой свежевспаханной земли.

Махмуд почувствовал себя счастливым и посмотрел на Мариам.

Мариам показалось, что они снова бродят по соломенно-желтой равнине, и соломенно-желтая равнина снова пахнет ярко-зеленой свежей весенней травой; потом соломенная желтизна и весенняя зелень смешались, и это желто-зеленое было словно сиянием желто-зеленого солнца, и желто-зеленая радость этого сияния слепила глаза.

Махмуд снова ощутил аромат тендырского чурека, который обжег его в детстве, и жар горячего хлеба согрел его душу. А если в мире был такой аромат и если в мире был жар свежего хлеба, можно ли было о них забывать и должен ли был человек грустить?

Как ответил тот старик? Махмуд тогда спросил у старика, как это грудь его не разорвется от горя? Что сказал старик? А, старик сказал так: «Ты всюду видишь горе, нищешь горя, а я вижу и вон те горы, вижу и эти травы, цветы, вижу и эту речку...» Так он сказал...

Внезапно Мариам вспомнилась их дом в Гяндже, Мариам вспомнилась Белая Коза, вспомнились соседи и весь день скакавшие на улице ребятишки, она увидела по одному лицу всех этих детей, и всю ее заполнила радость, будто сейчас канун Пасхи и Мариам разрисовывает яйца, и жар этих яиц будто обжег ей ладони, и Мариам показалось, что она, сидя перед горячей, потрескавшейся печкой, согревает замерзшие пальцы рук и ног, и жар огня растапливает лед платя на ней.

Странно, согретый жаром горячего хлеба, Махмуд увидел свою маму и только теперь понял, какая она красивая; как будто первый слой лица Гамарбану растаял и исчез в идущем от хлеба тепле, а вместе с ним исчезли и преждевременная старость, и заботы, и злое возбуждение, и Махмуд увидел никогда не виданное им подлинное лицо матери: это было обычное женское лицо, оно хотело радоваться, любить и быть любимым, хотело жить, и в его обычности была самая близкая на свете красота; а если на свете была такая красота и в этой красоте было нечто родное и близкое, почему тогда человек должен был искать сложности? В один прекрасный день человек поймет, что сознательно или нет, но он всю жизнь искал сложность, во всем видел сложность,

а самая большая мудрость, оказывается, была в простом и обычном; а если в обычности мира сего таится счастье, тогда непременно, непременно и Шатуны найдут горстку света, ибо эта горстка света — а больше и не нужно вовсе! — находится не за железными воротами, охраняемыми девами, — ее не надо там искать; эта горстка света на каждом шагу, всюду, во всем на земле.

После простодушных шуток Безбородого, Козла и Безволосого Сулейман-паша был вполне доволен собой и миром. Все еще улыбаясь, Сулейман посмотрел на магрибскую танцовщицу, сидевшую рядом с дворцовыми служанками и невольницами, и подумал, что после свадьбы вызовет к себе эту красавицу, проведет с нею ночь, осчастливит и эту красивую девочку. Сулейман-паша был сегодня как Хызр-Ильяс: всем раздавал радость...

Снова заиграл саз, зазвучала кеманча, заговорила свирель, и Кербелан Уста Арсен, отдохнувший и повеселевший после шуток Безбородого, Козла и Безволосого, начал петь мелодию «Шур», и голос, и глубокое дыхание старого певца в ту ночь нашли путь к сердцам всех собравшихся на пиршество.

Всех, кроме Хмурого Пастыря.

За все время пиршества у Хмурого Пастыря даже губы не разомкнулись.

В улыбке на лице дочери Хмурый Пастырь увидел приметку счастья, и это больше всего потрясло Хмурого Пастыря: если грязь безбожия, прикинувшись простотой и человечностью, не постыдилась обмануть и смогла обмануть чистоту Мариама, какое лицемерие могло быть больше этого? Почему пиршество, украшением которого были песни мошенника и отступника, отказавшегося от веры Христовой и заслуживающего быть живьем сожженным на костре, — это свадебный пир его единственной дочери? Почему, почему, почему это должно было выпасть на долю ему, за какой грех? За какой грех его единственная дочь должна была чувствовать себя счастливой в этой грязи?

Хмурый Пастырь искал грех; да разве сами эти вопросы не были грехом? О, туго натянута под пальцами отступника были не струны сазы, вызывающего алчную похоть, а все выдерживающие, выдерживающие, выдерживающие нервы Хмурого Пастыря. Но осталось немного, и все это кончится: ведь есть предел и страданиям... Сияющее как солнце платье спасет Мариама, оно не даст, чтобы рука нечестивца коснулась тела Мариама.

А что будет потом?

Хмурый Пастырь вздрогнул.

А потом?

Почему Хмурый Пастырь не задумался над этим простым вопросом: а что будет потом?

Но, во всяком случае, рука нечестивца не коснется Мариама, и, в сущности, в этом и будет счастье Мариама. Мариама потом его поймет. Все будет хорошо...

Будет хорошо...

А почему должно быть плохо? Не довольно ли столько мук и страданий?

Но у Хмурого Пастыря откуда-то изнутри поднимался страх, страх дурного предчувствия, и Хмурый Пастырь хотел задунуть этот страх, этот ужас, потому что он призывал Хмурого Пастыря снять с дочери это платье, разорвать, растоптать, выбросить. В этом тайном страхе пряталось и горчайшее сожаление, сожаление о том, что уже поздно, он никогда не сможет снять с Мариама это платье, не сможет разорвать и растоптать, ибо платье расстегнется и упадет только перед тем сыном апостольской церкви, который когда-нибудь — о когда же, когда? — станет судьбой Мариама...

Хмурый Пастырь изо всех сил стиснул челюсти, пытаясь задунуть поднимающийся изнутри страх, и не давал своему сердцу развалиться, высочить, закричать...

Кербелан Уста Арсен перешел к цыгу «Шур» и с юношеским задором вновь запел слова Хатаи, но это были иные слова:

Любовь моя, немолчная тревога,
Все пред тобой ничтожно и убого,

И молим мы всевидящего Бога:
Да здравствует любовное свиданье...

Эти слова Хатаи еще больше ублажили Сулеймана, и Сулейман посмотрел на сидевшего в дальней части пиршества главного свуха Хаджи Аллахкерима, а потом на танцовщицу. Магрибская красавица все прочла во взгляде Сулеймана, и, лишь однажды опустив и подняв веки и длинные ресницы, высказала все слова своего влюбленного сердца, все чувства, теснящиеся в груди, не ущемляющейся в вытканый стамбульскими позументчиками, обшитый золочеными галунами лиф, и сверкающими черными глазами метнула стрелу, а потом, будто сама устыдившись такой откровенности своей страсти, отвела глаза от Сулеймана.

Уменьши груз — невольник не потянет,
Рейхан — не роза, запахом не манит,
Что все богатства, если нас не станет?
Да здравствует любовное свиданье...

Кербелан Уста Арсен, воодушевляясь произносимыми им же самим словами, запел еще прекрасное...

...Кучевые облака плыли с востока на запад, и луна и звезды иногда показывались из-за облаков, а потом снова скрывались, но разливающееся в эти промежутки ясное сияние, проходя сквозь небольшие окна, заполняло спальню, и тогда Мариама яснее видела большие голубые глаза, и что-то несказанно родное в бледном лице разливалось теплом по всему телу Мариама, и влекло к себе, и притягивало.

Они стояли, обнявшись, посреди комнаты, и Махмуд всей грудью чувствовал биение сердца Мариама, прильнувшей к нему, и Махмуду казалось, что, в сущности, это его собственное сердце, это его сердце бьется в его собственной груди, и Махмуд расстегнул верхнюю из четырех пуговиц на платье Мариама и провел губами по щеке Мариама, молочно белеющей в заполняющем время от времени спальню ясном сиянии. Потом Махмуд расстегнул вторую пуговицу на платье Мариама.

В этот миг для Мариам не было на свете ничего, кроме близости этих губ, бродящих по ее шее, по ее груди, и все тело Мариам было во власти этих губ; тепло, идущее от этих губ, от пальцев, от дыхания Махмуда, окутывало Мариам, и Мариам казалось, что она входит в это теплое облако, как в материнское лоно.

Махмуд расстегнул третью пуговицу платья на Мариам и провел губами между грудой Мариам, потерял лицом о грудь Мариам, словно на этой груди в теплой ложбинке хотел спрятаться от всего мира.

Мариам, захватив пальцами светлые волосы Махмуда, прижимала к своей груди его лицо, лоб, и учащенное горячее дыхание, и тепло больших голубых глаз обжигали грудь Мариам и все ее существо.

Махмуд расстегнул последнюю из четырех пуговиц на платье Мариам, и вынуженные груди Мариам выскочили из платья наружу, и в этот миг произошло то, что потом знали во всем Азербайджане от Мараги до Дербента, от Баку до Эрзерума: четыре пуговицы платья Мариам сами собой застегнулись одна за другой и снова скрыли тело Мариам.

Махмуд почувствовал в этом платье, вновь застегнутом на Мариам, змеиный холодок, а Мариам снова начала дрожать в этом платье; Махмуд снова расстегнул пуговицы на платье Мариам стынущими от ледяного холода пальцами, и как только была расстегнута последняя, пуговицы снова застегнулись одна за другой сами по себе.

— Порви! Порви! Порви это платье! — кричала Мариам, и Махмуд попытался разорвать ворот этого платья, но платье, уже утратившее свой парадный блеск и тускло мерцающее, не поддавалось, как ни силился Махмуд, как ни дергалась Мариам; платье не поддавалось, и Мариам почувствовала, что в ночной темноте кто-то закрывает ей рот, не дает крикнуть, но Мариам с трудом, противясь всем своим существом, высвобождалась и кричала: — Спаси меня! Спаси меня! Спаси меня! — Но Махмуд не мог спасти Мариам, бьющуюся у него в руках, как холодная рыба; и Махмуд на мгновение вместо ясного сияния луны и звезд увидел заполнивший комнату смех Шатунов, увидел улыбки Шатунов, и в их смехе, в их улыбках увидел безысходность этого безумного мира, и из груди Махмуда вырвался вздох, и этот вздох превратился в комок огня, и Махмуд понял, что горит.

Пламя охватило одежду, волосы Махмуда.

Мариам сначала не поняла, что за факел запылал вдруг перед ее глазами, потом поняла, что Махмуд горит, и бросилась на этот горящий факел, обняла этот горящий факел голыми руками, прижала к своей груди и сама тоже загорелась, и запылала, и наконец ледяной холод покинул ее тело, и Мариам почувствовала дивное тепло...

...Хмурий Пастырь, стоя в ночной темноте под большим тутовым деревом, устремил взгляд на едва различимое во мраке маленькое двойное окошко спальни, отведенной Сулейман-пашой для Мариам и Махмуда, и ждал. Хмурому Пастырю казалось, что вот сейчас с силой распахнутся ворота дворца и виновник всех его страданий — окаянный сын Зияд-хана — как безумный убежит прочь; его прогонит дыхание Святой Обители, прогонит десница Господня, протянутая в роковой час ему, Хмурому Пастырю, и Господь вернет в лоно церкви своей рабу свою Мариам; но вдруг Хмурий Пастырь увидел вспыхнувший

в том двойном окне огонь, потом поднялся переполох, потом языки пламени вырвались из окон в ночную мглу...

...Главный свнух Хаджи Аллахкерим, неожиданно войдя в опочивальню Сулейман-паши, закричал: — Пожар! Пожар! — И Сулейман, взглядев при свете горящих свечей на вытаращенные от страха глаза свнуха, оттолкнул пригравшюся в его объятиях магрибскую красавицу и вскочил на ноги.

Всюду разносился запах горячей человеческой плоти, и, пока слуги принесли воду, двойной факел полностью выгорел, превратился в горсть пепла, и слуги с трудом потушили пожар, занявшийся от этого двойного факела...

...Кучевые облака все плыли и плыли с востока на запад, временами вокруг вращалось ясное сияние, и в этой то проясняющейся, то темнеющей ночи Хмурий Пастырь бежал что было сил и, закинув голову к небу, что было сил кричал:

— Да будет воля Твоя!.. Да будет воля Твоя!.. Да будет воля Твоя!..

Хмурий Пастырь кричал, не останавливаясь, потому что боялся Хмурий Пастырь, боялся, что, если перестанет выкрикивать это, с уст его сорвутся другие слова.

Хмурий Пастырь боялся, что отвергнет Бога, сорвет крест, висящий на шее, и он торопился, бежал что было сил, не давая себе возможности сделать это:

— Да будет воля Твоя!.. Да будет воля Твоя!.. Да будет воля Твоя!..

Хмурий Пастырь бежал, заданная за кусты и деревья, и вдруг увидел в окрестной тьме комы серебристой белизны, и Хмурому Пастырю показалось, что верхушки деревьев побелели, листья поседели.

Впереди смутно различались отвесные утесы Эрзерумских гор.

Хмурий Пастырь шагнул в пустоту, и, когда он камнем летел вниз головой, ему вдруг показалось, что Святой Старец стоит под обрывом, широко раскинув руки, манит его и приговаривает:

— Иди, глупец, иди!

Потом все кончилось.

...По приказу Сулейман-паши горсть пепла похоронили.

XVI

Наступал вечер.

Купы облаков, окрашенные заходящим солнцем в ярко-алый цвет, снова плыли с востока на запад: природа была все той же.

Небольшой караван из четырех верблюдов, выйдя из-за встречного холма, медленно продолжал свой путь. На переднем верблюде был закреплен черный паланкин, и под вечер, приподняв занавес, из него выглянула женщина, даже внутри паланкина не снявшая с лица киски.

В шестидесяти шагах стояла старая гробница, купол которой был вышесен извезью, и немощный старик, борода и волосы которого были такими же белыми, как этот купол, сидя на земле рядом с гробницей, смотрел в сторону каравана.

Женщина, вынув руку из паланкина, остановила караван и что-то сказала молодому слуге, тотчас же соскочившему со второго верблюда и подбежавшему к ней.

Слуга бегом приблизился к старику, что-то спросил, потом бегом вернулся и сказал:

— Это мюджевир¹ при гробнице, госпожа.

Женщина, высунув голову из паланкина, сказала вожатому каравана:

— Правь туда. — И вожатый, потянув верблюда за голову, направил ее к гробнице.

Женщина открыла в паланкине маленькую шкатулку и, вынув одну золотую монету, протянула молодому слуге. Слуга хотел положить золотой перед стариком, но старик, подняв глаза от земли, посмотрел на паланкин и покачал головой.

Женщина спросила:

— А чего ты хочешь?

Старик слабым голосом произнес:

— Хлеба.

Слуга вернул женщине золотой и побежал к другим верблюдам, чтобы принести хлеба.

Глаза старика показались женщине знакомыми, и женщина, подняв с лица кисею, пристально посмотрела на старика, но не узнала его.

Старик тоже не узнал эту женщину.

Слуга принес и положил рядом со стариком корзину с хлебом.

Женщина больше ничего не спрашивала у этого немощного старика: чья это гробница? кто ты сам? чего еще тебе нужно?

Караван тронулся в путь и вскоре скрылся из виду.

Старик, как обычно, остался один.

В черном паланкине была Джейран.

С того дня, как Джейран сбежала с конюхом Джафаром, прошло ровно тридцать семь лет.

В селе конюха Джафара — в прекрасном Талыстане, в горах — Джейран не выдержала больше трех месяцев; скучала, тосковала и в одну прекрасную ночь сбежала из Талыстана; торгуя своим телом, обольщая каждого встречного, снова разбогатела, стала госпожой, пробила к большим дворцам, прожила жизнь в свое удовольствие, и постепенно состарилась, и осталась одна, и теперь уже несколько лет жила лицом к лицу с этим одиночеством.

Двойной и тройной платой Джейран удерживала при себе молодых слуг, а большинство их были сельчанами, они в жизни еще не знали женщины. Джейран хотелось в сильных, молодых, здоровых объятиях спрятаться от своего одиночества и неприкаянности. Молодые слуги по утрам одевали Джейран, в полдень ее купали, вечером раздевали, но все это они проделывали в темноте, за плотно занавешенными дверьми и окнами, потому что Джейран не хотела, чтобы они видели ее дряблосое состарившееся тело, но молодые слуги и без того чувствовали под руками обмякшую, обвислую плоть и, едва выдавался случай,

сбегали. Джейран горячила им кровь сотнями способов и в сладострастной игре с ними пыталась бежать от самой себя.

Единственное светлое воспоминание Джейран было связано с возникающим иногда перед ее взором человеком с большими голубыми глазами, светлыми волосами, бледным лицом, но с годами и его светлый облик померк, годы иссушили и его, и он искошился, рассыпался, осталось только смутное, безликое, безымянное настроение.

Паланкины, в которых Джейран отправлялась в странствие, всегда были черными.

И старый мюджевир не узнал Джейран, как и Джейран не узнала мюджевира.

Не только Джейран, никто не знал, что имя старого мюджевира было Сафи.

После той ночи, когда он оставил спавшего на берегу реки Махмуда и ушел, у Сафи было много приключений, Сафи владел несметными богатствами, деньги приносили деньги, самые красивые женщины стремились во дворец Сафи, перед Сафи заискивали вельможи, но Сафи не мог найти счастья в этом мире: за всю жизнь он не спал спокойно ни единой ночи, и в конце концов, преследуемый видениями, Сафи бросил все свое богатство, в поисках Махмуда пришел в Эрзерум и с тех пор стал мюджевиром у могилы Махмуда и Мариам.

Сафи каждый день просил у Аллаха смерти, но прожил дольше всех людей на земле.

Говорят, когда-то жил человек по имени Мухаммедли, и этот человек прожил еще больше Сафи. Любопытно, какой грех совершил Мухаммедли?

Сафи прожил ровно двести четырнадцать лет и скончался летом 1682 года — 1074 года хиджры.

И тогда произошло небывалое. На том месте, где в свое время был дворец эрзерумских правителей, а теперь не было ничего, кроме древней гробницы, на месте, называемом в народе Долиной мюджевира, только что окончилась весна, наступило лето, все вокруг было в цветах. Внезапно в полдень небо потемнело, в Долине мюджевира поднялся ураган, раздался грохот в небе и на земле, выпал черный снег, произошло землетрясение, посреди Долины мюджевира образовалась трещина, земля разделилась надвое, потом снова соединилась, ураган прекратился, черный снег растаял, снова подняли головки цветы, но Сафи уже не было, его поглотила земля.

Жители этих мест рассказывали, будто иногда перед древней гробницей возникает в воздухе и играет сам собой саз, и будто когда-то был народный певец по имени Сазлы Абдулла, и этот саз будто бы принадлежал Сазлы Абдулле.

Да будет мир и успокоение со всеми нами.

1982

¹ Мюджевир — человек, живущий при какой-либо гробнице.

I

«Ты была моя жизнь».

Больше двух лет, возвращаясь с кладбища, я проходил мимо надгробного камня без имени, без фотографии, с одними только этими словами, и всякий раз простые слова, одна фраза волновали меня, вызвали щемящее беспокойство, как будто речь шла обо мне; бурый, потемневший, состарившийся, выщербленный многолетними ветрами, снегами, дождями, зноем, могильный камень вновь и вновь говорил о глубокой печали, говорил о превратном, быстротечном, говорил о чем-то миновавшем счастье, которое навсегда осталось в прошлом, а прошлое невозвратно.

На надгробных камнях не бывает бессмысленных слов: даже самая простая надпись, самая примитивная мысль на надгробных камнях наполняются смыслом, становятся, быть может, самыми значительными в мире, потому что само кладбище — самое значительное место на свете.

На кладбище человек, кем бы он ни был, становится философом, и не имеет значения, что после ухода с кладбища его мысли кажутся обычными, даже примитивными, но пока он там — это самые мудрые мысли на свете.

Немного ниже — снова старый могильный камень без имени, без фотографии и на нем кривые буквы каменотеса: «Бывали поэты, что ни строчки не написали».

Потом другой могильный камень: «Прощай».

Потом: «Пока жив, буду плакать, умру — земля моя заплачет».

Потом: «Матери, потерявшей сыновей, горе!»

Уже больше двух лет я, возвращаясь с кладбища, читаю эти надписи, и весь день, всю ночь настроение, навеянное этими надписями, остается со мной, потом наступает новое утро, все вылетает из головы, и кладбищенские надписи забываются...

На кладбище стоит едва уловимый, особый запах: возможно, это смешанный запах свежих и увядших цветов, сгнивших листьев, свежее выкопанной земли? Не знаю, но мне кажется, что кладбищенский запах пропитывает одежду и не сразу выветривается: во всяком случае, когда я последние два года возвращаюсь с кладбища, Эсмер, моя жена, многозначительно выглядывает на меня, не говоря больше ни слова, но я понимаю, что Эсмер знает, откуда я пришел.

Был серый, туманный сентябрьский день, дождь смочил могильные камни, на кладбище царил бескрайняя чистота, бескрайняя печаль и ощущалась вечность.

В этот серый, туманный сентябрьский день я узнал их, как только увидел.

Вернее, я сначала увидел их, сердце мое вдруг заколотилось, и только после этого я узнал их, и все это длилось одно мгновение.

Через сорок лет я впервые видел их, но узнал каждого, всех шестерых; эти пожилые люди с поседевшими и поредевшими волосами, с морщинистыми лицами были ОНИ: это был Джафар, это был Адиль, это был Абдулалли, это был Годжа, это был Джебраил, это был Агарагим.

Все шестеро стояли вокруг могилы, покрытой черной плитой, ни один не произнес ни слова, все шестеро устремили взгляды на черное мраморное надгробие, все шестеро стояли выпрямившись; и то, что Джафар, Адиль, Абдулалли, Годжа, Джебраил, Агарагим стояли вот так, лицом к лицу с черным мраморным надгробным камнем, прямая осанка всех шестерых, то, что все шестеро в полном молчании смотрели на черный мраморный камень, — как будто вносило в кладбищенскую печаль серого, туманного сентябрьского дня какую-то неизъяснимую светлую надежду, и мне на мгновение показалось, что суровое безмолвие шестерых мужчин, их верность и почтение к черному мраморному камню пробудили какую-то безумную надежду у всех намоченных дождем надгробных камней на кладбище — и новых, и старых, и богатых, и бедных.

Я уже больше двух лет один раз в неделю, иногда один раз в две недели ходил по этой тропинке на свою могилу (можно ли так сказать? Но почему нельзя, если мы говорим: «мой сын», «моя мама», почему же нельзя сказать «моя могила»? Это, разумеется, не значит, что ты сам должен находиться в ней...), но только теперь, когда я, задержавшись на тропинке, поглядел на шестерых прямо стоящих пожилых мужчин, мне показалось, что, в сущности, всегда, проходя мимо, я чувствовал на себе взгляд этого черного мраморного могильного камня...

...Балакерим, сидя под раздвоенным тутовым деревом на тротуаре, рассказывал, бывало, о взгляде больших черных глаз Белого Верблюда, о взорах Белого Верблюда...

...Стоя на тропинке, я смотрел на Джафара, Адилья, Абдулалли, Годжу, Джебраила, Агарагима.

Постаревший Джафар, постаревший Адиль, постаревший Абдулалли, постаревший Годжа, постаревший Джебраил, постаревший Агарагим в совершенном молчании стояли лицом к лицу с черным мраморным могильным камнем.

Внезапно мне послышался звук свирели Балакерима, и я узнал это место, вернее, нынешний облик этого места словно исчез, и перед моими глазами в нынешнем цветенье, в мутной серости ожило прошлое этого места: рядом с этой могилкой, с ее черным мраморным надгробием, я опять, как сорок лет назад, сидел лицом к лицу с Балакеримом: Балакерим вынул из кармана своего желтого пиджака свирель, и в тот жаркий, как летом, осенний день на кладбище зазвучала самая печальная в мире мелодия...

Тогда черного мраморного могильного камня не было...

Глядя на постаревшего Джафара, постаревшего Адыля, постаревшего Абдулали, Годжу, Джебраила, Агарагима, я слушал звучащую для меня одного мелодию свирели, я как будто смотрел сам на себя со стороны, со стороны увидел стоящего на тропинке между могилами начинающего полнеть мужчину в очках, в возрасте за пятьдесят, с поседевшими висками, польсевшей макушкой, и у меня в голове никак не уместилось, что этот мужчина — я; потом, слушая свирель Балакерима, я увидел семи- или восьмилетнего Алекпера; маленький Алекпер хотел подбегать к Джафару, Адылю, Абдулали, Годже, Джебраилу, Агарагиму, крикнуть: «Я узнал вас! Я Алекпер! Узнаете? Вспомнили? Я о маленьком Алекпере — это я!» Хотел я сказать это, но не двинулся с места, стоял на тропинке, проходящей между могилами (на моей тропинке!); оглядываясь по одному ИХ: Джафара, Адыля, Абдулали, Годжу, Джебраила, Агарагима — и молчал.

В их осанке, в серьезности и почительности взглядов, устремленных на черный мраморный надгробный камень, было нечто, рассеивающее печаль кладбища, нарушающее безнадежную кладбищенскую тишину, приносящее какое-то тепло намокшим под дождем в туманный сентябрьский день могилам, и это «нечто» застряло как комок у меня в горле, но и в этом подавленном рыдании было что-то похожее на радость, никак не вяжущееся с кладбищенской скорбью.

Потом мне показалось, что подул свежий ветерок, а я долгое время тосковал по такому вот свежему ветерку; начинавшие желтеть и вянуть листочки редких ивовых деревьев, лозы, трава не шевелились, замерли точно в забытьи, но свежий ветерок, мне казалось, все-таки пронесся...

Потом в той стороне, где стояли шестеро рядом с черной мраморной могильной плитой, я увидел гранатовое деревце, на которое до сих пор не обращал внимания, вернее, не видел его; на этом гранатовом деревце было три или четыре ярко-красных граната, и мне показалось, будто багрянец гранатов бросал ответ на начинавшие желтеть и вянуть листочки ив, лозы, траву.

Мне снова захотелось крикнуть, захотелось, не боясь громкости, выпренности этих слов, воскликнуть: я вас люблю, вы слышите, Джафар, Адыль, Абдулали, Годжа, Джебраил, Агарагим, я так вас люблю, вы слышите!..

Я и тетю Ханум любил...

Вот, тетя Ханум, ты видишь то белое надгробие немного повыше твоего, в самом конце этой тропинки? Это могила Соны, твоей соседки по двору, Соны, жены железнодорожника, проводника Агакерима, моей мамы Соны...

II

Однажды отец, сидя за чаем под навесом во дворе, взглянул в даль, немного помолчал и сказал мне:

— Придет время, ты увидишь, что постарел... и не узнаешь, как промчались годы...

Тогда слова отца вешали об очень далеком и туманном будущем, и мне казалось, что я никогда не достигну столь далекого будущего...

III

В тишине ночи я взглянул на рукописи, недописанные страницы на моем письменном столе, и эти страницы, которые я исписывал ночами, показались мне совершенно бессмысленными и ненужными... Торпливо, как будто кто-то мог схватить меня за руки и удержать, я собрал эти рукописи, эти недописанные листки, не читая, не разбирая, и убрал со стола.

Поверхность письменного стола стала совершенно пустой.

Я прошелся, сел за свой письменный стол, посмотрел на эту пустоту на столе, и меня охватил ужас, потому что все, что я до сих пор писал, печатал, все, как давешние рукописи, наброски, показались мне совершенно бессмысленным и ненужным...

Я должен был написать что-то другое.

Я должен был написать что-то, чего не писал до сих пор, и я чувствовал то, что я напишу (во всяком случае, постараюсь написать...).

С того дня, как я увидел шестерых лицом к лицу с черным мраморным могильным камнем, вся душа моя и ум были переполнены, и я знал, что все это должно излиться на белые листки. И вот эти белые листки передо мной...

IV

Сперва мне вспомнилось воскресенье, и то далекое воскресенье теперь улыбается мне...

Когда накануне возвращения отца из рейса мама готовилась его встретить, ее слова «Добро пожаловать, ай Агакерим!», которые она произносила в дверях нашего дома, потом, как они вместе входили в комнату и бросали друг на друга взгляды, которые пытались скрыть от меня, — это были лучшие встречи из тех, что я видел, о которых читал или слышал за всю жизнь.

И в тот воскресный день мама встала утром пораньше, замочила горшок, почистила лук, разделала купленное вечером у мясника Дадшбалы мясо и поставила вариться на керосинке в нашей маленькой кухоньке любимым отцом бозбаш, который он каждый раз с аппетитом ел, покрыв в него хлеба, потом еще раз подмела нашу и без того чистую комнатку, коридорчик, кухню, вытерла тряпкой пыль с выходящего во двор окна на кухню (единственное в нашем доме окно), вытерла платяной шкаф, сундук, полки, где внизу складывали постель, а сверху стояли миски, стаканы с блюдами, сахарница, обмахнула пять деревянных табуреток с тюфячками, и когда все было вычищено, с тухонько кипящего на керосинке бозбаша снята пенка и прикручен фитилек в керосинке, она открыла сундук, вытащила свое чисто выстиранное и выглаженное белоснежное нижнее белье, сложила в уз-

лок, туда же положила мыло, банную жесткую перчатку, расческу, полотенце и со словами: «Алекпер, приглядывай за бозбашем» — ушла в баню.

У нас в переулке отца называли «проводник Агакерим», и с тех пор как я себя помню, отец всегда бывал в поездках. «Если б не поезд, ей-богу, у меня бы сердце разорвалось, дружок!..» — говаривал он, потому что мой отец был чужой в нашей махалле¹, и вообще мне иногда казалось, что он был чужаком не только в нашей округе, но и во всем мире: даже когда он радовался чему-то и смотрел на человека радостно, в глубине его глаз таилась печаль. Не знаю, может быть, я понял эту отчужденность моего отца позже, — когда отец погиб на войне, и понял постоянную печаль в его глазах; как бы там ни было, в первых моих детских воспоминаниях отец никогда не улыбался абсолютно беззаботно, не радовался абсолютно беззаботно, и в улыбке, и в радости отца всегда сквозила какая-то тень, вернее, затененная тоска. Дело было в том, что отец мой еще в детстве вместе со своим отцом, то есть моим дедом, пришел в Баку с того берега Аракса², из окрестностей Тавриза, и устроился работать на нефтяных промыслах; потом дедушка задохнулся в нефтяной скважине и умер; отец вырос сиротой и на всю жизнь, видно, остался здесь чужаком. Когда отец женился на маме, он пришел в наш дом, дом отца и деда моей мамы, стал как будто здесь своим человеком, но порой, когда он задумывался, мама не выдерживала, в сущности, переживая за отца больше, чем он сам, и говорила:

— Ай, Агакерим, родной мой, да буду я твоей жертвой, ну такова жизнь... Больше тебя ведь никто не ездит по свету, ты же сам знаешь это! Ну что ты себя мучаешь, почему горе тебя гложет, и мы за тебя страдаем, родной ты мой?.. Вон, куда ни помотришь, портреты Фатуллы Хатема. Отчего же он свое сердце не изводит, да еще книги пишет, на какой портрет ни помотришь, отовсюду зубы скалнт...

Фатулла Хатем тоже в детстве, как мой отец, перебрался в Баку из Ирана, работал на нефтяных промыслах, у Фатуллы Хатема тоже умер отец, он остался один; как говорится, сам себя вырастил и стал знаменитым писателем; каждые несколько дней в газетах появлялся его портрет, и однажды отец пошел с какой-то просьбой к своему другу детства Фатулле Хатему, которого давно уже не видел, а Фатулла Хатем не принял моего отца, с которым провел детство, делил пополам кусок хлеба, — времени у него не было, и с тех пор единственным врагом моей мамы на целом свете был Фатулла Хатем, хотя она никогда в жизни его не видела, а знала только по портретам.

Отец никогда больше не ходил к Фатулле Хатему, а Фатулла Хатем отца не разыскивал. Не знаю, может быть, они на самом деле не были близкими друзьями, возможно, Фатулла Хатем не любил моего отца, может быть, даже не вспоминал его, но я всегда чувствовал, что, хотя отец не говорил об этом, он чего-то ждал от Фатуллы Хатема: то есть в том смысле — я был в этом совершенно убежден, — что, если бы вдруг открылись наши дворовые ворота и в дом неожиданно вошел знаменитый во всем мире человек — Фатулла Хатем, отец обрадовался бы

¹ Махалла — квартал; так называли кварталы в старой нагорной части Баку.

² Имеется в виду Южный Азербайджан, так называемый «иранский Азербайджан».

этому и гордился бы таким гостем; но однажды он вернулся из рейса задумчивым, потом выяснилось, что в вагоне, где работал отец, вместе с другими уважаемыми пассажирами ехал и Фатулла Хатем, видимо, что-то произошло во время этой совместной поездки, и я почувствовал, что отец больше ничего не ждет от Фатуллы Хатема.

Иногда, когда отец бывал особенно задумчив, мама говорила:

— Ты себя изводишь, Агакерим, а вон Фатулла Хатем продает поэтов по одному, себе ими зарабатывает!..

Отец поспешно прерывал маму, оглядываясь на наружную дверь, и говорил:

— Замолчи, женщина!.. Что за слова ты говоришь? Хочешь беду на нас накликать?

— Да какую беду, Агакерим, родной, — говорила мама. — Об этом вся махалла говорит: Фатулла Хатем продает по одному всех сколько ни есть хороших поэтов, сколько ни есть ученых людей и за счет этого приобретает положение!.. Разве нашего бедного Саттара Месума не он заложил? На свете нет человека, кто не знал бы этого, Агакерим...

Саттар Месум жил в верхней части квартала, я не мог его помнить, потому что, когда его забрали, мне было три или четыре года: он был учитель, иногда писал газели, гошмы — стихи в старинном духе — и дружил с Алиаббасом-киши, и еще с отцом тети Ханум. Когда Саттара Месума забрали, Алиаббас-киши очень за него хлопотал, ничего не боялся, много ходил по инстанциям, но это не помогло; и Алиаббас-киши тогда сказал: «Против бедняги Мирзы Саттара выступил Фатулла Хатем, будто несчастный Мирза Саттар был против нашей власти. Взял карандаш и стал подчеркивать одну строку за строкой газели Мирзы, тысячи толкований придумал, злодей!.. Мирза написал: о роза, твои шпы терзают соловья, а Фатулла Хатем говорит, что он оклеветал наше время. Кого разоблачил Фатулла Хатем, не дай Бог! Дело кончено. Пропал бедняга Мирза Саттар...»

Отец сердился:

— Что ж, мне тоже продавать людей?

Мама пугалась:

— Ой, да ты что, Агакерим!.. Сохрани Господь!..

Отец, уже с обычной своей мягкостью, продолжал:

— Что тебе до больших людей, баджи. (Отец иногда говорил маме «сестра», и это отцово обращение к маме — «сестра» — мне очень нравилось.) Не вмешивайся в дела больших людей... На что нам это?..

Вначале, когда я слушал эти разговоры, мне казалось, что Фатулла Хатем продает поэтов в буквально смысле этого слова, то есть как инжир на базаре или пиджаки, туфли в магазине, и поэтому Фатулла Хатем был в моем представлении самым страшным человеком на свете, я его боялся и, как отец, не хотел, чтобы у нас в доме о нем говорили. Фатулла Хатем был единственным человеком и вообще единственным существом, о котором мама говорила с отцом недовольно, вернее даже, недовольно, а недобро, но и сам разговор возник от случая к случаю, когда отец был не в настроении, а мама заводила разговор, чтобы ободрить его. (Хотя она сама и не ведала об этом, ее немного задевало, что Фатулла Хатем, как и отец, был выходцем из Ирана, меж-

те с ним рос в лишениях — почему-то стал известным, «большим чело-
ловском»). Порой мама говорила с отцом так же, как со мной, и тогда
мне казалось, что отец, несмотря на то что он — взрослый мужчина,
тоже такой же, как я, ребенок моей мамы. Правда, иногда, когда отца
не бывало дома, я тоже чувствовал, что мама ненавидит Фатуллу Хате-
ма, потому что видел не раз, как мама чистила на кухне керосинку
именно той частью газеты, где снят Фатулла Хатем; улыбающийся пор-
трет Фатуллы Хатем терся о металл керосинки, намакал от керосина,
крошился и кусочками падал на пол.

У отца была одна слабость, и если бы на его месте был кто-то дру-
гой, люди нашей округи перестали бы считать его мужчиной: отец не
мог зарезать курицу. Иногда он покупал их по дешевке на станциях,
привозил, а резать их я носил сыновьям тети Ханум — Джафару, или
Адылю, или Абдулалли, или Джебраилу, или Агарагиму. (Годжа всегда
сидел над книжками, тетрадками, поэтому я к нему не обращался; в
моем представлении почему-то книжки и тетрадки не вязались с про-
цедурой отрезания головы курице.) Но эта слабость отца, как ни стран-
но, не умаляла уважения к нему в округе; более того, никто не смеялся
и не подшучивал над тем, что отец разговаривал не так, как наши, а на
другом диалекте и порой употреблял персидские слова.

Поезд увозил отца в далекие города России, и, возвращаясь из даль-
них поездов, он в первую очередь шел в Желтую баню и потом весь
день с утра до вечера отдыхал дома, а на другой день надевал выглажен-
ный мамой темно-синий шевитовый костюм, чистил кремом и отпо-
лировывал до блеска свои черные туфли, выходил на улицу, здоровал-
ся с мужчинами, а если за время рейса у кого-то в округе случилось
несчастье, шел в этот дом, чтобы выразить соболезнование, если была
свадьба или у кого-то родился ребенок, поздравлял, а потом, усевшись
на один из деревянных табуретов, покрытых тюфячками и расставлен-
ных на тротуаре (эти деревянные табуреты притаскивали из домов мы,
ребятишки), пивал чай (чай, заваренный дома нашими мамами,
тоже приносили на улицу мы: на табурете, поставленном посередине,
накрытом белой салфеточкой, мы выставляли чайник, стаканы с
блюдцами, сахарницу), беседовал с дядей Агагусейном, дядей Азизагой,
дядей Гасанагой, Алинабасом-киши.

Алинабас-киши спрашивал:

— Агаксерим, ну как там дела, в Русеге? (То есть в России.)

— Да как, дадаш?!.. Люди везде люди...

...В этот воскресный день мама вернулась из бани, и, как всегда, ког-
да она приходила из бани, щетки у нее были красные, прямо пылали, на
чистом лбу выступили мелкие капельки пота.

— Ну что, Алекпер, бозбаш сварился?..

Быстро подняв крышку казана, мама посмотрела на бозбаш.

— Иди садись, Алекпер, я тебе положу, поешь, готов уже, — сказала
она, положила порцию и придвинула ко мне, потом развязала красную
ситцевую косынку на голове и, расчесывая гребнем с крупными зубь-
ями, стала сушить свои длинные каштановые волосы, и я чувствовал,
что у мамы бьется сердце, потому что она ждет отца.

¹ Дадаш — обращение к старшему.

Когда отец пришел, мама с привычным для меня волнением встре-
тила его у дверей.

— Добро пожаловать!.. — сказала она и, как всегда, добавила: — Как
долго длился этот рейс! Ты здоров?

Радуюсь тому, что вернулся домой, что видит маму, видит меня, отец
с неизяснимой печалью в глубине глаз сказал:

— Добрый день!.. Разве ты не знаешь, сестра, что я в дороге как рыба
в воде... — Потом поцеловал меня, снял туфли и прошел в комнату.

Никогда в жизни отец при мне не целовал маму и мама — отца, но,
хотя я этого не видел, я знал, что без меня они целуют друг друга, и в
этой их тайне было что-то праздничное, как и в том, что мама накануне
его приезда ходила в баню, и в се белоснежном белье, и в том, как
она вылизывала наш и без того всегда чистый дом.

Оставленную отцом в коридорчике полную соломенную корзину,
как обычно, начал разбирать я, и благодатный вагонный запах той со-
ломенной корзины я ощущаю до сих пор. (Иногда я смотрю на мою
дочку и думаю, как жаль, что она никогда не чувствовала неповтори-
мый запах той соломенной корзины, потому что ни в одном роскош-
ном ресторане мира, ни в одном благоухающем достатком доме я не
встречал такого запаха...)

Выяснилось, что график работы отца изменили, и вечером того же
воскресного дня он снова должен выезжать в недельный рейс; отец
пошел в баню, но не стал там задерживаться, быстро возвратился.

— С легким паром... — сказала мама.

— Спасибо, — сказал отец. — Да наступит тот день, когда мы пове-
дем в свадебную баню Алекпера!..

— Аминь! — сказала мама и, сняв с полки одну из глубоких мисок,
которые ставились на стол только в особых случаях, то есть в празд-
ничные дни или когда к нам приходил в гости мамин брат, налил в
нее бозбаш, поставила перед отцом, принесла маринованные баклажа-
ны, соль, перец, всякую зелень, а сама, усевшись напротив отца, стала
смотреть, как он ест.

— С Богом, — сказал отец, взял хлеб, большими кусками накрошил
его в миску и, вооружившись оставшейся от маминих предков сереб-
ряной ложкой, начал с аппетитом есть дымящийся бозбаш.

Мама никогда не ела при отце, но, когда отец садился есть, она все-
гда усаживалась за стол, наблюдала, как он с удовольствием ест, и те-
перь вот, глядя на него, по обыкновению улыбулась:

— Клянусь Аллахом, ты с таким аппетитом ешь, Агакерим, — сказала
она, — что хочется с утра до вечера сидеть рядом с тобой и любо-
ваться...

И отец повторил свои обычные слова:

— Пусть будет таким наш худший день!..

И мама снова сказала:

— Аминь! Да умножит Аллах твои дни, Агакерим!.. Дай Бог тебе здо-
ровья! Как ты день и ночь трудишься, чтобы содержать этот дом, так Бог
пусть не допустит, чтобы волосок упал с твоей головы, пусть лицо твое
всегда улыбается, душа твоя радуется! — Потом мама сказала: — Алек-
пер, налей чайник!

И я быстро побежал на кухню, взял чайник и вышел во двор; в это прекрасное время, когда отец возвращался из рейса, я тоже был рад, что что-то делаю, что в этом маленьком домашнем празднике есть и моя доля, и мама это чувствовала, и по мере возможности поручала мне что-нибудь.

Посреди нашего двора был кран, под краном Джафар, Адыль, Абдулалли, Джебран, Агарагим, помогая друг другу, соорудили небольшой бассейн (только Годжа вечно учил уроки и такими делами не занимался), кстати, и водопровод они провели, и мы уже не ходили с ведрами во двор Желтой бани; в разгар летнего зноя наш двор снял, облитый ледяной шолларской водой. И Джафар, и Адыль, и Абдулалли, и Джебран, и Агарагим, а иногда даже сам Годжа, когда моей мамы не было дома, то есть когда мама уходила на базар, или была в доме одной из женщин переулка, спускались во двор, раздевались до пояса и, нагнувшись, мылись под краном, хлопая себя руками по груди, по шее; наблюдать, стоя в сторонке, за их омовлением со шлепками по груди было моим любимым развлечением весной, летом, осенью, и от водяных брызг, попадающих мне в лицо, от холодных водяных брызг, удивительное дело, становилось не холодно, а тепло. Как только приходила мама, все они, торопливо натянув рубахи, поднимались к себе на веранду, потому что мама была молодой женщиной и так мыться перед ней они считали несудобным, и вообще за все время нашей жизни в махалле я ни разу не видел, чтобы Джафарили Адыль, или Абдулалли, или Годжа, или Джебран, или Агарагим, входя во двор, выходя со двора, подняли глаза и посмотрели на наше окно, на нашу дверь или чтобы они глядели, как мама моет посуду во дворе, вешает белье; маму они называли «Сона-баджи» — сестрица Сона. Кроме отца, никто больше так приветливо, так тепло не обращался к маме.

Дверь нашего заасфальтированного маленького чистого дворика выходила в тупик, и, с тех пор как я помню себя, в этом дворе было два строения: справа — наш одноэтажный домик, с залитой смолой крышей, однокомнатный, с кухней и коридорчиком, и напротив — двухэтажный дом семьи тети Ханум, с двумя комнатами и застекленной верандой наверху. Первый этаж дома представлял собой подвал, и сыновья тети Ханум — шоферы Джафар, Адыль, Абдулалли, Джебран и поступающий на водительские курсы Агарагим — хранили там разные части машин, покрышки, всевозможные инструменты. Подвал был моим любимым убежищем, я часто забегал туда, играл с инструментами (чесму, разуместя, завидовали все мальчишки переулка), потому что я тоже хотел стать шофером. Но и Джафар, и Адыль, и Абдулалли, и Джебран, и Агарагим посмеивались и говорили мне: Алекпер, ты не в нас пошел, ты в Годжу пошел, ты не станешь шофером, а будешь Мирза Алекпером, ученым человеком. Годжа был сыном тети Ханум, следующим за Абдулалли, и единственным в округе человеком, который учился в институте; а обо мне так говорили потому, что меня тянуло к книгам, тетрадам. Алфавит я выучил сам, попадавшие мне в руки книжки еще до школы читал сначала по слогам, а позже уже запоем; не дыша слушал всегда мне интересные разговоры взрослых, общался не с ро-

весниками, а с теми, кто старше, а иногда выдумывал и рассказывал такие истории, что взрослые поражались.

Сыновья тети Ханум покрыли асфальтом наш двор и крышу нашего дома смолой залили, а около крана, посреди двора, посадили саженец ивы, и Годжа мне говорил: Алекпер, ты у нас растешь не по дням, а по часам, да еще эта ива. Мне запомнились слова Годжи, и я всегда внимательно смотрел на молоденькую иву, насколько она подросла. А у дворовых ворот, выходящих в тупик, посадили виноградные лозы, соорудили навес, лозы разрослись, целиком закрыли навес, и летом с навеса свисали гроздья винограда; иногда мама поливала двор, а папа, возвращаясь из рейса, садился в тени навеса, пил чай, беседовал с Джафаром, Адылем, Абдулалли, Годжой, Джебраном, Агарагимом, а иногда и с самой тетей Ханум, рассказывал о садах и скверах, об аллеях Тавриза, о красоте зданий Тавриза, и мне, хоть я в жизни не был в Тавризе, казалось, будто я видел Тавриз, а по ночам, перед тем как заснуть, бродил мысленно по его прекрасным аллеям.

И еще в самом конце нашего двора была голубятня Джебрана. Эту голубятню, известную во всей нашей махалле и даже в кварталах, расположенных выше нашего, устроил сам Джебран, и там с утра до вечера ворковали, словно весь мир принадлежит им, белоснежные голуби, сверкая холеними перьями; а когда небо бывало совершенно чистым и воркование становилось громче, Джебран поднимал голубей к нам на крышу, потом с нашей крыши на их крышу и подбрасывал их в небо; мои любимые голуби взмывали вверх и вскоре превращались в едва различимые белые точки в ярко-голубом небе, и тогда все ребята, все парни нашей махаллы, а иногда даже и мужчины, поднимали головы, наблюдая за полетом красивых птиц (а девушки, укрывшись за окнами, смотрели на летящих в небе голубей украдкой, как будто открыто смотреть на них значило смотреть на самого Джебрана). И тут моя грудь словно раздувалась от гордости, и я уже не вмещался в наш двор, наш тупик, переулок, потому что эти голуби были голубями нашего двора, потому что я был для них близким человеком, кормил их, гладил, когда хотел, потому что голуби знали меня.

В тот воскресный день в нашем маленьком, затененном навесом дворе никого не было, и в тишине, присущей только нашему двору (эту тишину сопровождало воркование голубей), я старательно ополоснул чайник, потом, наполнив доверху, принес домой, поставил в кухне на керосинку, прошел в комнату, усевшись рядом с мамой, тоже стал наблюдать, с каким аппетитом и удовольствием отец ест бозбаш. И мама, и дядя — все говорили, что я похож на маму, но в те мгновения, когда я наблюдал за отцом, мне очень хотелось быть похожим на него, потому что я тоже печалился, что отец был здесь чужим, и мне казалось, что если я буду больше похож на отца, то немного уменьшу ту отчужденность, которая заставляет его время от времени так странно вздыхать.

Мама взяла с полки один из грушевидных стаканчиков «армуды» с блюдцем, которые употребляла только в особых случаях, и налила ярко-красный, как потушенный гребешок, чай, поставила вместе с сахарницей, наполненной аккуратно наколотыми кусочками сахара.

перед отцом, и отец благодарным взглядом поглядел на маму; во взгляде отца было какое-то сияние, что-то праздничное, и мама под излучающим это праздничное сияние взглядом папы потупилась.

Отец сказал:

— Алексер, в такую прекрасную погоду что это ты дома сидишь?

Мамины раздумывавшиеся после бани щеки при этих словах еще больше покраснели, и в такие минуты мне всегда вспоминались очень любимые мною праздничные яйца, как будто я тут же себя увидел на весеннем празднике Новруза¹.

— Побудь играть на улице, — сказал я. — Но не уходи, не попрощавшись со мной.

— Когда я уходию, не попрощавшись с тобой? — сказал отец. — До моего ухода еще четыре часа.

Я вышел в тупик.

Наш тупик и весной, и летом всегда оставался в тени, потому что в первой половине дня тень отбрасывала одна стена, а во второй — противоположная, и я в тот воскресный день, миновав наш тенистый, прохладный тупик, вышел в переулок.

Был полдень, и потому на улице никого не было, только в тени раздвоенного тутового дерева, пониже нашего тупика, сидела Шовкет, грязла купленные рано утром у тети Зибы семечки, смотрела на людей, входивших и выходивших из керосиновой лавки. Балакерима тоже не было, ребята, наверное, играли сейчас во дворе Желтой бани, но мне не хотелось к ним, почему-то хотелось побыть одному, хотелось послушать тишину улицы, хотелось смотреть на ее безлюдье, потому что иногда такая тихая, безлюдная улица жила чувствами, волнениями тех, кто удалился теперь в свои дома...

...Кто все это вспоминает? Смешной, маленький, но многознающий Алексер, которому еще не исполнилось семи лет, или я? Напишу ли я все это, смогу ли выразить? Может быть, никогда больше не вернутся чувства, оставшиеся в бесконечной дали, которая становится все дороже, все роднее; в той дали, откуда ни звук не донесется, ни слово не проникнет; — но те чувства захотят вернуться ко мне романом, повестью, пьесой, и однажды выяснится: потому я и мучился, потому написанное до сих пор и казалось мне таким бессмысленным, что именно те чувства, те ощущения все-таки возвратятся? Не знаю...

...Итак, в воскресный день я смотрел на безлюдную улицу, слушал тишину, но безлюдье и тишина не были холодными и мертвыми, и не потому, что стояло лето, было жарко, а потому, что в самой этой тишине, в этом безлюдье, в природе их было горячее дыхание, не сонливость мертвого полудня, а краткий отдых, покой кипучей жизни.

Вдруг в этой прекрасной тишине раздался вопль тети Амины, и я понял, что Ибадулла опять пришел, напустился на мать, а тетя Амина, снова подняв крик, прогоняет сына; тонкий, визгливый голос тети Амины, как эхо, волнами расходился по нашему тупику, нарушил безмолвие, разогнал покой.

Как обычно, доносился лишь голос тети Амины, а что именно она говорила, слышно не было, но я и без того, как все дети нашего квар-

тала, и вообще все, кто жили в нашем квартале, знал, что говорила тетя Амина: «Как, опять пришел! Ах ты негодяй, сын негодяя! Ах ты недостойный! Опять пришел по мою душу?... Убить меня хочешь?... Да ускорит это Аллах, побыстрее заберет меня, чтобы мне от тебя избавиться!.. Господи, смилуйся, забери меня!.. Эй, что ты хочешь от меня!.. Нет у меня ничего, нет!..» Тетя Амина выкрикивала эти слова Ибадулле, и когда, как в тот воскресный день, слышался крик тети Амины, мне казалось, что наш тупик, наш переулок, вся наша махалла стыдится, смущается, расстраивается, и я сам тоже расстраивался, у меня тоже портилось настроение, потому что сам я тоже был частичкой этой махаллы, этого тупика.

Ибадулла же был единственным сыном тети Амины (как я был единственным сыном моих родителей; я знал, что у них больше не будет детей), женился на армянке и переселился из нашей махаллы в другую часть Баку, в Арменикенд, в дом своей жены; всегда бывал пьян, а когда особенно сильно напивался, приходил к матери, устраивал скандал почти ослепшей тете Амине: требовал золото.

Возвращаясь из рейса, отец во время чаепития под навесом порою спрашивал:

— Ибадулла опять приходил, мучил эту несчастную женщину?

— Да, — говорила мама. — Неблагодарный сын, не дай Бог никому.

— Опять золота хотел?

— Да.

Отец качал головой.

— Откуда у этой несчастной Амины золото, ай балам!? Если бы лысый знал средство, себе первому голову намазал...

Но пылкий Ибадулла, поскандалив с тетей Аминой и выйдя из дома, как обычно, ни с чем, иногда садился на тротуар, опершись спиной о толстый электрический столб перед нашим тупиком, и говорил нам, детям:

— Спрятала, спрятала от меня... Отец кучу золота оставил мне перед кончиной!.. Спрятала золото... Не дает... И найти не могу, везде искал, а найти не могу... А то какого бы черта кис бы я в этой развалюхе? Уехал бы себе в Воронеж!..

Мы никак не могли понять, да и вообще это и для всего квартала было загадкой: почему Ибадулла неизменно упоминает название столь далекого и неизвестного города и почему хочет уехать именно туда?

Ибадулла потому говорил все это нам, детям, что взрослым терпеть его не могли, и ни один соседский парень или пожилой мужчина не останавливался около Ибадуллы и не слушал, что он плетет, и вообще не считал Ибадуллу за человека.

Балакерим иногда не играл на свирели, ни о Белом Верблюде, ни о таинственных событиях прошлого не рассказывал, а, сидя на тротуаре перед Желтой баней, молчал, оглядывал один за другим дома переулка и вдруг произносил что-то серьезное, связанное с нашей округой; однажды он сказал:

— Иногда смотришь: отличная туфля, из отличной кожи сшита. Но в одном месте лопается, и туда ставят заплату. Туфля изнашивается, но

¹Новруз (Новруз-байрам) — праздник весны.

¹Ай балам — ласковое обращение к детям.

вот на том же месте и заплатата лопаается... Вот наша махалля — такая же туфля, все изнашивается, изнашивается, изнашивается... А Ибадулла — трещина на этой туфле...

А Алиабас-киши говорил:

— Да упокойт Аллах душу Хамидуллы! Хорошо, что вовремя ушел из мира, не увидел этого выродка таким!

Снова послышался вопль тети Амины. В тот воскресный день Ибадулла, кажется, уж очень много выпил, потому что тетя Амина кричала сильнее обычного. Тетя Амина жила в конце тупика, в последнем дворе, у нее было три комнаты, но жила она одна и потому две комнаты сдавала студентам, а студенты боялись Ибадуллу: как только Ибадулла приходил, они убегали из дома и возвращались где-то в полночь. Вот и теперь студенты, изволнованно переговариваясь, торопливо прошли мимо меня, и мне показалось, что их торопливые шаги в этот воскресный день были не по душе нашей улице: они словно пинали, били ее.

Соседи потихоньку высовывали головы из дверей, из окон, некоторые выходили, останавливались у своих ворот, выходящих в тупик, и смотрели в сторону ворот тети Амины. Ибадулла был скандальный человек, распускал язык сверх всякой меры, и потому никто не хотел с Ибадуллой связываться, каждый берег свое достоинство.

Тетя Амина закричала особенно громко, потом донесся голос Ибадуллы, и я, пройдя весь тупик, остановился против ворот тети Амины, и, конечно, если бы мама это увидела, она тотчас позвала бы меня и не разрешила бы торчать там, но мама сейчас была дома, отец вернулся из дальнего рейса, вечером снова должен был уехать, дома был маленький праздник, и мне не хотелось, чтобы в такой праздник отец с мамой услышали крик тети Амины; я хотел, чтобы восстановилась прежняя тишина, чтобы вся махалля спокойно дышала в давешнем безлюдье.

Ребята тоже прибежали со двора Желтой бани и хотя побаивались Ибадуллы, но, увидев меня у ворот тети Амины, осмелели и, запыхавшись, встали рядом со мной. Конечно, голос тети Амины до двора Желтой бани не долетал, но, странное дело, в каком бы конце окрути что бы ни происходило, мы тотчас узнавали, и даже теперь я удивляюсь: как узнавали — Бог знает...

В тот жаркий воскресный день ссора тети Амины с Ибадуллой действительно была яростнее обычного, и я ясно слышал слова тети Амины. Это были все те же слова: «Чтоб на меня камень упал, когда я сына рожала! Что ты хочешь от меня? Я первый раз в полдень ем. Золото у меня есть? Ах ты негодяй, сын негодяя! Ты зачем все тут лапаешь, нечестивец? Разве я намаз не совершаю, разве я не мусульманка, что ты, напиившись водки, нажравшись свинины в своем хлеву, тут все осекверняешь?! Негодяй! Уходи отсюда!» А Ибадулла кричал: «Отдай мое золото! Это мое золото! Отец мне оставил это золото!.. Отдай, и я уйду. В Воронке уеду, больше тени моей не увидите! Отдай, уеду!..» Тетя Амина отвечала: «Эй, поганец ты этакий, если у отца твоего столько золота было, зачем он тогда по улицам города фаэтон гонял?..»

В тупике было полно народу, вернее, там теснились женщины, девушки, дети, а мужчины, конечно, из дома не выходили, потому что

мужчинам не подобает слушать шум и крик, поднятые таким лоботрясом, как Ибадулла.

Каждый раз, когда тетя Амина громко вскрикивала, у меня сердце чуть не выскакивало из груди, потому что я не хотел, чтобы у нас дома слышали этот крик и шум; я хотел, чтобы отец и мама подольше глядели друг на друга полными праздничного света глазами; но тут головы всех людей повернулись, все посмотрели в сторону наших ворот, потому что наши ворота открылись и из них вышла тетя Ханум, а за тетей Ханум — Джафар, Адиль, Абдулалли, Годжа, Джебраил, Агарагим, и тетя Ханум быстро направилась к дому тети Амины, и сыновья тети Ханум — следом за ней. Всех женщин, девушек, выглядывавших из ворот, как будто окатили холодной водой, они замолчали и молча стояли, уставившись на тетю Ханум и ее сыновей. Увидев грозные черные глаза тети Ханум, глядевшие из-под широких сросшихся бровей, ее крепко сжатые тонкие губы, сморщенное бледное и суровое лицо, я понял, что Ибадулла не будет больше заставлять тетю Амину кричать и через пять минут в нашем тупике, в нашем переулке снова воцарится тишина. Тетя Ханум скорым шагом прошла мимо и, словно даже не заметив меня, грозно глядя вперед, крупной рукой толкнула ворота, а Джафар, Адиль, Абдулалли, Годжа, Джебраил, Агарагим следом за тетей Ханум вошли во двор тети Амины. Ворота остались открытыми. Дом тети Амины был двухэтажный; на первом этаже жили студенты, а на втором — она сама, и тетя Ханум, подняв голову, пристально посмотрела на второй этаж, потом привычным голосом крикнула:

— Ибадулла!

Из дома не доносилось ни звука, как будто там никого не было, и тетя Ханум позвала еще раз:

— Эй, Ибадулла!

На этот раз Ибадулла неохотно откликнулся со второго этажа:

— Ну что тебе? Затвердила — Ибадулла, Ибадулла! Чего?

И Ибадулла, разозленный, вышел из дома и остановился на маленькой, на два человека, площадке деревянной лестницы, обалдело вытаращил глаза, посмотрел на тетю Ханум, потом оглядел по очереди Джафара, Адилья, Абдулалли, Годжу, Джебраила, Агарагима, открыл рот, хотел что-то сказать, но ничего не сказал и закрыл рот.

Тетя Ханум сказала:

— Спускайся вниз!

Ибадулла теперь смотрел только на тетю Ханум и так, глядя на нее, постоял одну-две секунды на площадке, потом по деревянным ступенькам спустился во двор, как будто тетя Ханум грозным взглядом из-под широких сросшихся бровей стащила Ибадуллу вниз, и мне показалось, что сейчас тетя Ханум своей ширококостной тяжелой рукой влепит Ибадулле хорошую оплеуху; наверное, на глазах съжившийся, сжавшийся Ибадулла и сам так подумал, потому что поднял плечи, втянув в них тонкую шею с огрубевшей под солнцем кожей, но тетя Ханум не подняла руки, посмотрела в вытаращенные светлые глаза Ибадуллы и сказала:

— Пошел вон отсюда!

Ибадулла вытянул шею, снова открыл рот, хотел что-то сказать, но, с трудом отведя глаза от глаз тети Ханум, оглядел по очереди Джафара, Адыли, Абдулалли, Годжу, Джебраила, Агарагимы, ничего не сказал, закрыл рот и, выйдя со двора, прошел мимо меня, под взглядами людей, стоявших у ворот, прошел по тупику и вышел на улицу. Когда Ибадулла проходил мимо меня, мне в нос ударил запах водки, а мама с отцом, сидя дома и беседуя, иногда так ругали эту водку, что при виде и при запахе ее я ощущал чуть ли не физическую боль, но на этот раз я не обратил внимания на противный запах водки от Ибадуллы, потому что в этот момент я гордился выходящей со двора тетей Ханум и шедшими за ней следом Джафаром, Адылем, Абдулалли, Годжей, Джебраилом, Агарагимом; мое сердце было переполнено чувством торжества.

Дойдя до конца тупика, перед тем как свернуть на улицу, Ибадулла остановился, обернувшись, посмотрел на жителей тупика, на тетю Ханум с сыновьями и хрипло закричал:

— Думаете, у меня защиты нет?! Как гуси, друг за дружкой на меня идете?! Ничего, еще увидите!.. Напушу на вас моих кирюх, тогда узнаете!..

Джафар хотел броситься за Ибадуллой, но тетя Ханум посмотрела на Джафара, и он остался на месте, а Ибадулла подумал, что Джафар идет за ним; придерживая рукой, чтобы не слетела с головы, кепку-шестиплоскую с пуговкой, он рванулся с места, свернул на улицу и пропал из виду, а тетя Ханум, все так же глядя прямо перед собой, вошла в наш двор и сыновья за ней; женщины, девушки, вышедшие в тупик, тоже разошлись по своим домам, приоткрытые то там, то здесь ворота закрылись, пропали и силуэты мужчин в некоторых окнах. Опять ничего не было, кроме нас, детей, стоявших у ворот тети Амины, да еще Балакерима, и в нашем всегда тенистом, прохладном тупике снова воцарилась тишина.

Ворота тети Амины были открыты, и я видел ее, давно уже стоявшую у окна второго этажа и смотревшую вниз; правда, глаза тети Амины, можно сказать, не видели, но как только тетя Ханум позвала Ибадуллу, она встала у окна, глядя то во двор, то в тупик, и среди воцарившейся тишины я ясно услышал бормотание тети Амины: «Мой сын да я, нам виднее! Какое вам дело до нас, зачем вмешиваться в чужие дела?»

Мы собирались пойти поиграть во дворе Желтой бани, но тут Балакерим, не глядя на нас, направился к тутовому дереву в самом конце нашего тупика, усеялся под ним, вынул из нагрудного кармана своего желтого пиджака, который носил и летом, и зимой, свирель, прислонился спиной к толстому тутовому стволу, надул худые щеки и заиграл. Когда Балакерим играл, мне казалось, что звук свирели — продолжение тишины, воцарившейся у нас в тупике, в переулке, и развесистое тутовое дерево, к которому привалился спиной Балакерим, под звуки эти размышляет о мировых загадках.

Тутовник в самом конце нашего тупика прежде называли «дереве Ибадуллы», потому что у фазгонщика Хамидуллы и тети Амины не было детей и фазгонщик Хамидулла дал обет, что посадит дерево, если у него родится ребенок, и, когда родился Ибадулла, он во исполнение обета посадил тутовое дерево. Фазгонщик Хамидулла умер, Ибадулла,

повзрослев, стал пьяницей, тетя Амина состарилась, глаза, можно сказать, перестали видеть, и ее стали содержать женщины нашего тупика (а куда девались деньги, что платили студенты-квартиранты — никто этого не знал и, в сущности, никто этим не интересовался). Мама, а особенно тетя Ханум часто наполняли тарелку приготовленным обедом, давали мне, я относил тете Амине, а тетя Амина, сидя на зеленом бархатном тюфячке, расстеленном на полу, перебирала большим пальцем черные мелкие камешки четок и говорила: «Да примет Аллах!», будто бы эта посылаемая ей пища — нечто вроде пожертвования.

Иногда тетя Ханум, накладывая еду в тарелку, качала головой и говорила:

— Этот несчастный Ибадулла какой славный мальчуган был ребенком...

Тетя Ханум произносила эти слова с мягкостью, не вяжущейся с ее черными грозными глазами, глядевшими из-под широких черных бровей, с плотно сжатыми, по обыкновению, тонкими губами, тяжелым подбородком, и эти ласковые слова пугали меня, потому что, несая горячую тарелку тете Амине, я думал: а вдруг и я, когда вырасту, стану таким, как Ибадулла...

Поскольку Ибадулла оказался никудышным, тутовник уже не называли именем Ибадуллы, и место под тутовым деревом было вторым заветным местом Балакерима, где он играл на свирели, рассказывал разнообразные истории о Белом Верблюде, размышляя. (А первым было место на нашем уличном тротуаре, под раздвоенным тутовым деревом рядом с домом Шовкет.)

Балакерим ночевал во дворе Желтой бани, в бывшей голубятне, а дни проводил на улице, зимой помогал жителям окрести колоть дрова, летом таскал в котлы куски смолы, растапливал их и помогал заливать протекающие крыши (сел, что готовилось в тех домах), но часто его труд был напрасным; например, с трудом приволакиваемые куски смолы оказывались никому не нужными бульжниками. Балакерим с натугой уносил их обратно, а по вечерам все дети окрести собирались вокруг Балакерима, и он рассказывал о Белом Верблюде, о пророках, имамах, о падишахах, визирях, путешественниках; когда бывал очень задумчив, вдруг вынимал из кармана желтого пиджака свирель, начинал играть и так же внезапно переставал играть, приговаривая:

Внутри бани черт-те что,
Внутри соломы — решето,
Верблюду бороду побреет,
Баня бедного согрет...

Потом принимался рассказывать о таинственном и говорил таким тоном, так многозначительно, что и Желтая баня начинала казаться мне загадочной.

Иногда Балакерим бывал задумчив, умолкал совсем, и мы знали, что в это время ничего у Балакерима просить не нужно, потому что Балакерим вообще по просьбе, по заказу ни на свирели не играл, ни историй не рассказывал; он молчал и вдруг сам себе говорил: «Да упоконт Аллах твою душу, Мирза Саттар. Да упоконт Аллах твою душу!» И мы

понимали, что речь идет о когда-то жившем в нашем квартале поэте Саттаре Месуме, но почему Балакерим вспоминает именно Саттара Месума, мы не знали. А иногда, особенно в ясные ночи, когда светили луна и звезды, Балакерим, сидя под раздвоенным тутовым деревом, или во дворе Желтой бани, или здесь, под нашим тутовником, поднимал голову к небу, устремлял взор на луну, на звезды, долго молчал, и я отчетливо чувствовал, что, хотя Балакерим рядом с нами, в эти мгновения он очень, очень далеко от нас; но потом он снова возвращался к нам и говорил страшные слова: «Каждый человек время от времени должен оставаться наедине с небом. Смотреть на небо... На эти звезды смотреть, на эту луну смотреть. Тогда он поймет, как сам он мал. Тогда поймет, как малы другие...» Разумеется, я ничего не понимал из этих слов Балакерима, но слова мне запомнились, и хоть я и не понимал, что тут к чему, но что речь идет о звездах и луне, я понимал, и в этом было что-то таинственное.

Сколько лет было Балакериму? Может, сорок? Может, пятьдесят? Не знаю; кто были отец, мать Балакерима? Ничего не знаю, потому что в то время мне казалось, что Балакерим всегда был таким, у Балакерима никогда не было отца с матерью. Балакерим никогда не был ребенком, всегда был так же одиноко, так же рассказывал о Белом Верблюде, так же играл на свирели. Мелодии, которые играл Балакерим, знал только он один, потому что таких мелодий больше нигде не было; эти мелодии играл только Балакерим, и, кроме нас, никто на свете не слышал этих мелодий...

На всю округу моим самым близким другом был Джафаргулу, и хотя Джафаргулу говорил, будто прежде отец Балакерима был миллионером, будто у него были фонтанирующие нефтяные скважины в Раманах, будто трехэтажка — самое высокое и самое красивое здание нашей махаллы, где теперь на втором этаже живет семья Мухтара, а на третьем — семья шапочника Абульфата, в свое время принадлежала семейству Балакерима, будто Балакерим в детстве учился у видных ученых, но я обо всем этом не думал (и вообще мне казалось, что все это пустые россказни), потому что Балакерим был для меня просто Балакеримом и поныне так и остался просто Балакеримом.

Мужчины нашей округи пытались выделить у себя во дворах место для жилья Балакериму; однажды даже, когда Муса — сын дяди Азизаги, тяжело заболел, дядя Азизага дал обет, что, если Муса выздоровеет, он у себя во дворе построит для Балакерима отдельный однокомнатный домик с кухней, с коридором (как наш дом), но Балакерим не желал уходить из своего жилища — голубятни во дворе Желтой бани, отвергал все посулы и предложения (и дядя Азизага вынужден был изменить свой обет, купил двух здоровенных баранов, дал нарезать мясику Дадашбале и раздал мясо соседям), потому что Балакерим был чем-то вроде воробья, из тех, что налетали стайками, садились на раздвоенное тутовое дерево; ибо он, как бы стоя на крыше трехэтажного дома, с высоты смотрел на мир, оставшийся внизу, а по вечерам рассказывал нам самые прекрасные и самые таинственные приключения этого мира; впрочем, порой мне казалось, что Балакерим рассказывал эти истории не нам, а самому себе или — особенно по ночам, когда наша

улица, наш тупик, отдохнув немного, снова начинают тосковать по звукам шагов, — нашей мощенной булыжником улице, асфальтированным тротуарам, окаймленным каменным парапетом, стенам наших домов, запертым дверям и окнам, раздвоенному тутовому дереву, тутовнику в глубине тупика.

Иногда, когда у нас дома заходил разговор о Балакериме, мама, улыбувшись, говорила: «Бедняга Балакерим, батрак дьявола...» — все мое нутро протестовало против этих маминных слов, потому что прежде я понимал эти слова буквально, то есть мне казалось, что мама действительно считает, что Балакерим служит дьяволу, но потом я понял, что в маминных словах была любовь, мама жалела Балакерима за то, что он так часто зря таскал тяжести, попусту надрывался.

В тот жаркий воскресный день Балакерим, прислонившись спиной к стволу тутовника, долго играл на свирели, и тутовник вместе с нами внимательно слушал свирель Балакерима; звук его свирели после скандала с Ибадуллою возвращал чистоту, испорченность тишине нашего тупика, переулка; и в то же время звук свирели вносил в тишину грусть, печаль, ощущаемую мною как нежный прозрачный шелк; грусть проникла и в маленький праздник у нас дома. Когда наступил вечер и мой отец, взяв свою пахнущую вагоном соломенную корзину, снова ушел в рейс, Балакерим начал рассказывать о событиях, случившихся в старину...

...Порой, особенно в последнее время, мне кажется, что все те истории я узнал не от Балакерима, а сам был их свидетелем.

Порой мне кажется, что все те истории я сам когда-то написал.

Порой мне кажется, что те истории сбудутся когда-нибудь, и я во сне удивлюсь: откуда я знаю истории, которые произойдут в будущем, как я их вижу?..

V

Чаще всего Балакерим рассказывал о Белом Верблюде, и мы, собираясь вокруг него и слушая его рассказы, иногда ничего не понимали, но Белый Верблюд маячил у нас перед глазами, и мы знали, что, хоть иногда нам и непонятны были истории Балакерима, есть на свете белый, как снег, верблюд.

Мы никогда не задавали Балакериму вопросов, хотя не все понимали в его историях, а Балакерим был совершенно убежден, считая, что так и полагается.

Однажды, проснувшись посреди ночи, я подбежал к окну, выходящему в переулок. Мама вскочила с постели:

— Что такое, что случилось?

— Белый Верблюд идет по улице! — сказал я и посмотрел сквозь оконное стекло наружу: темная улица была совершенно пустой, безлюдной, но мне показалось, что в темноте на булыжнике, которым вымощен переулок, белеют большие следы Белого Верблюда и издали, все удаляясь, слышится звон бубенчика на его шее.

Отец сказал:

— Балакерим задурил им головы...

Мама сказала:

— Ничего. Привиделось ему...

Я снова улегся в постель и долго думал о Белом Верблюде, и мне казалось, что Белый Верблюд пришел в нашу округу, чтобы поспать у чьих-нибудь дверей. Балакерим говорил, что умерших уносит Белый Верблюд и что если Белый Верблюд хочет унести кого-то на тот свет, то ночью он приходит и ложится спать у дверей этого человека. В ту ночь я огидал мысленным взором по очереди всех людей округи, и мне не хотелось, чтобы Белый Верблюд улегся перед дверью кого-либо из них; я боялся, сердце у меня колотилось, чуть ли не выскакивало из груди, я боялся, но молчал, потому что не хотел, чтобы отец плохо подумал о Балакериме.

Балакерим рассказывал о тех, кто ездит на Белом Верблюде, говорил о местах, где гуляет Белый Верблюд, и иногда сам пояснял нам необычные слова:

— Странник пересекал на Белом Верблюде пустыню... Вы знаете, конечно, что такое пустыня: со всех сторон песок, куда ни помотришь, ничего, кроме песка, не увидишь.

...Ярко-алая рассветная заря окрасила в красный цвет пустыню, наступающее утро как будто хотело изменить монотонность Муганской степи, но само утро наступало так медленно, что и в его стремлении извратить Муганскую степь от монотонности было что-то монотонное.

Белый Верблюд, как обычно, шаг за шагом, не спеша, шел к цели, и неизменный ритм шагов Белого Верблюда сопровождал степной монотонности и возвещал о монотонности не только самой степи, не только миновавшей ночи и только что наступившего утра, но и всего мира и хода времени — сотен тысяч лет.

Сидевший на Белом Верблюде Странник, легонько покачиваясь при каждом его шаге, впервые свои большие черные глаза на заалевший небосвод, думал, что монотонность этой степи и верблюжьих шагов и ярко-алого рассвета была такой же тысячу лет назад и останется такой еще через тысячу лет.

Тело, мысли, чувства Странника охватило какое-то томление, и это томление как будто приводило Странника с горба Белого Верблюда, заставляло трепетать его сердце, и Странник словно лишился опоры, повис в воздухе.

Прохлада наступившего утра томил тело, мысли, чувства Странника тоской по чуду, но Странник хорошо знал, что на свете никогда не было чудес и никогда не будет чудес, что и пророк Муса хотел увидеть чудо, быть может, сам того не зная, именно поэтому он долго молил Аллаха на горе Тур:

— Явись мне...

Но ответил Аллах:

— Ты никогда меня не увидишь...

Мир прост, монотонен, в мире нет чудес, и Странник подумал, что, в сущности, сама простота и есть чудо, но этого чуда никто не понимает, и даже народный мудрец Деде Коркут сказал: переходящий мир, бранный мир, венец его — смерть, итог — разлука; и, сказав это, Деде

Коркут сам уже сколько столетий как ушел из этого мира, да упокоит Аллах его душу.

Пожелав вечного покоя Деде, Странник посмотрел на землю, вернее, на песчаное тело степи, потому что, где похоронен Деде Коркут — здесь или на другом конце света, — неважно, недра этого мира одинаковы, земля везде одинакова, и Деде Коркут, как и прочие бесчисленные люди, находится под землей.

Белый Верблюд шагал, его большие следы оставались в песке, и Странник хотел, обернувшись, посмотреть на эти следы, но не обернулся, потому что и ровная линия верблюжьих следов, тянущихся по степи, стеснила бы сердце Странника, ибо линия следов уже проложена и будет теперь оставаться такой, как есть, не изменится, не изогнется, не извернется, эта линия следов тоже кажется вечной, хотя, когда поднимется ветер, сорвется ураган, следы исчезнут (вечность, имеющая конец!), но пока не поднимется ветер, не сорвется ураган — может быть, завтра, может быть, через пять месяцев, а может быть, через два года — они не исчезнут; и Странник снова, подняв свои большие черные глаза, взглянул на ярко-алую полосу рассвета, на сей раз краснота неба возвещала о пролившемся в мире крови...

Что случилось со Странником? Что это были за мысли? Что за видения? И если мозг его был в плену таких мыслей, почему он об этом не знал, почему сам себя до сих пор не знал?

Вчера под вечер, перед тем как отправиться в путь, он увидел черную ворону, которая уселась на ветку старого ижирового дерева у их ворот, и сам не понял, зачем остановился и долго смотрел на эту ворону, внимательно смотрел, и вдруг ему стало ясно, что совершенно черные глаза черной вороны — самые прекрасные глаза на свете, и Странник увидел печаль в глазах черной вороны, и эта печаль потрясла Странника.

Говорили, что черная ворона живет триста лет, и печаль в глазах черной вороны была печалью ее трехсот лет.

Белый Верблюд, устремив взгляд к далекой цели, двигался вперед все тем же ритмичным шагом, и если бы Странник спешился и заглянул в глаза Белого Верблюда, то он и в его черных глазах увидел бы ту же печаль, что таилась в глубине глаз черной вороны.

Но такое Страннику в голову не пришло.

В последнее время Страннику нравилось отправляться в далекий путь в одиночестве. Караван с шелком он отправлял раньше, и караван, дойдя до входа в город, разбивал лагерь и дожидался своего хозяина — Странника.

Вот уже год, как начались его одинокие странствия.

В этом году он один отправился в путь, потому что в купле-продаже, в которой проходила вся его жизнь, недолгое путешествие в город, раз в один-два месяца, было единственной возможностью побыть наедине с собой: земля, небосвод, Белый Верблюд, он сам — вот и все; под вечер он садился на Белого Верблюда, выезжал из своих ворот, начинал свой путь, нигде не спешил, время от времени останавливал Белого Верблюда у караван-сарая, построенных у дороги за счет пожертвований, заходил, вместе с не знающей его черной съедал миску

простокваши, выпивал пиалу шербета с шафраном и снова, взобравшись на спину Белого Верблюда, продолжал свой путь, покачиваясь при каждом шаге Белого Верблюда, впервые за долгие-долгие годы, прошедшие в купле-продаже, оживлял перед мысленным взором пору детства, видел давно развалившийся двор, давно умерших и забытых мать, отца, соседей, вспоминал баяты¹, которые напевала его бабушка: «Волосы подвяжи, в саду вымой, в саду расчеши, ради хорошего друга Шам обмыци, Багдад прочеши...» — и годы куда-то уходили, и Странник чувствовал, что в последнее время ждет этих странствий как мгновенной жизни, не принадлежащих никому другому — ни сыновьям, ни дочерям, ни внукам, ни правнукам, ни друзьям, ни врагам, а только и только ему самому.

Страннику казалось, что до сих пор он проживал жизнь — эту долгую жизнь — не для себя, а для других; вернее, Страннику казалось, что его жизнь проживал не он, а вместо него другие, какие-то совсем другие люди.

Разбойники на всех этих дорогах хорошо знали белую чалму Странника, зеленую шелковую абу, что он надевал в теплое время, его меховое одеяние в холодную пору, а главное — его Белого Верблюда, но разбойники, грабители хорошо знали и то, что Странник ничего не берет с собой в дорогу, при нем ничего нет, кроме двух-трех серебряных монет, чтобы перекусить в караван-сараях или подать милостыню встречным нищим. Конечно, можно было, убив Странника, съесть Белого Верблюда, но у Странника были знаменитые на всю округу, владеющие мечом абиссинские рабы, и разбойники ради одного шашлыка из верблюжьего мяса не хотели потом оказаться лицом к лицу с этими абиссинскими рабами.

Краснота рассветной зари таяла, пропадала, и начинали белеть предосенние караваны облаков. Странник, отведя большие черные глаза от нагромождений белых облаков, посмотрел на Белого Верблюда, на котором сидел, легонько покачиваясь, и подумал, что все-таки на свете лучше быть верблюдом, чем человеком, потому что Белому Верблуду неведомо, что, в сущности, между теми караванами белых облаков в небе и им, Белым Верблудом, нет никакой разницы, потому что и те белые облака когда-нибудь станут дождем, потекут и кончатся, исчезнут, и Белый Верблюд когда-нибудь сгинет в земле, исчезнет, как все живое на свете сгнивает и исчезает в земле.

Странник думал так потому, что не ведал о печали на дне больших черных глаз Белого Верблюда.

В одном из одиноких путешествий среди ночи Странник неожиданно для себя произнес строку: «Меня создала тоска...» В нем ли самом созрела эта строка? Услыхал ее от кого-то? Или где-то прочитал? Он не знал, но с того времени, то есть с той минуты, совершенно неожиданной среди ночи, среди монотонного ритма верблюжьих шагов, строка эта не выходила из головы Странника, порой даже в разгар купле-продажи как молния пронеслась в его мыслях.

«Меня создала тоска...»

¹ Баяты — азербайджанские народные четверостишия.

Странник двигался всю ночь, чтобы, как всегда, поспеть в Город ко второму намазу. Ни одно его путешествие не было похожим на сегодняшнее: легонько покачиваясь на Белом Верблуде, он не мог вспомнить ни детство свое, ни тот двор, где жил в детстве, ни те баяты, что напевала его бабушка.

Правда, спокойствие ночи, безлюдье дороги, бескрайний, куда ни бросишь взгляд, простор мира снова завладели Странником, и он на спине Белого Верблюда, удалившись от суеты торговых дел, от домашних забот, свободно и привольно вздохнул, взглянул на звезды, на луну и, снова закрыв глаза, попытался вернуться в далекие детские годы, но ничего не вышло, и Странник неожиданно (как неожиданно явилась та строка...) понял, что эта ночь — необычная ночь, окутавший мир мрак этой ночи — это мрак глубокой печали в глазах черной вороны.

Это ощущение потрясло Странника, и Страннику показалось, что окутавший сейчас весь мир мрак печали окрасил в черный цвет его белую абу, как клей, пропитав и абу, и рубашку, проник к телу. Он ощутил вязкую влагу этого клея всем телом.

Странник хотел освободиться от этого чувства, прислушался к тишине ночи, полюбовался безлюдьем дороги, звездами, луной и подумал, что сарбаны, погонщики верблюдов, всю жизнь проводящие на этих дорогах, — самые счастливые люди на свете; потом сам улыбнулся наивности своей мысли: сарбаны, всю жизнь проводящие в дороге, наверно, каждый раз желают, чтобы дорога скорее кончилась, чтобы они скорее добрались до дома, потому что все на свете познается в сравнении. Странник подумал, что Адам, восстав против Бога, сбился с пути истинного, и потому Адама изгнали из рая, он попал на Цейлон, и, как говорят, след его ноги до сих пор остался на Цейлоне; как пишут все великие ученые и писатели и как говорят многие купцы, которых хорошо знал сам Странник, Цейлон — это райское место, но Адама из рая изгнали туда, следовательно, Цейлон — для нас, простых смертных, это рай, но по сравнению с настоящим раем это место изгнания и кары...

Вот так и все видимое и невидимое взору на земле.

И проводящие всю жизнь в пути, лицом к лицу с тишиной и простором мира, сарбаны тоже не были счастливы.

Странник подумал, что символом счастья, как говорят, является звезда Сириус, и, чтобы увидеть звезду Сириус во всем блеске, нужно поехать в страну Йемен, потому что только в Йемене она светит так ясно, и прибывающие из Йемена ткани, кожи оттого так мягки и нежны, что в них ответ красоты Сириуса; все это так, и можно поехать в Йемен, чтобы увидеть Сириус, но дело-то все в том, что сколько на земле живых существ, столько и судеб, и у каждой судьбы свой Йемен, а уж в тот Йемен съездить, из того Йемена поглядеть на Сириус невозможно, ибо тот Йемен недостижим, недосыгаем.

«Меня создала тоска...»

Ночь и дорога вдруг стеснили сердце Странника, и, тронув поводья Белого Верблюда, он двинулся по пустыне в сторону от дороги, параллельно дороге, но и простор пустыни не утешил сердца Странника: и Странник, и Белый Верблюд так и встретили тяжелый рассвет.

Странник снова посмотрел на груды белых облаков, потом посмотрел на Белого Верблюда.

Белый Верблюд, шагая в обычном своем ритме, как большими печатями, припечатывал свои следы на песке, и Странник думал, что и предки этого верблюда тысячи лет тому назад так же ритмично шагали по дороге, и монотонность верблюжьего шага была, по сути, не только монотонностью ночного путешествия по пустыне, это была монотонность тысячелетий.

И в самом деле, какая разница между грудями облаков и Белым Верблюдом?

И Странник вновь с заполнившим все его существо томлением пришел к выводу, что никакой разницы нет.

На маленьком песчаном холмике, немного в стороне, неподвижно, как высеченная из камня, едва отличимая от песка, замерла ящерица, глядя на Странника и Белого Верблюда, и как только Белый Верблюд совсем близко подошел к ее песчаному холмику, ящерица в мгновение ока, вильнув хвостом и взметнув струйку песка, исчезла.

В том древнем мире, где жили самые древние предки, они видели это небо и землю такими, как мы их видим; были времена пророка Мусы, когда он, сделав из самирской глины тельца, заставил его заговорить, но того тельца нет, и придет время — а это время, наверное, не так уж далеко — меня тоже не будет, и какая разница между мною и глиняным тельцом, что был слеплен тысячелетия назад? Меня через десять месяцев или через десять лет не будет, но в чем различие между всей моей жизнью и прошедшими со времен создания глиняного тельца тысячелетиями? Или в чем различие между прожитыми мной семьюдесятью или восьмьюдесятью годами и грядущими тысячелетиями? Тогда, возможно, люди будут одеваться по-иному, тогда, возможно, люди будут летать в небе, как птицы, или будут жить на дне океана, но по сути, по самой сути между мной и ими никакого различия не будет...

От этих вопросов, несмотря на утренний холод, Странника бросило в жар. Ему захотелось где-то скрыться, как та желтовато-серая ящерица, и Белый Верблюд словно почувствовал жжение в груди Странника, которого столько лет возил на спине, и мгновение, всего на одно мгновение приостановился, а потом снова так же ритмично зашагал дальше.

Что это были за вопросы, что за мысли?..

Странник, будто со столетней жаждой, подумал: «Я тысячи разных бед перенес, но и эта оказалась на моем пути... соевой, соевой, вещей птицей, горестной птицей стал я, Господи, буду стонать я и лето, и зиму...»

Снова посмотрел Странник на караваны белых облаков, вернее, посмотрел на совершенно чистое ярко-голубое небо в разрывах облаков, и все его существо выражало мольбу: обнажи свой меч, Господи, руби мне шею, руби!..

Перед глазами Странника появилась давнишняя красная полоса зари, а эта краснота снова напомнила ему цвет крови, и Странник подумал, что в свое время были люди, которые не верили в пророка Мухаммеда, и если тех людей тоже сотворил Бог, то почему те люди забросали Мухаммеда камнями, сломали ему зуб, разбили губу? Те люди

не верили Мухаммеду, но ведь Бог знал Мухаммеда, ведь Мухаммед был посланником Бога, и если это было так, почему те люди бросали в Мухаммеда камни, почему руки их не отошли, и вообще как получилось, что столь дурное деяние пришло тем людям в голову, почему тотчас же не поверили они пророку? Ведь Бог заранее определил судьбу пророка, и разве шейх Ибрагим Алимухтар Казвини — да упокоит Господь его душу — не говорил, что самое высокое и самое мудрое суждение: Бог лучше знает...

Почему же Бог счел лучшим, чтобы всего двести лет назад те люди, побив пророка камнями, сломали ему зуб, разбили губу?

В это холодное утро Странник сам пришел в ужас от своих мыслей; выпрямившись на Белом Верблюде, он посмотрел на ярко-голубое небо между белых облаков, словно попросил пощады у чистоты и голубизны небесной, и на сей раз он подумал: наверное, истина так божественно высока, так велика, что, дабы осознать ее, должно вынести такие мучения.

Но почему?

Если нечто рождается в таких мучениях, в таких страданиях, разве оно может быть истинной?

Бог ведь справедлив...

Странник понял, что надо остановиться, собрать силы, немного отдохнуть, хоть чуть-чуть вздремнуть, иначе все перевернется вверх дном, развалится.

У Странника было идущее от многолетнего опыта купли-продажи точное, безошибочное чувство меры, и теперь оно помогло ему встряхнуться, взять себя в руки, не позволило ему отдаться охватившим его будоражающим мыслям.

Странник, заставив Белого Верблюда опуститься на землю, спешил, прошел два шага по песку, встал на колени и закрыл глаза.

«Меня создала тоска...»

Странник ни о чем другом не думал, в мыслях его повторялась одна фраза: «Меня создала тоска...»

В эту минуту в бескрайней безлюдной степи Странник и Белый Верблюд оказались лицом к лицу, Белый Верблюд сейчас жевал губами так же ритмично, как шагал, и вперил большие черные глаза в лицо Странника, а глаза Странника были закрыты, и он не видел ни Белого Верблюда, ни черных глаз Белого Верблюда.

«Меня создала тоска...»

Эта фраза начала приносить облегчение уставшему, измученному Страннику, и он задремал.

Странник сам не знал, спит или бодрствует, но он видел красную полосу рассвета и черную печаль в больших черных глазах черной вороны, и красное смешалось с черным, и получался темный серо-бурый цвет, потом к этому темному серо-бурому цвету примешалась степная желтизна, и все вокруг окутала светлая серость...

Когда Странник открыл глаза, белые облака рассыпались по всему небу, взошло солнце, и чистота небес очень далеко, на линии горизонта, соединялась с тянущейся, насколько хватает взгляда, гладью степных песков.

Странник, пробормотав молитву, провел рукой по лицу, встал, огляделся по сторонам и замер: Белого Верблюда не было.

И еще Странник увидел, что Белого Верблюда не украли, он сам ушел, потому что на песчаной гряде не было никаких других следов, кроме вдавленных, словно крупные печати, следов Белого Верблюда.

Следы Белого Верблюда тянулись до самой линии горизонта, где степь сливалась с небом, и исчезали.

Утолая в мелком песке чуть ли не по колени, Странник некоторое время шел по этим следам, но он хорошо знал местность и понял, что следы Белого Верблюда ведут в даль, в невозвратность, остановился, долго смотрел на тянущиеся по серо-желтому песку, точно тропинка, следы не к горизонту, а в никуда в какой-то иной мир, на тот свет.

Странник постоял еще некоторое время, посмотрел на тянущиеся, как тропинка, следы, потом повернул назад, совершил второй намаз в степи, нашел дорогу и пешком, к вечеру добрался до раскинувшегося лагерем у входа в Город каравана.

Ученики, слуги, рабы Странника после второго намаза, устремив взгляды на дорогу, ждали Белого Верблюда, но увидели своего господина — Странника пешим. Абиссинские рабы решили, что Странника ограбили в пути, отобрали Белого Верблюда, схватились за мечи, хотели, вскочив на арабских скакунов, поскакать за грабителями, но Странник жестом остановил их и сказал:

— Верблюд исчез...

Потом он подошел к разведенному костру, так же движением руки запретил сидевшим вокруг костра слугам вставать и сам, опустившись у костра, сел на сырую землю, устремил большие черные глаза в костер, горящий в той поемногу снова окутывающей мир мгле.

Отсвет костра падал на лицо Странника, и на дне больших черных глаз его стучалась глубокая печаль.

Никто не осмеливался заговорить, спросить что-либо: люди знали суровый нрав Странника.

Никто не осмеливался заговорить, но и ученики, и слуги, и рабы смотрели на Странника и думали про себя, отчего этот человек, которого, несмотря на суровость, порой даже жестокость, люди прозвали Велиюннама — Протягивающий руку помощи, — у которого драгоценностей, золота, добра в сто верблюжьих поклаж, у которого есть храбрые сыновья, храбрые зятья, из-за одного-единственного верблюда? — пусть даже это Белый Верблюд! — погружен в такую бездну печали?

Все сидели в молчании.

Все вокруг окутал мрак ночи, но тень глубокой печали не исчезала из глаз Странника.

Конечно, никто из сидевших в ту ночь вокруг костра не узнал, что глубокая печаль в глазах Странника походит на печаль в глазах черной вороны.

Все решили, что Странник горюет из-за пропажи Белого Верблюда.

Никому не пришло в голову, что в эти мгновения Странник думал: уйти бы и мне вместе с верблюдом...

Мама часто говорила: у кого что на лбу написано, то и сбудется, и когда мама это говорила, я думал: интересно, что написано у меня на лбу и кем я стану? Как буду жить? Интересно, неужели я и сам стану отцом? И у меня будут дети? И пройдет время — у меня волосы поседеть?

Прекрасные были дни...

Однажды мы играли в футбол в тупике, я сильно ударил ногой по мячу, он взлетел и ударил по руке моллу Асадулле, проходившего мимо, молла Асадулла разозлился и, потирая руку, накиннулся на меня.

— Ах ты туллаб! — закричал он. — Глаз у тебя нет, людей не видишь?

Туллаб у нас в квартале было ругательством, и, конечно, я знал, что это недоброе слово, потому что и взрослые, рассердившись, произносили его при нас (если бы это было неприличное ругательство, молла Асадулла не произнес бы его!), однако, что оно означает, я не знал.

Вечером я спросил у отца:

— Что такое «туллаб»?

Отец сказал:

— Ну, так бранятся у вас в махалле...

Ощущение чужака всегда было вместе с отцом, поэтому и махаллю, в которой жил многие годы, он называл «ваша махалля» (и от этого сжималось сердце, потому что я хотел, чтобы наша махалля была и махаллей отца).

— Что ты опять натворил, кто выругал тебя?

Я промолчал и назавтра, когда мы снова собрались вокруг Балакерима, спросил:

— Ты знаешь, что такое «туллаб»?

Ответ Балакерима меня удивил и обрадовал:

— Туллаб — это по-арабски «студент».

Все ребята нашей округи хотели, когда вырастут, стать шоферами, и, конечно, я тоже очень хотел, когда вырасту, стать шофером, как Джафар, как Адиль, как Абдулалли, как Джебраил (потом, как Агарагим), водить полуторку, и чтобы моя полуторка стояла перед тупиком, и стекла полуторки украшали кружева с помпонами, связанные мамой, но, когда Балакерим объяснил мне значение слова «туллаб», меня внезапно охватила радость: мне захотелось стать студентом, как Годжа, и я вспомнил слова Годжи, которые он сказал мне после того, как выслушал придуманную мной историю: «Выдумки выдумками, но ты станешь писателем, книги будешь писать!..» Слова Годжи прозвучали так необычно, показались такими диковинными, что я не знал, радоваться мне или что? К тому же после слов Годжи я вдруг вспомнил Саттара Месума, потому что Саттар Месум тоже был поэтом, то есть пишущим человеком, и страх, что кто-то когда-нибудь «продаст» меня, как Саттара Месума, сжал мое сердце...

А теперь, когда Балакерим объяснил мне значение слова «туллаб», в моем сердце не осталось и следа страха; у нас дома было три-четыре книги, и те я порвал, когда был маленький, половина страниц была выдрана, и я, придя домой, аккуратно сложил оставшиеся половинки

книг в мамин сундук, потому что я вырасту, стану студентом, потом стану писателем и заново допишу недостающие страницы...

Прекрасные были дни...

Книги эти до самого последнего времени хранились у меня на одной из книжных полок, но вырванные, потерянные страницы я не смог написать заново.

Однажды я не увидел на полке этих книг, и выяснилось, что дети вместе с ненужными газетами и журналами сдали их в макулатуру.

Я ничего не сказал детям.

VII

Как только нам в руки попадали мелкие деньги, мы бежали к дяде Мейрангулу покупать жевательную резинку или домашние леденцы в виде красных петушков на палочке, или матерчатый шарик на нитке со свинчаткой внутри, и дядя Мейрангулу всегда встречал нас ворчащим: «Опять явились? Не знаю, ей-богу, куда мне от вас деваться?...», как будто кто-то заставлял дядю Мейрангулу варить жвачку, петушков, шивать шарники и продавать нам, тетя Зиба была куда симпатичней, всегда улыбалась, всегда нахваливала свои семечки: «Чудные семечки, клянусь Богом, просто необыкновенное что-то... Покупайте на здоровье!». Тетя Зиба, даже когда у нас не было денег, могла насыпать в карман полстакана семечек даром, но мы привыкли к ворчливости дяди Мейрангулу и покупали жевательную резинку, покупали и облизывали красные петушки или, собравшись под тутовником в конце нашего тушика, вращали матерчатые шарик.

Двери дома дяди Мейрангулу открывались прямо на улицу (двора у них не было), и весной, летом, осенью, а в погожие дни и зимой, дядя Мейрангулу всегда сидел у своих дверей на улице, ставил перед собой деревянный табурет, который сам сколотил, и аккуратно раскладывал на этом деревянном табурете свой восхитительный товар. Всякий раз дядя Мейрангулу ворчал и придирчиво разглядывал полученные от нас монетки (как будто мы его обманем, вместо денег дадим что-нибудь другое или подсуем фальшивые деньги...), потом клал деньги в карман телогрейки в холодное время, а в теплое — в карман кофейного цвета рубашки и выдавал товар: жевательная резинка — десять копеек, петушок — пятнадцать копеек, игрушки — по двадцать копеек...

У дяди Мейрангулу был сын по имени Ибрагим, и вся округа знала, что дядя Мейрангулу для того с утра до вечера сидит на улице у своих дверей, чтобы Ибрагим хорошо одевался, чтобы у Ибрагима не было других забот, кроме как сидеть и сочинять стихи. Дело в том, что Ибрагим был поэт, и написанные Ибрагимом две строчки знали наизусть все парни нашего квартала:

Когда небо расстегнуло ворот, показалась луна!
Когда ты расстегнула ворот, показалось солнце!

Правда, Балакерим говорил, что это стихотворение Ибрагим украл: падишах Ануширван, путешествуя верхом на Белом Верблюде, увидел

купающуюся в озере Фахранду-ханум и произнес эти строчки, а теперь Ибрагим врет, будто это он сочинил. Говорили еще, что раньше, когда я был совсем маленьким, дядя Масйрангулу, собрав стихи Ибрагима, появившегося на свет после шести дочерей, показал их Саттару Месуму, и Саттар Месум, начиная читать первые строчки, наизусть декламировал конец, потому что все стихи Ибрагима принадлежали жившим ранее другим поэтам, но, во всяком случае, Ибрагим не крал деньги, не воровал одежду, а присвоение стихов было почтенным делом, и говорили, будто Ибрагим это стихотворение («Когда небо расстегнуло ворот, показалась луна! Когда ты расстегнула ворот, показалось солнце!») для Шовкет написал (или украл).

Дядя Мейрангулу не только торговал жевательной резинкой, шариками на нитках, клетками для соловьев, скалками, вырезанными из дерева ложками и другими подобными изделиями, но потихоньку, за деньги, наносил с помощью иглы и туши татуировку на руки, плечи, грудь соседних парней (приходили к нему и из других мест), разные надписи, рисунки; но теперь он больше этим делом не занимался, потому что однажды тетя Ханум пришла и во всеуслышание сказала: «Слушай, Мейрангулу, клянусь могилой твоего отца, если я еще раз увижу, услышу, узнаю, что ты кому-то на руке что-то написал или женщину нарисовал, ей-богу, Мейрангулу, я возьму тебя за шиворот и отведу в милицию, или я не дочь мужчины!» Конечно, дядя Мейрангулу знал, что от тети Ханум можно ожидать все что угодно, и, посмотрев на крупные, как у мужчины, руки тети Ханум, решил больше этим делом не заниматься, а торговать мелочью и лелеять своего единственного сына Ибрагима.

Говорили, будто тетя Ханум увидела на теле какого-то из своих сыновей рисунок, изображающий русалку, и потому так рассвирепела: мы про эту полуженщину-полурыбу не знали, но и у Джафара, и у Адюля, и у Абдулалли, и у Джебраила, и у Агарагима на руках были вытатуированы годы их рождения: у Джафара — 1915, у Адюля — 1917, у Абдулалли — 1919, у Джебраила — 1923, у Агарагима — 1925, только у Годжи на руке ничего не было. Правда, говорили, что Годжа где-то на теле вытатуировал имя Адилли, но говорить-то говорили, а видеть никто не видел. Годжа и шофером не был, но, несмотря на это, я любил Годжу больше всех в округе.

Иногда перед нашим тушиком выстраивались подряд четыре машины, те, которые водили Джафар, Адюль, Абдулалли, Джебраил; Агарагим тогда учился на курсах шоферов и иногда подвезжал к тушику на своей учебной машине, и перед нашим тушиком выстраивалось подряд пять машин. Порой тетя Ханум, положив еду в тарелки сыновьям, приехавшим на обеденный перерыв, выходила на улицу и смотрела на этот ряд стоящих друг за другом машин, как будто машины тоже были сыновьями тети Ханум.

Муж тети Ханум умер еще до моего рождения, но мне казалось, что семья тети Ханум всегда была такой: была тетя Ханум, и были Джафар, Адюль, Абдулалли, Годжа, Джебраил, Агарагим, а больше никого и не было; я не мог представить себе иной семью тети Ханум.

И Адиль, и Абдулали, и Джебраил водили полторки, и мы все гордились этими новенькими «ГАЗ-АА». Джафар водил автобус, его «ЗИС-16» тоже был совсем новеньким; иногда Джафар усаживал нас, ребятяшек, в свой автобус, катал по округе, и мы становились самыми счастливыми детьми на свете, и, когда полные зависти взгляды ребят соседних кварталов устремлялись на нас, мы вскидывали головы, считая, что мы и есть подлинные хозяева прекрасного автобуса.

А у Годжи машины не было, он не был шофером, но, несмотря на это, я любил Годжу больше всех, и Годжа был особенно ласков со мной; недаром именно он произнес слова, которые я никогда не забуду: «Ведумки ведумками, но ты станешь писателем, книги будешь писать!».

Потом я узнал и значение слова «туллаб», и слова Годжи вместе со словом «туллаб» произвели на меня такое впечатление, что иногда по ночам, улгнешись в постель, я не мог уснуть, меня охватывало какое-то волнение, беспокойство: я, конечно, не знал толком, что такое писательство, но сердце мое было полно прекрасного волнения, и в те бессонные ночи я гордился своим будущим почти так же, как машинами Джафара, Адилья, Абдулали, Джебраила...

...Древний философ изрек одну из самых мудрых и печальных истин на свете: все проходит...

...Однажды Годжа сказал мне:

— Хочешь пойти в цирк?

Я не поверил своим ушам, потому что за свою семилетнюю жизнь я ни разу не ходил ни в театр, ни в цирк, только в кино ходил, и, услышав слова Годжи, понял, что я накануне большого события в своей жизни, и почему-то перед глазами заиграли разноцветные разводы: красный смешался с зеленым, зеленый с синим, синий с желтым, желтый с оранжевым... Я подумал, что это цвета той радости, того счастья, накануне которого я пребываю, и по ночам, лежа в постели, перед тем как уснуть под храп отца (когда отец не храпел, я не мог спать, так привык к его храпу), я вновь увидел эти цветные разводы: краски перемешивались друг с другом, сверкали, и в их красных, зеленых, синих, желтых, оранжевых бликах была веселящая сердце теплая улыбка; иногда храп прерывался, и я, вздрогнув, возвращался в нашу маленькую комнату, в постель, постеленную на полу между столом и платяным шкафом, но потом отец снова начинал храпеть, и разноцветные разводы возникали опять, я ждал праздника, такого праздника, который был далеко от нашей маленькой комнаты, от нашей маленькой кухоньки, где и по ночам чувствовался запах керосинки, от нашего двора, тупика, переулка, улицы, округи, но как бы далеко ни был этот праздник, он однажды наступит...

...Я и теперь, вспоминая ту далекую пору, думаю: не странно ли, я представлял себе праздник непременно вдали от этой нашей маленькой комнаты, нашей маленькой кухоньки, нашего двора, тупика, переулка, тувовника, молоденькой ивы?..

...И вот Годжа сказал:

— Вечером пойдем в цирк.

Тому, что я пойду в цирк, мама радовалась так же, как я (потому что мама моя тоже никогда не была в цирке): днем быстренько выстирала

мою рубашку, высушила ее над керосинкой, выгладила, отгладила и брюки, аккуратно заштопала носки на пятках; вечером положила мне в карман сорок копеек, чтобы я купил себе в цирке конфет и лимонаду, и мы вместе с Годжой оправились в цирк.

Мы сидели в седьмом ряду, представление еще не начиналось, люди приходили по двое, по трое, глядя на билеты, разыскивали свои места, усаживались, и я гордился тем, что нахожусь среди этих людей, меня наполняли доселе не испытанные радость, волнение, и мне очень хотелось, чтобы мама тоже была здесь, и отец тоже, и чтобы у них на сердце было так же радостно, как у меня.

Я в жизни своей не бывал в таком огромном здании, среди такого множества людей, и свисавшие с куполообразного потолка цирка разнообразные веревки, лесенки, занавеси, светильники словно унесли меня в тот волшебный мир, о котором рассказывал Балакерим: иногда мне казалось, будто все это сон.

Я гордился тем, что нахожусь в этом круглом, высоком, ярко освещенном здании, среди такого множества людей, но я гордился и Годжой, мне нравилось, что проходящие мимо порой взглядывали на Годжу, потом на меня; я радовался, и доносящийся с цирковой арены конский запах, запах деревянных опилок делал эту радость не похожей ни на какую другую.

Годжа был первым человеком у нас в округе, который учился в институте, и первым человеком, который должен был стать врачом. Правда, Годжа не водил полторку на глазах у девушек квартала, украдкой выглядывающих из окон, не проезжал по улице, по переулку и не останавливался перед тупиком, но и толстые-престолые книги у Годжи под мышкой производили на обитателей квартала (в том числе и на девушек, украдкой выглядывающих из окон) не меньшее впечатление, чем машины Джафара, Адилья, Абдулали, Джебраила (впоследствии и Агарагима), а наши мамы, читая нам нотации, чаще всего приводили в пример Годжу: «Вот видите Годжу? И вы должны хорошо учиться, ходить в библиотеку, чтобы стать таким, как Годжа! Даже Мухтар, по вечерам выходя из черной «эмки» или по утрам садясь в нее, если видел Годжу, здоровался с ним.

В этот вечер я, гордясь собой и Годжой, вдыхая доносящийся с круглой арены конский запах, запах деревянных опилок (волшебный запах), ожидал начала представления (в сущности, для меня представление началось с той минуты, как я вступил в здание цирка!), как вдруг увидел Адилью. Адилья с какой-то девушкой разглядывала билеты, прошла и остановилась чуть поодаль и ниже нас, в третьем ряду, и, прежде чем усесться на свое место, осмотрела верхние ряды, увидела нас, тотчас отвела взгляд и села рядом с подружкой.

Я хотел показать Адилью Годже, мне казалось, что он так же счастлив и рад, как я, и мне хотелось, чтобы он еще больше обрадовался, но... показывать ему Адилью не было надобности: Годжа увидел Адилью и теперь тоже смотрел в ее сторону.

Я вдруг смугился и с трудом удержался, чтобы не заплакать, потому что сразу же понял, что мы пришли в цирк не потому, что Годжа меня любил и отличал, — мы пришли потому, что сюда должна была при-

йти Адлия, и Годжа потому меня сюда привел, что я был маленький и ничего бы не понял, что другие могли понять.

От недавнего веселья и радости ничего не осталось, я не ощущал больше прекрасный конский запах, запах деревянных опилок, хотел встать и с плачем убежать из этого огромного круглого, полного людей здания. Может быть, даже встал бы и убежал, но Годжа, отведя взгляд от Адлии, посмотрел на меня, улыбнулся, и я увидел белые-белые зубы Годжи и испугался: вдруг Годжа умрет, и эта странная мысль удержала меня.

А дело было в том, что некоторое время тому назад, в апреле, тетя Ханум, как обычно выглянув в окно веранды, позвала меня: «Алекпер, ай Алекпер! Опять я не могу продеть нитку в эту паршивую иглолку!» (Тетя Ханум с такими жалобами обращалась только ко мне.) Я бегом поднялся к тете Ханум, взял у нее, сидевшей над горой рубашек, трусов, носков, иглолку, вдел в ушко нитку и хотел бежать обратно в тупик, играть, но взгляд мой упал на стоявший в углу веранды письменный стол. Это был стол Годжи, и это был единственный письменный стол на все дома нашей округи (кому еще был нужен здесь письменный стол?), всегда на нем лежали разные книги и бумаги, но на сей раз здесь лежали крупные белые кости. Я, не удержавшись, спросил у тети Ханум, что это за кости такие, и тетя Ханум ответила, что это человеческие кости. Мне показалось, что я плохо понял тетю Ханум, и снова спросил, чьи это такие белые кости, и вновь тетя Ханум ответила, что это человеческие кости, а потом сказала, что Годжа принес эти кости из института и по ночам изучает их. Меня охватил ужас, ноги задрожали, и, выйдя от тети Ханум, я еще не один день чувствовал в себе эту внутреннюю дрожь. Никому я ничего об этом не сказал, потому что любил Годжу и не хотел, чтобы ребята плохо о нем подумали, но сам при виде Годжи пугался: белизна крупных человеческих костей на его письменном столе стояла перед глазами. День шел за днем, улыбка Годжи, как всегда, была мягкой и теплой, и постепенно я забыл холод белых-белых человеческих костей.

Но вот теперь, когда Годжа улыбнулся и я увидел белые зубы Годжи, мне вдруг вспомнились крупные человеческие кости, и я испугался, что Годжа вот-вот умрет...

Годжа зашептал мне на ухо:

— Мы ведь с тобой друзья?

Я кивнул.

Годжа снова зашептал мне на ухо:

— У нас одно слово, одни тайны?

Я снова кивнул, подтверждая слова Годжи.

Началось представление, но я не мог сосредоточиться, перед глазами все стояла белизна крупных человеческих костей, потом я посмотрел на Адлию: была видна одна сторона ее лица, и Адлия внимательно смотрела на арену цирка, но я чувствовал, что все ее мысли — с нами, вернее, с Годжой; потом я почему-то вспомнил Белого Верблюда, и мне показалось, что Белый Верблюд, ухватившись за кончик этой тайной близости, медленно подойдет и уляжется у дверей Адлии; я опять посмотрел на Адлию, испугался своих мыслей и выбросил их из головы.

От всех — и от ребят, и от мамы, и от заходивших к нам женщин — я слышал, что Адлия самая красивая девушка у нас в махалле, и теперь, глядя из седьмого ряда в третий, где сидела Адлия, я начинал сам понимать, начинал видеть то, что слышал от мамы, ребят, соседок, и, странно, черные глаза Адлии, белое ее лицо становились мне родными, во всем облике Адлии я ощущал что-то близкое и не отводил глаз от ее доходящих до колен, густых, каштановых волос, заплетенных в две косы, парни нашей и даже верхней махаллы, любящих Адлию, называли ее «Девушка с косами», а иногда махаллю нашу — «махалля Девушки с косами».

На посыпанной древесными опилками цирковой арене прыгали через голову акробаты, жонглеры в сверкающих трико, которых я видел впервые в жизни, вертели, подбрасывали и ловили какие-то фигуры, а я смотрел на Адлию и думал, почему тетя Ханум терпеть не может эту красивую девушку, девушку с такими косами, с такими каштановыми волосами?

Конечно, когда я ходил вместе с мамой в баню, в магазины или когда соседки собирались у нас, я слышал от них, что у тети Ханум когда-то был брат по имени Абузар и этот Абузар был влюблен в мать Адлии тетю Фатьму, но тете Фатьме Абузар не нравился, она вышла замуж за папагчи-шапочника Абульфата, отца Адлии. Тетя Сафура, растирая в бане маме спину, говорила: «Бедняга Фатьма, много ли хорошего увидела, когда Абузара отвергла, а за папагчи Абульфата пошла... А Абульфат, бедняга? День и ночь шапки шьет, несчастных дочерей кормит...»

У тети Фатьмы и дяди Абульфата, кроме Адлии, было еще четыре дочки; все четверо были замужем, но муж одной зарезал человека и сидел в тюрьме, муж другой уже несколько лет болел и не вставал с постели, да и у других двух дочерей жизни была несладкая, и все они вместе с кучей своих детей жили на средства шапочника Абульфата. Адлия, самая младшая, еще не была замужем, и тетя Сафура, растирая маме спину, говорила: «Клянусь Аллахом, я до сих пор и не видела такой красавицы, как Адлия, да хранит ее Бог!.. Ума хочешь — у нее!.. Скромности хочешь — у нее! А с этим дохтуром, сыном Ханум, они — Лейли и Меджнун!» Зачерпывая медным ковшиком теплую воду из таза и выливая себе на голову, тетя Фируза говорила: «Да вы что, не знаете, что Ханум зла, как верблюд?.. Разве она позволит, чтобы ее сын привел в дом дочь Фатьмы?.. Она не Ханум, а дерева кусок». Тетя Мешадиханум, разбавляя в тазу воду, говорила: «Сказали, ай Меджнун, милый, ведь это Лейли — чернушка, что ты увидел в ней, что так влюбился? А Меджнун, знаете, что ответил, а?.. Меджнун сказал, вы посмотрите на Лейли моими глазами. Абузар был видный, статный, да хранит аллах Годжу, парень был картинка, как и Годжа. Ну и что? А Фатьма, бедняжка, выбрала Абульфата, а Абузара не выбрала, потому что эта несчастная смотрела на Абульфата глазами Меджнуна... Но что было, то прошло! Чего еще хочет Ханум от бедной девочки? Если я помру, вы и без меня увидите: кто бы ни вышел за парней Ханум, несчастными будут!.. У Ханум душа джаллада!» Тетя Мешадиханум, как всегда, явнохватила через край, и на сей раз мама, растирая спину тете Сафуре, сказала: «Бог с тобой, что

¹ Джаллад — буквально: палач. Здесь: бессердечный.

ты! Нет человека, у которого сердце мягче, чем у тети Ханум! Не знаете вы ее...» А я, представив себе толстого и совершенно лысого шапочника Абульфата, искренне удивлялся, как на дядю Абульфата можно смотреть глазами Меджнуна?

Когда сама тетя Ханум бывала среди женщин, разумеется, ни тетя Сафура, ни тетя Фируза, ни тем более тетя Мешадиханум таких разговоров не вели; даже когда тетя Ханум сидела у себя дома, если разговор заходил на эту тему, женщины то и дело поглядывали на дверь — вдруг тетя Ханум зайдет...

Абузар умер от туберкулеза, и я видел только его портрет, но день, когда я увидел его портрет, навсегда остался в моей памяти, потому что в этот день я увидел две слезинки в глазах тети Ханум... Всех женщин махалли я видел плачущими, уж очень они были сердобольные (как моя мама) и, услышав худую весть, тотчас начинали плакать, только тетю Ханум я не видел плачущей, но однажды папа привез из Ростова соленых рыбок, и эти рыбки понравились моей маме: «Спасибо тебе, ай Агакерим, дорогой, как будто настоящая рыба из Элизели!» Рыбки так понравились маме, что она дала мне одну — отнеси в подарок тете Ханум, и я, поднявшись по деревянным ступенькам на второй этаж, пройдя через веранду тети Ханум, вошел в комнату и увидел на стене портрет Абузара, а поскольку я всегда доходил только до веранды (тетя Ханум, можно сказать, все время проводила на веранде, и я не ходил дальше веранды, но в тот день она была в комнате), портрет я увидел впервые и подумал, что это Годжа. «Это Годжа?» — спросил я, и вот тогда из глаз тети Ханум выкатились и скатились по щекам две слезинки. «Нет, это его дядя, мой несчастный брат Абузар, чахоткой заболел и умер, царствие ему небесное. Годжа очень на него похож...» Тетя Ханум не здоровалась ни с шапочником Абульфатом, ни с тетей Фатьмой, ни с их дочерьми, и все знали, что тетя Ханум видеть не может этих людей. Бедняга тетя Фатьма всегда была настороже; со страхом ходила в баню — вдруг тетя Ханум там окажется, с женщинами посидеть и посудачить болясь — вдруг тетя Ханум подойдет; в такой вот тревоге и жила в нашем квартале.

...Глаза Адили были устремлены на круглую арену, но я чувствовал, что все мысли ее — с нами, то есть с Годжой. В округе все знали, что Годжа и Адили любят друг друга; разговоры об этом были из тех, которые с особым интересом слушали я и мои товарищи; это была история, которую мы как тайну передавали друг другу. Правда, часовщик Гольага со своей женой Соной (маминой тезкой) у всех на глазах, при мужчине, даже при Алиаббасе-киши, ходили под ручку, что было даже для мужа и жены неммыслимо у нас в квартале, но к этому уже все привыкли, причем ни Гольага, ни Сола в жизни квартала не участвовали, ни с кем не дружили, всегда бывали только вместе, прямо-таки неразлучались друг с другом; но то, что Годжа и Адили любили друг друга, было совсем другое дело (они не были мужем и женой, хранили втайне свою любовь, против этой любви встала озлобленность и враждебность тети Ханум!), и нам казалось, что между этой историей, то есть между тайной любовью Адили и Годжи, и рассказами Балакерима была какая-то

связь, но когда порой вечерами мы собирались вокруг Балакерима и заговаривали об этом, Балакерим отвечал очень кратко: «Это история Ромо и Джульджулетты (так называл их Балакерим). Эту сказку написал один инглис¹. Ромо и Джульджулетте тоже родители не позволили соединиться, и оба умерли. Потом их отцы и матери раскаялись, но что после драки кулаками махать? Поздним раскаянием делу не поможешь...»

В тот вечер в цирке я, конечно, расстроился, но я смотрел на Адилю, смотрел на ее толстые каштановые косы, сверкающие в разноцветных прожекторах, свисающих с потолка, время от времени слегка касался руки сидевшего рядом со мной Годжи и всем сердцем, всем существом восстаивал против того, чтобы они умерли.

Меня томило беспокойство, причина которого была мне не ясна, отведя глаза от Адилы, пытался посмотреть на арену цирка, но взгляд независимо от меня самого снова возвращался к Адиле; помимо беспокойства в моем сердце появились странные чувства, но я не мог разобраться в них, не знал, радость это или печаль, и в это время Годжа снова зашептал мне на ухо:

— Мы ведь с тобой друзья? У нас одно слово, одни тайны?

Я снова кивнул.

Годжа вынул из нагрудного кармана пиджака сложенную треугольником бумажку, дал мне и зашептал:

— Отдашь ей. Сейчас будет антракт...

Я держал это треугольное письмо, и мне казалось, что от него по всему телу разливаются какое-то тепло, ласка; тепло и ласка смывали и уносили давешнее расстройство, обиду, и я снова начинал радоваться тому, что сижу в большом, светлом зале вместе с множеством людей, что сижу рядом с Годжой, что здесь находится Адили, вернее, что Адили и Годжа пришли сюда, заранее сговорившись; треугольное письмо, что я сжал в руке, как будто приобщило меня к любви Годжи и Адилы, связало с ними, как будто у нас и впрямь была одна тайна, и я чувствовал себя одним из героев тех загадочных историй, которые рассказывал Балакерим.

Начался антракт, и Адили вместе с девушкой, что сидела рядом с ней, поднялась, и они вышли из зала. Адили не взглянула в нашу сторону, но я почувствовал, что она с трудом удержалась, чтобы не взглянуть в нашу сторону, и мне стало жаль Адилю, я даже почувствовал, что глаза мои наполняются слезами.

Годжа удивленно посмотрел на меня:

— Что случилось?

Я поспешно произнес:

— Ничего... — и улыбнулся; цирковые огни засияли еще ярче сквозь пелену слез, заставшую мне глаза.

Годжа спросил:

— Отдашь письмо?

— Да, — сказал я, поднялся с места и вышел вслед за Адилей.

Разумеется, Адили и Годжа не могли встретиться на глазах у такого количества людей, не могли постоять, поговорить, потому что Адили

¹ Инглис — англичанин.

не была невестой Годжи, и если бы кто их узнал, заметил, господи, что бы он сказал!

В фойе было полно людей, и я с треугольным письмом, зажатым в руке, среди чужих людей искал Адилю и все больше тревожился: вдруг до конца антракта не смогу найти ее и не смогу отдать это письмо; конечно, я не знал, что там написано, но знал, что это прекрасное письмо и его надо непременно доставить Адиле.

— Алекпер!. Алекпер!..

Услыхав вдруг вот так, запросто, среди неизвестных мне людей свое имя, я сначала замер от изумления, а потом увидел Адилю, стоящую у буфета вместе со своей подругой.

Конечно, Адиля меня знала; знала, что я сосед Годжи, но никогда меня не называла по имени, никогда со мной не разговаривала и, по правде говоря, то, что Адиля позвала меня, так меня обрадовало, что давешнее чувство радости и гордости ни в какое сравнение с этим не шло.

— Алекпер!..

Я подошел к ним, сердце у меня заколотилось, язык пересох, я не знал, что делать, что сказать, но и Адиля, и ее подруга смотрели не на меня, а на треугольное письмо, зажатое в моей руке, потом Адиля спросила:

— Как ты, Алекпер?

Голос Адиле был так мягок, так приветлив, в нем было столько ласки, что мне показалось, будто это голос не Адиле, стоящей передо мной, а донесшийся из какой-нибудь таинственной истории Балакери-ма.

Я собрал все силы, чтобы собственный мой голос не дрожал, и сказал:

— Хорошо, спасибо.

Воцарилось молчание.

Проходящие мимо нас, прогуливающиеся по фойе люди иногда с интересом, порой даже с восхищением смотрели на каштановые, толстые и длинные косы Адиле, и, видя это, я гордился Адилей, Годжой, отношениями между ними и тем, что я причастен к этим отношениям, но волнение мое не проходило, сердце все так же колотилось, во рту было сухо.

Я не знал, отдать мне треугольное письмо Адиле при незнакомой девушке или нет? Сказать ли, что это письмо от Годжи, или нет? Адиля начинала краснеть и, наверное, тоже не знала, что сказать, самой ли взять у маленького Алекпера треугольное письмо или подождать? Девушка рядом с Адилей, глядя на меня, улыбнулась и вдруг сказала:

— Алекпер, мы с Адилей — как сестры, у нас нет тайн друг от друга...

И Адиля поспешно сказала:

— Да, мы с Тamarой как сестры, тайн у нас друг от друга нет...

VIII

Однажды я покупал на базаре гранаты, передо мной пожилая женщина тоже покупала гранаты: ощупывая, отбирала по одному и клала на весы. Продавец гранатов — парень в надвинутой на глаза огромной кепке «аэродром» — пытался взывать к ее совести:

— Ну так же нельзя, сестрица!. Ты все лучшие выбираешь себе, а остальные кто купит?

— Большому беру, — говорила пожилая женщина. — Пусть хоть отборными гранатами полакомится...

— Тогда бери кило за три рубля!

— Ты же сам сказал, что кило — два пятьдесят!

— Но я же не сказал, чтобы ты выбирала по одному...

Был студеной зимний день, и я, глядя на эту полную женщину, которой было тесновато темно-синее пальто, на покрытое морщинами лицо, на ее словно полинявшие водянистые глаза, на выбивающиеся седые волосы из-под такой же, как пальто, темно-синей шляпки, на тонкие следы от ножа на пальцах, свидетельствующие о том, что она целые дни проводит на кухне, вдруг узнал ее. Между этой пожилой женщиной и Тamarой, которую много-много лет назад я видел лишь однажды видел в цирке и еще раз на кладбище, не было никакого сходства, но в тот студеной зимний день на базаре я узнал ее тотчас, как увидел.

Располневшая пожилая женщина выбирала на базаре гранаты, и я с трудом сдерживался, чтобы не взять ее огрубевшие руки в свои, не спросить, куда девалась ее улыбка, не спросить, помнит ли она маленького Алекпера, что стоял перед ней в тот далекий весенний вечер в цирке, у буфета?

Продавец гранатов все ворчал:

— Так нельзя, сестра, ей-богу, так нельзя! Ты же все гранаты перебрала!..

— У меня тяжело больной, — говорила пожилая женщина, — иначе бы не выбирала...

— Тогда по три рубля заплатишь!

— Почему? Ты же сам сказал, по два пятьдесят!..

Но продавец гранатов стоял на своем:

— Я ж не говорил, чтобы ты выбирала по одному? У каждого свои заботы, сестра, ты выберешь все лучшие, а остальные кто купит?

— Я куплю, — сказал я. — Остальные мне продашь.

Пожилая женщина, обернувшись, взглянула на меня и, конечно, меня не узнала, но в ее водянистых глазах была признательность.

— Дело не в деньгах, — сказала она. — У меня и вправду дома больной, хочу, чтобы хорошие гранаты были.

— Понимаю, — сказал я.

Потом она положила килограмм гранатов в выдавшую виды кожаную сумку, заплатила и ушла.

Признательность в водянистых глазах пожилой, располневшей Тamarы в этот студеной зимний день сдавила мне сердце.

А в тот весенний вечер в цирке, стоя у буфета, я протянул Адиле зажатое в руке треугольное письмо; Адиля, быстро взяв письмо, открыла тоненькую сумочку, положила письмо, и Тамара так внимательно посмотрела на сумочку, будто хотела прочитать письмо Годжи прямо в сумочке, потом Адиля вынула из сумочки другое треугольное письмо, две шоколадные конфеты и сначала протянула мне шоколадные конфеты:

— Возьми, Алекпер, это для тебя...

Я смотрел на две шоколадные конфеты в руке Адилы; конфеты были завернуты в шуршащую бумажку, на бумажках были нарисованы алые маки, и я не знал, взять мне конфеты или нет, но потом, даже через много лет, когда я думал о двух шоколадных конфетах в руке Адилы, перед глазами у меня возникали не конфеты, не шуршащие бумажки, в которые были завернуты конфеты, не алые маки, а красивая, ласковая рука Адилы, и каждый раз мне хотелось, чтобы эта красивая, ласковая рука погладила меня по волосам, по лицу, и мне казалось, что эта рука была не только красивой и ласковой, но и печальной.

— Возьми, Алекпер, — мягко сказала Адиля. — Ешь на здоровье. Пусть хоть тебе будет хорошо, Алекпер...

После этих слов я взял из рук Адилы две шоколадные конфеты, потом Адиля протянула мне письмо:

— А это отдай ЕМУ, Алекпер...

Я взял у Адилы письмо и неожиданно подумал, как было бы прекрасно, если бы Адиля написала такое письмо мне, и эта внезапно пришедшая в голову мысль потрясла меня, а потом мне стало стыдно перед Годжой за свои мысли.

Я стоял против Адилы, письмо ее было у меня в руке, мне надо было уходить, отдать письмо Годже, но я не мог повернуться и уйти, может быть, я смущался? Может быть, это было от волнения, избытка впечатлений? Не знаю, я опустил голову, видел только ноги Адилы и концы ее длинных, толстых каштановых кос, потом мне вспомнилась Шовкет; конечно, я понимал, что Адиля и Шовкет — совершенно разные, но теперь я чувствовал, что в Адиле есть что-то от Шовкет. Я не знал, что это было, к тому же все говорили о Шовкет дурно, и я в те минуты, когда стоял против Адилы с опущенной головой, не хотел, чтобы так говорили и об Адиле, и само это непроизвольное сравнение было мне неприятно.

Годжа сидел на своем месте, я подошел к нему, протянул ему письмо, и Годжа, так же как Адиля, быстро взял у меня письмо, но не положил в карман, а в ту же минуту развернул и стал читать.

Была весна 1941 года, и я только осенью должен был пойти в первый класс, но сам уже выучил буквы и свободно читал. Годжа, держа перед глазами исписанный Адилей тетрадный листок в клеточку, читал, и я тоже, сосредоточив все свое внимание, стал читать обратную сторону письма, обращенную ко мне, и успел прочитать только одно четверостишие, навсегда оставшееся в моей памяти:

Письмо, к любимому спешу,
Пусть почта не обманет.
Не доберешься до Годжи —
Пусть мне конец настает.

Конечно, хорошо бы, если б вместо слова «почта» стояло мое имя, потому что письмо Адилы не по почте послала, а передала через меня, но все же, хоть в тех четырех строчках и не было моего имени, мне казалось, что они относятся и ко мне, говорят и мне эти прекрасные слова, ибо я тоже был участником этой переписки и тайной любви.

Потом Годжа перевернул тетрадный листок, и я опять, наклонив голову, сосредоточив все внимание, стал читать начало письма Адилы.

ПИСЬМО ЛЮБВИ

Желаю тебе еще большего счастья, чем у вольных птиц, парящих в небе, мой любимый. После этого пожелания дарю тебе мой привет, благоухающий розой, которую я лелею в самом глубоком углке моего сердца...

Дальше я прочитать не успел, потому что Годжа, аккуратно сложив письмо, положил его в нагрудный карман пиджака, и мы стали смотреть на арену.

Антракт закончился, началось второе отделение представления, и после обмена письмами между Адилей и Годжой, после прекрасных слов «Письма любви», подчеркнутых аккуратной волнистой красной линией, после необычайных слов ко мне вернулось светлое настроение цирка: оно было еще сильнее, чем прежде, и я, совершенно беззаботно, легко и заливисто смеясь, смотрел на арену, и Годжа, смеясь, смотрел на арену, и Адиля тоже смотрела на арену, и мне казалось, что к доносящемуся с арены запаху древесных опилок, конскому запаху примешался запах роз, я ощущал в себе свободу птицы; алость волнистой линии, проведенной под словами «Письмо любви», окрасила для меня весь цирк в цвет радости, и я был счастлив.

На арене громко разговаривали друг с другом два клоуна, у одного был огромный красный нос, у другого — брюки до колен, большой клетчатый пиджак, а сам он был совершенно рыжий.

Краснолицый сказал Рыжем:

— Счастливо оставаться, дорогой друг... Я ухожу...

— Уходите?

— Да. Навсегда ухожу из цирка. Прощайте!

— О, нет. До встречи!

— Мы больше не встретимся!

— Почему?

— Как почему? Я ухожу из цирка навсегда!

— Из цирка вы никуда уйти не сможете!

— Почему же?

— Потому что весь мир — это цирк! Куда бы ни пошли, все равно окажетесь участником представления!

Годжа прошептал:

— Он прав...

Я, кивнув головой, подтвердил слова, которые прошептал Годжа, но, конечно, ничего не понял из разговора Красного с Рыжим...

...прекрасные были дни...

...но мне было все равно, потому что я был переполнен радостью цирка, потому что к запаху древесных опилок, к конскому запаху принался аромат роз, потому что из глаз моих не уходила алость волнистой линии, проведенной под «Письмом любви», и эта алость была прозрачной, и я как будто смотрел и на арену, и на Адилю, и на каштановые толстые и длинные косы Адилы сквозь прозрачную алость.

Красноносый сказал:

— Ну что ж? В том цирке, о котором вы говорите, я больше не буду клоуном, не стану смешить людей. Довольно! Теперь пусть другие будут клоунами, а я буду смеяться! Я теперь изобретатель! Я сделал такое открытие, которое принесет мне огромный доход!

— Вы изобретатель? И что же вы открыли?

— Да так, кое-что...

Красноносый сунул руки в карманы брюк, едва доходящих до колен, горделиво стал прохаживаться по арене; глядя на нас, он нам подмигивал, и мы смеялись, и Годжа смеялся, и Адиля смеялась, и я хотел, чтобы Адиля всегда вот так смеялась.

Рыжий спросил:

— Ну скажите нам, что вы такое открыли?

Красноносый, снова подмигнув нам, сказал:

— Завидует, э-э-э!..

Рыжий сказал:

— Значит, вы нас обманываете! Ничего вы не открыли!

— Открыли!

— Что?

— Это одно из самых великих открытий на свете! По-вашему, возможна жизнь без будильника?

Рыжий подумал немного и сказал:

— Нет!

— Верно! Хотя и Рыжий, а голова неплохо работает!

— Что вы говорите?

— Ничего... Я изобрел нечто лучшее, чем будильник! Работать будет — безотказно!

— Очень странно... А что же за устройство у вашего изобретения?

— На первый взгляд очень простое.

— Э, на свете все просто: и родиться и умереть...

— А просыпаться рано утром?

— Да, это трудновато...

Адиля смеялась, и, когда Адиля смеялась, на щеках у нее появлялись ямочки, и мне казалось, что ямочки на щеках Адилы появляются только для нас с Годжей.

— Мое изобретение таково: берете свечу. Вот так. — Красноносый вынул из кармана белую свечу. — Я подсчитал, что эта свечка полностью сгорит за десять часов. Поэтому, видите, я линиями разделил свечу на десять частей. В двенадцать ночи вы ложитесь в постель. Утром, допустим, в шесть часов вы должны встать. Отрезаете от свечи четыре

части, остается ровно шесть частей. Потом зажигаете, кладете себе в рот. Свеча горит у вас во рту, а вы себе спите. Как только наступит шесть часов утра, вы чувствуете жар на губах и тотчас просыпаетесь! Ну, как?

— Занятно...

— Да гениально это! У вас язык не поворачивается сказать «гениально!», потому что вы не хотите, чтоб я ушел из цирка!

— Нет, дело в том, что ваше изобретение не всем подходит...

— Не подходит? Почему?

— Потому что, например, я сплю не на спине, а, наоборот, ничком...

— Ну и что?

— Как, ну и что? Как вы положите свечку мне в рот?

— Как?

— Вот именно!

— Ничего, пусть это вас не беспокоит! Я и для такого случая средство нашел...

Красноносый подошел и что-то шепнул на ухо Рыжему, никто ничего не услышал, но все закатились от хохота, и Годжа смеялся, и Тамара смеялась, только Адиля не смеялась, я издалека увидел, как Адиля покраснела, и спросил Годжу:

— Чему все смеются?

Годжа, смеясь, ответил:

— Не обращай внимания...

Я кивком головы согласился с Годжей: мол, хорошо, не буду обращать внимания, но одно я понял, раз Адиля не рассмеялась, раз Адиля покраснела, значит, в этой шутке было что-то неприличное, и, значит, Адиля — не как Шовкет, а раз Адиля — такая хорошая девушка, раз Адиля не такая, как Шовкет, тогда и тетя Ханум должна знать это, и мне очень захотелось, чтобы сейчас тетя Ханум была здесь и увидела, что Адиля не смеялась, что она покраснела.

Я думал обо всем этом, в сердце моем царили радость, веселье, но и давешнее беспокойство почему-то не оставляло меня, а на арене скакали лошади, и каждый раз, когда дрессировщик шелкал длинным кнутом, я вздрагивал, мне казалось, что сейчас и Белый Верблюд выбежит на арену, вместе с лошадьми пробежится по круту арены, а потом подойдет и ляжет перед Адилей. Однако вскоре беспокойство прошло, белых холеных лошадей со сверкающими, расчесанными гривами по круту арены заставил меня забыть обо всем, я опять с головой погрузился в радостное настроение цирка, снова ощутил аромат роз, и прозрачная алость была у меня перед глазами.

Когда представление окончилось, Годжа спросил:

— Ну, как?

— Хорошо!.. — сказал я.

— Я часто буду водить тебя в цирк.

После представления Адиля и Тамара встали с мест, вместе с толпой зрителей двинулись к выходу, а я держал Годжу за руку, и в моем сердце было немного печали, потому что и запах древесных опилок, и конский запах, и Красноносый, и Рыжий уже превращались в воспоминание, потому что и аромат роз, и то «Письмо любви», и волнистая крас-

ная линия, проведенная под словами «Письмо любви», превращались в воспоминание, и, наконец, тогда впервые за свою семилетнюю жизнь маленький Алекпер почувствовал, как «сейчас» переходит в «было», бессознательно ощутил, что воспоминания навсегда в прошлом и прошлое остается в вечности. Наверное, было так...

Вместе с людьми мы вышли в фойе, и в это время Адиля, выбрав момент, слегка повернула голову и один миг, всего один миг смотрела на Годжу, но в этом мгновенном взгляде Адиле словно таился аромат розы, и я невольно подумал: интересно, кто-нибудь когда-нибудь посмотрит так на меня? И в моем сердце появилось волнующее предощущение далекого будущего, в этом волнении было что-то заветное, что-то родное, несознательность этого волнения была светлой, была радостной.

Разумеется, и Годжа увидел этот мгновенный безмолвный взгляд: я почувствовал, как рука Годжи сжала мою руку, мне показалось, что мгновенный безмолвный взгляд Адиле пронизал все тело Годжи, я тоже сжал руку Годжи, и Годжа, взглянув на меня, снова сказал:

— Я часто буду водить тебя в цирк.

Адиля с Тамарой были впереди нас на десять-пятнадцать шагов, и из здания цирка первыми вышли они, а потом и мы. Я тотчас понял, что что-то случилось, понял, что произошло что-то худое. Адиля с Тамарой стояли посреди улицы, вернее, застыли посреди улицы, и я увидел, как, обходя людей, быстрыми шагами к Адиле направляется тетя Ханум. Младшие братья Годжи — Джебраил с Агарагимом — тоже были рядом с тетей Ханум.

Меня охватил ужас, от которого волосы встают дыбом, и даже теперь я не могу понять, как тетя Ханум узнала, что Адиля тоже в цирке.

Годжа, выпустив мою руку, пошел вперед, к Адиле, и я немного успокоился, думая, что Годжа защитит Адилю, что Годжа не позволит, чтобы тетя Ханум, как ястреб, снижающийся крутами, кинулась на Адилю, но Годжа, сделав два шага, поглядел на мать, остановился и дальше не пошел.

Тетя Ханум встала перед Адилей, Тамара взяла Адилю за руку, как будто хотела защитить Адилю от этого ястреба, но тетя Ханум не обратила на Тамару никакого внимания, грозным взглядом из-под широких бровей посмотрела Адиле прямо в глаза, еще крепче сжала тонкие губы, а потом сказала:

— Что, девушка! Ребенка в цирк заманиваешь?! Думала, я не узнаю? Что ты за ведьма, а?! Ну да яблоко от яблони недалеко падает!..

Только что вышедшие из цирка люди останавливались, кто с удивлением, кто с любопытством смотрели то на тетю Ханум, то на девушку с длинными косами, и я, хотя и не видел в темноте, но чувствовал, что лицо Адиле пылает, чувствовал, что Адиля в полном отчаянии и не знает, что делать.

— Что за бесстыжая девка ты, а?! — сказала тетя Ханум.

Адиля вдруг словно пришла в себя и как безумная бросилась от нас. Тамара с криком: «Адиля!.. Адиля!..» — помчалась за подругой.

Тетя Ханум прикрикнула на Годжу:

— А ну иди впереди меня!

Годжа посмотрел на тетю Ханум, на беззвучно стоявших рядом с ней Джебраилом и Агарагимом, потом медленно подошел к братьям, и я почувствовал, что Годжа не хочет смотреть на меня, но мне это было уже безразлично: Годжа мог смотреть на меня, мог не смотреть, я больше не любил его.

В тот весенний вечер по безлюдной и чужой улице я шагал рядом с Годжой, с Джебраилом, с Агарагимом, тетя Ханум шла за нами, но мне казалось, что человек, шедший за нами, — это не тетя Ханум, которую я каждый день вижу во дворе, для которой вдеваю нитку в иглолку, чьи гостинцы ем, а тот хлещущий бичом дрессировщик в цирке.

Тетя Ханум никому ничего не говорила, и я, шагая рядом с Годжой, думал только о том, чтобы поскорее уйти, и мешал мне убежать не страх заблудиться, конечно, как-нибудь добрался бы: мне не давал убежать страх перед идущей за нами тетей Ханум, я боялся тетю Ханум. Я сделал только одно: отошел от Годжи и пошел рядом с Агарагимом, и Годжа, не удержавшись, посмотрел на меня, а я не взглянул в его сторону.

Пройдя по туннику и войдя во двор, я ни с кем не попрощался и пошел прямо домой. Мама не спала (отец был в очередном рейсе), ждала меня и, заранее радуясь за меня, спросила:

— Ну, как? Понравилось?

Я не ответил.

— Что с тобой? — снова спросила мама.

Я и на этот раз не ответил.

В свете десятилиннейной керосиновой лампы мама с удивлением посмотрела на меня, и я, не в силах больше сдерживаться, расплакался.

В тот весенний вечер я лег в постель, но уснуть не мог, сон не шел ко мне, и вдруг мне вспомнились шоколадные конфеты, что дала Адиля, и я подумал, что сохранил эти конфеты навсегда, что эти конфеты всю жизнь будут напоминать мне об Адиле, потом, не знаю, то ли я уснул и видел сон, то ли у меня началось что-то вроде бреда, но перед глазами мелькала то Красноносый, то Рыжий, и вдруг появилась совершенно высохшая, как палка, роза, — я глядел на нее с ужасом, — потом я почувствовал запах древесных опилок, конский запах, прыгали акробаты, потом я увидел упавшую на землю подстреленную птицу, и из груди птицы текла ярко-красная кровь.

Иногда, когда нам, ребятишкам, попадала в руки старая камера от шини, мы нарезали тонкие резинки и делали из них рогатки, мелкими острыми осколками бульжников подбивали воробьев, и в ту весеннюю ночь все подбитые воробьи собрались в кучу, и ярко-красная кровь, льющаяся из грудок, постепенно превращалась в волнистые линии, потом волнистые линии становились ярко-красным морем и смывали слова «Письмо любви», и красивые, ласковые руки Адиле тоже исчезали следом за словами «Письмо любви», красивые, ласковые руки исчезали, тонули в ярко-красном море; потом я вдруг видел Шовкет: сидя на лавочке у ворот, Шовкет грызла семечки, порой подмигивая мне, громко смеялась и вдруг проворно вскакивала и уходила к себе домой, потому что с другого конца нашей улицы шла тетя Ханум; тетя

Ханум приближалась, проходила прямо передо мной, и я, глядя на плотно сжатые тонкие губы тети Ханум, на ее глядящие из-под широких бровей черные суровые глаза, не боялся, напротив, мне хотелось остановить тетю Ханум, хотелось сказать тете Ханум, что Адиля — хорошая девушка...

...теперь моя дочь учится на четвертом курсе университета, Адиля, наверное, года на три-четыре была младше моей дочери.

...но я ничего не мог сказать тете Ханум, и тетя Ханум, как всегда прямо держа голову, шла быстрыми четкими шагами.

После того вечера я некоторое время, видя Годжу, делал вид, что не вижу его, и Годжа тоже как будто обходил меня стороной, потом понемногу мы снова стали разговаривать, но в моем сердце осталось что-то от того весеннего вечера (я и сам не знал, что это), и, кажется, мы больше никогда не были с Годжой так близки, как прежде.

Конфеты я довольно долго хранил как память, но однажды сын дяди Мейрангулу поэт Ибрагим показывал у себя дома кино (у поэта Ибрагима был аппарат, демонстрирующий диафильмы, и иногда, собирая со всех ребят из окрестности по двадцать копеек, он показывал на стенке эти рисованные фильмы); у меня не было двадцати копеек, и я вместо денег дал поэту Ибрагиму две конфеты. Мне было стыдно за это, но одно обещание, данное себе в тот весенний вечер, я сдержал: долгое время не стрелял в воробьев, но пришел весенний голод, и я опять стал стрелять в воробьев.

Иногда я встречал на улице Адилю — она шла либо домой, либо из дому выходила, и всякий раз, когда она замечала меня, глаза ее становились приветливыми; Адиля, возможно, обиделась на весь свет, но на меня не обиделась, и эта невысказанная, скрытая дружба между нами была тайной моего сердца, и в этой тайне была какая-то теплота.

В начале войны я однажды сидел у электрического столба на нашей улице, строгал кончики деревянных палочек, которые мы, состязаясь в меткости, метали в землю, в это время мимо меня проходила Адиля, остановилась и мягким, полным ласки голосом спросила:

— Как дела, Алекпер?..

Я почувствовал не только мягкость, не только ласку — почувствовал в голосе Адилы какую-то печаль и ничего не сказал; встал перед Адилей, почему-то опустил голову и устремил взгляд на концы длинных ее кос. Адиля погладила меня по волосам и ушла.

Некоторое время я постоял так, с опущенной головой.

Что же касается цирка, то мы с Годжой больше ни разу не ходили в цирк.

Все это надо написать...

Х

Сегодня вечером, сидя в своей рабочей комнате, я курил сигарету, вошла Эсмер, пристально посмотрела на меня и спросила:

— Что с тобой?

— Не знаю... — сказал я.

С начала она удивленно взглянула на меня, потому что в последнее время на этот часто задаваемый ею вопрос я, отвечая «ничего», улыбался, а Эсмер почему-то беспокоилась, вновь и вновь под разными предлогами входила в мою комнату, полным тревоги взглядом искала что-то в моем лице, в глазах, но на этот раз я сказал «не знаю» и не улыбнулся.

Она повторила вопрос:

— Я спрашиваю, что с тобой?

— А я говорю, не знаю... — сказал, посмотрев на Эсмер сквозь сигаретный дым и не улыбаясь.

Она снова пристально оглядела меня и вдруг сама улыбнулась, давно я не видал такого умиротворения в лице Эсмер; мое «не знаю», мою серьезность она истолковала как полную открытость и безопасность для себя: раз я ничего не скрываю, не улыбаюсь фальшиво, значит, все хорошо... А может быть, я действительно не в состоянии улыбнуться и действительно «не знаю»... Тогда как?

XI

До войны, особенно перед весенним праздником Новруз-байрамом, женщины, каждая со своей мукой, маслом, другими продуктами, часто собирались у нас и вместе с мамой пекли пирожки с сахаром и орехами — шекербура, слоеный пирог-лахлаву, соленые колобки-шоргогалы; иногда просто так, в будний день уговаривались готовить лакомые блюда у нас дома; без умолку говорили, сообщая месили тесто, сообщая мелко рубили мясо (что купили вечером, собрав деньги, у мясника Дадашбалы) секачом на доске, нарезали кусочки теста, и аромат плоских пирожков с мясом — кутабов распространялся по всему тупику, а вечером каждая забирала свою долю; поскольку аромат кутабов разносился на весь тупик, семье, не участвовавшей в этой затее (в том числе и тете Амине), посылали по три-четыре кутаба в подарок.

До войны женщины чаще всего собирались и стряпали у нас, потому что отец часто бывал в рейсе, мужчин в доме не было, и они никого не стеснялись, говорили о чем угодно и сколько угодно.

Тетя Сафура, раскатывая скалкой тесто, говорила:

— Эх, на свете есть такие места, такие горы, как в сказке. Эйнулла говорит, что в этих горах бьют ледяные родники — кружкой зачерпнешь, выпьешь, и всех твоих горестей и забот как не бывало.

Тетя Мешадиханум, предпочитавшая работу полечче, укладывая горкой готовые кутабы, откликнулась:

— Выпила бы я такую кружку разом, может, и мне светлый денек бы выпал.

Тетя Фируза, лепя крохотные дюшберы¹, заметила:

— Есть такие места, конечно, почему нет? Хафиз говорит, в Москве теперь дома так строят, что по лестницам уже пешком не поднимаешься. Саднишься в машину, тебя поднимает наверх. И к тому же без денег, представляешь!..

¹ Дюшбере — азербайджанское национальное блюдо. Напоминает пельмени.

Тетя Ниса, парезая раскатанное тесто на круги величиной с блюдце, говорила:

— Эх, все зависит от того, где тебе хорошо. Где тебе хорошо живется, там и место хорошее!..

Сидя у керосинки, переворачивая кутабы на чугунной сковородке, мама сказала:

— Эх, Агакерим такое рассказывает про русские города и села, ей-богу, голова кругом идет!.. Он говорит!..

Тетя Ханум, отрезая от теста новые кусочки, прервала маму на полуслове:

— Как вам не стыдно? Что вы ноете? Чем недовольны? Что ворчите, а? Почему это здесь вам так плохо стало?

Грозным взглядом из-под широких бровей тетя Ханум оглядывала по очереди тетю Сафуру, тетю Мешадиханум, тетю Фирузу, тетю Нису, маму, и все они тотчас умолкали и некоторое время так вот молча работали, старались не смотреть на тетю Ханум, но в конце концов тетя Мешадиханум не выдерживала, заговаривала о другом:

— Ей-богу, Мухтар — хороший человек, пусть говорят, что хотят! Кюбра — бездетная, да еще такая больная, а Мухтар ее не бросает... Ей-богу, всякий на месте Мухтара женился бы на другой, детишек завел... Ну и что же, что у него уши маленькие?..

Но тетя Ханум и на этот раз прикрикнула на тетю Мешадиханум:

— Хороший, плохой, его дело! Нам-то что? Что нам за дело до ушей Мухтара, а?

После этого у женщин вовсе пропадала охота судачить, и они начинали торопиться, чтобы побыстрее закончить и уйти, потому что тете Ханум они грубить не смели и при тете Ханум сплетничать не смели, будь то у нас дома, в бане или на улице. Например, в бане тетя Мешадиханум, глядя на вздутый живот тети Фирузы, говорила: «Как только поняла, что беременна, надо сразу же закрыть глаза, если хочешь, чтобы был мальчик; потом ты должна подождать, чтобы луна взошла, открыть глаза, чтобы первой увидеть луну, а если, наоборот, девочку хочешь, тогда надо первой увидеть солнце...» Тетя Ханум вонзала свой черный взор в тетю Мешадиханум и спрашивала: «А может, зима, может, солнце целую неделю не выйдет, тогда как? Глаза не открывать?» Тетя Мешадиханум отвечала: «Да». Тетя Ханум говорила: «Слушай, пойди закажи молитву, чтобы поумнеть!». Взрослая женщина, а такую чушь порешь, людям головы забиваешь! Или, например, когда я, прежде чем налить в чайник свежей воды из нашего дворового крана, выливал кипяток на землю, мама кричала: «Не лей, не лей горячую воду на землю! Попадет на джинна, обожжет, в беду попадем!..» Тетя Ханум, не удержавшись, с веранды ворчала на маму: «Слушай, Соня, ну что ты такое говоришь, зачем ребенка пугаешь?» Мама отвечала: «Как быть, тетя Ханум, люди так говорят, да...» — «А может, люди начнут биться головой о стенку, ты тоже будешь?» Мама умолкала, не оправдывалась; я никогда не видел, чтобы у нас в квартале какая-нибудь женщина перечила Ханум-хале.

Что до Мухтара, о котором говорила тетя Мешадиханум, то он жил по соседству, но, в сущности, не был «нашим»: государство дало ему

квартиру на втором этаже единственного трехэтажного дома в нашей махалле, и каждое утро за ним приезжала черная «эмка». Эта же машина привозила Мухтара с работы. Никто не знал точно, какую должность занимает Мухтар, но шофер стоял перед ним навытяжку. Мухтар никогда, как другие мужчины, наши соседи, в выходной день не играл в нарды, сидя на тротуаре, не пил чай под тутовым деревом, не принимал участия в свадебных или траурных церемониях, ни с кем не разговаривал, только здоровался кивком головы и садился в «эмку» или выходил из нее и шел домой. Осенью, зимой и весной на Мухтаре всегда был длинный черный кожаный пиджак, говорили, что под этим пиджаком у Мухтара пристегнут к поясу пистолет; на голове у него тоже красовалась кожаная шапка, а летом он надевал застегнутую на все пуговицы темно-кофейного цвета рубашку; обут он был в черные хромо-вые сапоги, а темно-кофейные галифе Мухтара были знамениты на всю округу. И еще в квартире Мухтара провели телефон (в махалле больше ни у кого не было телефона), и перед Мухтаром робели, потому что робели перед телефоном, перед черной машиной, перед черным кожаным пиджаком.

Кроме женщин-соседей, никто в махалле, даже дети, не любили говорить о Мухтаре, но однажды распространилась весть, будто Мухтар по ночам пьет коньяк из пупка Шовкет, это рассказывали молодые парни, потом услышали мальчишки, и мне тоже сообщил эту новость Джафаргулу (по возрасту он был старше нас, но младше парней и потому обычно общался с нами, но иногда крутился и среди парней). Я сначала очень удивился:

— А почему из пупка Шовкет?

Джафаргулу удивился моему удивлению:

— Как это почему?

— Пусть нальет в стакан и пьет!..

Джафаргулу махнул рукой:

— Эх ты... Да ты же ничего не понимаешь, оказывается!..

Мне не хотелось выяснять, что именно я не понимаю, потому что я чувствовал, что здесь что-то дурное, а маленький Алекпер, наверное, в глубине души не хотел слушать дурного о Шовкет, и потому я не спросил ничего у Джафаргулу, но вдрут перед моими глазами возник белый гладкий живот и глубокий пупок Шовкет.

Дело в том, что прежде, когда мама брала меня с собой в женскую баню, там часто бывала и Шовкет, и на белом и полном теле, гладкой коже, круглых бедрах Шовкет в отличие от других женщин не было ни одной морщинки; Шовкет всегда смеялась, всегда была в хорошем настроении, и здоровое, полное, налитое тело Шовкет тоже словно смеялось и радовалось.

Однажды в бане Шовкет внимательно посмотрела на мои волосы, потом наклонилась ко мне, взяла мою голову в ладони, притянула к себе, и крупный мокрый сосок упругой торчащей груди Шовкет коснулся моего лица, потом Шовкет громко сказала женщинам:

— Смотрите, у него на голове три седых волоска!.. Счастливец вырастет, счастливец будет! — Шовкет отпустила мою голову, выпрямилась, и упругие груди оказались выше моей головы.

Маме тоже, как и другим соседским женщинам, не нравилась Шовкет, но слова, сказанные в бане, пришлись ей по душе.

— Да услышит тебя Аллах! — сказала она.

Однажды, когда я, как обычно, смотрел на Шовкет в бане, она отвела от лица мокрые черные волосы, взглянула на меня сияющими большими зеленоватыми глазами, потом вдруг подмигнула, расхохоталась и сказал моей маме:

— Слушай, Сона, а он ведь ест меня глазами, зачем ты водишь его сюда?

Я так смутился, что лицо мое запылало; я не знал, что делать, но в хохоте Шовкет, в сиянии ее больших зеленоватых глаз, как и в белом, полном теле, гладкой коже было что-то такое, что я на нее не обиделся.

После этого происшествия я больше никогда не ходил с мамой в женскую баню; как мама ни старалась («Черт с ней! — зло ворчала она на Шовкет. — Почему ты из-за шуток какой-то стервы не идешь в баню?»), я все-таки не ходил, и вообще, я не хотел, чтобы мама говорила об этом, и не хотел, чтобы Шовкет ругали, чтобы Шовкет называли стервой; я больше ни разу не пошел в женскую баню, и после этого мама стала купать меня на кухне, грея воду в ведре.

Шовкет жила несколько в стороне от нашего тупика, около раздвоенного тутового дерева, и дверь ее одноэтажного, побеленного желтоватой известью дома открывалась прямо на улицу. Шовкет жила одна, отец и мать ее давно умерли, и у нас в махалле никто их не видел, потому что Шовкет тоже, как и Мухтар, была здесь пришлой. Мама говорила, что в том двухкомнатном домике, где теперь живет Шовкет, прежде жила семья кровельщика Мирзы, потом семья кровельщика Мирзы переселилась в Мардакяны, а дом продали Шовкет; откуда у Шовкет были такие деньги, никто не знал, и когда заходил среди женщин об этом разговор, они многозначительно переглядывались, как говорили, у нее был старший брат, но он с Шовкет не общался и не разговаривал, потому что Шовкет когда-то сбежала с женатым мужчиной, а потом этот мужчина из-за чего-то ее выгнал.

Шовкет попросила дядю Мейрангулу, и дядя Мейрангулу сколотил ей скамью рядом с раздвоенным тутовым деревом (тот день я хорошо помню: дядя Мейрангулу сколачивал скамью, а дядя Азизага, стоя на противоположном тротуаре, наблюдал, и между ними произошел тогда не понятый мной разговор: «Мейрангулу, здорово ты стараешься...» — «Э, Азизага, в мои лета я мед через стекло слизываю. На другое сил не хватит!..» (дядя Азизага громко рассмеялся); и Шовкет весной, летом, в начале осени по вечерам после работы или в выходные дни с утра до вечера, сидя на этой скамье, лузгала купленные у тети Зибы семечки, здоровалась, шутила, смеялась, хохотала с прохожими; иногда Шовкет вскакивала и заходила в дом, и это означало, что на улицу вышла тетя Ханум. Почему Шовкет так боялась тети Ханум, никто не знал, и когда мы спрашивали об этом Балакерима, он говорил: «Разве вы не знаете, что ужаленный змеей пестрой веревки боится?..» Мы, конечно, смысла этих слов тоже не понимали, но, как всегда, делали вид, что все поняли, и спрашивали у Балакерима, почему Шовкет так хохо-

чет? Балакерим говорил: «Верблюду сказали, у тебя шея кривая! Он ответил, а что у меня ровное, чтобы шея тоже была ровной!» Мы и этих слов не понимали (я, во всяком случае, ничего не понимал!), но понимали, что слова, сказанные Балакеримом, не в пользу Шовкет, и я этому удивлялся, потому что в махалле все знали, что Шовкет щедро оделяла Балакерима печеньями, конфетами, пряниками, пирожными, которые приносила с фабрики, и Балакерим часто был сыт именно за счет этих даров.

Шовкет работала на кондитерской фабрике, и карманы ее просторного длинного цветастого халата всегда были полны конфет. После той истории в бане она иногда мне подмигивала и, вынув из кармана конфету, протягивала. «Возьми, хорошая конфета, ну бери...» — говорила она, но я убежал, боялся, что если подойду, Шовкет схватит меня за руку, удержит и, глядя мне в лицо, расхохочется, как в бане, я убежал, а Шовкет, смеясь, приговаривала мне вслед: «Этот еще не знает вкуса конфеты!..»

Молодых девушек и женщин махалли тайно тянуло к Шовкет; в летнее время, в разгар дня, когда на улице никого не было (только Шовкет, сидя в тени раздвоенного тутовника, лузгала семечки), они, направляясь в магазин за чаем, маслом или в лавку за керосином, если выдавался удобный случай, останавливались около Шовкет, слушали, как она, сидя в тени раздвоенного тутта и лузгая семечки, говорит и смеется.

Шовкет говорила:

— Клянусь Богом, у меня часы испортились... Хочу отнести Гюльаге, чтобы починил, да боюсь его жены!..

Шовкет говорила это хохоча, и собравшиеся вокруг нее молодые девушки и женщины, не в силах удержаться, тихонько посмеивались, но при этом краснели и опускали глаза.

Я удивлялся, почему девушки и женщины краснеют, смущаются от этих слов Шовкет, и однажды спросил у мамы:

— Я слышал, как Шовкет говорила: у меня часы испортились, хочу дать Гюльаге починить...

— Ну и что? — сказала мама.

— Вот и спрашиваю... Что тут такого, что женщины краснеют?

Меня охватило полное изумление, когда мама, посмотрев на меня, вдруг тоже сильно покраснела.

Правда, я немного побавился Шовкет, мне было даже как-то тревожно из-за Шовкет, но, как я уже говорил, мне не хотелось, чтобы о ней дурно говорили, и когда Джафаргулу сказал, что Мухтар пьет кофеек из пупка Шовкет, мне хотелось всем сказать, что это неправда, хотелось уверить, что такого быть не может, но, конечно, никто бы мне не поверил, мои слова не имели никакого веса, потому что я был самым младшим среди товарищей; а сам я понимал, что сказанное Джафаргулу, может быть, и не обман, знал, что между Шовкет и Мухтаром есть что-то тайное, потому что однажды сам видел их... ночью...

Джабраил соорудил для меня в конце нашего двора, рядом с голубятней, ящик из досок, и я держал в этом ящичке свои игрушки. Однажды ночью я проснулся от шума дождя и некоторое время слушал, как

дождь стучал по крыше нашего дома, по дверям, по асфальту, потом сквозь шум дождя услышал неурочное воркование голубей и вспомнил, что игрушки мои остались под дождем (доски ящика были пригнаны неплотно, дождь проникал внутрь), и, чтобы мама не проснулась (отец, как всегда, был в дороге), я тихонько встал, накинул мамин платок и вышел во двор, я никогда в жизни не видел наш двор таким пустынным, мне показалось, что двор наш тоже спит, некоторое время, стоя под деревянной лестницей тети Ханум и плотно завернувшись в мамин платок, я наблюдал за одиночеством нашего двора, слушал воркотню голубей, журчание воды в водосточных трубах, шум дождя, бьющего по крыше, по асфальту; меня так захватило волшебство одинокого двора, этого журчания и шума, что игрушки вылетели у меня из головы, и я, съездившись под маминим платком, выбежал из дворовых ворот в тупик, и тупик наш увидел совершенно пустым, каким никогда не видел, и мне показалось, что это не тот тупик, где я с утра до вечера играл в футбол, энзели¹ («Коза вошла в огород!.. Влегал камень коза в рот!.. Отвели ее к врачу!.. Врач промолвил: не хочуй!..»), вращал матерчатые шарики со свинчаткой внутри, прыгал и скакал, в ту полночь под проливным дождем тупик был частью историй Балакерима; я выбежал в переулок и переулок наш увидел таким же пустынным, залитым дождем: все огни погасли, все окна спали, только слегка поблескивали булыжники, которыми был вымощен наш переулок, да листья раздвоенного тутового дерева; и в это время я стал свидетелем самого неожиданного: отворилась наружная дверь дома, где жила Шовкет, и мужчина, выйдя оттуда, быстро зашагал вниз по улице и исчез у дверей трехэтажки.

Правда, было темно, лица мужчины не было видно, но я тотчас узнал его по блеску кожаного пиджака, смоченного дождем: это был Мухтар, и вообще даже без кожаного пиджака маленький Алекпер узнал бы эту тень.

Дрожа от холода, я вернулся, лег в постель, укрылся одеялом с головой, после промокшего маминного платка одеяло обдало меня домашним теплом, и я подумал: интересно, что делали Шовкет с Мухтаром в это ночное время в доме Шовкет? Сколько ни думал, не мог найти подходящего ответа, но вот что было для меня открытием: оказывается, и у нашей махаллы есть ночные тайны... Еще некоторое время я прислушивался к шуму дождя, воркотне проснувшихся голубей, журчанию в водосточных трубах и пришел к заключению, что Шовкет не хотела в такую ночь оставаться одна, поэтому они сидели и беседовали с Мухтаром, но почему с Мухтаром? Перед глазами возникли маленькие уши Мухтара, и я в эту дождливую ночь в разостланной на полу постели никак не мог в своем воображении соотнести Мухтара ни с этой ночью, ни с Шовкет; и потом, ведь жена Мухтара, тетя Кюбра, осталась дома одна... Снова я прислушивался к шуму дождя, воркотне голубей, и, по правде сказать, в ту дождливую ночь мне тоже захотелось встать и побеседовать с кем-нибудь, я даже собрался разбудить маму, но не разбудил, потому что весь день она стирала во дворе и устала.

¹ Энзели — азербайджанская детская игра.

Я никому не рассказал о том, что видел в ту дождливую ночь, даже Джафаргулу ничего не сказал, потому что, хотя я не мог понять, что могли делать в ночное время Шовкет с Мухтаром, но хорошо знал, что, если расскажу кому-либо эту историю, она тотчас разнесется по махалле и наши мужчины если и не убьют Шовкет (в доме не было ни брата, ни отца, чтобы убить Шовкет), то, во всяком случае, прогонят в другой район города; хотя Шовкет подмигивала мне, лгузгая семечки, и громко хохотала, и я немного побавлялся Шовкет, мне не хотелось, чтобы ее прогнали из квартала, и еще, мне не хотелось, чтобы тете Кюбре стало совсем плохо.

Иногда, когда Мухтар, усевшись в черную «эмку», уезжал на работу, тетя Кюбра, выглянув из окна веранды второго этажа трехэтажки, звала нас:

— Идите сюда, ушаглар¹, идите!.. Поднимайтесь наверх!

Все мы — окрестные детишки — по каменной лестнице поднимались на второй этаж, сняв обувь, входили в комнату и рассаживались вокруг круглого стола посреди комнаты. У нас в домах никогда не пекли пирожков, и мы думали (во всяком случае, я так думал), что пирожки пекут только на улицах, в школьных буфетах, но потом обнаружил, что тетя Кюбра тоже печет очень вкусные пирожки с мясом, картошкой и горохом. Раз в неделю или десять дней тетя Кюбра пекла для нас пирожки, и мы, садясь за круглый стол, накрытый скатертью с бахромой, ели пирожки.

Мама с соседками говорили:

— Бедняга Кюбра, переживает за детей!

Они не сердились, что мы ходим туда и едим испеченные тетей Кюброй пирожки.

Тетя Кюбра всегда задыхалась, она приносила из кухни тарелку, полную горячих пирожков, ставила перед нами, и я каждый раз удивлялся, что тетя Кюбра так тяжело дышит, хрипит, с трудом передвигается, потому что однажды я слышал, как тетя Мешадиханум говорила маме, что у мужчины с маленькими ушами жены бывают красивыми: у Мухтара уши были очень маленькими, но тетя Кюбра была некрасивой... Зато Шовкет была красивой, и, когда я думал об этом, перед моими глазами возник белый, гладкий живот и глубокий пупок Шовкет.

— Ешьте! — говорила тетя Кюбра, а сама, еле дыша, садилась на стул рядом с нами (у этих стульев спинки были из черной кожи, как пиджак Мухтара), отдыхала, смотрела по очереди на каждого из нас и говорила: — Ешьте! На этот раз пирожков с мясом маловато... Я поручила Мухтару, пусть купит для вас хорошее мясо, на будущей неделе, Бог даст, испеку побольше мясных пирожков... Только бы все были здоровы! Ешьте!

Слова тети Кюбры казались мне очень странными: я считал, что Мухтар — человек, сам дающий всем поручения, а ему самому никаких поручений давать нельзя, и еще мне было удивительно, что Мухтар знает, что, после того, как он садится в «эмку» и едет на работу, тетя Кюбра печет для нас пирожки, и Мухтар не злится из-за этого на свою жену, почему-то мне казалось, что мы сюда приходим и едим пирожки по

¹ Ушаглар — дети, ребята.

секрету от Мухтара и Мухтар, узнав об этом, должен был рассердиться на тетю Кюбру.

В доме тети Кюбры самой интересной вещью, конечно, был телефон, и мне очень хотелось, чтобы было такое место, куда я мог бы, поднимая трубку этого черного телефона, позвонить, но такого места не было.

Порой, когда мы ели пирожки, этот черный телефонный аппарат, стоящий на белой кружевной салфетке, начинал громко звонить (никогда мы слышали этот звонок, даже играя на улице), и все мы вздрагивали и прекращали жевать. Тетя Кюбра, задыхаясь, подходила, брала телефонную трубку.

— Ай джан, — говорила она, заранее зная, кто звонит, потом улыбалась. — Хорошо, Мухтар. Ей-богу, мне хорошо, никакого врача не нужно, не беспокойся. Что тебе приготовить? Ей-богу, говорю тебе, все в порядке... Не беспокойся... Аллах хаггы!..¹

Потом тетя Кюбра очень осторожно клала трубку на рычаг, как будто боялась, что резкое движение причинит вред Мухтару, и я искренне удивлялся, что тетя Кюбра разговаривает с Мухтаром, как моя мама со мной.

— Ешьте! — говорила тетя Кюбра, и мы, обжигаясь, с удовольствием ели горячие пирожки, потом, когда, упустив тарелку, мы собирались уходить, тетя Кюбра давала нам газетный сверток, в котором было несколько пирожков: — А это отнесите Балакериму...

Тетя Кюбра никогда не спускалась вниз из своей квартиры, во всяком случае я никогда не видел, чтобы тетя Кюбра куда-то уходила или просто так стояла на улице и беседовала с женщинами, даже в баню не ходила (Джафаргулу говорил невероятное, якобы Мухтар сам купает дома тетю Кюбру), потому что она была больна, не могла спускаться и подниматься по ступенькам, но тетя Кюбра знала, что у нашей махалли есть свой Балакерим.

Иногда мы сидели и ели пирожки, а тетя Кюбра, учащенно, с хрипом дыша, причем грудь ее болезненно вздымалась и опадала, снова шла на кухню, наполняла водой лейку, выходила на балкон и поливала цветы в горшках. На балконе было множество керамических горшочков, и в этих горшочках росли разные цветы, и однажды тетя Кюбра, поливая цветы, сказала:

— Когда я умру, эти цветы будут скучать по мне...

Правда, тетя Кюбра угощала нас вкусными пирожками, но никого из нас хорошенько не знала по имени, путала и однажды спросила меня:

— Тебя как зовут?

Я сказал.

— Ты сын Ханум?

— Нет, — сказал я, потом подумал, а вдруг тетя Кюбра решит, что я боюсь упоминать имя тети Ханум, потому что ем ее пирожки, и добавил: — Я не сын тети Ханум, но мы живем в одном дворе.

Дело было в том, что однажды зимой тетя Ханум осрамила Мухтара посреди улицы, при всем народе.

¹ Аллах хаггы — кличусь Аллахом.

Та зима была похожа на осень, в Баку часто шли проливные дожди, и в один из этих дождливых зимних дней, в полдень, по округе разнеслась весть о том, что Мухтар велел посадить Абдулалли — сына тети Ханум. Все соседи были совершенно ошеломлены, потому что, хоть Мухтар и был пришлым, но он жил в нашей махалле, и арестовывать парня из своего квартала мужчине не подобало; даже если бы Абдулалли убил человека, Мухтару не следовало так поступать, но через некоторое время выяснилось, что Абдулалли никого не убил, никого не зарезал, не избил, а Мухтар потому велел арестовать Абдулалли, что утром, когда «эмка» везла Мухтара на службу, Абдулалли на своей полуторке обогнал ее, и уличная слякоть (всю ночь лил дождь) брызнула из-под колес полуторки на «эмку».

Дядя Агагусейн, проводя пальцем по своим пожелтевшим от папиросного дыма седым усам и качая головой, сказал:

— Да что же это такое? Из-за того, что его машину обогнали, молодого парня сажать в тюрьму?

Дядя Азизага сказал:

— Видно, конец света близок!..

Дядя Гасанага, указывая пальцем на застекленную веранду Мухтара, сказал:

— Да он же нас ни во что не ставит! Да что мы умерли, что ли, коль такие дела творит этот овраш!¹ Или мы уже не мужчины, если этот пес так обращается с нами?

Среди женщин началась паника, жена дяди Гасанаги, тетя Фатьма, говорила:

— Вот тебе на!.. Сидели спокойно у себя дома, занимались своими делами!.. И этот сукин сын Мухтар перевернул все вверх дном. Я же знаю своего мужа!

Жена дяди Агигусейна, тетя Сакина, сказала:

— Да что же это такое, а? Убью ночью этого мерзавца Мухтара, а наши детки по тюрьмам глаза проглядят!..

Тетя Мешадиханум говорила:

— Да вы что, не видите, какие у этого распутника уши? Да разве у мужчины могут быть такие уши?

Мы, то есть ребяташки махалли, весь день толпясь под раздвоенным тутовником, мокли под дождем, дрожали от ветра, ждали, когда наступит вечер, ждали приезда черной «эмки». Мы забыли, как часто ели пирожки в доме Мухтара; и про тетю Кюбру мы забыли; теперь мы считали Мухтара своим врагом, Джафаргулу даже заснул в носок под брюками железный осколок, решив, что, как только начнется драка между нашими мужчинами и Мухтаром, он ввяжется и воткнет этот железный осколок Мухтару в живот: возраст Джафаргулу не подходил под судимость, и Джафаргулу, схватив, не посадили бы, а послали бы в детскую колонию; таким образом, он и Мухтара убивал, и наших мужчин от тюрьмы спасал. Только Балакерим на все эти разговоры не обращал внимания.

¹ Овраш — буквально: сводник.

— Если что-то от тебя не зависит, — говорил он, — не надо об этом думать... — И, сидя под раздвоенным тутовником, на краю мокрого тротуара, особенно охотно играл на свирели.

Уроки, еда — все было забыто детьми, и мы обсуждали быстро распространяющиеся вести о ждущем Мухтара возмездии, о том, что будет вечером; Джафаргулу принес сообщение, что старший сын тети Ханум, Джафар, будто бы случайно встретил на улице черную «эмку», преградил ей дорогу своим автобусом, попросил Мухтара, чтобы он велел выпустить Абдулали, а Мухтар будто бы пригрозил Джафари: мол, и тебя велю арестовать. Я не знал, была ли эта новость, быстро, не перевода дыхания, сообщенная Джафаргулу, правдивой или нет; мне показалось, что Джафаргулу это сам выдумал, но, во всяком случае, он улучил момент и передал ее моей маме, и мама, хлопнув ладошью по колену, высказалась по адресу Мухтара:

— Ах, чтоб ты сгорел! Шпион проклятый!

И тут в этот дождливый зимний день я увидел тетю Ханум. Как обычно в черном головном платке — келлаган, темно-синей юбке, такой же темно-синей кофте с мелкими белыми точечками, тетя Ханум пришла к нам.

— Горох у меня кончился, Сопа, — сказала она. — Если есть у тебя, одолжи немного. Ребята скоро вернуться, а обед еще не готов...

Мама, сидя на паласе в нашей комнате, распоролла мое одеяло и удлинила его (в ту зиму все вдруг стало мне коротко: когда я ложился спать, ноги вылезали из-под одеяла), и как только мама увидела тетю Ханум, она тотчас вскочила:

— А-а-а! Что это ты говоришь, тетя Ханум, какой долг, как не стыдно?.. Крикнула бы сверху, Алекпер принес бы, зачем утруждалась, спускалась вниз?..

Видя спокойные глаза тети Ханум, глядящие из-под широких бровей, ее криво сжатые губы, серьезное лицо, я не знал, что и думать: вся махалла занимается историей с Абдулали, а тетя Ханум спокойно сидит дома, готовит обед, как будто ничего не случилось.

В этот дождливый, ветренный зимний вечер к тому часу, когда возвращалась «эмка» Мухтара, дядя Гасанага, дядя Агагусейн, дядя Азизага и даже Алиаббас-киши вышли на улицу и стали у ворот дома Мухтара, на противоположном тротуаре. Алиаббас-киши был самый старший среди мужчин нашей махаллы, ему было за восемьдесят, и об Алиаббас-киши рассказывали одну странную историю (не знаю, было это на самом деле или нет, но я и теперь часто задумываюсь об этой истории)...

Джафаргулу на сей раз принес новость, что Алиаббас-киши вызвал к себе дядю Гасанагу: мол, не устраивайте в махалле скандала, — и, одевшись, вышел на улицу, решив сам просить Мухтара, чтобы он освободил Абдулали.

Дядя Агагусейн сходил домой, принес деревянный табурет, Алиаббас-киши, усевшись на табурет, положил подбородок на серебряный узорчатый набалдашник своей палки и устремил взгляд на дорогу, чтобы увидеть, когда появится черная «эмка».

Глядя на белоснежную бороду, на серебряную узорчатую палку Алиаббас-киши, я думал: интересно, Алиаббас-киши тоже когда-то был ребенком?

Балакерим все играл на свирели, и какую именно мелодию играл Балакерим, сказать было, конечно, невозможно, потому что в звуках его свирели было понемногу от всех мелодий, и что играла, что говорила свирель в этот зимний вечер, знал только сам Балакерим.

Алиаббас-киши раза два кашлянул, потом, отведя взгляд от дороги, посмотрел в нашу сторону и позвал:

— Балакерим!

Балакерим, перестав играть, взглянул в сторону Алиаббас-киши, встал из-под раздвоенного тутовника, подошел к мужчинам, остановился перед Алиаббасом-киши. Алиаббас-киши спросил:

— Ну, как ты, Балакерим?

Балакерим сказал:

— Хорошо, дядя Алиаббас.

— Больше не играй, Балакерим.

— Хорошо, дядя Алиаббас.

— Не место здесь игре.

— Хорошо, дядя Алиаббас.

Балакерим отошел, рукавом желтого пиджака, потемневшего от дождя, вытер муздытук свирели, положил ее в карман и оперся спиной о стену Желтой бани.

На улице не было ни одной женщины: в это время женщины, сидя дома, в тревоге ожидали, какая весть донесется с улицы, и, позабыв стыд, наверняка ругали про себя Мухтара самой черной уличной бранью.

В конце улицы показалась черная «эмка» Мухтара, но тут произошло нечто совершенно неожиданное, и все обернулось не к ожидаемой с утра черной «эмке», а к нашему тупику: тетя Ханум впереди, а за ней Джафар, Адиль, Годжа, Джебранл, Агарагим, выйдя из тупика, быстрым шагом направлялись к парадной двери Мухтара. Черная «эмка» показала одновременно с выходом семейства тети Ханум из тупика, и как это получилось — все были поражены.

Тетя Ханум шла на три-четыре шага впереди Джафара, Адыля, Годжи, Джебранла, Агарагима; прямо посередине мощеной бульжником улице шла на машину, и, когда черная «эмка» приблизилась к тете Ханум, шофер начал громко сигналить. Тетя Ханум будто ничего не слушала, будто это не машина ехала прямо на нее: на серьезном лице тети Ханум, в ее крепко сжатых губах не было и следа какого-либо волнения, только в черных глазах, глядевших из-под широких бровей, пылало пламя гнева.

Черная «эмка», издав на мокром бульжнике устрашающий скрежет, остановилась перед тетей Ханум, и Мухтар, у которого от злости дрожал подбородок, открыв дверцу кабины, закричал:

— Эй, женщина...

Мухтар не успел произнести других слов, потому что тетя Ханум схватила его большой рукой за ворот кожаного пиджака и стала вытаскивать наружу.

— А ну выходи на улицу! Выходи!..

От неожиданности Мухтар так вытаращил глаза, что они едва не вылезли из орбит; Мухтар растерялся, и мне показалось, что маленькие уши Мухтара ярко покраснели; он не выходил из машины, пытался забиться внутрь, пытался вырвать ворот из большой руки тети Ханум.

— Послушай, женщина! Послушай, женщина!

Мухтар не говорил других слов, а тетя Ханум не собиралась выпускать ворот Мухтара:

— Выходи!.. Выходи на улицу!..

Джафар, Адиль, Годжа, Джебраил, Агаргим стояли посреди дороги в двух-трех шагах от тети Ханум и, не говоря ни слова, смотрели, как тетя Ханум тянет Мухтара из машины, а Мухтар пытается вырвать ворот из руки тети Ханум. Все мы застыли под тутовым деревом; поступок тети Ханум был таким неожиданным, что мы не могли в себя прийти; Алиаббас-киши поднялся с деревянного табурета, но и он ничего не говорил, только смотрел во все глаза.

Шофер черной «эмки» был первым, кто пришел в себя, он выскочил из машины, вытаскил из кобуры пистолет, выстрелил в воздух, но от этого выстрела никто даже не вздрогнул, а шофер посмотрел на стоявших на тротуаре мужчин, на стоявших посреди дороги молодых парней — Джафара, Адилья, Годжу, Джебраила, Агаргима, на нас, стоявших под раздвоенным тутовым деревом, и в полной тишине произнес:

— Люди! Товарищи!.. — Потом рука его опустилась, глаза глядели испуганно, он не знал, что делать.

— Выходи на улицу!.. Выходи!.. И ты — мужчина? Тыфу! — Тетя Ханум выпустила ворот Мухтара, и этот жест (освобождение ворота) и плевок в лицо Мухтара произошли одновременно.

Мухтар ладонью стер с лица плевки тети Ханум.

На улице стояла такая тишина, как будто все умерло, как будто и сердца в груди у людей остановились.

Сложив вместе два длинных пальца правой руки, тетя Ханум, чуть ли не тыча ими в глаза Мухтара, громко сказала:

— Клянусь, если сегодня ты не велишь ребенка выпустить, я пойду, куда надо. И над тобою главные есть, их найду! Пойду к ним! Тебе такую головоломку устрою, что материнское молоко у тебя через нос потечет! Ты что думаешь, я умолять тебя буду? Да ты косынку должен носить, а не папаху!..

Мухтар, кажется, немного пришел в себя; во всяком случае, Мухтар должен был выйти из машины, даже если он не принимал во внимание собравшихся на улице людей, все же перед шофером было стыдно, и к Мухтару снова вернулась уверенность, порожденная наличием пистолета у него на боку, кожаного пиджака, хромовых сапог, черной «эмки», черного телефонного аппарата в доме; выйдя из машины и вытирая о полу кожаного пиджака руку от плевка тети Ханум, он сказал:

— Женщина, веди себя прилично!

Тетя Ханум отрезала:

— Сам ты женщина!

Мухтар сказал:

— Ты еще увидишь!

Тетя Ханум сказала:

— Ты тоже увидишь! — Потом обратилась к стоявшим на тротуаре Алиаббасу-киши, дяде Гасангае, дяде Агагусейну, дяде Азизаге: — Если вы скажете ему хоть одно слово, тронете его пальцем, вы — не мужчины! Я еще не умерла пока! — сказала она и, повернувшись, так же быстро, как пришла, пошла посередине улицы в сторону нашего тупика; Джафар, Адиль, Годжа, Джебраил, Агаргим пошли за тетей Ханум...

...Последовавших за этим событий я не видел, но они и теперь у меня перед глазами...

...Кем и где Мухтар работает, никому в нашей округе точно известно не было, и на другой день, тоже дождливый, рано утром полторка Адилья стояла перед тупиком, и тетя Ханум впервые за всю свою жизнь села в управляемую сыном машину, в кабинку рядом с Адилем, подождала, когда черная «эмка» тронулась, увозя Мухтара на работу, и тогда полторка Адилья тоже поехала по улицам города вслед за черной «эмкой».

Черная «эмка» остановилась перед воротами большого здания.

Адилья тоже остановил машину поодаль от черной «эмки».

Тетя Ханум сказала:

— Открой-ка дверцу!

Адилья открыл дверцу кабины с той стороны, где сидела мать.

Тетя Ханум вышла из машины и сказала:

— Езжай на работу.

Адилья некоторое время не трогалась с места, и тетя Ханум сердито посмотрела на сына снизу вверх:

— Я что говорю? Езжай на работу!

Адилья хотел что-то ответить, но, посмотрев на крепко сжатые тонкие губы матери, на ее глаза, сверкающие из-под широких черных бровей, ничего не сказал и тронул машину с места.

Полторка уехала.

Тетя Ханум посмотрела в сторону черной «эмки». Рядом с воротами была будочка, из нее вышел человек с пышными усами в милицмейской форме, вскинул ладонь к виску, открыл железные ворота, и черная «эмка», на которой ездил Мухтар, въехала во двор здания. Милиционер закрыл ворота и вернулся в будочку.

Было зимнее холодное утро, пошел редкий снег, но ложась на землю, хлопья таяли, оставляя мокрые пятна.

Тетя Ханум остановилась перед воротами, внимательно посмотрела на здание, потом приблизилась к будке, открыла дверь и сказала милиционеру с пышными усами:

— Салам-алейкум.

— Алейкум-салам, — сказал милиционер и удивленно воззрился на женщину, возникшую в дверях будки.

Тетя Ханум сказала:

— Ваш главный нужен мне!

— Кто нужен?

— Ваш главный!

Милиционер с пышными усами был армянином, он рассмеялся и с армянским акцентом сказал на азербайджанском языке:

— Ахчи¹, тут все для меня главные... Здесь я самый маленький человек, поняла?

— Поняла.

— Теперь говори, кто тебе нужен?

— Главный над всеми в этом здании!

— Вах! Он вызвал тебя?

— Нет.

— Знает тебя?

— Нет.

— Ты знаешь его, ахчи?

— Нет.

— Ха, тогда чего ты хочешь?

— Разве ты не понял, чего я хочу? Я хочу главного в этом здании!

На сей раз милиционер не успел открыть рот, потому что в окошко будки увидел, что еще одна черная «эмка» остановилась перед воротами, поспешно встал, прошел мимо тети Ханум, снова встал навытяжку перед черной «эмкой», вскинул ладонь к виску, открыл железные ворота, черная «эмка» въехала во двор, милиционер закрыл ворота, пошел к своей будке и сказал стоявшей на том же месте тете Ханум:

— Иди, ахчи, иди... Тебе здесь не место! — и закрыл перед тетей Ханум дверь будки.

Тетя Ханум снова встала перед воротами, внимательно оглядела одно за другим окна здания, потом посмотрела на будку, а через окошко будки — на милиционера с пышными усами.

Милиционеру было лет под шестьдесят, из-под фуражки виднелись его поседевшие волосы, на деревянном табурете рядом с ним горела электроплитка, и, как видно, он дрожал от холода, держа руки над плиткой.

Многие приходили в здание пешком, войдя в будку, здоровались с милиционером, показывали ему маленькую книжечку и проходили через заднюю дверь будки. Некоторые, смеясь, говорили что-то милиционеру, и он, смеясь, отвечал им, а другие только кивали и проходили; были и такие, что даже не здоровались, голову держали совершенно прямо, как статуи, и проходили молча. Милиционер время от времени поглядывал в окошко на тетю Ханум и качал головой.

Подъехала еще одна машина, остановилась перед воротами, и в этой машине, кроме шофера, сидел кто-то вроде Мухтара. Милиционер опять, выйдя из будки, вскинул перед машиной ладонь к виску, человек, сидевший в машине, кивнул головой, милиционер открыл железные ворота, впустил машину во двор, снова закрыл ворота, вернулся в свою будку и сказал тете Ханум:

— Ахчи, пожалей себя, воспалением легких заболеешь. Ступай, займись своими делами.

Тетя Ханум сказала:

— У тебя свои дела, у меня свои! Ты людям двери открывай!

— Вах! Какая ты злая женщина!

¹ Ахчи — сестра (арм.).

— Моя забота! Ты будь добрым!

Качая головой, милиционер вошел в будку, снова стал греть руки над электрической плиткой, не удержался, взглянул в окошко на тетю Ханум и опять покачал головой.

Тетя Ханум прошла из конца в конец улицу, где находилось это здание; кроме будки и железных ворот, другого входа не было, и тетя Ханум опять вернулась к воротам.

В здание больше никто не входил и никто не выходил, — наверное, начался трудовой день; милиционер словно забыл о тете Ханум, поставил на электроплитку маленький железный чайник, нацепил на нос очки и стал читать старый журнал «Огонек».

Снег шел все такой же редкий, падал на землю и таял, на асфальте оставались круглые мокрые пятна, и, когда ненадолго переставал идти, они высыхали.

В толстой шерстяной шали, накинутой на голову и плечи поверя пиджака, тетя Ханум не чувствовала холода, но пальцы ног и рук ооченели.

Казалось, в этот холодный зимний день и огромное здание, как пальцы тети Ханум, ооченело; казалось, в этом здании никого не было, и тетя Ханум снова оглядела по очереди все окна: на всех окнах были темно-синие занавески; казалось, они были не вытканы из ткани, а вытесаны из темно-синего камня; ни одна рука их никогда не откидывала, никогда ветер их не колыхал.

Милиционер отвел глаза от журнала, тронул рукой чайник, проверя, согрелся ли, потом потер руки, — наверное, хотел сохранить тепло чайника, потом решил продолжить чтение журнала, но вдруг посмотрел в окошко будки на тетю Ханум, сдвинул очки на лоб и снова покачал головой.

Шерстяная шаль постепенно намокала от редкого мокрого снега, но тетя Ханум не мерзла, только ощущала на плечах тяжесть шерстяной шали да еще стыли пальцы ног и рук.

Открылась дверь будки, и двое, выйдя из здания, прошли мимо тети Ханум и исчезли; вскоре вышел еще один человек.

Это были обыкновенные люди...

Милиционер заваривал себе чай.

Тетя Ханум приблизилась к воротам, внимательно прислушалась: изнутри не доносилось ни звука. Тетя Ханум открыла дверь будки:

— Ты меня внутрь непустишь, киши¹?

— Ахчи, ты интересная женщина!

— Пустишь меня внутрь или нет?

— Пропуск у тебя есть?

— Что?

— Бумага есть, говорю? Разрешение?

— Нет.

— Ну тогда чего ты хочешь?

— У меня к здешнему главному делу есть!

— Шпиона поймала?

— Что?

¹ Киши — мужчина.

— Ничего, — милиционер поднял крышку чайника, посмотрел, кипит или нет, потом сказал: — Заходи сюда и закрой дверь, холодно.

Тетя Ханум вошла в будку, закрыла дверь.

Милиционер спросил:

— У тебя действительно дело?

— Как это — действительно? Играю я здесь с утра?

— Вах! Очень важное дело?

— Да.

Милиционер протянул руку к телефонному аппарату, стоявшему на маленьком столике:

— Дай-ка я позвоню дежурному.

— А кто это?

— Дежурный.

— Мне здешний главный нужен, киши! Ты что, не понял?

— Ара, ахчи, ты меня с ума сведешь! Что ты скандал здесь устраиваешь? Ха, мой дед твоему деду должен что-нибудь? Иди, ступай домой, счастливого пути!..

— А ты оставайся в своей хибаре! — Тетя Ханум, хлопнув дверью, вышла на улицу и снова встала перед воротами.

Снег уже не шел, но подул холодный ветер.

Темно-синие занавески на окнах были все так же неподвижны, и маленькое окошко будки, где сидел милиционер с пушистыми усами, было единственным незанавешенным окном.

Милиционер пил чай, вдруг он поставил недопитый стакан на стол, тетя Ханум услышала звонок, милиционер выскочил из будки, открыл железные ворота, на этот раз со двора выехала большая, крытая брезентом машина, милиционер закрыл ворота, но не вернулся в будку, а подошел и встал перед тетей Ханум.

— Что выйдет из того, что ты будешь здесь стоять, ахчи? Почему не уходишь?

— Не твое дело!

— Вах! Представляю, что выносят те, кто живет в одном доме с тобой!.. Будешь стоять здесь и ждать сго?

Тетя Ханум не ответила.

Милиционер сказал:

— Ахчи, какой ты наивный человек!.. Иди домой, напиши что хочешь в заявлении. Почитают заявление, вызовут тебя...

— Не твоя забота!

Милиционер, качая головой, вошел в будку и закрыл дверь.

Ветер все усиливался, снова пошел снег.

Так прошло несколько часов.

Большая, крытая брезентом машина, выехавшая давеча со двора, вернулась, милиционер закрыл за ней железные ворота, прошел мимо тети Ханум ни слова не говоря, но перед дверью будки остановился.

— Иди выпей стакан горячего чая, упрямая мусурманка, замерзла же ты!

Тетя Ханум не ответила.

В это время еще один человек, через внутреннюю дверь будки, вышел на улицу, на нем было черное пальто, каракулевая шапка, и тетя

Ханум, внимательно посмотрев на этого человека из-под широких бровей, быстро шагнула к нему, но ничего не сказала, потому что милиционер с пышными усами, глядя на тетю Ханум, легонько качнул головой, и тетя Ханум поняла, что это не тот, к кому нужно подойти.

После этого всякий раз, когда из здания выходил человек, тетя Ханум смотрела в сторону будки, и всякий раз милиционер легонько качал головой: мол, это не тот человек.

Так прошло полдня.

Когда снегопад усилился и ветер задул свирепо, милиционер еще раз вышел из будки.

— Ахчи, зайди, съешь хоть кусок хлеба!..

Тетя Ханум не ответила.

Милиционер сказал:

— Клянусь Богом, из-за тебя меня с работы выгонят, да еще выговор дадут.

На этот раз тетя Ханум не удержалась:

— Очень высокий у тебя пост! Жалость какая!

Милиционер сказал:

— Вах! Ара, что за человек!.. Ара, что за женщина? У нее с языка яд каплет!..

Ворча, он вернулся в будку, закрыл дверь, сел и, наверное, дал себе слово, что больше не глянет в ту сторону, где стоит эта женщина, но она так долго, так упорно стояла перед воротами, а метель становилась все сильнее, и это беспокоило милиционера с пышными усами все больше, чем ее самое, он не мог, как обычно, сосредоточиться и читать старые номера журнала «Огонек», смотреть на фотографии товарища Сталина, и чай не мог пить по-человечески, и есть хлеб с колбасой, принесенный из дому, и опять взглядывал в окошко будки на тетю Ханум, и опять, когда тетя Ханум собиралась подойти к работнику, слегка покачивая головой: мол, не подходи, от него помощи не будет, это не тот, кто тебе нужен, тебе же хуже будет.

Окна большого здания постепенно заносило снегом, и темно-синие занавески уже не были видны, снег наглухо залепил стекла.

Снег засыпал шерстяную шаль тети Ханум и, когда она поворачивала голову, он точно поскрипывал; тетя Ханум ни о чем не думала, только ждала, но легкое поскрипывание снега неожиданно без всякой причины напомнило этой женщине годы ее детства, перед глазами возникли лица отца, матери, белое чахоточное лицо Абузара.

Наступил вечер, и теперь уже покрывший улицы снег белел в сумеречной мгле.

Из здания выходило все больше людей, раздавались звонки, и милиционер открывал железные ворота; со двора выезжали черные «эмки», и тетя Ханум уже смотрела не на людей, выходящих из здания, не на машины, а на милиционера, он легонько качал головой, и тетя Ханум ни к кому не подходила.

Милиционер, время от времени выходя из будки, прочищал свое маленькое окошко; в будке зажегся свет, и окошко казалось глазком темного зимнего вечера.

Тете Ханум посыпалось, что на этот раз звонок был особый, на другие звонки не похожий, и милиционер тоже как будто особенно подтянулся, торопливо вышел из будки, открыл железные ворота и, кивнув ей, подтвердил тем самым: выехавший со двора человек — тот, кого ждет тетя Ханум.

Тетя Ханум быстро приблизилась к машине; на заднем сиденье расположился плотный мужчина, и, когда тетя Ханум схватилась за ручку задней дверцы, этот человек с крайним удивлением посмотрел на тетю Ханум, потом на милиционера.

Милиционер стоял, вытянувшись в струнку, и правая ладонь его была вскинута к виску.

Шофер на мгновение остановил медленно выезжавшую машину, и сидящий сзади человек сам открыл дверцу.

— Что такое?

— У меня к вам дело!

Плотный мужчина снова взглянул на милиционера:

— Кто это?

Милиционер еще больше вытянулся.

— Не знаю!

Плотный мужчина крикнул:

— А что ты знаешь?

— Виноват!

Плотный мужчина приказал шоферу:

— Поезжай!

Машина сорвалась с места, и все это произошло так быстро, что тетя Ханум не успела ни сказать, ни сделать что-либо.

Черная машина удалилась, скрылась с глаз.

Милиционер стоял, все так же вытянувшись, глядя вслед удалявшейся машине, и только потом посмотрел на тетю Ханум.

Тетя Ханум не чувствовала ни рук, ни ног, но и холода не чувствовала: она повернулась и, чуть ли не по щиколотку утопая в снегу, пошла прочь.

Всю ночь шел снег, в Баку ударил мороз.

Наутро милиционер, сидя в своей холодной будке, все так же держал руки над электроплиткой.

Милиционер был расстроен, проверив, есть ли вода в чайнике, поставил его на электроплитку, потом вынул из кармана большой платок, чтобы протереть стекла очков, и в окошко будки опять увидел тетю Ханум, стоявшую против железных ворот. Милиционера с утра вызывали к начальнику, отругали, и теперь он должен был позвонить по телефону дежурному и доложить, что женщина, преградившая вчера вечером дорогу машине, снова пришла, но милиционер, глядя на женщину и ворча то на свою, то на ее судьбу, не стал никуда звонить, а вышел из будки, осторожно огляделся по сторонам и торопливо приблизился к тете Ханум.

— Уходи отсюда, — сказал он. — Уходи. Увидят тебя, плохо будет.

Тетя Ханум не ответила и не двинулась с места.

— Ара, клянусь Богом, это кровью пахнет! Ара, это все мне на голову упадет, ей-богу! — Потом более мягким тоном добавил: — Иди домой,

ахчи. Он не приходил сегодня. Два дня большое собрание будет, он будет там, на работу не придет.

Тетя Ханум промолчала, и милиционер, осторожно оглядевшись по сторонам, вернулся в свою холодную будку.

Весь снежный, морозный зимний день тетя Ханум с утра до вечера простояла на тротуаре против железных ворот, большого здания, и милиционер еще раз, так же осторожно оглядываясь, подошел к ней.

— Женщина, у тебя дома нет? — спросил милиционер. — Клянусь детьми, он не приходил, нет его здесь, Большое собрание идет, два дня он там будет... Ара, ахчи, ты мне веришь?

Тетя Ханум впервые за день сказала:

— А вдруг придет?..

Это означало, что, мол, я тебе верю, но занимайся своим делом, не обращай на меня внимания.

Милиционер сказал:

— Ара, все может быть вдруг!.. Я сейчас могу упасть и умереть, ну и что? — Потом, убедившись в который раз за эти два дня, что увещевать эту женщину бесполезно, вынул из кармана шинели кусок хлеба: — Возьми, поешь хотя бы, упрямая женщина!

Тетя Ханум сказала:

— Большое спасибо. Иди сам поешь, на здоровье.

Милиционер не сказал больше ни слова, положил хлеб в карман, и, когда он направился к своей будке, тетя Ханум сказала вслед:

— Тебе-то я благодарна... Хороший ты человек...

По-видимому, эти слова тети Ханум в снежный, морозный зимний день растрогали милиционера с пышными усами, много чего повидавшего на свете.

Наступил вечер, все ушли, погасли и лампочки, горевшие за покрытыми снегом синими окнами, и милиционер сдал пост другому, а ожидаемая тетей Ханум машина не въезжала и не выезжала.

Так же прошел и третий день: тетя Ханум простояла с раннего утра до позднего вечера, пока не опустело здание, но ожидаемая машина так и не появилась. Однажды в «эмке» она увидела Мухтара, но Мухтар, как обычно, сидел, глядя прямо перед собой, и не увидел тетю Ханум, стоявшую на противоположной стороне улицы и пристально смотревшую на него.

Черная «эмка» по-прежнему подъезжала и останавливалась у дверей дома Мухтара, Мухтар, выходя из машины, шел домой, и никто ничего не говорил тетей Ханум машина не въезжала и не выезжала. И маленькому Алекперу ждал Абдуллу. И маленькому Алекперу, как и всем обитателям махаллы, очень хотелось, чтобы тетя Ханум одолела черную «эмку», телефонный аппарат, черный кожаный пиджак...

На четвертый день, когда тетя Ханум встала у ворот этого здания, милиционер вышел из будки, поглядел на тетю Ханум и легонько кивнул головой. Тетя Ханум поняла, что ожидаемая ею машина во дворе.

И снова весь день шел снег, и тетя Ханум, время от времени отряхивая свою толстую шерстяную шаль, ждала до вечера, здание начало пустеть, едва различимые за заснеженными окнами огоньки гасли по одному, и наконец тетя Ханум услышала тот самый звонок.

Милиционер поспешно вскочил, подбежал к воротам, посмотрел на тетю Ханум, потом открыл железные ворота, и, когда черная машина выехала, тетя Ханум подошла быстрым шагом, встала перед машиной, обими руками оперлась на капот.

Тот же плотный мужчина сидел на заднем сиденье и, увидев тетю Ханум, конечно, узнал ее, зло посмотрел на милиционера — милиционер стоял навтыяжку с ладонью у виска, не дыша, как будто был куском дерева.

Шофер хотел выйти из машины, но плотный мужчина сказал:

— Не надо. — Потом открыл дверь машины: — В чем дело? Чего ты хочешь?

— У меня к тебе разговор!

— Какой разговор?

— Жалоба у меня!

— На кого жалоба, арвад¹? Что за безобразие!

— На тебя жалоба!.. И на твоих работников!

— Что? — Плотный мужчина изумленно потянулся вперед. — Что ты сказала?

Будто ветер качнул стоявшего навтыяжку с ладонью у виска милиционера.

— Я сказала, на тебя моя жалоба и на твоих работников! Ты что, не человек? Не живой человек? Всю жизнь так и проездил на этой машине? — Тетя Ханум стояла, опершись обими руками о капот машины, и не двигалась с места. — Нет начальника выше тебя!

Плотный мужчина с неподобающей его фигуре резвостью вышел из машины, подошел к тете Ханум, посмотрел на ее освещенные фарами сжатые тонкие губы, на посиневшее то ли от гнева, то ли от холода лицо, на занесенную снегом, задубевшую шаль, длинную складчатую юбку, чуть ли не по колено утонувшие в снегу ноги и спросил:

— Так весь день и ждешь меня здесь?

Тетя Ханум не ответила.

Плотный мужчина сказал милиционеру:

— Пропусти ее! — и, быстро пройдя через будку, вернулся в здание. Тетя Ханум убрала руки с капота машины, посмотрела на милиционера, отряхнула шаль и следом за плотным мужчиной вошла в здание...

...Я хорошо запомнил эту ночь...

По округе разнеслась весть, что Абдулалы выпустили, он вернулся домой, и в снежный морозный зимний вечер сам Алиаббас-киши вместе с дядей Гасанагой, дядей Агагусейном, дядей Азизагой пошли к тете Хануми сказали: «хош гялдин»², Абдулалы.

В тот вечер мы играли в снежки сколько хотели, потом, разведя костер перед Желтой баней, собрались вокруг Балакерима, до полуночи

¹ Арвад — женщина.

² Хош гялдин — добро пожаловать.

слушали старинные таинственные истории, которые Балакерим рассказывал особенно охотно; никто не звал нас по домам, словно в наш квартал пришел неожиданный праздник.

В тот вечер Балакерим рассказывал о том, как люди враждуют друг с другом, как воюют армии, какие большие войны бывали в мире, о том, что Белый Верблюд заговорил, как человек...

Конечно, никому из нас в голову не приходило, что одна из самых больших войн в мире ожидает нас, притаившись в засаде, пройдет совсем немного времени, и самая большая на свете война не оставит мужчин в нашей махалле, мужчинами будем только мы, да еще Балакерим...

Утром, после той прекрасной зимней ночи, ближе к полудню, в конце улицы показалась черная «эмка» Мухтара, и все удивились, потому что машина Мухтара появлялась рано утром, когда Мухтар отправлялся на работу, и вечером, когда он возвращался с работы. На этот раз черная «эмка» не остановилась у ворот дома, где жил Мухтар, она остановилась перед нашим тупиком, и я побегал туда. Выйдя из машины, Мухтар посмотрел на открывающиеся в тупик ворота, потом на меня и спросил:

— Ты здесь живешь?

Я кивнул.

Мухтар спросил:

— И они тоже здесь живут?

Я конечно же понял, о ком идет речь, и снова кивнул.

Мухтар торопливо сказал:

— Иди покажи мне, где они живут...

Я сначала не хотел показывать Мухтару, где живет семья тети Ханум, но увидел, что Мухтар очень спешит, и я понял, что эта спешка — не во вред тете Ханум, потом я посмотрел на его маленькие уши, и почему-то мне стало жалко Мухтара. Я пошел впереди, вошел в наш двор, Мухтар вошел следом за мной.

Мама лопатой очищала крыльцо от снега, и Мухтар, войдя во двор, поздоровался. Мама удивленно посмотрела на Мухтара и на приветствие не ответила.

Мухтар опять взглянул на меня:

— А где она живет?

Я кивком указал на застекленную веранду, где жила семья тети Ханум, и Мухтар собрался было подняться по ступенькам, но в это время тетя Ханум открыла окно веранды и выглянула во двор.

Мухтар увидел тетю Ханум, остановился на деревянной ступеньке, и я впервые в жизни увидел, как один человек краснеет под взглядом другого, причем не было сказано ни единого слова: в этот зимний день лицо Мухтара пылало как огонь, и маленькие уши его были ярко-алыми, и пылали маленькие уши, конечно, не от мороза.

Тетя Ханум спросила:

— Чего тебе надо?

Мухтар сказал прямо:

— Мне приказали перед тобой извиниться.

Тетя Ханум не стала долго задерживать покрасневшего Мухтара на деревянной ступеньке.

— Ладно, — сказала она. — Но уходи, и чтобы в этом дворе, в этом тупике ноги твоей больше не было!

Мухтар вышел со двора, вскоре послушался шум черной «эмки», потом стало тихо, тетя Ханум закрыла окошко веранды и в тишине слышались только дребезжание лопаты в маминой руке, да скрип сгребанного снега.

Вдруг тетя Ханум снова отворила окошко веранды и позвала меня:

— Поднимись наверх, Алекпер...

Я поднялся на веранду. Тетя Ханум, сиди на веранде, в одиночестве жарила кутабы. Сняв со сковородки один из кутабов, она посыпала его сухахом и протянула мне:

— Угощайся, Алекпер.

Я, обжигаясь, с удовольствием съел горячий кутаб. Тетя Ханум спросила:

— Удался кутаб, Алекпер?

Я сказал:

— Еще как! — и понял, что Ханум жарит эти кутабы для кого-то специально, иначе она никогда не задала бы такого вопроса.

И правда, в полдень подъехала полторка Адыля, Адыль вышел из машины, поднялся домой, вернулся с большим свертком под мышкой и позвал меня:

— Идем, Алекпер, у меня к тебе дело.

Разумеется, я с удовольствием сел в машину Адыля, и, когда мы ехали по городским улицам, мне казалось, что белизна засыпанного снегом города — это белизна и чистота нашего квартала, что она перешла на чужие улицы и сделала эти чужие улицы родными.

Адыль положил рядом со мной врученный тетей Ханум сверток, и я по теплоте и запаху свертка понял, что это — кутабы.

— Куда мы едем? — спросил я.

— Мама велела отнести и отдать это в подарок.

Адыль остановил машину немного в стороне от какого-то большого здания и, показав мне маленькую будку у высоких железных ворот, сказал:

— Возьми кутабы, Алекпер, отнеси, там сидит один милиционер-армянин, отдай ему. Скажи, этот гостинец мама посылает для его детей.

Взяв сверток, я спрыгнул с машины и, утопая в снегу, пошел к будке, открыл дверь: внутри сидел милиционер с пышными усами и грелся, держа руки над электроплиткой; он удивленно посмотрел на меня. Я положил сверток на маленький письменный стол перед ним (это был такой же столик, как у Годжи).

— Ара, что это такое? — спросил он.

— Подарок, — сказал я. — Тетя Ханум испекла кутабы и послала вам. Вам и вашим детям.

Милиционер снова удивленно посмотрел сначала на меня, потом на аккуратный сверток на столе.

— Мне?

Я сказал:

— Да.

— А тетя Ханум кто такая, матах?

Я знал, что по-армянски «матах» значит «дорогой».

— Ну, тетя Ханум, да... — сказал я, не найдя другого ответа.

Вдруг милиционер с пышными усами спросил:

— Ара, неужели это та женщина? — И лицо его словно озарилось. — Ара, большое спасибо! Ара, ну зачем она беспокоилась? Ни от кого бы этот гостинец не взял, клянусь Богом, но та женщина — особая женщина!

Я сказал:

— До свидания, — и вышел из будки, и милиционер тоже встал и вслед за мной вышел из будки.

— Ара, матах! — крикнул он. — Передай той женщине от меня большой привет! Наверно, ее дело уладилось, да?! Ара, клянусь Богом, я даже мужчин таких не видел!.. Вах!..

Вечером по округе разнесся слух, что Мухтара понзили в должности, потому что он пришел с работы домой пешком; черная «эмка» не показывалась, и то, что Мухтар на работу и с работы ходит пешком, всем нам казалось странным; но однажды снова за ним пришла черная «эмка», и на этот раз по округе разнесся слух, будто Мухтара считают хорошим работником и поэтому снова повысили в должности.

XII

Раза два в год отец брал меня с собой в рейс, я любил эти поездки больше всего на свете; ехать в поезде, вместе с отцом убирать вагон, когда поезд останавливался, вместе с отцом выходить из вагона на далеких, незнакомых, неведомых станциях, видеть на этих станциях незнакомых, неведомых людей, покупать что-либо из провизии, наполнять корзину — если было на свете нечто, именуемое счастьем, то это было оно; но моя мама была молода, красива, и уезжать, оставляя ее одну, не полагалось. Да я и не хотел, чтобы мама оставалась одна, скучала по нас; но все-таки раза два в год я отправлялся с отцом в рейс (это бывали сравнительно близкие поездки: мы ездили в Махачкалу, на Минводы, самое дальнее — в Ростов); и вот однажды, рано утром, мы вернулись в Баку, вошли в дом и увидели, что у мамы глаза красны от слез.

Отец спросил:

— Что случилось? — и вопросительно улыбнулся.

По эту сторону Аракса у отца, кроме мамы и меня, никого не было, и он позволил себе улыбнуться, потому что, если я и мама стоим перед ним живые-здоровые, значит, ничего страшного не произошло.

Мама всхлинула:

— Бедная Кюбра, жена Мухтара, вчера скончалась.

Отец посерьезнел и сказал:

— Царствие ей небесное... Аллах рехмет элесин!..

Перед глазами у меня вдруг возникли фарфоровые горшочки на веранде тети Кюбры, цветы в горшочках; те цветы со вчерашнего дня остались без тети Кюбры, те цветы со вчерашнего дня тосковали о тете Кюбре, и мне стало очень жалко тетю Кюбру и ее цветы.

Мухтар хоронил тетю Кюбру без моллы, потому что говорили, что Мухтар — враг религии, и вообще, если такой человек, как Мухтар, пригласит моллу отпевать свою покойницу, это окажет дурное влияние на простых людей.

Правда, в махалле поговаривали, что Мухтар потихоньку дал деньги молле Асадулле, чтобы тот прочел заупокойную молитву по тете Кюбре, и взял с него слово, что молла никому ничего об этом не скажет: было ли кто на самом деле или не было, не знаю, но такие разговоры ходили.

Тетя Кюбра умерла, Мухтар остался один, потом началась война, и мы больше не ели вкусных горячих пирожков, что пекла тетя Кюбра.

XIII

Из другой комнаты доносятся звуки рояля: моя дочь играет прелюдию Баха.

Прелюдии Баха вечны, они всегда будут с людьми; эти прелюдии играли и сто лет назад, и сегодня их играет моя дочь, и через сто лет их будет кто-нибудь играть.

А мелодии, которые играл на свирели Балакерим, никто больше не услышит.

Бах был гением, а Балакерим был никем.

Песня, которую сложит никто, исчезнет навечно.

Это очень грустно...

XIV

Последнее время мне часто вспоминается Гюльага...

Гюльага будто сейчас у меня перед глазами: он был высокий, с орлиным носом, тонкими черными усиками, причем усики такие, будто сделаны из абсолютно черных тончайших шелковых нитей; и еще мне хорошо помнятся миниатюрные инструменты Гюльаги: когда я в Баку, в других городах, за границей вижу часовые мастерские, инструменты часовых мастеров, мне тотчас вспоминается Гюльага.

Гюльага был часовщик, и, если у кого-нибудь в квартале портились часы, Гюльага, выбрав время, приходил сам, раскрывал маленькую сумочку, вынимал инструменты; если это были наручные часы, надевал на правый глаз лупу и, быстро исправив часы, уходил (а денег, конечно, не брал).

Гюльага потому так спешил, что все свободное время проводил со своей женой Соной; рано утром они выходили вместе из дому; Гюльага шел в мастерскую, Сона — на швейную фабрику, а вечером, после работы, они встречались, вместе приходили домой, затворяли двери и весь вечер были вдвоём или, тоже вдвоём, под руку шли в кино, в квартале даже говорили, будто они и в театр ходили.

Однажды накануне весеннего праздника Новруз-байрама, вечером, под раздвоенным тутовником мы собрались вокруг Балакерима, и Балакерим после долгой игры на свирели, вдруг сказал:

— Давным-давно, очень давно был пророк Сулейман, вы знаете, я вам рассказывал. У этого пророка была жена, звали ее Бильгис. Преданная была жена. И еще была птица-верблюд, эту птицу звали Буббу-гушу. Эта самая Буббу-гушу доносила каждому из них тайны другого. Так вот, Гюльага — это Сулейман. А Сона — Бильгис. Что касается Буббу-гушу, то это Гюльага с Соной...

В этот вечер, когда мы сидели под раздвоенным тутовником, я узнал, что Балакерим давно уже играл на свирели для Гюльаги с Соной, и вообще я понял, что каждый раз, когда Балакерим, неожиданно вынудив из кармана желтого пиджака свирель, начинал играть, эта музыка кому-то посвящалась, Балакерим о ком-то думал.

Когда началась война, Гюльага ушел на фронт и погиб; прошло некоторое время после известия о смерти Гюльаги, Сона куда-то переселилась, и я никогда больше ее не видел.

Теперь припоминаю, что через несколько лет после войны где-то от кого-то я слышал, будто похоронка была ошибочной, будто вернулся Гюльага, но не знаю, насколько это верно.

...Сона, как и Гюльага, часто мне вспоминается, и я думаю о Соне...

XV

Иногда, когда речь заходила об Ибадулле, Алиаббас-киши говорил:

— Царствие небесное Хамидулле!.. Хорошо, что вовремя переселился в тот мир, не увидел таким этого негодника!

Слова Алиаббаса-киши всегда производили на меня сильное впечатление, не выходили из головы; и не только потому, что мне тоже был противен Ибадулла, — мне было жаль и того покойного Хамидуллу-киши, которого я никогда не видел, и тетю Амину; еще и потому, что порой, когда мы дрались или делали что-то дурное и наши мамы сердились на нас, они говорили: «Ей-богу, боюсь, в конце концов ты станешь Мамедбагиром!» «Ну будь, будь Мамедбагиром, осрами нас на весь свет!» «Слушай, ты что, Мамедбагир, что ли?»

Я спрашивал у мамы:

— А кто это — Мамедбагир?

Мама торопливо отвечала:

— Никто, спи!

— Я знаю, ты был сын Алиаббаса-киши...

Мама сердилась:

— Ты ребенок, вот и занимайся ребячьими делами! Кому я сказала, спи!

Алиаббас-киши жил около Желтой бани, и все знали, что в махалле Алиаббаса-киши больше всех уважает тетя Ханум, а тетю Ханум очень уважал Алиаббас-киши.

Посетку Алиаббас-киши жил один, соседки часто посылали ему гостинцы, но Алиаббас-киши неизменно возвращал аккуратно упакованный гостинец даже тете Сакине — жене своего ближайшего соседа дяди Агагусейна (конечно, если бы это был не Алиаббас-киши, а кто-нибудь другой, возвращение подарка вызвало бы недовольство и оби-

ду, но на Алиаббаса-киши обижаться было нельзя, потому что он был старейшиной-аксакалом); но от тети Ханум он гостинцы принимал и иногда даже сам, постукивая палкой, отделанной серебром, приходил к нам по двор, стоя внизу, вызывая тетю Ханум и, как только тетя Ханум выглядывала в окно веранды, говорил:

— Ханум, мне кутабы с тышкой вспомнились. Завтра или послезавтра, если будет возможность, испеки мне кутабы с тышкой...

Это означало, что Алиаббас-киши очень уважает тетю Ханум, считает тетю Ханум близким человеком и поэтому так по-своейски обращается к ней с просьбой.

Говорили, что Алиаббас-киши, отец тети Ханум, да еще Саттар Месум в свое время были неразлучными друзьями, и из трех друзей остался в живых один Алиаббас-киши, он состарился, ходил с палкой, был одинок, но, во всяком случае, остался жив.

Желтую баню построил отец Алиаббаса-киши, и поэтому пожилые люди нашей махалли, а также обитатели других кварталов часто называли Желтую баню баней Гаджи Касима, потому что отца Алиаббаса-киши звали Гаджи Касим. В свое время Желтая баня была собственностью Алиаббаса-киши, а когда в Баку установилась советская власть, он долгое время работал директором бани, но, состарившись, вышел на пенсию и передал свое место ближайшему соседу — дяде Агагусейну. Жена Алиаббаса-киши, тетя Халима, умерла, поэтому соседки хотели как-то помочь Алиаббасу-киши, но в этом отношении (да и вообще!) у старика был тяжелый характер, услуги любой женщины, кроме тети Ханум, отвергались. Единственная дочь Алиаббаса-киши, тетя Ниса, тоже разделяла уважение отца к одной только тете Ханум, благосклонно смотрела и на присылаемые тетей Ханум гостинцы, и на обращения к тете Ханум просьбы и поручения. Тетя Ниса была замужем, жила в Маштагах, муж ее был мясником, и у них были взрослые дети, внуки, и сколько ни просили тетя Ниса, ее муж, дети, Алиаббас-киши отказались ехать к ним в селение (он повторял: «Вы меня убить хотите? Без махалли я и дня прожить не смогу!»), и раз или два в неделю они садились в пригородный поезд и приезжали навестить Алиаббаса-киши, готовили ему еду, убирали в доме, собирали белье для стирки-глажки и уезжали.

Когда шел дождь, дул сильный ветер с моря или хазри — северный ветер и Алиаббас-киши оставался один в своей квартире, тетя Ханум говорила или Джафару, или Адьюлю, или Абдулалю, или Годже, или Джабраилу, или Агарагиму:

— Пойди-ка навести дадаша, взгляни, что он делает?

В начале осени по утрам порой срывался ветер, чуть не вырывал с корнем раздвоенное тутовое дерево, и тогда, если Джафар, Адьюль, Абдулалю, Джабраил, Агарагим бывали на работе, а Годжа — в институте, то есть никого из мужчин не оставалось, тетя Ханум кричала с веранды:

— Алекпер, ай Алекпер! Пойди-ка взгляни, что дадаш подделывает?.. Не нужно ли ему чего?

Придерживая одной рукой шапку, чтобы ветер не снес ее с головы, а другой — полы пиджачка, я шел (в такую погоду бегом бежать было

невозможно) — шел против ветра, открывал днем и ночью отпертую дверь Алиаббаса-киши и, войдя, впопыхах выпаливал:

— Тетя Ханум спрашивает, как ты?

Алиаббас-киши сводил брови, и я не знал, сердится он или шутит, потому что Алиаббас-киши вообще был и сердитым человеком, и шутником.

— Детка, что, в Иране люди не здороваются? — спрашивал он.

Маленький Алекпер, пожав плечами, отвечал:

— Не знаю...

— Почему же, детка? Ты разве не иранец?

— Нет.

— А откуда ты?

— Из нашей махалли!

При этом Алиаббас-киши одобрительно улыбался:

— Тогда, дорогой сосед, сначала поздоровайся по-человечески, а потом начинай разговор.

Я говорил:

— Салам алейкум, дядя Алиаббас.

— Вот молодец! Пусть Аллах пошлет здоровья твоему отцу. Ну и что ж, что он иранец? Зато хороший человек!.. Алейкум салам, росток мужчины! Как я поживаю? Все у меня в порядке, только мудрости пророка Сулеймана не хватает!.. — Алиаббас-киши снова улыбался. — Ты знаешь, Алекпер, твой тезка Мирза Алекпер Сабир был великим поэтом!.. Он говорил: даже если у старика богатств не счесть, в руках у него нет и силы ребенка!.. Понял?

Я кивал головой, мол, да, понял, но конечно же ничего не понимал. Потом Алиаббас-киши говорил:

— Царствие небесное Мирзе Алекперу, он знал, что говорил! Царствие небесное и Мирзе Саттару, он обожал Сабира, его стихи не сходили с уст Саттара... Потому что и сам он, как Сабир, любил народ...

Каждый раз, когда мама ругала Фатуллу Хатема, обрывком газеты с портретом Фатуллы Хатема чистила керосинку на кухне, мне вспоминался Алиаббас-киши, потому что судьба друга Алиаббаса-киши — Саттара Месума — подтверждала мамнины слова и оправдывала в моих глазах те мамнины неприятные поступки, заочно обращенные к Фатулле Хатему.

Алиаббас-киши часто сидел, перебирая янтарные четки, на деревянном табурете, на который был положен тюфячок; одну ногу он подгибал под себя, другую ставил на табурет, и, видя, как Алиаббас-киши вот так, съезжившись, сидит на табурете, мне казалось, что этот человек — не из обычных людей, живущих в нашем квартале: он явился откуда-то из другого мира, возможно, из того таинственного мира, о котором рассказывал Балакерим, а иногда мне казалось, что Аллах, наверное, облик похож на Алиаббаса-киши — с такими же седыми волосами, бровями и белой бородой; но когда Алиаббас-киши кашлял, он кашлял как обычные люди; кашлял и говорил:

— Алекпер, раз уж ты пришел, я открою тебе одну тайну. — Глаза Алиаббаса-киши смеялись. — Ты знаешь, конечно, что сейчас первая половина двадцатого века. Век, ты знаешь, что такое? Этот несчастный

сын несчастного отца Балакерим не объяснял вам, что такое век? Век — это значит сто лет. Ты будешь жить в двадцать первом веке, но иногда ты будешь моложе, чем я сейчас... Вдруг ты увидишь, Алекпер, что явится праг пророка Мухаммеда Деджел и скажет: я — Мехти, спаситель; но ты, Алекпер, знай, что врет этот сукни сын Деджел, не Мехти он, а Мехти — Повелитель времени, явится потом. Ладно, Алекпер? Бог даст, в двадцать первом веке ты вспомнишь мои слова, и меня, может быть, вспомнишь. — Алиаббас-киши улыбался, и я не знал, шутит он или серьезно говорит мне эти непонятные слова. — Хорошо, Алекпер?

Я кивал головой: дескать, хорошо, потому что все равно не понимал ничего из сказанного. И опять, придерживая одной рукой шапку, другой — нолы пиджачка, на этот раз бегом (потому что теперь ветер дул в спину) я возвращался к нам во двор; тетя Ханум спрашивала:

— Ну что, Алекпер, как там дадаш?

Я говорил:

— Ничего. Только капляет.

Вечером тетя Ханум давала или Джафару, или Адылю, или Абдулалли, или Джебраилу, или Агарагиму, а чаще всего — Годже (потому что Годжа учился на врача) кусочек козьего сала.

— Пойди натри спину дадашу, — говорила она. — Пусть вытянет из него простуду...

Конечно, мама не хотела говорить о таком сыне, как Мамедбагир, поскольку это был сын такого человека, как Алиаббас-киши, но я и без того все знал. Балакерим говорил, что эта история произошла в начале двадцатых годов, то есть в первые годы революции...

...Сколько дней уже я думаю об этой истории, и порой мне кажется, что все произошло у меня на глазах...

...Кончился осенний вечер, начиналась ночь, и дождь лил все сильнее, и шум воды смешивался с воем ветра; и всякий раз, когда ветер швырял пригоршни дождя в окно Алиаббас-киши, у старика в сердце словно что-то обрывалось, вскипало волнение, причины которого он не знал.

Алиаббас-киши, видимо, предчувствовал, что эта ночь принесет ему много страдания.

В свете горящей на столе керосиновой лампы Алиаббас-киши смотрел на Мамедбагира и совершенно ясно видел, что сын его тоже взволнован.

Мамедбагир, сидя на кушетке в углу, в полусвете семилнейной керосиновой лампы читал новость откуда попавшую ему в руки газету, то и дело вставал, подходил к окну и внимательно смотрел сквозь стекло на улицу.

В тот осенний день у тети Халмы с утра разболелась голова, и женщина кое-как провела день, приготовила обед, управилась с делами по дому и, совсем обессилив, обмотала голову платком, легла в постель.

— Вы-то что не спите? — сказала она, задремывая. Алиаббас-киши, раздевшись, в белом белье сидел в постели, но то ли беспокойство не давало заснуть, то ли что-то другое, но спать он не мог.

Мамедбагиру было восемнадцать лет, он был единственным сыном (еще была Ниса — ее недавно выдали замуж, и она жила в Маштагах, с мужем); Алиаббас-киши в свете семилнейной лампы посмотрел на сына, пробившегося усики сына, и воспоминание увлекло Алиаббас-киши в прошлое, в те времена, когда он сам был юношей; ему показалось, что с тех пор прошло не сорок пять, а тысяча лет, потому что молодость осталась в такой дали, груз сорока пяти лет был так тяжел, так труден, что не укладывался в обычные дни, в обычные годы.

Алиаббас-киши спросил сына:

— Ты почему не спишь?

Мамедбагир сказал:

— Дочитай газету и пойду спать...

Алиаббасу-киши показалось, будто Мамедбагир прячет от него глаза, старается не смотреть в сторону отца, и в словах Мамедбагира, вернее, в том, как он их произнес, было что-то фальшивое, и эту фальшь он чувствовал не только сегодня, а вообще все последние время, и в ту дождливую ветреную ночь Алиаббас-киши вдруг словно коснулся рукой раскаленного угля; он вздрогнул, сказав про себя: «Отойди от меня, сатана!», и потом хотел встать, закурить папиросу, но пожалел тетю Халиму: весь день у нее болела голова, и Алиаббас-киши не хотел, чтобы жену беспокоил папиросный дым.

Алиаббас-киши сказал:

— Глаза испортишь. Гаси свет, иди спать.

Алиаббас-киши хотел еще сказать, мол, будешь столько читать — станешь в конце концов Саттаром Месумом, а дальше что? Беднягу терзают и те, кто читает его газеты, и те, кто не читает, так нападают на него, так разоблачают бог знает в чем, что бедный Мирза не знает, куда податься; но Алиаббас-киши ни слова об этом не сказал, во-первых, потому что статья Саттаром Месумом все же куда почетнее, чем, не читая газетей Саттара Месума, искать что-то вредное в розе и соловье из этих газетей.

— Гаси свет, гаси, пора спать.

Мамедбагир сказал:

— Сейчас, — и встал.

В это время сквозь шум дождя, сквозь вой ветра слышался сначала шум машины, потом свет фар проник через окно в комнату, и Алиаббас-киши удивился, что это за машина среди ночи остановилась у их дверей (обычно на нагорным улицам Баку ездили фэтоны, машины сюда не поднимались)?

Мамедбагир замер, и Алиаббас-киши явственно почувствовал, как замер его сын; в комнате было полутемно, но и в этой полутьме Алиаббас-киши увидел, что Мамедбагир сильно побледнел, и еще он почувствовал, что сердце у сына колотится, прямо из груди хочет выскочить.

В наружную дверь громко постучали, и Алиаббас-киши, конечно, понял, что-то стряслось, что это неспроста, встал, накиннул на плечи пиджак, вышел в небольшую прихожую, остановился перед входной дверью.

— Кто там?

— Откройте! Это представители власти.

В голосе слышалась такая резкость и властность, что не о чем было говорить, дверь надо было открывать, и Алиаббас-киши, возвращаясь в комнату, сказал:

— Сейчас. Погодите минутку.

Он торопился, чтобы тетя Халима поскорее встала и оделась, чтобы чужие люди не видели женщину в ночном белье, но голос снаружи с еще большей резкостью и властностью произнес:

— Быстро! Сию минуту открывайте! Выломаем дверь!

Алиаббас-киши говорил тете Халиме:

— Вставай, одевайся! Одевайся!

А тетя Халима, сев на постели, хлопала сонными глазами и не понимала, что случилось.

Алиаббас-киши твердил тете Халиме:

— Быстрее одевайся!

Но тетя Халима не успела одеться, потому что в дверь заколотили с такой силой, что слабая задвижка не выдержала, сломалась, дверь распахнулась настежь, и в тот же миг трое мужчин ворвались в комнату.

На одном из них была длинная шинель, двое других были в черных кожаных куртках, и из-за того, что все трое стояли под дождем, с них лилась вода; человек в длинной шинели, четким и решительным шагом подошёл к столу, вывернул до предела фитиль керосиновой лампы, комната осветилась, но лампа начала коптить, и запах копоти тотчас заполнил комнату, точно этот запах копоти принесли с собой эти трое, точно этот запах копоти и был запахом длинной шинели, кожаных черных курток.

Тетя Халима не могла отвести глаз от коптящей керосиновой лампы: если огонь стал коптить, значит, ночью в дом явится сатана.

Человек в длинной шинели бросил властный взгляд на стоявшего, не шевелясь, посреди комнаты Мамедбагира, потом подошел, встал лицом к Алиаббасу-киши и сказал:

— Значит, запираешь дверь перед носом государства?

— Почему запираю? Я не запираю... У меня нет никаких секретов от государства...

— А почему не открывал?

— Полночь сейчас, жена, дети дома...

— Значит, о жене-детях заботишься, а представителей власти держишь под дождем!

Один из тех, в кожаных куртках, сказал:

— Он и дышит, как враг!

Человек в длинной шинели сказал:

— Мы немало таких повидали! Неси золото!

Алиаббасу-киши показалось, что он не понял человека в длинной шинели:

— Что нести?

— Золото!

— Какое золото?

— Золото, которое ты скопил, грабя бедняков!

Алиаббас-киши сказал:

— Я — банщик, а не грабитель!

— Значит, ты не грабил бедняков?

— Не стал бы я сам себя грабить! Я сам и был бедняком, и...

Человек в длинной шинели, вытянув палец, чуть не воткнул его в глаз Алиаббаса-киши.

— Такие, как ты, сами не принесут и не сдадут золото государству! — сказал он. — Такие любят золото больше, чем самих себя. Голод, хлеба не хватает, а такие сидят на золоте. Если не отдашь своей волей, мы сами найдем. Ищите!

Двое в кожаных куртках начали обыскивать комнату.

Фитиль керосиновой лампы все коптил, и сидевшей в постели, завернувшейся в одеяло тете Халиме все хотелось встать и прикрутить фитиль, но, глядя на того в длинной шинели, на двух в кожаных куртках, она не двигалась с места.

Мамедбагир стоял посреди комнаты, не шевелился, и Алиаббас-киши, глядя на побелевшее лицо сына, подумал, что неожиданное вторжение этих людей и то, как они пересворачивают все вверх дном, взбесило сына, поэтому он так поbledнел; Алиаббас-киши опасался, что Мамедбагир по горячности вдруг что-то выкинет, бросится на этих людей, затеет драку, обругает их — и уж тогда от них не спасешься, пропадет ребенок.

Правда, Алиаббас-киши думал об этом, но в то же время в лице, в позе Мамедбагира видел что-то такое, что не поддавалось его пониманию.

В комнате, в кухне, в коридоре не осталось угла, не осталось вершка, которые не обыскали бы те двое, и, пока эти люди не находили в шкафу ничего, кроме одежды, постельного белья, скатерти, в казане — ничего, кроме лука, чеснока, гороха, человек в длинной шинели со все более откровенной злобой поглядывал на Мамедбагира.

Алиаббас-киши видел злобные взгляды человека в длинной шинели и никак не мог истолковать их, не мог понять смысла этих взглядов, но чувствовал в них что-то такое, от чего мурашки пробегали по телу.

Верхняя часть лампового стекла почернела от копоти, и в углах комнаты как бы легла тень.

Ветер швырял пригоршни дождя в окно, но Алиаббас-киши больше не обращал на это внимания, и Мамедбагир тоже не поглядывал на улицу, как прежде.

Один в кожаной куртке на кухне, чуть не до подмышек сунув руку в мешок с мукой (искал в муке золото, и мука набилась ему в нос), стал чихать. Когда он расчихался, тот, что в длинной шинели, еще больше разъярился, бешеные глаза его стали возвращаться.

— Где золото? — закричал он, и, странное дело, Алиаббасу-киши показалось, что человек в длинной шинели кричит не на него, не на Алиаббаса-киши, а на Мамедбагира.

Двое в кожаных куртках встали рядом с человеком в длинной шинели, и человек в длинной шинели, в который раз уже внимательно оглядев комнату, уставился на тетю Халиму.

— Осмотрите ее постель! — сказал он.

Мамедбагир густо покраснел.

Алиаббас-киши сказал:

— Ты что, не азербайджанец?
Человек в длинной шинели сказал:
— Чем быть таким азербайджанцем, как ты, который в голодное время прячет золото от сирот, лучше цыганом быть!

Тетя Халима еще крепче прижала к груди одеяло, в которое завернулась, и продолжала сидеть на постели.

В мозгу Алиаббаса-киши до этого, как пульс, билась одна мысль: «Сбереги Мамедбагира! Сбереги Мамедбагира! Сбереги Мамедбагира!» Но внезапно все вылетело у него из головы, все существо Алиаббаса-киши воспротивилось такому позору: лучше умереть, чем увидеть свою жену стоящей перед чужими мужчинами босиком, в ночной рубашке, и Алиаббас-киши понял, что все кончено, настал конец, в этом своем возрасте он сейчас бросится на человека в длинной шинели, хотя бы душу облегчит.

Тетя Халима, крепко прижав к груди одеяло, сидела на тюфяке, глаза ее были устремлены на Алиаббаса-киши, и тетя Халима тотчас все поняла, все прочитала в глазах Алиаббаса-киши, с которым тридцать лет клала голову на одну подушку, тут же встала, вместе с одеялом, в которое была закутана, отошла на шаг от постели, опередив Алиаббаса-киши, и торопливо произнесла:

— Идите, идите, родные, идите, идите! Что ж? Каждый делает свое дело!.. Идите, идите, идите, идите... Но кто-то, чтоб он сгорел, обманул вас!..

Один в кожаной куртке пощупал подушку — отбросил в сторону, ощущал тюфяк — отпихнул, потом посмотрел на одеяло, в которое завернулась тетя Халима.

Тетя Халима сказала:

— Братец, ей-богу, в этом одеяле ничего нет!

Человек в длинной шинели сказал:

— Мы ни в какого Бога не веруем, женщина!

— Во что вы веруете, скажите, я поклянусь этим. В этом одеяле золота нет, братец!

Человек в длинной шинели посмотрел на Мамедбагира, Мамедбагир отвел глаза, человек в длинной шинели закричал:

— Где же золото?

Воцарилась тишина, как будто и дождь перестал, и ветер стих. Мамедбагир, с трудом отрывая ноги, будто ноги его прилипли к деревянному полу, подошел к стоящей в углу комнаты кушетке, наклонился, сдвинул кушетку с места и с трудом отодвинул в сторону; под кушеткой, в деревянном полу, была маленькая дверца с небольшим замком.

Человек в длинной шинели посмотрел на маленькую потайную дверь в деревянном полу, потом на Алиаббаса-киши, и в глазах его была такая ненависть, будто он смотрел не на человека, не на Алиаббаса-киши, а на самое гнусное существо на свете.

Мамедбагир отошел в сторону от этой маленькой дверцы.

Алиаббас-киши не произнес ни слова.

Стоявшую, завернувшись в одеяло, тетю Халиму охватила дрожь.

Ветер снова время от времени с силой стал швырять дождь в стекла.

Стекло керосиновой лампы от копоти стало черным, и даже потолок почернел.

Человек в длинной шинели крикнул:

— Ломайте!

У него был такой вид, будто он хочет плюнуть в лицо Алиаббасу-киши.

Один из людей в кожаной куртке ручкой медной шумовки, принесенной из кухни, сломал маленький замок на потайной дверце в полу и поднял ее. Под полом был крохотный тайничок, и человек в длинной шинели, схватив со стола коптившую керосиновую лампу, быстро подошел к тайнику: язычок пламени задрожал от резкого движения, и черные тени на стенах тоже задрожали, потом человек в длинной шинели, вытянув руку с керосиновой лампой, осветил тайник, в нем лежала продолговатая шкатулка, обитая светло-коричневой кожей, шкатулка тоже была заперта крошечным замочком. Мужчина в кожаной куртке хотел продеть в этот замочек ручку шумовки и сорвать его, но замок был слишком маленький и тонкий, ручка шумовки в него не пролезала, и человек в кожаной куртке просто оторвал этот замочек.

Внутри шкатулки лежал Коран, уместившийся на ладони, и больше ничего.

Человек в кожаной куртке протянул шкатулку тому, в длинной шинели, но тот, в длинной шинели, движением руки отвел шкатулку, быстро прошел на середину комнаты, со злостью поставил лампу на стол и косо взглянул на Мамедбагира.

Мамедбагир тоже, подняв голову, посмотрел на человека в длинной шинели.

Алиаббасу-киши показалось, что Мамедбагир взглядом умоляет о пощаде.

Человек в длинной шинели хотел подойти к Мамедбагиру, но сделал два шага, остановился, погрозил Мамедбагиру длинным пальцем и сказал:

— Все твои сигналы оказываются ложными! Позоришь нас перед людьми! Даже о доме, где живешь, ничего не знаешь! Где же, как ты говорил, отец твой золото спрятал?

Мамедбагир, запинаясь, показал на тайник:

— Я думал, там золото...

Человек в длинной шинели, с отвращением посмотрев на Мамедбагира, сказал:

— Дурак! — и, повернувшись, хотел выйти из дома Алиаббаса-киши, но у двери приостановился, посмотрел на Алиаббаса-киши. — Извини, гражданин! — сказал он. — Тяжелое время!.. Положение тяжелое... В общем, прости... — и вышел на улицу.

Двое в кожаных куртках тоже вышли вслед за человеком в длинной шинели.

Запыхла машина на улице, фары ее осветили окно, потом машина, как тот человек в длинной шинели, гневно сорвалась с места, и постепенно шум ее смолк, наступила тишина.

Дождь лил всюю.

Наружная дверь, не запертая на задвижку, со скрипом открывалась, а ветер снова захлопывал ее.

Трое в комнате — Алиаббас-киши, тетя Халима, Мамедбагир — будто обратились в камень, не двигались, не шевелились.

Вдруг Алиаббас-киши подошел к окну, настужь распахнул его, и ветер швырнул дождь ему в лицо; от возникшего сквозняка стекло керосиновой лампы упало на пол и вдребезги разбилось.

Алиаббас-киши, выставив обе руки в окно, воздел их к небу, дождь струился по его рукам, мочил тело, ледяной холод охватил Алиаббас-киши, но он не чувствовал этого. Воздевая к небу руки, по которым текла вода, сдавленным от волнения голосом он произнес:

— О Господи! О Господи! Если ты есть, если видишь, если слышишь, покарай его! — Алиаббас-киши рукой, по которой текла вода, показывал на стоящего в комнате Мамедбагира. — Покарай его!.. Если же нет тебя и ты ничего не видишь, ничего не слышишь, пусть и тогда его постигнет кара!..

Тетя Халима, с плеч которой давно уже соскользнуло одеяло, стояла теперь только в одной ночной сорочке, босая, с непокрытой головой, с голой грудью, как безумная закричала:

— Алиаббас! Алиаббас!

Алиаббас-киши не слушал жену; с воздетыми к небу мокрыми руками в ночной мгле он повторял:

— Пусть его постигнет кара! Пусть постигнет!..

После этого происшествия Мамедбагир ни разу не показался Алиаббасу-киши в глаза, в ту самую дождливую осеннюю ночь ушел из дому, и все говорили, что он примкнул к наркоманам-анашистам, к картежникам, проигрывал деньги, не отдавал, убежал, скрывался, и в одно зимнее утро тысяча девятьсот двадцать третьего года обитатели квартала под раздвоенным тутовым деревом нашли труп Мамедбагира.

Друзья-приятели, к которым он примкнул, картежники и анашисты, отыскали его и нанесли ему несколько ударов ножом; Мамедбагир с трудом дополз до нашей махаллы и умер под раздвоенным тутовым деревом.

Конечно, в то же зимнее утро новость разнеслась по всему району, и соседи вышли на улицу, окружили тело Мамедбагира. На юном, бледном лице Мамедбагира не было и следа боли, страдания, напротив, на лицо его словно слетела тень счастья.

Вдруг все посмотрели в сторону Желтой бани.

Алиаббас-киши, выйдя из дому, медленными шагами шел к людям. Соседи расступились, дали ему дорогу, и Алиаббас-киши, таким же медленным шагом пройдя мимо людей, остановился пред раздвоенным тутовым деревом, посмотрел на распластанного, лежащего лицом к небу сына.

Нальто и пиджак Мамедбагира были растегнуты, кровь окрасила рубашку в ярко-красный цвет, на шее, под подбородком, запеклась кровь, руки и одна щека вымазаны в грязь.

Алиаббас-киши поглядел на труп сына и вдруг воздел дрожащие руки к небу.

— Господи! — сказал он. — Слава тебе! — сказал он. — Милостив Господь и милосерден!

Потом, повернув назад, тем же медленным шагом прошел мимо людей и в этот зимний день больше не выходил из дому. Друг его Саттар Месум немного поколебался, потом пошел к Алиаббасу.

— Не будь таким жестоким, — сказал он, и Алиаббас-киши впервые в жизни не только не ответил другу, но даже не взглянул на Саттара Месума.

Мамедбагира похоронили соседи. Алиаббас-киши не участвовал в похоронах сына и не знал, где его похоронили.

На похоронах Мамедбагира все молчали, плакали и причитали только тетя Халима и приехавшая из Маштагов Ниса. Женщины махаллы плакали вместе с тетей Халимой, но тайком; Алиаббас-киши не держал траура по сыну и ни от кого не принял соболезнования.

XVI

Я никак не могу вспомнить, когда впервые услышал о начале войны. От кого? Что делал в это время? Чем занимался? Иногда мне кажется, впервые я услышал эту весть от мамы, а порой вспоминается, что от Балакерима, может быть, эту весть первым принес нам прибежавший друг Джафаргулу, когда мы играли с ребятами в самом конце нашего тупика под тутовником, а временами мне чудится, что о начале войны мне нашептала наша опустевшая улица, нашептала наш опустевший тупик, нашептала осиротевшая Желтая баня... ибо наша улица опустела, обезлюдела после того, как началась война, и наш тупик опустел, обезлюдел после того, как началась война, и Желтая баня осиротела после того, как началась война.

Иногда я закрываю глаза и на пустой, безлюдной улице, на тротуаре, возле одинокий деревянный табурет; взошло солнце, тень деревянного табурета падает на тротуар, и на той пустой, безлюдной улице медленно, незаметно для глаз движется только упавшая на тротуар тень деревянного табурета: солнце склоняется, тень вращается вокруг деревянного табурета, тень от четырех тонких ножек табурета истончается, исчезает, потому что солнце стоит прямо над табуретом, потом эта тень снова понемногу удлиняется, а потом наступает вечер, солнце садится, тень исчезает, и мне кажется, что этот деревянный табурет — табурет Алиаббас-киши: всегда его ставили на тротуар у Желтой бани и клали на него тюфячок; Алиаббас-киши приходил, садился на табурет, опирался подбородком о ручку своей отделанной серебром палки, смотрел на прохожих, принимал приветствия, что-то спрашивал, подзывал обиженных, рассерженных, мирил их, урезонивал скандаливших (кроме одного Ибадуллы, потому что Алиаббас-киши никогда не разговаривал с пьяными). Вскоре после начала войны, как только наша махалла осиротела, как только желтизна бани, как цвет печали, словно распространилась на весь квартал, тетя Ниса с мужем и одним из сыновей впервые в жизни возразила отцу, не обращая внимания на его сопротивление, на его нежелание разлучаться с округой, увезла Алиаббас-киши с собой в Маштаги, и мы больше никогда не видели Алиаббас-киши, а на двери дома Алиаббас-киши после этого всегда висел большой черный замок, и меня грызли злорадия и ненависть к этому большому черному замку, и через много-много лет после окончания войны, даже и теперь, когда я думаю о войне, перед моими глазами появляется большой черный замок.

XVII

Однажды мы стали свидетелями того, как в мечтательных темных глазах Балакерима появилась глубокая печаль...

В тот вечер, когда Балакерим, сидя под раздвоенным тутовником, рассказывал о Белом Верблюде и мы, как всегда, собрались вокруг Балакерима и слушали его, вдруг появился Ибадулла и тоже стал внимательно слушать рассказ Балакерима.

Балакерим рассказывал и рассказывал, как обычно, и сам уносился мыслями в те давние времена, где был Белый Верблюд, и мы тоже, как обычно, вместе с Балакеримом были рядом с Белым Верблюдом, в том всеобщем мире, которого до конца не понимали.

Вдруг Ибадулла прервал рассказ Балакерима:

— Слушай, Балакерим, что за сказки ты рассказываешь этой детворе? Ты поговори о кутабах с начинкой из верблюжьего мяса, а!

И тут Ибадулла, сглатывая слюну, стал расписывать кутабы из верблюжьего мяса: на сковороде жарится одна сторона, потом — другая, посыпашь сверху сумахом и, обжигаясь, ешь... И выпьешь сто граммов джейраньего молочка, а потом еще сто!..

Балакерим, прервав рассказ, устремил свои всегда мечтательные темные глаза на Ибадулла, и мы увидели в его глазах глубокую печаль.

Потом Балакерим, отведя грустные глаза от Ибадуллы, оглядел нас по одному, и мы увидели боль в его глазах, нам показалось, что сейчас мясом не Белого Верблюда, а самого Балакерима начинили кутабы и жарят на сковороде; Балакерим оглядывал каждого из нас, и взгляды его как будто молили: не слушайте Ибадулла, забудьте все, что он сказал. В ту ночь, перед тем как уснуть, я дал себе слово никогда больше не есть мясных блюд; впрочем, с началом войны у нас и без того не было мясных блюд.

Примерно через три месяца дядя Агагусейн и тетя Сафура, жившие рядом с Желтой баней, по соседству с запертым на замок домом Алиаббас-киши, резали барана по обету: старший сын дяди Агагусейна и тети Сафуры Эйнулла был ранен на фронте, лежал в госпитале в Баку и теперь живым и здоровым вернулся домой, тетя Сафура продала все свои золотые украшения, и дядя Агагусейн на эти деньги купил барана в честь того, что сын благополучно исцелился от ранения, поручил резать барана мяснику Дадашбале и, упаковав в газеты по полкило, разослал всем соседям в подарок.

Нас тоже вручили полкило баранины, и мама приготовила бозбаш. Я забыл свой зарок и поел бозбаш...

...Через некоторое время Эйнулла опять ушел на фронт и не вернулся...

XVIII

Однажды — шли еще первые месяцы войны — по кварталу разнеслась весть: у тети Зибы был сын по имени Гавриил, и Гавриил этот жил в Америке, и вот он теперь приехал к нам в махаллу, чтобы забрать тетю Зибу в Америку.

Это событие поразило всех; потом по махалле разнеслась весть, что сын тети Зибы, Гавриил, был известным врагом фашистов, он поднял многих американцев против фашистов выступал в газетах и журналах, повторял постоянно, что надо бороться с фашистами, и потому Гавриилу дали разрешение забрать с собой тетю Зибу, разрешили воссоединиться с матерью.

Дом тети Зибы находился в нижней части квартала, около керосиновой лавки, и всем, кто проходил мимо, кроме запаха керосина в нос шло запахом жареных семечек, потому что тетя Зиба и зимой и летом жарила семечки, наполняла семечками свою синюю сумку, усаживалась на низкую деревянную лавочку у своих ворот, насыпала семечки в толстый стакан и продавала. Стакан, в котором тетя Зиба продавала семечки, был треснутый, надбитый, и трещины, отбитые места столько раз заклеивались обрывками газет, цветными бумажками, что уж и стекла не было видно, и вместимость стакана все уменьшалась, пока не дошла до горсти.

Тетя Зиба была еврейка-татка, когда-то из еврейской слободы в Кубе переселилась к нам в махаллу, муж ее умер у нас в махалле, и с тех пор она жила одна, но все говорили, что у тети Зибы есть сын по имени Гавриил, и этот Гавриил живет в Америке. Правда, в глубине души никто не верил этому, потому что Америка была очень далекой страной, потому что об Америке рассказывали разные чудеса, говорили, что там есть здания выше пятидесяти этажей, говорили, что там есть такие машины, которые проходят 130 километров в час, говорили, что тамешние парни, взяв в руки автоматы и надев на лицо черные маски с разрезом для глаз, грабят банки, и еще, говорили, что в Америке высушивают черепаши яйца, делают из них порошок, а потом разводят, жарят и едят (впоследствии порошок из этих черепаших яиц появился и в Баку, и мы убедились, что это была правда); а тетя Зиба была совсем простой женщиной, тетю Зибу мы видели каждый день: сидит на низенькой деревянной лавочке, она продавала семечки.

— Клянусь пророком, хорошие семечки! — говорила она.

Однажды Алиаббас-киши, проходя по улице и постукивая отделанной серебром палкой, услышал эти слова, и, улыбаясь, решил подразнить женщину:

— Ты о каком пророке говоришь, ай, Зиба?

Тетя Зиба сказала:

— Алиаббас-киши, дай тебе Бог здоровья, если он пророк, значит, хороший человек был. Хороший человек — для всех хорош, и для тебя — мусульманина, и для христианина, и для меня...

Алиаббас-киши покачал головой: мол, тетя Зиба отвечает разумно, и сказал:

— Ей-богу, на верное слово что возражишь?..

Разумеется, первой покупательницей тети Зибы была Шовкет, и, когда в доме, в магазине, в бане наши женщины ругали Шовкет, тетя Мешаджанум иногда шутила:

— Ради Бога, не говорите так о Шовкет... Если что-то с ней случится, тетя Зиба голодной останется...

У нас в махалле все любили тетю Зибу: она умела разделить со всеми горе и радость, была приветливая, благожелательная, никого не трогала, но, как только началась война и семечек не стало, тетя Зиба уже не сидела на длинной деревянной лавочке, приговаривая: «Клянусь пророком, хорошие семечки!»; она начала помогать то тому, то другому в соседних домах, особенно на траурных обрядах по молодым людям, на которых часто стали приходить похорожки, мыла посуду, вытирала стаканы, блюда; она была одинока и жила когда сытая, а когда и вироголодь.

Уже несколько месяцев, как началась война, все мы видели, как уходят на фронт парни квартала, как приходят треугольные солдатские письма, и то, что теперь, наоборот, кто-то приехал к нам, да к тому же из Америки, и то, что он был известным врагом фашистов, и притом родным сыном тети Зибы, к которой мы привыкли, которую видели каждый день, — все это произвело на нас такое впечатление, что все мы, ребятишки, собрались на тротуаре напротив дома тети Зибы и уставились на ее окно с белыми ситцевыми занавесками: мы хотели увидеть Гавриила, потому что говорили, что на нем странная одежда, а на голове будто бы цилиндр. Гавриил не выходил из дома, и мы так и стояли, глядя на окно тети Зибы с белыми ситцевыми занавесками.

Женщины говорили, что Гавриил приехал, чтобы увезти тетю Зибу в Америку, говорили, что в Америке у Гавриила десять комнат, причем на двадцать первом этаже.

Тетя Сафура говорила:

— Вай, бедная Зиба, как она будет подниматься на такой этаж?

Тетя Фируза говорила:

— Слушай, они не по ступенькам поднимаются, машина поднимает людей наверх!

Тетя Ниса говорила:

— А-а-а... Бедная Зиба, как она будет садиться в эту машину по несколько раз в день, а?

Впервые после начала войны женщины квартала радовались за кого-то, потому что с тех пор как началась война, первый раз к нам пришло не горестное, а радостное известие: приехал сын тети Зибы!

Тетя Фируза говорила:

— Бедная Зиба много перенесла. Спина у нее сторбилась оттого, что с утра до вечера сидела, торговала семечками. Пусть поедет к сыну, хоть в конце жизни поживет...

Тетя Мешадиханум говорила:

— Если уж такой хороший сын, почему до сих пор не показывался? Почему не говорил: слушай, а у меня же мать есть, а? Вот, ей-богу, помянете мое слово, увидите, его жена послала, сказала, поезжай, возьми мать, привези, пусть за детьми смотрит!..

Моя мама говорила:

— Не знаю, как вы, а я, ей-богу, буду скучать по тете Зибе.

В полдень, когда женщины собрались у нас, мамины слова и на меня сильно подействовали: вдруг мне самому стало ясно, что я люблю тетю Зибу, о которой прежде не думал, которую видел каждый день и к которой привык как к частичке нашего квартала, когда тетя Зиба уедет, я тоже, как и мама, буду скучать по ней.

Мы все стояли и стояли на улице, глядя на окошко тети Зибы с белыми ситцевыми занавесками, а Гавриил все не показывался, и мы совсем потеряли надежду, что когда-нибудь сможем увидеть Гавриила, и в это время несколько женщин во главе с тетей Ханум пришли к тете Зибе, чтобы поздравить ее, сказать Гавриилу «хаш гялдин», а мама была среди этих женщин. Мое желание увидеть приехавшего из Америки Гавриила было так велико, что я, отделившись от ребят, подбежал к маме и, взяв ее за руку, вместе с женщинами под завистливыми и даже злыми взглядами ребят вошел в дом тети Зибы.

Тетя Зиба, как будто всю жизнь ждала не сына, а женщин во главе с тетей Ханум, кинулась к ним, перцеловала всех по очереди, и меня поцеловала.

— Как хорошо, что ты пришел, Алекпер!.. Дай Бог тебе здоровья!.. — Тетя Зиба вдруг заплакала, всхлипывая. — Клянусь пророком, никуда бы я не уезжала!.. Куда мне ехать, как оставить вас? Кто меня человеком считает, кроме вас? Но у меня внуки есть в той дыре, хочу их повидать. Что поделает, когда же я их увижу? А внуки только по-английски разговаривают, как я их пойму? Ой, женщины, как я оставлю вас, как уеду, под какой камень голову подставлю? Да хранит вас Бог, что я буду делать в той дыре!..

И мама, и тетя Сафура, и тетя Мешадиханум растрогались и заплакали, только тетя Ханум не плакала, внимательно смотрела на Гавриила, будто глаза тети Ханум испытывали этого Гавриила в маленькой комнате тети Зибы, вопрошали, увидит ли наша несчастная тетя Зиба хоть один светлый день с этим человеком или нет?

Гавриил сидел за столом. Когда мы вошли, он встал и, пока женщины целовались и плакали, стоял; потом снова сел за стол, и, по правде говоря, увидев Гавриила, я несколько разочаровался, думал, что увижу богатыря вроде Кероглу¹, победителя фашистов, а приехавший из Америки Гавриил, против всякого моего ожидания, был обыкновенным человеком: лысым, бледнолицым, худым, долговым, и одежда на Гаврииле была обычная: на ногах — домашние тапочки тети Зибы, простые брюки, простая белая рубашка... А большие все же я растерялся оттого, что Гавриил разговаривал на простом азербайджанском языке и через каждое слово повторял: «Бог даст!», «С Божьей помощью!», «Бог лучше знает!». И еще меня поразило, что, когда тетя Зиба плакала, когда моя мама, тетя Сафура и тетя Мешадиханум вытирали покрасневшие глаза, Гавриил тоже расстроивался, как женщина, и, закусив губу, устремлял в потолок глаза, полные слез; но во всяком случае, дети Гавриила у себя дома разговаривали по-английски, и мне казалось необычайно странным, что внуки нашей тети Зибы, дети этого Гавриила, что поминутно говорил «Бог даст!» и чьи глаза наполнялись слезами, друг с другом разговаривают по-английски и не знают ни азербайджанского языка, ни татского, ни даже русского.

Мы сели за стол, и тетя Зиба, время от времени всхлипывая, вытирая маленьким платочком мокрые от слез глаз и хлюпающий нос, говорила:

— Дай Бог вам здоровья!.. Не забывайте меня!.. Я приеду обратно!..

¹ Кероглу — герой азербайджанского героического эпоса.

Гавриил, кивая головой, подтверждал слова матери:

— Бог даст!..

— Вот съезжу, повидеаю внуков...

Гавриил говорил:

— С Божьей помощью...

— А потом приеду, клянусь пророком...

Гавриил говорил:

— Бог даст!..

— Я нам всем буду письма писать, и вы, умоляю, не оставьте меня

там одну, пишите письма, дай вам всем Бог здоровья!..

В это время Гавриил вынул из кармана белой рубашки что-то вроде маленькой свирели, отвинтил колпачок, и я впервые в жизни увидел автоматическую ручку... Этой автоматической ручкой Гавриил на полях газеты записывал свой американский адрес, а я не мог отвести глаз от автоматической ручки: я смотрел на маленькое красивое желтое перышко, смотрел на гладкое и блестящее, как перламутр, тело ручки, и только в этот момент я поверил, что Гавриил действительно приехал из Америки. Глядя на автоматическую ручку, я забыл и то, что Гавриил слезлив, как женщина, и что он каждую минуту говорит: «Бог даст!» на простом азербайджанском языке.

Я никак не мог отвести глаза от этого чуда в руке Гавриила; у меня вообще была неудержимая тяга к разным перьям и ручкам (в тот год, то есть в год, когда началась война, я пошел в первый класс, и мне нравилось сидеть дома и, окуная в чернильницу-непроливайку перо, вдею в тонкую и длинную деревянную ручку, писать в тетради на белых листках в полоску, и автоматическая ручка Гавриила произвела на меня такое впечатление, будто в моей жизни произошло что-то возвышающее душу, в этом было что-то праздничное, а от ощущения праздничности мы все стали отвыкать с тех пор, как началась война; правда, в этом празднике было немного печали, даже боли, не потому, что автоматическая ручка была не моя, и никогда она моей не станет, но все же были в мире такие прекрасные ручки...

Написав маленьким красивым перышком гладкой и блестящей, как перламутр, автоматической ручки свой американский адрес (и теперь уже адрес нашей тети Зибы!), Гавриил передал его женщинам, потом закрыл ручку колпачком и положил в карман рубашки, и я не мог отвести глаз от кармана его белой рубашки, но тут я ощутил на себе мимолетный взгляд тети Ханум — не заметил, а именно ощутил, покраснел и отвел глаза от кармана белой рубашки Гавриила.

Несколько дней я и находился под впечатлением от автоматической ручки; она вызвала во мне непонятный подъем, почти счастье, и я уже убедил себя, что в будущем и у меня непременно будут такие вот автоматические ручки, и этими автоматическими ручками я буду быстро и аккуратно, как Гавриил, писать, но писать я буду не адреса на газетных полях, а что-то другое...

Тетя Зибя закрыла дверь своего дома подле керосиновой лавки на маленький замок и уехала с сыном Гавриилом в Америку, и горе, которое принесла война, после маленькой сенсации, после минутной передышки снова забрало в руки всю округу, и по вечерам, когда Балакерим, не говоря никому ни слова, усевшись под раздвоенным тутов-

ником на краю тротуара, начинал играть на свирели, его свирель наряду с таинственными образами и преданиями этого мира говорила о постепенном осиротении нашей махаллы, говорила о печали, опустившейся на стены Желтой бани, на наш тупик, на дома нашего персулка, улицы, квартал, и я безмолвно слушая прекрасную свирель Балакерима, вдруг задумался о том, что придет день, и я опишу все, рассказанное этой прекрасной свирелью, словами, выходящими из-под маленького красивого перышка автоматической ручки... Эта мысль потрясла все мое существо потому что была совершенно неожиданной; в сущности, для маленького Алекпера была огромным открытием, а само открытие породило в моем сердце новые чувства, как будто вдруг вырос в собственных глазах, как будто совершенно по-новому взглянул и на Балакерима, который, надув худые щеки, двигая тонким подбородком, играл на прекрасной свирели, и на раздвоенное тутовое дерево, и на проглядывающее сквозь листья тутового дерева небо, на только что появившиеся звезды.

Каждый день, проснувшись рано утром, я укладывал учебники, тетради, чернильницу, тонкую длинную ручку в сумку, шитую мне мамой, когда я пошел в первый класс, и, перевесив сумку через плечо, шел в школу. Через два дня после отъезда тети Зибы в Америку я утром шел в школу, и тетя Ханум, выглянув в окно веранды, позвала меня:

— Иди сюда, Алекпер.

Тогда еще только три сына тети Ханум ушли на фронт: Джафар, Адиль, и Абдулалли, всех троих забрали сразу, а остальные были дома; Годжа еще учился в медицинском институте, но говорили, что не сегодня, так завтра заберут и Годжу, потому что, говорили, такие, как Годжа, врачи и студенты-медики, теперь очень нужны не фронте (и действительно, прошло немного времени — Годжу тоже забрали); а Джебраил с Агарагимом продолжали работать. У всех наших женщин, девушек, невест, чьи сыновья, мужья, отцы, братья, женихи ушли на фронт, глаза всегда были влажные, все жили в тревоге, все нуждались в куске хлеба, но готовы были пожертвовать последним, чтобы получить с фронта хоть две строчки, что цел; и тетя Сакина, и тетя Мешадиханум, и тетя Фируза, и другие женщины нашего квартала, проводившие на войну мужей, сыновей, братьев, изменились на глазах, поблекли, состарились; и те женщины, чьи мужья или сыновья еще не ушли на войну, со дня на день ожидали дня, когда придется провозжать на фронт мужей или сыновей. Моя мама все повторяла: «Ай, Алекпер, когда отца твоего заберут, куда мы с тобой головы приклоним, ай Алекпер?! Такой смирига, как твой отец, что там станет делать?..» — говорила она и плакала. Так и жила. Но я ни разу не видел тетю Ханум плачущей (и не увидел!); у тети Ханум и лицо не изменилось, тонкие губы, как всегда, были плотно сжаты, черные глаза, глядевшие из-под широких бровей, как всегда, вещали о суровости, но я чувствовал что-то новое в голосе тети Ханум, что в ее голосе что-то изменилось, но что именно, не знал.

— Иди сюда, Алекпер.

Я поднялся по деревянной лесенке к тете Ханум на веранду. Тетя Ханум стояла в дверях и, как только я вошел, протянула мне маленький мешочек:

— Возьми, Алекпер, я для тебя сшила... Положишь в него свою чернильницу.

Я понял, что за три-четыре дня, прошедшие с тех пор, как я увидел автоматическую ручку Гавриила, тетя Ханум сшила мне этот мешочек... Мешочек из зеленого бархата, в котором я носил чернильницу, как сейчас у меня перед глазами: тетя Ханум нашла на этот мешочек узоры из разных мелких бусинок, и эти разноцветные узоры из бусинок сделали таким красивым, таким нарядным зеленый бархатный мешочек, что он больше походил на девчачью, как мы говорили, игрушку, девчачье украшение, и все же этот зеленый бархатный мешочек с бусинками я носил в школу, пока он не изорвался; носил, можно сказать, до конца войны, до тех пор, пока за нами не приехал дядя и не увез нас из нашего квартала.

В то утро, когда тетя Ханум подарила мне изготовленный ею для чернильницы мешочек, я хотел обнять и поцеловать тетю Ханум; мне казалось, что тетя Ханум, как мама, — родной и дорогой человек, но я посмотрел на черные глаза, глядевшие из-под широких бровей, и, сказав только: «Большое спасибо», спустился по деревянным ступенькам, вышел со двора, остановился в нашем тупике, вынул чернильницу из сумки, вложил в бархатный, изукрашенный бусинками мешочек и пошел в школу. Конечно, я очень любил тетю Ханум, конечно, всю дорогу до школы останавливался, любовался бархатным мешочком и радовался, но в то же время — не знаю почему — мне было жалко себя, и от этого чувства, которого я не понимал, появлялся комок в горле...

А тетя Зиба в наш квартал не вернулась, и маленький замок на двери тети Зибы около керосиновой лавки так и оставался висеть, когда перед концом войны мы продали наш дом и переселились к дяде; осенний дождь, зимний снег покрыли ржавчиной маленький замок, и этот заржавевший замок вместе с большим замком на двери Алиаббаскини как будто не просто висели на дверях тети Зибы, Алиаббаскини, а сама война замкнула на заржавевший замок и на большой замок нашу махаллу и как будто тетя Зиба не сама уехала в Америку, а Алиаббаскини не сам переселился в Маштаги, к дочери, — нет, они пропали без вести на войне.

...Балакерим переставал играть и прятал свирель в нагрудный карман желтого пиджака.

Внутри башн черт-те что,
Внутри соломы решето,
Верблюды борзду побреет,
Башня бедного согреть...

Говорил он, отвлекая нас, хоть ненадолго, от той грусти, той печали, которой, как сыростью, как запахом, были пропитаны стены, двери, окна домов нашего квартала, нашего тупик, булыжники нашей улицы, вводил в свой далекий волшебный мир; и иногда мне казалось, будто Балакерим рассказывает истории своего волшебного мира по-английски, как дети Гавриила, но я его понимаю...

Две семьи спустились с гор, поселились на этом красивом, этом плодородном склоне, и журчанье текущей реки, зелень, цветы, которые были везде, насколько хватало взгляда, напоминали о добрых делах, добрых свершениях, ясности, чистоте мира, а запах здешней вспаханной темно-коричневой земли вещал о том, что муки и лишения далеких гор навсегда остались в прошлом, стали только смутным и горьким воспоминанием.

Солнце взойшло, принесло с собой счастье: в густой лес над широким склоном, и зеленый луг под ним, и извилистая река с кристальной водой, и вспаханная темно-коричневая земля — все улыбалось Мухаммеду, Али, их женам, их детям.

Они переселились с далеких и крутых гор, жизнь провели среди камней, скал. Их предки когда-то — в эпоху Нух-Наби, когда вещий песец и сказитель Деде Коркут слалал свои сказания, пел свои песни, — спасаясь от врагов, укрылись в горах. Там — вдалеке от вражеских мечей, стрел, коней — основали селение и с той поры осели в нем. В том селении не было земли — вокруг только камни, щебень, и сеять, растить приходилось в неслыханных муках; в том селении не бывало дождей, а если дождь выпадал, то ливнем смывало посевы, выращенные в муках; в том селении не бывало морозов, а если случался мороз, то вымерзали взлелеянные годами и только теперь обещающие урожаем плодовые деревья, вымирали овечьи отары, бычьи стада.

Мухаммед, родившийся в том селении, никогда не видел ничего другого, там вырос, там женился и всю жизнь очищал землю от щебня, строил плотины от ливней, рассекал камни, скалы, устроил себе крепкое подворье, но все это не имело значения: он видел плоды лишь со-той части неимоверного труда.

Али тоже родился в том селении. Али тоже никогда не видел ничего другого, и Али, как все мужчины селения, день и ночь работал, не зная ни лета, ни зимы, весной работал больше, чем осенью, осенью больше мучился, чем летом, но Али, как и все жители селения, не знал избобилия, дети Али тоже росли полуголодными.

В том селении и земля под ногами человека была непригодной для жизни, и небо над его головой было непригодным для жизни; природа здесь мучила и пыталась сынов Адама; в том селении даже могли копать надо было киркой, точно камень, долбить землю; и жители селения думали, что так и должно быть; тысячу лет они мирились со своей судьбой, и через тысячу лет должно было быть так.

Бог забыл об этом селении.

В последний день, что провели здесь Мухаммед и Али, с неба полилась вода, как селевой поток, обрушился ливень, смыл все, что было посеяно, а после того ливня не осталось ни посадок, ни самой почвы, остался только щебень, остались осколки скал, и отполированные водой камни сверкали под солнцем, вещая о страданиях, муках, лишениях завтрашнего дня, и будущего года, и грядущих столетий.

Впервые человек здесь дошел до отчаяния, человек взбунтовался: Мухаммед, бродя среди осколков камней, заваливших поле, со страстью, не вмещающейся в его большое и сильное тело, воскликнул:

— Да будет пуста эта округа! Да будет проклята эта округа! Довольно мы жили как горные козы! Довольно. Прочь отсюда! Напрасно предки наши поселились тут! Лучше было пасть от меча врага, чем селиться здесь! Уйдем из этих мест! Много земли у Бога! Уйдем! Переселимся!

Жители селения собрались вокруг Мухаммеда, но никто в ответ ничего не сказал, все изумленно взирали на Мухаммеда, изумленно внимали Мухаммеду: тысячу лет людям и в голову не приходило, что можно переселиться куда-либо в другое место, можно где-то найти другую землю, можно жить без камней и скал, без ливней и морозов.

Потом все посмотрели на самого древнего жителя этих мест Сулеймана Деде.

Деде Сулейман некоторое время безмолвствовал, потом как бы заговорил сам с собой.

— Дело предков — правое дело, — сказал он. — Дух предков благословен и не заслужил упрека...

Мухаммед подошел и встал лицом к лицу с Деде Сулейманом.

— Прости меня, Деде, — сказал он.

Деде Сулейман сказал:

— Я простил. Пусть Бог простит... если простит.

Мухаммед сказал:

— Я ухожу, Деде.

Деде Сулейман еще некоторое время помолчал, потом оглядел всех жителей селения, собравшихся вокруг Мухаммеда, посмотрел на груды серых облаков, плывущих ниже крутых гор, и вдруг зашептал вдохновенно слова Деде Коркута:

Сын! Там, куда ты идешь, дороги опасны.
Всадник увязнет, не вылезет из грязи, ибо болота опасны.
Пестрая змея сворачивает с пути,
Ибо непроходимыми чащи бывают,
Молча голову сносят порой
Там, где палачи бывают...

Деде Сулейман умолк, посмотрел на Мухаммеда; прошло некоторое время, и Мухаммед снова сказал:

— Я ухожу, Деде.

Деде Сулейман еще раз за свою долгую жизнь понял: чему быть, того не миновать, что определено, то и сбудется, и сказал:

— Кто хочет, может пойти с ним...

Жители селения испугались слов Деде Сулеймана и начали расходиться; каждый ушел в свой дом, и вскоре на покрытом камнями поле остался Мухаммед, остался Деде Сулейман и еще остался Али.

Али подошел к Мухаммеду.

— Я пойду с тобой! — сказал он. — Мне тоже невмоготу! Я тоже ухожу! — сказал он и посмотрел на Деде Сулеймана.

Сувившиеся за долгие-долгие годы, но не поблекшие глаза Деде Сулеймана блестели, и этот молодой блеск не сочетался с его белоснежными волосами, белоснежной бородой; и Деде Сулейман взглянул на Мухаммеда, взглянул на Али, взглянул на груды серых облаков, что клубились ниже крутых гор, и улыбнулся:

— Имам Али тоже всегда был вместе с пророком Мухаммедом, — молвил он.

Мухаммед сказал:

— Благослови нас, Деде.

Деде Сулейман сказал:

— Сынок, удачи тебе!

Те же слова он сказал и Али; в тоске и печали, охвативших его сердце, медленно побрел он к своему жилищу и лег в постель.

В тот же день и Мухаммед, и Али запрягли волов в телеги, взяли сохи, кетмени, лопаты, кирки, усадили в арбы жен, детей, сами встали впереди, последний раз бросили взгляд на свое селение, что стояло намного выше серых облаков, сказали: «С Богом!» — и тронулись в путь.

Односельчане ничего не сказали ни Мухаммеду, ни Али, но, когда они двинулись в путь, собрались на отвесной скале, перед селением, глядя им вслед; старухи, молодые женщины, девицы принесли чистой воды, плеснули вслед Мухаммеду и Али и заплакали; жители этого селения до сих пор прощались навечно только с умершими, и теперь впервые расставались, не закапывая в землю, а провожая куда-то в другое место.

Потом сельчане направились к жилищу Деде Сулеймана, потому что Деде Сулейман томился охватившей его сердце тоской и печалью, потому что предчувствовал, что гостем этого мира ему осталось быть столько дней и ночей, что можно по пальцам перечесть...

Мухаммед и Али шли не останавливаясь, перевалили через горы, прошли по холмам, словно бросая вызов трудным дорогам: мы одолеем вставшую на пути черную гору, мы одолеем бурную реку; поддерживали друг друга, помогали друг другу, делили последний кусок и наконец достигли плодородного широкого склона и обосновались здесь.

Перед Мухаммедом и Али, перед их женами и детьми впервые в жизни распахнулся такой простор, впервые в жизни они вдыхали аромат темно-коричневой земли, и влажность этой земли проникла в тело и давала никогда прежде не испытанное ощущение покоя, говорила о завтрашнем изобилии, о красоте земли и о счастье жизни.

И Мухаммед, и Али работали день и ночь, помогая друг другу, охотились, поддерживали друг друга, вместе построили дом Мухаммеду, потом — Али, наладили жизнь, и каждый стал распахивать для себя большой участок, возделывать землю.

В один из дней, едва взошло солнце, Мухаммед, сняв лапти-чарыхи, бродил по своему участку вдоль забора; этот забор был недавно построен и отделял участок Мухаммеда от участка Али, это был первый забор, который увидели, свидетелями которого стали зеленые горы, заросшая цветами равнина, темно-коричневая земля.

Мухаммеду жаль было топтать эту землю чарыхами, и впервые в жизни босые ноги Мухаммеда выше щиколоток утопали в мягкой земле, и во влажной темно-коричневой земле чувствовалось тепло: никогда ни одежда, ни одеяло не согревали Мухаммеда таким теплом; в этом тепле было что-то от родных материнских рук.

Так вот, согреваясь теплом земли, Мухаммед подошел, остановился у развесистого грушевого дерева и удивленно посмотрел на него и на

забор, проходящий под грушевым деревом — и грушевое дерево, и земля под ним должны были находиться на участке Мухаммеда — так они договорились с Али и так отводили место для забора, но теперь забор был выдвинут вперед, и вся земля под деревом приналась на участок Али.

Окутанное тело Мухаммеда тепло земли в одно мгновение исчезло, словно и счастье, дарованное солнцем, пропало, и горькое чувство разочарования охватило Мухаммеда.

В это время и Али начал обходить свой участок вдоль забора, подошел к грушевому дереву, остановился перед Мухаммедом, и Мухаммед, поглядев в большие, до вчерашнего дня чистейшие глаза Али, впервые увидел в них жадность и дрожащим голосом сказал:

— Мы говорили друг другу «брат»! Когда томила жажда, делили воду, когда мучил голод — хлеб и соль! Почему ты так поступил? Почему выдвинул забор вперед и забрал мою землю?

Али горделиво, даже надменно окинул взором свой участок вдоль забора, посмотрел на вспаханную темно-коричневую землю, потом снова на Мухаммеда и сказал:

— Это место было моим. Я распахал его.

Мухаммед посмотрел на землю под грушевым деревом и пришел в ужас от явной лжи Али. Мухаммед увидел в больших и до вчерашнего дня чистейших глазах Али притворство, какого и представить себе не мог, но с усилием взял себя в руки и сказал:

— Ты ошибаешься, брат, это моя земля!

Али рассмеялся:

— Нет, брат, это ты ошибаешься... Вспомни хорошенько... Это моя земля!..

Али посмотрел на участок Мухаммеда, и Мухаммед увидел голод в глазах Али. Али будто хотел съесть распаханную землю Мухаммеда, и Мухаммед понял, что сейчас Али хочет стать владельцем и его земли; все существо Мухаммеда, никогда не имевшего землю, всю жизнь терпевшего муки и страдания, затрепетало, точно его опять захотели вернуть в бесплодные дождливые дни, когда он жил выше серых облаков, среди отвесных скал, и Мухаммед дернулся, всем существом как бы противясь возвращению в те дни, схватил с земли брошенные у забора грабли и со всей силой ударил Али по голове.

В одно мгновение прекрасная темно-коричневая земля приняла цвет крови, а потом уже Али ничего не видел и только в жутком изумлении произнес:

— Брат?!

Мухаммед некоторое время смотрел на распростертое тело Али, не в силах отвести от него глаза, и в необъятном просторе вдруг услышал слова Деде Коркута, произнесенные шепотом Деде Сулейманом:

Сын, сын, о сын!

Ястность моих серых, точно каракуль, глаз, о сын!

Хребет моей могучей спины, о сын!

Смотри, что же в конце концов стало!

И будто Деде Сулейман шептал эти слова Деде Коркута не Мухаммеду, а распростертому под грушевым деревом Али, Мухаммед слышал этот шепот не своими ушами, а окровавленными ушами Али, потом Мухаммед почувствовал, что сзади верхом на Белом Верблюде едет Говорящий Истину, и обернулся.

Белый Верблюд, по обыкновению, медленно вышагивал, держа голову прямо, и каждый раз из следов его поднимали головки белоснежные цветы.

Говорящий Истину никогда ничего не надевал на себя, не стриг борды, волос, не укорачивал ногтей, потому что и Говорящий Истину в сущности был человек, и, по его мнению, человек должен выглядеть таким, каков он есть изначально.

Говорящий Истину сидел на спине Белого Верблюда, его никто не видел, но все о нем знали.

Белый Верблюд, шагая так же медленно, подошел и остановился перед Мухаммедом.

Мухаммед в жизни своей не видел верблюда и решил, что на земле бывают только Белые Верблюды.

Глаза у Говорящего Истину тоже были белоснежными, как цветы, растущие из следов Белого Верблюда, в тех белоснежных глазах все находило свое отражение, и Мухаммед тоже увидел свое отражение в белоснежных глазах, увидел отражение развесистого грушевого дерева, увидел отражение залитого ярко-красной кровью тела Али.

Кровь Али загустела на его лице, на темно-коричневой земле, отразилась красным пятнышком в белых глазах Говорящего Истину.

— Эта земля была моя, а не его! — закричал Мухаммед. — Скажи, чья правда? Скажи правду!

Он бросил окровавленные грабли, которые все еще держал в руке, всем существом своим желая услышать от Говорящего Истину подтверждения своим словам.

Говорящий Истину посмотрел на Мухаммеда, посмотрел на распростертое под грушевым деревом тело Али и сказал:

— Я — это ты, я — это он. — Говорящий Истину простер руку и показал на тело Али. — Что я могу сказать? Ссора была из-за земли, у земли и надо спрашивать.

Белый Верблюд согнул передние ноги, вытянул шею, прислонил одно ухо к земле, послушал землю, потом поднял голову, посмотрел своими черными глазами в белые глаза Говорящего Истину; Говорящий Истину все прочел по глазам Белого Верблюда.

— Земля сказала, что вы оба говорили неправду! — молвил он. — Земля сказала: я не принадлежу ни одному из них. Земля сказала: это они — мои! Один уже идет ко мне в объятия. И другой, когда придет время, станет моим!

Белый Верблюд встал и, удаляясь обычным своим медленным шагом, исчез с глаз...

Белые цветы, выросшие из его следов, вещали о том, что когда-то здесь прошел Белый Верблюд...

Первое несчастье в нашем квартале пришло в семью бедного дяди Мейрангулу, и бедный дядя Мейрангулу, не умея сдерживаться, при женщинах, при детях хлопал себя ладонями с худыми длинными пальцами по худым бедрам и, плача, повторял только одно:

— Мой сынок — поэт!.. Мой сынок — поэт!..

Шестеро сестер Ибрагима столько плакали, так исцарапали себе лицо, грудь, что сил у них хватало только стонать.

Все жители махалли собрались в доме дяди Мейрангулу. Дядя Гасанага, дядя Агагусейн, дядя Азизага (вскоре и они все ушли на войну...), а из нашего тупика Джебран с Агарагимом посреди улицы, перед домом дяди Мейрангулу, соорудили палатку, и молла Асадулла, усевшись в палатке на почетном месте, читал Коран, время от времени с большой осторожностью откладывал в сторону эту большую, толстую книгу, снимал очки, клал рядом с книгой и, в тишине прихлебывая чай, шептал:

— Без савана ушел юноша... — Потом громко говорил: — Царствие небесное!.. Аллах рахмат элесин!..

Все сидевшие в палатке мужчины, слегка приподнимаясь с мест, хором произносили:

— Аллах рахмат элесин!..

Молла Асадулла говорил:

— Царствие небесное и всем вашим умершим! Да накажет Аллах виновника! Да убержет Аллах от пули всех ваших близких! Да не оставит Аллах ни одного дома без мужчины, да не останутся дети сиротами!.. Да покарает Аллах Гитлера, пусть унесет его Азраил, пусть загорится его могила и язык его обуглится... Да продлит Аллах жизнь Сталина!..

Мужчины в палатке хором произносили:

— Амин!

Джафаргулу и я часто входили и выходили из палатки: мы разносили чай мужчинам, собирали пустые стаканы, и, странное дело, слова, произносимые моллой Асадуллой, слова мужчин возвышали меня в собственных глазах, я казался себе большим.

Молла Асадулла говорил:

— Сын Мейрангулу Ибрагим был хороший парень. Своей чистотой он был похож на пророка Ибрагима. Царь вавилонский Немврод вел бросить Ибрагима в огонь, но пламя не тронуло Ибрагима Халила, так он был чист!.. И там, где горел огонь, вырос цветущий сад...

Когда молла Асадулла рассказывал такие истории, я не двигался с места, стоял и слушал; это производило на меня такое впечатление, что я забывал обо всем на свете и порой приходил в себя только тогда, когда либо горячий чай проливался мне на руки, либо Джафаргулу дергал за руку. Истории моллы Асадуллы порой походили на истории Балакерима, но отличие состояло лишь в том, как мне казалось, что молла Асадулла рассказывал то, что было на самом деле, во всяком случае молла Асадулла рассказывал эти истории не детям, рассказывал их взрослым, и поэтому его истории выглядели достоверными...

Я уже забыл, как Ибрагим показывал нам кино за двадцать копеек, как, когда у нас не было денег, брал за вход конфеты, и лишь две строки, написанные поэтом Ибрагимом, не выходили у меня из памяти:

Когда небо расстегнуло ворот, показалась луна!
Когда ты расстегнула ворот, показала солнце!

Правда, я не понимал смысла этих строк, но эти две строки (они, действительно были не Ибрагима, но это не имело значения!) после гибели Ибрагима будто стали самой горестной тоскливой песней на свете; тогда маленький Алекпер не понимал, что такое смерть, но горестная, тоскливая песня, зазвучавшая в душе со строками поэта Ибрагима, трогала меня, наполняя глаза слезами, мне хотелось плакать, и перед моим мысленным взором возникал тот цветущий сад, о котором говорил молла Асадулла, и растущие в том саду красные, оранжевые, фиолетовые цветы тоже были в тоске и печали.

Ночью, перед тем как заснуть, я представил себя на месте поэта Ибрагима: как будто погиб на войне не поэт Ибрагим, а я сам, и палатка перед домом дяди Мейрангулу сооружена в мою честь, и все мужчины округи собрались в палатке в знак траура по мне, и молла Асадулла меня уподоблял пророку Ибрагим Халилу: перед моими глазами проходили лица всех мужчин махалли, и я, с одной стороны, горевал сам по себе, мне было жаль, что я погиб на войне, а с другой — я гордился собой, потому что сражался, потому что погиб на войне, потому что все мужчины махалли ради меня собрались в эту палатку, и пожилые женщины, молодухи, девушки плакали обо мне; потом мне показалось, что вавилонский царь Немврод хочет сжечь меня, и я почувствовал жар пламени, но не испугался, потому что пламя должно было превратиться в цветущий сад и в саду выросли бы красивые оранжевые, фиолетовые цветы.

Во второй раз у нас в округе похоронка пришла в дом тети Фирузы, и на этот раз палатка была сооружена перед домом тети Фирузы: потому палатка стала ставиться часто, от одного дома переселялась к другому; эта палатка превратилась как бы в Белого Верблюда: поставленная у ворот, она возвещала о горестных делах мира сего.

Однажды я спросил у Балакерима:

— А почему Белый Верблюд не ляжет у ворот Гитлера?

Балакерим, будто зная все заранее, многозначительно усмехнулся:

— Ляжет, Алекпер, ляжет... Персы, знаешь, что говорят, Алекпер? Спроси у отца, он должен знать, персы сказали: хар сухан джанз, хар ногта мегам дарест...¹

Я, конечно, не понимал смысла сказанных персами слов, но в произношении, в музыке этих слов были покой и тишина; однако покоя и тишины не осталось в нашей махалле.

Только однажды палатка не была поставлена: когда пришла похоронка на часовщика Гюльбагу — мужа маминной тезки Соны; несколько мужчин, не пошедших на войну то ли по болезни, то ли по возрасту, то ли по другой какой причине, хотели поставить палатку перед домом Гюльбаги, но Соны не позволила, подняла крик, не стала держать траур.

¹ Каждая точка ставится тогда, когда приходит момент (перс.)

потому что Сона не верила в гибель Гюльаги и кричала, и объясняла людям, что похоронка ложная.

Всем было жаль Сону, женщины махалли плакали по ушедшему молодым, спокойному, никого не обидевшему красному Гюльаге, плакали и о бедной Соне, говорили, что Сона помешалась; но много об этом не судачили, а когда говорили, то с болью, со слезами на глазах.

В самом конце нашей улицы, на углу стояли рядом три лавки: мясная, хлебная и керосиновая, и жители махалли всегда покупали мясо в лавке у мясника Дадашбалы (горох, рис, сахар, соль и масло тоже продавались здесь); но когда началась война, лавка закрылась, и мясник Дадашбала стал чайчи; на поминках ставил самовары, ездил в Грузию, закупал и привозил сухой чай, заваривал чай и никогда не оставался без дела; он же и зарабатывал лучше всех, но называли его по-прежнему — мясник Дадашбала; мама и другие всю ночь стояли в очереди перед хлебной лавкой: лавка, перед которой выстраивалась очередь, открывалась рано утром и, быстро опустев, закрывалась; за керосином ходили мы и тоже выстраивали в многочисленных очередях, но скоро и керосин кончился (керосин, как и мужчины, шел на войну); через некоторое время исчезли из наших домов и керосинки, и керосиновые лампы.

Перед нашим тупиком больше не стояли рядышком автобус и четыре полуторки, потому что не только наша улица, не только наш тупик, но и двор наш пустел: сначала на войну ушли Джафар, Адыль, Абдулал, потом Годжа, и тетя Ханум осталась только с Джебраилом да с Ага-рагимом.

Началась война, и мы быстро усвоили, что горе кружит над теми домами, где есть сыновья, мужья, отцы, братья, и конечно, никому не пришло в голову, что несчастье войдет в дом шапочника дяди Абульфата, у которого было пять дочерей (если женщины собирались вместе, тетя Мешадиханум говорила: «Есть и такое счастье — одних дочек иметь!.. Вон Фатъма! Пятеро детей, и все дочки, ни одна на войну не пойдет»).

Когда перед домами нашего квартала стали сооружаться палатки, когда мясник Дадашбала, отбросив в сторону пень и сечак, стал заниматься приготовлением чая, когда мама до утра стала простоять в очередях перед хлебной лавкой (карточек еще не ввели), все довоенные события вдруг остались в далеком-далеком прошлом, и моя жизнь, как железный прут, согнутый по середине, вдруг разделилась: на жизнь до того, как началась война, и жизнь после того, как началась война.

И радостный вечер в цирке, и краски цирка, которые жили и переливались в моей памяти, для восьмилетнего Алекпера остались в далеком прошлом; лишь изредка, когда я видел на улице Адилю, воспоминания о цирке возникали из далекого прошлого, несли тепло, но это тепло дышало быстро остывало. Адлия исчезала за углом, и мои воспоминания возвращались в недосигаемую даль; в махалле и вообще в моей жизни больше не было ничего такого — ни событий, ни ощущений, способных вернуть из страшной дали «Письмо любви»; и страшное дело — даже толстые длинные каштановые косы Адлии тоже словно потеряли свой блеск, стали обыкновенными косами.

Одно время я, заведя Адилю на улице, убежал и прятался от смущения.

Дело было в том, что однажды отец, вернувшись из очередного рейса, сказал маме:

— Уж очень ненадежным стал этот мир, баджи... Рано или поздно я тоже пойду на фронт. Хочу увидеть хоть маленькую свадьбу Алекпера...

До войны обрезание у нас в округе превращалось в праздник (это было как бы подготовкой к будущей свадьбе); но на этот раз никакого праздника не было, отец нашел умельца лезгина, привел его, и все прошло очень обыкновенно; необычность была только в том, что я обмотал бедра ярко-красным полотнищем, фитой, и через два дня после обрезания с ярко-красным полотнищем на бедрах вышел на улицу играть с ребятами.

Мы всегда с завистью смотрели, как мальчики постарше нас играли на улице, обмотавшись красным полотнищем; теперь я и сам вырос, и я сам обмотал бедра ярко-красным полотнищем, и, по правде говоря, это красное полотнище на бедрах было единственной радостью в моей жизни с тех пор, как началась война.

На улице, у всех на глазах, я держался очень гордо, потому что вырос, потому что у меня на бедрах было красное полотнище; только при виде Шовкет я делал вид, что не замечаю ее, и — это было сильнее меня — спешил забежать в наш двор, да еще от Адлии прятался, не хотел, чтобы Адлия увидела меня с красным полотнищем: Адлию я тоже стеснялся, хотя по-другому.

Шовкет опять время от времени сидела перед своим домом, на деревянной лавочке рядом с раздвоенным тутовым деревом, но уже не грызла семечки, как прежде, потому что тетя Зибя уехала в Америку и вообще семечек больше не было, и Шовкет не хохотала, как прежде, лишь иногда улыбалась, и хотя у Шовкет не было никого, кто уходил бы на войну, в ее улыбке тоже была какая-то грусть. Все это было так, но когда я, обмотав бедра ярко-красным полотнищем, выходил на улицу, Шовкет снова, как прежде, подмигивала мне, тихонько спрашивала: «Очень больно было?» — и посмеивалась.

Несмотря на эти слова, я все же не обижался на Шовкет, а просто убегал во двор и не выходил на улицу, будто и это было игрой между Шовкет и мной.

А Адлию стеснялся по-настоящему.

Черные глаза Адлии, белое лицо, толстые и длинные каштановые косы были для меня родными, но в самом этом ощущении родства была какая-то отдаленность, что-то навсегда минувшее, и почему-то мне казалось, что такое же чувство, связанное с Адлией, было у Годжи — чувство отдаленного и навсегда минувшего, и Адлия это знает и страдает от этого.

Годжа тоже ушел на войну, и в махалле разговоры о Годже и Адлие, можно сказать, утихли и забылись; Балакерим больше не рассказывал о Ромео и Джульетте, я больше не боялся, что Белый Верблюд ляжет у двери Адлии; но однажды на улице я внезапно столкнулся с Адлией лицом к лицу, и Адлия будто даже не увидела красного полотнища, посмотрела на меня черными глазами, и я увидел в ее глазах затаянную

тоску, увидел глубокую печаль, словно глаза ее смотрели не на меня, а искали что-то очень далекое; как глаза Балакерима, они были устремлены в некую неведомую точку; потом Адлия второй раз спросила у меня:

— Ну, как ты, Алекпер?

Адлия задала этот вопрос так, будто хотела сказать: мне очень плохо, Алекпер, сердце мое никогда не смеется, Алекпер, я несчастна, Алекпер, несчастна и одинока... Потом Адлия сказала мне самые трогательные на свете слова:

— Я сохранила на память те билеты в цирк, Алекпер...

Я не сумел сдержаться, и глаза мои наполнились слезами; я хотел скрыть полные слез глаза от Адлии, но ничего не вышло, Адлия увидела мои слезы, и в тот же миг черные печальные глаза ее тоже наполнились слезами.

После этого я больше никогда не видел Адлию.

Вдруг по махалле разнеслась весть: Мухтар пошел свататься к шапочнику Абульфату, получил от родителей Адлии «да», и ее выдали замуж за Мухтара.

Неожиданность этой вести была не только в том, что никому бы в жизни не пришло в голову, что Мухтар с Адлией могут пожениться, но еще и в том, что после того, как началась война, все свадьбы на свете, казалось, навсегда остались где-то в прошлом; и если теперь, когда в нашей махалле у каждого дома устанавливаются поминальные палатки, кто-то захотел жениться, пошел свататься, это вызвало крайнее изумление, вызвало своего рода столбняк.

После смерти тети Кюбры Мухтар жил один в их доме с верандой; все так же рано утром ездил на работу в «эмке», на той же «эмке» по вечерам возвращался домой; на нем был тот же черный кожаный пиджак, те же галифе и хромовые сапоги; и после начала войны жизнь Мухтара шла так же, только домой он возвращался позднее, чем прежде, иногда даже в полночь, и когда я, лежа в постели, не мог заснуть на голодный желудок, я слышал шум черной «эмки».

Однажды утром, направляясь в школу, я увидел, что Мухтар в нижней сорочке льет воду в фаянсовые горшочки на своей веранде, и, честно говоря, на меня произвело большое впечатление, что Мухтар с утра, как все простые люди, вот так, в нижней сорочке, поливает цветочки тети Кюбры в фаянсовых горшочках, и я несколько дней думал, что надо бы здороваться с Мухтаром, он тоже человек, от поклона голова не заболит. Балакерим говорил, что приветствие «салам» — божье, не мы его придумали, и я решил уделить этот божий «салам» и Мухтару; и однажды вечером, когда Мухтар, вернувшись с работы, вылезал из черной «эмки», я поздоровался, но он искоса взглянул на меня (может, узнал? Узнал того мальчугана, который, когда он приходил просить прощения у тети Ханум, показал ему дом тети Ханум и видел, как в тот прекрасный довоенный день тетя Ханум прогнала его?) и не ответил на мое приветствие; после этого я больше с ним не здоровался. Однажды Балакерим, сидя на тротуаре под раздвоенным тутовым деревом, некоторое время смотрел на веранду Мухтара, потом сказал:

— Сколько в мире есть цветов — у каждого свой язык. Кюбра знала их язык, а Мухтар с ними говорить не умеет. У его цветов сердце болит...

Сын тети Сафуры Эйнулла тогда еще не пропал на войне без вести, а, выздоровев после первого ранения, вторично отправился на фронт, и тетя Сафура говорила:

— Ну и что же, что Мухтар? Разве он не мужчина? Да еще на такой работе, что на войну не пойдешь!.. Немного староват для дочери Фатьмы... Ну что ж, мужчина и должен быть старше, мужчина есть мужчина, что ты хочешь!.. Ну и что же, что у него уши маленькие? Человек может умереть и с красивыми ушами. А за Кюброй хорошо смотрел Мухтар, домовитый мужчина. Ну, конечно, Адлия красotka... Но пошла бы она за сына Ханум, и что? Оба молодые, а тут еще такая злая свекровь, как Ханум!..

Моя мама говорила:

— Ну почему тетя Ханум злая? Почему, Сафура, сестрица?

Тетя Сафура говорила:

— Ты мне про Ханум будешь рассказывать? Мухтар крепко стоит на ногах. Годжа — дай ему Бог живым-невредимым вернуться с фронта — умный мальчик, воспитанный, слов нет, видит Бог. У Ханум все сыновья воспитанные, но, дорогая, одной воспитанностью жену содержать нельзя... Время нынче тяжелое. Вон бедняга Гюльгата, сиротка, чем кончил? Курцу зарезать душу не позволяла, а одна пуля — и кончилась его молодая жизнь. Дай Бог, чтобы однажды Гитлеру, сукинну сыну, досталась такая пуля!.. Чем бедная Сона виновата, не про тебя будь сказано, чтобы такого красавца потерять!..

Мама говорила:

— Кто по душе, тот и красив, Сафура, сестрица...

— Прекрати ты этот детский лепет! Дочке дашь волю, так она или за плясуна выйдет, или за халвичника...

Мама была моложе тети Сафуры, в душе болела за Адилу с Годжой, поэтому не хотела уступать в этом споре тете Сафуре:

— Но ведь есть и такая поговорка, Сафура, сестрица: дочь отдай не тому, у кого дом богатый, а тому, у кого папаха на голове!

Я был полностью согласен с мамой, потому что мама и сама пошла не за того, у кого дом богатый; у отца вовсе дома не было, но отец был одним из тех мужчин, у кого папаха на голове: день и ночь в дороге, ни о чем не просил таких, как Фатулла Хатем, и даже в те тяжелые дни содержал нас как мого.

Тетя Сафура говорила:

— А что, у Мухтара папахы нет? Ты больше Фатьмы переживаешь за ее дочь! Ей-богу, разумные слова говорит Фатьма дочке! Говорит, посмотри на нас, призадумайся, всегда мы были бедными, говорят, жили впроголодь, взгляни на своих сестер, говорят, да хранил Аллах руки твоего отца, шьющие папахы, говорят, а то бы все твои племянники с голоду померли бы, говорят, и правильно говорит! Сама Фатьма, если бы не за шапочника Абульфата, а за брата Ханум, покойного Абузара, пошла, что теперь было бы? Сиротами остались бы их дети.

Мама говорила:

— Аллаху виднее... У кого что на лбу написано, то и сбудется.

Мама говорила это, а я хорошо знал, о чем она думала, моя мама: почему на свете все так несправедливо, господи? Все горести этого мира нам ли одним предназначены? Неужто даже такая война на хатемов не подействует? У людей сыновья погибают, мужья без вести пропадают, а газеты все печатают портреты Фатуллы Хатема: Фатулла Хатем написал письмо на фронт солдатам! Фатулла Хатем выступил против сукных детей, фашистов!.. Чем выступать да письма писать, взял бы да сам пошел, как наши мужья и сыновья, сражался бы с фашистами! Почему не идет? Потому что он — Фатулла Хатем...

...То, что Мухтар ходил сам за себя сватать, просил руки Адиле и получил согласие шаночника Абульфата и тети Фатьмы, вызвало некоторое оживление на нашей осиротевшей улице, в нашей обезлюдевшей, обесцвеченной махалле, но в один осенний день, горький день, в полдень, мы с мамой выскочили из дома и побежали на дикие вопли и крики.

Адила бросилась с крыши трехэтажного дома.

Мама, обхватив руками мою голову, прижала меня лицом к себе, чтобы я не увидел Адилю, упавшую на булыжники мостовой, но я и без того не хотел смотреть на Адилю, упавшую на середину мостовой, на булыжники: я уже был не ребенок, а кое-что повидал, я уже видел много палаток, поставленных у ворот соседних домов, и знал, что смерть — это вечная разлука; это я уже понял, осознал и еще сильнее прижал голову к маминому телу; слыша крики на улице, шум, мамины рыдания, я заплакал по Адиле.

Теплая мамнина ладонь прижимала мое лицо к своему теплему телу, и так она довела меня до дому.

— Не бойся, — повторяла она, — не бойся! — Потом, плача, сбегала во двор, принесла коврик холодной воды, вымыла мне лицо, заставила выпить воды, но я никак не мог успокоиться, и мама объясняла мои рыдания испугом, ей и в голову не приходило, что маленький Алекпер плакал не от испуга, а от печали, и легкое, теперь уже прозрачное пятнышко той печали, разрывавшей мне сердце, осталось в нем и сейчас.

Адила была жива, но вся разбита, изломана, ее положили на машину и увезли в больницу.

Махалля ждала вестей из больницы, махалля молила Бога, чтобы Адиле выжила, и никто в махалле не произнес ни одного дурного слова в адрес Адиле, не осудил Адилю за такой ужасный поступок.

Через четыре дня она умерла.

Адила была первым родным для меня человеком, который умер.

Правда, с войны в наш квартал приходили похоронки, правда, я хорошо знал и поэта Ибрагима, и часовщика Гюльбагу, и других погибших; их смерть произвела на меня сильное впечатление, я, как и вся махалля, горевал о погибших, но со смертью Адиле как будто умерла какая-то часть меня самого...

Спрятавшись, чтобы меня никто не видел, за горой бревен, палок, досок, сваленных во дворе Желтой бани (большую часть их находил где-то и притаскивал Балакерим), я думал об Адиле, воскрешал перед мысленным взором черные глаза Адиле, ее белое лицо, толстые и длинные косы, высокую грудь, которая запомнилась мне с того довоенно-

го весеннего вечера в буфете цирка; мне казалось, что Адиле опять протягивает руку и гладит меня по волосам, и у меня в горле застревал комочек, и волнистая красная линия в «Письме любви» теперь, когда я прятался за грудой досок и бревен во дворе Желтой бани, мне говорила только и только о печалях мира сего, и я вдруг ощутил аромат розы, возвратившейся из довоенной дали, из милого прошлого, но аромат розы тоже веял о печалях мира сего, и я шептал четыре строки, которыми оканчивалось «Письмо любви»:

Письмо, к любимому спешит,
Пусть почта не обманет.
Не доберешься до Годжи —
Пусть мне конец настает.

И мне казалось, что то «Письмо любви» так ни до кого и не дошло, всегда было в пути, даже сам я не читал его, и оно всегда будет в пути, никогда ни к кому не придет, и бесконечность этого пути была для меня безысходностью мира сего...

Адила уже никому не напишет письма, Адиле больше никому не пошлет привета с ароматом розы, и я вдруг подумал о тете Ханум и снова услышал слова: «Что за бесстыжая девка ты, а?!», которые тетя Ханум выкрикнула, появившись перед цирком в тот довоенный прекрасный весенний вечер, и еще больше расстроился; конечно, в мученической смерти Адиле тетя Ханум не была виновата, но все равно мне не хотелось видеть тетю Ханум в своем воображении, не хотелось слышать ее голос, мое маленькое сердце надорвалось, после смерти Адиле я гневался на тетю Ханум, и мне казалось, что я больше никогда не смогу помириться с ней.

Тело Адиле вынесли из трехэтажного здания, молла Асадулла выступил вперед, все население окрути двинулось вслед за покойной в сторону кладбища, и я никак не мог осознать, что это Адиле сейчас лежит на погребальных носилках, прилущих на чьих-то плечах, что это ее накрыли шелковой накидкой и она не дышит.

Мы как-то привыкли, что умерших уже не хоронят: когда с войны приходили вести о смерти, сооружались палатки, в домах звучали вопли, плач, справлялись поминки, но никто не ходил на кладбище, потому что самого покойника не было, он оставался в сырой земле в дальних краях... А теперь, как до войны, люди шли за телом на кладбище, и этот обряд как будто сделал смерть Адиле еще более горькой.

Кларнетист Алекпер был одноглазым, поэтому он не пошел на фронт, и иногда, когда с фронта приходили похоронки, особенно на молодых людей, еще не женатых, не обрученных даже, он без приглашения входил в палатки, сооруженные у домов, раскрывал футляр, не спеша собирал кларнет и с большой, идущей из самого сердца, играл народные траурные мелодии, в такие минуты кларнет Алекпера вызывал слезы даже на глазах мужчин, еще не ушедших на войну, и мужчины, прикрывая глаза платком, чтобы никто не видел их слез, беззвучно плакали, а плечи их тряслись.

Идя за телом Адиле, Алекпер играл на кларнете мелодию «Сейгях», и, когда дрожащие пальцы Алекпера бегали по клавишам кларнета, мне

казалось, будто я нахожусь в мире тех далеких и безлюдных пустынь, о которых рассказывал Балакерим, и в том мире нет ничего, кроме бесконечно тянувшихся бесплодных песков, кроме ярко-синего неба и горестного звука кларнета; но и в пустынях, и в ярко-синем небе, и в горестном звуке кларнета была печаль черных глаз Адилы, ее длинных каштановых кос.

Процессия проходила по кварталам, расположенным выше нашего; и те кварталы осиротели, в них почти не осталось мужчин, парней, а женщины, девушки постарели от горя; у всех глаза были устремлены на дороги войны, но когда мы несли тело Адилы, на тех улицах у ворот тоже собирались люди, и у людей выступали на глазах слезы, и у них сжимались сердца: «Эта девушка с косами, что убила себя!»

Конечно, вся наша махалля горевала, но наряду с горем люди таили и безмолвное, неприятное любопытство, и, что скрывать, неприятное любопытство танцло и в душе маленького Алекпера: что станет делать тетя Ханум? Покажется ли на улице во время похоронной церемонии или затворится дома? Покажется ли в этот горький день на глаза людям, которых считала своими врагами?

Тетя Ханум с Джебрайлом по одну сторону и Агарагимом — по другую вышла из тупика и обычным своим шагом подошла к людям; все вокруг тети Ханум, даже плачущие женщины, умолкли, никто ничего не сказал, и все в немом молчании, в сопровождении кларнета Алекпера, двигались за телом Адилы.

Пожилые женщины держали тетю Фатьму под руки, но тетя Фатьма, как только выдавался случай, хватала и рвала руками свои разлохмаченные волосы, царапала лицо и осипшим от плача и воплей голосом стонала:

— Меня бы убила!.. Почему свою молодую жизнь не пожалела?

Лица шапочника дяди Абульфата не было видно, потому что он прижимал к глазам большой платок, но мне казалось, что плачут не только скрытые большим платком глаза шапочника дяди Абульфата, но и его спина, плачут шаги, плачет одежда на нем.

Рядом с шапочником дядей Абульфатом плакали навзрыд незнакомые мне маленькие дети и подростки, их было много, и Джафаргулу сказал, что это племянники Адилы.

Я увидел Тамару. У Тамары, как у тети Фатьмы, тоже были всклокочены волосы, лицо побледнело, глаза покраснели; в эту минуту мне захотелось подойти к Тамаре, взять ее за руку, я хотел бы идти рядом с Тамарой, но не подошел к ней, потому что знал: это ничего не изменит.

Мясник Дадашбала был пузатый, толстый мужчина (правда, когда началась война, живот у него обвис, и сам он похудел, но все равно он оставался самым тучным человеком у нас в округе). Прежде, когда я смотрел на Дадашбалу, мне становилось жалко баранов и ягнят всего света, но теперь мясник Дадашбала так искренне плакал, плечи его так прыгали от рыданий, как будто он был самым кротким человеком на свете (а может быть, так оно и было?).

Помимо воли я время от времени искал в толпе глазами тетю Ханум: тонкие губы ее были так же плотно сжаты и черные глаза так же смот-

рели вперед из-под широких бровей, но вскоре на кладбище кое-что произошло, и я увидел, как плотно сжатые тонкие губы тети Ханум на мгновение приоткрылись, и в глазах ее увидел искорку, но не понял, что тут к чему.

Когда два могильщика с лопатами в руках засыпали могилу Адилы землей, взгляд рвущей на себе волосы, раздражающей лицо, грудь тети Фатьмы упал на стоявшую молча в сторонке тетю Ханум, в этот миг тетя Ханум тоже взглянула на тетю Фатьму, и тетя Фатьма с надувшимися на шею жилами почти пропавшим голосом закричала:

— Позовет она твоего сына к себе!.. Позовет!..

На кладбище воцарилась тишина, все невольно взглянули на тетю Ханум, и в этой мучительной тишине был слышен только скрежет лопат да мягкий стук комьев земли.

Тетя Ханум ничего не сказала; как стояла, так и осталась стоять, и глаза свои не отвела от глаз тети Фатьмы, вот тогда-то я увидел, как губы тети Ханум на мгновение, всего на одно мгновение раздвинулись, и увидел мгновенную искорку в ее глазах, глядевших из-под сросшихся бровей.

Потом молла Асадулла прочел поминальную молитву, женщины квартала с трудом оторвали упавшую на свежую могилу Адилы и не желавшую уходить тетю Фатьму, увели ее с кладбища, и шапочник дядя Абульфат побрел плачущими от горя шагами, все люди разошлись, и на кладбище остались лишь могила с холмиком свежей земли; мы, дети, и Балакерим задержались, а потом я увидел, что и тетя Ханум с Джебрайлом по одну сторону и Агарагимом — по другую стоит у могилы, а потом я увидел, что немного поодаль стоит Мухтар.

Я не видел Мухтара на похоронах, не знал, когда он пришел на кладбище, и теперь, неожиданно увидев его стоящим вот так у могилы, словно чего-то испугался.

Мухтар не отрывал взгляда от свежей могилы.

И тетя Ханум не отрывала взгляда от свежей могилы.

Мы молча смотрели то на свежую могилу, то на Мухтара, то на тетю Ханум.

Мне казалось, что тишина, воцарившаяся на кладбище, никогда не нарушится.

Вдруг тетя Ханум, подняв глаза, поглядела на нас и сказала:

— Балакерим, возьми-ка свирель, поиграй!..

Конечно, мы все хорошо знали характер Балакерима, знали, что он никогда не играет по заказу, и испугались: а вдруг и сейчас Балакерим откажется играть. Но Балакерим сунул руку в нагрудный карман своего пиджака, вынул свирель и заиграл.

После кларнета Алекпера свирель Балакерима звучала слабо, как-то по-сиротски, и что играл Балакерим, было неизвестно, эту мелодию знал только Балакерим, это была его песня.

Балакерим играл, мы слушали его и смотрели на свежий могильный холмик.

Мухтар, не сказав ни слова, повернулся и под звуки свирели Балакерима медленно ушел с кладбища.

Я смотрел на тетю Ханум и в тот осенний день на кладбище простил тетю Ханум, помирился с ней.

Ночью я опять не мог уснуть, и мама волновалась, тревожилась, часто вставала с постели, подходила ко мне, смотрела на меня, но я не издавал ни звука, не открывал глаз, и, наверное, мама решила, что я сплю, но свежий могильный холмик все стоял у меня перед глазами, и свежая могила была не на кладбище, как днем, а в том цветущем саду, о котором рассказывал молла Асадулла, среди горящих красных, оранжевых, фиолетовых цветов; я думал о пророке Ибрагиме Халиле, думал о вавилонском царе Немвроде, и всякий раз Немрод представлял в моем воображении в облике Мухтара; я вовсе не хотел уподоблять Немврода Мухтару, не хотел, чтобы Немрод представлял перед мысленным взором в образе Мухтара, потому что Мухтар, неотрывно глядевший сегодня днем на свежую могилу, был тем самым Мухтаром, который по утрам в нижней сорочке поливал цветы, но хоть я и не желал этого, вавилонский царь Немрод представлял перед моими глазами в образе Мухтара...

XXI

Балакерим, как всегда, сидел на тротуаре под раздвоенным тувовым деревом, засовывал худую руку с обкусанными чуть ли не до корня белыми-белыми ногтями и синими-синими венами в нагрудный карман пиджака, вынимал свою свирель, играл свои обычные мелодии, и с начала войны, с начала осиротения нашей махаллы мелодии Балакерима все более грустнели; это были прежние мелодии, но та свирель прежде никогда не разговаривала с нами так печально, и однажды вечером мама, выйдя на улицу, чтобы позвать меня домой, остановилась, некоторое время слушала свирель Балакерима, потом возвратилась домой, и я хорошо знал, что она расстроилась, вдоволь наплакалась, облегчила душу.

Собравшись вокруг Балакерима под раздвоенным тувовым деревом, или под большим тувовником в конце тупика, или во дворе Желтой бани, мы сидели и слушали свирель Балакерима, и Балакерим так же внезапно, как начинал, вдруг переставал играть и говорил:

Внутри бани черт-те что,
Внутри соломы решето,
Верблюд бороду побреет,
Баня бедного согреть...

И вновь он рассказывал о том, что говорил, что делал Белый Верблюд, о самых удивительных на свете происшествиях, случившихся в давние-давние времена с колдунами, волшебниками, жестокими падшахами, хитрыми визирями, прекрасными принцессами, отважными принцами, но я больше не мог, как прежде, всем сердцем, всем воображением быть среди тех событий, потому что я слушал Балакерима, но во мне всегда томилось сиротство нашего квартала, печали нашего квартала ни на мгновение не оставляли меня, и порой, когда я

слушал Балакерима, мне казалось, что цвет старого желтого пиджака на Балакериме, в сущности, стал цветом нашей улицы, нашего тупика, нашего двора, мне казалось, что, независимо от того, белой, голубой, розовой ли известкой были покрыты стены, вся наша махалла окрасилась в желтый цвет, и эта желтизна была желтизной пиджака Балакерима: грязной, поношенной, жалкой...

Прежде, то есть в те прекрасные времена, когда еще не было войны, когда Балакерим, сидя под раздвоенным тувовником, рассказывал что-то, а Шовкет, сидя немного поодаль на скамье у дверей своего дома, грызла крупные семечки, кушленные у тети Зибы, и в это время по нашей улице проходили чужие, то есть живущие в других кварталах девушки, женщины (особенно статные, полные женщины), Балакерим как бы терялся, полными грусти, но в то же время и внезапно загоревшимися глазами с отчаянием смотрел вслед этим чужим женщинам (когда мимо нас проходили молодые девушки, женщины нашего квартала, Балакерим никогда не поднимал головы), делал несколько глотательных движений, как будто забывал обо всем, — и о нас, и о Белом Верблюде, — при этом Шовкет начинала хохотать, глядя на Балакерима, и говорила:

— А ты парень не промах!.. — Балакерим тогда совсем терялся, не знал, что делать, говорил невпопад, и хотя я не понимал причины его растерянности, глотательных движений, хохота и реплик Шовкет, я чувствовал, как сильно колотится у Балакерима сердце, чуть ли не выскакивает из груди. Теперь Шовкет так не хохотала, и однажды, когда мы опять собрались вокруг Балакерима под раздвоенным тувовником и Балакерим опять, внезапно забыв обо всем на свете, посмотрел вслед проходившей по нашей улице чужой статной женщине, Шовкет, стоявшая, прислонясь к своим воротам, печально сказала:

— Конечно, бедняга, ты ведь тоже человек...

Я впервые за всю мою жизнь услышал столь явную печаль в голосе Шовкет.

Балакерим взглянул на Шовкет, и я увидел в его всегда устремленных в неведомую точку, полных туманной грусти глазах никогда не появлявшуюся прежде благодарность, признательность — этот взгляд и теперь передо мной, — и в то же время во взгляде Балакерима вдруг стала видна беспредельная верность; я никогда не смог бы себе представить, чтобы чей-то взгляд мог так подействовать на Шовкет: она покраснела под взглядом Балакерима, опустила голову, вошла в свою комнату, аккуратно закрыла всегда распахнутую дверь, и я был совершенно убежден в том, что Шовкет в своей комнате, как и моя мама, вдоволь наплакалась, облегчила душу.

Встранившись друг за другом перед нашим тупиком автобус и полуторки, как я уже говорил, остались в далеком прошлом; исчез автобус, полуторки становилось все меньше; после Джафара, Адьяла, Абдуллы, после Годжи ушел на войну и Джебраил; новая (то есть для нас, для нашей улицы, для нашего тупика новая, а по сути старая, изношенная) полуторка Агаргима, после обучения начавшего работать, какое-то время одиноко стояла перед тупиком, и, когда я смотрел на эту одинокую машину, мне казалось, что она тоскует по стоявшим здесь ког-

да-то машинам Джафара, Адьяля, Абдулалли, Джебраила и что эта одинокая машинка тоскует, как наша улица, как наш тупик, как наш двор.

Тетя Ханум говорила еще меньше, чем прежде, и как будто совсем не размыкала губ, глаза ее по-прежнему были грозными, но я смотрел на плотно сжатые тонкие губы, в эти грозные глаза и чувствовал, что тетя Ханум страдает безнадежно, зная, что настанет срок Агарагима и он уйдет на войну, что и эта машинка не будет стоять перед нашим тупиком...

И Агарагим тоже ушел на войну (примерно в одно время с моим отцом, в конце сорок третьего), и в нашем дворе теперь осталось всего троє: тетя Ханум, мама да я (и еще голуби Джебраила).

Мама чуть ли не всю ночь стояла в очереди, чтобы купить поступавший из Америки зеленоватый порошок из черепаших яиц, разводила его водой и варила что-то вроде каши; у этого порошка был странный запах и привкус, как будто он не яичный и не черепаший даже, а искусственный, приготовленный из несъедобного вещества; мама хвалила порошок, но при этом прятала от меня лицо, и я знал, что у мамы выступают слезы на глазах оттого, что мы дошли до такой нужды и я должен есть кашу из порошка черепаших яиц.

После того как Джафар, Адьяль, Абдулалли, Годжа, Джебраил и, наконец, Агарагим ушли на войну, когда тетя Ханум осталась одна, я порой видел, как она из окна веранды смотрела на кран посреди нашего двора, и я тоже все еще грозными глазами тети Ханум видел, как, голые до пояса, моются под краном Джафар, Адьяль, Абдулалли, Годжа, Джебраил, Агарагим, и сердце мое колотилось, мне казалось, что их мокрые голые спины и грудь вот сейчас проинзят пуля, кровь из ран смешается с текущей водой, алая кровь прольется в маленький бассейн под краном... В такие минуты мне хотелось взбежать по деревянным ступенькам, обнять тетю Ханум, прижать голову тети Ханум к своей груди (как мама прижала мою голову к себе в день, когда Адьяля бросилась с третьего этажа) или прижать свою голову к груди тети Ханум, уж не знаю, но во всяком случае что-то сделать для тети Ханум.

Мама горевала об ушедшем на войну моем отце, о моем сиротстве, горькой доле и еще — я видел это явственно — горевала о тете Ханум: иногда поглядывала на веранду тети Ханум, качала головой, вздыхала, глаза наполнялись слезами. «Бедная женщина!» — шептала она, и я сначала не мог соотнести этот мамин шепот с тетей Ханум, потому что, по моему мнению, все могли быть бедными, вся наша улица, наш тупик, наш двор могли быть бедными, даже Мухтар, в нижней сорочке поливающий цветы тети Кюбры, мог быть бедным, но тетя Ханум никак не могла быть бедной; однако со временем я перестал ощущать это несоответствие...

Тетя Ханум порой поглядывала в сторону ворот, и тогда я видел в ее суровых черных глазах беспокойство, даже страх, и мне казалось, что каждый раз, когда ворота открываются, каждый раз, когда из тупика доносится громкий голос, тетя Ханум ждет черной вести и всегда теперь живет в тревоге, которую от всех скрывает.

Однажды Ибадулла, и в это полное лишений военное время нашедший водку, написал к нам в тупик, пришел к нам в тупик, и опять крик тети Амины

разнесся по всему тупику, и опять Ибадулла, проклиная весь свет, вышел со двора тети Амины и заплетающимися ногами дошел до наших ворот, где встретился с тетей Ханум; наверное, он вспомнил прошедшие дни, вспомнил Джафара, Адьяля, Абдулалли, Годжу, Джебраила, Агарагима и, устремив на тетю Ханум полные злости пьяные глаза, проговорил:

— Ну, а ты что думала про немцев? Эти убийцы цацкались с тобой не будут!.. Всадят пули — по одной в башку твоим сыночкам!..

Тетя Ханум стояла, глядя на Ибадулла и не говоря ни слова, а я, дрожа всем телом, закричал:

— Врешь, сукин сын!

Ибадулла сказал:

— Сукин сын — твоей отец-персюк! И в его пустую башку всадят пулю!..

Я снова закричал:

— Врешь! — и, не в силах удержаться, громко заплакал.

После этого я некоторое время избегал тетю Ханум, стеснялся показывать ей на глаза, смущался; и стеснялся я не только потому, что не удержавшись, так громко заплакал, но и (самое главное!) потому, что сама тетя Ханум выглядела такой беспомощной, такой одинокой...

XXII

Года полтора тому назад у меня было назначено выступление по телевидению, я должен был ехать на студию, а открывать гараж и выводить машину что-то поленился. Вышел на улицу и поймал такси.

Я не успел записать свое выступление, не успел даже обдумать его, времени не хватило, и теперь, сидя в такси, я думал, о чем буду говорить. Уже не осталось слов, не затрепанных случайными выступлениями, и я злился на себя: зачем я сам усложняю или позволяю другим усложнять свою и без того сложную жизнь? На что мне эти ненужные встречи? К чему эти ненужные выступления? К чему они другим? Почему я не сажусь за стол и не пишу свое, выношенное?

Может, не умею писать, поэтому?

Хотелось остановить такси, выйти и пешком, не торопясь вернуться домой, но как ни желал я этого, а в глубине души понимал, что все это зря: даже если сегодня я остановлю такси, завтра все равно придется ехать.

И вдруг шофер спросил:

— Алекпер-муаллим¹, как вы поживаете?

— Хорошо, спасибо, — ответил я и посмотрел на шофера: это был мужчина с большой лысиной на макушке, окруженной седыми кудрями, усы его тоже поседели; я не знал этого пожилого человека.

Прежде, в те времена, когда бакинцы, особенно студенты, только начинали узнавать меня в лицо, встречая на улице, на базаре, на Приморском бульваре, когда девушки, кивая в мою сторону, шептали друг

¹ Муаллим — буквально: учитель; уважительное обращение.

другу: «Ты знаешь, кто это?» — все это если не радовало меня, то, во всяком случае, было приятно. Прошли годы, и это стало привычным: как будто так и должно быть. Вдруг водитель такси спросил:

— Алекпер-муаллим, вы не узнали меня?

Я снова посмотрел на лысину, на седые кудри, на потемневшее под солнцем лицо и сказал:

— Эх, что осталось от моей памяти?

Пожилый шофер промолвил:

— Да ведь я Джафаргулу!..

Я сначала не понял, о ком идет речь, потом вдруг сразу узнал этого шофера; собственно, слово «узнал» здесь неуместно, потому что между мной другом Джафаргулу из далекого прошлого и пожилым шофером такси не было ничего общего, я не мог его узнать, просто я понял, что седой человек — совершенно незнакомый мне чужой человек — это оставшийся навсегда в далеком прошлом маленький проворный Джафаргулу с черными, как агат, сверкающими на солнце кудрями. Потом я увидел играющего на улице дружка того черноволосого кудрявого Джафаргулу — маленького Алекпера — и почувствовал, как я чужд тому маленькому Алекперу.

Джафаргулу, не отводя глаз от дороги, улыбнулся и сказал:

— А помните, Алекпер-муаллим, в махалле все говорили, что вы большим человеком станете, книги будете писать?.. Клянусь Богом, ни разу такого не было, чтобы слово махалли не сбылось!.. Слава Богу, теперь уважения к вам больше, чем к Фатулле Хатему!

Я смотрел на пожилого шофера такси и многое хотел сказать ему: хотел сказать, не называя меня муаллим, не говори со мной на «вы», хотел расспросить его, хотел спросить, что с Балакеримом, хотел спросить о Шовкет, о раздвоенном тутовом дереве, хотел спросить, где твои черные кудри, Джафаргулу, помнишь ли ты сказки о Белом Верблюде, Джафаргулу? Но ничего не говорил и ни о чем не спрашивал, не знаю, что со мной стряслось; хорошо, что Джафаргулу сам говорил: о сыне, о дочери говорил, о только что родившемся внуке.

Я улыбался, кивал, поддакивая Джафаргулу, и мне было жаль себя... Потому ли, что так быстро пролетели годы? Потому ли, что с такой вот скоростью кончается Прежде и приближается Конец?

Джафаргулу засмеялся:

— Помните, Алекпер-муаллим, как однажды вы разбили стекло на веранде Мухтара? — Джафаргулу покачал головой и вновь громко рассмеялся; потом с искренним любопытством, наверное, вспомнив тот далекий день — тот день, когда я разбил стекло на веранде Мухтара, спросил: — Что это такое, Алекпер-муаллим, мир меняется, а Фатулла Хатем не меняется, а? Включаешь телевизор — говорит, раскрывашь газету — его портрет, и всегда он на высоких постах, а? Как это получается? Я рабочий человек, прямой, вот и спрашиваю у вас!..

Я улыбнулся, пожал плечами:

— Эй-богу, не знаю...

— Как он по ночам спит, а, Алекпер-муаллим? Бедные саттары-месу-мы ему не снятся?

Я снова пожал плечами, снова улыбнулся:

— Не знаю... Человек — сложное существо... У каждого найдется для себя оправдание...

Джафаргулу рассмеялся:

— Не говорите со мной такими словами, э, Алекпер-муаллим, не понимаю я этих слов!.. Я тоже переселился из нашей махалли, Алекпер-муаллим, теперь в седьмом микрорайоне живу, пять лет уже, трехкомнатная квартира, телефон, то да се, но, Алекпер-муаллим, махалля — совсем другое дело!

Джафаргулу был от души рад встрече со мной; он ничего не ожидал от нее, и на мое молчание не обращал внимания, говорил, смеялся.

Когда мы доехали до телецентра, он сказал:

— Ибадуллу помните, Алекпер-муаллим? Зараза был какой! — и снова от души рассмеялся.

Джафаргулу в промежутке между Прежде и Концом чувствовал себя как за рулем такси — свободно и спокойно.

XXIII

Ива, посаженная посреди нашего двора, у маленького бассейна под краном, росла; каждый раз, когда приходила весна, покрывались листьями новые ветки, а вместе с ивой рос и я.

Взрослея, я многое стал понимать; узнал и переносный смысл слова «продавать», узнал, что человек может продать человека, но для меня поэт был необыкновенным человеком, поэт был больше, чем просто человек, выше, чем человек, и однажды я спросил у Балакерима:

— Можно продать поэта?

Балакерим сказал:

— Можно...

XXIV

Было начало весны, не знаю, сорок третьего года или сорок четвертого — точно не помню; наступил апрель, и раздвоенное тутовое дерево прорнулось, на его ветках лопнули почки, стайка воробьев, усевшись на раздвоенный тутовник, стала клевать эти крошечные почки.

С начала войны воробьи боялись ребят нашей махалли больше, чем кошек, потому что каждый из нас с рогаткой днем и вечером разыскивал и подбивал воробьев; воробьиное мясо было для нас не только самым вкусным на свете — охотничья добыча возвышала нас в собственных глазах; подбитые воробьи вызывали в осиротевших, как наша улица, как наш тупик, как наш двор, сердцах чувство гордости: мы, как мужчины, приносили домой мясо, приносили еду; бывали дни, когда каждый из нас подбивал по восемь—десять воробьев, и в такие дни мама вместе со мной ела мясо; когда она за чем-либо выходила на кухню или во двор, я перекладывал содержимое из своей тарелки в мамину, потому что хотелось, чтобы мама побольше съела добытых мной

воробьев, но понемногу и воробьев стало меньше, они нас стали узнавать и, едва завидев наши силуэты, испуганно улетали.

Воробьи тоже голодали и на глазах худели, становились совсем маленькими.

В то летнее утро я с рогаткой, сделанной из старой камеры от шины, подаренной мне Джейбраилом еще до ухода на фронт, стоял под раздвоенным тутовым деревом и смотрел, как стайка воробьев с гомоном жадно клевала крошечные почки.

Воробьи были голодны, и соблазн поклевать крошечные и, наверное, вкусные почки пересилил страх; увидев меня под раздвоенным тутовником, они не испугались и не разлетелись, и я тоже, как ни странно, в это весеннее утро не ощутил желания поднять рогатку, которую держал наготове, и выстрелить в них.

Мне было жаль маленьких почек тутового дерева, я боялся, что воробьи склоуют их все и дерево больше не распустит листьев, но мне было жалко и отощавших воробьев, мне не хотелось их убивать; поднав голову, я просто смотрел на них.

— Алекпер!..

Я слегка вздрогнул, услышав вдруг среди воробыного чириканья свое имя.

Шовкет стояла на тротуаре, прислонившись к двери, и глядела на меня.

Я уже давно сбросил красную повязку, и на мне были обычные брюки, но, увидев Шовкет так внезапно, я, как всегда, растерялся, и не успела она сказать слово, как я уже густо покраснел.

Шовкет с улыбкой смотрела на меня, и я знал, что сейчас она скажет что-то такое, от чего я растеряюсь; слова Шовкет сделают меня ребенком, маленьком крохотным, как чирикающий голодный воробей, и мне опять захотелось убежать, но я собрал все силы, сдержался, потому что считал уже неподобающим для себя так прямо убежать.

Шовкет стояла всего в трех шагах от меня, и я впервые в жизни увидел в ее глазах что-то такое, что никак не вязалось с ее прежним смехом, подмигиванием, лукавыми репликами.

С той же легкой улыбкой на полных губах Шовкет спросила:

— Опять хочешь сбежать?

Легкая улыбка вдруг пропала с полных губ Шовкет, и мне показалось, что глаза ее устались в одну точку, и я этому удивился, потому что у Шовкет не было на войне ни одного близкого человека — ни мужа, ни брата, ни сына; правда, и у Балакерима никого не было, кто ушел бы на фронт, у Балакерима тоже глаза были всегда устремлены в одну точку, но Балакерим — другое дело... Глаза Балакерима и до войны так же устремлялись в одну точку... А с началом войны у всех женщин и девушек квартала глаза были устремлены в одну точку, потому что их близкие были на войне; но ведь все женщины, все девушки квартала — одно, а Шовкет — другое... Я никогда не видел Шовкет такой серьезной, такой задумчивой; Шовкет заговорила будто сама с собой:

— Ну что мне делать, несчастной? Пошечными румянцем себе навесить... что ж мне нос повесить, оплакивать свою жизнь с утра до вечера?.. Тогда и я хорошей для людей стану?..

И тут Шовкет назвала себя неприличным словом, вошла в дом и захлопнула дверь.

Чириканье воробьев заглушало все на свете.

Отведя глаза от двери Шовкет, я поднял голову и снова посмотрел на стайку голодных воробьев.

Воробьи с той же жадностью, поспешно клевали крохотные почки.

В то весеннее утро мне было жаль крошечные почки, но мне было жаль и исхудавших, съезжившихся воробьев, в то весеннее утро мне было жаль и Шовкет.

Я опять посмотрел на дверь Шовкет.

Мне казалось, что эта дверь больше никогда не откроется, Шовкет никогда больше не будет сидеть на деревянной скамье, никогда не будет смеяться.

Мне стало нестерпимо грустно.

XXV

Где твои черные кудрявые волосы, Джафаргулу?..

Последнее время я часто думаю: если бы Джафаргулу не стал таксистом, а стал бы пишущим человеком, как я, что бы он написал о нашей махалле? Как изобразил бы дни войны, то сиротство нашей махаллы, ту печаль, пропитавшую, казалось, самые стены нашей махаллы, даже тротуары, даже мощенную бульжником улицу?

Но какой в этом смысл?

Мне интересно вернуться в махаллу именно по воспоминаниям шофера такси Джафаргулу, именно с видением, с памятью шофера такси Джафаргулу, а не писателя Джафаргулу.

XXVI

Я до сих пор помню, как плакало тутовое дерево, и даже теперь мне порой кажется, что звук разрываемой газеты — это плач газеты, а звук разбившегося вдребезги зеркала — это плач зеркала.

В тот зимний день взошло такое солнце, оно так улыбалось, как будто в мире не было никакой войны, смерти, как будто шесть сыновей тети Ханум, все парни, все мужчины нашей округи, мой отец были не на войне, а, как обычно, у себя дома, как будто в мире никто не был голоден и никто не дрожал от зимней стужи. У черных дел мира сего есть свои законы, и один из этих законов состоит в том, что во время войны словно становится холоднее: если во время войны термометр показывает минус два, то это не то же, что минус два в мирное время; минус два военных дней все равно что минус двадцать мирных дней: холодно, холодно.

В тот солнечный, но холодный зимний день первым услышал плач тутового дерева Джафаргулу; он побежал в конец нашего тупика и увидел, что Ибадулла большой пилой спиливает дерево под корень.

Сбежавшись, мы наблюдали, как Ибадулла пилит дерево, и каждый раз, когда Ибадулла проводил пилой с крупными зубьями по стволу тута, мне казалось, что звук, который мы слышим, это не звук пилы, а плач тutowого дерева, и я, глядя на налитые кровью глаза Ибадуллы, сосредоточившего все внимание на большой пиле с крупными зубьями, думал, как хорошо, что я не сын Ибадуллы, как хорошо, что Ибадулла не мой брат, и как хорошо, что на свете есть Белый Верблюд и что Белый Верблюд неожиданно придет однажды ночью и ляжет у дверей того дома в Арменикенде, где живет Ибадулла.

Когда я был совсем маленький — войны еще не было, и в нашей махалле, конечно, никому не приходило в голову, что через два-три года нас ждут такие испытания, — во дворе у нас то Абдулалли, то Годжа, то Джебранил показывали мне разные фокусы, и один из этих фокусов состоял в том, что правой рукой обхватывался большой палец левой руки, потом правую руку поднимали вверх, и большой палец левой руки исчезал. «Видишь, Алекпер? — говорили мне. — Пальца нет!» Я смеялся. «Ты спрятал, — говорил я. — Смотри! — и раскрывал ладонь левой руки. — Вот он!» Хорошо знакомый фокус всегда доставлял мне удовольствие, вернее, мне доставляло удовольствие то, что я понимал хитрость взрослых: они не могли меня обмануть...

В те времена однажды Ибадулла сидел на тротуаре перед нашим туником и, увидев меня, сказал: «Поди сюда. Я тебе фокус покажу». Правда, я не любил Ибадуллу, но очень любил фокусы, я подошел и встал перед Ибадуллой. Ибадулла закрыл правой рукой левую руку. «Смотри, — сказал он, — сейчас мой палец исчезнет». Я засмеялся и сказал: «Знаю». Ибадулла сказал: «Да что ты знаешь? Ничего ты не знаешь! Смотри!» Ибадулла поднял вверх правую руку, и, как я ожидал, большой палец левой руки исчез. Я, смеясь, сказал: «А вот в кулаке ты спрятал свой палец!» — и спокойно начал раскрывать сжатую левую ладонь Ибадуллы; я распрямил один палец, второй, разогнул третий, разогнул и мизинец — и увидел, что большой палец Ибадуллы действительно исчез; я повернул ладонь, и меня охватил ужас, волосы встали дыбом, потому что я тогда не знал, что большой палец левой руки Ибадуллы когда-то попал под топор и был отрублен. Ибадулла стал хохотать, а я с плачем побежал домой, долгое время не мог успокоиться, и с того времени у меня возникла ненависть к Ибадулле; я рос, но ненависть и отвращение не проходили.

Большая, широкая, с крупными зубьями пила вся вошла в тело дерева, и, по мере того как пила ходила туда-сюда внутри ствола, мне казалось, что сыплющиеся с обеих сторон пореза желтовато-белые опилки — это кровь тutowника, и маленький Алекпер сделал надолго записавшее ему в память и казавшееся очень значительным открытие, что кровь не всегда бывает красной.

Ибадулла не обращал внимания на ребят, наблюдавших за уничтожением тutowника, то есть на нас, и старательно делал свое дело. Время от времени он останавливался, выпрямлял спину, правой рукой потирал место, где когда-то находился большой палец левой руки, и в те минуты мне очень хотелось, чтобы это место заболело, стало открытой раной, чтобы она мучила Ибадуллу, причиняла ему страдание.

Стоя рядом, мы смотрели, как спиливают дерево, и ни один из нас не издавал ни звука, ни один из нас не шевельнулся; не знаю, что с нами случилось, чего мы боялись, но я тогда чувствовал, что на земле царит хаос, меня переполняла горечь, и эта горечь означала, что на свете нет ничего страшнее беззащитности и сиротства, и это чувство охватило нас всех, когда мы наблюдали, как Ибадулла пилит дерево, — чувство сиротства нашей махаллы, нашего туника, нашего тutowника.

Тutowое дерево вдруг стало для меня очень дорогим, стало любимым, моим самым красивым, и мне никогда не пришло бы в голову, что я так люблю это дерево, это безмолвное дерево, это родное дерево, голые ветви которого дрожали от военной стужы.

Тutowое дерево плакало, и мне виделась в налитых кровью светлых глазах Ибадуллы какая-то злая алчность, а плач тutowого дерева, сиротливость и беззащитность нашей улицы, нашего туника будто прибавляла сил Ибадулле, мне казалось, что алчность в налитых кровью светлых глазах Ибадуллы всю его жизнь таилась в засаде, как волк, и ждала нашего сиротства, беззащитности, ждала, чтобы и Джафар, и Адьяль, и Абдулалли, и Годжа, и Джебранил, и Агарарим ушли на войну. Внезапно я почувствовал, что и Джафар, и Адьяль, и Абдулалли, и Годжа, и Джебранил, и Агарарим погибнут на войне и больше никогда не вернуться в этот туник, у меня в горле застрял комок, перед глазами появилась тетя Ханум, я посмотрел в глаза тети Ханум, глядевшие из-под широких бровей, и словно глазами тети Ханум увидел Джафара, Адьяля, увидел Абдулалли, Годжу, Джебранила, увидел Агарарима и понял, что сейчас под ногами с земли большой булыжник, изо всех сил швырну его и разобью голову Ибадулле; сердце мое заколотилось.

Джафаргулу стоял рядом со мной, и вдруг, отведя глаза от Ибадуллы, он обернулся, посмотрел на окно тети Ханум в середине туника, и я понял Джафаргулу: конечно, если бы здесь были Джафар, Адьяль, Абдулалли, Годжа, Джебранил, Агарарим, если бы перед нашим туником, как в те прекрасные дни, когда еще не начиналась война, выстроились один за другим автобус и полторки, это тutowое дерево никогда бы так не плакало, Ибадулла никогда не пошел бы вонзить в его ствол пилу с крупными зубьями; но ни Джафара, ни Адьяля, ни Абдулалли, ни Годжи, ни Джебранила, ни Агарарима здесь не было, они были на войне и должны были там погибнуть; и дядя Гасанага, и дядя Агагусейн, и дядя Азизага — все мужчины квартала были на войне, и мой отец был на войне, был военным железнодорожником.

Мне показалось, что Ибадулла внезапно ударил меня в сердце, потому что сверкала алчность в налитых кровью светлых глазах Ибадуллы, и его алчные глаза радовались гибели Джафара, Адьяля, Абдулалли, Годжи, Джебранила, Агарарима на войне, безумию тети Ханум, и тут Джафаргулу зашептал мне на ухо:

— Давай ночью уьем эту сволочь!

Глядя на злую алчность в глазах Ибадуллы, я прошептал:

— Давай! (Маленький Алекпер еще никогда не был таким решительным.)

Джафаргулу сжал мне запястье своей разгоряченной от гнева и волнения рукой (а день был холодный, зимний), и я понял, что это не сло-

ва: мы никогда еще так серьезно не говорили, это был первый серьезный разговор в нашей жизни, — и мы действительно ночью убьем Ибадуллу; мне показалось, что большая, широкая, с крупными зубьями пила больше не пилит тутовое дерево, а с хрустом распиливает кости самого Ибадуллы, и у меня волосы встали дыбом, перед глазами возникли белеющие среди алой крови, заливающей пилу, кости Ибадуллы, потом вдруг те крупные белые человечьи кости, что я видел на письменном столе Годжи, и меня охватил ужас, оттого что уже столько времени тетя Ханум живет наедине с теми крупными белыми человечьими костями...

Пила в руке Ибадуллы уже допиливала ствол тутовника, и тут мне показалось, что плачет не только дерево — вместе с ним теперь плачет и фазэтонщик Хамидулла-киши, которого я никогда не видел; мне показалось, что фазэтонщик Хамидулла-киши оплакивает не только судьбу тутовника, который в свое время посадил по обету, но и убитого нами Ибадуллу, фазэтонщик Хамидулла-киши, конечно, очень любил свое дерево и, конечно, скорбел, что его сын спиливает это дерево, но все-таки фазэтонщик Хамидулла-киши любил и Ибадуллу...

Когда Ибадулла в последний раз, выпрямившись, потер правой рукой место, где был большой палец левой руки, Джафаргулу еще раз сжал мое запястье своей горячей рукой, и я под впечатлением этого жаркого прикосновения Джафаргулу подумал: я возьму наш длинный острый хлебный нож, ночью мы этим ножом убьем Ибадуллу, и меня, конечно же, арестуют, отправят в колонию, мама будет плакать, хлопая себя ладонями по коленям, но хотя мамини слезы всегда производили на меня очень сильное впечатление, мы ночью все же убьем Ибадуллу.

Тутовое дерево, мой плачущий тутовник, свалился, царапая стены тупика голыми ветками, растянулся на земле, и мне стало немного легче, я даже обрадовался, что все уже кончилось, страдания и муки завершились, тутовник больше не будет плакать; и это дерево вдруг напомнило мне мужчин, парней нашей махаллы, погибших на войне.

Исцарапанные стены нашего тупика смотрели на меня и повторяли: убей Ибадуллу! убей Ибадуллу! убей Ибадуллу!

Ибадулла бросил на землю свою пилу с крупными и острыми зубьями, выпрямился, посмотрел на небо, и мне показалось, что алчность в налитых кровью светлых глазах Ибадуллы начинает гаснуть, потому что в этот холодный, зимний день, в этот последний для нашего тутовника день небо было удивительной голубизны, и небесная голубизна, небесная чистота убили алчность в глазах Ибадуллы: как тутовое дерево, алчность в глазах Ибадуллы умерла: как тутовое дерево, алчность в глазах Ибадуллы осталась, но была мертвой.

Тутовник с голыми ветками лежал на земле, а мы не двигались с места, и Ибадулла отвел глаза от голубого чистейшего неба, искоса глянул на нас, потом посмотрел на лежащее тутовое дерево, и алчность снова ожила, придала блеск налитым кровью светлым глазам, и Ибадулла снова взял в руки топор, на этот раз он стал обрубать голые

ветки тутовника; отрубил одну ветку, вторую, а когда, подняв топор, древо которого сжимал обеими руками, собирался отрубить третью, вдруг остановился, бросил топор на землю и пошел на нас.

Увидев, что Ибадулла идет на нас, ребята испугались, побежали к выходу из тупика, точно Ибадулла был заразный, зачумленный, а не сын бедной, ослепшей тети Амины.

Я тоже хотел побежать, но растянувшись на земле мое загубленное тутовое дерево, его осиротевший пень, обрубленные голые ветки, исцарапанные стены нашего тупика задержали меня, преградили путь, и я остался стоять. Горячая рука Джафаргулу сжимала мое запястье, Джафаргулу тоже не убежал с ребятами, остался.

Ибадулла подошел, встал перед нами и сверху вниз посмотрел нам прямо в глаза, но теперь в налитых кровью светлых глазах Ибадуллы не было и следа алчности; хриплым, сдавленным голосом он сказал:

— Ну что вы смотрите на меня как баран на новые ворота? У человека ничего не осталось. Так зачем, чтобы и это тутовое дерево жило? Вон фашисты уже сидят в Воронеже, развлекаются, заразы! Потому что весь этот мир — зараза! Человеку останется только саван, и то неизвестно, достанется он тебе или нет?

Джафаргулу сказал:

— Тебе достанется!

Конечно, я понял смысл сказанного Джафаргулу. Погибших на войне в саван не заворачивали, просто так хоронили, и молла Асадулла, проходя по улице, постукивая старой палкой, останавливался перед домом, откуда ушли и погибли мужчины, парни, и время от времени вздыхал: «Без савана схоронены молодые!». А Ибадулла не пойдет на войну, потому что у него нет большого пальца на левой руке, он здесь умрет. Мы убьем Ибадуллу, и хотя наша махалла терпеть не могла Ибадуллу, все равно она не позволила бы, чтобы труп Ибадуллы схоронили где-нибудь в другом месте: здесь похоронят; завернут в саван и похоронят.

Ибадулла не понял, что сказал Джафаргулу (или мне так показалось?), и снова хриплым, сдавленным голосом, дыша водочным перегаром, сказал:

— Вы думаете, я подлец, да? Я знаю, через тридцать лет вы будете взрослыми мужчинами. И тогда вспомните, как я это дерево спилил. Могилу мою ругать будете. Была одна зараза, скажете, Ибадуллой ту заразу звали. Тогда уже мои кости сгниют!.. Но того знать не будете, что Ибадулла, несчастный, спилил это дерево, чтобы дрова из него нарубить, отнести на базар продать, детей своих накормить... Не будете знать, что не Ибадулла был заразой, а жизнь была заразой! — и из налитых кровью светлых глаз Ибадуллы выкатилась слеза.

Конечно, мы знали (то есть взрослые так говорили), что Ибадулла все попадающие ему в руки деньги пропивает, и деньги за эти дрова, наверное, тоже пойдут на выпивку, и слеза Ибадуллы не уменьшала жалости к сиротливому, беззащитному, сваленному на землю тутовнику с голыми, обрубленными ветками, умирая, царапавшему стены нашего тупика; мы в жизни не слышали, чтобы у Ибадуллы были дети, наверное, он это наврал, но, во всяком случае, в тот холодный, зимний

день мы с Джафаргулу, поглядев друг на друга, отошли от Ибадуллы и медленно вышли из тупика: мы знали, что уже не убьем Ибадуллу.

В ту ночь я думал и о бедном тутовом дереве, и о плачущем Ибадулле, но больше всего я думал о словах ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, потому что произнесенные Ибадуллой слова ТРИДЦАТЬ ЛЕТ произвели на меня наибольшее впечатление. Через ТРИДЦАТЬ ЛЕТ мне будет ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ЛЕТ, и этого я никак не мог осознать. Моему отцу было тридцать семь лет, и выходило так, что через ТРИДЦАТЬ ЛЕТ я буду на два года старше моего отца...

...Тридцать девять лет мне исполнилось десять лет тому назад...

XXVII

В тот зимний день — это был конец января 1943 года, но похож он был на ветреный и дождливый осенний день — ветер швырял пригоршни дожди в стены нашего тупика, возвещая о сырости, холоде, ознобе не только нашего тупика, не только нашей улицы, но и всего мира.

В этот дождливый зимний день Ибадулла будто вылетел из жерла пушки: одной рукой придерживая полы всегда расстегнутого пиджака (он в жизни не надсвал пальто, всегда ходил в пиджаке), а другой — козырек кепки-шестилинейки с пуговкой, он, шлепая по лужам, бежал по нашему тупику и кричал:

— Ура-а-а! Ура-а-а! Мы прогнали фашистов из Воронежа! Ура-а!

Ибадулла остановился в центре тупика, жилы его худой, сморщившейся под осенним, летним, осенним солнцем шеи набухли, он закричал изо всех сил:

— Ура-а-а! Ура-а-а! Мы выбили фашистских мерзавцев из Воронежа!..

Женщины и дети выглядывали из окон, собирались у дворовых ворот, и Ибадулла, потрясая кулаком, повторял:

— Видали?! Видали?!..

Как будто до сих пор все глядевшие из окон, собравшиеся у ворот обитатели тупика, даже стены, ворота, окна нашего тупика сомневались в величии Ибадуллы и мощи Ибадуллы, а теперь уж не должно остаться места для сомнений: все должны были признать величие Ибадуллы, мощь Ибадуллы.

— Видали?! Видали, как мы прогнали фашистов-подлецов из Воронежа?

Женщины и дети замерли, глядя на стоявшего посреди тупика, потрясавшего кулаком и изо всех сил, надувая жилы на шею, оравшего Ибадуллу, и не знали, что им делать: посмеяться над Ибадуллой или отойти от окон и закрыть двери. Во всяком случае, это было впервые, чтобы обитатели нашего тупика собрались у дверей, у окон не потому, что Ибадулла скандалит с тетей Аминой, — и люди растерялись.

Ветер чуть не валил с ног Ибадуллу, но в тот студеный январский день 1943 года у Ибадуллы точно прибавилось сил, ветер не мог сдвинуть его с места; с налитыми кровью светлыми глазами, бросая вызов жителям нашего тупика, Ибадулла кричал:

— Видали?! Видали?!

Тетя Амина тоже вышла из комнаты, стояла на площадке лестницы, и, можно сказать, ничего не видевшими глазами смотрела поверх дворового заборчика в сторону Ибадуллы; ее застывшее лицо со слезящимися глазами выражало в тот момент гордость, даже надменность, будто ее сын Ибадулла, один, своими руками, освободил Воронеж от фашистов.

XXVIII

У Соны, тезки моей мамы, жены часовщика Гюльаги, — у Соны была печальная красота...

Может быть, она и впрямь сошла с ума, может быть, и впрямь люди были правы, когда говорили, что она безумела, потеряла разум, у нее были видения? Но... ведь она своими глазами видела легкий трепет губ Гюльаги, и Гюльага прежде смотрел как-то иначе... Нет, нет, это было не безумие, легкий трепет Соны видела своими глазами.

В ту зимнюю ночь вся махалля спала, во мраке смутно белел снег на улице, на крышах, и Сона встала с постели, в ночной рубашке подошла к окну. Нет, она не сошла с ума, если она сошла с ума, тогда она не должна узнавать эти дома — силуэт Желтой бани, рядом с ней — дом Али-аббаса-киши (на дверях — большой замок, отсюда не видно), немного выше — тупик, где живет тетя Ханум (в том тупике еще «паравадник» живет, и жену «паравадника» тоже зовут Соной, и у них есть мальчонка, имя его, кажется, Алекпер), в той стороне живет семья дяди Мейрангулу, в другой стороне — семья тети Мешадиханум, сын дяди Мейрангулу Ибрагим в позапрошлом году погиб на войне, и сын тети Мешадиханум погиб на войне, и если бы Сона сошла с ума, она забыла бы все это, не могла бы узнать эти дома, помнить людей, живущих или живших в этих домах; нет, она не была безумна, и ту легкую улыбку на губах Гюльаги видела своими глазами.

Она хотела зажечь свечу, еще раз посмотреть на его портрет, но впервые за всю свою жизнь побоялась посмотреть на этот портрет, и вообще в глубине души ее таился страх, но в этом страхе была и какая-то надежда, и Сона ощущала эту невероятную надежду.

Портрет, висящий на стене, она отдала увеличить три месяца назад, и все время, что бывала дома, она оставалась лицом к лицу с портретом, разговаривала с портретом, высказывала портрету все, что было у нее на душе, и уже дней десять, пожалуй, чувствовала: в доме что-то происходит, но что — не знала, вернее, не могла точно выразить, не могла облечь в слова, и если бы сказала, никто на свете не поверил бы Соны, все сочли бы ее безумной.

Каждый день утром она вставала, шла на работу, вечером сразу же возвращалась домой; и на работе, и в округе только здоровалась с людьми, ничего другого сказать не могла — не могла разговаривать — и на работе, и в округе люди, хотя и молчали, но глаза их говорили, что бедная Сона сошла с ума; и Сона по глазам читала это.

Разве люди виноваты? И как могла Сона объяснить, что не умеет говорить, не может беседовать как прежде, от нее не зависит это, ей са-

мой хочется поговорить с кем-нибудь, даже посмеяться, но не умеет, невозможно это, потому что от нее самой это не зависит.

Ровно три месяца тому назад она вынула из альбома портрет Гюльаги и пошла к фотографу Али; когда фотограф Али увидел Сону, он вытаращил глаза от удивления, и Сона, глядевшая сейчас во мрак улицы, стоя перед окном, ясно припомнила это; фотограф Али устремил вопросительный, полный любопытства взгляд на Сону, одетую в черное и повязанную черным платком и ни с кем не говорившую с тех пор, как пришла похоронка на Гюльагу. Сона протянула портрет фотографу Али.

— Увеличь этот портрет.

Фотограф Али взял у Соны портрет, где Гюльага был снят по поясу; на обороте портрета синими чернилами было написано: «Мой цветок Сона! Не вспоминай, как посмотришь, а вспомнишь — посмотри! Гюльага, Баку. 13 мая 1939 года».

— До какого размера увеличить?

— Какой сам Гюльага — до такого.

Фотограф Али ничего не сказал, но Сона поняла, о чем подумал фотограф Али.

Фотограф Али подумал, что бедняга действительно сошла с ума; так говорит, будто Гюльага и теперь жив (КАКОЙ ОН САМ — ДО ТАКОГО); и потом, человеку, у которого голова в порядке, на что портрет в натуральную величину? Но фотограф Али уважал Гюльагу; вообще, поскольку у него были больные легкие, фотограф Али не пошел на фронт, но от души переживал за всех, кто ушел на войну, и особенно за тех, кто погиб; готов был сделать все, что было в его возможностях, и на этот раз, несмотря на то что заказ Соны не был обычным заказом, несмотря на то что найти такого размера фотобумагу было очень трудно, он не вернул протянутый Соной портрет.

Через два дня фотограф Али сам принес и вручил Соне увеличенный портрет, и Сона повесила портрет на стену комнаты.

На этом портрете Гюльага фотографировался, когда они с Соной еще не были женаты; это были времена, когда Сона, окончив школу в детском доме в Шуше, приехала в Баку, ее взяли работать на швейную фабрику; пройдет всего три-четыре месяца, и в один прекрасный день она познакомится с Гюльагой, потом они с Гюльагой начнут встречаться, потом они с Гюльагой поженятся, и Сона войдет хозяйкой в этот дом, в эту комнату.

Какие простые были слова: «познакомиться... встречаться... пожениться...».

Однажды вот на этой кровати, в такую же зимнюю ночь, в такой же темноте, Сона была в объятиях Гюльаги, обнимала Гюльагу не только руками, но всем телом, всей душой и говорила:

— Я ждала этого дня... Я знала, что придет такой день, я увижу тебя, ты придешь... Я и имя твоё знала... И в лицо тебя знала...

Гюльага верил Соне, знал, что Сона говорит правду, что это действительно так Сона ждала день их первой встречи, Сона до того дня никогда в жизни не видела Гюльагу, но знала Гюльагу и, как только увидела, — узнала...

Было лето, темная ночь, от зноя трудно было дышать, оба были голые; оба лежали на кровати; Сона держала Гюльагу за руку и рука Гюльаги несла душе Соне прохладу, очищение, и Сона в этой душной тьме, устремив взгляд в потолок, стала рассказывать о детстве Гюльаги.

Гюльага изумленно слушал.

— Когда я тебе об этом говорил?

Гюльага не мог припомнить, чтобы все это рассказывал Соне, но то, что она говорила, было правдой: Гюльага так поступал, так думал, так плакал в детстве...

— А вдруг ты колдунья, а, Сона?

Сона от души смеялась:

— Ой... Ведь я тебя очень люблю... И потому все знаю.

В те времена Сона и на работе так же от души смеялась, и девушки, работавшие вместе с ней, поражались такому сердечному смеху без особых причин, и все с удивлением смотрели на Сону, а потом на повидавшую жизнь тетю Хадиджу: мол, тетя Хадиджа, что это с Соной? Тетя Хадиджа тоже смеялась и говорила:

— Счастлива Сона, потому так и смеется...

Девушки с интересом и в то же время с уважением глядели на Сону, потому что о счастье много читали, много слышали, но так, лицом к лицу, глаза в глаза, счастья не видели.

Однажды, моясь в бане вместе с девушками, молодыми женщинами, Шовкет сказала:

— Эх, Соне что! Она счастливица: когда холодно — тепло рядом, когда жарко — прохлада рядом... По глазам вижу!

Тогда еще не замужние девушки ничего не поняли из слов Шовкет, а замужние молодухи после этих слов Шовкет, встречаясь с Соной на улице, с завистью заглядывали ей в глаза.

Гюльага был высокий, широкоплечий, стройный парень и вместе с сыновьями тети Ханум был одним из самых почитаемых, уважаемых молодых людей махалли, Гюльага и сам очень любил махаллю, потому что был ребенком, когда у него умер отец, потом, когда Гюльаге было тринадцать или четырнадцать лет, у него умерла мать, и Гюльагу вырастила махалля, дом его содержала махалля, и отцом Гюльаги была махалля, и матерью, и братьями, и сестрами.

Потом появилась Сона, и Сона отобрала Гюльагу у махалли, для Гюльаги не существовало никого и ничего, кроме Соны. Правда, Сона отобрала Гюльагу у махалли, правда, махалля немного обиделась на Гюльагу за то, что он отверг соседских девушек, сам, ни с кем не посоветовавшись, привел в дом чужую девушку, но, увидев Сону, присмотревшись к Соне, махалля приняла ее.

Гюльага и Сона были первыми в этой махалле мужчиной и женщиной, которые среди бела дня, на глазах у всех, ходили под руку или держась за руки, и самое удивительное — никто в квартале плохо не взглянул на это, никто не упрекнул Гюльагу, никто не обругал Сону, потому что махалля все понимала, махалля хорошо знала Гюльагу, хорошо узнала и Сону.

В ту зимнюю ночь Сона, стоя у окна, смотрела на улицу.

Улица была погружена во мрак.

Белесое мерцание снега, едва различимое в темноте, было единственным свидетельством того, что на свете, кроме черного, есть и другие цвета.

Снежная белизна во мгле как будто стала проступать ярче, улица медленно прояснилась, и Соне почувдилось, что все это — сон.

Может быть, и в самом деле сон?

В последнее время она видела белые сны.

Самого Гюльагу она не видела, но белые сны были дыханием Гюльаги, были взглядами Гюльаги, были улыбкой Гюльаги.

Может быть, и то легкое движение губ Гюльаги она тоже видела во сне?

Нет, все это не сон, это белое — белизна снега на улице, на крышах, на оконных решетках, а не белый сон; вот там — силуэт Желтой бани, рядом с ней — дом Алиаббаса-киши, немного выше — тупик тети Ханум, в том тупике еще живет молодая женщина — тезка Соны, и у этой женщины есть маленький смышленный снышка по имени Алекпер, имена сыновей тети Ханум — Джафар, Адиль, Абдулали, Годжа, Джебраил, Агарагим; все они — друзья Гюльаги, и если бы Сона сошла с ума, она не могла бы помнить ничего этого...

Она хотела отойти от окна, зажечь свечу, хотела снова посмотреть на висящий на стене портрет, но опять испугалась, не зажгла свечу, подошла к кровати, села: чего она боялась? Боялась, что посмотрит на портрет и опять увидит ту легкую улыбку, то легкое движение губ? Или боялась, что вдруг ошиблась, что ей почувдилось та улыбка, то движение, она обманулась? Сона обеими руками обхватила голову и снова почувствовала другое дыхание, ощутила дыхание второго человека.

Сосредоточив все свое внимание, прислушалась.

Дыхание другого человека в комнате чувствовалось совершенно явственно.

Это дыхание, конечно, было дыханием Гюльаги, у Соны не было в этом ни малейшего сомнения: так и должно быть; но почему Сона боялась, почему сердце ее так колотилось, точно хотело выскочить из груди?

Ровно триста шестьдесят один день, как Гюльага ушел на фронт, и ровно двести пятьдесят три дня, как пришло то лживое письмо, та ошибочная похоронка.

Это не было треугольное письмо, которые приходят от солдат, и Сона надорвала конверт, прочла это официальное письмо один раз, потом второй раз, потом третий раз прочла: там ясно было написано, что Гюльага погиб, и Сона, в сотый раз, в двухсотый раз читая это письмо, знала, что это неправда, знала, что не может Гюльага, оставив ее одну, погибнуть на войне.

Махалла тоже узнала о похоронке и, чтобы отметить траур по Гюльаге, собралась было поставить палатку перед домом Соны, и фотограф Али пришел попросить фотокарточку, чтобы размножить ее на миниатюрки, что прикалывают во время поминок к груди; женщины, девушки с плачем набились в дом к Соне, чтобы хоть как-то ее утешить, разделить с ней горе, но Сона впервые за все время, что живет здесь,

воспротивилась махалле, накричала на людей, сбивавших деревянные опоры для палатки, на мясника Дадашбалу, который принес большой медный самовар и хотел наполнить его водой, не разрешила ставить у дверей палатку, прогнала фотографа Али, не дала фотокарточку. Она не плакала, а кричала:

— Неправда это!.. Неправда это!.. Неправда!..

Сона не позволила спривать сорокадневный траур по Гюльаге, потому что похоронка была несомненной ошибкой, Гюльага не умер, Гюльага не мог умереть хотя бы потому, что у него не было грехов на этом свете, он ничего дурного не делал, так почему же пуля должна была попасть в него, почему он должен был пролить кровь? Сона здесь была одна, была жива, — как же Гюльага мог умереть там, как могла пуля подстеречь Гюльагу?

Который час, интересно? Два? Три? Четыре?

Гюльага был часовщиком, и Сона ровно триста шестьдесят один день тому назад собрала все домашние часы, и свои наручные тоже, в ящик шкафа, и с того времени в этом доме часы не работали, потому что раз Гюльага был так далеко от любимых им часов, взял в руки не часы, а винтовку, подставил грудь под пули, Сона не позволяла, чтобы часы тикали в этом доме, не хотела, чтобы, в то время как Гюльага слышит там свист пуль, грохот пушек, Сона здесь, как в былые времена, слушала тиканье часов.

Все эти часы, хранящиеся в ящике шкафа, будут заведены, когда вернется Гюльага; после возвращения Гюльаги они начнут работать: а Гюльага, конечно же, вернется, потому что пришедшее с фронта извещение было несомненной ошибкой. Это было очевидно как белый день. Вот ей и снились белые сны.

Малянская, на одного человека, часовая мастерская Гюльаги находилась в первом этаже большого здания у Двойных ворот крепости, и иногда Сона, окончив работу, садилась в трамвай, ехала к этой мастерской, в мастерской тоже кончался рабочий день, Гюльага заперал дверь, но сами они оставались внутри и, сидя рядом на двух деревянных табуретках, с трудом уместившихся в тесной комнатке, слушали тиканье ста больших и маленьких часов, развешанных на стенах, лежавших на столе, смотрели в окно на Двойные ворота крепости, и в это время Двойные крепостные ворота становились Вратами тайных чувств, тайных желаний, которые влекли друг к другу Соны и Гюльагу.

Гюльага выключал свет, и проходившие по улице люди сквозь свисавшие на веревочках, вплотную к оконному стеклу разнообразные часы не видели сидевших в полумраке Соны и Гюльагу, но Сона и Гюльага видели этих людей; проходившим по улице людям и в голову не приходило, что крохотная, тесная мастерская часовщика по ту сторону стекла, завешанного разнообразными часами, в сущности, уже не была мастерской; это было гнездо чувств и желаний Соны и Гюльаги, такое, какое бывает у птиц на дереве; люди проходят мимо, не видят гнезда, а птицы из гнезда всех видят.

Иногда Гюльага отводил глаза от Двойных крепостных ворот, сквозь тиканье часов слышал стук сердца Соны, потом расстегивал ворот на платье Соны, как в прежние времена, когда они еще не были женаты;

прятал лицо на груди у Соны, и Сона чувствовала слезы на его глазах, и срощила мягкие волосы Гюльаги, и смотрела на Двойные крепостные ворота, будто обнаженной грудью бросала вызов многовековым крепостным воротам: выбоины среди крупных камней этих ворот вещали об оставшихся в далеком прошлом столетиях...

Зимой Гюльага зажигал в мастерской маленький примус, и тепла маленького примуса было достаточно для этой мастерской; запах примуса, голубовато-зеленое пламя и сопение, точно примус был живым существом, вместе с тиканьем часов уносили крохотную мастерскую в центре Баку в совершенно другой мир, и в этом мире, кроме Соны и Гюльаги, никого не было, этот мир принадлежал только Соне и Гюльаге.

Ровно триста шестьдесят один день, как Сона не видела мастерской.

Однажды, выйдя с работы, она хотела сесть в трамвай и поехать к Двойным крепостным воротам, хотела посмотреть на мастерскую, но не поехала, потому что Гюльага был далеко, а без Гюльаги смотреть на мастерскую, на Двойные крепостные ворота было чем-то вроде измены, Сона этого себе не могла позволить и, как обычно, пошла домой.

В день проводов Гюльаги на войну они и сами не знали, как получилось, что рано утром вместе пошли на площадь перед Двойными крепостными воротами и некоторое время стояли посреди площади, смотрели на занертуую мастерскую; Гюльага улыбнулся, и Сона улыбнулась, потому что расставались они не навсегда: с Гюльагой ничего не случится, Гюльага вернется живым и невредимым.

Ровно триста шестьдесят один день прошел, завтра будет триста шестьдесят два дня, потом, возможно, будет семьсот шестьдесят восьмой день, может быть, три тысячи девятьсот восемьдесят восьмой день, может быть, три тысячи девятьсот восемьдесят четвертый день, но в конце концов Гюльага вернется — это Сона хорошо знала: так будет, Гюльага вернется, но уже десять дней в этой комнате что-то происходило, Сона это чувствовала; Сона всем сердцем, всем нутром чувствовала и то, что ожидает чего-то, живет накануне чего-то, что вот-вот произойдет.

Сона не хотела думать об этом потому, что в глубине души, в той глубине, куда она и сама избегала и не осмеливалась заглядывать, там, в той глубине, она знала, что именно произойдет, а потому и боялась думать об этом, боялась, что вдруг и для нее станет ясным, что она действительно сошла с ума.

Сона встала с кровати.

Нет, Сона не сошла с ума.

Интересно, который час?

А не все ли равно, который час?

Сона зажгла свечу, взяла свечу в руку, подошла к стене, встала перед портретом Гюльаги.

Огонь свечи упал на портрет, и глаза Гюльаги засверкали, Соне показалось, что глаза Гюльаги были закрыты, то есть в темноте Гюльага закрывал глаза, и теперь глаза его дрогнули от света и открылись.

Фотопортрет Гюльаги висел на стене уже три месяца, и ровно три месяца Сона по утрам, прежде чем уйти на работу, и по вечерам, вер-

нувшись с работы, пока не ложилась спать, разговаривала с портретом, беседовала с ним, часто даже без слов, потому что Гюльага всегда понимал Сону и без слов: достаточно было просто посмотреть друг другу в глаза; и на фотопортрете Гюльага тоже понимал Сону, Сона чувствовала это каждой клеточкой своего тела.

Уже несколько дней Соне казалось, что в портрете что-то изменилось, какой-то он другой, но она, всматриваясь, не могла найти, что же в нем изменилось; Гюльага и теперь смотрел как всегда, и улыбка на его губах была такой, как всегда, вместе с этим в портрете Гюльаги появилось что-то такое, чего прежде не было и вообще... вообще с фотографиями такого не бывало.

Прежде чем раздеться и лечь в постель, Сона вновь подошла к фотопортрету Гюльаги и вдруг различила движение губ Гюльаги на этом портрете, своими глазами увидела, это не было обманом: у Соны не было никаких галлюцинаций, это была правда, губы Гюльаги слегка дрогнули.

Сона не тревожилась, Сона не боялась, что сойдет с ума, но рука ее, державшая свечу, дрожала, и, пока дрожала рука Соны, слабый огонь свечи играл на щеках, губах, подбородке Гюльаги.

Сона некоторое время внимательно смотрела на Гюльагу, но, кроме отблеска слабого огонька свечи, не уловила никакого изменения в портрете, потом Сона заглянула в глаза Гюльаги и вдруг в глубине глаз увидела какую-то боль, и в темную зимнюю ночь это потрясло Сону.

В один прекрасный день они познакомились с Гюльагой, потом начали встречаться, потом поженились, и с того времени глаза Гюльаги всегда были счастливы; даже в глубине его глаз не бывало никакой боли, — ее и не могло быть, потому что Сона и Гюльага были вместе, потому что у них была эта комната, была эта постель, потому что была маленькая, тесная мастерская против Двойных крепостных ворот, и шум примуса, горевшего в той мастерской голубовато-зеленым пламенем, был не просто шум примуса, а милый, мягкий, живой звук, живое дыхание.

Сона смотрела в глаза Гюльаги, и тут произошло неожиданное, даже невероятное событие: Сона услышала тиканье часов и, резко обернувшись, взглянула в сторону шкафа.

Тиканье часов доносилось из шкафа.

Сона подошла к шкафу, выдвинула ящик, в который ровно триста шестьдесят один день назад сложила свои наручные часы, домашние настенные часы и настольные часы Гюльаги (и с тех пор к ним не прикасалась), поднесла свечу, осветила внутренность ящика: все трое часов тикали.

Время было разное.

На наручных часах Соны было одиннадцать часов пятьдесят три минуты.

Настенные показывали восемнадцать часов двадцать шесть минут.

Настольные часы Гюльаги показывали три часа двенадцать минут.

Время было разное; наверно, часы остановились в разное время, но теперь все трое заработали сразу.

Свеча в руке Соны больше не дрожала.

Сона вернулась к висящему на стене портрету.

Ящик шкафа, в котором тикали часы, так и остался открытым.

Огонь свечи снова упал на лицо Гюльаги, и Сона снова увидела боль в глубине глаз Гюльаги, рукой она провела по лбу Гюльаги на портрете.

На лбу его были мелкие капельки пота.

Нет, не фотобумага запотела от тепла свечи, — это были капли пота, потому что Гюльага мучился. Гюльага хотел выйти из этого портрета; Сона поняла это, и боль в глубине глаз Гюльаги была болью, которая мучила его теперь, сейчас.

Свеча сама собой погасла.

Сона некоторое время постояла в темноте перед портретом Гюльаги.

Свечу больше не зажигала.

Очень осторожно, на кончиках пальцев пошла к окну, будто спал ребенок и Сона боялась, что звук шагов разбудит его.

Улица была погружена во тьму, и в эту зимнюю ночь слабое мерцание снега на улицах, на крышах домов не напоминало Соне о белых снах, потому что Сона больше не думала о снах: стоя перед окном в темной комнате, она смотрела на улицу и ждала.

Снег уже не падал, и востер утих, во всяком случае вой ветра в комнате не доносился; стояла тихая, бесшумная, безмолвная зимняя ночь, и в этой тишине, в этом безмолвии из открытого ящика шкафа слышалось тиканье часов.

Легкий чад от погасшего фитиля свечи разнесся по комнате, и этот запах немного походил на запах примуса, горевшего голубовато-зеленым пламенем в маленькой, тесной мастерской по ремонту часов напротив Двойных крепостных ворот, — но Сона и об этом не думала: без Гюльаги она даже мысленно не возвращалась в ту маленькую, тесную мастерскую напротив Двойных крепостных ворот; в ночной рубашке Сона стояла перед окном, смотрела на улицу и ждала.

Дней пятнадцать или двадцать назад какая-то из девушек, с которыми она вместе работала, чтобы хоть чуть-чуть отвлечь подруг от смерти и похоронок, сказала что-то смешное, все рассмеялись, только Сона не смеялась, и повидавшая жизнь тетя Хадиджа сказала:

— Горюет Сона, как она может смеяться... Душа болит у Соны...

В эту зимнюю ночь, в эту тихую, бесшумную, безмолвную ночь, которую сопровождало только тиканье часов, Сона смотрела во тьму, на улицу, и не чувствовала никакого горя, душа у Соны больше не болела: боль была в глазах Гюльаги, и Сона ждала.

Сона хорошо знала Гюльагу и знала, что Гюльага сильный, ловкий, знала, что Гюльага тоже всем существом стремится сейчас к ней, и Сона ждала (и Гюльага это знал).

Сона все так же стояла перед окном, потому что больше не хотела смотреть на портрет, не хотела видеть боль в глазах Гюльаги, не в силах была глядеть, как мучается Гюльага, и она стояла и ждала.

Сона была спокойна, совершенно спокойна, знала, что и боль в глазах Гюльаги, и страдания Гюльаги ненадолго: и боль пройдет, и муки.

Тиканье часов в открытом ящике шкафа словно было пульсом зимней ночи, он бился здесь в комнате.

Чад от погасшего фитиля свечи рассеялся, и воздух в комнате казался особенно чистым, и Сона знала, что комната тоже ждет Гюльагу.

Среди тиканья часов послышался постепенно нарастающий звук, и Сона поняла, что это — звук разрывающейся бумаги.

Гюльага освобождался.

Гюльага возвращался.

Белесоватое мерцание снега на улице, на крышах домов, на переплетках оконных решеток как будто усиливалось, серебристым блеском воззваста о чистоте, обновлении улиц, городов всего мира.

Бумага больше не рвалась.

Наступила тишина, и даже тиканье часов в ящике шкафа как будто прекратилось.

Сона не поворачивалась, не смотрела в комнату, она стояла перед окном и ждала.

В комнате раздался шаг.

Один шаг...

Второй шаг...

Третий шаг...

Снова воцарилась тишина.

Сона услышала за спиной стук сердца, едва не касавшегося ее лопаток.

Потом Гюльага осторожно положил руку на плечо Соны.

Сона не вздрогнула, Сона знала, что так будет, и вдруг сердце Соны встрепенулось, горе, которое душило ее триста шестьдесят один день, муки, которые она выносила двести пятьдесят три дня, стали крупными каплями слез и полились из ее глаз.

Рука на плече Соны забралась под рубашку, погладила ее голое плечо, и тепло этой руки, жар этой руки пронзили Сону.

Потом Гюльага повернул Сону к себе, заглянул ей в глаза и понял, что никогда в жизни не видел Сону такой счастливой; даже в те минуты, когда они сидели вдвоем, прижавшись друг к другу, в маленькой, тесной мастерской, Сона не была такой счастливой.

В зимнюю ночь перед окном темной комнаты Сона приникла к груди Гюльаги и, целуя лицо, глаза, шею, грудь Гюльаги, зашептала:

— Наконец-то ты пришел... Наконец-то пришел... Вернулся... Наконец-то вернулся... — шептала она. — Пришел... — сказала она. — Пришел...

Гюльага снял с Соны ночную рубашку, и обнаженное стройное тело Соны наполнило темноту комнаты страстью и волнением, которые она сдерживала ровно триста шестьдесят один день и которые только теперь вырвались на свободу.

Гюльага взял обнаженную Сону на руки, отнес на постель.

Гюльага целовал все еще не просохшие и соленые от слез глаза Соны, губы, напрягшиеся груди, и Сона, захлебываясь от счастья, задыхаясь, шептала:

— Мне пришло лживое извещение...

Гюльага прошептал:

— Нет, не лживое... Я умер... Меня застрелили... Ты меня воскресила... — говорил он. — Твое дыхание вызвало, вытянуло меня из портрета...

...Медленно наступало утро.

Снова пошел снег.

Сона лежала и смотрела на Гюльагу.

Гюльага стоял перед окном, наблюдая за наступлением зимнего утра в махалле, которую не видел ровно триста шестьдесят один день. Сона улыбалась: радовалась за Гюльагу.

Во всем теле Соны был покой, и в этом покое была вечность постоянно.

Потом Гюльага отошел от окна, подошел к шкафу, вынул из ящика часы, поставил настольные часы на их обычное место, положил на стол наручные часы Соны, потом поглядел на настенные часы, которые держал в руках.

Сона тоже встала с постели, подошла к Гюльаге, взглянула на все эти часы.

Они, как и прежде, показывали разное время.

На наручных часах Соны было четырнадцать часов пятьдесят минут.

Настенные часы показывали двадцать один час двадцать девять минут.

Настольные часы Гюльаги — шесть часов пятнадцать минут.

Потом Сона и Гюльага посмотрели друг на друга и громко, от души рассмеялись.

Оба они были нагие, стояли посреди маленькой комнаты, глядя друг на друга, и громко, от души смеялись.

Потом Гюльага собрался прибавить часы на стене.

Сона сказала:

— Зачем их прибавить? В другом доме прибьешь. Все равно мы отсюда переедем...

— Переедем?

— Да кто же поверит, что ты из портрета вышел? — Сона посмотрела на фотопортрет Гюльаги.

От увеличенного фотографом Али портрета остались только окантовка да едва заметные края плотной фотобумаги; там, где еще недавно был Гюльага, зияла пустота, и Соне показалось, будто его изображенные вырезано ножницами.

XXIX

О многом я хотел спросить у шофера такси с седыми усами, поблевшими кудрями, окружавшими лысину, — у моего Джафаргулу, но ни о чем не спросил, вернее, не смог, а почему — не знаю... Ничего не спросил — и в ясный весенний вечер, выйдя из дому, пешком направился в сторону нашей махаллы.

Шагая по улице, ведущей в нагорную часть Баку, по улице, которая должна была доставить меня до угла, где располагалась керосиновая лавка — наша керосиновая лавка, где начиналась наша махалла, я смотрел

на знакомые дома, на одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные здания, и ни одного из них не узнавал; то есть здания эти были мне знакомы, я часто, держа маму за руку, ходил по этой улице в центр города, часто и один проходил здесь, но в то же время ни одно из этих зданий не наталкивало на какое-либо воспоминание, эти дома стали для меня чужими, и мне казалось, что это чувство взаимно, потому что улицы состоят не только из зданий, не только из асфальта, камня: я думаю порой, что и улицы хранят память; люди приходят, уходят, а улицы остаются, жизнь улиц намного длиннее жизни людей, улицы живут сто лет, двести, триста лет и дышат тем же воздухом, что приходящие и уходящие люди, живут чувствами, волнениями приходящих и уходящих людей, и, когда я думаю об этом, мне кажется, что если есть существо, именуемое муравьем, слоном или человеком, то почему не быть существу, именуемому улицей?

Когда я последний раз шел по этой улице? Не припомню... Когда мы переселились из махаллы, мне было лет десять-одиннадцать, и, наверное, сорок лет нога моя не касалась этой улицы (вот какова моя преданность!), и если у улицы есть память, если улица — существо, значит, она что-то забывает, что-то выпадает из ее памяти, и ощущение этого вызывает грусть; это не только грусть сорокалетней разлуки, не только грусть о том, что сорок лет остались в прошлом, в безвозвратности, — это грусть и о будущем, вернее, грусть от ощущения, что остающиеся еще в запасе пять, десять, даже сорок или пятьдесят лет тоже останутся навеки в прошлом.

Желтое одноэтажное здание, где была наша керосиновая лавка, я увидел издали, тотчас узнал и, признаюсь честно, хотел уйти, потому что какой во всем этом смысл? Кого я теперь искал в тех кварталах, что мы называли нашей махаллой? «Путешествие в прошлое» — это только придуманное нами книжное выражение; в сущности, прошлое никого не принимает, прошлое сделало свое дело — и конец: на его дверях висит вечный замок; как тот ржавый замок на двери тети Зибь, как тот большой замок на двери Лиаббаскиши...

Моя жена говорит, что я в глубине души sentimentalен; не знаю, может быть, это и так, и то, о чем я думаю, о чем хочу написать, — думы и желания sentimentalного человека, возможно; но когда я увидел на углу в начале нашего квартала выкрашенное в желтый цвет низенькое здание, мне захотелось вернуться и уйти: казалось, знакомые и в то же время чужие дома, окна, окрашенные в разный цвет, балконы, увитые начинавшими распускаться вьюнками, смотрят на меня с укором; конечно, в этом чувстве было что-то детское, но что поделась? Я ведь хотел вернуться в собственное детство...

Я все-таки дошел до угла в нижней части нашей махаллы, остановился перед керосиновой лавкой и посмотрел вверх, на наши улицы, — нет, сердце у меня не упало, я именно остановился, а не застыл на месте, как будто увидел то, что и ожидал: Желтой бани больше не было, и нашего тупика не было, и тех домов, что когда-то стояли между ними, не было, и на всей этой территории теперь высился огромный многоэтажный жилой дом. Окна в доме были освещены, на балконы выхо-

дили люди; большой дом жил своей обыденной жизнью, и перед ним росло ветвистое ивовое дерево.

Подул легкий ветерок, шепеля только что появившиеся листочки развесистой ивы, и мне показалось, что теперь это крепкое, развесистое ивовое дерево, как в свое время мой отец, чужое здесь, на новой, в сущности, улице.

Один, два, пять, семь, десять, одиннадцать... Дом был одиннадцатиэтажным, наверное, население всей нашей махаллы разместилось бы на двух его этажах.

На балконе третьего этажа лицом ко мне стоял мальчуган лет четырех и сквозь железные прутья балконной решетки смотрел на меня; я тоже посмотрел на него, подмигнул, и вдруг произошло странное: ребенок с громким плачем побежал в комнату; мать поспешно вышла на балкон, оглядела улицу, взглянула на верхние этажи дома и, наверное, не увидев ничего подозрительного, ушла с балкона.

Моя ива улыбнулась.

Однажды во сне я увидел ярко-красную луну и во сне, глядя на красную луну, понимал, что вижу сон, понимал, что такой большой, такой красной луны быть не может, но большой красной луне, как говорится, было плевать, понимаю я это или не понимаю; так и горела, так и стояла у меня перед глазами.

Сейчас в небе была всегдашняя (обычная!) луна, всегдашние (обычные!) звезды, да еще горели огни в окнах огромного жилого дома, и его освещенные окна, отнюдь не считали себя чужими нашей махалле, наоборот, в сиянии, красоте этих окон, стеклянных дверей было какое-то превосходство перед нашей махаллей.

Трехэтажный дом, где жил Мухтар, где жила Адилля, как и прежде, стоял на своем месте (теперь это казалось мне чудом!), но на застекленной веранде Мухтара уже не было горшочков тети Кюбры, и вообще этот дом хотя и был прежним, но в то же время был и другим; достаточно было лишь взглянуть на его стены, окна, веранду, входную дверь, чтобы понять, что теперь жизнь этого дома совсем иная. Лучше, хуже прежней — не знаю, но совсем иная; и у меня не было сомнения в том, что теперь в этом доме жили совсем другие люди.

Перед домом, на краю тротуара, как и сорок лет назад, на маленьком, постеленном на асфальте тюфячке сидела дряхлая старуха (иногда, когда я думаю об этом, мне кажется, что в тот вечер старуха мне просто привиделась), и я медленно подошел, встал перед этой старухой, которую узнал еще издали (или убедил себя, что узнал?) и поздоровался с ней.

— Добрый вечер, тетя Сафура.

— Добрый вечер, — сказала она.

— Как дела, тетя Сафура?

— Какие у меня дела? Не видишь? Что от меня осталось?

— Меня не узнала?

— Нет...

Но это же я!..

В тот весенний вечер в свете большого здания я увидел в переличатых водянистых глазах тети Сафуры внезапную настороженность,

и мне показалось, что тетя Сафура все еще ждет вестей о своем сыне Эйнулле, пропавшем без вести во время войны. Конечно, мы все много слышали, много читали о том, что матери до сих пор ждут своих сыновей, пропавших на войне без вести, но я впервые за свою жизнь увидел это своими глазами, почувствовал всем сердцем.

Я смотрел на морщинистое лицо тети Сафуры и думал, что в путанице морщин на лице тети Сафуры и нашей махаллей сорокалетней давности есть очень близкое сходство.

Тетя Сафура повторила:

— Нет, не узнаю...

— Я Алекпер...

— Какой Алекпер? — Из водянистых глаз тети Сафуры исчезла настороженность, исчезло волнение: видно, у нее не было сил так долго удерживать в глазах настороженность и волнение.

— Сын Соны...

— Какой Соны?

— Жены проводника Агакерима...

Сморщенное, старое лицо тети Сафуры улыбнулось, как моя ива.

— Эй-богу, я же тебе сказала, ничего от меня не осталось. Одна нога здесь, другая — в могиле... Скорей бы Господь призвал меня... Ах, Аллах!..

— Мы выше Желтой бани жили, в тупике...

— Эй-богу, не знаю, в чем я провинилась перед Господом, что не забирал меня?!

— Мы в одном дворе с тетей Ханум и ее сыновьями жили.

Водянистые глаза, казалось, задумались, желая что-то вынести из прошлого, и она сказала:

— Царствие небесное Ханум!.. Аллах рахмат элесин!..

— Меня не узнаешь?

— Нет... Да убьет меня Аллах! Не убивает... Вот видишь, в долгу у тебя останусь...

Снова подул легкий ветерок, и я, отведя глаза от тети Сафуры, посмотрел на развесистую иву, едва раскрывшиеся листочки ее затрепетали, но это меня не взволновало, потому что ива уже сорок лет была не моя и, конечно же, она меня не узнавала.

Огни одиннадцатизэтажного здания один за другим гасли.

Скоро они погаснут совсем, останутся только луна, звезды на небе, и наша улица будет ждать не возвращения сорокалетней давности, а завтрашнего утра, тосковать по шагам завтрашнего утра, потом утро наступит, ребятишки одиннадцатизэтажного дома с шумом сбегут вниз, разойдутся по школам, в портфелях всех этих ребят будут прекрасные авторучки, и эти ребята никогда не увидят здесь Белого Верблюда: пройдут месяцы, подрастет и тот малыш на третьем этаже и на третьем (или десятом, двадцатом!) этаже какого-либо здания увидит маленького ребенка...

Когда Джебраил уходил на войну, он очень тревожился за наших дворовых голубей, и после Джебраила за ними стал присматривать Агарагим. Голубей нечем было кормить, Агарагим рано утром и ближе к вечеру влезал на крышу, выгонял их, и голуби разлетались в поисках корма (во всяком случае, хоть что-то находили), возвращаясь в голубятню нашего двора.

Когда Агарагим тоже ушел на войну, дворца голубятни всегда оставалась открытой, голуби день ото дня тощали, совсем обесселили, и большие уже не было у них ни охоты, ни сил вылетать и искать себе пищу.

Голуби Джебраила смирились со своей судьбой, и это стало одной из моих горестей, но у меня не было никакой возможности помочь этому горю, потому что и наш двор, и наш тупик, и наша улица были совершенно лишены возможности помочь какому-либо горю.

Я влезал на крышу, пытался заставить голубей взлететь, но они не взлетали, вернее, раз-два взмахнув крыльями, кидались из стороны в сторону по крыше, склонив головки, смотрели мне в руки, потом, стоя в углу крыши, вягивали головки, закрывали глаза и иногда ворковали; руки мои всегда были пусты, я ничего не находил, что бы дать голубям, и утешением для меня было лишь то, что, надевая длинный резиновый шланг Джебраила на кран у нас во дворе, я часто очищал и мыл голубятню, но, поскольку голуби ничего не ели, и чистить было нечего, кроме осыпавшихся от голода и слабости перьев; потом голуби начали умирать, и я один раз в несколько дней по вечерам вынимал и выбрасывал умерших голубей, и мертвые голуби, наоборот, доставались рыжей кошке; я очень любил этих голубей, мне было жалко их, но я брезговал мертвыми голубями, и моя брезгливость, из-за которой, беря несчастных мертвых голубей, приходилось удерживать тошноту, превращала мою жизнь в пытку: ну почему таков должен быть конец голубей? И жестокость мира заставляла страдать маленького Алекпера.

Однажды в наш двор вошел мужчина, у которого на плече висела большая сума, он был чрезмерно высок и даже при таком росте выглядел очень толстым; голова этого уродца была обрита наголо, у него был толстый загривок, и вся его фигура, его толстый загривок никак не вязались с сиротством и бедностью нашей махаллы.

Безобразный мужчина хотел купить голубей Джебраила, но тетя Ханум, несмотря на то что он едва вмещался в наш двор, в наш тупик, в наш переулок, прогнала мужчину со двора, и урод с толстым загривком внимательно оглядел наш двор, как будто что-то проверял, что-то изучал, а выходя из ворот, сказал:

— Все равно они подышают с голоду... — Когда он говорил, между его крупными желтыми зубами проступала слюна. — Для кого ты бережешь их, безмозглый?

Тетя Ханум так хлопнула дверьми вслед за безобразным мужчиной, что чуть не разбила его чисто выбритый выпуклый загривок.

Тетя Ханум сказала:

— Сукин сын! Хочет купить, чтобы подкормить, как кур, а потом отрезать им головки и продать!..

Когда я услышал эти страшные слова, волосы у меня зашевелились, я всей душой гордился тетей Ханум, мне показалось, что уж если она не испугалась жуткого мужчину, прогнала со двора этого безобразного мужчину, так хлопнула вслед за ним дверью, значит, она стала прежней тетей Ханум; мне показалось, что и автобус, и четыре полуторки опять друг за другом выстроились перед нашим тупиком, мне показалось, что и наш двор, и наш тупик, и наша улица, как прежде, защищены, как и до войны, сильны, непокоримы.

— Но ведь есть голубей — грех... — сказал я.

Тетя Ханум сказала:

— На свете столько людей, которые не боятся греха!..

В ту ночь я долго прислушивался к голубиной ворковне, прежде, едва наступал вечер, белые голуби засыпали, но с началом войны, как только ушли на войну Джафар, Адыль, Абдулалли, Годжа, Джебраил, Агарагим, и дворца голубятни оставалась открытой, голуби порой не могли заснуть до полуночи, все ворковали.

Я знал, что голуби голодны; у меня не было ни крохи, чтобы покормить их; я знал, что голуби больше никогда не взмоют в небо, не превратятся в едва различимые точки, но все мое существо было полно глубокой благодарности тете Ханум, потому что тетя Ханум не позволила, чтобы урод с толстым загривком захитнул голубей в мешок, висящий у него на плече; и вдруг мне показалось, будто сам я внутри мешка, и мне стало трудно дышать, я чуть не задохнулся от недостатка воздуха; но нет, урод с толстым загривком был не так страшен, как казалось, тетя Ханум прогнала его со двора, и я был не в мешке, а в постели, которую мама как обычно постелила мне на полу, в углу комнаты; я слушал воркование голубей, тех отоцдавших, свежившихся, больных голубей и снова видел небо ярко-голубым, без единого пятнышка, и в ярко-голубом, чистейшем, без единого пятнышка небе снова летели здоровые, проворные, сверкающие на солнце перья голуби Джебраила, кружили над нашей махаллой — и с начала войны, может быть, впервые я заснул успокоенный и видел прежнюю яркую голубизну, чистоту, прозрачность; я впервые в жизни увидел голубой сон: и белые голуби были голубыми, и небо было голубым, и голубые голуби летели в голубом небе, и в той голубизне где-то сквозил белый свет, и я знал, что это белизна Белого Верблюда, и во сне мне казалось, что руками, всем телом я касаюсь белоснежной шерсти невидимого, но излучающего свет Белого Верблюда, и что шерсть его мягка, как шелк, нежна, тепла!..

Утром меня разбудил мамин голос:

— Ах, сукины дети!.. Ах, чтоб вам согреть!..

Мамин голос доносился со двора.

Я понял, что произошло что-то чрезвычайное, вскочил с постели, выбежал во двор.

Ночью всех голубей выкрали и унесли.

Это было первое на моей памяти воровство в нашем квартале.

Я сид на краю бассейна, посмотрел на пустую голубятню и, не сумев сдержаться, заплакал; мне было жаль себя, потому что ночью забрались в наш двор, украли наших голубей, несчастных, больных голубей, а я ничего не знал, и тетя Ханум ничего не знала, и мы не смогли уберечь голубей хотя бы для того, чтобы они умерли в своей голубятне; и, конечно, мне было жаль самих голубей, и маленький Алекпер, представив себе несчастных голубей сначала сваренными, а потом изжаренными на сковороде, заплакал еще сильнее; в это время кто-то положил мне на плечо большую руку, и я вздрогнул, потому что вдруг мне показалось, что рука на моем плече — это рука того безобразного мужчины с толстым загривком и пустым мешком на плече, но надо мной стояла тетя Ханум, и рука тети Ханум стала совсем легкой; мне никогда не пришло бы в голову, что большая рука тети Ханум может стать такой легкой, почти невесомой, и эта легкость, эта невесомость еще больше меня расстроили.

Тетя Ханум сказала:

— Не плачь, Алекпер... Не плачь...

Я заплакал еще громче.

XXXX

У нас в тупике жила рыжая кошка, она была такая толстая, что казалось, шкура на ней вот-вот лопнет; она с трудом передвигалась, летом с утра до вечера спала в тени электростолба перед нашим тупиком, и я всегда удивлялся, когда она ест, что так жирест?

В течение дня тень, падающая на тротуар от столба, передвигалась, и рыжая кошка, лениво вставая, переходила на другое место, снова укладывалась в тени, а иногда открывала глаза, вставала, потягивалась, зевала, снова ложилась, и Балакерим говорил, будто этой рыжей кошке тысяча лет и рыжая кошка никогда не умрет.

Не знаю почему, но у нас в округе рыжую кошку никто не любил.

Когда началась война, люди остались без хлеба, мышей поубавилось, рыжая кошка отошала, и в конце концов от нее остались кожа да кости, никто не обращал на это внимания, потому что люди были поглощены своими заботами, им было не до рыжей кошки.

От лени рыжей кошки не осталось и следа, она больше не лежала в тени столба, с утра до вечера бродила по дворам, иногда в тупике увязывалась за мной, мяукала, а я топал ногой и гнал ее, потому что мне нечего было дать ей, да и не по душе мне была эта несчастная рыжая кошка; слова Балакерима засели у меня в мозгу, и мне казалось, будто и вправду знакомые, любимые мною люди умрут, все люди на земле умрут, только эта рыжая кошка никогда не умрет, всегда будет жить.

Время от времени из дома тети Амины доносились шум и крики, и все понимали, что Ибадулла снова объявился, снова пьян, снова требует у матери золото, и, конечно, Ибадулла, как всегда, выходил от тети Амины с пустыми руками, вернее, выходил без золота, но хотя бы горсть из того, что соседи, отрывая от себя, давали тете Амине, он уно-

сил с собой: вареный горох или лобно или что другое, и в один из таких дней я увидел Ибадуллу в конце нашего тупика в том месте, где прежде рос туговник.

Ибадулла сидел на корточках; рыжая кошка стояла подле Ибадуллы, и я впервые в жизни увидел в кошачьих глазах откровенную приязнь: рыжая кошка полными глазами смотрела на Ибадуллу.

Ибадулла протягивал рыжей кошке что-то съедобное; я стоял далеко и не видел, что именно, но что бы ни было, разумеется, Ибадулла только что со скандалом отобрал это у матери.

Кормя рыжую кошку с рук, Ибадулла говорил:

— Возьми, пишик! ... Бедная кошечка... В этом мире ты одна мне друг... Люди — враги друг другу, только у кошек осталась совесть, только кошки еще правдивы... На... емь... Видишь, все отвернулись от тебя... Ну, ничего... Бери...

Я смотрел на Ибадуллу, который кормил рыжую кошку, и совсем растерялся и растерялся не только потому, что увидел такое дружелюбие между Ибадуллой и рыжей кошкой, но и потому, что рыжую кошку кормил не кто-нибудь из нашей махалин, а именно Ибадулла; почему никто в округе, кроме Ибадуллы, не пожалел эту кошку?

Внезапно я сам себе показался вороватой кошкой, потому что вот так, украдкой, стоял и смотрел на то, что другой человек делал как бы втайне; я вернулся во двор и больше никогда не подглядывал за Ибадуллой и рыжей кошкой.

Всякий раз, когда из дома тети Амины доносились шум, я знал, что вскоре на месте, где раньше был туговник в конце нашего тупика, Ибадулла будет отдавать рыжей кошке по кусочку, по крохе из отнятых у матери соседских даров, беседовать с рыжей кошкой, но я сдерживался и не ходил туда (а может быть, все это мне казалось, и если бы я пошел в конец тупика, то никого бы там не увидел?); один только раз я не выдержал, потому что услышал плач в конце тупика, и тихонько направился туда.

Ибадулла сидел на корточках рядом с пнем от туговника и плакал.

Рыжая кошка лежала на боку перед Ибадуллой, лапы у нее были вытянуты, глаза закрыты, и я понял, что рыжая кошка околела...

Ибадулла плакал и приговаривал:

— Почему на свете людьми стали люди? Почему не кошки стали людьми?

XXXXI

Когда Эйнулла выздоровел после ранения и вторично ушел на фронт, и от Эйнуллы не было ни слуху, ни духу, и дядя Агагусейн ушел на фронт, тетя Сафура все время плакала, но как-то однажды она вдруг сказала мне:

— Слушай, эта бедняжка Зибя в Америке, как она ест эти черепашьи яйца?

¹Пишик — кошка.

Мама с отвращением к черепашьям яйцам и сочувствием к горькой доле Зибы хлопнула себя по бедру и горестно промолвила:

— И не говори!..

Сказать по правде, тогда я удивился наивности этого разговора между тетей Сафурой и моей мамой; ведь как мы здесь ели порошок из черепашных яиц, так и тетя Зибя ела его в Америке.

XXXXIII

Эсмер приоткрыла дверь моего рабочего кабинета, заглянула:

— Тебя к телефону.

— Да разве я не сказал, что работаю, чтобы не звали меня к телефону? — разозлился я.

— Это Фатулла Хатем...

— Ну и что ж, что Фатулла Хатем? — сказал я. — Фатулла Хатем что, племянник Аллаха?

Правда, я это сказал, но встал и пошел к телефону, размышляя, что, видно, Фатулла Хатем — действительно могущественный человек, если все в душе его ненавидят: и те, кто «внизу», и те, кто «наверху», однако он долгие годы противостоит этим «всем», и противостоит один — нет у него ни близкого друга, ни соратника, но он всегда на плаву, всегда руководит, наверное, потому, что сам себе ближайший друг и соратник, сам себе моральная опора (большая это сила!). Меняются эпохи, меняются люди, иногда и Фатулла Хатем год-другой остается в тени, иногда даже теряет должность, но опять где-то выскакивает и восстанавливает прежний престиж.

— Здравствуй, Алекпер, бала!¹

— Добрый вечер, Фатулла-муаллим.

— Не сердись, что я говорю тебе бала? — Фатулла Хатем рассмеялся, и я представил себе его хитрые и умные глаза. — Проходит годы, вы подрастаете, слава Богу, занимаете почетное положение, но для меня вы все еще вчерашние дети. Держали в руках своих опусы, не решились войти в кабинет... — Фатулла Хатем снова рассмеялся.

Если б я верил в Бога, а Бог доверял мне и смог бы выполнить единственное мое желание, то я обратился бы к Богу с просьбой: всего на один день впусти меня в мозг Фатуллы Хатема, чтобы я мог прочитать его мысли, посмотреть на мир его глазами, услышать его внутреннее оправдания, познать его чувства, волнения и понять его; ведь, ясное дело, никто на свете не считает себя подлецом (может быть, на свете вообще нет подлецов в этом смысле?.. Может быть, любая подлость существует только до того момента, пока не поймешь подлеца?). В связи с разными событиями я ставил себя на место Фатуллы Хатема, хотел понять его, найти в нем самом, в его собственном «я» оправдание (почему я клеветал? почему чернил? почему, говоря одно, думаю и делаю другое?), но из всех моих попыток ничего не вышло. Однажды я, собрав все книги Фатуллы Хатема, заставил себя прочесть их и прочел,

¹ Бала — детка.

но и в книгах Фатуллы Хатема была сплошная ложь — во всяком случае, мне так казалось; и книги тоже не сказали об их авторе больше того, что я знал; нет, я даже на полчаса не мог стать Фатуллой Хатемом, и это меня мучило, потому что, если я назвался писателем и если это был не самообман, я должен был суметь сделать это — должен был найти самооправдания Фатуллы Хатема, выявить их для себя... Я знал, чувствовал всем своим разумом, сердцем, что когда-нибудь напишу о Фатулле Хатеме, — роман ли это будет или что другое, я не знал, но произведение это будет написано тогда, когда я смогу выгащить Фатуллу Хатема из-под оболочек (подобно тому, как археолог проходит несколько пластов земли, извлекая фарфоровые сосуды), смогу увидеть его наедине с самим собой...

— Я тебя не побеспокоил?

— Нет, что вы...

— Я спросил у Эсмер о твоих дочках, говорит, все хорошо.

— Большое спасибо.

Все это, разумеется, был зачин, сейчас он перейдет к сути; во всяком случае за последние двадцать пять лет я хорошо изучил эти внешние приемы и повадки Фатуллы Хатема: мы виделись на разных литературных сборищах, оба занимались сочинительством, оба, как говорится, жили в литературной среде, но Фатулла Хатем никогда не знал, чей я сын (а может быть, он давно забыл имя моего отца...), никогда не знал, что мама газетой с его портретом вытирала керосинку у нас на кухне.

— Годы, Алекпер, бала, как птицы летят. Будто вчера вы только завели семью...

Я больше двадцати лет был женат, и с этим связано происшествие, которого я стыдился больше всего в моей жизни... В те далекие годы, в ту пору, когда еще не пришла похоронка на отца и дядя не переселил нас из махалли и мы впроголодь жили в постоянном страхе и тревоге военных лет, однажды ночью мама вдруг поднялась и села на кровати:

— Ты спишь, Алекпер?

— Нет.

— Алекпер, слушай меня хорошенько. Говорят, о плохом не скажешь — хорошего не узнаешь. Тигуну мне на язык, не дай бог, пусть и вовсе у меня язык отсохнет, но если с фронта придет худая весть о твоём отце, если вдруг и со мной что-нибудь дурное случится и дяди твоего не будет, ты останешься один, не дай Бог, Алекпер, никогда, слышишь меня, никогда не ходи и не проси помощи у Фатуллы Хатема!..

Прошло много лет с того ночного разговора, я стал печататься, мы встретились с Эсмер, решили пожениться, надо было посылать сватов, и тогда мама, которая с особым тщанием готовилась к этому событию — мечте всей ее жизни («Только бы мне увидеть твою свадьбу, Алекпер, только бы внучонка поносить на руках, больше я ничего не прошу у Аллаха!..»), сказала, что сваты должны быть уважаемые люди, чтобы родичи невесты знали, кто ты, пусть увидят, с кем они породнятся; и через некоторое время, после долгих размышлений, мама вдруг сказала:

— Алекпер, может, Фатулле Хатему скажешь, чтобы пошел сватом? Пойдет?

Я остолбенел от маминых слов, но самое постыдное — это то, что я пошел, смущаясь, краснея, обратился с этой просьбой к Фатулле Хатему, и он с энтузиазмом согласился. («Правда, вы только начали печататься, все краснеете да смущаетесь, — рассмеялся он, — но скоро это пройдет; впрочем, если ничего не бояться, — продолжал он, — значит, ничего и никого не уважать. Ну, да это на твоей совести! Куда мы идем и кого за тебя берем?») Взял с собой двух человек и сосватал меня...

— Да, — сказал я, — годы летят...

— Алекпер, ты знаешь, что я всегда считал тебя одним из самых талантливых наших писателей и всегда возлагал особые надежды на твоё будущее. Но порой мне делается жаль, что ты вместо романов, произведений большой формы, ставящих большие духовно-нравственные проблемы, тратишь время на мелкие вещицы... Ты ведь сам понимаешь, что если бы я был безразличен к твоей творческой судьбе, то не говорил бы об этом.

— Что-нибудь случилось, Фатулла-муаллим? (Может быть, я невольно выдал сохранившиеся с детских лет злость или враждебность к Фатулле Хатему?)

— Вот, например, сегодня мне принесли из издательства какую-то рухлядь старого поэта, как его имя? Да, Сафтара Месума. Смотрю, составитель — ты и предисловие твоё. Тебе не жаль времени? — Фатулла Хатем понемногу начинал чувствовать себя как бы на трибуне или за большим столом в учреждении, как это бывало уже на протяжении пятидесяти лет; интимная часть беседы кончилась, теперь шел серьезный разговор, и я понимал смысл этого разговора. — Ну где вы находите и вытаскиваете этих пахнущих нафталином Сафтаров Месумов?

— Саттар Месум, — сказал я; это тоже было одной из черт характера Фатуллы Хатема: он сознательно искажал имя человека, показывая, что человек этот так незначителен, что имя не запоминается.

— Да, да, Саттар Месум. Я знал этого несчастного. Бедняга был падок на выпивку... Верно, в газелях, в гошмах его чувствуется дарование, да и судьба его была трагичной; кровавые, горькие были годы; тогда не разбирали, где белое, где черное...

(«Против бедняги Мирзы Саттара выступил Фатулла Хатем, будто несчастный Мирза Саттар был против нашей власти. Взял карандаш и стал подчеркивать строку за строкой газели Мирзы, тысяча толкований придумал, злодей! Мирза написал: о роза, твои шипы терзают соловья, а Фатулла Хатем говорит, что он оклеветал наше время. Ну, а кого разоблачил Фатулла Хатем, не дай Бог. Дело кончено. Пропадал бедняга Мирза Саттар...»)

— Но, Алекпер, нельзя так увлекаться одними эмоциями... Этот безобразник Саттар Месум с утра до вечера пропадал в закусных...

— Вы с ним бывали в закусных?

Наступило молчание. По правде говоря, я и сам не знал, как у меня вырвались эти слова (Фатулла Хатем в жизни не пил больше двадцати пяти граммов коньяка и, наверное, никогда не был в закусной); теперь и без того смуглое лицо Фатуллы Хатема словно еще больше потемнело перед моим мысленным взором. И напомнило мне змею, ко-

торая, свернувшись на земле пружинкой, подняла головку, высунула раздвоенный язычок, уставившись на свою жертву.

— Я потому об этом спрашиваю, Фатулла-муаллим (кажется, я испугался, наверное, испугался, если пускаюсь в разъяснения), что ни от одного человека, кроме вас, я не слышал, что Саттар (на этот раз я произнес слово Саттар с особым ударением, то есть не Сафтар, а Саттар) был пьяницей...

— Моего слова недостаточно, Алекпер?

(«Алейкум-салам, росток мужчины! Как я поживаю? Все у меня в порядке, только мудрости пророка Сулеймана не хватает!.. Ты знаешь, Алекпер, твой тезка Мирза Алекпер Сабир был великим поэтом! Он говорил: даже если у старика богатств не счесть, в руках у него нет и силы ребенка!.. Понял? Царствие небесное Мирзе Алекперу, он знал, что говорил!.. Царствие небесное и Мирзе Саттару, он обожал Сабир, его стихи не сходили с уст Саттара... Потому что и сам он, как Сабир, любил народ...»)

— Фатулла-муаллим, книга Саттара Месума не о его приключениях в закусных... Вы сами сказали, что он был талантливый поэт, популярен в народе, всю жизнь писал, учительствовал, был скромен. Хотя один раз нужно было собрать его стихи и напечатать. Не так ли?

— Алекпер, но ведь личность писателя должна быть совершенной, должна быть чистой, он должен жить высокими чувствами!.. Ты знаешь, что говорили французские просветители XVIII века? Тот человек, который, взяв в руки перо, беседует с читателем, должен быть самым непорочным и чистым существом на свете!

(Если Аллах выполнит мое единственное желание, я готов в ту же минуту пойти и стать моллой, или попом, или раввином в синагоге!)

— Фатулла-муаллим, разве эта маленькая книжечка Саттара Месума помешает людям жить высокими чувствами? Саттар Месум, самое большее, рифмовал жалобы соловья на розу!

— А намеки?

— Какие намеки?

— Намеки в твоём предисловии! (... змея сжалась в спираль...!) Многочисленные абзацы, написанные тобой по поводу судьбы Саттара Месума. (Он тоже стал произносить это имя с особым ударением, как я.) Как ни крути, ни верти, но ведь они прямо в мой адрес!..

В издательствах, в редакциях газет и журналов было столько бедолаг, готовых услужить Фатулле Хатему ради проталкивания своих маленьких дел (к примеру, чтобы Фатулла Хатем помог увеличить объем книги на один печатный лист, или дать статью в журнале на три месяца раньше, или поменять две комнаты на три, или послать в творческую командировку и прочее)... И теперь, наверное, в связи с подготовленной мной к печати маленькой книжкой Саттара Месума нашптали о ней Фатулле Хатему, и Фатулла Хатем, конечно, придумает какой-нибудь выход, который никому (в том числе и мне) не придет в голову.

— А обыватели, как они истолкуют твои абзацы? — спросил он.

— Какова истина, пусть так и толкуют. («Правда, вы только начали печататься, все краснеете да смущаетесь, но скоро это пройдет; впро-

чем, если ничего не бояться, значит, ничего и никого не уважать. Ну, да это на твоей совести! Так куда мы идем и кого за тебя берем?»)

— Ты еще ребенок, Алекпер!.. — Вот это уже был настоящий Фатулла Хатем. — Истина — весьма относительное понятие. Ты изучал те годы сугубо теоретически, а я жил в те годы, участвовал в литературном процессе тех лет. Пережил в душе все муки той сложной эпохи, противоречивой эпохи. Где ты был, когда я подвергался преследованиям?

— Вы страдали за своими большими столами?

Фатулла Хатем умолк, потом тем знаменитым сдавленным голосом, в котором совершенно откровенно чувствовалась угроза, спросил:

— Что ты сказал?

Эсмер, хлопая ладонью по губам, делала мне знаки, чтобы я замолчал, взял себя в руки, но уж если истина так относительна, рано или поздно должен я высказать Фатулле Хатему свою истину или нет? Действительно, до каких пор мы должны разговаривать с Фатуллой Хатемом намеками; если я человек в возрасте, за пятьдесят, с поседевшими волосами и бородой (писатель!) до конца своих дней буду разговаривать с Фатуллой Хатемом одними намеками (и вообще с фатулла хатемами!), тогда чего я хочу? Зачем пишу? И как я буду писать?

— Алекпер, бала, телефоны работают из рук вон, не понял, что ты сказал..

— Фатулла-муаллим, помните, однажды во время войны вы пришли в гости к Мухтару? Это я тогда разбил окно на веранде!..

Эсмер больше не делала мне знаков; прижав ладонь к губам, она застыла на месте (помню, я когда-то рассказывал Эсмер эту историю).

Несколько мгновений в трубке царила тишина, слышались только хрипы, шипение, и я будто видел воочию — не только слышал — эти хрипы, это шипение, потому что еще более потемневшее от гнева лицо со злобно сверкающими глазами Фатуллы Хатема опять появилось перед моим мысленным взором и это оно издавало хрипы и шипение.

— Кто такой Мухтар?

— Он жил на одной улице с Саттаром Месумом..

Снова наступило молчание, затем Фатулла Хатем тем самым угрожающим знаменитым хриплым своим голосом, отчетливо произнося слова, сказал:

— Алекпер! Я тебе — не стакан воды, чтобы ты разом меня осушил!

— Знаю! — сказал я. Фатулла Хатем положил трубку.

Только теперь оторвав ладонь от губ, Эсмер сказала:

— Что ты наделал?!

Даже моя жена боялась Фатуллы Хатема..

XXXIV

После того как наша улица и наш тупик осиротели, наша махалла обезлюдела, после того как у входа в тупик не стало видно ни полутро-рок, ни автобуса, после того как в махалле не осталось мужчин и в тупике куражился Ибадулла, однажды невеселым летним вечером тетя

Ханум сказала моей маме слова, которые произвели на меня сильное впечатление. Почему эти слова так подействовали на меня? Наверное, потому, что тетя Ханум никогда в жизни (даже после того как ее большая рука так полегчала!), в отличие от других женщин нашей махаллы, не показывала на людях, что и у нее душа болит, не высказывала своих сердечных горестей, не вызывала у людей слез. Мама иногда говорила о тете Ханум другим женщинам, а порой и себе: «Хоть бы поплакала, попричитала немного, облегчила бы душу... А то молчит, не говорит ни слова, тревогу за шестерых сыновей таит в себе... Может разве такое вынести человеческое сердце?» А в этот невеселый душный летний вечер тетя Ханум на несколько мгновений устремила свои глядевшие из-под широких бровей глаза на маму и, еле шевеля тонкими губами, сказала:

— Сона, мои ребята там, мои ребята борются со смертью, а я спокойно живу тут, живу без Джафара, Адьяля, Абдулалли, Годжи, Джебранла, Агарагима... Я спокойно живу себе... Сона..

Мама сказала:

— Не мучь ты себя. С Божьей помощью все они живыми, невредимыми вернутся домой!.. Чтоб провалился этот Гитлер со всеми своими проклятыми родственниками!.. Пусть гроб станет треном этого сукина сына, седло залется кровью этого подлеца; что он там устроил!

Тетя Ханум еще некоторое время смотрела на маму, потом поднялась по деревянным ступенькам к себе, и я увидел, что мама не поняла тетю Ханум, и тети Ханум тоже догадалась, что мама ее не поняла; мама очень любила тетю Ханум, мама очень горевала, что тетя Ханум осталась одна, что тетя Ханум вздрагивала, слышав какой-либо звук, и с волнением, которое желала скрыть (возможно, даже от самой себя!), оборачивалась к воротам, но... но тетя Ханум не могла так СПОКОЙНО ЖИТЬ, эта спокойная жизнь мучила, тяготила тетю Ханум.

Я пошел в конец тупика, где торчал пень от тутовника, спиленного Ибадуллой, сел на принесенный сюда до войны (в ту прекрасную пору, когда тутовник был в расцвете) мокрый, оттого что два дня подряд шел дождь, камень-«кубик»; я был противен сам себе, я никогда еще не переживал такого ощущения; маленький Алекпер стыдился себя, потому что мой отец сражался на войне, все мужчины, все парни махаллы сражались на войне, а я тут СПОКОЙНО жил; сердце мое охватила грусть, тоска, но, в сущности, и в самой грусти, в тоске был ПОКОЙ, потому что я не ходил на смерть, как мой отец на войне, и в эти минуты даже в сиротстве, безлюдье нашей улицы, нашего тупика, нашего двора я видел ПОКОЙ.

В знойный летний вечер, когда я сидел на влажном камне-«кубике», перед моим мысленным взором появились глядевшие из-под широких бровей черные глаза тети Ханум, и я в ее глазах не почувствовал прежней строгости, мне показалось, что строгость в глазах тети Ханум уступила место не голоду, не безлюдью, даже не тревоге, а вот этому ПОКОЮ.

Мы все уже привыкли к тому, что больше нет прекрасного тутовника, спиленного Ибадуллой в прошлом году большой пилой с крупными острыми зубьями, не собирались здесь по вечерам вокруг Балаке-

рима, не слушали его свирель, его истории о Белом Верблюде, и земля вокруг огромного пня, оставшегося от прекрасного дерева, за один этот год заросла травой, как будто небольшой участок — конец тупика, бывший постоянным местом наших игр, стал теперь символом сиротства и бесприютности всей махаллы.

Сидя на мокром «кубике», я смотрел на большой пень, оставшийся печальным воспоминанием от того прекрасного туютника, и вдруг будто неожиданно очутился на обращенной к теневой стороне пня удел колонии опять. Когда отец из поездок приносил домой полную всякой благодати, пахнущую вагоном соломенную корзину, я порой вытаскивал из корзины и эти грибы; отец покупал их на российских станциях, говорил, что это лучшие из грибов, мама жарила их с луком на сливочном масле, заливала яйцом, и я очень любил эту грибную чихиртму.

У меня была зеленая майка, вернее, майка когда-то была зеленой, потом она так изорвалась, истрепалась и мама столько раз заштопывала изорванные, истрепанные места, что майка уже не была зеленой, да и вообще перестала быть майкой. Я, собрав все большие и маленькие грибы, уложил их в полу майки.

Мой дядя примерно год назад привез нам откуда-то бутылку подсолнечного масла, и эту бутылку мама берегла как зеницу ока, но в тот знойный летний вечер мама тоже, как видно, вспомнила поездку отца, посмотрела на брошенную в нашем маленьком коридорчике соломенную корзинку, вздохнула, прослезилась. «Да обвалится дом виновника!» — сказала она и, налив на сковородку немного подсолнечного масла, поджарила грибы, потом, поделив ровно пополам, разложила по двум тарелкам и, протянув мне одну тарелку, произнесла в тот знойный летний вечер самые прекрасные слова на свете:

— Отнеси Ханум-хала, Алекпер... Скажи, ты сам собрал грибы... Скажи, что мы досыта наелись...

Взяв у мамы горячую тарелку, источавшую чудесный запах, я вышел во двор, поднялся и передал тете Ханум сказанные мамой слова. Тетя Ханум сидела на тахте, поджав под себя ноги, посмотрела на меня, на жареные грибы, ни слова не сказала, но улыбнулась, и мне показалось, что в улыбке тети Ханум было что-то хрупкое, что может со звоном разбиться.

Я стоял посреди веранды и не знал, что делать; почему-то мне не хотелось уходить, хотелось, чтобы тетя Ханум поела эти жареные грибы при мне горячими; может быть, ждал, что тетя Ханум похвалит меня, порадует за меня, что я вот так, на пустом месте, нашел грибы? Не знаю... Тетя Ханум встала с тахты, подошла к столу, снова посмотрела на жареные грибы, снова улыбнулась, и я снова увидел в ее улыбке что-то стеклянное.

Тетя Ханум сказала:

— Помнишь, Алекпер, однажды ты приносил нам энзелинскую рыбу?

Я кивнул: мол, помню; действительно, мне вспомнился тот день, и я вспомнил те две слезинки, выкатившиеся из глаз тети Ханум в тот день, слезы тети Ханум, которые я видел первый и последний раз; потом

вспомнил висящий на стене портрет Абузара (портрет Абузара тоже был за стеклом), потом вспомнил Годжу, похожего на тот портрет, а потом вдруг будто Балакерим заиграл на свирели, и, слушая далекую и в то же время очень близкую мелодию свирели Балакерима, вспомнил Адилло; и две слезинки, выкатившиеся когда-то из глаз тети Ханум, теперь, в моем представлении, были не только по Абузару, но и по Адилле... Потом мне показалось, что вся наша махалла пошла по миру, как сирота, и две слезинки тети Ханум были по нашему кварталу.

Я хотел уйти, потому что перед моими глазами сменяли друг друга разнообразные видения, и я сам не мог разобраться в этих видениях; у меня начала болеть голова, я почувствовал себя усталым, и тут тетя Ханум, глядя на тарелку жареных грибов, вдруг сказала:

— Алекпер, может, мы пошлем это Алиаббасу-киши?

Я удивился:

— Алиаббас-киши давно переехал в село...

Тетя Ханум спросила:

— Да? — Потом сказала: — Да, верно... — посмотрела на меня, и мне показалось, что черные глаза тети Ханум, глядевшие из-под широких бровей, тоже ослабели, как глаза тети Амины, плохо видят, и никто об этом не знает; потом меня охватил жуткий страх: а вдруг тетя Ханум сойдет с ума?..

Тетя Ханум повторила:

— Да, верно! — А потом: — Ты не волнуйся, Алекпер. Они вернуться, все шестеро, Алекпер... Я ведь знаю их, Алекпер, придут все шестеро, ничего с ними не случится, Алекпер... Ты не волнуйся, они еще будут тебя катать на машинах, Алекпер... И Джафар будет возить тебя на машине, Алекпер, и Адиль будет возить, и Абдулалли, и Джебранил, Алекпер, и Агарагим, и Годжа будет вместе с нами гулять, Алекпер...

Глядя на меня, тетя Ханум говорила эти слова, но у меня волосы вставали дыбом, мне казалось, что тетя Ханум меня не видит: глядевшие на меня глаза ее были устремлены куда-то очень далеко, и тетя Ханум говорила не мне, а тем людям вдалеке, а возможно, себе самой, и в эту минуту сама была очень и очень далеко от своей веранды.

— Не переживай, Алекпер, ни с одним из них ничего не случится, все шестеро возвратятся... Я ведь их знаю, Алекпер...

С дрожью в ногах я спустился по деревянным ступенькам, пришел домой, и некоторое время мне казалось, что тетя Ханум не знает, что я ушел, и до сих пор, обращаясь ко мне, говорит о возвращении Джафара, Адылы, Абдулалли, Годжи, Джебранила, Агарагима, говорит о том, что ни с одним из них ничего не случится; прошло немного времени, и тетя Ханум спустилась вниз по деревянным ступенькам, в руках у нее был небольшой узелок; выйдя со двора, она пошла в конец тупика, и я понял, что тетя Ханум несет жареные грибы тете Аминне...

... Ночью, лежа в постели, закрыв глаза, я снова услышал ту далекую и в то же время такую близкую мелодию свирели Балакерима, свирель все играла, а потом я услышал слова Балакерима:

Внутри бани черт-те что,
Внутри соломы решето,
Верблюду борода побреет,
Баня бедного согреет...

Три дня и три ночи женщина с одним ребенком во чреве своем и с другим — на руках бежала от голода, но караванный путь все тянулся и тянулся, он был нескончаем, никак не приводил к цели, и вчера утром она дала последний кусочек хлеба ребенку, которого держала на руках, и совсем крошечный кусочек съела сама, чтобы досталось младенцу в ее утробе; прошло совсем немного времени, голод снова настиг их, голод снова стал терзать их. На город навалились голодные времена, кто убежал сломя голову, а кто остался — умер от голода; муж той женщины, чьи большие глаза запали и сверкали голодным блеском, а когда-то белая кожа на полном и страстном теле теперь обвисла, тоже умер от голода; потом невиданный голод унес одного за другим трех сыновей этой женщины; всего один ребенок остался у нее на руках и один — во чреве, и три дня назад она спрятала за пазухой кусок ячменного хлеба, на который выменила все свое имущество, дом, двор, взяла на руки ребенка, которому еще не исполнилось и года, вышла из голодного города, босая, с непокрытой головой, на караванную дорогу.

Этот караванный путь в свое время был полон путников, отсюда дни и ночи шли караваны, но теперь он был совершенно пуст, потому что в голодном городе были зарезаны и съедены все верблюды и лошади; в голодный город больше не заходил ни один караван, ибо люди тотчас резали и съедали верблюдов, мулов, ослов.

Караванный путь пролегал по совершенно пустой, серой равнине, и на равнине невиданной засухи не было ничего, кроме высохшего под солнцем чертополоха. Солнце взошло и постепенно разгоралось, но ни женщина, ни ребенок у нее на руках, ни дитя у нее в утробе не ощущали солнечного жара; помню голода, съедавшего все ее нутро, все существо, в почерневших сосках женщины не утихала изнуряющая, изводящая, как в посыпанной солью ране, боль; пока тянулась дорога, голодная женщина совала в рот ребенку свои свисающие, как пустой мешок, груди, ребенок сколько было сил сосал ее груди, в которых давно не было молока; соски были изранены, и вначале хоть немного крови он отсасывал из материнских грудей, но теперь даже и крови не было.

Дитя в утробе женщины тоже голодало, толкалось ножками, ручками, головкой, и женщина, конечно, ощущала все это внутри себя, всем сердцем чувствовала страдания еще не рожденного, еще не появившегося на этот горький свет ребенка, но ничего не могла сделать; она смотрела на все тянущуюся и тянущуюся, не имеющую конца караванную дорогу, потирала живот рукой, пытаясь успокоить младенца, водила рукой по животу осторожно, чтобы ее пальцы с выступающими костями не повредили ребенку сквозь отоцавшую, обвисшую кожу живота: еще не рожденному, еще не появившемуся на этот горький свет ребенку... Взглянула на того, что был на руках: «Если я умру, да буду твоей жертвой; хоть ты не умирай; несчастная я... какой грех я совершила, что за несчастье постигло меня?»

Голова ты моя, как ты мне тяжела,
Я с тобой только плакать доньше могла,

Ну куда от тебя мне бежать без оглядки?
Убежала — тебя я с собою взяла.

Надежда была только на караванную дорогу: караванная дорога рано или поздно должна была привести куда-то, там должны быть люди, и там должен быть кусок хлеба.

Собрав все силы, женщина волочила ноги, а рук своих не чувствовала: руки ее будто присохли к пеленкам младенца, будто окаменели, и еще у нее так болели соски.

Ох, любимый, под солнцем палившим бреду.
Где прохлада? Под солнцем губящим бреду.
Как проклясть мне тебя, мой злая судьбина?
Видно, ты мне сулила погибнуть в бреду.

На обочине дороги женщина увидела куст колочего чертополоха; ей хотелось подойти, остановиться у куста, но она испугалась, что потом не сможет подняться, однако ноги ее сами собой остановились, тело как бы само нагнулось, она осторожно положила ребенка на землю, руки сами стали выкапывать, вырвали корень, она поднесла его ко рту, стала жевать, чтобы хоть что-то попало в желудок, досталось младенцу в утробе, хоть что-то дать тому ребенку, которого положила на землю. Она не почувствовала ядовитой горечи чертополоха, но зубы ее не смогли разжевать корень; как ни старалась, ничего не вышло, бросила корень и сама не знала, как поднялась на ноги, как взяла с земли ребенка, снова пустилась в путь...

Небо было совершенно чистое, кроме солнечного света, в небе ничего не было, и в это время очень далеко показались с трудом различаемые зеленые горы; в тех горах, в том прекрасном мире на той стороне были разнообразные плоды, в тех горах были холодные, как лед, родники...

Горы, где же клеймо вы поставите мне?
Горы, что, кроме слез, вы оставите мне?
На груди моей места уже не осталось,
Чтобы вы приласкали меня хоть во сне.

Едва различные, страшно далекие зеленые горы будто придали сил женщине, прибавили надежды, женщина забыла про иссохшие руки и боль в груди, поспешила к зеленым горам, пошла, пошла...

Мой любимый, проснись, перед нами гора...
Мы в крови добрели к тебе сами, гора.
Здесь — несчастье и гнет, здесь беда и невзгода.
Что же там у тебя, в синей раме, гора?

Но вскоре и чистое небо стало хмуриться, зеленые горы вдалеке потемнели, и женщина поняла, что это уже конец, поняла, что и ее, и того, что на руках, и того, что в утробе, проклял Бог, и даже если бы вдруг явились сто целителей, что они смогли бы сделать с одним Божьим проклятием?

Впереди, у края дороги, она увидела дерево, догадалась, что это оливковое дерево, и снова в ее сердце возникла надежда, снова, волоча обессиленные ноги, она добралась до оливкового дерева, положила ребен-

ка на землю, пошарила под старым оливковым деревом и не нашла ни одной упавшей оливки, на дереве тоже не было ни одной оливки, женщина хотела поднять с земли ребенка, чтобы продолжить путь, но уже не смогла поднять его, села на землю и, чтобы не упасть, прислонилась к стволу старого оливкового дерева; она поняла, что никогда больше не сумеет подняться, никогда больше не сумеет взять ребенка на руки, и, совсем уже без сил, застонала, заскулила, и это тонкое поскуливание будто придало силы ребенку, что лежал на земле, и ребенок громко заплакал.

Так прошло некоторое время.

Во всем мире никого не было: было только нахмурившееся небо, бесконечно тянущаяся дорога и еще эта женщина, с ее собачим поскуливанием, с плачем ее ребенка на земле; был ребенок в ее утробе, был ребенок, лежавший на земле; повсюду, кругом воцарялась мгла, и женщина почувствовала, что это вечный мрак и что вечный мрак уносит их...

Так прошло еще некоторое время.

Стоны женщины и плач ребенка, лежавшего на земле, словно успокоили дитя в утробе матери, оно больше не толкалось ручками, не толкалось ножками, мрак и его стал уносить с собой, и тут женщина услышала, что плачет не только она и не только ее ребенок, но и кто-то третий, в последний раз собрала свои силы, вынырнула из уносящего их мрака, открыла глаза.

Человек с Мягким Сердцем, опустившись на колени под старым оливковым деревом, сидел перед женщиной, смотрел на женщину, на лежащего ребенка, смотрел на выпуклое чрево женщины, на то, как они плачут, лишаясь последних сил, и сам горько плакал над их горем.

Белый Верблюд стоял на обочине дороги, молча жевал, глядя на женщину, на живот этой женщины, на ребенка, лежащего на земле, на Человека с Мягким Сердцем и на старое оливковое дерево.

Женщина узнала Человека с Мягким Сердцем, как только увидела его; значит, Бог еще не совсем отвернулся от них, Бог пожалел их, в этой пустыне послал им не кого-нибудь, а Человека с Мягким Сердцем.

В руке Человека с Мягким Сердцем был маленький узелок, и женщина тотчас почувствовала, что в маленьком узелке — хлеб.

Женщина больше не плакала, и ребенок, лежавший на земле, будто почувствовал, что мать сейчас даст ему что-то, замолчал, а Человек с Мягким Сердцем не мог успокоиться; стоя на коленях, он рыдал.

Женщина смотрела на узелок в руке Человека с Мягким Сердцем.

Наконец Человек с Мягким Сердцем пришел в себя, поднялся на ноги, засобиравшись в путь, и женщина в ужасе прошептала:

— Куда ты, братец?

Человек с Мягким Сердцем, вытирая рукой покрасневшие от слез глаза, молвил:

— Путь мой далек, сестра. Доберусь ли до цели, Бог знает...

— Дай нам кусочек хлеба...

Человек с Мягким Сердцем посмотрел на маленький узелок, что держал в руке, и сказал:

— Это мое пропитание, сестра. Всей душой жалею тебя. Сколько хочешь, посижу, поплачу над твоим горем, — сказал он. — Но это — мое пропитание, его я не могу отдать тебе, — сказал он и снова, не сдержавшись, зарыдал.

Женщина, с трудом вытянув обессиленную руку, дрожащим пальцем показала на ребенка, лежавшего на земле, и сказала:

— Я и от него отрекаюсь. — Потом приложила руку к животу: — Что-бы хоть этого сохранить, дай мне один раз откусить хлеба...

У Человека с Мягким Сердцем были чистые, светлые глаза, он посмотрел на женщину чистыми, светлыми глазами и ничего не сказал.

Женщина поглядела на Белого Верблюда, увидела большие черные глаза Белого Верблюда и прочитала в больших черных глазах Белого Верблюда такие слова, что были хуже и голода, и мучений бесконечно тянущейся дороги: они пронзили все ее нутро, все ее существо.

Большие черные глаза Белого Верблюда говорили женщине: нег, ты просишь хлеба не для младенца во чреве своем — ты просишь для себя; не оправдывай себя младенцем: хлеба ты просишь, чтобы спастись от смерти...

Женщина отвела взор от больших черных глаз Белого Верблюда.

Человек с Мягким Сердцем снова не мог сдержаться, зарыдал и медленно, всхлипывая, сел на Белого Верблюда, выехал на караванную дорогу; Белый Верблюд, медленно шагая, удалился, исчез с глаз.

Воцарилась полная тишина.

Под старым оливковым деревом словно осталось что-то от взгляда тех больших черных глаз Белого Верблюда, и это «что-то» шептало в тишине: ваши дела — не мои дела, о люди...

Сказанное большими черными глазами Белого Верблюда, подобно легчайшему, совершенно прозрачному, незримому туману, осело на караванную дорогу, окутало старое оливковое дерево и долгое время не покидало этих мест...

XXXVI

Отец уже четыре месяца как ушел на фронт, и мне казалось, что горюю об отце не я один, не одна мама; мне казалось, стаканы с блюдцами, выстроенные на полках, кровать, стол, сундук, деревянные табуретки — все, вплоть до окна и дверей, — каждая вещь, каждый уголок нашего дома — горюет об отце; у отца был свой мир, отец по своей природе и судьбе, возможно, был для нашего туника, для нашей улицы, для нашего квартала пришлым чужаком, но мне казалось, что теперь и наш туник, и наша улица, и махалля горюют об отце; мне казалось, что за время, что отца не было здесь, с нами, то есть в течение этих месяцев, что он ушел на войну, он стал ближе, стал дороже нашей махалле.

Однажды осенним вечером, когда желтели и осыпались листья раздвоенного тутовника, три подряд черных «эмки» подъехали и остановились у дома Мухтара; и Джафаргулу, и я, будто испугавшись трех чер-

ных «эмок», приникли к воротам Желтой бани и устали на этих неспящих гостях.

Первую «эмку» мы знали, она принадлежала Мухтару, и Мухтар, торпливо выйдя из машины, подошел и встал перед двумя другими; из второй машины вылез человек с аккуратно зачесанными назад длинными черными волосами; мне показалось, что я часто видел этого улыбающегося человека в сером костюме с галстуком, повязанным большим узлом, но кто он такой, я никак угадать не мог; из третьей машины тоже вышел человек, и Мухтар сказал:

— Добро пожаловать! Пожалуйста, приходите в дом!.

Я в жизни не видел Мухтара таким приветливым и не мог себе представить, что Мухтар может быть таким гостеприимным.

Улыбающийся человек с интересом оглядел нашу улицу и еще шире заулыбался (в его улыбке была едва различимая ирония, и это осталось у него до сих пор; улыбаясь, он словно насмеялся). Так, улыбаясь, он сказал Мухтару:

— Товарищ Мухтар, у вас здесь прямо экзотика...

Конечно, я в то время не знал значения слова «экзотика», но с тех пор это слово запечатлелось у меня в мозгу; я не знал значения этого слова, но слово это показалось мне каким-то нехорошим, и поныне у меня сохранилось враждебное отношение к этому слову «экзотика»; и еще мне вспоминается, что улыбка человека произвела на меня неприятное впечатление, будто меня взяли за руку и насильно приложили ладонь к мокрой лягушке; я тотчас почувствовал искусственность, фальшь этой улыбки: в нашей округе я никогда не видел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь так фальшиво смеялся.

Когда этот человек вошел в дом Мухтара, Джафаргулу зашептал:

— Узнал? Это он продал Саттара Месума! Да-да! Видишь, как скалится?

После слов Джафаргулу я тотчас узнал этого человека: конечно, это был он, Фатулла Хатем; я много видел его фотографии в газетах, в нашем новом учебнике по литературе был его портрет; и мне вспомнилось, как мама газетой с его портретом чистила у нас на кухне керосинку и как обрывки этого портрета крошились и падали на пол.

Все три машины стояли у дверей Мухтара, во всех трех машинах остались сидеть шоферы, и эти три шофера были старые, потому что молодые шоферы все были на фронте, как Джафар, Адиль, Абдулалли, как Джебраил, Агаргим, но сам Фатулла Хатем не был старым, он был ровесником моего отца, однако мой отец был на фронте, все вещи нашего дома горевали об отце, соломенная корзинка в нашем маленьком коридорчике была совершенно пустой и совсем утратила благодатный вагонный запах, а Фатулла Хатем сейчас был в нашей махалле, иронически улыбаясь, оглядывал нашу улицу, произносил слова, значения которых я не знал; Фатулла Хатем гостил сейчас в доме Мухтара; наверное, они что-то ели, что-то пили; Фатулла Хатем всегда улыбался, всегда посмеивался, а мой отец всегда бывал задумчив; Фатулла Хатем приехал на нашу улицу в черной «эмке», а мой отец всегда был чужаком; Фатулла Хатем, выйдя из дома Мухтара, на черной машине поедет к себе домой, а мой отец, возможно, никогда не вернется в наш дом;

Саттар Месум очень любил Сабира, Фатулла Хатем выступил против Саттара Месума, посадил его в тюрьму, а теперь в нашем новом учебнике, через несколько страниц после портрета Сабира, шел портрет Фатуллы Хатема. В горле у меня встал комок (внезапно мне показалось, что крупные человеческие кости на письменном столе у тети Ханум — это кости Саттара Месума, и никто об этом не знает...), такая несправедливость наполнила мое сердце злобой, яростью, враждебностью, которых я до сих пор никогда не ощущал, рыдания душили меня; мне показалось, что и цветы на веранде тети Кюбры тоже рыдают; я и сам не заметил, как поднял с земли большой обломок камня и как запустил обломком камня в веранду Мухтара.

Одно из крупных стекол веранды со звоном разбилось, и осколки посыпались на улицу; от брошенного мною камня вся наша улица словно содрогнулась, но в этом содрогании я почувствовал и какую-то гордость; как будто я отомстил за всю нашу улицу веранде Мухтара, людям, сидевшим в доме Мухтара, и наша улица гордилась моим отмщением и мной самим.

Шофер Мухтара закричал:

— Ты что делаешь, негодяй?! — И открыл дверцу машины, но я, а за мной Джафаргулу метнулись за угол и скрылись из нашего квартала.

Конечно, гости Мухтара испугались, и, наверное, настроение у них было испорчено, но цветы на веранде, цветы тети Кюбры, наверное, улыбались мне в след.

Домой я вернулся ночью.

XXXVII

Кажется, это было в позапрошлом году. В начале мая в Баку несколько дней подряд шел сильный дождь, дул ветер, и в один из этих весенних и дождливых дней мне стало как-то тоскливо сидеть дома, я надел плащ, нахлобучил шляпу, вышел на улицу и направился к Приморскому бульвару.

Дождь, правда, заметно уменьшился, только моросил время от времени, но все вокруг было мокро, дул ветер, и я шагал, не замечая, что шлепаю по лужам.

Хорошо помню: было воскресенье, но многолюдные бакинские улицы были пусты, и когда, глядя на льющуюся из водосточных труб, текущую вдоль тротуаров вспененную воду, мокрые стены и крыши, я смахивал падающие мне на руки, на лицо капли дождя, мне казалось, что бакинцы бежали из города и оттого-то пустые улицы, мокрые здания такие безлюдные.

На Приморском бульваре, открытом всем ветрам, разумеется, никого не было, берег был совершенно пустынен, его блестящая от дождя асфальтированная дуга тянулась вдоль моря.

Стайка белых чаек тоже слетела на берег и, несмотря на ветер и дождь, кружила над морем; снижаясь, они искали что-то в волнах, и я очень жалел, что в карманах у меня не было ничего для птиц; мне даже захотелось сходить в магазин, чтобы купить птицам килек, но эта

мысль заставила меня усмехнуться. Я подумал, что становлюсь чудаконат не по возрасту: мелкие рыбешки все равно не насытили бы крупных голодных птиц, и желание это было наивным, каким-то детским...

Море волновалось, и гребешки волн пенились так бело, что чистая белизна пены никак не вязалась с серостью ветреного и дождливого серого дня.

Шагая вдоль бульвара, я представил себя со стороны: в такой дождливый непогожий день в прогулке писателя по бульвару было что-то романтическое, и, если взглянуть на это со стороны, становилось смешно.

Когда я в полном одиночестве бродил в этот ветреный и дождливый майский день по пустому бульвару, мне казалось, что на свете, кроме шума ветра и плеска моря да еще оставшихся вдалеке криков чаек, нет и не было других звуков. Но, проходя мимо старого летнего кинотеатра, будто в противовес этому моему чувству, услышал тупой стук; я остановился, посмотрел в ту сторону, откуда доносится стук: трое пожилых мужчин, прижавшись друг к другу, расположились на скамье, средний держал на коленях деревянную доску, и все трое, защищая доску от ветра, играли в домино.

Доска была мокрой, стук костяшек, которыми все трое темпераментно колотили по доске, был глупим, и в глухоте этого стука тоже было какое-то осеннее настроение, осенняя желтизна; если бы у звука был цвет, глухой стук доминошных костяшек был бы окрашен в цвет листопада.

Одного из пожилых мужчин я, хоть и не видел сорок лет, узнал тотчас же. Это был Мухтар.

Некоторое время стоял, со стороны глядя на Мухтара.

За сорок лет Мухтар мало изменился, но в то же время между тем Мухтаром, которого я знал сорок лет назад, и этим Мухтаром, который теперь, в этот ветреный и дождливый день, сидя на бульваре, шлепал костями домино в компании с двумя другими стариками, была наглядная и весьма чувствительная разница; это была не только разница в возрасте, но и в том, что теперь на Мухтаре не было черного кожаного пиджака, кожаной кепки, черных хромовых сапог — Мухтар был одет как самый рядовой человек.

Сезон в летнем кинотеатре еще не начинался, двери были заперты, окошечко билетной кассы зарешечено, и, странное дело, то обстоятельство, что эти трое, сидя у стены кинотеатра на этом пустынном бульваре, в этот ветреный и дождливый день играли в домино, делало кинотеатр еще более безлюдным, еще более сиротливым.

Стоя в сторонке, я смотрел на этих троих, слушал глухой стук костей домино, и мне показалось, что вокруг распространился какой-то родной запах; этот запах доносился издалека; я понял, что это запах горячих пирожков, потом вспомнил цветы в фаянсовых горшочках, которые тетя Кюбра выращивала на веранде.

Конечно, цветы давно увяли.

Трое пожилых мужчин тоже, как я, заскучили и, сидя дома, сговорились, пришли на свое обычное место у стены безлюдного, одинокого кинотеатра и, прижавшись друг к другу, стали играть в домино.

Осеннюю желтизну глухого стука костяшек различал только я; этот стук только у меня перед глазами превращался в листопад; трое мужчин этого не замечали.

Я смотрел на Мухтара, и то, что Мухтар, как я, в этот ветреный и дождливый день затосковал дома и пришел сюда, как будто незримо сблизало нас.

Когда я был ребенком, Балакерим нам говорил, что все люди на свете — родственники, потому что все мы произошли от Адама и Евы, говорил об этом Балакерим как о своем собственном важном открытии, и тогда слова Балакерима произвели на меня впечатление поразительной (и почему-то очень таинственной!) истины.

Я улынулся, потому что в этот ветреный и дождливый майский день мне показалось, будто мы с Мухтаром действительно в родстве.

Вечером небо очистилось, было буквально усыпано звездами, взошла луна, как будто и не было дождя, ветра, и в эту лунную, в эту звездную ночь я увидел странный сон.

Это были обычные ступени, как в подъезде здания, только вели они не вверх, а вниз, под землю.

Я быстро спускался по этим ступенькам, вспотел, но они вели все дальше вниз.

Потом я вошел в какой-то дом и понял, что это — дом Мухтара.

Мухтар был в белой нижней сорочке, в белых домашних штанах, а в руке у него — большое ведро, полное воды.

Белизна сорочки и штанов Мухтара напоминала саван.

Он взял меня за руку, сказал: «Иди, иди сюда!» И мы стали спускаться еще ниже под землю, и, когда Мухтар спускался по ступеням, вода в ведре колыхалась, проливалась под ноги, оставляла лужицы как после дождя.

Сначала мне показалось, что перед нами — крышка гроба, но потом я увидел, что это узкая деревянная дверь подземелья, и мы остановились перед этой дверью. Мухтар, сунув руку по локоть в ведро, вынул из воды связку ключей, открыл большой замок на этой узкой деревянной двери (замок показался мне очень знакомым, я даже на мгновение вздрогнул, потом появился легкий, зыбкий силуэт тети Зибь...), и мы вошли внутрь.

Рукав белой сорочки Мухтара намок до локтя, белые штаны тоже были мокрыми до колен и липли к телу.

Мухтар сказал: «Ну вот они!.. Я их сохранил все до одного!»

На земляном полу подвала выстроились фаянсовые горшочки с цветами.

Это были цветы тети Кюбры, но были они бумажными.

Мухтар, наклонившись, зачерпывал из ведра воду горстями и поливал бумажные цветы в фаянсовых горшочках.

Потом я почувствовал, что сейчас проснусь, и действительно проснулся. Была середина ночи. Я закрыл глаза. Некоторое время ворочался с боку на бок. Мне хотелось снова уснуть, хотелось увидеть: не расцвели ли бумажные цветы от тех горстей воды, что выплескивал на них Мухтар, — может, ожили?

В один из жарких, засушливых осенних дней 1944-го тетя Ханум обычным твердым шагом шла по нашей улице. Внезапно она остановилась перед трехэтажкой, подняла голову, посмотрела в сторону окон шапочника Абульфата, вдруг позвала жену шапочника Абульфата тетю Фатьму и произнесла жуткие слова, которых не мог никто от нее ждать.

— Фатьма, Фатьма! — крикнула тетя Ханум. — Скажи Адиле, пусть выйдет и плюнет мне в лицо!

На улице не было никого, кроме меня, Балакерима и Джафаргулу; мы сидели под раздвоенным тувонником, на тротуаре; Джафаргулу изумленно посмотрел на тетю Ханум, и я совершенно ясно увидел, что Джафаргулу испугался тети Ханум, этих слов тети Ханум; Балакерим тоже смотрел на тетю Ханум, но в глазах Балакерима, всегда устремленных вдаль, не было никакого удивления; я тоже смотрел на тетю Ханум, сердце мое колотилось, мне было больно, и все же я радовался: как хорошо, что на улице сейчас никого нет, как хорошо, что эти слова тети Ханум никто не услышал; я не хотел, чтобы соседи тоже смотрели на тетю Ханум с изумлением, как Джафаргулу; я слышал стук собственно сердца, я испугался сильнее, чем Джафаргулу, я так не хотел, чтобы тетя Ханум сошла с ума!

И семья тети Фатьмы тоже, наверное, не услышала слов Ханум-хала.

Тетя Ханум больше ничего не сказала, пошла своим обычным твердым шагом и свернула в наш тупик.

Балакерим некоторое время смотрел ей вслед, потом сказал:

— Проклятый мир! Чтoб ты...

И никогда в жизни не бранившийся Балакерим обругал этот мир самыми дурными словами.

Три года назад я ездил в Америку, и если еще раз попаду в Америку, то непременно разыщу там тетю Зибу.

Может быть, тетя Зиба давно умерла?

Не знаю...

Но у меня такое чувство, что тетя Зиба жива, и я даже представляю себе тетю Зибу совсем старой, спина согнулась, глаза слезятся, и эти слезящиеся глаза днем и ночью горюют по нашей далекой махалле, по махалле, которую никто не знает и никто даже не представляет...

Внуки, правнуки тети Зибы разговаривают по-английски и не знают о прекрасном мешочке с жареными семечками, о прекрасном стакане, полном жареных семечек.

Но ведь я даже не знаю фамилии тети Зибы. Как же ее найти?

«Кто такая тетя Зиба?»

«Мама Гавриила...»

И все. Что еще я могу сказать?

И еще: «Она жила на одной из окраин далекого Баку...»

Война все не кончалась, и Джафар, и Адиль, и Абдулалли, и Годжа, и Джабраил, и Агарагим были на фронте, и Ибадулла, можно сказать, каждый день приходил в округу, и, можно сказать, каждый день крик тети Амины разносился по нашему тупику: «Что ты хочешь от меня, паршивец? Опять пришел? Когда только Бог приберет меня, чтобы избавилась я от тебя, негодяй?»

После того как рыжая кошка околела, я одно время — примерно неделю или десять дней — не видел Ибадуллы; я даже помню, что в течение этой недели или десяти дней мне иногда вспоминался Ибадулла, и я словно испытывал беспокойство, которое пытался скрыть от самого себя: что, интересно, случилось с Ибадуллой? Но прошла неделя или десять дней, и Ибадулла снова, дыша сивушным перегаром, стал ходить в наш тупик, стал приставать к тете Амине.

Женщины, девушки нашего тупика больше не собирались у дворовых ворот, не выглядывали из окон, не смотрели в сторону дома тети Амины, потому что каждой хватало своего горя, потому что, с тех пор как мы наслушались воплей в домах, куда приходили похорожки, крики тети Амины уже не произволили прежнего впечатления.

Однажды я сидел у наших дворовых ворот, выходящих в тупик; отец уже несколько месяцев был на фронте; в эти дни мама то и дело начинала разговаривать сама с собой, а я смотрел на наш безлюдный тупик, прислушивался к глухой тишине нашего тупика и чувствовал себя совершенно одиноким на всем свете, в груди моей билось совершенно безучастное сердце, я отчетливо слышал безучастное биеение своего сердца, и мне казалось, что это одиночество вечно, сердце всегда будет биться так же безучастно, и горькое спокойствие, и сиротливое безлюдье, и беспризорность нашего тупика тоже навсегда; и стук моего сердца был будто сердцем нашего тупика; без радости, без волнения оно все билось, билось...

Вдруг опять взвился крик тети Амины, но ее крик не то что никого больше не потрясал, напротив, крик тети Амины словно был неотделим от мертвенного спокойствия и безлюдья нашего тупика, был чем-то вроде его убогости, сиротства; потом так же внезапно крик тети Амины оборвался, тетя Амина больше не кричала, и мне показалось, окна, дворовые ворота вместе со мной какое-то время ждали, как обычно, нового вскрика тети Амины, а потом забыли и ее крик, и тетю Амину и замкнулись в своем жалком безразличии и убожестве; и сердце мое билось все так же — без радости, без волнения...

И тут ворота тети Амины со стуком распахнулись, Ибадулла вышел в тупик, и я в мертвенном спокойствии нашего тупика, вернее, в глухом безразличии нашего тупика услышал слова тети Амины: «Убирайся, сукин сын, убирайся, наконец избавилась я от тебя!.. Иди, сукин сын, иди, и черный камень тебе вслед!..»

Я в жизни не видел Ибадуллу таким; всегда налитые кровью, светлые глаза его сияли радостью победы, и блеск его глаз придавал даже какую-то красоту опаленному солнцем, смуглому лицу Ибадуллы, как будто и походка у него изменилась, шаг стал упругим, твердым; грудь выпя-

чена; он прошел мимо, сначала не обратив на меня внимания, потому что в тот момент, кажется, вообще ни на что не обращал внимания и был самым счастливым человеком на свете, вернее, самым победоносным человеком на свете; потом внезапно остановился, повернулся, торжественным шагом подошел прямо ко мне, сунув руку в карман, вытащил что-то завернутое в белую тряпку, развернул перед моими глазами маленький тряпичный сверток, дрожащими от волнения губами, брызжа слюной сквозь пожелтевшие от махорки, крупные редкие зубы, произнес:

— Ну, видали?! В конце концов отдала мое золотишко!.. Видали?!

В белой тряпичке была горсть золотых монет с изображением бородастого Николая.

— Теперь-то уже я... уехал. Ищите, найдете меня в Воронеже!.. Так вы и нашли!..

И все тем же торжественным и твердым шагом Ибадулла удалился. Я слышал крики тети Амины: «Иди, сукин сын, чтоб ты кровью харкал!.. Чтоб тебя трамваем перерезало, сукин сын, вместе с той б...», которую содержишь!»

Мне показалось, что в нашем печальном тупике разлилась лужа грязной воды.

Мне показалось, что и сама тетя Амина с головы до ног — в грязи. Ибадуллу я больше не видел.

Но однажды произошло событие, которого я никогда не забывал. В нашем тупике кто-то что-то кричал по-русски и плакал.

Разумеется, криком и плачем наш тупик, как и всю махаллу, удивить уже было нельзя, крик и плач в те годы стал так же естественным, как и сама печаль нашей махаллы, но люди тотчас почувствовали что-то необычное в этом крике и плаче, стали выглядывать из окон, собираться у дворовых ворот.

Женщина лет пятидесяти в черной одежде, черном платке, с покрасневшими и опухшими глазами, стоя в воротах двора тети Амины, говорила по-русски:

— Где Ибадулла? Он ведь как маленький ребенок! Пропадет он!

Она повторяла это и плакала.

Мгновенно по всему тупику распространилась весть, что эта женщина, говорящая по-русски, — та самая армянская жена Ибадуллы, и соседи прямо-таки ослептели, потому что серьезный вид этой женщины, лет на пятнадцать старше Ибадуллы, похожей на школьную учительницу, аккуратность ее черного платья, платка, русская речь и такой искренний плач не вязались с Ибадуллой и представлением об армянской жене Ибадуллы.

— Где он? Что вы с ним сделали? Ведь пропадет он без меня, как вы этого не понимаете? Где найти его, подскажите!.. — говорила она и плакала.

В один из осенних вечеров, сидя у двери, выходящей во двор, и глядя на пожелтевшие листочки ивы, ставшие красивым деревцем, я прислушивался к тишине двора; мне казалось, что тишина невидимыми глазами смотрит на меня, тишина знает, что я сейчас один, у меня никого нет, тишина стоит в засаде.

Мама пошла за хлебом, соседские ребята, наверное, собрались во дворе Желтой бани, но мне не хотелось к ним, мне не хотелось даже слушать свирель и рассказы Балакхирима; просто я сидел во дворе, смотрел на иву, ставшую деревцем толщиной в руку, смотрел на свисающие до земли ветки с уже совсем пожелтевшими листьями, и то, что листочки молоденькой ивы высохли и опали, как листья большого и старого тутовника, еще больше сжимало мне сердце; я привык уже к смерти мужчин, молодых и сильных парней нашей махаллы, привык к приходящим с фронта похоронкам, но теперь, когда я смотрел на желтеющие и осыпающиеся листья этой тоненькой, толщиной в руку, ивы, нашей ивы, на моих глазах ставшей деревцем, мне казалось, что умирают только-только начавшие ходить малыши... Потом вдруг мне показалось, что воцарившаяся у нас во дворе тишина смотрит на меня глазами Белого Верблюда; мне показалось, что в этой ТИШИНЕ, глядящей на меня глазами Белого Верблюда, есть какая-то враждебность, что-то злое — я испугался тишины нашего двора, нашего маленького, нашего красивого дворика с беседкой и бассейном.

Потом я увидел тетю Ханум — стоя на веранде, она смотрела на меня через окно, и как будто стекло было не обычным оконным стеклом, а прозрачной границей между тетей Ханум и нашим двором, вообще между тетей Ханум и всей нашей махаллей, землей, небом; и в этой границе был ледяной холод, ледяная гладь, прочность вечного льда; какое-то время мы вот так смотрели друг на друга, потом тетя Ханум жестом поманила меня, и я впервые в жизни испугался тети Ханум, сделал вид, что не понимаю ее, мне не хотелось оказаться лицом к лицу, остаться наедине с тетей Ханум, но тетя Ханум открыла окошко веранды (а прозрачная граница ледяной холодности, ледяной гладкости почему-то не исчезала) и позвала меня (голос ее доносился из-за прозрачной ледяной границы, и в голосе ее тоже была какая-то ледяная бездыханность, безжизненность):

— Иди сюда, Алекпер..

Поднявшись на ноги, я опустил голову и пошел, стал подниматься по ступенькам, ощущая одну за другой; каждый раз, когда я ставил ногу на ступеньку, доски, пересохшие за лето и засушливую осень, скрипели, и в этот осенний вечер скрип деревянных ступенек тоже говорил о холодной прозрачной границе между тетей Ханум и двором, и землей, и небом.

Я взошел на веранду, но головы не поднял, потому что не хотел смотреть на тетю Ханум, боялся увидеть в глазах тети Ханум что-то уж очень жалостное, боялся даже, что вдруг тетя Ханум, увидев наш двор таким одиноким, меня таким одиноким, заплачет, поймет, что у нас во дворе никого нет, я один, и никто не узнает, что она будет плакать. Я был го-

тов даже отказаться от хлеба, только бы мама вот сейчас вошла в наш двор, только бы я не видел, как плачет тетя Ханум, но тетя Ханум не заплакала, напротив, улыбнулась.

— Садись, Алекпер, — сказала она, — я тебе что-то подарю. — Прошла в комнату и вскоре вернулась с фотографией: — Смотри, Алекпер, правится тебе эта фотография?

Конечно, я хорошо помнил эту фотографию, и у нас дома была такая же, и мне очень нравилась эта фотография; еще до войны Годжа повел меня к фотографу Али, и мы снялись вместе.

У фотографа Али было четыре расписанных масляной краской листа картона величиной чуть ли не со стену: на одном из них двое вели самолет, и самолет этот летел над белоснежными облаками; на другом — богатырского сложения герой в каракулевой папахе, в черкесске, с кинжалом на поясе скакал на коне; на третьем — четверо, сидя на скамье среди деревьев, читали книги и на этих книгах (на русском языке) их названия: «Коварство и любовь», «Тамилла», «Несчастный миллионер, или Рзакулу бек Франгимааб», «Чапаев»; на последнем — три красавицы жарили у родника шашлык, и у всех, изображенных на этих картонах людей — летчиков, всадников, читателей, красавиц, — вместо голов были отверстия: желающие сфотографироваться выбирали один из картонов, свали головы в соответствующие отверстия и смотрели на четырехугольный, черный, как чемодан, аппарат фотографа Али. Фотограф Али сначала подходил, поворачивал просунутые в отверстия головы в одну сторону, в другую, немного отступив, пристально глядявался, потом снова подходил и наклонял голову желающего сфотографироваться то туда, то сюда; наконец находил единственно верное положение для этих голов и говорил: «Не шевелитесь! Не шевелитесь!», поспешно заходил за аппарат, совал на этот раз и свою голову под черную шаль: «Не шевелитесь! Не шевелитесь!» — и фотографировал.

Поскольку картон для двоих был только один, мы с Годжей сфотографировались в самолете; впереди сидел Годжа, Годжа вел самолет над белоснежными облаками, а я сидел сзади, летел в этом самолете.

В тот осенний вечер в тишине нашего двора я сидел лицом к лицу с тетей Ханум и, конечно, хорошо понимал, что тетя Ханум хочет хоть немного порадовать меня, хочет сделать для меня что-нибудь приятное, ибо сколько лет уже из нашего двора, с веранды тети Ханум не доносился запах кутабов (запах кутабов превратился в счастливое и печальное воспоминание прошлого), и теперь тетя Ханум хотела этой фотографией порадовать маленького Алекпера, потому что, когда тетя Ханум смотрела с веранды, она сквозь прозрачный ледяной слой разглядывала обездоленность, сиротство маленького Алекпера, когда этот маленький Алекпер сидел понурясь у своих дверей, боялся ТИШИНЫ во дворе; тетя Ханум сквозь прозрачный ледяной слой увидела страх в глазах ребенка.

Я конечно же не сказал тете Ханум, что у меня тоже есть такая фотокартонка; сидя напротив тети Ханум, я смотрел на фотографию и вдруг понял, что эта фотография уже не так привлекает меня, как прежде, ясно увидел фальшь самолета на этой фотографии, намалеванных

облаков, даже подумал, что надо бы порвать эту фотографию, потому что в пору таких бед, в пору похоронок полет этого фальшивого самолета над фальшивыми белоснежными облаками был мне противен; а тетя Ханум улыбалась и говорила:

— Вот видишь, Алекпер... Я дарю тебе на память эту фотографию... Только ты храни, Алекпер, эту карточку, это хорошая карточка, очень...

Я кивал головой, мол, да, верно, но на большее сил у меня не хватало, я не мог произнести ни слова, только кивал головой: мне не хотелось, отведя глаза от фотографии, взглянуть на тетю Ханум, потому что мне не нравилась улыбка тети Ханум; вернее, в улыбке на тонких губах тети Ханум было что-то такое, что мне не нравилось, и я не хотел, чтобы тетя Ханум так улыбалась, что мне не нравилось, и я не хотел, чтобы тетя Ханум была так тонкая, я хотел, чтобы тонкие губы тети Ханум были, как всегда, плотно сжаты, чтобы большие черные глаза тети Ханум, глядевшие из-под широких бровей, снова взглянули грозно, чтобы всегда чувствовалась суровость этих глаз.

Мне не хотелось смотреть и на письменный стол Годжи в дальнем конце веранды, потому что мне казалось, что те белые-белые большие человеческие кости все еще лежат на его столе, и я не хотел бы увидеть те человеческие кости; скоро наступит ночь, округа уснет, и я не хотел, чтобы ночью тетя Ханум осталась на пустой веранде наедине с белыми-белыми большими человеческими костями.

В ту ночь я не мог уснуть, все летел над белыми облаками; я не хотел садиться в самолет, не хотел летать, но все летел и отчетливо видел, что близна облаков подобна близне человеческих костей; на протяжении этого нескончаемого полета и меня, и самолет, и белоснежные облака сопровождала улыбка на тонких губах тети Ханум, и мне казалось, что ее улыбка, в сущности, возникла под взглядом больших черных глаз Белого Верблюда, и мы летели внутри этого взгляда, внутри улыбки, родившейся из этого взгляда.

Днем, когда я вернулся из школы, мама сказала:

— Сними-ка брюки, дай мне. Постираю.

Брюки, которые я надевал в школу, были грязные, но вечно не хватало мыла, мама не могла постирать их так, чтобы они высохли до утра и я в чистых брюках пошел в школу, однако в этот день дядя принес нам кусок гилаба — пенящейся глины (дядя мой был одноглазым, как кларнетист Алекпер, его не взяли на фронт, и время от времени он навещал нас), и мама решила не выменивать гилаб на что-либо, не трогать его на мытье в бане, а выстирать мне брюки.

В этот осенний день мама, взбивая пену гилаба, стирала под краном у нас во дворе мои брюки и вдруг оставила стирку, выпрямилась, взглянула в сторону веранды тети Ханум и, ни к кому не обращаясь, сказала:

— Почему эта женщина не показывается сегодня? — Потом как обычно вздохнула, покачала головой. — Бедняга... Хотя бы поговорила, заплакала, облегчила сердце, так нет, все горе в себе таит... — сказала она. — Да покарает Бог виновника, как и карает! (Все знали, что конец Гитлера близок, и мама часто повторяла: «Да сохранит Бог тень Сталина над нами, мало уже осталось до конца этого сводника Гитлера!..

Да заберет Азраил виновника, как и забирает!..) — Потом мама сказала мне: — Алекпер, походи посмотри, что там эта женщина делает?

Я, как вчера, с опущенной головой, скрипя ступеньками, поднялся на веранду. Тетя Ханум, сидя на тахте, что стояла на веранде, прислонилась плечом к стенке и спала с закрытыми глазами. Я воровато взглянул на письменный стол в углу веранды: нет, на письменном столе ничего не было. Чтобы не разбудить тетю Ханум, я тихонько сошел с веранды и сказал маме, что тетя Ханум спит. Мама опять покачала головой, опять вздохнула и опять сказала:

— Бедняга...

Мама выстирала брюки, повесила на веревку, брюки быстро высохли под еще горячим осенним солнцем, и, когда после полудня мама вышла во двор снять с веревки мои брюки, она снова посмотрела в сторону веранды Ханум-хала.

— Ой, ну что же эта женщина не показывается? — сказала она. — Алекпер, ай Алекпер, походи взгляни, детка, что делает с утра эта женщина одна в доме...

Я опять опустил голову, опять, скрипя ступеньками, поднялся на веранду. Тети Ханум, как и прежде, спала, и я опять тихонько спустился во двор, сказал маме, что тетя Ханум спит. Мамино лицо выразило тревогу.

— Да разве можно столько спать? — вскрикнула она, ее тревога передалась и мне, и я тоже, подняв голову, посмотрел на веранду Ханум-хала.

Мама дала мне брюки, вытирая руки о фартук, который всегда надевала днем, посмотрела на меня, потом, скрипя деревянными ступеньками, поднялась на веранду тети Ханум. Я чувствовал волнение маминого сердца, мое сердце тоже сильно забилося, мама вошла на веранду, прошла долгая минута, вдруг мама громко закричала, и, как только я услышал мамин крик, я бросил брюки на землю, выбежал, плача, в тупик и закричал:

— Тетя Ханум умерла!..

Я не слышал ничего, кроме собственного голоса, и мой собственный голос доносился до меня как чужой, издали, и я ничего не видел, ни о чем не думал, плакал и кричал:

— Тетя Ханум умерла!.. Тетя Ханум умерла!..

В тот вечер вся махалля была у нас во дворе, у нас в тупике.

Когда в махаллю приходила похоронка, в домах, во дворах начинались вопли, женщины плакали и рвали на себе волосы, но в тот вечер у нас во дворе, у нас в тупике никто не плакал, все молчали, никто не произносил ни слова, и эта тишина была намного горше плача; в тот вечер и вся наша улица была в таком же глубоком молчании, и в этом молчании улицы ощущалась черная траурная тяжесть.

В тот вечер Балакерим тоже, сидя на тротуаре под раздвоенным тутовым деревом, какое-то время молчал, потом, глядя в сторону нашего тупика, сказал:

— Она не виновата... Белый Верблюд лег у ее двери...

Наутро молла Асадулла выступал впереди, и, поскольку у нас в махалле, можно сказать, не осталось мужчин, большая толпа женщин и

детей — вся наша махалля — проводили тетю Ханум на кладбище, и на кладбище, глядя на наших соседей, я представлял себе, что в эти минуты оставшиеся совсем пустыми наша улица, наш тупик, наш двор, оставшиеся теперь совсем пустыми, без людей, все дома махалли, окна, двери, стены, лестницы, бульжники, которыми была вымощена наша улица, раздвоенное тутовое дерево плачут в полной тишине, и шапочник дядя Абульфат и тетя Фатъма тоже были на кладбище, и мне показало, что теперь и Адиля откуда-то смотрит, и Адиля, как наша опустевшая махалля, в полном молчании оплакивает смерть тети Ханум.

После того как тетю Ханум закопали, люди разошлись, мама ушла с женщинами, а я не двинулся с места, потому что я знал, я был уверен, что Балакерим останется на кладбище, будет сидеть там один и играть на свирели, и я хотел в тот осенний день похорон тети Ханум послушать свирель Балакерима; мне казалось, что, если я не услышу голос свирели, я больше никогда не смогу войти в наш двор, больше никогда не смогу поднять голову и взглянуть на веранду у нас во дворе; Балакерим действительно остался на кладбище, немного постоял, сел на землю около старого могильного камня напротив могилы, где была похоронена тетя Ханум, вынул свирель из кармана своего желтого пиджака, и в тот жаркий, как летом, осенний день заиграл на старом кладбище самую печальную мелодию на свете.

XXXXII

Балакерим по-прежнему поденничал в окрестных домах, оставшихся без мужчин; таскал воду, колол дрова, где-то находил гвозди, строительный камень и, как умел, ремонтировал, подправлял обветшалые стены (во всяком случае, мама больше не называла Балакерима «подмастерьем дьявола»), а по вечерам, усевшись под раздвоенным тутовым деревом или же во дворе Желтой бани, вынимал из кармана свирель и начинал выводить свои мелодии; потом, произнеся:

Внутри бани черт-те что,
Внутри соломы решето,
Верблюд бороду побреет,
Бани бедного согрет...

рассказывал истории о Белом Верблюде, и в этих историях сквозила печаль, как в цвете его жалкого пиджака.

Балакерима на войну не взяли, и среди ребят ходил слух, будто Белый Верблюд не позволяет забрать Балакерима на войну; правда, я уже вырос, я уже понимал, что таких, как Балакерим, на войну не берут, но слух о Белом Верблюде придавал в моих глазах правдивость историям Балакерима (и даже значение и вес самому Балакериму!), и я верил в эти истории еще больше, чем прежде, эти истории производили на меня еще большее впечатление, и в мелодиях свирели Балакерима было как будто еще больше волшебства.

Нашу махаллю, конечно, уже ничем невозможно было удивить, и не только потому, что махалля все повидала, а прежде всего потому, что

махалля каждый час, каждый день своей жизни со страхом ждала возможного прихода с фронта сообщения о чьей-то гибели, каждый час, каждый день в тревоге ждала вести о чьем-то тяжком ранении и поэтому к другим вестям, к другим событиям была равнодушна, но однажды в нашей махалле произошло такое событие, что все от мала до велика были потрясены: Шовкет вышла замуж за Балакерима и привела Балакерима к себе.

Говорили, что ночью Шовкет вытащила Балакерима из птичника во дворе Желтой бани, силком привела к себе в дом, нагрела воду, выкупала, как ребенка, накормила, напоила, и никогда в жизни не знавший женщины Балакерим в ту ночь, глядя на Шовкет глазами, полными благодарности, нежности, преданности, громко заплакал, и Шовкет тоже, прижав голову Балакерима к своей груди, громко плакала.

После этого мы больше не собирались вокруг Балакерима: Балакерим больше не приходил и не сидел под раздвоенным тутовником или во дворе Желтой бани, не играл на своей прекрасной свирели, вынул ее из кармана желтого пиджака, не рассказывал истории о Белом Верблюде; можно сказать, он весь день бывал дома, то есть в доме Шовкет, рассказывал эти истории уже только Шовкет и на нашей любимой, прекрасной свирели играл уже только для Шовкет; лишь иногда, когда слышался слабый звук нашей любимицы, нашей прекрасной свирели, мы подходили, садились на тротуаре под плотно закрытым, занавешенным окном Шовкет и слушали звуки свирели, которая еще недавно звучала для нас.

Однажды я столкнулся с Балакеримом на улице лицом к лицу и сначала подумал, что это не Балакерим, а очень похожий на Балакерима человек; желтого пиджака на Балакериме не было, вместо него был надет новый синий пиджак, и шел Балакерим, воровато оглядываясь по сторонам, как будто из-за этого нового синего пиджака стеснялся нашей улицы, стен, дверей, окон одноэтажных и двухэтажных зданий махалля, стеснялся Желтой бани, раздвоенного тутового дерева...

Глядя на Балакерима, мне вдруг захотелось, чтобы Балакерим снова стал «подмастерьем дьявола», чтобы мама опять его так называла и улыбалась (улыбалась как до войны)...

Мне казалось, что его женитьба была своего рода изменой нашей махалле, мне казалось, что с внезапным исчезновением Балакерима с нашей улицы стали еще горше сиротливостью и обездоленностью улицы, тупика, дворов — всей нашей махалли, но я не злился ни на Балакерима, ни на Шовкет, отобравшую у нас Балакерима, напротив, где-то в глубине души я радовался и за Балакерима, и за Шовкет, которая не жила больше одна, по вечерам, пока не спит сон, слушала истории Балакерима, ложилась и вставала вместе с ухаживаемым и вымытым Балакеримом, и, в сущности, вся махалля, даже женщины, всегда прежде чернившие Шовкет (а в эти дни многие из них стали вдовами), радовались и за Балакерима, и за Шовкет... Но наряду с радостью в душе моей таилось и какое-то беспокойство (а может быть, это была тайная надежда?), что однажды Балакерим снимет и выбросит новый синий пиджак, наденет прежний прекрасный желтый пиджак, вернется на нашу улицу, во двор нашей Желтой бани, под раздвоенное туговое дерево.

XXXXIII

В декабре 1944 года с фронта пришла похоронка на моего отца, дядя продал наш дом, забрал меня и маму и увез к себе. Мы переехали из нашего квартала.

XXXXIV

Их было шестеро.

Все шестеро вернулись с войны живыми и здоровыми. У меня перед глазами опять были серьезные лица Джафара, Адыля, Абдулалы, Годжи, Джебрайла, Агарагима. День был серый, моросило, они в немом молчании стояли, выпрямившись, глядя на мраморный могильный камень, и сила, мужественность и в то же время почтительность, преданность в их взглядах как будто несли в этот вечер — дождливый сентябрьский вечер — какое-то тепло и радость жизни в мой рабочий кабинет.

В сентябре все время лил дождь и все время я оставался лицом к лицу с шестерыми, смотрел на них, читал их взгляды, и эти взгляды, эта приятная осанка день за днем несли тепло не только в мой рабочий кабинет, но, наверно, и в душу, в мою каждодневную жизнь, и в этом чувстве была чистота, прозрачность, вернее, мне казалось, что оно очищает другие мои чувства, вносит чистоту и в мои раздумья, стремления.

Я сидел дома в своем рабочем кабинете в мягком кресле, откинувшись на спинку и вытянув ноги на паркетном полу, прислушивался к шуму дождя, бьющего в окна, выходящие на балкон, и лица шестерых стояли перед моими глазами (конечно, я и сам хотел, чтобы лица этих шестерых стояли перед моими глазами); я не вызывал их в своем воображении по одному — все шестеро вместе были у меня перед глазами.

Я увидел Джафара, Адыля, Абдулалы, Годжу, Джебрайла, Агарагима с неделю назад в тот серый день, под моросящим дождем, стоявшими перед черным мраморным могильным камнем, и все это время (весь сентябрь, когда дождь все лил и лил) маленький Алекпер был вместе со мной, вернее, чувства и раздумья маленького Алекпера, чистота маленького Алекпера были вместе со мной; его чувства, его раздумья, его чистота были чем-то вроде бальзама.

Мне не хотелось вставать, идти в спальню, не хотелось раздеваться, ложиться в постель, засыпать, — мне хотелось вот так сидеть и чтобы дождь все так же лил; в эту полночь под шум дождя мне открылось, что, оказывается, мое самое любимое время года — осень и самый прекрасный звук на свете для меня — шум дождя, и, слушая этот любимый звук, я начал задремывать; конечно, если бы я захотел, то не задремал бы, выпил бы чая, умылся и остался бы с теми шестерыми, что стояли у меня перед глазами (как было всю неделю), но в эту полночь, в мягком кресле дремота обволакивала меня, и я не оказывал сопротивления, напротив, поддался ей, потому что мое сердце чувствовало: дрема в эту сентябрьскую ночь, когда журчит дождь, что-то мне скажет...

...что-то покажет...

...не знаю...

...не знаю, все это был сон или игра воображения?

...но, во всяком случае, я все это видел...

...караван состоял только из Белых Верблюдов...

...один... три... пять... шесть...

В караване было шесть верблюдов, и у каждого верблюда был свой погонщик, каждый шел впереди своего верблюда, и я отчетливо видел, что погонщики — один за другим — похожи на Джафара, Адыля, Абдуллы, Годжу, Джебраила, Агарагима...

Нет, нет, никто из погонщиков не был Джафаром, Адылем, не был Абдуллой, Годжой, Джебраилом, Агарагимом, это-то я знал...

... но очень были на них похожи...

... на спинах верблюдов были большие хурджины, и, конечно, эти прекрасные хурджины были шерстяными, но в то же время эти прекрасные хурджины были похожи на большие соломенные корзины, и я знал, что от них доносился едва различимый вагонный запах...

...себя я не видел, но я тоже был где-то рядом с караваном: может быть, сопровождал караван, не знаю, и я спросил у каравана (а может, спросил не я, а какой-то другой человек, или даже вовсе не человек, а сам караванный путь, тянущийся вдоль ярко-зеленой равнины под солнцем, или глядящие издали лесистые горы со снежными вершинами?):

...куда лежит твой путь?

...караван ответил (не погонщики, не Белые Верблюды, а именно весь караван):

...в Грядущее идем!..

...зачем я или кто-то еще (либо тянущийся караванный путь, либо лесистые горы со снежными вершинами) задали этот вопрос? Я же с самого начала знал, куда идет: этот караван, знал, что этот караван идет в Грядущее, да, я знал это и все-таки обрадовался ответу каравана, потому что, в сущности, радовался не я, вернее, радовался я, но я радовался за того ребенка, живущего теперь на третьем этаже большого многоэтажного дома, который, завидев меня, с плачем убежал с уличного балкона в комнату...

...теперь ребенок радовался, теперь ребенок смеялся и провожал караван...

...нет...

...нет...

...этот ребенок стоял в Грядущем и встречал караван, видимый из Грядущего,

...а провожали его большие черные глаза, глядевшие из-под широких бровей...

...провожали Белых Верблюдов в Грядущее.

1984

1. В будущем

Вечером в Баку, со стороны Каспия, дул легкий весенний ветерок, и этот вечерний апрельский ветерок заставлял едва различимо шелестеть свежие листочки хартуга, инжира, черешен во дворе управления на кладбище Тюлюк Гельди¹. Шелест распространялся по двору и как будто вносил некую интимность во временное затишье, в безлюдье большого двора.

Конечно, Гиджбасар² слышал шелест листьев, но не смотрел на деревья. С крыши будки (не своей, а караульщика Афлатуна), подобрав под себя задние лапы, вытянув передние, он смотрел в направлении легкого весеннего ветерка — в сторону моря, начинающего под вечер темнеть вдаль.

С будки караульщика Афлатуна был виден весь Баку (кладбище Тюлюк Гельди находилось в нагорной части города), а когда настанет ночь, когда зажгутся огни в видимых сейчас домах, на улицах, на приморском бульваре, когда облик Баку будет самым большим чудом света, превратится в неведомый мир, полный тайн, — тогда снова Гиджбасар с будки караульщика Афлатуна, вот так усевшись, будет, не отводя глаз, смотреть на неведомый, полный тайн, мир, будет смотреть, пока огни не погаснут один за другим, будет смотреть, не обращая внимания на приезжающие и уезжающие из управления кладбища машины, входящие и выходящие, мечущиеся туда-сюда людей, будет вглядываться в далекие и неведомые здания, в улицы города, стараясь если не почувствовать, то угадать запах тамошних людей и собак.

Все последние ночи он проводил так.

Но сегодня взобрался на крышу рано. Возможно, до ночи так здесь и останется, а может быть, еще слезет, побродит, покружится, к ночи поднимется снова. Во всяком случае, этот вечер как-то не походил на прежние, в этот вечер Гиджбасар был особенно неспокоен. Правда, он не сводил с города глаз, ни на что другое внимания не обращал, но время от времени вздрагивал, как будто думал о чем-то, и эти мысли заставляли его вздрагивать.

На кладбище Тюлюк Гельди никто на Гиджбасара внимания не обращал. Между тем думающий и понимающий человек, если бы такой оказался рядом, мог бы увидеть, что с сомнением что-то случилось, что он

¹Тюлюк Гельди — кладбище «Пришла лиса».

²Гиджбасар — Дурачок.

больше не тот пес, который прежде слонялся по двору, да и вообще в последнее время он редко попадает на глаза; если бы был рядом кто-то из людей думающих (и понимающих!), он увидел бы, что в черных и всегда печальных глазах пса будто появилось некое новое выражение — и оно свидетельствует о том, как найти еду и уберечься от пшиков, как в холод найти теплое место, а в зной прохладное, — далеко не единственные его заботы.

Вся жизнь Гиджбасара прошла на кладбище Тюлюкю Гельди. Как судьба забросила его сюда? Никто этого не знал, и, естественно, никто над этим не задумывался, по первым человеком, который увидел Гиджбасара во дворе управления кладбища, был Абдул Гафарзаде.

Тогда — в очень и очень далкое для Гиджбасара время — было дождливое сентябрьское утро, но в ту осеннюю морось в уявляющей желтизне деревьев на кладбище Тюлюкю Гельди не было и следа грусти, печали, безнадежности, конца жизни, как будто, наоборот, та осенняя морось смыла и унесла и грусть, и печаль, и безнадежность конца, и когда мелкий дождичек касался лица Абдула Гафарзаде, внутри него разливалась беззаботность, оптимизм, он чувствовал себя здоровым, бодрым и хотел сделать что-то хорошее, порадовать кого-то, кому-то принести пользу (причем неожиданную пользу!). В такие моменты Абдул Гафарзаде забывал все дурные дела мира, свои и чужие плохие поступки, фальшивые игры, лицемерие, двуличие, распушенность — всё (по крайней мере, ему так казалось...), и как будто все внутри этого человека, все его мысли (думы тоже) становились абсолютно чистыми, прозрачными, как осенний дождичек.

В то дождливое сентябрьское утро Абдул Гафарзаде, полный оптимизма и благожелательности, соединив по обыкновению руки за спиной и подняв лицо, еще больше выпятил свою широкую грудь и посмотрел на абсолютно серое осеннее небо. Чистая морось сыпалась на стекла его очков, и даже просто смотреть на мир сквозь стекла в мелких капелках в тот момент было приятно Абдулу Гафарзаде. И даже когда он, входя во двор управления через калитку в железных воротах кладбища Тюлюкю Гельди, увидел караульщика Афлатуна, этого маленького худого человека, чье лицо обгорело и потемнело за долгие годы под солнцем, в пыли и земле, чьи маленькие зеленые глазки постоянно бегали в тревоге, — даже караульщик Афлатун и тот показался Абдулу Гафарзаде прекрасным существом, безупречным рабом этого мира; правда, Абдулу Гафарзаде и самому почти сразу стало смешно от этого наивного впечатления, связанного с караульщиком Афлатуном, но в любом случае жизнь была прекрасна, и Абдул Гафарзаде был одним из хозяев этой прекрасной жизни.

Как только караульщик Афлатун сквозь маленькое окошко будки увидел Абдула Гафарзаде, он тотчас выскочил наружу, чтобы подойти к нему как можно скорее; караульщик Афлатун так изучил Абдула Гафарзаде, что, едва увидев издали его силуэт, инстинктивно чувствовал, хорошее у него настроение или он расстроен; если у директора бывало дурное настроение, караульщик Афлатун старался еще на расстоянии продемонстрировать свое уважение, почтение, поклонение, но когда директор был в прекрасном настроении (а это означало, что

караульщик Афлатун мог сорвать дополнительные деньги, неожиданно получить добавочные льготы), он спешил спросить, как дела, старался повернуть разговор на Хыдыра, желал Хыдыру царствие небесное, слегка всплакнув и опустив глаза, выражал тысячи сожалений, что Хыдыр не увидел такое прекрасное время. Караульщик Афлатун не упускал возможности вкусить материальные плоды от прекрасного настроения Абдула Гафарзаде, хотя, кажется, настроение нематериально.

И в то осеннее утро, конечно, было бы так, но откуда-то появившийся маленький щенок, пища как воробышек, запутался в ногах караульщика Афлатуна, чуть не остался навсегда у него под ногами, и караульщик Афлатун отбросил маленького щенка в сторону, чтобы не упустить случай в то прекрасное осеннее утро добраться до своей очередной цели. Щенок с вымокшей под дождем коричнево-черной шерстью после соприкосновения с ногой караульщика Афлатуна тоненько заверещал, и Абдул Гафарзаде недовольно покачал головой. Караульщик Афлатун, конечно, тотчас почувствовал это недовольство и остановился, еще раз взглянув на щенка. Но что делать — не знал.

Абдул Гафарзаде сказал:

— Возьми его, принеси сюда...

Караульщик Афлатун тотчас осторожно, как самое любимое существо на свете, взяв на руки щенка и побежал к директору. Откуда на кладбище Тюлюкю Гельди явился щенок с прилипшей к маленькому телу коричнево-черной шерстью? На территории кладбища не было собак, да и вообще Абдул Гафарзаде считал, что не должно быть кошек и собак на кладбище, и поскольку и Мирзаби, и Василий, и Агакерим знали это, они охраняли кладбище Тюлюкю Гельди от собак и кошек.

Но щенок смотрел на Абдула Гафарзаде из рук Афлатуна доверчиво, с надеждой, потому что он ничего не знал о делах мира, куда пришел только что, и щенок караульщика Афлатуна был, наверное, первым пинком, полученным в его жизни. Щенок пришел в мир с верой и надеждой, но мир не считался ни с надеждой, ни с верой, и Абдул Гафарзаде, глядя на щенка, думал: что ждет впереди это маленькое существо? Сколько он вынесет пинков? Вскоре от его веры и надежды и следа не останется (Абдул Гафарзаде был убежден в этом!)... И почему так должно быть? Раз мир не готов жалеть и любить щенка, зачем же тогда природа его создавала? Чтобы он переносил пинки, а потом подох с голоду? Ну и что! Ну и для чего тогда ему продолжать свой род? Какой смысл в этом продолжающемся роде?

Абдул Гафарзаде иногда погружался в подобную философию.

Тем временем щенок, вырываясь из рук караульщика Афлатуна, стремился перелезть на руки к Абдулу Гафарзаде, будто понял, кто есть кто на кладбище Тюлюкю Гельди и вообще в этом мире. Абдул Гафарзаде, вынув платок из кармана черного пальто, протер очки, внимательно посмотрел на щенка, потом взял его у караульщика Афлатуна, большими ладонями погладил его округлую шерсть; этот человек впервые за всю свою жизнь брал на руки собаку, впервые гладил собаку; и щенок в то студеное осеннее утро впервые за несколько дней своей жизни по-

чувствовать тепло человеческих рук (больших рук!), что не ускользнуло от всевидящих серых глаз Абдула Гафарзаде. Возвращая щенка караульщику Афлатуну, он сказал:

— Держи его при себе!.. — И крупнокостным длинным пальцем показал на будку караульщика. — Пожалуйста! — И еще прибавил: — Хорошо смотри за ним!

Потом Абдул Гафарзаде еще поглядел щенка, улыбнулся и направился к двухэтажному зданию управления кладбища.

Караульщик Афлатун, искренне сокрушаясь, подумал, что на этот раз от хорошего настроения Абдула Гафарзаде выиграл не он, а этот маленький сукин сын, и когда Абдул Гафарзаде вышел в здание, караульщику Афлатуну захотелось со злости швырнуть щенка на асфальт, но, конечно, он тотчас же взял себя в руки: раз такой человек поручил ему щенка, то долг караульщика Афлатуна ревностно служить щенку — Абдул Гафарзаде был не из тех, кто забывает свои поручения, что караульщику Афлатуну было хорошо известно.

С тех пор щенок стал жить вместе с караульщиком Афлатуном в его будке на кладбище Тюлюк Гельди, с того самого дождливого осеннего утра караульщик Афлатун каждый день приносил щенку коробку молока, покупал колбасу, сосиски, даже иногда пирожные покупал и скармливал щенку при работниках управления кладбища. Все видели: караульщик Афлатун дает щенку лучшие продукты и прекрасно обслуживает его. Значит, он достоин поручений такого человека, как Абдул Гафарзаде.

Караульщик Афлатун каждое утро, взяв щенка на руки, вставал рядом с будкой и ждал, когда Абдул Гафарзаде сойдет с автобуса и войдет на кладбище Тюлюк Гельди. И каждое утро Абдул Гафарзаде улыбался щенку, а иногда даже останавливался у ворот и ждал, пока караульщик Афлатун с щенком на руках подбежит торопливо, и, глядя щенка, Абдул Гафарзаде говорил:

— Маладес!

Караульщик Афлатун слово «маладес», сказанное щенку, принимал и на свой счет и в такие моменты становился самым счастливым человеком на свете, вернее, старался показаться Абдулу Гафарзаде самым счастливым человеком на свете. На самом-то деле жить вместе с собакой в тесной будке, обслуживать ее, каждый день рано утром брать пса на руки и ждаться прихода директора караульщику Афлатуну так надоедо, что в душе он был первым врагом щенка, но и наедине со щенком, даже разозлясь на него среди ночи, караульщик Афлатун не смел побить или хотя бы помучить щенка: на кладбище Тюлюк Гельди и ограда, и ворота, и асфальт имели уши и любая весть мгновенно могла достигнуть ушей Абдула Гафарзаде.

Щенок воспитанию не поддавался... Караульщик Афлатун каждый день и утром, и вечером выводил его гулять во двор, но он, сукин сын, во дворе ничего не совершал, как ни старался караульщик Афлатун, как ни уговаривал его самыми ласковыми словами. Во дворе ничего не выходило, а как только они возвращались в будку, щенок пакостил, и в эти моменты караульщик Афлатун, убирая — хорошо если с пола, а то и с кровати — собачьи нечистоты, собачью мочу, думал, что на этом

свете лучше быть обласканным Абдулом Гафарзаде щенком, чем Афлатуном.

Ругая про себя щенка самыми плохими уличными ругательствами, он чистил, мыл будку, оставлял маленькую дырку открытой, чтобы воздух сменялся, чтобы запах исчез, но запах день ото дня усиливался, и когда, бывало, кто-нибудь входил в будку караульщика Афлатуна, казалось, что он входил в собачью уборную.

Каждую ночь, когда такси останавливались у ворот кладбища Тюлюк Гельди, караульщик Афлатун бегал туда-сюда за водкой, встречал, провожал картежников и в будке, вынимая из кармана заработанные рубли, трешки, пятерки, сортировал их, распределял по паям общине деньги (десятки, двадцатипятирублевки, пятидесятирублевки, даже сторублевки!). Щенок как безумный бесился, лаял, и к этому щенячьему лаю в такие бойкие и ответственные периоды ночной жизни караульщик Афлатун был не в силах привыкнуть, каждый раз у караульщика Афлатуна колотилось сердце, он волновался, он беспокоился: дело не в том, что караульщик Афлатун чего-нибудь, кого-нибудь боялся, — нет (да и странно было бы бояться: у кладбища Тюлюк Гельди был такой хозяин, как Абдул Гафарзаде, и еще большой вопрос, кто могущественнее на свете — Брежнев или Абдул Гафарзаде), дело было в том, что все эти будочные операции требовали уединения, отсутствия свидетелей; ночные расчеты касались только караульщика Афлатуна, были частью жизни только этого человека, причем прекрасной частью, и караульщик Афлатун за годы привык к ней, а щенячий лай осквернял прекрасные миги, и это было сплошное расстройство.

Поглощая молоко, колбасу, сосиски, пирожные, щенок рос на глазах, да еще знающие о высоком покровителе щенка работники управления кладбища несли ему конфеты, мармелад, импортные печенье. Все свидетельствовало о том, что щенка на кладбище Тюлюк Гельди ждет судьба самого счастливого пса на свете. Так продолжалось больше трех месяцев, потом, шесть лет назад, в декабре, холодном и дождливом, внезапно скончался молодой и здоровый сын директора — спортсмен...

Когда караульщик Афлатун вспоминал тот погребальный обряд, слова, сказанные Абдулом Гафарзаде на том погребальном обряде, у него волосы вставали дыбом. Во время того погребального обряда Абдул Гафарзаде вдруг увидел стоящего в толпе (была огромная траурная демонстрация, будто умер кто-то из руководителей!) караульщика Афлатуна и внезапно закричал: «Эй, Афлатун, пойдешь возвести, э-э-э!». Скажи, со мной случилось то, что предсказывали враги!..» И караульщик Афлатун, хоть по природе не слишком бурлил чувствами и переживаниями, хоть был свидетелем многих страданий, многих мучений на свете, хоть своими маленькими зелеными глазками не раз провозжал обреченные судьбы и видел немало внезапно оборвавшихся жизненных путей (и сам дома рушил!), — но до сих пор никогда не видел человека с таким лицом, с таким взглядом (и наверное, до конца жизни не увидит!)... Будто глядевший на караульщика Афлатуна серыми глазами из-за стекла, выкрикнувший те слова был не человек, а сам ужас, сама горе, сама скорбь.

После похорон Абдул Гафарзаде некоторое время не приходил на работу, но наконец настал день, когда он впервые после смерти сына вошел в калитку кладбища Тюлюк Гельди. Караульщик Афлатун, схватив на руки щенка, поспешил к нему навстречу, но на этот раз Абдул Гафарзаде на щенка даже не взглянул, а серыми глазами из-за очков посмотрел прямо в глаза караульщика Афлатуну, и караульщик Афлатун, которого прошёл холодный пот под этим взглядом, понял, что ошибка: щенка, оказывается, больше не надо было выносить на обозрение.

И возникла очень непонятная ситуация, приведшая Афлатуна своей непонятностью в растерянность: караульщик Афлатун не знал, что теперь делать: по-прежнему лелеять щенка или прогнать? Как быть? Пойти и спросить у самого Абдула Гафарзаде, разумеется, было нельзя... Караульщик Афлатун посоветовался было с Мирзаиби, Василием, Агакеримом, но и Мирзаиби, и Василий, и Агакерим пожалы плечами, ни один не захотел вмешиваться в это дело, потому что если в деле, связанном с Абдулом Гафарзаде, была какая-то неизвестность, лучше было не вмешиваться.

Караульщик Афлатун перестал по утрам выходить со щенком на руках навстречу Абдулу Гафарзаде, и Абдул Гафарзаде тоже больше не интересовался щенком. Даже один-два раза щенков сам, увидев во дворе Абдула Гафарзаде, принюхивался следом за ним, но директор не обращал на него внимания. Кто может вынести такой удар, как внезапная смерть молодого, здорового сына-спортсмена? Абдул Гафарзаде получил этот удар — и теперь, взяв себя в руки, каждый день приходил на работу. Само по себе это было героизмом в глазах караульщика Афлатуна.

И так проходили дни...

Караульщик Афлатун больше не приносил щенку молоко, колбасу, сосиски. Он теперь кидал псу свои объедки, когда сердился, пинал его ногой, так трепал за уши, что тот визжал, и в холод, дождь и снег, надев веревку на шею, привязывал к акации на другом конце двора и, пока щенок не опорожнял желудок, в будку не приводил. И работники управления кладбища больше не угощали щенка конфетами, мармеладом, печеньем. Они ведь уже знали, что Абдул Гафарзаде не уделяет больше внимания этому щенку (традиция была устойчивая: от их взгляда не ускользала ни одна, ни малейшая подробность отношения директора к внешнему миру). Пора, когда щенка баловали, прошла. Но, во всяком случае, щенок все еще жил в будке и все еще имел еду, питье, тепло.

Но вот настал день, когда караульщик Афлатун никак не смог сдержаться и, ударив пинком в бок, прогнал щенка из будки.

Вечер только наступил, похоронные обряды на кладбище Тюлюк Гельди закончились, работники управления кладбища ушли, а здешняя ночная жизнь еще не началась. Во всем дворе не было никого. Ветер дул с такой скоростью, так гикал, что, глядя через маленькое окошко будки во двор, караульщик Афлатун подумал: в такую погоду клиентов будет мало (дождь клиентов не пугал, напротив, увеличивал их число, а вот ветер, наоборот, уменьшал). Мало клиентов — мало доходов,

а когда доходов мало, заботы растут... Сын караульщика Афлатуна Колхоз с нетерпением ждал общанные отцом «Жигули».

Глядя во двор и ворча на ветер, караульщик Афлатун увидел уборщицу Настю, выходящую из управления кладбища. Уборщица Настя всегда уходила с работы последней.

Этой полной женщине (полной, но не рыхлой!) было уже за пятьдесят, но она была еще в соку: муж-алкоголик умер, дочка вышла замуж за азербайджанца — торговца цветами, пересекла в Москву, сына забрали в армию, и он теперь сражался с душманами в Афганистане, — все эти подробности караульщик Афлатун хорошо знал. Когда в такие ветрено-дождливые, снежно-буранные зимние ночи клиентов на кладбище Тюлюк Гельди бывало мало и караульщик Афлатун, завернувшись в оставшуюся еще до войны шубу, укладывался на железную кровать, с трудом втиснувшись в будку, ему, человеку хилому и тицедушному, вдруг вспоминалась уборщица Настя. Караульщик Афлатун будто видел большой зад женщины, две половинки которого, когда она шла, выпячивались даже через толстое зимнее пальто, играли по отдельности, он воображал себе большие груди с глубокой ложбинкой, видной в вырезах платья, когда она, наклоняясь, подметала и мыла полы в управлении кладбища... В такие минуты, несмотря на большие деньги, зарабатываемые на кладбище Тюлюк Гельди, на особую милость, оказываемую ему таким человеком, как Абдул Гафарзаде, на возможность через очень короткое время купить машину Колхозу, сердце караульщика Афлатуна охватывала грусть... Что говорить, хоть и на старости лет, а судьба ему улыбнулась, свела с таким гигантом, как Абдул Гафарзаде. И благосостояние себе он, караульщик Афлатун, заработал. Но ведь и то правда, что все-таки жизнь, повертев-покрутив его на пальце, в конце концов сделала обыкновенным караульщиком. (А ведь мог бы он быть и управляющим, например, просвещением, культурой, даже секретарем райкома он вполне мог бы быть!) Жизнь сделала его маленьким человеком, и теперь у караульщика Афлатуна не было возможности никому ничего приказать, хотя бы вот уборщице Насте...

В тот вечер караульщик Афлатун, глядя в маленькое окошко своей будки на заметные даже под синим пальто полные икры уборщицы Насти, идущей навстречу ветру, сглотнул, а потом, выйдя из будки, встал перед воротами и, когда уборщица Настя поравнялась с ним и хотела пройти мимо, спросил по-русски:

— Домой идешь?

— А куда ж еще? — Уборщица Настя отвернула лицо от ветра.

— Кто дома? Адна дома, да! — Караульщик Афлатун опять сглотнул.

— А что делать? Судьба такая!

— Идем туда... — Караульщик Афлатун показал рукой на будку.

Уборщица Настя, как видно, не ожидала подобного предложения в тот ветренный вечер и с откровенным любопытством взглянула на хилого, меньше нее ростом, караульщика Афлатуна, потом на его маленькую будку, потом снова на караульщика Афлатуна.

— Идем, да!.. Водка тоже ест... Идем!.. Ладна, да... Никто не видит... Хорошо будет...

— Ты еще на что-то способен? — И уборщица Настя громко рассмеялась.

Караульщика Афлатуна воодушевил смех этой здоровенной, крепкой женщины, он осмелел и ухватился за рукав ее синего пальто и даже потянул немного:

— Идем, да!. Идем!. Подарка тоже дам тебе, да...

Уборщица Настя посмотрела на караульщика Афлатуна с любопытством и вниманием, зашагала рядом в сторону его будки и вошла в будку следом за караульщиком Афлатуном.

Вой ветра снаружи будто подчеркнул неподвижность воздуха в будке и тишину, и в этой неподвижности и тишине караульщик Афлатун слышал стук собственного сердца. С волнением юнца, впервые видевшего женщину, глотая слюну, он сказал:

— Снимай пальто, да... — И дрожащими от волнения пальцами стал расстегивать пуговицы на синем пальто уборщицы Насти; караульщику Афлатуну казалось, что в этот миг на свете нет ничего и никого, кроме его тесной и прекрасной будки, уборщицы Насти, скрывавшей под пальто и платьем такое тело; даже кладбище Тюлюк Гельди, даже сам Абдул Гафарзаде (!!!) были забыты, и караульщика Афлатуна охватила волнующая, но в то же время приятная непринужденность.

Синее пальто втянул сидело на теле уборщицы Насти, пуговицы очень трудно расстегивались, и пока караульщик Афлатун одолел одну верхнюю, у него пальцы заболели; но ведь пуговицы должны же, наконец, были все расстегнуться, и караульщик Афлатун, чья жена состарилась и выбилась из сил, должен же был хотя бы один день на этом свете пожить по-человечески...

И в это время неожиданно начал лаять щенок. Он стоял на кровати, со злостью упершись всеми четырьмя лапами в вылинявшее за годы грязное одеяло караульщика Афлатуна, он вытянул шею вперед, он лаял на уборщицу Насти и караульщика Афлатуна. Караульщик Афлатун конечно же забыл про эту собаку и думать про нее не думал. От неожиданного лая он вздрогнул, отнял дрожащие пальцы от пуговиц на синем пальто уборщицы Насти и почему-то шепотом сказал:

— Молчи!. Молчи!..

Но щенок залаял еще громче.

— Я говорю, молчи! — Караульщик Афлатун хотел схватить щенка, но щенок отскочил, влез на подушку с серой от грязи наволочкой, вжался в угол будки и залаял еще более злобно и громче прежнего. Его злобный лай будто отрезвил уборщицу Насти, обещанные водка и подарок забылись, и женщина, взглянув сверху вниз на этого старого и слабого мужчину, громко смеясь, сказала:

— Со щенком-то справиться не можешь, а туда же!.. — И, поигрывая в полуметре от караульщика Афлатуна половинками своего большого зада под синим пальто, повернулась и ушла.

Караульщик Афлатун, глотая слюну, со все еще взволнованно колотящимся сердцем смотрел в маленькое окошко будки вслед уборщице Насти. Но как только уборщица Настя, выйдя за ворота кладбища Тюлюк Гельди, пропала с глаз, ярость выиграла в караульщике Афлатуне, он

схватил щенка за шиворот, с силой швырнул об пол, пинком выкинул наружу.

Щенок, повизгивая, отбежал подальше, забился в кустарник у ограды, с никогда не испытанным раньше жутким страхом посмотрел в сторону открытой двери будки, он весь дрожал, и наверное, в тот момент он понял, что на кладбище Тюлюк Гельди с людьми шутить нельзя...

А караульщик Афлатун, громко ругая щенка площадной бранью, захлопнул дверь своей будки.

Третьим неожиданным происшествием того ветреного вечера стало то, что караульщик Афлатун вдруг начал (конечно, не вслух, а про себя) ругать Абдула Гафарзаде; это было впервые, что он так ругал Абдула Гафарзаде — правда, что Абдул Гафарзаде дал караульщику Афлатуну кусок хлеба, но ведь правда и то, что не хлебом единым... И сын Абдула — Хыдыр был подлецом, и сам Абдул — подлец, и отец его Ордухан-амбал, вообще весь их род — род подлецов, и караульщик Афлатун все ругался и ругался, но сердце его все не остывало...

Через несколько месяцев после того происшествия, когда наступила весна и на кладбище Тюлюк Гельди расцвели алыча, абрикос, вишни, гранаты, Абдул Гафарзаде, придя однажды в управление кладбища, увидел вдруг посреди двора щенка. Щенок вырос, изменился, в глазах его не осталось и следа того бывшего доверия и надежды, но Абдул Гафарзаде его узнал:

— Тот самый щенок?

Караульщик Афлатун, глядя с беспокойством на пса, не знал, что сказать. Правда, Абдул Гафарзаде долгое время щенка не видел, о нем не спрашивал, но все-таки ведь когда-то он поручил этого щенка заботам караульщика Афлатуна и теперь мог рассердиться, потому что щенок выглядел беспризорным. И тогда провалился бы караульщик Афлатун — как провалился Ашхабад! Но тут ненормальный пёс сам пришел на помощь караульщику Афлатуну: вытянув шею, он стал злобно лаять на Абдула Гафарзаде, как будто узнал и обвинял его в том, что дошел до такой жизни.

Абдул Гафарзаде тихо заговорил, будто не с караульщиком Афлатуном, а с самим собой:

— Жалкий был, а теперь каким стал, зараза! Мир — он такой, да... И собака добра не помнит в этом мире!..

Караульщик Афлатун осмелел от этих раздумий Абдула Гафарзаде, связанных с собачьей неблагодарностью, и использовал момент, чтобы довести до сведения Абдула Гафарзаде, что он-то, в отличие от пса, не такой неблагодарный, добро помнит, о хозяине заботится:

— Да не обращай ты внимания... Он же, ну... как это... просто дурной (гиджбасар)!..

Имя так и осталось — Гиджбасар.

В тот день Абдул Гафарзаде отвернулся от пса, но специального поручения прогнать его не дал, и Гиджбасар слонялся по кладбищу Тюлюк Гельди.

Сколько прошло лет? Шесть. Может, семь...

Теперь Гиджбасар в эту апрельскую ночь смотрел с крыши будки караульщика Афлатуна на ночную панораму Баку, там, в неведомом

мире, в стороне от кладбища Тюлюкю Гельди, гасли по одному огни. Гиджбасар не двигался с места.

Он влез сюда, когда было еще светло, и не спускался, не уходил, а свернувшись на крыше, ждал ночи и не обращал внимания на ночную жизнь кладбища Тюлюкю Гельди (часто подъезжали и уезжали такси, караульщик Афлатун бегом встречал и провожал клиентов, шумели, падали и поднимались ночные гости, пьяные входили и выходили с кладбища Тюлюкю Гельди, Мирзаибди, Агакерим занимались организационной работой в ночи на кладбище Тюлюкю Гельди, Василий по одному вызывал людей, давал им различные поручения) — ни на что не обращая внимания, нес всю ночь смотрел на Баку...

Огни Баку понемногу гасли...

Мир в стороне от кладбища Тюлюкю Гельди был полон тайн...

Потом стало светать...

Во дворе управления на кладбище Тюлюкю Гельди воцарилась тишина, но Гиджбасар очень хорошо знал: это была временная тишина, скоро придут работники, пройдет утро, минует день, закончатся погребальные обряды, моллы, роющие могилы алкоголики, нищие уйдут с кладбища, под вечер и в управлении окончится работа — и опять начнется подготовка к ночной жизни. Едва родившись, Гиджбасар именно таким видел кладбище Тюлюкю Гельди, это был его мир, в котором он жил всю жизнь, но в стороне от этого мира был другой, полный тайн, и в последние дни тот неведомый мир тянул к себе Гиджбасара.

Гиджбасар больше не хотел жить на кладбище Тюлюкю Гельди.

Гиджбасар больше не мог жить на кладбище Тюлюкю Гельди.

До сих пор он никогда не покидал обширную территорию кладбища Тюлюкю Гельди, встречался со случайно забредавшими сюда псами, случался с суками (суки приходили сами, сами находили Гиджбасара), но никогда не выходил за пределы этих мест и жил на кладбище Тюлюкю Гельди один, потому что других собак отсюда прогоняли, а к Гиджбасару здесь привыкли, и хоть, бывало, ругали, пинали, кидались камнями, но не прогоняли Гиджбасара с кладбища Тюлюкю Гельди.

Обедков от ночных пиршеств Гиджбасару вполе хватало, чтобы не голодать. Но Гиджбасар не хотел больше здесь оставаться.

Неведомый, таинственный мир притягивал к себе Гиджбасара.

И Гиджбасар рано утром спустился с крыши, остановился у будки караульщика Афлатуна, поднял левую заднюю ногу и, помочившись на каменную стену, будто сказал «прощай» не только караульщику Афлатуну — всему кладбищу Тюлюкю Гельди, поджал уши и выбежал из ворот управления кладбища Тюлюкю Гельди в новую жизнь, в новый мир, в неведомое будущее.

2. Роман «Муки моего любимого»

Как только наступило то апрельское утро, как только закрипели двери махалли, чайники наполнились водой и были поставлены на газ, народ стал входить и выходить из уборной во дворе, все поздоровались друг с другом, дети побежали за хлебом в магазин Агабалы, — тотчас

же по всей махалле разнеслась весть: ночью скончалась старуха Хадиджа, и, как всегда при такой дурной вести, женщины, торопливо накинув на головы черные келаган, направились в дом бедной Хадиджи, а мужчины стали собираться в маленьком дворе перед ее одноэтажным трехкомнатным домиком.

По мере того как люди заполняли дворик, студент четвертого курса филологического факультета Азербайджанского государственного университета Мурад Иллырымылы приходил во все большее изумление от невидимой телеграфной системы этой махаллы, где прожил с первого сентября восемь месяцев, — как будто стены тупинок, домов в махалле, их двери, окна, вымостившие улицу булыжники передавали весть друг другу, и что бы ни было, какое бы событие ни случилось в округе, ночью или днем, неважно, — в одно мгновение весть о нем разносилась по всей махалле. Студент Мурад Иллырымылы, грызя ноготь большого пальца на правой руке, смотрел на собравшихся во дворе махаллы неких мужчин, вдруг вспоминал, что грызет ноготь, быстро вынимал палец изо рта, но скоро опять забывал.

Женщины с плачем то входили, то выходили из дома, вытирали пыль, подметали пол, приводили в порядок три маленькие комнаты (в том числе те, что снимали студент Мурад Иллырымылы и Хосров-музелим), веранду, кто-то нес из своего дома муку, кто-то масло, сахар, приносили тазы, казаны, посуду, делали заготовки для халвы, юха; мужчины тихими голосами обсуждали, как везти тело в мечеть для обмывания, как получить свидетельство о смерти, найти место на кладбище, в какое время сегодня хоронить бедную Хадиджу, кто будет покупать на базаре чай и лимоны, кто принимать приходящих для соболезнования, а кто сообщать о случившемся бездарному сыну покойной, Мышь-Баланиязу.

В верхней части маленького дворика, рядом с уборной, был кран, низ которого был выложен камнем, и студент Мурад Иллырымылы, стоя теперь около крана, не знал, что делать: молодой человек вообще не любил многолюдье, толпу, чувствовал себя неудобно на людях, и всегда ему казалось, что люди только и делают, что смотрят, как он мал ростом, какое у него грубое лицо, сутулая спина, волосы косматые, черные, грубые; на людях у студента Мурада Иллырымылы сжималось сердце, он приходил в волнение и под каким-нибудь предлогом старался уйти, а потом, ночью, в постели, он покрывался холодным потом от стыда за то, что ушел, ушел от оживленно беседующих друг с другом, в любое время дня и ночи чувствующих себя совершенно свободными людей — от студентов (особенно если среди них была девушка!) или от молодых писателей (особенно от пламенно выступающих, переживающих за судьбу нации молодых писателей, таких, как Салим Бедбин!), от любителей литературы, собирающихся в редакциях, на различных встречах, литературных обсуждениях в Союзе писателей. Стыд этот окончательно превращал его собственную жизнь в бессмысленность, в абсолютную ненужность на свете, в такую огромную безысходность, что она просто не могла вписаться в его каменную маленькую комнату, и студент Мурад Иллырымылы плакал, несмотря на свои двадцать семь лет — среди ночи, один, он старался приглушить голос, что-

бы ничего не услышала несчастная старуха Хадиджа и другой квартирант Хосров-муэдлим. Потом наступало утро, в университете начинались занятия, и всегда куда-то спешащим, собирающимся вместе, болтающим о девушках, с которыми гуляли, о женщинах, с которыми жили (или выдумывали!), студентам, конечно, и в голову не приходило, что у этого мрачного человека, с утра до вечера читающего книги, газеты, журналы, на полном серьезе записывающего все лекции, — что у студента Мурада Илдырымылы бывают такие трудные ночи и этот Мурад Илдырымылы до сих пор не только ни с одной женщиной не жил, но и ни с одной девушкой не гулял. Вообще до сих пор он не видел обнаженной женщины, за все двадцать семь лет у него не было возможности даже тайком взглянуть на обнаженную женщину, только четырнадцать-пятнадцать лет тому назад, когда одна сельчанка мыла свою дочь на берегу реки, текущей с прекрасных гор, он увидел голую грудь девочки. Девушки бывали только в мире грез, и с годами студент Мурад Илдырымылы даже привык дружить с девушками в том мире. У тех трудных ночей, у мира грез и чувств, который знал только студент Мурад Илдырымылы, и больше никто на свете, была своя особая хрупкость, но и особая стойкость, и особое утешение. И перед тем, как миру грез и чувств на него нахлынуть, студент Мурад Илдырымылы всегда сначала слышал голос своей бабушки, и вообще, студенту Мураду Илдырымылы казалось, что, если он умрет (разумеется, когда-то он умрет, мысль об этом сильно сжимала ему сердце, когда он работал в селе библиотечкарем), — он сначала тоже услышит голос бабушки. В ее голосе было для него столько родного, и, в сущности, ее голос всегда был вместе с ним, особенно с тех пор, как молодой человек приехал в Баку. В моменты, когда он тосковал, когда не хотел готовиться к экзаменам, читать книги, заниматься в библиотеке, когда глаза его уставали от черного цвета типографских шрифтов, а пальцы отказывались держать перо, когда в кинотеатрах не было подходящего фильма (он терпеть не мог детективы, индийские фильмы, а из советских смотрел только те, которые критиковали в печати, — раз критиковали, значит, что-то светлое было...), когда неохота было идти в театр, сидеть по обыкновению в бельэтаже (в кино, театр, временами на какой-нибудь концерт он всегда ходил один), — тогда под вечер он шел на приморский бульвар, бродил вдаль от всех, среди деревьев, декоративных кустарников, и как только в недостижимом ему (он, пожалуй, и никогда не станет достижимым!) мире, всего в десяти шагах, видел взявшихся за руки или шедших под ручку парня и девушку, свободных и беззаботных, модно одетых, — тотчас студент Мурад Илдырымылы будто видел и открывавшиеся перед парнем и девушкой бескрайний простор, чистоту, свет, а тьму, сырость и тесноту вокруг себя ощущал еще сильнее, чуть ли не физически. В такие мгновения голос бабушки превращался в голос вечной тоски, и та тоска не была деревенской, горной, лесной, луговой, речной, а была впитавшимся в студента Мурада Илдырымылы бесприютным чувством, похожим на печаль, но похожим и на радость. Это было как мечта... Студент любил бабушкин голос, но была в нем для студента и вечная обреченность, судьба: а голос твоей бабушки, а голос тех прекрасных гор, лесов, я тебя взрастил, и я тебя воспитал, и ты об-

речен всегда быть вот таким одиноким на этом прекрасном бульваре, быть вот таким неуклюжим, таким стеснительным, таким некрасивым, ведь и на лоне прекрасных гор и лесов, на берегу бурливых родников, журчащих рек ты был хоть и беспечным, но бессмысленным существом...

Студент Мурад Илдырымылы вначале часто, а теперь время от времени читал в республиканской Государственной библиотеке имени М. Ф. Ахундова Коран в переводе академика Крачковского. Отдельные стихи, чтобы лучше понять, переводил для себя на азербайджанский язык. После революции на азербайджанском языке Коран не издавался, и потому в библиотеках его не было, и чтобы взять его на русском, нужно было специальное разрешение. Но студент, хоть и с очень большими трудностями, сумел разрешение получить. В суре Корана «Али-Иман» говорилось:

«Если Аллах вам поможет, вас никто не сумеет победить; если же он сделает вас несчастным, то кто после этого сумеет вам помочь?»

Студент считал, что Аллах сделал его несчастным, и потому вся жизнь его так и пройдет. Раз Аллах ему не помог, никто не сумеет ему помочь. Но почему так случилось, в чем его вина, за что Аллах сделал его несчастным и привел в мир в таком облике? Почему Аллах обрел его в этом просторном мире постоянно биться с самим собой, самого себя эсть изнутри?

Как видно, что-то было... И Коран говорит: нет наказания без причины...

Бабушка рассказывала ему такую легенду (а может, это была вовсе и не легенда?!), и студент никогда ее не забывал: пророк каждое утро проходил мимо озера. В озере, прыгая, веселясь, крича, воля, купались мальчики. А один мальчик-калека не мог купаться, он только смотрел на других полными тоски глазами, смотрел, смотрел. Пророк не смог вынести печали этих глаз: «О Аллах! — сказал он. — Почему ты создал ребенка калекой?» — «Ты усомнился в моей справедливости?» — спросил Аллах... Наутро пророк увидел, что мальчик извлеклен от увечья, прыгает-скачет вместе с ребятами, купается в озере, и глаза его смеются, и тоска исчезла... Прошел день, прошли два, на третий день пророк увидел, как бывший калека рано утром пришел на озеро, нарезал камышей, заострил у них кончики и стал всаживать камыши в дно так, чтобы острые концы вонзились в головы детям, которые скоро прыдут и начнут прыгать в озеро. Пророк сказал: «О Аллах!.. Прости меня...»

Иногда студент, видя, как красивые, современно одетые, свободные, уверенные в себе парень и девушка, гуляя по бульвару, целуются, уско-ряя шаг, чтобы сбежать, не видеть их объятий, поцелуев. А иногда он узнавал в лицо парня, идущего под руку с девушкой, обнимающегося, целующегося с ней (вообще за время жизни в Баку студент Мурад Илдырымылы запомнил многих, но его не узнавал никто, и само это одностороннее знакомство несло в себе пессимизм, безнадежность...): это бывал один из тех студентов, которые в университетских коридорах, во дворе, кура дорогие сигареты, купленные на отцовские деньги, с головой, раскалывающейся от ночной гульбы в ресторанах, кафе, барах, вели бесстыдные разговоры о своих девушках. Узнав пошляка,

Мурад Илдырымылы впадал уже не в пессимизм, не в обиду на жизнь, а во враждебность, ему хотелось тайком выследить девушку, доверившуюся ничтожеству, узнать ее адрес, написать анонимное письмо, ему хотелось разоблачить парня; быстро шагая, он сочинял в мыслях текст анонимного письма, но до бумаги дело не доходило, запал улетучивался, и все опять по-прежнему окутывалось печалью одиночества, безнадежностью, тоской.

Верно, студенту Мураду Илдырымылы казалось, что и после смерти он услышит голос бабушки. Но ведь после смерти все кончается. Конечно, и само это утверждение было условной истиной, то есть оно было истиной по мнению живых. А по существу, кто знает, может быть, настоящая истина только после смерти и откроется? Ведь не может же быть, чтобы все было вот такой игрой... Во всяком случае, пока был и есть мир, пока теперешний студент (а завтрашний кто: сельский учитель? литературный работник районной газеты? снова сельский библиотечкарь? или кто?) Мурад Илдырымылы будет жить в этом мире, голос бабушки будет с ним. Дело было не только в том, что когда-то отец студента Мурада Илдырымылы, измученный жизненными заботами в забытом миром селе, изнуренный высокими налогами, назначенными Хрущевым даже за содержание осла (из-за этого налога холмы и ущелья заполнили беспризорные ослы!), в один прекрасный день бросил и молодую жену, и крохотного сына (будущего студента Мурада Илдырымылы), уехал в Россию, и с той поры о нем никаких вестей не было; дело было и не в том, что мать некоторое время ждала мужа и в конце концов, поскольку жить было не на что, вышла замуж за уродливого вдовца из соседнего села, разбогатевшего за двадцать лет работы счетоводом в колхозе, и с того времени ребенок жил с бабушкой, — главное дело было в том (во всяком случае молодой человек так думал), что голос бабушки действительно был для него голосом гор, рек, лесов и всех тех мест, где одиночество студента Мурада Илдырымылы не видел никто, кроме этих гор, рек и лесов, и это несколько смягчало чувство стыда за собственное бессмысленное существование; в тех горах, реках, лесах, конечно, было что-то родное, ведь там прошло детство...

На склонах гор в прекрасную детскую пору, которая не возвратится больше никогда, в то время, когда фантазия будущего студента не вмещалась в Бабадаг — вершину, которая зимой и летом бывала в белом снегу, в голые отвесные скалы, в ущелья, по которым с грохотом неслись бурные реки, когда воображение, подхватив ребенка, уносило его в самые дивные страны мира, устраивало встречи с кровопийцами шахами, храбрыми и справедливыми принцами, прекрасными принцессами, дивами, джиннами, говорящими птицами, с пророком Соломоном, — в то время Мурад всегда был около бабушкиного подола, и бабушка, лепя чуречки в тандыре, жаря юха на садже, кидая угли в самовар, собирая съедобную травку во дворе, все рассказывала о чудесном мире, и студенту до приезда в Баку и в голову не приходило, что ее рассказы так врезались в память, он и предположить не мог, что среди бакинского безразличия, бакинского бензина, дыма, асфальта бабушкины рассказы вернутся к нему, вспомнятся, но уже не для того, чтобы возвещать о дивных странах... И прекрасные принцессы, и храб-

рые принцы останутся в том времени, когда бабушка рассказывала сказки и притчи.

Она, бывало, вставала рано утром, брала свой мешок, будущий студент пристраивался сбоку, и они шли на скошенное, убранное от снопов колхозное поле собирать колоски и до самого полудня, когда солнце бывает в зените, пихали их в мешок. А когда солнце раскалялось и они больше не могли сделать ни шагу от усталости, они брели к одинокому дереву дагдаган посреди поля, усаживались в тени, и бабушка, наливая в горсть водички из маленького, оставшегося от далеких предков кувшинчика (пока они собирали колоски, бабушка время от времени подходила к дереву, переключившись на кувшинчик в тень), бросала себе водичку в лицо, охлаждалась немного, и внуку на ладошку немного воды наливала, и будущий студент тоже ощущал под пальцем солнцем прекрасную прохладу, потом бабушка доставала из котомки дрожжевой чуречка, две-три буренки зеленого лука и вместе с внуком немного замариновала червячка, и бабушка, опершись спиной на дерево, задремывала. Удивительное дело, как только бабушка начинала дремать, поднимался прохладный ветерок, и ребенку казалось, что тот прекрасный прохладный ветерок веет из далекого (и близкого) чудесного мира, о котором рассказывала бабушка. Вскоре бабушка, поднявшись, снова принималась собирать колоски, но будущий студент так и сидел в тени одинокого дерева и пребывал в чудесном мире, о котором бабушка рассказывала с утра, с прекрасными принцессами, с храбрыми принцами, с седовласым, седобородым пророком Сулейманом, знавшим птичий язык.

А дома бабушка стелила на веранде палас, высыпала из мешка колоски, била их колотушкой, потом сеяла в решете и говорила, говорила...

Жил-был человек, у него была жена и десять детей. Семья жила в маленькой избушке, повернуться негде. По ночам спали, уткнувшись друг другу в живот. И жена день и ночь не давала мужу покоя, все ворчала, ворчала... Мол, разве можно так жить? Что это за жизнь?... В конце концов мужчина не выдержал, пошел и влез на вершину горы Каф. А Каф, ты знаешь, какая гора? Наши вон горы это ничто перед горой Каф. Мужчина влез на вершину горы Каф, воздел руки к небу: «О Аллах, — сказал он. — В такой избушке мы больше жить не можем. Жизнь наша — муки ада. Или дай нам простор, или убей меня, чтобы избавиться от мук...» Только он это сказал, как прогремел гром, сверкнула молния, поднялся ураган. Человек понял, что Аллах услышал его. Пришел обратно и видит, что жена сидит перед избушкой, колотит себя по коленям, рвет волосы. Что случилось?! Жена в слезах отвечает: «Сидели мы в избушке, вдруг гром загремел, молния сверкнула, ураган налетел, крыша пополам разломилась, явилась святая Миканл вместе с ослом и говорит... — Тут она пуше прежнего заревела. — Говорит: пусть этот осел живет с вами вместе в избушке. И вот теперь еще и осел в избушке...» Мужчина, женщина, десять детей стали жить вместе с ослом, которого принес святая Миканл. С ослом ложились, с ослом вставали. Можно так жить? Материнское молоко у них через нос выходило. Теснота, ишак с одной стороны и ворчащая днем и ночью жена — с другой. Опять мужчина не выдержал, снова отправился на вершину

горы Каф, снова воздел руки к небу: «О Аллах, или избавь нас от этого длинноухого, или убей меня, чтобы покончить с этим, потому что невозможно так жить, как я живу...» Грнул гром, сверкнула молния. Налетел ураган — Аллах услышал мольбу. Пришел человек домой и видит, что и жена, и дети собрались перед избушкой, радуются, веселятся, так празднуют что-то — залюбуешься... Что случилось? Жена отвечает: сидели мы в избушке, вдруг гром грянул, молния сверкнула, крыша раскололась, явился святой Миканл, да буду я его жертвой, унес ишака с собой... С того дни и муж, и жена, и десятеро их детей жили в своей избушке счастливо и были благодарны судьбе...

Студенту вспоминается, как бабушка, скрестив на паласе ноги по-турецки, просеивала зерно и рассказывала эту историю, а ему, будущему студенту Мураду Илдырымылы, самым удивительным казалось то, что на свете, оказывается, есть такие горы, перед которыми ничто даже покрытые снегами вершины, даже заросшие лесами горы и отвесные скалы, окружавшие их село со всех сторон... Потом прошли годы, как будто все забылось, но однажды в ночную пору, когда он не мог заснуть, вот здесь, в этом доме нечастной старухи Хадиджи, внезапно все вспомнилось, и та история, удивительное дело, стала для студента Мурада Илдырымылы каким-то утешением...

...Дети, молодые люди приносили из своих домов столы, выстраивали их во дворе, пристраивали к ним табуретки, стулья, женщины несли стаканы, блюда, ложки, сахарницы. Как всегда в таких случаях в махалле, обязанности были распределены между мужчинами, и Хосров-муэллим как всегда ничего не говорил, молча, как тень, бродил меж людьми. Потом пришел молла Асадулла, дал распоряжения, связанные с погребальным обрядом, поднялся в дом к покойнице. Один отправился за свидетельством о смерти, другого послали на кладбище Тюлюк Гельди, чтобы как-нибудь договорился, получил место, заказал рыть могилу. Правда, махаллинские мужчины хорошо знали, что получить место на кладбище Тюлюк Гельди — дело тяжелое, даже если на этом кладбище похоронены предки покойного. А где были похоронены отец и дед бедной Хадиджи (на кладбище Тюлюк Гельди, но где, в каком месте?), никто в махалле не знал, и болван Мышь-Баланияз, наверное, не знал. Но старуха Хадиджа всегда соблюдала пост, совершала намаз, и закопать ее в землю на новом кладбище, где перемешаны мусульмане, христиане, иудеи, было бы неправильно, такой поступок мужчинам махалли совершать не подобало. Хоронить надо было на старом кладбище, на кладбище Тюлюк Гельди.

...Хлебник Агабала принес во двор самовар (самый большой в махалле самовар был у хлебника Агабалы) и поспешно вернулся в лавку, а выходя из дворовых ворот, сказал:

— Я послал человека за мясом... — Это означало, что мясо для поминок по бедной Хадидже Агабала брал на себя: кто-то должен был взять на себя рис, и зелень, и пряности, и кислые приправы, тогда поминки по бедной Хадидже будут достойны махалли.

Вчера старуха Хадиджа была одной из обитательниц махалли, обыкновенно начинала утро, в обычных хлопотах провела день, с обычными заботами и надеждами легла спать, но ее надежды и заботы сегодня

исчезли навсегда. Когда-то на свет явилась девочка, стала девушкой, превратилась в женщину, обернулась старухой Хадиджой, и вот ночью старуха Хадиджа ушла из этого мира... Здесь, конечно, не было ничего удивительного, но когда студент Мурад Илдырымылы, стоя около крана, думал об этом, он как будто входил в окутавшую все вокруг грусть, и дело было не только в кончине старухи Хадиджи... За время, пока он был ее квартирантом, студент узнал ее каждодневный быт, ее желания, заботы, и теперь те желания, заботы казались такими мелкими, бессмысленными, что и собственная жизнь студента, его собственные желания, мечты, заботы, даже бабушкин голос, даже родные горы, леса тонули, исчезали в этой мелочности, в этой бессмысленности.

Студент Мурад Илдырымылы вспомнил, что грызет ноготь, и быстро вытаскивает палец изо рта. В университете студентки шутили между собой, что у этого бедняги, наверное, глисты, потому он все время и сосет палец. А ребята-студенты говорили: нет, черви у него не в животе, а в сердце, сердце у него червивое, он жуткий завистник... Конечно, Мурад Илдырымылы, не имея и понятия об этих разговорах, изо всех сил старался избавиться от вредной привычки, но порой и сам не замечал, как тянул руку ко рту...

Из крана во дворе день и ночь всегда капала вода, и когда вся махалля спала, и Хосров-муэллим, и бедная Хадиджа спали, и воцарялась полная тишина, капанье крана слышалось совершенно отчетливо, даже достигало комнаты, где спал студент. Сначала это раздражало студента, не давало ему спать, но однажды Хосров-муэллим нашел где-то большой разводной ключ и хотел исправить кран, а бедная старуха Хадиджа сказала: «А-а-а... Зачем ты кран трогаешь? Пусть течет, да... Пусть звук доносится, да... Вы выходите, я одна остаюсь здесь, сколько на улице можно сидеть, а когда вокруг ни звука, ведь сердце лопается!» Хосров-муэллим как молча подошел к крану, так молча и вернулся в свою комнату, и кран продолжал капать, но странное дело, после тех слов старухи Хадиджи капанье крана больше не раздражало студента Мурада Илдырымылы, наоборот, в трудные минуты звук казался живым, с ним студент в самом деле был как будто не так одинок.

Старуха Хадиджа раз в три-четыре дня ходила на Новый базар, покупала кילו семечек, дома жарила, садилась у ворот на маленький табурет, постелив на него тоненький тюфячок, и продавала прохожим, махаллинским ребятишкам стопятидесятиграммовый стакан семечек за десять копеек. Чтобы стакан не разбился, она обклеила его изнутри бумагой, да так толсто, что вместо ста пятидесяти он и сто граммов вмещал с трудом. Рядом с мешочком, полным горячих семечек, лежали вложенные друг в друга бумажные кульки: кто не хотел сыпать в карман, старуха Хадиджа давала кулечек. Газетам для кулечков снабжал ее студент Мурад Илдырымылы. Каждый день утром, отправляясь в университет, он покупал свежие газеты. По утрам автобус бывал очень набит, газеты он читал днем, возвращаясь с занятий, а те, что не успевал прочитать в автобусе, читал у себя в комнате, и все это время старуха Хадиджа терпеливо ждала газет, сама не покупала, деньги не третила и, как только получала от квартиранта прочитанные газеты, аккуратно разрезала, крутила кульки, и настроение у нее явно

улучшалось. «... Вы мне нравитесь!.. — говорила она. — Вы, деревенские, умные бываете! За девушками не бегаете! В город приедете — учитесь, людьми становитесь, а наши шоферы делают да еще не знаю кем... Вон мой болван мышей ловит!.. Вы мне нравитесь!.. И ты умный, ей-богу, вот смотрю я на тебя, день и ночь занимаешься, водку не пьешь, девок не водишь!.. Маладес!.. Учись!.. Если что хорошее и выйдет, так только из учебы! У безграмотных жизнь как у меня, сам видишь, сию, семечки продаю...» Конечно, бедная старуха Хадиджа не знала, ценю каких мучений досталось ему студенчество в Баку и с какими муками продолжается... А может, знала!..

Будущий студент Мурад Илдырымы после окончания сельской школы два года подряд приезжал в Баку поступать в институт и оба раза срезался, первый раз за письменную литературу получил «хорошо», за устную — «плохо», второй раз за письменную — «отлично», за устную — опять «плохо». Первый раз, сдавая устный экзамен, он ответил на все вопросы, но преподаватель его вовсе не слушал, часто зевал, и когда зевал, его выпуклые глаза под грубыми широкими бровями (сколько лет прошло, а те выпуклые глаза студент Мурад Илдырымы все еще время от времени вспоминал...) наливались влагой. Будущий студент ответил на все вопросы, и преподаватель спросил: «Кто написал роман «Муки моего любимого?» Мурад Илдырымы слыхом не слыхивал о таком романе, поэтому он замер, хлопая ресницами, и преподаватель, по-прежнему зевая, поставил хорошую двойку, взглянул поверх головы Мурада в сторону аудитории и по-русски (хотя экзамен шел на азербайджанском) громко сказал: «Следующий!»

Мурад Илдырымы, вернувшись в село, снова стал готовиться, правда, не только роман «Муки моего любимого» не нашел, но даже и упоминания о нем нигде не встретил. День и ночь он читал, и на следующий год, приехав в Баку, приемный экзамен по письменному опять сдал на «отлично», сдавая устный, тоже ответил на все вопросы. Когда Мурад говорил, молодой преподаватель, часто зачесывая расческой назад набриолинные волосы и улыбаясь, с удовлетворением кивал головой, подтверждал ответы Мурада и, как только будущий студент закончил отвечать, сказал: «Очень хорошо! Из тебя получится хороший литератор!». А теперь скажи, как звали старшего сына и младшую дочь гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина!» Мурад Илдырымы, как и в прошлом году, умолк, хлопая глазами, потому что он хорошо знал, что Александр Сергеевич Пушкин — гениальный русский поэт, он читал его произведения, но как звали старшего сына и младшую дочь, как вообще звали детей той гениальной личности, Мурад Илдырымы не знал. «Из тебя получится хороший литератор! Культура речи у тебя пока не развита, но ответы твои мне понравились!.. Ты будешь хорошим литератором! Иди, еще один год поготовься, приходи, мой друг! Обязательно приходи! Мне понравились твои суждения!»

После этого случая будущий студент ровно пять лет в Баку ногой не ступал, из-за маленького роста, слабого здоровья его и в армию не взяли, работал он в селе библиотеке, вернее, получив уголок в подвале, где был склад правления колхоза, именуемый, впрочем, библиотекой (в отчетах на уровне района и республики он проходил как библи-

отека), начал устраивать там в самом деле библиотеку, писал в районные и республиканские организации письма, просьбы, требования, искал, покупал, получал книги, газеты, журналы. И все читал, читал, читал.

Председатель колхоза был Героем Социалистического Труда, четырежды кавалером ордена Ленина. Отправляясь в райцентр, он нацеплял на грудь все свои ордена и медали, и тогда от тяжести металла у него чуть не обрывались полы пиджака. Долгие годы, расписываясь в бухгалтерской ведомости и за библиотекаря, председатель клал его зарплату себе в карман, и поскольку должность библиотекаря была только в штатном расписании, естественно, никакой библиотеки не было, да и никому она не была нужна. Но шло время, росло количество орденов, росла переписка председателя с Баку, с другими городами страны, он стал депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР, кандидатом в члены Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана, делегатом XXV съезда КПСС, ему надо было часто выступать на собраниях, давать интервью газетам. Чтобы писать эти письма, выступления (сам он не мог и одной фразы написать...), ему нужен был человек, умеющий держать в руках перо, а по этой части в селе не было никого впереди будущего студента Мурада Илдырымы. И председатель расстался с зарплатой библиотекаря и взял Мурада на работу — библиотекарем.

Сочиня письма за председателя, статьи за председателя и выступления председателя (если для райцентра, их еще редактировали и правили райкомовские работники, если для Баку, то работники ЦК КП Азербайджана), Мурад Илдырымы библиотекарством и примирился с судьбой. Он думал, что больше никогда не поедет в Баку, не будет сдавать экзамены в институт. Будущий студент понимал, что это не имеет смысла, что никакого результата не будет, потому что он входит в сословие тех, кого Аллах создал обреченными в этом мире.

Его земляк Аскер, оставив село, работал в Баку миллионером и приехал в село на два дня, когда умерла его старая мать. Аскер сказал будущему студенту: «В институт хочешь поступить? Чего же просто так, очертя голову, едешь в Баку? Так просто институт бывает, что ли? Это стоит двенадцать тысяч рублей! Понял? Есть и такие места, где аж пятьдесят тысяч рублей!.. Вон место, куда поступи младший сын председателя! Тебе такие места на что?.. У меня сосед есть, профессор, в институте работает. Звание у него — профессор, а сам — такой же сельчанин, как я, выучился, человеком стал!.. И в этих делах у него навыков есть, и со мной он — друг, время от времени зовет, я ему шашлык готовлю. Поговорю с ним, давай двенадцать тысяч, у бабушки твоей, говорят, с древности еще золото осталось. Я дам ему — поступи в институт!.. Чего ты глаза пучишь, а? Сидите тут, в горах, понятия о мире не имеете... От тех денег мне даже на базар не достанется!.. Чтобы дух мамы порадовался, хочу людям нашего села помочь!.. Отдам деньги профессору, он что сделает? Возьмет себе немного, передаст тому, кто выше него. А тот что будет делать? Тоже возьмет себе немного, передаст своему старшему. А тот что будет делать? Он тоже возьмет немного с этих твоих денег, передаст своему министру! А министр мой лю-

бимый что будет делать? Он тоже, взяв свою долю, остальное передаст выше него в цеха, и они свое возьмут, а остальное передадут куда? В Москву! Ты понял, а? Если так не будет, дела этого государства никогда не наладятся!..»

Мурад Илдырымлы и все его село на склоне гор были не в таком уж несведении о мире, как считал милиционер Аскер. Сын председателя колхоза, учившийся вместе с Мурадом, был невероятный болван. Чего стоит хотя бы случай с учителем зоологии. Учитель сам смастерил аквариум и держал там мелких речных рыбок, написал о них научную статью в районную газету. За что-то разозлившись на него, сын председателя тайком проник к нему в дом и помочился в аквариум. Все рыбы подохли. Так вот этот идиот — сын председателя, как только окончил школу, поступил в институт и за время, пока Мурад Илдырымлы был у его папаша писарем, институт закончил, а теперь аспирантуру заканчивает. И еще четверо председательских детей поступили в институты в Баку, и в том, как они поступали, ничего тайного не было, председатель сам, время от времени глубоко вздыхая, жаловался на жизнь: «Ну, ей-богу, институты для этих детей голым меня сделали!»

Будущий студент Мурад Илдырымлы знал о таких делах мира, во всяком случае, теоретически. Выпуклые глаза широкобрового преподавателя, одобрительная улыбка молодого преподавателя, как и новые книги, газеты и журналы, выстраиваемые на самодельных деревянных полках, порой входили в ту библиотеку... Но однажды летним днем вдруг собрав одежду и бумаги в старый чемодан и не сказав ни слова председателю, библиотекарь поехал в Баку. Все эти годы, сколько ни искал он роман «Муки моего любимого», сколько ни писал писем в Союз писателей Азербайджана, в республиканскую Государственную библиотеку имени М.Ф. Ахундова, никаких следов отыскать не мог, никто о таком произведении ничего не знал, и в конце концов он понял, что такого романа вообще не существует; а имена всех детей, братьев, сестер, внуков, родственников и друзей гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Мурад Илдырымлы выучил наизусть.

В разгар августовской жары Мурад Илдырымлы сдал приемные экзамены на филологический факультет Азербайджанского государственного университета и неожиданно, в первую очередь для себя самого, поступил в университет. С той поры вот уже четвертый год он бакинский студент. Три года жил в общежитии, опротивев всем своей угрюмостью, раздражительностью (некоторые его просто ненавидели, и он это хорошо знал!) и сам понял, что он для совместного проживания не годится, и решил уйти, студенты, особенно парни, жившие с ним в одной комнате, облегченно вздохнули — студент Мурад Илдырымлы был тяжелым человеком.

После летних каникул он устроился ночным сторожем на стоянке личных автомашин в стороне Баилова — за семьдесят рублей ночь дежурить, ночь дома, — нашел старуху Хадиджу и уже восьмой месяц ходил сторожить, семьдесят рублей отдавал за квартиру старухе Хадидже (бедная старуха Хадиджа), а сам жил на сорок рублей стипендии.

Старуха Хадиджа иногда ходила на базар, покупала себе полкило баранины и, придя домой, говорила своему квартиранту-студенту: «Да буду я твоей жертвой! Я старая женщина, сил не осталось!.. Помогите-ка мне, не могу я порубить мясо, поруби, а ладно?..» Студент шел в комнату старухи Хадиджи, садился на палас, скрестив ноги, рубил мясо старым секачом на пеньке, а старуха Хадиджа сидела рядом со студентом, внимательно глядя на мясо, не отскочит ли кусочек на белую скатерку под пеньком, чтоб сразу его подобрать. Старуха Хадиджа говорила: «Да буду я жертвой Аллаха, как хорошо, что он привел тебя ко мне!.. Если бы не ты, что бы я делала, несчастная? Разве силы остались, чтобы самой мясо порубить? Хорошенько бей! Вот маладец!.. Кюфта-бозбаш приготовлю и тебе дам. Почему не дать? Хватит, ты и так с утра до вечера хлеб с чаем ешь... Ты ведь тоже дитя человеческое!.. Мята сухой сверху посыплю, отличный кюфта-бозбаш получится! И ты поешь! Хорошенько бей! Маладец!.. Тебе тоже надо поесть домашнего, разве нет? Ей-богу, хороший кусочек тебе выберу, самый лучший!..»

Так приговаривала бедная старуха Хадиджа, заставляя студента рубить мясо, потом готовила, и великолепный аромат кюфта-бозбаша разносился по комнатам. Но она все съедала сама и квартиранту не давала; правда, у студента Мурада Илдырымлы характер был такой, что, если бы даже старуха Хадиджа и предложила ему кюфта-бозбаш, он бы из упрямства отказался и ни за что есть не стал, но ни характер, ни упрямство показывать нужды не было, потому что старуха никогда ничего ему не предлагала. История с мясом повторялась раз в три-четыре дня: студент рубил, старуха приговаривала. Бедная старуха Хадиджа говядину не ела совсем, потому что от говядины у нее портился желудок. Она всегда покупала баранину и всегда готовила кюфта-бозбаш... Наверное, потому, что у бедной старухи Хадиджи не было во рту ни единого зуба и жевать ей приходилось деснами; сидя у ворот в ожидании клиентов, она лущила ногтями семечки, разминала их пальцами и отправляла в рот.

В те ночи, когда студент Мурад Илдырымлы ворочался без сна в постели и сильные беспощадные чувства обнажали все нервы молодого человека, он внезапно начинал думать о старухе Хадидже, потом размышлял о человеческой натуре вообще и в конце концов доходил до себя самого, смотрел на себя со стороны глазами постороннего человека (во всяком случае, ему так казалось) и на примере собственного внутреннего мира старался познать человека как такового, человеческие жалость и жестокость, чувствительность сердца и его черствость, лицемерие и простодушие, надежность и неверность. Надежда и безнадежность мира вводили его в такую мглу, что в маленькой комнатке, которую он снимал у старухи Хадиджи за семьдесят рублей в месяц, ему не хватало воздуха, она была как тюрьма, и все сжималось у студента внутри. Он думал об отце, чей облик не мог припомнить, думал о матери, которую не видел годами, и то, что они оказывались рядом ночью в четырех стенах дома старухи Хадиджи, казалось студенту самой большой бессмыслицей на свете. В треугольнике отец-мать-студент было столько бессмысленности, что не оставалось желания даже о нем думать, и как хорошо, что в такие моменты из крана во дво-

ре мерно капала вода... Порой студенту Мураду Илдырымлы хотелось запечатлеть мир своих чувств на бумаге, хотелось на собственном примере показать человеческую натуру обнаженной, хотелось, ничего не стесняясь и не стыдясь, создать некое эссе, исповедь, в мозгу блуждала даже первая фраза той исповеди: «Слава тебе, о прекрасный человек!»

Писать надо было, обращаясь к прекрасному человеку, а читатель сам в конце должен был сделать вывод, прекрасен человек или нет. Но своя исповедь все не писалась, а вместо этого студент Мурад Илдырымлы, отираившись в республиканскую Государственную библиотеку имени М. Ф. Ахундова (библиотека, в которую он в свое время из села писал письмо за письмом), снова и снова перечитывал «Исповедь» Жан-Жака Руссо...

...На составленных во дворе бок к боку столах расстелены скатерти, принесенные махаллинскими женщинами из своих домов, мужчины сходили на работу отпроситься на похороны, а теперь уселись за столы, во главе стола сел молла Асадулла, положил перед собой маленький истрепанный Коран, молча, медленно перебирая черные эмалевые четки (такие четки привозили из Кербелы, спекулянты продавали их на Кубинской площади Баку — «Кубинке»). Там и купил их хлебник Агабала и дал молле Асадулле в виде обета за то, что сын его вернулся из армии живым и невредимым). На сегодняшнем погребальном обряде молла Асадулла конечно же ни с кого денег не возьмет, ведь он и сам махаллинский обитатель, панихиду по несчастной старухе Хадидже он отслужит бесплатно и, безусловно, до сороковин каждый четверг, урывая время у других погребальных обрядов, будет заходить в этот двор. Но стоявшему с утра около крана, полностью погруженному в мысли о собственной ничтожности и ненужности Мураду Илдырымлы казалось, что причина молчания и мрачности моллы Асадуллы вовсе не смерть старухи Хадиджи, с которой он всю жизнь прожил в одной махалле, а именно то, что этот траурный ритуал — бесплатный.

Однажды (подумать только, всего три-четыре дня назад...) старуха Хадиджа, скручивая кульки, сказала: «Ты знаешь, студент, через год-два, как кончилась война... ты, впрочем, помнить не можешь... да что там помнить, тебя ведь и на свете не было... Так вот, в Баку выпал такой снег, какого никогда не бывало. Э, никогда!.. К тому же голод был, кушать ничегошеньки не было... Во время войны несчастные американцы хоть порошок из черепашьих яиц привозили!.. Уже и этого не было... Ночью к нам в махалло забрался волк. Вон к молле Асадулле, чтоб он сдох, в его двор забрался. Волк знал: если у кого и найдется что съестное, так у моллы Асадуллы!.. Забрался к нему во двор, унес собаку. Собака на цепи была, так он горло ей перегрыз. Голова осталась во дворе, а тело унес. Чем собаку уносить, лучше бы самого моллу унес!.. Знаешь, этот сукин сын молла Асадулла во время войны сколько денег с людей содрал?! Сколько драгоценностей содрал?! На что тебе, зараза, столько денег, а?! В могилу унесешь? Столько денег у него, но и теперь, зараза, с утра до вечера на кладбище Тюлкую Гельди деньги зашибает... Кроме себя самого и своих дочек да сыновей, ни одному человеку на горящий палец даром не напишет, сукин сын!..»

Теперь молла Асадулла на трауре по старухе Хадидже сидел во главе стола и сегодня не пойдет сшибать деньги на кладбище Тюлкую Гельди, один день своей жизни проведет даром, во всяком случае, хоть и мрачен, и расстроен был молла Асадулла, дух старухи Хадиджи должен был радоваться, потому что молла Асадулла пришел отдать последний долг покойной, и это означало, что старуху понесут с «ал-рахманом», с уважением и почтением.

Дверь со двора на улицу открылась, и вернувшийся со службы в армии сын хлебника Агабалы принес завернутую в белоснежную марлю грудку мяса. Разумеется, хлебник Агабала купил это мясо по дорожной цене — 10 рублей за кило, потому что на поминках по старой женщине готовит протухшее и грязно-ржавое государственное мясо, которое неизвестно как хранилось, было недостоинно махалли, было недостоинно и имени, и звания самого хлебника Агабалы; не будем говорить о том, что купить мясо в государственных магазинах дело нелегкое, давно мясо в Баку дают по талонам — килограмм в месяц на человека; и масло по талонам — полкило на человека (последний раз, правда, к празднику 7 ноября дали по килограмму масла на человека). Да, мяса и масла махалле доставалось немного, но для траурного застолья изпод земли, хоть по цене целого верблюда (люди типа хлебника Агабалы могут это себе позволить!), необходимо найти и купить свежее мясо.

Большинство махаллинских парней работало шоферами, и один из молодых водителей остановил свой грузовик у ворот. Парни, взяв клещи и молоток, начали выдергивать длинные ржавые гвозди, которыми долгие-долгие годы была и сверху, и снизу прибита вторая створка дворовых ворот, и в это время по-прежнему стоящему у крана студенту Мураду Илдырымлы показалось, что парни выдирают не гвозди из досок, а ржавые железные прутья, связывавшие бедную старуху Хадиджу с жизнью, с этим светом, а тащат они эти прутья с такими мучениями, проливая пот, потому, что старуха Хадиджа все не хочет расставаться с жизнью.

Парни наконец распахнули ворота, вынесли тело бедной старухи Хадиджи, завернутое в синеватое поношенное одеяло. Пора было везти старуху Хадиджу в мечеть, обмывать, заворачивать в саван. Но вдруг молла Асадулла обернулся к студенту Мураду Илдырымлы и хрипло сказал:

— Чего ты там стоишь, парень? Иди, иди помоги, отвезите в мечеть!..

Студенту Мураду Илдырымлы показалось, что хриплый голос моллы Асадуллы разнесся по всему двору, по улице и все стали свидетелями беспомощности, никчемности махаллинского квартиранта, уставившись в землю, он с колотавшимся сердцем приблизился к телу и ухватился за ноги старухи Хадиджи. Рука студента Мурада Илдырымлы никогда еще не касалась трупа, и теперь, когда студент почувствовал в своей руке сквозь одеяло вялую безжизненную ногу старухи Хадиджи, ему показалось, что позвавшим его был не молла Асадулла, а сама судьба, она хотела лишний раз продемонстрировать ему его беспомощность и никчемность, судьба будто говорила: мой дорогой друг Мурад Илдырымлы, легко, замкнувшись в себе, величием дорожишь, а ты вот пойдешь, собственной рукой почувствуешь смерть, раз уж тебе двад-

цать семь лет, изволь же и ты, как другие, потрогай смерть своими руками. И вдруг студент с ужасом догадался, что это синеватое одеяло — то самое, которым он укрывался по ночам; в одно мгновение студента прошиб холодный пот, он просто не мог с собой совладать, не мог взять себя в руки; мертвая нога старухи Хадиджи будто распространила смерть, и синеватым одеялом обернули будто не старуху Хадиджу, а самого студента, и студент кожей чувствовал поношенность того одеяла, колени его дрожали, но самое ужасное, что студенту Мураду Илдырымлы казалось, будто весь двор видит, в какое положение он попал, и чувствует его холодный пот. Ненавидя себя за свою беспомощность, трусость, студент, взявшись за старуху Хадиджу, завернутую в синеватое одеяло, вместе с другими махаллинскими парнями сделал пару шагов и как в страшном сне услышал голос Хосрова-муэллима:

— Ты отойди... Давай я понесу, ты отойди...

Хосров-муэллим высохшими, задубевшими пальцами оттолкнул студента Мурада Илдырымлы в сторону, сам ухватился за труп старухи Хадиджи и вместе с махаллинскими парнями вышел со двора, тело подняли на грузовик, сами (в том числе и Хосров-муэллим) расселись рядом, и машина тронулась с места. Конечно, если говорить правду, студент Мурад Илдырымлы должен был почувствовать облегчение и благодарность к Хосрову-муэллиму, но вместо этого он разозлился на него, ведь студент в конце концов заставил бы себя, и поднес бы вместе со всем телом к машине, и поехал бы в мечеть, и доказал бы сам себе, что он — человек, подготовленный к жизни во всех ее ипостасях, а безжизненная нога старухи Хадиджи лишь одна из ипостасей. Человек обязан уметь хоронить, это должно быть для него так же нормально, как пить, есть, ходить в туалет, брать на руки новорожденного ребенка... Студент заставил бы себя... Теперь ему казалось, будто он на весь двор с ног до головы опозорен, на всю махаллю.

Но мужчины за столом во дворе тихо беседовали друг с другом, кран капал и капал, набившиеся в дом махаллинские женщины больше не плакали, и непошедший сегодня на занятия в университет (за четыре студенческих года он впервые пропускал занятия) студент Мурад Илдырымлы, стоя у ворот, опять не знал, что ему делать... Молла Асадулла взглянул на парня-квартиранта, который и прежде время от времени попадался ему на глаза в махалле, и студенту показалось, что молла сейчас начнет его упрекать, стыдить при людях, но молла Асадулла тем же хриплым голосом сказал:

— Чего на ногах стоишь? Иди садись...

Студент подошел, сел в конце стола, и это спокойное приглашение моллы (как будто ничего не случилось!), спокойная беседа мужчин снизили и на студента (а ведь и в самом деле, что случилось?..), и студент Мурад Илдырымлы внезапно вспомнил далекие прекрасные годы, прекрасные леса. Бедная старуха Хадиджа в жизни не выдала их, она не видела ничего, кроме своего дома и двора, наверно, в жизни нигде не ездила, и она, бедняга, больше не выйдет во двор, не пройдет по улице, но дом, двор, улица, пока их не снесут, пока все не развалится, и без старухи Хадиджи останутся такими же, ведь Мурад Илдырымлы давно не в горах, а и горы, и леса остаются такими же, как были

при нем... Студент подумал, что все это хоть и общеизвестно, но странно... Потом он вспомнил, что грызет ноготь, и быстро вынул палец изо рта. Молла Асадулла, глядя на четки, постукивающие в правой руке, хриплым голосом, будто сам с собой, заговорил:

— А этот Мышь, что, так и не пришел до сих пор?.. — Потом левой рукой погладил белоснежную бороду, и только тогда студент увидел, что губы моллы слегка раздвинулись.

Сидевшие за столом махаллинские мужчины тоже как будто вздохнули чуть свободней, и воцарившееся во дворе с утра траурное настроение чуть отступило, напряжение уменьшилось, вопрос моллы Асадулла принес какое-то облегчение.

— Ребята пошли за ним, — сказал кто-то, — придет скоро.

— Человек занят, что скажете...

Сын хлебника Агабалы, повернувшись к молле Асадулле, сказал:

— Что поделаешь? Мыши заполнили город, да...

Никто не улыбнулся, хотя в этих словах — студент уловил — была легкая шутливость, ирония: мертвые уходят, жизнь продолжается по своим правилам... Бедную старуху Хадиджу сейчас мюрдешир (моищик трупов) обмывал в мечети, потом ее завернут в саван и предадут земле, а оставшиеся в живых как жили, так и будут жить, пока не пройдут путь до конца, уйдут и они, — жизнь будет длиться, длиться... Так думал, разумеется, не один студент (и студент это прекрасно понимал!), бесконечность мира всегда переносила с собой эту простую мысль из поколения в поколение, сегодня в этом дворе она посетила студента, через тысячу лет (если люди не уничтожат себя атомными бомбами и ракетами!) она же придет в голову другому, мир изменится, конечно, мир будет совсем иной, но эта простая мысль всегда будет волновать человека...

Сын старухи Хадиджи Мышь-Баланияз работал на республиканской санитарно-эпидемиологической станции Министерства здравоохранения. Задача его была в том, чтобы ставить в домах и учреждениях мышеловки да разбрасывать яд. Муж старухи Хадиджи погиб на войне, и кто он был, что был за человек, — студент понятия не имел, но Мышь-Баланияз знал. Старуха Хадиджа говорила: «У других людей по десять детей, если один плохой, дурной, так другой выходит хороший, толковый... А у меня, несчастной, всего один сын, что делать? Отца его, беднягу, забрали на войну, ушел — провалился этот Гитлер, как он и провалился, — погиб на фронте, в одиночку я вырастила сына, семечки продавая... Плохой, хороший — один-единственный, да...»

Старуха бормотала скорее себе, чем студенту, когда с наступлением сумерек брала свою маленькую деревянную табуретку, наполовину опустошенный мешок с семечками и возвращалась в дом, и когда жарил семечки, и когда сворачивала кульки, и когда ела несвежую кофту, и когда бывала без дела, оставляя открытой дверь своей комнаты, все говорила сама с собой — ночи, тишины боялась, что ли?

«Ушел, стал жить у жены в доме, жена ему дороже, чем я... Да и что ему делать, она же — мать его детей... Бедняга, мышей ловит и этим детей содержит, да... Жена у него татарка, а детей по-русски говорить заставляет, ну а я по-русски ничего не знаю... Не приходит ко мне, видишь?

Раз в месяц заходит... Бойтся, что я деньги буду просить у него... А на что мне деньги? Одна-одинешенька, с голоду же не помру... Теперь в советском государстве кто с голоду умирает? Каждый как-то выкручывается, да. На что мне деньги?»

Так говорила старуха Хадиджа, но студент Мурад Илдырымлы за восемь месяцев хорошо понял, что она, в сущности, жутко падка на деньги и очень скупя. Семьдесят рублей она брала со студента да семейства с Хосрова-муэлима, за погибшего в войну мужа получала пенсию и еще семечками торговала. Одиночества она не выносила, дверь своей комнаты всегда держала открытой. А если дверь оказывалась вдруг плотно-плотно закрытой, значит, она считает деньги — за семечки-то ей платили мелочью, и студент из-за двери слышал звон монет.

«Хорошо еще, мой пока не кидается на меня, мол, дай деньги... Вон сын слепой Амины, бедняжки... Собачий сын, и отец у него такой же подлец... Взял в жены какую-то русскую марышку, б... какую-то, и каждый день является, нападает на несчастную женщину: давай деньги... Откуда она даст, подлец ты этакий! Деньги — дождь, что ли, чтобы с неба падать?.. Мой смиренный... Мышь ловит, ну и что? Детей содержит, да... У меня денег не просит... Почему? Потому что знает: нет ведь у меня, нет у меня денег... Одна сухая плоть осталась, что с меня взять?»

Порой студенту казалось, что старуха Хадиджа все это бормочет, чтобы ее слышал молодой постоялец, да и Хосров-муэлим тоже. Бойтся, что ночью они ее ограбят. А может, она и не думала о таких вещах, бормотала, да и все.

Пока студент Мурад Илдырымлы не видел человека, которого все в махалле звали «Мышь-Баланияз», он почему-то представлял себе, что сын старухи Хадиджи и лицом похож на мышь, и когда старуха Хадиджа уставала говорить сама с собой, укладывалась и, не закрывая дверь, гасила свет, когда гас лучик и в замочной скважине двери Хосрова-муэлима, когда и студент, устав от газет, книг, журналов, выключал лампу, в тяжелые и одинокие ночи то ли во сне, то ли в видениях порой раздавался стук в дверь, и входила мышь в пальто, с шарфом на шее, в мятой шляпе на голове; маленькая волосатая мордочка едва выглядывала из-под мятой шляпы, но глаза сверкали, блестел влажный кончик черного длинного носа, подрагивали тонкие длинные усики. «Сколько в месяц даешь моей маме? — спрашивал он. — Сколько рублей? Я же деньги считаю, знаю, где прячет. Вот умрет, себе возьму. Сколько даешь, отвечаешь? Не понял? Хадиджа — моя мать. Непохожа? Эх, чушка ты, чушка и есть!.. Все деревенские — чушки!.. Хадиджа мне мать, пойми наконец! И она тоже мышь, да!..» Студент стоял лицом к лицу с мышью в мятой шляпе, слушал и боялся: вдруг и сам станет мышью, — и потел, и в страхе просыпался, и долго еще был под впечатлением своего сна или галлюцинации, и ему казалось, что мышь Хадиджа вот сейчас войдет в открытую дверь, залезет к нему в постель...

Но однажды под вечер студент Мурад Илдырымлы сидел в комнате старухи Хадиджи, рубил мясо, и вдруг калитка заскрипела. «Баланияз пришел...» — в тот же миг сказала старуха Хадиджа, будто у калитки был язык и она сообщила старухе Хадидже, что пришел не кто-нибудь, а именно Баланияз.

Старуха Хадиджа встала, бросила беспокойный взгляд на свежую баранину, которую только что начали рубить на пеньке, будто боялась, что Баланияз прямо сейчас съест половину. Студент как обычно сидел, скрестив на паласе ноги, ему было неудобно встать и уйти (не будешь вскакивать, юдять секач, убежать), но и вот так сидеть на чужом паласе с секачом, над пеньком, над мясом было еще неудобнее. Баланияз вошел и увидел его над пеньком с секачом в руке. Старуха Хадиджа сказала: «А-а-а, добро пожаловать... С чего это ты? — «С чего это... — как бы передразнил Баланияз. — Что, я не хожу, что ли?» Голос Баланияза походил не на мышинный писк, а на кошачье мяуканье, и вообще Баланияз, оказывается, был похож не на мышь, а на кот — низенький, полный, круглолицый, голубоглазый и большие, остроконечные уши, не подходящие к его малому телу. Студент Мурад Илдырымлы хотел встать и выйти, но старуха Хадиджа не пустила (не хотела оставаться с сыном с глазу на глаз?).

Баланияз сел на одну из трех табуреток, старуха Хадиджа села на вторую, а студент Мурад Илдырымлы, стораю от стыда (обливаясь потом), тупо продолжал рубить мясо, и старуха Хадиджа сказала: «Ты знаешь, какой хороший парень этот студент? Знаешь, как он мне хорошо помогает?.. Газеты покупает, мне отдает на кульки. Вот мяса купил, я ему обед приготовлю!.. А ты-то как? Баланияз ответил: «Хорошо». Мать спросила про жену, и в этот момент Баланияз, внезапно устремив взгляд на плитку у двери, сказал: «Дырку надо заделать! Конечно! В нее мышь пролезает!» И старуха Хадиджа, и студент Мурад Илдырымлы невольно посмотрели в ту точку, куда уперся взгляд Баланияза, и увидели там едва различимую дырочку, и старуха Хадиджа в изумлении и страхе взглянула на сына. Баланияз внимательно прислушивался к чему-то, и какое-то время они просидели так, в безмолвии, секач замер в руке студента, он не осмеливался нарушить тишину. Наконец Баланияз сказал: «Это мышь... — И улыбнулся. — А вы не слышите? — Снова внимательно слушал. — Точно! Мышь!..» Старуха Хадиджа сказала: «А-а-а... У нас ведь мышей не бывало...» Баланияз с открытой гордостью сказал: «Эх, да мышь разве остановишь? Да никогда! В Италии провели эксперимент (вот какой умный и грамотный был, оказывается, Баланияз): крысу сунили в унитаза на двадцатом этаже и спустили воду, конечно! Знаешь, что произошло? Крыса вышла живой на первом этаже!» Старуха Хадиджа поняла суть «эксперимента» иначе. «Вот это да! — сказала она. — Ты смотри, какие в Италии уборные чистые, а!..» Баланияз с неохотой отвел голубые глаза от мышинной норы, укоризненно взглянул на мать. «Это не главное, — сказал он. — Ты подумай лучше о крысе, какая она выносливая...». Потом Баланияз снова внимательно оглядел комнату, внимательно прислушался, пару раз снесил глаза на мясо, но ничего у матери не попросил и, как внезапно явился, так же внезапно встал и ушел. После ухода Баланияза старуха Хадиджа, скомкав обрывки газет, оставшиеся от кульков, стала пихать их в указанную сыном дырочку и с бесконечной печалью сказала: «Подумать только, я всегда мышей боялась... И у его отца, бедняги, как увидит мышь, волосы вставали дыбом. В кого же он-то пошел, а? Почему он стал мышей-то ловить?..»

И в ту самую ночь к студенту Мураду Илдырымлы постучалась серая кошка в пальто, шарфе, шляпе. Из-под шляпы по бокам вылезали наостренные большие и волосатые уши, голубые кошачьи глаза сверкали неясностью, и студент Мурад Илдырымлы понял, что сам он — мышь и кошка будет его самого рубить на доске секачом. Потом студент догадался, что и Хосров-муэллим — мышь, длинная, худая, облезлая мышь, и эта мышь — Хосров-муэллим, — рыдая, упал в ноги кошке Баланияз: «Меня деткишки ждут!» И прекрасные горы, и бескрайние леса превратились в мышиные норы, и бабушка студента Мурада Илдырымлы тоже была мышью, ее редкие зубы стучали от страха перед кошкой Баланиязом, и бабушка тоненьким голоском, трясась, показывала на мышь — Хосрова-муэллима и говорила студенту: «Пусть его ест! Пусть его ест, а мы убежим...» И бабушка-мышь не стала ждать внука, оставила его одного, сбежала...

И в ту ночь студент Мурад Илдырымлы, проснувшись в поту, до утра не мог уснуть, его томил запах подушки и одеяла, мучило капанье крана во дворе, пугала тьма, давили стены маленькой комнаты, он чувствовал себя самым забытым, самым покинутым существом на свете, и ему казалось, что реальность — это то, что он видит сейчас, а жизнь в реальности — обман. А из двери старухи Хадиджи слышалось ее спокойное и безмятежное дыхание. Зубные протезы на ночь она опускала в стакан с водой (в стакане было их место и днем, когда старуха ела, потому что жевать ими было совершенно невозможно), время от времени она чмокала губами во сне, и ее спокойное дыхание и чмокание были звуками из реального жизни...

...Тело старухи Хадиджи привезли из мечети, и когда ее сняли с гробовника, занесли в дом, махаллинские женщины снова подняли плач. Хосров-муэллим подошел, сел за стол рядом со студентом Мурадом Илдырымлы и как всегда молча оглядел всех махаллинских мужчин по очереди и установился на моллу Асадуллу. Молла Асадулла бормотал себе под нос Коран, слонил палец, переворачивал страничку. Потом пришел Мышь-Баланияз и, не дожидаясь, пока ему станут выражать соболезнование, сам стал соболезновать махаллинским мужчинам, извиняться.

— Царствие ей небесное! Дай Бог вам терпения! Конечно! Да будет это горе для вас последним!.. Рабочий человек я, да... Опоздал. Мы на объект ходили. Царствие небесное. Да, конечно, работы у нас много, очень! Царствие небесное!

Баланияз сел за стол и начал внимательно оглядывать каждый уголок двора. А кран все капал и капал, и студенту казалось, будто все это было и раньше когда-то, а теперь повторяется, будто однажды уже умерла старуха Хадиджа, и было траурное застолье, и так же старуху Хадиджу оборачивали синеватым одеялом, которым по ночам укрывался студент, и так же привезли ее из мечети, и Баланияз тогда уже приходил, выражал соболезнование махаллинским мужчинам, извинялся за то, что у него много работы, и молла Асадулла второй раз читал Коран по старухе Хадидже, и во время прежнего траурного застолья вот так же капал кран.

Тут студент Мурад Илдырымлы понял, что опять грызет ногти, и быстро вынул палец изо рта. Махаллинские подростки (они из-за траура

в махалле не ходили в школу) поставили чай перед мужчинами (в том числе и перед студентом). Беспроволочный телестроф махалли сделал свое дело: бывшие жители махалли, получившие теперь новые квартиры в бакинских микрорайонах — в поселке Ахмедлы, на восьмом километре, на Мусабекова, в Понешли и других окраинах, — шли и шли во двор, мужчины здоровались за руку, выразив друг другу соболезнование, садились за стол, женщины поднимались в дом, в комнаты студента и Хосрова-муэллима, а тело старухи Хадиджи лежало в ее собственной комнате.

Конечно, вчера вечером и в голову никому не приходило, что сегодня в этом дворе будет такое: вчера все было в вечном (казалось, что вечном!) однообразии, сопровождаемом монотонным капаньем крана. Кончалось рабочее время, и люди шли домой, дети возвращались из школы, улица пустела, а с наступлением темноты становилась совершенно пустой, любое хождение прекращалось, и старуха Хадиджа, прихватив от ворот мешок с семечками и маленькую деревянную табуретку, возвращалась домой. Так было и вчера, Хосров-муэллим, войдя к себе, как всегда, запер дверь на ключ. И студент, сидя в своей комнате, как всегда, читал. Только студент не мог запереть свою комнату, как Хосров-муэллим, потому что старуха Хадиджа под тысячами предлогов подходила, стучалась, и студент без конца должен был открывать. Стучать в дверь такого хмурого человека, как Хосров-муэллим, она не отваживалась... Вчера, зашед в дом семечки, кульки, табуретку и увидев студента читающим, старуха Хадиджа, как всегда, забормотала: «И до тебя тут был читатель (она имела в виду своего прежнего квартиранта, благополучно окончившего институт и вернувшегося в свой район), но уж не такой, как ты... Ты — особое существо... И хорошо делаешь!.. У учебы конец хороший бывает, да... Вон у моллы Асадуллы, да вымост ему лицо мюрдешир, жил Мурушуд Гольдяхани. Давно, э-э-э... Полпучка-Мурушуд его называли, потому что, когда ходил на базар, покупал полпучка зелени. Потом книгу написал, стал большим человеком. Я сама видела его книгу... В газетах фотографии его появились, я кульки из них не делала, хранила, не знаю, куда потом положила... Квартиру получил роскошную, уехал отсюда...»

Студент знал о Муруше Гольдяхани, как знал и обо всех в Азербайджане, кто считал себя писателем. Студент даже читал роман этого автора «В колхозе «Счастливая жизнь», и по мнению студента, толстые романы таких писателей только позорили азербайджанскую литературу, но, конечно, не было никакого смысла вступать по этому поводу в дискуссию со старухой Хадиджой. И студент Мурад Илдырымлы, спорщик по натуре, всегда бурно споривший с другими студентами, с членами литературных кружков в университете и Союзе писателей, сторонник европейских модернистов, особенно экзистенциалистов, всегда защищавший свободный стих, знавший наизусть по-русски стихи Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, непримиримый спорщик, способный, не дослушав других до конца, уйти, потому что не выдерживали нервы, — Мурад Илдырымлы заставил себя никак не реагировать на художественный вкус старухи Хадиджи. Ведь старуха Хадиджа не была, как Мухтар Худавенде, заведующим отделом

литературы в газете (не торчала годами как пень в том отделе!), и потому художественный вкус старухи Хадиджи никак не мог влиять на судьбу азербайджанской литературы.

Старуха Хадиджа, разговаривая сама с собой, съела свою старую кюфту, ни на минуту не умолкая, тут же встала, поскольку была очень чистоплотна — в маленькой кухонье между комнатами Мурада Илдырымылы и Хосрова-муэллима вымыла тарелку, вытерла полотенцем, поставила на место, проходя мимо комнаты студента, кивнула на закрытую дверь комнаты Хосрова-муэллима и, понизив голос, спросила: «Этот чего так рано дверь закрыл?» Будто Хосров-муэллим не всегда так рано закрывал свою дверь. Потом старуха Хадиджа еще тише сказала: «Однажды ночью я встала попить водички и слышала, как этот бедняга плачет во сне... Если умрет, кто его похороны оплатит? Ни ребенка, никого нет, один-одинешенек на свете... А деньги у него есть, интересно? А?» Старуха Хадиджа спросила его с откровенным любопытством и, не услышав от студента Мурада Илдырымылы никакого ответа, сказала: «Ты не смотри, что он такой, э... Один раз летом он в Кисловодск съездил... Наверное, деньги есть, да. Но если умрет, плохо будет его, бедняга, дело...»

Эти слова старуха Хадиджа говорила вчера... Говорила, поправляя волосы под старой (но чистой) ситцевой косынкой. Волосы у нее седые у корней, а на концах от хны ярко-красные, как петушинный гребень, а лицо у нее морщинистое, с тонкой кожей, худое...

Студент тоже знал, что Хосров-муэллим плакал во сне, первый раз он среди ночи и не понял, что за звуки слышит, а потом догадался, самому Хосрову-муэллиму, разумеется, не сказал ничего. Возможно, Хосров-муэллим сам не знал, что плачет во сне по ночам, ведь и старуха Хадиджа ему тоже, конечно, ничего не сказала. Как вообще можно что-то говорить такому молчаливому человеку?

Студент Мурад Илдырымылы восемь месяцев жил в одном доме с Хосровом-муэллимом, но знал только то, что этот человек сначала преподавал в школе русский язык, потом торговал газетами в киоске, а теперь на пенсии, знал еще, что своего дома у него нет и уж давно он живет квартирантом у старухи Хадиджи за семьдесят рублей в месяц.

Старуха Хадиджа иногда говорила: «Хосров-муэллим — ветеран труда, э!.. Почему не идет, не просит у государства квартиру?.. Бедняга, он такой несчастный, да!..»

Разумеется, если бы Хосров-муэллим получил квартиру, он не давал бы старухе Хадидже семьдесят рублей в месяц (он не давал бы — давал бы другой!), но старуха Хадиджа все равно удивлялась, что он не просит квартиру. Закрытая жизнь Хосрова-муэллима заставляла задумываться и студента, и временами студенту казалось, что пройдут годы и он сам станет точно таким же, как Хосров-муэллим. Порой студент думал, что хоть и разные они с Хосровом-муэллимом по возрасту, росту, облику, но в этом мире входят в сословие людей с одной судьбой.

...Вчера старуха Хадиджа пожаловалась студенту, что клиентов становится все меньше, у нее осталось много жареных семечек, и она новые жарить не стала, даже внезапно предложила студенту, если он хочет, пусть возьмет горсть семечек, полугаает — за восемь месяцев в пер-

вый (и последний!) раз старуха Хадиджа угостила студента семечками. Студент, естественно, отказался, и старуха Хадиджа со всегдашней аккуратностью собрала кулечки один в другой, завязала мешок — одним словом, приготовилась к завтрашнему (то есть сегодняшнему) дню, потом по обыкновению проверила запор на наружной двери, сходила в туалет, вымыла с мылом руки и лицо во дворе под краном и легла в постель (чтобы больше не встать) — и как всегда оставила открытой дверь в свою комнату.

Студент Мурад Илдырымылы тоже лег, укрылся тем самым синеватым одеялом и неожиданно начал думать о человеке, который жил в этой комнате раньше. Мурад Илдырымылы не видел его, но вчера ночью почувствовал что-то удивительно родственное между тем человеком и собой: тот тоже жил среди этих четырех стен, тоже каждый месяц вручал старухе Хадидже семьдесят рублей, ложился на ту же кровать, укрывался, несомненно, тем же синеватым одеялом по ночам, в чем тоже бессмысленно сомневаться, смотрел в тот же потолок, слушал, как капает кран, временами слышал, как плачет во сне Хосров-муэллим... Может быть, и тот бывший квартирант годами искал роман «Муки моего любимого»... Конечно, не было на свете романа с таким названием, но за четыре года в Баку Мурад Илдырымылы понял, что теперь в Азербайджане и вообще во всем Советском Союзе доблесть в том, чтобы прочитать несуществующий роман! Романа «Муки моего любимого» не было, но ты должен был суметь прочесть несуществующий, ненаписанный роман, твои дела никогда не пойдут на лад...

Студент Мурад Илдырымылы по ночам всегда погружался в пессимистические раздумья об обществе, но вдруг из мрака выныривала какая-то рука и насмешливо крутила пальцем у его виска: эх ты, дурной студент, у каждого в этом мире есть свое место, так было всегда, и так будет всегда — и за тысячу лет до тебя, и через тысячу лет после! — но ты столь никудышное и ненужное существо, что свалившаяся вину на страну и время. Напрасно! Тебе подобные во все времена и в любых странах — в тени, прожив жизнь как скот, они смешались с сырой землей, и не было, нет и не будет никакого различия между ними (тобой!) и скотиной.

Рука, иногда возникавшая по ночам перед глазами студента, на протяжении чуть заметно шевелила пальцами... То была не простая рука. То была рука Леонида Ильича Брежнева. Дело в том, что студент четыре года тому назад видел не самого Леонида Ильича Брежнева, а его руку... Тогда студент Мурад Илдырымылы неожиданно, в первую очередь для себя самого, поступил в университет и только что начались занятия. В сентябре 1978 года товарищи Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко и вместе с ними кандидат в члены ЦК КПСС, помощник Генерального секретаря ЦК КПСС А.М. Александров, член Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС, первый заместитель заведующего отделом международной информации ЦК КПСС В.М. Фалин, заместитель уп-

равляющего делами ЦК КПСС М. Могилевец прибыли в Баку по поводу вручения столице Азербайджана ордена Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР город Баку за заслуги в революционном движении, установлении и укреплении советской власти в Азербайджане, за большой вклад в победу над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, за успехи труженников города в хозяйственном и культурном строительстве был награжден орденом Ленина, и товарищ Л.И. Брежнев лично должен был приколоть к знамени Баку эту высокую награду. Это был второй приезд товарища Л.И. Брежнева в Баку. Первый раз он приезжал в 1970 году, в связи с 50-летием установления советской власти в Азербайджане. Теперь студенты в университете говорили, что товарищ Л.И. Брежнев приедет в Баку третий раз, недавно за большие успехи, завоеванные трудящимися Азербайджанской ССР по претворению в жизнь решений XXV съезда КПСС в развитии народного хозяйства, за досрочное выполнение заданий десятой пятилетки по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции Азербайджанская Советская Социалистическая Республика указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденом Ленина, и будто бы и на этот раз орден Ленина на знамя республики приколот тоже лично товарищ Л.И. Брежнев. Но во время чуть не ежедневных телетрансляций то с одного торжественного заседания, то с другого все видели, что вождь слова выговорить не может. И в таком состоянии вождь приедет в Баку третий раз? В университете студенты говорили, будто Л.И. Брежнев, то есть настоящий Л.И. Брежнев сидит в Кремле, а разъезжает его двойник, и в Баку приедет не он, а двойник.

В общем, все это были пока дела завтрашнего дня, а тогда было 20 сентября 1978 года, и прошло всего двадцать дней, как студент Мурад Илдырымылы приехал с далеких (и прекрасных!) гор, действительно не вставших об очень многих делах этого мира (правильно говорил милиционер Аскер). Он был бессловесным студентом-первокурсником, ему дали в руки большой транспарант и рано утром вместе с другими студентами отправили на бакинский железнодорожный вокзал. Товарищ Л.И. Брежнев выехал из Москвы поездом, и все газеты сообщили, как товарища Л.И. Брежнева провожали из Москвы в Баку руководители партии и правительства, все поместили фотографии. Генерального секретаря и Председателя Президиума Верховного Совета СССР провожали члены Политбюро ЦК КПСС В.В. Гришин, А.Н. Косыгин, К.Т. Мазуров, А. Я. Пельше, М. А. Сулов, Д.Ф. Устинов, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС П.Н. Демичев, секретари ЦК КПСС И.В. Капитонов, В.И. Долгих, М.В. Змиянин, К.В. Русаков, члены ЦК КПСС Г.С. Павлов, Г.Е. Цуканов, кандидаты в члены ЦК КПСС М.П. Георгидзе, В.С. Папунтин, С.К. Цвигун, члены Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС А.И. Блатов, К.М. Боголюбов, Ю.М. Чурбанов, министр дорог И.Г. Павловский, заместитель министра внешней торговли Ю.Л. Брежнев.

Среди студентов университета была такая игра: один из них называл фамилию кого-нибудь из членов, кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарей ЦК КПСС или заместителей Председателя Сове-

та Министров СССР, и кто точно называл имя, отчество, должность обладателя этой фамилии, тот выигрывал сигарету. Точные ответы давали обычно комсомольские активисты и еще те, у кого не было денег на сигареты (потому-то они и учили имена!), а студент Мурад Илдырымылы комсомольским активистом не был, сигареты не курил, но знал наизусть имена, отчества, фамилии всех руководителей, полно и точно называл их должности, и когда студенты начинали пререкаться (например, Борис Никандрович Пономарев или Борис Николаевич Пономарев?), спор разрешал студент Мурад Илдырымылы.

В то сентябрьское утро бакинский железнодорожный вокзал был заполнен студентами, державшими в руках портреты членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС, лозунги, транспаранты, пионеры были в белых рубашечках с красными галстуками, с цветами, октябрята держали в руках маленькие флажки СССР и Азербайджанской ССР, девушки красовались в национальных костюмах, специально заказанных Министерством культуры Азербайджанской ССР по случаю приезда вожды, держали в руках большие блюды, наполненные пахлавой, шекер-бурой, шербетом, виноградом, инжиром, грушами; милицейские работницы и не столь уж молодые комсомольские работницы, низовые партийные функционеры с покрасневшими от бессонницы, ночных репетиций на вокзале глазами ряно бегали туда-сюда... А поезд, который должен был привезти товарища Л.И. Брежнева, все не появлялся.

Было холодно и ветрено, пионеры и октябрята в белых рубашечках, девушки в тонких национальных нарядах так дрожали, что зуб на зуб не попадал, и студент Мурад Илдырымылы ощущал себя в этой гигантской толпе мизерным и ничтожным, как микроб, от стыда за транспарант, который держал в руке, от жалости к девушкам, дрожащим в национальных костюмах. Только-только приехавший тогда с далеких гор и оказавшийся на железнодорожном вокзале в Баку молодой человек будто считал себя виноватым перед красивыми девушками, и то, что девушки дрожали в легких платьицах, задевало достоинство студента, нервировало его.

Казалось, и портреты Л.И. Брежнева, смотрящие с балконов, со стен высоких зданий вокзала, с транспарантов в руках студентов, школьников, комсомольских работников, в этот момент с нетерпением ждали поезда, и когда взгляд Мурада Илдырымылы время от времени падал на широкие брови вожды, ему казалось, будто он не в реальной жизни, не среди обыкновенных людей, и все эти портреты, лозунги, написанные большими белыми буквами на кусках красного ситца, «Слава родной Коммунистической партии Советского Союза», «Да здравствует нерушимая дружба народов нашей Родины», «Мы благодарны Леониду Ильичу Брежневу за неустанную бурную деятельность во имя мира на земле, во имя блага советских людей», «Наши беспримерные завоеванные успехи — результат динамичной и целенаправленной организаторской и политической работы Центрального Комитета партии, его Политбюро, неустанной теоретической и практической деятельности Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, гласящая ленинских прин-

ципов руководства и подлинной социалистической демократии, неустанный борца за мир, дорогого Леонида Ильича Брежнева!» — все эти лозунги написаны, начертаны не по распоряжению райкомов Баку и людей привезли на вокзал не райкомы, а все это сделала сама история, и теперь она, история, записывает на ленту какой-то свой этап.

На транспаранте, который держал в руках студент Мурад Илдырымлы, было написано: «Дорогой Леонид Ильич! Азербайджанские студенты выражают Вам глубокую благодарность и признательность за наше счастье, за подлинно отеческую заботу!», и с течением минут, со смежной часовой тяжестью транспарант нарастал. Комсомольские активисты, низовые партийные работники так же сновали туда-сюда, но было ровняно не чувствовалось.

В это время произошла удивительная встреча: студент оказался лицом к лицу с их сельчанином милиционером Аскером. Милиционер Аскер, в штатском, шагал куда-то, раздвигая людей, и, увидев студента, вздернул брови, остановился: «С праздником тебя!» Студент сначала не понял: «Какой праздник?» — «Как это какой праздник, э? Не видишь, что делается? И нас в гражданские костюмы переодели, чтобы присматривали, вождя охраняли!» Милиционер Аскер знал, оказывается, что Мурад Илдырымлы принят в вуз, приблизив свое лицо к самому лицу студента, он сказал: «А говорил, у бабушки денег нет? Если денег нет, как же ты в институт поступил?» И милиционер Аскер, укоризненно качая головой, удалился, исчез в толпе.

В полдень поезд, везущий товарища Л.И. Брежнева, наконец-то прибыл. Поезд прибыл! Но, как видно, остановился не совсем там, где его ждали: вагон Л.И. Брежнева ушел несколько вперед. Тогда официальные лица, девушки в национальных костюмах с прекрасными инвентарями в руках, большой духовой оркестр со своими народными инструментами — все побежали к вагону Л.И. Брежнева, все перемешалось, и стоявший посреди взволнованной толпы, вдалеке от исторического вагона, студент Мурад Илдырымлы не смог увидеть ни Л.И. Брежнева, ни К.У. Черненко, ни сопровождававших их лиц, и студенту казалось, что он смотрит мультфильм, что люди в цветных нарядах и кумачовые транспаранты нарисованы и движутся в сопровождении зурны, играющей на самой высокой ноте. Всеобщая суета и волнение на вокзале не распространялись, однако, на заполнившие все вокруг портреты Л.И. Брежнева, которых после прибытия поезда внезапно стало в сто раз больше, и вождь с портретов сдержанно смотрел из-под широких бровей на историческое событие, совершающееся на бакинском железнодорожном вокзале...

А через два дня — 22 сентября 1978 года — студент Мурад Илдырымлы увидел правую руку Л.И. Брежнева.

В тот день студентов рано утром собрали перед университетом по обе стороны Коммунистической улицы, снова дали им в руки портреты членов и кандидатов в члены Политбюро, транспаранты, лозунги. Л.И. Брежнев должен был, проехав здесь, вместе с представителями партийных, советских органов, трудовых коллективов, воинских подразделений направиться на торжественное заседание во Дворец имени Ленина — в Бакинский городской комитет партии и городской

Совет народных депутатов для вручения городу Баку высокой награды Родины. Студентам полагалось громко, оптимистично приветствовать вождя, когда он будет проезжать. Каждый выучил приветствия наизусть. Получилось так, что Мурад Илдырымлы оказался на самом краю тротуара, впереди него никого не было. Студент, который смог проявить себя наиболее оптимистичным, кто искреннее и истовее других приветствовал бы вождя, мог быть после исторического дня избран членом факультетского (а то и университетского!) бюро ВЛКСМ. То есть его могли вызвать в ректорат или в парткомитет и назначить членом комсомольского бюро комсомола! А это означало, что и все дела в жизни могли пойти у него очень хорошо — в будущем он мог получить направление в Баку, перейти на комсомольскую работу, потом перейти на партийную работу... Значит, хорошо могло быть не только этому человеку, но и всей его родне!

В начале улицы взорвались аплодисменты, и студент Мурад Илдырымлы понял, что недолго осталось стоять в эту ветреную погоду на Коммунистической улице, едет, едет товарищ Л.И. Брежнев. И действительно, в ту же минуту буквально перед носом студента возникли одна за другой черные машины. В самой большой и красивой (величавая машина!) сидел Л.И. Брежнев и, высунув в окошко правую руку, приветствовал трудящихся Баку (то есть студентов, слушателей военных училищ и милиционеров, сменивших формы на гражданскую одежду, комсомольских работников, низовых партийных работников — инструкторов, заведующих отделами райкомов...). Студенту Мураду Илдырымлы не удалось в тот исторический момент разглядеть самого вождя. Но руку вождя он увидел!

Прежде студенту казалось, будто вождя — необыкновенные люди, они не едят, не пьют, не ходят в туалет. А рука вождя была обыкновенной человеческой рукой, как у обыкновенных людей, у нее было пять пальцев и ногти на пальцах, она была несколько пухлой и рыхлой, причем, кажется, немного загорела на солнце, она была совершенно голая, безволосая... В то сентябрьское утро Мурад Илдырымлы на мгновение именно такой увидел великую руку, и хотя это было давно, рука вождя время от времени появлялась у студента перед глазами и вчера ночью — в последнюю ночь жизни бедной старухи Хадиджи — появилась опять.

Студенту хотелось заснуть, и рука медленно удалялась во мгле, но внезапно, ухватившись за ярко-алый транспарант, снова оказывалась у него перед глазами, и на красных транспарантах опять писались крупными буквами разнообразные лозунги о нашей счастливой жизни, и как студент ни старался, как ни вертелся с боку на бок, рука вождя и красные транспаранты не покидали его среди ночи. В такие часы студент ненавидел всех людей на земле.

Коран в суре Ниса говорил: «О люди! Если Он захочет, вас заберет, других приведет. Аллах на это способен».

То есть если Аллах пожелает, если сочтет нужным, если будет на то причина, он уничтожит людей, вернее, создаст вместо человека какое-нибудь другое существо, и ночами, когда студент, лежа в постели, ощущал ледяной холод мира, у него возникало безумное желание: хоть бы

и исчезли все люди, хоть бы стерлась вся история человечества и возникло бы на земле новое существо...

Порой студент Мурад Илдырымлы ненавидел и сам себя, потому что нельзя же так злобствовать на людей, потому что ведь и сам ты — ничто, и людей хочешь увести в ничто. Сам ты ничего хорошего не достини, а хочешь много и многого ожидаешь, потому и живешь в муках. В той же суре Корана говорится: «Если вы будете благодарить и веровать, на что Аллаху вас мучить? Аллах ценит благодарности и все знает».

В ту апрельскую ночь (то есть вчера!) студент Мурад Илдырымлы отбросил в сторону синеватое одеяло (вот это самое синеватое одеяло!) и сел на кровати. Капание крана во дворе слышалось совершенно ясно, но наряду со стуком капель слышался еще какой-то необычный звук, и студент, все еще не избавившись от преследующей его руки вождя, некоторое время прислушивался к необычному звуку и вдруг осознал, что этот звук — хрип и что хрип доносится из комнаты старухи Хадиджи. У студента даже волосы встали дыбом, потому что ему показалось, что старуху Хадиджу душат, и душит старуху Хадиджу... та самая рука вождя...

В секунду он полностью очнулся, резко вскочил и, затанув дыхание, стал прислушиваться: хрип то прекращался, то усиливался. В тишине кроме хрипа он слышал стук собственного сердца, затем осторожно, на цыпочках, как будто боясь разбудить кого-то, подошел к двери Хосрова-муэллима.

Он только раз тихонько стукнул, и Хосров-муэллим в тот же миг спросил: «Кто там?» Хосров-муэллим включил свет, открыл дверь, и как только студент увидел Хосрова-муэллима в белом исподнем, так понял, что и сам он без брюк предстал перед человеком, со своими тонкими, кривыми, волосатыми, голыми ногами, в длинных синих трусах (купленных, когда он еще работал библиотекарем в селе)...

Впереди Хосров-муэллим, следом студент пошли в комнату старухи Хадиджи. Хосров-муэллим включил свет, и студент Мурад Илдырымлы впервые за восемь месяцев увидел старуху Хадиджу в постели: одеяло было натянуто до подбородка, старуха Хадиджа, повернув голову, не мигая смотрела на порог, студенту даже показалось, будто старуха Хадиджа смотрит на указанную Баланиязом мышиную нору; изо рта старухи бежала белая пена на шею, на белую ночную рубашку, на наволочку в мелкий цветок. Белая ночная рубашка и наволочка в мелкий цветок были такими чистыми, что студент в одно мгновение забыл о скупости, о жадности, о дуличии этой женщины — чистота постели в ту полночь свидетельствовала о чистоте самой старухи Хадиджи...

Старуха Хадиджа больше не хрипела, Хосров-муэллим, приблизившись к старой железной кровати с потускневшим никелем, внимательно посмотрел на хозяйку дома, потом закрыл женщине веки и слышном спокойном для такого момента сказал: «Идем, оденемся...» В спокойствии Хосрова-муэллима студент увидел познавший все в этом мире опыт и безысходность, ничего больше не ждущую от мира.

Они оба оделись, и снова вошли в комнату старухи Хадиджи (студент старался не глядеть на абсолютно белое, застывшее лицо бедной ста-

рухи Хадиджи). А Хосров-муэллим, внимательно посмотрев сверху вниз на студента Мурада Илдырымлы (давеча он так же внимательно смотрел на старуху Хадиджу), неожиданно улыбнулся: «Когда ты постучал в дверь, я здорово испугался...» В улыбке Хосрова-муэллима было что-то вызывающее содрогание, как пена на белоснежной ночной рубашке старухи Хадиджи, на наволочке с мелкими цветочками.

...Молла Асадулла, закрыв Коран, аккуратно положил его перед собой и, уставившись на свои четки, не говорил ни слова; потом отвел от четок глаза, взглянул на Баланияза и хрипло спросил:

— Дел много, говоришь, да, Баланияз?

И Баланияз сказал:

— Эх, знаешь сколько, молла ами! Конечно же много...

— Я вот что слышал, Баланияз... Говорят, старая мельница на улице Хагани больше работать не может, мощности у нее не хватает такой большой город хлебом обеспечить. Но, говорят, и закрывать ее нельзя, ломать нельзя, потому что там столько крыс, столько мышей, что, если мельницу закрыть или сломать, они весь город заполонят... Правду говорят?

Молла Асадулла говорил очень серьезно, но после его слов все махаллинские мужчины, кроме Баланияза, опять заулыбались, и все, улыбаясь, посмотрели на Баланияза.

— Так... Конечно же так! — ответил Баланияз. — Борьбаться с крысами-мышьями дело тяжелое. Там, на мельнице, есть такие крысы, что их кошки боятся. Как увидят, убегают, прячутся.

Молла Асадулла сказал:

— Вот это да!.. Слушай, ты там береги себя! — И уставился на свои четки, и чуть заметно по лицу моллы скользнула легкая улыбка.

А Баланияз с прежней серьезностью, даже с некоторым хвастовством произнес:

— Насчет меня не беспокойся!

Студент Мурад Илдырымлы смотрел на Баланияза: Баланияз, конечно, не читал роман «Муки моего любимого» и никогда не прочтет, но Баланияз был, в сущности, счастливый человек, и потому он мог обойтись и без романа. Человек, посвятивший свою жизнь борьбе с мышьями, не мучился тем, что не мог прочитать «Муки моего любимого»... Баланияз не был похож на старуху Хадиджу, но сейчас в Баланиязе были те же простота и чистота, что у наволочки в мелкий цветок, у белой ночной рубашки, у постели его матери, и уже потому Мышь-Баланияз был высшим относительно студента Мурада Илдырымлы существом во всяком случае, так чувствовал студент в тот апрельский день, в том дворе, среди тех махаллинских мужчин.

А ходившие на кладбище вернулись назад с плохой вестью: на кладбище Тюлюкю Гельди места нет, и бедную старуху Хадиджу похоронить там невозможно.

Молла Асадулла сказал:

— Я вам говорил! Ну можно у них место получить?

Весть донеслась до женщин, и собравшиеся в доме старухи Хадиджи женщины снова начали плакать. На лицах мужчин не осталось ни следа давешней улыбки:

— Что же это такое? Своих мертвых похоронить места не находим...
— В стены старуху хоронить, кто ли?
— Слушай, если мы ее на новое кладбище повезем, в степь, знаешь, как ее дух нас проклянет?!

— Да в какой же еще стране человек не находит места, чтобы на кладбище предков своего мертвеца похоронить?..

— Что это за государство?

Жена хлебника Агабалы высунулась из окна во двор и, забыв о различиях, закричала своему сыну:

— Слушай, мужики вы или нет? Почему этой женщине места на кладбище не находите?

Сын хлебника Агабалы смутился, что мать так кричит при людях, него от ярости прямо искры из глаз посыпались:

— Пойти и воткнуть им нож в легкие, ей-богу...

— Молла Асадулла посмотрел на сына хлебника Агабалы.

— Слушай, — сказал он, — а ты им в легкие нож вонзить сумеешь?

— Чего ж не суметь-то? Да я головы им отрежу!

— Молла Асадулла, перебирая четки, махнул рукой:

— Куда нам... С ними вон целое Советское государство сладить не может.

— Захотело бы, так сладило.

— Но ведь почему-то не хочет, а? Пусть бы захотело...

Сын хлебника Агабалы в ярости вскопчил, но молла Асадулла с несвойственной ему резкостью сказал:

— Сядь!.. — И сразу смягчил тон: — Сядь, детка, сядь... Ты их не знаешь... С ними силой разговаривать нельзя, они ни бога не признают, ни власть... Или надо на лапу дать, или чтобы у тебя кто-то был, свой человек... Или же... — Молла Асадулла обвел взглядом всех махаллинских по очереди, остановился на Хосрове-муэллиме: — Или же немногo так... грамотно-интеллигентно поговорить с ними...

— Грамотный человек — ты!

— Да не-ет... Кто на меня так посмотрит? В них разве что-нибудь от мусульман осталось? Надо, чтобы незнакомый человек был, чтобы порусски там разговаривал... Печати, того-сего, они немного, глядишь, побавляются...

После этих слов моллы Асадуллы все махаллинские мужчины повернулись к Хосрову-муэллиму, потому что все знали, что этот длинный, худой и угрюмый человек прежде преподавал, вел уроки русского языка и всегда газеты читает. Только Балианияз не смотрел на Хосрова-муэллима, все шарил глазами по углам двора. Хосров-муэллим под взглядами махаллинских мужчин почувствовал себя неловко и посмотрел на студента. Молла Асадулла поймал взгляд Хосрова-муэллима и обратился к студенту Мураду Илдырымы: — Старуха так тебя любила... — И с нескрываемой злобой глянул на Балианияза.

Балианияз торопливо подтвердил слова моллы Асадуллы:

— Да!.. Конечно же это так!..

Молла Асадулла сказал:

— Вот видишь? Бедная женщина, царство ей небесное, не меньше, чем его... — Молла Асадулла показал рукой на Мышь-Балианияза, — тебя любила!..

Мышь-Балианияз по-прежнему обыскивал глазами углы двора, одновременно кивал головой, подтверждая и слова моллы Асадуллы:

— Конечно же! Конечно же!..

Студент вспомнил вдруг мешок с семечками бедной старухи Хадиджи и подумал: наверно, через несколько дней Балианияз унесет семечки к себе домой, отдаст детям, и дети с удовольствием будут щелкать семечки, а бабушку свою даже не вспомнят. И мешок с семечками, и маленький деревянный табурет, и сама старуха Хадиджа останутся в памяти только этого двора, этого дома, но придет время, бульдозеры снесут всю махаллю...

Молла Асадулла опять обратился к сыну хлебника Агабалы:

— Ты сядь, — сказал он. — Пусть они пойдут. Аллах милостив...

И Хосров-муэллим со студентом Мурадом Илдырымы пошли на кладбище Тюлюк Гельди, чтобы получить там место, чтобы похоронить бедную старуху Хадиджу.

3. Абдул Гафарзаде

Кровать Абдула Гафарзаде стояла напротив окна спальни, выходящего на улицу, и по обыкновенно, просыпаясь рано утром, он в первую очередь видел свет, и этот свет часто превращался для него в цвет целого дня. Если, открыв глаза после сна, он видел мрак снаружи, весь день с начала до конца проходил в заботах, отрицательные эмоции сменяли друг друга, ни на чем не удавалось отвести душу, ничему не хотелось улыбнуться. Может, это было самовнушение, неизвестно, но, во всяком случае, так было летом и зимой было так же: если темнота за окном была хмурой — хмурился весь день, но бывала ясная, прозрачная темнота — и день радовал сердце.

После того как ребенок ушел из этого мира, уже шесть лет Гаратель не спала с мужем не только в общей постели, даже в одной комнате с Гафаром Абдулзаде не спала. Что переносила Гаратель все шесть лет по ночам, знал лишь Аллах, а Абдул Гафарзаде только догадывался, но от своих догадок он впал в пессимизм, собственная беспомощность приводила его в отчаяние, дела мира казались безвыходными и, по правде говоря, совсем не хотелось жить, а вся прошлая жизнь, все страдания казались бессмысленными.

Каждую ночь перед тем, как заснуть, Абдул Гафарзаде уговаривал себя: «Да, мир бессмыслен и жизнь бессмысленна. Но спи, не мучай голову. Миллиарды таких, как ты, приходили в мир и уходили. Ты не первый и не последний... Спи!» Но спать он не мог. Философ внутри него поднимал голову и начинал разоблачения. Порой Абдулу Гафарзаде казалось, будто он в бане и философ его раздевает, снимает надетые одна на другую одежды, оставляет обнаженным. В ту ночь философ давал оценку его деяниям, словам, поступкам, потом потихоньку устанавливал, пропадал в дреме, а когда окрашенное в цвет утра окно объявля-

ло, каким будет день, философ забывался, уходил из головы, чтобы вернуться ночью. Между утром и ночью жизнь шла по давно заведенному порядку.

Когда в тот апрельский день рано утром Абдул Гафарзаде открыл глаза, он впервые после зимы почувствовал солнечное тепло, пробивающееся сквозь стекло, оно грело душу, в нежности, в мягкости того тепла была будто детская улыбка, и Абдулу Гафарзаде показалось, что он чист изнутри и снаружи, что он абсолютно чист, непорочен и здоров, чист, как стеклышко, прозрачен, сквозь него можно смотреть. Широко разведя руки, он выпятил грудь, набрал полные легкие воздуха, и будто не было у него никаких бед, забот не было. Прищуриив глаза, он захотел снова взглянуть на чистый и теплый свет снаружи, но неожиданно вспомнил свой кабинет в управлении, надгробия, видимые из окон кабинета, и все тело Абдула Гафарзаде привычно содрогнулось, слабое тепло утонуло, пропало в нечистотах.

Абдул Гафарзаде знал, что работает в самом печальном месте на свете: сколько уж лет он был директором управления кладбища Тюлюк Гельди... Абдул Гафарзаде часто задумывался, почему люди так его называли? Говорили, будто кладбище древнее, но Абдул Гафарзаде не нашел ни единого древнего надгробия. Самой старой была могила умершего в 1913 году Мешади Мирзы Мир Абдуллы Мешади Мир Мамедгусейна оглу. Царствие ему небесное, как видно, первым лицом, похороненным на кладбище Тюлюк Гельди, был тот покойник. Конечно, может быть, кого-то погребали и раньше, но могилы потерялись, пропали, ведь по мусульманскому обычаю могила и должна застеряться, пропасть, сровняться с землей. Это теперь — у кого деньги есть, тот пышно украшает родную могилу, памятник ставит. А достоин ли был человек памятника?.. В старину люди сооружали гробницу, превращали в святое место могилу благородного лица, святого человека, ученого, поэта или познавшего мир, просветленного, как шейх Низами. А теперь вся в мраморе могила у секретаря райкома, завмага, мясника, да кто бы он ни был, лишь бы денежный человек... И то хорошо, что после ухода денежных людей в справедливый мир у тех, кто завладел их деньгами, хватило совести хотя бы памятник поставить. Нет, Абдул Гафарзаде ничего не имел против секретаря райкома, завмага, мясника, в нашем несправедливом мире каждый зарабатывает на жизнь как умеет, и секретарь, и завмаг, и мясник были людьми, должны были содержать детей. Абдул Гафарзаде внутренне не мог принять другого: почему не прочитавший за всю жизнь, к примеру, ни одной книжки мясник на своем памятнике изображен в глубокой задумчивости с книгой в руке...

А ведь когда-то и на могиле Абдула Гафарзаде что-то изобразят. Если бы сын остался... Если бы хоть Гаратель была прежней Гаратель... А так... Омар, что ли, станет заказывать надгробный камень? Нет, дай Бог здоровья Севиль...

Абдул Гафарзаде всегда стремился прогнать поскорее эту мысль. Она нервировала, раздражала, выводила из равновесия. Но если по существу — какой был в этом смысл? Покойному Мешади Мирза Мир Абдулла Мешади Мир Мамедгусейн оглу, покинувшему мир в 1913 году,

какая теперь разница, остался ли на его могиле камень? Давно уж и кости его истлели... Конечно, в этой мысли нет ничего нового, все давно известно. Но что такое реальность? То, что старо и всем давно известно, как раз и есть реальность.

Мозг Абдула Гафарзаде работал быстро, и если люди делятся на две группы — живущие сердцем и живущие умом, то Абдул Гафарзаде, пожалуй, скорее принадлежал ко второй группе, и в моменты накаты- вающего лавиной пессимизма ему на помощь всегда приходил разум. Истлели кости покойного Мешади Мирзы Мир Абдуллы Мешади Мир Мамедгусейна оглу или не истлели, имеет все это смысл или не имеет — во всех случаях история кладбища должна быть изучена. Абдул Гафарзаде написал по этому поводу письмо в вышестоящие организации, написал даже в Академию наук. Правда, отдельные исторические надгробия, особенно гробницы, ремонтировались, Министерство культуры на некоторых кладбищах проводило восстановительные работы, но история кладбищ комплексно не изучалась. Археологи выявляли древние захоронения, проводили раскопки, но Абдул Гафарзаде был уверен, что изучать нужно и ныне действующие городские кладбища. Странно, но церкви, теперь приспособленные для органной музыки, или мечети, превращенные в обувные фабрики, кажется, были людям дороже, чем действующие церкви или мечети. Проходя мимо брошенных храмов, люди смотрели на них, качали головами, злились, помнили отцов, дедов, говорили о несправедливости, неуважении. Мимо действующих шли не оглядываясь. И кладбища так же...

Хорошо, хоть теперь ведутся записи, документы покойников отправляются в архивы, но как у нас содержится архивы, господи, только посмотреть... Вот о чем думал Абдул Гафарзаде (он уже встал и умылся) в это весеннее утро, массируя ноги Гаратель, лежавшей на диване в гостиной.

Гаратель говорила:

— Не нужно, Абдул, иди на работу, опаздываешь.

Но Абдул Гафарзаде не обращал внимания на эти слова.

В этот день Фарид Кязымлы, председатель райисполкома, созвал совещание, посвященное выполнению полугодового плана работниками управления коммунального хозяйства. Назначено было на 10 часов утра, первый секретарь райкома партии М.П. Гарибли тоже должен был принять участие (так сообщил вчера по телефону Абдулу Гафарзаде сам Фарид Кязымлы), и Абдул Гафарзаде хотел сначала зайти на работу, а потом пойти на совещание, но рано утром, открыв глаза, он почувствовал прекрасное тепло апрельского солнца, а потом вдруг перед его глазами встали могильные камни...

Когда Гаратель плохо себя чувствовала, она старалась скрыть это от мужа, но от глаз Абдула Гафарзаде ничто не ускользало, он тотчас понимал, что жене опять нехорошо. Он всегда чувствовал это на расстоянии. Потому-то сегодня он зашел навестить Гаратель перед тем, как идти на кухню ставить чайник.

Гаратель, одетая, лежала на диване в гостиной. Она опять была очень бледной, холодной как лед, сильно дрожала, и Абдул Гафарзаде все, даже совещание, забыл. Он помассировал жене ноги, напоил ее чаем,

позвонил и вызвал Севиль и опять, несмотря на протест Гаратель, сел около нее, не собираясь уходить из дому, пока не появится Севиль.

Севиль была младшей дочерью, вернее, единственным ребенком Абдула и Гаратель Гафарзаде. То есть теперь была единственным ребенком, потому что старшим ребенком у них был сын, он был на два года старше Севиль. Его звали Ордухан, и шесть лет тому назад он в три дня ушел из жизни...

Неделю назад Севиль исполнилось двадцать восемь, Абдул Гафарзаде подарил дочери к дню рождения «Волгу». До этого он купил им «Жигули», но Омар плохо водил в городе, три, а то и четыре раза бился. Омар был пианистом, и Абдул Гафарзаде, в то апрельское утро массируя ноги Гаратель, представил себе тонкие, длинные пальцы Омара и улыбнулся. Ему нравилось, что у зятя такие нежные и красивые пальцы. Пусть «Жигули» будет его машиной, а «Волга» машиной Севиль, потому что Севиль внимательнее, проворнее, хладнокровнее Омара.

Дочь все не ехала.

Абдул Гафарзаде построил семье Севиль пятикомнатную кооперативную квартиру, можно сказать, в центре Баку, с большими балконами на море. Вернее, сначала он построил трехкомнатную квартиру, потом семью, живущую рядом в двухкомнатной квартире, переселил в трехкомнатную, и квартира Севиль стала пятикомнатной с двумя кухнями, двумя ванными и двумя туалетами. У Омара был гемморой, и теперь он сидел в туалете сколько хотел. Правда, Омар все благо не так уж и ценил, с утра до вечера его мысли были с пианино, и Абдул Гафарзаде порой искренне поражался, сколько же может человек заниматься, сколько же в человеке охоты, терпения... Отец Омара, Муршуд Гюльджакхани, был какой-то болван (считал себя писателем, но имя его даже в собачьей книге не значилось), а этот все старался, не зная усталости. Хорошо, что Севиль тоже была музыковедом, иначе ведь невозможно вынести столько музыки. Теперь соседям Севиль, и раньше с утра до вечера слушающим пианино, стало совсем туго, потому что восьмилетний Абдул едва ли не перещеголял Омара — игрушками не интересовался, ни телевизор, ни видеомагнитофон ему не нужны, придет из школы (из специальной, музыкальной, имени Бюльбюля), отбросит портфель — и за рояль, ему бы не есть, не пить, а все играть. Абдул Гафарзаде купил внуку отдельный рояль, если что и могло разлучить маленького музыканта с роялем, то только приход деда (то есть деда Абдула) — как только в прихожей слышался голос деда, внук кидался к нему и, пока дед не уходил, сидел с ним рядом.

Омар в одном конце квартиры играл на своем рояле, а маленький Абдул в другом конце — на своем. Хорошо, хоть Севиль не играла. Она писала, хотя писать между двумя роялями было делом нелегким. Но Севиль была бойкая девочка, умная, кандидат наук, и до докторской осталось совсем немного. Правда, Абдул Гафарзаде помогал дочери и в этом, но все равно, кто теперь пишет диссертацию одним только собственным пером? Омар благодаря только собственным способностям стал профессором в консерватории? Так думает только болван Муршуд Гюльджакхани. Хотя сам Муршуд Гюльджакхани, когда собрался издать книгу, прибежал к свату, как заяц.

Севиль работала доцентом в консерватории, у Омара как у профессора был в консерватории свой класс, а маленький Абдул учился во втором классе, но к сегодняшнему дню за его плечами было уже четыре концерта в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева: вместе с симфоническим оркестром играл концерт Моцарта ре-минор и Гайдна ре-мажор. Ребенок восьми лет...

Севиль дала сыну имя своего отца. Сколько Абдул Гафарзаде ни сопротивлялся, ничего не вышло. «Устаревшее имя, давно вышло из моды. Давай дадим ребенку хорошее современное имя», — говорил он. Но Севиль было не сдвинуть. «Я хочу, чтобы он был как папа, — говорила она по-русски. — Я хочу, чтобы он был похож на папу...» И бедный, несчастный Ордухан тоже сказал по-русски: «Пусть делает как хочет. В конце концов, она мать...» И ребенка назвали Абдулом... Ладно бы еще просто Абдул, это полбеды, но полное имя было Абдулалли, в паспорте — Абдулалли Гафарзаде, и Севиль, заупрямившись, так же назвала ребенка.

Странный это был ребенок. Дело не в большом музыкальном таланте (талант в самом деле был велик от рождения, такой не создашь с помощью друзей-приятелей Абдула Гафарзаде), наполнявшим Абдула Гафарзаде гордостью, трогавшем его, заставлявшим без видимых причин улыбаться... Абдул Гафарзаде всегда создавал что-то из ничего и теперь в ответ на свои усилия видел не пустоту, как всегда, а нечто материальное, весомое (да, он создавал внуку условия, да, он расходовал средства — но у внука был талант!). Когда внук бросался к деду, крепко-крепко обнимал его, Абдул Гафарзаде всем существом ощущал, как уходит из него усталость, будто ребенок сверх всякой меры винтит в свое нежное беспомощное тельце усталость Абдула Гафарзаде, его сердечную боль, все беды и заботы. Честно говоря, Абдул Гафарзаде ужасался, ему было страшно, что ребенок может заболеть. Это был удивительный ребенок... Абдул Гафарзаде старался поменьше брать внука на руки, пореже ходить в дом дочери, но сил на это не хватало, он тосковал, грыз себя, ел поедом. Все от нервов, конечно, после Ордухана нервы у Абдула Гафарзаде совсем разгулялись (честно говоря, не одна бедняга Гаратель вышла из строя...), другие, может быть, этого не видели, не замечали, говорили: «вот железный человек», но сам-то он знал... Да успокоит Аллах Ордухана, его смерть была великим горем, убившим сердце, она была как сама безысходность...

Массируя ноги жены, Абдул Гафарзаде спросил:

— Не сильно? Не больно?

Гаратель печально улыбнулась:

— Нет...

Абдул Гафарзаде не мог выносить этот взгляд, сердце его будто попадало в невесомость, воспоминания, захватив, уносили вдаль, в те времена, когда он был малым ребенком и покойная мать так на него смотрела; столько задушевности, родственности Абдул Гафарзаде видел в этом мире в детские годы в глазах своей матери.

Гаратель сказала:

— Ты работой своей не пренебрегай, иди. Обо мне не беспокойся...

Абдул Гафарзаде как всегда серьезно сказал:

— Довольно! — И стал массировать кончики пальцев ног Гаратель. — Может быть, носки снять, чтобы от моих рук тепло шло к тебе? Гаратель так же устало, печально улыбнулась:

— Нет, не нужно... Мне уже хорошо... Ей-богу, хорошо. И Севиль ты зря вызвал. Ребенок бросит дела и примчится сюда...

— Ничего...

Конечно, Абдул Гафарзаде мог повезти Гаратель в Москву, показать лучшим врачам страны, но для этого ее пришлось бы связать, потому что добровольно она лечиться не соглашалась, даже врача Бронштейна к себе не подпускала. Гаратель не боялась врачей, нет, но после Ордухана у Гаратель не осталось никакой охоты жить, никакого интереса. Для внезапно, на глазах постаревшей, обесилевшей женщины жизни больше не имела смысла.

Недавно Абдул Гафарзаде сам ходил к врачу (у этого болвана Муршуда Гюльджакхани есть земляк, профессор Мурсалбейли) и после этого дал себе слово, что больше не пойдет никогда. Как к врачу в руки попал — все...

Порой у него начинало колотиться сердце, он кашлял — и дней десять назад пошел к доктору Бронштейну, работавшему в поликлинике около их дома и долгие годы лечившему семейство Гафарзаде. Бронштейн был еврей, учился в Вильносе, перенес множество невзгод, после войны обосновался в Баку. Хотя было ему за семьдесят, он красил в абсолютно черный цвет волосы и усы, и Абдула Гафарзаде при виде доктора Бронштейна всегда брал смех: волосы отрастали и у корней на голове и усах были абсолютно белыми, и эта белизна очень портила, по правде говоря, черный-пречерный, как агат, цвет молодости.

Доктор Бронштейн внимательно осмотрел Абдула Гафарзаде, взяв под руку, насильно отвел в рентгенкабинет, посмотрел его вместе с рентгенологом, а потом посоветовал Абдулу Гафарзаде показаться хорошему специалисту. Абдул Гафарзаде умел читать по глазам, на этот раз он прочитал в глазах доктора Бронштейна тревогу, даже испуг, и в душе у него возникло неприятное беспокойство, он подумал: «Вот видишь...» Уходя, Абдул Гафарзаде сунул в карман доктора Бронштейна пятидесятирублевку, но доктор Бронштейн вернул деньги и так категорически запротестовал, что еще увеличил беспокойство Абдула Гафарзаде.

На следующее утро он вместе с Муршудом Гюльджакхани пошел на прием к профессору Мурсалбейли. Профессор Мурсалбейли был родом из одного села с Муршудом Гюльджакхани; они вместе кончали школу, и в свое время профессор приходил сватать Севиль как один из уважаемых в Баку людей. Абдул Гафарзаде пошел к профессору вместе с Муршудом Гюльджакхани не потому, что сват был земляком, близким человеком Мурсалбейли, нет, у Абдула Гафарзаде не было надобности в посреднике, но беспокойство довело Абдула Гафарзаде до того, что он не осмелился один пойти к профессору, в одиночку выслушать возможный диагноз... Мурсалбейли приветливо встретил Абдула Гафарзаде, чуть не час осматривал его японскими аппаратами и приветливо проводил. Абдул Гафарзаде спросил:

— Ну что там, профессор?

Профессор Мурсалбейли провел волосатой короткопалой с толстыми ногтями рукой по полному, чисто выбритому лицу и самодовольно сказал:

— Что может быть у такого мужчины, как ты? — и громко засмеялся.

Тревога отпустила Абдула Гафарзаде, он наконец-то задышал спокойно.

— Не нужны ли лекарства? Может, мне что-нибудь принимать?

— Никаких лекарств!

— А что можно есть, пить?

— Ешь — что душа просит и пей — чего душе охота.

Муршуд Гюльджакхани с плохо скрываемой завистью взглянул на Абдула Гафарзаде, и Абдул Гафарзаде тотчас заметил зависть, скрытую в глазах свата, и впервые с тех пор, как посетил вчера доктора Бронштейна, улыбнулся; у Муршуда Гюльджакхани уже тридцать лет была язва желудка, тридцать лет этот бедняга тосковал по нормальной еде и питью.

Профессор Мурсалбейли был в белоснежном накрахмаленном халате, в отвороте халата виднелась волосатая грудь. Абдул Гафарзаде положил в нагрудный карман этого белоснежного накрахмаленного халата три новеньких сотенки.

— Ой... А это зачем... — профессор Мурсалбейли сказал эти слова так, что вопроса в них на самом деле не было, была благодарность.

Абдул Гафарзаде улыбнулся:

— Тебе пойдет впрок, профессор. — И, неожиданно представив себе волосы и усы доктора Бронштейна, выкрашенные в абсолютно черный, как агат, цвет, белые у корней, опять улыбнулся: «Бедный доктор Бронштейн».

Вечером Абдул Гафарзаде послал профессору Мурсалбейли домой большого осетра, и когда тайно пойманный в Каспии и доставленный спекулянтами большой осетр отправился в дом профессора Мурсалбейли, он будто раз и навсегда унес с собой и тревогу из души Абдула Гафарзаде...

Гаратель посмотрела на мужа, боком сидевшего в изножье дивана и массирующего ей ноги:

— Абдул...

— Что?

— Я сейчас хочу отдать свою шкатулку Севиль... Ну зачем она мне? Я одной ногой здесь, одной — там, рядом с моим ребенком. Немного осталось, пока я переселюсь к моему детке, отправлюсь к нему в сырую землю... Совсем мало осталось, э, Абдул...

— Не говори ерунды... — Абдул Гафарзаде сказал это и поспешно отвернулся, потому что Абдул Гафарзаде был, конечно, из тех, кто живет разумом, но ведь сердце есть сердце, и в тот момент глаза Абдула Гафарзаде внезапно наполнились слезами.

— Абдул...

— Ну?

— Что ты скажешь?

— Про что я должен что-нибудь сказать? — Минутная слабость прошла, и Абдул Гафарзаде снова спокойно смотрел на жену.

— Я подарю шкатулку Севиль...

— Пусть останется в доме.

Почти тридцать два года Гаратель и Абдул Гафарзаде жили вместе, и уж за тридцать два года Гаратель прекрасно изучила все оттенки голоса мужа. Теперь она поняла, что три слова: «Пусть остается в доме», в сущности, не слова, а нечто крепче железа.

Абдул Гафарзаде был против того, чтобы держать ценности дома открыто, не потому что боялся, вдруг придут, проверят, увидят, нет, страха у Абдула Гафарзаде, можно сказать, не было (вначале-то был, но шли годы, множились в управлении кладбища число красных знамен, почетных грамот, благодарностей, и чувство страха уходило). Абдул Гафарзаде был против, потому что незачем было хранить ценности дома. Шкатулка Гаратель, немного наличных денег — и достаточно. В шкатулке кольца, серьги, ожерелья, браслеты, которые Абдул Гафарзаде дарил Гаратель в эти долгие годы, и всегда можно было сказать, что драгоценности остались Гаратель от ее отца Ахунда Мухаммедали Аги. Ахунд Мухаммедали Ага был в свое время духовным лицом, известным в Баку шейхом, получившим отличное образование, и неудивительно, если такой человек оставляет драгоценности в наследство дочери. Хотя, царствие ему небесное, на самом-то деле после него остались только древние рукописи да еще семь Коранов в виде написанных разными почерками рукописей. Абдул Гафарзаде оставил у себя всего один экземпляр Корана, а остальные шесть, вместе с древними рукописями, подарил республиканскому рукописному фонду. Тогда, двадцать лет назад, Абдул Гафарзаде сделал это и ради покойного, который был очень чистым, благородным, ученым человеком, и ради Гаратель и детей: пусть хоть в каком-нибудь журнале, в каком-нибудь исследовании упомянут имя деда, имя предка, пусть напишут, что такая-то рукопись осталась от Ахунда Мухаммедали Аги.

А драгоценности в шкатулке Гаратель были действительно антикварными, ни одной современной не было. Абдул Гафарзаде покупал их у ювелиров, снюклягтов, маклеров. Абдул Гафарзаде вообще по своей природе не был современным человеком, не признавал самолетов, видео, магнитофонов, терпеть не мог даже электрический чайник: маперы молодежи, ее наряды, музыка, особенно брюки на девушках, сигареты в женских губах нервировали и совершенно выводили из себя этого человека...

Севиль пришла в начале десятого, и Абдул Гафарзаде отправился на автобус. Пора было ехать прямо в районполком. У него не было машины, а в Баку он никогда не брал такси, потому что считал, что главе семьи с зарплатой 135 рублей в месяц нет никакой необходимости на глазах у людей раскатывать на машинах. Семья Севиль — дело другое. Они люди творческого труда. Кроме того, отец Омара Муршуд Гольджахани как-никак писатель, пишет романы о колхозной жизни. Правда, он настоящий болван, но Абдул Гафарзаде ежегодно организовывал издание одной книги Муршуда Гольджахани (все же — свят). И подаренную Севиль «Волгу» Абдул Гафарзаде купил на имя Муршуда Гольджахани. В советском государстве кто может что-нибудь сказать писателю?

Абдул Гафарзаде любил чисто, аккуратно одеваться и потому покупал сразу четыре-пять костюмов одного цвета, одного покроя, это позволяло менять их незаметно, все думали, что у него всего один костюм, что каждый день он в одном и том же, и некоторые удивлялись, что Абдул Гафарзаде весь год в одном костюме, а костюму ничего, поскольку не снашивается, все как новенький.

Ожидая автобуса, Абдул Гафарзаде опять ощутил тепло прекрасного весеннего солнца и даже вдруг вспомнил Розу, ее тело, скользкое как у рыбы, ее полные белые бедра и груди. Но пришел автобус и вернул Абдула Гафарзаде к реальности.

Как любое предприятие, обслуживающее население, управление кладбища Тюлкую Гельди имело годовую план, год от года возрастающий. Все цифры Абдул Гафарзаде знал наизубок, и вообще в расчетных делах его мозг работал как компьютер: собственный доход отдельно, государственный доход отдельно. В 1980 году годовая план 430 тысяч рублей, в 1981 году добавилось 28 тысяч, в 1982 году план был повышен на 140 тысяч, на 1984 год возрос до 77 тысяч рублей.

А кладбище Тюлкую Гельди не так уж велико, а давать такой план, конечно, трудно. Рытье одной могилы 4 рубля 42 копейки, удостоверение на место — 44 копейки, дощечка с надписью на могиле — 1 рубль 87 копеек, похороны в гробу 41 рубль 50 копеек, в красивом гробу — 46 рублей 92 копейки. Катафалк на час — 3 рубля 15 копеек, носилки — 27 рублей 42 копейки, оркестр — 54 рубля 78 копеек. Причем, по обычаю, гроб, если так можно сказать, не использовался. Ведь люди несли своих мертвых к могиле на носилках. Мало кто и оркестр приглашал. Кто мог, звал на обряд похорон известного музыканта, кто не мог, проводил ритуал погребения без музыки. Оркестр управления кладбища — тарист, кемачист, ударник, кларнетист, зурначи и двое певцов — в основном ходил на свадьбы в ашшеронских селах близ Баку и с каждой свадьбы через Василия, Мирзаби или Агакерима передавал причитающуюся Абдулу Гафарзаде долю.

На кладбище Тюлкую Гельди каждый день хоронили от восьми до пятнадцати покойников, и выполнить план с государственными расценками было невозможно. Поэтому Абдул Гафарзаде открыл маленький цех венков из тонкого железа, и эти крашенные железные венки продавали принудительно, в обязательном порядке. Таким образом, цех давно, в сущности, не изготавливал венков, потому что с ними ведь ничего не делалось, родные покойных, покупавшие железные венки, не знали, что работники управления снова и снова их собирают, несут в цех, долго остававшиеся под дождем и ветром подкрашивают и опять продают. А по документам цех производит в день от восьми до пятнадцати (по числу покойников) венков и столько же продает. На деле целый год обходился тридцатью-сорока венками: железо — устойчивый материал.

Теперь этот цех вместо венков мастерил чемоданы, зубные щетки, мыльницы, рожки для обуви, дверные ручки, вешалки, крючки для ванной, пуговицы для пальто, расчески — словом, Абдул Гафарзаде превратил этот цех в приличную фабрику с современным оборудованием,

с техникой из Прибалтики. Часть изделий он зарегистрировал, будто чемоданы, зубные щетки и пуговицы выпускаются из отходов производства, венки, мол, делаем экономно, эту продукцию (в рамках возможностей, предоставляемых указанными в официальных документах отходами материальных) через торговое предприятие, с которым заключил официальный договор, переводил в государственную казну в счет плана.

Но для плана и этого было мало, Абдул Гафарзаде был вынужден раздувать цифры, связанные с похоронными обрядами. Особенно часто так бывало перед концом года. В один день проводилось пять похоронных обрядов, но Абдул Гафарзаде велел регистрировать в отчете двадцать пять, выдумывал имена и адреса покойников, а деньги в кассу государства переводил из своего собственного кармана, и всегда выполнял годовой план на четыре-пять тысяч рублей, и каждый год получал переходящее Красное знамя, Почетную грамоту, и каждый год занимал в соревновании коммунально-бытовых предприятий первое или второе, в крайнем случае третье место. Только от профсоюзных и него было свыше двадцати благодарностей. В управлении кладбища он создал уголок для всех этих переходящих Красных знамен, Почетных грамот, благодарностей. Почетные грамоты и благодарности велел поместить в посеребренные рамки, изготовленные в собственном цехе венков, развесить на стене.

Эти рамки нравились Абдулу Гафарзаде, и в ближайшем будущем он собирался наладить их массовое производство. Особенно хорошо такие рамки должны были пойти в сельских местностях, в них хорошо будут выглядеть на стенке увеличенные семейные фотопортреты, портрет главы семьи, карточки, которые посылают домой сыновья из армии. У Абдула Гафарзаде было особое чутье на такие дела, и чутье ему говорило, что, если он хотя бы в десяти крупных районах сумеет договориться с торговым руководством, рамки принесут хорошую прибыль. Впоследствии продажу рамок можно было бы расширить, можно было бы торговать ими, как чемоданами, зубными щетками, расческами, в дагестанских и других кавказских провинциях, в Ростовской области, там у Абдула Гафарзаде были влиятельные и деловые торговые знакомства (Грузия и Армения для него были просто родными, как Азербайджан).

Абдул Гафарзаде вел переговоры с людьми, стоявшими во главе дела, не опускаясь до уровня завмагов, даже заведующих универмагами, организацию всех операций всегда брал на себя, потому что если и был на земле человек, которому бы он доверял, то это был он сам. Получалась сделка — хорошо, не получалась — получится другая. И рамки он не собирается делать тайно. Он заключит договоры с заводами, фабриками, школами. Он будет выпускать специальные рамки разных размеров для Почетных грамот, групповых фотопортретов, он будет продавать их недорого, по безналичному расчету, и официальные деньги конечно же пойдут в счет плана, в государственную казну, и управление кладбища будут хвалить за экономно, будут ставить в пример, будут называть среди передовиков на собраниях, в отчетах, которые представляют наверх.

Правда, каждый раз при повышении годового плана в результате мер, продуманных и принятых Абдулом Гафарзаде, его собственный доход тоже возрастал многократно, повышение плана стимулировало его личную заинтересованность, а значит, и предприимчивость, деловитость. Но, несмотря на это, каждый раз, когда годовой план повышался, у Абдула Гафарзаде, человека хозяйственного, знающего цену деньгам, инстинктивно возникал протест, и, бывало, не в силах себя сдерживать, он поднимался на трибуну и высказывал свои соображения (он отлично понимал, что все равно план никто не снизит и, выступая, он только сотрясает воздух, но это-то и было лучшим всего!).

И в солнечное апрельское утро на совещании в райисполкоме Абдул Гафарзаде, попросив слова, поднялся на трибуну.

— Товарищи! Выполнять планы — неотъемлемая обязанность каждого из нас. Установленные планы должны выполняться, и тут не может быть никаких разговоров. Я почти тридцать лет работаю на руководящей хозяйственной работе, но ни разу не допустил, чтобы план был не только не выполнен, но и не перевыполнен...

Первый секретарь районного комитета партии М. П. Гарибли действительно принимал участие в совещании, и всегда усталый, всегда не выпавшийся этот шестидесятипятителетний человек вдруг прервал Абдула Гафарзаде:

— Мы это знаем, товарищ Гафарзаде, и высоко ценим. И как передового, опытного, честного хозяйственного работника вас уважаем. Поэтому не хвалите себя. Мы и без того всегда вас хвалим, другим ставим в пример.

Первый секретарь улыбнулся усталыми глазами залу и взглянул на часы: утром позавтракать не успел, торопился в райком, во второй половине дня будет бюро, а в двенадцать совещание в районном управлении озеленением (это управление раскритиковали в центральной газете), а теперь двенадцатый час — и ясно, что первый секретарь опять перекусить не успеет. От голода у человека в животе урчало, и он беспокойно поглядывал на районных руководителей, сидящих рядом в президиуме: вдруг они слышат. Но районные руководители конечно же делали вид, что не слышат.

Первый секретарь, отведя взгляд от часов, снова посмотрел на Абдула Гафарзаде:

— Поймите меня правильно.

Абдул Гафарзаде уважительно кивнул и сказал:

— Я вас очень хорошо понимаю, товарищ секретарь. Большое спасибо вам за оценку моей работы. Но я не хвалю себя, я коммунист. Мне просто есть что сказать... — И он обратился к залу. — Уже около двадцати пяти лет, товарищи, я заведую управлением кладбища, да не будет ни у кого из вас с ним дел. У нас тоже есть план, и мы, положив жизни, как обычно выполняем его с перевышением. Пользуясь присутствием здесь уважаемого товарища первого секретаря, я даю перед вами слово: это так. Но теперь давайте посмотрим на наш план немножко, как бы это сказать, по совести. В прошлом году у нас было похоронено на 218 человек меньше, чем в позапрошлом. Хорошо, дай бог

людям здоровья, правда? Но как радоваться? А план? Ведь чтобы его выполнить, а тем более перевыполнить, надо похоронить как можно больше людей?

На этот раз Абдула Гафарзаде прервал Фарид Кязымлы, председатель райисполкома:

— Но как же быть, товарищ директор? Что вы предлагаете? Разве бывает бесплатное хозяйство?

В зале стали перешептываться, районные руководители в присутствии первого секретаря считалось неприличным, если другие руководящие работники подавали реплики, прерывали выступающего. И Фарид Кязымлы это, конечно, прекрасно знал, поэтому, наверное, и покраснел. А первый секретарь, глядя в зал не выпавшими глазами, не шевельнувшись, но про себя подумал: видно, я старею, раз они уже обыкновенную этику не соблюдают...

Абдул Гафарзаде так же сдержанно и серьезно сказал:

— У меня нет особого предложения, товарищ Кязымлы, но я хочу сказать, что к управлениям, занимающимся похоронными делами, нельзя применять обычные экономические критерии. Повышать план за счет людей, у которых умерли мать, сестра, сын, дядя, тетя, повышать план за счет их слез, их сердечной боли, что, это как-нибудь сочетается с нашей идеологией? По какой совести, по какой справедливости? Ведь речь не о банном хозяйстве, не о парикмахерских. Речь о кладбище... Теперь я скажу, а вы, товарищи, слушайте. Министерство финансов отбирает у нас, можно сказать, весь доход, приносимый кладбищами, и выделяет материально нуждающимся предприятиям коммунального хозяйства, бытового обслуживания. К примеру, на ремонт жилья. Какой отсюда вывод? Вы подумали? Чтобы квартиры лучше ремонтировались, надо, чтобы больше умирало людей, чтобы родные хоронили их в счет плана? Выходит, что кто-то, к примеру, хоронит отца и не знает, что тем самым помогает кому-то неизвестному отремонтировать квартиру. Это обыкновенной этике противоречит, в голову не вменяется. А наше общество — самое гуманное общество в мире, и нет ни материальной, ни духовной нужды в том, чтобы чего-то достигать за счет слез нашего общества.

Фарид Кязымлы опять не сдержался, опять прервал Абдула Гафарзаде:

— Значит, вы против плана?

Это было, конечно, уж слишком, и первый секретарь, повернувшись, посмотрел на сидевшего рядом с ним Фариду Кязымлы, и в этом взгляде М. П. Гарибли были власть, повелительность, гнев, пока еще не побежденные старостью и усталостью. И высокий, широкоплечий, мускулистый, как спортсмен, Фарид Кязымлы под этим взглядом в мгновение ока съезжился, истаял, чуть ли не исчез совсем, а самое главное, весь зал был свидетелем его съезживания, истаявания.

Первый секретарь обернулся к Абдулу Гафарзаде:

— Продолжайте, товарищ Гафарзаде.

И Абдул Гафарзаде с обычной выдержкой и серьезностью продолжил:

— Большое спасибо, товарищ секретарь. Нет, товарищи, я не выступаю против плана. Я выступаю против того, что не учитывается специфика ряда управлений, в том числе и нашего. Но раз я поднялся на эту...

Иногда во время подобных совещаний, прямо на трибуне, посреди собственной речи Абдулу Гафарзаде вдруг начинало казаться, что это не он произносит слова, глядит в зал, видит знакомые лица, сжимает кулаки, стучит по трибуне, подтверждая свою правоту, — все не он, а кто-то совсем другой; Абдул Гафарзаде одновременно и переживал это чувство, и продолжал свою речь, как будто одна его часть говорила, а другая удивлялась произносимым словам, но и мозг фиксировал бессмысленность всех усилий перед тленностью мира.

— ...трибуну, то поделюсь с вами, товарищи, и другими бедами и заботами. Товарищи, дорога на кладбище — дорога, ведущая к последнему причалу, конечная дорога. В этом большой символический смысл. Люди должны уходить к последнему пристанищу спокойно... А в каком виде дорога на наше кладбище? В безобразном! Ямы, впадины, колдобины, буераки, грязь, теснота. Встретятся две машины нос к носу посреди кладбища, если один из водителей напористей, другой должен пятиться до самого забора... Сколько можно говорить? Сколько можно писать об этом в вышестоящие организации? Мы ведь ничего не просим, пусть только нам позволят открыть дорожно-ремонтный цех с штатом в пять — десять человек, мы сами приведем в порядок наши дороги, каждый год будем их ремонтировать, еще и другим кладбищам сможем помочь, везде дороги плохие. Еще скажу о том, что все работы на кладбище мы выполняем вручную. Бедные наши братья рабочие: лопата у них, кирка да ведро. Ни одного бульдозера. Ни одного компрессора. О какой технической революции мы толкуем? В общем, товарищи... — И скрытая ирония, рождающаяся внутри этого человека перед тем, как он произнесет те слова, что сейчас соберется произнести, проявилась в едва различимом блеске серых глаз за очками, в блеске, который тотчас же исчез, и, разумеется, никем не была замечена не только ирония, то даже и блеск в глазах. — Одним словом, я хочу сказать, товарищи, что мы работаем для будущего. Живем во имя будущего. Все — во имя будущего.

Это были любимые слова Абдула Гафарзаде, и каждый раз, произнося их то ли с трибуны, то ли (ведь он ветеран труда!) на встрече с пионерами, то ли во время беседы с официальными людьми, он внутренне наслаждался; эти слова были отличной шуткой — для самого себя.

Революционеры жертвовали жизнями во имя будущего. Дворяне, беки порвали со своим сословием, были расстреляны в степях Каракума во имя будущего, рабочие, простые крестьяне, бросив свои дела, боролись во имя будущего, приносили в жертву будущему здоровье и даже жизнь собственных детей. Во имя будущего лучшие люди отправлялись в ссылки, во имя будущего заболевали туберкулезом, становились кормом для червей и ворон в сибирской тайге, во имя будущего свергли с трона царя. Но будущее все никак не приходит... Стали во имя будущего и сам дни и ночи работал, не жил по-человечески (говорят, и в Кремле спал на узком диванчике под шинелью...), и людей заставлял работать во имя будущего, уничижал людей, набивал ими

торьмы, и все во имя светлого будущего. Во время войны миллионы и миллионы людей отдали жизни во имя будущего. Хрущев велел выпатчить из Манволея труп Сталина, отменил страх (вот почему теперь в стране тако своеобразие!) и провозгласил на весь мир, что будущее придет через двадцать лет, через двадцать лет настанет коммунизм. Получалось, что Абдул Гафарзаде теперь должен был жить при коммунизме... Он помнил: когда Хрущев объявил о коммунизме через двадцать лет, Гаргатель спросила: «Неужели правда будет коммунизм?» — «Конечно», — сказал Абдул Гафарзаде. «А как это будет?» — «Как будет? Как нужно, дорогая, так и будет. Через двадцать лет ты утром проснешься, возьмешь газеты, и там написано: уже коммунизм. И телевизор скажет, что уже коммунизм. И радио скажет: знайте и ведайте — мы живем в коммунизме. И поэты будут писать стихи: да здравствует коммунизм. А если при коммунизме у рабочего с голоду будет урчать в животе, ну что ж, так бывает — бывает, что у человека урчит в животе, даже при коммунизме».

Пришел наш друг Брежнев — значков, орденов, медалей не осталось: все нацепил себе на грудь, столько лишних калорий принял, что теперь язык во рту не проворачивается, слова выговорить не может, даже по написанному прочитать не в состоянии, никто понять не может, что он лопочет, бедняга несчастный. Но люди опять работают во имя будущего, во имя будущего отдают рапорты, во имя будущего выполняются планы, на идущих с утра до ночи торжественных собраниях во имя будущего на имя Брежнева принимаются заранее заготовленные письма, все (то есть не те, кто готовит и зачитывает рапорты и письма, а несчастный трудящийся народ!) работают не для себя, а для блага, для лучшей жизни будущих поколений, вкалывают, надрываются... Но когда же то будущее наконец придет?

Абдул Гафарзаде считал, что работать во имя абстрактного будущего и во имя его жить и умирать — самое глупое и бессмысленное дело на свете, и порой ночами без сна, думая о делах мира, в том числе и о будущем, он приходил к выводу, что среди множества сказок и мифов, созданных человечеством, есть миф о будущем, изобретенный нашей системой, с помощью этого мифа система управляет сотнями миллионов людей. И потому люди ни во что не верят, и потому так разрушено общество. Абдул Гафарзаде прекрасно знал, что если он сам с этой трибуны вот так издевается и над партией, и над правительством, и над строем, а люди (большинство из них коммунисты и комсомольцы!) вот так аплодируют, что может яснее свидетельствовать о крушении общественной морали? Даже в рабовладельческую эпоху так не бывало, и в Древнем Риме такого не видели. Думать одно, действовать по-другому, с трибуны провозглашать третье, прямо противоположное и первому, и второму, в печати публиковать то, чему не верит ни пишущий, ни читающий, — ни в каком обществе никогда лицемерие не достигало таких степеней, и, размышляя, Абдул Гафарзаде настолько живо представлял себе глубины и высоты всеобщего лицемерия, что только усмехался и качал головой: «Ну и ну!»

Абдул Гафарзаде был деловым человеком, погруженным в работу, знающим в работе толк, и потому был совершенно убежден: больше

половины людей в Советском Союзе, получающих от государства зарплату, урывающих у него деньги — от рабочих до партийных функционеров, от хозяйственников до поэтов и ученых, — в капиталистических странах умерли бы с голоду, потому что привыкли получать зарплату, ничего не делая, а если что и делая, то только для себя. Водитель троллейбуса присваивал деньги за билеты, часть присвоенного отдавал своему бригадиру, бригадир делился со своим начальником, тот с начальником троллейбусного парка, и так выше, выше... Сотая доля копейки за тот несчастный троллейбусный билет добиралась до самых верхов, чуть не до Аллаха... Но если сотую долю копейки умножить на миллион, на миллиард, на триллион, сколько рублей получается?

Сталин был палач — конечно, тут нет слов. И с Хрущевым было не сладить — это тоже дело известное. Самым лучшим, несомненно, был Брежнев: хвали его — и живи как хочешь. И то, что в брежневское время так популярна стала взятка за взятку получают и ордена, и медали, и депутатство, и власть самодержавного масштаба от самого маленького, районного (как М.П. Гарибли), до самого высокого, что фальшивые трудовые рапорты заполнили весь мир, что собрания от сельсоветов до всесоюзных съездов превратились в театральные представления, а выступающие на них — в артистов, что откуда и куда бы ни ехал ты, приедешь все равно на банкет, — все это, ну ей-богу, может вынести только Советский Союз... Размышляя так, Абдул Гафарзаде чуть ли не сострадал Советскому Союзу... Потом усмехался: ничего, в будущем все наладится...

Абдул Гафарзаде, окончив словами о будущем свое выступление на совещании в райисполкоме в то солнечное апрельское утро, спустился с трибуны. После него выступили еще двое, и, поскольку до двенадцати часов оставалось немного, первый секретарь подвел итоги и из всех выступающих выделил Абдула Гафарзаде.

— Вот видите, товарищи, — сказал он, — Абдул Гафарзаде руководит небольшим хозяйством. Но как он точно знает все, от экономических проблем до гражданских, как четко высказывает свое мнение, а самое главное, как искренне болеет за бакницев, за их коренные интересы. Масштабно мыслит человек и понимает масштабно. Многие из вас, когда без бумажки выступают, не могут мысли собрать, что говорят — понять невозможно. А вы обратили внимание на железную логику Гафарзаде? Откуда она? Почему он говорит так ясно? Потому что живет работой, переживает за дело, разбирается в нем, знает, что делает и для кого делает. Мы поставили вас на руководящую работу, но большинство своей работы не знает. Вы думаете, что я не знаю? Знаю. Все сигналы до меня доходят. Здесь много молодежи в зале, так вот, молодые, учитесь у этого опытного хозяйственного работника, учитесь у Гафарзаде. И ты, Кязымлы, — первый секретарь обернулся к Фариду Кязымлы, и снова в одно мгновение выражение лица первого секретаря изменилось, вместо почтенного человека, только что наставлявшего, благожелательно говорившего, на Фарид Кязымлы смотрел совершенно безжалостный человек, — слышишь, никогда не прерывай его!

Фарид Кязымлы снова на глазах съезился, истаял, чуть ли не совершенно исчез. Но, несмотря на это, можно сказать, что все в зале знали:

как бы Фарид Кязымлы ни съезжался, ни таял, это все временно — дела сидящих в зале, крутятся-вертятся, снова возвращались к Фариду Кязымлы.

— Но, товарищ Гафарзаде, — на этот раз первый секретарь обратился к сидящему в зале Абдулу Гафарзаде, — логика логикой, а план — на своем месте. — Чтобы усилить впечатление от этих слов, первый секретарь постучал пальцем по трибуне, и сначала сидящие в президиуме, а потом, глядя на них, и зал стал аплодировать.

Первый секретарь поговорил о важности плана, поручил хозяйственным руководителям мобилизовать все усилия для его перевыполнения, дал необходимые указания, часто поглядывая на часы (и прислушиваясь к урчанию у себя в животе...), припугнул отстающих и так закончил свое выступление:

— Все планы... — он опять постучал пальцем по трибуне и с угрозой повторил: — Все планы... должны быть перевыполнены, чтобы район по всем показателям был победителем социалистического соревнования! — На этом можно было остановиться, вполне можно было закончить, но он, помолчав, прибавил: — Товарищ Гафарзаде правильно говорит, мудро говорит: каждый из нас должен делать все во имя будущего.

Вот так... Без будущего мы ни шагу.

Окончилось совещание, и Абдул Гафарзаде прямо из райисполкома позвонил домой, чтобы узнать, как там Гаратель. Она сама взяла трубку, сказала, что ей хорошо, что Севиль пошла в консерваторию, а потом спросила, что приготовить к обеду. Абдул Гафарзаде рассердился: ничего, мол, готовить не надо, лучше ложись и отдохни, я сам приду и что-нибудь приготовлю.

Как только Абдул Гафарзаде вошел в кабинет (в приемной его ожидали худой и странный мужчина с коренастым парнем...), секретарша (управлению не полагается секретарь, в штатном расписании девушка числилась могилицником) сообщила, что звонила секретарша товарища Фариды Кязымлы Айна-ханум: председатель райисполкома вызывает Абдула Гафарзаде.

Абдул Гафарзаде прошуршал пальцем по стопке свежих газет на письменном столе. Он не курил, не имел пристрастия к выпивке, только сто — сто пятьдесят граммов, самое большее двести, под настроение и за компанию, но ни одного дня не мог прожить без газет. Пристрастие к газетам у него было сильнее, чем у курильщика к табаку или у пьяницы к водке. Газеты были для него как наркотик, жизнь без них казалась невозможной, чтение газет превратилось в ритуал: в полдень, примерно между двенадцатью и часом — то есть как раз сейчас, он садился за письменный стол, менял очки и начинал читать одну за другой газеты, всегда в одной и той же последовательности. Сначала на азербайджанском языке, потом на русском. Причем не с первой страницы, а с последней. Он читал все статьи, на все темы, из всех городов и республик, из любых областей знаний. И работники управления знали, что человек занят, читает газеты и нельзя ему мешать.

Словом, в этот солнечный апрельский день у Абдула Гафарзаде наступило время газет, но он не взял их в руки, а посмотрел на девушку,

улыбнулся... Молодая секретарша по-своему истолковала улыбку Абдула Гафарзаде и покарснела: она работала в управлении кладбища всего десять дней, но ей успели хорошо объяснить, кто такой Абдул Гафарзаде. Девушка знала: если Абдул Гафарзаде захочет, он за один день сольет воду из Сулу дере, за один день Волчыи ворота с землей сровняет... Красивая девушка, после школы она несколько лет подряд пыталась поступить в институт, да ничего не вышло, пришлось устроиться секретаршей на кладбище. Она побановалась Абдула Гафарзаде и была полна любопытства: обыкновенный, кажется, человек, на работу и с работы в автобусе ездит, одет, правда, аккуратно, но десять дней в одном и том же костюме... А машинистка Бадура-ханум, оттрубившая здесь двадцать лет, на днях кивнула на кабинет Абдула Гафарзаде и сказала: «Старайся. И в институт тебя устроит, и в аспирантуру, и профессором сделаешь...» Правда, Бадура-ханум, сказав эти слова, рассмеялась, и в этом смехе был не то какой-то намек, не то злость...

Красивая девушка, однако, краснела зря, потому что улыбка Абдула Гафарзаде не имела к ней никакого отношения, и вообще у Абдула Гафарзаде за эти десять дней не было времени даже как следует девушку рассмотреть,

И теперь, не успев открыть газету, он опять пошел на автобус. Сначала поехал домой, положил конверт в нагрудный карман и отправился в райисполком. Несколько человек ждали приема у председателя, но Айна-ханум (уже пятнадцать лет она работала с Фаридом Кязымлы, он менял одну за другой руководящие должности, а она, как и его персональный водитель, вместе с ним меняла место работы), человек пожилой и многоопытный, только увидев Абдула Гафарзаде, сказала:

— Подождите минуту, Гафарзаде. — Как и председатель, всех подчиненных ему людей она звала только по фамилии. — Минуту, я сейчас. — И Айна-ханум вошла в кабинет председателя и сразу вышла: — Он ждет вас, Гафарзаде, проходите.

Председатель сидел за широким столом и держал перед собой развернутую газету «Азербайджан гянджелери», только и видна была развернутая газета и держащие ее большие, мясистые пальцы Фариды Кязымлы.

«Что бы это значило?» — подумал Абдул Гафарзаде, усердный читатель газет, рубрикой из «Литературки». В самом деле, газета и пальцы над столом выглядели очень смешно.

— Здравствуйте, товарищ Кязымлы!

Председатель спросил из-за газеты:

— А мы давеча не здоровались?

— Привет... божье слово...

Фарид Кязымлы не мог больше сдерживаться, опустил газету и из-за больших заграничных очков пристально взглянул на Абдула Гафарзаде:

— Ты сильно веришь в Аллаха?

— Что меняется, товарищ Кязымлы, от того, верю я или не верю? Верю так верю, нет — так и нет...

— Секретарь правильно сказал, да... Против твоей железной логики не попрешь. Ты бульдозер хочешь, да?

Абдул Гафарзаде, не дожидаясь приглашения, сел у стола лицом к лицу с председателем.

— Технику хочешь? Бульдозер, да?

Абдул Гафарзаде улыбнулся и опять не ответил.

— А вот если я теперь, прямо сейчас, распоряжусь дать тебе бульдозер, это как будет?

— Не распорядишься!

— Почему?

— Потому что ты человек, поживший на свете...

— Ну а чего ты тогда демагогию разводишь? Мол, товарищи, смотрите все, не говорите, что Гафарзаде такой-этакий, никакой личной материальной заинтересованности нет у меня, хочу могилщиков заменить техникой. Так, да?.. А завтра, если кто спросит, скажешь, пойдете посмотреть протоколы заседаний райисполкома, я всегда просил технику, а бюрократы равнодушные не давали... Так, да? Ну теперь как мне распорядиться? Дать тебе бульдозер и сократить до минимума штат могилщиков? А?

Конечно, в кабинете сидел не тот человек, что недавно съезжился, вставал, исчезал под взглядами первого секретаря, но, честно говоря, и при Абдуле Гафарзаде он не выглядел вполне достойным этого кабинета, был не в полном величии и, самое главное, сам это осознавал. Фарид Кязымлы в таких делах не был ребенком, он понимал: Абдулу Гафарзаде стоит только захотеть, и он запросто сгонит Фариду Кязымлы с кресла, выгонит с хорошей работы, потому что у Абдула Гафарзаде были свои люди, добрые приятели и в Центральном Комитете, и в Москве. Говаривали (правду или неправду — кто знает, но ведь говаривали!), что кольцо, подаренное кому-то Абдулом Гафарзаде, теперь на пальце у Галины, дочери Леонида Ильича Брежнева. Как попало колечко на великий палец — Фарид Кязымлы не знал, потому что в сравнении с высоким полетом кольца Фарид Кязымлы был слишком маленьким человеком.

Абдул Гафарзаде опять улыбнулся:

— Не распорядишься...

— Я не распоряжусь — секретарь распорядится! Пошлет тебе и бульдозер, и компрессор! Кто станет перечить секретарю?

— Если бы секретарь хотел распорядиться, все десять лет распоряжался бы, правда?! Да что-то он не очень распоряжается... Слышал, как у него в брюхе урчало, будто завод работает.

— Плохо ты его знаешь... Видал, как он на меня смотрел? Старый волк!

— Волк пусть волком и будет... А мы что, зайцы, что ли?

Абдул Гафарзаде говорил не столько в осуждение секретаря, сколько в предупреждение Фариду Кязымлы. Пока он говорил, неожиданно вспомнил давний случай: вслушавшееся рыжее лицо зубного врача Наджафа Агаевича, его ярко-рыжие, как петушиный гребешок, волосы, брови, ресницы встали перед глазами...

— Вы же были друзьями с секретарем, — сказал Абдул Гафарзаде, — что случилось? Кошка между вами пробежала?

Фарид Кязымлы, оперев локти в стол, обхватил ладонями маленький подбородок и посмотрел в серые глаза Абдула Гафарзаде; внимательно глядя в эти глаза, Фарид Кязымлы почему-то всегда волновался, долго не выдерживал холода серого взгляда.

— С ним разве можно дружить? — спросил он. — Кто ему может быть другом?

— Но ведь ты оказывал ему такое уважение!..

От этих слов Фарид Кязымлы как будто слегка пошатнулся, убрал от лица руки, откинулся на спинку мягкого кресла, махнул рукой:

— Да ну, ты говоришь как ребенок!.. Разве он уважение понимает? У тебя, кажется, ум стал как мой... Да ему хоть море уважения, а если он сочтет целесообразным, в минуту тебе голову отрежет, выкинет и не охнет! Посмотришь — старый человек, с утра до вечера у него живот урчит, но на самом деле это волк, волк, и к тому же бдительнее гуся!..

Абдул Гафарзаде все улыбался, вслушавшееся лицо, ярко-рыжие волосы, брови, ресницы Наджафа Агаевича, зубного врача, все стояли у него перед глазами. Это случилось несколько лет назад, и за прошедшее с того момента время никто, в том числе и Фарид Кязымлы, не узнал (пока не узнал, потому что когда-нибудь, наверное, узнает! — а может, и вовсе никогда не узнает...), что сотворил Абдул Гафарзаде с этим более бдительным, чем гусь, человеком — первым секретарем районного комитета партии, уважаемым М.П. Гарибли...

...Тогда Фарид Кязымлы сам позвонил Абдулу Гафарзаде домой, рано утром вызвал к себе, и, поняв, что дело срочное, Абдул Гафарзаде явился сразу.

Фарид Кязымлы был откровенно взволнован: «Проходи скорее, садись!.. — Вызвал Айну-ханум: — Никого не выпускай!» Айну-ханум удивилась: когда приходил Абдул Гафарзаде, она и так никого не пускала.

Фарид Кязымлы, вероятно, не найдя слов для вступления (правда, в разговоре с Абдулом Гафарзаде вступления и не имели ни смысла, ни надобности), сразу же перешел к сути: «Мужчине нужно золото!» Абдул Гафарзаде поправил на носу очки: «Какому мужчине?» — «Ну, секретарю, да не понимаешь, что ли, Гарибли!»

Воцарилась короткая тишина, Фарид Кязымлы хорошо понимал, что Абдул Гафарзаде обдумывает информацию, потому что, по мнению Фариды Кязымлы, мозг Абдула Гафарзаде в таких делах был как затившийся в засаде умный и хищный волк: если добыча близко и все вокруг спокойно, он стремительно выпрыгивал из засады, если было «но», если что-то ему не нравилось, он из засады не выходил: поэтому Фарид Кязымлы и высказал все сразу открыто, как есть, чтобы у Абдула Гафарзаде никаких «но» не оставалось. «Вчера он меня вызвал. Поговорил о том о сем, я знаю, улицы надо привести в порядок, ну, там... канализация, газопровод, а потом начал: мол, хочу выйти на пенсию, подам заявление об уходе, постарел, устал... Он заявление подаст, ты слышишь?! Потом понемногу кружил, кружил, наконец перешел разговор... У меня, мол, есть немного денег, хочу их в золото перевести... По правде говоря, я сначала подозрительно отнесся к разговору, мы с ним так уж не откровенничали, сам знаешь, никаких особых отношений, раза три-четыре в год делаю ему уважение, и все. Я не его человек. Он

не мой человек!.. Ну, ты знаешь... Почему, думаю, он меня выбрал? Я, между прочим, до сих пор не понял. Словом, он хочет двести пятьдесят золотых десятков... А мне, кроме тебя, надеяться не на кого. Никому другому доверить не могу...»

Наверное, все так и было, как Фарид Кязымлы говорил, потому что, если Фарид Кязымлы просил золотые для себя, какой был смысл скрывать, не первый же раз, не вчера познакомился. А если просил для другого, не называл бы имя М.П. Гарибли, смысла не было. Нет, Фарид Кязымлы говорил правду...»

«Он избрал тебя потому, — сказал Абдул Гафарзаде, — что хорошо знаст. — И, почувствовав, что сказал чересчур грубо, добавил: — Доверяет тебе!..» Фарид Кязымлы ответил: «Не знаю... Все равно — ты должен мне помочь!..» — «А сколько он будет платить за штуку?» Фарид Кязымлы сказал: «Цену я буду назначать. Знаешь, он ведь страшный скряга, пять-шесть раз повторил: «денег у меня мало», «путь будет подешевле», «это все, что я имею!». Будь проклят отец обманщика! Когда он раздевает, то раздевает так, что у человека в кармане ни единой медяшки не остается!..» Абдул Гафарзаде не отвел серых глаз от Фарид Кязымлы: «За тысячу рублей шука пойдет...» Фарид Кязымлы развел руками: «Очень дорого!.. Боюсь, он не согласится...» Абдул Гафарзаде остался тверд: «Из них пятьсот рублей — гарантия, что никто ничего не узнает и разговоров не будет! А что тут дорогого?..» Фарид Кязымлы сказал: «Хорошо, я скажу ему цену, потом сообщу».

Фарид Кязымлы понимал, что из каждой тысячи рублей самое малое двести Абдул Гафарзаде возьмет себе, и Абдул Гафарзаде тоже понимал, что Фарид Кязымлы назовет М.П. Гарибли цену десятки не в тысячу рублей, а минимум в тысячу двести. Правда, ни Абдул Гафарзаде, ни Фарид Кязымлы в деньгах не нуждались, но тут была добыча, была игра, а может, даже болезнь... Но — серые глаза Абдула Гафарзаде улыбнулись — в этих делах пока ничего точно знать нельзя...

Наутро Фарид Кязымлы сообщил, что М.П. Гарибли с ценой согласен.

Зубной врач Наджаф Агаевич был давнишним клиентом Абдула Гафарзаде, вернее Мирзаби: рыжий, неведомого возраста толстак действительно был прекрасным зубным врачом, бакинцы, особенно бакинцы с искусственными зубами, его любили, но мало кто из них знал, что доктор Наджаф Агаевич много лет занимается и тайной торговлей золотом и в этой сфере тоже пользуется большим авторитетом, даже любовно среди клиентов.

Вообще доктор Наджаф Агаевич был очень шустрым человеком и столь же уверенно, как перед немецкой зубной установкой у себя дома, чувствовал себя во всех случаях жизни. В то время вся страна, в том числе и Азербайджанская республика, готовилась к XXVI съезду КПСС, повсюду шел разговор об успехах, достигнутых во всех сферах экономики, хозяйствования, материально-культурного строительства, а также в области дружбы народов: за невиданные доселе успехи все подряд награждались, удостоивались почетных званий, поэты сочиняли длинные, праздничные и достойные великих торжеств стихи, повсюду плескались переходящие Красные знамена, газеты, трибуны, радио

и телевидение славил отеческую заботу Леонида Ильича Брежнева, прекрасный артист Вячеслав Тихонов каждый вечер по Центральному телевидению с присущим ему мастерством читал высокоталантливые литературные произведения Л.И. Брежнева (и за это Президиум Верховного Совета СССР удостоил его звания Героя Социалистического Труда!). В такое время, в такую бурную пору, наполненную энтузиазмом печати, торжественных собраний, встреч, единственная работа доктора Наджафа Агаевича состояла в том, чтобы застеклить выходящий на улицу большой балкон квартиры в нагорной части Баку, где был относительно чистый воздух.

Когда строили дом, не учли бакинский ветер, балкон всегда был на ветру, и даже летом невозможно было выйти подышать воздухом, попить чайку, поиграть в нарды. Но чтобы застеклить балкон в своей собственной квартире, требовалось разрешение инстанций, а его совершенно невозможно было получить, будто, застеклив свой балкон, ты нанесешь невозможный урон архитектуре не только десятиэтажного здания, но и всего нового проспекта. Доктор Наджаф Агаевич пару раз проводил акцию по застеклению явочным порядком. Но в тот вечер, когда работа была завершена, приходили люди из управления милиции и все разрушали. Словом, дело застопорилось, знакомство и взятки не помогли. Из-за такого пустяка, как балкон, стыдно было обращаться к высокопоставленным лицам, как-то суетно, что ли, как-то неуместно, а лица низкого ранга из страха перед высокопоставленными не могли дать разрешения.

В один прекрасный день доктор Наджаф Агаевич, подготовив заранее доски и стекла, вызвал мастеров и заставил их все сделать зараз, и на обращенной на улицу части своего застекленного балкона на четвертом этаже велел написать большими и красивыми буквами:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ XXVI СЪЕЗД КПСС!

Поверх того лозунга он повесил большой портрет Леонида Ильича Брежнева в маршальской форме, с золотыми звездами на груди, бесчисленными орденами и медальными лентами (портрет был заказан заранее в Художественном фонде Союза художников Азербайджана). Он и этим не ограничился: с боковой стороны застекленного балкона повесил на русском языке исторические слова (их тоже крупными красными буквами написали в Худфонде):

ШИРОКО ШАГАЕТ АЗЕРБАЙДЖАН!

Именно эти слова на торжественном собрании, посвященном вручению ордена Ленина столице Азербайджана, сказал лично Л.И. Брежнев, когда в сентябре 1978 года приехал в Баку вместе с вновь избранным секретарем ЦК КПСС К.У. Черненко. Великие слова разнеслись тогда на весь Советский Союз, и теперь никто — ни в управлении милиции, ни в райисполкоме, ни в вышестоящих организациях — не осмелился прийти и разоблачить ставший историческим балкон. Наоборот. Созвали внеочередное совещание райисполкома и приняли специальное решение: чтобы украсить архитектурный облик здания, срочно застеклить уличные балконы на всех десяти этажах. Надежда

Федоровна тогда, не умея сдерживать себя, покачала головой и упрекнула мужа: «Им-то всем бесплатно! А ты, дурак, сколько денег истратил!» Соседи, конечно, были довольны, даже у тех, кто терпеть не мог Наджафа Агаевича, в душе возникло чувство благодарности к этому рыжему человеку. Но по указанию районного усердием домоуправления на новые застекленные балконы навесили столько лозунгов, прибили столько портретов Леонида Ильича Брежнева, что в квартиры свет не попадал. Наджаф Агаевич по ночам тайком по одному снял все лозунги и портреты Л.И. Брежнева, украшавшие его балкон, и никто не обратил на это внимания. Правда, застекленный балкон Наджафу Агаевичу встал в копеечку, но в отличие от соседей, которым вместе с бесплатным остеклением достались и темнота, он за свои немалые денежные имел теперь и свет, и в этом Надежда Федоровна находила утешение.

Жена у доктора Наджафа Агаевича, Надежда Федоровна, прекрасный зубной техник, была русской, и когда азербайджанец Наджаф Агаевич хотел что-то урвать у государства (требовал для себя более выгодную поликлинику, покупал автомобиль вне очереди, боролся за импортное оборудование и аппаратуру врачей), он преподносил как образец дружбы народов свою семью. На высокопоставленных должностных лиц это производило впечатление. При надобности он давал телеграммы в ЦК КП Азербайджана, в ЦК КПСС, в Политбюро, самому Л.И. Брежневу, даже при особой нужде — в Мавзолей Ленина («Дорогой Владимир Ильич! Ты не умер, ты для нас всегда жив! И поэтому от имени нашей интернациональной семьи обращаемся к тебе...»). Детей от имени нашей интернациональной семьи обращаемся к тебе...»). Детей у них не было, и может быть, эта семья из двух человек была одной из самых благополучных в Баку. Надежда Федоровна была белянская-белянская, а Наджаф Агаевич рыжий-рыжий, они так друг друга любили, так хорошо понимали, что, хоть внешне и не были похожи, казалось, что они были близнецами.

После разговора с Фаридом Кязымлы о золоте Абдул Гафарзаде вернулся в управление кладбища, вызвал к себе Мирзаибни и сказал, что вечером они вместе пойдут к Наджафу Агаевичу домой. Мирзаибни удивился. Когда Абдулу Гафарзаде бывало нужно золото, он сам к доктору Наджафу Агаевичу никогда не ходил, дело полностью ложилось на Мирзаибни. Абдул Гафарзаде был спокоен за доктора Наджафа Агаевича, знал, что рыжий осторожен, сдержан, прекрасно разбирается в делах этого мира, и в нынешнее время, среди охватившей страну торжества вероятности, что такого человека зацепят, равна нулю. Несмотря на это, сам он никогда не вступал в непосредственную связь с Наджафом Агаевичем, посредником всегда бывал Мирзаибни.

Как Абдул Гафарзаде считал нужным, так и должно быть: Мирзаибни поговорил с доктором Наджафом Агаевичем, и вечером вместе с Абдулом Гафарзаде они пошли в ту прекрасную квартиру с застекленным балконом. Надежда Федоровна была не только прекрасным зубным техником, прекрасной помощницей мужа, она еще и прекрасно заваривала чай. И Абдул Гафарзаде, усевшись за круглый стол — чистойшей скатерть, серебряные приборы, фрукты, сладости, — отпил глоток-другой прекрасного чая (к сожалению, в нем не было кардамона), поста-

вил стаканчик-армуду на блюде и сказал: «Мне нужны двести пятьдесят золотых десятков».

Конечно, в Баку не было ничего, что было бы неизвестно доктору Наджафу Агаевичу и Надежде Федоровне, и, хотя торговали они золотом с Мирзаибни, кому достается золото — для них не было тайной. Услышав, что на этот раз Абдул Гафарзаде придет сам, Наджаф Агаевич понял, что разговор пойдет о фундаментальном деле. Очень много золота хочет, поэтому сам идеет?..

С обычным удовольствием попивая чай, доктор Наджаф Агаевич переспросил: «Двести пятьдесят штук десятков?» Абдул Гафарзаде подтвердил: «Да, двести пятьдесят штук десятков. — И, помолчав, добавил: — Но... чтобы все двести пятьдесят были фальшивыми». «Что?! — Наджаф Агаевич чуть не поперхнулся чаем. — Фальшивыми?»

Мирзаибни не проронил ни звука, потому что сразу понял: для такого дела его полномочий мало.

Наджаф Агаевич посмотрел на Надежду Федоровну, сидевшую напротив: разумеется, портить отношения с таким человеком, как Абдул Гафарзаде, было бы безумием (он пришел в дом сам — не было ли в этом какого-то знака...), и личное участие в деле такого человека, как Абдул Гафарзаде, обеспечивало безопасность Наджафа Агаевича. Отвергни доктор Наджаф Агаевич просьбу Абдула Гафарзаде, у него враз появился бы такой недоброжелатель, что маленькая семья из двух человек (хоть и интернациональная) не смогла бы жить в привычном благополучии — это была истина, ясная как день.

Доктор Наджаф Агаевич отвел взгляд от Надежды Федоровны и посмотрел на Абдула Гафарзаде: «Трудное дело...» Абдул Гафарзаде кивнул: «Знаю...» Наджаф Агаевич глубоко вздохнул: «Только из глубокого уважения к вам... найду...» Абдул Гафарзаде сказал: «Большое спасибо, доктор. Я такие вещи не забываю».

За все двести пятьдесят фальшивых золотых десятков вместе стоварились на пятидесяти тысячах рублей (Наджаф Агаевич сказал: «Мне самому ничего не нужно. Я только выполню вашу просьбу — поговорю с нужными людьми, найду хорошего мастера... Сам я от вас ничего не возьму...»). И Абдул Гафарзаде из полученных от Фариды Кязымлы двухсот пятидесяти тысяч рублей (интересно, сколько взял Фарид Кязымлы у М.П. Гарибли: триста тысяч? или еще больше?) дал пятьдесят тысяч рублей доктору Наджафу Агаевичу. Скоро двести пятьдесят штук фальшивых монет были вручены Фариду Кязымлы. Никто не отличил бы их от настоящих николаевских десятков, работа была высшего класса. И Фариду Кязымлы, конечно, ничего такого в голову не пришло.

Операция принесла Абдулу Гафарзаде двести тысяч рублей чистой прибыли. А Наджаф Агаевич заработал всего десять тысяч (за фальшивые монеты он заплатил сорок тысяч), свою прибыль он исчислял не только в рублях: Наджаф Агаевич стал другом Абдула Гафарзаде и теперь будет спокойно жить-поживать среди противников в Баку, стоявших нос к носу, как волки...

Конечно, целый целлофановый пакет с фальшивыми монетами, в сущности, был бомбой, и когда-нибудь она взорвется, но Абдула Гафарзаде это больше не касалось. Это не касалось и Фариды Кязымлы, ведь

он просто-напросто вручил М.П. Гарибли целлофановый пакет, не ведая, что в нем бомба, возможно, это не касается даже М.П. Гарибли, считавшего фальшивые монеты настоящим золотом, до конца жизни М.П. Гарибли будет согреваться его теплом... А если М.П. Гарибли коснется? Если бомба взорвется? Если он вдруг узнает?... Ну, тогда у М.П. Гарибли будет инфаркт или он умрет в одночасье. Потому что жаловаться М.П. Гарибли некому. В самом деле, куда он пойдет, кому скажет: меня — старого члена партии, кадрового руководящего работника, истинную номенклатуру, первого секретаря районного комитета партии, обманули, вместо николаевских десятков дали двести пятьдесят фальшивых... Откуда же у тебя, товарищ первый секретарь, собралось столько денег, что ты хотел купить двести пятьдесят штук николаевских десятков? — такой вопрос будет ответом на его жалобу. Во всяком случае, мешок с фальшивками для Абдула Гафарзаде больше не проблема.

...К наступлению теплого апрельского денёка случай с пакетом николаевок был уже событием прошлого, бомба пока не взорвалась, веснушчатое лицо рыжего зубного врача Наджафа Агаевича пропало с глаз Абдула Гафарзаде, и он вернулся к разговору с Фаридом Кязымлы:

— Волк он, говоришь?

— А кто же? Слышал ты, как он говорил: подам заявление, уйду... Где оно?

— Должность — приятная вещь, да... — Слова были двусмысленны, — потому что и Фарид Кязымлы был обладателем должности, и судьба людей, ожидающих сейчас в приемной, была в его руках.

— Приятная вещь, так пусть не фасонит... Волк он, волк.

Абдул Гафарзаде счел нужным повторить:

— Если он волк, пусть им будет... А мы кто, зайцы, что ли, какие-нибудь?

Откровенная угроза... Фариду Кязымлы пришлось принять свою долю. Председатель районного исполнительного комитета осторожно сказал:

— Ей-богу, у вас что-нибудь понять, жить среди вас и целым остаться — трудное дело... Ты себя со всех сторон страхуешь. А мне как застраховаться? А? Ты хоть немножко об этом думал?

Абдул Гафарзаде больше не улыбался, стал, как обычно, серьезным:

— Об этом ты сам должен подумать, дорогой мой. — Встал и, вынув из нагрудного кармана приготовленный дома конверт, положил его перед председателем на стол.

Председатель сунул конверт в средний ящик стола и жалобно сказал:

— И ты месяцами-годами не заходишь...

— Извини, в этот раз на денек задержал, ей-богу, очень много работы, голову, веришь, почесать некогда... Могу идти?

— Я что-то хотел тебе сказать... — Когда Фарид Кязымлы просил что-либо у Абдула Гафарзаде, который был много ниже него по должности, он всегда мрачнел, видно, трудно было ему, маялся, испытывал затруднение. — Моя свояченица ведь сына женит...

— Поздравляю!

— В Москву они едут, в свадебное путешествие...

— Пусть живыми-здоровыми едут и возвращаются!

— В Москве с гостиницей помочь сумеешь?

— А когда они едут?

— Завтра.

— Вечером позвоню, скажу, в какую гостиницу ехать. Могу идти?

— Иди, да...

Абдул Гафарзаде уже было пошел, но вдруг передумал:

— Похоже, и у меня склероз начинается... Ты помоги мне асфальтовый цех открыть. Что в твоих возможностях, сделай. Нужен цех. Другому никому не говорю, а тебе говорю: помоги...

Опять предупреждение. Что ж, Фарид Кязымлы понял, он знал, на что способен Абдул Гафарзаде.

А Абдул Гафарзаде повторил:

— Помоги... И кладбище благоустроим, и план хороший дадим, и к тому же... очень хорошо будет. Вот смотри, в старых бакинских кварталах у всех домов крыши кировые, текут, ремонтировать некому, кирпичиков в городе не осталось. Если я начну их ремонтировать, представляешь, как хорошо? Денег будет — не счастье... И у тебя дела наладятся...

Фарид Кязымлы пристально глядел на Абдула Гафарзаде сквозь красивые очки:

— Посмотри...

Абдул Гафарзаде вышел из кабинета председателя.

В конверте, как обычно, была тысяча рублей.

4. С законом шутить нельзя

Мурад Илдырымлы за четыре года студенчества только раз был на городском кладбище, когда писал рассказ «Все проходит...» (до сих пор он валяется в столе Мухтара Худавенде). Стоя в уголке, Мурад Илдырымлы наблюдал погребальный обряд, и тогда кладбище не показалось ему таким огромным, таким бескрайним. А в этот апрельский день, когда студент вместе с Хосровом-музллимом сидел в управлении кладбища и ждал директора, ему казалось, что сам воздух маленькой приемной состоит из могильных камней. После десятого класса, впервые приехав из села в Баку, он был поражен огромностью города, кладнокровием города, множеством не знающих друг друга, куда-то спешащих людей, толкотней в автобусах и троллейбусах. Тогда город произвел на Мурада Илдырымлы огромное впечатление, потряс его. Так же теперь потрясло кладбище Тюлюк Гельди, немое молчание выстроенных в бескрайние ряды могильных камней.

Дороги к управлению кладбища они не знали, из автобуса вышли у нижнего края и долго шли меж могил. Кладбище Тюлюк Гельди было совершенно пустым, и студенту Мураду Илдырымлы с Хосровом-музллимом не у кого было спросить дорогу. Этих двоих — худого, длинного, широкого в шаг и низенького, неуклюжего, чуть не бегущего, чтобы не отстать, — молодого и старого, уравнивала бедность одежды, во взглядах, лицах и жестах обоих была одинаковая беспомощность, жал-

кость, и между их убожеством на абсолютно пустом кладбище Тюлюк Гельди и беспринципными могилами было что-то родственное.

Хосров-муэллим, как обычно, молчал. Но студент вдруг ни с чего содрогнулся: ему показалось, что вот сейчас Хосров-муэллим спросит дорогу у могильных камней...

Пелтя между надгробиями, глядя на высеченные в камне бесчисленные лица стариков, детей, женщин, мужчин, парней, девушек, студент думал, что весь мир состоит из подобных холодных портретов, и он сам, то есть студент Мурад Илдырымлы, в сущности такой же портрет, и нет никакого смысла теперь искать управление кладбища, хлопотать место для бедной старухи Хадиджи, радовать махаллинских жителей, и вообще студенту казались совершенно ненужными не только его собственные чувства, собственные раздумья, собственные страдания, но и вся жизнь, своя и чужая.

Худое тело Хосрова-муэллима будто исчезло внутри длинного черного плаща, темно-синих брюк, черных туфель, аккуратно залатанных по бокам, старой зеленой шляпы. Казалось, что черные туфли, темно-синие брюки, длинный черный плащ с запачканными полами двигались сами по себе.

В маленькой приемной перед кабинетом директора быстро печатала на машинке женщина, когда-то бывшая, как видно, очень красивой, но состарившаяся, мешки под глазами. Под стук клавиш студенту казалось, что все днится: пустой плащ в черных туфлях продолжает петь, дить меж могил. Он опомнился и торопливо отнял руку от рта, чтобы не грызть ногти.

А сам Хосров-муэллим на стуле в самом углу приемной, сложив на коленях руки, хрустел пальцами и не шевелясь смотрел на коричневую, обитую кожей дверь кабинета директора (...а цвет больших глаз Ширин окрасил в черный цвет оставшееся в далеком и вечном прошлом беспокойство...)

Машинистка, не сбрасывая скорость, бросала взгляды то на Хосрова-муэллима, то на студента, а когда склоняла голову над печатным листом, скорость возрастала — и казалось, что клавиши бьют не по белому листу, а колотят по всем уголкам маленькой приемной.

На столе перед молодой и красивой секретаршей был всего один ярко-красный телефон. Он часто звонил, и секретарша тонким девичьим голосом, как попугай, говорила всего три слова:

— Товарища Гафарзаде нет... Товарища Гафарзаде нет... Товарища Гафарзаде нет...

Девушка приглушила телефонный звонок, он не звонил, а хрипло вато, глухо викал, и студенту казалось, что это могильные камни, среди которых они недавно петьяли, звонят, ищут товарища Гафарзаде.

Иногда по телефону что-то, видимо, просили передать, и девушка-секретарша с заметным усердием делала запись в блокноте, а женщина-машинистка тогда бросала взгляд на девушку-секретаршу и еле заметно улыбалась. Что было в ее улыбке? Ирония? Зависть? Коварство? Или что-то другое?..

Как только молодая и красивая девушка-секретарша называла фамилию Гафарзаде, Хосров-муэллим всякий раз отрывал взгляд от кожаной

директорской двери и смотрел на телефон, потом снова вперялся в коричневую дверь.

Ярко-красный телефон был раздражающей цветовой точкой в приемной. Он слишком контрастировал с коричневой кожаной дверью, с монотонным стуком машинки, с устремленными на директорскую дверь глазами Хосрова-муэллима, со старым ковром на полу, с мрачно-серыми стенами и серым деревянным потолком.

А директора в кабинете не было. Правда, он входил в свой кабинет, но тотчас же вышел и ушел, и Хосров-муэллим со студентом к нему не успели войти и теперь ждали, когда директор вернется, а время шло, и собравшиеся во дворе бедной старухи Хадиджи, и толпившиеся у ворот махаллинские мужчины, и суетящиеся в доме старухи Хадиджи махаллинские женщины, наверное, жаждали их и теряли терпение. Все там, конечно, ворчали, были недовольны, но не управлением кладбища, а Хосровом-муэллимом и студентом.

Студент разглядывал старый ковер на полу и думал, что этим ковром годами накрывали трупы перед погребением (причем ничейные трупы...), и он износился, истончился, стал даже для ничейных трупов непригодным, потому его здесь и расстелили, и студент ощутил в ковре под ногами какую-то рыхлость, будто безжизненная нога старухи Хадиджи, завернутая в синеватое одеяло, теперь оказалась под этим ковром. Вообще в этой маленькой приемной был могильный холод, и женщина-машинистка, и девушка-секретарша были как бы мертвецами, и странно, что они печатали на машинке, отвечали на телефонные звонки, все равно через некоторое время они пойдут и лягут в свои могилы на кладбище Тюлюк Гельди...

Пальцы Хосрова-муэллима время от времени издавали громкий хруст, и студент Мурад Илдырымлы взглядывал на тонкие волосатые и морщинистые пальцы — и они, как старый ковер на полу, напоминали о гробе, мертвце, могиле.

У студента жалось сердце.

Студент думал, что, оказавшись на его месте другой, возможно, он не сидел и не ждал бы директора так долго, он нашел бы кого-нибудь в управлении кладбища, сумел бы договориться, устроил бы хорошее место для бедной старухи Хадиджи. Но студент не мог поговорить ни с кем в управлении кладбища, хотя несколько попыток сделал. К кому бы он ни подходил, ему говорили: «Не знаю... Не знаю...» — и даже в лицо не смотрели. А Хосров-муэллим лишь сопровождал студента, не раскрывая рта, не произнося ни слова, и в это время студент бурлил от ярости, злился, что пожилой человек бродит как тень bestолковая. Но странно, что-то было в Хосрове-муэллиме такое, студент не мог определить что, — но долго сердиться на него было невозможно, гнев остыл, осталась досада, что он, студент Мурад Илдырымлы, не единственный свидетель собственной беспомощности, для Хосрова-муэллима она тоже очевидна. Жизнь за пределами маленькой приемной управления кладбища шла как в муравейнике, все молча сновали туда-сюда, все были чем-то заняты, и, кроме слов «не знаю... не знаю...», ни от кого ничего нельзя было добиться. Никому не было дела до того, зачем сюда пришли молодой человек и мужчина в черном, чего эти двое хотят.

Наконец какой-то рабочий с полными доверху ведрами раствора показал на русского парня, дававшего какие-то указания каменотесам: «Вон с ним поговорите... Это Василий, да... Поговорите...»

Русский парень по-азербайджански говорил чисто, а слушал невнимательно, без интереса: «У нас мест нет. — И посмотрел на студента, на Хосрова-муэллима испытующим взглядом. — Может быть, нашел бы для вас одно место... В нижней части, рядом с маслинами, сделал бы вам место, может быть... Пойдите посмотрите... Стоить это будет четыреста рублей». У студента в кармане даже четырех рублей не было, и русский голубоглазый парень тотчас это понял. «Места нет, я вспомнил... — сказал он. — И у маслин места нет... Идите, похороните на новом кладбище...» Студент снова что-то залепетал, но русский парень больше не слушал.

А теперь уже несколько часов они ожидали директора. Майор милиции, очень толстый, щеки румяные и гладкие, как яблоки, снова вошел и спросил у девушки-секретарши:

— Абдул Ордуханович не пришел?

Девушка опять встала и опять сказала:

— Нет, пока не пришел...

Женщина-машинистка улыбнулась той же улыбкой. Майор милиции третий раз заходил, и девушка третий раз вставала, как видно, погонны были чем-то вроде магнита, поднимающего ее с места, что не ускользало от глаз повывавшей мир женщины-машинистки и вызывало ее улыбку.

Только майор милиции собрался уходить, как пришел директор, и не успевшая сесть на место девушка-секретарша вытянулась в струнку. А самое интересное было то, что и рыхлое туловище толстого майора внезапно окрепло, плечи поднялись, живот немного втянулся.

Майор сказал:

— Здравствуйте, Абдул Ордуханович...

Директор из-под очков внимательно посмотрел на майора:

— И ты здесь? Ну заходи...

Директор, ни на кого больше не взглянув, закрыл за собой и майором дверь кабинета.

Студент посмотрел на дверь, потом на Хосрова-муэллима.

Хосров-муэллим с еще большим усердием ломал пальцы.

Студент не знал, то ли опять сесть на место, то ли что-то делать... Женщина-машинистка, оторвавшись от печатного листа, сказала:

— И вы войдите, скажите, что вам надо. С ним там наш участковый уполномоченный, а он, бывает, и два часа сидит. Войдите... — Потом стрельнула глазами в обеспокоенную девушку-секретаршу: — Не вмешивайся, пусть войдут...

— Он же рассердится...

— Ничего не будет... Люди четыре часа ждут...

Красивая и молодая девушка-секретарша, хлопая ресницами, смотрела на женщину-машинистку.

Впереди студент, следом Хосров-муэллим открыли дверь, вошли, и директор, говоривший с майором, удивленно посмотрел на них.

Студент сказал:

— Здравствуйте...

Директор ответил:

— Здравств... — Ответ на приветствие был скорее вопросом: мол, чего вы хотите и почему самовольно влюмились?

Студент зачастил:

— У нас... у нас... Мы просим вас... Умерла старая женщина... Мы хотим... похоронить ее здесь... Нужно, чтобы мы похоронили ее здесь...

Директор, уже не с удивлением, а с любопытством глядя на парня, низкорослого, взъерошенного, смуглого, с грубыми чертами лица, спросил:

— Ее надо похоронить?

— Да...

— Ну так хорони... А от меня что нужно?..

— Места мы хотим, да... Места...

— Детка, я что, места раздаю?.. А это кто такой? — Директор показал на Хосрова-муэллима.

— Он тоже... Он со мной, квартирант...

— Умершая — твоя мать?

— Нет... Хозяйка дома...

— Детка, ну так очень хорошо... Умерла, царствие ей небесное... Кто может остаться в этом мире?.. Все умрет, да... А я при чем?

— Место хотим, да... Место, чтобы старуху похоронить.

— Я места не раздаю, дорогой мой... Здесь мест нет... Государство открыло прекрасное новое кладбище, отвезите покойницу, похороните там, да...

Студент взглянул на майора милиции и решил, что нужно бороться до конца, надо разоблачить безобразия, творящиеся в государственном учреждении, надо прямо сейчас этого самого директора разоблачить перед майором.

— Место есть!.. За место с нас деньги просят!..

— А разве без денег место бывает? — Директор на этот раз смерил с ног до головы Хосрова-муэллима и рассмеялся, то ли словам студента, сказанным так страстно, так прямо, то ли над нарядом Хосрова-муэллима.

Студент с яростью и колотящимся сердцем посмотрел не на директора, а на майора милиции и сказал:

— Да нет! От нас хотели получить взятку!

— Взятку? — Директор тоже посмотрел на майора милиции и на этот раз с откровенным удовольствием рассмеялся. — Не может быть!

— Четыреста рублей потребовали от нас! — Студент осмелел и еще раз повторил ту колоссальную цифру. — Четыреста рублей!

— Ты ведешь борьбу со взятками?

Студент не знал, как надо ответить, но директор не стал ждать — интерес пропал, он сказал резко:

— Иди, иди занимайся своим покойным!.. Мне некогда!

Слова директора, выражение его лица и вообще дела этого мира внезапно наполнили душу студента Мурада Илдырымлы бунтующей страстью протеста, от волнения у него трясся подбородок, трепетало сердце:

— Это незаконно! Незаконно... В Советском Союзе такое незаконно допускать нельзя...

Директор тихо, но по-прежнему резко сказал:

— Встань, Мамедов, встань, покажи ему закон Советского Союза! — Майор вскочил, схватил студента за руку, и студент почувствовал в его пальцах крепость стали, неожиданную для такого рыхлого тела.

— Идем! Идем!.. — Майор одной рукой вынес, приподнял над полом, студента Мурада Илдырымылы из директорского кабинета, быстро прошагал мимо вытаращившей от изумления глаза девушки-секретарши, распахнул дверь во двор, но руку студента не выпустил, так же быстро потащил студента к воротам.

Майор так схватил руку и так тащил, что студент не мог вывернуться, ему приходилось чуть не бежать, а злость перехватила горло, и он не мог пошевеливать языком, даже кричать не мог. Хосров-муэллим, руки в карманы, быстро шел за ними.левой рукой майор открыл калитку и правой вышвырнул студента наружу:

— Чтoб ноги твои здесь не было!

Некоторое время Хосров-муэллим со студентом шагали молча, и вдруг студент, не имея больше сил сдерживаться, зашмыгал носом, захлипывал, а когда слезы докатились до губ, почувствовал во рту их соленый вкус и разрыдался. А Хосров-муэллим молча шагал рядом...

... Когда пришел наконец автобус и они сели, студент Мурад Илдырымылы успокоился и теперь снова стыдился своей беспомощности, своей ничтожности. Хосров-муэллим сидел напротив, вперив взгляд в неведомую точку. В глазах Хосрова-муэллима студент увидел такую боль, какой еще никогда в жизни не видел в глазах ни у одного человека.

5. Костер

Разноцветный, грозный большой петух, вытянув толстую, как у гуся, шею, сел на ветку старой груши и закричал матерым голосом. Фазтонщик Ованес-киши заворочался на сиденье, помахивая поводьями и глядя на разноцветного петуха поверх сложенного из высохших ежевичных кустов забора, закричал в сторону двора:

— Уж полдень прошел, ара, учитель!.. Ара, быстрее, да!.. — Потом фазтонщик Ованес-киши проворчал себе под нос: — Ара, мусурман, собрался в соседнее село, а так прощайся с домом, будто в Америку едет!..

Кони, впряженные в фазтон, опустили головы, отдыхали, набрали сил перед дальней дорогой; кони привыкли, что фазтонщик Ованес-киши разговаривает сам с собой.

Хосров-муэллим, учитель русского языка гадрутской школы, весенним утром 1929 года уезжал на месячный семинар. Его направил в Шушу Комиссариат народного образования Азербайджанской ССР. С вечера учитель договорился, что его отвезет Ованес-киши, возивший пассажиров-клиентов между Шушой и Гадрутом, ставший вместе со своим фазтоном и своими разговорами частью прекрасной дороги

Гадрут — Шуша, такой же неотъемлемой частью, как извилистые подъезмы, как леса, как отвесные скалы.

Грозный петух, вцепившийся грубыми и мощными когтями в ветку старой груши, опять прочищал горло хриплым криком, но не успел он снова кукарекнуть, как Ованес-киши опять позвал:

— Ара, учитель!.. Ара, полдень уже!..

Петух бросил на фазтонщика Ованеса-киши косой и сердитый взгляд с грушевого дерева, с возмущением спрыгнул во двор и стал прохаживаться между курами, выпитив грудь, держа голову прямо, строго гоюча.

Фазтонщик Ованес-киши обычно выезжал рано утром из Гадрута в Шушу и во второй половине дня, взяв пассажиров в Шуше, возвращался в Гадрут. Теперь он был раздражен, что вот так теряет время перед воротами Хосрова-муэллима:

— С ними договариваться бесполезно, дела не сделаешь, клянусь верой! — ворчал Ованес-киши, но любил Хосрова-муэллима. Высокий, худой, посвятивший всего себя школе, просвещению, учитель своим спокойствием, доброжелательностью, культурой завоевал любовь всех жителей Гадрута, в том числе и фазтонщика Ованеса-киши.

Люди с сотнями своих горестей приходили к Хосрову-муэллиму. У одного родственника ни за что посадили, у другого незаконно конфисковали приусадебный участок, третьего выслали, у четвертого голоса отобрали, а человек, лишенный голоса, ставился вне общества, он не имел права не только голосовать, это-то полбеды, он лишился права куда-либо жаловаться, лишился всех человеческих прав. Хосров-муэллим писал от их имени на русском языке жалобы и заявления товарищу Сталину, товарищу Рыкову, товарищу Бухарину, Хосров-муэллим никому не отказывал, не жалел сил, заявления писал бесplatно и возвращал сливочное масло, сыр, мясо, даже живых баранов — все, что несли ему азербайджанцы, возвращал кур, колбасу, яйца, разнообразные прекрасные вина, туговую водку — все, что несли ему армяне. Ничего не брал. Хосров-муэллим считал, что, во-первых, учитель должен быть примером чистоты, а во-вторых, время сложное, строится новая жизнь, много обиженных понапрасну, а долг учителя помогать им, и в-третьих, народ жил плохо, очень плохо и бедно жил, и не подобает учителю отравлять у людей пищу.

Из большого уважения фазтонщик Ованес-киши дал согласие захватить Хосрова-муэллима от самых его ворот, вообще-то фазтон всегда стоял у базара, там садились обычные пассажиры. Фазтонщик Ованес-киши твердо решил не брать с Хосрова-муэллима денег за дорогу и не брать второго человека в двухместный открытый фазтон, чтобы Хосрову-муэллиму было удобно сидеть, чтобы он мог развалиться, как барин, и насладиться путешествием, потому что Хосров-муэллим и для самого Ованеса-киши написал бесплатно несколько жалоб на русском языке: районные власти хотели отобрать фазтон. Одно из последних заявлений Ованес-киши попросил написать председателю Центрального Исполнительного Комитета Азербайджанской ССР Г. Мусабекову, а второе — председателю Совета Народных Комиссаров А.И. Рыкову. Под обоими он приложил свой палец.

Наконец открылась дверь маленького одноэтажного дома, где жила семья Хосрова-муэллима, вышел Хосров-муэллим с чемоданчиком, трое детей один за другим и Ширин, молодая жена Хосрова-муэллима.

Фазтончик Ованес-киши, к тому времени совсем потерявший терпение, сказал себе под нос:

— Ара, клянись верой, слава Богу!.. — Но, глядя, как малые дети и молодая женщина нежно провожают мужчину, в голову семьи, растрогался и стал упрекать себя: — Ара, у меня совсем нет терпения!

Шестилетний Джафар, четырехлетний Аслан, двухлетний Азер впервые в жизни провожали отца: до сих пор Хосров-муэллим всегда был с ними, и дети, и Ширин к нему так привыкли, что, когда пришла неделя назад весть о месячном семинаре в Шуше, заволновались, загрустили и стали готовиться к прощалам.

На семинар по обучению русскому языку в национальных школах, созданный в Шуше, должны были приехать специалисты не только из Баку, но и из Москвы, из Тифлиса и Еревана, и Хосров-муэллим ехал охотно в Шушу, но было и беспокойство в душе: дети с Ширин на месяц оставались в Гадруте одни. Правда, люди в Гадруте — и азербайджанцы, и армяне — уважительные и сердечные, но все-таки целый месяц, а время смутное: с одной стороны — история с колхозом, с другой — чекисты, с третьей — нехватки... Хосров-муэллим сначала даже подумывал взять с собой в Шушу и детей, и Ширин (лучше бы взял!), но потом отказался от этой мысли. Где остановиться?

Перед разлукой, первой за семь лет их женитьбы, Хосров-муэллим купил на месяц муки, риса, сахара, масла. Добыть все это было не просто, но из уважения к учителю люди все находили. Дом стал похож на склад... Но вот шестилетний Джафар, четырехлетний Аслан и двухлетний Азер вместе с Ширин вышли во двор. Наступил час разлуки.

И кому бы пришло в голову, что разлука эта навек, что больше никогда не увидятся эти люди, что навсегда уехал Хосров-муэллим от шестилетнего Джафара, от четырехлетнего Аслана, от двухлетнего Азера и от своей Ширин.

Большой петух, зло выбрасывая вперед мощные ноги, прохаживался по двору из конца в конец, и куры, чувствуя, что он не в настроении, укрывались кто где, не хотели с ним встречаться.

— Папа, до свиданья!

— Папа, побыстрее приезжай!..

— Папа... папа... — кричал двухлетний Азер, не умеющий говорить другие слова, маленькими ручками уцепившийся за ногу отца.

Джафар был большой, Джафар даже гордился, что отец едет так далеко (между Гадрутом и Шушой было больше сорока километров). Потом в нескончаемые одинокие ночи, когда Хосров-муэллим вспоминал ту разлуку навек, всегда у него перед глазами в первую очередь возникало лицо Аслана, его дрожащие губы, глаза, собирающиеся плакать, и большие черные глаза Ширин...

Ширин улыбалась, а в улыбающихся глазах Ширин было какое-то беспокойство, и будто цвет глаз Ширин перешел на то беспокойство, окрасил беспокойство в черный цвет. Может быть, Хосрову-муэллиму потом так казалось?.. Во всяком случае, в том прощальном была тревога,

было беспокойство, и не только предотъездное, будто и Хосров-муэллим, и Ширин, и Аслан что-то предчувствовали... Или и это стало казаться потом?..

Фазтон тронулся, и Ширин плеснула ему вслед воды из ковшика (не помогла та вода), и Ованес-киши сказал:

— Да сохранит Бог малышей, учитель! Да настанет день, когда мы спляшем на их свадьбах!..

— Спасибо, дядя Ованес!

Фазтон выехал из Гадрута и направился в сторону Шуши, и, радуясь весне, разглядывая цветочки пробуждающейся земли по обе стороны дороги, Хосров-муэллим думал о семинаре, который начнется завтра, о том, как лучше учить азербайджанских детей русскому языку, перебирал в уме недостатки просвещения. Теперь каждый год открывались десятки, а может, и сотни школ, масса детей учатся, и все это, конечно, прекрасно, об этом всегда мечтал Хосров-муэллим, к этому с самых юных лет стремился. Когда мечта становится реальностью, надо радоваться, но полной радости мешало одно серьезное обстоятельство: количество не должно было влиять на качество, обучение не должно становиться хуже, а Хосров-муэллим видел, что уже начали плодиться невежественные учителя, они понемногу брали верх над истинными. Чем это все могло кончиться?

Хосров-муэллим считал очень важным обучение русскому языку, на русский в азербайджанских школах надо было обращать особое внимание, надо было создать специальные учебники, в будущем человек, не знающий русского языка, станет калеккой, поскольку наука, культура, промышленность развиваются так, что именно русский язык станет для Азербайджана окном в мир. Надо так учить русскому языку в азербайджанских школах, чтобы родители ради хорошего русского не отдавали своих детей в русские школы. Так же серьезно надо изучать азербайджанский в русских школах. Изучение языков должно быть взаимосвязано — если верхушку дерева клонить в одну сторону, дерево может сломаться, а оно должно нормально расти, естественно выститься и ветвиться. Фундамент будущего знания закладывается сейчас, если он будет кривым, здание покосится. Закладка фундамента не нравилась Хосрову-муэллиму, и он собирался говорить об этом в Шуше на семинаре. Да, В.И. Ленин сказал: «Учиться, учиться и еще раз учиться!», но вопрос «как учиться?» попал теперь в неопытные руки...

Хосров-муэллим был ровесник века, и когда в Азербайджане установилась Советская власть в 1920 году, он окончил в Казахе семинарию и преподавал русский язык в Гадруте. Ему было 29 лет, но он считался опытным педагогом, хотел продолжить образование в Азербайджанском государственном университете. Внешне он был очень прост и скромн, но в своем деле инициативен и деловит. Он писал небольшие статьи в центральную бакинскую печать, и они очень часто не нравились районному начальству...

Зеленые деревья, красные черепичные крыши Гадрута остались позади.

Ованес-киши обернулся:

— Учитель, Айрапет, бедняга, тоже умер, ты знал?

Хосров-муэллим вздрогнул — и потом в Баку, в Сибири, снова в Баку каждый раз, вспоминая тот разговор в фаэтоне, вздрагивал будто от неожиданной опасности, точно как тогда — весной 1929 года по дороге в Шушу.

— Парикмахер Айрапет?

— Ха!..

— Когда?

— Вчера ночью...

Потом, вспоминая разговор с беднягой Ованесом-киши, тот самый момент, когда услышал о смерти парикмахера Айрапета — пышущего здоровьем (из щек кровь капала!), улыбочного человека, будто снова Хосров-муэллим видел, как на прекрасные цветы вдоль дороги внезапно опустилась черная тень, тень черного беспокойства в глазах Шириш...

— Ара, здоровый был человек, ну, ногу сломал, да, когда крышу чинил, ну, упал, да, а в больнице даже недели не пролежал... Доктор Худяков ужасно нервничает, учитель!.. Со мной по соседству его дом. Весь день он в больнице, Айрапет — четвертый человек, что умер в больнице, причем совершенно здоровый! Доктор Худяков очень нервничает!..

Худяков был главврачом гадрутской больницы, Хосров-муэллим вчера в школе тоже слышал какой-то тревожный разговор, связанный с больницей: в одной палате один за другим умерли трое молодых... Теперь, значит, четвертый... Беспокойство опять охватило Хосрова-муэллима, хотя красота поднимающейся в Шушу горной дороги в то прохладное весеннее утро вселяла в душу мир и покой.

Фаэтон Ованеса-киши отъезжал от Хосрова-муэллима в Шушу, а через три дня на въезде в Гадрут вывесили черный флаг, Гадрут закрылся, и Ованес-киши вместе со своим фаэтоном остался в Гадруте, улицы Гадрута совсем опустели, окна и двери в домах плотно закрылись...

А вершины видных издали гор были белыми-пребелыми от снега, в противовес черному флагу, вывешенному на въезде в Гадрут, горы повествовали о чистых делах мира, его красоте и вечности. Разумеется, обнаруженная в Гадруте эпидемия чумы рядом с вечностью не составляла и одной миллиардной, эпидемия чумы была ничто по сравнению с миром, но в том «ничто» репалась участь сотен, тысяч людей.

Из Баку в Гадрут приехала бактериологическая группа под руководством профессора Льва Александровича Зильбера. Днем и ночью люди боролись с чумой не на жизнь, а на смерть. Каждый вечер группа собиралась в гадрутской школе (уроки, конечно, прекратились): подводили итог работы за день, планировали, что делать дальше. И профессор Зильбер, и его опытная помощница Елена Ивановна Вострухова, и патологоанатом профессор Широкогоров, и специально приехавшая из Москвы врач-бактериолог Вера Николаевна, и приехавший из Саратова на помощь группе Зильбера профессор Сукнев, и приехавший из Ростова доктор Тинкер, и другие члены бактериологической группы держали совет. Чума была жестоким, коварным врагом, и усталые, обесиленные, работавшие без отдыха люди хотели поймать ее как хищного, дикого зверя, посадить в железную клетку, обезвредить.

В классе, где они сходились, раньше были уроки военного дела, на стенах висели схемы винтовок, пулеметов, в углу были свалены противогазы, стреляные гильзы — наглядное учебное пособие — выстроились на деревянном подоконнике, и профессор Зильбер, слушая коллег, поглядывал на схемы, противогазы, патроны. Оружие казалось не опасным, а жалким и свидетельствовало об аномальности человеческой природы: с одной стороны, человека уничтожала чума (холера! рак! проказа!), а с другой — люди сами изобретали винтовки, пулеметы, отравляющие газы, выращивали смертоносные бактерии, чтобы уничтожить друг друга; с одной стороны, учили всем этим пользоваться, а с другой — как от того же спастись. Конечно, профессор Лев Александрович Зильбер прежде всего был врач, он всегда был против кровопролития, оружия, но никогда — даже через много-много лет после гадрутского события — убийство, изготовление оружия и само оружие не казались ему такими убогими и отвратительными, как тогда, в гадрутской школе.

Профессор Зильбер работал в Москве, заведовал отделом в Институте микробиологии Народного комиссариата здравоохранения. Несколькими месяцами назад он приехал в Азербайджан по приглашению Народного комиссариата здравоохранения Азербайджанской ССР и стал директором Института микробиологии в Баку, одновременно его избрали заведующим кафедрой микробиологии в Азербайджанском медицинском институте.

Три дня назад, когда фаэтон Ованеса-киши вез Хосрова-муэллима в Шушу по прекрасной горной дороге, в два часа ночи профессора Зильбера разбудил телефонный звонок, особенно беспокойный и тревожный среди ночной тишины. Профессор Зильбер, еще не проснувшись, снял трубку и, еще не услышав в ней голоса, инстинктивно почувствовал, что это не простой телефонный звонок: не потому, что нарушил тишину ночи — профессор Зильбер ночных звонков слышал немало, — а потому что в телефонной трубке, черной и потому неразличимой в темноте, возникла неестественная тяжесть, появилась противная шершавость, и это предвещало в ту ночь худые дела.

Взволнованный мужской голос, даже не спросив, кто у телефона, на русском языке, но с азербайджанским акцентом, сказал:

— Говорит секретарь народного комиссара здравоохранения. Народный комиссар просит вас немедленно приехать. Машина выслана.

Профессор Зильбер, торопливо одевшись, вышел из дому, сел в машину — и с того момента началось неожиданное для него гадрутское путешествие.

Некто военврач по фамилии Марголин дал срочную телеграмму в Народный комиссариат здравоохранения: в Гадруте эпидемия чумы. И профессор Зильбер вместе с организованной в ту же ночь за несколько часов бактериологической группой утренняя поездом выехал из Баку.

Народный комиссар здравоохранения Азербайджанской ССР, делавший все, что в его силах, для организации бактериологической группы, лично занимался среди ночи срочными просьбами профессора Зильбера и все время будто не окружающим его людям, а самому

себе в утешение повторял: «Возможно, это и не чума... Не может быть, чтобы на нашей замечательной земле завелась такая гадость!» Профессор Зильбер всю дорогу в Гадрут вспоминал слова комиссара и очень хотел, чтобы военврач Марголин ошибся...

Но он, увы, не ошибся. Эпидемия чумы распространилась по Гадруту. И профессору Зильберу, и его коллегам сразу стало ясно: первый заболевший чумой был молодой парень из ближайшего армянского села, и главврач гадрутской больницы Худяков положил его в общую палату с диагнозом «крупозное воспаление легких», он умер, за ним все, кто лежал в палате (в том числе и парикмахер Айрапет), потом фельдшер, санитар и наконец, сам Худяков. Но что это чума, пока никому не приходило в голову.

Когда заболел Худяков, больница обратилась к врачу воинской части вблизи Гадрута, Льву Марголину. Доктор Марголин распознал чуму и тотчас дал телеграмму в Баку.

Через несколько дней заболел и доктор Марголин и, несмотря на все усилия профессора Зильбера, погиб.

А было ему, военному врачу Марголину, всего двадцать четыре года. Когда он почувствовал болезнь, перестал пускать к себе в комнату, сам не выходил и через два дня, поняв, что болезнь усиливается, ночью запер комнату, вышел с территории воинской части и пришел в Гадрут к профессору Зильберу.

Благодаря Марголину, его жертвенной самоизоляции, чума не распространилась в воинской части, и через день после его смерти командир направил профессору Зильберу конверт. В конверте было последнее письмо врача Марголина.

«Дорогие товарищи!

Кажется, начинается. Температура 39,5. Ухожу отсюда, чтобы не заразить окружающих. Иду умирать спокойно, так как знаю, что другого исхода не бывает. Оставляйте бодрыми и здоровыми строителями социалистического общества. Прощайте.

Лев Марголин»

Читая это письмо, которое никогда не забудет, профессор Зильбер представлял себе последние минуты жизни доктора. Человек, у которого хватило сил написать такое письмо, в смертные мгновения часто открывал глаза и кричал: «Мама! Мама!..»

В Гадруте чума была не единственной заботой и профессора Зильбера, и Елены Ивановны Воструховой, и профессора Широкогорова, и профессора Сукнева, и других членов бактериологической группы. Наряду с бактериологической группой из Баку в Гадрут приехали еще трое: один из них — представитель Народного комиссариата здравоохранения Азербайджанской ССР, второй — представитель Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета, а третий — уполномоченный Главного политического управления Азербайджанской ССР. Двое из них не въехали в Гадрут, примерно в десяти километрах от станции остались в отдельном вагоне, а уполномоченный Главного политического управления вместе с бактериологической группой был в Гадруте.

Оставшиеся на станции непрерывно требовали от профессора Зильбера разнообразные справки, таблицы, объяснения, и профессор Зильбер со своими помощниками, весь день занимающиеся чумными, дезинфекцией их домов, изолирующие людей, бывших в контакте с больными, вводящие противочумную сыворотку, контролирующие переноску трупов на отведенный участок в стороне от поселка, проводящие бактериологические исследования, были вынуждены писать для начальников справки, объяснения, заносить информационные листки, составлять бессмысленные таблицы.

Жившие в вагоне на станции ни одного разу не ступили в Гадрут и поддерживали связь с профессором Зильбером через всадника: всадник приносил конверты, полные бумаг, клал на землю перед вагоном, а сам отходил метров на пятьдесят — шестьдесят. Один из представителей власти, надев перчатки, выходил из вагона, брал конверт и либо кричал, давая всаднику новые задания, либо клал на землю написанные в вагоне приказы, чтобы всадник отвез их профессору Зильберу. Несмотря на все эти меры предосторожности, в руководящем вагоне для дезинфекции с утра до вечера пили привезенную из Ханкенди прекрасную тутовую водку и, конечно, при этом хорошо ели, чтобы смирить градусную тутовую водку не сводила с ума.

А уполномоченный Главного политического управления — его звали Мурад Илдырымлы, — напротив, весь день проводил с бактериологической группой, и с первого часа его приезда в Гадрут, как погнал он галопом оседланного им серого жеребца из конца в конец и обратно, все знали, что Чека занимается вопросами чумы.

У тридцатилетнего Мурада Илдырымлы было светлокое красивое лицо, голубые глаза, он был высок и строен, и обезумевшее от безысходности население Гадрута называло этого человека просто — Чека.

— Чека зовет!

— Тебя Чека спрашивал!

— Чека врага поймал! Чуму враги разнесли по Гадруту!

— Чека только что ускакал!

Еще не успевшие заразиться люди испытывали животный страх перед чумой, и на их взгляд, если и было существо, способное победить чуму, то не просто человек, а Чека. Здесь ничего не боялись так, как Главного политического управления (прежде Чрезвычайной комиссии), — ни до революции, ни после революции: ЧК была страшнее чумы, и чуму могла победить только эта сила.

Мурад Илдырымлы не знал усталости, и порой совершенно обессивевший Зильбер красными от недосыпания глазами взглядывал на этого человека и будто набирался сил. Уполномоченный был совершенно убежден и неоднократно заявлял об этом профессору Зильберу, что чуму в Гадрут занесли враги, в этом деле есть рука иностранной агентуры и ее местных подручных, кулаков. Возражения, научные доводы профессора Зильбера никак не могли поколебать Чека, и в один из черных дней Мурад Илдырымлы, взволнованный, пришел к профессору Зильберу и заявил, что, по полученным сведениям, враги вскрывают могилы умерших, вырезают части тела и распространяют болезнь среди населения.

Конечно, это была жуткая и непостижимая весть, но уполномоченный Главного политического управления стоял на своем:

— Вы — прекрасный профессор, товарищ Зильбер, но вы не знаете, на что способны враги народа! Все это — дело кулаков! За всем этим стоят англичане! Чума в Гадруте — не стихийное бедствие, а классовая диверсия!

Пытаясь что-то объяснить Мураду Илдырымлы, профессор Зильбер чувствовал, что подозрения уполномоченного только растут и он начинает подозревать даже самого профессора Зильбера. Иногда, когда профессор Зильбер обследовал больных или проводил бактериологические анализы, Мурад Илдырымлы вдруг подходил, вставал рядом и внимательно смотрел, и профессору было неприятен этот контроль; а с другой стороны, профессору Зильберу было жаль молодого человека, потому что тот ни сыворотки не принимал, ни перчаток не надевал, ни марли не повязывал, хотя с утра до вечера был среди больных и трупов. Он не предпринимал никаких мер предосторожности, будто был убежден, что и чума не сможет ничего сделать с Чека.

Наконец ночью, чтобы люди ничего не узнали, профессор Зильбер в сопровождении Мурада Илдырымлы при свете керосиновых ламп был вынужден заняться вскрытием могил и осмотром трупов.

Уполномоченный прежде видел трупы только на полях сражений и при исполнении справедливых, блюдуших интересы трудового народа смертных приговоров. Но в ту полночь из могил близ Гадрута вытаскивали трупы людей, умерших от страшной болезни (вот что сделали английские шпионы и кулаки!), и трупы были настолько разложившиеся, издавали такой запах, что у уполномоченного кружилась голова, его тошнило... Но он не отводил глаз, он смотрел, как профессор Зильбер обследует трупы, он старался ничего не упустить, потому что его не могло зануть никакое деяние врагов трудового народа! Даже когда, не имея сил сдержаться, он отодвигался в сторонку и начинал блевать, не отводил глаз от трупа и рук профессора Зильбера.

Потом снова вставал рядом с профессором и, трясая от холода так, что зуб на зуб не попадал, и глядя на трупы, и наблюдая за профессором Зильбером в ту ночь, уполномоченный чувствовал в душе такой гнев против врага народа, такую ярость и злобу, каких не испытывал еще никогда за все долгие годы беспощадной борьбы против контрреволюции.

В ту ночь всех, а в первую очередь профессора Зильбера и его коллег, привело в ужас посильнее, чем даже чума, то, что в четвертом из обследованных трупов — это был труп фазтончика Ованеса-киши, погибшего от чумы пять дней назад, — в грудной клетке обнаружилось ножевое ранение. Профессор Зильбер при свете керосиновой лампы внимательно осмотрел ножевую рану: не было никакого сомнения в том, что труп повредили после захоронения, вскрыв могилу.

В ту ночь обнаружили еще несколько трупов с ножевными ранами, и у всех были повреждены либо грудная клетка, либо область живота.

Профессор Зильбер ни в научной литературе такого не читал, ни в жизни с таким не встречался, и, обследуя очередной труп с порезанной областью живота, ничего не мог понять. Но, конечно, не мог и по-

верить словам уполномоченного («Чума среди трудового народа распространяли кулаки, контрреволюционеры. За всем этим стоят англичане! Стоит заклятый враг трудящихся народов — международный капитализм!»).

Профессор Зильбер уважал этого человека — Мурада Илдырымлы, с которым пробыв вместе несколько дней в Гадруте. Уважал за неутомимость, за храбрость. Но не мог принять его фантастических суждений, порожденных слепой ненавистью. Ведь если враг вскрывает могилы, вытаскивает и режет трупы, в первую очередь он приговаривает к смерти самого себя. Если враг — не специалист высокой квалификации, то от чумных трупов он непременно сам заразится и погибнет. Уполномоченный считал, что занимались этим грязным делом мусаватские националисты, монархические элементы, дашнаки, английские шпионы, перешедшие иранскую или турецкую границу, а еще местные кулаки — заклятые противники новой жизни и коллективизации, да враги народа, тайно прибывшие из соседних районов. Если бы это действительно было так, то хотя бы несколько мусаватских, дашнаков, монархистов, шпионов, пришедших непременно заболели бы и умерли. Но погибли от чумы только жители Гадрута и трех близлежащих армянских сел. Незнакомых, неведомых, безвестных, не имеющих родственников среди умерших, не было, напротив, люди гибли от чумы семьями.

Но поврежденные ножом чумные трупы были налицо. Что это могло означать?..

Пройдет какое-то время, сверхчеловеческие усилия бактериологической группы положат конец господству чумы в Гадруте. И тогда совершенно случайно профессору Зильберу станет ясно: местные знахари вскрывали могилы и резали трупы. Они думали, что чума, исцупавшись ножа, уберется. Они вели тайную борьбу с чумой своими способами, борьба стоила им дорого, все они умерли, заразившись от трупов.

А в ту жуткую ночь при слабом свете керосиновой лампы профессор Зильбер не мог обнаружить, от какой части трупа, в каком объеме была отрезана ткань, но одного прикосновения ножа было достаточно, чтобы чума, например, перешла на одежду человека, занимающегося дурным делом, и чумные микробы попали на прекрасную благодатную почву для развития и распространения. Конечно, надо было принимать срочные меры.

Профессор Зильбер в пять утра добрался до своей комнаты в Гадруте и упал на кровать. Но поспать не смог и десяти минут, вертелся в тревоге с боку на бок. А чуть только стали различимы в маленьком окошке школьного класса, где жил Зильбер, горы со снежными вершинами, пришла телеграмма Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР: профессора срочно вызывали в Баку для дачи широкой информации и подготовки плана специальных мероприятий. Сообщение уполномоченного Главного политического управления, направленное в Баку, сделало свое дело.

Еще в дороге профессор Зильбер подготовил план, состоящий из семи пунктов. План внимательно и всесторонне обсудили в Баку на

специальном совещании Совета Народных Комиссаров при участии начальника Главного политического управления Азербайджанской ССР, испытанного руководителя азербайджанских чекистов Мир Джафара Багирова¹, — и утвердили. План включал следующие пункты:

1. Весь район заболеваний должен быть оцеплен войсками, чтобы воспрепятствовать выходу из района кого-либо, кто мог бы перенести микробы чумы.

2. Все трупы должны быть сожжены.

3. Для всего населения района должны быть присланы утепленные палатки и полный комплект одежды, начиная с белья и кончая обувью и верхней одеждой.

4. Все население должно быть раздето донага, переодеито в казенную одежду и переведено из своих жилищ в палатки. Это должно быть сделано под строгим контролем. Вся собственная одежда должна оставаться в жилищах.

5. При переселении должны строго соблюдаться правила изоляции лиц первичного и вторичного контакта с чумными больными.

6. В район эпидемии должны быть направлены химические команды, которые должны подвергнуть тщательной дезинфекции хлорпикрином все постройки. Хлорпикрин — одно из лучших дезинфицирующих средств при чуме: он убивает чумного микроба, блох и грызунов, уничтожая таким образом всю цепь, по которой инфекция может попасть человеку.

7. Должны быть присланы в район эпидемии врачебно-питательные отряды.

Когда после совещания профессор Зильбер хотел уйти, перед ним вырос начальник Главного политического управления Азербайджанской ССР Мир Джафар Багиров и несколько мгновений пристально смотрел в глаза профессору. Этот мрачный, суровый человек, чьи губы никогда не посещала улыбка, очень мало говорил на совещании, но профессор Зильбер обратил внимание, что каждое из его редких слов принималось за истину всеми сразу и без обсуждений, хотя другие комиссары, в том числе и председатель Совета Народных Комиссаров, порой спорили друг с другом. Как видно, оттого, что в последние дни профессор Зильбер занимался только чумой, ему показалось, что в глазах Мир Джафара Багирова под круглыми стеклами очков есть угроза чумы...

Профессор Зильбер вздрогнул от этого неприятного чувства. А Мир Джафар Багиров, грозив грубым пальцем, нарушил воцарившуюся на несколько мгновений тишину и сказал по-русски:

— Смотрите, профессор, мы следим за всем ходом событий! А вас мы тоже хорошо знаем! Имейте это в виду! И не забывайте конспирацию! Конспирация обязательна!

Профессор Зильбер хотел что-то сказать... Но не вымолвил ни слова. И не только потому, что был утомлен. И не потому, что беспокоился за Гадрут и хотел побыстрее туда вернуться. Просто у него не было ни времени, ни желания попусту говорить и спорить. И еще потому,

¹ В будущем — Первый секретарь ЦК КП и Председатель Совета Министров Азербайджана, кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. Расстрелян в 1955 году.

что угроза чумы в глазах Мир Джафара Багирова за круглыми стеклами очков исключала возможность возражать этому человеку.

Профессор Зильберу приказали держать в тайне эпидемию чумы в Гадруте. С целью конспирации во всех официальных сообщениях и информациях, посылаемых в Баку (в частной переписке был категорически запрещен даже намек!), слово «чума» предписывалось заменять словом «руда». Бессмысленность и нелогичность такой замены изводили профессора Зильбера, они его пугали, и, усталый, обесшлененный, он иногда переписывал сообщение по два, а то и по три раза. Представители власти на станции тоже потребовали, чтобы в справках слово «чума» было заменено на слово «руда». И однажды, когда профессор Зильбер в очередной справке представителям недосмотрел за запрещенным словом и оно просочилось, представители вызвали его на станцию. Профессор Зильбер стоял перед вагоном, а представители Народного комиссариата здравоохранения и Центрального Исполнительного Комитета, не осмеливаясь из страха перед чумой выйти из вагона (либо позвать в вагон профессора Зильбера), высунув головы в окно, перебивая друг друга, кричали на него, чуть не объявляли профессора Зильбера врагом и диверсантом...

Профессор Зильбер сразу после совещания в Совете Народных Комиссаров Азербайджанской ССР вернулся в Гадрут и все вспоминал, как стоял лицом к лицу с Мир Джафаром Багировым, и снова видел его глаза за круглыми стеклами очков, и думал: страшен будет день, когда такой человек встанет у власти...

В окрестных районах ходили разнообразные слухи. И по Шуше разнеслась весть, что Гадрут закрыли, никого в те края не пускают. Говорили, что в Гадруте разоблачена группа врагов народа, они будто бы занимались вредительством против коллективизации и теперь идет следствие по их делу во всем районе.

Хосров-муэллим вначале не придавал значения этим слухам: разоблачение врагов народа было теперь обычным делом. И кто станет закрывать из-за этого весь район? Болтовня, конечно, а если даже и не болтовня, у Хосрова-муэллима не было в Гадруте никого, кто мог бы быть разоблачен как враг: был шестилетний Джафар, был четырехлетний Аслан, был двухлетний Азер и еще была Ширин. А в Азербайджане уже девять лет, как установлена Советская власть, но пока еще не разоблачили врагов народа шести, четырех и двух лет... Но когда Хосров-муэллим перестал встречать у базара в Шуше фазгонщика Ованеса-киши, когда все связи с Гадрутом действительно прервались, Хосров-муэллим всерьез забеспокоился. Боль того беспокойства он ощущал потом в сердце всю свою жизнь, а тогда оно вынудило его прервать работу на семинаре и, ни у кого не спросив разрешения, вернуться в Гадрут.

С раннего утра, пересаживаясь по дороге с фазгона на арбу, Хосров-муэллим под вечер добрался до окрестностей Гадрута и издалека увидел цепь красноармейцев, перекрывших дорогу по склону. Красноармейцы останавливали направлявшиеся в Гадрут фазгоны, арбы, всадников, пеших с хурджунами через плечо и возвращали обратно.

Хосрову-муэллиму казалось, что все это к нему отношения не имеет: весь Гадрут его знает, у него в Гадруте остались трое детей, жена —

и никто не посмеет не пустить его в Гадрут. Пройдя мимо забивших всю дорогу фэзтонов, арб, всадников, навьюченных ишаков, взволнованных людей, у которых были в Гадруте друзья, близкие, родственники, он приблизился к красноармейцам, спросил, кто начальник. Но что бы он ни говорил, как ни представлялся, красноармейцы, преимущественно русские, отвечали:

- Нельзя!.. В Гадрут нельзя!
- Я же там живу! Там моя семья, мои дети, моя жена!
- Нельзя!
- Почему? Почему нельзя? Хоть объясните!
- Нельзя!

Разумеется, Хосров-муэллим не знал, что красноармейцам было категорически запрещено беседовать с людьми, желающими попасть в Гадрут, запрещено говорить о событиях в Гадруте (да большинство их и не знало, что на самом деле там произошло). Хосров-муэллим был страшно встревожен. Но его тревога, беспокойство, волнение, пусть очень сильные, были ничтожны перед гадрутским бедствием. Хосров-муэллим еще не знал, какая с ним произошла трагедия, подлинный ужас ее в то время и в голову ему не приходил.

Но что-то случилось, что-то очень серьезное произошло. Что — даже в такое сложное беспощадное время — что могло произойти с детьми: шестилетним, четырехлетним, двухлетним и матерью этих детей? Странно, но Хосров-муэллим думал только о политике. Стихийное бедствие, к примеру, пожар или землетрясение, ему и в голову не приходило.

— Послушайте, я учитель, преподаю русский язык! Спросите любого гадрутца! Все меня знают! Позвоните в исполком, позвоните руководителям района, все меня знают!

— Нельзя!.. В Гадрут нельзя!..

— Но почему? Почему нельзя? В чем причина? Может, я могу быть полезным? Я же преподаватель русского языка!

— Нельзя!..

Хосров-муэллим почти потерял надежду добраться в этот вечер до дома. И вдруг по ту сторону ограды через дорогу увидел Красного Якуба, подонедшего к одному из красноармейцев. Красный Якуб всегда был бледным и хилым. До революции он был известным в этих краях кузнецом, потом как представитель трудящегося класса вступил в партию, стал Красным Якубом и в 1929 году работал секретарем Гадрутского поселкового Совета. Когда Хосров-муэллим увидел Красного Якуба, ему как будто явился в темноте луч света.

— Товарищ Якуб! Товарищ Якуб!

Красный Якуб оглянулся. Хосров-муэллим приподнял кепку, опустился с подбородка шарф:

— Это же я, товарищ Якуб! Ты не узнал меня? Я — Хосров-муэллим, да!.. Учитель!

Красный Якуб отошел от красноармейца, встал у ограды против Хосрова-муэллима.

— Почему не узнаю? — сказал он, и Хосров-муэллим услышал в голосе Красного Якуба самую глубокую скорбь мира, и беспокойство

Хосрова-муэллима превратилось в жуткий страх, сердце его сильно заколотилось перед самой дурной вестью, и когда впоследствии Хосров-муэллим вспоминал тот миг противостояния с Красным Якубом, сердце его колотилось так же сильно, как будто он опять ничего не знал и был накануне страшной весты. У Красного Якуба даже голос изменился. И он, несмотря на свою хилость и немощность, говоривший всегда властно, как положено доверенному представителю нового правительства, теперь будто переменялся, снова стал обыкновенным кузнецом... Нет, тут речь не о каких-то врагах народа...

— Узнал? А почему не велишь пропустить меня?

— Не ходи, учитель, Гадрут — не то место, куда стоит ходить!

— Почему?.. — Вопрос задал уже не Хосров-муэллим, нет, это был голос ужаса, вопрос задал сам ужас.

Всем в Гадруте, в том числе, конечно, и Красному Якубу, было запрещено говорить о чуме, запрещено произносить хоть слово, и уже то, что Красный Якуб из-за ограды разговаривает с Хосров-муэллимом, было нарушением инструкции. За это могли расстрелять. Но Красный Якуб не мог оставить Хосрова-муэллима за оградой и уйти, большевика тоже душил комок в горле:

— Не спрашивай, учитель, не спрашивай!..

— Да что случилось-то?!

— Уходи без оглядки, уходи, учитель, беги отсюда! И никогда в жизни больше не появляйся в этих местах!

— Да что ты говоришь, послушай?! У меня здесь трое детей, семья! Ты понимаешь, что ты говоришь? — Хосров-муэллим поверх ограды обеими руками схватил Красного Якуба за ворот шинели, стал трясти, пока не почувствовал безжизненность, легкость тела внутри шинели, Хосров-муэллиму даже вдруг показалось, что, если он сейчас не отпустит, человек прямо тут и умрет, — руки его вяло повисли вдоль тела, и совершенно безжизненным голосом он повторил: — Ведь у меня там... у меня там трое деток, семья...

— Нету, учитель, у тебя там больше никого нет! — Красный Якуб не мог больше смотреть в почти вылезшие из орбит глаза Хосрова-муэллима. Он повернулся и, едва волоча ноги, пошел прочь от ограды.

Красный Якуб знал всех умерших от чумы в Гадруте, он знал, что три сына Хосрова-муэллима и его жена умерли один за другим...

Командир красноармейцев с подозрением смотрел в сторону Красного Якуба, он видел, как этот человек, нарушив инструкцию, только что говорил у ограды с одним из тех, кто стремился пройти в Гадрут. Но подозрительные взгляды были Красному Якубу уже безразличны, ноги влекли его в ад — в Гадрут...

Профессор Лев Александрович Зильбер, только что вернувшийся из Баку, к ночи так устал, что с трудом держался на ногах, ему казалось, что сейчас он упадет, уснет и никогда не проснется; жажда сна походила на настоящую жажду, когда человек, сторающий от нее, вдруг встречает воду и пьет, пьет, не может напиться; профессор Зильбер удивлялся, как он выдерживает жажду сна, захватившую все клетки его организма.

Но все сильнее разгоралось пламя гигантского костра из дров и трупов, свет этого пламени расталивал темноту ночи, как абсолютно черную свечу, разливался по всей округе, и сон сбегал с профессора Зильбера, жажда сна уходила, глаза его сощуривались теперь не от недосыпания, усталости, а от чувства бесконечной печали, которую несло в себе сверкающие костра, его жар, который чувствовался постепенно все сильнее, даже на далеком расстоянии, даже в режущей как кинжал ночной стуже.

На самом верху штабеля трупов, уложенного поверх дров, было тело доктора Худякова, и в разгорающемся пламени местные партийные и комсомольские активисты, стоявшие в сторонке с дрожжами от волнения коленями и колотящимися сердцами, тотчас его узнали. Благородный, симпатичный, довольствующийся малым интеллигент Худяков нередко лечил и партийных работников, и комсомольцев, и то, что теперь сам он вот так горел на костре, был первым на груде трупов, усиливало страх, увеличивало ужас костра.

Пламя разгоралось. И рука доктора Худякова начала медленно подниматься. Конечно, смотрящие на костер люди понимали, что от жара мышцы снеживаются, потому рука доктора Худякова и поднимается, но в медленном жесте мертвой руки все равно была угроза, будто чума грозилась миру. В нем было предупреждение всем греховным делам мира вообще, и у ряда должностных лиц (неведомо друг для друга) среди местных партийных и комсомольских активистов, издавала глядящих на тот костер, душу наполнило неведомое чувство — смесь страха и раскаяния.

Люди вдруг стали припоминать совершенные ими несправедливости, о которых не задумывались прежде, напрасно обиженных (которых в жизни не вспомнили бы!), и им хотелось теперь то ли покаяться, то ли у кого-то попросить прощения, повиниться, что-то взять на себя, поплакать, попросить пощады. А может, все это был только страх, и ничего больше, страх в черную ночь вот так же сгореть на жутком костре...

Рука доктора Худякова вдруг обломилась, упала в огонь.

В костре под охраной вооруженных красноармейцев горели не только безжизненные тела. Вместе с умершими волнениями, радостями, печалью, заботами, любовью, уважениями и ненавистями до вчерашнего, даже до сего дня они еще были живы, еще дышали, но больше никогда не повторятся на этой земле. Несмотря на свои тридцать пять лет, считавшийся опытным иммунологом, вирусологом, микробиологом, часто встречавшийся со смертью профессор Лев Александрович Зильбер никак не мог прорывнуться к этому костру, растаптывающему ночь, как черную свечу. Хладнокровие врача и ученого, важность цели не приходили ему на помощь. И в студеную ночь перед тем костром профессор Зильбер страдал.

Для костра они выбрали место примерно в шести километрах от Гадрута, в низине, чтобы отблеск не был виден в Гадруте и окрестных селах, чтобы люди ничего не узнали, потому что гадрутцы, доведенные до безумия беспощадностью чумы, не смогли бы вынести еще и безжалостного сожжения близких и любимых. Но по мнению профессо-

ра Зильбера, для спасения оставшихся, чтобы чума не распространилась, костер, беспощадный как сама чума, был необходим...

Примерно в шестидесяти метрах от костра стояли пятьдесят вооруженных винтовками красноармейцев, санитары, члены бактериологической группы. Стояли кругом, на расстоянии вытянутых рук друг от друга. Красноармейцы, не сговариваясь, повернулись к костру спиной. Не потому, что они вглядывались в темноту, чтобы никто не приблизился к проклятому месту, а потому, что они не могли смотреть на костер, запах горелого мяса и костей вызывал у них тошноту, а когда потрескивали пылающие дрова, молодым красноармейцам казалось, что трещат человеческие кости.

Мурад Илдырымылы, как и санитары, врачи, бактериологи, хотел смотреть на костер. Но и этот закаленный, видевший сотни смертей, бывший свидетелем многих страданий человек как ни старался, как ни боролся с собой, не сумел приказать своим глазам, неестественно сверкающим, больным, и повернулся к костру спиной. Уполномоченный Главного политического управления Азербайджанской ССР понимал, осознавал, что проявляет слабость, трусость, ведь врагу надо смотреть в глаза до самого конца, а чума была таким врагом, и костер был итогом чумы, и нельзя отводить взгляд от пламени; все он понимал и осознавал, но на костер смотреть не мог и за это казнил себя: теперь, несомненно, шпионы, кулаки, бешеные враги рабочего и крестьянского класса получают наслаждение от пылающего костра — плода их черных дел — эпидемии чумы, занесенной в Гадрут ради продолжения борьбы с советским государством, они думают, что достигли цели, и у чекиста Мурада Илдырымылы нет сил смотреть на этот костер...

Уполномоченный потер ладонью лицо, поскольку с утра до вечера он скакал на сером жеребце, рука его пахла уздечкой, и теперь в наполнившем окрестности запахе костра только запах уздечки свидетельствовал, что жизнь еще существует, что солнце взойдет, и утро наступит, и классовая борьба будет продолжена, и красное знамя на башне Кремля развевается и всегда будет развеваться. Запах уздечки улек уполномоченного Главного политического управления в далекое прошлое, в те времена, когда он был подростком и очень-очень далеко от Гадрута, селе у подножия Бабадага еще до рассвета водил поить коней к холодному как лед роднику Нурлу в нижней части села... Странно, почему он это вспомнил? Ведь коней он водил к роднику без седла, уздечки, голый вскакивал на спину неоседланного коня...

В душе уполномоченного возникло странное — родное, близкое, но неосуществимое — желание: набрать бы в горсть ледяной воды из родника Нурлу, о котором столько лет не вспоминал (некогда было вспоминать!), будто совсем позабыл, набрать и плеснуть себе в лицо. Он даже отвел от лица руку, чтобы зачерпнуть воды, но зачерпнул только вонь от костра и скорее поднес руку к носу, чтобы опять почувствовать запах уздечки. В запахе уздечки было что-то родное, что-то от их дома в селе, оставшемся у подножия далекого Бабадага, и человеку снова захотелось, как в детстве, когда он прыгал и скакал без штанов по дому и по двору, обнять мать, радостно и жадно набить карманы конфетами в разноцветных фантиках, всего-то однажды привезенны-

ми отцом из города. Но прошедшее никогда не возвращается, те дни навечно остались в прошлом. И Мурад Иллырымлы никогда больше не увидит село, оставшееся у подножия далекого Бабадага... Больше никогда не посидит лицом к лицу с матерью. Никогда больше не увидит отца...

От Мурада Иллырымлы никого не останется на свете, потому что в суровые годы борьбы не было времени строить семью, и, в сущности, ошибкой было даже жалеть об этом: все свободные и счастливые дети будущего будут его детьми. Конечно, свободные и счастливые дети будущего не узнают, что звали его Мурад, а фамилия Иллырымлы, ну и что? Свободные и счастливые дети будущего будут детьми Революции, а значит, детьми Мурада Иллырымлы: потому что Мурад Иллырымлы — это и есть Революция; Революция — дело сотен, тысяч мурадов Иллырымлы, то есть Революция — это их жизнь, это они сами; тысячи мурадов Иллырымлы были русскими, азербайджанцами, украинцами, татарами, грузинами, узбеками, белорусами, а все они строили новое общество, а все члены нового общества, которое будет построено, значит, их дети — дети тысячи мурадов Иллырымлы...

Братья Мурада Иллырымлы тоже, уйдя из своего села, от подножия далекого Бабадага, разбрелись каждый в свою сторону, и в селе со старухой — их матерью, со стариком отцом оставалась одна сестра Мурада Иллырымлы — Зулейха.

Пройдут годы, дети стеснительной, бессловесной сельской девочки Зулейхи, ее внуки станут членами нового общества, и в их счастье, в их беззаботной, свободной жизни будет пусть маленький, пусть хоть с несичку, но все же какой-то вклад Мурада Иллырымлы.

Уполномоченный Главного политического управления Азербайджанской ССР Мурад Иллырымлы уже два дня был болен. Он заразился чумой. Но никто, кроме него самого, не знал об этом. Даже профессор Зильбер. Когда уполномоченный понял, что заболел, он не хотел в это верить, не желал примириться с тем, что в такое трудное и ответственное время его одолела чума. Но верил он или не верил, мирился или не мирился, он заболел и прекрасно знал, чем это кончится. Уже два дня уполномоченный ни к кому не подходил близко, ни к кому не прикасался, со всеми разговаривал издали, со спины своего серого жеребца. Он изолировал и себя, и коня: в Гадруте крупный скот и овцы, кони и ослы гибли как люди. Сколько еще дней это будет продолжаться? Два? Три? А потом? Потом, конечно, окончится в больнице... Нет, уполномоченный все решил. Все окончится сегодня. Он не станет умирать в постели, он не будет просить у чумы пощады, потому что просить пощады у чумы то же, что у врага просить пощады.

В морозную ночь у костра в последние (он сам так решил!) часы своей жизни Мурад Иллырымлы весь горел в лихорадке, но в захваченном чумой сердце царил страшная ярость — ярость против врага. И еще, конечно, было сожаление: он не сможет, как многие его товарищи по оружию, становиться жертвами в перестрелках с врагами, бандитами, продолжать борьбу до конца... Правда, особого значения это не имело, ведь рабоче-крестьянская власть была победившей властью, значит, несмотря ни на какую чуму, коммунизм будет построен!.. Будущее было

за коммунизмом!.. Владимир Ильич Ленин умер пять лет назад, но даже и это не имело особого значения: будущее было за Владимиром Ильичем Лениным!..

Пламя костра освещало лица стоявших в молчании санитаров, врачей, бактериологов, руководящих работников района, и лица, разные, конечно, как все человеческие лица, были сейчас одинаково скорбны. Звук доносился только от костра: дрова потрескивали, и каждый раз, когда от костра доносился треск, молодые красноармейцы вздрагивали, им казалось, что трещат горящие кости, горящие волосы.

И еще слышалось кваканье лягушек со стороны маленькой горной речки, будто как собаки воют на луну, так и лягушки квакают на гигантский костер неожиданно, среди ночи. В ночном кваканье лягушек было что-то неестественное, что никогда не сотрется в памяти большинства тех, кто стоял вокруг костра; лягушачье кваканье не было похоже на голос природы, оно было как голос судьбы.

Вдур издали к костру стал приближаться какой-то гул. И профессор Зильбер, и другие члены бактериологической группы, и районное руководство, и командование красноармейцев боялись именно этого: боялись, что люди узнают о костре, сбегутся сюда...

Докатывающийся из темноты ночи гул заглушил и звуки костра, и кваканье лягушек, а красноармейцам, недавно мучившимся от яркости и звуков костра, показалось, что сию минуту они столкнутся с ужасом, в сто крат более страшным, чем горящий за спиной костер. Молодые красноармейцы, следуя инструкции, полученной ими перед тем, как идти сюда и образовать круг, сняли винтовки с плеч и направили дула винтовок вверх, встали наготове против доносившегося из темноты и постепенно, с пугающей скоростью нарастающего гула.

Как предатели жители Гадрута — мужья, жены, дети, отцы, матери, братья, сестры горящих на костре пожилых, молодых, детей, — откуда узнали, где костер? Этого и позже никак не могли понять ни профессор Зильбер, ни органы, которые вели расследование. Правда, многие были арестованы (тогда аресты в Гадруте наделали не меньше бед, чем чума, и были не менее, чем чума, страшны...), но скорее всего все произошло инстинктивно, как некое явление природы, как сель, как смерч.

Когда люди приблизились, когда свет луны и костра осветил их искаженные лица, ставшие неузнаваемыми от боли, страданий и мук, когда движущиеся человеческие силуэты выступили из темноты, среди окружавших костер районных руководителей, членов бактериологической группы, санитаров, милицевских работников тоже поднялся шум, и красноармейцы начали стрелять в воздух.

Людей, несущихся к костру потоком, с гулом, как сель, любой ценой надо было не подпустить близко к костру. От их соприкосновения с костром результат мог быть бы таким, что у представлявшего это профессора Зильбера волосы встали дыбом. Профессор Зильбер вышел вперед, кричал, взывая к людям, но никто не слышал его голоса, никто даже не обращал на него внимания.

Красноармейцы стреляли и стреляли в воздух, но люди и на это не обращали внимания и, пробиваясь между красноармейцами, рвались к костру. Красноармейцы больше не могли стрелять. Люди хватили их

за руки, за приклады. Солдаты прикладами, дулами винтовок толкали, били людей, но отходили назад, отступали. В ту ночь утратившие разум, обезумевшие гадрутцы не видели и не чувствовали ничего, кроме костра, ни на что не смотрели, никакая сила не могла противостоять их безумному волнению, их дикой страсти.

Профессор Зильбер в безнадежности, не испытываемой прежде за все тридцать пять лет жизни, понял, что, если расстреливать этих людей, остальные пройдут по убитым, но до костра доберутся. А если хоть двое коснутся трупов в костре (а они, конечно, коснутся, ведь они хотят выгнаться из костра еще не сгоревшие трупы, хотя бы погасить костер; ведь горели их умершие дети, близкие этих живых, оставшихся одинокими, обезумевшими от горя), чума заразит всех, все погибнут. Профессор Зильбер понял, что все кончено.

Под крики и вопли людей, чьи глаза безумно вращались в свете костра, ни профессор Зильбер, ни другие члены бактериологической группы — никто (никого!) не думал о себе, никто не думал, что будет растоптан, что погибнет в этом потоке, потому что для врачей, вирусологов, микробиологов, санитаров, борющихся с чумой в Гадруте, их самих с их единственными жизнями будто не существовало, они исчезли, сами себя забыли, осталась единственный страх — страх распространения чумы. Как видно, и это было стихийно, это тоже было нечто вроде явления природы...

С той минуты, как гул столкнулся с красноармейцами, Мурад Илдырымлы, выхватив пистолет, носился туда-сюда, даже теперь не приближаясь к людям, ни к кому не прикасаясь, непрерывно стреляя в воздух, но люди уже и никакого Чека не видели, не слышали, не признавали и признавать не желали! Мурад Илдырымлы вдруг швырнул пистолет, подскочил к костру и, выхватив из него большое бревно, обеими руками поднял его, пылающее как факел, толстое и длинное, и, вращая им над головой (что дало ему, тяжело больному, силу?!), кинулся на людей, врвался в толпу.

Пылающее как факел бревно кого-то ударило, кто-то упал, а уполномоченный Главного политического управления Азербайджанской ССР кричал таким нечеловеческим голосом, и кружащийся над его головой факел сеял такой ужас в темноте, что люди вдруг очнулись, остановились, стихли. Кто лег на землю и, рыдая, терся о нее лицом, кто молчал, обессиленный, опустившись на колени. Будто факел отнял у людей последние силы.

Теперь звучал только дикий рев Мурада Илдырымлы. Потом воцарилась тишина: Чека обессилен, на запыляющихся ногах пошел к костру, обеими руками бросил в костер погасшее (у факела тоже не иссякли силы...), но ярко тлеющее бревно, сдвигаясь, снова вернулся, поднял свой пистолет, пройдя мимо сторонившихся, дававших ему дорогу красноармейцев, гадрутцев, и удалился, стал совсем невидимым в темноте.

Лягушки, испугавшиеся гула, шума, волнения, заполнившего всю округу, потянувшегося к маленькой горной речке лягушачье кваканье было голосом страдания и скорби самой ночи.

Костер горел, потрескивая, но звук костра больше не пугал молодых красноармейцев, потому что после гула и схватки с людьми они будто выросли, окрепли; а в блестящих при свете костра глазах обессиленных жителей Гадрута было столько горя и такая безумная боль, что треск костра был ничто в сравнении с их горем и болью...

Профессор Зильбер смотрел на людей и физически ощущал их страдание и испытывал такую благодарность к уполномоченному Главного политического управления Азербайджанской ССР, что ее и сравнить было не с чем, и выразить невозможно. Пройдут годы, но Мурада Илдырымлы он всегда будет вспоминать с благодарностью, даже преклонением... А в те минуты профессор Зильбер прощал уполномоченному все — и грубость, и подозрительность, и упрямство, и суровость. Уполномоченный спас всех. И гадрутцев, и тех, кто оберегал костер, — спас от неминуемой смерти.

Что еще могло потрясти человеческое воображение в такую ночь? Но вдруг взгляд профессора Зильбера коснулся человека, стоявшего чуть в стороне от красноармейцев. Стоявшего?.. Нет, тот человек был как собака на четырех ногах: на руках и коленях. Горящие глаза смотрели в костер, и из груди вырывался звук, похожий на собачье повизгиванье.

Профессор Зильбер никогда не забудет лицо того человека, стоявшего в свете костра на четвереньках, повизгивающего как собачонка. Когда профессор Зильбера арестуют и подвергнут пыткам как врага народа, он будет вспоминать человека у костра под Гадрутом, и воспоминание о нем даст профессору силы вынести инквизиторские пытки (бывает горе, перед которым и инквизиторские пытки бледнеют, кажутся выносимыми). Тот человек был как сам облик горя. Стоявший на четвереньках, он напоминал о самом начале, об истоках, о тех временах, когда человек еще не был двуногим, почти не отличался от животного...

Потрясенный профессор Зильбер прошептал:

— Кто этот несчастный?..

Красный Якуб, только что вместе с красноармейцами пытавшийся преградить путь гадрутцам, не допустить их к костру, теперь стоял рядом с профессором Зильбером и, все еще задыхаясь, вытирал лицо платком. Он услышал хриплый и дрожащий от волнения шепот профессора Зильбера, посмотрел в ту сторону, куда смотрел профессор Зильбер, увидел человека, стоявшего на четвереньках, не сводившего глаз с костра, отрывисто, по-собачьи повизгивающего. Красный Якуб узнал его:

— Этот человек... — Красный Якуб и русский знал плохо, и соперничал худшему из худших состояний того человека, потому с трудом подбирал слова. — Учитель... Русский язык дает в школе... Три маленьких сына погибли!.. Три сына... маленьких-маленьких... Жена тоже погиб. Сам здесь не был...

— Как же он здесь очутился? Как прорвался в Гадрут?

— Не знаю... Как птица... — Глаза Красного Якуба наполнились слезами. Девять лет после установления советской власти в Азербайджане этот человек заставлял плакать других, теперь сам заплакал, всхлипывая как ребенок.

Красный Якуб, правда, не мог понять, как сюда пробрался Хосров-муэллим. Красноармейцы ведь перекрыли не только дороги, а всю территорию Гадрута — гору, ущелье, лес. Они все окружили, и пройти сквозь их окружение было невозможно. Хосров-муэллим, несчастный сын несчастного, как пробрался сюда? Когда он шел, почему ему на голову какой-нибудь камень не упал, зачем не убил несчастного, чтобы уберечь от нечеловеческой муки?

Через много лет Хосров-муэллим и сам не мог припомнить, как он вошел в Гадрут, как добрался до своего абсолютно пустого двора, как увидел заколоченные, облитые лекарством двери собственного дома, мертвого петуха под грушевым деревом (как видно, петух в этом дворе умер последним), как присоединился к людям, несшимся к костру, Хосров-муэллим помнил пустой двор, дом с забитыми дверями и окнами, мертвого петуха с разноцветными перьями, еще не утратившими блеска в лунном свете, помнил горящий костер, факел, который кто-то вращал обеими руками над головой. Он никогда не забывал все это в своей долгой жизни. Но никогда ему не удалось вспомнить, как же он все-таки прошел через окружение. После разговора с Красным Якубом у заграждения он метался из ущелья в ущелье, перепрыгивал с камня на камень, его прогоняли, не пропуская, били прикладами, хватали, но он убежал, ногтями цепляясь за камни, землю, взбирался на холм, гору, продирался через кустарники, плутал между деревьями. Но что было дальше?..

Костер горел, пламя слабело, слабело и погасло. В ночной темноте краснели слабые угляшки.

Воцарилась полная тишина, и волнение, заполнявшее всю округу, рассеивалось, понемногу унося и запах костра...

Теперь это место было совершенно обезлюдившим...

Только от маленькой горной речки доносилось лягушачье кваканье, но и в нем не осталось ничего неестественного, напротив, это был голос далеких гор, снега на их вершинах, едва различного в лунном свете, голос утонувших во тьме лесов и той самой маленькой горной речки...

это был голос природы...

в далеком селе у подножья Бабадага по ночам так же квакали лягушки...

теперь в селе остались старуха, да при ней старик, измученный заботами, да юная девушка по имени Зулейха...

будущее было за детьми и внуками той девушки...

скоро наступит утро...

потом пройдут дни, прольется дождь, пойдет снег...

годы будут сменять друг друга...

и не останется следа от костра, на кострище расцветут цветы, среди цветов будут играть дети свободных тружеников...

Мурада Илдырымлы не будет...

но и Гадрут, и все села вокруг будут полностью электрифицированы...

эти села будут обеспечены тракторами и другой сельскохозяйственной техникой...

социализм победит, коммунизм будет построен... мир капитала будет уничтожен, пролетариат всего мира станет свободным...

и все страдания навсегда останутся в прошлом...

Уполномоченный Главного политического управления Азербайджанской ССР Мурад Илдырымлы, таща за собой серого жеребца, на заплетаящихся ногах шел к костру, в котором еще краснели угли; он ощущал в своем сердце радость и гордость за Будущее и боль, горечь Прошлого.

Серый жеребец тоже был болен, Мурад Илдырымлы это знал, и серый жеребец чувствовал, что поход к костру — его последний поход. что хозяин тянет его к последнему пристанищу. Серый жеребец не хотел идти, Мурад Илдырымлы тянул за уздечку, вел его за собой.

Жар от того кострища усиливался, запах нарастал, и серый жеребец, фыркая, дергал головой, но пылающий в лихорадке уполномоченный не выпускал уздечку.

Они подошли и остановились у самых углей, и серый жеребец отодвигался от жара, топтался, обессиленный, на месте, хотел вырваться из рук хозяина. Но не мог.

Уполномоченный, наматывая повод на левую руку, подтянул к себе серого жеребца совсем близко и посмотрел в большие и тревожные глаза коня, правой рукой поднял пистолет и выстрелил коно в висок.

У коня подогнулись передние ноги, большие глаза, уставившись в далекую точку, застыли, он упал боком, вытянул шею, щека коснулась ярко-красных углей, но у серого жеребца больше не было сил шевелиться.

Округу наполнил свежий запах паленого, запах горелого мяса.

Умолкшие на мгновение после выстрела лягушки заквакали снова.

Уполномоченный сунул пистолет в кобуру, вытягивая из костра головешки, стал складывать их на серого жеребца, и неподалеку от Гадрута под утро снова разгорелся небольшой костер.

Руки и лицо уполномоченного пылали теперь не от температуры, а от костра, терпеть было уже невозможно. Он бросил в новый костер последнюю тлеющую головешку (уже было достаточно!), глубоко вздохнул, вытащив пистолет из кобуры, приставил к виску, решительно прыгнул в костер и в тот же миг нажал на курок.

На миг, всего на один миг в том жутком жару уполномоченный ощутил на виске прохладу пистолетного дула. И все кончилось.

И умолкшие было после второго выстрела лягушки опять заквакали...

Через три дня, осматривая пациентов гадрутской больницы, профессор Лев Александрович Зильбер присел рядом с кроватью Хосрова-муэллима и сразу узнал его. Странное дело: Лев Александрович Зильбер смотрел на этого человека и чувствовал себя виноватым... Вообще со дня приезда в Гадрут это чувство его не покидало. Ему казалось, что он, профессор Зильбер, виноват, раз чума косит людей так безжалостно.

У длинного, худого человека с глазами, полными страдания, чумы не нашли, он был здоров. Но профессору Зильберу хотелось сделать для

него хоть что-то, что-нибудь подарить, дать на память. Ведь это он три дня назад, стоя на четвереньках в свете костра, хрипло, отрывисто повизгивал как собака. Младший брат профессора Зильбера — Вениамин Каверин был писателем, у него в Москве вышла книжка «Конец хазы», профессор Зильбер привез эту книжку с собой в Гадрут. На белой лицевой странице, он, не задумавшись ни на миг, написал:

«Человеку, увидевшему и пережившему ад.

Лев Зильбер»

Профессор Зильбер подарил книгу Хосрову-муэллиму.

После ликвидации эпидемии профессор Зильбер уехал из Гадрута, и Хосров-муэллима в Гадруте не остался (не мог оставаться! — ведь там все говорили о шестилетнем Джафаре, о четырехлетнем Аслане, о двухлетнем Азере, говорили о Ширин, говорили о том костре). Переехав в Баку, он устроился на работу в одну из школ и никогда больше не видел профессора Зильбера. Иногда, правда, во сне видел, как они в гадрутской больнице безмолвно смотрят друг на друга. И еще ровно через тридцать семь лет в один из ноябрьских дней 1966 года в газетном искрологе увидел портрет академика Льва Александровича Зильбера.

6. В узком тупике

Тупик со свежевыбеленными голубоватой известью стенами был нешироким, безлюдным, аккуратным и тенистым — отлично для жаркого, будто летнего апрельского дня. Едва заметный запах извести свидетельствовал о постоянстве покоя, уюта и чистоты, будто покой, уют и чистота в этом коротком и узком тупике были всегда — и тысячу лет назад были и через тысячу лет будут; в тупик открывались три дворовые двери темно-желтого цвета, и казалось, что все три двери всегда были плотно закрыты и никогда не откроются; и шум машин, проезжавших по мощенной булыжником узкой улице, в тот апрельский день доносился в тупик не грохотом, а тихонько, в шуме машин была мягкость, умеренность.

Гиджбасар лежал в тупике, вытянувшись на животе у подножия электрического столба, вкопанного у стенки на асфальте, и черные глаза пса дремали. С тех пор как убежал с кладбища Тюлюк Гельди, Гиджбасар два дня бродил по нагорным махаллям Баку, пока не добрался до этого маленького и спокойного тупика. Тут было уютно и чисто. Покой, уют и чистота после двухдневных скитаний пришлось псу по душе.

Отличалось ли спокойствие узкого тупика от кладбищенского покоя в глубине Тюлюк Гельди? На кладбище Тюлюк Гельди помимо управленческой суеты, хождений, ночной жизни, погребальных обрядов, голоса моллы, траурной суеты нищих, собирающих пожертвования, музыки (и на европейских музыкальных инструментах, и на азербайджанских народных) — в разное время дня, и утром, и днем, и вечером, и ночью, бывала и мертвая тишина. Кладбище Тюлюк Гельди было большое. В одном конце хоронили, играла музыка, а в другом конце на

дорогие и дешевые, на старые и новые могильные камни опускалась мертвая тишина, и разнообразие могильных камней совершенно исчезало, мертвая тишина делала их одинаковыми. Временами Гиджбасар, сбегая от шума вблизи управления кладбища, от ночной жизни, от пинков и камней, вступал в ту мертвую тишину, но долго оставаться там не мог, вот так спокойно лежать и дремать не мог, и сбегал, чтобы избавиться от мертвой тишины, возвращался к людям.

Гиджбасар открыл глаза, посмотрел на голубоватую стену перед собой, потом наводстрил уши, слегка повернув голову в сторону, посмотрел на вход в тупик. В прекрасном покое, уюте и чистоте Гиджбасар вдруг почувствовал запах спиртного. Разумеется, Гиджбасар не знал, что это был запах спиртного, но он хорошо усвоил за столько лет на кладбище Тюлюк Гельди, что, когда доносится этот запах, нужно быть бдительным, осторожным и внимательным. Горький опыт научил его: где есть этот запах, там все возможно — тебя будут гладить и целовать, но внезапно, дав пинка, переломают ребра. Гиджбасар каждый день видел, как на кладбище Тюлюк Гельди ящиками таскали водку, и во всех подробностях наблюдал, как люди ее пили, как, напиваясь, менялись. Он знал повадки пьющих людей так же хорошо, как повадки машин, по ночам приезжающих и уезжающих с кладбища Тюлюк Гельди, как характер железных ворот, как крышу будки караульщика Афлатуна, как молчание могильных камней, которым нет счета. Запах спиртного сопровождал его всю жизнь.

В этот узкий переулочек он залетел неожиданно и был особенно острым, потому что от здешних домов и людей не пахло ничем подобным. Гиджбасар не видел людей за темно-желтыми воротами, но чувствовал их дыхание, ощущал аромат их кухонь; и в самом кухонном аромате была непривычная Гиджбасару чистота. Лежа в узком тупичке у столба, в спокойствии и уюте, Гиджбасар будто чувствовал и ласку невидимых людей за темно-желтыми воротами.

Кто-то остановился перед тупиком. Худой мужчина в пыльных, перепачканных землей синих брюках, в расстегнутой черной рубашке с оборванными или висащими на ниточке пуговицами и невероятно грязном, изношенном коричневом пиджаке, с волосатой грудью и волосатыми руками, держа рукой за угол, немного покачался на месте, потом, сощурив затуманенные глаза, посмотрел на улицу, потом посмотрел в тупик, увидел пса, лежащего у столба и устремившего на него черные глаза, — как будто и обрадовался немного, и удивился:

— А-а-а... И ты... зы-десь!..

Наверное, эти слова в узком тупике прозвучали очень задушевно, потому что Гиджбасар не вздрогнул, не забеспокоился и встал только, когда человек стал входить в тупик.

— Не в-с-таа-вай... Не в-с-таа-вай... Ложись... Прошу тебя, да. — Человек остановился, рукой показал, чтобы пес лежал, неожиданно сам опустился на колени и по асфальту пополз к Гиджбасару. За долгие годы, проведенные среди людей на кладбище Тюлюк Гельди, пес научился разбираться в людях, предвидеть их дурные дела. Но теперь он не ждал плохого от ползущего человека и не испугался. Худой мужчина пополз к псу, остановился нос к носу с ним и неожиданно заплакал.

От человека шел такой крепкий спиртной дух, что Гиджбасар задышался, но, странное дело, не отступил в сторону, устремил свои черные глаза в глаза нового знакомого, обесцвевшиеся и повлажневшие. Пес понимал, что дела у человека нехороши, что человек плачет, что этот человек — несчастнейшее существо, ощущение общей неприкаянности в полдневном узком тупике создавало близость, даже родственность между человеком и Гиджбасаром.

Мужчина сел у столба рядом с псом, прислонил к столбу торчащие лопатки, вытянул ноги и, плача, протянул руку, погладил собачью морду. Гиджбасар не отвел голову, наоборот, подался несмого вперед, дыхание мужчины било прямо в нос, но пес терпел, потому что ласка той руки, гладящей его морду, была намного сильнее неприятности спиртного духа, и не будь спиртного духа, рука не была бы такой ласковой.

Утерев слезы и сопли, худой мужчина огладил неопрятную седоватую бороду грязной рукой с нестриженными «траурными» ногтями:

— Ззз-нашень... что сказал Вахид? Вахид... Вахид сказал... за тебя... за тебя я жизнь от-д-д-дам... любимая!.. В-в-ви-и-и-дишь?... А мне не говори-и-или такие слова, не говори-и-и-ли! Вахид, ви-и-и-дишь... как сказал: за тебя я жи-и-и-знь... отдам, любимая... Э, был бы я соб-б-бакой! Собак лучше! Собакой быть, чем человеком... в сто раз, — в сто раз лучше!..

Он опять утер слезы и вдруг бесцветными глазами, наполненными беспокойством, тревогой, посмотрел на вход их узкого тупика, но, убедившись, что никакой опасности пока нет, сунул руку в нагрудный карман коричневого пиджака, вынул полную бутылку, снова с прежним беспокойством и тревогой бросил взгляд на вход в тупичок, грязными ногтями открыл бутылку и стал пить красное вино.

— Меня... собакой надо было... родить моей матери... Мама плохая была, да... сукина дочь моя мама... Не родила меня собакой!.. Собакой бы-ы-ыл бы... гуля-а-а-ал бы... вместе с тобой по у-у-у-лицам... С тобой д-д-дружи-и-и-ил бы... Мы бы с тобой др-у-у-жили себе... Люди очень... подлые, э... знаешь?... Очень подлые!.. Я хочу... собакой быть... Вот... так! — И худой мужчина залаял как собака, и его лай не нарушил покой Гиджбасара, не испортил уют и чистоту узкого тупика, напротив, стал продолжением покоя, уюта и чистоты.

Худой мужчина хлопнул рукой по колену:

— Сю-д-д-да кледи голову... Клади сю-у-уда!.. Ты мой бр-р-рат... Я всегда тебе буду еду нос-с-нить. Поведу тебя... домой... Знаешь, какой... у меня дом? Два-р-р-рес!.. На машине буду катать... тебя... Десять штук... у меня машин... На какой захочешь, на той бу-д-д-у катать тебя... Хоч-ч-чешь... а?... И шоферы у ме-е-е-ня есть, э! Но ты зна-а-а-ешь... я собакой б-б-быть хочу!.. — Худой мужчина опять заплакал. — Собакой... собакой быть хоч-ч-ч-чу!

В том спокойном, уютном и чистом тупике произошло удивительное событие: пес смотрел, смотрел на человека и вдруг, подогнув лапы, лег на землю, положил морду на ногу мужчины и ласково посмотрел на него снизу вверх. Но худой мужчина принял все как должное (будто пес и должен был понять его слова, сочувствовать ему, жалеть!). Левой рукой он стал гладить Гиджбасара, почесывать пса за ушами.

— Соб-б-б-бакой быть хочу... — Он отпил еще один глоток из бутылки. — Вахид знаешь что сказал? Вахид, э!.. Алиага Вахид... Гонорит... в лю-д-д-дых... в лю-д-д-дых преданности нет... Подлые л-л-люди!.. Только я... не подлый!.. Зи-и-и-наешь, как я буду за тобой смотреть? Все тебе кулю!.. «Дохтурски» колбаса... най-д-д-дуг... для меня... Два кюло! Д-д-дам тебе... все отдам тебе!.. Но я тоже х-х-х-очу быть собакой!.. Если бы я был собакой... м-м-мы б-б-бы вм-м-м-месте ел-л-ли «дохтурску» колбасу!

Смысл слов Гиджбасар, конечно, не понимал, но в интонации, в звуках была прекрасная музыка, и прекрасную музыку на фоне чистоты, покоя, уюта в узком тупике псу хотелось слышать всегда, он так положил морду на ногу мужчины, как будто она навсегда так и останется, будто он никогда не поднимет голову с этой доброй ноги. Запах спирта, особенно запах из бутылки, уничтожал едва уловимый нежный запах извести, резкий запах спирта все же мешал... Но ласка, доброта, привлекательность руки, гладящей пса, чешущей за ушами, превосходила все, перечеркивала, отменяла все дурные запахи мира. Как видно, пес никогда не знал такой ласки. Правда, в щенячью пору Гиджбасар иногда чувствовал тепло горячей и большой человеческой руки. Но это было так давно... Теперь Гиджбасар, положивший голову на ногу худого мужчины в узком тупичке, будто возвращался в то далекое, аж в самую младенческую щенячью пору...

Вдруг пришел новый. Первым его почувал Гиджбасар, взволнованно поднял голову, посмотрел на вход в тупик. Худой мужчина тотчас уловил беспокойство собаки, бесцветными глазами, которые вдруг наполнил животный страх, взглянул в сторону улицы, быстро сунул ополовиненную бутылку в нагрудный карман коричневого пиджака и, дрожа от волнения, часто-часто зашептал:

— Собакой быть хоч-ч-чу!.. Собакой быть хоч-ч-чу!.. Собакой быть хоч-ч-чу!..

У входа в тупик показались двое — мужчина и женщина. Оба, покачиваясь, остановились. Заглянули в тупик. Женщина, показывая пальцем на сидящего у столба худого мужчину, визгливо закричала:

— Вот он, педерас!.. Спрятался здесь, да, курва!

Оба ринулись к столбу, и весь тупик наполнился до краев запахом спирта. Двое накиннулись на сидящего у столба человека. Бедняга не успел даже шелохнуться. Долговязый пнул в лицо человека, сидевшего у столба (и все шептавшего: «Собакой быть хоч-ч-чу!.. Собакой быть хоч-ч-чу!..»). Удар был таким сильным, что нанесший его и сам не удержался на ногах, упал на спину.

Сидевший у столба вскрикнул, закрыл лицо руками, и кровь из разбитой губы просочилась между пальцами, и грязные ногти его ярко заалели.

Женщина не обратила внимания на упавшего приятеля и обеими руками вцепилась в волосы худого мужчины, сидевшего у столба:

— Убежать хотел, да? Педерас!.. Где вино?... — И начала колотить несчастного головой о столб. — Говори, где вино?... Убьем тебя!.. Убьем!.. Курва!..

Долговязый поднялся. Женщина была русской и говорила по-русски, а долговязый сказал по-азербайджански:

— Сводник!.. Хотел нас обмануть и сбежать, да?! Один пить хочешь, подлец?! Думашь, меня обмануть можно?..

Женщина все не успокаивалась, колотя худого мужчину головой о столб, она кричала:

— Где вино?.. Где, курва?! Где вино?..

Длинный снова хотел ногой ударить худого мужчину у столба, и в этот момент Гиджбасар залаял со страшной злобой. Все это время пес был в растерянности, а теперь пришел в себя. Правда, зная, что такое пиннок, он не приближался к длинному, но, кружась около него, лаял изо всех сил.

Женщина закричала:

— Пошел! — И, выпустив волосы несчастного, набросилась на пса, размахнулась ногой — мимо, еще размахнулась — опять мимо. И Гиджбасар впервые в жизни схватил зубами человечесью ногу.

Женщина дернулась и заорала, но Гиджбасар не выпустил из пасти ее лодыжку, и женщина, и без того с трудом стоявшая на ногах, упала на спину, подол ее платья задрался, и безвременно увядшее тело обнажилось чуть ли не до самого пупка.

Почувствовав в пасти вкус крови, Гиджбасар лодыжку выпустил, но лаять стал еще яростнее.

Три темно-желтые двери, как сговорившись, открылись одновременно, и в узкий тупик выскочили люди. Это были женщины и дети, ни одного мужчины не было, потому что в махалле считалось недостойным мужчины выходить на улицу ради любого шума. Видимо, в это время обитатели узкого тупика готовили обед — руки у женщин были в мясном фарше, муке, масле, и, вытирая руки о передники, женщины подвигали страшный шум:

— Ах, сукины дети!

— Ну ты посмотри на нее, на эту сучку, посмотри!

— Вай-вай-вай!

— Слушай, да она без трусов!

— Тыфу на тебя!..

— Пьяница!

Среди людей, заполнивших тупик, был толстый мальчик, у которого уже наметились усики. Как только он вышел в тупик, глаза его так и вперились между обнаженных ног упавшей женщины.

— Гони их!

— Тыфу на тебя!..

— Да укрой ты эту шлюху!

— Быстрее!

— Тыфу на тебя, сука!

— А этому морду разбили!

— Вставайте, сукины дети, вставайте!

— Бей эту шлюху!

— На тебе!

— Бейте их, это же не люди!

Множество ног и рук накинудись на человека с разбитыми губами, долговязого и женщину, из чьей лодыжки текла кровь. Крики, вырвавшиеся из глоток с набухшими жилами, будто впитывались в свежепобеленные стены узкого тупика (они навсегда останутся в этих стенах), и вместе с людьми стены громко кричали:

— Подлец, сын подлеца!

— Пьяница, сукин сын!..

— Ах ты шлюха!..

— Бей их!

— На тебе!..

— Ах ты, сука, трусик надень, да!

— На тебе!

Гиджбасар прижался в угол и рыча смотрел на пинки, кулаки, пощечины, слушал вопли людей и стон. Коричнево-черная шерсть вздыбилась как у кошки. Пес не мог, он боялся проскользнуть между разъяренными людьми, ему было не убежать...

— На тебе!

— Еще придешь сюда, а?..

— Ах ты сука, тыфу на тебя!

— Это тебе еще мало, сводник, сын сводника!..

— На тебе!

— Подлец!

Первым спасся, сбежал из тупика длинный. Потом худой с разбитыми губами (все это время правой рукой, залитой кровью, он прикрывал бутылку в кармане пиджака, чтобы не разбилась, не вылилась), потом, спотыкаясь, убежала женщина. И когда она убежала, толстый мальчик, пользуясь толчеей, сунул руку ей между ног. Мать мальчика подметила этот жест и, пылая от злости, заорала:

— Ты что делаешь?! Провались ты! — И смачно шлепнула сына по наголо обритой к лету голове. Звук шленка был последним отзвуком шума в узком тупике. Три темно-желтые двери как открылись внезапно, так теперь, приняв людей, внезапно и затворились.

В тупичке остались только толстый мальчик и Гиджбасар, еще забывшийся в угол.

Мальчик молчал. Гиджбасар не рычал. Но отдающие голубоватым беленым стены узкого тупика все еще гудели.

Гиджбасар опустил голову, уши его обвисли, он завертел хвостом и хотел уйти. Но толстый мальчик его увидел и выплеснул на пса свою злобу за боль и стыд давешней затрещины:

— Пошел отсюда!.. — Мальчик поднял с земли бульжник. Гиджбасар понял, что сейчас получит тяжелый удар, и решил бежать быстрее, но бульжник, с силой брошенный толстым мальчиком, на выходе из тупика ударил Гиджбасара по ребрам, и пес, повизгивая от удара, помчался вниз по улице.

Гиджбасар изо всех сил стремился как можно скорее прочь от узкого тупика.

И узкий тупик со свежепобеленными известковой стенами и плотно закрытыми темно-желтыми дверями остался позади.

7. Торжество

Была зима 1939 года. Всю ночь шел снег, улицы Баку, крыши домов, балконы и особенно верхние кварталы, где не очень много прохожих, засыпал снег. Двухкомнатная, с кухней, квартира Алескера-муэллима была в маленьком одноэтажном доме как раз такого квартала, в нагорной части Баку. Странно, но неожиданный холод не только не вызвал недовольства или беспокойства у Алескера-муэллима, всегда любившего уют, тепло, но, наоборот, снежная белизна, окутавшая все вокруг, воодушевила Алескера-муэллима, вызвала подъем духа, даже — хоть это и неопозитивно — принесла с собой какое-то тепло (снег и тепло!). Будто в тот зимний день чистой снежной белизна возвещала о наступающих на смену черным светлым дням мира, предсказывала о добре деяния, и Алескер-муэллим, возбужденный, в прекрасном настроении, с удовольствием умывшись под рукомойником, висевшим на кухне, сказал:

— Ну, неси кур, я порежу!

Жена Алескера-муэллима, Фируза-ханум, отбрасывая кипящий рис и дуршлаг и отворачиваясь от пара, сказала:

— Ты не волнуйся, не волнуйся... Все будет в порядке... Главное — не полнуйся!..

Фируза-ханум была права, и Алескер-муэллим сам очень хорошо знал: насколько выдержанным он бывал на работе, среди друзей, знакомых, настолько же дома, в быту он бывал беспокойным, нетерпеливым. Например, каждый год летом они вместе — Алескер-муэллим, Фируза-ханум и Арзу — ездили в Kisловодск, и он всегда так торопил и жену, и дочь, что они отправлялись на вокзал за три часа до поезда... Вот и сегодня он пришел из школы пораньше, чтобы поздравить Фируза-ханум: уже неделю Алескер-муэллим беспокоился за сегодняшнее вечернее торжество. Он знал, что все будет в порядке, что Фируза-ханум накроет прекрасный стол, хоть она толстая и на первый взгляд неповоротливая, а на самом деле очень проворная, все подготовит вовремя, гости будут поднимать тосты в честь Арзу, пить-есть, короче говоря, будет, как обычно, прекрасное торжество. Он все это знал, а все равно полновался:

— Не нужно ли чего купить?

Фируза-ханум поставила на керосинку плов в медном, оставшемся от предков казане:

— Да нет, все есть. Ты не беспокойся!

— Хлеба не мало?

— Нет, нет... не беспокойся, все устроится...

Алескер-муэллим, глядя на вспотевшее лицо Фирузы-ханум, улыбнулся, он был таким нетерпеливым человеком, что его нетерпение и беспокойство передались и Фирузе-ханум, и ее слова «ты не волнуйся, ты не беспокойся» больше свидетельствовали о ее собственном волнении. Но прекрасный снег очень вовремя выпал, потому что сверх меры потешая из-за полноты Фируза-ханум перед приемом гостей совершенно выбивалась из сил, но теперь на одной керосинке настанавался плов, на другой керосинке варилась долма, отваренные куры лежали в

стороне, на сковородке два зажаренных куринских жереха, которые Алескер-муэллим купил вчера у одного сальянца на площади Кемюрчу, — а на кухне было прохладно, и Фируза-ханум потела меньше, чем обычно.

К Алескеру-муэллиму люди ходили редко, и в этой семье из трех человек все так привыкли друг к другу, такая это была сплоченная троица, что, когда кто-то приходил, им становилось неуютно. Родственники Фирузы-ханум жили далеко, в Нахичевани, раз-другой в год кто-то из них оказывался в Баку, летом привозили семейству Алескера-муэллима ордубадские персики, абрикосы, груши, сливы, и толстая, как ее мать, Арзу с удовольствием поедала фрукты; а зимой привозили орехи, миндаль, сушеные абрикосы, тут, вишни, альбухару, и Фируза-ханум сохраняла эти прекрасные яства до главного торжества, которое они праздновали каждый год. А у Алескера-муэллима не осталось такой близкой родни, те, что остались, жили в Кубе и в Баку и, можно сказать, не приезжали.

Они поженились в 1921 году, тогда Алескеру-муэллиму был тридцать один год, его только что назначили директором школы, а Фируза-ханум было двадцать шесть лет, и отец Фирузы-ханум, покойный Газанфар-киши, был в той же школе заместителем директора по хозяйственным делам. Фируза-ханум и тогда была толстой, а Алескеру-муэллиму нравились как раз толстые женщины.

У Алескера-муэллима с Фирузой-ханум восемь лет не было детей. Фируза-ханум употребила все народные средства, Алескер-муэллим следовал всем возможным советам профессора Фазиль Зия (получившего образование еще в прошлом веке в Стамбульском университете), уважаемого в Баку всеми от мала до велика, и наконец зимой 1929 года у них родилась дочь. Алескер-муэллим назвал девочку Арзу (Мечта), и с тех пор каждый год зимой, в день рождения Арзу, в доме Алескера-муэллима было прекрасное торжество.

Профессор Фазиль Зия прежде тоже участвовал в этих торжествах. Удивительно интеллигентный был человек... Гуляя, всегда мурлыкал под нос народные песни, своим пациентам, независимо от заболевания, говорил: «Чаще ходите в театр!». И еще: «Кушайте плов, — говорил, — но мало кушайте...» В последние годы профессор Фазиль Зия из-за глубокой старости (ему было за восемьдесят) уже редко выходил из дому и зимой не мог прийти на торжество в честь Арзу. И Алескер-муэллим каждый раз в день рождения Арзу сам приходил домой к профессору Фазилью Зия, вручал старику букет роз. Но в прошлом году Фазиль Зия был разоблачен как враг народа. Из-за того, что получил образование еще в XIX веке в Турции, он был объявлен турецким шпионом и махровым пантюркистом, обвинен в пропаганде идей фашизма в Советском Азербайджане, арестован и расстрелян. Словом, в такой прекрасный день думать о подобных вещах не нужно...

Арзу была очень хорошим и умным ребенком. Ей еще не было и пяти лет, а она выучила и азербайджанский, и русский алфавиты, и с того времени книги на обоих языках были для Арзу всем. Этот ребенок открыл для себя книгу и понял, что все игрушки, все игры, все разговоры, даже разговоры взрослых, — ничто перед книгой, Арзу столько чи-

тала, что порой не только Фируза-ханум, но и сам Алескер-муэллим беспокоился и вел ребенка погулять на бульвар или на концерт, в кино, в театр. Арзу с отцом ходила на оперу Глиера «Шахсенем», в Азербайджанском драматическом театре — на «Отелло», в русском драматическом театре — на «Анну Каренину», «Рюи Блаз», бывала на концертах народного артиста Грузии, орденоносца Аракишвили, заслуженной артистки РСФСР Дарьи Спиришневской, в цирке смотрела аттракцион Алли-вад, слушала в художественном чтении Сулена Кочаряна «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели на русском языке. Арзу очень нравилась опера композитора Чишко «Броненосец «Потемкин», она пять раз ходила слушать эту оперу, а когда в 1937 года была поставлена опера Узеира Гаджибекова «Кероглу», Арзу как минимум три раза в месяц вместе с Алескером-муэллимом ходила ее слушать, даже один раз и Фирузу-ханум заставила выйти из дому, и впервые в жизни они втроем — Алескер-муэллим, Арзу, Фируза-ханум — слушали оперу.

Конечно, все это было очень хорошо. Но для Арзу ничто не могло сравниться с книгой. Она записалась в открывшуюся в четырех кварталах от их дома библиотеку имени Л.М. Кагановича и, кажется, собиралась перечитать всю эту библиотеку. Когда в прошлом году администрация библиотеки направляла первомайское поздравительное письмо товарищу Л.М. Кагановичу — одному из ближайших соратников товарища Сталина, под письмом была и подпись Арзу как активной читательницы. И в поздравительном письме, направленном администрацией библиотеки славному исследователю Арктики, Герою Советского Союза, депутату Верховного Совета СССР Ивану Дмитриевичу Папанину (этому сталинскому герою исполнилось 50 лет), вместе с пламенным большевистским приветом и пламенным комсомольским приветом посылались пламенный пионерский привет, и среди пяти пионеров была Арзу.

Сейчас Арзу училась в четвертом классе, но с легкостью решала математические примеры восьмого, девятого классов, и серьезный, грамотный учитель математики Алибаба-муэллим называл Арзу Софьей Ковалевской. «У меня, — говорил он, — предчувствия сбываются. Двадцать лет преподаю! Этот ребенок станет большим ученым! Тогда, — говорил он, — мы все будем хвалиться, что были ее учителями! Вот увидите! Я умру, а вы останетесь и увидите. До сих пор какие бы прогнозы я ученикам ни делал, все и сбывались! Если Арзу не станет действительно Софьей Ковалевской Азербайджана, тогда я ничего не знаю! Тогда я не учитель, а оправдом! У нее не просто талант, а дар! Да!»

Конечно, Арзу могла экстерном сдать экзамены и учиться в восьмом или девятом (даже десятом!) классе, но Алескер-муэллим не хотел. Влезать под такой тяжелый груз нужды не было, лучше было расти постепенно, она была ребенком, полным, живым, с хорошим аппетитом, но ведь ребенком, так пусть и растет как ребенок, а экзамены экстерном — дело будущего, вот окончит школу, поступит в институт, тогда пусть сдает экстерном, пусть сразу переходит на третий, на пятый курс, пусть защитит не кандидатскую, а сразу докторскую. Тот дар, о котором говорит Алибаба-муэллим, Бог даст (Алескер-муэллим в душе был верующим человеком, хотя в его школе, естественно, об этом никто не

знал), никто не отнимет. Кроме того, ведь Алескер-муэллим был директором школы, и Арзу училась именно в этой школе, и если родная дочь директора вдруг начнет перепрыгивать через классы, это вызовет только нежелательные разговоры, а такие разговоры никогда не нравились Алескеру-муэллиму.

До революции Алескер Бабазаде учительствовал в начальных школах в нефтедобывающих рабочих районах Баку — Раманах, Сураханах, Сабунчах, а директором школы в Баку и одновременно учителем географии он стал только восемь лет назад. Он был беспартийным, никогда не вмешивался в политику, ни с кем не связывался, всегда со всеми ладил, при любой возможности делал добро, и хотя ему еще не было и пятидесяти, он считался аксакалом среди работников просвещения Баку, был уважаем и авторитетен. Ураган 37–38-го годов унес всего двоих из школы, где директором работал Алескер-муэллим: Авазбека Мунганлинского, в начале века окончившего с отличием Сорбонну, оставленного в этом университете и преподававшего в нем, но потом с целью служения родному народу вернувшегося в Баку, долгое время трудившегося в азербайджанской печати, написавшего новую грамматику азербайджанского языка, переведшего на азербайджанский язык произведения Мольера, Гюго, Стендаля и после революции работавшего в средней школе преподавателем французского языка; и еще Фариды Ширинли, окончившего в Москве Институт красной профессуры, молодого учителя литературы. Вот и все. В школе, где директорствовал Алескер-муэллим, было разоблачено и арестовано всего два врага народа (говорили, будто оба расстреляны, но официального сообщения на этот счет не было). А в Баку были такие школы, где пятьдесят, шестьдесят, даже семьдесят процентов учителей были разоблачены как враги народа. И директора таких школ, секретари партийных организаций на просветительских совещаниях, на пленумах партийных комитетов с гордостью называли эти цифры с трибун. А потом, глядишь, гордившийся высокими цифрами директор школы или секретарь партийной организации сам разоблачен как враг народа, и с той же трибуны об этом сообщает новый директор, новый секретарь парткома.

Фарид Ширинли писал рассказы, время от времени публиковался, учился вместе с Али Назимом в Москве, дружил с Миканлом Мушфиком, к месту и не к месту защищал их, так в их огне и сгорел. А Авазбек, бедняга... Он предчувствовал, что над его головой стучаются тучи, и неожиданно исчез. Жена его написала заявления в школу, в милицию, мол, Авазбек пропал. Пропал и пропал, ровно девять месяцев от Авазбека не было никаких вестей, потом кто-то из соседей сообщил, и работники органов вытащили Авазбека из платяного шкафа в собственном доме; выяснилось, что жена ровно девять месяцев прятала Авазбека в платяном шкафу.

В школе Авазбека разоблачили как врага народа на совместном собрании партийной, комсомольской и пионерской организаций с участием Джумшудлу — начальника отдела районного комитета партии. Авазбека арестовали как английского шпиона, занимавшегося терроризмом.

Авазбек ровно восемь лет подряд участвовал в торжествах в дни рождения Арузу; подарки — он приносил прекрасные книги — всегда сам вручал Арузу и говорил: «Же ву фелисит, мадемуазель!» Но последние два года он, естественно, на торжествах Арузу не бывал. У Арузу была очень хорошая память, она помнила, что произошло, когда ей было три года, четыре, и на позапрошломднем торжестве, вспомнив, наверное, те прекрасные книжки, внезапно сказала: «Дедушки Аваза нет...» После торжества Алескер-муэллим чуть не шепотом сказал Арузу: «Ты больше не произноси имя дедушки Аваза...» Арузу удивилась: «Почему?» У Алескера-муэллима язык не повернулся и дома повторить, что Авазбек оказался врагом, поэтому он только сказал: «Так надо...» Арузу в школе была активным членом отряда Павлика Морозова, выпускала классную стенную газету, сама, без чьей-либо помощи, написала для этой газеты передовую статью, разоблачающую Гусейна Джавида как врага пионеров, но все-таки Арузу была ребенком и не отставала от Алескера-муэллима: «Почему так надо?»

Что-то Фируза-ханум сказала дочери, чего-то не сказала, но в конце концов вопросы прекратились. Алескер-муэллим из осторожности спрятал подаренные Авазбеком книги в подвал, и Арузу их больше не видела. И имени Авазбека больше никогда не произносила. Алескер-муэллим спрятал в подвал и две древние рукописи со стихами Физули и Вагифа, потому что рукописи, естественно, были написаны арабским алфавитом. А теперь человек, читающий книги на арабском алфавите, писавший на арабском алфавите письма — на алфавите, котором этот несчастный народ писал и читал уже тысячу лет, — объявлялся врагом народа. Если у тебя есть книги на арабском алфавите, значит, ты молла, пропагандируешь религию (кому объяснишь, что это Физули! Вагиф!...) либо ты агент Мусавата, махровый буржуазный националист, пантюркист (самое страшное обвинение было — пантюркист!), панисламист... Да разве только книги! И камни стали врагами. Прекрасная мечеть в Биби-Эйбате, просто ошеломлявшая красотой... Ее сломали, разрушили, сровняли с землей. То же с древней мечетью в Маштагах... А мечеть в Шехи... Сколько исторических мечетей в Азербайджане разрушили!.. Самое безгрешное место на свете — кладбище, так и туда добирались, и там гробницы разрушали... И на кладбище дурные деяния нищут... О чем говорить? Ну хорошо, о вы, подлцы, бессовестные, неблагодарные, о вы, называющие себя строителями новой жизни и разрушающие жизнь, хорошо — допустим, мечети мусульманские, а вы с исламом на ножах. Но зачем же тогда вы не оставили камня на камне от гигантского Александровского собора в прекраснейшем месте Баку, зачем и его разрушили, уничтожили?..

Алескер-муэллим думал об этом, и чем больше думал этот выдержанный человек, тем сильнее раздражался на себя, все нутро его переполнилось черной кровью. Дело было не в мусульманстве, не в христианстве. Главным делом их власти было рушить, ломать, ослеплять, равнять с землей, гасить очаги. Их вера — в дьявола, сын продает отца, брат разоблачает брата, дочь отказывается от матери, жена на мужа пишет жалобу в партийную организацию, на комсомольских собраниях сестра доносит на сестру, разрушаются мечети, разрушаются церкви, даже

беседа ночью с женой, человек боится допустить политическую ошибку... Чем это все кончится, господа? Это что за время, что за страна, это что за строй? Нет разницы между головой человека и головой курицы, и голову человека, как голову курицы, когда захотят, тогда и оторвут... В какой стране такое было, в какую эпоху лилось столько невинной крови, было столько страха? Маркс такое говорил? Энгельс такое говорил? Ленин такое говорил? В общем... И думать так об этом опасно, потому что и сам себя человек боится.

В школе Алескера-муэллима, кроме двух учителей, всего девятнадцать старшеклассников были исключены из комсомола, исключены из школы. Из этих девятнадцати ребят одиннадцать... ладно, им помочь было невозможно, потому что они были детьми врагов народа. Но остальные восемь... Как только чуть-чуть обстановка уляжется, Алескер-муэллим их восстановит (двоих уже восстановил). Вообще школа, где директором был Алескер-муэллим, по сравнению с другими школами, другими учреждениями и предприятиями была очень спокойным местом. Скандальных людей не было. Один только Афлатун-муэллим... Секретарь партийной организации школы, в 1936 году он был прислан из райкома. Теперь, слава Богу, перешел в другую школу директором. Правда, горе той школе, где Афлатун-муэллим стал директором, но во всяком случае, он оказался подальше от школы Алескера-муэллима.

Афлатун-муэллим, в сущности, не был педагогом. Он был заместителем Алескера-муэллима по хозяйственным делам и одновременно секретарем партийной организации школы. В свое время Афлатун-муэллим был вожатым трамвая. Но после суда в Москве над троцкистско-зиновьевским террористическим центром (август 1936 года), после разоблачения в газетах кровавых преступлений Зиновьева, Каменева и четырнадцати других обвиняемых, после того как махровая враждебная деятельность этих оголтелых мерзавцев против великого советского народа, против светлых идеалов ленинизма, против лично генерального вождя товарища Сталина стала для всех очевидна, Афлатун-муэллим вступил в ряды партии. И, проявляя высокую бдительность, Афлатун-муэллим в том же 36-м году разоблачил двух своих товарищей вагоновожатых как троцкистов, а одного кондуктора — как зиновьевца. С тех пор он продолжал активную общественную деятельность. У него была особая тяга к поискам, находению и разоблачению врагов народа, шпионов. Но при Алескере-муэллиме дело у него не пошло.

Алескер-муэллим был родом из Кубы, а значит, был земляком первого секретаря ЦК КП(б) Азербайджана товарища Мир Джафара Багирова, и хотя сам Алескер-муэллим об этом ни слова не говорил, ходил такой слух, будто товарищ Мир Джафар Багиров лично знает Алескера-муэллима, будто детство у них было общее. Правда, Алескер-муэллим был на шесть лет старше вождя азербайджанских большевиков товарища Мир Джафара Багирова — товарища Мир Джафар Багиров родился в 1896 году, а дата рождения Алескера-муэллима — 1890 год, никто не обращал на это внимания, и никто ни о чем не спрашивал Алескера-муэллима; раз речь шла лично о товарище Мир Джафаре

Багирова, лучше было не совать туда нос. Разумеется, об этих слухах знали руководители и райкома, и просвещения, хотя в 37–38-м годах они менялись каждые два месяца. Только придут руководители просвещения, вскоре их разоблачат как врагов народа, и на их места придут новые. А информация об общем детстве сохраняется, как бы передается из рук в руки. И хотя никто в детали не вдавался (пойди спроси у товарища Мир Джафара Багирова, является ли Алескер-муэллим другом его детства!), из предосторожности все оказывали уважение Алескеру-муэллиму.

Афлатун-муэллим назвал своего старшего сына Колхоз — в честь сталинской политики коллективизации. Несмотря на то что он не слишком точно умел выражать свои мысли, выступал обязательно на всех собраниях — от партийных до пионерских, призывая всегда быть бдительными в окружении врагов народа. Когда Афлатун-муэллим намечал в школе кого-то для разоблачения как врага народа и начинал собирать материал, Алескер-муэллим сдержанно вмешивался в дело, говоря Афлатуну-муэллиму: «Ты ведь, Афлатун-муэллим, человек гуманный, благородный, всем хочешь сделать хорошее, не торопись...»

Эти слова Алескера-муэллима были Афлатуну-муэллиму как балзам по сердцу. Но говоривший коряво из-за большого языка Афлатун-муэллим все-таки возражал: «Все это так, э, Алескер-муэллим. Но мы же должны, как это называется, ну это, не должны терять нашей политической бдительности! Всюду вокруг, как это называется, ну это, замаскированные враги народа, э! Ты думаешь, их легко переловить? Смотришь, ну что тут, артист, да, как это, ну это, Ульви Раджаб, но вдруг смотришь, заклятый враг народа, кровопийца!..» — «Правильно, ты прав, Афлатун-муэллим, хорошо говоришь, но ты не торопись, давай-ка еще посмотрим».

Конечно, если бы Алескер-муэллим не был земляком и, как говорили, другом детства близкого соратника и ученика товарища Сталина товарища Мир Джафара Багирова, Афлатун-муэллим с большой охотой и в первую очередь разоблачил бы его самого. «Нет, Алескер-муэллим, ведь и в райкоме от меня требуют, как это называется, ну это! В школе всего два человека разоблачены как враги народа, и то, как это называется, ну это, не мы разоблачили, а верха сами разоблачили! Всего два человека, э, Алескер-муэллим! Мы же большевики! А где же наша, как это называется, ну это, политическая бдительность? Ведь в райкоме мне задают же эти вопросы! И право они имеют, да... Всего двое, и то без нас... — Афлатун-муэллим, очевидно пылая от зависти, говорил: — Как это называется, ну это, лодки сразу по десять врагов народа разоблачают, э!» — «Я понимаю, Афлатун-муэллим, все понимаю! Ну и что ж, что беспартийный? Ты сам знаешь, что я беспартийный большевик! Но такой благородный человек, как ты, не должен спешить в больших делах. Такой умный человек, как ты, сто раз отмерит, один отрежет...» Как тонущий за соломинку, Афлатун-муэллим хватался то за колхоз, то за план, чтобы произвести на Алескера-муэллима впечатление: «Если колхозник план не выполнил, что будет, а? Вот Алескер-муэллим, колхозник, как это называется, ну это, государственные планы перевыполняет, а мы врагов не разоблачаем!.. Можно это нам про-

стить?! А имя себе дали — большевики!..» Алескер-муэллим клал руку на плечо этого маленького, хилого человека: «Против правдивого слова что скажешь? Ты прав, Афлатун-муэллим, ты прав! Но не торопись...» Афлатун-муэллим совершенно безнадежным тоном говорил: «Тогда... тогда давайте, пусть наша школа, как это называется, ну это, поднимет вопрос, чтобы Тазапир (мечеть) разрушили! Тазапир стоит у людей перед глазами, как это называется, ну это, религиозно пропагандирует! Алескер-муэллим, хотя и был выдержанным и благородным человеком, в душе княл Афлатуна-муэллима до отцовской могилы и последними словами, а вслух говорил: «Да... Вот это хорошая мысль, Афлатун-муэллим!.. Но ты... пока не торопись...»

В начале марта 1938 года было опубликовано обвинение прокурора СССР А. Вышинского по уголовному делу право-троцкистского блока во главе с Н.И. Бухариным, А.И. Рыковым и другими, и после центральных газеты каждый день посвящали две-три страницы этому судебному процессу. Прокурор Вышинский на газетных страницах допрашивал по одному помимо Рыкова с Бухариным других продажных врагов — Крестинского, Раковского, Розенгольца, Икрамова, Чернова, Ходжаева, других. В то время в Баку было так: дома люди разговаривали шепотом, а поднимаясь на трибуну, громыхали, проклиная троцкистских шпионов, находили в своей среде новых и разоблачали их. И Афлатун-муэллим говорил: «Видите этих замаскированных врагов, Алескер-муэллим?... Смотрите, как шпионы убили Кирова, как его, этого, ну его... Миж... Меж... — Афлатун-муэллим не мог хорошенько запомнить фамилию. — Менж... Менжинского, Куйбышева, Горького, бедняга — сына Горького!.. Сволочи!.. Они хотели, оказывается, убить Молотова, Кагановича, Ворошилова, даже... даже... Даже язык не поверачивается произнести, как это называется, ну это, дела этих сволочей, даже нашего дорогого отца товарища Сталина... Сдохнуть бы вам!.. Не позволим!.. Мы, как это называется, ну это, бдительно стоим на посту! Сволочи! Но, Алескер-муэллим, в школе мы еще ни одного бухаринца, подлого рыковца не разоблачили!.. Я так думаю, Алескер-муэллим, это для нас, как это называется, ну это, позор!»

Алескер-муэллим исправно проводил в школе митинги. На митингах все учителя проклинали, к примеру, членов лево-троцкистского блока, которых судили в Москве. Во время митингов комсомольцы и пионеры как отличники учебы и политической бдительности представляли нового поколения отдавали рапорт товарищу Сталину, разыгрывали сценки, посвященные товарищу Сталину, особенно повествующие о деятельности Кобы в Баку, о его подпольной работе в связи с типографией «Нина», о его речи на похоронах большевика Ханлар Сафаралиева, зверски убитого в Баку в сентябре 1907 года. И Алескеру-муэллиму удавалось митингами, громкими мероприятиями, рапортами заморочить Афлатуну-муэллиму голову, заставить его слушать опять и опять то же: «Ты не торопись, Афлатун-муэллим, не торопись... Груша в свое время созреет...»

Самыми популярными и громкими среди мероприятий были «митинги ненависти». Митинги ненависти проводились в спортивном зале, и учителя и ученики выражали ненависть к разоблачаемым в

печати известным врагам народа — например, к Ахмеду Джаваду¹, Аббасу Мирза Шарифзаде², Салману Мумтазу³ и еще многим, которых если перечислять, так и конца не будет. Если у кого-то из учеников разоблачали как врага народа мать или отца, школа тоже собиралась в спортивный зал на митинг ненависти, и сын разоблаченных родителей, чтобы его не выгнали из школы и не исключили из комсомола или из пионеров, бывало, сам клеймил своих арестованных родителей, со всей страстью отрекался от них: «Я не знал, что мой папа такой подлец!»

В такие моменты политическая страсть Афлатуна-муэллима переливалась через край, и, слушая сыновей, проклинавших родителей, он говорил: «Маладес! Таким бывает настоящий комсомолец! Таким бывает настоящий пионер! Вот видишь, Алескер-муэллим! А мы, как это называется, ну это, стоим в стороне!» Алескер-муэллим отводил взгляд от тех учеников, в чьих глазах была бесконечная, как мир, скорбь, он смотрел на Афлатуна-муэллима: «Ты не торопись, Афлатун-муэллим, сто раз отмерь, один — отрежь!» — в который раз говорил он.

Афлатун-муэллим думал, что по существу и эти слова Алескера-муэллима сами по себе — вражеские слова. Они ведь отвлекают от политической бдительности. Но что можно сделать?.. «А райком, Алескер-муэллим, райком! От меня, как это называется, ну это, требуют же! Говорят, почему ты не разоблачаешь врагов народа?!» — «И в райком все — благородные люди, да, Афлатун-муэллим, все благожелательные, все, как и ты, чистые люди, да!»

Говоря «райком», Афлатун-муэллим в первую очередь имел в виду товарища Джумшудду; товарищ Джумшудду был в райкоме начальником отдела кадров. И он, естественно, знал, откуда Алескер-муэллим, с кем он знаком. Однажды Афлатун-муэллим, находясь в райкоме у товарища Джумшудду, смущенно собрался заговорить о либерализме Алескера-муэллима, но товарищ Джумшудду, тотчас оборвав бывшего вагоновожатого, закричал на него: «Ты хочешь втянуть меня в провокацию?! Выпытать у меня хочешь?! Таких, как ты, я много видел!.. Ни руки, ни ж... у тебя ни на что не способны, а хочешь провокацию устроить?! Сколько людей, которых можно разоблачать, а он о ком райкому показывает?! Болван несчастный! Иди, найди в коллективе врага народа и разоблачи его!» Афлатун-муэллим совершил последнюю попытку: «Не даст ведь...» Джумшудду сказал: «Не даст? Тогда тебя самого мы разоблачим как врага народа!»

И на этом разговор об Алескере-муэллиме в райкоме закончился раз и навсегда. И для Афлатуна-муэллима было подарком, свалившимся с неба, когда при помощи Алескера-муэллима его самого назначили директором школы. «Афлатун-муэллим уже зрелый товарищ! Его надо выдвигать. Он — представитель трудящегося слоя! Доверьте ему отдельную школу!» — так говорил начальству Алескер-муэллим. А что ему было делать, провались эта эпоха... Да, он себя избавлял, но других подставлял.

¹ Крупный азербайджанский поэт XX века.

² Великий азербайджанский актер-трагик.

³ Видный азербайджанский литературовед.

Новое назначение было по душе и Джумшудду, потому что его жизненный опыт и инстинкт, ставший в последние годы чувствительным, как голый провод под током, подсказывали этому полному низенькому человеку с узкими черными усами под носом, всегда носившему сталинскую форму: держись подальше от той школы, где директором Алескер-муэллим, мало ли что, и так может повернуться, и этак...

Теперь в школе было спокойно, потому что Алескер-муэллим основательно постарался, походил, поговорил с кем надо в райкоме, в том числе и с Джумшудду, и в конце концов добился, что вместо Афлатуна-муэллима секретарем партийной организации в школе избрали Фирудина-муэллима. Фирудин-муэллим был спокойный интеллигентный человек, у него был более чем пятнадцатилетний партийный стаж, он вместе с Алескером-муэллимом стоял на страже спокойствия школы, и оба занимались основным делом: учили детей.

Правда, новый учитель физкультуры Хыдыр-муэллим время от времени заговаривал на политические темы, но Алескер-муэллим по-прежнему влиял и на Хыдыра-муэллима, привлекал его к себе поближе. И даже сегодня пригласил Хыдыра-муэллима на день рождения Арузу.

Словом, дела мира, кажется, понемногу успокаивались. Во всяком случае, страшный, непонятный, пугающий ураган 37-го и 38-го годов, кажется, уходил в прошлое. Н.И. Ежов был снят с работы. Вышло постановление ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР от 18 ноября, в нем указывалось на допущенные во время следствия незаконные действия, подобные действия категорически запрещались. Жители Баку называли постановление «Сталинским указом», по их мнению, товарищ Сталин велел принять этот указ, потому что соперничал им, защищая невинных людей. Теперь Л.П. Берия был назначен народным комиссаром внутренних дел СССР, а Л.П. Берия был близким соратником товарища Сталина, его доверенным, да к тому же Л.П. Берия работал в Баку, знал Азербайджан. В последнее время повысилась уважение к беспартийным, беспартийных теперь выдвигали. Словом, кажется, показался лучик света (только бы не ошибиться!), и в этот зимний день чистейшая белизна окутавшего все вокруг снега как будто свидетельствовала, что мир действительно исправится.

Арузу исполнилось десять лет. Она училась во вторую смену и еще не вернулась с уроков. Алескер-муэллим резал отварных кур, раскладывал по тарелкам, Фируза-ханум аккуратно выкладывала в блюдечки орехи, сушеные абрикосы, месяц назад привезенные родственником из Ордубады.

— Ребенок хорошо одет? На улице очень холодно...

Фируза-ханум сказала:

— Очень хорошо, не беспокойся... — и спросила: — Хосров-муэллим с женой придет?

— Наверное, с женой. Я сказал, чтобы приходили вместе.

— Ты не видел его жену?

— Нет, где ж я ее увижу?..

Фируза-ханум покачала головой, улыбнулась:

— Хороший человек Хосров-муэллим... Пусть живет он долго! У него характер как у моего отца: не спросишь — сам не заговорит. Хорошо, что он женился, поживет по-человечески!.. Разве не так?..

— Хорошо, если бы так! Кроткий он человек...

Хосров-муэллим был ровесником века, ему было ровно тридцать девять лет, но кожа под глазами этого высокого худого человека была в сетке глубоких морщин, волосы на голове, на груди, даже на руках поседел. У него был острый костистый длинный нос и острый кидык на тонкой шее, в точности похожий на нос, и каждый раз, когда Хосров-муэллим глотал, острый кидык поднимался и опускался, и казалось, Хосров-муэллим страдает. Вообще во взгляде Хосрова-муэллима, в его движениях, даже в улыбке (все-таки хоть раз-то в месяц он улыбался... ну, раз в год...) — даже в его улыбке была какая-то мука, была боль.

Говорили, что когда-то с Хосровом-муэллимом произошло жуткое несчастье, какое-то бедствие. Причем не политическое, а стихийное. Звучало это в теперешнее время, конечно, несколько странно, потому что люди стали отвыкать от стихийных бедствий. Говорили, будто вся его семья погибла... Хосров-муэллим ничего точно не знал, потому что Хосров-муэллим не говорил об этом ни слова, а Алескер-муэллим, ясное дело, не спрашивал: если на сердце у человека горе, какой смысл напоминать о нем? Алескер-муэллим считал, что ни у кого нет права лезть другому в душу, потому что душа принадлежит только своему хозяину, хочет — сама раскрывается перед другими, не хочет — конечно, все, не надо пытаться влезть в нее.

Хосров-муэллим был совсем неразговорчивым человеком. Семь лет как он преподавал русский язык в школе, где директорствовал Алескер-муэллим, и за семь лет Алескер-муэллим ни разу не видел, чтобы Хосров-муэллим у кого-то хоть что-нибудь спросил, сам начал какой-то разговор, хоть раз на что-то пожаловался или чему-то обрадовался; он отвечал, когда к нему обращались, если же не обращались, сидел безмолвно.

В школе говорили, будто Хосров-муэллим немного не в себе, будто после происшедшего с ним бедствия (стихийного бедствия!) он когда-то лежал в дурдоме, лечился, но Алескер-муэллим не чувствовал в Хосрове-муэллиме ничего ненормального, правда, бывало, глядишь, он будто ничего не слышит, ничего не видит, находится в ином мире. Казалось, будто внутри себя он разговаривает с кем-то. Но это, конечно, еще не говорило о том, что он ненормальный... Человек же... У каждого свои беды...

Афлатун-муэллим чернил Хосрова-муэллима. Два или три раза собирався обсуждать его на партийном собрании. Но Алескер-муэллим и это предостерегал: «Афлатун-муэллим, — говорил он, — какой из этого бедняги враг? Не видишь, какой он несчастный, весь в горе погружен!» — «Так в том и дело, Алескер-муэллим, о чем он горюет, а? О чем? Почему свою личную, как это называется, ну это, печаль ставит выше общественной работы? Мы построили такую счастливую жизнь, переживаем торжество социализма, живем в одно время с товарищем Сталиным, дышим тем же, как это называется, ну это, воздухом, что и он, а этот, как это называется, ну это, горюет!.. Может, он как раз горюет

из-за торжества социализма, а?» — «Нет, нет, это не так, Афлатун-муэллим, ты ведь прекрасный знаток человеческой психологии, ты знаешь, что у каждого свой характер, ну а этот — вот такой, да...» Афлатун-муэллим не хотел отступать: «Поверьте мне, Алескер-муэллим, — говорил он. — Это тайный, как это называется, ну это, троцкист или же, как это называется, ну это, зиновьевец! По глазам вижу!» Но Алескер-муэллим, тихо, сдержанно, но твердо навязывая Афлатуну-муэллиму гуманизм, рассенвал черные тучи над головой Хосрова-муэллима.

Однажды Афлатун-муэллим торопливо проскользнул в директорский кабинет Алескера-муэллима: «Ты знаешь, Алескер-муэллим, что произошло?» Алескер-муэллим, не ожидая от этого человека никакой доброй вести, с беспокойством спросил: «Что произошло, Афлатун-муэллим?» Афлатун-муэллим, торопясь и потому еще больше путаясь в словах, сказал: «Там газета есть, э, как это называется, ну это, да, «Азербайджан пионерн», ее, который там работает, как говорят, это же это называется, ну это, да, корреспондент пришел, и Хосров-муэллим, как это называется, ну это, нашу школу хвалил!»

Алескер-муэллим удивленно спросил: «Хвалил, говоришь?» — «Ну да, хвалил, как это называется, ну это, очень хвалил!»

Алескер-муэллим сказал: «Ну и прекрасно, большое ему спасибо...»

Как всегда в таких случаях, Афлатун-муэллим подумал: да-да, точно, настоящий враг народа — это сам Алескер-муэллим, но... говорят, он с Самим другом детства был, земляки... Как будто Афлатун-муэллим был заядлый рыбовод, а Алескер-муэллим — прекрасная, большая, толстая рыба, и рыбак был лишен счастья подцепить на крючок эту крупную рыбу, вытащить ее из воды, дни и ночи отыскивал рыбак мелкую рыбешку, но и она в руки не давалась... «Вы говорите, как это называется, ну это, хорошо он сделал, Хосров-муэллим, что похвалил нашу школу? Может, он хотел, как это называется, ну это, усыпить нашу политическую бдительность, а? Я знаю, что это, как это называется, ну это, вражеская уловка!..» Даже Алескер-муэллим, ожидавший от эпохи всего, был поражен словами Афлатуна-муэллима, суждением, логикой Афлатуна-муэллима...

Хосров-муэллим жил один. Он был точный человек, вовремя приходил в школу, вовремя уходил из школы, у него не было ни друзей, ни близких знакомых, и в школе он ни с кем не сблизился, рубашка, носки у него всегда были чистые, наверное, сам стирал, и костюм, хоть и старый, был в полном порядке, пуговицы пришиты, брюки поглажены, черные туфли зимой и летом вычищены, каблук не стерт.

Хосров-муэллим, на взгляд Алескера-муэллима, был пожелтевший, увидевший, засыхающий стебелек на длинной ножке, в стебельке не было намека на жизнь, и оставалось совсем немного, чтобы он, оборвавшись, смешался с землей... Но два месяца назад стебелек вдруг снова начал зеленеть, Хосров-муэллим на глазах изменился, будто высохший стебелек напитался водой из земли. Морщины начали понемногу разглаживаться... И однажды самая неожиданная весть на свете порадовала Алескера-муэллима: Хосров-муэллим женился.

Хотя Фируза-ханум не работала, хотя она посвятила свою жизнь уюту для Алескера-муэллима и подраставшей Арзу, она всегда бывала

в курсе школьных событий. Перед сном Алескер-муэллим понемногу рассказывал, облегчая душу, и Фируза-ханум узнавала, что сегодня произошло в школе. Она проклиннала Афлатуна-муэллима, которого видела всего два раза в жизни на торжествах Арзу: «Этот трамвайный вожатый, чтобы он под трамвай попал!» Алескер-муэллим говорил: «Да ладно, человек все же, дети у него есть, зачем ты так говоришь?» Злость Фирузы-ханум не остывала: «Чтобы под землей я увидела такого человека!.. А другие не люди? У других детей нет?» Алескер-муэллим шептал еще тише: «На нем вины нет, это время такос...» Фируза-ханум всхлипывала: «Бедняга Авазбек... И сам признался, что английский шпион... Смотри, что с этим старым человеком вытворляли... Во Франции он был, хотя бы французским шпионом его сделали... Этого несчастного человека... И жену и дочку выслали в Казахстан!..» Алескер-муэллим, глубоко вздохнув, говорил: «Спи... спи...»

Как только в конце прошлого года Афлатун-муэллим ушел из школы, у Фирузы-ханум не осталось человека, чтобы проклинать. Правда, Алескеру-муэллиму не нравился новый учитель физкультуры Хыдыр-муэллим, но пока он не совершил ничего такого, чтобы заслужить проклятие Фирузы-ханум. Хыдыр-муэллим был принят на работу по рекомендации и настоянию Афлатуна-муэллима, и Алескер-муэллим согласился на это еще и для того, чтобы Афлатун-муэллим в ответ на уважение и услугу не слишком усердствовал в поисках врагов народа, в их разоблачении, чтобы и он прислушивался к словам Алескера-муэллима. Афлатун-муэллим, расхваливая Хыдыра, говорил: «Это такой физкультурник, Алескер-муэллим, как это называется, ну это, настоящий, как нам нужен! Нет никого, кто знает спорт как он! Такой физкультурник, какого, как это называется, ну это, желал бы товарищ Сталин! Из тех, кто, как это называется, ну это, строит будущее! На бульваре с парашотом с вышки прыгает!»

Внезапная женитьба Хосрова-муэллима Фирузе-ханум припала по душе, как и мужу. Удивительно, Хосров-муэллим каждый год зимой приходил на день рождения Арзу, немножко выпивал, немножко ел, ни слова не говорил, но Фирузе-ханум очень нравился. По ночам она говорила Алескеру-муэллиму: «Ей-богу, хороший человек этот Хосров-муэллим, приличный, э, приличный!.. Совестливый человек. Аллах знает, что он перенес... Вся семья погибла у этого несчастного, да, Алескер?» — «Так говорят, не знаю...» — «Ужас какой, э!» — «Конечно, ужас, а что же?»

В тот зимний день, когда Арзу исполнилось десять лет, Фируза-ханум разложила по блюдецкам чищенные орехи, сушеные абрикосы и сказала Алескеру-муэллиму, аккуратно разрезающему отварных кур:

— Только бы жена Хосрова-муэллима оказалась его достойна!

— И будет достойной, почему не быть? Раз полюбила, вышла замуж, будет хорошо, они ведь не дети?

— Бедняга, пуговицы на пальто сам пришивал, когда он у нас снимал пальто и вешал, я видела... теперь хотя бы бедняга заживет...

Рано потемнело. И в темноте снег снаружи светился чистой белой. Алескер-муэллим хорошо помнил, как в январе 37-го года в Баку была страшная снежная метель, Алескер-муэллим в жизни такой

не видел. Оказывается, метель в январе 37-го была не обычным природным явлением, она предвещала последующие ужасы... Во время той метели два года назад, Алескер-муэллим хорошо помнит, он стоял вот перед этим окном и переживал волнение, которое себе не мог объяснить. Но теперь снег, сверкающий в темноте, предвещал прекрасный покой... Во всяком случае, в тот прекрасный зимний вечер так гориво сердце Алескера-муэллима...

Арзу пришла из школы, переоделась, заново отгладила пионерский галстук, повязала на шею. И как всегда, вместе с Арзу в дом вошло оживление, радость, движение. Арзу не любила кухню, не помогала матери в домашних делах, только свой пионерский галстук каждый день сама гладила, матери не доверяла. Когда она не читала, не учила уроки, она все говорила, высказывала разнообразные мысли... Вот и теперь она сообщила новость Алескеру-муэллиму и Фирузе-ханум.

— С этих пор я буду выпускать дома раз в неделю стенгазету!

Фируза-ханум сказала:

— А-а-а... Разве дома бывает стенгазета?

— Бывает! Я буду выпускать, а вы — смотреть! Мне есть что сказать вам!

— Ну так скажи языком, а мы послушаем.

— Нет, я напишу в стенгазете. В передовой статье буду вас критиковать!

Алескер-муэллим удивленно спросил:

— Нас?

— Да! И оперу «Кероглу» буду критиковать!

Новость ошеломила Алескера-муэллима, Фируза-ханум сказала:

— А-а-а... Так тебе же нравилась эта опера, ты и меня таскала туда...

— Ну и что? Мне нравилось, потому что композитор запудрил нам мозги. Но теперь я поняла! Узейр Гаджибеков написал «Кероглу» для того, чтобы не писать на современную тему! Композитор избежал современной темы! Опера должна была быть из колхозной жизни! Теперь ведь нет ханов и падишахов. Кероглу должен был вести борьбу против кулаков, а он не захотел! Мы проведем в библиотеке пионерский диспут. Я буду делать доклад на эту тему! И композитора мы вызовем, чтобы он послушал и сделал выводы!

Алескер-муэллим спросил:

— А история разве не наша? Кероглу был героем, вступал в битву с ханами, султанами за свободу народа...

— А Павлик Морозов?

— Он тоже герой, я же ничего не говорю...

— Кероглу сражался с ханами, а Павлик Морозов боролся против кулаков! Даже отца своего и деда разоблачал! Что важнее? Опера «Кероглу» должна была быть на современную тему!

Алескер-муэллим не хотел сдаваться:

— Но ведь каждой теме — свое место!

Арзу несколько мгновений помолчала, потом, будто о чем-то догадавшись, сказала:

— Папа, ты что, против современной темы?

— Нет, не против... — Сердце Алескера-муэллима немного забилось.

- Нет, ты, конечно, против!
- Конечно!

Договориться с Арузу было трудно. В ее словах, в вопросах было что-то неприятное. Алескеру-муэллиму даже вдруг вспомнился Афлатун-муэллим, и Алескеру-муэллиму, улыбнувшись, покачал головой: дитя времени, да... Пускай будет такой. Пускай будет такой бойкой. Девочка все же, всю жизнь ведь Алескера-муэллима рядом с ней не будет, не удасться ему так крепко ухватиться за мир, чтобы в нем остаться, наступит день, когда он уйдет из мира, пусть же Арузу не растеряется, пусть умеет отстаивать свои права. Раз эпоха вырастила таких людей, как Афлатун-муэллим, надо, чтобы Арузу умела разговаривать с такими людьми на их языке.

Показав на портрет над небольшим шкафчиком, куда она аккуратно складывала свои книги, Арузу сказала:

— Я куплю такой же маленький и приклею в центр стенной газеты. Это будет постоянным элементом оформления!

Алескер-муэллим посмотрел на портрет и не сказал ни слова. Горячо любимый Арузу, заключенный ею в блестящую никелированную рамку, это был фотопортрет дедушки Сталина с маленькой девочкой: на приеме в Кремле маленькая девочка вручила дедушке Сталину букет и обняла его, и дедушка Сталин прижал маленькую девочку к груди, оба они улыбались, и когда Арузу на кого-нибудь сердилась, из-за чего-то расстраивалась, она представляла себе тот портрет, улыбающийся глаза дедушки Сталина и маленькой девочки, и сердце Арузу наполнялось радостью, любовью, оптимизмом.

Алескер-муэллим велел развесить такие портреты во всех школьных классах, но Арузу этого показалось мало, она купила себе еще, чтобы был ее собственный, отдельный, чтобы был всегда с нею. Принесла домой и повесила на стенку. Арузу прочитала где-то, что имя счастливой девочки Геля Маркизова, и Арузу так любила тот портрет, что даже не завидовала Геле Маркизовой. Правда, временами, закрывая глаза, она представляла себя на месте Гели Маркизовой, сама вручала дедушке Сталину букет, сама обнимала и целовала дедушку Сталина, и это было одно из самых прекрасных мечтаний Арузу... Геля Маркизова, конечно, была самой счастливой советской девочкой...

Арузу не знала, что в тот зимний день 1939 года маленькая девочка Энгельсина (Геля) Маркизова была в ссылке в Казахстане. Отца той маленькой бурятской девочки, Ардана Маркизова, первого секретаря Бурят-Монгольского областного комитета партии, одного из создателей Бурятской автономной республики, в декабре 1937 года разоблачили как врага народа и расстреляли как японского шпиона. Арестовали и мать Гели, и маленькая девочка с братом Владиком, который был на два года ее старше, остались одни — ни отца, ни матери. Только красивый патефон, подаренный Геле дедушкой Сталиным на приеме в Кремле, был с ними. К патефону была приделана металлическая пластинка, и на ней написано: «Маркизовой Геле от вождя партии И.В. Сталина. 27.1.36 г.»...

Конечно, и Алескер-муэллим об этом не знал. Он отверг глаза от портрета над книжным шкафчиком: ничего, Арузу ведь дитя эпохи. Если бы

она была другой, ей трудно было бы жить в окружении таких негодяев, как Афлатун-муэллим.

Все было правильно, все было как должно, все понимал Алескер-муэллим, но... но всегда в такие минуты в душе его возникало нечто вроде сожаления, и всегда он вспоминал анкету, которую заполнила Арузу три-четыре месяца назад.

Анкета-вопросник раздал главный пионервожатый школы, Арузу принесла ее домой и заполнила. В ней было пять вопросов:

1. Самый любимый тобой человек?

Арузу большими красными буквами написала: «СТАЛИН».

2. Самый родной тебе человек?

Арузу большими красными буквами написала: «СТАЛИН».

3. Твой самый любимый литературный герой?

Арузу на этот раз чернилами написала: «Павлик Морозов».

4. Твой самый любимый писатель?

Арузу снова чернилами написала: «Виталий Губарев».

Алескер-муэллим не знал такого писателя. Потом поинтересовался и узнал, что этот человек в 1932 году участвовал в расследовании убийства пионера Павлика Морозова и написал книгу «Один из одиннадцати», которая была настольной книгой Арузу.

5. Кого ты ненавидишь?

Арузу большими черными буквами написала: «Гусейна Джавида, Аббаса Мирзу Шарифзаде, Миканла Мушфика, Ульви Раджаба, Юсиф Везира Чеченземели, Наримана Нариманова, Рухулла Ахундова» и всех других подлых фашистов. Потому что они хотели уничтожить счастливую жизнь советских пионеров!!!

Эти три восклицательных знака Арузу начертала красным карандашом.

Когда анкета была заполнена, Арузу дала ее Алескеру-муэллиму, чтобы узнать мнение отца. Алескер-муэллим взял анкету, посмотрел и сказал:

— Хорошо... — Но в горле его встал комок величиной с грецкий орех.

Один мальчик из шестого класса незадолго перед тем на первый вопрос анкеты ответил: «СТАЛИН», а на второй — «мой папа Асадулла и мама Фатьма». И пионеры, срочно созвав собрание с участием главного пионервожатого, разоблачили того мальчика, потому что он поставил своего отца и мать выше дедушки Сталина... Алескер-муэллим, конечно, знал о том пионерском собрании, знал и то, что одним из основных разоблачителей мальчика была Арузу. Главный пионервожатый радостно принес Алескеру-муэллиму эту весть («Пионеры гордятся вашей дочерью, Алескер-муэллим! Очень развито у нее политическое сознание!..»). Теперь вот настала очередь пионеров-пятниклассников заполнить анкету...

Алескер-муэллим вернул дочери листок и вдруг вспомнил Отелло в исполнении Аббаса Мирзы Шарифзаде. Аббас Мирза Шарифзаде — Отелло выходил на темную сцену с горящей свечой в руке, приближался к ложу, где спала Дездемона, и у зрителя волосы вставали дыбом. Алескеру-муэллиму казалось, что все события происходят на сцене.

¹ Крупнейшие деятели азербайджанской культуры XX века.

и Аруз на сцене заполняет анкету, и усатый снялся с маленькой девочкой — на сцене, и когда-нибудь занавес закроется, спектакль кончится...

Неужели действительно кончится?

В тот снежный зимний вечер первыми пришли Фирудин-муэллим с женой. Каждый раз при виде Фирудина-муэллима Алескер-муэллим глубоко, спокойно вздыхал: ведь вот оба, и Афлатун-муэллим, и Фирудин-муэллим, были людьми, оба имели в руках одинаковую власть. То есть были секретарями партийной организации школы, оба жили в одно время — но как же получалось, что натура одного была так черна, зла, наполнена таким вредительством, а у другого сердце билось благородством! Почему натуры оказались такими разными?

На свете все возможно, все случается, думал Алескер-муэллим, вдурт глядишь, когда-то у людей потребуют отчета за сегодняшние дни. Тогда такие, как Афлатун-муэллим, как Джумшуду из райкома, наверное, все будут сваливать на время, на эпоху, на политику. Но если ты, лично ты своей рукой подписал кому-то смертный приговор (невинному! кроткому! главе семьи!), при чем тут время? Время только создало для тебя условия... Со дня сотворения мира Ахриман и Хормуз не зря всегда сражались друг с другом¹. Юсиф Везир Чемеменли² и писал об этом, и сам стал жертвой Ахримана. Теперь где он, что с ним, Аллах знает, каждый рассказывает по-разному...

Пришел Хыдыр-муэллим, один, поздравил Аруза и пожелал, чтобы Аруза, такая умная и старательная, стала бы хорошей спортсменкой. Алескер-муэллим, глядя на этого высокого, широкоплечего, здорового телом человека, подумал: нет, Хыдыр-муэллим все же лучше Афлатуна-муэллима. Для Афлатуна-муэллима не было на свете ничего интереснее, чем разоблачить человека, а Хыдыр-муэллим интересовался спортом, наизусть знал имена и фамилии всех спортсменов, хорошо проводил с детьми уроки физкультуры. Для Хыдыра-муэллима физкультура была на первом месте, а охота кого-то разоблачить — на втором.

Скоро пришли Калантар-муэллим с женой. Калантар-муэллим преподавал химию, хорошо знал свою специальность, был веселый, полный оптимизма человек, собирался перевести на русский «Мешади Ибад»³, у него было семь дочерей, все незамужние, жена была домохозяйкой, и вся семья жила на зарплату Калантара-муэллима. Калантар-муэллим говорил: «У меня дела идут отлично, потому что мне всегда везет. Ну и что ж, что я отец семи дочерей? Наша хозяйка всего из полкило мяса готовит так много, причем вкусных блюд, что мы их доест не можем! Из ничего готовит! А когда желудок набит — все, значит, дела идут отлично! Значит, и химии ребят будешь хорошо обучать!» На торжественных вечерах в школе по случаю праздника, когда старшеклассники заводили музыку, Калантар-муэллим тотчас выходил на сцену, танцевал, и Авазбек (когда он еще не был разоблачен как враг на-

¹ Ахриман и Хормуз — дух зла и дух добра.

² Юсиф Везир Чемеменли — выдающийся азербайджанский писатель, репрессированный в 1937 году.

³ «Мешади Ибад» — комедия Узеира Гаджибекова.

рода...), не любивший, когда тот при людях так плавно танцует, и вообще не терпевший всякие выламывания, ворчал себе под нос: «Если не стыдишься, так танцуй!..»

Потом пришел Алибаба-муэллим, один.

— У нашей Софьи Ковалевской сегодня первый юбилей, исполняется десять лет, — сказал он. — Сейчас его только мы отмечаем, а грядущие ее юбилеи будут отмечать вся научная общественность! Вот увидите!

Правда, Алибаба-муэллим был очень серьезный педагог и серьезный человек, но немного сверх меры любил водку и теперь явился, слегка себя подправив. Однажды Алескер-муэллим, вызвав Алибабу-муэллима в свой кабинет, сказал: «Слушай, сократи немного выпивку...» Алибаба-муэллим, бывший членом партии еще до установления советской власти в Азербайджане, с 1919 года, ровно восемнадцать лет работал в этой школе, они с Алескером-муэллимом хорошо друг друга знали и друг другу доверяли, поэтому он сказал: «Ну как же мне не пить? Не видишь, что вытворяют эти сукины дети? Разве мы хотели строить такую жизнь?!» Алескер-муэллим, проворно вскопчив с места, проверил, хорошо ли закрыта дверь, и с тех пор больше ни слова не говорил Алибабе-муэллиму про выпивку.

Наконец пришли Хосров-муэллим с женой... Всегда незаметно для всех приходивший и уходивший, Хосров-муэллим на этот раз будто принес вместе с собой радость, свежесть уличного снега. Все, даже виновница торжества, в данный момент живущая больше мечтой о стеной газете, которую она выпустит дома, чем своим торжеством, с интересом и вниманием смотрели на Хосрова-муэллима и его новую подругу жизни. Жена Хосрова-муэллима была красивой, полная, белолицая женщина лет тридцати пяти, ярко-алые щеки говорили о здоровом теле и страсти в этом теле. Но самое интересное было то, что полностью изменился сам Хосров-муэллим. Несмотря на седые волосы, на глубокие морщины вокруг глаз, на острый кадык, скользящий вверх-вниз по тонкой шее, Хосров-муэллим как будто стал совсем молодым, глаза сняли любовью и желанием, и совершенно невозможным было поверить, что этот человек — тот самый унылый, бессловесный Хосров-муэллим. И голос его изменился, в этом голосе были бодрость, подъем, как будто и подъем, и бодрость, и любовь к жизни собрали в ржавый сосуд в облике прежнего Хосрова-муэллима, и прежнего Хосрова-муэллима больше не стало, ржавый сосуд исчез, а бодрость, подъем и любовь к жизни вышли на свободу, во всей красе предстали на всеобщее обозрение.

Алескер-муэллим с Фирузой-ханум посадили гостей за круглый стол. Хосрова-муэллима с женой на лучшие места. Вообще в этом доме и среди этих гостей было такое отношение к семье Хосрова-муэллима, будто торжество было устроено не в честь Аруза, а в его честь. Хотя Хыдыр-муэллим начал, кажется, немного завидовать... Поскольку он имел совершенные навыки в любовных делах, то как мужчина чувствовал радость и счастье Хосрова-муэллима. В сердце Хыдыра-муэллима, всегда сближавшегося с женщинами-спортсменками, особенно с гимнастками (он очень любил гимнастику), неожиданно возникла сильней-

шая тяга к такой далекой от спорта, а тем более от гимнастики, не имеющей мускулов, несportивной женщине, как жена Хосрова-муэллима.

Хосров-муэллим всем улыбался, всем хотел сказать доброе слово и время от времени так смотрел на жену, что вовсе не нужно было такого опыта в любовных делах, как у Хыдыра-муэллима, чтобы увидеть, понять открытую любовь, радость в его глазах. В его глазах было продолжение прекрасных ночей, которые эти двое проводили вместе, и ожидание будущих ночей...

Фирюза-ханум тоже была опытной женщиной. Когда у них не было детей, она столько занималась народным лечением, столько ходила к врачам, что для нее не осталось ничего неведомого, и Фирюза-ханум в глазах новой жены Хосрова-муэллима видела откровенную любовь, но не о бесстыдстве, а о счастье она говорила, и это пришло по душе Фирюзе-ханум. Жена Хосрова-муэллима была взволнована (потому что была счастлива!) и все время улыбалась.

В движениях, в улыбках и Хосрова-муэллима, и его новой жены была такая детская простота, такая откровенная преданность, и между прежним хмурым, неразговорчивым Хосровом-муэллимом и сегодняшним Хосровом-муэллимом была такая разница, что собравшихся всей душой тянулись к мужу и жене, которых видели вместе впервые. Только Арзу, сидя за столом, так внимательно смотрела на Хосрова-муэллима и его жену, что Алескеру-муэллиму казалось, будто Арзу собирает материал, чтобы раскритиковать Хосрова-муэллима с его женой в той стеной газете, которую она вскоре выпустит.

А на улице опять пошел прекрасный снег, и сидящие в маленькой комнате за накрытым столом люди — вместе с Арзу их было одиннадцать — дышали чистотой снега. Хосров-муэллим с женой внесли что-то новое в эту маленькую комнатку, прежде всегда однообразную, и эта новизна, как снег на улице, отодвинула все заботы, все людские горести.

Хыдыр-муэллим волновался, грустил или переживал подъем духа только на спортивных соревнованиях, но в тот зимний вечер в семействе Алескера-муэллима волнение, счастье Хосрова-муэллима с его женой распространились и на него, и Хыдыру-муэллиму тоже захотелось сделать что-то хорошее, сказать что-то радостное.

Все единодушно выбрали Калантара-муэллима тамадой, и Калантар-муэллим сказал:

— Наполните бокалы!

Он взял рюмку, полную коньяка (Калантар-муэллим на торжествах всегда пил коньяк, потому что зарплата у него была маленькая, а семья большая, сам он покупать коньяк не мог), и, глядя на Арзу, хотел сказать нечто торжественное, но вдруг поднялся Хыдыр-муэллим, поиграл выпиравшими под рубашкой мочками бицепсами:

— Одну минуту! Одну минуту, дорогие друзья! — Хыдыр-муэллим поднял большую рюмку водки: — Разрешите в этот прекрасный день первое слово сказать мне! Я скажу только одно слово, а потом Калантар-муэллим пусть говорит столько слов, сколько захочет! Мне хочется высказаться, дорогие друзья! Давайте в этот прекрасный вечер выпьем первый бокал за здоровье нашего отца и нашего вождя, дорого-

го товарища Сталина! Да здравствует и пусть живет тысячу лет Иосиф Виссарионович Сталин! Самый мудрый человек истории товарищ Сталин! Не случайно товарищ Сталин знает 72 языка! — Произнес эти слова, Хыдыр-муэллим, хотя и хорошо знал, как плохо действует водка на организм человека, сразу же опрокинул рюмку себе в рот и выпил всю, потом перевернул рюмку вверх дном и поставил на стол: мол, смотрите, ни грамма на доньшке не осталось!

На мгновение среди собравшихся воцарилась тишина, потом Алескер-муэллим проворно вскочил на ноги.

— Прекрасный тост, — сказал он. — Вставайте, друзья! Хыдыр-муэллим поведет о нашем сокровенном желании! За здоровье дорогого товарища Сталина!

Все — конечно, и Арзу, и женщины — встали, и Алескер-муэллим, в другое время не выпивавший за все застолье даже половины рюмки, тут выпил полную рюмку до дна. И Калантар-муэллим, и Алибаба-муэллим, и Фирудин-муэллим выпили свои рюмки до дна. Хосров-муэллим шепнул жене на ухо:

— За твоё здоровье! — и тоже выпил рюмку до дна.

Все сели.

После тоста Хыдыра-муэллима прежний настрой торжества как будто пропал, все замолчали, а в звяканьи приборов слышалось какое-то беспокойство; только у Хыдыра-муэллима было прекрасное настроение, его тост понравился ему самому, самому доставил удовольствие, и, с аппетитом жуя ножку отварной курицы, разрезанной на куски Алескером-муэллимом, он гордился собой.

Жену Хосрова-муэллима звали Гюльзар, она работала воспитательницей в детском саду. После того как Хосров-муэллим в результате самой удивительной на свете случайности встретился с Гюльзар-ханум, как будто вырвались на свободу все его чувства, все его думы, долгие годы запертые в крепкую клетку. После Гадрута Хосров-муэллим не то что не мечтал о каком бы то ни было счастье, у него даже не было претензий на такую мечту, но как только Гюльзар-ханум совершенно неожиданно превратилась в часть его жизни, выяснилось, что все чувства Хосрова-муэллима, вся его плоть жаждали счастья и любви. Гадрут и последовавшие за Гадрутом годы так раздали Хосрова-муэллима, так извели, измучили его, что он чуть ли не физически ощущал, как понемногу выходят из его организма усталость, отчаяние, горечь.

Гюльзар-ханум семь лет была замужем, но не имела детей. Они разошлись, и теперь у ее бывшего мужа, парикмахера из мужской парикмахерской, было четверо детей от второй жены. Гюльзар-ханум была создана для поддержания порядка в доме, для мужа, но семь лет — ровно семь лет — она жила одиноко, гнала от себя думы, душила чувства, будоражащие ее тело; в эти годы многие зарились на красивую, полнокровную женщину, но Гюльзар-ханум никого не подпускала близко, не забывала стыд и после своего первого мужа, того парикмахера, ни с одним мужчиной не клала голову на общую подушку. Живший по соседству Хосров-муэллим внезапно, совершенно неожиданно вошел в жизнь Гюльзар-ханум, и мечтания, сладкие сны одиночки семи лет в два месяца превратились для Гюльзар-ханум в реальность. Хосров-

муэллим был хозяином в доме и мужчина, одновременно Хосров-муэллим — этот человек высокого роста с белыми волосами — был для Гюльзар-ханум как будто и ребенком: эти два месяца Гюльзар-ханум служила Хосрову-муэллиму и как мужу, и как ребенку.

Хосров-муэллиму положил под столом свою руку на белоснежную, полную руку Гюльзар-ханум; конечно, этого никто не видел, но алые щеки Гюльзар-ханум стали еще алее, женщину охватила безумная страсть, ей хотелось прямо сейчас обнять своего мужа, прижать к груди; в висках запульсировала кровь, и Гюльзар-ханум с трудом сдерживалась и руку из-под сухой, теплой ладони Хосрова-муэллима не убирала.

Напряженность на торжестве понемногу проходила, Калантар-муэллим снова встал, снова поднял рюмку с коньяком, но смотревший на Калантара-муэллима снизу вверх Хыдыр-муэллим и на этот раз внезапно поднялся.

— Дорогие друзья! — сказал он. — Я тысячу раз извиняюсь перед тамадой, что оставил его в офсайде. Но мне в сердце пришел такой прекрасный тост, что я просто обязан произнести его на этом замечательном торжестве! Эти бокалы мы поднимем за здоровье близкого соратника и ученика товарища Сталина, любимого вождя азербайджанских большевиков, заботливого отца азербайджанских трудящихся, дорогого товарища Мир Джафара Багирова! Да здравствует, пусть живет тысячу лет товарищ Мир Джафар Багиров!

Снова воцарилась тишина, и на этот раз Хыдыр-муэллим не опрокинул рюмку тотчас, а в тишине оглядел по одному всех сидевших за столом.

Хосров-муэллим никоим образом не хотел убирать под столом руку с руки Гюльзар-ханум, но вдруг совершенно неожиданно, совершенно внезапно Хосрову-муэллиму показалось, что он снова видит костер в Гадруте, он даже ощутил жар от того костра, который все годы преследовал Хосрова-муэллима и ночью, и днем, во время урока; из всех, кто сидел на торжестве, никто, даже Гюльзар, не знали о преследующем его жаре костра, о боли и горечи того преследования. Произнесенный Хыдыром-муэллимом тост был настолько чужд двухмесячной совместной жизни Хосрова-муэллима с Гюльзар-ханум, был настолько чужд его чувствам, радостному волнению, с которым он впервые вместе с Гюльзар появился в обществе, что он и сам не заметил, как вдруг встал и, глядя на Хыдыра-муэллима, дрожащим от волнения голосом сказал:

— Товарищ Мир Джафар Багиров — наш вождь, верно. Но почему вы никак не дадите нам выпить за здоровье этой прекрасной девочки, — Хосров-муэллим, подняв длинную руку, показал пальцем на Арзу, — не дадите поздравить эту прекрасную девочку?

На этот раз в маленькой комнате воцарилась такая глубокая тишина, у всех собравшихся, в том числе и у Хыдыра-муэллима, так вытаращились глаза, что у Хосрова-муэллима невольно затряслись колени, он вдруг понял, что сказал, что наделал...

Первым, кто пришел в себя, опять оказался Алескер-муэллим. Он поспешно встал.

— Одну минуту, одну минуту, Хосров-муэллим! — сказал он и запнулся от волнения. — Арзу же не убераст, она здесь, она своя, мы и за ее здоровье выпьем, и поздравим ее. Но сейчас поддержим тост Хыдыра-муэллима! Правда, Хыдыр-муэллим нас опередил — и хорошо сделал... От всех нас сказал и от себя тоже, Хосров-муэллим!.. Да здравствует товарищ Мир Джафар Багиров! За его здоровье! Чтобы мы никогда не лишились этого великого человека, пусть всегда у нас будет такой мудрый вождь! Пусть всегда он будет над нами! Пусть всегда указывает нам дорогу!

Сидевшие за столом опять поднялись как один, опрокинули рюмки, и Хосров-муэллим, протянув внезапно задрожавшую руку, взял со стола рюмку, выпил за здоровье товарища Мир Джафара Багирова. Хосров-муэллим осознал, что допустил ошибку, непростительную ошибку, и эта ошибка может обойтись ему очень дорого, может разлучить его с Гюльзар, но Хосров-муэллим готов был умереть, но жить опять один не хотел, не хотел, чтобы это двухмесячное тепло опять навсегда осталось в прошлом.

А праздник теперь никак не мог войти в колею. Сидящие за столом гости и хозяйка как-то настороженно, пугово поглядывали на Хыдыра-муэллима. Хыдыр-муэллим мрачно курил и ни на кого не смотрел и не говорил ни слова.

Хосрова-муэллима охватил жуткий страх, жар костра будто опалил волосы на его теле, будто факел, который некто вращал над головой обеими руками, вот сейчас обожжет ему лицо, и когда Хосров-муэллим опять стал делать глотательные движения, когда стал подниматься и опускаться его длинный и острый кадык, стало ясно, что этот человек весь с ног до головы в муках, в страдании.

Только Гюльзар-ханум как будто ничего не понимала (и наверно, это действительно было так!), она все так же улыбалась, так же с любовью, лаской смотрела на мужа, потом Гюльзар-ханум под столом сама положила руку на руку Хосрова-муэллима, но Хосров-муэллим больше не чувствовал тепла этой руки...

Алескер-муэллим сказал:

— А теперь попросим Арзу прочитать нам стихотворение!

Арзу на своих днях рождения всегда читала стихи, она специально для праздников учила стихи на социально-политические темы; и в тот зимний вечер она встала, заложив руки за спину, выпятила грудь с отглаженным алым шелковым галстуком и, произнося каждое слово с особым ударением, стала читать:

Негасимая звезда человеческого гения,
Наш любимый вождь, наш отец Сталин!
Бесконечность нашего сердца, нашей любви,
Знай, что с первого дня твоя, твоя!
О честь, слава всех народов.
Ведешь к победам нас ты!
Деяния твои осветили весь мир!
Песня рвется из моей груди:
Слава Сталину!
Да здравствует Сталин!
Смысл жизни,
Ее содержание — он!

Как только Арзу кончила декламировать стихотворение, все захопало, и Алескер-муэллим, пользуясь случаем, глядя на Хыдыр-муэллима, еще раз произнес тост в честь товарища Сталина, и опять все, в том числе и Хосров-муэллим, встали и выпили до дна.

А Арзу захотела теперь прочитать стихотворение на русском языке. Это стихотворение она в прошлом году прочла в журнале «Огонек» и выучила наизусть, один отрывок из него ей особенно нравился, и Арзу, опять с особым ударением произнося каждое слово, сказала:

— Осип Колычев. «Приглашение к песне». Отрывок из стихотворения.

Вы были вчера
бесмянны,
Седая зурна
Сулеймана,
Джамбула
седая домбра...
Так пойте же
Сталину
славу
Стихами,
подобными сплаву
Золота
и серебра!..

Снова все захопало, и Алескер-муэллим подумал: не надо ли еще раз встать и выпить за здоровье товарища Сталина или, может быть, хватит? Нет, пожалуй, не нужно, решил он, это было бы уже слишком, а все, что слишком, все нехорошо.

Конечно, Алескер-муэллиму не нравилось, что Арзу учит наизусть такие стихи, но что же можно было сделать, ведь Арзу — дитя эпохи, и в тот вечер оказалось очень кстати, что Арзу прочла именно эти два стихотворения. Хыдыр-муэллим все же не полный осел, пусть поймет, увидит, какая идейная семья у директора школы, и поступок Хосрова-муэллима не более чем случайность.

Когда Авазбек еще не был разоблачен как английский шпион и террорист, на одном из своих дней рождения Арзу, заложив руки за спину и выпятив грудь (тогда она еще не была пионеркой), тоже читала стихи о дорогом дедушке Сталине, сначала на азербайджанском языке, потом на русском. И Авазбек (он сидел рядом с Алескером-муэллимом) прошептал себе под нос: «Хорошо, что она по-французски таких стихов не читает...» Алескер-муэллим сделал вид, что не слышит, но некоторое время сердце его билось тревожно, он внимательно осматривал всех сидящих за столом, особенно Афлатуна-муэллима. Но нет, к счастью, никто не уловил шепота Авазбека. Афлатун-муэллим подвыпил, ошаршал, ему было ни до чего.

Событие произошло три года назад; шепота Авазбека никто не слышал, но, несмотря на это, Авазбека теперь не было в жизни, Авазбек расстрелян, и после расстрела на собраниях, митингах, слетах ненависти в школе все, в том числе и Алескер-муэллим, проклинали Авазбека, разоблачали его, призывали друг друга быть бдительными, уметь отличать замаскированных врагов народа.

Не нужно прислушиваться к шепоту, Алескеру-муэллиму казалось, что соответствующие органы издадут приказы и в сердце человека, читают его мысли, и когда Алескер-муэллим задумывался об этом, у него портилось настроение, он с трудом брал себя в руки, обманывая Афлатуна-муэллима, лгая ему, обрабатывая, с огромным трудом добивался лада среди людей в школе...

В тот снежный зимний вечер, когда Арзу исполнилось десять лет, Хыдыр-муэллим все так же курил, пил водку, не разговаривал и думал. Хыдыр-муэллим думал о делах мира, о неблагодарности людей, бесчестности, кто мы были до революции? Никто... Ни одного приличного спортсмена у нас не было. Во всем таком большом Азербайджане пять-шесть пехлеванов и пять-шесть поднимающих тяжести, и все! И они были примитивные, не выходили на международную арену. В Баку было всего-навсего два спортивных клуба — «Сокол» и «Унитас». Да и в самой России что было? Только Поддубный да Занкин, а кто еще? Товарищ Сталин так развил физическую культуру в стране! Теперь в стране около шестидесяти тысяч (тысяч!) физкультурных коллективов, спортсменов около пяти миллионов, около тысячи спортивных залов, число стадионов перевалило за триста (триста! э!)? Чего же вы еще хотите, бессовестные?! Советские гимнасты участвовали в Третьей рабочей олимпиаде в Антверпене! Можно не замечать такой подъем? А кто его совершил? Товарищ Сталин! А в Азербайджане кто совершил? Товарищ Мир Джафар Багиров! Гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол... Были они до революции? Простого мяча не было, драными тряпками набивали круглый мешок, зашивали и играли в футбол на площади Кемюрчу... А теперь как же получается у тебя, Хосров-муэллим? Воспитываешь новое поколение?! Да, язык не поворачивается назвать тебя священными словами «советский педагог»! Не пьешь за здоровье такого человека, такого вождя? А посмотришь на тебя — вроде тихоня... Настоящий ты мошенник и враг, вот ты кто! И видишь, зараза, какую жену себе нашел? Не женщина, а рыба, сукина дочь!..

Хыдыр-муэллим ненавидящими глазами посмотрел на Хосрова-муэллима, и Хосров-муэллим под этим взглядом страшно побледнел и почувствовал, как съезживается, совсем уменьшется, и чего только не повидавший этот человек чуть не заплакал под взглядом Хыдыра-муэллима, Хосров-муэллим не сомневался: он допустил такую ошибку, за которую придется дорого, очень дорого платить. Два месяца Хосров-муэллим, выходя из дома и направляясь в школу (кроме школы, он нигде не ходил), уносил с собой ласковое, любимое тепло тюфяка, подушки, на которых они спали с Гюльзар. Шел урок, но шея, спиной он ощущал тепло подушки и тепло тюфяка — в сущности, это было тепло тугого, полного и гладкого тела Гользар-ханум. И в тот зимний вечер, когда Арзу исполнилось десять лет, Хосрову-муэллиму казалось, что то тепло силой вытягивают из его тела.

Калантар-муэллим, выпив немного, сказал прекрасные слова о дружбе, доверии, преданности, искренности, благородстве. Он приводил мудрые высказывания Физули и Сеид Азима Ширвани. Алескер-муэллим, стараясь поднять политический уровень застолья, под каким-то

предлогом снова произнес тост в честь товарища Мир Джафара Багирова (и все сидящие за столом встали и опорожнили рюмки до дна), потом произнес здравицу в честь особо связанных с Баку, с азербайджанскими большевиками близких соратников и учеников товарища Сталина — товарища Анастаса Ивановича Микояна и товарища Лаврентия Павловича Берин. Произнесены были и тосты за всех сидящих за столом по отдельности (только за Хосрова-муэллима и Гользар-ханум никто, в том числе и Алескер-муэллим, не осмелился провозгласить тост). Даже Фирудин-муэллим пропел две-три народные песни... Но несмотря ни на что, скрытая напряженность из-за стола не уходила. Только Гользар-ханум оставалась в неведении, даже то, что за их здоровье не сказано слово, не произвело на женщину впечатления, она попросту ничего не заметила, все так же ласково, так же приветливо улыбалась всем, теми же влюбленными глазами смотрела на Хосрова-муэллима, и блаженство и счастье, ушедшие в глубь больших черных глаз Гользар-ханум, заставляющие ее большие черные глаза сверкать на протяжении всего торжества, были с нею. А Хыдыр-муэллим, собрав всю волю спортсмена, заставил себя досидеть до конца торжества и вместе со всеми подняться из-за стола, не то бы получилось так, что Хыдыр-муэллим сбегает с поля; нет, Хыдыр-муэллим поля не покинет, потому что отступить перед противником, пойти на компромисс — это противоречило спортсменской натуре Хыдыра-муэллима. Эти люди еще хорошенько не знали Хыдыра-муэллима...

Ночью, когда разошлись гости, Алескер-муэллим все не мог выйти из роли, которую играл на протяжении всего торжества. Он горделиво спросил Арзу:

— Ну? Видишь, как отлично мы провели твой юбилей?!

Арзу кивнула и сказала:

— Да, хорошо получилось. Но в стенной газете я буду критиковать Хосрова-муэллима!

Алескер-муэллим почувствовал, что краснеет:

— Почему?

— А ты не видел?

— Что?

— Он не выпил за здоровье любимого ученика дедушки Сталина Мир Джафара Багирова!

Всегда сдержанный Алескер-муэллим вдруг так распалился, что не смог сдержаться:

— Что ж ты за человек, дочка? Он же за твое здоровье выпить хотел!

— Но ты ведь сам сказал, что за мое здоровье всегда можно выпить. А за здоровье вождей нужно пить в первую очередь! И ты сам, кстати, одну вещь сделал неправильно!

— Я? Что я сделал неправильно?

— Ты сказал — Арзу у нас своя, за ее здоровье выпьем потом... Получается так, что вожди — не свои...

Алескер-муэллим остолбенел:

— Да... Нечего сказать...

— Что? Я неправильно говорю? Вожди у нас не свои?

Алескер-муэллим взял себя в руки.

— Свои, конечно... Возможно, я неточно выразился. Но и ты неправильно поняла Хосрова-муэллима. Хосров-муэллим хотел сказать не так...

— А как он хотел сказать?

— Он хотел... Значит, есть такие вещи... Ты еще маленькая, не понимаешь...

— Не понимаю?

— Не понимаешь... Ты умная девочка, но есть такие вещи...

— Очень хорошо. Тогда ты напишешь мне ответ в нашей стенной газете!

— Не все можно писать.

— Почему?

Алескер-муэллим сел рядом с дочкой. Поцеловал Арзу, перемел разговор на другую тему, начал рассказывать интересные истории, которые нравились дочке. И пока Фируза-ханум (в мыслях ругая Хыдыра-муэллима до седьмого колена) мыла и вытирала на кухне вилки, ножи, тарелки, Алескер-муэллим говорил Арзу хорошие слова и внезапно почувствовал, что подхалимничает перед дочкой.

Наутро снег покрыл все вокруг, но белизна его утратила чистоту, и Алескеру-муэллиму казалось, что белизна снега пропитана какой-то невидимой грязью, как будто тот снег был гной и, разорвав тонкую пленку, он запачкает все вокруг.

Алескер-муэллим провел очень беспокойную ночь, через каждые полчаса вздрагивал, просыпался, ободрял себя: «Ничего не будет... А что может быть?.. Очень хорошо прошло торжество... Ну слово одно не так сказал, да... Потом стало хорошо, все смыло, унесло... Дважды выпили за Четырехглазого» (Мир Джафар Багиров носил очки, и потому люди порой, размышляя про себя, беседуя шепотом, оглядываясь по сторонам, с самыми близкими, самыми доверенными людьми, называли его «Четырехглазый»)...

Ничего не будет — и Алескер-муэллим утром в такой холод хорошенько умылся из рукомойника (в холод он никогда так долго не мылся), холодная вода придала ему бодрости, энергии, но когда он вышел из дому и приблизился к школе, то беспокойство снова стало нарастать.

Первым в директорский кабинет Алескера-муэллима вошел Калантар-муэллим, и Калантар-муэллим в то утро был одним из самых озбоченных людей на свете.

— Хорошо мы провели торжество! Да придет тот день, когда мы отметим двадцатилетие детки Арзу!

— Большое спасибо.

— А стол у Фирузы-ханум — нет слов!..

— Да... — Алескер-муэллим улыбнулся, но сердце его забило еще большей тревогой, потому что Алескер-муэллим увидел по глазам Калантара-муэллима, что он провел очень беспокойную ночь.

— Очень хорошо прошло торжество... — Калантар-муэллим отвел глаза от глаз Алескера-муэллима. — Но... этот злодей, сын злодея Хосров-муэллим, пошел ему Бог хоть немного разума...

— Не обращай внимания, прошло и кончено... Чем меньше об этом разговоров, тем лучше... Как будто ничего не случилось, не затрагивай!

— Где это я буду затрагивать?.. — И вдруг у этого весельчака, шутника, оптимиста Калантара-муэллима задрожали губы. — Я боюсь! — сказал он. — Боюсь!.. У меня семеро дочерей.

Алескер-муэллим наполнил воды в стакан из графина толстого стекла, который всегда стоял на столе в директорском кабинете, и протянул воду Калантару-муэллиму.

— Да успокойся ты!.. Что с тобой будет? Тебе какое дело? Если казан закипит, то на голове несчастного Хосрова и закипит...

— Ты говоришь, ко мне не относится?

— Конечно!

— А к тебе?

Алескер-муэллим удивился, и сердце его забилося сильнее:

— Ко мне? Я так же, как и ты. И ко мне не относится!..

— Но ведь в твоём доме случилось?!

— Ну и что?

Выпив воды, Калантар-муэллим немного пришел в себя, пожал плечами, спросил:

— Как ты думаешь, сукин сын Хыдыр донесет?

Старый бакинec Калантар-муэллим знал большинство жителей Баку.

— Они, — сказал он, — род Хыдыра, во всех поколениях были плохими людьми!.. Его отец, амбал Ордухан, говорят, за тарелку бозбаша (горохового супа) готов весь Баку продать!

Алескер-муэллим не сказал ни слова. Как только он вошел в кабинет, сразу же хотел вызвать Хыдыра-муэллима, но не вызвал, подумал, получится — «на воре шапка горит». Ну что ж, Хыдыр-муэллим ведь тоже человек, он должен понять, что нельзя делать других несчастными, у людей семьи, дети, нельзя людей в ссылку...

После Калантара-муэллима в кабинет вошел взволнованный Фирудин-муэллим:

— Ты видишь этого подлецца?

Алескер-муэллим, конечно, знал, о ком речь, но Фирудин-муэллим был человек культурный, говорил деликатно, и его волнение, резкие слова расстроили и без того расстроенного Алескера-муэллима.

— Кого ты ругаешь? Что с вами со всеми? О ком ты говоришь?

— Как кого ругаю? Хыдыра, конечно! Только что подошел ко мне и спрашивает: вчерашнее происшествие поставишь сегодня на заседание бюро или нет? Причем не просто так спрашивает, а с угрозой!..

Алескер-муэллим не смог сдержаться:

— Чтоб тебя приподняло и шлепнуло!

— А ты такого человека на торжество приглашаешь...?

— Так ради вас ведь пригласил!.. Решил, чтобы этот нечестивый к вам не цеплялся!.. Откуда мне было знать, что Бог отнял разом у Хосрова? Как я мог это знать?!

Когда Фирудин-муэллим выходил из кабинета, Алескер-муэллим вдруг вспомнил Авазбека, вернее, вспомнил жену, дочь Авазбека; теперь Авазбеку что, как однажды в мир пришел, так однажды и ушел,

а горе жене и дочери, как члены семьи врага народа они вынуждены скитаться без утла, вот где говорят: беда тому, кто остался... Одинокая женщина и одинокая девочка, что они теперь делали в степях Казахстана, в каком были несчастье?.. И теперь вот Хосров выкинул фокус... Судьба, что ли, такая?..

Вошел Алибаба-муэллим.

— Салам.

— Салам.

— Как дела?

— Да как? Ничего...

— Знаешь, что... Не думай, что я вчера напился. Водка меня не взяла. Я всю ночь думал... Я двадцать лет в партии! Я не ребенок! Я грудью буду защищать Хосрова! Я не потерял большевистской совести! Но многие потеряли! Многие давно потеряли! Я...

— Да погоди ты пока... — Алескер-муэллим понял, что Алибаба-муэллиму тоже всю ночь успокаивал себя. — Что случилось?

— Да как «что случилось», слушай, ты спишь, что ли? Вся школа спрашивает, что вчера произошло у Алескера-муэллима дома? Хыдыр разнес всем... Кого ни встретит, говорит, увидите, что я устрою длинному негодяю Хосрову!..

Алескер-муэллим опять не смог удержаться:

— Какой мерзавец!.. — У Алескера-муэллима все внутри дрожало от волнения, он слышал стук собственного сердца, как будто в далеких казахстанских степях были не жена и дочь Авазбека, а Фируза-ханум с Арузу. Алескер-муэллим никогда так глубоко не ощущал страха эпохи, в которую жил, не чувствовал несчастья так близко. Алескеру-муэллиму так явно представлялось существование бедных, беззащитных, нежных Фирузы-ханум и Арузу в безлюдных степях Казахстана среди снежной метели, под похотливыми взглядами мужских глаз, глядящих как волк на добычу, — так явно представилось все, что его заташнило, лоб покрылся холодным потом и в желудке начались колики.

Алескер-муэллим был опытным человеком, он умел держать себя в руках, даже в самые трудные минуты действовал обдуманно, но в то зимнее утро в школе, в директорском кабинете, где просидел восемнадцать лет, Алескер, как ребенок, тонул в полной безнадежности.

Какое-то время в комнату никто не заходил, но Алескеру-муэллиму казалось, будто кто-то, стоя за дверью, с колотящимся сердцем не осмеливается войти. Было так или не было, но дверь отворилась, вошел Хосров-муэллим и остановился у двери.

Алескер-муэллим посмотрел на этого длинного, худого человека, жалкого с головы до ног: от вчерашнего сияния, от вчерашнего счастья не было и следа, Хосров-муэллим находился в еще более бедственном положении, чем прежде, чем до того, как они с Гользар нашли друг друга. Алескеру-муэллиму показалось, будто и седые волосы Хосрова-муэллима поседели именно в эту ночь. Алескер-муэллим смотрел на Хосрова-муэллима, видел перед собой неизлечимого больного, конец которого совсем близок, даже на мгновение, всего на одно мгновение Алескеру-муэллиму показалось, будто Хосров-муэллим лежит в гробу, что гроб сейчас принесли и поставили вертикально в дверях. Алескер-

муэллим вздрогнул от этого видения, он встал и подошел к Хосрову-муэллиму.

— Слушай, — сказал Алескер-муэллим, — ну что бы с тобой случилось, если бы ты выпил за этого... этого... — Тут Алескер-муэллим оглянул себя, не осмелился обругать ЭТОГО (Четырехглазого), — ...за его здоровье? А? Не хочешь, про себя произнеси другой тост, тебе в душу кто-то лезет?! Ребенок ты, что ли? Ты столько времени не видишь эту трескотню? А? А теперь вот как побойти!

Хосров-муэллим, сглатывая воздух, с движущимся вверх-вниз длинным и острым кадыком сказал:

— Не знаю, ей-богу, не знаю, как получилось... Слова сами вылетели изо рта... И вас в плохое положение поставил... Черт со мной, боюсь, и на вас скажут...

Алескер-муэллим на этот раз основательно вздрогнул:

— А на нас за что? Что мы сделали?

Хосров-муэллим сказал:

— Не знаю... На ум всякое приходит...

В это время дверь кабинета открылась. Хыдыр-муэллим с горящими яростью глазами хотел войти, но, увидев стоящих лицом к лицу Алескера-муэллима с Хосровом-муэллимом, громко (демонстративно!) захолопнул дверь.

Алескер-муэллим отвел глаза от двери, снова поглядел на Хосрова-муэллима, с откровенной безнадежностью спросил:

— Этого ты не видел там, что ли, несчастный? Мало тебе в жизни досталось? Только-только с бедой протислся, построил семью!..

Хосров-муэллим до утра не спал. Когда пришли домой из гостей, разделись, легли... Они ехали в трамвае и замерзли. После уличного холода Гюльзар-ханум, не ведающая о делах мира, в постели сжала Хосрова-муэллима в своих гладких, полных, горячих объятиях, и ее гладкая кожа, ее горячее, ласковое тело заставили Хосрова-муэллима забыть обо всем, среди тепла и ласки счастье Хосрова-муэллима, которое продолжалось уже два месяца и внезапно чуть не кончилось, чуть не исчезло на давешнем торжестве, теперь снова вернулось, и в том счастье не было для Хосрова-муэллима ни Хыдыра-муэллима, ни Мир Джафара Багирова, ни страха перед Мир Джафаром Багировым; чувства, с которыми Гюльзар семь лет жила одна, с которыми боролась внутренне изо всех сил, теперь каждый раз вскипали новой любовью, непреодолимой страстью, и два месяца они жили этой любовью, этой страстью, и в ту снежную зимнюю ночь было так же... Потом Гюльзар, совершенно обессилив, заснула прекрасным сном, и Хосров-муэллим, глядя в темноте маленькой комнаты, в которой одиноко жил долгие годы, предшествующие этим двум месяцам, на белые и полные руки, на большие и горячие груди Гюльзар как на тайну, легенду, послание совершенно иного мира — мира, который еще два месяца назад был недостижим для Хосрова-муэллима, — вдруг вспомнил, что на свете есть Хыдыр-муэллим, Мир Джафар Багиров и на свете между Хыдыром-муэллимом и Мир Джафаром Багировым, на большом расстоянии, есть люди, один выше другого (и столько людей!), которые тысячу таких, как Хосров-муэллим, согнув в бараний рог, засунут в жидкий азот

и даже не охнут. Холод жидкого азота внезапно на глазах Хосрова-муэллима превратил в лед горячее тело Гюльзар, и теперь его гладкость казалась гладкостью льда.

Хосров-муэллим до утра просидел на кровати и в холоде жидкого азота ощутил несчастье как существо, желающее всунуться между ними — Гюльзар и Хосровом-муэллимом. И языки костра, пылающего где-то вдалеке, излучали не жар, а холод жидкого азота...

Хосрову-муэллиму казалось, что наступит утро и он, усевшись в фэзтон Ованеса-киши, опять уедет из дому, опять начнется то невозвратное путешествие, дети снова, как в то утро, поднимут шум:

«Папа, до свиданья!..» — скажет Джафар...

«Папа, приезжай быстрее!..» — скажет Аслан...

«Папа... Папа», — скажет двухлетний Азер, и Ширин ОПЯТЬ плеснет ему вслед ковшик воды, потом и Ширин, и шестилетний Джафар, и четырехлетний Аслан, и двухлетний Азер ОПЯТЬ погибнут, его ОПЯТЬ не вступят в Гадрут, и костер ОПЯТЬ будет гореть.

Хосров-муэллим хотел встать, хотел пойти умыться, немного успокоиться, но стоило ему шевельнуться, фэзтон Ованеса-киши встряхивало на камушке по дороге в Шушу, и горная дорога, ведущая в Шушу, была теперь черной-пречерной, и Хосров-муэллим настолько реально ощущал этот черный цвет, будто вот сейчас он как вязкий сок прилипнет к лицу, к телу, но самое страшное, что Хосрову-муэллиму казалось, будто черный липкий цвет вот сейчас окутает и белейшее тело Гюльзар.

Хосров-муэллим, сидящий на кровати, ощутил, как из глубины его, помимо его воли, поднимается тот же стон, что в страшную ночь у костра. Вернее, этот звук больше подходил на повизгивание, чем на человеческий стон, но повизгивание постепенно нарастало. Гюльзар улыхалась во сне страшный звук, вырывавшийся из груди Хосрова-муэллима, и... улыбнулась...

Хосров-муэллим в темноте комнаты отчетливо ощутил улыбку на лице Гюльзар. Гюльзар зашевелилась в постели, еще шире раскинув руки, повернулась к Хосрову-муэллиму. Гюльзар вытнула свои белесые-пребелые руки вдоль подушки, и в темноте стали видны даже мягкие волоски у нее под мышками, одна грудь вылезла из выреза шелковой ночной рубашки, и жар ее груди принес тепло Хосрову-муэллиму, и повизгивание оборвалось.

Хосров-муэллим не боялся несчастья, которое случится с ним самим — для него в несчастье ничего страшного не было, — Хосров-муэллим не хотел, чтобы замерзло, превратилось в жидкий азот тепло Гюльзар... Потом Хосров-муэллим вспомнил Алескера-муэллима, Калантара-муэллима, Алибабу-муэллима, Фирудина-муэллима, подумал о семьях этих людей, представил себе Фирузу-ханум и Арзу и понял: он совершил такую ошибку, из-за которой все — от семи дочек Калантара-муэллима до Арзу будут выброшены на улицу...

Алескер-муэллим отвел глаза от Хосрова-муэллима, подошел к столу, хотел что-то сказать, но не сказал, только махнул рукой и вздохнул: седины в волосах Хосрова-муэллима за прошлую ночь заметно прибавилось.

Хосров-муэллим ушел. Алескер-муэллим встал у окна, выходящего в школьный двор. На подоконнике стояли ряды больших и маленьких керамических горшочков, в горшочках росли цветы, лепесточки были и красные, и желтые, и фиолетовые. И все говорили теперь Алескеру-муэллиму о горестных, о печальных делах мира... Цветы вырастила Фируза-ханум и отправила с Арзу в школу, в отцовский кабинет. Красивые, нежные цветы конечно же, не ведали о мире, красивые, нежные цветы не знали, до чего порой доходит человек, как страдает его душа, как плачет совесть...

Алескер-муэллим услышал, что дверь открылась, но не обернулся, смотрел на цветы, и вдруг ему показалось, что кто-то целится ему в спину и сейчас выстрелит, сейчас пуля продырявит ему спину, пролетит насквозь, ударит в Фирузу, в Арзу... Алескер-муэллим почувствовал резкую боль в спине от той пули и резко обернулся.

Хыдыр-муэллим стоял в дверях и гневно смотрел на Алескера-муэллима. Хыдыр-муэллим тоже провел ночь в тревоге и беспокойстве. Он жил на Баилове и вчера, выйдя от Алескера-муэллима, не сел в трамвай, а всю долгую дорогу под снегом прошел пешком. Пеший поход был организму полезен. Хыдыр-муэллим шел и размышлял, шел и думал о продажных людях. Общество надо было очистить от таких продажных, как Хосров-муэллим. И нечего ждать. До каких пор Хыдыр-муэллим должен ждать? В наступление надо переходить, в наступление! Любая команда — хоть футбольная, хоть баскетбольная, да какая бы ни была, если в наступление не перейдет, победу не завоеует. Люди, которым, кажется, и цена-то грош, глядишь, проявляют бдительность, идут в наступление, разоблачают подобных Хосрову-муэллиму и достигают высоких ступеней! А Хыдыр? Хыдыр, выходит, хуже?! Выходец из трудовой семьи?!

Да кто вообще лучше Хыдыра мог бы руководить азербайджанским спортом? Спорт-то он знает как свои пять пальцев. Всех спортсменов знает. А его, Хыдыра, никто не знает. Потому что Хыдыр отстает от жизни. Хосров-муэллим — откровенный враг, тут говорить не о чем. Больше ему сладкий язык Алескера-муэллима не поможет. За здоровье ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА выпить не хотел, перед всеми протест выразил — кто этому врагу теперь сумеет помочь? А Хыдыр если и сейчас себя не проявит, то когда же и проявлять? Промедлишь, так и не увидать тебе руководящей работы в области спорта, до конца жизни будешь прозябать в этой дурацкой школе, среди хилых, едва волочащих зад учителей да тунных учеников, не способных прыгнуть в длину даже на два метра. У Хыдыра друзей на высоких постах не было, никто ему не помогал, и все, чего достиг Хыдыр до сих пор, было делом его собственных рук. Но все еще впереди! Сегодня, считал Хыдыр, он достиг еще слишком мало.

До чего Хыдыр дожил... Единственный, кто протянул ему руку помощи, был вагоновожатый Афлатун-муэллим... Правда, вагоновожатый Афлатун-муэллим был теперь директором школы, но какая разница, вагоновожатый Афлатун-муэллим мог быть хоть министром, все равно он остался бы на своем уровне — водителя трамвая, как личность он никем иным быть не мог. А Хыдыр должен был смочь, должен под-

нять самого себя так, чтобы оказаться на недостижимой для таких вот вагоновожатых афлатунов призовой высоте.

Знание Хыдыра, бесстрашие Хыдыра, способности Хыдыра нужны были не ему одному, а всему азербайджанскому спорту, и Хыдыр обязан был действовать. Разоблачение бессовестного Хосрова — для Хыдыра репетиция, Хыдыр переходит в наступление, он идет в наступление на цель, после репетиции начнутся большие дела. Хыдыр очистит общество от врагов. Хыдыр возглавит азербайджанский спорт!

В ту снежную зимнюю ночь Хыдыр-муэллим исполнился такой решимости, что будто и тело этого сверх меры здорового и сильного человека стало еще здоровее и сильнее, он еще увереннее, еще быстрее шагал по снегу. А придя домой, он увидел, что Абдул, как всегда, не спит. Абдул, как всегда, ждет брата.

Отец Хыдыра-муэллима, Ордухан, до революции и в первые годы после нее был известным в Баку амбалом (грузчиком), и таким известным, что владельцы компании, занимающейся погрузкой на корабли на верфях, порой предпочитали амбала Ордухана самому знаменитому амбалу, легендарному амбалу Баку — Дадашу. В год рождения Абдула, летом 1929 года, на площади Кемюрчу под мешком лука в сто двадцать килограммов сердце амбала Ордухана вдруг разорвалось, вскоре умерла и мать, и Хыдыр с Абдулом остались одни, и все эти годы Хыдыр был для Абдула и отцом, и матерью. Абдул не просто очень любил своего старшего брата, он им гордился, хвастался, и Хыдыр хотел бы, чтобы младший брат и над ним самим поднялся, пусть все увидят, что сыновья амбала Ордухана без чьей-либо помощи, своими силами достигли высоты! Хыдыр немедленно перейдет в наступление! Хыдыр вырвет желаемое из глотки у жизни, добьется своего...

В ту ночь Хыдыр без сна лежал в кровати, раздумывая, планируя, мечтая, и ближе к утру оказался в некоем воображаемом мире, согреваемом душой в снежный зимний холод: он руководил азербайджанским футболом, строил новые стадионы, создавал команды, растил спортсменов, стоя на трибуне вместе с руководителями партии и правительством, принимал физкультурный парад, произносил речи с высоких трибун и даже... Сам Михаил Иванович Калинин в Кремле вручал Хыдыру Гафарзаде орден за выдающиеся заслуги в области физической культуры, и фотография, сделанная в момент, когда сам Михаил Иванович Калинин в Кремле пожинал Хыдыру руку, обошла все газеты Советского Союза, в том числе, конечно, газету «Красный спорт»...

Возможно... Возможно даже, товарищ Сталин узнает о Хыдыре, потому что товарищ Сталин очень любит спортсменов! Правда, и среди спортсменов есть негодяи, которые предадут товарища Сталина (враги хуже Хосрова-муэллима!). Вон, Николай Ковтун!.. Было время, когда одно имя Ковтуна наполняло сердце Хыдыра радостью, потому что Ковтун был первым советским спортсменом, прыгнувшим в высоту больше двух метров, он был рекордсменом мира! В «Красном спорте» выходили его фотографии! Ну и что? Негодяй оказался врагом народа! Неблагодарным товарищу Сталину оказался! Ах ты, мерзавец, если

бы не товарищ Сталин, разве ты смог бы прыгнуть в высоту 2 метра 01 сантиметр?! Вообразил, что смог бы. Вот поэтому теперь твою имя и называют с ненавистью. В позапрошлом году поймали, посадили мерзавца, пошел вон!.. А этого Хосрова-муэллима вытащишь на стадион, так он и на метровую высоту не прыгнет, а посмотри, какое говно!.. Хыдыр всегда будет бдительным, даже с самых знаменитых спортсменов он сорвет маски, он будет воспитывать спортсменов, достойных товарища Сталина.

Вот такую беспокойную и в то же время приятную ночь провел Хыдыр-муэллим и теперь, стоя в дверях директорского кабинета, гневно глядя на Алескера-муэллима, сказал:

— Алескер-муэллим, такого врага брать под крыло нельзя! А вы берете! Думаете, я вчера не понял, почему вы повторили тост за товарища Мир Джафара Багирова? Хотели покрыть действия врага! Но вы не сумели заставить замолчать мою совесть! Я человек открытый и на ринге всегда бил открыто, советуя вам знать. А покровительствовать врагу не советуя! Вам же будет хуже! Я этого дела так не оставлю! Я до самого товарища Мир Джафара Багирова дойду!

Хыдыр Гафарзаде вышел из кабинета и хлопнул дверью.

Бедный профессор Фазиль Зия говорил, бывало, своим пациентам: почаще ходите в театр! Бедный прекрасный человек, самому ему частое хождение в театр не помогло.

Алескер-муэллим был в глубочайшем расстройстве, жуткая тревога терзала его, тревогу породили не только страх, паника, но и то дело, которое Алескер-муэллим задумал совершить.

Хыдыр-муэллим, конечно, пойдет в органы доносить на Хосрова-муэллима — в этом больше нельзя сомневаться, и тогда, и тогда...

Алескер-муэллим, глядя на красивые, нежные цветы в горшках, снова увидел в безлюдных степях Казахстана среди снежной пурги, под похотливыми мужскими взглядами две беззащитные фигурки, мать и дочь Фирузу и Арзу... Надо торопиться... Другого выхода нет. Надо опередить. Надо опередить этого сукиного сына Хыдыра Гафарзаде... Иначе и Алескера-муэллима в покое не оставят, иначе Фируза и Арзу окажутся в степи... Того сукиного сына надо, надо опередить, о поступке Хосрова должен сообщить сам Алескер-муэллим... Хосров и без того был приговорен, ему помочь все равно невозможно... В органы должен идти сам Алескер-муэллим... Если он не донесет, то после доноса подлого Хыдыра возьмут Алескера-муэллима, потом других преподавателей... Хосрову-муэллиму невозможно помочь, значит, надо помочь себе, помочь Фирузе, Арзу, помочь другим... Сам... Сам должен донести... Сам сказать... Ладно, не органам. Но райкому... Джумшудлу...

И Алескер-муэллим, отведя глаза от цветов, обессиленный от своего решения, с колотящимся сердцем подошел к столу, дрожащей рукой поднял телефонную трубку...

8. Прием

Вечером, около девяти часов, первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана Мир Джафар Багиров, стоя у окна в кабинете, смотрел на город. Отсюда хорошо была видна вся нижняя часть Баку, приморский бульвар и само море, и Мир Джафар Багиров, когда чрезмерно уставал, работая с утра до полуночи, любил подойти к окну и смотреть на море. Между простором, спокойствием, вечностью моря и суетой каждодневной жизни Мир Джафара Багирова, жизни в торопливой смене событий, кампаний, операций, когда последующая начиналась, прежде чем заканчивалась предыдущая, между нервным напряжением Мир Джафара Багирова и покоем моря был удивительный контраст, не возбуждающий, а, напротив, успокаивающий. Рабочее время товарища Сталина продолжалось с полудня до полуночи, и в течение всего этого времени, естественно, Мир Джафар Багиров тоже бывал на работе — Сталин мог позвонить даже в час ночи; а вставать рано Мир Джафар Багиров привык с детских лет, и работы было много, работа не кончалась, Мир Джафар Багиров не мог отдыхать, пока не кончалась работа, и поэтому все время недосыпал, а простор, спокойствие, вечность моря снимали усталость, успокаивали этого нервного человека, издавка приносили покой. Но в зимний вечер Мир Джафар Багиров смотрел не на Каспий, а на людей, снующих по улицам города, ожидающих трамвая на остановках. Тем людям, конечно, даже в голову не приходило, что их сопровождают глаза Мир Джафара Багирова.

Мысль об этом вызвала улыбку на полных губах раньше времени постаревшего сорокатрехлетнего Мир Джафара Багирова, он с шумом поклат между ладонями несколько карандашей: руки у него были в экземе, карандаши между ладонями утпишали экземный зуд. Отведя глаза от людей, он посмотрел в сторону моря, на засыпанные снегом крыши домов.

Темь моря, слабая белизна покрывшего крыши и тротуары снега казались совсем застывшими, даже мертвыми в сравнении с движущимися туда-сюда людьми в пальто и шапках, с проезжающими по дороге машинами, трамваями, одиночными фаятонами, и Мир Джафар Багиров снова посмотрел на людей, и у него мелькнула мысль, что если бы сейчас и он, как обыкновенный смертный, оказался среди этих людей, он бы некоторых узнал, с кем-нибудь поздоровался, может быть, даже перекинулся бы несколькими словами... Нет, пожалуй, конечно, не сейчас. Но еще шестнадцать-семнадцать лет назад точно перекинулся бы. Сейчас-то нет, невозможно: люди сейчас узнали бы Мир Джафара Багирова, кто застыл бы на месте, а кто и убежал, кто хором поздоровался бы, а кто и бог знает что сделал бы, и им всем было бы страшно, очень страшно — это он точно знал. Когда он сидел в президиуме на собраниях, совещаниях или же за столом в своем кабинете и внимательно взглядывал на высокопоставленных и простых людей, эти люди, как бы они ни различались внешне, боялись его одинаково, в глубине глаз у каждого, кто встречался глазами с Мир Джафаром Багировым, возникали страх, беспокойство, тревога. Мир Джафар Багиров видел страх в глубине человеческих глаз, как бы глубоко этот страх

ни угнездился, и вообще от его взгляда ничто не ускользало. Мир Джафар Багиров хорошо знал и то, что люди боятся именно его, но если бы не было страха — Мир Джафар Багиров был абсолютно убежден, — невозможно было бы свершить великие дела эпохи. Ведь люди по своей природе безмятежны, они любители готovenького. Если бы они не боялись, ни лозунги не помогли бы, ни идейность, ни бесчисленные речи, доклады. План по нефти не выполнялся бы от врагов. И партия, и ряды партии не очищались бы от врагов. И партия, и весь Советский Союз слились для Мир Джафара Багирова в одно имя — товарищ Сталин. Интересы партии, благо страны означали интересы товарища Сталина и благо товарища Сталина. И Мир Джафар Багиров верно служил товарищу Сталину. И товарищ Сталин это знал. И Берия знал, и другие члены Политбюро. А в Азербайджане и партия, и республика, и сам товарищ Сталин слились в одно имя — Мир Джафар Багиров. И Мир Джафар Багиров от других требовал такого же верного служения себе, а верное служение было невозможно без страха, потому что неблагодарность была в природе человека. Никакая идейность, никакие лозунги и призывы не могли создать такой верности, которую создавал страх.

Мир Джафар Багиров не был пустым мечтателем, увлекающимся человеком, романтиком. Но в тот зимний вечер неожиданно в его сердце закралось чувство, похожее на тоску; ему захотелось быть обыкновенным смертным и куда-то идти, как обыкновенный смертный, куда-то спешить по улицам, среди людей. Чувство было мимолетно и быстро улетучилось, и Мир Джафар Багиров опять поклат карандаши между большими ладонями, и шум карандашей снова парусил тишину кабинета.

XVIII съезд партии был назначен на март нынешнего 1939 года, вся страна готовилась к съезду. И Мир Джафар Багиров объявил о проведении XV съезда КП(б) Азербайджана 25 февраля и все последние дни занимался только подготовкой к съезду. Для людей, спящих по улице туда-сюда, съезд был чем-то отвлеченным, вроде праздника — выступающие будут славить товарища Сталина, говорить о достигнутых успехах, о веселой и беззаботной жизни, газеты все напечатывают, трудовые люди будут рапортовать о перевыполнении планов в честь съезда, принимать на себя новые обязательства... А для Мир Джафара Багирова приближающийся съезд означал, что надо еще больше работать, работать и работать.

Люди на улицах из окна казались очень маленькими, их беготня туда-сюда, их движения выглядели отсюда чуть ли не смешными, будто это были куколки в пальто и шапках, сновали и двигались маленькие куколки. В детские годы в Кубе по соседству жил мальчик, старше лет на пять или шесть, звали его Алескер (а фамилия? — сошурившись, он на мгновение напряг память, и она, блестящая, тотчас выдала и фамилию мальчика, выхватив ее из многих тысяч знакомых фамилий, — Бабазаде), да, Алескер Бабазаде, очень много читающий мальчик, потом, кажется, он стал учителем. Однажды он взял у этого Алескера Бабазаде книжку на русском языке, и поскольку книжка ему понравилась, маленький Мир Джафар прочитал ее дважды, не захотел с нею расста-

ваться, предложил что-то в обмен... Но Алескер Бабазаде не дал, выхватил книгу из рук. И Мир Джафар Багиров в уголке дворового яблоневого сада плакал от злости. Это был роман Джонатана Свифта «Гулливер», в тот тихий зимний вечер 1939 года, глядя из окна кабинета на спящих людей, Мир Джафар Багиров вспомнил книжку, и ему показалось, что он, как Гулливер, попал в страну лилипутов, что люди за окном все — лилипуты. Он снова поклат в ладонях карандаши и взглянул на большие стенные часы: до девяти оставалось семь минут. Как всегда на вечер он вызвал народного комиссара внутренних дел республики, ровно в девять комиссар войдет в кабинет (наверное, теперь он пришел и ждал в приемной, когда будет ровно девять), даст информацию о событиях дня, покажет сводку, ответит на вопросы, получит указания, словом, прием пройдет как в обычные спокойные дни, своим чередом, и комиссар, сунув папку под мышку, уйдет, и без пятнадцати десять явится новое руководство «Азнефти» (тоже, наверное, уже пришли и ждут в приемной) — звонил из Москвы Поскребишев и сообщил, что завтра утром, часов в одиннадцать, Мир Джафар Багиров должен по телефону дать товарищу Сталину данные о положении дел в «Азнефти».

Мир Джафар Багиров собрался было сесть за письменный стол, но остановился перед большим портретом товарища Сталина. Помещенный в широкую ореховую раму портрет был репродукцией с карандашной работы художницы Р. Малолетковой, и Мир Джафар Багиров только недавно велел повесить его у себя. Прежде на этом месте висел написанный маслом помпезный портрет товарища Сталина, а в работе Малолетковой не было ничего, кроме белого и черного, была простота, родственная простоте товарища Сталина; в то же время во взгляде товарища Сталина, в его аккуратно зачесанных назад густых черных волосах, закрученных черных усах было какое-то величие. Виделся ворот «сталнинки», в глазах товарища Сталина, зовущих народ в светлое завтра, был ласковый отблеск. А внизу была подпись — «И. Сталин», и в широких черных буквах на белом пространстве подписи была монументальность.

Портрет, в сущности, не походил на товарища Сталина. Вернее, походил... Но здешний товарищ Сталин не был настоящим товарищем Сталиным не потому, что товарищ Сталин на портрете был красивый, волосы и усы у него были черные, а не рыжие, а потому, что множество раз встречавшийся с товарищем Сталиным, часами разговаривавший с товарищем Сталиным, обедавший вместе с товарищем Сталиным у него дома, на даче, Мир Джафар Багиров никогда не видел такой улыбки и такого выражения глаз, как на портрете. Улыбка и выражение глаз были вымыслом художника, но хорошим вымыслом, а азербайджанские художники часто рисовали портреты Мир Джафара Багирова один к одному, как в жизни, и это ему не нравилось.

Катая меж ладонями карандаши, Мир Джафар Багиров на некоторое время устремил глаза на портрет товарища Сталина и, несмотря на вымысел художника — на чужое выражение глаз и чужую улыбку товарища Сталина, снова ощутил одиночество этого человека, то есть товарища Сталина.

Мир Джафар Багиров никогда не чувствовал себя одиноким, вернее, чувствовать себя одиноким у него не было ни времени, ни охоты, но каждый раз при встрече с товарищем Сталиным — независимо от того, на собрании ли, на заседаниях в кабинете товарища Сталина, в беседе один на один, во время обеда у товарища Сталина на даче, он видел, что товарищ Сталин испытывает одиночество. Как всегда, внимательно слушая речи товарища Сталина или указания, суждения, шутки, внезапно Мир Джафару Багирову казалось, что внутри этого единственного и неповторимого в истории человечества, беспрецедентно великого вождя и учителя сидит хранимое втайне от всех страшное одиночество. Однажды в Москве (был такой же зимний день) в гостевой комнате ЦК они с Берией — тогда Берия еще не переместился в Москву, работал первым секретарем ЦК КП(б) Грузии — до полуночи сидели, разговаривали, вспоминали минувшие дни, людей, руководящих партийных, советских работников, которых знали по совместной работе в Азербайджанской чрезвычайной комиссии, обменивались мнениями, и тогда Берия сказал Мир Джафару Багирову слова о товарище Сталине, которые, наверное, не мог бы сказать никому в жизни: «А ты знаешь, Мир Джафар, ведь он, в сущности, одинокий человек...» Услышав эти слова, Мир Джафар Багиров вздрогнул, потому что Берия как будто сказал вслух его тайную мысль. Вообще таких случайностей бывало много: Лаврентий Берия с Мир Джафаром Багировым часто одинаково думали, одинаково чувствовали.

Мир Джафар Багиров отвел глаза от портрета товарища Сталина и перед тем, как пройти за письменный стол, еще раз бросил мимоличный взгляд за окно: чтобы поднять не только Азербайджан, но и всю страну, чтобы разоблачить и истребить последнего врага народа, чтобы повзвист дух миллионов, разжечь политическую страсть, товарищ Сталин необходим, товарищ Сталин был знаменем, зная всегда надо держать высоко. Когда до революции товарищ Сталин — Коба осуществил тайную революционную деятельность в Баку, народ называл его Грузин Юсеф. Мир Джафар Багиров хотел превратить весь Баку в мемориальный музей Грузина Юсефа — товарища Сталина. Это было непреодолимым, горячим, страстным желанием, целью Мир Джафара Багирова.

Товарищ Сталин говорил: «В Тифлисе я еще был революционным младенцем и только в Баку достиг степени ученика мировой революции». Эти слова он произнес в одном из выступлений в самом начале тридцатых, а теперь товарищ Сталин был учителем и руководителем мировой революции.

Привязанность Кобы к Баку возвышала не только Баку, но и весь Азербайджан и азербайджанский народ, и этим надо было воспользоваться. «Коба» по-грузински означало «отличный», и все дела, связанные с именем Кобы, должны были выполняться отлично, Ленин говорил о товарище Сталине «чудесный грузин» и был первым, кто назвал его «Стальным», то есть Сталиным, и это было точно: товарищ Сталин и был сталью, но не обыкновенной, простой, а отличной закаленной сталью.

До революции ненормальные интеллигенты меньшевики вели в Баку пропаганду, будто Коба — бандит, но такая пропаганда только еще больше прославила Кобу среди жителей Баку, потому что человек подчиняется силе. Ненормальные меньшевики не понимали, что когда они изображали Кобу бандитом, разбойником, они славили его, хвалили. Меньшевики никогда не могли приблизиться к народу, потому что не знали народ, не разбирались в психологии народа.

Лаврентий в книге «К вопросу об истории большевистских организаций Закавказья» хорошо осветил деятельность Кобы в Закавказье и особенно в Баку. Книга, в сущности, была докладом Лаврентия, произнесенным им в 1935 году на собрании актива Тбилисской партийной организации, за прошедшие три с половиной года ее переиздали сорок раз на пятнадцать языках. Лаврентий гордился изданиями и с удовольствием демонстрировал их гостям. Лаврентий стоял высоко, но умел радоваться как ребенок, как будто совсем малыш...

Книга и в Азербайджане была издана тиражом в 99 тысяч экземпляров — до сих пор невиданным, и Мир Джафар Багиров в своей только что опубликованной книге «Из истории большевистских организаций Баку и Азербайджана» высоко оценил произведения Берии: «Исключительная заслуга перед партией и страной принадлежит одному из верных учеников и соратников товарища Сталина — Лаврентию Павловичу Берии, который в своей замечательной работе «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье» с чрезвычайной силой и яркостью обрисовал революционную деятельность товарища Сталина в Закавказье, его роль как основоположника и вождя большевизма, вместе с Лениным создавшего боевую пролетарскую партию нового типа».

Но всего этого было мало. Надо было написать еще нагляднее, еще ярче, еще доходчивее и убедительнее, надо было пропагандировать бакинскую деятельность товарища Сталина и демонстрировать пропаганду другим, даже самому Лаврентию...

Народный комиссар внутренних дел Азербайджанской ССР действительно сидел в приемной Мир Джафара Багирова и не отводил глаз от стенных часов. Когда до девяти осталось три минуты, комиссар не выдержал: поднялся, поправил форму, пригладил волосы и встал у двери. Весь Азербайджан боялся комиссара. Но комиссар еще больше, чем весь народ его, боялся Мир Джафара Багирова, и каждый день у двери этого кабинета жуткий страх охватывал его, заставлял и трепетать, и мобилизоваться.

Комиссар знал Мир Джафара Багирова с начала двадцатых, с тех пор, как Мир Джафар Багиров возглавлял азербайджанских чекистов. Потом Мир Джафар Багиров стал начальником Главного политического управления Азербайджана, а комиссар остался рядовым в органах, но постепенно привлек внимание товарища Багирова, а также работавшего в начале двадцатых годов под руководством Багирова в Азербайджане Берии. За верную службу комиссара переводили с должности на должность, трудился он и на партийной работе, и наконец всего месяц назад по представлению Багирова и с согласия Берии он был назначен народным комиссаром внутренних дел Азербайджанской

ССР. Хорошо зная Мир Джафара Багирова, комиссар знал, конечно, и его бешеный характер, и каждый раз, собираясь на прием к первому секретарю, готовился к самым невообразимым вопросам, никак не высказывался по поводу самых нелепых приказов, просто-напросто аккуратно и старательно исполнял их. И теперь, в который раз проверяя по одной застегнутые пуговицы на кителе, готовил себя ко всему.

Новый начальник «Азнефти», новый главный инженер, новые заместители (прежние руководители «Азнефти» были разоблачены как враги народа и расстреляны), начальники трестов с папками в руках сидели в приемной и, наблюдая исподтишком, как подтягивался сам комиссар, еще больше пугались, твердили наизусть про себя цифры по той области, за которую отвечали.

Наступило ровно девять, сидевший за столом с множеством одинаковых черных телефонов секретарь-помощник движением головы показал, что можно войти, и комиссар, последний раз одернув китель, проверил папку под мышкой (будто она могла куда деться...), открыл дверь и сказал по-русски:

— Здравствуйте, Мир Джафар Аббасович. Можно?

Мир Джафар Багиров сидел на своем месте. Переплетя толстые пальцы, оперся на стол, и кучка карандашей была перед ним; он кивнул — это было и приветствие, и приглашение войти. Комиссар подошел к столу и остановился. Мир Джафар Багиров сказал:

— Садись.

Комиссар сел и раскрыл папку, но, не говоря ни слова, стал ждать, чем заинтересует Мир Джафар Багиров, с чего начнет.

Мир Джафар Багиров, отведя от комиссара покрасневшие от недосыпа и усталости глаза, снова посмотрел на портрет, висящий на противоположной стенке, свет люстры, падая на стекло, создавал на портрете блики, и в это время Мир Джафар Багиров, может быть, впервые в своей жизни вдруг подумал, что когда-нибудь товарищ Сталин умрет, и тогда, наверное, тело товарища Сталина, как тело Ленина, будет лежать в стеклянном саркофаге. Мир Джафар Багиров содрогнулся от этой мысли, и его здоровое сердце на мгновение, всего на мгновение, забило сильнее, на миг ему показалось, что комиссар прочитал неожиданно промелькнувшую у него в мозгу мысль... Мир Джафар Багиров посмотрел на комиссара и спросил:

— Холодно на улице?

Комиссар инстинктивно взглянул на бумаги в папке и только тогда понял, что вопрос Мир Джафара Багирова к бумагам этой папки отношения не имеет, и растерялся от этого простого вопроса: Мир Джафар Багиров всегда говорил только непосредственно о деле, мнение подчиненных ему людей о погоде никогда его не интересовало. Что ответить?... Но Мир Джафар Багиров не стал дожидаться ответа комиссара и сказал:

— Да, ты ведь тоже в машине перемещаешься... — Потом, показав на портрет, спросил: — Как портрет?

Комиссар, повернув голову, посмотрел на портрет товарища Сталина и невольно встал, но опять не знал, что ответить, и вообще не по-

нял, зачем задан вопрос, и очень забеспокоился. Мир Джафар Багиров не был человеком, задающим бессмысленные вопросы, живущим бессмысленными чувствами — комиссар это хорошо знал, но в то же время Мир Джафар Багиров в любую минуту мог задать самый неожиданный вопрос, и это комиссар тоже хорошо знал.

Правда, изредка бывали мгновения, когда комиссару казалось, будто Мир Джафар Багиров в самом далеком уголке своего сердца сентиментальный, мягкий человек, изо всех сил стремящийся скрыть от окружающих сентиментальность и мягкость и казаться жестоким, суровым. Но мгновения эти были слишком мимолетны, и комиссар понимал, что ошибся, что не было в этом человеке никакой сентиментальности или мягкости, а была, наоборот, одна жестокость и суровость, просто временами ему вдруг хотелось почему-то скрыть жестокость и суровость, тогда он показывал признаки мягкости и сентиментальности. Мозг Мир Джафара Багирова учитывал влияние на окружающих каждого своего слова и жеста, как мозг шахматиста, точно просчитывающего множество ходов. Разница в том, что шахматист просчитывал игру, когда сидел за шахматной доской, а Мир Джафар Багиров находился в игре непрерывно, на протяжении целых суток, то есть всю свою жизнь. Он был постоянным игроком.

Однажды в самый суровый зимний период в Азербайджане сложились такие условия, что было совершенно невозможно выполнить план республики по шерсти. И тогда на созванном в кабинете совещании — вот в этом самом кабинете — как кричал Мир Джафар Багиров, какое у него было выражение лица, как может быть, у самых первобытных людей, когда они выходили биться друг с другом не на жизнь, а на смерть, какая незабываемая ярость, какой страшный холод был в его глазах... После того совещания в самый разгар зимы по непосредственному указанию и под надзором Мир Джафара Багирова работники административных органов объезжали село за селом в занимающихся производством шерсти районах, стаскивали одеяла со спящих, выдергивали из-под них тюфяки, конфисковывали шерсть, грозя пистолетом, — и план республики по шерсти был выполнен. Нет, в сердце Мир Джафара Багирова не было места никакой тонкости, нежности, мягкости, жалости. Еще в 1922 году Кавказская краевая комиссия по чистке партийных рядов объявила М.Д. Багирову выговор за то, что он лично избивал политических заключенных, а ровно через пятнадцать лет после этого Мир Джафар Багиров сам лично застрелил министра просвещения республики Мамеда Джуварлинского и начальника управления кинофотопромышленности Гулама Султанова.

Бывая на приеме у первого секретаря, комиссар несколько раз становился свидетелем телефонных разговоров Мир Джафара Багирова с товарищем Сталиным. Разумеется, Мир Джафар Багиров разговаривал с товарищем Сталиным с большим почтением, но в то же время в их разговоре была какая-то интимность, какая-то близость. Мир Джафар Багиров был для товарища Сталина не просто руководящим партийным деятелем, но еще и человеком, чья личная преданность высоко ценилась. Мир Джафар Багиров иногда, под настроением, называл Маркаряна, работавшего сначала заместителем комиссара внут-

ренных дел Азербайджанской ССР, потом комиссаром, потом снова заместителем, «мой верный ценный пес» и от всех требовал такой же преданности, потому что Мир Джафар Багиров сам был полон именно такой преданности к товарищу Сталину.

Задолго до революции, в 1909 году, товарищ Сталин сидел, арестованный, в Баку, в Баиловской тюрьме, в камере номер 38. Говорили, что когда он видел, как политических заключенных ведут в железных кандалах, то кричал им: «Ничего, товарищи, ничего! Эти кандалы нам еще пригодятся!». Комиссар часто ощущал железный холод тех кандалов на своей шее...

В Баиловской тюрьме тогда было 1500 заключенных — убийцы, воры, пьяницы и еще привезенные со всего Закавказья и Средней Азии политические заключенные: большевики, правые эсеры, левые эсеры, меньшевики, демократы, националисты... Товарищ Сталин в Баиловской тюрьме горячо спорил с политическими заключенными, пропагандировал идеи большевизма, читал произведения Маркса и Ленина, изучал эсперанто, потому что верил в единый язык будущего...

В будущем — то есть в сегодня. А сегодня единым языком был не эсперанто, а разоблачения, аресты и казни, и боявшийся разоблачения, ареста, казни комиссар сам был одним из тех, кто ревностно внедрил в жизнь тот единый язык. Чем сильнее комиссар боялся, тем усерднее он разоблачал, арестовывал, казнил.

Баиловская тюрьма не походила на нынешние подвалы НКВД, там заключенные свободно расхаживали, вели политические дискуссии. Одно время и Орджоникидзе сидел в Баиловской тюрьме вместе с товарищем Сталиным и однажды из-за политических разногласий по знаку Кобы разбил кулаком губу эсеру Илнко Карзевадзе. Тогда товарищ Сталин сказал: «Против партийного противника все дозволено». Правда, потом эсеры, поймав Орджоникидзе в Баиловской тюрьме одного, избili его так, что он стал пахнуть керосином, но слова, сказанные тогда товарищем Сталиным в Баиловской тюрьме, сегодня стали основным лозунгом партии. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — такой лозунг был везде написан, но это были всего лишь слова. А вот лозунг «Против политических противников все средства хороши!» нигде не писали, но следовали ему. А партия — значит, товарищ Сталин. В Азербайджане партия — значит, Мир Джафар Багиров.

Комиссар был в постоянном напряжении, потому что понять товарища Сталина (партию!), выстроить его дела в логическую последовательность было трудно, и с самого начала, с самой молодости, товарищ Сталин был окружен тайной. Бакинские армяне до сих пор вспоминают, как в начале века, когда был арестован близкий друг товарища Сталина Степан Шаумян, его по просьбе бакинского миллионера Шибаева освободил сам губернатор, а Шибаева склонил к такой просьбе Коба. Как? Это знал только сам Коба и еще Шибаев, чьи уж и кости давно сгнили...

У Кобы, который в 1907 году сбежал в Баку из сибирской ссылки, были три опасных противника: полковник Мартынов, бакинский полицмейстер (старый знакомый — в прошлом начальник тифлиской полиции, именно он Кобу в первый раз сослал в Сибирь), меньшеви-

ки и еще бакинские кочи. Правда, с бакинскими кочи Коба быстро нашел общий язык и вместе с ними запугал меньшевиков. А полковник Мартынов через год нашел избушку на Балаханских нефтяных промыслах, где скрывался Коба, и в 1908 году отправил его в Вологду. Коба сбежал из Вологды и вернулся в Баку (теперь пусть кто-нибудь попробует сбежать из ссылки, посмотрю, как он это сделает!). Болван Мартынов! Коба тайком печатал революционные листовки в его типографии!..

Все это хорошо помнили старые бакинские большевики, сидевшие в Баиловской тюрьме за революционную деятельность, и теперь во время пыток рассказывали работникам органов, в том числе и самому комиссару, чтобы доказать, что они — не враги народа, но это старым бакинским большевикам не помогало, все были разоблачены как враги народа и все расстреляны.

Комиссар — русский человек — в юности был брадобреем на Баилове. Ну и что? На должность первого народного комиссара внутренних дел СССР товарищ Сталин назначил Ягоду, а Ягода в молодости был аптекарем. Кто был Ежов? Кто в двадцатые годы знал Николая Ивановича Ежова? Никто! Где-то кем-то в Казахстане работал.

Ягода оказался врагом...

Вот о чем думал комиссар, уставившись на портрет товарища Сталина. Комиссар, подумав об этом, слотнул. Еще недавно при одном звуке имени Генриха Григорьевича Ягоды любой человек невольно подтягивался, комиссар и сам, желая похвалить ядрового чекиста, бывало, говорил: «Настоящий ядровец!» Сколько Ягода разоблачил врагов народа, сколько замаскированных кулаков понесли заслуженную кару, сколько чуждых советскому обществу людей — сотни тысяч! — были лишены голоса! А потом выяснилось, что один из самых ярых врагов народа — как раз Ягода. На суде Вышинский обвинил Ягоду в медленном отравлении Николая Ивановича Ежова, и Ягода признался, его расстреляли, он исчез навсегда, и теперь будто и не было никогда человека по имени Ягода. Но комиссар хорошо знал цену признаний, сам нередко их добывал.

Вышинский на суде сказал: «Как мы видим, Ягода — не просто убийца. Это убийца с гарантией на неразоблачение. Его предположение, однако, и здесь не оправдалось. Гарантия оказалась гнилой, она провалилась. Ягода и его подлая преступная деятельность разоблачены, разоблачены не той предательской разведкой, которую организовал и которую направил против интересов Советского государства и нашей революции изменник Ягода, а разоблачены той настоящей, подлинно большевистской разведкой, которой руководит один из замечательнейших сталинских сподвижников — Николай Иванович Ежов».

До революции Вышинский был одним из самых болевых адвокатов в Баку. Какой веро он служил, неизвестно, но вот поди ж ты, меньшевик, а стал Прокурором СССР и самого Ягоду обвинял в страшных злодеяниях. Поэтому комиссар ожидал всего и сам вовсе не был уверен в своем завтрашнем дне. После Ягоды комиссару казалось, что Ежов вечен, но теперь выясняется, что и до конца Ежова немного осталось. Правда, Ежов пока избирался вместе с товарищем Сталиным

в почетный президиум. Среди пришедших на траурное собрание в Большой театр по случаю пятидесятилетия со дня кончины Ленина вместе с товарищем Сталиным и другими руководителями был и Ежов, но комиссар видел черные тучи над головой Ежова, всего полтора года назад указом Калинина получившего звание Главного комиссара государственной безопасности. Когда несколько месяцев назад Ежова назначили одновременно комиссаром водного транспорта, у комиссара сразу возникло подозрение. И в декабре прошлого года Ежов был освобожден от должности народного комиссара внутренних дел СССР, а на его место назначили Лаврентия Павловича Берия. Теперь Ежов был только комиссаром водного транспорта — вряд ли на свете могло быть что-нибудь смешнее этого. Все стало абсолютно ясно, время показало, что и Ежов не вечен. Генрих Ягода тоже после ухода с поста народного комиссара внутренних дел в 1936 году короткое время работал народным комиссаром связи (...).

Комиссар часто видел Николая Ивановича Ежова на различных собраниях, совещаниях, несколько раз был у него на приеме, но тот Ежов, которого комиссар увидел в декабре 1937 года, никогда не выходил у него из памяти. Бывало, когда заканчивался прием, Ежов поручал: «Передайте мой большевистский привет товарищу Багирову!» Ежов знал Багирова лично еще с тех пор, когда возглавлял отдел кадров в ЦК ВКП(б), и приветы, конечно, были знаком особого уважения Н.И. Ежова к М.Д. Багирову.

А на торжественном собрании в Москве, в Большом театре, по случаю 20-летия чекистов, Ежов вошел в зал вместе с товарищами Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым, Калининным, Андреевым, Микояном, Ждановым, Хрущевым, Булганиным, Димитровым, Хосе Диасом. Тогда еще не были разоблачены как враги народа Косиор с Чубарем, и они тоже были в президиуме. Комиссар, сидя в партере Большого театра, смотрел на сцену; в основном, конечно, на товарища Сталина, но частенько поглядывал и на Ежова. Маленький Ежов будто не умещался на сцене Большого театра: таким казался большим, чуть не с самого товарища Сталина... И, заметив это, комиссар подумал, что Ежову надо бы быть осторожнее. Но, как видно, Ежов уверовал в собственное бессмертие.

Докладчиком на том торжественном собрании был не Ежов, а Микоян. На Микояне была застегнутая до шеи «сталинка», абсолютно черная, как усы и волосы Микояна. Черное одеяние говорило о черных делах...

Почему доклад делал не Ежов? Ростом не вышел? Не был бы виден на трибуне Большого театра, поэтому? Или потому поручили Микояну делать доклад, чтобы он хвалил самого Ежова? В восхвалениях Микоян был, конечно, мастер, тут с ним никто не сравнится. На XVII съезде ВКП(б) — на «съезде победителей!» — Микоян ровно тридцать раз назвал имя товарища Сталина, и все с большой похвалой. Тридцать раз — а выступление было совсем коротким. Вот как всем пример показал!

Конечно, Николай Иванович Ежов хоть и был всемогущ, Иосифом Виссарионовичем Сталиным он все-таки не был. Дело другое, что и Ежовым в такое время быть немало...

Ежов, конечно, знал и биографию, и все дела Микояна. Достаточно было одного факта, чтобы не напрасно, а за дело расстрелять народного комиссара внешней торговли СССР Микояна как врага народа. Анастас Иванович создал подходящую обстановку и умело посредничал тому, чтобы Галуст Гюльбенкин, его старый знакомый, миллионер, захвативший в свои руки все иракские нефтяные компании, приобрел для своей частной коллекции из ленинградского Эрмитажа многие произведения Рубенса, Рембрандта, Бауца, Ватто, Герберха, Ланкрана. Правда, Галуст Гюльбенкин перевел валюту в Государственный банк СССР, где председательствовал Г. Пятаков. Но что та валюта в сравнении с истинной ценностью полотен? Ничто. А самое главное: полотна ведь навсегда увозились из СССР, значит, Микоян, в сущности, духовно грабил Россию.

Да, такой факт был, и комиссар о нем знал (Мир Джафар Багиров тоже это знал...), но комиссар хорошо знал и то, что Ежов не расстреливает за действительные преступления, Ежову не нужны факты, сегодня, чтобы расстреливать людей, нужна была ложь, а Анастас Микоян был одним из тех, кто умело создает разнообразие неправды и пользуется ими.

Скорее всего, и товарищ Сталин знал о связи Микояна с Гюльбенкиным, знал, что за валюту он передал своему земляку-миллионеру бесценные духовные богатства России, но для товарища Сталина куда важнее было иметь Микояна при себе всегда виноватым и использовать Микояна как хочется, чем хранить богатства России. Понимая это, комиссар как русский чувствовал внутренний протест, но ужас перед временем в тот же миг без труда подавлял и внутренний бунт, и национальную пристраичность...

Анастас Иванович Микоян тогда в Большом театре сказал: «Наркомвнудел поступил с врагами народа так, как этому учит товарищ Сталин, ибо во главе наших карательных органов стоит сталинский нарком товарищ Ежов. Товарищ Ежов создал в НКВД замечательный костяк чекистов, советских разведчиков. Он сумел проявить заботу к основному костяку работников НКВД, по-большевистски воспитывать в духе Дзержинского, в духе нашей партии, чтобы еще выше поднять всю армию чекистов. Он научил и пламенной любви к социализму, к нашему народу, и ненависти ко всем врагам. Поэтому сегодня весь НКВД, и в первую очередь товарищ Ежов, являются любимцами советского народа».

«Любимец Ежов» был теперь комиссаром водного транспорта... Пока... На месяц или только до завтра? А может быть, участь Главного комиссара государственной безопасности решается как раз сегодня ночью?

Яков Христофорович Петерса — во времена Дзержинского он был председателем Чрезвычайной комиссии — в прошлом году расстреляли как врага народа. Загадочной была и смерть самого Дзержинского. И комиссар иногда думал об этом, не мог не думать. До Ягоды начальником Объединенного государственного политического управления был В.Р. Менжинский — и его смерть была тайной от начала до конца. И Ягоду расстреляли, и Ежов, как видно, стоял на самом краю пропастей...

ти, на дне которой — тьма, пальцем толкнуть, так и следа не останется. А теперь Берия пришел...

В начале декабря прошлого года в связи с четырехлетием предательского убийства С.М. Кирова был созван специальный пленум Бакинского комитета КП Азербайджана, и Мир Джафар Багиров в своем докладе на этом пленуме снова разоблачил врагов народа — Р. Ахундова, С. Эфендиева, А. Караева, даже скончавшегося в 1925 году, похороненного на Красной площади, рядом с мавзолеем, Наримана Нариманова — и вдруг, на первый взгляд без всякой связи, сказал: «Особая роль в разоблачении групповщины и атаманищины в Закавказье, так же как в разгроме основных гнезд всех троцкистско-бухаринских, буржуазно-националистических банкетов, принадлежит верному сталинцу Лаврентию Павловичу Берии, в течение ряда лет руководящему закавказскими партийными организациями».

Мир Джафар Багиров не был человеком, который иногда может сказать и кое-что несущественное, и комиссар тогда понял, что с Берией произойдет что-то важное, и действительно, через четыре дня Берия был назначен народным комиссаром внутренних дел СССР.

А как сам Берия? Он-то вечен? Сейчас все, и в том числе Мир Джафар Багиров, хвалили Берию, ну и что? Разве Ежова не хвалили все, в том числе и Мир Джафар Багиров? В прошлом году был учрежден Верховный Совет Азербайджанской ССР, так когда назывались кандидаты в первые депутаты, больше всех после товарища Сталина хвалили Ежова, газеты так воспевали Ежова, что даже Молотов, Каганович, Микоян, Ворошилов, наверное, завидовали. Нет, вечным был только один человек — товарищ Сталин, а в Азербайджане вечным был только Мир Джафар Багиров.

Товарищ Сталин, наверное, не возьмет Мир Джафара Багирова в Москву, на более высокую должность, как Берию. Мир Джафар Багиров был простым членом ЦК ВКП(б), но этот простой член ЦК одновременно был хозяином Азербайджана (партийные и советские работники между собой так и звали Мир Джафара Багирова — хозяин!).

Азербайджан граничил с Ираном и Турцией. В Южном Азербайджане, в составе Ирана, осталось втрое больше азербайджанцев, чем в Советском Азербайджане, и потому руководителем в республике должен был быть самый доверенный человек товарища Сталина. А главное, большая часть деятельности и товарища Сталина, и Берии была связана с Азербайджаном, многие в Баку знали товарища Сталина и Берию (правда, большинство знавших в 37–38-х годах в результате личного руководства и деятельности Мир Джафара Багирова были разоблачены, всех как врагов народа расстреляли, но оставались архивы, оставались показания, и для борьбы с этими фактами на бумаге тоже нужен был самый доверенный человек в Азербайджане).

Комиссар хорошо знал о судьбе документов, утерянных их архивов. Через несколько дней после назначения народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берия сделал В.Н. Меркулова своим первым заместителем. И вскоре Меркулов приехал в Баку как личный гость Мир Джафара Багирова. А когда гостеванье закончилось, он увез с собой в Москву множество папок с документами, которые отобрал в архивах Баку.

Что было в тех документах о товарище Сталине, о Берии? Этого, наверное, больше никто никогда не узнает...

Наконец, Бакинская парторганизация была одной из самых авторитетных парторганизаций СССР, бакинский пролетариат считался после ленинградского самым революционным, значит, и поэтому руководителем здесь должен быть самый надежный в партии человек. В такую горячую пору истории бакинский пролетариат не должен был взрастить второго такого же лидера, как С. М. Киров (бакинский пролетариат, конечно, сыграл большую роль в становлении Кирова), приближающегося по своему авторитету в стране к самому товарищу Сталину. Мир Джафар Багиров был первым секретарем ЦК КП(б) Азербайджана и одновременно первым секретарем Бакинского партийного комитета. Но Мир Джафар Багиров был товарищу Сталину никакой не соперник, да, наверное, он и сам никогда не стремился работать в Москве: в Москве он был бы только исполнителем, а в Азербайджане он был не только исполнителем воли товарища Сталина, но и абсолютным властителем (хозяином!)...

Весь Азербайджан после 37–38-х годов был в руках у Мир Джафара Багирова, он сколько хотел мог сжимать (и сжимал!) в кулаке эту власть. Такое право дал ему товарищ Сталин. Конечно, и сам Мир Джафар Багиров, как все высокопоставленные партийные и государственные деятели после 37–38-х годов, был в кулаке у товарища Сталина, но, как ни странно, и сам товарищ Сталин нуждался в Мир Джафаре Багирове: весь Азербайджан боялся Мир Джафара Багирова, и из-за этого страха все были вынуждены особенно крепко и беззаветно любить товарища Сталина; азербайджанские поэты соперничали в восхвалении товарища Сталина, чтобы привлечь внимание Мир Джафара Багирова, заслужить его похвалу, получить орден, быть избранными в депутаты. Они готовы были на все, лишь бы Мир Джафар Багиров был ими доволен, потому что у них перед глазами была судьба разоблаченных как врагов народа Гусейна Джавида, Миканла Мушфика. Во всей истории Азербайджана придворные поэты никогда не восхваляли так шахов и правителей, как азербайджанские советские поэты восхваляли товарища Сталина, а на картинах и в фотомонтажах товарищ Сталин уподоблялся солнцу, и Азербайджан, воздев руки к этому солнцу, шагал вперед к светлomu будущему.

Хотя в юности комиссар и был брандобреем, по природе своей он был неглуп, много знал — и понимал, что много знает, и о судьбах знающих много и часто раздумывал, тщательно примеряя их на себя: комиссару было известно, что и Мир Джафар Багиров отличню знает, как много знает он, комиссар, и Мир Джафар Багиров не из тех, кто не имел бы это в виду, вдруг забыл бы об этом.

Да, вечным был только товарищ Сталин, а здесь — Мир Джафар Багиров. Если Азербайджан был воздухом, наполнивший огромный сосуд, то Мир Джафар Багиров — пробка, которой товарищ Сталин затыкал этот сосуд, пробка, залитая сургучом. Пробка была вечной, потому что не было никакого резона, никакой надобности у товарища Сталина когда-нибудь вытаскивать пробку из сосуда; и потом, та пробка сидела в горлышке сосуда так плотно, что, если ее выгнать, воздух выр-

вется наружу, а это никому не нужно, и в первую очередь самому товарищу Сталину.

Товарищ Сталин при надобности использовал Мир Джафара Багирова и во всеоюзном масштабе, и, зная близость Мир Джафара Багирова с товарищем Сталиным, а одновременно и его особую близость с Берией, союзные комиссары и даже члены Политбюро побаивались Мир Джафара Багирова.

Всего полтора года назад тогдашний народный комиссар юстиции СССР Николай Васильевич Крыленко был авторитетным человеком, все знали, что он близкий соратник Ленина, крупный теоретик в области советской юстиции, но на первой сессии Верховного Совета СССР Мир Джафар Багиров так напал на Крыленко, что все окончилось для комиссара юстиции очень плохо.

В своем выступлении на сессии Мир Джафар Багиров сказал: «Кадры решают все», — говорил товарищ Сталин. Умелый подбор, вырабатывание, выдвижение и подготовка кадров, повышение их квалификации — все это прямая обязанность Народного комиссариата юстиции. Этими вопросами тов. Крыленко не занимается. Вопросами Наркомюста тов. Крыленко занимается между прочим. Руководство Наркомюста требует большой инициативы и серьезного отношения к себе. Если раньше тов. Крыленко большую часть своего времени уделял туризму и альпинизму, то теперь отдает свое время шахматной игре. Я большой сторонник максимального развития всех видов спорта в нашей стране, в том числе и туризма, и альпинизма, и шахмат. Но я никак не могу согласиться с мелейшим ослаблением руководства и работы такого важнейшего комиссариата, как Народный комиссариат юстиции, и с таким несерьезным отношением тов. Крыленко к работе возглавляемого им наркомата. Нам нужно все же узнать, с кем мы имеем дело в лице тов. Крыленко — с альпинистом или с наркомом юстиции? Не знаю, кем больше считает себя тов. Крыленко, но наркомюст он, бесспорно, плохой. Я уверен, что товарищ Молотов учтет это при представлении нового состава Совета Народных Комиссаров Верховному Совету».

Молотов не только учел это, но и в своем выступлении особо селался на Мир Джафара Багирова. Даже насмешил первых депутатов Верховного Совета СССР стилем Мир Джафара Багирова: «Нельзя не признать речь тов. Багирова вполне объективной. Он указал в отношении тов. Крыленко, наркомюста юстиции, не только на недостатки, но и на положительные стороны, когда он говорил насчет альпинизма, туризма и шахматного дела».

Прошел очень краткий срок после сессии, и по прямому приказу Ежова любителя шахмат Крыленко арестовали. Обвинили бывшего комиссара юстиции в том, что вместе с Бухаринным, Пятаковым и Прображенским он готовил покушение на Советское правительство, на товарища Сталина лично. Бедняга признался во всем, суд длился всего 20 минут. Крыленко расстреляли.

Комиссар хорошо знал и то, что Мир Джафар Багиров сыграл исключительно роль в разоблачении врагов народа Рудзутака, Косиора, Эйхе, Постышева... Арестованные в Баку по приказу Мир Джафара

Багирова враги народа в своих показаниях заявили, что действовали совместно с этими людьми в террористических целях. Комиссар сам по приказу Мир Джафара Багирова добывал эти показания.

У комиссара перед глазами были и судьбы тех, кто признавал Багирова, не желал признавать, тех, кто пытался смотреть на Багирова сверху вниз. Маршал Егоров... Ног, помнится, под собой не чуял, думал, что если он маршал Советского Союза, то с Багировым можно столкнуться лбами... Александр Ильич Егоров еще со времен руководства Кавказской Красной Армией в 1923 году не ладил с Мир Джафаром Багировым, а впоследствии их отношения превратились в открытую вражду. Чем это кончилось? В прошлом году при непосредственном участии Мир Джафара Багирова командира Закавказского военного округа А.И. Егорова разоблачили как врага народа и расстреляли.

Теперь, куда ни взгляни, везде портреты Орджоникидзе. Все хранят добрую память о безвременно (сердце...) ушедшем из жизни Орджоникидзе — ближайшем соратнике товарища Сталина, стойком большевике. Но комиссар хорошо знал и то, что у разоблачаемых в 35-м — начале 36-го годов в Азербайджане врагов народа по приказу Мир Джафара Багирова брали показания против Орджоникидзе. В этих показаниях говорилось, что действующими в Азербайджане контрреволюционерами — «азербайджанской контрреволюционной буржуазно-националистической организацией», «азербайджанским контрреволюционным националистическим центром» — руководит центр из Москвы, а возглавляет центр Орджоникидзе... Мир Джафар Багиров посылал секретные письма, написанные на основании этих показаний, прямо товарищу Сталину.

...Комиссар все еще стоял и смотрел на портрет товарища Сталина. Мир Джафар Багиров, глядя на побледневшее лицо комиссара, улыбнулся и сказал:

— Хороший портрет...

Комиссар слотнул и сказал:

— Да, Мир Джафар Аббасович! Хороший портрет!

— Садись!

Комиссар сел, так и не прогнав от себя тревожные мысли. Один из близких соратников Мир Джафара Багирова в разоблачении и ликвидации в Азербайджане десятков тысяч врагов народа — от поэта Гусейна Джавида до профессора Чобанзаде, до сотен работников об руку с Мир Джафаром Багировым партийных и государственных деятелей, до сотен врагов, еще до революции затесавшихся в ряды партии, — этот человек все еще размышлял над смыслом вопроса о портрете товарища Сталина. А с другой стороны — вопрос о погоде. Разговор о езде на машине...

Комиссар знал, что для Мир Джафара Багирова нет ничего проще, чем заставить кого-то из подследственных, уже признавшихся, что они враги народа, уличить, разоблачить как врага народа самого комиссара — ничего нет проще, все равно что выпить стакан воды. Мир Джафар Багиров запросто отдавал приказ арестовать человека, с которым еще вечером ел пшти, за чье здоровье поднимал рюмку, с кем строил блестящие планы на будущее. Все происходило, например, вечером,

а ночью Мир Джафар Багиров приказывал арестовать этого человека — комиссар неоднократно был тому свидетелем и соучастником. Правда, комиссара знал лично Берия, сам Берия доверял ему, но что их знакомство и доверие перед дружбой Мир Джафара Багирова и Берии? Ничто. Комиссар все прекрасно понимал.

Комиссар знал (и то, что он так много знал и понимал, приводило его в ужас!), что еще до установления советской власти в Азербайджане Берия служил в Баку в контрразведывательном сыском управлении Азербайджанской демократической республики — мусаватистского правительства и, наверно, поступил на эту работу по секретному заданию партии. В общем, об этом не только говорить, даже думать было нельзя. Это была тайна, и она уже никогда не откроется, ведь Меркулов увез в Москву все документы, что хранились в одном из подвалов... Документы были связаны с периодом мусавата. Комиссар бывал в том подвале и, когда уехал Меркулов, стал особенно бояться именно этих воспоминаний. Если они вдруг всплывали, он всем духом и плотью ощущал могильную сырость того подвала.

Дружба Берии с Мир Джафаром Багировым началась в конце десятых годов, а в феврале 1921 года Багиров был назначен председателем Азербайджанской чрезвычайной комиссии и сразу взял к себе Лаврушу, сначала начальником тайной оперативной части Азербайджанской чрезвычайной комиссии, а потом своим заместителем. Под руководством Багирова Берия сумел проявить себя в борьбе против врагов советской власти. По настоянию Багирова и с его характеристикой он прошел в Грузинскую чрезвычайную комиссию. А когда в 1927 году (разоблаченные ныне как враги народа) руководители Азербайджана хотели отдалить товарища Мир Джафара Багирова от административных органов, порекомендовали его в начальники Закавказского управления водного хозяйства, тогда пришла очередь Берии доказать свою дружбу, с помощью Берии Мир Джафар Багиров через два года вернулся на свою прежнюю должность. А через год Мир Джафар Багиров поехал в Москву на курсы марксизма-ленинизма, потом начал работать в ЦК ВКП(б). К тому времени Л.П. Берия стал первым секретарем Закавказского краевого комитета ВКП(б). Он свел товарища Сталина с Багировым. И в конце 1933 года Мир Джафар Багиров был избран первым секретарем ЦК КП(б) Азербайджана и Бакинского комитета, и самым смешным здесь было, конечно, слово «избран»...

Все произошло на глазах комиссара. Причем комиссар был не наблюдателем, а участником событий. Товарищ Багиров большинство своих личных врагов, противных ему людей отправил на тот свет руками комиссара. Все время он верно служил товарищу Багирову, понимал товарища Багирова с полуслова. Потому-то и был назначен народным комиссаром внутренних дел Азербайджана.

Тот свет был прекрасным миром, адские муки были на этом...

В самых дальних уголках сердца комиссара, в глубинах, куда он и сам боялся заглянуть, было столь же глубоко, как сама глубина, сожаление: когда в Азербайджане устанавливалась советская власть, надо было примкнуть к умным и сбегать, оказаться вдали от этого ада... Теперь бы в какой-нибудь прекрасной стране (во Франции или в Герма-

нии? — нет, в Германии нет, потому что в Германии тоже был Гитлер, там тоже была сплошная политика, был страх; может быть, в Швейцарии, в Швеции, на далеком и столь же счастливым, сколь и далеком острове Исландии...) — где-нибудь в Европе у него был бы парикмахерский салон, а может, даже и не парикмахерский салон, а ресторан... Среди ночи не обдывался бы от страха, что сейчас придут люди Багирова, заберут его и его голос сольется с сотнями голосов тех арестантов, которые визжат от пыток, как собаки... Без всякого страха, в полутьме небольшого рестораничка, в уголке, он сидел бы и наблюдал за своими клиентами, и тихонько играла бы легкая, беззаботная, интимная (!) музыка.

Когда Мир Джафара Багирова назначили начальником Закавказского управления водного хозяйства, глава бывшей Азербайджанской демократической республики и лидер партии мусавата эмигрант Мамед Эмин Расулзаде писал в турецкой печати: «Палача азербайджанского народа Багирова поставили главой водного хозяйства, полагаю, что воды закавказских рек помогут ему вымыть начисто руки, обгаренные кровью сынов Азербайджана...»

Эти слова Мамеда Эмина Расулзаде Мир Джафар Багиров сам несколько раз приводил в пример — порой с гневом, а порой смеясь, и его смех обжигал как мороз.

Мамед Эмин Расулзаде написал эти слова лет десять назад, задолго и до 37-го, и до 38-го, а теперь начался 39-й год...

Интересно, что теперь пишет Мамед Эмин? Ему-то почему не писать: ни опасностей, ни страхов — по ту сторону кордона... Ни за жену не боится, ни за мать, ни за сестру... За детей не беспокоится...

Хорошо сидеть по ту сторону кордона и, попивая вино, ругать Багирова (даже товарища Сталина...) легко, но поди-ка сам поварись в этом котле, тогда посмотрим, как ты будешь...

В общем...

Мир Джафар Багиров иногда на торжествах пил коньяк, чуть-чуть пьянел и вдруг вспоминал Берию. «Где мой Лаврентий?» — спрашивал он и звонил Берии домой, сначала в Тифлис, а теперь в Москву, и по телефону поднимал бокал за его здоровье.

Комиссар знал, что Берия, став народным комиссаром внутренних дел СССР, чуть не в тот же день дал Мир Джафору Багирову большую семикомнатную квартиру в Москве, на Кропоткинской улице — весь последний этаж здания, где жили чекисты: пусть, когда приезжает в Москву, живет не в гостинице, не в гостевом доме ЦК, а в своей собственной квартире. Во всяком случае, среди чекистов ходил такой слух. В результате многолетней практики уши комиссара превратились в нечто вроде антенн самого коротковолнового приемника: тотчас улавливали малейшие слухи.

Конечно, Мир Джафар Багиров с Лаврентием Павловичем Берией были друзьями, причем у них была не фальшивая дружба, не дружба ради политики, а истинная дружба, настоящая. Правда, они были такие люди, по воле судьбы стояли на такой высокой ступени, что их отношения, их взаимоподдержка, опора друг на друга не могли быть результатом одной дружбы, даже и истинной. Был еще один оттенок в их

отношениях, комиссар ясно чувствовал и его: в сущности, Берия боится Багирова и, если бы даже захотел, не смог бы Багирова уничтожить, потому что Багиров был в руках товарища Сталина картой против самого Берии. Багиров знал о Берии многое, и товарищ Сталин знал, что Багиров знает о Берии слишком много...

Ясное дело, Мир Джафар Багиров не был для товарища Сталина так близок, как Молотов, Микоян, Ворошилов, Каганович, Калинин, Андреев, Жданов (я теперь и Берия!). Но Мир Джафар Багиров был его любимцем, человеком, высоко ценным, тут можно было не сомневаться. Каждый раз, бывая в Москве, комиссар становился свидетелем особого уважения к Мир Джафару Багирову в Народном комиссариате внутренних дел СССР, даже самого комиссара уважали особо, как близкого Багирову человека, порой даже подхалимничали перед комиссаром... Конечно, из-за товарища Сталина, вернее, из-за отношения товарища Сталина к Мир Джафару Багирову...

Да, вот такие дела... Мир Джафар Багиров как заботливый садовник возраста, обработав Берия — Лаврентия Павловича Берия, с большим и маленьких портретов смотревшего глазами в пенсне на весь Советский Союз, с портретов, развешанных на стенах управлений, контор, школ, институтов, предприятий, рядом с портретами товарища Сталина. Мир Джафар Багиров сам возрастил Берия, чье имя упоминалось в ряду ближайших соратников и учеников товарища Сталина, — и что-бы в будущем он развивался и рос еще быстрее, еще увереннее, чтобы разрастался ветками вширь, садовник сдал его могучему (и толковому!) агроному — товарищу Сталину...

Мир Джафар Багиров взял со стола карандаши, стал прохаживаться по комнате, и это усилило тревогу комиссара: Мир Джафар Багиров обычно прохаживался, когда нервничал, он ведь иногда вставал даже из-за стола президиума, как товарищ Сталин, вставал и прохаживался. Мир Джафар Багиров остановился у окна кабинета, покатав карандаши, и под шорох карандашей комиссар с еще большим беспокойством исподтишка взглянул на портрет товарища Сталина, потом на повернувшегося к нему спиной Мир Джафара Багирова. Мир Джафар Багиров в минуту мог забыть о верности, выказываемой комиссаром долгие годы, обо всех услугах. Тогда конец. Комиссар превратился бы в одного из тысяч подследственных врагов народа, хотя бы как Осташко.

Осташко — бывший секретарь Бакинского комитета партии. Мир Джафар Багиров близко знал его, они виделись чуть ли не ежедневно. Осташко разоблачили как врага народа, и он должен был дать показания против Рудзутака, Постышева и Косиора, подписаться, что был с ними заодно, участвовал в подготовке террористических планов против товарища Сталина. Мир Джафар Багиров поручил дело лично Сумбатову-Топуридце, и комиссар знал, что каждое дело, которое Мир Джафар Багиров поручал Сумбатову-Топуридце — самому доверенному и умелому человеку в руководстве органов Азербайджана, не раз оказывавшему разные услуги Багирову, близкому другу Берии, — каждое из порученных ему дел имело особое значение, а показания должны были направляться в Москву.

Ювелиан Давидович Сумбатов-Топуридце в 1937 году был народным комиссаром внутренних дел Азербайджана. Он так чисто выбривал голову бритвой, что казалось, на его круглой, как арбуз, голове волосы вовсе никогда не росли... Начиная с 1920 года, с установления советской власти в Азербайджане, он работал подручным Мир Джафара Багирова. Сумбатов-Топуридце, как и прокурор Вышинский, был старым меньшевиком. Когда в 1927 году по настоянию тогдашнего секретаря ЦК КП(б) Азербайджана Алигейдара Караева (теперь разоблаченного как врага народа и расстрелянного) Мир Джафар Багиров был снят с поста председателя Чрезвычайной комиссии Азербайджана и назначен начальником Закавказского управления водного хозяйства, Сумбатов-Топуридце тоже отстранили от работы в органах. Но в 1929 году Мир Джафар Багиров опять был назначен председателем Главного политического управления Азербайджана — и Сумбатов-Топуридце сразу же вернулись в органы.

Один из первых депутатов Верховного Совета СССР, бритоголовый лично допрашивал Осташко, и наконец показания были подписаны. Но через день Осташко отказался от подписанных показаний и заявил, что, когда подписывал, был не в себе. А Осташко был русский, был руководящим партийным работником, и потому его показания имели особое значение.

Когда Мир Джафар Багиров и комиссар (тогда он еще не был комиссаром) в двенадцать часов ночи вошли в кабинет Сумбатова-Топуридце, Осташко был там. Комиссар сначала не узнал Осташко. В свое время они часто встречались, вместе принимали праздничные демонстрации труженников Баку. Но за двадцать три дня Осташко так изменился, что узнать его было невозможно: лицо распухло, в синяках, разбитые губы открыты, руки и ноги дрожат.

Увидев Мир Джафара Багирова, Осташко бросился на пол перед ним, заговорил хрипло: «Как хорошо, что вы пришли... Как хорошо, что вы пришли... Товарищ Багиров! Товарищ Багиров!.. Вы ничего не знаете о кошмарах в НКВД. Это ужас!.. Вы не можете себе даже представить, товарищ Багиров! Как хорошо, что вы пришли... У меня вымогает признание в контрреволюционных преступлениях. Вы же знаете меня! Какой же я контрреволюционер? Как хорошо, что вы пришли! Тут фабрикуют дела на руководителей партии, правительства, на соратников товарища Сталина! Помогите. Помогите, товарищ Багиров. Разве это наша советская контрразведка?..» По лицу Мир Джафара Багирова скользнула улыбка, от которой комиссар содрогнулся, и Мир Джафар Багиров пинком отбросил от себя Осташко, с открытым недобольством посмотрел на Сумбатова-Топуридце. Двое чекистов, схватив Осташко за руки, волоком потащили в соседнюю комнату, и оттуда какое-то время доносился животный рев Осташко. Наутро Сумбатов-Топуридце положил на стол Мир Джафара Багирова заново подписанные показания, и Осташко больше от них не отказывался.

Такой знаменитый до вчерашнего времени вожак, даже вождем советского комсомола, как Александр Косарев — все смотрели на него как на наследника товарища Сталина, — в одном из докладов 1937 года, проявляя усердие, говорил: «Ряд наших товарищей... Некоторые наши

товарищи ищут троцкистов — врагов народа в любых организациях, но только не у себя, не в комсомоле, и в силу того недостаточно остро ведут борьбу с врагами и недостаточно активно очищают ряды комсомольского актива от троцкистских и иных контрреволюционных элементов». Но не прошло и года после этих его слов, и при помощи и с непосредственным участием Мир Джафара Багирова самого Косарева арестовали, разоблачили как врага народа и расстреляли.

Мир Джафар Багиров был правителем Азербайджана, но у него были длинные руки, при надобности доставали и до Москвы, и для него, в сущности, не было других авторитетов, кроме товарища Сталина. И еще Берин.

И теперь, в этот зимний вечер, сидящий перед Мир Джафаром Багировым комиссар абсолютно не сомневался, что первый секретарь с посевшими висками, с сединой и в узких, но густых усиках может обрушиться на него точно такой же пинок, какой он дал Осташко.

Мир Джафар Багиров возвратился за свой стол:

— Так. Что нового?

Комиссар откровенно дрожавшими от волнения пальцами вытаскивал из папки самый последний лист. Информация касалась самого Мир Джафара Багирова непосредственно, и комиссар оставлял эти сведения на самый конец. Разоблаченные в 37–38-м годах как враги народа и расстрелянные Рухулла Ахундов, Алигейдар Караев, Газанфар Мусабеков, Дадаш Буниятзаде, Самед Агамалиоглы, Султан Меджид Эфендиев, Айна Султанова, Гусейн Рахманов, Гамид Султанов, Мамед Джуварлы и другие бывшие партийные, государственные руководители в начальную пору следствия высказывали клевету о Мир Джафаре Багирове. Клевета о Мир Джафаре Багирове высказывалась впервые (без свидетелей высказывалась!). Потом, конечно, враги народа принимали на себя всю вину, признавались, что занимались террором против Советского государства и сознательно возводили напраслину на испытанного руководителя азербайджанских большевиков товарища Мир Джафара Багирова. Комиссар своими глазами видел, во что превращались от побоев во время следствия эти авторитетные люди, которым еще недавно народ аплодировал стоя (теперь народ аплодировал стоя Мир Джафара Багирову!). Председатель Закавказского Совета Народных Комиссаров Газанфар Мусабеков, например, при любом звуке забивался в камеру под железную кровать, и вытаскивать его оттуда на очередной допрос было прямо невозможно... Комиссар знал, что в свое время семьи Газанфара Мусабекова и Мир Джафара Багирова жили в Кубе по соседству и мать Газанфара вместе со своим малышом Газанфаром кормила грудью и Мир Джафара. Мир Джафар Багиров велел арестовать и расстрелять не только Газанфара Мусабекова, но и сестру Газанфара, народного комиссара юстиции Азербайджанской ССР Айну Султанову, и мужа Айны, возглавлявшего различные комиссариаты в республике, Гамида Султанова (все они были членами партии с дореволюционных лет), и наконец, свою молочную мать — мать Газанфара — он велел арестовать и посадить в Баилловскую тюрьму. Избитая, с окровавленным лицом старая женщина в Баилловской тюрьме кричала: «Ай Аллах, да не пойдет Мир Джафару впрок мое

молоко, лиши его божьего света». Это было доложено комиссару. А Айна Султанова, когда ее расстреливали, сказала: «Умираю с именем Сталина...»

А Султана Меджида Эфендиева — председателя Центрального Исполнительного Комитета Азербайджана, одного из председателей Центрального Исполнительного Комитета ЗСФСР, заместителя «всесоюзного старосты» М. Калинина — допрашивал Борщев, один из ближайших соратников и доверенных людей Мир Джафара Багирова, и еще следователь Мусатов по прозвищу «боксер». После каждого удара «боксер» с удовольствием спрашивал: «Ну, «президент», признаешься в терроризме или нет?»

Наивный Султан Меджид... Он думал, что сможет вырваться из рук Багирова с помощью товарища Сталина... С товарищем Сталиным он был знаком с 1907 года, они вместе вели в Баку тайную деятельность, впоследствии — после установления советской власти — Султан Меджид был в Москве заместителем председателя Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока, и опять они работали вместе с товарищем Сталиным. Как только Мир Джафар Багиров начал допрашивать Султана Меджида, тот, простодушный старик, написал письмо товарищу Сталину и Калинин, переправил их в Москву с женой — Зивер-ханум, письма попали к адресатам, Зивер-ханум встретила и поговорила с их старой знакомой Н. Крупской, Н. Крупская специально пошла к товарищу Сталину. В результате Султана Меджида расстреляли как буржуазного националиста и террориста, и все дела... Наивный старик. На Калинин надеялся... Калинин о себе беспокоился, подхалимничал перед товарищем Сталиным при малейшей возможности и даже совсем без нее. А Мир Джафар Багиров под хорошее настроение называл Калининна «козлиная борода».

37–38-е годы прошли, таких известных и авторитетных людей, как Газанфар Мусабеков или Султан Меджид Эфендиев, не осталось. Все они понесли кару, все были истреблены, а семьи отправлены в ссылку. Теперь в показаниях арестованных невозможно было встретить имя Мир Джафара Багирова. А если оно встречалось, значит, заключенные произносили это имя с почтением, просили донести до товарища Мир Джафара Багирова, что возбужденное против них уголовное дело необоснованно. Но сегодняшняя информация была несколько иной...

Комиссар, глядя на бумагу в руке, глотнул воздуха и сказал:

— Сегодня один человек арестован как враг народа...

Мир Джафар Багиров внимательно посмотрел на комиссара сквозь круглые стекла очков и искренне удивился: мол, что тут такого. Ну, кто-то арестован как враг народа, дальше...

Комиссар почувствовал неловкость и не смог правильно построить фразу:

— С вами... вас...

Мир Джафар Багиров неожиданно улыбнулся:

— Что, ругал меня? — спросил он.

Комиссар сказал торопливо:

— Нет, нет... Отказался выпить за ваше здоровье...

Мир Джафар Багиров, так же улыбаясь, покатав карандаши:

— Кто он?

Комиссар, не отрывая глаз от бумаги, сказал:

— Учитель. Хосров Алекперли.

— Откуда он?

— Из Гадрута, сейчас живет в Баку...

— Из Гадрута?

— Да.

— И теперь целы враги, разносившие чуму в Гадруте...

Мир Джафар Багиров стал прохаживаться по кабинету, и на лице его не осталось следа недавней улыбки.

— Где и когда это случилось?

— Вчера вечером. На дне рождения дочери директора школы.

— Кто сообщил?

— Сам директор школы позвонил в райком партии и сообщил.

На этот раз стук карандашей прозвучал особенно громко, и комиссар, все еще не избившийся от тревоги за себя, молчал, ожидая очередного вопроса Мир Джафара Багирова.

— Он кто?

— Директор школы, Мир Джафар Аббасович? Фамилия его Бабазаде.

Мир Джафар Багиров остановился:

— Что?

— Его фамилия Бабазаде, Мир Джафар Аббасович. — Комиссар отвел глаза от бумаги, посмотрел на Мир Джафара Багирова и понял, что товарищ Багиров знает этого человека.

Мир Джафар Багиров спросил:

— Алескер Бабазаде?

— Да, Мир Джафар Аббасович. Около двадцати лет работает директором школы... — Комиссар счел необходимым отметить и то, что директор школы — земляк Мир Джафара Багирова (перед тем как войти в этот кабинет, он выяснял все о людях, которых собирался назвать): — Он родом из Кубы. Товарищи очень хорошо его характеризуют.

Удивительное дело, это далеко не первый случай, когда кто-то вдруг неожиданно после долгих лет вспоминался Мир Джафари Багирову, а вечером или ночью вот так же внезапно всплывшее в памяти имя высканивало из таких вот папок, из бумаг.

Ему опять вспомнилась далекая пора детства. Вспомнилась радость от книжки про Гулливера, не стершаяся, не изжитая за прошедшие годы, но к радости примешивалось и какое-то сожаление, и ребенок, плачущий от злости во дворе, забившийся в угол яблоневого сада, встал перед глазами Мир Джафара Багирова... Так бывало у Мир Джафара Багирова при воспоминании о детских годах: внутри вдруг разливалась тоска, и с течением лет эта тоска все усиливалась. Прекрасная, беззаботная детская пора больше не возвратится, она навек осталась в прошлом.

Мир Джафар Багиров холодным тоном, который всегда бросал комиссара в дрожь, спросил:

— Что это за директор школы, который собирает к себе в дом террористов?

Комиссар тотчас ответил:

— Правильно, Мир Джафар Аббасович. — Как будто речь шла не о человеке, которого он только что хвалил.

Комиссару все было ясно: директор школы должен быть расстрелян как террорист. Дело в том, что по закону от 1 декабря 1934 года обвиняемые в терроризме тут же расстреливались, защищаться или обращаться с просьбой о помиловании они не имели права. Один из ближайших соратников Мир Джафара Багирова, работавший в органах, — Атакишиев всегда требовал от своих подчиненных оперативных работников: «Дайте в признаниях кусочек террора». Все личные враги Мир Джафара Багирова, а также Берии в Азербайджане были расстреляны как террористы.

...В ту же ночь, между часом и двумя, когда Мир Джафар Багиров все еще проводил совещание с руководителями «Азнефти», Алескер-муэллим, Калантар-муэллим, Фирудин-муэллим, Алибаба-муэллим и сам Хыдыр-муэллим по одному были разбужены, арестованы в своих домах как террористы, и никто больше этих людей не видел.

9. Быть или не быть?

В Кишлинской тюрьме, в западной стороне Баку, в одной из камер было двенадцать человек Поэт, Драматург, четыре профессора (Литературовед, Фольклорист, Философ и Языковед), Директор издательства, Директор школы, Библиотекарь, Редактор, Хосров-муэллим и еще Один человек.

Этот Один человек объяснялся путано, из его слов то выходило, что он партийный работник, то инженер в «Азнефти», то политический работник в Красной Армии (последнее больше всего походило на правду). Одиннадцать не доверяли тому Одному человеку, сторонились его, при нем прекращали разговоры. Может, потому, что Один человек внешне был похож на Мир Джафара Багирова: в точности такого же роста, сходное строение лица, и нос, и подбородок, и узкие, но густые грубые усы, — все похоже, даже очки с круглыми стеклами...

Впервые увидев Одного человека в камере, Поэт даже вздрогнул: какой храбрец осмелился схватить так похожего на Мир Джафара Багирова человека и сунуть в камеру как врага народа?..

Один человек путался в словах, задавал неуместные вопросы. Но, как видно, следствие в Кишлинской тюрьме еще до конца не слюмило его личность, и, почувствовав недоверие товарищей по камере, он замкнулся, не молил о пощаде, не пытался оправдаться, лежал молча, устремив глаза сквозь круглые стекла в потолок. Когда во время следствия его сильно избивали («Понарошку, наверное, избивли, чтобы через него у нас выведать...»), сокамерники, несмотря на свои подозрения, старались помочь Одному человеку, укладывали его на топчан, вытирали кровь с лица.

Правда, заключенные (а кто они в самом-то деле были: заключенные? подследственные? лица, подозреваемые в преступлении? свидетели? — неизвестно, но всех объединяло одно понятие: враг народа!)

хоть и помогали Одному человеку, но когда ночью или днем его вызывали на допрос, а потом приносили в камеру, они все равно не верили, что он настоящий заключенный, им казалось, что и раны Один человек получает во время допроса лишь для того, чтобы их расколоть... Так похожий на Мир Джафара Багирова человек, конечно, никогда не мог бы стать настоящим заключенным, не мог делить участь Поэта, Драматурга, Редактора, Библиотекаря...

А следствие шло без перерывов, потому что здесь не было понятия дней, вечеров и ночей, люди из камеры (заключенные?!) в любое время могли быть вызваны на допрос — и вызывались. От них требовали имена людей, с которыми они вели совместную борьбу против Советского государства, против лично товарища Сталина, их хотели заставить подписаться под списком имен, им не известных, неведомых (и заставляли!), их заставляли признаваться в подготовке покушения на Мир Джафара Багирова.

Камера была так далека от мира, от улиц, по которым ты можешь пойти куда хочешь, от неба, к которому можешь коснуться рукой, когда захочется... В здании цементные стены, в пол, в потолок виталась безнадежность колодца, колодец был глубок, ты был на дне его, и если бы там, на дне колодца, ты поднял голову и стал кричать, тебя все равно никто бы не услышал, потому что ты был враг народа, ты был посажен в камеру не затем, чтобы отрицать это, чтобы кому-то что-то объяснять, а только затем, чтобы это подтвердить.

Но в камере, как и в обычном мире, было что-то преходящее, она то наполнялась, то пустела. Открывалась дверь, выкрикивалась фамилия, говорилось: «На допрос!» Значит, действительно, на допрос. Если после фамилии звучало: «С вещами!» — значит, заключенного куда-то увозили, была даже такая безумная надежда, что, может быть, освобождают...

Когда же только называли фамилию и не добавляли больше ничего, никакого приказа, это был ужас, это был такой ужас, что даже дно колодца в сравнении с ним было хорошо, дно колодца все-таки годилось хотя бы для того, чтобы дышать, плакать, стонать... Если после фамилии ничего не добавляли, значит, ведут на расстрел. Заключенный это знал, он кричал, бился о землю, он клялся, что невиновен, он хватал сокамерников за руки, за ноги и не хотел отпускать, он даже обгаживал брюки, его приходилось тащить из камеры волоком. А иной заключенный немел, превращался в механизм, двигался как заведенный, молча вставал и выходил из камеры, не проронив ни слова, ни звука. А бывал заключенный, который так ругался, будто дождался наконец момента, чтобы облегчить сердце, ругался самими страшными личными ругательствами, которых, может быть, не произносил никогда в жизни, бросался на охранников с кулаками, готов был рвать их зубами на части. Его выволакивали из камеры, помогая друг другу, втроем, а то и вчетвером. А бывал и такой заключенный, который торжественно вставал и, помолчав немного (может быть, все еще на что-то надеясь?!), говорил:

— Моя совесть чиста! Да здравствует товарищ Сталин!

Заключенные в камере, правда, уже не были людьми, но, как и люди, они все-таки были разные.

В жизни, за пределами камеры, вне колодца, там, где в любое время можно сесть в трамвай, нагреть воды и искупаться, выйти на берег и послушать шум моря, — вот там порой происходили странные, непостижимые, не поддающиеся никакой логике события. И одним из непостижимых событий было то, что когда уже и Алескер-муэллим, и Калантар-муэллим, и Фирудин-муэллим, и Алибаба-муэллим, и сам Хьдыр-муэллим были арестованы и поспешно расстреляны как террористы, Хосров-муэллим все еще находился под следствием...

Хосров-муэллим был арестован за несколько часов до тех несчастных, один, а время было такое — столько было арестованных, что уголовное дело Хосрова-муэллима как-то выпало из группы поспешно расстрелянных террористов, и следователь Мамедага Алескеров вообще не обвинял Хосрова-муэллима как террориста. Хосров-муэллим был обыкновенный враг народа. Удивительное дело! То ли следователь Алескеров не знал о группе расстрелянных террористов, то ли забыл о ней, во всяком случае, он ничего про это не говорил. А Хосров-муэллим несколько и не удивлялся, потому что Хосров-муэллим не знал и сам не знал о группе террористов, не знал, что и Алескер-муэллим, и Калантар-муэллим, и Фирудин-муэллим, и Алибаба-муэллим, и Хьдыр-муэллим расстреляны, что в дни, когда он сидит в Кишлинской тюрьме, в школе без конца идут митинги выражения ненависти, на учителей-террористов сыплются проклятия, Джумшудлу каждый день приходит, участвует в митингах выражения ненависти, Аруз каждый раз поднимается на трибуну и раскрывает внутреннюю сущность Алескера-муэллима, разоблачает его, разыскав в подвале спрятанные отцом книги, сдает их как вещественные доказательства в отряд Павлика Морозова и вместе со всеми членами отряда сжигает подаренные когда-то Авазбеком книги и древние рукописи...

В камере всегда было тринадцать заключенных (по норме этой камеры) — и до вчерашнего дня (понятие «вчера» было здесь условным, как «сегодня» и «завтра», здесь была своя единица времени, без «вчера», без «сегодня», без «завтра»...), но вчера ночью одного — художественного руководителя оркестра народных инструментов, от крика на допросах потерявшего голос, — увели, причем плохо увели, фамилию не звали, больше ничего не сказали, и тот кинулся на пол, кричал без голоса, парял цементный пол, хотел за что-то зацепиться, остаться, но беднягу схватили за ноги и выволокли.

В камеру должны были теперь привести нового, и камера с никогда не иссякающей надеждой ждала тринадцатого — тринадцатый мог принести новую весть из далекой жизни вне колодца. Тринадцатый заключенный каждый раз (люди ведь менялись, и тринадцатый всегда был новым, последним из помещаемых в камеру заключенных...) был вроде газеты, и кроме бесконечных судебных процессов, собраний, кроме разоблачений бесчисленных врагов народа, считавшихся до вчерашнего дня руководителями, крупными учеными, известными писателями, передовыми хозяйственниками, помимо митингов выражения ненависти, — кроме всего этого, он ведь мог вдруг сообщить и о чем-то еще, и тогда крошечный лучик света падал на дно колодца.

Дверь отворилась, и Поэт, и Драматург, и Литературовед, и Фольклорист, и Философ, и Языковед, и Директор издательства, и Директор школы, и Библиотекарь, и Редактор, и Хосров-муэллим, и тот Один человек с беспокойством обернулись к двери, на скрип, к которому невозможно привыкнуть: чью фамилию назовут теперь, что скажут потом и скажут ли?

Но не назвали ничью фамилию, два охранника вволокли за руки нового тринадцатого заключенного, и как мешок с землей бросили его на цемент посреди пола, и дверь с тем же скрипом закрыли, заперев на задвижку, и, разнося эхо своих шагов из коридора тюрьмы по всем камерам, ушли.

Тринадцатого, как видно, сначала водили на допрос, а потом уже поместили в камеру, его так страшно избили, так пытали — английский шпион он был? или бухаринец? троцкист? замаскированный мушкетер? беспощадный пантюрист? А может, все вместе и при этом не хочет признаться?.. Даже стонать сил у него не было. Он обвел глазами Поэта, Драматурга, Литературоведа, Директора школы, Библиотекаря, Языковеда, Директора издательства, Редактора, Хосрова-муэллима и того Одного человека, потом снова посмотрел на Драматурга и вдруг усмехнулся глазами под распухшими, в синяках веками.

Он был избит до неузнаваемости, но Поэт все-таки узнал его и взволнованно воскликнул:

— Это Гамлет! Это Гамлет! Осторожно! Поднимайте осторожно! Это Гамлет!..

И сокамерники теперь узнали тринадцатого. Настоящее имя и настоящая фамилия артиста, которого народ в Азербайджане называл Гамлетом за забываемую сыгранную им роль, будто вылетели из памяти всей камеры в Кишлинской тюрьме, будто тринадцатого заключенного действительно схватили, принесли и бросили сюда из средних веков, из датского замка Эльсинор.

Через некоторое время Гамлет приподнялся, снова оглядел по одному Поэта, Драматурга, Литературоведа, Фольклориста, Философа, Языковеда, Директора издательства, Директора школы, Библиотекаря, Редактора, Хосрова-муэллима и Одного человека — своих зрителей. Гамлет хотел подняться, но не смог и встал на колени, его распухшее, лиловое от синяков лицо озарилось, и голосом, который, наверное, навсегда впитается даже в стены той камеры, многое повидавшей, много слышавшей стонов, голосом, который пробыть цементный пол, потолок и выйдет наружу, начал декламировать Шекспира по-азербайджански в переводе Джафара Джаббарлы:

Быть или не быть — таков вопрос,
Что благородней духом — покориться
Працам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть —
И только; и сказать, что сном кончашся
Тоску и тысячу природных мук,
Наследье плоти, — как такой развязки
Не жаждают?

Когда Гамлет читал свой главный монолог, Хосров-муэллим хотел забыть весь мир, всю свою жизнь, судьбу, он желал забыть все — и шестилетнего Джафара, и четырехлетнего Аслана, и двухлетнего Азера, и Ширин, плеснувшую вслед фаянзу, отправлявшемуся в Шушу, ковш воды, и мертвого петуха, и тот костер, и Гюльзар, широко раскидывавшую во сне руки, — все, все хотел он забыть, только бы слушать Гамлета, жить бы только тем монологом, не было бы на свете ни афлатун-муэллимов, ни хыдыр-муэллимов, а был бы только Гамлет... Но невозможно было что-нибудь забыть, и мысль с безумной страстью уводила Хосрова-муэллима к часам, которые он проводил на допросе, снова сводила лицом к лицу со следователем Алекперовым...

...Следователь Мамедага Алекперов часто облизывал мясистые губы и, направив электрическую лампу на небольшом письменном столе в следственной комнате прямо в глаза Хосрову-муэллиму, говорил:

— Значит, так... — Потом, побарабанив по столу каждым из своих пухлых, как маленькие бочоночки, пальцев, спрашивал: — Ты признаешь, что в Гадруте писал заявления на русском языке?

Следователь Алекперов знал всю биографию Хосрова-муэллима, и Хосров-муэллим удивлялся, зачем эти люди о нем одном собрали столько информации и откуда они находят время для разоблачения настоящих бесчисленных врагов народа, если так долго и основательно занимаются им, ни в чем не виноватым.

— Ну, так признаешь, что писал в Гадруте заявления на русском языке?

Хосров-муэллим глотал воздух, закрывал глаза, ничего не видевшие из-за яркого света, снова глотал воздух, так что кадык поднимался и опускался на тонкой шее, и, подтверждая сказанное кивками, говорил:

— Писал...

Следователь Мамедага Алекперов получал удовольствие от признания Хосрова-муэллима, облизывал мясистые губы, почесывая трехэтажный подбородок и на всякий случай переспрашивал:

— Значит, писал?

— Писал...

— Кому писал?

— Люди приходили, просили, я и писал...

— Нет, нет, одну минуту! — Следователь Алекперов подносил пахнущий духами мягкий и мясистый палец к длинному носу Хосрова-муэллима. — Минутку погоди!.. Ты же знаешь, меня запутать невозможно!.. Я — Алекперов, понял, следователь Алекперов! Ты понял или нет? — И следователь Алекперов смеялся как женщина. — Я у тебя спрашиваю, на чье имя ты писал заявления? Отвечай на мой вопрос!

— На имя руководителей...

Следователь Алекперов становился серьезней и, будто одним прыжком готовился уничтожить находящегося напротив, спрашивал:

— На имя Бухарина писал?

— Откуда я знаю?

— Да или нет?

— Может быть...

— «Может быть» посадили, вместо него горох вырос! — Следователь Мамедага Алекперов смеялся, плечи его прыгали. — «Может быть» нельзя! Да или нет?! Отвечай!

— Возможно!

— Значит, да! На имя Рыкова заявления писал?

— Рыков был председателем Совета Народных Комиссаров, дааа...

— Ага! Значит, писал!

— Люди просили... У каждого свои беды-заботы... Просили, я и писал председателю правительства, да...

— Вот так... Смотри, как раскрывается твое нутро? Вот как заставляю человека говорить! От следователя Алекперова ничего скрывать нельзя!.. Значит, ты просил помощи у Бухарина, Рыкова, да? Вел среди трудящихся пропаганду, что Бухарин, Рыков помогут, да? Отвечай, да?

Хосров-муэллим молчал, острый кадык поднимался и опускался на худой шею, внезапно он говорил:

— Но ведь... Но ведь я писал заявления и на имя товарища Сталина. Больше всего — на имя товарища Сталина!

Имя товарища Сталина каждый раз приводило к напряженному молчанию в следственной комнате в Кишиневской тюрьме, и в том молчании Хосров-муэллим будто вдруг начинал слышать беспокойный стук сердца в плотно набитом, как мутака¹, теле следователя Алекперова. Молчание длилось, следователь Алекперов не знал что сказать и неожиданно плевал в лицо Хосрову-муэллиму:

— Подлец, сын подлца! Меня на провокации толкаешь!

Плевок стекал с лица Хосрова-муэллима на руку, лежащую на коленях...

Умереть, уснуть. Уснуть!

И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность;

Какие сны приснятся в смертном сне,

Когда мы сбросим этот бранный шум, —

Вот что сбивает нас; вот где причина

Того, что бедствия так долговечны...

К Гамлету пришла какая-то внутренняя сила, как если бы те бедствия вновь потрясли его, Гамлет поднялся на цементном полу, встал на босые ноги с синяками под ногтями, и в тот миг не были видны раны на лице Гамлета, в тот миг разлился по лицу его свет, и просветленными глазами он по очереди смотрел на Поэта, Драматурга, Литературоведа, Фольклориста, Философа, Языковеда, Директора издательства, Директора школы, Библиотекаря, Редактора, Хосрова-муэллима и того Одного человека, просветленные глаза Гамлета излучали тепло, свет на дне колодца и одновременно наполняли сердца рыданием, рыдание встало комком в двенадцати горлах.

Кто снес бы плети и глумленые века,

Гнет сильного, насменку гордеца,

Боль презренной любви, судей медливости,

Заносчивость властей и оскорбления,

Чинимые безропотной заслуге,

Когда б он сам мог дать себе расчет

Простым книжалью?

¹Мутака — подушка в форме валика.

...Следователь Мамедага Алекперов облизывал мясистые губы, почесывал трехэтажный подбородок и мясистыми пальцами перелистывал книгу, которая лежала перед ним на маленьком письменном столике. Вениамин Каверин, «Конец хазы». Когда Хосрова-муэллима забирали из дома, конфисковали во время обыска единственную память о Гадруте, и теперь, во время следствия, эта книга была вещественным доказательством его контрреволюционной деятельности.

— Значит, так... Эта книга твоя, да?

— Да...

— Конечно, твоя! Как бы ты это отрицал, а?

— Я же не отрицаю.

— И не сможешь отрицать!

— Да... Моя, моя книга, не отрицаю...

— Ты желаешь помочь следствию, поэтому не отрицаешь?.. Нет! — Следователь Мамедага Алекперов подносил пахнущий духами палец к глазам Хосрова-муэллима, грозил им. — Нет! Потому ты признаешься, что другого выхода у тебя нет! Следователь Алекперов присел тебя к стенке! Ты читал эту книгу?

— Да...

— Сколько раз читал?

— Один раз...

— Правду говори!

— Правду говорю, да...

— Ты сказал, а следователь Алекперов так тебе и поверил, да? Всего один раз прочел, а?

— Да...

— Хочешь отрицать, да? Хочешь направить следствие по ложному пути? Посмотрим, что у тебя получится!.. Говори, откуда у тебя эта книга?

— Подарили...

— Кто подарил?

— Профессор Зильбер... Эту книгу написал его брат... Профессор Зильбер подарил мне ее в Гадруте...

— Он еврей?

— Не знаю...

— Значит, не знаешь, да? Хорошо... «Человеку, увидевшему и пережившему ад». Это он тебе написал, да?

— Да...

— И ты эту надпись читал?

— Какую надпись?

— «Человеку, увидевшему и пережившему ад».

— Конечно, читал...

— Вот так!.. Значит, народ строит социализм, а ты в аду живешь, да?! Советский Союз, Советский Азербайджан — для тебя ад, да? Отвечай, быстрее отвечай! Да или нет? Не раздумывай! Отвечай!

— Ну нет... Тогда в Гадруте была эпидемия чумы...

— Может быть, примкнув к евреям, ты сам распространял ту эпидемию в Гадруте, а?

— Тот человек спас Гадрут от эпидемии... — Когда Хосров-муэллим произнес эти слова, перед его глазами встало лицо профессора Зильбера, профессор Зильбер опять, как в гадрутской больнице, подошел и сел на краешек кровати Хосрова-муэллима... Следователь Алекперов направил свет лампочки в глаза Хосрова-муэллима, но Хосров-муэллим в тот момент сидел лицом к лицу не с ярким светом в следственной комнате Кишлинской тюрьмы, а с профессором Зильбером, и профессор Зильбер опять боролся с чумой, потому что профессор Зильбер ошибся, профессор Зильбер полагал, что победил чуму, а чума продолжалась...

Хосров-муэллим не знал, что профессор Зильбер арестован как враг народа, не знал, что это второй арест в жизни профессора Зильбера после Гадрута: первый раз его арестовали в 1934 году, второй раз (теперь) — после открытия вируса весенне-летнего клещевого энцефалита, его арестуют и еще раз: в 1940-м... Но откуда Хосрову-муэллиму было знать о том, что было и будет. Следователь Алекперов, напротив, знал, что профессор Зильбер арестован как враг народа, и, облизывая полные губы, говорил:

— Ты думаешь, мы ничего не знаем! Сколько раз ты прочитал эту книгу, признавайся?! Сколько раз?

— Один раз прочитал...

Следователь Мамедага Алекперов снова умолкал на миг и снова внезапно плевал Хосрову-муэллиму в лицо:

— Подлец, сын подлца! Хочешь запутать следствие? Сволочь!

Лицо Хосрова-муэллима было как мусорный ящик, когда следователь Мамедага Алекперов злился и ему хотелось плевать, он плевал туда...

Кто бы плелся с ношей,
Чтоб охать и потеть под нудной жизнью,
Когда бы страх чего-то после смерти —
Безвестный край, откуда нет возврата
Земным скагальцам, — волно не смущал,
Внушая нам терпеть невзгоды наши
И не спешить к другим, от нас сокрытым?
Так трусами нас делает раздумье,
И так решимости природный цвет
Хиреет под налетом мысли бледным,
И начинанья, взнесшиеся мощно,
Сворачивая в сторону свой ход,
Теряют имя действия. Но тише!
Офедия? В твоих молитвах, нимфа,
Все, чем я грешен, помини.

Артист был заключенный, зрители были заключенные, только Шекспир был Шекспиром всех эпох, Шекспир был вечно на свободе, для него не было непробиваемых стен, непреодолимых границ, и через плевки следователей алекперовых, и через любовь синяков на теле Гамлета Шекспир проникал на дно колодца.

Гамлет улыбнулся. Улыбаясь, закачался на месте. Но не упал, сумел удержаться. Протянул руку, будто получил от зрителей цветы, понюхал цветы, прижал к груди и сказал:

— Последний букет, полученный мной на сцене!

Гамлет собрался шагнуть к своему месту. Но колени подогнулись, он упал ничком на цемент, разбил нос, губы, кровь растекалась по цементу. Поэт подхватил его, поднял, и Гамлет, глядя на молодого Поэта, сказал, будто продолжая монолог:

— Не трогай меня, несчастный!.. Ты разве не знаешь, кто я? Я враг народа, я террорист, я шпион! Убери руки, или это, как болезнь, и тебя заразит!.. Убери руки, Поэт!.. О несчастный!.. Или и ты уже заражен этой болезнью?

Кажется, теперь в глазах Гамлета был уже другой свет — свет больного воображения.

Поэт уложил Гамлета на кровать.

Воцарилась такая тишина, какой никогда еще не бывало в камере Кишлинской тюрьмы.

Сколько прошло времени? Час? Три часа? Пять?

Снова звякнул замок, заскрежетала дверь, назвали фамилию Гамлета и больше ничего не добавили.

У Гамлета не было сил встать, и два стражника подхватили его под мышки и, волоча по цементу, вытащили.

Гамлет не сказал ни слова, не пощипался со своими последними зрителями. А может быть, он и не знал, куда идет.

Снова заскрежетала дверь, заперли замок.

Снова в камере воцарилась тишина, и в тишине Философ прошептал:

— Интересно, если бы Ленин остался жив, его тоже теперь арестовали бы?

Шепот услышали все, но почему-то никто не испугался, что его услышат и стражники...

И воспаленный горячий мозг Философа, посвятившего свою жизнь марксизму, в камере Кишлинской тюрьмы точно и ярко воссоздал облики Маркса и Энгельса, и Философу показалось, что и Маркс, и Энгельс вместе с ним заключены в камеру Кишлинской тюрьмы, они тоже совершенно бесправны, тоже изолированы, лишены каких бы то ни было прав. Их, Маркса и Энгельса, так же пытаются, как Гамлета, — ломают зубы, загоняют иголки под ногти, пинками ломают ребра, и кровь из разбитых губ течет по их бородам...

Следователь Мамедага Алекперов плюет в лицо Марксу и Энгельсу, требует признания, что они японо-немецкие шпионы, троцкисты, пантюркисты, мусаватисты, добивается признания в намерении убить товарища Мир Джафара Багирова, в участии в террористических акциях, направленных непосредственно против товарища Сталина...

И горячее воображение Философа нарисовало картину: Карл Маркс и Фридрих Энгельс стоят под пальцем солнцем, прислонившись спинами к белоснежно выбеленной каменной оgrade, рубашки на груди разорваны, Философ не видел винтовок, но знал, что в грудь Марксу и Энгельсу нацелены винтовки.

Философ хотел крикнуть тем, с винтовками, что это Маркс и Энгельс, что их нельзя расстреливать. Он хотел крикнуть: «Не расстрели-

вайте их!» — но не мог издать ни звука, потому что боялся: возьмут и само расстреляют.

Но тут Маркс и Энгельс еще сильнее выпятили грудь, собрали последние силы, вытянули вперед руки и закричали: «Да здравствует товарищ Сталин!»

да здравствует товарищ Сталин!
да здравствует товарищ Сталин!
да здравствует товарищ Сталин!
да здравствует товарищ Сталин!

.....
потом были спущены курки невидимых ружей, из груди и Маркса, и Энгельса фонтаном хлынула кровь...

потом и Маркс, и Энгельс исчезли, стали невидимы... и большие пятна крови на белоснежной каменной стене ярко-красным засверкали на солнце...

И в ту ночь Хосров-муэллим увидел во сне в камере Кишлинской тюрьмы человека, который прежде никогда не являлся в его сон.

За всю свою жизнь Хосров-муэллим всего один раз видел первого секретаря ЦК КП(б) Азербайджана: на торжественном собрании, посвященном пятидесятилетию установления советской власти в Азербайджане 28 апреля 1935 года; из райкома Джумшуду прислал в школу три приглашения, и Алескер-муэллим счел нужным дать одно из них Хосрову-муэллиму. Он сидел в последнем ряду большого зала, а Мир Джафар Багиров — в президиуме на сцене, но поскольку портреты его без конца публиковались в газетах, журналах, всем в Азербайджане казалось, будто они видели Мир Джафара Багирова вблизи.

И вот ночью в Кишлинской тюрьме Хосров-муэллим увидел во сне Мир Джафара Багирова. Лицо Мир Джафара Багирова выступило из мрака, как будто со дна глубокого, очень глубокого колодца, оно быстро приближалось и наконец остановилось перед Хосровом-муэллимом. Хосров-муэллим посмотрел в глаза, устремленные на него сквозь круглые стекла очков, и там же, во сне, весь облился холодным потом, потому что в глазах Мир Джафара Багирова, устремленные сквозь круглые стекла очков, был отсвет костра, горевшего в шести километрах от Гадрута десять лет назад, и тот отсвет источал чуму. Хосров-муэллим заслонился ладонями, отвернул лицо в сторону, стремясь защититься от чумы, он хотел бежать, но куда ни поворачивался, как ни старался заслониться, закрыться, отпихнуть чуму от себя, глаза, устремленные на него сквозь круглые стекла очков, не отставали, источаемая ими чума, как черный-пречерный мазут, разливалась по лицу, по груди Хосрова-муэллима, и издали слышались крики будто заживо горящих в костре шестилетнего Джафара, четырехлетнего Аслана, двухлетнего Азера, и услышавшая их крики Ширин, горя на костре, завывала как волчица...

— Ты чума! Чума! Чума! Чума! Ты чума! — среди ночи в камере Кишлинской тюрьмы Хосров-муэллим схватил за грудки Одного человека, тряс его и изо всех сил орал, он хотел растерзать, разорвать на куски

Одного человека — Мир Джафара Багирова. — Чума! Чума! Ты чума! Чума!

У проснувшегося от нечеловеческого крика Одного человека собственный голос пропал, он не мог вымолвить ни слова и вырваться из высохших, как сухое дерево, рук Хосрова-муэллима тоже не мог и едва не задыхался.

— Чума! Чума! Чума! — кричал Хосров-муэллим как сумасшедший.

Проснулся и подоспел на помощь Поэт, обнял Хосрова-муэллима, попытался отвести его в сторону, но сил у молодого Поэта не хватало, а Хосров-муэллим никак не мог опомниться, прийти в себя и, вздувая вены на тонкой шее, по которой тек холодный пот, все тем же нечеловеческим голосом кричал:

— Чума! Чума!.. Чума!..

Хосров-муэллим старался задушить, убить Одного человека, на помощь Поэту пришли Философ и Редактор, и втроем они вырвали из рук Хосрова-муэллима Одного человека, оттащили Хосрова-муэллима.

Хосров-муэллим задыхался, сердце его колотилось, будто хотело вырваться из груди, но понемногу Хосров-муэллим все-таки стал приходить в себя. Он не помнил, как встал с места, как попал на Одного человека, приняв его за Мир Джафара Багирова...

В камере воцарилась тишина, и в тишине внезапно Один человек заплакал, всхлипывая, как ребенок:

— Чего вы все от меня хотите? Вы, вы, ну почему вы-то меня мучаете?

Потом однажды звякнул запор, заскрежетала дверь, назвали фамилию Хосрова-муэллима и сказали:

— С вешами.

Хосров-муэллим был обвинен в диверсионной деятельности, ему дали десять лет лишения свободы, отправили в Сибирь, в Томскую область, в Колпашевский район — в Нарым, где в свое время был в ссылке товарищ Сталин.

Теперь тысячи арестованных Иосифом Виссарионовичем Сталиным людей отправляли в Нарым, туда, где до революции был в ссылке сам Иосиф Виссарионович Сталин.

В 1912 году, в конце июля, И.В. Сталина арестовали в Петербурге и как политического заключенного на судне «Колпашево» отправили из Томска в Нарым. Полицейское управление Томска завело новое секретное дело «О ссылке Иосифа Виссарионовича Джугашвили, начиная с 8 июня 1912 года под открытым полицейским надзором на 3 года в Нарым». Товарищ Сталин жил в маленьком деревянном доме крестьянина Якова Агафоновича Алексеена на берегу озера Полой и в тот же год, 1 сентября, сбежал из Нарыма на судне, отправлявшемся в Тюмень. Много большевиков и кроме товарища Сталина были в ссылке в Нарыме, и товарищ Сталин бежал с их помощью. Сосланные в Нарым за большевистскую деятельность полицией Николая П неоднократно бежали из ссылки, это было делом почти обыкновенным. Бежал Алексей Иванович Рыков, член партии с 1898 года, после смерти Ленина шесть лет возглавлявший Советское государство. Бежал и Александр Васильевич Шотман, и Венямин Давыдович Вегман, члены партии

с 1899 года. Бежали десятки других, и десятки ссыльных в самом Нарыме несли революционную деятельность, а после победы Великой Октябрьской революции работали на высоких партийных и государственных постах. Но в 1937–1938 годах все были расстреляны как враги народа, террористы и шпионы...

Первый знакомый, которого увидел Хосров-муэллим в Нарыме, был Красный Якуб, он тоже был политический заключенный. Голос Красного Якуба был едва слышен из-под тряпок, которыми он закутал лицо в сорокатынградусный мороз:

— Сказали, будто я бухаринец, муэллим... И даже не объяснили, злодейские дети, что такое — бухаринец?.. Что делает бухаринец?.. Что он делает такого, чтобы ему припаяли пятнадцать лет и отправили в Сибирь? Ну ничего, учитель, мы с тобой чуму видали. Что такое Сибирь, если мы с тобой, муэллим, чуму победили...

Хосров-муэллим смотрел, как Красный Якуб, пытаясь согреться, хлопал руками, плотно обернутыми в тряпки, похожими на клубки, как он прыгал на месте, потом спросил, будто не на далекой сибирской земле, среди льда и мороза, у Красного Якуба, а сам у себя:

— Так вы победили чуму?..

Этот вопрос и потом не выходил из памяти Хосрова-муэллима.

На далекой сибирской земле у Хосрова-муэллима были очень неожиданные встречи, но самая незабываемая произошла летним днем 1947 года на берегу реки Обь (Иосиф Виссарионович Сталин в сентябре 1912 года сел в лодку и сбежал из ссылки именно по этой реке): среди политических заключенных, привезенных из Тюменской области, Хосров-муэллим увидел Мамедагу Алекперова.

Он совсем не похудел.

Мамедага Алекперов исполнял обязанности моллы при захоронении умерших в ссылке заключенных мусульман, за такую услугу каждый арестант отрывал от своего пайка кусок и давал Мамедаге Алекперову.

От Мамедаги Алекперова больше не пахло духами, он издавал какой-то другой запах, но Хосров-муэллим никак не мог понять какой...

Узнал Мамедага Алекперов Хосрова-муэллима или не узнал? Неизвестно. Хосров-муэллим выяснять не стал. Но порой Хосрову-муэллиму казалось, что хотя Мир Джафар Багиров и этот человек совершенно непохожи друг на друга, ни внешне, ни, наверное, по характеру, по масштабу личности, но по существу, если взглянуть, они были как братья-близнецы. Может, Мир Джафар Багиров, чтобы скрыться, превратился в Мамедагу Алекперова... А как же он попал в Сибирь?..

Сидя в уголке, Хосров-муэллим внимательно смотрел на Мамедагу Алекперова, наблюдал за Мамедагой Алекперовым.

И Красного Якуба на берегу Оби Мамедага Алекперов по мусульманским обычаям препоручил земле, и как все азербайджанские, татарские, узбекские, чеченские, лезгинские, казахские, кабардинские, балкарские, карачаевские, ингушские, таджикские, киргизские заключенные, Хосров-муэллим выделял часть своего пайка Мамедаге Алекперову.

...Хосров-муэллим вернулся в Баку через семнадцать лет, осенью 1956 года, получил реабилитацию, но уже больше не преподавал, стал продавцом в газетном киоске.

После того как Хосрова-муэллима арестовали и увели, Гюльзар не поддерживала с ним связь (наверное, не могла поддерживать...) и не стала ждать Хосрова-муэллима, уставившись на дорогу. Выйдя замуж, она переехала в Дербент. Однажды — в середине шестидесятых годов — Хосров-муэллим встретился с прехавшей в Баку Гюльзар, короткая встреча старого мужчины и старой женщины через тридцать лет разлуки была теплой, родственной, но после той короткой и теплой встречи эти двое больше не виделись никогда и ничего друг о друге не знали.

10. Лучи рассвета

В тот день над морем вдоль всей линии горизонта сияло ярко-красное утро, краснота рассвета окрасила ярко-красным и воды Каспия, как будто в воде были ранены целые стаи рыб и их алая кровь выступила на поверхности моря.

Странное дело, для Гиджбасара, всю жизнь тосковавшего по свежесушеному мясу, краснота горизонта и моря была чем-то неприятна, рассветная краснота говорила не о недостижимом куске свежего мяса, а о злобе, покрасневших от ярости глазах, о жестоких пинках и тяжелых камнях: «пошел!», «убирайся отсюда!». Лежавший на брюхе под кустом на приморском бульваре (морда на передних лапах), Гиджбасар смотрел сквозь листья на красный горизонт и море еще не совсем открытыми со сна глазами. Ночью он спал беспокойно, часто открывал глаза, смотрел в темноту, и теперь темнота стала красной, и Гиджбасар смотрел на красноту...

Кровь из поврежденной глотки Гиджбасара запекалась на грязных кофейно-черных шерстинках его шеи, боль пронзала все тело, возразила при малейшем движении еще больше, и, глядя на красный рассвет, Гиджбасар заранее ощущал муку, которая ему предстоит: встать, бежать, прятаться, искать еду, и тяжелый груз муки, ожидающей его через некоторое время, давил Гиджбасара, под тем грузом морда его, как к наковальне, была притиснута к передним лапам.

Вчера Гиджбасар, кружа по совершенно чужим улицам Баку, прятаясь от беспризорных местных собак, поделивших между собой весь город, спасаясь от бесчисленных машин, автобусов, троллейбусов, мотоциклов, прижимаясь к заборам, ночью забрел во двор какого-то большого дома на приморском бульваре, стоял у стены, прислушиваясь, проверил, чем пахнет. В доме смотрели футбольный матч и порой все вскрикивали, а порой наступала тишина и слышался лишь торопливый говорок футбольного комментатора. Гиджбасар не уловил ничего страшного в этих звуках; кроме нескольких кошек на мусорных ящиках в дальнем конце двора, живой души не было. В стены большого дома, в асфальт во дворе, в настесь раскрытые ворота, в отличие от других больших и малых домов Баку, дворов, садов, площадей, не впи-

талось ничего, что испугало бы Гиджбасара, и пес медленно двинулся к мусорным ящикам.

Правда, по неподвижности кошек, влезших на полные мусора железные ящики, по их безразличным взглядам Гиджбасар понял, что там нет ничего интересного, но Гиджбасару надо найти хоть что-нибудь, надо было постыть, потому что с самого того утра, с тех пор, как он убежал с кладбища Тюлюкю Гельди, уже несколько дней Гиджбасару ничего не доставало, и усталость, бесприютность, голод этих дней становились нестерпимыми.

Скрип нарушил тишину ночного двора, и Гиджбасар повернул голову в сторону дома, взглянул в направлении скрипа: отворилась дверь на балкон, женщина с газетным свертком в руке огляделась по сторонам и, решив, что никого нет вокруг, швырнула сверток в сторону мусорных ящиков.

Он шлепнулся на асфальт, и Гиджбасар со свойственным ему в молодые годы проворством и страстью в три прыжка достиг божью милость, схватил. Кошки злобно зашипели и отошли в сторону, а Гиджбасар, не обращая внимания на потерявших свою долю кошек, быстро снес прекрасно пахнущий сверток к стенке дома во двор, помогая себе передними лапами, разорвал бумагу, торопливо, жадно давись, начал есть прекрасные объедки: кусочки колбасы, хрящи, даже цыплячьи косточки с кое-где оставшимися кусками мяса, отгрызки вареных яиц, кусочки хлеба, обмакнутые в какой-то жир и сохранившие аромат и вкус замечательных яств... Всего этого было мало (остатки трапезы на двох), но все-таки по мере того, как Гиджбасар торопливо заталкивал еду себе в утробу, он чувствовал, как тело его наливается силой, как в глаза приходит свет.

Кошки стояли неподалеку и обиженно смотрели, как внезапно появившийся неведомый пес уминал прекрасные лакомства, аромат которых они чуяли. Кошки, наверное, заметили и старость, и что самое главное, немощь пса, они не боялись его, даже, может быть, намеревались напасть на Гиджбасара и похитить еду; но Гиджбасар уже прикончил и кусочки колбасы, и кости, и хлеб, и остатки яиц и теперь обновивал обрывки газет, облизывал асфальт, время от времени с откровенной благодарностью поглядывая снизу вверх в сторону того балкона.

Дом вдруг зашумел (как видно, забили гол), но шум не имел отношения к Гиджбасару, был не страшен и не опасен, наоборот, тот шум теперь свидетельствовал о неожиданном дворе божьем в жестоком мире.

Гиджбасар все нюхал газетные обрывки, все вылизывал асфальт и не заметил, как кошки вдруг сбежали, исчезли, будто после сокровищ из газетного свертка у Гиджбасара притупилась способность различать другие запахи, слышать шорох. Он все понял, когда уже было поздно. Огромная, черная как ночь собака последними атакующими прыжками набросилась на него и вонзила клыки в шею Гиджбасара. От ужаса боли и внезапности нападения Гиджбасар завизжал так жадно, так беспомощно, что некоторые из жильцов большого дома оторвались от футбола, встали и выглянули в окно.

Молодой, здоровый Черный пес был грозой всех окрестных собак, господином и хозяином всех окрестных уличных сук, отцом большин-

ства рождающихся щенков. В теле Черного пса кипела кровь различных пород, и десять-пятнадцать поколений разные крови, перемешавшись, принесли миру Черного пса, будто затем, чтобы отомстить (кому и чему?) за все муки и страдания, перенесенные десятилетиями-пятнадцатью поколениями его предков на улицах города. Каждый неизменный пес был врагом Черного пса и не имел права ступить на его территорию, в его часть города.

Гиджбасар задыхался и, устремив на верхние этажи большого дома (в сторону того балкона!) выпученные, чуть не вылезающие из орбит, молящие о пощаде у неба и земли глаза, собрав все силы, еще раз (наверное, последний!) жутко визгнул.

Чудо это было или что другое?. На том балконе, с которого был сброшен для Гиджбасара божий дар, снова отворилась дверь, но на этот раз вышел мужчина (видимо, участник трапезы с колбасой, цыпленком и яйцами) и запустил в собак большой картофелиной:

— Пошел!..

На весь двор в ту апрельскую ночь прозвучало «пошел!». Это слово было противным, Гиджбасар слышал его всю жизнь, но теперь оно прозвучало для Гиджбасара так по-родственному, что в задыхающемся и гаснущем мозгу пса появилась надежда. А большая картофелина, с силой запущенная с высокого этажа, попала Черному псу в бок, и разрывающийся от злости Черный пес, выпустив глотку Гиджбасара, поднял морду вверх и басом, сердито залаял в сторону балкона. С балкона бросили вторую картофелину, и хотя она в Черного пса не попала, он взъярился еще сильнее, залаял еще громче и яростнее.

Как видно, опять забили гол, и все большое здание радостно вскричало, и лай Черного пса смешался с криком дома.

А Гиджбасар, выбежав со двора со скоростью, которую подогревал страх, уже пересек широкий проспект. Водители жали на тормоза, чтобы не задавить пса, из шеи которого текла кровь и который, задыхаясь, бежал, не обращая внимания на машины, устрашающий скрежет тормозов еще сильнее подгонял Гиджбасара, и наконец, перебежав проспект, он оказался на бульваре, кинулся в густые заросли маслин и, на миг остановившись, глубоко дыша, оглянулся на большой дом. Молодой, здоровый Черный пес не появлялся, будто широкий проспект был никогда в жизни не виданный Гиджбасаром бурной рекой и Гиджбасар, переплыв реку, спасая, а Черный пес остался на том берегу, бурная река — быстро мчавшиеся машины — избила Гиджбасара от жуткого страха и теперь охраняла Гиджбасара.

Бульвар был абсолютно пуст, и море было в черной-пречерной мгле, и одиночество тянущегося насколько хватит глаз простора принесло еще больше печали Гиджбасару, и пес у того же куста опустился на землю.

Гиджбасар чувствовал теплоту крови, текущей из шеи, рана пульсировала. Спереди ветер не дул, слышался спокойный гул моря. Сзади — по ту сторону маслиновой рощицы, на проспекте, слышался шум машин, их свет, пробиваясь сквозь заросли маслин, слабо освещал место под кустом. От асфальта на бульваре запах машин не доносился, да Гиджбасар был не в том состоянии, чтобы еще к чему-то прино-

хиваться, во всем теле пса было такое бессилие, такая боль, что они пересиливали беспокойство и страх перед машинами...

И теперь открывалось ярко-красное утро...

Гиджбасар понимал, что надо вставать, надо искать спокойное местечко, искать еду, но не вставал, положив морду на передние лапы, сонными черными глазами так и смотрел на красноту. Гиджбасар хотел хотя бы повернуть голову назад, посмотреть на большой дом, потому что всю ночь страх перед Черным псом был внутри Гиджбасара, ведь тот здоровый, молодой, сильный пес мог прийти сюда, мог найти Гиджбасара здесь, но Гиджбасар не поворачивал голову — малейшее движение распространяло боль из шен по всему телу.

Отведя глаза от той красноты, пес, не шевельнувшись, посмотрел в сторону нагорной части Баку, туда, где должно было быть кладбище Тюлко Гельди. Некоторое время смотрел туда, и в глазах пса, смотрящего в сторону кладбища Тюлко Гельди, было полное безразличие...

Вдруг уши Гиджбасара встали торчком, пес услышал машину, внезапно въехавшую на бульвар ранним утром, и почувал запах колес, бензина, железа — и Гиджбасара охватило беспокойство.

Начавшая работу ранним утром машина-фургон бакинского санитарного управления, въехав на приморский бульвар, остановилась около спящего еще фонтана, и двое в белых халатах, выйдя из машины, стали оглядываться по сторонам. Водитель, прижавшись грудью к рулю, потянулся и зевая проворчал:

— В такое время и собаки спят!

В руке одного из санитаров, вышедших из машины, было ружье. Эти люди по инструкции должны были очищать город от бешеных и больных собак, но у них не было ни времени, ни желания выполнять смехотворную инструкцию (то есть ставить собакам диагнозы); для них каждая беспризорная уличная собака была бешеной и больной. У санитаров с ружьем за долгие годы службы выработался инстинкт на собак, инстинкт сразу повел его к декоративному кусту, под которым лежал Гиджбасар. Второй санитар шел следом.

Гиджбасар из-за куста, сквозь листья и ветки, видел и машину, и приближающихся санитаров и, наверное, чувствовал, что готовится что-то дурное, что надо бежать, и бежать незаметно. Гиджбасар выпрямил задние лапы, а морду от основания куста не отрывал. Санитар с ружьем тотчас увидел кофейно-черные волоски задней части, высунувшиеся из-за куста, и, прижав приклад к груди, нажал на курок.

Глухой выстрел разнесся по бульвару, по широкому проспекту, где проезжали пока еще редкие машины, и Гиджбасар почувствовал сначала удар по задней ноге, а потом боль, но не заскулил, понял, что нельзя издавать ни звука, снова растянулся на земле, ползком пробрался под второй куст. Здесь начиналась густая маслиновая рощица, и надо было найти возможность броситься в расщелину и бежать, бежать, спастись.

Санитар с ружьем в руке вглядывался в декоративный куст, хотел понять, где залегла собака. Но случилось неожиданное: видно, напавший на след Гиджбасара, теперь к нему тайком приближался молодой, здоровый Черный пес. В мгновение ока Черный пес, выскочив из

маслиновой рощицы, оказался на асфальте и стал с обычной своей злобой, низким голосом лаять на санитаров.

Легкий отзвук двух подряд глухих выстрелов снова разнесся в округе, и лай Черного пса превратился сначала в повизгивание, потом в стон, Черный пес закачался на месте, голова его опустилась, лапы подогнулись, и он упал на бок, растянулся в своей крови, вытекающей из живота и груди. Пару минут лапы Черного пса дергались в воздухе, потом тело вытянулось, спина напряглась, и Черный пес остался недвижим.

Стрелявший перекинул ружье через плечо, вынул из кармана большие синие рукавицы, надел их, второй тоже вынул из кармана и надел такие же большие рукавицы, и оба приблизились к сумасшедшему Черному псу, один взялся за передние лапы, другой за задние, подняли Черного пса и понесли к фургону.

Черный пес, подставивший себя под пулю как прекрасная мишень, был сегодняшним утренним почином санитаров — и если бы им и дальше так везло, они запросто выполнили бы сегодняшний план. Санитарам надо было обойти места, где могли укрываться беспризорные уличные собаки, чтобы в городе не распространялись эпидемии, чтобы было чисто. Но они собирались искать не только больных, но вообще собак, план требовал собачьих трупов, поэтому они намеревались стрелять подряд всех собак, попадающихся им навстречу.

Гиджбасар из-за куста видел все, происшествие заставило его забыть о боли в шее, в ноге, и когда санитары, открыв дверцу фургона, забросили внутрь труп Черного пса, Гиджбасар прыжками помчался в маслиновую рощицу и, напрягая все силы, постарался убежать от этих мест как можно дальше.

Санитар без ружья, взглянув в сторону декоративного куста, спросил:

— А другой куда делся?

Санитар с ружьем, повернув голову, посмотрел сначала на куст, потом в сторону маслиновой рощицы, догадался, в каком направлении исчез пес, с искренним сожалением сказал:

— Сбежал, подлец!

Оба сели в машину.

Водитель в очередной раз зевнул, запустил мотор и опять проворчал:

— На катафалке и то лучше работать! Мертвых собак вожу...

Машина-фургон тронулась с места.

Краснота рассвета понемногу спадала, в Баку начинался новый день.

11. Абдул Гафарзаде

(Продолжение)

Когда в тот апрельский день Абдул Гафарзаде во второй раз вышел из здания райисполкома и опять приехал на троллейбусе в управление кладбища, к нему вошли двое и немного его расстроили. Один был приземистый парень, другой — худой и длинный как столб тип (даве-

ча, возвращаясь с собрания, он видел их в комнате ожидания), они хотели получить место для своего покойника и боролись против взяток... Идиоты!! Абдул Гафарзаде видеть не мог таких жалких людей, поскольку они разини и бессмысленные существа, у них копейки в кармане нет, поэтому они борются за справедливость, талдычат о законе. А приземистый болван призывал на помощь законы Советского Союза, и страж закона в Советском Союзе майор Мамедов как нарочно был здесь, он показал болвану законы...

Кладбище Тюлюк Гельди входило в территорию Мамедова, участкового уполномоченного, майора милиции. Когда он пришел на работу, был старшим лейтенантом, но человек, конечно, неблагоприятное существо — теперь он уже не мирился с должностью участкового уполномоченного, в последнее время особенно подольщался к Абдулу Гафарзаде, чтобы он пошел в Бакинское городское управление милиции или в Министерство внутренних дел, похлопотал, чтобы его продвинули по службе. Ему хотелось бы стать начальником районного отделения милиции, для начала хотя бы заместителем начальника... Вначале Абдул Гафарзаде через Мирзаби, Агакерима и Василия время от времени давал Мамедову на карманные расходы, но теперь сам Мамедов при случае делал намеки Мирзаби, Василию, Агакериму (прямо говорить не осмеливался), предлагал деньги для Абдула Гафарзаде, чтобы Абдул Гафарзаде пошел в верха его дела налаживать. Голодушик был, а с тех пор, как стал здесь участковым уполномоченным, прибрахались — на территории сколько угодно шашлычных, лавок, цех мороженого, цех ремней, керамическая фабрика, пивные... Если с каждого в месяц немного, хоть пятьсот рублей, сколько выйдет?.. Во всяком случае, с голоду не умрешь... В общем, Мамедов тоже был человек и лез из кожи, хотел жить как человек. Возможно, Абдул Гафарзаде ему поможет, но пока он окончательно не решил. А теперь Абдул Гафарзаде был голоден и, вызвав новую секретаршу, послал ее в магазин за хлебом и сыром. Конечно, девушка проявила халатность, без разрешения впустила двух болванов, а Абдул Гафарзаде не любил халатности, особенно на работе; но Абдул Гафарзаде любил молодых и красивых девушек — и, поддавшись чувству, выгнать такую девушку из-за халатности? Пока не время... И потом — Абдул Гафарзаде ничуть в этом не сомневался — тех двоих впустила сюда не девушка-секретарша, хотя именно она должна решать, кого впускать, кого нет. Их впустила постепенно теряющая разум Бадур. Бадур никак не хочет смириться со своей старостью и до сих пор ревнует Абдула Гафарзаде. Никто этого не видит, может быть, даже сама Бадур не понимает, что ревнует, но Абдул Гафарзаде видит отлично. Азербайджанки такие, да... Вон бухгалтер Евдокия Станиславовна или кассир Маргарита Иосифовна состарились, так опустили головы и работают. А в молодости мало ли что они вытворяли с Абдулом Гафарзаде? Но то минуло, и они смирились. А азербайджанки не могут... Во всяком случае, с Бадурой надо хорошенько поговорить, а новая девушка — дело дальнейшего, но теперь же... Наконец, нужно спокойно почитать сегодняшние газеты...

Красивая девушка-секретарша, глядя на два мятых рубля, данных Абдулом Гафарзаде, стояла в растерянности: человек, о котором люди

столько говорят, как простой могильщик вынул из кармана два мятых рубля, он на обед, как простой могильщик, будет есть магазинный сыр с магазинным хлебом... Девушка смотрела то на мятые рубли, то на обитую коричневой кожей дверь кабинета...

Машинистка Бадур-ханум знала все от и до и об управлении кладбища, и про Абдула Гафарзаде (во всяком случае, так казалось этой женщине, работавшей в управлении кладбища свыше двадцати лет!), и потому, сидя у себя в углу и продолжая печатать, она взглянула на новую секретаршу, и по ее ярко накрашенным губам пробежала улыбка. Бадур-ханум тоже, когда пришла в это управление двадцать два года назад, когда двадцать два года назад впервые познакомилась с Абдулом Гафарзаде, многому удивлялась и часто терялась. А теперь, спокойно сидя в своем углу, она печатала диссертацию. Абдул Гафарзаде разрешил, когда нет работы по управлению (а в управлении работы для машинистки было очень мало — в основном справки, рапорты Абдула Гафарзаде для вышестоящих организаций, некоторые просьбы), и Бадур-ханум печатала работы своих клиентов, самые разные диссертации — от литературной до философской.

Конечно, как могла понять молодая, красивая девушка-секретарша, почему такой человек, как Абдул Гафарзаде, хочет на обед хлеба с сыром? Почему не велит принести себе обед из прекрасных шашлычных Баку (одна из шашлычных под названием «Прощай» как раз рядом с кладбищем Тюлюк Гельди, и не кто-нибудь, а сам Абдул Гафарзаде ее истинный хозяин)? А причина проста: если бы Абдул Гафарзаде теперь хорошенько пообедал, то дома он не мог бы есть, а когда он не ел дома, Гаратель вообще в рот ничего не брала. Абдул Гафарзаде перекусит хлебом с сыром, а после работы дома приготовит обед (если Гаратель сама не приготовит обед к возвращению мужа с работы), будет есть с аппетитом и Гаратель заставит немного поест. В общем, откуда могли прийти в голову молодой девушке-секретарше такие странные дела.

Пройдя за свой стол в кабинете, Абдул Гафарзаде начал читать газеты и вспомнил, как утром Фарид Кизымы скрывался за газетой, потом почему-то вспомнил Буруна и после утреннего беспокойства, дневной спешки, широко раскинув руки, с удовольствием потянулся, улыбнулся.

Фарид Кизымы и Бурун были совершенно разные люди, занимали в обществе совершенно разные позиции, но Абдул Гафарзаде видел между ними нечто близкое, родственное.

Во дворе управления кладбища Тюлюк Гельди был небольшой морг, но в этом одноэтажном трехкомнатном, выбеленном известкой здании никогда не бывало трупов (кто до похорон отдаст своего покойника в морг?). Кладбищенские каменщики, плотники, слесари, грузчики (были и такие в штате, кто-то ведь должен снимать гроб с машины и нести к могиле), могильщики-алкоголики и их не состоявшие на службе в управлении кладбища приятели-алкоголики провели в морг воду, газ из котельной, поставили печку, печка грела так, что полы и стены, выложенные белым кафелем, потели от жары даже в разгар зимы.

Днем в морге, можно сказать, людей не бывало, только один-два алкоголика спали на полу в маленькой комнате, но как только наступал вечер, а особенно полночь, в морге закипала жизнь: машины подъезжали к воротам управления кладбища, клиенты, выходя из машин, направлялись в сторону морга, или для клиентов, подъезжающих на такси, караульщик кладбища Афлатун охотно бежал в морг.

Дело было в том, что по ночам, когда в городе закрывались не только магазины, но и рестораны, в морге шла торговля водкой, бутылка продавалась втрое, вчетверо, а порой и вдесятеро дороже (зависело это от курса и погоды; в снежно-метельные ночи цена на водку, как ртуть в термометре под мышкой тяжелобольного, взлетала). У торговли в морге была своя система, доход от этой ночной жизни кладбища Тюлюкю Гельди находился в руках трех людей, близких Абдулу Гафарзаде: кочегара Мирзанби (лет десять назад Абдул Гафарзаде принял его на должность кочегара, а прежде он, выпускник востоковедческого факультета университета, работал переводчиком в Египте и Ливии, научным работником в Академии наук), слесаря Агакерима и могильщика Василия Митрофанова, а Бурун был, как говорится, их неофициальным компаньоном.

Разумеется, Мирзанби не прикладывал и пальца к работе в котельной, Агакерим не слесарил, Василий Митрофанов не рыл могилы. Все эти работы выполняли могильщики-алкоголики и их приятели-алкоголики, эти же трое были контролерами, маклерами, доверенными людьми Абдула Гафарзаде: не только ночная, но и дневная жизнь кладбища Тюлюкю Гельди в основном была в их руках. В служении этих троих Абдулу Гафарзаде был строгий порядок, а между ними самими — Мирзанби, Василием, Агакеримом — создалась настолько продуманные деловые отношения, что они совершенно не мешали друг другу, напротив, все трое служили Абдулу Гафарзаде как один, прекрасно понимая хозяина, зная, кто он такой. Несколько лет тому назад их было не трое, а четверо (четвертым был кубинский еврей Алеша, чье имя теперь они даже вслух не осмеливались произносить), и все четверо были самими близкими Абдулу Гафарзаде людьми, но однажды бес попутал Алешу, он совершил нечто ужасное, он предал Абдула Гафарзаде (ни Василий, ни Мирзанби, ни Агакерим до сих пор не знали, в чем состояла вина несчастного), и Алешу нашли в море: ночью он был застрелен на приморском бульваре, сброшен в море, и ветер отнес его тело аж в сторону Зыха. Ни Агакерим, ни Мирзанби, ни Василий, как уже было сказано, точно не знали, за что был убит несчастный Алеша, но кем он был убит, им было отлично известно...

Помимо общих вопросов у каждого из троих была своя определенная сфера: Мирзанби занимался деньгами Абдула Гафарзаде, Агакерим был сильный, суровый и грубый человек, он вел от имени Абдула Гафарзаде переговоры со всеми — от водителей такси до алкоголиков. Он же занимался распорядком работ на кладбище Тюлюкю Гельди и контролировал деятельность шашлычной «Прошай». А Василий Митрофанов был ответственным за любовные вопросы Абдула Гафарзаде.

В одной из комнат морга хранилась водка. Мирзанби, Агакерим, Василий днем посылали за нею в особые магазины (завмаги получили эту

водку не от государства, а по дешевке у определенных лиц — водка-то была самодельная!). Кроме того, некоторые работники управления кладбища имели право хранить здесь и продавать свою личную водку. Они, как правило, не покупали ее в магазине, а получали в виде подарка от родственников покойных, и каждый знал свою водку, знал свой счет. Это была как бы мелкая частная торговля в сопоставлении с государственной (Абдула Гафарзаде можно назвать главой этого государства) торговлей водкой. Частная торговля ничуть не подрывала государственную монополию. Что с того, что могильщики-алкоголики назойливо вымогали с родственников покойных столько, сколько сами были не способны выпить, и пару бутылок продавали. И Мирзанби, и Агакерим, и Василий закрывали глаза на это, потому что за долгие годы работы под началом Абдула Гафарзаде к ним перешли и некоторые черты его характера: с бедняками не связывайся, пусть как могут выкручиваются, но если обнищают — бей по голове.

Вторая, самая большая комната морга была игорный дом. Работники кладбища, некоторые клиенты, таксисты (особенно Бурун), игроки (мелкие), приходившие и приезжавшие с других концов города, сговорившись со знакомыми из Кисловодска, Ростова, Талинна, Тбилиси, Еревана, играли в этой комнате в карты, нарды, альчики, кидали кости.

А в третьей, самой укромной и маленькой комнатке ночевали местные алкоголики, порой и напившиеся до бесчувствия клиенты. Основная рабочая сила управления кладбища были алкоголики. Часть этих людей числилась в штате могильщиками, остальные — вне штата. Мирзанби, Агакерим, Василий вели переговоры с родственниками покойных, назначали цену на рытье могилы. Все трое тотчас чувствовали, каковы возможности родственников, и требовали деньги не какие придут на ум, а в зависимости от возможностей — самое малое 100 рублей, самое большое — 300–350 рублей (порой даже и 400). Работали алкоголики. Расставившись с семьями, чужие друзьям и родным, эти люди не получали зарплат, только расписывались в ведомости, их зарплата, вся до копейки, шла Абдулу Гафарзаде. А с ними расплачивались Агакерим, Мирзанби, Василий — те, кто их вызывал и поручал работу — рубль, изредка два вручали каждому за рытье могилы, да еще сами они вымогали у родственников что смогут — чаще всего бутылку.

Люди, близкие к управлению кладбища Тюлюкю Гельди, знали, что по ночам в морге через караульщика Афлатуна по двойной, тройной цене можно купить и анашу, знали и то, что снабжает ею торговую точку чаще всего Бурун.

Ровно четыре года, как Бурун вместе с братом Гюльбалой раз в два-три месяца наладился летать в Ташкент, а оттуда в Самарканд, покупать высшего сорта анашу у учителя Сайзуллы Мирзамухаммедова, свыше тридцати лет преподававшего физику в средней школе. В Баку Бурун продавал анашу через друзей-таксистов, через махаллинских парней и за вычетом дорожных трат и платы посредникам имел в среднем на тысячу рублей затрат три тысячи чистой прибыли. Учитель Сайзулла Мирзамухаммедов, отец двенадцати детей, человек бывалый, улыбки-

вый, умный и предусмотрительный, каждый раз к приезду Буруна сам, засучив рукава, готовил прекрасный узбекский плов, и ровно четыре года эти люди тесно сотрудничали во взаимном уважении и доверии: Бурун не проверял на весах покупку, учитель Сайзулла Мирзамухаммедов не пересчитывал деньги.

Из каждого привоза часть анаши Бурун отдавал для ночной продажи на кладбище Тюлюк Гельди, и из каждых десяти рублей дохода от ночной продажи четыре рубля доставались хозяевам кладбища (проще говоря, Абдулу Гафарзаде). За особое усердие с каждой десятки тридцать копеек отстегивали караульщику Афлатуну. Несколькими раз караульщик Афлатун, хлопая носом, пытался немного увеличить свою долю, хотя бы копейку до сорока, но из этих попыток ничего не вышло, потому что Бурун был скуп, и стоило караульщику Афлатуну, стесняясь, занять, что доход маловат, хлопал его по губам. Доход от торговли анашой доставался и Агакериму, и Василию, и Мирзаиби, но сумму устанавливал сам Абдул Гафарзаде и вручал им, сколько считал нужным и когда считал нужным.

По ночам таксисты привозили сюда клиентов, пожелавших выпить, — десять-двенадцать человек в ночь. Если клиент не знал этих мест и боялся выходить из машины, таксист брал себе за это с клиента трешку. Цену водки называл караульщик Афлатун, сидевший в будке в воротах, — например, четвертой за бутылку. Получив деньги, Афлатун шел в морг, отдавал 24 рубля, потому что ему самому полагался рубль с каждой бутылки, это разрешил сам Абдул Гафарзаде, и, завернув бутылку в газету, приносил клиенту. Караульщик Афлатун знал всех таксистов, которые приезжали сюда ночью, и в особой тетради вел подсчет: с каждой бутылки водки полтора рубля шло шоферу (дополнительно к полученной от клиента трешке); утром, окончив работу, перед тем как поставить машину в гараж, таксисты заезжали на кладбище Тюлюк Гельди и получали причитающуюся им сумму у караульщика Афлатуна или у Василия, Агакерима, Мирзаиби. В расчетах все было точно, и, можно сказать, никогда не бывало обиженных — летом и зимой всегда хлопающий носом Афлатун безотказно бегал за водкой, уважительно провожал клиентов, приветливо встречал, без обмана записывал в свою тетрадь пусть и одному ему понятным почерком, но нужные сведения.

Афлатун до войны жил в одном квартале с семьей Абдула Гафарзаде, приятельствовал со старшим братом Абдула Гафарзаде — Хыдыром, был одним из водителей первого трамвая в Баку, а в тридцатые годы вступил в партию и был направлен в одну из средних школ заместителем директора по хозяйственным вопросам и секретарем первичной партийной организации. Потом некоторое время сам был даже директором школы. Но на этом продвижение Афлатуна-муаллима в области просвещения остановилось. В руководимой им школе обнаружилось хищения, и Афлатун был исключен из партии. Впоследствии его дважды арестовывали за мелкие мошенничества. Во время войны, симулируя хромоту, он работал чайчи... Одним словом, он немало повидал на свете и наконец десять лет назад нашел Абдула Гафарзаде, и с тех пор его трудная жизнь как бы и закончилась, он ревностно служил

Абдулу Гафарзаде и жизнью был доволен, так доволен, что даже пообещал старшему сыну Колхозу, работавшему в типографии лнотипистом, купить машину «Жигули».

Порой в комнате, где играли в карты, назревал скандал, потому что сумма на кону повышалась до 10–15 тысяч рублей и нервы, естественно, напрягались, но Бурун не допускал, чтобы скандал разгорелся. Ночи Бурун проводил чаще в игорной комнате в морге, чем в такси, и его авторитет здесь был неперекраем.

Конечно, сам Абдул Гафарзаде ночью ни разу ногой не ступал в управление кладбища, но каждую пятницу Агакерим, Василий или Мирзаиби приносили недельную сумму, причитающуюся Абдулу Гафарзаде за ночную жизнь, сумму немалую: 7 процентов любого — большого или малого — выигрыша причиталось Абдулу Гафарзаде как хозяину места плюс доход с водки — шесть рублей из каждой десятки. Сумма подсчитывалась тщательно, потому что и Агакерим, и Василий, и Мирзаиби отлично знали: ошибись они хоть на рубль (об обмане речь вообще не могла идти!), Абдул Гафарзаде это тотчас станет известно — на кладбище Тюлюк Гельди и могильные камни были тайными шпионами Абдула Гафарзаде.

Несмотря на отличный доход, ночная жизнь морга была не по душе Абдулу Гафарзаде, его инстинкт, всегда бодрствующий, говорил ему, что рано или поздно водочная торговля, картежная игра, продажа наркотиков выйдут боком. Правда, никто не смог бы доказать, что эти темные дела связаны с самим Абдулом Гафарзаде, но если никогда в жизни его не подводивший инстинкт не принимал ночной жизни, значит, ее надо было прекращать, и однажды Абдул Гафарзаде вызвал в кабинет Агакерима, Василия и Мирзаиби и запретил ночную жизнь морга — карты и анашу. Торговлю водкой пока оставил.

Агакерим, Василий и Мирзаиби глаза вытаращили, а слова вымолвить от изумления не могли: с их точки зрения запрет был начисто лишен смысла... Но Абдул Гафарзаде всегда семь раз отмеривал, прежде чем отрезать, и если он что-то сказал — все, тут двух мнений быть не могло, а значит, раскрывать рот было незачем.

Бурун, услышав о запрете, вышел из себя, обругал, опозорил и Агакерима, и Василия, и Мирзаиби, стал грозить им и, несмотря на то что эти трое буквально умоляли его ничего не предпринимать, в полдень вместе с братом Гольбалой вошел в кабинет Абдула Гафарзаде.

Настоящее имя Буруна было Солтанмурад, но поскольку у него был слишком большой нос (бурун), он и стал Буруном. В восемнадцать лет он убил человека и отсидел пятнадцать лет, потом за ограбление сберегательной кассы среди бела дня снова был приговорен к пятнадцати годам, отсидел десять лет и вышел на волю. Он был знаменит во всех верхних кварталах Баку. У блатных самой надежной была клятва жизни Буруна: «Солтанмурад джаны!»

После тюрьмы Бурун работал таксистом, но доход с такси не составлял и десятой доли его дохода от ночной жизни на кладбище Тюлюк Гельди.

Гольбала, младший брат Буруна, был двухметрового роста и весил сто пятьдесят килограммов. Бывший боксер, он тоже водил такси.

Братьев знали в городе многие — от начальников разных цехов и директоров ресторанов до милиционеров. Перламутровый «ГАЗ-24» Буруна был известен на улицах Баку не меньше, чем его хозяин.

Абдул Гафарзаде был в кабинете один, читал газеты.

Бурун оттолкнул своего мощного брата и подошел прямо к Абдулу Гафарзаде:

— Закрываешь морг, да?

Абдул Гафарзаде положил газету на стол, посмотрел на Буруна, посмотрел на его брата Гюльбалу и кивнул головой: мол, да, закрываю, а про себя подумал: какие странные дела творятся на свете, вот два родных брата, но у одного вон какой нос, а другой хоть сам и верзила, а нос у него нормальный...

У Буруна от ярости глаза завращались, жилы на шее взбухли, лицо потемнело:

— Да ты знаешь, кто я?!

Абдул Гафарзаде не отвел глаз от бешеного человека, слегка подвинул стул, поудобнее усялся, локти на стол поставил, неторопливо потер друг о друга ладони:

— А ты знаешь, что такое «Домал»?

Бурун заорал:

— Нет!

Абдул Гафарзаде сказал, как всегда негромко и неторопливо:

— Откуда тебе знать? Дома не готовили, соседи не утощали! К тому же его трудно найти. ГДР выпускает. Всякую шваль приходится просить, чтобы ящик домой послали... Это порошок, уборную им мою. Смотри, Солтанмурад, — и Абдул Гафарзаде очень внимательно посмотрел Буруну прямо в глаза, — я велю сделать из тебя такой порошок! А твой огромный нос, клянусь, велю перемолоть в мясорубке и скормлю твоей жене и детям!..

Сердце Буруна выскакивало из груди, в тот миг он убил бы собственную мать, но не мог сдвинуться с места и сказать хоть слово, потому что холод серых внимательных глаз Абдула Гафарзаде заставил дрожать этого человека, прошедшего в тюрьмах большую часть своей жизни, считающегося волком в криминальном мире. Всем телом, всеми нервами, всем своим существом Солтанмурад чувствовал: сероглазый в черном галстуке и в очках теперь же, не сходя с мягкого кресла, не снимая локтей со стола, не дрогнув и не колеблясь, запросто в точности приведет свою угрозу в исполнение.

Гюльбала стал белый-белый и затрясся от злости. Он хотел шагнуть к Абдулу Гафарзаде, но Бурун, не отводя глаз от Абдула Гафарзаде, рукой удержал брата и смог только сказать:

— Посмотрим!

Потом, резко повернувшись, вышел из кабинета, таща за собой брата.

После этого Бурун не показывался на кладбище Тюлюк Гельди, но примерно через месяц в старом ресторане «Интурист» случайно встретился с Василием и, не сдержавшись, при молодой девушке (Василий пришел в ресторан с очередной молодой и красивой девушкой) вылил

Василию на голову полбутылки коньяку, дал крепкую оилсеуху. Бурун по-своему, вот так отомстил Абдулу Гафарзаде.

Разумеется, ресторанный инцидент сразу же стал известен Абдулу Гафарзаде, и через два дня, под вечер, в машину Буруна сели четверо, велели ехать в Загальбу, а когда выехали из Баку, остановили машину, избили Буруна до потери пульса, сняли с него брюки и ушли. Брюки под утро повесили, как знамя, над уличными воротами дома, где жил Бурун, и все парни махали, все женщины и дети видели то позорное знамя.

Бурун и Гюльбала трижды собирались напасть на Абдула Гафарзаде, но каждый раз отступали посрамленные, их срам доставлял удовольствие Абдулу Гафарзаде, он вспоминал о нем, когда ему становилось тоскливо, и настроение улучшалось. На какое-то время Бурун исчез, не показывал носа, и его было забыли, но однажды открылась дверь кабинета Абдула Гафарзаде — и Бурун вошел:

— Помоги мне, Абдул-гардеш!

Выяснилось, что учитель физики из Самарканда Сайзулла Мирзамухаммедов так обманул Буруна, такое навлек ему на голову, что теперь Бурун бьется как рыба об лед, а выпутаться не может.

И Абдул Гафарзаде помог Буруну.

И Бурун с газетным свертком в руке вошел к нему в кабинет, чтобы выразить уважение и вручить подарок.

И Абдул Гафарзаде серыми глазами сквозь очки мельком взглянул на газетный сверток и сказал:

— Не нужно... На праздники поздравись...

Тогда был канун Новруз-байрама, и начиная с того времени Бурун стал поздравлять Абдула Гафарзаде подарками на каждый Новруз-байрам.

И однажды Абдул Гафарзаде вызвал к себе Агакерима:

— Кроме Новруз-байрама разве праздников нет? Бурун — не советский человек, что ли? Есть 7 ноября, есть 1 Мая, есть День Конституции... Я верха поздравляю, а этот ведет себя так, будто живет в Иране, будто он племянник Хомейни и кроме Новруз-байрама праздников не признает... Нет, как более двухсот миллионов советских людей живут, так пусть живет и Бурун!.. Иди, передай ему!

И после этого Бурун поздравлял Абдула Гафарзаде со всеми праздниками, и Абдул Гафарзаде с улыбкой принимал подарки.

Их прекрасные отношения дошли до того, что Бурун, скандаливший когда-то с Абдулом Гафарзаде, теперь курить при Абдуле Гафарзаде не осмеливался — из уважения.

Абдул Гафарзаде поручил Агакериму сдать морг в аренду шести студентам по 70 рублей в месяц — два человека в комнате. Приехавшие в Баку из далеких сел на учебу в техникум студенты были спокойные люди, и когда работы бывало много, Агакерим, Мирзалиби, Василий заставляли и их бесплатно рыть могилы, как алкогаликов.

Студенты ежемесячно давали 420 рублей караульщику Афлатуну (ответственность за квартирантов лежала на караульщике Афлатуне, то

¹ Гардеш — товарищ.

есть если бы вдруг аренда вскрылась, отвечал бы Афлатун, Абдул Гафарзаде, конечно, ни о чем не имел и понятия), и Афлатун передавал деньги Абдулу Гафарзаде. Абдул Гафарзаде 20 рублей из них давал караульщику Афлатуну (и караульщик Афлатун всегда брал деньги и клал в карман с одними и теми же словами: «Да не лишишь нас Аллах, как это называется, ну это, тебя у нас над головой!.. Да наполнит Аллах твой карман, как это называется, ну это, благодатью!.. А мы живем в твоей тени!..»), а остальное брал себе. Конечно, 400 рублей в месяц для Абдула Гафарзаде ничто, но в каждом деле должен быть порядок и точность, к тому же Абдул Гафарзаде не тот человек, который отказывается от малых сумм, поскольку зарабатывает большие деньги, — у каждой суммы свое место и своя цена.

...В тот апрельский день Абдулу Гафарзаде сначала вспомнился Фарид Кязимлы, а потом Бурун с братом, и Абдул Гафарзаде, широко раскинув руки, с удовольствием потянулся, улыбнулся, нажал звонок, вызвал молодую и красивую девушку-секретаршу, и, когда девушка-секретарша вошла, Абдул Гафарзаде впервые за десять дней хорошенько рассмотрел ее с головы до ног и сказал:

— Позови Василия...

Покрасневшая под взглядом Абдула Гафарзаде девушка-секретарша даже не помнила, как вышла из кабинета: никогда в жизни никто не смотрел на нее так откровенно... А как на самом деле смотрел на нее Абдул Гафарзаде? Как на арбуз или дыню на базаре: мол, какой окажется внутри, если купишь...

Все женщины, работающие в управлении кладбища, помню того, что были прекрасными специалистами своего дела, были еще и красивы. От машинистки Бадуры-ханум до главного бухгалтера Евдокии Станиславовны. Их отбирал и брал на работу сам Абдул Гафарзаде. Правда, некоторые из них уже постарели, но Абдул Гафарзаде держал их на работе несмотря на это и, как всегда, оказывал им уважение. Как всегда, то есть как в их молодости. Каждая в свое время была любимой Абдула Гафарзаде...

Однажды женщины сели позавтракать. И главный бухгалтер, Евдокия Станиславовна, почему-то вдруг задумалась, голубые глаза ее повлажнили... Она глубоко вздохнула и сказала: «Абдул всех нас надул...» А кассир Маргарита Иосифовна внесла поправку: «Абдул всю советскую власть надул!..» В общем... Это всего лишь бабы сплетни кладбища Тюлюкю Гельди...

Абдул Гафарзаде взял на работу Василия Митрофанова по рекомендации своих друзей из Ростова, и Василий вместе с матерью-старухой переселился из Ростова в Баку. За двенадцать лет работы в управлении кладбища он полностью оправдал рекомендацию. Голубоглазый блондин, худощавый, красивый, на первый взгляд кажущийся простодушным, он с одной улыбкой, с одного взгляда понимал, чего хочет Абдул Гафарзаде, и поэтому был, может быть, самым близким Абдулу Гафарзаде человеком (разумеется, кроме членов семьи). Вообще люди на земле делились для Абдула Гафарзаде на две части: члены семьи, то есть Гаратель, Севиль, Омар, маленький Абдул (прежде еще бедняга Ордухан!), и все остальные люди.

Абдул Гафарзаде помог Василию получить в Баку двухкомнатную квартиру. Василий обставил ее с особым вкусом антикварными вещами, украсил прекрасными (альфрейными) малярными работами. Иногда квартира оказывалась нужной Абдулу Гафарзаде, и Василий вручал Абдулу Гафарзаде ключи, а сам со старухой матерью отправлялся к одному из бесчисленных приятелей в Баку. Они возвращались домой только после того, как Абдул Гафарзаде подаст сигнал — через три часа или через три недели.

Портрет Василия как передового рабочего был вывешен на районной Доске почета, среди передовиков производства. Абдул Гафарзаде часто упоминал имя Василия в своих победных рапортах, в докладах, даже в печати. Дважды Василий получал медали, и теперь Абдул Гафарзаде собирался представить его к ордену. Иной раз под хорошее настроение Абдул Гафарзаде, улыбаясь, говорил Василию: «Жаль, что ты числишься могильщиком!.. У нас могильщиков не ценят... Если бы ты был на другой работе, дорогой, хоть бы, например, парикмахером, я бы теперь тебя героем сделал, и вся страна бы о тебе говорила!.. Эй-богу, я бы депутатом тебя сделал! А теперь что? Пропади оно пропадом, это кладбище!»

Ну не Героем Социалистического Труда, не депутатом, а в партию Абдул Гафарзаде его провел и секретарем первичной партийной организации управления кладбища избрал. Рабочий к тому же, русский — образец нерушимой дружбы народов, и к тому же оценка преданности Абдула Гафарзаде центральной власти.

В Ростове Василий Митрофанов зарабатывал деньги (и немалые!) организацией оргий для некоторых высокопоставленных и денежных людей. По приезде в Баку, ознакомившись с дневной и ночной жизнью кладбища Тюлюкю Гельди, он сумел верно оценить здешнюю ситуацию и некоторое время отдавал себя прежней профессии, вызывая знакомых девушек из Ростова в Баку. Он вошел в деловой контакт с бакинскими проститутками, и по ночам клиенты, приезжавшие на кладбище Тюлюкю Гельди, кроме водки или анаши, за деньги, разумеется (сумма зависела от качеств проститутки и платежеспособности клиента, шестьдесят процентов проститутке, сорок — Василию), мог увезти с собой на ночь девушку (сколько она сорвет с клиента дополнительно — ее проблемы, чем она умнее и опытнее, тем больше и сорвет!). Но эта постепенно расширяющаяся деятельность Василия длилась недолго, Абдул Гафарзаде категорически запретил Василию приводить шлюх на кладбище Тюлюкю Гельди и вообще предаваться этому идиотскому занятию.

Василий больше не приводил девиц на кладбище Тюлюкю Гельди, он занялся молодыми русскими девушками, жившими в Баку, в стороне Баилова, и пристрастившимися к анаше. Он снабжал их анашой и отдавал во временное пользование денежным председателям колхозов, директорам совхозов, руководящим партийным и советским работникам районного уровня, работающим в районах Азербайджана, а также районам Грузии, Армении, Дагестана, в Краснодарской и Ростовской областях. Районные деятели проводили свои отпуска в санаториях Кисловодска, Сочи, Юрмалы, и девушки, получив у Василия

месячную дозу анаши (некоторые перешли на морфий, кокаин, и Василий, ругая их про себя, должен был находить и покупать эти наркотики, гораздо более дорогие, чем анаша), за счет районных деятелей снимали прекрасные квартиры поблизости от санаториев в Кисловодске, Сочи, Юрмале, развлекали своих покровителей, потом возвращались в Баку. Василий получал плату и с девушек, и с почтенных районных деятелей, и все при этом неплохо зарабатывали.

Абдул Гафарзаде считал, что для мужчины унижительно в делах зависеть от проституток. Если в дело вмешивается женщина (а особенно проститутка!), тогда делу вообще конец! Поэтому Василий Митрофанов стал посредником и организатором интимных дел одного только Абдула Гафарзаде.

Хотя Василий был очень близким Абдулу Гафарзаде человеком, он всегда знал свое место, близостью не злоупотреблял, не курил при хозяйине (если в руке была сигарета, то, завидев Абдула Гафарзаде, он прятал ее за спину) и не пил, и Абдул Гафарзаде высоко ценил его такт.

Абдул Гафарзаде ездил в командировки в другие города в основном по двум вопросам: либо по любовным делам, либо по картежным. Деловые вопросы решались в Баку, и если нужен был человек из другого города, его приглашали в Баку.

Теперь Абдул Гафарзаде в карты давно не играл. И не потому, что, выехав последний раз на карточный сбор в Ригу, он в одну ночь проиграл наличным сто десять тысяч рублей — карты есть карты, и тот, кто играет, должен уметь не только выигрывать. А потому, что прежних игроков уже не было: большинство поумирали, кого-то убили, кто-то, отказавшись от советского гражданства, под маркой Израиля уехал за границу и теперь изредка подавал весть из США, ФРГ, Италии, Турции, Греции, да и из Израиля тоже.

А когда-то они жили в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Ташкенте, Ереване, Таллинне, в других городах и по своему весу в обществе, то есть не по одному только огромному богатству, а по степенности (солидные были люди!), рассудительности, умению себя вести были равны Абдулу Гафарзаде. Они не были шпаной, дешевой, они не связывались с мелкими ворами, но теперь место тех выдавших виды мужчин заняли люди, у которых молоко на губах не обсохло, и хотя денег у них больше, чем у прежних, сами они гроша ломаного не стоят. Новое поколение управляло значительно большими территориями. Конечно, у территорий было партийно-советское руководство, но было еще и теневое, реально управлявшее заводами, фабриками, торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием, торговлей наркотиками, проститутками, часто между теневым руководством и официальным устанавливалась хорошая связь. И все-таки новое поколение состояло из совершенно несерьезных людей. Конечно, немало оставалось еще и старых друзей (как Абдул Гафарзаде), но они старели...

Размышляя об этом, Абдул Гафарзаде про себя усмехался, потому что советские газеты, радио, телевидение с утра до вечера писали об отвратительной мафии в капиталистических странах, и в тех же газетах печатались хвалебные очерки о каком-нибудь, например, председателе

колхоза, Герое Социалистического Труда из Средней Азии, о каком-нибудь видном хозяйственнике из Ростовской области, из прибалтийских республик, а это был тот самый Герой Социалистического Труда, тот самый хозяйственный руководитель, с которым Абдул Гафарзаде лично только что играл в карты в Одессе, в Ереване или в Кисловодске и, играя, решал деловые вопросы...

Образ жизни нового поколения был совсем не по душе Абдулу Гафарзаде, и поэтому он больше не ездил на картежную игру. Внешние стороны каждодневной жизни этих молодых людей — и виски, что они пили, и проститутки, одежде ими по последней моде и обшарпанные драгоценностями, которых они водили рядом с собой, анаша, которую они курили, морфий, которым кололись, сотни, которые они швыряли в ресторанах официантам каждый раз после трапезы сверх счета, их роскошные усадьбы, сооружаемые откровенно, у всех на глазах, без всякого стеснения, «мерседесы», в которых они разъезжали, — все это очень не нравилось Абдулу Гафарзаде.

Нельзя было, сидя на корабле, так откровенно бросать вызов капитану. Все это, по мнению Абдула Гафарзаде, могло плохо кончиться.

Правда, дела этого мира наперед знать нельзя, но похоже было, что до конца жизни Брежнева оставалось немного, его веде под руки водят, а выступая, он так мямлит, что и понять невозможно. Кто придет после Брежнева? Конечно, может прийти такой, что дела пойдут еще лучше (Абдул Гафарзаде был почти убежден, что так и будет! Общество, в котором говорят одно, а делают прямо противоположное, невозможно исправить, потому что начнешь исправлять, так оно вообще развалится, и поэтому руководство оно должно избирать под стать себе!), но дурного не ждать, так и доброе не придет, мог к руководству прийти и такой (это Советский Союз, это история — может быть все что угодно!), что все перевернет с ног на голову... Правда, Абдул Гафарзаде хоть и ни во что на свете не верил, а в силу денег верил на сто процентов, но... Все равно новое поколение ведет себя неправильно, совершенно неправильно!

Прежде они перезванивались от Москвы до Херсона, съезжались, и тогда и карты, и оргин, и веселье были, в сущности, лишь предлогом, потому что главная цель была другая: они обменивались идеями, советовались, протягивали друг другу руку помощи, готовили будущие деловые встречи. А теперь цель — сами карты и сами развлечения, потому что деньги слишком легко даются, сами в руки идут, слишком много дающих взятки и берущих слишком много. Прежде настоящие мужчины общались с профессорами, видными артистами, композиторами, художниками, писателями, известными врачами... Правда, и у нового поколения профессора, начальники, министры были под рукой. Но Абдул Гафарзаде с течением дней все больше убеждался: теперешние профессора, писатели, композиторы, артисты, обладатели высоких должностей измельчали и продолжают мельчать. Ряды прежних мужчин редуют...

...Вошел Василий. Абдул Гафарзаде сказал:

— Поговори с Москвой. Двухместный номер в гостинице нужен на завтра.

Василий удивился и на чистом азербайджанском языке (у него был, как видно, особый талант к языкам, всего через год после переселения в Баку он стал чисто говорить по-азербайджански) спросил:

— Вы едете в Москву, Абдул Ордуханович?

Абдул Гафарзаде скривился, подумав о сыне свояченицы, Фариде Кязымлы:

— Нет, знакомый едет.

— Люкс, Абдул Ордуханович?

— Пускай... — Абдул Гафарзаде, сняв очки и протирая стекла платком, усмехнулся: — У тетиного мужа денег много.

Василий ничего не понял, но задавать вопросы и прояснить ситуацию было не в его стиле, поэтому он спросил как обычно:

— Больше ничего не нужно, Абдул Ордуханович?

— Нет, дорогой. Только твое здоровье.

— Большое спасибо. Я могу идти, Абдул Ордуханович?

— Иди, займись, дорогой, вечером я буду дома, позвонишь, расскажешь.

— Конечно. Пожалуйста.

Василий вышел. Но после разговора о Москве комнату заполнил удивительный весенний воздух, и Абдул Гафарзаде, конечно, тотчас его ощутил, почувствовал, узнал, тот весенний воздух в памяти остался свежим, и внезапно пришедшие на память воспоминания снова, как и в далекие прекрасные дни, принесли ему юную радость, прогнали все заботы и горести. Правда, сколько-то, как у рыбы, тело Розы внезапно выскользнуло из его объятий... Но весенние чувства, свежесть не унесло с собой, те весенние чувства и свежесть навсегда остались с Абдулом Гафарзаде и иногда, как сейчас, внезапно приходили на память.

Розе было двадцать восемь лет, то есть прошлой весной — в прекрасную, незабываемую пору, при воспоминании о которой закипала кровь, — было двадцать восемь лет, и Абдул Гафарзаде, повидавший в жизни много женщин, знал, что самое время любить Розу, через пять, даже через три года будет поздно, нынешней Розы не будет. Когда Абдул Гафарзаде увидел Розу впервые, каким он представил себе ее тело, таким оно и было в действительности: белоснежное, гладкое, здоровое, бедра полные, пупок глубоко скрыт, живые и всегда горячие, пламенные груди казались звенящими — это было сплошное счастье, и это сплошное счастье прошлой весной чуть не свело с ума Абдула Гафарзаде. Роза отлично знала, какая сейчас пора в ее жизни, она понимала, что через пять лет, конечно, сохранит свою красоту, — наверное, сохранит и блеск, и способность увлечь, но теперешней Розы не будет. И Роза умело сводила людей с ума...

Она работала на Восьмом километре, в сберегательной кассе, напротив старого трехэтажного дома, среди знакомых считалась самой красивой женщиной во всем Баку, а не только на Восьмом километре, и Василий познакомился с нею на одном из бесчисленных празднеств. Он сразу по достоинству оценил эту женщину и поэтому счел ее достойной не себя, а самого Абдула Гафарзаде. Красота и кокетливость Розы были так впечатляющи, что дьявол чуть не сбил с пути истинного Василия Митрофанова, молодой человек впервые за время служения

Абдулу Гафарзаде чуть не ступил на путь «предательства»... Василий знал вкус Абдула Гафарзаде и был совершенно убежден, что Абдул Гафарзаде безумно влюбится в эту женщину, и Василий также хорошо знал, что в пору любви Абдул Гафарзаде деньги не считает за деньги, Василий мог сговориться с Розой и делить с нею деньги, что будут сорваны с Абдула Гафарзаде, и доход, разумеется, был бы куда больше обычного (потому что Василий Митрофанов знал все самые тонкие пути, которыми Абдула Гафарзаде можно ввести в расход, и с помощью Розы вполне мог тайно пользоваться этими путями), но Василий, хотя и с большим трудом, обуздал себя, заставил себя сказать: «Будь проклят, дьявол!»

Роза была одинока и скорее всего согласилась бы на предложение симпатичного Василия, но когда Василий на мгновение представил себе, что Абдул Гафарзаде может узнать о его «предательстве», все внутри у него дрожня дрожало, хотя он, честное слово, несмотря на молодость, многое повидал на свете, а о том, чего не успел повидать, имел достаточно ясное, хоть и теоретическое представление. Страх вынул из Василия и на этот раз, как всегда, верно послужить Абдулу Гафарзаде, заставил быть преданным посредником между ним и Розой.

Абдул Гафарзаде, увидев Розу, сразу понял, что с такой женщиной он не хочет видеться тайком и наспех в Баку. Сначала Василий съездил в Москву и все там подготовил, потом поехала Роза, а уж потом и Абдул Гафарзаде. И Абдул Гафарзаде никогда не мог и предположить, что в нем еще столько юношеской страсти, Роза воскресила в Абдуле Гафарзаде юношу. В последнее время, особенно после бедняги Ордухана, Абдулу Гафарзаде казалось, что жизнь прожита, завершается, но дни с Розой в весенней Москве будто вернули его к жизни, дни с Розой возвратили не одни воспоминания о чувствах, волнениях тридцатилетней давности, но и сами молодые чувства.

Роза была айсоркой, и бывали минуты, когда Абдулу Гафарзаде, в свободное время прочитавшему много книг о древней Ассирии, казалось, что эта женщина с большими, черными, яркими, сверкающими глазами вошла в его жизнь не из сберегательной кассы Баку, а из древних эпох.

В том трехкомнатном номере люкс гостиницы в самом центре Москвы Роза ничего на себя не надевала, жуя кардамон (Абдулу Гафарзаде нравился запах кардамона), ходила нагая, и, лежа в кровати или сидя в кресле, Абдул Гафарзаде не мог насмотреться на эту здоровую, страстную женщину. Абдул Гафарзаде никогда никакими деньгами, никакими сокровищами, никакими драгоценностями не гордился так, как Розой, в те дни ему казалось, что Роза была самым ценным сокровищем из всех полученных им в жизни.

Абдул Гафарзаде в любое время мог взять командировку на любой срок в любой город Советского Союза. Московскую поездку он предусмотрел как пятнадцатидневную, и первые пять дней и ночей промчался как миг — гигантский миг, полный чувств и волнений: за пять дней ни Абдул Гафарзаде, ни Роза ни на минуту не вышли из своего трехкомнатного номера люкс, даже в ресторан не ходили. Ресторан-то уж ладно, Абдул Гафарзаде вообще терпеть не мог рестораны, но за

пять дней Роза не смогла найти возможности позвонить своему дяде Асатуру!

Одним из самых ярких детских воспоминаний Розы, и может быть, первым из них, была большая коробка цветных карандашей, которые привез ей в подарок из Москвы дядя Асатур. Красный, зеленый, желтый, розовый, оранжевый — карандаши слились в памяти с чистотой, наивностью, искренностью четырнадцатилетней девочки Розы, в блеске красного, зеленого, желтого, розового, оранжевого была странная печаль, даже слезы. С тех пор прекрасная женщина не знала равных по яркости и чистоте чувств, а вспоминая карандаши, она вспоминала те чувства и маленькую себя, и без всякой причины ей хотелось горько плакать, всхлипывая.

Дядя Асатур водил в Москве трамвай, и с тех пор, как умер его родной брат, то есть отец Розы, а мать Розы вышла замуж за соседа-парикмахера, вдовца-азербайджанца, дядя не приезжал в Баку, но ко всем праздникам, включая 28 апреля — день установления советской власти в Азербайджане, — присылал Розе поздравительные открытки. Дядя Асатур был единственным в мире человеком, который посылал Розе открытки.

Когда Василий Митрофанов вел, как говорится, переговоры с Розой от имени Абдула Гафарзаде и Роза дала согласие на прекрасную московскую поездку, печальный блеск красного, зеленого, желтого, розового, оранжевого вспомнил ей, и в воспоминаниях облик дяди Асатура предстал как сама чистота.

В Москве Роза хотела непременно позвонить дяде Асатуру и повидаться с ним, собиралась пойти к нему домой и сказала об этом Абдулу Гафарзаде, но что дядя Асатур — водитель трамвая, не сказала.

Ей показалось, что это неудобно, и она придумала, что дядя работает в Министерстве торговли СССР. Придумала и стала волноваться: вдруг Абдул Гафарзаде захочет увидеть, познакомиться с человеком, работающим в Министерстве торговли.

Но Роза напрасно беспокоилась, потому что Абдул Гафарзаде знал в жизни множество роз и нероз и видел их навзвозь, как прозрачных. Он сразу догадался, что Роза про дядю лжет, и, чтобы не портить себе настроение, не стал углубляться...

В те волшебные пять дней только звонки Василия Митрофанова напоминали о жизни за пределами гостиничного номера. Василий жил в той же гостинице и звонил каждый день, раз утром и раз вечером: «Не нужно ли чего, Абдул Ордуханович?» А что могло быть нужно Абдулу Ордухановичу? В те прекрасные весенние дни в том трехкомнатном номере-люкс — ничего, кроме Розы. Никакие драгоценности мира.

Но вечером на пятый день Абдул Гафарзаде сказал Василию:

— Душа кеманчи просит, Вася... — В коротенькой фразе было столько сердечности, столько души, голос был жалобный, почти молящий. Василий никогда не слышал у этого человека такого растроганного голоса...

Абдул Гафарзаде и сам не знал, почему душа запросила кеманчи, обычно он слушал кеманчу в печальные минуты, но тогда весной

в Москве сердце Абдула Гафарзаде расцвело, как столетнее дерево, и он забыл заботы и горести мира; но, как видно, на сердце что-то было...

Абдул Гафарзаде никогда не ходил по номеру голым, как Роза, он одевался сразу, как вставал с кровати, это у Розы тело было белоснежное, кожа тугая и гладкая, а своего тела Абдул Гафарзаде стеснялся. Живот большой, волосатый... Несмотря на веселье, шаловливое, страстные призывы Розы, в совершенстве владеющей всеми тонкостями мира любви, любовных дел, Абдул Гафарзаде не становился с ней вместе под душ. Шел в ванную, закутывал Розу в большое китайское полотенце, брал на руки и нес на кровать...

Ранним утром Василий улетел в Баку и вечером вернулся в Москву с Ахмедом Ширкеримом, знаменитым кеманчистом. Из Внуковского аэропорта заехал на московский Центральный рынок, у апшеронских цветочников купил для Розы охапку свежих нераскрывшихся роз и в тот же вечер привел Ахмеда Ширкерима в трехкомнатный номер-люкс.

Ахмед Ширкерим настроил кеманчу, как обычно закрыл глаза и сыграл для начала один «Сейгях», и сыграл его так душевно, в гостиничном номере Москвы «Сейгях» прозвучал так таинственно-неожиданно и в то же время интимно, что даже Василий и Роза, не любившие кеманчу и не понимавшие мугам, по правде говоря, получили удовольствие.

Потом Ахмед Ширкерим играл азербайджанские народные песни, плясовые мелодии и снова вернулся к мугаму, по просьбе Абдула Гафарзаде сыграл «Сары бюльбюль»... Эту песню очень любил покойный Хыдыр, Абдул Гафарзаде как сейчас помнил: Хыдыр в зимнюю стужу моется во дворе под краном холодной как лед водой и напевает «Сары бюльбюль». «Сары бюльбюль» был тот же самый, он был как всегда живой, а Хыдыр давно уже был в праведном мире, и Ахмед Ширкерим будто знал об этом, языком кеманчи он вспоминал брата, и воспоминания терзали сердце Абдула Гафарзаде, и глаза его повлажнели. Ахмед Ширкерим заиграл «Кесме шикесте». Закрыв глаза, двигая туда-сюда смычком по струнам, он в такт качал головой, и Абдулу Гафарзаде казалось, что между звуками «Кесме шикесте» и большими черными глазами Розы, ее белоснежным тугим телом есть что-то родственное. Родственность была не кровной, а временной, эпохальной, она говорила о том, что красота на земле вечна, будь то красота песни или женщины, она говорила о древних временах, о давнем мире, о несосягаемости дали истории, и Абдул Гафарзаде, тоже закрыв глаза, слушающий кеманчу, мыслями уходил в древность, в недостижимость.

Ахмед Ширкерим закончил играть «Кесме шикесте», и в гостиничном номере воцарилась странная тишина, в самой этой тишине была древность...

Потом Абдул Гафарзаде сунул руку в нагрудный карман пиджака, выгалил большое портмоне из крокодиловой кожи, которое носил в кармане почти тридцать лет, и, отсчитав Ахмеду Ширкериму десять сотенных, сказал:

— Да будет впрок.

Довольный Василий взглянул на Ахмеда Ширкерима и кивнул головой: мол, видишь, я говорил...

Воодушевленный столь высокой оценкой музыки (хруст сторублевок был звонок), Ахмед Ширкерим достал из футляра скрипку, которую привез из Баку вместе с кеманчой, встал перед Розой и, снова закрыв глаза, заиграл «Очи черные», посвященные Розе, специально для нее, ей одной...

В ту ночь, засыпая, прильнув к боку Абдула Гафарзаде, Роза в тишине и темноте трехкомнатного номера-люкс отчетливо слышала стук его сердца, и в том стуке было нечто родное, чего раньше Роза не чувствовала никогда. Розе казалось, что она действительно начинает любить этого пожилого мужчину с большим волосатым животом, недавно чуждая, а теперь ставшая своей кеманча будто снова печально заиграла, ее голос просачивался сквозь тишину, и, окончательно засыпая, Роза представила себе, что это не гостиничный номер, а ее собственный дом, а лежащий рядом мужчина — ее муж, и, внезапно ощутив семейную близость, Роза легонько погладила волосатую грудь Абдула Гафарзаде.

В Баку, на Восьмом километре, на третьем этаже трехэтажного здания, напротив сберегательной кассы, в которой Роза работала, между верхней границей уличных окон и крышей из камня была выгесана такая надпись:

1867

**Мешади Мирза Мир Абдулла
Мешади Мир Мамедгусейн оглу**

Когда Роза смотрела из окна кассы на эту надпись, ей казалось, что в сравнении с древностью даты, с давностью жизни Мешади Мирзы ее собственная жизнь, все ее волнения — детская игра. Теперь, в трехкомнатном номере-люкс, перед сном, легонько поглаживая волосатую грудь Абдула Гафарзаде, Роза воображала, что она не в постели, а в той давности, где жил Мешади Мирза, в нынешнем ненадежном мире если и можно на что-то надеяться, на что-то опереться, то только на эту древность — ее надежность, ее покой принесли успокоение молодой женщине...

По раздался телефонный звонок, и по звонку Абдул Гафарзаде сразу понял, что он из Баку и в Баку что-то случилось. В первый же день приезда сюда он позвонил в Баку и на всякий случай дал Гарателю номер (он всегда так делал, бывая в других городах!). Поспешно вскочив, он схватил трубку.

— Здравствуйте, дядя Абдул. Это Омар говорит. Как вы?

— Что случилось?

— Что?

— Что случилось, спрашиваю.

— Мама заболела, дядя Абдул.

Абдул Гафарзаде вначале понял, что речь идет о матери Омара, то есть о жене Муришуда Гюльджакхани, и успокоился, задышал спокойно.

— Состояние серьезное?

— Что?

— Я спрашиваю, состояние серьезное, тяжелое?

— Да, тяжелое.

— Детка, так твоя же мама-бедняжка была здоровым человеком...

— Да не моя мама, э, дядя Абдул, мама Гаратель заболела. И мы приехали сюда. Из вашей квартиры говорим. Севиль сказала, чтоб я позвонил вам, а то я не беспокоил бы вас. Она очень боится...

Абдул Гафарзаде вдруг весь как ребенок затрясся (после смерти Ордукана он очень боялся внезапных смертей), как ни пытался взять себя в руки, ничего не получалось, и, больше ничего не спрашивая, он бросил трубку на рычаг — и счастье с Розой, и весенняя свежесть, заполнившая все его существо за шесть московских дней, в мгновение начисто исчезли. Абдул Гафарзаде торопливо умылся и стал одеваться.

Роза проснулась, включила бра над головой и села в постели, одеяло соскользнуло с груди, упало на бедра, но теперь грудь Розы в свете бра была обыкновенной женской грудью.

— Что случилось?

— Мне надо уезжать, Роза...

— Куда?

— В Баку.

— А я?

— Ты сколько хочешь гуляй здесь. Иди... как, ты говорила, зовут этого человека? Да, Асатур... Вот и повидайся с ним... Вася тоже останется, как захочешь, он тебя привезет...

Надев пиджак, Абдул Гафарзаде позвонил, разбудил Василия, велел ему спуститься и подождать его на первом этаже. Потом сунул руку во внутренний карман пиджака, вытащил свое большое портмоне из крокодиловой кожи, положил три тысячи на телевизор и сказал Розе, смеющейся на него все еще сонными глазами:

— Это тебе.

Роза, прищурившись, внимательно посмотрела на Абдула Гафарзаде:

— Что?!

— Эти деньги — твои.

Роза вдруг вскочила с места, как кошка бросилась к телевизору и, схватив с телевизора деньги, швырнула их на пол.

— Кто я такая, по-твоему? Ты что мне деньги суешь?! За услугу?!

Абдул Гафарзаде в ту же ночь улетел в Баку.

Конечно, те три тысячи рублей были ничто в сравнении с шубой из выдры, которую он купил Розе, с золотым браслетом, жемчужным ожерельем, гарнитуром из бриллиантовых серег и кольца, японским сервизом на двадцать четыре персоны... Но поступок Розы в ту ночь, ее слова: «Кто я такая, по-твоему? Что ты мне деньги суешь?!» так повредились Абдулу Гафарзаде, что, хотя с тех пор они больше не были с Розой близки (Абдул Гафарзаде не любил повторов), при посредстве Василия он устроил ее на заочное отделение Института народного хозяйства, чтобы она стала квалифицированным экономистом. Вообще после той прекрасной незабываемой московской весны Абдул Гафарзаде часто думал о Розе и искренне хотел, чтобы эта молодая женщина была счастлива, и столь же искренне не хотел, чтобы она распусти-

лась, попала в дурные руки. Он даже подумывал, не женить ли Василию на Розе, но пока не пришел к решительному выводу.

А три тысячи рублей так и оставались в номере-люке рассыпанными по полу, и после ухода Абдула Гафарзаде Розе, конечно, пришлось собрать хрустящие струбленки с пола по одной...

12. Встреча

Хосров-муэллим никогда в жизни не видел дочерей Калантара-муэллима, однако вначале часто, потом все реже, но даже и сейчас, когда календарь века перешагнул восьмидесятую отметку, тех девочек он время от времени видел во сне. У них не было лиц, вернее, их лица были будто за тюлевыми занавесками, они хором плакали, слезы из глаз текли у них как сель, лились по улицам, сливались в море, и Хосров-муэллим во сне боялся утонуть, умереть в море слез, пролитых дочерьми Калантара-муэллима. Кто-то, очень возможно, что жена Калантара-муэллима — за долгие годы Хосров-муэллим забыл ее лицо, — утешал и девочек, и Калантара-муэллима, и Хосрова-муэллима, который все это видел во сне (и во сне знал, что это только сон...): «Вода — это к ясности... Вода — это к ясности...»

Правда, Хосров-муэллим знал, что все это сон, но и зная это, боялся утонуть в море слез, а Калантар-муэллим, сидя в маленькой лодке, плавал в том море. «Слушай, у меня дела хороши, — говорил он, — потому что мне с самого начала повезло. Что ж, что я отец семерых дочек? Моя жена из полкило мяса готовит так много и к тому же так вкусно, что мы досесть не можем. А когда живот полный — значит, дела отличные. Значит, и химню детям преподавать будешь хорошо». И Калантар-муэллим смеялся, но Хосров-муэллим знал, что, в сущности, это не смех, а плач, потому что из глаз Калантара-муэллима текли слезы, наполняли лодку, и лодка исчезала, и Калантар-муэллим исчезал, и Хосров-муэллим понимал, что Калантар-муэллим утонул в море слез, и боялся, что сам утонет, а девочки все плакали, и воды прибывало...

Тогда Аруз сказала Хосрову-муэллиму: «Мне-то что, я одна... А у Калантара-муэллима, бедняги, семь дочек остались...»

После этих слов Хосров-муэллим если где видел нищенку, думал, что это обязательно дочь Калантара-муэллима, останавливался, вглядывался в лицо нищенки, хотел отыскать и всегда находил в ее лице сходство с Калантаром-муэллимом, а нищенка так пугалась его взгляда, что убегала...

Количество девочек, которые снились Хосрову-муэллиму, бывало большим, бывало маленьким, но как бы много или мало их ни было, они были семью дочками Калантара-муэллима, семью девочками-сиротками, которых Хосров-муэллим не видел никогда в жизни.

Кончались семидесятые годы, и старуха Хадиджа верно говорила: Хосров-муэллим впервые за свою долгую жизнь (и как видно, в последний раз...) летом поехал отдыхать. Был август, в Баку стояла жара, Хосров-муэллим получил на почте отпускные (последний год перед пенсией он работал в киоске), прибавил к собранным за годы двумстам

рублям и, купив билет в общий вагон поезда «Баку — Кисловодск», под вечер уехал.

Последний раз Хосров-муэллим садился в поезд в 1956 году, когда возвращался в Баку из Томской области. Целыми днями, вот так же сидя перед окном общего вагона, он смотрел на сменяющие друг друга дорожные картины, но, в сущности, ни одной из них не видел, а видел поднимающийся в Шушу фэзтон Ованеса-киши, разноцветного мертвого петуха, Красного Якуба у шлагбаума, преградившего дорогу на Гадрут, костер, горящий в шести километрах от Гадрута, все вглядывался в лицо Хыдыра-муэллима (он еще не знал, что Хыдыр-муэллим был расстрелян семнадцать лет назад — в один из зимних дней 1939 года, узнал только в Баку), рассматривал каждую черточку этого лица, все хотел разобраться, понять Хыдыра-муэллима, и порой ему казалось, что Хыдыр-муэллим это не Хыдыр-муэллим, а Мамедага Алекситров, потому что после семнадцати лет разлуки в поезде, который идет в Баку, если смотришь в окно общего вагона и думаешь о Хыдыре-муэллиме, то сам не замечаешь, как на стекле появляется лицо Мамедаги Алекситрова, следователя...

Поезд, шедший из Томской области, и дни, которые он просиживал перед окном общего вагона, — все осталось в прошлом. И по мере того, как годы сменяли друг друга, и костер в шести километрах от Гадрута, и торжество в доме Алескера-муэллима, и холод Нарыма — все перемешалось, превратилось в какой-то клубок, порой так сжимавшийся, съезживавшийся, что делался величиной с орех и застревал в горле Хосрова-муэллима, и тогда казалось, что вот сейчас сердце лопнет, вот сейчас смерть придет, но смерть не шла, сердце не разрывалось, и выходило, что раз живет мир, надо жить и Хосрову-муэллиму...

В тот августовский вечер Хосров-муэллим вошел в общий вагон поезда, идущего в Кисловодск, показал проводнице билет и хотел спросить, где его место, но очень толстая пожилая женщина-проводница сидела в тот дикий зной в своем купе, с хрустом поела большой соленый огурец, читала какую-то старую книгу и, не поднимая головы, говорила:

— Давай... Давай... Проходи...

Хосров-муэллим нашел свое место (опять у окна), маленький ручной чемоданчик поставил под деревянное сиденье и, вдыхая тяжелый от смешанных запахов общего вагона и чересчур горячий воздух, подумал: где же он видел эту проводницу?

Поезд тронулся. Толстая проводница, выковыривая из зубов длинным ногтем указательного пальца остатки соленого огурца, пришла проверять билеты. Как только она встала перед Хосровом-муэллимом, он окончательно убедился, что откуда-то хорошо ее знает. Но кто она, никак не мог вспомнить.

Громко, чтобы весь вагон услышал, проводница закричала:

— Туалет содержите в чистоте! Кто набезобразит в туалете, дам в руки тряпку, сам будет мыть! — Потом протянула к Хосрову-муэллиму руку, которой ковыряла в зубах: — Давай быстрее! Давай-ка билет!

Хосров-муэллим протянул билет, который держал наготове, но проводница, вместо того чтобы взять билет, в колеблющемся вагонном свете пристально посмотрела на Хосрова-муэллима и вдруг спросила:

— А-а-а... Ты — Хосров-муэллим? — И глаза ее засверкали невероятным любопытством. — Слушай, а тебя не расстреляли? Откуда это ты воскрес?.. Ничего себе!..

Хосров-муэллим знал, что это очень знакомая, близко знакомая женщина, кто же она, господи, кто? Никак не вспомнилось. Изнутри поднялось какое-то очень нехорошее, дурное чувство, которое смешалось с запахами общего вагона, — пот, вареные яйца, колбаса, лук, чеснок, — и чуть не вызвало у него рвоту.

А проводница взяла билет Хосрова-муэллима.

— Не фальшивый?.. — сказала и громко расхохоталась. — Не узнал меня?

Хосров-муэллим не отрываясь смотрел на нее, толстую, седую, когда улыбаются или смеется, видны испорченные и металлические зубы... Он ее знал... Он, конечно, ее знал... Он знал, кто она... знал... Но кто же она?! И нехорошее, дурное чувство снова подступило к горлу Хосрова-муэллима, и когда он сплывал, острый кадык поднимался и опускался на тонкой шее.

Женщина-проводница сказала:

— Да это же я! Не узнал? Я Арзу, да, дочь Алескера-муэллима!..

Хосров-муэллим все так же глотал воздух и ничего не говорил, пот стекал со лба и повисал на кончике носа.

Женщина-проводница (Арзу!) опять рассмеялась.

— Ты как и прежде неразговорчивый, да?.. Ну и ну!.. Я думала, тебя давно расстреляли, а теперь уж и кости твои сгнили!.. Но ты хорошо сохранился, ей-богу! — И толстая женщина-проводница смолкла, вдруг удалась куда-то очень далеко, потом произнесла: — Же ву фелисит, мадемуазель... Помнишь?..

Странное дело, все хранилось у Хосрова-муэллима в памяти, но ничего он не помнил, в мозгу его и чувствах все перемешалось, слилось в клубок, но самое неожиданное, что из этого клубка, окончательно спутанного, так что ничего нельзя извлечь, вдруг как бы издалека слышался крик новорожденного. Кто был тот младенец? Джафар? Аслан? Азер? Или эта самая Арзу? Кто?

А тот младенец кричал...

В это время в вагоне погас свет, и пассажиры зашумели:

— Сапожник!..

— Атаида!

— Убери руки!

— Пожарный!..

И в шуме-гаме раздался властный, хриплый голос женщины-проводницы (Арзу!), истинной хозяйки вагона:

— Смотрите не воруйте, да!.. Милиционер в соседнем вагоне!

Потом свет загорелся, шум прекратился, пассажиры стали понемногу засыпать на своих сидячих местах, поезд шел мимо Дербента, и Гюльзар, если она была жива, наверное, и в голову не могло прийти, что сейчас Хосров-муэллим мимо проезжает...

Среди ночи женщина-проводница (Арзу!) снова подошла и встала перед Хосровом-муэллимом и, мокрым платком вытирая пот с груди, выпирающей из лифчика, сказала:

— Чего ты не спишь, Хосров-муэллим? Есть на свете что-нибудь лучше сна? Мечтаю досыта выспаться... Почему ты не спишь?

Хосров-муэллим отвел глаза от окна, посмотрел на пассажиров вокруг, привалившихся друг к другу плечами, свесивших головы, спавших кто сладко, кто беспокойно, потом посмотрел на Арзу и ничего не сказал.

Арзу широко зевнула, распространяя запах спитуса, глаза ее увлажнились, и сквозь зевоту она сказала:

— Увидела тебя, многое вспомнила... Откуда ты появился в моем вагоне, а?.. — Она опять зевнула и, зевая, произнесла: — Мне-то что, я одна была!.. А у Калангара-муэллима, бедняги, семь дочек осталось!..

Вот после той ночи семь дочек Калангара-муэллима, никогда не виденных Хосровом-муэллимом, стали входить в его сон, стали повторяться сном, и Хосров-муэллим так привык к нему, что сон стал казаться явью, как костер, горевший в шести километрах от Гадрута, как плевки следователя Мамедаги Алексера, как то, что Гюльзар вышла замуж за шофера и пересекла в Дербент, сон о семерых девочках стал частью жизни Хосрова-муэллима, запутался в общий клубок...

Хосров-муэллим побыл в Кисловодске месяц, каждый день даром пыл нарзан, рядом с домом, где он снял комнату, был спокойный садик, куда он каждый день приходил посидеть, и однажды снова услышал откуда-то издалека крик младенца. Хосров-муэллим на этот раз увидел и профессора Фазиля Зия, бережно принимавшего младенца из лона матери, даже профессор Фазиль Зия пришел и сел рядом с Хосровом-муэллимом... Хосров-муэллим видел профессора Фазиля Зия пару раз на торжествах у Алескера-муэллима и с тех лет впервые вспомнил. Хосров-муэллим в тихом садике в Кисловодске вспоминал профессора Фазиля Зия, и доносившийся издалека младенческий крик превращался в голос шестилетнего Джафара, четырехлетнего Аслана, двухлетнего Азера, и сам профессор Фазиль Зия обернулся профессором Львом Александровичем Зильбером...

За тот месяц у Хосрова-муэллима подобные встречи в тихом садике в Кисловодске бывали часто...

За тот месяц игрившие в садике в Кисловодске дети, молодые люди, приходившие в садик, привлекли к длинному, худому, иногда разговаривавшему с самим собою старику, как к тамошним скамейкам и деревьям; потом худой, длинный старик исчез, но ни игрившие в садике дети, ни приходившие в садик молодые люди этого не заметили...

Хосров-муэллим вернулся в Баку. Началась осень, и Хосров-муэллим почему-то очень плохо переносил в том году осень; после того прекрасного воздуха в Кисловодске он все не мог привыкнуть к дымному Баку, ни дома, ни на улице не находил покоя, по ночам просыпался от одышки и до утра сидел в постели, не мог заснуть.

Потом началась зима, в Баку день-два шел снег, потом стал таять, и в один из таких дней, в воскресенье, Хосров-муэллим пошел на базар, купил яблочко, дивно пахнущей айвы, апельсина, сел в автобус и поехал на Восьмой километр. (Арзу тогда написала свой адрес, и Хосров-муэллим с тех пор носил его в кармане.)

А там чуть прошел и встал прямо против старого трехэтажного здания. Каменные стены потемнели дочерна, краска на рамах и балконных перилах высохла и осыпалась, и поскольку таял снег, с перил и крыши капала черная вода. На самом верху, между крышей и наличниками третьего этажа, была выбитая на камне и теперь едва различимая надпись:

1867

Мешади Мирза Мир Абдулла
Мешади Мир Мамедгусейн оглу

Здание было на тридцать три года старше Хосрова-муэллима. Его построил человек по имени Мешади Мирза Мир Абдулла Мешади Мир Мамедгусейн оглу, и с тех пор оно вот так безмолвно стоит и наблюдает за делами мира. Хосрову-муэллиму показалось, что он знаком с этим зданием, откуда-то его знает. И как если бы здание было человеком, он подумал: откуда я его знаю?

А может быть, эта долгая жизнь — вторая, может, когда-то однажды он уже жил в этом мире, а теперь живет во второй раз...

Хосров-муэллим вошел во двор и остановился перед дверью номер семь на первом этаже. Слева от двери на асфальте из трех деревянных ящичков соорудили нечто вроде курятника, огородили давно проржавевшей железной сеткой, и между вымокшими в грязной снеговой воде дощечками мыкалось десятка полтора кур. Едва завидев Хосрова-муэллима, они закудахтали, забегали внутри своего крошечного загона, налетая друг на друга.

От грязи в курятнике шел резкий запах, и Хосров-муэллим отвернулся и, очень странно, именно в этот момент вспомнил Хыдыра-муэллима — его здоровое тело, и как он прямо держал голову, и как горделиво шагал четким шагом... У Хосрова-муэллима даже волосы встали дыбом, потому что ему показалось, что запах куриного помета идет не от самодельного курятника, а от здорового, играющего мускулами тела Хыдыра-муэллима.

Хосров-муэллим считал (был на сто процентов уверен!), что в тот зимний день 1939 года их арестовали по доносу Хыдыра-муэллима, и Хосров-муэллим никогда не узнает, что их арестовали по доносу Алескера-муэллима, но если на свете действительно есть нечто, именуемое духом, то дух Алескера-муэллима в таком сведении Хосрова-муэллима, наверно, все равно не находил себе хоть какое-нибудь утешение...

Хосров-муэллим хотел постучать в дверь номер 7, но в это время Арузу, брани кур, распахнула дверь:

— Что за прожорливая скотина?! Только что разве не дала я вам хлеба, чтоб вас разорвало?! — Увидев перед собой Хосрова-муэллима, Арузу слегка загнулась, даже как будто вздрогнула. — А-а-а, — сказала она. — Ты откуда явился, слушай? Когда тебя вижу, пугаюсь, э, как будто мертвый воскрес...

В одной руке Арузу держала тарелку с остатками вермишелевого супа, другой застегивала ворот старой голубой проводничкой куртки с истончившимися плечами, теперь домашней. Сказала:

— Заходи, заходи! Добро пожаловать... — И отступила в сторону.

Хосров вошел, в узком коридоре коснулся раздутого, как бурдюк, дряблого тела Арузу, снял галюши, поискал место для бумажного кулька, не нашел и положил его на пол в коридоре, стал снимать пальто. Арузу сказала:

— Сейчас!.. Снесу вот обжорам... Столько еды даю им, овчинка выделки не стоит! Но яйца вкусные у паршивок... Я их по одной из Ставрополя привезла... — Поспешно выйдя во двор, она вылила суп через железную сетку курам, часть вермишели, куски картошки застряли на железной сетке, и ставропольские куры в тот грязный зимний день как с голодухи, отпихивая друг друга, начали склевывать суповые остатки с сетки.

Войдя в дом, Арузу сунула грязную тарелку на другие грязные тарелки, чашки, кастрюли в раковине в коридоре, открыла крап, сполоснула руки, вытерла губы от супа полотенцем, висевшим на гвоздике на стене, а руки о старую проводничью юбку, теперь домашнюю, сказала:

— Ну проходи давай, проходи! Очень хорошо, что пришел!.. — И вместе с Хосровом-муэллимом вошла из узкого коридора в комнату. Пододвинув один из деревянных стульев к круглому столу, показала место: — Садись здесь!.. Погоди, тюфячок дам, подстели себе...

— Нет, не нужно... — Хосров-муэллим хотел сесть.

— Как это не нужно?.. — Арузу громко рассмеялась, задрожали менижки под глазами и мисистый подбородок, показались испорченные металлические зубы. — Ты такой сухой, никаких накоплений нет!.. Сидишь, дерево в кости врезается...

Арузу взяла со старого дивана с торчащими пружинами маленький круглый тюфячок, сунула Хосрову-муэллиму, села напротив. Какое-то время сидели молча, потом Арузу опять рассмеялась.

— Вот это да, Хосров-муэллим! Ничего себе! Ты такой же, как был, а? Как будто сорок лет не прошло! Какие сорок? Больше сорока!.. Ну давай расскажи, как дела?.. Как же получилось, что тебя не расстреляли? А вдруг ты как раз стукач окажешься, а?

Хосров-муэллим все глотал воздух, острый кадык его поднимался и опускался на длинной шею, вонь от курятника через коридор добиралась до комнаты.

«Дорогие друзья! Тысячу извинений прошу у тамады, что оставляю его в офсайде. Но мне в голову пришел замечательный тост, и я должен произнести его на этом прекрасном торжестве!»

— Хороший свежий чай есть, давай я тебе чаю принесу! — Арузу встала, открыла дверцу шкафа рядом с диваном, взяла два стакана с блюдцами, в поллитровой банке оставалось яблочное варенье, поставила банку перед Хосровом-муэллимом. — Хорошее варенье, я в Саратове купила. Там не халтурят, не такие воры, как наши!.. К тому же и дешево... — Потом пошла, сняла с газовой плиты в конце коридора чайник, налила в стаканы чай, принесла. — Погоди, давай я и ложку принесу. — Принесла ложки, зачерпнула яблочного варенья, положила в стакан Хосрова-муэллима. —пей... — И опять Арузу рассмеялась, но смех теперь был другой, будто улыбка на лице этой женщины была и ее, и одновременно какого-то другого человека (другой Арузу!). — По-

мнишь, мама-покойница ореховые ядрышки из Ордубада ставила на стол?..

Хосров-муэллим отвел глаза от повлажневших, почти утративших цвет больших голубых глаз Арзу, посмотрел на прикипленные к стене фотографии, на высвистнувшую чуть не до потолка гору книг, сложенную на два составленных стула в углу у дивана. А улыбка с лица Арзу все не сходила.

— Алибабу-муэллима помнишь? Он мне говорил, что я буду Софьей Ковалевской... Ах ты!.. Ну и что, Софья прожила всего сорок один год, а мне уже за пятьдесят — и умирать не собираюсь!.. Читаю себе прекрасные книги!.. Если что и убьет меня, то прозорливость кур!..

Арзу опять громко рассмеялась, и испорченные металлические зубы Арзу, как и надпись наверху трехэтажного дома: «1867. Мешади Мирза Мир Абдулла Мешади Мир Мамедгусейн оглу», говорили о бренности мира, дальних дорогах, по которым идут поезда, и о судьбах каждого из живущих вдоль тех дальних дорог миллионов смертных...

— Слушай, ты пришел сюда, чтобы не открыть рта и ни слова не сказать?.. Хорошо, пей свой чай!.. Отличное варенье, в Саратове купила... Ты сам, один живешь? Один, да, у тебя на лице написано, что ты совсем одинокий!.. А кто тебя обслуживает? Может, на мне женишься, а? — Арзу на этот раз особенно громко, от души рассмеялась. — Эх, на что я тебе, все ушло, ничего от меня не осталось! Не видишь на фотографии?.. Ну да, а у меня теперь — на что смотреть?..

С фотографий не похожие друг на друга парни смотрели на Хосрова-муэллима, и Хосрову-муэллиму казалось, будто парни на фотографиях чувствуют вонь из курятника.

Арзу подошла к фотографиям.

— Все трое — мои сыновья!.. — сказала она. — Этот вот, видишь, его отец — Джумшудлу... Помнишь? Работал в райкоме, где наша школа, где вы все работали, пьяница, развратник поганый был, подлец!.. На митинги выражения ненависти в школу приходил, аплодировал мне, ставил меня в пример... Потом будто бы пожалел нас, маму устроил уборщицей в парикмахерскую... А на меня с тех пор глаз положил, сукин сын, как мама умерла в конце войны, пришел, нашел меня... Мне 15 лет было, но 20 можно было дать. Полная была, до времени созрела. — Арзу, улыбаясь, посмотрела на Хосрова-муэллима: — Ты не говоришь, хоть я поговорю... Да, отец этого сына был подлец, сдох он... Когда сдох, даже хоронить никто не пришел! У самого были жена, дети, а для меня отдельно комнату снял, там держал... Развратник паршивый! Здорового места на мне не оставил, подлец! С неба я упала ему в руки, в глаза себе напихивал меня, насытиться не мог, сукин сын!.. Хорошо, что сын на отца не похож. Но жена у него оказалась паршивка. При соседях мне в волосы вцеплялась, б...! И жену, и мужа — обоих выгнала от себя! Эх, как будто соседи лучше них?.. Этого видишь, этот...

Арзу прервалась, внимательно прислушалась к кудахтанью кур.

— Слышишь, как шумят? Чтоб им кол в живот! Только что тарелку супа дала! Никак не нажрутся! А когда меня здесь нет, чужие дети при-

ходят и крадут яйца... А соседи в милицию жалуются, что куры двор загаживают... Ну их к черту, пусть пишут! На меня такие вещи не действуют!.. Пей, пей свой чай!..

Хосров-муэллим, осторожно подняв стакан, начал пить; он почему-то боялся, что стакан выскользнет из рук и чай и варенье разольются по столу, прольются на пол, все разобьется... И вообще он не понимал, что в стакане: чай или что-то вроде остатков супа, которые бросают курам...

Арзу сказала:

— Да, этот... — и показала фотографию второго сына, — в Барнауле живет, слышал такой город? Барнаул! Милиционер он, и отец его был милиционер, скончался он. У этого сына жена русская... Из моих сыновей он самый толковый, но мямля... Если бы не был мямлей, не работал бы милиционером! И жена у него, кажется, хороший человек. Я разве знаю, разве я ее видела? У меня не было поездки в Барнаул... Он там в армии служил, после службы так и остался, женился... В прошлом году они мне посылку прислали, конфеты и туфли. Хорошие туфли, но жалко, тесны мне, в Ростове продала, и все... Двое детей у них, фотографии мне прислали, оба по внешности — чисто русские... А это — мой третий сын, — Арзу протянула руку к фотографии третьего сына так, будто хотела глаза ему выколоть, — подлецом оказался!.. А отец его был неплохой, проводник тоже был, арестовали беднягу... Из-за чего? Мелкой торговлей на станции занимался... Так в тюрьме и умер, несчастный. Эта квартира его была, как жена у него умерла, а вышла за него замуж, переселилась сюда... А до того жила где придется... После папы ведь квартиру у нас отняли, нас с мамой выкинули на улицу... Этого подлеца я папиным именем назвала, Алескер его имя, но вышел негодный... Со мной жил. Я проводница, уезжала, дом в его распоряжении... Сотни фокусов выкидывал тут... Пьянствовали, в карты играли... Сам он хороший кафельщик, если захочет, знаешь сколько может зарабатывать?.. А влюбился в одну айсорку, старше него, Роза зовут, около нас, вон там, в сберкассе, работает, знаю я ее, модная блядь!.. Обмоталась вокруг этого идиота!.. Кто бы на ней еще женился? А с этим идиотом пошли в загс... Женившись на бляди, хотел сюда ее привести, я их выгнала из дому! Теперь как наешься, приходит, подлец, пугает же! Я в суд подаю, половина дома моя!.. Я тебе свой дом отдам!.. Как же! Но что делать?.. Повесила здесь фотографию, сын все-таки... Подлец, приходит и каждый день все здесь переворачивает!.. Пока что все-таки у той бляди живет...

Арзу показала на пустой стакан, спросила:

— Еще чаю принести тебе?

Хосров-муэллим сказал:

— Нет, большое спасибо...

— Тогда ешь варенье!

— Не хочу, спасибо...

— Хорошее варенье, э!.. В Саратове плохих вещей не продают...

«Дорогие друзья! Тысяча извинений у тамады, что оставляю его в офсайде. Но мне пришел в голову один замечательный тост, и я должен произнести его на этом прекрасном торжестве!»

— Дом у меня неплохой, да? Правда, кухни нет, но две комнаты, а в коридоре, видишь, и газ есть, и вода. А туалет во дворе. Отдать это ай-сорской бляди, а самой опять скитаться по улицам? да?! Скажи, а где твоя жена? Ты ведь тогда женился, э!.. А звали ее Гюльзар, я помню...

Хосров-муэллим не ответил, но вдруг ощутил горячее объятие Гюльзар, как будто совершенно забытое, оставшееся в недостижимом, недосягаемом далеке, и жар в тот грязный зимний день хотел было обогреть кости Хосрова-муэллима, но растаял и исчез в вони от курятника.

— Не дождалась она тебя, да? Я помню, как сейчас вижу ее... Щеки у нее просто пылали... Такие женщины без мужчин быть не могут!.. — Арзу рассмеялась. — Что ей делать, бедняге? Без мужчины трудно бывает, да...

Хосров-муэллим встал.

— Что случилось?

— Я пойду...

— Почему? Сиди, почему быстро уходишь? Давай я воды нагреею, хорошо голову тебе вымою, а? Ты человек одинокий, отдохни хорошенько!

— Нет, большое спасибо...

— Да что «спасибо»?.. В Воронеже я сушеных грибов купила, давай тебе суп сварю!

— Нет, спасибо...

— Водочки налью, кирнешь!.. А? Или постарел, водку пить не можешь? Что скажешь?

— Нет...

Хосров-муэллим вышел в коридор, надел галоши, папаху, стал натягивать пальто, и Арзу в том тесном коридоре стояла против Хосрова-муэллима, застегивала каждую минуту расстегивающиеся пуговицы старой проводницкой рубашки.

«Почему вы не даёте нам выпить за здоровье этой прекрасной девочки, поздравить эту прекрасную девочку?»

«Одну минуту, одну минуту, Хосров-муэллим! Арзу же не убегает, она своя, и за ее здоровье выпьем, и поздравим. А эти бокалы мы поднимем за тост, провозглашенный Хыдыром-муэллимом! По правде говоря, Хыдыр-муэллим опередил нас, и хорошо сделал... От всех наших сердец сказал и от твоего сердца сказал, Хосров-муэллим!..»

Куры закудахтали громче.

Арзу сказала:

— Знают, что сейчас откроется дверь... Я таких прожорливых не видала... Обманули меня! Чем они набивали им животы в Ставрополе? В конце концов они меня самую съедят!..

На газовой плите в конце коридора кипела вода в чайнике и подбрасывала крышку.

Хосров-муэллим сказал:

— До свидания...

Арзу, показав на бумажный кулек на полу в коридоре, спросила:

— Это что такое?

— Немного фруктов, тебе принес...

Крышка на чайнике все так же прыгала.

— А мне что тебе подарить? — Арзу оглядывала коридор, как будто видела его впервые. — А? Что подарить?

— До свидания...

Арзу, кажется, нашла, что искала:

— А! Знаешь, что я тебе подарю? Смотри!.. — Хриплым голосом, отчетливо, точно как сорок лет тому назад, выговаривая слова, с особым акцентом она начала громко декламировать:

Вы были вчера

безымянны,

Седая зурна

Сулеймана...

Хосров-муэллим, открыв дверь, вышел во двор.

Куры закудахтали еще громче.

Запах, идущий от курятника, бил в нос.

И Хосров-муэллим удалился от того трехэтажного здания, но какое-то время его еще преследовали и запах курятника, и хриплый голос Арзу, которая, стоя в открытых дверях, громко декламировала стихи:

Джамбула

седая домбра...

Так пойте же

Сталину

славу

Стихами,

подобными сплаву,

Золота

и серебра!..

Потом и старое трехэтажное здание, на котором было написано: **«1867. Мешади Мирза Мир Абдулла Мешади Мир Мамедгусейн оглу»**, и сберегательная касса напротив того здания остались позади...

и звук пропал...

и запах исчез...

и в грязную зимнюю ночь Хосров-муэллим опять увидел во сне семерых дочек Калантара-муэллима...

а женщину-проводницу из квартиры номер 7 старого трехэтажного дома никогда во сне не видел...

но иногда боялся, что куры действительно ее съедят, как крысы съедают младенца, так и куры съедят толстую женщину, живущую в трехэтажном доме, в квартире номер 7...

и иногда младенец так кричал...

и часто снились семеро дочек Калантара-муэллима...

но и во сне Хосров-муэллим знал, что и десятилетняя отличница-всезнайка есть среди семерых дочек Калантара-муэллима...

самой ее не видно, но она там...

и бледный отсвет идет от испорченных металлических зубов...

и девочки хором плачут...

и слезы, текущие из их глаз, потоками льются по улицам, образуют море...

и в море, под блеск испорченных металлических зубов плавают лодки...

по лодкам нигде нет спасения...

лодки должны потонуть...

и Хосров-муэдлим, как Калантар-муэдлим, плывет в лодке...

и Хосров-муэдлим, перешагнув за семьдесят лет, все не хочет тонуть...

хочет жить...

интересно, а жизнь у Мешади Мирзы Мир Абдуллы Мешади Мир Мамедусейна оглу была такая же длинная, как его имя?..

Конечно, Хосров-муэдлим не знал о могилах на кладбище Тюлюк Гельди и не знал, что история кладбища начинается именно с могилы этого человека...

13. Баранья ляжка

Ночь становилась все глубже, и число машин на дорогах уменьшалось, земля и асфальт казались теперь относительно безопасными, запаха весты опухалася все сильнее, и в ту апрельскую ночь Гиджбасар с небольшой бараньей ляжкой в зубах, хромая, уже не бежал, а медленно шел вдоль дороги. Правда, они были совсем пустынно, свет не горел в домах и дворах, ночь освещалась только луной и звездами, тишина успокоила Гиджбасара, никакого другого собачьего запаха вокруг он не чувствовал, железные сетчатые ограды где-то кончатся, и тогда, сойдя с дороги, он спокойно съест баранью ляжку.

Хотя все было спокойно — без машин, без скорости — и ночь была тиха и ясна, а все же в асфальтовой дороге, как и вообще во всех асфальтовых дорогах, виденных им от рождения, было для Гиджбасара нечто чужое, чуждое, асфальтовые дороги даже в самую спокойную, самую бесшумную пору были для Гиджбасара источником тайного страха. Хотя всю жизнь он провел на асфальте, исключая земляные участки кладбища Тюлюк Гельди (во дворе управления кладбища), — чувствовал себя свободно, только сойдя с асфальта, оказавшись на земле, и как видно, в этом было нечто инстинктивное, первобытное.

Асфальтовая дорога, по которой шел Гиджбасар с маленькой бараньей ляжкой в зубах, была дорогой между дачами в одном из приморских поселков Апшерона, по обе стороны тянулся забор из железных сеток, ограда, сложенная из камня, потому что по обе стороны были дачи, собственные участки бакинских жителей, а в этих местах каждая дача как крепость.

У Гиджбасара не было сил бежать, но он, прихрамывая, шел быстро, а железные сетки и каменные ограды все не кончались, чтобы можно было сойти с дороги. Мясо было очень холодным, но та часть, которая была в пасти, понемногу разогрелась, и как только каменные ограды и железные сетки окончатся, Гиджбасар поест, у него уже слюнки текли.

Уже несколько дней, как Гиджбасар оставил позади большой город, его широкие улицы, большие дома и большие дворы, он миновал за это время заводы, нефтяные скважины, избегал преследования местных собак, оставил позади сменяющие друг друга бакинские селения. Куда вела его нога, туда он и шел.

Раненая нога Гиджбасара болела, горло ныло все больше, голова не поворачивалась, но спокойствие луно-звездной ранней весенней ночи как бальзам разливалось по всему телу, измученному страданиями дней, прошедших с тех пор, как пес покинул кладбище Тюлюк Гельди, и Гиджбасар по той асфальтовой дороге будто шел (наконец!) к вечной святости и вечному покою.

Маленькая баранья ляжка, которую нес в зубах Гиджбасар, была вырвана из холодильника Наджафа Агаевича, зубного врача.

Наджаф Агаевич каждую субботу вместе с Надеждой Федоровной садились в свои «Жигули» и ехали на дачу в тридцати пяти километрах от Баку, ночевали там, а в воскресенье по вечерней прохладе возвращались в Баку. Ни один их родственник или знакомый, ни один приятель мужа, ни одна подруга жены — никто не знал об этой даче. За все годы, с тех пор, как после заявлений Наджафа Агаевича, обосновывающего их интернационализмом своей семьи и дружбой народов, — заявлений в ЦК КП Азербайджана, в Москву, в ЦК КПСС, лично товарищу Л.И. Брежневу («Мы построили интернациональную семью, я — азербайджанец, а моя супруга — русская, после напряженного труда нам негде отдохнуть!»), после хождений Надежды Федоровны по «инстанциям», от районного исполнительного комитета до городского комитета партии, до того, как они арендовали у государства эту дачу и превратили ее в прекрасный трехкомнатный дом, — с тех пор сюда, кроме них, ни один человек ногой не ступал. И интернациональная семья каждую субботу и воскресенье отдыхала на даче как на острове, очень далеко от всякой купли-продажи, неразберихи, интриг, никто не мог их побеспокоить.

В эту субботу Надежда Федоровна с Наджафом Агаевичем были на премьере оперетты Оффенбаха «Прекрасная Елена» в Бакинском театре музыкальной комедии, поэтому на дачу приехали поздно. Отперли бесчисленные запоры в стальной двери, вошли в дом, и Надежда Федоровна по обыкновению в первую очередь заглянула в финский холодильник и, еще оставаясь под прекрасным впечатлением от оперетты, с особым презрением скривив лицо, сказала:

— Ой! Твоя баранина так ужасно воняет!

Дело в том, что Надежда Федоровна не любила баранину, она предпочитала телятину, постную свинину, курицу, индейку, свежую осетрину. А Наджаф Агаевич любил баранину, если долго ее не ел, чувствовал, что слабеет, одна баранина прибавляла Наджафу Агаевичу сил, он от нее более ловко и с большим блеском проворачивал свои бесчисленные дела в городе, и, между прочим, если днем он ел баранину, ночью Надежда Федоровна была особенно довольна мужем...

Баранину Наджаф Агаевичу привозили в благодарность клиенты, то есть больные, приезжавшие из районов, из окрестных селений. Полтуши крохотного ягненка привезли на прошлой неделе в благодар-

ность, верхнюю часть — ребрышки и переднюю ногу — Наджаф Агаевич съел, а маленькую ляжку съесть не успел; она осталась в холодильнике и испортилась.

Наджаф Агаевич понохал мясо — оно в самом деле испортилось, но Наджаф Агаевич на всякий случай сказал: — Сейчас вымою. Может, запах уйдет...

Надежда Федоровна все еще чувствовала себя прекрасной Еленой и потому с не присущей ей в обычное время расточительностью распорядилась:

— Да выбрось ты ее! Что твои дикари увидели в баранине, а? Никак не пойму! Азиат ты все-таки, азиат! — И Надежда Федоровна покружилась по комнате, напевая арию прекрасной Елены, и разлетелась, как всер, подол широкого, длинного платья, купленного у спекулянтки (из постоянных клиентов), которой каждый месяц привозили из Израиля узыны, полные тряпок.

Наджаф Агаевич посмотрел на маленькую баранью ляжку, потом на Надежду Федоровну и, чтобы не портить прекрасное настроение, вышел из дому, со двора, обнесенного трехметровым каменным забором, и положил мясо под дерево хартута у железных ворот дачи напротив — птички и червячки растащат... Глубоко вздохнув, Наджаф Агаевич вернулся в дом: развеселившуюся после оперетты, прекрасную Надежду Федоровну предстояло еще ночью убагодворить...

А нашел то мясо под большим деревом хартута Гиджбасар и, обессиленный, с болью в раненой ноге, с ноющей раной на шее, когда взял мясо в пасть, как будто с мясом получил силу и от ствола большого хартута. Боясь, что какая-нибудь другая собака, другое существо или несущество вырвет мясо у него из пасти, отнимет, он, прижав уши, хромая, побежал прочь от железных ворот Наджафа Агаевича.

Дача Наджафа Агаевича была в стороне от главной дороги, идущей между дачами к морю, и, отбежав от хартута, попав на дорогу, Гиджбасар замедлил шаги: согрешавшая во рту часть бараньей ляжки напомнила ему в ту ясную апрельскую ночь лучшие мгновения его жизни: где-то когда-то под холодную метель на улице он спал в теплом местечке, где-то когда-то, в очень и очень далекие времена, его гладили, где-то когда-то за ним увязывалась белая сучка... Видения в мозгу Гиджбасара были окутаны туманом, перемешались друг с другом, но туман был теперь теплым и ласковым (из-за бараньей ляжки, которую он сейчас съест?), и от тепла и ласки стала поменьше и боль в ноге Гиджбасара, и боль в шее.

И вдруг Гиджбасар издалека учуял запах машины, услышал ее шум. Странное дело, шум, приближающийся в ночной тишине, не предсказал Гиджбасару ничего дурного, не заставил его вздрогнуть, не встревожил, будто в ту ясную ночь на Апшероне, на дороге, идущей к морю, ничего плохого случиться не могло.

Показался свет фар, за первой машиной показалась вторая, и Гиджбасар сбежал на обочину.

...В «Жигулях» сидели четверо: впереди Салим Бедбин, владелец и водитель машины, молодой прозаик, рядом с ним Арастун Боздаглы,

известный поэт, заслуженный деятель искусств, сзади — два молодых поэта...

Салим Бедбин был редактором в издательстве и «Жигули» купил в долг. Купил не просто для удовольствия. Купил, чтобы обратить на себя внимание таких тиранов и невежд, как директор издательства Исламзаде, таких безыдейных графоманов, как Муршуд Гюльджакхани, таких циников, как Мухтар Худавсиде, тридцать лет заведовавшего отделом литературы в газетах и сделавшего интересы и пристрастия своего желудка интересами и пристрастиями азербайджанской художественной литературы, и некоторых собратьев по перу, называющих себя молодыми поэтами, молодыми прозаиками, молодыми критиками и думающих о своих личных интересах, а не об интересах родины и нации, завидующих художественным достижениям Салима Бедбина. Долг за «Жигули» Салим Бедбин не мог выплатить уже два года. Но даже усаживаясь за руль на голодный желудок, Салим Бедбин так горделиво вел машину, что пахнущие нафталином черви, подобные Муршуду Гюльджакхани, не знали, что делать от злости и ярости.

Десять лет каждую божью ночь, когда засыпали трое детей и жена, в кухоньке однокомнатной квартиры Салим Бедбин работал чуть не до утра. И вот, беззастенчиво посвятивший себя литературе, стремящийся своим пером блистать честь нации, он наконец-то выпустил вторую книгу рассказов. И несмотря на то что директор издательства Исламзаде, консерватор, не выносивший передовую молодежь, ровным счетом ничего не понимавший в создаваемых ею произведениях, в договоре указал самый низкий гонорар за лист, вчера Салим Бедбин получил в бухгалтерии деньги и сегодня пригласил в одну из лучших шашлычных на Апшероне своих друзей и Арастуну Боздаглы, всегда охотно общавшегося с молодежью, заслуженного деятеля искусств, поэта. Они несколько часов просидели в шашлычной, улетающая шашлык из баранины и осетрины. Они отлично обмыли новую книгу и в лунно-звездную суботнюю ночь собрались с берега полюбоваться панорамой Каспия. В «Жигулях», идущих сзади, сидели еще трое молодых собратьев по перу, настоящих друзей Салима Бедбина.

Окна «Жигулей» были открыты, и ветер гулял внутри мчавшейся со скоростью машины, но после пира в шашлычной заслуженному деятелю искусств поэту Арастуну Боздаглы все-таки не хватало воздуха, и этот грузный, крепкий человек, с шумом втягивая воздух в легкие, говорил:

— Это был исторический банкет, джигит. Муршуду Гюльджакхани за семьдесят, но он скряга, он нас один раз в жизни пригласил в гости, и то к сыну на свадьбу. Скупой и сухой. Злодей. На передовицы из «Правды» похож.

Когда речь заходила о Муршуде Гюльджакхани, Салим Бедбин был не в силах себя сдерживать. Он сказал, презрительно скривившись:

— Из-за этой свадьбы теперь Исламзаде перед ним подхалимничает. У нас самая высокая должность — быть родственником Абдула Гафарзаде. Вы знакомы с ним, да, Арастун-муэллим? Директор кладбища...

— Как не знать, джигит? Знаю как облупленного.

— Один раз я ему в лицо сказал...

Заслуженный деятель искусств, известный поэт Арастун Боздаглы, хоть и много вышел на историческом банкете, все же разум не совсем потерял и, удивленно взглянув на Салима Бедбина, спросил:

— Кому в лицо ты сказал, храбрец? Абдулу Гафарзаде?

Все это время молодой друг владельца «Жигулей», сидевший сзади, молча икал. Теперь подал голос:

— Если бы он ему в лицо сказал, теперь бы уже кости его гнили на кладбище Тюлюкю Гельди...

Арастун Боздаглы отвел глаза от бледного лица Салима Бедбина, повернул величавую голову назад, громко и горько рассмеялся.

Длившаяся годы борьба за издание второй книги вконец испортила нервы Салима Бедбина, и молодой прозаик, со злостью сжимая руль, прокричал:

— Ничего!.. Придет время, когда и эта нация проснется. Тогда мы пишем в лицо всем абдулам гафарзаде...

Заслуженный деятель искусств Арастун Боздаглы снова взглянул в бледное лицо молодого собрата по перу:

— Значит, тогда не станет абдулом гафарзаде, джигит?

— Нет, устэд, нет... Нация пробудится... Тогда будут жить только люди, любящие свою нацию... Тот день придет, устэд, придет. Обязательно придет... — И, произнося эти слова, молодой прозаик Салим Бедбин расчувствовался (когда речь заходила о нации, он всегда расчувствовался). — Бедная нация... Несчастная нация...

...Свет фар приближался, и Гиджбасар стал волноваться сильнее, и когда свет упал на него, он очень испугался и побежал. Сидевшие в машине не поняли, что это за зверь.

— Волк.

— Нет, шакал, шакал...

— Мясо несет...

— Это собака...

— Да, да, собака...

Арастун Боздаглы протянул вперед руку:

— Этот пес так же жаден, как Муршуд Гюльджахани...

Салим Бедбин с отвращением, сменившим недавнюю злость, сказал:

— Люди мяса для еды не находят, а у этого в пасти смотри сколько...

— Это мясо трудящихся...

— Люди мясо по талонам получают...

— Это мясо рабочего, мясо колхозника...

Салим Бедбин, увеличив скорость машины, погнался за псом по асфальту, и пс, бросаясь во вправо, то влево, пытался спастись, найти укрытие среди железных сетчатых оград и каменных заборов, но попытки были тщетны — железные сетки, каменные заборы не кончались.

— Гони его!..

— Гони!..

— Гони!..

Машина металась по асфальту, и Арастун Боздаглы, чтобы не удариться головой о стекло, упершись в подоконник могучими руками, сказал:

— Ты не Бедбин¹, а Боран², храбрец. Салим Боран.

А сидевшие сзади, будто очнувшись от неги прекрасного застолья и благодаря случаю избавившись от проблем литературы, нравственности и нации, с откровенным охотничьим азартом следили за бежащим впереди псом, спасающим собственную жизнь и мясо в пасти, кидающимся то вправо, то влево. Они кричали:

— Гони его!..

— Гони!..

— Гони!..

Молодой прозаик Салим Бедбин, вцепившись обеими руками в руль, будто мстил этой гонкой директору издательства Исламзаде, бездействию Муршуду Гюльджахани и знаменитому паразиту Мухтару Худа-венде, мстил всем тем, кто, именуя себя молодыми писателями, завидуют, слушают сплетни и распускают слухи. Быстро вращая руль влево-вправо, он жал на газ, преследуя пса.

Гиджбасар был в ужасе от гнавшейся за ним машины, но не только ужас погони заставлял его, израненного, больного, обессиленного, мчаться как сумасшедшему, может быть, еще больше он боялся выпорнить мясо из пасти. Челюсти у Гиджбасара были так сжаты, он трясил столько сил на это, что казалось, будто маленькая баранья ляжка стала частью его самого...

— Гони!..

— Гони!..

— Гони!..

Гиджбасара будто поместили в нескончаемо длинную клетку из железа и камня — клетка тянулась, тянулась, тянулась, пс больше не мог дышать, сердце чуть не выпрыгнуло из пасти вместе с бараньей ляжкой.

Когда Гиджбасар на бегу снова метнулся вправо от дороги, молодой прозаик Салим Бедбин (Боран) обогнал его, и собака оказалась между двумя машинами; идущие сзади «Жигули» направили фары на Гиджбасара, и сидевшие в той машине коллеги по перу тоже с азартом закричали:

— Гони его!..

— Гони!..

— Ах, подлец, мы мясо по талонам едим, а ты даром?

— Гони!..

— Гони!..

Гиджбасар бежал между двумя машинами, и задняя его догоняла, а передняя не пропускала вперед, и в тот субботний вечер на асфальтовой дороге на Апшероне Гиджбасар был в ужасе, которого не испытывал еще никогда в жизни, даже хватка Черного пса была ничто перед этим ужасом; теперь все, даже маленькая баранья ляжка, вылетело из головы Гиджбасара, Гиджбасар стремился только избавиться от этой безумной гонки, от устрашающего воя моторов и скрежета тормозов, от диких криков, несущихся из машин:

— Гони его!..

— Гони его!..

¹ Бедбин — pessimist.

² Боран — ураган.

— Гони!.. Гони!.. Гони!..

Справа от дороги Гиджбасар нашел, наконец, прорыв в нижней части железной сетки и кинулся в эту дыру. Он даже не почувствовал, как маленькая баранья ляжка, зацепившись за сетку, выпала у него из пасти, как острые концы проволоки разрезали его тело до крови; проскочив в дыру, пес пронесся между нижировыми деревьями и кинулся в виноградник. Это был дачный двор, и Гиджбасар, задыхаясь, с выскрывающим сердцем, почуял во дворе другую собаку, но как только донеслось движение другого пса сбоку от больших ворот, он нашел еще одну дыру в железной сетке (к счастью, хозяин дачи не особенно следил за своим участком...), и не успел другой пес опомниться, как Гиджбасар вылез наружу, железная проволока опять изрезала до крови ему морду, глаза, тело.

Тормоза двух машин на асфальтовой дороге своим скрежетом нарушили ночной покой хартуга, вишневых, нижировых, абрикосовых, алычовых, гранатовых, лоховых, миндальных деревьев, покой виноградных лоз во всей округе, даже покой луны и звезд в ночном апрельском небе Аншерона.

А впереди шумело море, и Гиджбасар с вывалившимся языком, задыхаясь, страдая от боли не только в ноге и горле, но и во всем теле, поплелся к морю и свалился на бок на влажный песок у кромки воды.

Снова заработали моторы машин вдалеке, и Гиджбасар слушал до конца их постепенно удаляющийся шум. В их шум теперь были сдержанность и спокойствие, будто они только и добивались того, чтобы Гиджбасар вот так свалился на берегу, а больше им не о чем было волноваться.

Страшные, жуткие, нечистые силы удалились, но это совершенно не уменьшило страданий Гиджбасара, не принесло ему никакого покоя.

Дул легкий ветерок, море не волновалось, ровно шумело, и его гул как будто никак не сочетался с безмолвием луны и звезд.

А маленькая баранья ляжка, явившаяся в ту апрельскую ночь из финского холодильника зубного врача Наджафа Агаевича, вся вымазанная в земле, пыли, так и осталась у железного сетчатого забора, и конечно, если бы Гиджбасар сейчас встал и вернулся назад, может быть, он и нашел бы это мясо; через некоторое время будет поздно, другие собаки или черви, птицы найдут баранью ляжку, съедят ее... Но Гиджбасар не встал и никуда не пошел, он как будто вообще забыл обо всем мире, только слышал шум моря, и этот шум не говорил ни о чем, кроме себя самого, ни о чем, кроме моря...

14. Абдул Гафарзаде

(Продолжение)

Абдул Гафарзаде в тот апрельский день поел купленного молодой девушкой-секретаршей хлеба с сыром, выпил пару стаканчиков армуды — как всегда отлично заваренного Бадурой-ханум индийского чая с кардамоном (Абдулу Гафарзаде очень нравились и аромат, и вкус

кардамона) — и встал у окна своего кабинета. Кладбище Тюлюк Гельди просматривалось отсюда вверх и вниз — полный обзор. Перед глазами был городок, уведомляющий об ином мире — печальном, абсолютно безрадостном, абсолютно безысходном, говорящем о бессмысленности жизни, о бренности всего живого. Бесчисленные могильные камни, видимые из окна, были обитателями этого печального, безрадостного, полного безысходности городка, обитателями, погруженными в вечное молчание и неподвижность.

Конечно, доктор Бронштейн и профессор Мурсалбейли были совершенно разные люди, но теперь почему-то Абдулу Гафарзаде показалось, что есть некая близость между крашеными волосами и усами доктора Бронштейна и белоснежным накрахмаленным халатом и волосатой грудью профессора Мурсалбейли. Но самое странное, что Абдул Гафарзаде задумался и о другой близости: между крашеными волосами и усами, белоснежным накрахмаленным халатом и волосатой грудью и кладбищем Тюлюк Гельди. Все было не просто близко, но и родственно... Очень неприятное чувство. Абдул Гафарзаде постарался прогнать его от себя.

Правда, проснувшись сегодня рано, Абдул Гафарзаде впервые после долгой зимы почувствовал тепло солнца, в его лучах был какой-то оптимизм, даже энтузиазм, а потом ему вспомнилось окно в его кабинете, перед глазами появились надгробия — и принесенные утренним солнцем чистота, свет, тепло как будто изволили в грязь. Такое уж это место, кладбище — самое пессимистическое место на свете. Правда, и смотреть на кладбище как на что-то нежное, в сущности, было грехом, и в минуты, когда бренность мира и бессмысленность жизни навевали на сердце тоску и безнадежность, Абдул Гафарзаде старался утешиться тем, что не он первый и не он последний из пришедших в этот мир обязан когда-то его покинуть, а раз так, раз великие ученые мира (Авиценна!), поэты (Физули!), полководцы (Наполеон), государственные люди (Ленин!) не падали духом перед лицом бессмысленности жизни и вершили свои великие дела, значит, нечего об этой бессмысленности и думать; если ничего от себя самого не зависит, какой же смысл сокрушаться?

Абдул Гафарзаде протер очки, сцепил руки за спиной, выпятил грудь и вышел из кабинета. Девушка-секретарша вскочила, как только он показался в дверях, но он не взглянул на нее. У дворовых ворот управления кладбища он остановился и осмотрел могилы, покрывшие весь склон.

Бадура-ханум, печатавшая кандидатскую диссертацию, посвященную экономическим вопросам транспортировки фруктов по овощефруктовым рундукам Баку, на своей машинке, где с годами на клавишах буквы стерлись так, что стали невидимыми (никто, кроме Бадурой-ханум, на этой машинке печатать не мог), посмотрела на Абдула Гафарзаде, который, пройдя через приемную, пересекал двор, увидела его задумчивые серые глаза и поняла, что он опять идет прогуляться по кладбищу; у человека иногда возникает желание погулять по бульвару или походить по горам, лесу, лугу, и Бадура-ханум за долгие годы работы в управлении кладбища знала, что и у Абдула Гафарзаде порою

возникает желание — погулять по кладбищу, причем это грустное, печальное желание. В последнее время такое желание у него появлялось все чаще, становилось потребностью... Бадура-ханум жалела Абдула Гафарзаде, она даже останавливала на миг пальцы, автоматически летающие по стертым клавишам, глаза ее на миг увлажнились, но потом пальцы, как автомат, снова начинали работать.

Для Бадуры-ханум Абдул Гафарзаде был, конечно, страшным человеком, он загубил всю жизнь Бадуры-ханум (во всяком случае, самой Бадуры-ханум так казалось, и с годами эта одинокая женщина со все большей безысходностью, все большей враждебностью, злобой признавала Абдула Гафарзаде единственным виновником своего одиночества, беспомощности, беспомощности, даже старения), но при всем при том в самой глубине сердца порой возникало и какое-то родное чувство к этому человеку, весьма мимолетное, очень легкое, но все-таки возникало, в мимолетном и легком чувстве были и нежность, и мягкость. Да, он — Абдул Гафарзаде. Но ведь он тоже отец, и дитя этого отца лежит на кладбище.

Караульщик Афлатун так свялся с кладбищем Тюлюк Гельди, что проводил здесь не только ночи, но и дни, и было неизвестно, когда же спит этот человек, маленький, худой — кожа да кости, — но очень проворный, выносливый. И в тот апрельский день караульщик Афлатун, шмыгая носом, мыкался туда-сюда по двору кладбища Тюлюк Гельди, и, завидев Абдула Гафарзаде, помчался к нему и, с трудом ворочая спинком большим для его рта языком, невнятно забормotal:

— Салам-алеikum, Абдул! Как это называется, ну это, чем могу служить? Не нужно ли чего?

Караульщик Афлатун во всем управлении кладбища был единственным человеком, который звал Абдула Гафарзаде по имени (и гордился этим не только на кладбище Тюлюк Гельди, но и дома перед женой, перед сыном Кюлхозом, перед тремя замужними и двумя еще ожидающими мужей дочерьми, перед внуками!), а остальные люди — от плотника, каменщика, фотографа Абульфаза до машинистки Бадуры-ханум — все говорили «Абдул Ордуханович». Кроме могильщиков-алкоголиков. Могильщики-алкоголики даже имени Абдула Гафарзаде не знали, а знали, так не запоминали, но боялись этого человека, то есть Абдула Гафарзаде, жутко, испытывали перед ним животный страх, потому что если Абдул Гафарзаде за что-то злился на алкоголика, гневаясь, он вызывал слесаря Агакерима, велел валить алкоголика на землю и хорошенько избивать.

Могильщики-алкоголики стерпели бы тяжелые, как наковальня, и кулаки, и пинки слесаря Агакерима. Но ведь Абдул Гафарзаде поручал не только избить человека как шака, он велел загнать его в будку караульщика Афлатуна, запереть на замок и целые сутки не давать ни грамма водки (и воды не давать!), а это для могильщиков-алкоголиков было абсолютно невыносимо, это было несчастье, это было пыткой, страшной карой.

Когда алкоголики получали такое наказание, караульщик Афлатун на целые сутки оставался на улице, в холод по ночам бегал вдоль ворот (а в дождь дела были совсем плохи), поджидая такси, водочных

клиентов, порой приближался к будке, ругал ноющего шутри алкоголика: «Подыхай, как это называется, ну это, сукин сын!» Когда проходили сутки и алкоголик освобождался, караульщик Афлатун входил в ночную будку, как уборная, будку, проводил очистительные работы. Даже когда в этой будке жил Гиджбасар (что-то нес в последние дни на глаза не попадался — потерялся, сдох, что с ним случилось?), собака не гадилась так, как эти низкие алкоголики...

Абдул Гафарзаде посмотрел на маленького человека, который, стоя навтыжку, ожидал приказаний; кажется, с тех пор, как открыл глаза на мир, он видел в махалле Афлатуна таким же, как сейчас, — этот человек не старился, у них весь род был такой — долгожители, очень шустрые. Мать Афлатуна, когда ей перевалило за сто лет, была как ртуть, на месте не могла усидеть, готовила, мыла, подметала... Умерла внезапно от рака, если бы не рак, и сейчас еще жила бы!.. Говорили, что наркотики, выдаваемые в аптеке, чтобы облегчить боли старухи, этот подлец Афлатун матери не давал, а задорого продавал наркоманам... Все возможно, от этого караульщика Афлатуна можно чего угодно ожидать... А может, просто так говорят, кто знает, может, все вранье... Лучшее жизнь потерять, чем ням! Но говорили... И другое говорили... Ходили слухи, будто Афлатун — палач, что он ходит в тюрьму расстреливать приговоренных к смерти и получает зарплату...

Абдул Гафарзаде не уточнял этот слух (если бы захотел, конечно, все точно узнал бы!), потому что каким бы омерзительным существом караульщик Афлатун ни был, он когда-то дружил с Хыдыром, и если бы действительно выяснилось, что Афлатун — палач, Абдулу Гафарзаде это было бы неприятно.

Когда Афлатун еще водил трамвай, дети из махаллы, где жила семья Абдула, вскакивали, бывало, на подножку, спрыгивали с трамвая на ходу, и один раз Афлатун рассказывал об этом Хыдыру, и бедный Хыдыр, да упокоит Аллах его душу, так поколотил Абдула, что когда Абдул вспоминал об этом, ему до сих пор было больно. Еще раз Хыдыр избил Абдула за курение... Хыдыр хотел, чтобы Абдул был сильным, здоровым. Хыдыр хотел, чтобы в этом волчьем мире Абдула сторонились, чтобы Абдул был не едой, а едоком. Бедный Хыдыр, если бы теперь он был жив...

Каждый раз, когда Абдул Гафарзаде вспоминал Хыдыра, рана у него в сердце начинала болеть как свежая. Годы проходили, а рана не заживала, даже когда Ордухан покинул этот мир, вместе со страшной раной от смерти Ордухана в сердце Абдула Гафарзаде оставалась на своем месте рана от смерти Хыдыра, боль от свежей раны, несмотря на страшную остроту, не заглушила боль старой раны.

Хыдыра больше сорока лет нет на свете, а маленький человек Афлатун какой был, такой и есть, нечто вроде ртути, здесь ныряет, там выныривает, шмыгая носом, повторяя «как это называется, ну это». Что ж, раз мир таков, пусть живет... У Хыдыра с Афлатуном были отношения хорошие; рядом с Хыдыром, чье тело будто было отлито из бронзы, маленький Афлатун всегда был младшим, даже после того, как неожиданно вступил в партию, перестал водить трамвай, стал заместителем директора школы, Афлатун не возгордился перед Хыдыром,

наоборот, в то дурное время постарался, устроил Хыдыра учителем физкультуры, и Абдул Гафарзаде никогда этого не забудет, до конца жизни будет давать хлеб Афлатуну.

— Нет, Афлатун, ничего не нужно, большое спасибо... — Абдул Гафарзаде сказал это и подумал: если на свете в самом деле есть счастье, то этот маленький человек, этот Афлатун — самый счастливый человек: все ему ниючем, зарабатывает свои гроши, содержит свою семью — и доволен. Абдул Гафарзаде иногда завидовал таким вот «маленьким людям», и ему казалось, что его зависть от абсолютно чистого сердца.

Караульщик Афлатун постоял, глядя на Абдула Гафарзаде, направлявшегося на кладбище Тюлюкю Гельди... Афлатун на собраниях часто видел Мир Джафара Багирова в те прекрасные времена, когда был партийным активистом и ходил на все собрания в Баку. Действительно, прекрасные были времена, все тогда боялись, все сторонились Афлатуна, а Афлатун отдавал свою жизнь за партию.

Однажды — шла весна 1939 года — на политическом собрании работников просвещения Баку в филармонии Мир Джафар Багиров здоровался с застывшими как статуи по обеим сторонам коридора людьми, он пожал руку и Афлатуну. Караульщик Афлатун никогда не забывал глаза Мир Джафара Багирова, глядящие сквозь очки, не забывал его лицо. В глазах и лице Мир Джафара Багирова был такой холод, что у человека шла дрожь по всему телу. И когда караульщик Афлатун стоял близко, лицом к лицу с Абдулом Гафарзаде, он видел его сходство с Мир Джафаром Багировым, и хотя природа не одарила караульщика Афлатуна богатством чувств, холод и во взгляде, и в улыбке полных губ Абдула Гафарзаде он ощущал. Да, у них были очень хорошие отношения, но караульщик Афлатун боялся Абдула Гафарзаде не меньше, чем когда-то Мир Джафара Багирова.

Абдул Гафарзаде в задумчивости вышел со двора управления, вошел на кладбище Тюлюкю Гельди и, не обращая внимания на работников, которые при виде его подтянулись — кто перестал смеяться, кто спрятал сигарету в руке, кто прекратил разговор, — никого даже не видя, ушел от управления.

Лучше бы Афлатун не устраивал Хыдыра в ту школу, Хыдыр там стал жертвой продажных людей, подлецов, и Абдул Гафарзаде во всех деталях помнил, как в снежную зимнюю ночь 1939 года трое постучали в дверь, вошли и забрали Хыдыра.

В ту зимнюю ночь Абдул хотел уснуть под теплым одеялом, но уснуть не мог, потому что с прошлой ночи чувствовал: что-то произошло и это «что-то» им обоим на пользу, дела Хыдыра теперь пойдут лучше, Хыдыр еще больше возвысится. Это «что-то» случилось вчера ночью, когда Абдул знал, Хыдыр ходил на день рождения дочки к директору школы в гости.

Хыдыр вернулся с торжества поздно, разделся, лег, но до утра не уснул, в темноте понял, что и Абдул не спит. «А ты чего не спишь? — спросил. — Спи». Сказал, но знал, что Абдул не заснет, потому что Абдул так привязан к Хыдыру, так любил Хыдыра, что все чувства Абдула были связаны с Хыдыром, как будто обнаженный электрический провод тя-

нулся от души к душе, Абдул тотчас улавливал волнение старшего брата.

И в ту ночь торжества Хыдыр сказал: «Спи... Спи... Все будет отлично! Наше все — впереди! Замечательная жизнь — впереди! И для тебя будет замечательно, спи!..» Хыдыр так это сказал, в его словах, как и в его мускулах, была такая сила, такая уверенность, что маленький Абдул сразу и очень сладко уснул под воздействием слова «замечательно», сказанного Хыдыром, доброго, мягкого, разлившегося по сердцу, принесшего под толстое одеяло покой и ласку.

Когда на следующий день Абдул, учившийся во вторую смену, вернулся из школы, Хыдыр был дома. Как всегда в хорошем настроении, он насвистывал «Сары бюльбюль» (и теперь каждый раз, когда играли, пели «Сары бюльбюль», Абдул Гафарзаде приходил в умиление, будто пели о несчастной судьбе Хыдыра), он поджарил мясо с луком (вкус последнего приготовленного Хыдыром жареного мяса до сих пор был в памяти Абдула Гафарзаде), поставил перед Абдулом бутылку лимонада, а перед собой — графин пива, и братья поели. Хыдыр время от времени все поднимал большой палец вверх: «Отлично будут дела, отлично!»

Сначала Абдул думал, что речь идет о каком-то спортивном состязании, о чем-то связанном со спортом, но, сидя напротив Хыдыра за столом и поедая прекрасное жареное мясо, десятилетний маленький мальчик понимал, что нет, на этот раз речь не о спорте, на этот раз будет нечто большее и оно осчастливит их с братом. Абдул ничего не спрашивал: хоть братья и очень любили друг друга, старшинство между ними соблюдалось, а если бы Хыдыр счел нужным, он ведь сам сказал бы, раз не говорит, то задавать вопрос было бы неуважением.

В ту зимнюю ночь Абдул был под толстым одеялом. Толстое одеяло было в доме единственным, и Хыдыр отдал его Абдулу, а сам укрывался пледом, когда же бывало очень холодно, накидывал на плед пальто. Толстое одеяло осталось от отца, которого Абдул не видел, от матери, которую он вспоминал с трудом, и самое прекрасное, самое лучшее свойство одеяла было в том, что Хыдыр не позволял себе взять его, тем толстым одеялом он оберегал Абдула не только от холода, но и от всех вызывающих содрогание дел мира, холодного как лед.

Постучали в дверь, вошли трое, приказали сонному Хыдыру одеваться, увели Хыдыра... Десятилетний ребенок сразу понял, что трое пришли не с добром, и скорее удивился, чем испугался: после того прекрасного слова «замечательно», после прекрасного жареного мяса, после «все будет отлично» и поднимаемого Хыдыром вверх большого пальца внезапный, в полночь, приход троих, их неуважительное обращение с Хыдыром... Растерянность. Десятилетний ребенок был растерян и пришел в себя, лишь когда эти трое уводили Хыдыра из комнаты.

Сбросив толстое одеяло, Абдул вскочил и закричал как безумный... Хыдыр, обернувшись, посмотрел на Абдула в свете десятилиннейки: «Не бойся... Я вернусь!» Абдул успокоился. Потому что кто же мог сделать что-нибудь плохое такому сильному человеку, как Хыдыр? (Маленький дурачок Абдул слышал о дедушке Сталине только прекрасные сказки: дедушка Сталин знает семьдесят два языка; дедушка Сталин — друг со-

ветских спортсменов, это часто повторял бедняга Хыдыр; дедушка Сталин, увидев на Курском вокзале голодного мальчика-сироту, заплакал и навесом подарил мальчику свою машину... Но что любимый дедушка Сталин — волк, откуда это было знать маленькому дурачку?) В свете десятилитней лампы в лице Хыдыра виделась такая ласка, в улыбки было столько родного, а лица, жесты, слова трех пришельцев были так грубы, холодно, чужды, что Абдул хоть и успокоился, но заплакал.

С улицы раздался стук захлопнувшейся автомобильной двери, машина тронулась, и шум ее удалился от дома вместе с Хыдыром. Конечно, в ту снежную зимнюю ночь 1939 года десятилетнему ребенку не приходило в голову, что машина увозит Хыдыра в никуда, навсегда; десятилетний ребенок не мог предвидеть, что с этих пор он будет, полуголодный, одинокий и беспомощный, расти у своей старой, обессиленной тетки... Что сам себе с десяти лет в своей свободной и счастливой стране он будет зарабатывать на хлеб, что, кроме него самого, ему больше никто не поможет...

Все проходит, и все на самом деле прошло, минуло, кануло. Он никогда не рассказывал об этом ни бедняге Ордухану, ни Севилю, ни, конечно, маленькому Абдулу. Удел жизни Абдула Гафарзаде только его удел, и горькие воспоминания принадлежат одному ему; каждый должен уметь нести свою судьбу на собственных плечах.

Два дня назад был дождь, и земля по обе стороны единственной асфальтовой дороги на кладбище еще не высохла, там и тут стояли маленькие лужицы, было грязновато. Но и лужицы, и грязь, странное дело, будто вносили нужные душе штрихи в картину кладбища Тюлюкю Гельди, потому что в этот апрельский день Абдул Гафарзаде, медленно шагавший по кладбищу, соединил руки за спиной и выпитив грудь, чувствовал в себе и вокруг какую-то противную сухость, никогда им прежде не ощущавшуюся, даже могильные камни казались превратившимися в сухой-пресухой песок, готовый рассыпаться. И тело Абдула Гафарзаде и его внутренности были как сухой песок в песочных часах, вот сейчас все просыплется на асфальт; хоть он и выпил два стакана чаю, но во рту тоже была сухость, и она будто переходила в мысли, раздумья, воспоминания, и вот теперь и мысли, раздумья, воспоминания, превратившись в абсолютно сухой песок, рассыплется вместе с могильными плитами.

Внезапно возникшее ощущение сухости все усиливалось, Абдулу Гафарзаде стало казаться, что и нос его, и уши, и глаза, и волосы наполнились абсолютно сухим песком, он даже готов был поднять руки, чтобы вытрясти песок из волос, стряхнуть с ушей; ощущение сухости пересилило всегдашнюю сдержанность Абдула Гафарзаде, и он быстро, чуть не бегом, помчался к роднику, который три года назад велел оборудовать посреди кладбища, у дороги...

Два дня назад перед родником стоял молла Асадулла и, положив кирпичную бухарскую папаху на каменное обрамление родника, неторопливо умывался. Увидел, что идет Абдул Гафарзаде, отошел от воды в сторону и нежными, как у девушки, руками стал поглаживать белоснежную короткую бороду. Два дня тому назад у родника Абдул Гафарзаде по всей форме поздоровался с моллой Асадуллой.

— Ас-салуми алейкум, молла даи.

Молла Асадулла знал, что директор управления кладбища — один из главных людей в Баку. Сват Абдула Гафарзаде (говорили, будто он писатель) Муршуд Гюльджакхани одно время жил в одном дворе с моллой Асадуллой, был неприятным, бездельным типом, как он стал писателем, Аллах знает... Молла Асадулла, хотя и издали, знал семью Гафарзаде и потому всерьез принял полуиронический-полушутливый привет Абдула Гафарзаде (понимал, что шутки с такими людьми для него хорошо не кончатся!) и ответил на привет полным набором:

— Алейкум ас-салам ве рехметуллахи ве берекетуку дадаи!

Абдул Гафарзаде не был близким знаком ни с одним из молл, приходивших на кладбище Тюлюкю Гельди, и вообще ему не нравились моллы, потому что сейчас истинных молл можно пересчитать по пальцам, большинство мошенники, деньги зашибают. Абдул Гафарзаде, особенно в последнее время, очень интересовался религией. По вечерам, когда они с Гаратель бывали вдвоем и Гаратель тихо лежала на диване с закрытыми глазами, Абдул Гафарзаде сидел в кресле, попивал индийский чай с кардамоном, заваренный собственными руками, читал книги о религии. И приходил к выводу, что религия — это одно, а предрасудки — другое: религия — серьезное дело, а предрасудки — темнота и невежество.

Чтобы кого-нибудь знать, личное знакомство не обязательно. У Абдула Гафарзаде были сведения о моллах, участвовавших в похоронных обрядах и зарабатывавших деньги на Тюлюкю Гельди, он хорошо представлял себе, что за птица этот молла Асадулла, стоящий сейчас против него перед родником, и поэтому продолжил шутку:

— Что значит «риба», молла даи?

Молла Асадулла не вздрогнул, не захлопал глазами, напротив, ответил Абдулу Гафарзаде тоном учителя:

— «Риба» — это выдача денег под проценты, дадаш, то есть ростовщичество. Говоря нашим современным языком, дадаш, «риба», то есть процент долга, — вещь запрещенная, дадаш, и не только «риба», но и все, в чем есть малейший элемент «риба», запрещено — к примеру, лотерея. Вот так, дадаш!..

— Да ну?.. Молла даи, дорогой, а что, и в Коране об этом написано?

— Конечно, написано, дадаш, конечно! А как же. В Коране говорится: «Аллах сделал торговлю праведной, а ростовщичество — несправедным». А в другом разделе говорится, дадаш: «Аллах уничтожит избыток товаров, приобретенных путем ростовщичества, а избыток товаров, отданных в подаяние, умножит».

Да, человек действительно венец творения и самое удивительное существо на свете: Абдул Гафарзаде отлично знал, что этот кроткий, благостный, набожный молла Асадулла все четыре из четырех лет войны брал в залог под проценты у жен, детей, чьи мужья, отцы, сыновья, братья сражались на фронте, были убиты, пропали без вести. — он брал у них в залог последнее золотое колечко, часы, ожерелье и за четыре года набрал золота с царскую казну. Большинство женщин, которые ради хлеба ребенка закладывали Асадулле под большой процент пос-

¹И вам мира, безопасности, божьей милости и благословения, братец.

леднее золотое кольцо, потом не могли найти денег, чтобы выкупить свое кольцо обратно. Кольцо, оставшиеся от предков золотые часы, ожерелье, браслет, серьги — все оставалось шапочнику Асадулле. Асадулла в то время шил папахи, как молла он стал промышлять потом, через много лет после окончания войны, во время Н.С. Хрущева.

Хоть молла Асадулла и много зарабатывал, но, когда женил сыновей или отдавал дочерей замуж, продавал кое-какие золотые вещицы — и понятия не имел, что все золото, проданное им Мирзаибю, основному своему покупателю, коچهгару управления кладбища, доставалось Абдулу Гафарзаде, Мирзаибю был только посредником.

Молла Асадулла еще был ничего, он хоть Коран знал — правда, только слово «риба», он ничуть не смутился, даже не покраснел... Но все-таки он Коран цитировал. А на кладбище шастали такие мошенники-моллы, которые о Коране и понятия не имели: кто из тюрьмы вышел, кто лекции по научному коммунизму читал, а один так раньше циркачок был.

Два дня назад Абдул Гафарзаде, прищурив серые глаза, взглянул поверх очков прямо в глаза молле Асадулле и спросил:

- Ты знаешь молл, которые бывают на нашем кладбище?
- Как не знать, дадан? Конечно, знаю.
- Всех?
- Большинство! — Молла Асадулла хоть и не понимал смысла этих вопросов — директор его проверял, что ли? — но отвечал терпеливо и серьезно. — Большинство знаю.

Если молла Асадулла знал большинство этих молл, значит, знал и то, что все они мошенники. Абдул Гафарзаде сначала улыбнулся вопросу, который сейчас задает, потому что этим вопросом он как будто метил молле Асадулле за кого-то, за что-то, и спросил:

— Когда ты умрешь, который из них прочтет над тобой поминальную молитву?

Абдул Гафарзаде умел говорить вот так прямо, в лоб, но и молла Асадулла был старый волк, потому даже глазом не моргнул, только поглядел свою мягкую, как шелк, белую бороду, сказал:

— До тех пор, дадан, я сам над многими поминальную молитву прочитаю!..

Внезапно откуда-то возник фотограф Абульфас, будто вынырнул из могилы, и, тотчас поднеся фотоаппарат к глазам, сфотографировал моллу Асадулла с Абдулом Гафарзаде у родника.

— Вы так прекрасно стояли, Абдул Ордуханович! Будет настоящее художественное фото! Принесу — посмотрите!

Внезапное возникновение фотографа Абульфаса именно после тех двусмысленных слов моллы Асадуллы и то, что он сфотографировал их два дня назад, сейчас произвело очень тяжелое впечатление на Абдула Гафарзаде. Абдул Гафарзаде вообще не любил фотографироваться, а когда все-таки приходилось, ощущал сожаление о будущем, свое отсутствие в будущем. Когда-то кто-то, взглянув на эту фотографию, скажет... Это, мол, молла Асадулла, подлец был, мерзавец, да, теперь, наверное, уж и кости его сгнили в могиле!.. Провалился он к черту! На деньги сирот себя и своих детей лелеял. А это Абдул

Гафарзаде, когда-то было в Баку кладбище Тюлюкю Гельди, так он был там директором...

И что к этому прибавят?

Вон куда увлекли его раздумья...

Ну что, что еще скажут?

Почему он теперь вспомнил встречу, случившуюся два дня назад?

В тот апрельский день Абдул Гафарзаде чуть не бегом добежал до родника, торпливо снял очки, наполнил горсти водой, плескал себе в лицо, проводил мокрой рукой по щеке. Родниковая вода как будто смыла и унесла песок, сняла ощущение сухости, в мыслях, в сердце Абдула Гафарзаде полегчало, он немного пришел в себя; и неожиданное (и неприятное) чувство — чувство близости, родственности между крашеными волосами и усами доктора Бронштейна, белоснежным крахмальным халатом и волосатой грудью профессора Мурсалбеяли и этими могильными камнями — оно, кажется, тоже уходило, пропало понемногу...

Но... Потом, потом что скажут?

Что скажут?

Абдул Гафарзаде, как правило, избегал подобных неожиданно возникающих вопросов, и теперь он скорее стал думать, что моллы откровенно обнаглели, да и попы от молл не отставали, уж сколько лет по соседству с Абдулом Гафарзаде жил поп — с утра до вечера водку пил и ругался со своей сестрой, старой девой. Но на кладбище Тюлюкю Гельди попы не приходили, приходили моллы. И, удаляясь от родника, Абдул Гафарзаде подумал, что этих молл (вместе с моллой Асадуллою!) надо как следует проучить, прижать их как следует, чтобы сок закапал.

Абдул Гафарзаде, конечно, и раньше про молл не забывал, это дело поручено было слесарю Агакериму. Слесарь Агакерим по воскресеньям с каждого шатающегося по кладбищу Тюлюкю Гельди моллы (их было человек пятнадцать) собирал по двадцатке и все деньги в понедельник отдавал Абдулу Гафарзаде, а уж Абдул Гафарзаде совал Агакериму в карман в зависимости от настроения когда одну, когда две, а бывало, и три четвертных. Двадцать рублей с каждого моллы в неделю были своего рода платой за место, если денег не дать, Агакерим прогонит с кладбища Тюлюкю Гельди, не позволит сюда больше и ногой ступить. А к кому моллам идти с жалобой? В мечети как официальный молла никто из них не зарегистрирован, так кто с ними вообще будет разговаривать? Государство выдает жалованья? Государство тут же выдаст директору управления кладбища новенькую Почетную грамоту, хорошо, мол, борешься с чуждыми обществом элементами! Моллы все это хорошо знали и, ругая в душе за грабеж и мошенничество, и хозяев кладбища Тюлюкю Гельди, безропотно отдавали подать Агакериму...

Теперь, идя между могилами с заложенными за спину руками, с выпяченной вперед грудью, Абдул Гафарзаде категорически постановил брать с мошенников-молл (в том числе и с моллы Асадуллы!) не по двадцать, а по тридцать (пока по тридцати, дальше посмотрим...) рублей в неделю, а кто не захочет платить, того гнать отсюда, как собаку... Непрофессиональные моллы, в сущности, и есть нечто вроде собак-прошак, другого выхода, кроме как платить сколько спросят, у них

нет. И нищих надо зажать. Правда, Агакерим собирал по пятнадцать рублей в неделю с постоянных нищих кладбища Тюлюк Гельди, но нищие тоже обнищали, и, как слышал Абдул Гафарзаде, один из них, работавший прежде в административных органах, похожий на женщину подлеем по имени Мамадага Алекперов, тайком купил «Жигули» (и пенсию от государства получал)... И с нищих сбор, как с молл, помысыт — до тридцатки в неделю!..

Всегда, придя к какому-нибудь твердому решению, Абдул Гафарзаде чувствовал в себе какую-то легкость. Так было и теперь.

Идя между могилами на кладбище Тюлюк Гельди, Абдул Гафарзаде порой узнавал знакомые лица в высеченных на надгробьях портретах, взгляд его падал на знакомые имена — с кем-то из этих людей он был близок, но, как и те, с которыми он был далек, они были поручены земле; конечно, это навевало грусть, но к грусти внезапно примешался и некий оптимизм, подъем духа: близкие и далекие, знакомые и вовсе незнакомые — все были в земле, а Абдул Гафарзаде жив и здоров, как десять, двадцать, тридцать лет тому назад; а могло ведь быть и иначе, кто-то из них гулял бы, а Абдул Гафарзаде лежал бы в сырой земле. Но живым был Абдул Гафарзаде, именно он, и в этом, как видно, было везение, счастье, это везение и счастье Абдул Гафарзаде ощущал физически... Правда, бывали у него и трудные дни, просто жуткие дни бывали. Но и везение и счастье были простерты над его судьбой навсегда. Абдул Гафарзаде в это верил, как верят дети, что сами они, их отцы и матери не умрут никогда, будут жить всегда. В самом дальнем уголке сердца Абдула Гафарзаде жило понимание, что все это самообман, но он не хотел заглядывать так глубоко.

Подобно тому, как каждый хороший, деловой мэр знает в своем городе все улицы, переулки, тупики, каждый дом, Абдул Гафарзаде на кладбище Тюлюк Гельди знал старые и новые могилы, дорожки, тропинки. Поскольку кладбище было старое, вся площадь была занята, получить здесь место для новой могилы было очень трудно. Некоторых хоронили на участках отцов и дедов, и похороны обходились дешевле, но для тех, у кого здесь места не было, расходы возрастали впятеро, а то и вдесятеро. Новос, простое и аккуратное кладбище было очень далеко от города и не пользовалось у горожан никаким почтением. Бакинцы и жить любили в центре, поближе к морю, и покойников своих хотели хоронить только на кладбище Тюлюк Гельди, а новое аккуратное кладбище было как микрорайон с неотличимыми панельными домами, в таких микрорайонах жили только беспомощные, не нашедшие связей в верхах, в основном бедные люди...

Желающие похоронить своего покойника на кладбище Тюлюк Гельди вели переговоры с Агакеримом, с Мирзаибн или с Василием, а самые почтенные и уважаемые люди обращались непосредственно к Абдулу Гафарзаде. Абдул Гафарзаде, дав разрешение на место, отправлял человека опять к Агакериму, к Мирзаибн или к Василию, потому что сам он денежными расчетами не занимался. Места для могил на хорошем участке — с удобным подходом (близ единственной асфальтовой дороги), неподалеку от водопровода — Абдул Гафарзаде оценивал очень дорого, такие места обычно доставались директорам мага-

зинов и ресторанов, другим денежным людям. А обширную площадь в центре кладбища Абдул Гафарзаде держал для родни высокопоставленных людей, места для подобных могил заказывал Фарид Кязымлы, а иногда и сам первый секретарь районного комитета партии М.П. Гарибли — это зависело от того, насколько высок пост родственника умершего. За места для высокопоставленных могил Абдул Гафарзаде, разумеется, не брал себе ни копеек, таких покойников хоронили по закону, за все услуги деньги в бухгалтерию, таких покойников хоронили по закону. В сущности, только в этих случаях бухгалтерия управления кладбища получала деньги от родственников за место, за услуги и выдавала расписки. В остальное время бухгалтерия строила свою работу лишь на основании указаний Агакерима, Мирзаибн или Василия. Сколько надо было расписок в день для выполнения плана, столько и писали, регистрировали в бухгалтерской книге, копия сохранялась, а оригиналы рвали и выкидывали (как будто он у клиента), и в конце каждого месяца главный бухгалтер Евдокия Станиславовна дополнительно к зарплате получала от тех же Агакерима, Мирзаибн либо Василия дополнительно к зарплате 500 рублей, а кассир Маргарита Иосифовна — 300. Эта операция за годы была так отработана, что все действовало точно, как японские часы, купленные и подаренные Абдулом Гафарзаде Бадуре-ханум в честь ее пятидесятилетия (о том, что Бадуре-ханум исполнилось пятьдесят, никто, кроме Абдула Гафарзаде, на кладбище Тюлюк Гельди не знал — Бадуре-ханум хранила это как трагическую тайну).

На кладбище Тюлюк Гельди было много старых могил, заросших бурьяном, забытых, давно никем не посещаемых, и Абдул Гафарзаде велел их перекапывать и предлагать как новые участки, а кости из старых могил алкоголики сбрасывали в специально вырытый глубокий колодец.

Некоторые столбили место на кладбище Тюлюк Гельди заранее, сами себе заказывали могилу, обносили оградой, даже строили над пустой могилой купол, сажали вокруг ивы, гранаты, нижир, цветы, пару раз в неделю приезжали поливать свои цветы и деревья, ухаживали за своей будущей могилой. Это были, в основном, доживающие срок старики, на свои деньги или на деньги сына, зятя получали они у Абдула Гафарзаде место в пятнадцать-двадцать раз дороже стоимости (за такие деньги можно было построить однокомнатную кооперативную квартиру!), и конечно же, эти могилы никак не регистрировались в управлении кладбища. Но в последнее время появлялась и новая мода: молодые, здоровые люди лет сорока пяти-пятидесяти, заработавшие большие деньги путем превращения государственного предприятия в источник личного дохода или занявшись спекуляцией, покупали себе дома, дачи, машины, а потом брали и место для могилы, заказывали памятники. Для таких людей Абдул Гафарзаде особенно высоко поднимал цены за место для могилы и в душе считал их всех, конечно, иднотами...

Абдул Гафарзаде, все так же сцепив руки за спиной и выпятив грудь, медленно шел между могилами и хорошо знал, куда ведут его ноги; только что возникший в душе оптимизм, подъем духа по-прежнему сме-

нялся беспокойством, и такая смена настроений всего за полчаса его утомляла.

Как получилось два дня назад, что фотограф Абульфас (надо прогнать подднца из этих мест) оказался около родника и сфотографировал его вместе с моллой Асадуллой?

Откуда он возник со своим аппаратом?

В этом таится некий смысл? Или сфотографировал и сфотографировал, наплевать, да и все...

Но наплевать не получалось, в тот апрельский день Абдул Гафарзаде, идя между могилами кладбища Тюлкую Гельди, осознавал некий холод фото, некую противоположность жизни и фото, и, чтобы отвлечь себя от этих мыслей, Абдул Гафарзаде стал думать о работе, о хозяйстве.

Остановившись на минутку, Абдул Гафарзаде задрал голову повыше и оглядел не только окрестные могилы, но и все кладбище. Кладбище Тюлкую Гельди было сокровищницей, причем в подлинном смысле: под землей было столько золотых зубных протезов, что, если собрать, наверное, не меньше тонны набралось бы... Тонна золота... ну, пусть даже не тонна, центнер... Да если даже пятьдесят килограммов...

А что тут сложного? Поручить двум алкоголикам ночью вскрыть могилу, выломать у трупа, у скелета челюсти, выдрать протезы и привести могилу в прежний вид. Кто узнал бы? Никто... Кто догадался бы, услышал бы? Никто.

В последние три года эта мысль то пропадала, то вдруг снова выныривала, и поскольку Абдул Гафарзаде перед тем, как превратить в жизнь какую-либо новую идею, семь раз отмеривал, чтобы один раз отрезать, он посмотрел Уголовный кодекс Азербайджанской ССР, который всегда хранил в сейфе. В Азербайджане до сих пор такого не бывало — Абдул Гафарзаде знал точно, — а статья 231-я Уголовного кодекса предусматривала 2 года ареста. В сравнении с пудами золота всего 2 года ареста? Даже смешно... Если бы дело вдруг раскрылось — Абдул Гафарзаде мог так разработать операцию, что она не раскрылась бы никогда, но в любом случае, хотя бы и раскрылась, Абдул Гафарзаде поручил бы тому же Мирзанби; иди, родной, отсиди два годочка, и вот тебе за это пуд золота! До конца дней потом ешь, пей, наслаждайся...

Три года эта мысль не давала покоя Абдулу Гафарзаде, и он впервые в жизни, впервые в своей деятельности не мог принять окончательно решения и страдал от этого. Конечно, на свете не могло быть дела более мерзкого, чем копаться в могиле. Но если с другой стороны посмотреть, ведь и игнорировать такое количество золота (дармового, совершенно дармового золота!) тоже невозможно. Для покойников, чьи кости теперь гниют (пусть даже не гниют! какая разница между человеком, умершим вчера, и например, Мешади Мирза Мир Абдулла Мешади Мир Мамедгусейн оглу, ушедшим из этого мира в 1913 году и порученным земле на кладбище Тюлкую Гельди, — в сущности, не было никакого различия, оба пребывали в праведном мире...), какое значение, какой смысл имеют их золотые зубные протезы? Абдул Гафарзаде не раз отвечал сам себе: никакого значения и никакого смысла нет!

Но все же к окончательному решению прийти не мог. Невыносимое, будто каждый раз вонзали ему в сердце кинжал по самую рукоятку, безумное чувство как молния пронзало Абдула Гафарзаде: под этой землей лежит и его собственное дитя, у его детки тоже были золотые зубки...

Знал, знал он, куда несут его ноги, знал, отчего каждую минуту у него меняется настроение, знал, что могила несчастного тянет его, еще ночью, во сне, могила несчастного звала его, и тяжелое настроение с раннего утра было, наверное, от того зова.

Шесть лет назад, в холодный декабрьский день Ордухана похоронили на кладбище Тюлкую Гельди, могила Ордухана была на исходе верхней части кладбища, на небольшом холмике, позади холмика была Сулу дере (Водяная долина), перед ним — все кладбище, ниже кладбища виделся весь город. Абдул Гафарзаде сам выбрал место, живописность места была хоть каким-то крошечным утешением.

Сначала Абдул Гафарзаде хотел обустроить могилу Ордухана так, чтобы она была достойна безвременно ушедшего из жизни прекрасного, безвинного существа, чтобы она выделялась среди других могил. Он хотел возвести здесь памятник, который жил бы в веках, привлечь скульпторов и архитекторов, удостоенных самых высоких званий, получивших премии за самые выдающиеся памятники в Баку — Бабекку, Кероглу, Ленину, Кирову, а раньше — Сталину. Он собирался ехать в Москву и привезти в Баку знаменитых советских художников... Но понемногу планы изменились, всегда бдящий разум Абдула Гафарзаде и на этот раз одолел страстное отцовское чувство: пыльное надгробие несомненно привлекло бы внимание, вызвало бы разговоры, сплетни, и на свадьбах бы о нем говорили, и на поминках. Конечно же, было бы неправильно, если бы человек, получающий 135 рублей в месяц, на глазах у людей сделал для своего сына такое роскошное надгробие...

Была бы капиталистическая страна, Турция, например, или Иран, тогда дело другое. Но Советский Союз — страна удивительная, здесь есть все условия и возможности, обманывая и государство, и народ, накапливать какое угодно личное состояние, не открыто тратить деньги здесь невозможно... Во всяком случае, надо было быть осторожным — от осторожности еще никто на свете не пострадал.

Могила Ордухана была простой, аккуратной и красивой: зелень, цветы, небольшой бассейн, у бассейна — еще не разцветившаяся молодая ива, чуть ниже — гранат, летом цветущий ярко-красными цветами, осенью приносящий крупные, с кулак, плоды, рядом с гранатом мраморное надгробие из розового гранита и надпись:

**Гафарзаде Ордухан Абдулалли оглу
(1951–1976)**

При чтении этой надписи, высеченной на розовом граните, у Абдула Гафарзаде каждый раз сотрясалось все тело, шел шестой год, а он никак не мог привыкнуть к этой надписи, сознание, конечно, воспринимало, что под розовым гранитом, под белой мраморной плитой лежит его дитя, но сердце принять этого не могло.

В тот апрельский день Абдул Гафарзаде опять встал напротив розового гранита, протер очки, и когда снова надел их — в серых глазах, глядящих сквозь чистейшие стекла, был целый мир горя, тоски, печали.

Каждый день не кто-нибудь, а Агакерим, Мирзаибн или Василий поливали цветы на могиле Ордухана, молодую иву, гранат, ровно подстригали траву, начисто протирали платком белый мрамор, розовый гранит, до последней соринки подметали территорию за невысокой каменной оградой, аккуратным квадратом очерчивающей просторный участок вокруг могилы. Они ухаживали за могилой каждый день — и в зимнюю вьюгу, и в адский летний зной, это превратилось в своего рода ритуал, Василий, Агакерим и Мирзаибн как бы выполняли моральный долг перед Абдулом Гафарзаде, и Абдул Гафарзаде каждый раз, приходя сюда, видел свежий след метлы на земле, чистоту белого мрамора и розового гранита, слышал аромат свежескошенной травы, и в его страдающее сердце как будто вливалась некая энергия. Преданность и верность Василия, Агакерима, Мирзаибн почти трогала Абдула Гафарзаде. Порой действительно трогала.

Во вкесе Севиль была девичья нежность, и в надгробии Ордухана эта девичья нежность была видна: Севиль попросила отца, чтобы невысокий забор, окружавший могилу квадратом, сложили не из камня-кубика, не из мрамора, а из простых крупных и мелких речных камней. За шесть лет Абдул Гафарзаде изучил каждый камушек в заборе. Севиль не реже раза или двух в неделю, часто с маленьким Абдулом, приезжала сюда на машине. Абдул Гафарзаде не хотел, чтобы маленький Абдул бывал на кладбище, чтобы с таких лет у ребенка сердце сжималось, но Севиль говорила: «Нет, папа, пусть он всегда помнит его... Пусть знает, кем он был для нас!» И Севиль прятала полные слез глаза, не хотела, чтобы отец видел слезы, и сердце Абдула Гафарзаде сильнее сжималось: спасибо, хорошая она дочь, преданная сестра... Но жизнь брала свое, хоть все зависит от времени, но время ни от чего не зависит. Маленький Абдул совсем забыл Ордухана, то есть что у него был дядя по имени Ордухан — он знал, и знал, что это его могила. Для мамы, дядя бабушки, дядя дедушки Ордухан был очень и очень дорогим человеком, его могила для них — священное место, но лицо самого Ордухана, голос Ордухана, смех Ордухана он совсем забыл, потому что когда Ордухан умер, маленькому Абдулу было всего-то два годика.

От Ордухана, как и от Хыдыра, ничего не осталось на свете, только сам он оставался в памяти отца, матери, сестры и еще, наверное, в памяти друзей, девушек, женщин, с которыми гулял. Пройдут годы, сменяются поколения, память об Ордухане вместе с теми, кто хранит ее, уйдет в могилу, а Гафарзаде, потомки Севиль (какая у них будет фамилия, бог знает... фамилия маленького Абдула была Гольджакхани, и Абдул Гафарзаде никак не мог с этим смириться) ничего не будут знать об Ордухане; пожелтевшие, поблекшие фотографии Ордухана, наверное, останутся в старых семейных альбомах, и Абдул Гафарзаде, стоявший в тот апрельский день напротив белого мрамора и розового гранита, будто услышал слова, которые через пятьдесят лет его собственные потомки будут говорить, глядя на пожелтевшую, поблекшую фотогра-

фию Ордухана: «Мама, а это кто?» — «Не знаю, кажется, брат моей бабушки...»

Воображаемый разговор об Ордухане будто грубая, мозолистая рука скал сердце Абдула Гафарзаде, и он подумал, что не только люди похожи на людей, но и деревья тоже: юная ива как сам Ордухан — чиста, беспомощна, безгрешна, но придет время, она будет ветви — и станет походить не на Ордухана, а на Абдула Гафарзаде.

Сравнение потрясло его, и на этот раз Абдул Гафарзаде в слове «Абдул» на розовом граните прочел сырость земли, мрак земли; он почувствовал, что ему не хватает воздуха, и, чтобы прогнать это чувство, убежать от него, чтобы взять себя в руки, он стал думать о Гаратель.

Абдул Гафарзаде и Севиль не пускали сюда Гаратель, потому что оба знали: если бы Гаратель хоть раз сюда пришла, живой бы не осталась. Порой горько и тихо плача, Гаратель говорила: «Ничего, живую вы не пускаете меня к моему детке, мертвую отнесете к нему...» Устроить скандал и самой прийти сюда у Гаратель не было сил...

Сколько на свете домов, и в каждом свое горе, своя трагедия...

А со стороны кажется — что там особенного?..

Абдул Гафарзаде, глядя на белый мрамор и розовый гранит, думал, что за шесть лет он в душе пролил столько слез, что все тело его пропитано влагой.

По сыну плакал или по своей жизни?

Вдруг знакомый лик бородатого, его ярко-желтый профиль увиделся Абдулу Гафарзаде так четко, будто был высечен на розовом граните, и бородатый мужчина в апрельский день на кладбище Тюлюк Гельди так смотрел на Абдула Гафарзаде, будто один горящий человек нашел на свете другого горящего человека. Нет, Абдул Гафарзаде ни за что не хотел стоять вот так, лицом к лицу с ярко-желтым взглядом бородатого, ни за что не хотел вспоминать страшную, дождливую зимнюю ночь, но когда ноги несли его к этому белому мрамору, к этому розовому граниту, он знал, что все кончится именно так, что жуткое воспоминание вновь посетит его, пройдет перед глазами, снова его состит, снова его уберет...

Ярко-желтый взгляд, как сильный магнит, вытягивал из Абдула Гафарзаде всю душу, и Абдул Гафарзаде действительно чуть ли не погибал.

Бородатый обладатель ярко-желтого взгляда был Николай Романов: бывший император Николай II, и желтизна была желтизной золота — глядящий сейчас с розового гранита лик Николая II был ликом с золотых десятков, золотых пятерок, и в кладбищенской тишине в апрельский день бесчувственное, застывшее ярко-желтое лицо Николая II вдруг задрожало, шевельнулось, и Николай II, внимательнее взглядевшись в стоящего перед ним высокого, крупнокостного смуглого человека в толстых очках, спросил:

«Как дела?»

Абдул Гафарзаде все ясно расслышал, хотя слова доносились как из другого мира, они были нездешние, а в голосе была страшная боль, все горе мира, боль и горе, конечно, были болью и горем судьбы самого Николая Романова, но голос сочувствовал и Абдулу Гафарзаде:

«Как дела?»

Ярко-желтый лик с чувством самого глубокого сожаления, как самый близкий товарищ по несчастью, будто делил горе Абдула Гафарзаде:

«Все есть, а ничего хорошего нет... да?»

Потом ярко-желтое лицо застыло, ярко-желтые глаза без зрачков перестали смотреть и видеть, желтое лицо понемногу растаяло на розовом граните, исчезло...

У Абдула Гафарзаде было много тайных дел, но среди всех его тайн была одна такая, о которой никто на свете не знал и, конечно, никто на свете не узнает; ее, как видно, не знал и сам Аллах, потому что если бы знал, то не допустил бы...

Шесть лет назад, 27 декабря, в самый разгар зимы, в Баку лил сильнейший осенний дождь, его шум до сих пор не выходит из памяти Абдула Гафарзаде и, сколько бы он ни жил, никогда не забудется. Конечно, дождь всего только дождь, но в душе дождя, лившего в черный день 27 декабря, в безжалостный, палаческий день, звучал навсегда впитавшийся в сердце Абдула Гафарзаде особый ритм, особый стон, полная безнадежность: безумный вопль Гаратель, рыдания Севиль и плач родственников и знакомых были по одну сторону, а тот особый ритм, особый стон, полная безнадежность в шуме сильнейшего дождя — по другую.

Ордухан ушел за неделю, ушел от гриппа, бедняге, видимо, так на роду было написано. Грипп дал осложнение на почки, и никто не мог спасти ребенка, даже академик Иван Сергеевич Фроловский, которого Василий и Мирзаиби срочно, в течение дня, привезли из Москвы, — осмотрев Ордухана и взглянув на рентгеновские снимки, сказал: «К сожалению, поздно...» И в тот же день Василий и Мирзаиби проводили академика самолетом в Москву.

Абдул Гафарзаде устроил сына на юридический факультет Азербайджанского государственного университета, чтобы он стал прокурором (весь облик, красота бедняги Ордухана будто говорили: сделай меня прокурором!), но потом изменил свое мнение — Ордухан должен работать на партийной работе, быть первым секретарем райкома (разумеется, в одном из районов Баку), потому что в Советском Союзе не было должности лучше, чем секретарь райкома. Заработки директора ресторана, начальника цеха, директора универмага все вместе были ничто в сравнении с доходом секретаря райкома, а уважение и почет — само собой: депутатство, ордена, великолепные санатории ЦК КПСС, машина, шофер-слуга... И потому после окончания университета Абдул Гафарзаде оставил ребенка в аспирантуре, пусть защитится.

Ты играй что хочешь, посмотришь, что твоя судьба сырает...

Ордухан был прекрасным спортсменом (настоящим спортсменом!), играл в сборной волейбольной команде Азербайджана, трижды играл в сборной СССР и за несколько дней до болезни опять получил из Москвы приглашение на тренировки сборной СССР.

Давнишнее спортсменство Хыдыра, его мечты, связанные со спортом, теперь казались Абдулу Гафарзаде, конечно, наивными, но наивность Хыдыра была трогательной, и любовь Ордухана к спорту

слилась для Абдула Гафарзаде с памятью о Хыдыре, а потому была тоже наивной, трогательной, дорогой. Двадцатишестилетний Ордухан был одним из самых уважаемых парней в Баку, и Гаратель готова была взять ножницы и перерезать телефонный провод, так донимали звонками неведомые девицы — Ордухан был любимым парнем у красивых девушек Баку.

Он скончался 27 декабря. С тех пор ни Абдул Гафарзаде, ни семья Севиль не праздновали Новый год. В семье Севиль повелось, что с 27 декабря по 2 января — семь дней — Омар играл на рояле печальные пьесы Шопена и Скрябина (вернее, вынужден был играть). Василий, и Мирзаиби, и Агакерим тоже не праздновали Новый год, вечером 31 декабря они приходили в дом Абдула Гафарзаде побеседовать, попить чайку. Абдул Гафарзаде точно знал, что и Василий, и Мирзаиби, и Агакерим идут после чая по домам, а не пируют.

28 декабря на кладбище Тюлюкю Гельди, вот на этом самом месте, Ордухана похоронили. В погребальном обряде помимо бесчисленных знакомых Абдула Гафарзаде (не только из Азербайджана, из многих городов СССР приехали; кто не смог сам приехать, прислал представителей, чтобы выразить соболезнование) участвовала чуть не вся молодежь Баку, в покрасневших от плача глазах красивых девушек и женщин в тот день была скорбь, казавшаяся вечной... Никакие подробности похорон не удержались в памяти Абдула Гафарзаде, потому что Абдул Гафарзаде до погребального обряда перенес самую страшную ночь на свете.

После того как 26 декабря днем академик Иван Сергеевич Фроловский из аэропорта Бина (в сопровождении Василия и Мирзаиби) попал прямо в больницу, в специально отведенную для Ордухана палату, и сказал: «К сожалению, уже поздно...» — Абдул Гафарзаде понял, что больше никакого чуда не произойдет, рок уносит Ордухана. После мук и страданий последних дней в мозгу его возникла удивительная ясность: от судьбы бежать невозможно. Вперив серые глаза в глаза академика Фроловского, Абдул Гафарзаде сказал: «Я могу его устроить даже в кремлевскую больницу, профессор...» Но профессор, глубоко вздохнув, ответил: «Не поможет... Боюсь, что сегодняшний день — последний день его жизни...»

Абдул Гафарзаде поручил Василию и Мирзаиби, чтобы Фроловского с уважением проводили в Москву (значит, сумму наличных денег, количество черной икры и коньяка надо было удвоить по сравнению с предварительной договоренностью), убивающуюся Гаратель с Агакеримом отправил домой и поручил Севиль находиться при матери: отправил сообщение родне, дал задание, заказы друзьям и знакомым, направил человека в дом шейхулислама, чтобы придержал в запасе на завтра одного из самых грамотных молл, а сам весь день и всю ночь просидел у кровати Ордухана. Утром, часов около пяти, Ордухан, как будто вздрогнув, открыл глаза, схватил Абдула Гафарзаде за руку: «Никуда не уходи...» И сидевший у кровати рядом со своим ребенком Абдул Гафарзаде почувствовал, что сын боится смерти, слова «никуда не уходи...» были выражением страха смерти. С той минуты Ордухан не выпускал руку отца, и когда врачи и сестры занимались больным,

он не отнимал руку от руки отца (и жар, и холод той руки, и все, о чем та рука рассказала, навсегда осталось вместе с Абдулом Гафарзаде и навек с ним пребудет).

В восьмом часу Ордухан приподнялся в постели, и хотя в школе и университете учился по-русски, и дома, и с товарищами, и с девушками обычно разговаривал на русском языке, в тот последний миг прошептал по-азербайджански: «Папа, я ведь умираю...» Глаза Ордухана наполнились слезами, а Абдул Гафарзаде закрыл свои глаза под очками. За всю двадцатипятилетнюю жизнь Ордухан впервые, наверное, видел своего отца таким беспомощным. Ровно без пятнадцати минут 8 часов утра Ордухан сделал последний вздох на руках у отца и улетел в невозвратное.

Тело Ордухана из больницы повезли в мечеть Тазапир, обмыли, завернули в саван, потом привезли домой, и все детали того дня, то есть 27 декабря, были в памяти Абдула Гафарзаде. Он мог, закрыв глаза, вспомнить по одному приходивших в дом с соболезнованием бесчисленных людей (с тех пор многие из них тоже легли здесь, на кладбище Тюлкю Гельди), как будто 27 декабря судьбой так протрезвел, что работал как часы. Мозг тогда брызгал водой на чувства и волнения, иначе можно было от горя воспламениться, сгореть, а надо ведь было достойно похоронить Ордухана.

Дождь начался в тот самый день, 27 декабря.

Тело Ордухана положили на стол в гостиной, комнату от всего освободили и все сорок квадратных метров сплошь застелили коврами, а вдоль стен расставили стулья. Приходившие с соболезнованием бесчисленные мужчины, молодые друзья Ордухана сажались на стулья; девятилетний Ахунд Фатулла Ага, направленный лично шейхульисламом и являющийся одним из самых известных в Баку, самых образованных молл, сидел в изголовье тела, а Абдул Гафарзаде — сбоку от него. Женщины были в другой комнате, и их плач и причитания отчетливо слышались в комнате, где сидели мужчины, и вызывали слезы у крепких как железо мужчин, пришедших выразить соболезнование Абдулу Гафарзаде.

Абдул Гафарзаде к тому времени уже больше двадцати лет был членом КПСС (когда в 1956 году был разоблачен культ личности, Хыдыр был реабилитирован как безвинно расстрелянный, он вступил в партию и теперь имел двадцатипятилетний партийный стаж). Но когда академик Фроловский сказал: «К сожалению, уже поздно...», когда он понял, что никакого чуда не будет, то решил, что остерегаться нечего, единственного сына надо похоронить по настоящему мусульманскому обычаю, с «аль-рахманом». Пусть говорят что хотят, пусть кричат и шумят, что членство в партии несовместимо с набожностью, но он как решил, так и делает (так и сделал!).

...Ахунд Фатулла Ага ровным голосом читал наизусть Коран, а Абдул Гафарзаде стал прислушиваться к шуму дождя и постепенно перестал слышать и голос Ахунда Фатуллы Аги, и доносившиеся из другой комнаты причитания женщин, будто во всем мире был только шум дождя, и все, больше никаких звуков не было на свете, и под шум дождя перед

глазами Абдула Гафарзаде стали проходить детские, подростковые, юношеские годы Ордухана, от дня рождения до дня, когда он умер на руках отца. Видения были как через воду, как еще не высохшие, мокрые фотографии, вода наполняла воспоминания — от дождя ли, льющегося снаружи, от бесконечных ли слез самого Абдула Гафарзаде. Никто не видел его слез (потому что их не было!). Абдул Гафарзаде контролировал себя, но никому не видимые его слезы лились, переливались через край, наполняли воспоминания.

Абдул Гафарзаде чувствовал, что за воспоминаниями, за страданиями в мозгу возник еще какой-то пласт, какой-то слой, вернее, в мозгу зрело какое-то решение, и сидящий над телом единственного сына этот человек изо всех сил старался не опуститься до того пласта, до того слоя, не хотел до конца осознавать то решение. Он очень хотел просто предаваться воспоминаниям, потому что знал, что это за решение, и очень боялся его, им же самим принятого...

К ночи число приходивших стало уменьшаться, в комнате остались только близкие: некоторые родственники, друзья, Омар, Муршуд Гюльджахани, Мирзанби, Василий, Агакерим, доктор Бронштейн, часто делавший Гаратель успокоительные уколы; в знак особого уважения (ясно, что уважение будет оценено особо!) не ушедший домой, сидевший у тела всю ночь Ахунд Фатулла Ага...

Друзья Ордухана, несмотря на все усиливающийся дождь, пошли в воинскую часть, взяли огромную палатку, поставили ее во дворе, провели в нее свет, разожгли печь, из соседней школы принесли стулья, столы и до утра сидели в той палатке.

У Абдула Гафарзаде целый день во рту не было ни крошки, ни глотка воды, и примерно в час ночи Муршуд Гюльджахани, сидевший в углу большой комнаты, где лежало тело, и то и дело в дреме роняющий голову на грудь, открыл глаза, огляделся, увидел, что людей немного, и, как свой, подошел к сидевшему у тела Абдулу Гафарзаде, вперившему серые глаза сквозь очки в неведомую точку:

— Пойди выпей стакан чая, съешь кусок хлеба... Так ведь нельзя... Завтра весь день на ногах...

Абдул Гафарзаде оторвался от неведомой точки, посмотрел на Муршуда Гюльджахани, и писателю Муршуду Гюльджахани показалось, что сват его не понял и даже вообще не узнал; за все время их родства Муршуду Гюльджахани в первый (и последний!) раз стало жаль этого человека, он опять зашептал:

— Пойди выпей стакан чая, съешь кусок хлеба...

Абдул Гафарзаде смотрел на Муршуда Гюльджахани тем же отсутствующим взглядом, но вдруг улыбнулся — и от его улыбки в ту ночь, от улыбки свата, сидевшего рядом с телом сына, по спине Муршуда Гюльджахани пробежал мороз, от писателя отлетел сон, и, не сказав больше ни слова, он вернулся на свой стул в углу.

Абдул Гафарзаде встал, вышел из большой комнаты, прошел мимо комнаты женщин (потерявшая голос от плача и криков Гаратель все стонала), вошел в спальню и запер за собой дверь на ключ — в пятикомнатной квартире Абдула Гафарзаде дверь каждой комнаты запиралась на свой ключ; потом включил свет, прошел между кроватями,

остановился перед книжными полками, висящими на стене. Это были книги, которые Абдул Гафарзаде иногда листал перед сном, некоторые читал, полки были по его проекту встроены в стену.

Он постоял неподвижно, будто к чему-то прислушиваясь или переводя дух. Он взял себя в руки. Он ловко, решительно раздвинул стекла третьей полки, сверху вытащил по одной книге по истории, толкованию религий (в том числе христианской и иудейской), сложил их на зеркальный туалетный столик Гаратель. Затем, обеими руками взявшись за бока пустой полки, он резко потянул ее на себя, и полка вышла из стены. Он вытащил тонкие целлофановые свертки, спрятанные за полкой, и со свертками в руках некоторое время постоял без движения, прислушался к шуму дождя, доносящемуся снаружи.

О целлофановых свертках за третьей полкой не знал никто, даже Гаратель. В них было 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, 100 000 (сто тысяч) долларов, пятьдесят штук (Абдул Гафарзаде знал все наизусть) золотых николаевских десятков, пятьдесят штук золотых николаевских пятерок и драгоценностей пятидесяти наименований: бриллиантовые кольца, серьги, ожерелья, браслеты...

Это было состояние на черный день, запасы Абдула Гафарзаде, не надевшегося на этот мир, и хранимые в квартире, запасы не давали покоя Абдулу Гафарзаде, потайное местечко за третьей полкой всегда казалось ненадежным местом, ненадежность тайника постоянно держала в тревоге.

Абдул Гафарзаде высыпал целлофановые свертки на кровать, вынул сверток с пятьюстами тысячами рублей, закинул на прежнее место, взял с тумбы хрустальную цветочную вазу в форме бочонка и стал аккуратно складывать в нее завернутые в целлофан и перевязанные веревкой свертки — доллары, золото, драгоценности. Когда втискивал в вазу последний сверток, внезапно испытал безумное желание: рука ощущала внутри золотые николаевские пятерки, под аккомпанемент сильнейшего дождя вдруг до страсти захотелось посмотреть на золото, на маленькие золотые монетки; страсть была непреодолима, ее никак невозможно было заглушить.

У Абдула Гафарзаде, до этой минуты делавшего все дела хладнокровно и быстро, как сто раз отретированные, теперь сильно заколотилось сердце, едва переводя дух, он взглянул на дверь, потому что ему показалось, что стук его сердца разносится по всем комнатам... Потом внезапно наступила глубокая тишина, даже журчание ливня на улице перестало быть слышно, и Абдул Гафарзаде, как в невесомости, в глубокой тишине дрожащими пальцами начал осторожно развязывать веревку того последнего свертка.

Приложив горстью ладонь правой руки к животу, левой рукой он осторожно высыпал в горсть часть золотых николаевских пятерок из свертка. Золотые николаевские пятерки вместе были тяжелые, но каждая в отдельности была удивительно легка, удивительно нежна, даже ласкова. Абдулу Гафарзаде казалось, что он опять, как в детстве, лежит под толстым одеялом и ласка толстого домашнего одеяла оберегает Абдула Гафарзаде от всего, от всех мыслимых и немислимых бед.

Не двигая ладонью (боялся, что монеты рассыплются), наклонив голову, сквозь толстые очки он смотрел на николаевские пятерки, и еще одно безумное желание в ту ночь возникло у человека: заново пересчитать горсть золотых пятерок, а лучше все втиснутое в цветочную вазу золото. Но это безумное желание он сумел преодолеть. Высыпал золото из горсти в хрустальную вазу. А последнюю оставшуюся на ладони монету поднял к свету и внимательно разглядел — и пока разглядывал, не существовало для Абдула Гафарзаде на свете никого и ничего, только ярко-желтое застывшее лицо Николая II.

Он закрыл вазу целлофаном, крепко-накрепко перевязал веревкой (как закрывают банку с вареньем), открыл платяной шкаф, сорвал целлофановые мешки со всех новых шмоток, укутал хрустальную вазу в эти пакеты, потом взял первую попавшуюся рубашку — попалась французская ночная рубашка Гаратель, как обычно купленная в валютном магазине, — завернул в нее поверх целлофана вазу и, прижав к себе большой сверток, решительно и осторожно открыл дверь, вышел из спальни, прошел мимо комнаты, где стонала Гаратель, мимо пустой кухни, снял пальто с вешалки в передней, надел шляпу и вышел.

Стон Гаратель не был уже слышен, все заполнило журчание ливня, ровный, прохладный шум, и Абдул Гафарзаде вздохнул полной грудью, быстро натянул пальто, крепко прижал к себе тяжелую большую вазу и спустился по темным ступеням вниз.

Двор был темный и безлюдный. Товарищи Ордухана, молодые ребята, сидели в палатке, и пробивающийся из палатки свет с трудом освещал выстроившиеся вдоль двора, рядышком одна с другой, машины — друзей, родственников Ордухана, Василия, Мирзаибн, Агакерима. Торопливо пройдя мимо темных деревьев, Абдул Гафарзаде вышел со двора и так же быстро удалился.

Дождь промочил его насквозь, но он не останавливал такси, потому что шоферы могли его узнать. Ветер бросался Абдулу Гафарзаде в лицо, но он не чувствовал холода, напротив, ему было жарко, он не знал, куда деваться от жара, сжигавшего его изнутри, но, прижимая к себе большую и тяжелую вазу в глухую ночную пору, Абдул Гафарзаде под дождем, среди безлюдья бакинских улиц совершенно не испытывал ни страха, ни колебаний — все будет так, как он решил.

Свет фар от большой машины, идущей навстречу, пробил водяную стену и упал на Абдула Гафарзаде, и первым инстинктивным желанием Абдула Гафарзаде было убежать, спрятаться от этого света — не потому, что он боялся, а потому, что свет был чуждым всей его ночной операции; операция, которую начал Абдул Гафарзаде, и свет были абсолютно несовместимы.

Четко работающий мозг Абдула Гафарзаде одолел все чувства, победил волнение, Абдул Гафарзаде увидел себя со стороны глазами водителя большой машины: среди ночи, под ливнем высокий мужчина в черном пальто и черной шляпе, прижав к себе какой-то сверток, шагает по совершенно пустынным улицам.

В любом случае машину надо было остановить, Абдул Гафарзаде поднял левую руку. Абдул Гафарзаде знал, что, если понадобится, он убьет водителя — убьет без всяких колебаний.

Машина подъехала и остановилась. Абдул Гафарзаде увидел, что это мусоровоз. В такой дождь и ветер, среди ночи, что делал мусоровоз на улицах Баку? Аллах знает...

Поднявшись в кабинку, Абдул Гафарзаде отер воду с лица, вынул из кармана десятку, вручил водителю и велел ему ехать в сторону кладбища Тюлкую Гельди. Хорошо, что водитель был русский; азербайджанец или армянин сгорел бы от любопытства, начал бы расспрашивать, а русский сунул десятку в карман и сказал:

— Черт! Какой дождь, а?! — И повел машину куда надо.

Абдул Гафарзаде остановил мусоровоз с задней стороны кладбища Тюлкую Гельди, у старой проселочной дороги. Здесь и днем-то никого не бывало, а сейчас... Абдул Гафарзаде подумал, что ветер дует ему в помощь, и дождь льет стеной, чтобы ему помочь, и все это — судьба, и от судьбы не уйдешь.

Чуть ли не по щиколотку увязая в грязь, он вошел на кладбище, и пока шум мусоровоза, быстро удаляясь (водитель, несмотря на десятку, наверное, хотел поскорее удалиться от этих мест и от этого пассажира), совсем не стих, стоял под высокой елью у старой могилы, ждал. И внезапно почувствовал запах омытой дождем ели. Он был похож на запах похоронных венков. И Абдул Гафарзаде на миг, всего на один миг, вспомнил тело, которое оставил на столе в гостинице... Потом стер воду с лица, еще раз убедился, что во всей округе нет ни души, и быстро зашагал в верхнюю часть кладбища Тюлкую Гельди, к тому холмику.

Когда тело Ордухана взяли из больницы в мечеть Тазапир, Абдул Гафарзаде показал Мирзаинби, Василию, Агакериму это место и велел вырыть здесь могилу для сына. Место было из личного резерва Абдула Гафарзаде, он скрыл его даже от самых высокочтимых чинов и их родственников, как будто инстинкт говорил ему: сбереги — понадобится...

Могилу на холмике вырыли и, поняв, что вечером будет дождь, спешно соорудили навес. Утопая в грязи на тропинках, где знал каждый кустик, Абдул Гафарзаде дошел до холмика и чуть не на четвереньках (скользко!) влез на него, положил сверток на отброшенную из могилы землю и внимательно огляделся. Но в темноте ему на глаза не попались ни палка, ни железка. Сунув руку в карман пальто, он выгнул ключи (от квартиры, кабинета и сейфа), которые всегда носил с собой, и спустился в свежую могилу. И низ, и бока могилы были аккуратно выложены камнем-кубиком, но воздух был сырой, навес не мог полностью задержать дождь, и раствор между камнями-кубиками еще не высох. Присев на корточки, Абдул Гафарзаде самым длинным из ключей стал быстро выковыривать раствор, скрепляющий камни-кубики, уложенные внизу.

Он ковырял ключом, пальцами вытаскивал отковырнутый раствор и ни о чем не думал, только часто взглядывал на сверток на краю могилы. Конечно, рядом никого не было, никто не мог прийти и унести сверток (он ведь специально постоял под елкой, чтобы своими глазами увидеть, как отъехал мусоровоз, хотя русский шофер, сразу видно, был размазня), Абдул Гафарзаде все понимал, но тревога не покидала, казалось, что, в очередной раз взглянув на то место, он не увидит

сверток; тревога в сердце под ливнем, заливавшим округу, подгоняла Абдула Гафарзаде, и за двадцать минут он вынул два камня-кубика из дна могилы, ключом, пальцами вырыл под ними яму глубиной в полметра и шириной со сверток, взял с края могилы хрустальную вазу, осторожно заложил в яму, зарыл, утрамбовал, заглянул, поставил на свои места камни-кубики, в швы затолкал остатки раствора, несколькими горстями земли окончательно выровнял низ и вылез из могилы. Но на краю снова присел на корточки: заровнял грязью следы своих ног в могиле.

Вот так было захоронено в дождливую зимнюю ночь на кладбище Тюлкую Гельди состояние, хранившееся на черный день. Об этом не узнает ни одна душа на всем свете. И можно поручиться: ничье богатство во всем Баку не хранилось в таком надежном месте...

Все было кончено, операция завершилась, и Абдул Гафарзаде, усевшись на край могилы, перевел дух, прислонился спиной к выброшенной из могилы земле (завтра сию засыплют Ордухана), ощутил влажность пальто, пижамки, рубашки, майки, брюк, трусов, носков и вдруг разрыдался, и слезы на лице смешались с дождем, и из груди вырвался стон: «До чего же я дошел, господи!»

Сын, которого он оставил в гостинице и ушел, был теперь перед глазами Абдула Гафарзаде, и Абдул Гафарзаде на краю свежей могилы плакал и по ушедшему из мира сыну, которого ждет эта сырая земля, и по своей жизни.

Абдул Гафарзаде опять увидел себя со стороны, его мозг и теперь работал с абсолютной четкостью, в ту дождливую зимнюю ночь он прекрасно сознавал весь ужас своего положения. Единственным утешением было то, что никто ничего не узнает, и единственным свидетелем ужаса был сам Абдул Гафарзаде...

Рыдания, доносившиеся от края свежерытой могилы, смешиваясь с шорохом дождя, разносились по ближней части Сулу дере кладбища Тюлкую Гельди, и казалось, рыдает сам дождь, сама ночь...

Абдул Гафарзаде дошел до дома около пяти утра. Двор под непрекращающимся дождем был так же пуст, идущий от палатки свет так же слабо падал на машины, и Абдул Гафарзаде, опять пройдя мимо темных деревьев, поднялся к себе на третий этаж. И здесь, с тех пор как он ушел, ничего не переменилось.

Когда Абдул Гафарзаде открывал дверь в квартиру, Муршуд Гюльджакхани выходил из туалета, и они встретились в коридоре. Писатель увидел свата, промокшего, в грязи, увидел цвет и выражение его мокрого лица и замер на месте: посвятивший почти сорок лет жизни писательству, Муршуд-муэллим никогда в жизни ни одного человека не встречал в таком виде, причем этот человек был Абдул Гафарзаде! Сняв шляпу, превратившуюся под дождем в тряпку, и пальто, грязное, промокшее до последней нитки, Абдул Гафарзаде бросил все Муршуду Гюльджакхани и, оставляя за собой на паркете грязные следы, пошел прямо в спальню.

Муршуд Гюльджакхани оглядел коридор, никуда бы положить ужасное пальто и шляпу, наконец сбросил все это на пустой стул и направился вслед за Абдулом Гафарзаде. Муршуд-муэллим все это время ду-

мал, что Абдул Гафарзаде ушел спать, даже в душе ругал свата: сам, мол, спать пошел, а мы сиди тут до утра рядом с телом... Оказывается, свата и дома-то не было... Покончить с собой хотел, что ли?..

Когда Муршуд Гюльджакхани вошел в спальню, Абдул Гафарзаде в грязных туфлях стоял спиной к дверям, прямо посреди комнаты на прекрасном тебризском ковре, сотканном еще до революции, но сохранившем свою свежесть. Сделав вперед шаг-другой, Муршуд Гюльджакхани остановился, не осмелился ступить на прекрасный тебризский ковер и искренне, печально и тихо сказал:

— Так же нельзя, брат, возьми себя в руки...

Абдул Гафарзаде резко обернулся, посмотрел на Муршуда Гюльджакхани покрасневшими, опухшими глазами, источающими ненависть и гнев, хрипло прокричал:

— Убирайся отсюда! Убирайся, сказал тебе! — И прямо в мокром пиджаке, в грязных туфлях, в брюках с абсолютно мокрыми и грязными штанинами бросился ничком на кровать.

Муршуд Гюльджакхани, трепеща, на дрожащих ногах вышел из спальни.

Теперь с той черной ночи прошло шесть лет, но шум дождя до сих пор в памяти Абдула Гафарзаде, и особый ритм, и стон, и безнадежность того дождя впитались в его сердце и всегда с ним, а когда в памяти воскресает холод мокрого костюма, мокрого белья, Абдул Гафарзаде содрогается всем телом.

Теперь, в апрельский день, Абдул Гафарзаде стоял лицом к лицу с белым мрамором и розовым гранитом, руки у него были сцеплены за спиной, взгляд серых глаз устремлен на слова:

**Гафарзаде Ордухан Абдулалы оглу
(1951 — 1976)**

и в сердце Абдула Гафарзаде было одно-единственное желание, волновавшее, прямо обжигающее, сильнейшее: он хотел убедить хотя бы себя самого в том, что каждый раз навещает эту могилу только (и только!) ради сына... Но будто бес вселился в него, бился как пульс после бег:

нет, не только ради сына ты приходишь сюда!..
не только ради сына приходишь сюда!
не только ради сына приходишь сюда!..
не только ради сына приходишь сюда!..
не только ради сына приходишь сюда!
.....
.....

и ярко-желтое застывшее лицо Николая II снова высекалось на розовом граните, и ярко-желтое застывшее лицо Николая II неожиданно улыбалось так, что волосы дыбом вставали.

Абдул Гафарзаде медленно спустился с холмика, по узким земляным тропинкам кладбища Тюлюкю Гельди направился к управлению и, шагая вниз, вспомнил слово

Абдулалы

на розовом граните, и подумал, что когда-то на каком-то камне будет написано

**Гафарзаде Абдулалы Ордухан оглу
(1929 — ?)**

и на мгновение задержал шаг: какой там будет год?..

Нет, так все-таки нельзя, возрастное это, что ли?.. Живешь один раз, и единственную жизнь проводить вот в таких мыслях, так грызть себя изнутри, так себя мучить? Нет, хоть у одиножды данной жизни есть начало и есть конец, но в сущности жизнь сама по себе была некой вечностью, и жить надо исходя из того, что она вечность.

Мозг Абдула Гафарзаде, будто выйдя из тумана, из мороси, прояснился, заработал точно и четко, брызнул водой на угли тоски и погасил их.

Войдя во двор управления кладбища, Абдул Гафарзаде спокойно направился в свой кабинет.

15. Все проходит...

Студент Мурад Илдырымлы ночь проводил на стоянке личных машин на Баилове. Прежние охранники из тарных деревянных ящиков соорудили здесь нечто вроде будки, и поскольку зима осталась позади, студент уже не маялся здесь ночами от жуткого холода, завернувшись в рваную, местами превратившуюся в лохмотья шерстяную шаль, он согревался теплом старой керосинки, оставшейся на память от прежних охранников.

Студент был абсолютно спокоен и в окошко этого подобия будки видел мрак апрельской ночи: темнота земли и неба смешались, и в самой глубине темноты едва различимы были редкие звезды. Студент смотрел на далекие звезды и думал.

Первая сура Корана начиналась так:

«С именем милостивого, прощающего Аллаха (начинаю).

(Аллах) милостивый, прощающий.

Кара — владелица дня.

Только тебе поклоняемся и только у тебя просим помощи.

Направь нас на верный путь!»

Вот о чем просит человек, вот чего он желает всей душой, всем сердцем и разумом: «Направь нас на верный путь!» Почему же Аллах не всегда слышит эту мольбу, почему он не всех направляет на верный путь? И зачем вообще существует неверный путь? Разве не все в руках Аллаха?.. Ведь в суре «Бегера» Корана в обращении к человеку говорится: «Разве ты не знаешь, что царство небес и земли принадлежит только Аллаху и кроме него нет у вас другого покровителя и помощника?»

Раз царством небес и земли владеет Аллах и, как часто повторяется в Коране, Аллах мудр, так почему же в этом царстве кроме верной дороги есть и неверная и почему Аллах принимает такую данность, мирится с нею? Там же, в суре «Бегера», сказано:

«Небеса и землю сотворял из ничего Он. Когда захочет, чтобы что-то было, Он ему (делу или вещи) скажет «будь!»: и тотчас это будет!»

Так почему же, почему Он не говорит «будь!» верным дорогам, почему неверные дороги не превращает в верные? Ведь если бы не было неверных дорог, не было бы надобности и в аде, и в день Кары — в Судный день — не понадобилось бы воздавать дурным за дурные деяния, хорошим за хорошие, потому что дурных деяний не было бы вообще и все были бы кандидатами в рай. В суре «Ниса» Корана говорится:

«Лицу, помогающему доброму деянию, достанется от него (от благих дела) одна часть, а помогающему дурному деянию будет воздана от него (от грешного дела) доля. Конечно, Аллах всемогущ».

Раз это так, раз Он всемогущ, почему же Он позволяет кому-то способствовать дурному деянию и вообще допускает дурные деяния? Только потому, что в Судный день за грехи воздастся и согрешившие люди будут наказаны? Или человеческим разумом нельзя все это понять до конца, потому что человек не ведает о суги? Наверное, так и есть...

Наверное, наверное, так и есть...

Студент Мурад Илдырымылы нес караул на частной стоянке на Баюлов через ночь, и те ночи проходили для него между бодрствованием и сном, спать по-настоящему он не мог, бодрствовать тоже, в дреме его мозг работал, утомлял студента, а как только наступало утро, он шел прямо в университет, и когда после занятий приходил домой, бедная старуха Хадиджа, взглянув на квартиранта, говорила: «Да умрет твоя мать, до чего ты дошел?! Чего ты так мучаешься, бедняга? Зачем так себя изводишь?!» Конечно, студент не мог ответить, что причина этих мучений — семьдесят рублей за постой как раз этой старухе... От недосыпу у него смыкались веки, но на железной кровати под синеватым одеялом он никак не мог уснуть; то уносился мечтами в пуганный воображаемый мир, то предавался созерцанию никогда не виданных в жизни, но воображаемых эротических картин с участием девушек-сокурсниц... Избавиться от мечтаний и видений было невозможно, он вставал и шел в республиканскую государственную библиотеку имени М.Ф. Ахундова, готовился к сессии, листал старые газеты и журналы, читал книги, пытался изучать английский язык и писать рассказы. А рассказы никто не печатал, до сих пор ни один не увидел света, годами они лежали в ящиках столов таких заведующих отделами литературы, как Мухтар Худавенде... Мухтар Худавенде просто так рассказы не печатал. Либо тебе кто-то должен был тапшануть (составить протекцию), либо ты должен был найти деньги и пару раз сводить его в ресторан, либо же привезти из села гостинец — мяса, кур, козьего сыра, меда... Правда, теперь люди из деревни сами в Баку за казенным сыром едут, даже маргарин покупают, совсем обеднела деревня, но это Мухтара Худавенде совсем не касалось. Вчера, когда они вместе с Хосровом-муэллимом возвратились с кладбища Тюлкю Гельди, не сумев получить место для бедной старухи Хадиджи, обитатели махалли недовольно поглядывали то на Хосрова-муэллима, то на студента, перешептывались, а сын хлебника Агабалы, недавно вернувшийся из армии, ругался себе под нос. Студент Мурад Илдырымылы, увидев все это, понял, что переживает самые ответственные минуты за все двад-

цать семь лет жизни, и его охватила решимость, какой он не испытывал никогда раньше: студент Мурад Илдырымылы должен убить директора кладбища Тюлкю Гельди, — и уйдет!

Глядя на перешептывающихся махаллинских мужчин, на проклинающих плохих людей махаллинских женщин, студент понял, что четыре года назад он приехал в Баку из малоллюдного, жалкого села на лоне далеких гор именно ради этого убийства. Именно ради этого убийства он стал студентом в Баку. Да что там, именно ради этого убийства он появился не только в Баку, но и вообще на свете, и бедная старуха Хадиджа умерла именно ради этого убийства, нет, она не умерла, она за это убийство погибла.

Обитатели махалли, посоветовавшись, пришли к выводу, что нет, хоронить старую набожную женщину на новом кладбище, заложенном Бакинским городским Советом в пустыне, — грех и недостойно махалли, старуху Хадиджу надо хоронить на кладбище предков; молла Асадулла посоветовал собрать деньги и отдать их хозяевам кладбища Тюлкю Гельди, чтобы завтра для старухи Хадиджи на кладбище Тюлкю Гельди было место. Сын хлебника Агабалы пошел за сухим льдом, чтобы обложить тело старухи Хадиджи, иначе труп до завтра испортится. — Надо было с самого начала так и делать!.. И людей нечего было гонять туда с пустыми руками! — Такие слова произнес молла Асадулла, но очень зло, как на виноватых во всем, посмотрел на Хосрова-муэллима и неуклюжего студента-квартиранта и стал с еще большей скоростью перебирать четки.

Баланияз с самого полудня сидел на одном месте, пребывая в каком-то куда более возвышенном, величественном состоянии, чем все происходившее, он только острым взглядом шарил по углам уже потемневшего двора, не снисходя до суеты мира. Молла Асадулла мтежу и в него злой взгляд, но махнул рукой: с этого вовсе нет спроса... Слова моллы Асадуллы, враждебность в его глазах, перешептывание собравшихся, боль, никак не покидающая глаз стоявшего в немом молчании Хосрова-муэллима, — ничто больше не трогало студента Мурада Илдырымылы и не имело для него смысла. Все было решено: директор кладбища Тюлкю Гельди должен быть убит. Студент всем существом чувствовал, что так и будет, он знал, что уйдет этого страшного человека в очках. А если не уйдет — не сможет больше жить.

Дело было не только в директоре, то есть не только в его личности — студент видел его первый раз в жизни — дело было в том... В чем? Студент не мог сформулировать ответ. Но директор должен был умереть, и убить его должен именно студент. На следствии он, конечно, не сумеет ответить, не сумеет объяснить, почему убил. За оскорбление? Но за оскорбление надо уж тогда убивать майора милиции Мамедова. А он убит директором. Кому объясняться, что директор — тот человек, вернее, та сила в обществе, которая заставляет людей читать роман «Муки моего любимого», и автор того ненаписанного романа — тоже директор кладбища Тюлкю Гельди...

Студент Мурад Илдырымылы, выговаривая слова так плавно, как никогда в жизни, так спокойно и решительно, как никогда в жизни, — постарался убедить махаллинских мужчин, что деньги собирать не

надо, что завтра непременно дадут место на кладбище Тюлюк Гельди, что рано утром он снова туда пойдет и место обязательно получит.

Такой неожиданно спокойный, ровный, уверенный тон этого всегда смущающегося, неуклюжего квартиранта произвел впечатление даже, кажется, на Баланияза, и Баланияз отлекая от темных углов двора и восхищенно взглянул на студента:

— Молодчик!

Молла Асадулла на этот раз с нескрываемой ненавистью посмотрел на Баланияза, потом смерил студента с ног до головы выражением глаз, горькой усмешкой дав понять обитателям махаллы его ничтожность, и сказал:

— Рост у тебя с блюдце! Как ты туда пойдешь и получишь место, а?! Если уж мог получить, то получил бы!.. Не морочь людям головы!

Слова пронзали унижением — на людях! — но на студента Мурада Илдырымлы не произвели ни малейшего впечатления. С прежним спокойствием и решимостью он повторил, что завтра утром обязательно получит для старухи Хадиджи место на кладбище Тюлюк Гельди. Решимость молодого неуклюжего квартиранта, видимо, вселила сомнение и в моллу Асадулла, и он больше не настаивал на сборе денег, молла знал, что от таких, на первый взгляд, незаметных людей можно ожидать чего угодно: один, в свое время бывший в махалле квартирантом, теперь работал в Центральном Комитете и имел пятикомнатную квартиру на берегу моря... И потом, если бы стали собирать деньги, первым пришлось бы раскошелиться самому молле Асадулле — довольно веский аргумент в пользу решительного студента.

Махаллинские женщины, следившие за происходящим из окна комнаты, которую снимал студент, откровенно обрадовались, что мужа не понесут расходы, и, глядя на студента Мурада Илдырымлы, стали повторять:

— Покойница так тебя любила!..

— Тебя больше, чем сына, любила, валлах!..

— Дай тебе Бог здоровья!

— Да не лишит нас Аллах таких образованных людей, как ты!.. Вы умные бываете!..

И Баланияз кивал головой, подтверждал слова махаллинских женщин:

— Ну конечно, это так! Конечно!..

А Хосров-муэллим смотрел на студента все так же — в немом молчании...

Отправляясь на стоянку личных машин на Баилове, студент сначала зашел в хозяйственный магазин и купил за рубль девяносто (сумма двухдневного пропитания) длинный и острый хлебный нож. Теперь ему, закутанному в шаль, казалось, что холод хлебного ножа, спрятанного в нагрудном кармане, порой отрезает тепло керосинки, и тогда студент чувствовал ледяной холод ножа, но это чувство быстро проходило, таяло, пропадало в ночной темноте и покое Баилова.

Еще за два-три квартала до стоянки личных автомобилей на Баилове студент обычно чувствовал ее запах, бензино-масло-железный, студента волновал таинственный ночной настрой стоянки, потому что

иногда в прибывающих сюда машинах, кроме владельцев, парней и мужчин, бывали и девушки, женщины, старающиеся скрыть лицо. Такие машины, бывало, останавливались на своем месте, но никто из них не выходил, и в тишине студент слышал звуки, доносившиеся отсюда... Потом такая машина либо опять уезжала и возвращалась через некоторое время с одним владельцем, либо пассажиры выходили вдвоем, воровато оглядываясь, быстро пробегали мимо караульной будки и исчезали в темноте. Студент Мурад Илдырымлы с колоющимся сердцем глядел на них сквозь щели и тотчас определял, что девушки — проститутки (некоторых он видел по вечерам перед кинотеатром «Азербайджан»), они пару раз даже подмигивали студенту, задевали его рукавом, и студент, задыхаясь от волнения, ускорял шаги, уходил или жертвы тайной любви; в темноте он не мог разглядеть ни лиц, ни нарядов, он судил по походке, по жестам, и, как ему казалось, безошибочно.

Иногда владелец машины пропуская женщину вперед, а сам, приоткрыв дверь будки, молча совал студенту в карман трешник или пятерку, и все это совершалось так быстро, происходило в такой гармонии с темнотой и тишиной ночи, с запахом стоянки, что студент не успевал возмутиться, выразить протест, даже злость и смущение приходили к нему позже, чем надо, когда дверь уже была закрыта и владелец машины исчез из виду. Когда те трешки и пятерки лежали у него в кармане, студенту казалось, что он носит с собой что-то скверное, что скверна проникает в его душу, и он стал раздавать эти деньги нищим у мечети Тазапир... Среди владельцев личных машин была и высокая, крупнокопная женщина средних лет (говорили, будто какая-то начальница), так она время от времени привозила сюда парней...

Студент и теперь чувствовал запах стоянки, но сегодня в нем не было ничего волнующего и таинственного, и не потому, что стоянка была пуста, а потому, что решимость, внезапно охватившая студента Мурада Илдырымлы под вечер в махалле, изменила весь его мир, привнесла в его чувства, в восприятие окружающего такую остроту, что он больше не волновался каждую минуту, как бывало прежде, не раздражался, не расстраивался, не впадал в тоску. Когда-то растертая на стене и годами не сохшая штукатурка теперь вдруг абсолютно высохла, ни капли влаги не осталось...

А потом что было?.. дрема была?.. сон был?.. галлюцинации были?..

Все бежали за лисой!.. Все кричали!..

— ...тюлюк гельди (лиса пришла)!..

— ...тюлюк гельди!..

— ...тюлюк гельди!..

самой лисы не было видно, но все ее преследовали, все бежали следом за лисой, и на всех упал ярко сияющий рыже-желтоватый свет, какая-то бесчисленная масса людей под рыже-желтоватым светом с криками искала лису...

— ...тюлюк гельди!..

— ...тюлюк гельди!..

— ...тюлюк гельди!..

и старуха Хадиджа, как баба-яга, кожа да кости да ярко-рыжие от просерченной хны волосы, разметавшиеся по плечам и груди, и старуха Хадиджа тоже бежала вслед за лисой...

не бежала, а как будто летела...

старуха Хадиджа летела...

Баланияз... заслуженный деятель искусств Арастун Боздаглы... молла Асадулла... вернувшийся из армии сын хлебника Агабалы... заведующий отделом литературы Мухтар Худавенде... майор милиции Мамедов... молодой писатель Салим Бедбин... седовласый, седобородый, пророк Сулейман... милиционер Аскер... женщина-начальница...

— ...тюлкую гельди!..

— ...тюлкую гельди!..

— ...тюлкую гельди!..

и Хосров-муэллим уперся плечом в набитую ватой кожаную дверь кабинета директора кладбища Тюлкую Гельди...

и кожаная дверь тоже была цвета рыже-желтоватой лисы...

внезапно воцарилась тишина, бесчисленная толпа онемела и неподвижно встала...

и мозг студента стал шептать эти слова: лиса здесь!.. лиса здесь!.. лиса здесь!..

смотри!..

смотри!..

кожаная дверь цвета рыже-желтоватой лисы отворилась настежь...

внутри была толпа...

никого узнать было невозможно, ни у кого не было лица...

только одетый в наряд, похожий на поповскую рясу, Абдул Гафарзаде, стоя посередине, низким голосом пел гимн Советского Союза, и вокруг головы Абдула Гафарзаде сиял рыже-желтоватый нимб...

и преследующие лису, и находящиеся внутри — все перемешались...

Вокруг были красные транспаранты, на красном сатине большими белыми буквами были написаны лозунги: «Успешно выполнены планы одиннадцатой пятилетки!», «Да здравствует нерушимая дружба советских народов!», «Претворим в жизнь исторические предначертания XXV съезда КПСС!», «Слава ленинскому Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза!»...

и все вокруг было заполнено портретами Леонида Ильича Брежнева, и все портреты были рыже-желтоватого цвета...

и портреты членов Политбюро не отличались друг от друга, все были рыже-желтоватого цвета: Сулов... Тихонов... Гришин... Кириленко... Громько... Устинов... Черненко... Романов... Андропов... Кунаев... Пельше... Щербицкий...

в окошке машины вождя показалась рука...

Леонид Ильич Брежнев провел рукой по рыже-желтоватым волосам, выпрямился и, чмокая губами, давешним поповским голосом Абдула Гафарзаде запел «Интернационал»...

Абдул Гафарзаде пел «Интернационал»...

потом все вместе — вся толпа, в которой никого нельзя было узнать, вместе с Л.И. Брежневым запела «Интернационал»...

...Когда утром студент Мурад Илдырымлы пришел на кладбище Тюлкую Гельди и вошел в ворота, то, конечно, во всех деталях вспомнил, как вчера майор милиции вытолкал, выгнал его отсюда, но не разволновался, не почувствовал себя оскорбленным, униженным, потому что решимость молодого и упрямого человека за всю долгую ночь не уменьшилась: он пришел убить директора кладбища Тюлкую Гельди, — и уйдет.

Студент вошел в приемную, и впервые со вчерашнего вечера сердце его забилось взволнованно: Хосров-муэллим, в плаще и шляпе, сидел на вчерашнем месте — на стуле в углу приемной, но на этот раз глаза его были устремлены не на коричневую кожаную дверь директорского кабинета, а на входную дверь, он явно ожидал студента. И когда студент вошел, когда его глаза встретились с глазами Хосрова-муэллима, только тут впервые студент подумал: допустим, он уйдет (а он уйдет!) директора... Кто же получит место для могилы бедной старухи Хадиджи? И как обитатели махалли привезут и похоронят ее здесь?

Хосров-муэллим, глядя на студента, часто глотал воздух, и когда он глотал, острый кадык поднимался и опускался на его тонкой шее.

Женщина-машинистка, как и вчера, сидя на своем месте, колотила по клавишам, мешки под глазами стали у нее еще больше, веки опухли и покраснели, как будто она всю ночь плакала, теперь она ни на мгновение не поднимала голову от машинки, не взглядывала на молодую девушку-секретаршу, не улыбалась, как вчера, едва заметной улыбкой.

А красивая и молодая девушка-секретарша опять часто поднимала трубку ярко-красного телефона и говорила:

— Товарища Гафарзаде нет! Еще не пришел! — И хотя телефон звякал тихонько, как прежде, сегодня он не напоминал о надгробных камнях, напротив, сегодня студент в этой маленькой приемной вдруг ощутил деловитость муравейника во дворе управления кладбища: практическая торопливость указаний, поспешность выполнения как невидимые волны проникали в маленькую приемную.

— Товарища Гафарзаде нет!..

— Товарища Гафарзаде нет!..

— Товарища Гафарзаде нет!..

Студент Мурад Илдырымлы подумал, что, если он еще немного постоит вот так в дверях, еще немного подышит воздухом маленькой приемной, у него разорвется сердце... Почему? Он боялся? Откуда вдруг пришел страх? И что говорил глазами Хосров-муэллим? Студенту стало нестерпимо жарко, невыносимо душно. Как недавно бесшумно вошел, так теперь он бесшумно вышел наружу. Хосров-муэллим вышел следом.

В то апрельское утро на небе не было ни облачка и в лучах солнца, падающих на управление кладбища, была такая чистота, что в ней и помину не было о трупном духе, царившем здесь еще вчера. В легком воздухе чистота солнечных лучей распространилась повсюду, проникла и внутрь студента Мурада Илдырымлы, растопила тяжесть в душе. Впервые со вчерашнего вечера у студента возникло сомнение: а он

в самом деле сможет убить директора управления кладбища? Вернее, не так. Сможет ли один человек, студент Мурад Илдырымлы, убить другого человека — директора? Должен ли убивать? Есть ли у него на это право?

Странно, за эти внезапно возникшие сомнения и колебания студент впервые в жизни не корил себя, не смущался, собственная трусость, нерешительность впервые его не смущали. Он не испытывал ненависти к себе за то, что раз решил! нож в карман положил! а теперь боишься! потому что ты трус! потому что ты жалок и бессмысленное существо! Нет, студент чувствовал, что убить сможет (и может быть, убьет...), не боится, это не трусость... Но есть ли право у одного человека вонзить нож в сердце другого человека? Люди задавали себе этот вопрос тысячами — и тысячелетиями убивали; вместо ответа на вопрос — убивали... Но кто он такой, студент Мурад Илдырымлы, чтобы его внутренний суд дал ему право убить человека? Студент не Аллах! Смертный приговор человеку мог вынести только Аллах! Разве можно было делить с Аллахом его полномочия? В Коране говорится: «Аллах никогда не простит партнерство с ним. А другое может подарить любому лицу. Лицо, желающее стать партнером Аллаха, несомненно, сильно заблудилось, далеко ушло с праведной дороги».

И без того все люди на земле, как все живое, приговорены к смерти. И «хороший человек», и «плохой человек» — относительные понятия, «хороший строй» и «плохой строй» — тоже относительно, и вообще Добро и Зло — относительно... Что это? Студент хотел найти себе оправдание? Уходил в фальшивую философию?

Нет, но ведь студент Мурад Илдырымлы в самом деле не был Аллахом! Правда... Абдул Гафарзаде не был человеком... А почему, собственно? Разве он не из лона матери вышел? Не тем же воздухом дышал? Разве у него не было детей? Или он не чувствовал горечи, боли, не радовался? Он был человек, конечно, он был человек!.. А студент Мурад Илдырымлы уж точно не был Аллахом!

Студент Мурад Илдырымлы незаметно для себя вышел со двора управления кладбища, вошел на территорию кладбища Тюлюк Гельди и, как вчера, блуждал между надгробными камнями, но надгробные камни не были, как вчера, холодными, и царящая всюду немая тишина не была, как вчера, жуткой, напротив, сегодня в немом молчании бесчисленных надгробных камней студент чувствовал мудрость и смысл, каких не ощущал даже в тишине и одиночестве далеких гор, густых лесов, широких равнин и в легком журчании родника Нурулу, он думал, что если бы когда-то раскрылся смысл этого кладбища, раскрылась бы тайна жизни, стало бы ясно, зачем человек приходит в мир, зачем раскрывается цветок, все поняли бы тайну земли, неба, Вселенной...

Хосров-муэллим шел в шаге позади студента, будто хотел уберечь его от внезапного нападения, от опасности, о которых студент и не подозревал.

...а костер в полночь так же горел...

...а лягушки так же квакали...

А студент Мурад Илдырымлы между бесчисленными могильными камнями чувствовал себя так свободно и вольно, как не чувствовал ни

разу за все четыре года в Баку, и было у него одно желание: выкинуть как-нибудь незаметно холодный нож из кармана, спрятать его, чтобы никто не видел и никогда не нашел...

...Так они побродили молча и вернулись во двор управления кладбища, причем студент Мурад Илдырымлы — уверенный, что произойдет чудо, вопрос с местом для бедной старухи Хадиджи устроится, и они спокойно вернутся в махалло. И действительно, когда студент с Хосровом-муэллимом подошли к приемной, дверь открылась, Мухтар Худавенде вышел во двор и узнал студента Мурада Илдырымлы:

— Что ты тут бродишь? — Потом вспомнил что-то. — Рассказ твой — хороший рассказ!.. Я нашел время, прочитал! Никто меня не просил, скажу тебе, я сам прочитал! Из тебя что-нибудь получится! Сам ты хмурый, но в тихом омуте черти водятся, да? Но рассказ у тебя светлый!.. Он золотых рыбок держит, да? Рыбками занимается, надо же!..

— Нет, он бабочек держит...

— Да, да... Бабочек держит, верно! Ты мне нравишься. Каждую минуту, скажу тебе, не суешься в редакцию, мол, опубликуйте меня! Молодец!.. Анекдот немного известный, скажу тебе, отработанная тема, но сам по себе рассказ хороший! С бабочками водится!.. Как название?

— «Все проходит...»

— Да, да!

Хосров-муэллим безмолвно стоял и смотрел то на студента, то на Мухтара Худавенде, внимательно слушал и часто сглатывал, и его длинный кадык поднимался и опускался...

— Да, да!.. Но если бы я был на твоём месте, скажу тебе, я бы назвал «Жизнь, посвященная бабочкам...». Как, нравится тебе? От названия многое зависит! Я вот, скажу тебе, — Мухтар Худавенде показал большим пальцем правой руки через плечо на приемную, — об этом человеке, я имею в виду Абдула Гафарзаде, очерк пишу для газеты «Коммунист». Большой человек! Ветеран труда! Четыре ордена имеет, медали! Причем, скажу тебе, он не в колхозе работает, а на кладбище! Здесь «Ветеран труда» получить знаешь что такое?! Шесть раз получал Почетную грамоту Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР! Шесть раз, э, рекорд! Теперь, скажу тебе, очерку надо такое название дать, чтоб был достоин содержания, чтобы звали читателя.

Настроение у Мухтара Худавенде было явно отличное, студент никогда не видел его столь увлеченным, столь говорливым, видно, Мухтар Худавенде вышел из кабинета директора — будущего героя очерка — не с пустым карманом.

— Вы знаете... Я... Вы...

Мухтар Худавенде уже хотел распрощаться.

— Что ты затвердил — «я», «мы»? Как только найду возможность, опубликую твой рассказ! Когда найду возможность!

— Нет... Об этом я не говорю. У меня к вам просьба...

И студент с неожиданной для себя торопливостью стал просить, чтобы Мухтар-муэллим протянул руку помощи, поговорил с директором, чтобы они смогли получить здесь место для могилы бедной старухи Хадиджи, студент больше никогда ни о чем Мухтара-муэллима не попросит, все так хвалят Мухтара-муэллима, все говорят, что Мухтар-

муэллим — человек, помогающий беднякам, бескорыстно помогающий, благородный, у обитателей махалли денег нет, они бедные, пусть Мухтар-муэллим поможет, у бедной женщины никого на свете нет, если Мухтар-муэллим не поможет, женщине никто не поможет...

Студент лепетал и понимал, что молит как нищий у мечети Тазапир, и сам поражался своим словам, и презирал себя за жалость, за ничтожность и беспомощность, собственная ничтожность, незащищенность в большом мире наполняли глаза студента слезами, и с полными слез глазами он продолжал умолять. Он еще никогда так не унижался. Впервые не кто-то его, а сам он себя так унижал, и, умоляя, он думал, что вчера майор милиции Мамедов, конечно, правильно сделал, что погнал его отсюда как собаку, такие люди, как студент Мурад Илдырымлы, должны быть изгнаны отовсюду, из мира должны быть изгнаны, раз внезапно (а самое главное, неожиданно для себя самого!) обнаружилась такая ничтожность, значит, он действительно самое ненужное существо на свете... Где недавнее чувство свободы, где мудрость, где достоинство? Все, все пропало.

В махалле все сидят и ждут студента, и все плонут студенту в лицо, а он пусть вытирает, студент теперь сам себе плевал в лицо, умолял, подхалимничал, врал Мухтару Худаевенде, все молодые говорят о чистоте Мухтара-муэллима, Мухтар-муэллим всем помог и теперь должен помочь бедной мертвой старухе, женщину не могут похоронить, лежит второй день в своей хибаре, если Мухтар-муэллим не поможет, никто ей не поможет, добро не останется втуне, студент всю жизнь будет молиться за Мухтара-муэллима, Мухтар-муэллим сделает богоугодное дело, дети его будут счастливы.

Точно как нищий умолял...

Хосров-муэллим засунул руки в карманы черного плаща, съежился, не издавая ни звука, слушал мольбу студента и внимательно смотрел студенту в лицо...

...в полночь костер все горел...

...и лягушки квакали...

Мухтар Худаевенде, выпучив глаза, растерянно смотрел то на студента, то на этого длинного, худого, не произносящего ни единого слова человека. За двадцать шесть лет работы заведующим отделом литературы еще ни один молодой писатель не говорил ему таких слов, никогда ни от кого он не слышал о собственной моральной чистоте, никто не ценил его благородства, напротив, за спиной говорили о нем такое, что и вообразить страшно, принося полбарана, негодяи требовали услуг на три барана, считали его большим паразитом, чем наглец Арастун Бочдаглы.

Этот молодой человек — студент Мурад Илдырымлы с вечно перекосенным лицом (желчный пузырь!) — теперь как женщина молит, наступая, что устоять невозможно.

— Ну хорошо. Давай я пойду с ним поговорю. Он только что вошел в кабинет... Мы вместе пришли... Настроение у него хорошее... Ладно. Вы здесь постойте, а я пойду посмотрю, что удастся сделать... — Мухтар Худаевенде открыл дверь приемной.

Подул легкий ветерок, и студент ощутил его не только лицом, руками, но и всем телом под одеждой, сердце его билось так, что Хосров-муэллим, наверное, слышал стук.

Ничего...

Ничего... Все проходит... И это пройдет... Пройдет, останется в прошлом, не будет мучить...

Что за штука жизнь?. Почему человек не может покинуть ее, такую? Наоборот, всю жизнь живет под страхом уйти из жизни?

Все проходит...

Этот рассказ он написал осенью прошлого года и, странное дело, без всякой связи с содержанием посвятил памяти бабушкиного брата, в правом углу первой страницы написал посвящение: «Памяти погибшего за революцию Мурада Илдырымлы», потом, поскольку не было никакой связи, стер, потом снова написал, потом снова стер...

У бабушки студента Мурада Илдырымлы Зулейхи был старший брат по имени Мурад Илдырымлы. Он был революционером, чекистом, в двадцатых годах погиб в Гадруте (как погиб, студент не знал, наверное, с бандитами вместе...), и теперь нигде его имя не упоминали (столько было подобных жертв, что всех упомянуть невозможно), только бабушка в долгие зимние ночи, в холоде остывающего без дров очага рассказывала о брате, о его храбрости, о том, как он убил волка, как, вскочив на неоседланного коня, гнал его на водопой к роднику Нурлу в нижнем конце села, а девчонки тайком выходили им любоваться; и внука своего она назвала Мурад — именем несчастного брата, не оставившего себе на свете никакой памяти.

...Все проходит...

В ту спокойную сонную осеннюю ночь, наслаждаясь мягкостью и теплом укрывавшего его шерстяного одеяла, он думал о странных, непостижимых делах мира и чувствовал, что идет дождь.

Они плотно закрывали двойные рамы, чтобы заглушить шум машин, автобусов, слишком рано начинающих работать троллейбусов, и поэтому шум дождя он не услышал, но даже сквозь плотно закрытые окна запах осеннего дождя внезапно заполнил спальню, и он вдохнул его и тихонько, чтобы Таира не проснулась, поднялся, хотел посмотреть на улицу. Но перед глазами вдруг возникли крупные гранаты и пожухлые листья, как наяву, как живые. Видение согрело и обрадовало его, напомнило о том, что мир прекрасен, как самая красивая бабочка...

Когда-то в осенний день дождь чистенько вымыл ярко-желтые листочки гранатового дерева, смягчил их, и в мороси они были как под весенним солнцем: ярко блестели, и крупные гранаты между листьями дождь тоже чистенько вымыл, и ярко-красные гранаты тоже блестели.

Когда он это видел, где? Не мог припомнить. Но вспоминать было так хорошо...

Если бы Таира, включив свет, увидела, как ее муж среди ночи улыбается сам себе, наверное, удивилась бы и спросила: «Что с тобой?» Он снова улыбнулся. Ему было уютно, все доставляло удовольствие: и простор кровати, который он прежде не замечал, и мягкость и тепло шерстяного одеяла, которым он всегда укрывался, и дыхание Таиры, и даже

слабый, доносившийся сквозь двойные рамы шум машин, время от времени проносившихся по улице; в ту спокойную сонную осеннюю пору все, на что он прежде не обращал внимания, а если обращал, то с раздражением, было теперь прекрасно и незаменимо.

Его имя было Мелик, отца звали Юсиф, а фамилия Ахмедли. И Мелику Юсиф оглу Ахмедли было сорок лет. Он был кандидат наук, старший научный сотрудник в институте зоологии. Он был женат и имел четверых детей — двух мальчиков (Адыль и Кямиль), двух девочек (Айтен и Захра, младшей он дал имя своей матери). У него была трехкомнатная квартира в пятом микрорайоне, машина «Жигули» и гараж всего в трех километрах от дома.

А непостижимое происшествие, в которое никто никогда не поверит, началось в ночь с позавчера на вчера.

Кому расскажешь?..

Позавчерашний день был обычным. Он встал рано, зажег плиту, поставил чайник, умылся, побрился, оделся, вышел из дому, прошел три километра до гаража.

Дул сильный ветер, но Мелик Ахмедли в автобус не сел (одна остановка), потому что из-за своих любимых бабочек он о себе забыл, ни спорта, ни даже ходьбы, и в один печальный день у него чуть инфаркт не случился, давление поднялось, двадцать дней в больнице пролежал. Конечно, Таира испугалась, да и сам он испугался, — и с тех пор по утрам идет пешком эти три километра, вместо гимнастики.

В последнее время он чувствовал себя неплохо, но суставы рук и ног побаливали, иногда сердце колотилось, не хватало воздуха, то в боку, то в сердце кололо... Сидячая жизнь, посвященная бабочкам, безвременно старит...

Выведи «Жигули» из гаража, как всегда сначала он подъехал к булочной, купил хлеба и вернулся домой. Таира и дети встали. Таира заварила чай, приготовила мужу бутерброды. Мелик Ахмедли сунул их (хлеб с сыром) в портфель, просмотрел свои бумаги, чтобы ничего не забыть, включил радио, послушал последние известия, позавтракал вместе с детьми.

В конце известий диктор сообщил:

— Самое одинокое дерево в мире — пальма, растущая в оазисе Терер Великой пустыни. Самое близкое к этой пальме дерево находится от нее в 1000 километрах.

Таира, допивая чай, сказала:

— Бедная пальма...

Адыль и Айтен учились в школе, где преподавала Таира, и они вместе сели в автобус, а Мелик Ахмедли, как всегда усадив Захру в машину, отвез ее в садик (Кямиль учился во вторую смену и должен был сам идти в школу), потом отправился на работу.

На работе выяснилось, что жена Ибрагима — бедняга Амина — наконец отгулилась, ночью скончалась и сегодня ее должны хоронить. Разумеется, известие всех расстроило, потому что Ибрагим (тоже старший научный сотрудник) был единственный человек в институте, который всюду и всегда приходил вместе с женой (на торжественные собрания, банкеты после защиты, праздничные демонстрации, помин-

ки), и поэтому все в институте знали Амину. Бедной Амине, симпатичному, приветливому человеку, не было еще и сорока, она болела раком. Чтобы успеть на похороны Амины, Мелик Ахмедли вышел с работы пораньше и Захру забрал из садика досрочно, потом отвел машину в гараж; на похороны (на банкеты, на свадьбу) он на машине не ездил, чтобы не развозить по домам знакомых, у одного квартира в том конце города, у другого — в этом...

Ветер усилился, стало холодней, и Мелик Ахмедли совсем замерз, пока отыскал дом Ибрагима и Амины, ведь он был здесь всего однажды, на десятилетии их свадьбы.

Дом был в одном из старых кварталов на окраине Баку, во дворе раскинули палатку, и Мелик Ахмедли вошел туда и уселся среди незнакомых людей. Ветер срывал, чуть не уносил огромную брезентовую палатку, и парни проводами закрепляли брезент на железных стойках. Мелик Ахмедли, попивая горячий чай с лимоном, смотрел на молодых парней и думал, что они не брезент закрепляют, а проводами завязывают в узлы жизнь молодой женщины по имени Амина.

Что видела в жизни бедная Амина? Кто знает, может, что и видела. Мелик Ахмедли близко не знал ее, наверное, у нее и радости были, и светлые дни, может, она и мужа любила, но в любом случае все кончилось. Какая, в сущности, разница между долгой человеческой жизнью и двухдневной жизнью бабочки?.. Он представил себе Амину, живую, приветливую, молодую, красивую, вдруг исчезнувшую навсегда, превратившуюся в ничто...

Ветер все крепчал, а когда на Апшероне вот так усиливается ветер, он порой сносит черепицу, ломает огромные деревья, вырывает их с корнем, но легким, нежным, хрупким бабочкам ничего не может сделать; бабочки умели так спрятаться, что оставались невредимы, и, подумав об этом, Мелик Ахмедли улыбнулся. Удивительное дело, когда ему бывало трудно, когда настроение портилось, дело не шло, бабочки будто узнавали об этом и приходили на помощь.

После окончания университета Мелик Ахмедли уже восемнадцать лет занимался лепидоптерологией, то есть изучением бабочек, и за это время подарил мировой энтомологической науке бабочку Захру. Дело в том, что Мелик Ахмедли открыл неизвестную до сих пор на земном шаре бабочку и ей, красивой, дал имя своей покойной матери и младшей дочери — Захра.

На всем земном шаре было единственное место, где жила бабочка Захра — Исмаиллинские горы, потому что бархатистые цветочки, которыми питалась гусеница Захры, росли только на тех горах.

Позади дома Ибрагима проходила электричка, время от времени доносился шум поездов и напоминал о какой-то дали, недосгаемости, и в сравнении с этой далью и недосгаемостью человеческая жизнь, конечно, была ничто, вроде бабочкиной жизни.

Мелику Ахмедли вдруг вспомнилась одинокая пальма, о которой он слышал утром по радио и пожалел о ее одиночестве, а шум электропоездов за домом Ибрагима напомнил про километры пустыни, километры одиночества... Тело бедной Амины вынесли во двор, и сосед Ибрагима, живший дверь в дверь, тарист Абдулла, прижав к груди тар, за-

крыл глаза и начал горестно играть сейях. Плач женщин и причитания родственников смешались, и бедный Ибрагим, стоя чуть в стороне от гроба, опустил покрасневшие глаза и все затыгивался сигаретой, которую держал дрожащими пальцами.

Тело укрыли зеленым шелковым покрывалом и, чтобы его не унес ветер, с четырех сторон пришилили покрывало к краям гроба крупными деревянными прищепками для белья.

Скоро тело Амины препоручат земле, и через какое-то время красивая, приветливая женщина смешается с землей. В верхнем слое земли живут тысячи насекомых, букашек, часть их питаются растениями, часть — корнями растений, часть — гнильем, а часть друг другом, и Амина смешается с этой землей. Мелик Ахмедли дрожал от ветра; думая об этом, хотел закурить, но в кармане не было сигарет.

А самые красивые из насекомых на земле были, конечно, бабочки — и среди бабочек самой красивой была бабочка Захра; Мелик Ахмедли подумал об этом, и на душе полегчало.

Снова за домом пронесся электропоезд, и его шум на короткое время заглушил звук тара, на котором играл Абдулла, собравшиеся во дворе, подняв головы, посмотрели в сторону шума, осуждающе покачали головами, но шум промчался, и люди снова стали смотреть на бедную Амину.

Когда Мелик Ахмедли с женой приходили на десятилетие свадьбы Ибрагима и Амины, тот же тарист Абдулла играл на таре, но тогда всем было весело, все смеялись, ели, пили, и одной из тех, кто весело болтал, смеялся, ел и пил, была сама бедная Амина.

Абдулла кончил играть горестный сейях, плач и причитания утихли, и Ибрагим выбросил сигарету, закрыл руками лицо, заплакал так, что дрожали плечи. Близкие подняли Амину, понесли, люди пошли следом, направились к машинам. Пора ехать на кладбище.

Долговязый Джафаргулу, институтский хозяйственный, подошел к Мелику Ахмедли:

— Ты на машине?

Мелик Ахмедли покачал головой: «нет», и долговязый Джафаргулу, молча, не скрывая недовольства, отвернулся, стал глазами искать, кто на машине.

На улице не только шум электричек слышался, но даже земля дрожала, когда они проходили, и Мелик Ахмедли движение проносившихся электропоездов чувствовал всеми нервами.

— Вот какое несчастье у Ибрагима, — обратился к Мелику Ахмедли профессор Фазильзаде, заведующий отделом. — Ты на машине?

— Нет.

И профессор Фазильзаде мгновенно удалился, больше не проронив ни слова.

Бабочки поездов не боялись, садились на рельсы, когда поезд оказывался почти в метре от них, легонько взлетали и садились на шпалы, вагоны проносились над их головами, и бабочки снова, вспорхнув, садились на прежнее место, и Мелик Ахмедли, идя за гробом, представлял себе белоснежную бабочку, присевшую на рельс тянущейся за горизонт железной дороги.

Несколько лет назад он, помнится, сидел однажды в лаборатории и изучал бабочку, на след которой только что напал (будущую прекрасную бабочку Захру!), и вдруг вся его жизнь показалась ему пустой и бессмысленной; он подумал, что на свете нет более идиотского дела, чем заниматься бабочками. Он оглядел стены лаборатории: большие листы бумаги с приколотыми к ним засушенными бабочками, на картинках, схемах в сто, в тысячу раз увеличенные глаза, крылышки, лапки, шеи, головы бабочек... Мелик Ахмедли решил, что несчастнее, чем он, нет человека на свете. Но через несколько дней это чувство ушло без следа, потому что он открыл — открыл! — прекрасную бабочку Захру.

— У тебя машина есть, а? — спросил старший научный сотрудник Муса Багирли, у самого Мусы была машина, но каждый раз, когда надо было куда-нибудь ехать, она портилась. — А то у моей карбюратор пропускает...

Мелик Ахмедли отрицательно покачал головой, и Муса Багирли то-рполово удалился.

Гроб положили в открытый грузовик, устланный коврами, молла, близкие родственники-мужчины, взобравшись на грузовик, встали вокруг тела. Часть людей расселась по легковушкам, остальные в автобусы, и машины — с телом впереди, остальные следом — двинулись к кладбищу.

Мелик Ахмедли в окошко автобуса смотрел на дом Ибрагима, шум электричек был больше не слышен, но на мгновение, всего на миг, Мелику Ахмедли показалось, что он не на кладбище вместе со всеми едет, а отправляется на электричке в недостижимую, недосягаемую даль, и путь приведет его до одинокой пальмы, и все, даже прекрасные бабочки, останутся навечно в прошлом.

Ветер бушевал на кладбище и чуть не срывал большие деревянные прищепки для белья и зеленую шелковую накидку с гроба; мужчины не без труда удерживали ее. Каждый старался отвернуться от ветра.

Муса Багирли так и не смог найти легковую машину, приехал в автобусе, и теперь одной рукой держал Мелика Ахмедли под руку, а другой ухватился за поля своей шляпы, чтобы ее не унес ветер.

— Слушай, клянусь честью, — на счастье бедняги покойницы! Слушай, ну что за бессмысленная жизнь!.. — Он выпустил руку Мелика Ахмедли, обеими руками надвинул шляпу на глаза. — Слушай, ты не знаешь хорошего мастера по карбюраторам?

Мелик Ахмедли покачал головой, мол, не знаю.

Амину предали земле.

Все вернулись домой к Ибрагиму. Стемнело, и ветер так усилился, что стоять на улице было невозможно. Люди подходили к Ибрагиму и выражали ему соболезнование, а Ибрагим приглашал всех в палатку на поминки, но большинство, извинившись, уходили, оставались только самые близкие. Мелик Ахмедли тоже хотел домой, он замерз, но Ибрагим не пустил. — Не оставляйте меня одного, — сказал он, и Мелик Ахмедли вошел в палатку.

Может быть, если бы Мелик Ахмедли не задержался у Ибрагима, ушел бы вместе со всеми, невероятное событие не произошло бы и не было бы той поразительной встречи...

Ветер налетал с воем, палатка мелко дрожала, хлопало, рвалось улететь брезентовое покрытие, но в красных от слез глазах Ибрагима было столько горя, столько печали, что ни вой ветра, ни с трудом различимый в этом вое шум электричек больше не волновали Мелика Ахмедли. Но те деревянные прищепки, со всех четырех сторон удерживавшие на гробе зеленое шелковое покрывало, никак не выходили у него из памяти; они, те деревянные прищепки, ведь, наверное, вместе с зеленым шелковым покрывалом и коврами вернулись домой, через пару дней в доме будет стирка — и чистое белье этими же прищепками прицепят к веревке...

Что тут удивительного и зачем в пустяках искать особый смысл, да еще из-за этого мучиться? Вот на столе перед Меликом Ахмедли расстелена **белая скатерть, может быть, се-то, выстиранную, теми прищепками и приколот, и что тут неестественного?**

Разговор в палатке между тем дошел до того, что Ибрагим, время от времени плотно смыкая покрасневшие веки, наверное от боли, начал рассказывать о зайцах, и, как всегда, он рассказывал о зайцах такие интересные вещи, что люди могли слушать его без конца, поражаясь разумности этих длинноухих, проворных животных. Ибрагим свыше двадцати пяти лет занимался зайцами.

Мелик Ахмедли хотел уйти, потому что все-таки замерз до озноба, да и до дому было далеко, к полуночи едва успеешь добраться. Но все так внимательно слушали Ибрагима, забыли и про время, и про ветер, а Ибрагим так увлеченно рассказывал, что казалось, он забыл о своем горе, и Мелик Ахмедли не решился все это нарушить, не стал возвращать Ибрагима в горестный мир.

Вдруг ветер в мгновение ока сорвал палатку с остова, вознес в небеса, швырнул о дом Ибрагима и снова вознес в воздух, огромную, и палатка, как гигантская бабочка доисторических времен, эпохи динозавров, взлетела над двухэтажным домом и пропала в темноте.

Ветер смел со столов на землю стаканы, сахарницы, пепельницы, перевернул стулья, с кого-то сорвал папаху, с кого-то шарф, свет погас, и с Ибрагимом уже некогда было прощаться, в полной темноте быстро расходились по домам.

Мелик Ахмедли, не очень хорошо зная эти места, направился за дом, где проносились электропоезда, там было светлее.

Улица за домом Ибрагима была совершенно пуста, и в конце ее проходила железная дорога. Мелик Ахмедли, надвинув кепку на глаза, втянув голову в плечи и с трудом дыша, пошел против ветра.

Ни машины, чтобы остановить, ни человек, чтобы хоть спросить, в какой стороне автобус.

Мелик Ахмедли добрался до ближайшего угла, думая, что вышел на железную дорогу, но понял, что перед ним трамвайная линия, и в это время как по заказу (или действительно по заказу?) подошел трамвай и остановился прямо перед ним, Мелик Ахмедли обрадовался и вошел.

Он не знал, куда идет трамвай, но в любом случае — к центру, значит, можно где-то сесть в автобус, идущий в пятый микрорайон, или в троллейбус, а может, в такси.

Трамвай был пуст, один-единственный пассажир сидел впереди у окна, а сквозь стекло кабины виднелся затылок водителя. Мелик Ахмедли давно не ездил в трамвае, ведь в центре трамваев не было, он даже не знал, сколько стоит билет.

Мелик Ахмедли сел и решил, что, выходя, даст деньги водителю; устроившись на сиденье, он глубоко вздохнул и сунул руку под плащ, помассировал левую сторону груди — что-то сердце колело, от этого противного состояния было страшно...

Он вспомнил брезентовую палатку, внезапно поднятую ветром: нет, никогда, даже в доисторический период, не было такой бабочки и никогда не могло быть, потому что не могло быть такой тяжелой, гигантской, грубой и уродливой бабочки.

Единственный пассажир внимательно посмотрел на Мелика Ахмедли, и Мелик Ахмедли прочитал в его глазах глубокое волнение, беспокойство, озабоченность, и вообще у этого низкорослого тонкокостного человека был странный, даже в чем-то неестественный облик: лицо треугольное, подбородок слишком маленький, а лоб большой, волосы на лице, видимо, росли очень густо, и потому, хоть он был чисто выбрит, лицо и даже шея были прямо синие; и одежда странная, как будто пассажир заснул в сороковые — пятидесятые годы и теперь, то есть в 1982 году, проснувшись, оделся в прежний макинтош, повязал на шею галстук и шарф, на туфли натянул сверкающие даже в слабом свете вагона черные резиновые галоши.

В голосе этого человека были кротость, застенчивость, даже испуг, но самыми удивительными были его слова. Он смотрел, смотрел на Мелика Ахмедли и вдруг с настоящим страхом сказал:

— Меня не трогайте! Меня не трогайте!..

Мелик Ахмедли удивленно спросил:

— Вы мне? — И огляделся по сторонам, может, есть еще кто-то, но конечно же трамвай был, как прежде, пуст, и Мелик Ахмедли сказал:

— А что мне за дело до вас?

Странный пассажир сказал:

— Нет! Нет!.. Да. Возможно!.. Кто?.. Почему?..

Мелик Ахмедли понял, что пассажир разговаривает сам с собой, душевнобольной, наверное, но вдруг увидел, что пассажир сел прямо против него. Причем он не встал, не подходил, а просто со своего места внезапно исчез и лицом к лицу с Меликом Ахмедли оказался.

Что это? Кто он был? Гипнотизер, циркач? Кто?

— Нет!.. Я ошибся! Да... Точно! Вы — человек!

Несмотря на все странности, слова пассажира показались Мелику Ахмедли смешными, и он, улыбнувшись, спросил:

— А вы кто?

Пассажир будто не слышал:

— Человек!.. Человек!.. Вы — человек!..

И вдруг пристально посмотрел на Мелика Ахмедли и спросил:

— Какая бабочка? Нет!.. Нет!.. Я не бабочка!..

Мелик Ахмедли был поражен. Ни о каких бабочках речи не было, откуда они вдруг возникли?! Странный пассажир спросил:

— Я должен уйти? Как вы думаете?.. Я должен уйти? Да?..

Пассажир говорил так быстро, что у Мелика Ахмедли не оставалось времени подумать, удивиться, изумиться или выразить недовольство, и он только пожал плечами:

— Не знаю... Откуда мне знать? — И почувствовал, как заколотилось сердце.

Пассажир так же торопливо сказал:

— Хорошо! Хорошо! Да!.. Возможно!.. Тогда говорите! Быстро говорите!.. У меня нет времени!..

Мелик Ахмедли, здорово напуганный всем этим происшествием, с сильно бьющимся сердцем спросил:

— Что говорить?.. — И взглянул в сторону водителя, в стекле был по-прежнему виден затылок, и все вокруг было обыденным.

Пассажир сказал:

— Говорите! Говорите! Я спешу!.. — И в его немного хриплым голосе слышались одновременно приказ и откровенная мольба. — Говорите!.. Одно... Да? Нет... Нет!.. Два... Скажите два своих желания! Побейте! Я спешу!.. Я должен их выполнить!.. Быстрее!..

Возможно, у Мелика Ахмедли самого что-то произошло с психикой, и эта игра, странная встреча, странные слова, — все было плодом его большого воображения? Но ведь это был реальный мир, и трамвай был реальный, и затылок водителя, и никакого тумана...

Пассажир спешил все больше:

— Говорите!.. Говорите!.. Говорите два ваших желания! Быстро говорите! Быстро!.. Я ведь тороплюсь!.. Говорите!..

Мелик Ахмедли, глядя в большие черные глаза беспокойного пассажира, на его широкий лоб, острый подбородок, понял, что непременно должен что-то сказать, что встреча необыкновенная. Может быть, этот пассажир прилетел с другой планеты, может, был джинном, дьяволом — Мелик Ахмедли не знал, но ясно чувствовал, что на его долю выпала самая удивительная судьба на свете.

— Быстрее!.. Я спешу!.. Быстро!.. Ведь я должен выполнить ваше желание, два ваших желания, два, два ваших желания!.. Скорее! Ваши желания!.. Ваши желания говорите!..

Быстрая речь пассажира заразила и Мелика Ахмедли, при таком напоре в самом деле некогда подумать, и вдруг, будто прекрасная бабочка Захра пробилась сквозь ветер на улице, влетела в трамвай, гремящий по рельсам, села на дрожащую от волнения руку Мелика Ахмедли. Мелик Ахмедли почувствовал легкость бабочки Захры, ее нежность и хрупкость и чуть-чуть успокоился.

— Быстрее!.. Я же спешу!.. Быстрее!.. Говорите ваши желания!.. Говорите!..

Мелик Ахмедли открыл было рот, чтобы сказать, «хочу открыть еще одну бабочку», но в это время вдруг в сердце сильно кольнуло, он инстинктивно приложил руку к груди и неожиданно для себя самого сказал:

— Хочу долго жить...

Пассажир быстро, как машина, спросил:

— Сколько лет? Точно говорите! Точно! Точно! Говорите! Сколько лет?

Мелик Ахмедли сказал:

— Сто... Нет, тысячу лет... Тысячу лет хочу прожить!..

Пассажир спросил:

— А второе? А второе? Быстрее!.. Говорите второе!.. У меня время кончается!.. Говорите ваше второе желание!.. Говорите!..

Мелик Ахмедли сказал:

— Второго нет. — Ему в голову, правда, ничего не приходило.

— Пусть будет!.. Пусть и второе будет!.. Должно быть второе!.. Быстрее!.. Я же не могу бросить все свои дела и заниматься только вами!.. Быстрее!.. Нет! Времени нет! Я должен уходить!.. Второе скажете завтра! В девять часов вечера! Я буду ждать вас!.. Ваше первое желание исполнено! — Пассажир быстро встал, легонько — совсем как бабочка Захра! — коснулся Мелика Ахмедли, потом взлетел, как зонтик, ухватился за держатель, ноги его оторвались от земли, когда же Мелик Ахмедли отвел глаза от ног пассажира, хотел посмотреть на его лицо, пассажира в трамвае уже не было.

Мелик Ахмедли покрылся холодным потом, его чувства принимали эту встречу, а разум принять никак не мог. Разум не мог смириться с тем, что это не галлюцинация, а действительность, как грохочущий трамвай, как ветер снаружи, как слабый свет в трамвае, как водитель, как дома за окном. Нет, это в голове не укладывалось. Сумасшедшие ведь не знают, что они сумасшедшие, подумал Мелик Ахмедли, — ведь они все считают реальным, в том числе и собственные галлюцинации.

Мелик Ахмедли стер холодный пот со лба; чтобы полностью очнуться, потер лоб и понял, что сердцебиение прошло, боль ушла из суставов рук и ног, показалось даже, что в организме меняется кровь, почувствовался жар новой крови, жар, принесший тепло всему телу, и Мелику Ахмедли захотелось встать, подвигаться, побегать, попрыгать. Сколько лет уже он не дышал так спокойно, полной грудью, сколько лет не ощущал себя таким подвижным и легким, а сейчас в теле была легкость прекрасной бабочки Захры.

В ту полночь, в пустом трамвае, Мелик Ахмедли понял, что омолодился, ему опять было семнадцать лет — хотя те далекие годы навеки остались в прошлом. Это ощущение, как и только что происшедшая встреча, было поразительным, непостижимым.

Выйдя в ту ночь из трамвая на одной из относительно широких улиц Баку, он не стал больше садиться ни в какой троллейбус, автобус, такси, и сорвавшийся с цепи на Апшероне сильный ветер не отбил охоту к прогулке, напротив, еще взбодрил, и Мелик Ахмедли пошел себе пешочком в далекий путь, аж до самого пятого микрорайона, забыл даже вручить деньги за проезд трамвайному водителю.

Водитель кончит работу, пойдет домой, как обычно поест, ляжет спать и никогда не узнает, что в его трамвае произошла самая чудесная в мире встреча.

В ту осеннюю ветреную ночь на улицах, ведущих к пятому микрорайону Баку, было абсолютно пустынно и Мелика Ахмедли ничто не

отвлекало от раздумий. Пока он шагал, он вполне уверился, что проживет тысячу лет, но точно знал, сорокалетний ученый — настоящий ученый, от всей души влюбленный в свою профессию, подаривший мировой энтомологической науке новую бабочку Захру, — точно знал и прекрасно понимал, что никто и никогда не поверит в эту историю, эта тайна навсегда останется у него в сердце, и хорошо, что сейчас улицы пустынные, потому что любой встречный удивился бы легкой походке Мелика Ахмедли, его молодым глазам и догадался бы о его тайне. А тайна была сокровищем, и сокровище принадлежало только Мелику Ахмедли. Когда он с юношеским проворством на одном дыхании поднялся по лестнице в свою квартиру, дети давно спали, Таира, сонная, в ночной рубашке, открыла дверь:

— Что так поздно?.. Похоронили?.. — И, не дожидаясь ответа, пошла в спальню, легла и тотчас уснула.

Мелик Ахмедли прошел на кухню, достал сигареты, которые держал для гостей, бросил плащ на стул, вышел на балкон, зажег сигарету под пиджаком, чтобы не затушил ветер, и глубоко затянулся.

Конечно, если бы Таира увидела, что муж стоит на балконе в одном пиджаке и курит, она бы в обморок упала, заплакала бы: «Хочешь детей сиротами оставить?!»

Откуда было Таире знать, как ей могло прийти в голову... Везде в домах были темные окна, ведь людям утром на работу, и Мелик Ахмедли, глядя на уснувшие дома, думал, что люди суетны. Раньше он никогда этого не замечал... Да и мало кто, наверное, думает о собственной суетности, но вот она надвинулась на уснувшие здания, стоит в засаде, как хищный зверь, поджидает добычу, только займется утро, она нападет, вытаскив людей из постелей, втянет в свой ритм. Человеческая жизнь так коротка, что с минуты рождения человек спешит, и, в сущности, все — и зависть, и подлость, и жадность, и неблагодарность, и измену — все порождает спешка, торопливость, у людей не хватает времени думать и ждать.

Ветер налетал с завыванием, и голос ветра в тот миг свидетельствовал о вечности мира и широте, мудрости, выдержке тысячелетия даже в сопоставлении с самой вечностью.

Мелик Ахмедли ушел с балкона. Ему не хотелось, чтобы Таира проснулась, подошла и спросила: «Почему ты не спишь? Что случилось?» Что он ответил бы Таире? В такую ночь он не хотел врать, а как сказать правду?

Погасив в кухне свет, он прошел в спальню, беззвучно разделся и лег; постель была холодной, но и в прохладе простыни была бодрость, здоровье и легкость, Мелик Ахмедли снова вспомнил прекрасную бабочку Захру, улыбнулся и подумал, что за тысячу лет он откроет еще столько прекрасных бабочек...

Разумеется, ни долговязый Джафаргулу, ни профессор Фазильзаде, ни Муса Багирли, ни бедняга Ибрагим ничего не знали и не узнают, и никто вообще на свете не знал, что с завтрашнего дня им придется общаться, в сущности, с живой историей, с живым будущим. Через сто лет, через двести, пятьсот! — на него будут показывать и говорить: смотрите, вот этот молодой человек, этот великий ученый — самое большое

чудо света, ему пятьсот лет! семьсот лет! восемьсот лет! И вдруг на Мелика Ахмедли навалился ужас далекого будущего. Тогда никого ведь из нынешних не будет, все чужие, ни Таиры, ни детей...

Холод постели проник внутрь Мелика Ахмедли. Но он вспомнил бабочку Захру: за тысячу лет сколько же миллионов, а может быть, миллиардов поколений бабочки Захры придут в мир и уйдут из мира, а возможно, род прекрасной бабочки Захры совсем прекратится. И в полночь, в собственной постели, в спальне квартиры в пятом микрорайоне, Мелик Ахмедли вдруг совершенно неожиданно увидел малосенное событие глазами бабочки Захры, ощутил его ее чувствами.

...Прекрасная бабочка, наслаждаясь солнечным теплом, радостно перелетая по желтым, фиолетовым, оранжевым, коричневым, голубоватым цветочкам, ярко-зеленым травам на лугу, присела на нежный лепесток алого мака, сложила крылышки, прислушалась к звукам.

Прекрасная бабочка слышала не только пение соловья, но и песенки насекомых, жучков, букашек, всю песню луга, травы и солнечных лучей.

Пришли два охотника, сели передохнуть на лугу около прекрасной бабочки и не заметили ее на лепестке мака неподалеку.

Один из них сказал:

— Есть легенда, будто пророк Моисей, проживший четыреста лет, обитал в хижине близ горы Синай. Однажды люди упрекнули его: «Отчего ты себе дом не построишь?» А Моисей ответил: «Жизнь и так коротка, чтобы тратить ее на строительство дома!..»

Второй грустно ответил:

— Верно... Хорошо сказали предки, жизнь — это иголка с очень короткой ниткой...

Охотники вздохнули, встали и продолжили путь. Прекрасная бабочка, присевшая на лепесток мака, смотрела, смотрела вслед охотникам и сказала:

— Неблагодарные люди...

Жизнь прекрасной бабочки длилась всего три дня, и из трех дней два уже остались навеки в прошлом, в недосигаемом, недостижимом далеке.

...Ветер сотрясал стекла в окнах спальни, Таира была беспокойна, поворачивалась с боку на бок, и Мелик Ахмедли, глядя на ее белое лицо, едва различимое в темноте, думал, что через какое-то время, равно мгновенно ока в сравнении с тысячелетием, Таиры не станет на свете, потом уйдут из мира Адыль, Кямиль, Айтен, Захра, потом их дети, потом внуки, внуки внуков... Это было похоже на темный тоннель, по которому бежишь, бежишь, хочешь выйти наружу, но тоннель никак не кончается. У Мелика Ахмедли давило сердце и теснило дыхание, когда он воображал себе детей одного за другим, имя за именем и думал, что через пятьдесят лет, шестьдесят лет, пусть даже через сто лет ни Адыля, ни Кямиля, ни Айтена, ни Захры на свете не будет, а сам он все будет жить и жить, сначала делушкой, потом праделушкой, потом родоначальником чужих и неизвестных людей. Сердце колотилось все чаще, и Мелик Ахмедли сел в холодной кровати.

Опять вспомнились прищепки, удерживающие зеленую шелковую накидку на теле Амины, и Мелик Ахмедли подумал, что сам теперь нечто вроде тех деревянных прищепок: люди приходят и уходят, потому что они, как Амина, смертны, а он, как деревянная прищепка, остается навсегда...

И бедный Ибрагим однажды уйдет, зайцами займется другой ученый, потом и он уйдет, и долговязый Джафаргулу уйдет, и профессор Фазилизде, даже Муса Багирли — все уйдут из мира, а Мелик Ахмедли останется и когда-нибудь даже забудет об этих людях, потому что столько людей удерживать в памяти без конца, наверное, невозможно, наверное, он и детей своих забудет, станет путать Кямиля с Айтеном или Захру с Адьлем, потому что и Адьль, и Кямиль, и Айтен, и Захра останутся в далеком, очень далеком прошлом... Мелик Ахмедли почувствовал себя виноватым, как будто совершил чудовищное предательство.

Таира опять повернулась во сне, и Мелик Ахмедли внимательно посмотрел на жену: чем она обеспокоена, почему встревожена, какая забота ее волнует?

Все заботы и волнения обыкновенных людей показались Мелику Ахмедли маленькими, незначительными, он даже подумал, что они от неблагодарности...

Снова вспомнились совершенно пустынные улицы, по которым он шел ночью, сойдя с трамвая, и подумалось, что дорога тысячелетней жизни такая же пустынная, безлюдная, одинокая...

Мелик Ахмедли больше не мог оставаться в спальне, он прошел на кухню, взял сигарету, надел плащ на пижаму и вышел на балкон, прикурил под плащом, и пальцы, когда он затягивался, дрожали у него, как у Ибрагима на похоронах.

Мелик Ахмедли так разволновался, что даже тело его, в одно мгновение помолодевшее, поздоровевшее, не справлялось с волнением.

Все окна в домах были темными, и в этот миг ни один из спящих за теми темными окнами людей не знал, какая сейчас тоска в глазах Мелика Ахмедли.

Снова вспомнилась одинокая пальма в далекой пустыне. Не превращается ли он сам понемногу в такое же одинокое дерево?

Он так и не уснул в ту ночь, и утром Таира, кажется что-то почувствовав, пристально посмотрела на мужа и спросила:

— Что с тобой случилось?

Мелик Ахмедли сказал:

— Ничего...

Как всегда, он позавтракал хлебом с сыром и чаем. Посмотрел на балкон — ветер как будто поутих. Он отвез Захру в садик, поехал в институт, поставил машину во дворе рядом с машиной Мусы Багирли (карбюратор Мусы за ночь, как видно, сам испарился...).

Ночью ветер распахнул форточку в лаборатории, где работал Мелик Ахмедли, и свалил на пол засушенных бабочек, пришитых к белым листам бумаги, некоторые бабочки смялись, у других обломались крылышки, оторвались лапки.

Весь день Мелик Ахмедли пытался их реставрировать, под микроскопом приклеивал обломившиеся крылышки, оторвавшиеся лапки

и все делал так тщательно, так умело, что человек, не знавший, какую беду наделал в лаборатории ветер, никогда бы о ней и не догадался.

Он работал не разгибаясь, а в ушах все время звучал сейгях, который вчера над телом бедной Амины играл тарист Абдулла. Голос тара просачивался откуда-то издалека. Мелик Ахмедли знал, что в окрестностях института сейгях некому играть, он звучит в душе Мелика Ахмедли, он — слабое отражение вчерашнего дня, как промокашка впитывает чернила, нет, не чернила, а чистейшую прозрачную воду, так все тело, душа, мысли Мелика напитаны сейгяхом.

День кончился — и Мелик Ахмедли полностью завершил тончайшую реставрацию. Бабочки опять были прекрасны. Разве так сумели бы восстановить их технические работники? Конечно нет. Такое дело никому нельзя было доверить, поэтому все с начала до конца он исполнил сам.

Когда он вернулся домой, Таира опять спросила:

— Что с тобой?

— Ничего.

Мелик Ахмедли спокойно вышел из дому (и даже сам удивился тому, что спокоен). Он знал, что выходит в дальнее странствие, в неведомые края.

Был девятый час вечера, о месте встречи они со вчерашним пассажиром не договорились, но Мелик Ахмедли почему-то знал, что идти надо ко вчерашней трамвайной остановке.

Найти это место на машине оказалось не так легко, Мелик Ахмедли дважды проехал мимо дома Ибрагима, наконец отыскал улицу, по которой шел вчера ночью, и повел машину к остановке.

Здесь было, как видно, одно из самых малолюдных мест Баку, и теперь во всей округе не было ни души. Уже было две минуты десятого, и совершенно неожиданно — в мгновение (дверца «Жигулей» не открывалась) — вчерашний пассажир оказался рядом с Меликом Ахмедли, начал свою скороговорку, и опять у Мелика Ахмедли не оставалось времени думать и удивляться.

— Ну почему вы опаздываете? Почему?.. Быстрее!.. У меня нет времени!.. Скорее!.. Не могу же я посвятить вам одному все время!.. Да!.. Не знаю!.. Возможно!.. Скорее!.. Я не могу ждать!..

Треугольное лицо пассажира и одежда, выражение и блеск его больших черных глаз — все было как вчера, только голос еще больше охрип и с кончика носа свисала капелька влаги.

Пассажир с поспешностью вынул из кармана макинтоша небольшой пакетик бисептола, выдавил из него последнюю таблетку, торопливо проглотил, шмыгнул носом и сказал:

— Говорите! Говорите ваше желание!.. У меня ведь есть дела!.. Хорошо!.. побыстрее!.. Говорите!..

Мелик Ахмедли целый день, чем бы ни занимался, воображал себе эту встречу и минимум тысячу раз повторил про себя слова, которые теперь сказал незнакомцу:

— Мое... мое второе желание в том, чтобы вы ликвидировали мое вчерашнее первое желание!

Воцарилась тишина. Незнакомец шмыгал простуженным носом, кашлял, казался совершенно растерянным... Потом вспомнил, что то- ропится.

— Хорошо!.. Есть!.. Есть!.. — сказал он. — Я ушел!.. У меня много дел!.. Много дел!.. Понять человека — трудное дело!.. — На этот раз он точно разговаривал сам с собой. — Очень трудно!.. Очень!.. Очень!.. Вот иди, разберись! Сам иди!.. Сам иди и разберись!.. Я говорю!.. Всегда говорю!.. Говорят, нет... — И как вчера в трамвае, он легонько коснулся Мелика Ахмедли, потом, как обыкновенные простуженные люди, шмыгая носом и покашливая, он открыл дверцу «Жигулей», зашагал устало вдоль трамвайной линии и пропал с глаз. И пока он уходил, Мелик Ахмедли ощущал изменения во всем теле, у него опять менялась кровь, в суставы возвращались привычные боли, и наконец Мелик Ахмедли почувствовал, что у него легонько кольнуло сердце.

Он искренне обрадовался и уколу, и боли.

На переднем сиденье лежал пустой пакетик от бисептола — самый обыкновенный пакетик.

...Таира на этот раз спала спокойно.

И Мелик Ахмедли был спокоен и счастлив.

Он лежал, сцепив под головой пальцы рук, и воображал себе плоды граната среди пожелтевших листочков, так похожие на самых красивых бабочек на свете.

Он ощущал аромат осеннего дождя, пролившегося на Баку в полночь после двухдневного ветра. Он думал, что много веков назад древний философ сказал самые простые и самые мудрые на свете слова: все проходит.

А непостижимое, поразительное происшествие стало воспоминанием. Пройдут годы, воспоминание станет далеким, покажется нереальным, тогда Мелик Ахмедли достанет пакетик из-под бисептола (он решил его сохранить на память), и пакетик подтвердит ему: все на самом деле было.

...Все проходит...

Мухтар Худавенде, открыв дверь приемной, предельно довольный собой, посмотрел на студента сверху вниз и сказал:

— Заходите!.. Я с ним поговорил. Большой гуманист, такой мощный мужчина, скажу тебе, а сердце — мягче воска!.. Пообещал, что поможет!.. И этот его гуманизм, скажу тебе, я сделаю одним из эпизодов очерка. Как говорят русские, нет худа без добра! Очень удачно получилось! Скажу тебе, будет хороший эпизод! Он мне не отказал! Но, скажу тебе, этот его поступок налагает на меня такое обязательство, что я всю жизнь за его одоление не расплачусь! — Произнось последние слова, Мухтар Худавенде посмотрел почему-то не на студента Мурада Иллырымылы, а на Хосрова-муэллима. — Идите! Он вас ждет, идите к нему! Прощайте, я спешу...

Хосров-муэллим со студентом прошли мимо красивой и молодой девушки-секретарши и женщины-машинистки, так и не оторвавшей ни на миг от машинки покрасневших и распухших глаз, открыли коричневую кожаную дверь, набитую ватой.

Директор кладбища Тюлкую Гельди, сидя за столом, читал свежие, пахнущие типографской краской газеты и, увидев вошедших, спросил: — Так это вы? А я-то думаю, кто такие, интересно?.. — И уставился на студента серыми глазами сквозь очки. — Ну что, увидел советские законы?

Студент не ответил.

Серые глаза директора улыбнулись:

— Не будешь больше законность тут разводять?

Студент не ответил.

— Ну вот!.. Смотри, дорогой, рассуждения о советской законности кончатся вот так, как вчера! Видал?! Закон — это не то, что пишется в газетах, э нет, дорогой! Закон — это человек! Вот я — закон! — Абдул Гафарзаде нацелил длинный палец правой руки себе в грудь и с несвойственной ему откровенностью повторил: — Я — закон! — Потом посмотрел на Хосрова-муэллима: — А это кто, ты сказал?

Разумеется, Абдулу Гафарзаде в голову никогда не пришло бы, что стоящий сейчас перед ним в молчании худой и длинный мужчина, чьи глаза сверкают нездоровым блеском, когда-то, много-много лет назад, работал в одной школе с Хыдыром, был арестован вместе с Хыдыром. И Хосрову-муэллиму никогда не пришло бы в голову, что человек, внимательно глядящий на него серыми глазами сквозь очки, — родной брат того самого Хыдыра Гафарзаде, учителя физического воспитания...

Абдул Гафарзаде, как вчера, спросил:

— Твой отец?

Студент опять не ответил.

И произошло самое неожиданное.

Хосров-муэллим с неожиданными в его возрасте и при его хилости проворством и животной страстью кинулся на Абдула Гафарзаде и тонкими, длинными пальцами обеих рук схватил его за шею. И изо всех сил стал душить. На его висках и на тонкой шее набухли жилы. Он стал кричать:

— Это ты! Ты виновник всех наших бед! Это ты меня убивал! Ты разжег тот костер! Ты чума! Чума! Чума! Чума! Чума!..

Абдул Гафарзаде, хрипя, схватил пальцы Хосрова-муэллима, хотел оторвать их от шеи, но пальцы Хосрова-муэллима не отрывались, Хосров-муэллим сжимал их изо всех сил и изо всех сил кричал:

— Чума! Чума! Чума!

На шум в кабинет вбежали женщина-машинистка и девушка-секретарша, и обе с криками начали колотить кулаками по костям внутри плаща, но деревянные пальцы Хосрова-муэллима не отрывались от толстой шеи Абдула Гафарзаде.

— Ты чума! Чума! Я тебя узнал! Чума! Чума! Ты чума!..

Все случилось так внезапно, что студент замер на месте, как парализованный. Женщина-машинистка закричала:

— Что стоишь столбом? Помоги! Не видишь, убивает!..

Студент стал отгаскивать Хосрова-муэллима. Но Хосров-муэллим не отрывался.

— Чума! Чума! Чума!

Наконец Абдулу Гафарзаде удалось встать и отшвырнуть Хосрова-муэллима — прочь, к стене.

— Подлец! Ненормальный! — прохрипел Абдул Гафарзаде, растирая красную шею, пока Хосров-муэллим оседал у стены.

Сверкающие как в лихорадке глаза Хосрова-муэллима, расширившись, чуть не вылезали из орбит, и он безостановочно кричал:

— Чума! Чума! Чума!.. — И так, крича, поднялся, вышел из кабинета в приемную, из приемной — во двор управления кладбища. — Чума! Чума! Чума! Чума! — кричал он и шел куда глаза глядят.

Студент выбежал вслед за Хосровом-муэллимом. И довольно долго до управления кладбища доносился постепенно удаляющийся голос Хосрова-муэллима:

— Чума!.. Чума!.. Чума!..

Прохожие — кто с удивлением, кто с любопытством, кто с удовольствием, кто смеясь — смотрели на выкрикивающего одно и то же слово человека, длинного, худого, в старом черном плаще и на едва поспевающего за ним низкорослого неуклюжего парня, и все, наверное, думали, что вот опять по улицам Баку бродит очередной сумасшедший...

...а костер в полночь все так же горел...

...тот костер горел, горел...

...и лягушки так же квакали...

А Абдул Гафарзаде все стоял в кабинете и, массируя покрасневшую и болезненно от деревянных пальцев шею, с яростью в серых глазах говорил:

— Подлец!.. Ну ничего!.. Мухтару Худавенде, мерзавцу, я такой клин в зад воткну, что он будет в восторге! Негодяй!

Бадур-ханум быстренько принесла из приемной стакан холодной воды, Абдул Гафарзаде выхватил стакан из рук женщины, начал пить большими глотками и вдруг сильно закашлялся, вода разбрызгалась, кашель нарастал. Абдул Гафарзаде чуть не задыхался, колени у него задрожали, он без сил опустился в кресло, и изо рта у него полилась кровь, и, хрипя, он кашлял, и кровь заливала грудь, лилась по столу, и свежие газеты на столе стали ярко-красными.

Бадур-ханум громко закричала:

— Вахсей! Он харкает кровью!

16. Муршуд Гюльджакхани

В жизни он мне не звонил, в тот день, смотрю, звонит: «Как дела, Муршуд-муэллим? Даже не показываешься...» Как будто из глаз слезы текут, так по мне соскучился. «Да ничего, — говорю, — дела все обычные...» «Да ну, — говорит, — хватит тебе бумагу марать, дорогой!.. Куда ни глянь, слава богу, только твои книжки и лежат... Гордость ты наша! Но ты все же отдохай хоть немного, Муршуд, береги здоровье!» Обязательно должен съехидничать, хоть чуть-чуть уколот, иначе он не Абдул Гафарзаде... Директор нашего издательства, этот Исламзаде, его друг, такой корыстолюбец, такой мошенник, но вот двадцать лет руководит крупным издательством... Вначале даже раз в пятилетку мою

книгу в план не ставил, брызжет, бывало, слюной сквозь редкие желтые зубы: «Нехорошо, Муршуд, ведь ты сам в издательстве редактором работаешь. Скажут вот: сделал себе на рабочем месте кормушку, сам себя издает. Да и писания твои, знаешь, людей не осчастливит, не раскупаются они». Прямо, бывало, в лицо говорил мне это, бессовестный. «Когда твоя книга выходит, драгоценные критики на нас нападают, таланты, мол, у них остаются в стороне, а Муршуд Гюльджакхани издается... Не сердись, дорогой, и ты коммунист, и я. Я с тобой как коммунист разговариваю!» Обманчик проклятый! Какой из тебя коммунист, подлец! Ты — аморальный тип, это всему Баку известно, взяточник, за взятки книги выпускаешь, и это тоже, слава Аллаху, весь Баку знает! Но что поделаешь? Так сказать ему в лицо я не мог, ведь хоть раз в пять лет он все же выпускал мою книгу, бесстыжий, а скажи я, что думаю, и того бы не было, и меня самого осрамил бы на все издательство. Морда у него багровая, ни стыда не знает, ни совести. Однажды прямо в глаза мне сказал: «Знаешь, Муршуд Гюльджакхани, если хочешь, чтобы я выпустил твою книгу, уходи с работы в издательстве».

Но как только я с Абдулом Гафарзаде породнился (да оборвет Аллах такое родство!), грозный Исламзаде, от которого крупные писатели плакали кровавыми слезами (и теперь плачут!), стал другим человеком: каждый год включает мои книги в план. Что же случилось, бессовестный? Больше не боишься, что скажут: «сам себя издает»? А? Что же с тобой коммунистичностью, лицемер? Ты посмотри, а? Где директор издательства и где директор кладбища? Клянусь честью, как только Омар встретился с этой лошадкой — дочерью Абдула Гафарзаде, как только я породнился с ним, сразу увидел, что Исламзаде и Гафарзаде — одна душа и одно сердце, потому что оба они — одного поля ягода.

Причем, ты только подумай, Исламзаде лебезит перед Гафарзаде, перед своим министром он так не робеет, как перед Гафарзаде робеет. Иногда, глядишь, вызывает меня, понарошку спрашивает, как дела, а я-то знаю, что все это — фокусы, жду, чего он на самом деле хочет. И он переходит к сути, мол, дочку мне в институте такой-то преподаватель срезал, мне совесть не позволяет (да когда у тебя совесть-то была, чтобы позволяла), ради бога, Муршуд-муэллим (прежде он, бесстыжий, меня муэллимом никогда не называл), скажи нашему брату Абдулу, пусть договорится насчет дочки моей. И я иду, говорю. Что делать, унижаюсь, но ведь выхода нет, времена тяжелые для такого писателя, как я. Есть у нас один проходимец, называющий себя молодым писателем, его зовут Салим Бедбин (чего ждать от человека, который берет себе псевдоним Бедбин!), не смущается, не краснеет, в лицо мне гогочет: Муршуд-муэллим, в Азербайджане самая большая должность — никакой не министр, все это пустое, самая большая должность — быть родственником Абдула Гафарзаде. Что скажешь этому бесстыжесу? Эх, говорю — себя позорю, не говорю — внутри горит. Провались такая должность! Чтобы такой человек, как я, не имел права пойти в дом к сыну — своему единственному ребенку — выпить стакан чая! Прихожу, сажусь, тут же его лошадка — дочка Гафарзаде — говорит: «Тихо, Абдулчик занимается!» А сама садится рядом с нами, начинает книгу читать. И хоть бы книга была книгой — полбеда! Вся-

кая еврейская писанина... Омар, бедный, слово сказать боится, смотрит на меня жалобно, а я — на него... И ребенка именем Гафарзаде называли, каждый раз, как слышу «Абдулчик», клянусь честью, как на голову ведро кипятка выливают. А кому скажешь?.. До того дошло, что ребенок мной пренебрегает, увидит меня, с места не двинется. А как его увидит, кидается со всех ног: «Дедуля!» Ребенок, конечно, ни при чем. Однажды взял я его на руки, уселись мы перед окном. Был вечер. В небе сверкали звезды. Во мне поднялись лирические чувства. Хотелось мне пробудить хоть немного романтизма в ребенке. Я сказал: «Смотри, детка, видишь звезды? Какую захочешь, сниму с неба и дам тебе!.. Пусть будет твоей звездой!..» Не успел ребенок рта раскрыть, как ведьма-маша фыркнула: «Лучше бы вы, дядя Муршуд, сами получили у государства звезду и нацепили себе на грудь! И внук гордился бы, что дед герой! А у вас даже ни одной медальки нет!.. Поэтому вас никто и не знает!» Схватила ребенка за руку, увела в другую комнату! Ведьма! Откуда дочери Абдула Гафарзаде знать, что такое романтика?! А потом она ведь и врет, есть у меня четыре медали, есть Почетная грамота Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР. Да кто по-настоящему ценит теперь таких людей, как я, таких писателей? Я же не Брежнев, чтобы сунуть руку в мешок, вытащить звезду и нацепить себе на грудь, ведьма ты этакая! Я в Москву не езжу, директоров там не угощаю, не посылаю им отсюда, как другие, подарки, и в ЦК у меня ни друзей, ни приятелей! Пишу, как велят совесть и талант! Но кто теперь ценит совесть и талант?! В стране, где такого гения, как Сталин, в могиле пероворачивают, кому что докажешь? Сталина, который создал эту страну! И потом, почему это меня никто не знает?! Да, я скромненький, но разве дочь Абдула Гафарзаде может понять? И талант у их ребенка не от Омара, а от ее отца. Говорит: ребенок так тянется к музыке, потому что он в деда. То есть в Абдула Гафарзаде! Говорит: «Мой папа — очень музыкальный человек! Мы все в него!.. И Абдулчик!» Даже фамилию ребенка, кажется, хочет сменить, сделать его Гафарзаде, Омар от нас скрывается. Бедный Омар... Лошадка-ханум может обмануть Омара, как хочет, от них всего можно ожидать, может, уже и обманывает... В глазах у нее чертики прыгают. Нахал Салим Бедбин однажды на людях мне говорит: «Муршуд-муэллим, я твою невестку видел!..» Причем так многозначительно... Я уж при всех не стал допытываться. Спросишь: «Где?» — а ведь неизвестно, что он скажет. Бог знает где он ее видел, от этой ведьмы чего угодно можно ожидать, она дочь своего отца! Спросишь, откуда ты вообще знаешь мою невестку, — неизвестно, что он ответит. Я сделал вид, что вообще его не слышу... Бедный Омар... Чистый, как цветок, послушный, покорный, кроткий мальчик, нежное сердце, попал в лапы к этим волкам... И у них (я говорю про чету Гафарзаде) тоже был сын, Ордухан. Молодой был парень, но такой бабник... Только и делал, что чужих жен отбивал. Абдул купил «мерседес» у иракского консула на мое имя — сколько раз он мое имя использовал, я даже представить не могу, — отдал своему сыну, и тот гонял по всему Баку со скоростью 100. Он спортсмен был. В волейбол, что ли, играл. Абдул заснул его в сборную, сто раз на неделе он катал в Турцию, Бразилию, Японию. Такой писатель, как я, всего-то раз был туристом, и то в Болгарии, а его сын

Ордухан в Индию ехал — из США возвращался. За неделю он от гриппа скончался, потому что Аллах на небе видел несправедливость, развращенность и отца, и сына, Аллах наказал их. Правда, я атенсит, но, как видно, какая-то сила есть, карает... У меня в голове сложился роман о его смерти, совсем готов, только сесть и написать, но, боюсь, напишу, так Абдул прочтет и поймет... После смерти Ордухана (он накануне Нового года умер) девица-лошадка, то есть моя невестка, каждый раз на Новый год заставляет беднягу Омара, чтобы он семь дней с утра до вечера играл на пианино траурные мелодии. Кому скажешь?.. В общем... Да, в тот день звонит мне, говорит: «Куда ни глянешь — твои книги!.. То есть намекает, что благодаря ему издают мои книги. И я хорошо ему ответил, очень крепко, даже самому понравилось: «А у писателя и должны быть книги!» Он рассмеялся, но в смехе был какой-то надлом, я ведь писатель, я тотчас уловил. «Муршуд — сказал он, — а у меня ведь к тебе дело... Я ушаю не поверил. Какое у него ко мне может быть дело?.. За все время он первый раз говорил мне такое... Я подумал, что это, наверное, какой-то его фокус... «Пожалуйста», — говорю. «У тебя друг есть один, профессор...» — «Какой профессор?» — спрашиваю. «Да как его, Самедбейли, Ахмедбейли?» — «Может, ты Мурсалбейли имеешь в виду?» — «Да, — сказал он, — Мурсалбейли. Хочу, чтобы мы с тобой как-нибудь вместе пошли, показаться ему хочу». Здоровый как бык, куриную ножку вместе с костью съедает, что с ним делается? «Где ты, а где доктор, Абдул?» — говорю. Рассмеялся, но опять надломленно рассмеялся, я писатель, я понял. «Нет, — говорит, — ничего, конечно, такого... Вчера я ходил к доктору Бронштейну, он мне посоветовал показаться хорошему специалисту...» Как придворный врач у шахов, доктор Бронштейн был у них домашним врачом. Паникер страшный. И в семью Омара он приходит раз в пятнадцать дней, осматривает. Знаю я, его хвалят, а почему — потому что еврей... Если еврей, значит, хороший врач... Психология азербайджанца, да... Но смотри, как этот Абдул о своем здоровье печется, а здоров как бык!.. Шесть лет, как жена умирает, — ему нипочем, а как доктор Бронштейн про него самого слово сказал, сразу засуетился... «Что ж, пойдём, — сказал я, — большое дело, что ли... А я-то думаю: что случилось? Ей-богу, напугал ты меня, Абдул...» Что делать, я вынужден так разговаривать, да... Мурсалбейли — наш односельчанин, причем демагог страшный, своей демагогией достиг вершин. А говорит, что поало, болтун жуткий. Месяца два назад встретились мы на улице, он смотрит на меня, смеется: «Муршуд, сорок лет я здоровье трачу на пути науки, и я профессор, и твой сын, не успея родиться, профессор...» То есть поддевает: мол, благодаря Абдулу Гафарзаде Омар стал профессором... А потом как будто в шутку, но на самом деле то высказывает, что на душе лежит: «У твоего свата, говорят, столько денег! Пусть и тебе даст немного, Муршуд!.. Чтобы ты шляпку себе купил, сорок лет в мягкой шляпе ходишь...» И я на его шутку тоже отвечаю якобы шуткой: «Что с того, что он сват, такой скупердяй». И он рассмеялся, и я, но моя-то шутка по сути была настоящей истиной. Этот Абдул Гафарзаде — ну жуткий скряга. Дело же не в том, что он детям дом купил и машину, скупец — страшная вещь, проявляется в самом малом деле. Я ведь писатель, разве что-то ускользнет

от моих глаз? В его учреждении, не к ночи будь помянуто, есть одна машинистка, Бадура, очень, между прочим, аккуратно печатает. Я давно ее знаю, она в пятидесятые годы в редакции работала, весь Баку про ее красоту говорил. Абдул опутал ее, сделал своей любовницей, и глупая женщина стала несчастной, замуж не вышла, живет одна-одинешенька... Такой конец у несправедной жизни, да... В общем, говорю Абдулу Гафарзаде, Бадура хорошо печатает, хочу дать ей мой новый роман. Он отвечает: нет, из-за меня она с тебя денег не возьмет, а это нехорошо, пусть стучит, себе на жизнь зарабатывает, носи свой роман другой машинистке, денег у тебя нет, что ли? Столько книг выходит... Денег нет, так я, говорит, дам! Если уж ты деньги раздаешь направо-налево, хотел я ему сказать, то содержи хоть ту же Бадуру. Давил, давил, сок из нее выжал (такая красота, такое тело у нее было, по ночам спилось), теперь состарилась, лишилась сил, если уж ты такой щедрый, бессовестный, содержи сам ее, да. Что будет, если с меня она денег не возьмет? Обеднеет Бадура? Она одинокий человек, на что ей деньги? Абдул думает, что Гаратель не знает, какой он бабник, что все остается в тайне... Что он вытворяет — Бадура все по телефону рассказывает Гарателю. Абдул Гафарзаде других уму-разуму учит, а самому и в голову не приходит, что с тех пор, как он бросил Бадуру, пресытился ею, Бадура с Гаратель стали задушевными подружками, сто раз в неделю переваниваются, делятся горем, плачут в телефон. Однажды Адыля, моя жена, сама была свидетельницей... Гаратель тоже была не промах, это после смерти сына она сникла. Правда, я в точности ничего не знаю, но было такое происшествие: на свадьбу Омара я пригласил поэта Арастуна Боздаглы. Правда, пустой человек, самодовольный, но среди людей знаменит. И Арастун Боздаглы, как обычно, низким голосом прочитал на свадьбе длинное стихотворение о любви. После свадьбы однажды я встречаю его в издательстве, а он выпивший и говорит мне: «Устад¹, теща твоего сына больно блудлива... Через два дня после свадьбы нашла мой телефон, позвонила, попросила стихотворение... Что ж, что она — теща твоего сына, устад, она ведь моей бабушке ровесница. Ей любовные стихи не подобают, устад, не сердись на меня!.. Арастун Боздаглы — бурлящий родник, но для самых свежих цветочков, устад!..» Себя поэтом называет, а сам — скотина...

Да, так Абдул попросил, пойдем вместе к Мурсалбейли. Встретились мы, пошли. Его, этого Абдула, я в жизни таким встревоженным не видел, жизнь действительно дорогая штука, он струсил. А Мурсалбейли, он же бесстыжий тип, встретил нас с улыбкой. В то время, когда ходили за Омара сватать, я этого Мурсалбейли брал с собой, чтобы солиднее выглядеть, так что знакомы они были, поздоровались, поговорили. Мурсалбейли и тут меня поддел: «А Муршуд Гольджяхани, не сглазить, роман за романом пишет: человеку прямо второе дыхание пришло!» Я про себя подумал: «Тебе откуда знать, невежда, что такое роман? Ты произведения читаешь? Ты в произведениях разбираешься?» Про себя подумал, а ему в лицо тоже крепко сказал: «Для вас же и пишу...» Мол, читай, становись человеком, профессор. Это еще не все. Абдул был так погружен в свою заботу о здоровье, что наш обмен лю-

¹Устад — мастер.

безностями будто не слышал. Жуткие у него вообще-то глаза, на волчи похожи, но у Мурсалбейли на приеме в этих волчьих глазах была такая печаль, такая тревога, что пусть Аллах не подумает дурного, но у меня какое-то мстительное чувство возникло... В общем, Мурсалбейли, на барсука похожий, впереди, Абдул, как верблюд обессилевший, за ним следом, пошли осматриваться на японском аппарате. А я сел их ждать. Сейчас он в таком страхе, а в день, когда сын умер, у него слезинка не пролилась, у злодея, он же не человек, волк он, волк... Глазато какие?! Но одно происшествие мне вспоминается, я ведь писатель, что ж, если он Абдул, все равно надо рассказать, что видел. Когда у него умер сын и тело еще не похоронили, как сейчас помню, шел сильный дождь. И он весь день сидел около тела, ни на кого не обращал внимания, ни с кем не разговаривал. Среди ночи вдруг встал и ушел. Долго его не было. Я решил, что он спать лег, от него всего можно ожидать. Посреди ночи открывается дверь, он входит. Честно говоря, я испугался: с ног до головы мокрый, в грязи, лицо как у мертвеца. Я же писатель, только взглянул — все понял: он ухитрился покончить с собой, но мужества не хватило, не смог убить себя... Что ж, что он Абдул Гафарзаде, а я его пожалел. Хотелось ободрить его, утешить, но вдруг он облял меня, как собака. Так накричал, что уже шесть лет, как вспомню, волосы дыбом встают. Оскорбил! Но что делать, я проглотил и наутро вел себя так, будто ничего не случилось. А куда деваться, если для таких, как Исламзаде, искусство значения не имеет, мои книги он издает лишь благодаря Абдулу Гафарзаде, иначе издавать не станет, приходится мне глотать все оскорбления... Я многое перенес. В редакциях меня очень мучили, потому что никто сейчас не бережет и не ценит истинного художника, у всяких плутов и мошенников дела идут в гору. Против советской власти произведения пишут, очерняют нашу жизнь, создают отрицательных героев, положительные герои остаются в стороне, и их печатают, сначала в журналах, потом в книгах. На писателя, пишущего о положительных героях, теперь на самого смотрят как на отрицательного героя! В сталинское время разве было возможно такое? Им бы всем показали где раки зимуют. Нахал Салим Бедбин громко так, люди вокруг, говорит: «Большинство наших писателей в капиталистических странах умерли бы с голоду. Кто бы их печатал? В Центральный Комитет жалобы там никто не пишет: мол, заступитесь, нас не издают... Приятелей себе не нашли бы, чтобы их бездарную писанину издавали, которая потом по всем магазинам валяется, а потом ее списывают и сжигают. Такой ущерб может перенести только Советское государство. Капиталист скажет: ты не писатель, и все! Будь ты хоть чьим хочешь родственником, хоть племянником самого Аллаха! А если ты мне убыток принесешь, зачем мне тебя печатать?» Все это говорит, бессовестный, а сам на меня смотрит. Хотелось мне сказать, ах ты подлец, ты интересы государства блюдешь? Ты же пишешь только о взятчиниках, мошенниках, о негативных явлениях! Но я ни слова не сказал. Какой смысл? После Сталина загубили советское искусство. Во времена Сталина этот человек слова бы не вымолвил. Ей-богу, ему такое устроили бы, что материнское молоко носом бы пошло. Мир Джафар Багиров знаешь что делал с такими? Ногтем большого пальца так прижи-

мал их, что следа не оставалось. А теперь что? Один очерняет советского человека, изображает его взяточником, ныряет и невообразимые нечистоты, и его писанину не только печатают, но и расхваливают, поднимают до небес, а самое страшное, дело доходит до того, что само правительство им еще и премии дает!.. Настоящие советские награды были Сталинские премии!.. Я бы тоже получил, совсем мало оставалось, но мне всегда не везет!.. Тогда я написал роман «В колхозе «Шан хаят». Мир Джафар Багиров упомянул название этого романа в своем докладе, сказал, что советской литературе нужны такие произведения, воспевающие светлые стороны нашей жизни! Вся печатка пи-сала о моем романе. За два года его издавали трижды, в учебники включали отрывки, перевели на русский, издали в Москве, на армянский перевели, представили к Сталинской премии... Но, на беду, Сталин умер... И Мир Джафара Багирова после смерти Сталина сняли с работы, арестовали, судили, расстреляли. Такого человека!.. И моя премия пропала. Такой роман, а с тех пор его ни разу не переиздали. Это бы ладно, а как на него напустились! Мол, роман «В колхозе «Шан хаят» — наглядный образец теории бесконфликтности... Мне всегда не везет... Мир изменился... То есть не изменился, а развалился... Русские теперь даже имени Семена Бабаевского не называют... Теперь антисоветчики в моде, скоро настоящих коммунистов будут сажать и расстреливать... В общем, такое горе, что и не высказать. Есть такая народная притча: один спрашивает: «Что с доблестными конями, где они?» Ему отвечают: «Храбрые мужи ускакали на доблестных конях!».. Сталин был такой человек, что ему все было к лицу, одна звезда была у него на груди, но посмотришь на него, бывало, — кажется, что все звезды, сколько есть на небе, — у него на груди. А Брежнев грудь до самого пупа орденами и медалями увешал, пять геройских звезд нацепил, в ряд на груди не помещаются, давай в два ряда, на войне был простой полковник, теперь маршалом стал, дал сам себе орден Победы (о Господи, ты посмотри только, что делается на свете, ей-богу, хорошо, что Сталин этого не видит!) — наверное, и генералиссимусом станет. А если бы Иосиф Виссарионович одним волоском своего уса пошевелил, тысячи таких, как Брежнев, не стало бы! Люди это знают! Очень хорошо знают, народ любит Сталина и всегда будет любить! А кто Брежнева любит? Все восхваления — просто слова! Что сделаешь, и я на партийном собрании хвалил его изо всех сил... Неустанный борец за мир, величайший государственный деятель современности, яркий представитель ленинского стиля руководства! Как все, так и я... Сказал даже, что сама природа создала символическое тождество: и Ленин был Ильич, и Брежнев — Ильич! Да, я так сказал, ну и что? Кто не знает, что Брежнев — случайный человек?. О Хрущеве я уже не говорю, проклятый, все опоганил на свете и ушел! Антисоветчик был, хотел партию ликвидировать! Ботинков снял и колотил по трибуне ООН! Смотрите, кто пришел, на наш позор, и занял место Сталина! А теперь время всякой шушеры!.. Вон такому, как Арастун Боздаглы, дают почетное звание, он становится заслуженным деятелем искусств, а я, чтобы мой роман напечатать, с почтением обращаюсь к Абдулу...

В общем... Больше часа я просидел, ожидая Абдула с Мурсалбейли, наконец они пришли. Лицо Абдула побелело как полотно, я знал, что и сердце у него колотится, тук-тук. «Ну что у меня, профессор?» — спросил он, причем спросил так, будто на свете нет человека смиреннее Мурсалбейли, выставив большой живот вперед, сказал: «Что может быть у такого мужчины, как ты?!» Сказал и громко рассмеялся. Цвет лица у Абдула стал на глазах меняться, тревога в глазах понемногу растворилась. «То есть у меня ничего нет?» Мурсалбейли сказал: «Ничего! Внутри у тебя чисто, все как стеклышко! Образцово!» — «Никаких лекарств, средств не нужно? Ничего мне не принимать?» Мурсалбейли, протянув вперед короткую руку (как такими короткими руками, как этими короткими пальцами он оперирует, слушай!..), покачал мясистой рукой и сказал: «Никаких лекарств не нужно!» — «А что мне пить, есть?» — «Что душа пожелает — ешь, что душа пожелает — пей!» Когда Мурсалбейли говорил, Абдул посмотрел на меня, и в его серых глазах было какое-то торжество, мол, ну, Муршуд Гюльджахани, вот видишь, у тебя тридцать лет язва, ты ежедневно должен соблюдать диету, а я, что хочу — ем, и сколько хочу — пью, и впредь так будет.

Абдул сунул руку в карман, вытащил три — я же писатель, от моих глаз ничего не ускользнет — три хрустящих сотни и засунул в карман халата Мурсалбейли. Триста рублей — ровно моя двухмесячная зарплата, оплата за мой труд в течение двух месяцев. Десятилетиями я жил на зарплату, пока с ним не породнился, пока подлец Исламзаде не начал издавать мои книги. Денег хватало только на хлеб с солениями, и в конце концов в желудке появилась рана. Мурсалбейли притворно воскликнул: «Ой!.. Это зачем?..» Он так произнес это, как, прошу прощения, распутная женщина, кокетничая перед близостью с новым мужчиной. Хотя бы передо мной постеснялся, бессовестный!.. Слушай, ну до чего мы дошли... Посмотри-ка на профессора, на профессора!.. За один час работы кладет в карман мою двухмесячную зарплату и вдобавок безнравственно кокетничает!.. А Абдул сказал: «Тебе — за праведность, профессор!» Подумай только, смотри, кто о праведности говорит!.. Мою двухмесячную зарплату как семечки щелкает и еще о праведности толкует!.. Хотя и нахал Салим Бедбин, а, ей-богу, правильно сказал: только Советское государство может выносить эту дребедень! В общем, распроцарились мы с Мурсалбейли, вышли из больницы. «Слушай, — говорю, — а ты тоже здорово мнительный!» — «И не говори! — сказал он и рассмеялся, своим всегдашним смехом рассмеялся, больше уже никакого надлома не было в его смехе. — Ладно, Гюльджахани, прощай. Иди пиши новый роман...» Как будто это был не тот человек, который в тревоге звонил мне и пришел сюда. Как говорится, гром грянул, так мужик перекрестился, а теперь чего ему креститься — гром больше не гремит. Мы расстались, он пошел на кладбище, я в издательство. Кто-то сказал, что для счастья нужны два условия: с удовольствием идти на работу и с удовольствием возвращаться домой. Но меня, честно говоря, тошнит от издательства (больше тридцати лет работаю, больше тридцати лет тошнит), а Адыля — человек, конечно, неплохой, но все ворчит, ворчит... Тридцать пять лет с нею живем — тридцать пять лет ворчит... Дочь фазтонщика Алиммеда, да... Я объектив-

ный человек, ну и что ж, что он мой тесть, тот покойник фазетонщик Алиммад тоже был придира порядочный... В общем... А вечером произошло неожиданное событие (никому такое в голову не придет!): вдруг звонит Мурсалбейли. «У меня к тебе серьезный разговор, — говорит. — Я иду на бульвар подышать воздухом. И ты давай подходи к кукольному театру». — «А в чем дело?» — спрашиваю. «Придешь, услышишь». И трубку положил. Ладно, встретились. «Ты знаешь, Муршуд, — сказал он, — у твоего свата дела плохи». — «Как это, плохи?» — спросил я. «У твоего свата рак!» — сказал он. Честно говоря, я поразился. «А днем ты сказал, что у него ничего нет...» — говорю. «А что я должен был сказать? — он прищурился. — А еще себя писателем называешь!. Мне надо было сказать: Абдул Гафарзаде, у тебя рак и осталось жить один-два месяца?» — «Может быть, ты, — говорю, — ошибаешься?» — «Какая ошибка, слушай? Японский аппарат не ошибается! У него рак легких и метастазы всюду. Самый худший вариант». — «А ведь он какой был, такой и есть, бодрый...» — «Скоро начнутся боли. Никакого спасения нет. Операция не поможет. Бедняга умрет в мучениях!» Я думал, сейчас Мурсалбейли выгащит триста рублей, верни, мол, ему. Но нет, какое там!. Попрощался со мной и пошел к м'юрю, воздухом дышать. Такие вот дела... Сообщи Омару, он передаст жене — дочери Абдула. А не передает — их дело... Как назло, роман у меня на середине... А роман хороший. О деятельности настоящего новатора, оптимистичного, деловитого председателя колхоза. Колхозу я дал простое название, теперь пышные имена не проходят: «Колхоз «Гейтепе»¹. В колхозе выращивают хлопок на 1400 гектарах. Приняли решение — 90 процентов убрать машинами. Первыми в районе решили листья осыпать посредством наземных аппаратов. Подготовили девять агрегатов марки ОСХ-14, закупили все необходимое оборудование, заготовили химвещества. Не только в Гейтепинском колхозе, но и во всем районе идут серьезные подготовительные работы по сбору хлопка. Завершили ремонт хлопкоуборочных машин. Получили много новых машин, общее число их 880. Решили 70 тысяч тонн урожая хлопка убрать машинами... Одним словом, замечательное будет произведение. Ведь я современный писатель, разрабатываю социальную тематику. По правде говоря, до сих пор мне еще не удавалось создать такой весомый образ положительного героя, как этот председатель колхоза... Но если Абдул умрет, Исламзаде не издаст мой роман... Мне с самого начала не везет...

Но подумать только, слушай, оказывается, и Абдул Гафарзаде мертв. Ей-богу, хоть я и атеист, а, ей-богу, есть какая-то сила, которая вот так карает...

Отцовский дом Адыли был в одной из верхних махаллей Баку. В их дворе жил мошенник молла Асадулла. Я и теперь его иногда вижу, он жулик настоящий. Все дни болтается на кладбище Тюлюк Гельди. Вдруг я подумал... Вот Абдул Гафарзаде умрет, и молла Асадулла, возможно, придет над ним поминательную молитву читать, просить Аллаха, чтобы отправил его в рай. Такова жизнь: смотри, кто хочет попасть в рай и кто за него хлопочет... На кладбище, где молла Асадулла обретается, есть фотограф, зовут Абульфас, знаю я его, прежде в редакциях рабо-

тад, бездельник... Теперь покойников фотографирует и родне карточки навязывает. И на похоронах Абдула Гафарзаде, наверное, будет фотографировать, а потом продаст Омару... Бедный Омар, и после смерти Гафарзаде от их гнета не избавится... А деньги Абдул там и тут запятал, наверное, старая лиса, они кому останутся?

17. Как дела?

Старуху Хадиджу похоронили на новом кладбище довольно далеко от Баку, и жена хлебника Агабалы, впервые там оказавшись, горестно всослинула:

— Вай, вай, вай! Слушай, да тут целый микрорайон!..

Пока еще не испытанные жарой и холодом многих лет, похожие друг на друга размером и формой могильные камни заполнили все обозримое пространство. За короткое время новое кладбище так разрослось, что, конечно, ни один город мира не мог бы разрастись так быстро. В одинаковости здешних могильных камней, в равенстве отведенных для могил участков, маленьких огороδικах, примыкающих друг к другу, — было что-то сиротское, одинокое, и жена хлебника Агабалы, не сдержавшись, всхлинула:

— Бедная тетя Хадиджа...

Но неожиданно махаллинские женщины не захотели с этим согласиться. Два дня проплакавшие, жаждавшие похоронить тело бедной старухи Хадиджи только на старом кладбище — на кладбище Тюлюк Гельди, где были похоронены предки махаллинских жителей, не желавшие и слышать о новом кладбище, считавшие его в принципе недостойным духа старой набожной женщины, махаллинские женщины стали покрикивать на жену хлебника Агабалы:

— А-а-а... А чем тут плохо?..

— Почему ты ругаешь, слушай, кладбище, да!

— Тут вон сколько похоронено, разве они не люди?..

И в самом деле: раз на кладбище Тюлюк Гельди не нашлось места, раз они привезли и хоронили старуху Хадиджу тут, раз уж у махалли не оказалось возможности похоронить старуху на кладбище отцов и дедов, так не стоило вдобавок горевать, хватит и без того у каждого беды и горя, как есть, так уж и есть. Махаллинские жители — и мужчины, и женщины — больше не смотрели сердито ни на квартиранта-студента, ни на этого бывшего учителя русского языка за их нерадивость, за то, что дали слово, но не сдержали, никто больше не укорял их ни словом, ни даже взглядом. Махалля за последние годы научилась волея-неволей мириться со своей беспомощностью. Мир постепенно превращался в такой колючий куст, куда махалля войти не могла, могла только, как сын хлебника Агабалы, только что вернувшийся из армии, погрозить ему кулаком. Теперь все решали деньги, а у махалли денег не было, махалля была бедна; теперь все решали знакомство, протекция, а в махалле не было сколько-нибудь влиятельных людей, самым крупным должностным лицом был племянник моллы Асадуллы — нотариус в поселке Восьмой километр, — но он даже не пришел на по-

¹ Гейтепе — зеленый холм.

минки старухи Хадиджи. Мир менялся... Вернее, мир изменился, и в тот апрельский вечер, когда они хоронили старуху Хадиджу на новом кладбище, возможно, махалля впервые окончательно поняла, что с этих пор ее мертвецам покоиться только здесь — на новом кладбище...

И молла Асадулла, когда проходил мимо женщин, направляясь к свежeverытой могиле, сказал:

— В сущности, у мусульман могила должна быть вровень с землей, могила должна смешаться с землей... Могила мусульманина не должна отличаться от земли... Роскошь, которую теперь устраивают, позже появилась, вначале ничего подобного не было! Если святой человек умирал или великий ученый уходил из жизни, сооружали гробницу, и все!.. А теперь святости-то нет!.. У кого деньги, тому и гробница!..

Студент думал: интересно, а молле Асадулле построят на могиле гробницу? Могила бедной старухи Хадиджи, во всяком случае, от земли отличаться не будет...

Хосров-муэллим, засунув руки в карманы черного плаща, стоял в изножке свежeverытой могилы, среди махаллинских мужчин и смотрел в пустую могилу, потом поднял глаза, посмотрел поверх людских голов на новое кладбище и неожиданно вспомнил свой старый сон. Году в 1978-м он увидел во сне Хрущева. Хрущев в украинской рубашке с вышитым воротом пил, прихлебывая, чай из блюдечка, блюдечко держал обеими руками. «Здравствуйте, Никита Сергеевич!» — «А-а-а! Хосров-муэллим... Как дела?» — «Ничего... А как ваши дела?» — «Тоже ничего...»

В апрельский вечер, когда хоронили старуху Хадиджу, Хосрову-муэллиму подумалось, что и Хрущев похоронен на этом новом кладбище под Баку и одна из похожих друг на друга могил принадлежит Хрущеву.

Одинаковость, чистота новых могильных камней снова напомнили Хосрову-муэллиму белые халаты, а белые халаты — профессора Льва Александровича Зильбера, и Хосрову-муэллиму подумалось, что профессор Зильбер тоже похоронен здесь...

Конечно, хотя Хосров-муэллим был погружен в свой собственный мир, особенно в последнее время, и с большим трудом из этого мира выходил, он понимал, что ни Хрущев, ни профессор Зильбер здесь не похоронены, понимал и то, что ему самому именно сюда дорога, может, через три дня, а может, через два года (если он не окажется в море неопознанным и его кости не станут учебным пособием для будущих врачей, очень вероятно, что будет именно так, потому что на этой земле у Хосрова-муэллима, кроме него самого, никого не было). Хосров-муэллим умрет, и имеющая смысл или бессмысленная (очень вероятно, что бессмысленная...) долгая жизнь завершится, и если он будет похоронен на этом кладбище, то и его могильный камень, как все бесчисленные могильные камни, будет свидетельствовать о сиротстве, безысходности... Но на том свете дух Хосрова-муэллима непременно встретится с шестилетним Джафаром, четырехлетним Асланом, двухлетним Азером, потому что по-другому просто быть не может, а если встречи не будет и на том свете, если и того света нет, если рай и ад только пустые легенды и никто не будет гореть в адовом огне, не по-

лучит наказания, в чем же тогда смысл жизни, и зачем Хосров-муэллим сносил все ее тяготы, и зачем эта жизнь так долго тянулась?

Молла Асадулла, стоя в изголовье могилы, читал Коран, студент Мурад Илдырымылы оглядывал махаллинских мужчин: большинство их он знал в лицо, но часть была незнакома, и студенту казалось, что и Мелик Ахмедли здесь, среди этих людей, как будто Мелик Ахмедли был живым и действительно встречался с тем странным незнакомцем, и как будто на новом кладбище летало множество бабочек, и среди них прекрасная бабочка Захра, а сейчас они спрятались, дожидались, когда люди уйдут, чтобы снова спокойно летать...

... Предав бедную старуху Хадиджу земле, они в вечерних сумерках возвратились назад. Махаллинские мужчины, усевшись за минимальные столы, начали есть приготовленный женщинами бозбаш, глаза Баланияза опять стали шарить по углам двора, но студенту Мураду Илдырымылы показалось, что сын старухи Хадиджи теперь не мышь выслеживает, нет, он ищет деньги, золото, хочет узнать, где старуха Хадиджа спрятала свое состояние...

Как только махаллинские подростки убрали бозбашные кясы, остатки сыра, зелени, лаваша, хлеба и расставили на скатерти сахар, приготовленную женщинами халву, стали разносить чай, Баланияз вдруг встал, едва заметным движением всегда что-то ищущих зорких глаз подозвал Мурада Илдырымылы, и студент понял, что услышит сейчас какую-то дурную весть. Следом за Баланиязом он пошел к капающему крану около уборной, и там они остановились лицом к лицу. Баланияз, опять глядя не на квартиранта, а на углы двора, сказал:

— Ты... ты уж найди себе другое место!.. С завтрашнего дня уходи отсюда! Я это место продам! Я еще вчера покупателя нашел!

Баланияз и вчера, оказывается, не мышь искал, а покупателя... Потом Баланияз показал на Хосрова-муэллима, безмолвно пившего чай:

— А ему ты скажи... Скажи, чтобы завтра же съехал отсюда! — Баланияз впервые посмотрел студенту в глаза. — Ну, что ты скажешь? Мама так тебя любила! Конечно же очень любила!

Баланияз обыщет все уголки в комнатах бедной старухи Хадиджи, и в маленьком коридорчике, и в маленькой кухне, пядь за пядью будет простукивать стены, поднимать старые доски в полу, на потолок... Баланияз был крысой, и как крыса, он будет бегать туда-сюда, будет обыскивать все места, искать у матери золото... А потом продаст дом...

Этой ночью у студента Мурада Илдырымылы было где спать, а завтра он проведет ночь на стоянке личных машин на Баилове. Судьба двух ночей была известна. А что будет с Хосровом-муэллимом? Сегодня он здесь переночует. А завтра?

Коран говорил: «О несущие веру! Терпением и молитвами просите помощи у Аллаха. Потому что Аллах — с терпеливыми, он их друг».

18. Самоубийство

Наступал вечер, и навесы, и длинные скамейки на безлюдном пляже, разноцветные, не утратившие за зиму окраски, и большие брезентовые зонты — все вымокло под дождем. Когда меж весенними облаками, плывущими на запад, прорывался солнечный луч, разноцветный брезент и разноцветные доски навесов и длинных скамеек блестели, радуясь солнцу; бросающиеся на берег волны вспенивались белым, и Гиджбасар устремлял черные глаза на их белизну, смотрел на те бьющиеся о берег волны.

Дождь как внезапно начался, так же внезапно и прекратился, и вдалеке, на едва различимой линии горизонта, между облаками начала вставать радуга, и ее краски становились все яснее. Поднявшаяся с горизонта прямо против пляжа радуга округлялась между облаками и опять упиралась в горизонт где-то очень далеко отсюда.

Гиджбасар, присев у скал в верхней части абсолютно пустого пляжа, отвел глаза от белоснежных волн и посмотрел на радугу. Зеленое, желтое, синее, красное понемногу стало таять между облаками и вскоре совсем пропало — и радуга попросидела с безлюдным пляжем, скалами и белоснежными волнами. Она принесла с собой радость безлюдному берегу, а после себя оставила какую-то печаль и ушла.

Волны передали облакам свою белизну, и белые облака начали понемногу рассеиваться, а на западе, под солнцем, зарозовели. Море было абсолютно пустынным. Печально было на апшеронском берегу в тот апрельский вечер.

Вдалеке пару раз ударила гроза, но звук грома не достиг пустынного пляжа. Гиджбасар приподнялся. Малейшее движение причиняло боль, но все-таки Гиджбасар сделал пару шагов, как будто и черные глаза собаки, как та внезапная радуга, прощались с морем и пустынным пляжем, с намокшими разноцветными зонтами, навесами, длинными скамейками. Потом, опустив голову, он повернул назад и, медленно пройдя между скал, ушел с пляжа.

И на пляже, и в скалах воздух был чистый, после дождя еще чище, а со стороны дороги доносился запах бензина, запах железа, запах мазута. Бензин, мазут и железо напоминали о скорости, нападениях, атаках, ударах, опасности. Но Гиджбасар теперь шел к той опасности.

В верхней части скал на песке он остановился. Он так ослабел, что после небольшого подъема стал задыхаться, и его тощие бока, где можно было пересчитать все ребра, часто вздымались и опускались. Пес принохался и посмотрел на одинокую акацию в стороне: под деревом два крошечных щенка тыкались туда-сюда, цепляясь друг за друга, и шерсть у щенков была точно как у Гиджбасара — коричнево-черная.

У них только прорезались глазки, и они, почуяв Гиджбасара, а потом и увидев, утопая в песке, оскальзываясь, побежали к этой большой собаке, пытаясь взобраться по его лапам, сустились под его животом. Хотя шея очень болела, Гиджбасар, опустив голову между передними

лапами, посмотрел на суеящихся щенят, потом, подняв голову, медленно повернул ее в сторону Баку, чьи далекие огни виднелись, и в глазах Гиджбасара, глядящих в сторону кладбища Тюлюк Гельди, была печаль.

Один из щенков уперся носом в нос Гиджбасара, за ним и второй, и Гиджбасар почувствовал чистое дыхание этих двух щенят.

Щенки были полны доверия и надежды, искали соски и, шнохая живот Гиджбасара, цеплялись друг за друга, метались туда-сюда.

Гиджбасар, конечно, чувствовал их доверие и надежду.

Вдалеке снова беззвучно сверкнула молния.

Гиджбасар не мог стоять на ногах, ему надо было либо присесть, либо лечь, тело было так изранено, что болело, когда он стоял и когда шел. Но Гиджбасар не сел и не лег, а медленно пошел вперед.

Оба щенка тоже поплелись за Гиджбасаром, он хотел ускорить шаг, но не смог, а щенята приближались. Гиджбасар, остановившись на миг, задними лапами швырнул в них песок. Они остановились, песок ударил им в мордочки, прилип к мокрым носам. Щенята поняли, что за большим псом идти нельзя.

По ту сторону песчаного подъема впереди была железная дорога, и массивные опоры железной дороги, постепенно удаляющиеся от моря, были вымазаны в мазуте, и рельсы были жирные. Гиджбасар пошел на запах мазута, запах железа, одолел подъем и огляделся.

Начинали сверкать огоньки в стороне Баку, и там для Гиджбасара не было ничего неизвестного, в черных глазах пса, глядящих на сверкающие вдалеке огни, было теперь полное безразличие; кладбище Тюлюк Гельди тоже было в той стороне, и, конечно, Гиджбасар, опустив голову, собравшись с силами, мог кое-как доплетистись до кладбища Тюлюк Гельди за три дня, за пять дней, но мог. Однако пес отвел равнодушный взгляд и от тех далеких огней и, вернувшись под акацию, посмотрел на двух щенят, возившихся там как прежде. Щенята не видели Гиджбасара и, обнюхивая друг друга, познавали мир, на который только что открыли глаза. Всегдашняя печаль в глазах Гиджбасара усилилась, у пса задрожали лапы, он опустился на землю. Он заранее знал, что когда-нибудь большая теплая рука поглядит щенят, потом тепло навсегда исчезнет, щенята вырастут среди железных решетчатых оград, каменных заборов, на асфальтовых дорогах, улицах. Но Гиджбасар не хотел и не мог думать и об этом. Его настигли страшная, невыносимая боль, невыносимый голод, невыносимая жажда.

Щенята под акацией, обнюхивая друг друга, жалобно повизгивали, и на фоне морского гула их повизгивание было слабым, но и песок, и скалы, и тянущаяся вдаль масляно-мазутная железная дорога заполнились от этого повизгивания, как прозрачным туманом, жалостью, беспомощностью, безнадежностью. Солнце заходило, вставала луна, и в лунно-солнечный апрельский вечер грусть перестала быть видна в глазах у присевшего на вершине песчаного холма Гиджбасара, она растаяла как недавняя радуга, с приходом ночи все смешалось с темнотой.

Гиджбасар поднялся, последний раз взглянул на мерцавшие вдалеке бакинские огни, вышел на железную дорогу и пошел медленно между рельсами.

Шагать было трудно — между массивными мазутными шпалами был щебень, и, переступая со шпалы на щебень, а с щебня на шпалу, он чувствовал, как мышцы, кожа с образовавшимися на ранах корками невыносимо болели. Но Гиджбасар все шел.

Он почувствовал подрагивание рельсов, услышал гул быстро надвигающегося поезда и еще ниже опустил голову, будто инстинкт хотел уберечь его от удара, но сам он, сопротивляясь инстинкту, в сторону не ушел, напротив, старался двигаться ровно посередине.

Поезд быстро приближался. Гиджбасар теперь физически ощущал его скорость.

Начали сотрясаться не только рельсы, но и шпалы, и сердце Гиджбасара колотилось так же часто, но пес не выходил за пределы рельсов.

Он чувствовал, что сейчас получит страшный удар, инстинкт тянул его прочь, хотел отбросить в сторону, но Гиджбасар, напрягшись изо всех сил, задушил инстинкт, не отдал себя его воле.

Пес ощутил скорость совсем близко. Потом все кончилось.

Поезд быстро промчался, исчез.

Воцарилась тишина.

Солнце зашло, и между плывущими на запад облаками время от времени показывался месяц...

Труп Гиджбасара — груды окровавленных костей и коричнево-черной шерсти — остался между рельсами.

Вдалеке снова беззвучно ударила гроза...

1984–1988

Содержание

МАХМУД И МАРИАМ

Перевод Владимира Портнова

9

БЕЛЫЙ ВЕРБЛЮД

Перевод Владимира Портнова

146

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Перевод Татьяны Ивановой

303

Эльчин

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Директор издательства
Анна Новицкая

Корректоры
Вера Алексеева
Елена Феоктистова

Технический редактор
Наталья Торгашова

Верстка
Влад Багров

Подписано в печать: 20.06.03.
Формат 70X100/16. Бумага мелованная.
Гарнитура «Garamond book СТТ».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,9
Тираж 500 экз. Заказ 77

Издательство «Аваллон»,
127015, Москва, 2-я Квесисская ул., 9
Тел.: (095) 285-48-75, 285-69-89;
e-mail: info@avvallon.ru;
www.avvallon.ru

Отпечатано в типографии
ООО «ЗАМТ»

ISBN 5-94989-021-3



9 785949 890219

